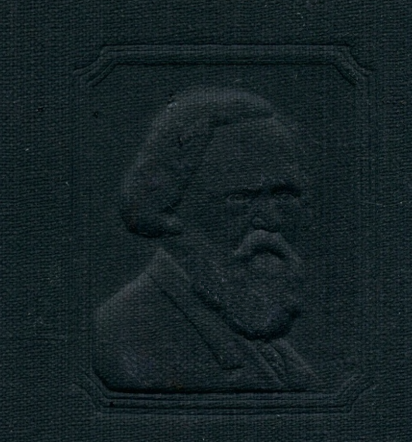
Н·П·ОГАРЕВ

ИЗБРАННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Н. П. ОГАРЕВ

ИЗБРАННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



К 75-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ СМЕРТИ

(1877 — 1952)

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

Н. П. ОГАРЕВ

ИЗБРАННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Под общей редакцией
М. Т. ИОВЧУКА и Н. Г. ТАРАКАНОВА

ТОМ ПЕРВЫЙ

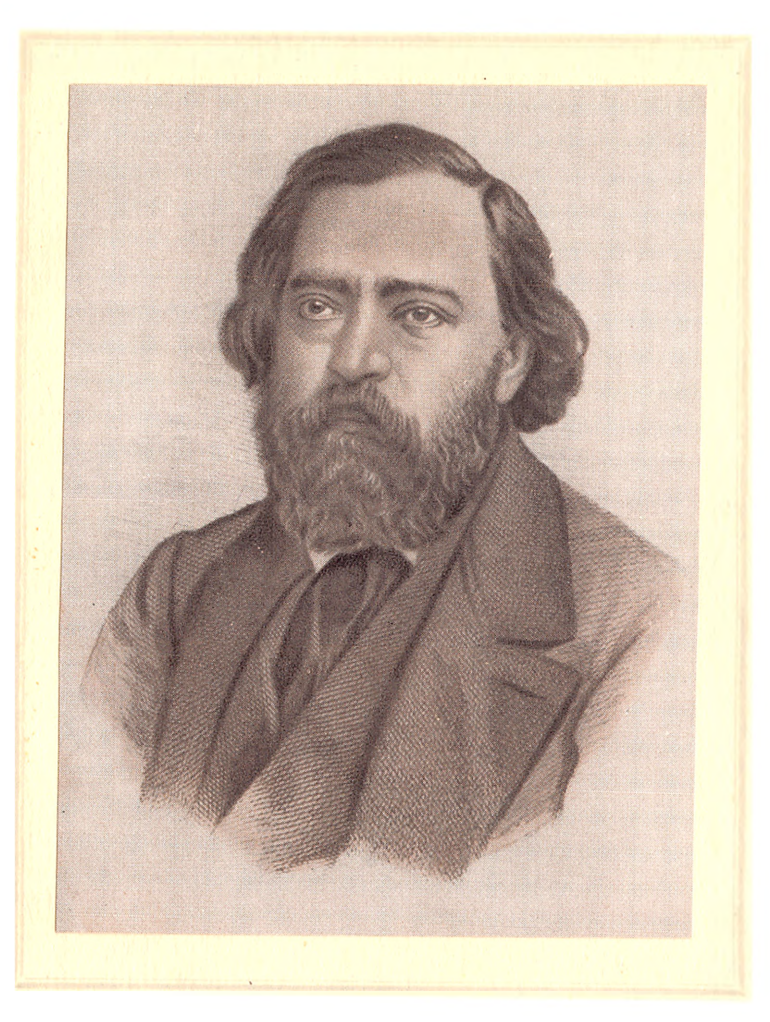
1 9 5 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИЗДАНИЕ В ДВУХ ТОМАХ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Н. Г. ТАРАКАНОВА

ПОДБОР, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА К ПЕЧАТИ И ПРИМЕЧАНИЯ
Я. З. ЧЕРНЯКА



Н. П. ОГАРЕВ
1857 г.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ Н. П. ОГАРЕВА

Выдающийся русский революционный деятель и мыслитель середины XIX века Николай Платонович Огарев (1813—1877 гг.) родился и вырос в помещичьей, барской семье. Пробужденный восстанием декабристов, он отошел от своего класса и стал непримиримым врагом крепостничества и самодержавия, стойким защитником крестьянства, поборником свободы трудящихся масс. В процессе освободительной борьбы Н. П. Огарев стал революционером-демократом, виднейшим русским публицистом, выдающимся философом-материалистом.

Н. П. Огарев был ближайшим другом и соратником А. И. Герцена, человеком, близким В. Г. Белинскому. Он принадлежал к тем немногим людям из младшего поколения дворянских революционеров, кто имел непосредственную личную связь с декабристами. Дружеские отношения завязались у Огарева с декабристом А. И. Одоевским, автором известного ответа А. С. Пушкину на его послание «В Сибирь». Жизнь и деятельность Н. П. Огарева была тесно связана с деятельностью А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова, братьев А. А. и Н. А. Серно-Соловьевичей, А. А. Потебни и многих учеников и последователей Н. Г. Чернышевского, эмигрировавших в 1860-х годах за границу и составивших там так называемую «молодую эмиграцию». За свою почти полувековую (с 1832 по1877 г.),

общественную деятельность Н. П. Огарев соприкасался с представителями различных направлений в русском освободительном движении XIX века: дворянскими революционерами, революционными демократами, революционными народниками.

Разносторонний талант и блестящее образование, исключительная нравственная чистота и преданность делу освобождения народных масс—все это ставило Н. П. Огарева в центр круга людей, среди которых ему приходилось действовать. «В Огареве было то магнитное притяжение,— говорил А. И. Герцен,— которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собою сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незаметно сердцем организма»[1].

Весь жизненный путь Н. П. Огарев и А. И. Герцен прошли вместе, плечом к плечу. Революционная деятельность, развитие политических и философских воззрений, литературное творчество этих двух поборников свободы протекали в неизменном союзе, дружбе и взаимном влиянии. Близость Н. П. Огарева и А. И. Герцена основывалась не только на личной взаимной симпатии, но прежде всего на единстве их мировоззрения, на совместной революционно-освободительной деятельности.

Несмотря на единство социально-политических и философских убеждений Н. П. Огарева и А. И. Герцена, у каждого из них есть своя яркая индивидуальность, самостоятельный путь идейного развития. Каждый из них занимает свое место в истории российского освободительного движения, русской общественной мысли. «Раз встретясь, наши жизни не могли не итти вместе»[2],— писал, обращаясь к А. И. Герцену, Н. П. Огарев.

«Я без него — один том недоконченной поэмы, отрывок»[3],— говорил об Огареве А. И. Герцен. Постоянно подчеркивая общность направления, признавая благотворность взаимного влияния, каждый из них в то же

---

[1] *А. И. Герцен,* Былое и думы, Гослитиздат, Л. 1946, стр. 74.

[2] Центральный Государственный архив Октябрьской революции; в дальнейшем именуется ЦГАОР, ф. № 5770, оп. 1, ед. хр. 43, зап. кн. 43а, л. 56—57.

[3] *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке, т. I, П. 1915, стр. 160.

время стремился «самоопределиться», отчитаться друг перед другом в своем «былом» и в своих «думах».

Н. П. Огарев неоднократно пытался написать историю своей жизни и историю своего умственного развития. До нас дошли лишь отрывки этих его записок. Однако уже эти фрагменты, так же как и все литературное наследство Огарева, неопровержимо свидетельствуют о том, что Н. П. Огарев прошел самостоятельный путь теоретических исканий.

В одном из автобиографических отрывков, озаглавленных «Моя исповедь», обращаясь к А. И. Герцену, Н. П. Огарев прямо говорит о двух самостоятельных линиях в их идейном развитии. «Пусть же моя исповедь,— пишет он,— будет для твоего Былого и Дум дополнением до двух прямых» [1].

За несколько лет до поступления в университет Н. П. Огарев вместе с А. И. Герценом на Воробьевых горах перед лицом древней русской столицы — Москвы присягнул отдать свою жизнь борьбе за свободу и счастье родного народа. Этой клятве он оставался верным до последнего дня жизни. В Московский университет Н. П. Огарев пришел с заветной целью создать тайное общество последователей декабристов. Здесь он быстро установил связь с группой передовых студентов. Узнав, что студенты смежного факультета собираются устроить «бенефис», т. е. учинить обструкцию невежественному и грубому профессору Малову, он явился в аудиторию и поддержал товарищей. Н. П. Огарев установил дружественные отношения со многими членами кружка Сунгурова. Когда сунгуровцы были арестованы, он не отвернулся от них. Не боясь быть заподозренным, он организовал сбор денег в их пользу и лично явился в тюрьму, чтобы передать арестованным собранные деньги. Он ездил на один этапный пункт, а затем и на другой, чтобы проститься со своими товарищами, которых по указу царя гнали в ссылку. За связь с ссыльными сунгуровцами Н. П. Огарев был подвергнут первой царской репрессии, и за его поведением был учрежден секретный полицейский надзор.

---

[1] ЦГАОР, ф. № 5770, оп. 1, ед. хр. 43, зап. кн. 43а, л. 56—57.

Но это не остановило Н. П. Огарева. Он попрежнему искал возможности выразить свое презрение к ненавистному царскому режиму. Вместе с литератором В. И. Соколовским он распевал сатирические песенки о «царственной особе» Николая I, а однажды в подъезде Малого театра они пели даже «Марсельезу». В 1834 г. Н. П. Огарев был арестован и посажен в тюрьму.

Находясь в тюрьме, Н. П. Огарев организовал переписку с арестованным по одному с ним делу Оболенским, а на допросах держал себя так, что следственная комиссия квалифицировала его как «скрытного фанатика». Отправленный в ссылку в Пензенскую губернию в распоряжение местных властей, Н. П. Огарев фактически так и не стал там служить, хотя и был обязан к тому приговором царя. Пять лет ссылки были использованы Огаревым для усиленной теоретической работы. Будучи еще на положении ссыльного и находясь под надзором полиции, Н. П. Огарев добился разрешения поехать на Кавказ и, следуя туда, в мае 1838 г. навестил в Саратове своего друга А. К. Лахтина, сосланного по одному с ним делу, а на Кавказе встретился с другим своим другом — Н. М. Сатиным, также осужденным вместе с ним и сосланным в Симбирскую губернию. В Пятигорске он познакомился и сдружился с ссыльными декабристами.

Получив после смерти отца (1838 г.) огромное наследство, Н. П. Огарев тотчас начал и в 1846 г. закончил дело об отпуске на волю 1 820 крепостных (вместе с семьями — около 4 000 человек). Он передал им всю землю, богатейшие заливные луга и лесные массивы. Этот поступок Огарева был дерзким вызовом помещичье-крепостническому режиму. В то же время в других своих имениях он основал спиртовые, сахарные, писчебумажные и другие заводы, организовал сельскохозяйственные фермы и пытался наладить отношения со своими крестьянами на началах свободного наемного труда.

Н. П. Огарев был первым из людей своего круга, кто решился отказаться от огромного дохода, который приносили ему тысячи десятин пахотной земли, лугов и леса и несколько тысяч крепостных, отказаться от всех прав и общественных привилегий дворянского сословия. В письмах к своим друзьям — к А. И. Герцену, Н. Х. Кетчеру,

Н. И. Сазонову и другим — он призывал их следовать его примеру.

В письме к А. И. Герцену от 14 февраля 1845 г. он писал: «Друг! Чувствовал ли ты когда-нибудь всю тяжесть наследного достояния? Был ли у тебя когда-нибудь горек кусок, который ты кладешь в рот? Был ли ты унижен перед самим собой, помогая бедным — на чужие деньги? Как глубоко чувствуешь ты, что только личный труд дает право на наслаждение? Друг! Уйдем в пролетарии. Иначе задохнешься» [1].

Живя в конце 40-х годов в провинции, большей частью в деревне, Н. П. Огарев и там сгруппировал вокруг себя людей с прогрессивными убеждениями: привлекавшегося по делу декабристов пензенского помещика А. А. Тучкова, весьма радикально настроенного помещика И. В. Селиванова и старого своего друга Н. М. Сатина. Деятельность этого кружка привлекла внимание сначала местных, а затем и петербургских властей. В конце февраля 1850 г. Н. П. Огарев со своими товарищами был арестован и привезен в Петербург. Однако Н. П. Огарев был предупрежден об аресте и успел спрятать все свои бумаги. Царские жандармы не смогли обосновать выдвинутого против него обвинения в организации «коммунистической секты». Они вынуждены были освободить его, установив, однако, за ним строгий полицейский надзор. Через месяц у Огарева снова был произведен обыск. На этот раз жандармы захватили важные документы и запрещенную литературу, что изобличало его политические взгляды и настроения. Надзор был усилен. В августе 1853 г. Огарева заподозрили в распространении революционного воззвания «Юрьев день», написанного Герценом. Полицейская слежка стала еще более строгой.

Полицейский режим Николая I, а после его смерти реакционная политика Александра II, жестокие расправы с народом, только что вернувшимся с войны, побудили Огарева покинуть Россию. В марте 1856 г. Н. П. Огарев

---

[1] *Н. П. Огарев*, Письмо к А. И. Герцену от 14 февраля 1845 г. Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Ленинград).

уехал из России за границу к А. И. Герцену и перешел на положение революционера-эмигранта.

Вместе с А. И. Герценом Н. П. Огарев развернул за границей кипучую деятельность; он был инициатором издания нескольких печатных органов, издававшихся совместно Герценом и Огаревым и рассчитанных на разные слои русского народа: «Колокола», «Общего веча» и других; являлся ревностным сотрудником издаваемых А. И. Герценом органов: «Полярной звезды» и «Под суд!». Он стал соредактором всех этих изданий, печатал в них свои теоретические, публицистические статьи и стихотворения. Н. П. Огарев собирал запрещенные в России литературные произведения, издавал их и переправлял на родину. Вместе с тем он писал, издавал и переправлял в Россию политические листовки.

Став защитником и идеологом крестьянства, Н. П. Огарев вместе с А. И. Герценом наряду с Н. Г. Чернышевским и его соратниками разрабатывал и пропагандировал революционно-демократическую идеологию, теорию утопического социализма и материалистическую философию, эстетику, этику.

В. И. Ленин говорил, что передовая мысль в России под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма жадно искала правильной революционной теории, что правильную революционную теорию Россия выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветных исканий [1]. Н. П. Огарев был одним из тех передовых представителей российского освободительного движения, которые настойчиво искали теорию, позволяющую правильно понимать окружающую действительность и пути ее революционного преобразования. Он учился, искал, проверял, сопоставляя опыт борьбы своего народа и народов Западной Европы.

Н. П. Огарев глубоко и критически изучал философскую мысль, разоблачал идеализм Шеллинга, Гегеля, агностицизм Канта, эклектическую философию Кузена, позитивизм Конта, плоский эмпиризм современных ему естествоиспытателей, правильно почувствовал ограниченность материализма Фейербаха. Н. П. Огарев указывал

---

[1] См. *В. И. Ленин,* Соч., т. 31. изд. 4, стр. 9.

на неудовлетворительность решения современными ему философами важнейших теоретических вопросов. Он стремился повернуть философию лицом к естествознанию, к политике. Н. П. Огарев подверг глубокому критическому разбору концепции почти всех крупных социологов Европы — Боссюэта, Вико, Кондорсе, Сен-Симона, Фурье, Конта, Гегеля и других, противопоставляя им свою прогрессивную социологическую теорию, исходившую из принципов революционного демократизма.

В серии статей «Частные письма об общем вопросе» Н. П. Огарев подверг критике западноевропейских социалистов-утопистов (Сен-Симона, Фурье и др.) за их либеральные иллюзии, за их отрицательное отношение к революционным методам решения коренных социальных вопросов. Он требовал насильственной ликвидации частной собственности и передачи ее в руки народа. Высоко ценя Бабефа, он критиковал его за отрыв от народа.

Н. П. Огарев бичевал славянофильство за идеализацию патриархальной старины и осуждал либеральное западничество за некритическое отношение к буржуазным порядкам Западной Европы и попытки перенести их на русскую почву. Он был убежден, что единственно разумным устройством общества является социализм, которому, по его мнению, будут присущи следующие черты: общественная собственность на землю и право каждого на равный земельный пай, а главное — общинный труд; отсутствие обездоленных и пролетариев, господ и угнетенных; равноправие людей, свобода народа, самоуправление и справедливый народный суд; неограниченные возможности для развития земледелия, промышленности и торговли. Несмотря на утопичность представлений Огарева о социализме, его общественные взгляды были в условиях России передовыми, прогрессивными.

Н. П. Огарев защищал прогрессивное, реалистическое направление в эстетике — направление А. С. Пушкина, В. Г. Белинского, Н. В. Гоголя, Н. Г. Чернышевского. Он выступал с теоретическим обоснованием жизненности и неодолимости реалистического направления в искусстве, жестоко критиковал теорию «искусство ради искусства».

Борясь против реакционной концепции «чистого искусства», Н. П. Огарев наряду с В. Г. Белинским и А. И. Герценом развивал материалистическую по своему существу

эстетическую теорию, в которой основным является положение, что искусство есть воспроизведение действительности, что художник не может отделить себя от общества.

Будучи талантливейшим поэтом, Н. П. Огарев в своих глубоких и задушевных лирических стихотворениях, из которых многие были переложены на музыку и прочно вошли в фонд русских революционных песен, выражал революционные мысли и чувства народных масс.

Уже в эмиграции Н. П. Огарев писал:

Сторона моя родимая,
Велики твои страдания,
Но есть мощь неодолимая,
И мы полны упования:
«Не сгубят указы царские
Руси силы молодецкие,—
Ни помещики татарские,
Ни чиновники немецкие!
Не пойдет волной обратною
Волга-матушка раздольная,
И стезею благодатною
Русь вперед помчится вольная!»[1]

Поэтические произведения Огарева полны сочувствия к тяжелой доле порабощенного русского народа, проникнуты освободительными и материалистическими идеями.

Н. П. Огарев впервые выступил в печати со стихами в 1840 г. В. Г. Белинский обратил на них внимание и в обзоре «Русская литература в 1841 году» одобрительно отозвался о них. Он отметил в них глубину чувства и «как бы невольные отзывы, выброшенные переполнившимся волнением»[2].

Подлинный смысл и значение поэзии Огарева в истории русской общественной мысли раскрыл на страницах «Современника» Н. Г. Чернышевский. Он говорил, что в поэзии Огарева «нашел себе выражение важный момент в развитии нашего общества», что «Огарев имеет право занимать одну из самых блестящих и чистых страниц в истории нашей литературы», что «с любовью

---

[1] *Н. П. Огарев*, Записная книжка № 27, ф. Г.— О. VI. 21, л. 23. Рукописный отдел Государственной Библиотеки СССР имени В. И. Ленина; в дальнейшем именуется РОГБЛ.

[2] *В. Г. Белинский*, Собрание сочинений в трех томах, т. II, Гослитиздат, М. 1948, стр. 182.

будет произноситься и часто будет произноситься имя г. Огарева, и позабыто оно будет разве тогда, когда забудется наш язык»[1].

И в жизни, и в творчестве Н. П. Огарев выступал как горячий патриот, беспредельно любивший свою родину, бескорыстно служивший своему народу, посвятивший делу освобождения и прогресса всю свою жизнь.

Постоянно преследуемый царским правительством, Н. П. Огарев вынужден был последние двадцать лет жизни провести за границей. Но царизм и там преследовал его. Ему неоднократно предписывалось возвратиться в Россию. А после того как Н. П. Огарев, предвидя грозившую ему расправу, отказался исполнить царское предписание, он был лишен всех прав состояния и навечно изгнан из отечества.

Любовь к русскому народу и вера в его неисчерпаемые силы не угасали в Огареве никогда. Будучи уже престарелым и больным и находясь вдали от родины, он в 1872 г. писал:

Люблю народ, любовь моя не может
Придти в испуг отнюдь ни перед кем.
Пускай она всю жизнь меня тревожит,
Но род людской не двинуть мне ничем,
Стою печально на краю могилы,
Стремлением иль злобою томим,
И чувствую, как втайне гаснут силы,
Но остаюсь еще неколебим[2].

Когда Н. П. Огарев умер и весть о его смерти дошла до крестьян, которых он отпустил в 40-х годах на волю, то они учредили в селе Верхнем Белоомуте общественную библиотеку его имени, где хранили его портрет и другие реликвии.

Это явилось выражением признательности простого русского народа неутомимому борцу за народные интересы.

---

[1] *Н. Г. Чернышевский,* Избранные философские сочинения, т. II, Госполитиздат, 1950, стр. 44, 42, 41.

[2] *Н. П. Огарев,* Записная книжка № 10 РОГБЛ, ф. Г.— О. VII. 4, л. 9—10, 18.

* * *

Н. П. Огарев выступал на общественном поприще в период с 1830-х по 1870-е годы. В то время в большинстве стран Западной Европы уже произошли или происходили буржуазные революции. Крутой поворот происходил и в развитии России.

Старая система крепостнического хозяйства хотя и оставалась до середины XIX столетия господствующей в России, но под влиянием развивавшихся капиталистических отношений и растущего возмущения крестьянства разлагалась и приходила в упадок.

«Крепостное общество,— говорил В. И. Ленин,— всегда было более сложным, чем общество рабовладельческое. В нем был большой элемент развития торговли, промышленности, что вело еще в то время к капитализму» [1].

К середине XIX века товарно-денежные отношения глубоко проникли во все отрасли народного хозяйства России. В стране существовала хозяйственная специализация районов. Внутри отдельных отраслей народного хозяйства было значительное разделение труда. Капиталистические отношения начали проникать в основную отрасль производства дореформенной России — в сельское хозяйство.

К 1860 г. в России было уже более 14 тысяч промышленных предприятий, на которых работало свыше полумиллиона рабочих; 87% рабочих были вольнонаемными. В промышленности появились машины. Мануфактуры превращались в фабрики.

В. И. Ленин относил начало образования общероссийского рынка еще к XVII веку. В первую половину XIX века в России были уже постоянные крупные торговые центры с устойчивыми связями со всеми главнейшими жизненными центрами страны. Крупные города России стали средоточием торговли. Страну покрывала сеть ярмарок, базаров и бесчисленное количество мелких сельских торжков.

Внушительных размеров достигла в первую половину XIX века внешняя торговля России. Русское купечество

[1] *В. И. Ленин,* Соч., т. 29, изд. 4, стр. 444.

и промышленники участвовали во всех международных торговых компаниях того времени. Оборот внешней торговли за первую половину XIX века увеличился в три с половиной раза и достиг в 1856—1860 гг. 431,46 миллиона рублей в год.

В первую четверть XIX века был построен ряд новых каналов, образовавших сквозной водный путь между Каспийским и Балтийским морями. В 1815 г. по Неве пошел первый русский пароход. С 1820-х годов началось постоянное движение пароходов по Волге. В 1837 г. была построена первая железная дорога в России (Царскосельская), а к 1851 г. было закончено строительство железной дороги между Петербургом и Москвой.

Изменения в экономической жизни России до крайности обострили противоречия феодального общества. Русский народ, разгромивший полчища «непобедимого» Наполеона Бонапарта и избавивший народы Европы от наполеоновского владычества, попрежнему оставался в крепостническом рабстве. Это не могло не усилить возмущения и протеста народа. Крестьянские массы стали активнее выступать против крепостного строя.

Русская буржуазия развивалась в условиях рабской зависимости от самодержавия, от помещиков. Революционная борьба пролетариата в Европе, борьба крестьянских масс в России пугала буржуазию, и она искала опоры в царизме, добиваясь от него лишь некоторых реформ и уступок. Поддерживаемая и поощряемая либеральной частью помещиков, русская буржуазия сама не выходила за рамки умеренного либерализма, искала компромисса, сделки с помещиками и царем.

В. И. Ленин говорил, что пресловутая борьба либералов с крепостниками была борьбой внутри господствующих классов, большей частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы уступок. «Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об *уничтожении* этой собственности, о *полном свержении* этой власти» [1].

Положение крепостного крестьянства в России перед реформой 1861 г. непрерывно ухудшалось. Разоренное и

---

[1] *В. И. Ленин*, Соч., т. 17, изд. 4, стр. 96.

истощенное возрастающей помещичьей эксплуатацией, казенными поборами, чиновничьими взятками, доведенное до отчаяния произволом помещиков и чиновников, крепостное крестьянство все настойчивее требовало своего освобождения. Постоянно и повсеместно возникали волнения, «бунты», сопровождавшиеся поджогами барских усадеб, убийствами помещиков. Крестьянство хотело полной ликвидации крепостного права, отмены помещичьей собственности на землю, упразднения власти помещиков и устранения царских чиновников, хотело свободы, уничтожения сословных привилегий, народного самоуправления. «Эти революционные мысли,— говорил В. И. Ленин,—не могли не бродить в головах крепостных крестьян» [1].

Освободительная борьба русского крестьянства вела к буржуазно-демократической революции. Но забитые веками рабства крестьянские массы были способны только на раздробленные, единичные восстания, «бунты», не освещенные научным политическим сознанием; «...революционное *движение* в России,— говорит В. И. Ленин,— было тогда слабо до ничтожества, а революционного *класса* среди угнетенных масс вовсе еще не было» [2].

Хотя в то время в России уже имелось известное число фабрично-заводских рабочих, однако оно было еще незначительно, а политическое сознание этих рабочих еще немногим отличалось от сознания крестьян. Русский пролетариат сложился и выступил на историческую арену как революционный класс лишь в 80—90-х годах XIX века.

Тем не менее неумолимая сила экономического развития России неуклонно вела к ликвидации крепостничества. Помещики искали возможности приспособить крепостную систему к новым требованиям экономической жизни русского общества. В 1861 г. помещичьим правительством была проведена так называемая крестьянская реформа.

«Какая же сила,— говорит В. И. Ленин,— заставила их взяться за реформу? Сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма. Помещики-

---

[1] *В. И. Ленин*, Соч., т. 17, изд. 4, стр. 96.
[2] Там же, стр. 94.

крепостники не могли помешать росту товарного обмена России с Европой, не могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства. Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России. Крестьянские «бунты», возрастая с каждым десятилетием перед освобождением, заставили первого помещика, Александра II, признать, что лучше освободить *сверху,* чем ждать, пока свергнут *снизу*»[1].

В. И. Ленин характеризовал «крестьянскую реформу» как буржуазную реформу, проведенную крепостниками, видел в ней шаг по пути превращения русской феодальной монархии в монархию буржуазную.

На протяжении почти всего XIX века политическая и идеологическая борьба в России развертывалась между двумя общественно-политическими лагерями, представленными либералами и революционными демократами.

«Либералы были и остаются,— говорил В. И. Ленин,— идеологами буржуазии, которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится революции, боится движения масс, способного свергнуть монархию и уничтожить власть помещиков»[2]. Либералы стремились ограничиться «борьбой за реформы», «борьбой за права», их требования сводились к дележу власти между крепостниками и буржуазией. В. И. Ленин говорил, что при таком соотношении сил никаких иных «реформ», кроме проводимых крепостниками, никаких иных «прав», кроме ограниченных произволом крепостников, не могло получиться.

В противовес либералам революционные демократы во главе с Н. Г. Чернышевским были идеологами крестьянства. Они влияли на все политические события того времени в революционном духе, проводили через все рогатки царской цензуры идеи крестьянской революции. Они понимали всю узость и крепостническую сущность пресловутой «крестьянской реформы», изобличали лицемерие либералов, их холопство перед помещиками и правительством.

В ряду выдающихся деятелей антикрепостнического лагеря, борцов за интересы крестьянства почетное место принадлежит Н. П. Огареву.

---

[1] *В. И. Ленин,* Соч., т. 17, изд. 4, стр. 95.
[2] Там же, стр. 96.

* *
*

Николай Платонович Огарев явился преемником и продолжателем славных революционных идей и традиций А. Н. Радищева и декабристов.

Непрерывно растущее возмущение крестьянских масс крепостническими порядками и особенно могучее восстание крестьян под водительством Пугачева значительно подорвали «вековые устои» крепостнической системы, породили у передовых людей России свободолюбивые, антикрепостнические настроения.

Передовая часть дворянства особенно остро почувствовала уродливость и отсталость общественного устройства России после всенародной отечественной войны против нашествия французов, после победоносных походов русской армии в Западную Европу. Рабство и бесправие народа-героя, освободившего от иноземных захватчиков свою землю и земли других народов, казалось им позорным и преступным. В. И. Ленин говорил, что в то время руководство политическим движением принадлежало почти исключительно офицерам-дворянам. Лучшие, передовые офицеры «были заражены соприкосновением с демократическими идеями Европы во время наполеоновских войн» [1].

Когда царь Александр I фактически отдал Россию в управление Аракчееву, прогрессивная дворянская молодежь, и прежде всего офицерство, пришла к сознанию необходимости вооруженной борьбы против деспотического самодержавия как главного оплота крепостничества. Это было началом революционно-освободительного движения в России, началом его первого, дворянского периода.

Из среды передовых дворян в то время (1825—1861 гг.) рекрутировалось наибольшее число революционеров, и лишь одна четвертая часть приходилась на другие классы. Но круг дворянских революционеров был чрезвычайно узок: они были далеки от народа, боялись революционной стихии масс. Поэтому, несмотря на героизм одиночек, они без поддержки народных масс оказались бессильными перед лицом самодержавия.

---

[1] *В. И. Ленин,* Соч., т. 23, изд. 4, стр. 237.

Однако опыт борьбы с неизбежностью подводил лучших, наиболее дальновидных дворянских революционеров к выводу о необходимости сближения с народом и заставлял глубже изучать положение народных масс, формулировать, обосновывать и защищать их интересы. Исторический ход и логика событий толкали передовых дворянских революционеров на позиции демократов-революционеров. Наиболее передовые из них во главе с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым поняли силу, таящуюся в крестьянстве, и открыто встали на его сторону.

Большую роль в процессе перехода дворянских революционеров на позиции последовательного революционного демократизма сыграло влияние революционеров-разночинцев. Они были наследниками дворянских революционеров, преемниками их революционной теории и революционных традиций и вместе с тем их суровыми, но справедливыми критиками.

То, что революционеры-разночинцы были не только критиками дворянских революционеров, но и их учениками, последователями, преемниками их революционных традиций, свидетельствует о том, что великое дело дворянских революционеров не пропало даром. В. И. Ленин говорил: «Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом» [1].

Н. П. Огарев принадлежал к младшему поколению дворянских революционеров. Как и А. И. Герцен, он принадлежал к числу тех людей, которых, по словам В. И. Ленина, разбудило и «очистило» восстание декабристов.

Выросший в семье крупнопоместного дворянина, Н. П. Огарев с самого раннего детства испытал на себе гнет патриархальных «устоев» барского быта, был свидетелем многочисленных случаев проявления ненависти крепостных людей к крепостникам. Глубокое чувство ненависти крепостного человека к барам постепенно передавалось и Огареву, развиваясь в нем в органическую потребность сопротивления и борьбы против старого,

---

[1] *В. И. Ленин,* Соч., т. 18, изд. 4, стр. 14—15.

отжившего мира. «Я на этом чувстве и рос»[1],— говорил о себе Н. П. Огарев.

Как и А. И. Герцен, Н. П. Огарев воспитывался на русской литературе, на произведениях Державина, Фонвизина, Новикова, Радищева, Рылеева, Чаадаева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, а также на идеях просветителей Западной Европы.

Решающее влияние на Н. П. Огарева оказали декабристы, с идеями которых он познакомился и сроднился будучи еще мальчиком. Н. П. Огарев глубоко воспринял героическую попытку лучших русских людей силой оружия уничтожить деспотический самодержавный строй в России. Он был свидетелем расправы над декабристами, свидетелем того, как Николай I с тупым фанатизмом душил и преследовал начинающееся революционное движение.

Как и А. И. Герцен, Н. П. Огарев почувствовал, что его место «не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи»[2]. Н. П. Огарев и А. И. Герцен подхватили великие освободительные идеи и революционные традиции декабристов и смело пронесли их сквозь удушливую атмосферу реакции и полицейского режима Николая I. «Задушить безмолвную мысль,—говорил Н. П. Огарев,— правительство не могло»[3]. Судьба родины, судьба порабощенного народа России стояла теперь неотступно перед Огаревым.

В 1859 г. Н. П. Огарев любовно собрал и подготовил к изданию в Лондоне знаменитые «Думы» декабриста К. Ф. Рылеева. Кроме предисловия он написал посвященные К. Ф. Рылееву стихи, в которых говорит о том, какое глубокое влияние оказали на него декабристы в пору его ранней юности:

В святой тиши воспоминаний
Храню я бережно года
Горячих первых упований,
Начальной жажды дел и знаний,
Попыток первого труда.
Мы были отроки. В то время

[1] *Н. П. Огарев,* Записки русского помещика, Записная книжка № 35. РОГБЛ, ф. Г.— О. VI. 35, л. 44.

[2] *А. И. Герцен,* Былое и думы, стр. 32.

[3] См. настоящий том, стр. 418.

Шло стройной поступью бойцов —
Могучих деятелей племя
И сеяло благое семя
На почву юную умов.
Везде шепталися. Тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с робостью во взгляде,
Звучащий стих свободы ради,
Таясь, твердили по ночам.
Бунт, вспыхнув, замер. Казнь проснулась.
Вот пять повешенных людей...
В нас сердце молча содрогнулось,
Но мысль живая встрепенулась,
И путь означен жизни всей.
Рылеев был мне первым светом...
Отец! По духу мне родной —
Твое названье в мире этом
Мне стало доблестным заветом
И путеводною звездой...[1]

В 1838 г. в Пятигорске Н. П. Огарев встретился с переведенными из Сибири на Кавказ декабристами М. М. Нарышкиным, Н. И. Лорером, А. Е. Розеном, В. Н. Лихаревым, М. А. Назимовым, А. И. Одоевским. Эти встречи оставили в его памяти неизгладимое впечатление на всю жизнь:

И если б мне пришлось прожить еще года,
До сгорблой старости, венчанной сединою,
С восторгом юноши я вспомню и тогда
Те дни, где разом все явилось предо мною,
О чем мне грезилось в безмолвии труда,
В бесцветной тишине унылого изгнанья,
К чему душа рвалась в годину испытанья:
И степь широкая, и горные хребты —
Величья вольного громадные размеры,
И дружбы молодой надежды и мечты,
Союз незыблемый во имя тайной веры;
И лица тихие, спокойные черты
Изгнанников иных, тех первенцев свободы,
Создавших нашу мысль в младенческие годы[2].

Встреча Н. П. Огарева с декабристами явилась символом исторической преемственности двух поколений деятелей русского освободительного движения. Именно так понимал ее и сам Огарев. «Встреча с Одоевским и декабристами,— писал он,— возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом

[1] См. настоящий том, стр. 347.
[2] Там же, стр. 402.

к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь... это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи... Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению — поколения, принявшего завет и продолжающего задачу» [1].

Свято чтя идейные революционные традиции декабристов, Н. П. Огарев не остановился на них, а пошел дальше. Борьба против крепостничества и самодержавия, за интересы народа была содержанием всей жизни Н. П. Огарева. Он писал о себе:

Когда я был отроком тихим и нежным,
Когда я был юношей страстно-мятежным,
И в возрасте зрелом, со старостью смежном,—
Всю жизнь мне все снова, и снова, и снова
Звучало одно неизменное слово:
Свобода! Свобода! [2]

Начиная с 1830-х годов Н. П. Огарев настойчиво искал правильного ответа на вопрос об исторических судьбах народа России. К концу 1840-х годов он пришел к твердому убеждению, что идеал, за который должен бороться русский народ, не в прошлом, как утверждали славянофилы, и не в настоящем, как утверждали разного рода идеологи крепостничества и самодержавия, а только в будущем, но не в том буржуазно-мещанском будущем, какое проповедовали либералы, именовавшие себя «западниками», а в социалистическом будущем.

Н. П. Огарев был врагом рабства не только крепостнического, но и капиталистического. Он боролся за учреждение в России демократического республиканского строя. Вместе с тем он явился одним из основоположников русского крестьянского утопического социализма, поборником общественного строя, основанного на общинной собственности на землю, на коллективном труде и самоуправлении.

По мнению Огарева, освобожденная от крепостной зависимости и от помещичье-чиновничьей власти кре-

---

[1] См. настоящий том, стр. 406.

[2] *Н. П. Огарев,* Стихотворения и поэмы, т. I, «Советский писатель», 1937, стр. 206.

стьянская община с ее коллективной собственностью на землю и обычаем работать артелью, с ее самоуправлением на основе неписаного обычного права могла бы стать основой общинного социализма. Учитывая горький опыт народов западноевропейских государств, он считал, что Россия может и должна итти и развиваться к социализму, минуя капитализм.

Теория «русского крестьянского социализма» Огарева была утопической. Его социалистические идеалы были связаны с верой в социалистические начала русской крестьянской общины, в возможность не допустить в России господства буржуазии и пролетаризации крестьянства. Н. П. Огарев не видел и не мог еще видеть в то время противоречий развивающегося в России капитализма, мелкобуржуазной природы крестьянства. Он не знал и не мог еще знать, что единственным классом, способным возглавить борьбу за социализм, против капитализма, является рабочий класс. На деле социализм Огарева, как и социализм Герцена,— «прекраснодушная фраза, доброе мечтание» (*В. И. Ленин*). Вместе с тем В. И. Ленин видел в социализме Герцена (а значит, и Огарева) выражение революционных стремлений русского крестьянства, борющегося за полное уничтожение помещичьей власти и помещичьего землевладения.

Н. П. Огарев призывал к немедленному уничтожению крепостного права. Он настаивал на передаче земли крестьянским общинам, боролся против сословных привилегий, чиновничества, он требовал установления такого государственного строя, при котором выборные и ответственные перед обществом люди будут управлять страной. Его политическим идеалом было объединение самоуправляющихся народов России в единую федерацию демократических республик. В этом заключалась социально-политическая программа Огарева. Он справедливо считал ее программой социальной революции.

Н. П. Огарев одним из первых разгадал реакционную сущность либерализма и уже в 1836 г. в письмах убеждал своих товарищей отказаться от надежд на аристократию и перенести все свое внимание на крестьян. В начале 1837 г. в письме к А. И. Герцену он резко критиковал русский помещичий класс и помещичий строй. Вместе

с тем он впервые высказывает здесь мысль о том, что сила, способная обновить Россию,— в массах угнетенного народа.

О помещичьей аристократии Н. П. Огарев писал: «...тут ни одной идеи не принимают горячо, солнце блестит на кристальной поверхности, но не проницает ее» [1]. Да и нет оснований, говорил он, ожидать от помещиков сочувствия каким бы то ни было прогрессивным идеям, ибо это сословие идет к упадку. «У нас,— пишет он,— помещики, а выше помещик· помещиков, помещик en grand, и что хуже — один или многие, не знаю» [2]. Отмечая факт усиления эксплуатации крестьян помещиками, Н. П. Огарев говорит, что помещики отпускают на волю тысячи дворовых людей не по великодушию, а так, как уничтожают конные заводы в неурожай овса,— дорого кормить. «Эти ненужные,— писал Н. П. Огарев,— ненавидят помещика прежде вольноотпущения, потому что притеснены, а после потому, что им есть нечего» [3]. Крестьян же, говорит Н. П. Огарев, помещики никогда не отпустят на волю добровольно. «*Мы* (?) слишком любим сложа руки сидеть на штофном диване, курить Р. А., пить цветочный чай, который не стоит же более как несколько кровопотных капель земледельца, а земледелец пусть попросит Христа ради, добрые люди дадут копеечку» [4].

Н. П. Огарев изобличает лицемерные заявления, будто и аристократия подвергается притеснениям так же, как и все другие слои русского общества. «С чего вы взяли,— пишет он,— что ее давят? Какое заблуждение! Давят идеи в юных умах, а вам кажется, что давят аристократию, потому что из них некоторые аристократического происхождения. Поживите в провинции, послушайте вопль утесненных, посмотрите на жестокость даже либералов-помещиков, взгляните на то, что эта жестокость всегда бывает оправдана, несмотря ни на какие просьбы, то вы увидите, что аристократию не давят, а поддерживают» [5].

---

[1] См. «Записки Отдела рукописей» Государственной Библиотеки СССР имени В. И. Ленина, вып. 12, М. 1951, стр. 185.

[2] Там же

[3] Там же.

[4] Там же.

[5] Там же.

Н. П. Огарев отвергает надежды на либерализм, культивируемый в дворянских гостиных, и предлагает обратиться со словами призыва к народу. «Полноте-с! — пишет он.— Снимите ваш фрак, наденьте серый кафтан, вмешайтесь в толпу, страдайте с ней, пробудите в ней сочувствие, возвысьте ее, ее возвышение будет глас трубный!..» [1]

Н. П. Огарев подчеркивает, что этот путь тяжел и опасен, но он — единственно верный путь. «...туча идет с запада,— образно говорит он,— и все облака по дороге пристают к ней, сядьте на эту тучу и управляйте ей, посылайте молнию, где нужно жечь, дождь, где нужно напоить землю, бурю на море, вихри на степи, вылейте эту тучу, вылейте всю до капли — и солнце озарит землю!..» [2] Так под влиянием «вопля угнетенных» в сознании Н. П. Огарева уже к концу 30-х годов отчетливо складываются революционно-демократические взгляды по коренным вопросам общественной жизни.

Из дворянских революционеров Н. П. Огарев раньше других начал понимать роль народа в революции, смелее, настойчивее и последовательнее других отстаивал интересы народа.

Продолжая традиции декабристов, он был поборником революционных методов осуществления демократического «социального идеала». Однако в мировоззрении Н. П. Огарева, как и в мировоззрении А. И. Герцена, были либеральные колебания. В статьях 1850-х годов в «Колоколе» Н. П. Огарев разделял неправильную точку зрения А. И. Герцена, который, как известно, после поражения революции 1848 г. в странах Западной Европы на время усомнился в целесообразности кровопролитных восстаний, не давших желаемых для народных масс результатов.

Считаясь с фактом, что иллюзии о «царе-батюшке» были еще сильны в широких массах темного и забитого крестьянства, Н. П. Огарев не считал целесообразным открыто выдвигать лозунг всеобщего вооруженного восстания крестьян. «...Что же я думаю о вооруженной

---

[1] См. «Записки Отдела рукописей» Государственной Библиотеки СССР имени В. И. Ленина, вып. 12, М. 1951, стр. 185—186.

[2] Там же, стр. 186.

революции в России. Я думаю,— говорил он,— что пока народ, для достижения ликвидации частных поземельных собственностей в собственность общественную употребляет знамя императорской власти (а эта ликвидация для народа идет прежде ликвидации казенной поземельной собственности), до тех пор не может быть достаточных средств и элементов для вооруженной революции; могут являться только случайные, отдельные попытки, которые не в силах ни ясно постановить свою задачу, ни достигнуть до победы. Сколько бы это не было прискорбно для наших революционных симпатий, но действительность ярко является в этом виде и спорить против факта нельзя» [1].

Не отказываясь окончательно от идеи революции, Н. П. Огарев еще в 50-х годах проводит исторически не оправдавшую себя тактику «вызова» правительства на осуществление исторически необходимой демократической реформы. Отзываясь на либеральные декларации нового царя (Александра II), Н. П. Огарев надеялся на проведение демократической реформы властью царя и волей либеральных помещиков. В своих статьях в «Колоколе» он настойчиво советует царю использовать самодержавную власть для освобождения крестьян с землей во избежание «дикой пугачевщины». Вместе с тем Н. П. Огарев резко критикует и осуждает нерешительность царя в осуществлении великих и справедливых требований народа.

Н. П. Огареву казалось первое время, что царь и либеральные помещики могут осознать необходимость и неизбежность социального переустройства России и, при доброй воле, осуществить необходимые преобразования «без излишних жертв» и «кровопролития». Он апеллировал к образованному меньшинству, т. е. к среднему слою помещичьего класса, выдвигая перед ним, так же как и перед царем, программу демократических по своему существу преобразований. В то же время он резко критиковал сословное корыстолюбие и консерватизм помещичьего класса, тупость и кастовость чиновничества.

Питая утопические надежды на либеральные тенденции нового царя и на благоразумие среднего дворянства,

---

[1] ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 44, л. 23 об.

Н. П. Огарев выступает перед ними с подробными экономическими выкладками, убеждая в выгодности отмены крепостного права. В противном случае, грозно предупреждает Н. П. Огарев помещиков, их ожидает полное физическое уничтожение.

Н. П. Огарев выступил в 50-х годах с идеей правительственного выкупа помещичьей земли крестьянами. Он считал, что выкуп является хотя и несправедливым, но все же, по его мнению, приемлемым вариантом разрешения наболевшего крестьянского вопроса. Он внимательнейшим образом следит за каждым шагом подготовляемой царским правительством реформы, критикует работу губернских дворянских комитетов, правительственных редакционных комиссий и главного комитета, а также различные проекты реформы. Он сам разработал и послал брату царя Константину Романову проект реформы. Не получив ответа, он опубликовал его в «Колоколе». В этом проекте Н. П. Огарев требовал: немедленного одновременного и полного освобождения крестьян с землей, немедленного и полного устранения помещиков от управления крестьянами, признания за крестьянскими общинами права на самоуправление, предоставления крестьянам государственного долгосрочного кредита для того, чтобы они могли уплатить выкуп помещикам, покончив, таким образом, раз и навсегда с зависимостью от них. Огарев требовал в своем проекте, чтобы правительство путем «общефинансовых мер» само выкупило у помещиков крестьянскую землю. Он предлагал правительству создать специальный банк, который выдал бы помещикам правительственные долговые обязательства (облигации) и впоследствии постепенно выплачивал бы по ним выкупные суммы и проценты. Крестьяне же должны платить за землю не помещикам, а правительству и притом в таком размере, чтобы общая сумма их ежегодных платежей правительству не превышала обычных подушных податей. Огарев всячески доказывал реальность своего проекта и предлагаемых им финансовых мер.

Таким образом, в мировоззрении Н. П. Огарева, как и в мировоззрении А. И. Герцена, были либеральные колебания, однако демократизм брал верх над всеми либеральными колебаниями.

Реформистские заблуждения Огарева не были длительными. Когда он в начале 60-х годов увидел крепостнический характер реформы 1861 г., он со страниц «Колокола» заявил, что «народ царем обманут», что «старое крепостное право заменено новым».

Разделяя возмущение народных масс крепостническим характером реформы, он горячо приветствовал подъем волны крестьянских восстаний. Именно с этого момента Н. П. Огарев вновь призывает к крестьянской революции и предпринимает попытки к ее практической подготовке. Отныне для него становится совершенно ясным, что возможный путь к свободе только один — вооруженное восстание, насильственное низвержение царя и его правительства, экспроприация помещиков. Он писал:

Надо самим взяться за топор.
Только тогда мы царям да боярам
Можем дать должный отпор[1].

Непреклонным врагом либерализма Н. П. Огарев выступил в «Колоколе» в статье «Надгробное слово», в которой бичевал «профессоров, вьющих гнилую паутинку своих высокомерно-крошечных идеек, экс-профессоров, когда-то простодушных, а потом озлобленных, видя, что здоровая молодежь не может сочувствовать их золотушной мысли»[2]. Отмечая эту статью «Колокола», клеймившую либералов, В. И. Ленин говорил, что «Кавелин сразу узнал себя в этом портрете»[3].

Н. П. Огарев призывал А. И. Герцена поскорее разделаться с остатками иллюзорных надежд на возможность мирного решения крестьянского вопроса. Не реформа сверху, а революция снизу — вот единственно надежный путь к избавлению от рабства. Подводя итоги восьмилетней борьбы, Н. П. Огарев в 1869 г. писал А. И. Герцену:

«Реформа постепенная остается неудачною — или потому, что она выходит из предвзятых социологий, или потому, что она неискренна и ведет не к цели народных желаний, а к целям правительственного меньшинства. Это оказалось при всех русских реформах (о чем я

---

[1] *Н. П. Огарев,* Записная книжка № 16, РОГБЛ, ф. Г.— О.VI.16, л. 28.

[2] См. настоящий том, стр. 654.

[3] *В. И. Ленин,* Соч., т. 18, изд. 4, стр. 13.

писал, начиная с разбора манифеста об освобождении крестьян) — да и в других странах оказывалось подобное. Таким образом, неудача постепенных реформ — вызывает революцию, как неизбежность» [1].

Одновременно Н. П. Огарев решительно отвергал анархические установки М. А. Бакунина на стихийные разрозненные крестьянские бунты и требовал такой всенародной революции, которая освещалась бы ясностью понимания целей борьбы, единством цели. «Ты,— обращается Н. П. Огарев к М. А. Бакунину,— в «Постановке революционного вопроса» хочешь навязать народу движения, которых нет; движения, которые являются как частные уходы от бед и преследований, и от этого и в прежней России не удались, что не могли никогда дойти до ношения в себе общего дела, общего вопроса, общей переделки. Так же не могут удаться и в современной России. Удаться могут только движения, которые пойдут не в лес, а на сельские площади, которые будут знать, чего требуют, которые даже если и пострадают, то зная, за что» [2].

Н. П. Огарев провел большую работу по организации и развертыванию в России практической революционной борьбы. Он был связан со многими тайными кружками. Приехав за границу в 1856 г., он привез с собой детально продуманную программу организации общероссийского тайного общества и его деятельности.

Как показывают архивные документы, уже с момента создания «Колокола», т. е. с 1857 г., Н. П. Огарев наметил другую, более радикальную программу, в которой его требования шли значительно дальше тех, которые он выставлял в публикуемых статьях. Здесь он требовал немедленной ликвидации крепостничества, безвозмездного возвращения помещиками земли подлинным хозяевам ее — крестьянам, а также ликвидации самодержавного строя. Он требовал созыва «Земского собора» «...из посланцев ото всех уездов, выбранных всем народом без различия сословий» [3]. Здесь же Н. П. Огарев

---

[1] *Н. П. Огарев,* Ответы на статью Герцена «Между старичками», РОГБЛ, ф. Г.— O.VI.41, л. 17.

[2] *Н. П. Огарев,* Ответы на статью Герцена «Между старичками», РОГБЛ, ф. Г.— O.VI.40, л. 9—9 об.

[3] ЦГАОР, ф. № 5770, оп. 1, ед. хр. 27. Публикуется М. В. Нечкиной в «Литературном наследстве».

предусматривает организацию тайного общества, которое должно готовить народ и войско к вооруженному восстанию. «Если правительство в земском соборе откажет,— пишет он,— то на тех же основаниях произвести восстание со всех периферий разом» [1]. Тут же Н. П. Огарев подробно разрабатывает план вооруженного восстания.

В 1861—1862 гг. Н. П. Огарев был одним из основателей первой революционно-демократической организации «Земля и воля». Он разработал организационные основы этого общества, программу его действий, а также стратегический план вооруженного восстания в России, во главе которого должно было стоять это тайное общество. Здесь Н. П. Огарев непосредственно сомкнулся с Н. Г. Чернышевским. Он всегда стоял за решительное сближение с «партией Чернышевского» и в этом направлении влиял на Герцена, требовал от него единства действий с Чернышевским.

Он видел в Чернышевском и в его учениках тех людей, которые «берут в основание всей своей деятельности опытную науку и ее выводы, т. е. признают действительность того, что изучают, и стремятся внести результаты этого изучения в общественное сознание» [2].

Вместе с А. И. Герценом Н. П. Огарев горячо сочувствовал национально-освободительному движению в угнетенных царизмом странах: в Польше, Литве, Финляндии, стремясь соединить эти движения с революционно-освободительным движением в самой России. Н. П. Огарев оказывал практическую помощь повстанцам этих стран, обращался к русским войскам с призывом не стрелять в восставших братьев, призывал солдат и офицеров повернуть оружие против царя. Известно, что либералы отвернулись от «Колокола» за защиту Польши. Но «Колокол» Герцена и Огарева продолжал отстаивать свободу Польши, бичевать царских усмирителей и палачей.

В. И. Ленин говорит, что, выступая в защиту свободы Польши, Герцен спас честь русской демократии. Эта ленинская оценка полностью относится и к Н. П. Огареву, соратнику А. И. Герцена, активному защитнику свободы

---

[1] ЦГАОР, ф. № 5770, оп. 1, ед. хр. 27.

[2] См. «Записки Отдела рукописей» Государственной Библиотеки СССР имени В. И. Ленина, вып. 12, стр. 166.

и независимости Польши. Не называя имени Огарева, В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена» цитирует именно его статью «Надгробное слово», в которой Н. П. Огарев славит русского героя, офицера А. А. Потебню, отдавшего свою жизнь за освобождение Польши. Н. П. Огарев призывает русскую молодежь следовать примеру Потебни. О себе Н. П. Огарев неоднократно говорил, что, когда наступит такой час, что нужно будет не говорить, а действовать, он немедленно покинет «безопасный» Лондон и займет свое место в рядах повстанцев.

Всю свою жизнь Н. П. Огарев подвергался гонениям со стороны царизма. Дворянско-буржуазная и либерально-народническая литература злобно клеветала на него и после его смерти. Только Ленин, большевики выступили в защиту Н. П. Огарева, указывая трудящимся действительное историческое место этого выдающегося деятеля русского революционно-освободительного движения. Отмечая столетие со дня рождения Н. П. Огарева, большевистская «Правда» в 1913 г. писала: «Огарев и Герцен две крупные величины, ознаменовавшие собой целую эпоху в движении общественной мысли 40-ых годов... По направлению своей мысли Огарев шел значительно дальше Герцена. Он верил в торжество социализма. В нем видел он спасение человечества... Об освобождении народа он думал, что оно произойдет не сверху, а снизу» [1].

Отмечая ряд наиболее эффективных выступлений «Колокола» против либерализма и в их числе упомянутую выше статью Н. П. Огарева «Надгробное слово», Владимир Ильич указывает: «Отсюда видно, как подло и низко клевещут на Герцена окопавшиеся в рабьей «легальной» печати наши либералы, возвеличивая слабые стороны Герцена и умалчивая о сильных. Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидал его *в 60-х* — он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции» [2]. Сказанное Лениным о Герцене полностью относится и к Огареву.

[1] Газета «За Правду» № 46 от 28 ноября 1913 г.
[2] *В. И. Ленин,* Соч., т. 18, изд. 4, стр. 14.

Н. П. Огарев был пламенным патриотом своего отечества, стойким защитником интересов народных масс. Он пошел дальше дворянских революционеров и был в числе тех русских революционных деятелей, которые уже в 40-х годах прошлого века стояли на стороне крестьянства и боролись за уничтожение помещичьей власти и собственности, за освобождение трудящихся от всех видов гнета. Вместе с А. И. Герценом и В. Г. Белинским Н. П. Огарев положил начало революционно-демократическому направлению в русском освободительном движении, сыграл большую роль в подготовке русской революции.

Статьи и стихотворения Огарева, его многочисленные письма оказали огромное влияние на русскую революционную молодежь, на развитие русской общественной мысли. Его произведения, как и произведения Герцена, распространялись и изучались в подпольных революционных кружках России. Гневное слово Огарева — революционера, мыслителя, публициста и поэта звучало со страниц «Полярной звезды», «Колокола» и других изданий «Вольной русской типографии», недосягаемых для царских цензоров, но проникавших в круги передовой русской интеллигенции. Его труды играли большую роль в развитии научной, революционно-политической, философской и эстетической мысли России.

* *
*

Так же как для В. Г. Белинского и А. И. Герцена, путь к материализму для Н. П. Огарева проходил через преодоление идеалистических взглядов на мир, усвоенных в ранней юности под влиянием домашнего и казенного университетского воспитания. Прежде всего необходимо было разделаться с модным в либерально-дворянских кругах того времени немецким идеализмом. Ища в философии теоретическое обоснование революционного действия, Н. П. Огарев очень скоро почувствовал фальшь идеалистических спекуляций Шеллинга и Гегеля, настраивающих на примирение с гнусной действительностью. Н. П. Огарев подвергает критике абстрактные схемы идеалистов. Читая сочинения Канта, Шеллинга, Гегеля, Н. П. Огарев все более и более проникался неприязнью

к их, как он говорил, «доктринаризму», к их идеалистическим системам. «Я с ненавистью вижу,— писал он,— что в них мысль не выстрадана, а только человек с самодовольствием, взяв точку отправления, закусывает удила и решает все на свете, плюя на препятствия, и с пренебрежением отвергает факт, если он ему противуречит» [1].

В письме к А. И. Герцену в феврале 1845 г. он пишет, что с большим усилием заставляет себя читать раздел о царстве растений в натурфилософии Гегеля. «...надоела мне натурфилософия. Она играет мыслью и вертится на словах, глубоких по неопределенности — trübe Tiefe (мутная глубина.—*Н. Т.*). Растение имеет свое Selbst (само я.— *Н. Т.*) в солнце! Друг мой! Да ведь это eine philosophische Spielerei (философская игра.— *Н. Т.*). Нет! Герцен — или я глуп или в самом деле на такие штуки поддеть нельзя! Есть великое неуважение к химии у Гегеля, с чем не вовсе симпатизирую» [2].

Изучив натурфилософию Гегеля, Н. П. Огарев приходит к выводу, что здесь нет науки. «Прочел я органику, следственно кончил натурфилософию — и рад до смерти, — писал он в следующем письме к А. И. Герцену; — она мне становилась sauer (кислой.— *Н. Т.*). Охота была тебе так восхищаться органикой! Перечти и увидишь, что весьма немногое удовлетворительно и что половина состоит из натянутых абстракций, неопределенных слов и играния мыслью. Загляни только на теории болезни, чтоб убедиться в этом. Мне и самая проходящесть единичности ради всеобщего становится подозрительна. Я не вижу, ради чего роду нужно, чтоб исчезал индивид, и мне сдается, что тут что-нибудь другое, но что — не знаю. Может я и глуп на эту минуту и недопонимаю, или может вражда к неопределенным словам под конец книги поставила меня в какое-то косящееся на нее состояние. Все это может быть! Но пока я не удовлетворен и с жадностью перейду zu den Tatsachen (к фактам.— *Н. Т.*)» [3]. Н. П. Огарев критикует Гегеля в этом письме за

[1] См. «Литературное наследство», т. 39—40, изд. Академии наук СССР, М. 1941, стр. 357.

[2] *Н. П. Огарев,* Письмо к А. И. Герцену от 14 февраля 1845 г. Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Ленинград).

[3] *Н. П. Огарев,* Письмо к А. И. Герцену от 15 февраля 1845 г., РОГБЛ, ф. Г. O.VIII.28.

то, что Гегель «побоялся сказать всю правду без обиняков», за то, что у него «есть намеренная неоткровенность, которой ему история не простит» [1].

В идеалистических построениях гегелевской философии Н. П. Огарев видел не только заблуждение, но и намеренное извращение действительности. О гегелевском решении основного вопроса философии Н. П. Огарев писал Герцену: «Это все философские плутни, Герцен! Не верь им» [2].

К середине 40-х годов Н. П. Огарев при поддержке своего друга и единомышленника А. И. Герцена становится материалистом и атеистом. Он уже не искал примирения в «учении Христа», в которое он склонен был верить в последний год ссылки. «Куда деваться с жизнью? Куда бежать от страдания? Где спокойствие? — писал он в 1841 г.— Где блаженство? Там! в том мире! Но в том мире хорошо настолько, насколько создала его наша фантазия. Отвращение от смерти, желание жить индивидуально заставили людей выстроить себе другой мир и на него возложить всю надежду. А существует ли тот мир — не знаю. Знаю только, что в этом мире неловко, знаю, что ум сомневается, что сердце страдает. Знаю, что от сомнений ума голова горит, как в огне, знаю, что от страданий сердца льются слезы, и все слезы, и вечные слезы» [3].

Переход к материализму и атеизму, разумеется, дался ему нелегко. Позади были мучительные поиски правильной теории. «Ребенком я верил в бога и чорта,— говорит Н. П. Огарев; — уповал и боялся.— Вырос,— разуверился в чорте, а вместе с чортом, олицетворением идеи зла,— исчез и бог, олицетворение идеи добра; остались два абстракта — зло и добро. А я больше человек сердца, чем человек ума. Мне нужен был бог личный. С отчаянием я бросился в мистицизм, но не выдержал. Разум взял свое, мистицизм растаял, как воск на свечке. И вот я остался

---

[1] *Н. П. Огарев,* Письмо к А. И. Герцену от 15 февраля 1845 г., РОГБЛ. ф. Г.— O.VIII.28.

[2] Там же.

[3] *Н. П. Огарев,* Письмо к М. Л. Огаревой, 1841 г., РОГБЛ, ф. Г.— O.VIII.270, л. 2.

жертвой разума, страдая горькой истиной; но все же лучше любя страдать истиной, чем блаженствовать с ложью» [1].

Книга Фейербаха «Сущность христианства», с которой Н. П. Огарев ознакомился, помогла ему укрепиться на позициях атеизма.

Отмечая положительные стороны философии Фейербаха, Н. П. Огарев указывал и на ее ограниченность. Он видел, что и философия Фейербаха не разрешала коренных вопросов жизни. В 1844 г. Н. П. Огарев писал А. И. Герцену: «Для себя я думаю в продолжении зимы написать еще вещь — разбор Фейербаха. Я с ним не сближаюсь. До сих пор мне кажется, что его человек не носит в себе своего процесса и результаты являются ex machina (механически.— *Н. Т.*)» [2].

Н. П. Огарев почувствовал коренной порок философии Фейербаха — ее метафизичность.

В середине 1840-х годов Н. П. Огарев окончательно убедился, что господствовавшие в то время идеалистические философские системы не соответствуют требованиям науки.

Принцип, который, по утверждению Н. П. Огарева, остается по-настоящему еще не решенным в западноевропейской философии,— это вопрос об отношении мышления к бытию. Об этом Н. П. Огарев прямо говорит в письме к А. И. Герцену: «...жажду знать, на какой точке ты сам стоишь к естествоведению, определил ли ты себе и насколько всю эту Kluft (пропасть.— *Н. Т.*) между Sein und Denken (бытием и мышлением.— *Н. Т.*), которую, мне кажется, наука не определила и нисколько не вывела отношения природы (организма) к мысли, так что мысль все еще остается вложенною в человеческую голову неизвестно откуда, а в природе она движется мистериозно, оставаясь абстрактной сущностью» [3].

Н. П. Огарев отвергает концепцию объективного идеализма с его представлениями о мысли, как о некой абстрактной сущности; он понимает, что мысль и человеческий организм, мысль и мозг имеют между собой

[1] *Н. П. Огарев*, Письмо к М. Л. Огаревой, 1841 г., РОГБЛ, ф. Г.— O.VIII.270, л. 2.

[2] *Н. П. Огарев*, Письмо к А. И. Герцену от 6 ноября 1844 г., РОГБЛ, ф Г.— O.VIII.55, л. 1 об.

[3] *Н. П. Огарев*, Письмо к А. И. Герцену от 27 января 1846 г., РОГБЛ, ф. Г.— O.VIII.62, л. 1 об.

существенную связь, но ему еще недостает научных данных, показывающих, каким образом происходит переход от неощущающей материи к материи, обладающей способностью ощущения. А именно этот вопрос волнует Огарева.

Н. П. Огарев пишет Герцену: «Subir la matière (ограничиться простым признанием материи.— *Н. Т.*) — такое дело, с которым я вовсе не согласен. Гораздо лучше la prendre à coeur (признавать ее.— *Н. Т.*) — и найти в ней живое начало. Но пока ты не покажешь, *как* она производит движение, Empfindung (ощущение.— *Н. Т.*) и мысль,— ты нисколько не покрыл вышереченной бездны, ты будешь находиться в действительном дуализме под прикрытием вымышленного единства» [1].

Философия, полагал Н. П. Огарев, должна быть обобщением данных естествознания, выводом из них. Исходя из этого, он приступил к основательному изучению естествознания, всерьез взялся за экспериментальные исследования.

В письме к Н. Х. Кетчеру он писал: «Что касается до занятий — я ушел по уши в естественные науки. Вероятно года два еще не выйду из них в Историю. Одно я себе предначертал — пройти без траты времени весь путь конкретной науки. Все абстракции мне стали невыносимы. Науку живого мира хочу я. Играние неопределенными словами метафизики мне противно. Логика великое дело, как скелет мирового организма. Но я ее вне этого живого организма не понимаю и даже смотрю на нее с некоторой ненавистью, если мне ее выхваляют как особь статью, равно и на людей, которые могут удовлетворяться абстракцией» [2].

В другом письме к Н. Х. Кетчеру Н. П. Огарев пишет: «Науку вообще не могу понять иначе, как «Историю мира», в котором природа играет довольно важную роль, чтоб не быть вычеркнутой» [3].

Отвергнув немецкий идеализм с его беспочвенными абстракциями и искусственными системами, принявшись за систематическое изучение естественных наук,

---

[1] *Н. П. Огарев,* Письмо к А. И. Герцену от 27 января 1846 г., РОГБЛ, ф. Г.— О.VIII.62, л. 1 об.

[2] *Н. П. Огарев,* Письмо к Н. Х. Кетчеру от 15 февраля 1845 г., РОГБЛ, ф. Кетчера, М. 5185, 18. № 4.

[3] *Н. П. Огарев,* Письмо к Н. Х. Кетчеру от 17 марта — 4 апреля 1845 г. Там же, № 6, л. 2 — 2 об.

Н. П. Огарев справедливо почувствовал другую опасность — со стороны вульгарного эмпиризма. Он писал, что многие, порицая немецкую философию, клонятся к эмпиризму. Однако это так же, как немецкий идеализм, есть заблуждение. «Немецкая философия не дошла до примирения эмпиризма и умозрения, e vero (это правда.— *Н. Т.*), но эмпиризм не стал даже вровень с ошибками философии; его теории ложнее ошибок философии; его теории самая пошлая метафизика» [1].

Н. П. Огарев решительно заявил о своем недоверии к позитивизму О. Конта, который в то время только что входил в моду и получал широкую известность. В том же письме к Н. Х. Кетчеру он пишет: «Намерен принудить себя читать Августа Конта... Лекции его в прошлом году произвели великое впечатление, но мне кажется, что я едва ли сдружусь с этим; предчувствую натянутую теорию, не искание истины, а изысканность, гоняющуюся за системой» [2].

Позже, в 1866 г., Н. П. Огарев уже определенно заявил, что Конт не избежал ошибки и попал в круг метафизических построений, в идеализм и мистику.

Н. П. Огарев ясно видел прямую связь материализма с прогрессивными общественно-политическими воззрениями, с теориями социализма, к которому он сам все более и более склонялся. «Без всякого сомнения,— говорил он,— социализм связан с наукой действительного опыта и расчета, а не с наукой исторического повторения одних и тех же затверженных начал, как является мысль поддержания сословных различий, батрачного труда и частного захвата в пользу меньшинства» [3].

По мнению Огарева, материализм еще в XVIII веке «дошел до того нравственного результата общественности, который поставил своим знаменем: свободу, равенство и братство. Из этого переход к *социализму* является естественным историческим последствием» [4].

Понимание Н. П. Огаревым задач философии определялось поставленной им целью — найти в философии

---

[1] *Н. П. Огарев,* Письмо к Н. Х. Кетчеру от 17 марта — 4 апреля 1845 г., РОГБЛ, ф. Кетчера, М. 5185, 18. № 6, л. 2 об.

[2] Там же.

[3] См настоящий том, стр. 731.

[4] Там же, стр. 767.

теоретические основы для переустройства общественной жизни на демократических началах. «Социальный интерес,— говорил Н. П. Огарев,— вот была наша точка отправления» [1].

В своих публицистических статьях Н. П. Огарев постоянно указывал на связь науки и искусства с общественной жизнью, с потребностями общества. Однако в понимании потребностей общества и человека Н. П. Огарев отдавал дань антропологизму и не мог возвыситься до научного понимания основ общественной жизни. Тем не менее его философские обобщения и в этой области давали базу для революционно-демократических выводов.

Развивая атеистические взгляды, Н. П. Огарев рационалистически объяснял возникновение религии. Человек, по его мнению, естественно стремится к отысканию начала мира. На ранних ступенях истории человечества, когда знания людей были крайне недостаточны, представления о начале мира выступали в виде гипотез, принимаемых затем на веру. Н. П. Огарев говорит: «...человек прибегал к самому легкому способу постановления начала мира, к самой удобной гипотезе, посредством которой можно было объяснить все без труда и знания: он ставил начало мира вне мира и называл его богом, творцом. Богу он переставал уже искать начала, принимая его за первоначальный факт, хотя не было никакой логической причины остановиться на этом — и можно было совершенно законно спросить, кто создал бога и так далее, в бесконечность» [2].

Только материализм, утверждал Н. П. Огарев, является решительным отрицанием всяких сверхнатуральных начал, выступает как выражение подлинных знаний человека о законах природы: «...переход из религии в науку,— говорил он,— совершался посредством пантеизма... Наконец понимание усматривает, что постоянно вставляя во все члены формулы одну и ту же произвольную величину, оно делает совершенно лишнее, и что, отнявши эту величину, отношения нисколько не переменятся; тогда понимание отбрасывает пантеизм, как

---

[1] *Н. П. Огарев,* Письмо к А. И. Герцену от 11 апреля 1842 г., РОГБЛ, ф. Г.— О.VIII.43.

[2] *Н. П. Огарев,* Опыт введения в науку, Записная книжка № 13.2, РОГБЛ, ф. Г.— О. VI.29, л. 4.

прежде отбросило религию,— принимает природу за факт и выходит в положительную науку»[1].

Н. П. Огарев придает исключительно большое значение материализму, как общему мировоззрению, дающему правильную ориентацию в жизни. Н. П. Огарев разоблачает установки позитивизма, ползучего эмпиризма, показывает на примере крупнейших естествоиспытателей (Декарт, Ньютон и другие), что философия мстит за себя, если к ней начинают проявлять безразличие. Даже крупнейшие ученые, справедливо указывает он, становятся жертвой идеализма и мистики, если они не придерживаются сознательно материалистической философии.

Если пороком эмпириков, говорит Н. П. Огарев, является их равнодушие к установлению основного начала, т. е. к решению основного философского вопроса,— вопроса о том, что чему предшествует — дух материи или материя духу,— то пороком идеализма является тенденция следовать выводам, не проверенным опытом. Результат же один: и там и здесь поповщина.

Два непременных фактора должны быть, по мнению Огарева, положены в основу подлинной науки: знание реального начала мира и умение видеть всеобщую связь в мире. Отсюда видно, как важна правильная философия для успешного познания мира.

«Под словом «философия»,— говорил Н. П. Огарев,— обычно разумеются общие мировые основания или общие основания целой группы явлений, и потому философские вопросы составляют естественную потребность человеческого разумения»[2].

Н. П. Огарев ясно видит борьбу двух основных направлений в философии, различающихся в соответствии с тем, как решается ими основной философский вопрос.

В решении вопроса об «общих основаниях мира», говорит Н. П. Огарев, нет единого мнения, здесь философы расходятся в различных направлениях: одни ищут эти основания мира в мыслях, идеях, в отвлеченных принципах, сообразно с которыми группируют все явления и факты; другие ищут их в самом мире, из существующих фактов выводят общий закон его существования. Это,

---

[1] *Н. П. Огарев*, Опыт введения в науку, Записная книжка № 13.2, РОГБЛ, ф. Г.— O.VI.29, л. 5—6.

[2] См. настоящий том, стр. 696.

говорит Н. П. Огарев, «и есть уяснение, решение философского вопроса»[1].

Сторонники априорных принципов, говорил Н. П. Огарев, идеалисты, или, как он их еще называл, «метафизики», видят начало мира в мыслях, в идеях, тогда как сторонники положительного знания о мире, материалисты, видят их в материи, в саморазвитии объективных явлений и фактов. Материализм ищет «начало мира... в *веществе* (matière, откуда и название материализма)»[2].

Ясно различая два борющихся направления в философии — материалистическое и идеалистическое,— сам Н. П. Огарев твердо стоял на позициях материализма, был воинствующим противником идеализма. Идеализм, говорил он, никак не объясняет своей теории, произвольно предположенные им принципы составляют скорее фантазию, чем научную теорию. Именно на такого рода пророчествах основаны все религии и все идеалистические философские системы, именно от них проистекают трудности на пути положительного знания и дела.

Научная же теория, напротив, говорит Н. П. Огарев, «ставит себе задачей — из наблюдаемых фактов вывести свойства, законы целого ряда мировых явлений или явлений отдельного рода. Такая теория, собственно, наука, которая *приводит результаты* наблюдений к человеческому сознанию и объясняет их связь и целость»[3].

Себя Н. П. Огарев называл «положительным материалистом»[4]. Он исходил из признания реальности окружающего человека мира, из признания реальности вечно существующей и постоянно изменяющейся материи, из признания объективной закономерности развития природы и человеческого общества. В письме к Т. Н. Грановскому Н. П. Огарев пишет, что потусторонний мир для него пустая абстракция, а посюсторонний мир — это индивид с его человеческими гуманными свойствами и способностями и

[1] См. настоящий том, стр. 697.

[2] Там же, стр. 761.

[3] Там же.

[4] «Звенья». Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века, т. VI, «Academia», М.— Л. 1936, стр. 383.

историческая обстановка, среда, реальный мир, его окружающий [1].

Н. П. Огарев считал, что все предметы познаваемы.

И человеку есть призванье:
Все, все, что только есть,
Все в область ясную сознанья
Из жизни внешней перенесть [2].

Как материалист, Н. П. Огарев считал, что все знания человека происходят из ощущений, которые в свою очередь получаются из внешнего мира. Сама мысль есть только логический вывод из наблюдений, сам разум есть только сознание факта, т. е. уяснение достаточной причины происходящих вне сознания событий.

«Нервная система устроена так, что чувствительные нервы получают впечатление извне и на него реагируют, что́ и вызывает чувство; нервы двигательные получают впечатление из мозга и на него реагируют, что́ и вызывает действие, проявление мысли, т.-е. волю» [3].

Признавая материальный мир за объективный источник всех знаний человека, Н. П. Огарев в то же время подчеркивал, что процесс познания человеком окружающих его предметов не сводится к простому созерцанию. Человек активен. Жажда теорий, говорит Н. П. Огарев, неотъемлемая функция человеческого мозга [4].

Все действия человека разумны. Поэтому человеку необходима теория.

При этом Н. П. Огарев неустанно разъяснял коренное различие между выводами подлинного познания и знахарством, пророчествами. Вывод, писал он,— это заключение, следующее за рядом исследований, наблюдений, определенных данных. Пророчество, напротив того,—только фантазия, основанная на произвольных предположениях, взятых на веру, но не на фактах [5]. Не является также наукой простое описание фактов; «...только объяснение законности, методы развития явлений известного порядка, составляет теорию, т. е. науку» [6].

[1] См. *Н. П. Огарев,* Письмо к Т. Н. Грановскому от 14—15 февраля 1847 г., РОГБЛ, ф. Г.— О.VIII.226, л. 1 об.

[2] *Н. П. Огарев,* Стихотворения и поэмы, т. I, стр. 28.

[3] «Русские пропилеи», т. 4, М. 1917, стр. 65.

[4] См. «Литературное наследство», т. 39—40, стр. 358.

[5] См. настоящий том, стр. 694—695.

[6] Там же, стр. 316.

Как материалист, Н. П. Огарев считал, что человеческое мышление, логические понятия, научные теории правильно отражают действительно существующие предметы.

Н. П. Огарев говорил, что для достоверности человеческих знаний, научных теорий нужно их совпадение с действительностью. Принципиально это совпадение вполне возможно, и всякий вывод из наблюдаемых фактов является объективной истиной. Н. П. Огарев в то же время справедливо указывал, что ощущения дают объективное знание не сразу, не абсолютно, но только постепенно, приблизительно, что знания человека являются относительными. «Бесчисленность явлений и отношений делают задачу науки бесконечной» [1].

Не отрицая объективной истины, Н. П. Огарев указывал на невозможность считать за абсолютную истину знания людей в каждую данную историческую эпоху. Но в формулировках Н. П. Огарева сказывается историческая ограниченность его философских взглядов. Возражая против метафизического омертвления человеческих знаний, он в то же время не в состоянии был правильно показать диалектико-материалистическое единство объективной, относительной и абсолютной истины. Он писал: «Истинно может быть многое, но истины абсолютной быть не может...» [2]

Заявления Огарева о том, что абсолютной истины нет и быть не может, своим острием направлены против претенциозных утверждений идеалистов, будто их философия и есть абсолютная истина в последней инстанции. Он говорил, что сколько бы трансцендентальная, метафизическая философия ни стремилась из науки сделать религию, она не сможет остановить развитие науки.

Н. П. Огарев подвергал острой критике кантианские утверждения о непознаваемой «вещи в себе», протестовал против метафизического отрыва «вещи в себе» от ее явления, считая такое деление от начала и до конца надуманной идеалистической конструкцией.

Н. П. Огарев утверждает, что весь смысл вещества, природы заключен в их объективном бытии, в том, как

---

[1] «Звенья», т. VI, стр. 381—382.

[2] *Н. П. Огарев,* Письмо к Т. Н. Грановскому от 14—15 февраля 1847 г., РОГБЛ, ф. Г.— О. VIII.226, л. 2.

они являются, как их может воспринять и воспринимает человек. Никакого другого, потустороннего и недоступного человеку, noumenon'а нет и быть не может. В этом смысле Н. П. Огарев заявлял, что «в природе noumenon'а нет, а только phenomenon», что «природа, вещество an sich, это — *явление,* которому до noumenon'а дела нет», что «от этого noumenon искать в вещах an sich труд тщетный» [1]. «Вещество — явление, как и все другое»,— говорит Н. П. Огарев. «Вечный phenomenon, вечное движение, вечно кажущееся — вот что природа» [2].

Особо острой критике подвергал Н. П. Огарев взгляды апостола агностицизма Канта: «Кант разделяет явления и сущность вещей (phenomena et noumena) и доказывает, что для человека доступны только phenomena» [3]. Н. П. Огарева возмущало стремление Канта ограничивать человеческий разум, кантовские утверждения о невозможности познать сущность вещей, о существовании какой-то отдельной и особой непознаваемой сущности. «Ее нет; мир весь явление, весь форма. Луч не различен от света, мысль не различна от слова» [4].

Возражая агностикам стихами Гете, Н. П. Огарев писал:

Nichts ist drinnen,
Nichts ist draussen,
Denn was innen,
Das ist aussen.

(Ничего внутри,
Ничего во вне,
Ибо что внутри,
То и во вне).

«Дело в том,— говорил Н. П. Огарев,— что сущность явления — в явлении...» [5]

Н. П. Огарев говорил, что выделение категорий сущности и явления должно помогать познанию, но по вине агностиков оно начинает мешать ему: «Разделение

---

[1] *Н. П. Огарев,* Записная книжка № 27, РОГБЛ, ф. Г.—О. VI.21, л. 3.
[2] Там же.
[3] Там же, л. 10.
[4] Там же.
[5] Там же.

сделано человеком для удобства понимания и привело к неудобству понимания» [1].

Н. П. Огарев признавал, что человеческое познание имеет границы, но «совсем не в различии явления и сущности самих вещей» и «совсем не в недоступности сущности» [2]. Он говорит, что эти границы проявляются в характере отношений «познающего человека к познаваемому явлению» [3], т. е. возможности частных ошибок, заблуждений в процессе познания, которые, однако, исправляются дальнейшим развитием науки.

Наибольшую сложность для познания, справедливо говорил Н. П. Огарев, представляют явления общественной жизни, зависящие от многих и сложных факторов. Здесь сам наблюдатель является в то же время деятелем наблюдаемого. Однако и общественные явления, по утверждению Н. П. Огарева, познаваемы. Дело заключается только в том, чтобы не довольствоваться спекулятивными домыслами идеалистов типа Гегеля, Конта и т. д., а разобраться реально в событиях истории.

Таким образом, Н. П. Огарев выступал как воинствующий материалист, утверждавший, что природа, мир, вещество по своей сущности таковы, какими они предстают перед человеком в явлениях, какими воспринимает их человек при посредстве своих чувств. Он считал, что единственным источником всех человеческих знаний является объективный материальный мир.

Н. П. Огарев был непримиримым в борьбе за материалистические убеждения. Нельзя терпеть иных мнений, писал он, ибо убеждения не личное, а общее достояние.

В одном из своих писем он дал резкую отповедь либерально настроенному Т. Н. Грановскому, который упрекал его за «жестокий анализ чужих убеждений» [4]. Возражая на эти упреки, Н. П. Огарев доказывал, что никогда и нигде убеждения не были свободны от практических интересов различных сословий и групп, что всегда и всюду противоположные мнения приходили в столкновения. «Да

---

[1] *Н. П. Огарев,* Записная книжка № 27, РОГБЛ, ф. Г.— O.VI.21, л. 10.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] *Н. П. Огарев,* Письмо к Т. Н. Грановскому от 14—15 февраля 1847 г., РОГБЛ, ф. Г.— O.VIII.226, л. 2 об.

как ты хочешь примиряться с чужим убеждением или оставлять его в покое, когда из убеждения строится все — жизнь, наука и цивилизация? Es lebe die Partei! (да здравствует партия! — *Н. Т.*) — восклицает Н. П. Огарев,— хотя бы эта Partei был один человек»[1].

Партийность убеждений Н. П. Огарев связывал с той ролью, какую они играют в жизни общества. Он считал, что если теория есть осознание фактов, объяснение их связи и целостности, то практика в свою очередь есть выражение теории, ее язык. Так что для практики не безразлично, какие убеждения носит в себе человек. Он доказывал, что Т. Н. Грановский глубоко неправ, когда полагал, что «фантазия не ослабит практической деятельности». «И что за раздел теории и практики? — возражает Т. Н. Грановскому Н. П. Огарев.— Разумеется, практика — язык теории, но ведь он ее-то и выражает»[2]. Фантазии, в которые человек верует, лишают его боеспособности, инициативы, деятельной энергии. Мистицизм приводит к бездействию; упования на силы небесные мешают приводить в порядок дела земные, говорит Н. П. Огарев.

Сражаясь против реакционной идеологии крепостников и либералов, Н. П. Огарев постоянно заботился о пропаганде революционной теории. «Колокол», «Общее вече» и другие издания «Вольной русской типографии», основанной Огаревым и Герценом в Лондоне, были направлены на выполнение этой задачи.

Н. П. Огарев ясно понимал роль теории в деле борьбы общественных классов, значение ее в жизни общества. Он заклеймил в «Колоколе» некоего Соловьева, выступившего в журнале «Всемирный труд» со статьями, направленными против материализма. Н. П. Огарев показал, что философия идеалиста Соловьева чрезвычайно ретроградна, нравственно опасна для русского развития, что она «бьет в руку правительству и реакции...»[3] Он не раз говорил о защите реакционными идеологами интересов помещичьего сословия. Возражая тому же Соловьеву, Н. П. Огарев писал: мнения консерваторов — «просто

[1] *Н. П. Огарев*, Письмо к Т. Н. Грановскому от 14—15 февраля 1847 г., РОГБЛ, ф. Г.— O.VIII.226, л. 2 об.

[2] Там же.

[3] См. «Литературное наследство», т. 39—40, стр. 413.

поддержание старых условий общественных отношений, для них практически выгодных»[1].

Философским воззрениям Н. П. Огарева, в целом безусловно материалистическим, была свойственна и известная историческая ограниченность. Она сказалась в частности и в отношении к самому термину «материализм». Ясно сознавая несостоятельность механистического, метафизического материализма и не дойдя еще до диалектического материализма, Н. П. Огарев, как и А. И. Герцен, чаще называл свое философское направление «реализмом» или «положительным знанием». Применяя диалектику при рассмотрении вопросов развития природы, общественной жизни и человеческого мышления, Н. П. Огарев, однако, не сумел еще подняться до понимания диалектики как науки о наиболее общих законах развития всего мира, не смог еще дать последовательной критики метафизики как ограниченного метода познания.

Непоследовательность материализма Н. П. Огарева сказалась и в его объяснении процесса общественного развития. Он не смог раскрыть связи классов и классовой борьбы с условиями производства, с материальными условиями жизни людей, хотя сделал немало догадок в направлении материалистического истолкования истории общества.

Так же как и А. И. Герцен, Н. П. Огарев лишь вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом.

* *
*

В центре теоретических исканий Н. П. Огарева, как и других русских революционных мыслителей середины XIX века, стояли проблемы закономерности развития общества. Н. П. Огарев, разумеется, еще не дошел, да и не мог дойти до материалистического понимания истории, тем не менее он, как и другие великие русские идеологи революционной демократии, в решении вопросов социологии значительно поднялся над уровнем домарксовской западноевропейской философии.

---

[1] ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр 29.

Н. П. Огарев подвергал решительной критике как теологический и гегельянский, фаталистический взгляд на историю, так и точку зрения субъективного идеализма, отрицающего всякую объективную закономерность в историческом развитии. Устройство общества, говорил он, складывается не по воле отдельных лиц и не под влиянием каких-то надисторических сил (бог, мировая идея, фатум и т. д.), а по своим собственным объективным закономерностям, складывающимся в процессе самой реальной жизни людей.

Н. П. Огарев доказывал, что жизнь человеческого общества развивается данными средствами, а не просто путем разума, что в истории, как во всем мире явлений, известные данные необходимо влекут за собой известные результаты, что движение в истории совершается не по плану Боссюэта, не по плану Гегеля [1], но по необходимому сцеплению крайне сложных элементов, причин и следствий и не прямолинейно, не по направлению одного толчка и одной силы, а по диагонали, складывающейся из взаимодействия совокупности сил [2]. Иными словами, история есть такой же объективный и закономерный процесс, как и сама природа.

Таким образом, развитие общественной жизни Н. П. Огаревым понималось как закономерный процесс. При этом он не забывал подчеркивать своеобразие, особенность этого объективного, закономерного процесса в сравнении с процессами, происходящими в остальной природе. Он писал: «...я не могу согласиться с сравнением зоологического и исторического развития. Что каждое есть naturproduct,— об этом, конечно, я спорить не стану; но в каждом из обоих naturproduct'ов — свои приемы, свои особенности, своя метода... Разница между общественностью и зоологией — огромна» [3].

В записных тетрадях Н. П. Огарева под общей рубрикой «Мысли и заметки», занесенные им в период 1856—1863 гг., имеется запись под специальным заглавием «Пролегомена ад Гисториософиам». Здесь сформули-

---

[1] См. «Литературное наследство», т. 39—40, стр. 317.

[2] См. *Н. П. Огарев,* Записная книжка № 27, РОГБЛ, ф. Г.— О.VI.21, л. 12—13.

[3] *Н. П. Огарев,* Ответы на статью Герцена «Между старичками», РОГБЛ, ф. Г.— О.VI.40, л. 22.

рованы интереснейшие выводы о законах развития общества.

В этих записях Н. П. Огарев критикует социологические концепции социологов от Боссюэта до Конта и намечает основные положения своих собственных воззрений на историю.

Эту работу Н. П. Огарев написал под впечатлением своей беседы с А. И. Герценом о сущности исторического прогресса и рассматривал ее как набросок мыслей, который мог бы послужить основой при написании им самим или Герценом более обстоятельного труда. Это — один из ярких и характерных примеров идейного родства и сотрудничества между Огаревым и Герценом, длившегося на протяжении всей их совместной жизни.

Обращаясь к А. И. Герцену, Н. П. Огарев говорит: «Друг Искандер, должно быть наши разговоры так сильно мне врезались в мозг, что я сегодня в каком-то полусне или совершенно во сне преследовал ряд мыслей, которые спешу записать, чтобы не забыть; мне кажется, что они могут послужить которому-нибудь из нас — темой для более объемистого и обдуманного труда» [1].

Н. П. Огарев вновь критикует господствующую в социологии того времени тенденцию навязать истории человечества целесообразность, идею, заданное направление. «Наука,— говорит Н. П. Огарев,— давно стремится придать истории рода человеческого какую-то замкнутую целость, какой-то систематический ход развития по плану ради осуществления какой-то идеи, как бы заданной роду человеческому» [2].

Н. П. Огареву эта концепция представлялась нелепой. По его мнению, если и можно говорить о поисках линии, по которой направлено движение рода человеческого во времени, то только в том смысле, что направление этой линии является результатом взаимодействия реальных условий. Он пишет: «...эта линия может итти только по направлению составной силы (résultante) огромного количества двигателей...» [3]

---

[1] *Н. П. Огарев,* Записная книжка № 27, РОГБЛ, ф. Г.— O.VI.21, л. 12.

[2] Там же.

[3] Там же.

Рассматривая последовательно социологические доктрины Боссюэта, Вико, Кондорсе, Гегеля, Конта и других и показывая надуманность и несостоятельность их концепций, Н. П. Огарев требует от социологов выведения законов истории из анализа реальной общественной, в том числе и экономической, жизни народов, из учета потребностей народной жизни.

Особо Н. П. Огарев останавливается на критике гегелевской пресловутой триады применительно к истории. Он изобличает Гегеля в непоследовательности, в измене идее прогресса; «...что делать с последним циклом трилогии? — спрашивает Н. П. Огарев.— Или довести человечество до кат-экзохин (самых высот — *Н. Т.*) самосознания, создать для него философскую аркадию, или за неимением дела уморить,— или предоставить самосознание бесконечному развитию и возвратиться к Кондорсе» [1].

После Гегеля социологическая мысль, по мнению Н. П. Огарева, не добилась ничего нового. Огюст Конт только «...повторил всех, и Вико с Сен-Симоном и Гегеля. У него и кольца, и трилогия...» [2]

Главный порок всех этих учений, справедливо указывал Н. П. Огарев, заключается в том, что причины единства человеческого рода, источник движения форм общественной жизни они искали где-то во вне, а не внутри самой общественной жизни. «Во всем этом забыто, что движение рода человеческого может идти только по направлению составной силы, и что надо разложить ее на элементарные силы, чтоб определить направление» [3].

Из чего же составляются эти исторические силы? Пытаясь определить их, Н. П. Огарев указывает на то, что «человек есть животное, живущее стадом. Из этого положения,— говорит он,— обусловливается одно: ради добывания пищи и удобств жизни человек устраивается географически. Это составляет основание всей жизни» [4].

Н. П. Огарев говорит, что «стадная животность, географическая потребность устройства, составляют *ось*, около которой вертится все движение» [5].

---

[1] *Н. П. Огарев,* Записная книжка № 27, РОГБЛ, ф. Г.— О. VI.21, л. 14.

[2] Там же.

[3] Там же, л. 15.

[4] Там же.

[5] Там же, л. 16.

Если потребности людей в пище и в прочих условиях, необходимых для жизни, составляют основу или ось, около которой совершается все движение в обществе, то само движение, по мнению Н. П. Огарева, есть развитие *знания* людей, развитие в них чувства гармонии, красоты, изящества. В этом он усматривал специфическую особенность человека и его истории в отличие от развития остального животного мира. Таким образом, задавшись верной целью найти реальные объективные основы истории в самой общественной жизни людей, Н. П. Огарев вместе с тем не в состоянии был преодолеть ограниченности домарксовского материализма, оставшись идеалистом в области истории. Разум, развитие общественного сознания, по его мнению, составляют первопричину общественного прогресса.

Указывая на поступательный характер исторического развития, Н. П. Огарев вместе с тем видел сложность и противоречивость исторического процесса. Он говорил, что здесь налицо и повторение предыдущего и одновременно движение вперед. «Метода есть винтообразное движение. Это и повторение и нечто иное. Цели нет, а есть движение. Что и доказать надлежало... Этот винт не идет с целью достичь чего-нибудь, но идет потому, что около данной оси нельзя быть иному движению, как винтообразному» [1].

Историческое движение, указывал далее Н. П. Огарев, «есть потому, что не быть не может. Мир есть иммобилитет (т. е. постоянство.— *Н. Т.*) движения. То, что называют косностью, есть только относительное равновесие» [2].

Н. П. Огарев был не просто социологом, но и глубоким экономистом. Он первым из идеологов крестьянской демократии поставил задачу соединить социологию с политической экономией. В этом отношении его взгляды совпадают со взглядами Н. Г. Чернышевского и Д. И. Писарева.

Еще в 1847 г. в критическом разборе одной экономической работы Н. П. Огарев писал: «В наше время, когда наука ясно показывает, что материальные силы государства составляют основу его цивилизации, политическая

[1] *Н. П. Огарев,* Записная книжка № 27, РОГБЛ, ф. Г.—О. VI.21, л. 18—19.

[2] Там же, л. 19.

экономия получает свое настоящее значение, свою настоящую важность. Она вышла из тесных рам, в которых пребывала, довольствуясь определением науки о государственном богатстве, и захватывает все вопросы гражданственной жизни» [1].

Н. П. Огарев доказывает в этой статье, что политическая экономия является наукой «вполне социальною» потому, что само богатство государства «есть не иное что, как приложение труда его граждан ко всем производительным силам, находящимся в почве и человеке». Огарев считает, что политическая экономия рассматривает «общество с точки зрения труда и производительности...», «ищет основать общественную связь на единстве труда», требует разумного «распределения сил и воздаяний за труд...» и «обеспечения труда и его движения к усовершенствованию...» [2]

В 1869 г. в споре «между старичками» (т. е. между А. И. Герценом, Н. П. Огаревым и М. А. Бакуниным) Н. П. Огарев более полно изложил свои взгляды на общественную жизнь, высказав при этом ряд материалистических догадок. В этих рассуждениях Н. П. Огарева видно дальнейшее развитие его социологических взглядов по пути к науке. В дальнейшем его интерес к экономическим вопросам все более повышался, а вместе с этим крепла и материалистическая тенденция в его воззрениях на общество.

Общественная жизнь, по мнению Н. П. Огарева, является живым объективным процессом. «История,— говорил он,— не развивается по программе; она идет вперед своими неизбежными результатами из существующих обстоятельств» [3].

Новое в жизни стоит в прямом противоречии с исторически сложившейся формой прошедшего. Новое устройство тем меньше имеет возможностей привиться в жизни, «чем больше сила традиции преобладает над силой новых потребностей...» [4] Развитие общества, говорит Н. П. Огарев, осуществляется в борьбе новых потребностей со старыми традициями.

---

[1] См. настоящий том, стр. 94.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 747.
[4] Там же, стр. 698.

Исключительно интересны мысли Н. П. Огарева о взаимоотношении политической и экономической сторон общественной жизни. Революция, говорил он, необходимо должна начинаться с разрушения старого политического строя. «Требуется,— говорил Н. П. Огарев,— прежде всего, разрушение существующего политического построения: иначе экономическое основание политического (т. е. общественного) построения не может иметь места»[1].

Н. П. Огарев уже тогда утверждал, что экономическое и политическое устройство общественной жизни связаны друг с другом, обусловливают друг друга и взаимно влияют на ход исторического развития. «Как же,— возражал Н. П. Огарев своему другу и соратнику А. И. Герцену,— в вопросе экономического построения общества, который включает в себя все интересы хозяйственные и все отношения общественной жизни, как же тут разграничить экономическую и политическую задачу, которые неизбежно одна в другую переливаются и которых разделение немыслимо?»[2]

В статье А. И. Герцена «Между старичками» Н. П. Огарев нашел утверждение, что будто бы знание и понимание социально-экономического вопроса развивается в человечестве в форме «творческой тишины внутренней работы, инкубации, беспрерывной, неуловимой...»[3], что будто бы этот вопрос пережил свой религиозный и идеальный возраст — так же, как возраст натянутых опытов и экспериментации в малом виде. Н. П. Огарев счел необходимым предостеречь своего друга от опасности впасть в ошибку, свойственную Конту. Подвергая в связи с этим критике социологические домыслы Конта, Н. П. Огарев заявляет: «Я не вижу в историческом ходе рода людского этой беспрерывной, неуловимой инкубации. История шла гораздо больше борьбой и прыжками, чем творческой тишиной внутренней работы»[4].

Эта противоречивость, борьба, скачкообразность в историческом развитии, говорил Н. П. Огарев, свой-

---

[1] *Н. П. Огарев,* Ответы на статью Герцена «Между старичками», РОГБЛ, ф. Г.— O.VI.40, л. 8.

[2] Там же, л. 7—8.

[3] Там же, ф. Г.— O.VI.41, л. 11.

[4] Там же.

ственны как экономическому, политическому, так и умственному развитию человечества.

Подвергая критике всю предшествовавшую ему философию истории, Н. П. Огарев писал:

«Решительно положительная постановка вопросов — едва начинается, а в прошедшей истории есть везде только ее зародыши, специальные попытки, за которые общество казнило специальных тружеников (и то я говорю только о математиках и естествологах, т. е. о людях, которые невольно гнули к атеизму в противность богословию,— сюда я причисляю и астрономов, начиная с Коперника,— а вовсе не говорю о политиках, которые всегда танцовали между некоторыми убеждениями и невольно добирались до идеала Маккиавелли и Талейрана — из которых ничего нельзя вывести; это люди, отделяющие понятие от дела, мысль от поступка, общественную цель от современного положения — до такой параллельности, что оставайся сила в их руках — положение данного времени никогда не могло бы измениться и приблизиться к новой цели»[1].

Н. П. Огарев вплотную подходил к пониманию классовых корней господства реакционных воззрений на историю в современном ему обществе. Он видел определенный интерес господствующих классов в том, чтобы отвлечь людей от познания подлинных причин исторических событий. Господствующие слои общества, говорил Н. П. Огарев, политики,— вот кто старался направить человеческое сознание по ложному пути, старался отделить понятие от дела, мысль от поступка, общественную цель от современного положения общества.

Что же кроме борьбы может заставить реакционеров освободить дорогу историческому прогрессу? — спрашивал Н. П. Огарев.

И отвечал:

«Я не вижу в истории ни одного примера такого развития понимания, которому властвующее меньшинство уступало бы добровольно»[2].

Н. П. Огарев предостерегал А. И. Герцена от переоценки роли просвещения. Раньше чем народ дойдет до

---

[1] *Н. П. Огарев,* Ответы на статью Герцена «Между старичками», РОГБЛ, ф. Г.— О.VI.41, л. 12—13.

[2] Там же, л. 13.

современного понимания нового общественного склада, говорил Н. П. Огарев, лопнет его терпение; народ поднимается на борьбу и, приобретая в борьбе силу, заявляет свои интересы, ставит все фактические обстоятельства общества в новые отношения или даже создает из них новое общественное устройство. И весь вопрос заключается в том, «избежна эта метода исторического развития, которую ты можешь проследить от начала века, или еще неизбежна?» [1]

«Я думаю,— писал Огарев,— что ответ, который я теперь предложу — не будет иллогичен: какие бы ни были вспышки, каждая вспышка станет новым запросом на пересоздание общественности, который без этой вспышки, хотя бы вспышка и рухнула, не проснулся бы. Может надо для достижения результата — число вспышек, которого мы определить не в состоянии; но помешать мы им не можем, так как не можем помешать необходимости, опытом нами изученной в историческом ходе судеб. Что же нам остается делать? Помогать им по мере сил» [2].

Н. П. Огарев вновь и вновь настаивал на том, чтобы политическую агитацию связывать с практическими делами организации восстания.

Н. П. Огарев понимал, что в условиях классового антагонистического общества «мирное» развитие, без общественных переворотов, без революций угнетенных невозможно. «Если,— говорил он,— человечество когда-нибудь может достигнуть этого предела своего развития, где знание и общественность получат движение координат, то его спокойная творческая работа только начнется с оной минуты, но теперь оно его еще не достигло. Сила знания и сила выжидания остаются раздельны. Наука не составляет такой повсеместности, чтобы движение общественности могло совершаться исключительно на ее основании; наука не достигла той полноты содержания и определенности, чтобы каждый человек невольно в нее уверовал. Между тем сила выжидания исчезает в общественном страдании и общественное движение становится необходимостью. Что же делать?

---

[1] *Н. П. Огарев,* Ответы на статью Герцена «Между старичками», РОГБЛ, ф. Г.— O.VI.41, л. 14.

[2] Там же.

Естественный путь: общественные движения, общественные перевороты, на некоторый процент изменяющие общественные отношения, и, даже если переворот не удается, все же он изменяет отношения настолько, что самую науку общественности ставит на новую почву и дело подвигается.

Вы меня спросите: куда? — Да, во-первых, все к той же общей цели: достижения предела развития, где знание и общественность могли бы стать в отношение координат и где становится возможна спокойная внутренняя работа человеческого движения. Allez en avant et la foi vous viendra (Идите вперед, и вера к вам придет.— *Н. Т.*)»[1].

Оригинальные и глубокие социологические воззрения Н. П. Огарева были теоретическим обоснованием закономерности крестьянской революции в России.

* *
*

Н. П. Огарев внес существенный вклад и в историю русской эстетической мысли. Возглавляя вместе с В. Г. Белинским и А. И. Герценом революционную борьбу в России 1840-х годов, Н. П. Огарев видел, что в современном ему русском обществе эстетическая теория играет большую роль, и не только в развитии искусства, но и в развитии общественного сознания и общественной жизни в целом. Он ясно видел в современной ему эстетике противоположные и борющиеся друг против друга направления: прогрессивное, революционно-демократическое и противостоящие ему — реакционно-крепостническое и либерально-реформистское. Н. П. Огарев близко подходил к правильному пониманию социальной природы борющихся направлений в эстетике. Он видел в теории «искусства ради искусства» выражение упадка искусства, обусловленного разложением старого общественного строя. «Сама теория искусства ради искусства,— говорил он,— могла явиться только в эпоху общественного падения»[2]. Проповедь идеи «искусство ради искусства» он определил, как проповедь реакции.

---

[1] *Н. П. Огарев,* Ответы на статью Герцена «Между старичками», РОГБЛ, ф. Г.— O.VI.41, л. 12—13.

[2] См. настоящий том, стр. 297.

Н. П. Огарев указывал на живую органическую связь между искусством и действительностью.

«...искусство,— писал он,— есть подражание природе, потому что кроме природы ничего нет; действительно, искусство есть воспроизведение действительности, потому что кроме действительности ничего нет. Чем ближе художник подсмотрел природу, чем больше он сделал так, как бы сделала сама природа, тем лучше его произведение, тем больше он воспроизвел действительность» [1].

Но Н. П. Огарев не останавливается на таком определении искусства. Он справедливо видит в нем лишь указание на происхождение художественных образов. Все, что говорится в этом определении, относится, пишет Огарев, «к выполнению, это уменье, это почти техника» [2]. Оно не касается причин, побуждающих человека к воспроизведению действительности, т. е. оно не затрагивает самого существенного вопроса — отношения искусства к общественной жизни.

«Почему,— спрашивает Н. П. Огарев,— в художнике явилась потребность произвести что-нибудь? Вот в чем вопрос. Какие это жизненные соки, которые просились выразиться в его произведении, которые толкали его к созданию? Что формы должны быть верны природе, сомнения нет; иных форм художник знать не может; но эта жизнь, которая вынуждала художника к произведению, откуда она взялась?» [3]

Если искусство было бы простым подражанием природе, простым воспроизведением действительности, то оно, даже доведенное до предельного совершенства, давало бы мертвые копии того, что есть в действительности. В противоположность вульгарному натурализму Н. П. Огарев утверждал, что «искусство — явление историческое, следственно содержание его общественное...» [4]

В противоположность идеалистам, утверждавшим независимость творчества художника от общественной жизни, Н. П. Огарев указывал на идейные, общественные мотивы и побуждения творчества художника.

---

[1] См. настоящий том, стр. 297.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 297—298.

[4] «Литературное наследство», т. 39—40, стр. 361.

Он говорил, что «художник только потому и стремился к созданию, что вся общественная жизнь дышала в нем, не давала ему покоя, ему надо было производить, потому что ему надо было сказать то, что он живо понял, прочувствовал, внес в себя, чем переполнился из общественной жизни, будь то верование, будь то негодование, будь то восторг или скорбь живая; но помимо общественности и помимо своего взгляда на нее — он ничего не сделает» [1].

Отстаивая идейность, содержательность искусства, Н. П. Огарев решительно боролся против противопоставления художественного и научного познания действительности. Он категорически протестовал против попыток изгнать мысль из искусства. Он говорил, что пущенное в мир Гегелем противопоставление художественного и рассуждения давно уже утратило всякий кредит: «Не будь поэзии в действии и созерцании человека, в самой рефлексии, столь гонимой немецкой эстетикой,— и надо бы исключить драму из области искусства и лирический монолог Фауста подвергнуть опале» [2].

Возражая против выдвинутого Анненковым положения, что мысль убивает искусство, Н. П. Огарев говорит, что это «остаток теорий более неопределенных, чем они могут казаться с первого взгляда, когда им не делаешь серьезного запроса» [3].

Что мы назовем мыслью? — спрашивал Н. П. Огарев. Если мысль есть логический вывод наблюдений, то она не может убить и не убьет искусства; напротив, она только послужит развитию искусства.

Может быть другое: художник может не понять мысль или по недостатку таланта и умения не совладать с нею и создать произведение, где жизнь выразится в натянутой, придуманной с усилием, холодной, не живой форме. Но в данном случае виновата не мысль, а ограниченность лица. Проповедь, что «мысль убивает искусство», справедливо указывал Н. П. Огарев, отнимает у художника право на умственное развитие и, следовательно, ведет к застою и упадку искусства.

---

[1] См. настоящий том, стр. 298.

[2] Там же, стр. 416.

[3] *Н. П Огарев*, Письмо к П. В. Анненкову от 21 декабря 1854 г., «П. В. Анненков и его друзья», Спб. 1892, стр. 647.

Н. П. Огарев утверждал, что в действительной жизни человека его мысль и эмоция совпадают. Другое дело, что не всякий человек, не всякий художник сумеет эмоционально выразить мысль. «Неужто вы думаете, что есть двойство между мыслью и сердцем? Последнее слово также трудно определить, но оно понимается. Определить трудно, потому что совмещает очень много элементов. Двойство можно только найти между сердцем и плутовским расчетом. Но мысль логическая, откровенная, следовательно, совпадает с сердцем,— только умей найти ей настоящее выражение. Всякую тяжесть можно поднять, да не у всех одинаковая сила» [1].

По Огареву, искусство не должно быть простым подражанием природе. Нет, оно должно ставить перед обществом острые, наболевшие вопросы. «Пожалуй, доводите,— говорит Н. П. Огарев,— искусство до самой утонченной оконченности и копируйте природу и воспроизводите действительность с мельчайшей подробностью; да жизни-то вы не вдохнете в свое произведение, и ваша работа «искусства ради», не вызываемая общей жизнью, которая била бы в вас живым ключом, ваша работа будет абстрактная работа или холодненькая мелочь» [2].

Н. П. Огарев уже в начале 1840-х годов отмечает начало упадка буржуазного искусства. «Современники-художники,— писал он А. И. Герцену,— не могут отстать от этой внешней верности ради более глубокой истинности творчества, потому что они собственно не знают, что творить. Скульптор хватается за древних, исторический живописец за мадонн и даже за чертей, genr<e>-ист (жанрист.—*Н. Т.*) переходит в карикатуру... одни повторяют и подражают, другие низводят искусство до ремесла. Нет действительно одушевляющей задачи, нет истинного вдохновения, нет творчества» [3].

Н. П. Огарев связывал наблюдающееся в странах Западной Европы падение искусства с состоянием общественной жизни этих стран. «Искусство пало, потому что общественная жизнь выдохлась» [4].

---

[1] *Н. П. Огарев,* Письмо к П. В. Анненкову от 21 декабря 1854 г., «П. В. Анненков и его друзья», Спб. 1892, стр. 648.

[2] См. настоящий том, стр. 298.

[3] *Н. П. Огарев,* Письмо к А. И. Герцену от 29 сентября 1843 г., РОГБЛ, ф. Г.—О.VIII.50.

[4] См. настоящий том, стр. 296.

Н. П. Огарев изобличал попытки отвлечь искусство от общественной жизни под тем предлогом, что якобы общественную жизнь невозможно выразить в образах истинного искусства, что будто бы область искусства — только природа. «И кто же может верить, —говорил он,— чтобы живое стремление к общественному благу, лирическая перестройка общественных отношений и сопряженные с ними политические ненависти и восторги — были недоступны для художественной формы? Дело не в невозможности поэтического слова для политического содержания, а в силе таланта самого поэта» [1].

Убедительно доказывая возможность «совпадения политического содержания с изящно-поэтической формой» [2], Н. П. Огарев вместе с тем резко выступал против упрощенчества и вульгаризации политических идей в художественных произведениях. Он не признавал за произведения искусства такие стихи, в которых внутреннее чувство заменено поддельным, фальшивым пафосом. В сентябре 1843 г. Н. П. Огарев писал А. И. Герцену: «Теперь Германия наводнилась политическими стихотворениями, которых поэтическое достоинство по моему мнению ниже всякой критики» [3].

Н. П. Огарев придавал искусству огромную общественную значимость. Будучи революционером, он видел в искусстве могущественное средство познания действительности, средство пропаганды, средство воздействия на общество. Художник, деятельность которого основана на природном таланте и на образованности, призван сообщить людям общественные идеалы, им пока что неизвестные. В 1833 г., в самом начале своей поэтической деятельности, когда его теоретические понятия еще не определились, Огарев говорил о себе как о поэте: «Я, сын поэзии, предаюсь искусствам, и люди столпились смотреть на мои произведения; люди, которые понимают, что я хотел в них выразить. Я видимо говорю им об невидимом, чувственно об идеальном, и они благословляют посредника между небом и землей» [4].

---

[1] См. настоящий том, стр. 416.

[2] Там же.

[3] *Н. П. Огарев,* Письмо к А. И. Герцену от 29 сентября 1843 г., РОГБЛ, ф. Г.— O.VIII.50.

[4] *Н. П. Огарев,* Письмо к А. И. Герцену от 29 июня 1833 г., РОГБЛ, ф. Г.— O.VIII.5.

В 1846 г. Н. П. Огарев уже более зрело определяет общественную значимость искусства. В письме к А. И. Герцену он говорит, что оно «для народа — вернейший, полнейший и очищенный голос того, что происходит в жизни, а не уголок, куда можно от жизни спрятаться» [1].

В вопросах теории искусства Н. П. Огарев проводил одну общую линию с А. И. Герценом, В. Г. Белинским, Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым, Д. И. Писаревым. Борясь против теорий «чистого искусства», выдвигавшихся российскими и западноевропейскими идеалистами, идеологами реакции, Н. П. Огарев гневно писал:

«Если литераторы требуют от искусства, чтобы оно ...отрешилось от общественных интересов,— какое же содержание они ему дадут? Абстрактно-общечеловеческое? Или то мелкое, дрянно-личное, к которому они стремятся иметь сочувствие вместо отвращения? Но в первом случае они навяжут искусству создание тусклого урода, а во втором — щепетильное разрисовывание лилипутских картинок с лилипутскими людишками, с лилипутскими чувствиецами, с лилипутскими деревцами, облачками, домиками и пр. *Да где же они нашли общечеловеческое содержание помимо общественности, помимо взгляда художника на общественность, помимо его участия в ней?* Не у Шекспира ли? Не у Аристофана ли или у Гоголя? Не у Пушкина ли в Онегине или в Борисе Годунове? Ну! так пусть же они перечтут их и поймут, что *все эти великие художники слова проникнуты участием к своей современной общественности,* и пусть же нам больше не выдают фарфоровой размазни японского чайника за художественные идеалы» [2].

Н. П. Огарев уверенно смотрел в будущее, он был убежден, что реакционным либералам не удастся восторжествовать со своими лживыми домыслами «искусства ради искусства», ибо «возникающая общественная деятельность разобьет этот маленький кумир прежде, чем он успеет умереть от собственной дряхлости. Да и пора ему умереть. Долой литературную лимфу!» [3]

Сторонники так называемого «чистого искусства» упрекали революционных демократов в тенденциозности.

---

[1] *Н. П. Огарев,* Письмо к А. И. Герцену от 27 января 1846 г., ф. Г.—О VIII.62.

[2] См. настоящий том, стр. 300—301. (Курсив мой.— *Н. Т.)*

[3] Там же, стр. 299.

Они демагогически заявляли, будто тенденциозное искусство не является искренним и что только художник, отрешившийся от политики, может остаться искренним в своем творчестве.

Н. П. Огарев разоблачил и этот довод идеологов реакции. Он, как и все русские революционные демократы, требовал искренности от художника. «Только искренности в «искусстве ради искусства» вы не найдете,— говорил он,— потому что самое это понятие не искренно и носит в себе заднюю мысль уменья и риторства, а не понятие полноты жизни, которой необходимо выражение» [1].

Н. П. Огарев звал мастеров искусства на борьбу со старым миром. «Если старый мир гибнет,— говорил он,— и вы это глубоко чувствуете, вы еще найдете в себе иную силу, силу проклятия; вашей фантазии явятся мощные образы, которые потрясут даже это бессильное общество; большинство станет с ненавистью рукоплескать вам, и немало страдальцев с любовью протянут вам руку» [2].

Н. П. Огарев указывал, что и в эпоху упадка общественной жизни в искусстве появлялись титаны: Тацит, изображавший падение древнего Рима, Байрон, проклинавший разлагающееся феодальное общество в Европе, горько смеющийся Гоголь, показывавший уродства гибнущего крепостнического строя в России.

Неверно было бы думать, говорил Н. П. Огарев, что современная общественная жизнь является абсолютно пустой, уродливой, лишенной красоты; нельзя считать, что в современном мире ничего нет, кроме фраков, мундиров и купеческих поддевок. Он указывал художникам, что есть два мира: мир уходящий и мир грядущий; мир фраков, мундиров, поддевок и мир рубища. «Чего вы боитесь,— говорил Н. П. Огарев,— уродливых фраков на вашей картине? Да разве вы не видите вокруг себя трагической изящности рубища и из-за скаредных фигур лавочников — энергический образ народа, гласящего: И моя пора приходит!» [3]

Главные надежды Н. П. Огарев возлагал на русскую прогрессивную молодежь в искусстве. Он считал, что

---

[1] См. настоящий том, стр. 303.

[2] Там же.

[3] Там же.

юным художникам легче понять задачи современного общества; они не знали прошлой жизни, которая устарела, не знали мировоззрения, которое потеряло живой смысл. Они поставлены прямо лицом к лицу с современной жизнью, с живым плачем, надеждами и стремлениями русского народа. Задача молодежи — сделать эти стремления и надежды своими собственными.

Н. П. Огарев обращался к молодым художникам с пламенным призывом не верить жалким проповедникам жалких идей. «К юношам обращаюсь я,— писал Н. П. Огарев,— которым теперь предстоит взойти на поприще литературы. Пусть они не верят золотушному равнодушию, пусть смело вносят в искусство и общественные страдания и все элементы живой общественной жизни,— и долой с русского слова *пыльный шквал* немецкой схоластики, долой крохотное самонаслаждение за углом — вне общественной жизни» [1].

Эстетические воззрения Н. П. Огарева проникнуты духом революционного демократизма; они содержат в себе характерные для революционно-демократической эстетики черты: реализм, идейность, народность, исторический оптимизм, жгучую ненависть и вражду к миру, основанному на эксплуатации и угнетении большинства меньшинством. Будучи одним из талантливейших революционных поэтов своего времени, Огарев и в теории боролся за реализм и идейность, за народность и общественно-политическую целеустремленность искусства.

Революционно-демократическая сущность эстетических идей Н. П. Огарева, его горячие призывы поставить жизнь народа, его интересы в центр внимания искусства и по сей день не утратили своего значения для борьбы против тлетворных идей разлагающегося буржуазного искусства Западной Европы и Америки.

* *
*

Н. П. Огарев незаслуженно не получил такой широкой известности, какую имеет его друг А. И. Герцен. Эта историческая несправедливость берет начало от буржуазно-помещичьей историографии и литературы.

---

[1] См. настоящий том, стр. 302.

Н. П. Огарев относится к той категории русских мыслителей, которых не хотела чтить буржуазия за свободу их мысли и прямоту их чувства.

Об Н. П. Огареве писали изредка лишь как о поэте, интерпретируя при этом его поэзию как грустную и тихую, сугубо личную лирику. Вопреки высокой оценке стихотворного наследства Н. П. Огарева В. Г. Белинским и Н. Г. Чернышевским многочисленные критики — Аполлон Григорьев, П. Анненков, Евг. Соловьев, М. Гершензон, Ю. Айхенвальд, С. Венгеров и ряд других буржуазно-помещичьих критиков и литературоведов — принижали и сужали историческую значимость личности Н. П. Огарева и его литературного наследства.

Если А. И. Герцена либеральная помещичье-буржуазная и меньшевистская критика старалась изобразить дюжинным либералом, то Н. П. Огарева, который нередко стоял левее своего друга и, следовательно, был для нее еще более ненавистным, вся вражеская критика стремилась принизить, замолчать.

Имела место недооценка Н. П. Огарева как общественного деятеля, революционера, публициста и мыслителя в сравнительно немногочисленной литературе о нем, вышедшей в советский период.

Неудовлетворительно обстоит дело с изучением и изданием литературного наследства Огарева. До сих пор собраны и более или менее удовлетворительно изданы только стихи Н. П. Огарева. А большее число публицистических статей, рукописей и огромное число его писем ко многим выдающимся общественным деятелям России — все это ценнейшее наследство — рассеяно по страницам нелегальных и легальных, русских и иностранных журналов, по хранилищам и архивам, не учтено и мало доступно не только широким слоям интеллигенции, но и специалистам по истории русской общественной мысли.

Чтобы познакомиться с материалами Н. П. Огарева, приходится с трудом добывать давно уже ставшие библиографической редкостью подборки журналов и сборников «Отечественные записки», «Современник», «Колокол», «Полярная звезда», «Общее вече», «Голоса из России», «Телескоп», «Русская мысль», «Русские пропилеи», «Голос минувшего», «Вестник Европы», «Звенья», ряд мемуарных изданий и пр.

Значительная часть наследства Н. П. Огарева рассеяна в разных делах, хранящихся в архивах: в рукописном отделе Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, в Государственной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), в Центральном государственном литературном архиве, в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, в Центральном государственном историческом архиве, в Институте литературы Академии наук СССР (Ленинград), в Московском областном архиве и архивах других городов.

Пришло время издать полное собрание сочинений Н. П. Огарева, выдающегося русского мыслителя и общественного деятеля, сыгравшего громадную роль в развитии русской философской и общественной мысли, а также в русском освободительном движении.

* *
*

Настоящее двухтомное издание избранных сочинений и писем Н. П. Огарева является попыткой предоставить читателям возможность ознакомиться с наиболее значительными произведениями из его публицистического и эпистолярного наследства. В I том включены произведения, опубликованные Огаревым, как в легальной печати, так и — в период эмиграции — в «Колоколе», «Полярной Звезде» и различных сборниках.

Во II том — статьи и другие материалы, оставшиеся в рукописи, листовки и воззвания, статьи из «Общего Веча» и письма.

Как правило, произведения располагаются по хронологическому принципу.

Н. Г. Тараканов

ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ

I

Н. П. ОГАРЕВ
в 1830-х годах

Портрет работы крепостного живописца

ПИСЬМО ИЗ ПРОВИНЦИИ [1]

15 марта 1849 [2].

Претрудное вы на меня, милостивый государь, возложили дело—сообщать вам новости из провинции!.. да еще не из губернского города, где я не живу, а из деревни, где я живу, но нового ничего не вижу. Хозяин я немудреный, стало быть, статьи с земледелии писать мне страшно. У вас же там в других журналах печатают такие известные и почтенные агрономы, до которых куда нам! Г-н Лавров [3], например, который заметил (и весьма справедливо), что почему же бабам не умирать и на жнитве, когда они могут умирать от простуды, моя белье зимою, босоногие? Я с этим, может быть, вопреки мнению вашего журнала, совершенно согласен: главное дело человеку, а, следственно, и бабе—когда-нибудь да умереть; а уж как умереть, на то воля господня.

В Англии вот, слыхал я, бабы совсем не жнут, говорят, что не бабье дело. Бабье дело будто бы (по-тамошнему) одно домашнее хозяйство: за детьми присмотреть и за всяким скотом и птицею, обед сварить да избу держать в опрятности. Ну! оно, может, и справедливо, да у нас уже отцы наши не так завели, а, чай, не глупее нас были. У нас баба должна жать. А уж коли должна жать, отчего же ей и другой тяжелой работы не делать. Мужику трудно, один не поспеет. Поля велики; хлеб продать возить далеко, да и дороги скверны. А уж как дороги-то скверны, этого вы себе представить не можете!

А впрочем, отчего же не можете? Это и всякий русский человек знает.— Повезешь хлеб продать подальше, где подороже, того гляди, сани разобьешь, а теперь, пожалуй, и потонешь. А привезешь хлеб на базар, никто не купит, а если купит, то норовит дать такую цену, что не из чего возить было. А если дорогой ценой продадите, ну! так и знайте, что в этот год мужики станут вместо хлеба всякую дрянь есть, оттого, что хлеба нет. Ну и пойдут просить: «Выдайте, дескать, нам хлеба из магазинов».— Постойте, ребята, надо у начальства спроситься. Вот и напишешь в комиссию народного продовольствия. А комиссия вас и спросит: «Отчего это вам из магазинов хлеба надо? Разве у мужиков хлеба нет?» — ну вот и отвечаешь, что оттого, дескать, комиссию и утруждаем, что хлеба нет. Ну, комиссия, не прежде как сообразив все обстоятельства, и даст вам резолюцию. Ей в этом случае поступать опрометчиво и нельзя: магазин для того и сделан, чтоб был в нем хлеб, так что ж хорошего, если вдруг из него весь хлеб съедят? — Вся цель пропадает. Правда и то: редко спрашивать приходится, в магазинах хлеба и без того не бывает. Ну! казенный мужик — другое дело. Он просит через свое начальство, а уж оно там само знает — нужен ли ему хлеб или не нужен. Лиха беда съесть хлеб; после опять понадобится. А тогда где его возьмешь? Где он и есть, оттуда не повезут, далеко. А без хлеба плохо! Мяса же у нас мужики почти не употребляют. Оно дорого, да и грех: середа пост и пятница пост; а в великий пост и еще грешнее. Вот нынешним постом приходит ко мне мужик, да чуть не в ноги: «Помоги, батюшка, сын умират».— А отчего ж он умират? — «А бог его знает, почитай, ничего не ест».— Отчего не ест? — «Да все молока просит».— Что ж ты не даешь? — «Как можно, батюшка, грех!» — А который ему год? — «Да никак четвертый об масленицу пошел.» — Ах ты дурак эдакой! да ведь ты ребенка с голоду моришь. Давай ему молока.— «Как можно, батюшка, грех!» — Знает ребенок, что грех, не грех. Давай ему молока.— Так я и настоял, чтоб дали молока ребенку; ребенок на другой день и выздоровел. А бывают и такие, что скажут: хоть умри, да не оскоромься! Пост у нас вообще самое скучное время, время непостоянных оттепелей и постоянных болезней. Кто объестся гороху с конопляным

маслом, кто рыбы порченой, кто не доест из усердия,— поди лечи их! Лекарей у нас мало. В город посылать за ними далеко. А пошлешь, так иной недоволен, что зовут лечить простого мужика, и вместо дела начнет отыскивать, не болен ли чем сам помещик, или жена его, или дочь его, или двоюродный брат, про которого слышно, что занемог в Москве; или сошлется на недостаток аптеки, или уж так усердно примется лечить, что человек был на ногах, а полечится — сляжет. Да и трудное дело лечить мужика в пост.— Ты ему даешь лекарство, а через минуту он уже наелся такой тюри, что никакой молитвой не отмолишься. Что же вы хотите, чтобы я вам писал нового из деревни? Все наши маленькие радости и печали ни вас, ни читателей ваших занять не могут, а порадовать и еще менее.

Однако, думаю, если хороший человек просил, надо дело сделать. Я и собрался съездить к соседям посмотреть, что где делается, не расскажут ли чего новенького? Соседей у меня много. Все люди смирные и добрые. Соседки такие набожные и степенные и такие хозяйки славные, что не могу нахвалиться довольно. Вот я и собрался было, как вдруг шасть на двор становой. «Филипп Ефимыч[4], говорю ему, откуда вас это, батюшка, бог принес?» — «Ехал, говорит, мимо из такого-то села, захотел повидаться». Велел я, как водится, подать закуску, а сам себе на уме: становой, верно, знает что-нибудь новенького, и спрашиваю: что ж в том селе такого случилось? А он и пошел мне рассказывать такую историю, что индо мне жутко стало. «Да вот, говорит, преступницу наказывали. Жена мужа отравила».— Как так? за что? — «Мудреное дело, говорит. Вышла она замуж тому назад года три за мужика того же села. И мужик-то был славный, из себя такой здоровенный и деньжонку скопил порядочную. Да не хотелось ей за него замуж выходить. Такая мерзавка! Отца с матерью не слушает, говорит: хочу итти за другого! И диви бы парень-то был хороший, а то дрянь, так — тощий мужичонко. Мать пожурила, отец посек. Ну, делать нечего, вышла девка замуж как велено. Вышла, да и ну мужа-то ненавидеть. Сына родила от него и на того не может смотреть без отвращения. А между тем с мужиком, за которого ей прежде замуж хотелось, и слюбилась. Мужик ничего, не дерется, смирен.

А она его ненавидит да ненавидит, и, наконец, невтерпеж ей: взяла и подсыпала ему чего-то в кашу. Мужик сделался болен. Я проездом как-то останавливаюсь в том селе. Свекровь этой бабы и приходит ко мне. Просит помочь: сын болен, все животом жалуется. Я хоть не лекарь, а за недостатком лекаря, все, знаете, что-нибудь посоветуешь: где кровь пустить, где другое что».— «Ну уж, я говорю, Филат Ефимыч, другого-то чего вы, чай, посоветовать и не можете; да не в том дело, продолжайте!» — «Смотрю,— продолжал становой,— точно! мужик животом жалуется. Да не дали ли вы ему, спрашиваю, съесть чего вредного? Старуха говорит: как можно! Да и чужих никого не было; только хозяйка его и была при нем.— А где же она? — Теперь дома нет. Я велел прислать ее к себе в стан и уехал. На другой день привозят бабу. Я опять спрашиваю, не дали ли ему съесть чего вредного? Как, говорит, можно! я тут все была. Так, бог его знает с чего животом жалуется.— В это время приезжает из того села сотник и объявляет, что мужик умер. Как только он это сказал, баба моя побледнела, да на колени: мое, говорит, дело, я его отравила. Я за понятыми. Откуда ты взяла яду? Говорит, что тот ее любовник достал. А при формальном допросе заперлась. Говорит, что с испугу показала, что любовник ей никогда яду не давал и она одна во всем виновата. Так и не отыскали, откуда она яду достала. Дело пошло в уголовную палату. Закон ясен: сто ударов плетью и в Сибирь. Уголовная палата хотела было принять во уважение, что баба была замуж выдана насильно. Но оговорилась, что можно бы принять, что баба замуж выдана насильно, если б она была крепостная, помещичья, но так как она вольная, казенная, стало, принять этого в соображение нельзя».— «Постойте, Филат Ефимыч, говорю я, отчего же нельзя? Разве отец приневолит, не все равно, что барин приневолит? Отец еще пуще приневолит, отец хуже помещика, потому что от отца не отвяжешься. Отец всякую минуту тут, и почнет пилить: выходи да выходи!» — «Ну нет, Антон Прокофьич,— говорит становой,— уголовная палата права. Помещик может приневолить, а тут девка не насильно шла замуж, а с родительского увещания. А между тем надо заметить, что баба, раз признавшись, после и никакого раскаяния не показывала,

как будто дело сделала — мужа отравила, разбойница! Получив указ палаты, мы с исправником тотчас поехали в то село исполнить наказание. В первый раз приходилось наказывать на подмостках с прописанием преступления. Формы никакой не было. Подумали и решились. Выстроили эшафот, народ созвали. Взвели бабу на эшафот, раздели донага и отодрали. Народ плачет. А бабе моей ничего. Только что когда раздевать стали, не давалась, будто стыдно стало заголиться перед народом; впрочем, ни малейшего раскаяния не показывает. А мы еще нарочно привели ее любовника да поставили его прямо против эшафота, чтоб хоть немножко да укорить ее и пробудить в ней какое-нибудь христианское чувство. Нет! Прокричала оттого, что больно было (ведь плеть-то не свой брат: сто ударов в три конца хоть кого проймут отчасти), а ни слезинки не выронила и никакой печали не оказала касательно своего преступления, такая каналья!» — «Ах, Филат Ефимыч, говорю ему я, жаль мне вас! То-то вы, чай, измучились! Легко ли, какая сцена! Выпейте-ка водочки да отдохните». Становой водочки выкушал, а отдохнуть не захотел и уехал. А я опять велел запрячь лошадей и отправился к соседям.

Ездим мы зимой гусем, как вам известно. Сам я давно не выезжал, а людей посылал-таки кой-куда на своих лошадях; да еще моя старуха-ключница к обедне ездила, когда говела. Только еду мимо церкви, а передовая-то лошадь и повернула прямо к паперти, чуть повозки не опрокинула. Такая у меня умная эта лошадь! Провели ее, опять поехали. Въезжаем в соседнее селение, а там кабак. Моя лошадь прямо к кабаку и стала.— Эге, говорю я кучеру, это, Андрюшка, твое дело.— «Никак нет, сударь, говорит, это Фарафон».— Ну, я говорю, Фарафон сам по себе, а ты сам по себе. А что, говорю, дальше-то, кажется, ни кабака, ни церкви нет? — «Никак нет, сударь», говорит. Ну, подумал я, скоро доедем! Вот и приезжаем к Наталье Кирилловне. Наталья Кирилловна великая моя приятельница. Наталья Кирилловна дама с самыми лучшими свойствами. Трех дочерей имела, всех замуж повыдала и партии-то выгодные отыскала. Да и меня она как-то любит и имеет ко мне доверие. Часто о своих делах советуется и похлопотать просит. Помоги, говорит, Антон Прокофьич, в суде там что

ли, или в палате, где случится. Вот еще в конце прошлого года присылает доверенность: съезди я в губернский город, достань ей из палаты какое-то свидетельство. Не хотелось, а поехал. Нельзя, думаю, не услужить Наталье Кирилловне, женщина почтенная! Приезжаю в город и иду к председателю. Председатель у нас такой отменный человек, что сыскать другого трудно. Закон наблюдает строго. Честности непомерной, копейкой не попользуется — Робеспьер настоящий! Говорю ему о деле. «Надо, говорит, подумать».— Да что же, я говорю, подумать? Дело простое, завтра же можно выдать.— «Ну уж, говорит, извините, Антон Прокофьич, закон дает три дня на рассмотрение». Через три дня посылаю к нему моего конторщика наведаться. Наш председатель как напустится на него: «Да как, говорит, ты ко мне смеешь на дом ходить, иной еще подумает, что я взятки беру! Должен притти в палату».— Так вот до сих пор ничего не могу добиться. А Наталья Кирилловна сердится: мне, говорит, по свидетельству надо денег получить; я, говорит, в своих интересах страдаю.— Матушка, Наталья Кирилловна, что ж я-то виноват? Пообождите немножко. Вы сами знаете, что председатель у нас честнейший человек.— Понемножку ее и успокаиваю. А вот в этот раз приезжаю, уж шестой час. Наталья Кирилловна чай кушает. «Я, говорит, к тебе, батюшка, с новой просьбой. Рассуди ты нас с Анной Матвеевной».— Что такое, матушка? — «Да как же! Приезжает ко мне тому назад месяца четыре. Разговариваем. Анна Матвеевна упомянула мимоходом, что не знает, где кучера достать, кучер ей нужен. А я ей говорю, что, пожалуй, продам ей кучера. Объяснила, что вот кучер двадцати пяти лет, осьми вершков росту, здоров. Сила непомерная, уж я это сама сколько раз испытала. Анна Матвеевна и согласилась купить. Да вдруг говорит: а если я куплю, а кучер мне не понравится. Я говорила, что в таком случае его назад возьму и деньги отдам обратно. За пятьсот рублев и согласились. Через четыре месяца Анна Матвеевна и присылает кучера назад, худого, больного, ну так, что еле жив, и просит возвратить деньги. Денег у меня не случилось, я пишу ей, что отдам, как скоро крупа продастся, да замечаю, что я кучера продавала здорового, а возвращен он мне больной. Крупу продала, деньги Анне Мат-

веевне посылаю пятьсот рублев, а Анна Матвеевна пишет мне, что следует прислать ей за четыре месяца процентов. Я так и ахнула! Как процентов? Пишу Анне Матвеевне, каких ей процентов угодно? В уме она, что ли? Кучер ей служил четыре месяца, присылает больного, да еще процентов просит; а Анна Матвеевна мне обратно пишет, что как же ей не взять процентов: она кучера три месяца лечила и на лекарство тратилась. Да уж как там себе хочет, а не дам ей процентов. Ну, кто прав, кто виноват?» Я призадумался. Вопрос, говорю, юридический. Не могу на себя взять решить. Обращусь, как скоро буду в городе, к губернаторскому чиновнику особых поручений, он хоть и кос, а на эти дела мастер. Потом я хотел переменить разговор и расспросить Наталью Кирилловну, не слыхала ли где чего интересного. Куда! об чем ни заговори, а она все свернет на кучера. Я о том, о другом, а она все свое, так себе на кучере и выезжает. Ах, говорю, матушка, Наталья Кирилловна, дались вам эти проценты. Плюньте, да и заплатите. Нет, не унимается. Вижу, что Наталья Кирилловна, хотя женщина почтенная,— а толку от нее никакого не добьешься, и уехал ночевать к Ивану Семенычу, верст за пятнадцать.

Нахожу Ивана Семеныча в великом беспокойстве. Ходит по комнате, сложа руки за спину, и все думает. Катерина Ивановна говорит: «Папенька, душечка, полноте тревожиться, с дяденькой худого ничего не случится». Вижу, что дело худо. Что ж такое, говорю, с Петром Семенычем? — «Разве вы не слыхали,— говорит Иван Семеныч,— у него дело было, и чиновник на следствие приезжал. Вы знаете, говорит, что брат точно немножко крутенек. Именье женино, после нее осталось детям малолетним; брат, как отец и опекун, все то же, что настоящий помещик. А мужики лентяи, мерзавцы и пьяницы. Мудрено и не поступать с ними круто. Да потом, чем же он и виноват? Ну, нрав у него такой. Ведь уж в пятьдесят лет не переменишься. Пошли к губернатору и говорят: житья нет! Помещик хлеба не дает, рабочих дней много отнимает да больно наказывает. Оно правда, что он наказывает. Да как же и не наказывать, когда нужно? Вы сами, говорит мне, Антон Прокофьич, помещики, чай, знаете. Кто же не наказывает? Не к становому же посылать в самом деле! Становой как

сделает? Пошлешь к нему человека наказать: дружен с помещиком — пересечет; в ссоре с помещиком — не досечет. Толку никакого и нет, и лучше домашним средством пробавиться. Намедни у Татьяны Ильинишны Сидорка стащил бутылку наливки из кладовой. Татьяна Ильинишна велела приказчику Сидорку высечь; да думает: малый, пожалуй, все еще не уймется! — и отправила его к становому посечь. Что ж вышло? Становой ей и отвечает письменно: вы-де Сидорку дома уж высекли, чего ж вам еще? Так и не высек, только Татьяна Ильинишна осрамилась. Лучше бы не посылала, чем такой ответ получить. Просто дома бы и посекла в другой раз, если надо. Только мужики братнины и говорят начальству, что чтó хотите с нами делайте, под опекунство ли отдайте, продайте ли, только за этим помещиком жить мы не можем. Брат узнал про это, сам в город поехал. Объяснил губернатору, что он никаких наказаний незаконных не делает и что мужики все врут, сами мерзавцы и пьяницы. Приехал в деревню чиновник особых поручений. Сход собрали. Чем, спрашивает, недовольны? Мужики говорят, что всем недовольны, что жить им за этим помещиком нельзя. Расспрашивает чиновник подробнее; толку никакого добиться не может. Иной говорит, что по шести дней работают. Разумеется, в иную пору заставишь мужиков и семь дней работать. Как же иначе, когда надо? И все так делают. Другой говорит, что девку крестьянскую повенчал за вдовца. Вестимо, вдовцу трудно сыскать невесту, чтоб охотой пошла; этим шельмам девкам тоже лень за чужими детьми ухаживать, редкая захочет. Да ведь не разорить же мужика одиночеством. А пожалуй, эдак и вовсе без тягол останешься. Иначе тут делать нечего, как немножко поневолить. Третий говорит, что баб на работе между завтраком и обедом к грудным младенцам не подпускает. Это, Антон Прокофьич, самый скверный пункт в жалобе, потому что от этого маленькое несчастье случилось. Баба пришла на поле и, разумеется, люльку с ребенком поставила наземь, а сама работает. А мальчишка поганый возился, возился в люльке, высунул руку, да и стал землею играть; а тут вместо простой земли случись муравьиная куча. Муравьи и поползли по мальчишке, залезли и в уши, и в глаза, и в нос, и в рот, кусают; ребенок кричит. Баба, само собой разумеется, не

смеет работы бросить и подойти к люльке. Ребенок покричал, покричал да богу душу и отдал. Для дела это скверно, а все же брат тут ничем не виноват. Не случись тут муравьиной кучи, ничего бы и не было. А нельзя же бабам потачку дать; пожалуй, и все время будут около ребят возиться, а барскую работу упустят. Известное дело, что раз поутру баба ребенка покормила, он до обеда и есть не попросит, разве мать избалует, да баловать нисколько не нужно. Вы видите, Антон Прокофьич, что в распоряжениях брата ничего такого противуестественного нет. Еще мужики говорят, что девку Афимью Денисову брат казакам продал, т. е. будто бы брат к ней несколько лет был чересчур милостив, а потом продал на Дон в работницы. Продал он ее на Дон действительно. Да что ж? Разве он не властен продать, когда заблагорассудит? А что касается до другого смысла этой жалобы, я еще не вижу в том греха. Что ж брату делать прикажете? Дело вдовое. Чиновник судил, судил, спрашивал, спрашивал.— А! говорит, наконец, так вы не хотите за помещиком жить? — Нет! кричат, не хотим, батюшка! Куда хочешь девай нас, только нам с Петром Семенычем житья нет. Чиновник вызвал одного мужика, который побольше других горланил. А как я, говорит, тебя высечь велю? А другие мужики кричат: Нет! батюшка! уж коли сечь, так всех нас секи, а одного не трогай. Так вот постойте же, говорит чиновник. Привели команду, двух человек сквозь строй прогнали и в Сибирь сослали».— Ну, так что ж, я говорю, Иван Семеныч? Стало, дело кончено, зачинщики удалены, мужики опять станут слушаться и братцу вашему беспокоиться не о чем.

«Как не о чем? — говорит Иван Семеныч.— Конечно, брат ни в чем не виноват, но теперь пришлют над братом следствие делать — точно ли он жестоко обращается. Уж и чиновника назначили, со дня на день ждем». Вышло, что чиновника назначили моего знакомого. Я говорю: Точно, Иван Семеныч, дело казусное, но тревожиться вам не о чем, этот чиновник человек хороший и мне приятель.— «Неужто приятель? — говорит Иван Семеныч.— Так уж вы в таком случае поговорите за брата». Этого я никак и не ожидал. Думаю: как же, в самом деле, хоть Иван Семеныч и говорит, что брат его ни в чем не виноват,

а все ж дело скверное, и Петр Семеныч, может, и не совсем прав. Однако же он свой брат: благородный, подло не вступиться, а и вступиться нехорошо, как бы мужиков не обидеть!.. Так и до сих пор не знаю, что делать. Я думаю — больным скажусь и не поеду повидаться с чиновником. Вы меня, милостивый государь, за это не осудите. Русский человек покой любит. Зачем путаться не в свое дело? Оно до добра не доводит. Вот, например, у нас Сергей Петрович говорит Евсею Федорычу, что вы-де худо делаете, Евсей Федорыч, что у малолетних детей сестрицы вашей неправильно землю оттягиваете. А у Евсея Федорыча в то время и сгори рига. Намедни мне и рассказывают, что Евсей Федорыч на Сергея Петровича просьбу подал, что будто Сергей Петрович у него ригу поджег или научил поджечь, оттого что сестриным детям покровительствует. Вот оно, каково не в свое дело вмешиваться!

За ужином я спрашиваю Ивана Семеныча, где же его братец теперь находится? А Катерина Ивановна меня клюковным киселем с миндальным молоком потчует.— «Кушайте, говорит, Антон Прокофьич, сама третьего дня готовила». Иван Семеныч мне и отвечает, что братец их все в том же именьи живет, но с мужиками, говорит, никаких сношений не имеет, только через старосту распоряжает. Домик у Ивана Семеныча маленький. Мне такой почет сделали, в гостиной спать положили на диване, что желтой бомбой обит. И какой порядок у Ивана Семеныча! Я уже вот лет восемь этот диван знаю, а бомбу еще и моль не тронула, только что от солнца она полиняла немножко. Катерина Ивановна говорит, что покрасить можно, только цвета еще не придумала. Славная барышня Катерина Ивановна! Жаль, если в девках засидится. Уж как порядки деревенские знает! и строгость какую в доме ведет. Прошлого года у ней Стешка как-то двух талек недопряла. Катерина Ивановна: «Я, говорит, Стешка, тебе за это косу отрежу». И не то чтоб как-нибудь рассердилась или разбранилась, а так просто взяла и отрезала у Стешки косу. А коса была такая русая, густая! Катерина Ивановна знает, что у нас девки, когда им в наказание косу отрежут, больно этим обижаются и косу отрезанную берегут и плачут над ней, как будто что-то милое, родное потеряли. Катерина Ива-

новна знает этот обычай, так когда у Стешки косу отрезала, взяла да и забросила косу в такое место, что и назвать совестно, чтоб девка пустяком не тешилась и косу не берегла бы. Поплакала девка, а уж небось в другой раз станет тальки допрядать.

Поутру рано я уехал к генералу Краснопупову, добродетельнейшему помещику во всем околотке. Вот уж душа, я вам скажу, мухи пальцем не обидит. А человек богатый, и своя музыка есть, пятнадцать человек музыкантов, своих собственных, крепостных. Все жалованье получают, а по правде сказать, пьяницы горькие. По дороге я и заезжаю в гости в казенное селение к мужику, моему приятелю. Старик славный, Пантелеем зовут; такой трудолюбивый и богатый. Мы с ним давно приятели; я за него долго по делу хлопотал. А престранное дело было. В том селе у мужиков завязался процесс с соседней помещицей об пятидесяти десятинах земли, не шутка! А все помещица привязалась, что ей владеть по самую речку следует — по крепостям. А речка уже давным-давно изменила течение и врезалась в чужую землю. Старое русло и теперь видно. Как же? мужикам и не хочется уступить земли. Выбрали Пантелея тяжбу вести. Пантелей, я знаю, старался усердно; да, видно, помещица как-нибудь по судам пересилила, лет через восемь дело и решилось в ее пользу. Мужики Пантелея и возненавидели. Миром просят начальство сослать Пантелея на поселение: он-де нам не способен. Земская полиция была на их стороне. Пантелей-то имел такой характер строптивый: иной раз и надо бы земскую полицию чем-нибудь утешить, а он никогда ниже́ чашки меду земской полиции не представит. А уж какой пчеловод славный! Пантелей говорит: побойтесь бога, братцы, за что ж вы меня гоните? Что я вам сделал? Да уж молчи, говорят, ты нам не способен. Я тогда сам иных мужиков расспрашивал: чем же вам, говорю, Пантелей не способен? ни он вор, ни он пьяница, ни он забияка какой! Один мне и говорит, что и сам вины никакой за Пантелеем не видит, да уж коли весь мир его сослать хочет, так что ж ему еще толковать? Стану я, говорит, миру поперечить? Мир говорит: сослать, а я другое стану? Нет, уж это не приходится.— Отчего ж, я говорю, братец ты мой, не приходится. Ведь ты сам соглашаешься, что Пантелей

хороший человек? Да уж я, говорит, от мира не отстану. Эк, я думаю, дался им мир этот! Не лучше иного помещика. Никто у него не смей и голоса своего подать, так и заклюет. Да ты, скажет, что такое за птица? Коли миру хорошо, с чего ж тебе не ладно? Иной раз мужик так даже, в разговоре, пожалуется, что старшина что ли (или другой кто) его ли, сына ли его обидел, побил что ли, или подводу лишнюю взял; мир и кричит: вишь ты! жаловаться смеет. Да, чай, старшина (или другой кто) и всех нас, случается, обижает, и поколотит больно, и подводу лишнюю возьмет, да ведь не жалуемся. А он жалуется! Вишь ты, выскочка какая! — Насилу я Пантелея отстоял противу мира. Уж кого я ни просил! И начальника губернии просил, и правителя канцелярии просил, и чиновников палатских просил, и тетушку Авдея Дмитрича, который у нас в губернском городе обеды дает, просил, всех просил. Насилу спас. Зато, когда приезжаю к Пантелею, уж он рад, рад мне, как отцу родному. Говорит, что, когда к обедне ходит, просвиру за мое здоровье вынимает, да еще прибавляет: «Вот оттого-то ты, батюшка Антон Прокофьич, такой и здоровенный». В этот раз Пантелей мне, как водится, пересказал все это: и о своей благодарности, и об уважении, и о просвирах. Я говорю спасибо, а сам посматриваю на избу. Изба у Пантелея получше обыкновенных изб в нашей стороне. Попросторней немного, а снаружи и ставни красной краской выкрашены и такая штука наверху крыши из дерева вырезана, что не разберешь, петух ли то или лошадь, а только хорошо что-то. В избе по обычаю в углу шкапчик с образами; есть даже один и в серебряном окладе. У образа вербочка еще с прошлого года заткнута и яичко красное со святой пасхи, не помню которого года, бережется. Говорят, что такие яйца пасхальные не портятся, хоть через двадцать лет ешь, точно будто вчера курица снесла. А хоть и богат Пантелей, а все ж у него и теленок в избе стоит над месивом, да что-то думает, с малых лет к бычачьей задумчивости приучается. Тут и курица о чем-то с большим жаром кудахтает на непонятном языке. Тут и поросята свинью сосут, а свинья хоть и похрюкивает, а лежит на боку, не повернётся, такая чадолюбивая! Только все эти животные производят в избе немалую вонь и беспокойство. Как это, я говорю,

Пантелей, деньги у тебя водятся, а ты себе чистой избы не заведешь? — «И, говорит, Антон Прокофьич, и весь мир так живет, куда уже нам особняком прикидываться!» Опять мир! Да ведь уж мир тебе немало насолил, а ты все по его хочешь делать! Вон у меня дом-то немного больше твоего, а все ж чисто живу. «Ну, говорит, ваше дело господское». Рассказываю я Пантелею, что еду к генералу Краснопупову. «Знаю их милость,—говорит Пантелей,— я еще, говорит, и дядюшку ихнего знавал, что у нас был капитан-исправником. Кажись и не бедный человек был, попал в исправники. Давно уж этому. У нас их милость звали, с позволения доложить, сеченым».— Отчего же сеченым? — «А их милость в ту пору Суворов высек».— Как Суворов?

Вышло дело вот в чем, что это не тот Суворов.— Меня до сих пор удивляет, как это имя такого великого полководца было тоже именем недостойного разбойника! В 17** году в нашем уезде свирепствовали разбои. Убивать людей — не слыхать было, чтоб убивали, и бедного мужика не грабили на большой дороге, а уж коли попадется чиновник какой, особенно если едет, собравши подать или даже какой-нибудь незаконный налог с деревни, тут уж его облупят бывало, как липку, нижѐ подкладки в карманах не оставят, а самого либо розгой отдерут, либо таких подзатыльников надают, что после какая-нибудь Акулина Ивановна ни водой, ни хреном, ни заговором синяков не сведет. А разбойничал, оказалось, один только человек, и то был мужик Суворов. Говорят, что сначала он был мужик хороший, да вдруг ему ни с того ни с сего вообразилось, что у нас никакого правосудия нет. Он и пошел в разбойники; жил, не знаю где и как, только на всю сторону навел трепет, хотя — как я уже сказал — никогда мужика на большой дороге мизинцем не задел. А исправник ли, заседатель ли какой без ружья или кистеня бывало и не выедет. Да не помогало и оружие! Суворов был парень ловкий. Извозчик его боялся; завидит — бросит вожжи и убежит в кусты. А Суворов и нагрянет; ружье и кистень к чорту и тут-то несчастного чиновника сперва ограбит, а потом розгой или палкой пронимает, пронимает, да приговаривает: в другой раз захочешь народ обиждать, помни, такой-сякой, Суворова. Весь наш уезд, говорят, в отчаяние

приходил от этого зловредного грабителя. Чем он кончил, не мог я дознаться, так ли без вести пропал и своей смертью умер, или был пойман, приговорен к весьма лишению живота, наказан кнутом и сослан на каторгу,— этого Пантелей не умел мне объяснить. Только и мог Пантелей утверждать наверно, что Суворов высек дядюшку генерала Краснопупова, тоже подозревая его в каких-то обидах, нанесенных простому народу. Выслушав от Пантелея этот, как называют ученые люди, любопытный исторический факт, я отправился своею дорогою к генералу Краснопупову.

Генерал Краснопупов живет не по-нашему. Дом у него огромный. Правда, вид у этого дома какой-то странный: справа пристроечка, слева пристроечка, кровелька повыше, кровелька пониже; балкон приклеен где-нибудь — не то, чтобы кстати, а все же балкон, и все же дом огромный. Сад старинный с стрижеными деревьями и прямыми дорожками, летом очень красиво. Но нельзя сказать, чтоб все это в какое-нибудь время года было чисто. Но для богатого барина размер главное; в большой опрятности есть что-то мещанское. У генерала Краснопупова всегда найдешь гостей. Все соседство его страх любит. Да уж нечего сказать, и принять умеет. Такой ласковый, всякому что-нибудь любезное скажет, и накормит по горло, и все свои заведения покажет, хотя бы вы к нему в двадцатый раз приезжали и все его хозяйство давно наизусть бы знали. А он все-таки поведет вас и в оранжереи, и на конный завод, и на фабрики разные, суконные и полотняные и пр. и пр. и сызнова вам станет объяснять, что вот такое-то строение он построил в таком-то году и стоило оно столько-то; такого-то жеребца, от таких-то знаменитых родителей он выписал за столько-то тысяч; а когда дело дойдет до того, как он все у себя умно, рассудительно и великолепно устроил, у него слезы выступают на глаза от истинно примерной чувствительности. За обедом всегда музыку заставит играть. Я в этом, впрочем, толку не понимаю, и, по правде сказать, мне даже неприятно становится, когда генерал заставляет музыкантов играть. Такая, видно, у меня натура глупая: ведь знаю, что музыканты хорошие, а заиграют — все как-то ушам больно. Обед у генерала продолжается очень долго. Блюдам счет по-

теряешь. Должен я, однако, признаться, что мне за обедом как-то неловко бывает. Я привык простой кусок говядины съесть; а у него всякое кушанье так приправлено, что насилу проглотить могу. А генерал-то такой добрый; все говорит: да покушайте же, Антон Прокофьич, вот этого-то с красненькой-то жижицей. Ну, неучтиво отказаться. Давишься и ешь что-то с красненькой жижицей. А вин-то разных — и белых, и красных, и шипучих, и наливочек, и ликерцев! беда непривычному человеку! У генерала я нашел двух знакомых: Авдея Авдеича да Тихона Тихоныча. Все были мне ужасно рады. Генерал говорит: «Вот это, Антон Прокофьич, одолжили, что приехали, да еще по такой дурной дороге». Так обласкал, что даже сконфузился; не знаю, что отвечать. Тихон Тихоныч говорит, что уже давно желал со мною встретиться, спросить хотел: не продам ли я ему мужиков на своз, зная, что земли у меня невдостачу.— Нет! я говорю, Тихон Тихоныч, уж на этот счет вы меня извините. Кому другому, а вам не продам. У вас жить мужику плохо. «Эге! — говорит Тихон Тихоныч,— у вас все филантропия на уме». Как бы вы думали? У нас из этого и завязался разговор, который я вам намерен передать, насколько помню. Авдей Авдеич, я вам наперед должен сказать, человек не старый и не слишком богатый, по наружности престрогий и разговаривать не охотник; но в самом деле обижать никого не любит и дело рассудить по справедливости в состоянии. Я его таки уважаю. Да я и Тихона Тихоныча уважаю. И кого ж я не уважаю в самом-то деле? По чистой совести всех уважаю, ибо и в писании сказано: не суди и сам судим не будешь.— А врагов себе нажить долго ли? Лучше уж никого не задевай, и тебя не заденут. Великую истину говорит писание!

Генерал Краснопупов первый заметил нам: статочное ли, говорит, дело, мужиков на своз продавать? У меня и отец мой сроду ни души на своз не продал, и я тоже никогда.— Да помилуйте, ваше превосходительство, говорит Тихон Тихоныч, у вас и без того земли много.— Да, Тихон Тихоныч, говорит генерал, положим, что у меня земли много; однако сами посудите, легко ли человеку отечество покидать? — Трудно, я говорю, ваше превосходительство, и Авдей Авдеич, подумавши, сказал: трудно! —

Все филантропия, ваше превосходительство, говорит Тихон Тихоныч, это нам трудно, у нас и родственники и приятели. А мужику не все ли равно — что здесь жить, что за Волгой где-нибудь жить? Здесь землю пашет и за Волгой землю пахать станет; здесь хлеб ест и там будет хлеб есть; здесь ленится и напивается и там станет лениться и напиваться; здесь его за это высекут и там высекут. Никакой разницы нет.— Ну, оно хотя дома и секут мужика, говорит генерал, а все же оно отечество. Да и сечь-то дело нехорошее. Кабы можно было без этого обойтись! — Да как же можно без этого обойтись, говорит Тихон Тихоныч, никакая работа не пойдет.— Точно, говорит генерал, работа не пойдет, а все-таки — вот, когда у меня мужика секут — не поверите: так сердце и надрывается. Такая тяжелая необходимость! — А вы не заставляйте, говорит Авдей Авдеич, мужика сверх сил работать и сечь не за что будет.— Авдей Авдеич! как вам не стыдно? говорит Тихон Тихоныч, все филантропия. Ну, что такое значит сверх сил работать заставлять и что такое значит мужика высечь? — Разберите-ка хорошенько. Вам сверх сил многое, если вы по себе судить станете. Да вы и не на том корму выросли. Вас на французских булках да на бульоне воспитывали, не так ли-с? А мужик-то как вырос? Мужик на черном хлебе вырос. Чай, и сила-то у него другая! чай, ему и лишнее сработать ничего не значит — пустое дело! Вот что-с. То ж и сечь. Ну, как же мужика не сечь? Нашего брата высечь, конечно, неловко: всякий обидится, да и больно. А мужику ничего не обидно, он уже привык. Да и кожа-то у него не то, что ваша. Вас тронь прутиком, у вас и кровь брызнула, вы и заплакали. А мужика, пожалуй, секи: у него кожа, как скорлупа. А между тем по пословице: за битого двух небитых дают. Высечешь, и нравственности у мужика прибавится. Неправда ли, ваше превосходительство? — Оно, конечно, говорит генерал, для нравственности точно полезно, да все же... Генерал покачал головою и спросил трубку. Гаврюшка принес трубку. Что ж ты, говорит ему генерал, скотина, с дырами сапоги надел, когда гости тут? Пошел, дурак, надень крепкие. Никак, говорит генерал, этого Гаврюшку к хорошим манерам не приучишь. А ведь уж как на валторне играет. Соло с вариациями играет даже! Однако,

продолжал генерал, вот у меня иные мужички на волю просятся и деньги за себя взносят. Видно, не хотят, чтоб кто-нибудь имел право их посечь немножко.— На волю просятся и деньги взносят! воскликнул Тихон Тихоныч с видом отчаяния. И не отпускайте, говорит, ваше превосходительство. Погубите мужика, если отпустите. На что ему воля и деньги? Это верх безнравственности! Что мужик с волей сделает? Воровать разве пойдет? Что ж хорошего? Поймают, да плетьми выдерут. А деньги главное зло для мужика. Что мужик с деньгами сделает? В кабак снесет! Только! Мужику что нужно? Хлеб нужен, квас нужен. Ну давайте ему и хлеба и кваса; пусть кормится натурою — и будет хорошо. А чуть деньги у мужика завелись, уж тут какая нравственность? — Так по-вашему, говорит Авдей Авдеич с сердцем, мужику ни воли, ни денег не надо, а только его работать заставлять, да сечь надо! Эге! Тихон Тихоныч! куда заехали! гадость какую говорите! — Вот вы, Авдей Авдеич, и рассердились, говорит Тихон Тихоныч. У вас все филантропия! И какая ж тут гадость, позвольте спросить? Оно совершенно справедливо. Вам другое дело: вам и воля и деньги нужны. Не крепостным же, в самом деле, дворянину быть! Да вы знаете, что с волей и делать; небось воровать не пойдете; а в город поедете, вечером в карточки поиграете: не в преферанс же, в самом деле, мужику играть! А вам и деньги и богатство нужны: жене платье, например, к святой неделе купите, и детей воспитывать станете, и фортепьяны дочке купите. Что ж вы хотите, чтоб мужик тоже фортепьяны покупал? На что ему фортепьяны! Фильд-то, чай, учить его не поедет! — Авдей Авдеич топнул ногой, встал и пошел в другую комнату. Мы с генералом посмотрели друг на друга и подумали: ведь, точно, Фильд не поедет мужика учить. Так зачем же мужику фортепьяны! Как это Тихон Тихоныч хорошо говорить умеет!

«А вот,— говорит генерал,— я вам покажу письмо, которое получил от моего мужика из Рязанской деревни. Истинно все письмо проникнуто нравственностью и христианским чувством». Генерал дал Гаврюшке ключ от бюро и велел достать ящик с письмами. Гаврюшка принес ящик. Генерал порылся и, наконец, отыскал письмо. Письмо длинное. Я попросил хоть первую страничку

списать и сообщаю вам оную, как она писана, с тем же правописанием и нимало не выдумывая. Истинно, скажу Вам, благодать божия, когда у кого заведутся такие крестьяне, как у генерала Краснопупова. Вот эта страничка:

«ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

Лексею Дмитриевичу

Милостивый Государь, батюшка, Лексей Дмитрич!

Видючи Антон Бобков в народи неправды умнажает:

1. Егда вышел народ в господцкой день работать да и талкует. И рассуждает между себя о господине и старости что наши господа глупы, занимаются больше пустыми делами, роспашки, да бороны, да еще катки, только наши господа разоряются да и нас разорят.

2. еще, братцы, господин наш возлюбил старосту какова Аспида! не знает он ни родни, всех дурными словами ругает, хило наше дело, ибо он нас разорит до конца, всех внищи приведет, незнает никакого доброго распоряжения в работе, ганяет нас на барщену дни четыре или пять. А когда всю неделю. Ино и хлеба нет, то спросим Староста Панкрат Ларивонач как миня хлеба нет, да мне хоть сдохни, а ступай на барщену. Или когда рабенок умирает, то староста кричит, что нейдешь на барщену! Как, батюшка, у миня вить рабенок умирает. Да мне хоть и ты здохни. А ступай, беда, братцы, житье наше, начальники азарники, не знают ни праздников ни воскресных дней, все на барщену гонют работать, видно не знают, что грех в праздники работать. Ступай!

3. Антон Бобков говорит мужикам: братцы, что талкуети и осуждаети, нам грешно их осуждать то и бранить то, нам следоват богу молиться за них. Как за них не молиться! Они нас всегда будут бить да тиранить а за них богу молиться! О го го! выдумал ты Антон, что сказать то.— Нету, братцы, истинно я вам говорю, пусть начальники нас бьют, ежели напрасно, им господь отмещует.

4. братцы, вы послушайте что я вам скажу.— Скажика, Антон! — Почему мы называемся христиане? — Знама почиму: веровам богу.— Но какая вера богу? — Знама какая: молюсь богу.— Да вить татары не крещены

и то богу молются? Но не по глаголу вера христианская утверждается. А по содействию всех делов: Верно работать, да всегда говорить правду, никого неосудить, неоклеветать и необесщестить, следоват нам каждого человека любить как себя.

5. То послушайти, что сказано в пророческим писании: раби послушайте господий своих по плоти. Со страхом и трепетом в простоте сердца вашего якоже и Христа не пред очима, точию работающе яко человекоугодницы, но якоже раби Христовы, творяще волю божию от души соблагоразумием служаще якоже господу. А не яко человекам...»

Потом следуют самые трогательные и назидательные выписки из текстов св. писания, но я не смею слишком много выписывать, ибо, как я выше сказал, письмо очень длинно. А заключено оно следующими словами:

«15. батюшка Лексей Дмитрич видишь крестьянов твоих в каком состояний провождают жизнь свою, больше живут в злобление в гордости в зависти. Батюшка Лексей Дмитрич из ясняю я вашей милости о крестьянских делах, то прошу я вас батюшка Лексей Дмитрич, ежели я вам в сем писание согрублю, то накажити миня, А ежели примети мое письмо, то желаю еще свами батюшка Лексей Дмитрич, о сем христинском деле поговорить.

Антон Фирсов Бобков».

Письмо это читал сам генерал, а мы с Тихоном Тихонычем слушали в великом умилении.

День провел я у генерала в величайшем удовольствии. Гаврюшка на валторне играл. Генерал был очень тронут. «Ведь вот, говорит, Гаврюшка собственный мой крепостной. Я сам его из мужицких детей выбрал. А как играет!» — Да, я говорю, ваше превосходительство. Воспитание великое дело. Почаще учите мужицких детей на валторне играть: истинная будет, как в журналах называется, цивилизация.

Вечером мы в преферанчик сыграли, да и разошлись поотдохнуть. Очень весело было. Я на сон грядущий взял наудачу кой-какие нумера «Московских ведомостей», оттого, что и заснуть не могу, не прочитавши хотя строчек двух! Мне и попались три статьи о благотворительности. Разговор-то с Тихоном Тихонычем да эти статьи, я и

пошел думать да думать о бедных людях. Даже и заснуть не мог порядочно. Мудреное это дело, как помочь бедности. Бог знает! Видно уж на то воля господня, чтоб были бедные люди! Оно и справедливо! так и должно быть! Не будь бедных людей, кому же богатые-то помогать бы стали? А не имея случая помогать ближнему, как бы они выучились добродетели? Премудрое это дело, что бедность на земле водится! — Только как же помочь-то ей? В газетах хвалят, да как-то странно хвалят[5], как будто и не хвалят, что помогают балами и концертами: сами веселятся, а между тем и бедным помогают. Оно, конечно, что ж тут худого, что сами веселятся и ближнему помогают. Ведь лучше доброе дело с весельем делать, чем плакать над добрым делом, как будто над мерзостью какою. Не знаю, много ли за расходами после бала да концерта останется бедным; а все же сколько-нибудь да останется, хотя одному человеку да помогут, а может и нескольким хоть по грошику да очистится. Что ж? Оно и грош не всякий раз на улице поднимешь. Правда, бедности этим не уничтожишь. Да я уже заметил выше, что и уничтожать ее не следует. А надо, вот как в третьей статье газет г. С. Шевырев[6] предлагает, чтобы богатые помогали откровенно, а бедные принимали милостыню без противуречия и гордости, и тогда истинно будет на земле царство небесное! Оно в самом деле удивительно хорошо выйдет: — когда богатые откровенно станут помогать бедным, они все свое имущество и раздадут бедным; а бедные, сделавшись богатыми, обратно раздадут полученное имущество богатым, что стали бедными. Оно так и пойдет из рук в руки, как вот доводилось мне видеть на картинке — колесо фортуны, под которой подписано:

Чуден в свете человек,
Суетится целый век,
А того не замечает,
Что судьба им управляет.

На той картинке колесо представлено: сверху колеса человек и внизу колеса человек; так и знаешь: колесо повернется — нижний наверху будет, а верхний внизу; еще повернется — опять попрежнему, и так может хоть до конца веков вертеться, всякий на колесе посидит и под

колесом побывает. Ведь и насчет бедности, главное дело для поддержания любви к ближнему и добродетели, чтоб бедные люди всегда оставались и богатые учились бы помогать им. Вот автор второй статьи уж что-то чересчур мудрено выражается, что будто стыдно будет со временем богатому подавать милостыню, а бедному принимать ее. Я думал, думал, никак не могу понять этого. Авдей Авдеич, который в университете воспитывался, говорит, что автор хотел сказать, будто люди должны отыскать такие средства обогащения в своей промышленности и такой между собой порядок вести, чтоб вовсе бедных не было. Авдей Авдеич говорит, что наука политическая экономия в наше время на это и метит, а что г. С. Шевырев, должно быть, той науки вовсе не знает, а что иначе, говорит, бедных не уничтожишь, как чтоб они сами собственными силами обогатились, а то, говорит, хоть сейчас все имущества между всеми людьми поровну раздели, так такая малость на брата придется, что не на что будет табаку понюхать. А оставить, говорит, бедных на произвол богатых нельзя. А надо, говорит, никому не мешать работать, ограждать независимость труда законами, как то в нашем отечестве и делается, да платить за труд то, чего он стоит, и правосудие всякому человеку равно отдавать; тогда, говорит, бедные будут много производить и богатеть. Вот что говорит Авдей Авдеич. Ну, уж правду ли он говорит — это пусть люди поумнее моего рассудят.

Возвратясь домой от генерала Краснопупова, я было на другой же день принялся писать к вам, милостивый государь, уже и перо очинил и бумагу перед собой положил, как вдруг мне сказывают, что пришли ко мне два мужика соседние о чем-то посоветоваться. Велел их позвать. «Что вы, говорю, почтенные? Что вам надо?» Один говорит: «Вот, батюшка Антон Прокофьич, письмо».— Смотрю, да это, говорю, не ко мне. «Вестимо, говорит, не к тебе; это к нам барыня приказ пишет. Прочти, батюшка, да скажи, что нам делать?» — Читаю. Сверху надписано: Старосте Акиму Русопенкову приказ.—А сколько, я говорю, вас душ у барыни? — «Да, говорит, нас всего двое».— Как двое? — «Да деревня-то, говорит, большая, разнопоместная; нас только двое барыне-то нашей принадлежим».— Так какой же у вас староста? — «Да я,

говорит, староста». Это ты Аким Русопенков? — «Нешто, батюшка, так прозывают».— Ну, да сколько же вас тягол? — «Да два тягла нас только и есть, Антон Прокофьич. Я староста, а вот Панкрат так ничего, то есть не староста. У него сын, да только не женат еще, еще не в летах».— Постой, я что-то не понимаю. Так вас всего двое, и один из вас староста? — «Так, батюшка. Я староста, а он так себе, ничего».— Гм, подумал я, хорошо! Что-то дальше? Читаю. Барыня пишет:

«Продала я землю, на которой вы сидите, татарам, а потому запрещаю тебе и всем мужикам моим деревни Перевердеевки вашу землю пахать; а сдать ее татарам, которым она продана. А вам земли той вовсе не пахать. И выходите вы на волю, а я за каждую ревизскую душу с вас по сту рублей серебром возьму, а избы и скот ваш вам предоставлю. Да смотрите ж, непременно выходите на волю, а коли не хотите по сту рублей серебром за душу заплатить (а вы, дураки, ведь, пожалуй, и не захотите), ну так я вас в Усмановку перешлю. Да коли не хотите заплатить и на волю выйти, так будет с вас за оное ослушание строго взыскано. Да ты еще, Аким, стоишь того, чтоб тебя просто розгами высечь: я же тебя старостой определила, а ты мне пять телячьих шкур перегадил! Так смотри ж, земли с весны вам не пахать, а приказываю вам итти на волю и внести мне за это по сту рублей серебром за душу».

Приказ написан довольно четкой рукой, а внизу какими-то каракулями подписано: Сему верь, барыня ваша Лизавета Улыбочкина.

Прочел я.— Ну, так что ж вы, говорю, хотите? — «Да пришли,— говорит Аким,— спросить у твоей милости, можно ли нам весной-то землю нашу пахать?» — Да ведь вам барыня пишет, что нельзя.— «Вестимо, говорит, пишет, что нельзя; то-то мы и пришли спросить, не можно ли?» — Экой ты какой! ведь знаешь, что земля продана и, стало, ее пахать нельзя, а надо татарам отдать. А барыня велит вам на волю итти и по сту рублей серебром за душу внести.— «Да где, говорит, нам ей сто рублей серебром взять? У нас и ста копеек серебром в дому нет».— Ну, жаль мне вас, да что же с этим делать? — «А земли-то пахать нельзя, батюшка?» — Нет, нельзя, она продана.— «То-то и мы думали, что нельзя, да и при-

шли спросить. Ну! нельзя, так нельзя. Ну, прощай, батюшка! Теперь так и будем знать».

Хотел я еще что-то вам сообщить, но теперь не припомню и потому решился оставить до следующего письма. Впрочем, с истинным моим почтением и таковою же преданностью честь имею быть, Ваш, Милостивый Государь, покорный слуга

Антон Постегайкин.

ЗАМЕЧАНИЯ НА СТАТЬЮ, ПОМЕЩЕННУЮ В № 98 «МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»,

ПОД ЗАГЛАВИЕМ: «ОПЫТ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» [1]

Статья превосходная как по своей цели, так и по началам, на которых автор хотел основаться! * Классификация — необходимая потребность ума, потому что ум ничего не может понять не в порядке. Наука без классификации не была бы наукою. В истории всякой науки мы видим, с каким старанием она домогается до истинно естественной классификации своего предмета; сначала являются классификации односторонние, искусственные, ложные, но мы не имеем права винить их: они первые благородные попытки ума привести в систему свои исследования, попытки, не достигнувшие цели по недостаточности опыта, но тем не менее важные в истории науки, тем не менее послужившие ступенью к ее более полному развитию, к классификации естественной, основанной на действительности вещей и целости предмета науки.

Классификация губерний и областей Российской империи, предложенная в разбираемой мной статье, относится, по моему мнению, к числу тех попыток, которые очень уважительны в науке, но далеко не достигают цели. Всякое распределение должно основываться на каких-нибудь началах. Сам автор помянутой статьи укоряет обыкновенно употребляемое статистическое распределение Рос-

* Статья эта заимствована из «Ж[урнала] м[инистерства] в[нутренних] д[ел]» [2].

сии в том, что оно основано на понятиях, совершенно внешних и чуждых науке. Действительно, математико-географические определения: север, юг, запад, восток, не представляют нам ничего, что бы нам намекнуло на людскую деятельность и производительные силы обозначаемого края. А научное название целого отдела, целого класса должно же выражать его характер, его содержание: иначе название становится делом безразличным или случайным. Но на каких же началах основывается сам автор статьи «Ж[урнала] м[инистерства] в[нутренних] д[ел]»? Высказав весьма верные понятия о науке, он приступает к классификации России так внезапно, что никак не знаем, откуда взялось его распределение. Явившись, как Deus ex machina *, оно разделило государство на основании стольких разнородных начал, что вместо классификации дает нам бессистемный ряд названий разных отделов. Первый отдел содержит в себе восемь губерний (Московскую, Тверскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую и Владимирскую), названных центральными, внутренними, около-московскими губерниями. Тут название показывает, что автор берет для своего распределения географическое положение губерний. Второй отдел северных губерний, в котором соединяются в один класс Петербург и Вятка, также основан на географическом положении. Третий отдел также, и в нем сближения не менее странны. Тут берутся губернии, через которые протекает Волга. Волга, протекающая более трех тысяч верст! Автор сам так устрашился сближения разнородностей в этом отделе, что не включил в него Астраханской губернии и Саратовской, через которые, однако, течет же Волга. Четвертый отдел также на географическом основании; в него входят две губернии, названные Уральскими: Пермская и Оренбургская. Пятый отдел — степные губернии: Курская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Саратовская и Астраханская. Здесь опять географическое основание. Шестой отдел — земля Войска Донского и черноморских казаков. Это уже не географическое, а племенное основание, по особенности племени. Автор замечает еще, что потому ставит их в

* «Бог из машины», т. е. внезапное вмешательство божества в развязке античной трагедии (лат.).— *Ред.*

особый отдел, что они не называются ни губерниями, ни областями! Седьмой отдел составляет Новороссийский край, т. е. губернии: Екатеринославская, Херсонская, Таврическая и Бессарабская область. Это название <не> основано ни на племенном различии, ни на географическом положении. Осьмой отдел — губернии малороссийские. Это опять название на племенном основании. Девятый отдел, шесть губерний северо-западных (Витебская, Могилевская, Минская, Виленская, Гродненская и Ковенская), опять назван по географическому положению. То же и десятый отдел: прибалтийские губернии. Одиннадцатый отдел, содержащий Кавказ и Грузию, т. е. пять кавказских губерний. Наконец, двенадцатый отдел, заключающий все зауральское пространство: Сибирь и Американские колонии. Опять название географическое. Действительно, Американские колонии весьма зауральская сторона.

Спрашивается: что общего имеет Орловская губерния с Московскою, чтобы стать с нею в один отдел? Москва с ее мануфактурной деятельностью и Орловская губерния, снабжающая, наряду с Малороссией, сырыми произведениями Черноморские и Рижские порты? Что общего имеют Петербург и Вятка? Их северность? то есть что же? — холодность их климата? Неужели же холодность климата, при совершенной разнице значения в государстве, дает право статистику на сближение? Неужто назначение Петербурга только быть страною с дурным климатом? Далее: каким образом Ярославль с его мастеровым населением присоединится к Симбирской губернии, возделывающей одинаким образом на одинакой земле одни произведения с Пензенской, Тамбовской и пр. губерниями? Каким образом степь Тамбовская попала в один разряд с степью Заволжскою и степью Астраханской? На одной сеют рожь, на другой пшеницу, на третьей кочуют калмыки. Неужели одно название, один звук: степь, может сблизить все что попало? Но если автор и строил свое распределение то на положении губерний относительно градусов северной широты, то относительно их расстояния от границ империи, то в отношении их безлесности, как же вдруг переброситься в исторические основания и делить по племени? Если автор, большей частью основываясь на географическом положении, имел что-нибудь в

виду для определения значения известных географически-очерченных местностей в общей системе государства, тогда и земли казацкие, и малороссийские должны бы войти в отдел, которого бы название обозначало известный род местности, дающий им особый характер в общей экономии края. Но автор, кажется, ничего не имел в виду, наделяя свои классы географическими названиями, и потому очень легко перешел к классификации исторической, племенной и потом опять возвратился к географической. Если брать историческое основание, то надо следить все переселения племени, искать малороссов в Саратовском Заволжье и делить Россию: на малороссов, проживающих там-то и там-то, великороссов, проживающих там-то, наконец, татар, мордв<ин>ов, черемисов и проч. Тут была бы целость государства; мы бы знали, что вот такое-то государство состоит из таких-то племен. А если вы мне скажете, что Германия, например, составлена из внутренних княжеств, из Севера и баварцев, я ничего не пойму в этом делении; я или стану думать, что же за племена на севере и внутри государства, или спрошу себя,— какое значение имеет местность Баварии относительно северной и внутренней Германии? Классификация, основанная на разнородных началах, еще не есть естественная классификация, но только бессистемная классификация.

Прежде всякого распределения известного государства представляется вопрос: на каких началах может основываться статистическое распределение государства вообще? Для этого надо уяснить себе самое значение статистики, ее значение в группе наук политических. Конечно, географическое положение государства и областей его входит в статистику; но оно не составляет целой статистики. Из этого мы можем сделать очевидный вывод, что для статистического распределения государства недостаточно взять в основание географическое положение его областей. Конечно, статистика граничит с историей тем, что она берет настоящее положение государства, а настоящее положение государства есть результат его истории. Но какие бы племена ни входили в состав государства, по каким бы областям его они ни рассеялись, следить их поселения исключительно дело истории; показание их различий еще не составляет статистики государства. Основать

его распределение на этом различии для статистики недостаточно; такое распределение только обозначит, из каких племен составилось государство, но нисколько не определит его настоящего положения. История следит все прошедшее государства, все элементы, из которых оно постепенно образовалось, пока дошло до его современного положения. Статистика берет государство в ту минуту, когда прошедшее прошло. Но этим мир человеческий еще отнюдь не закончен. Статистика не может рассматривать государство только как результат прошедшего. Она должна группировать все его элементы как силы, из которых пойдет его дальнейшее развитие. Этим она необходимо должна подчиниться точке зрения политической экономии, как науки, которой содержание составляют разумные начала (*principes*) развития материальных сил государства. В наше время, когда наука ясно показывает, что материальные силы государства составляют основу его цивилизации, политическая экономия получает свое настоящее значение, свою настоящую важность. Она вышла из тесных рам, в которых пребывала, довольствуясь определением науки о государственном богатстве, и захватывает все вопросы гражданственной жизни. И это сделалось совершенно естественно, потому что самое богатство государства есть не иное что, как приложение труда его граждан ко всем производительным силам, находящимся в почве и человеке. Рассматривая общество с точки зрения труда и производительности, политическая экономия становится в открытую борьбу с племенными интересами и ищет основать общественную связь на единстве труда. Требуя разумного распределения сил и воздаяний за труд, она требует обеспечения труда и его движения к усовершенствованию, что другими словами значит, что наука требует обеспечения лица и его движения к усовершенствованию. Поэтому-то политическая экономия захватывает все вопросы гражданственности и становится наукою вполне социальною. Мирный и вместе всемирный переворот, совершенный в последнее время Кобденом [3] в Англии, на основаниях науки, свидетельствует о том, какие широкие размеры принимает теперь политическая экономия. Статистика, сказал я выше, должна группировать элементы, из которых состоит государство, как силы, из которых пойдет его дальнейшее развитие, и поэтому она

подчиняется точке зрения политической экономии. Да, без этого подчинения, без этого проникновения статистики политической экономией, статистика все же останется мертвою буквою, безразличным описанием безразличного факта. До сих пор наши труды в статистике нашего государства большей частью совершались во имя истории, во имя прошедшего, во имя племенных начал. От этого в «Материалах для статистики Российской империи», изданных при статистическом отделении М[инистерства] в[нутренних] д[ел], мы находим более археологических трудов и можем себе составить только весьма недостаточное понятие о производительных силах государства, его промышленном движении, его общественной деятельности. Конечно, описание какого-нибудь кургана или татарской монеты весьма важно для русской археологии; но какое дело до этого статистике? Если б такого-то памятника и не было в такой-то местности, статистика тем не менее стала бы описывать ее значение в современной общественной деятельности. Ее предмет — современность, живая жизнь, элементы истории, воочию совершающиеся. Политическая экономия, как приведение в сознание этих элементов, дает статистике настоящий смысл и жизнь.

Теперь, на каких же основаниях можно распределить государство в статистической классификации? Вопрос становится яснее. На основаниях политической экономии мы должны группировать в государстве одинакие производительные силы. Конечно, в каждой группе мы, может быть, найдем всевозможные производительные силы государства; но не все в одинаком значении. Мы можем соединять только те, которые выдаются резче, которые составляют главную, существенную производительность данной местности, производительность, для поддержания которой соединяются все остальные. Так, земледелие и мануфактуры существуют и в Московской и в Тамбовской губерниях; но в первой мануфактурная промышленность составляет главную деятельность, предмет торговли, а земледелие — деятельность второстепенную, которой плоды даже недостаточны для прокормления края; а во второй земледелие — главный источник богатства, главный предмет торговли, а мануфактурная промышленность маловажна. Так, в классификации животного царства развитие одного органа преимущественно перед другими,

хотя бы и все остальные не были исключены, ясно указывает на особый класс, в котором животные по аналогии анатомического устройства должны и жить одинакой жизнию.

Из прежних попыток распределения России замечательна одна, хотя односторонняя, но по крайней мере систематическая, представляющая в порядке хоть одну сторону производительных сил нашего государства. Ее приводит Реден [4] в своей статистике России («Das Kaiserreich Russland. Statistischgeschichtliche Darstellung seiner Kulturverhältnisse», von Freiherrn Fr. Wilhelm von Reden, Berlin, Posen und Bromberg, 1843) *, выписывая статью из «Земледельческой газеты» 1834 года под заглавием: «О климатических различиях России в отношении к земледелию». Это распределение следующее:

1. *Пояс льдов.* Сюда относятся Новая Земля и крайний север Сибири, а также северная часть Кольского округа, который, впрочем, становится менее суровым от близости Белого моря.

2. *Пояс тундр* (моховых степей). Сюда относятся земли, на вечно мерзлой почве которых растет только мох, а ближе к следующему поясу встречаются низкие лиственницы и ели. Этот пояс природа наделила животным, которое делает его обитаемым для человека,— это лось. Далее сопровождают человека собака и две или три породы птиц. Следуя за поясом льдов, этот пояс занимает огромные пустыни до восточного Океана.

3. *Пояс лесов и скотоводства.* Он начинается там, где скудные деревца постепенно переходят в огромные ели, лиственницы и другие леса. Возле рек и на открытых местах трава растет в изобилии; но поздние морозы весной и ранние осенью препятствуют земледелию. Поэтому в северной части этого пояса охота — главное занятие, особенно ловля белок. В южной части, при изобилии трав, показываются следы скотоводства и начатки земледелия.

4. *Пояс ячменя.* Этот пояс обозначается сим именем потому, что по краткости лета и частым утренним моро-

* «Российская империя. Статистико-историческое изображение ее культурных условий», Вильгельма Редена, Берлин, Позен и Бромберг, 1843 (нем.).— *Ред.*

зам только ячмень возделывается с успехом. Впрочем, при тщательной обработке могут произрастать овощи и возделывается картофель. Южный предел этого пояса — город Яренск, Вологодской губернии, и может быть продолжен по соответственной линии 63° северной широты.

5. *Пояс ржи и льна.* Пояс северного земледелия потому назван поясом ржи и льна, что это наиболее свойственные ему произведения. Он простирается от вышеозначенного предела почти до половины Черниговской губернии, до 51° с. ш. Он составляет главную часть империи. Его южная половина имеет преимущество перед северной, однако они не настолько различны, чтобы нужно было подразделить их. Собственно русский климат представляет Москва, климат умеренный и благоприятный для земледелия. Сибирский климат суровее. Но к западу, по ту сторону Двины и Днепра, заметна большая перемена в климате. Лесов вообще в этом поясе становится ощутительно менее, исключая тех местностей, откуда затруднителен вывоз. Наконец, характеристическая черта его — обширные водяные сообщения.

6. *Пояс пшеницы и фруктовых дерев.* Этот пояс не потому так назван, чтобы в предыдущем не произрастало пшеницы и фруктовых дерев, но потому, что и то и другое здесь в большем изобилии и более соответствует климату. Его можно провести до Екатеринославля, или до 48° с. ш. В настоящее время он заслуживает названия житницы всего государства. Значительную часть его занимают степи, которые во всем их протяжении могут быть разделены на травяные, паственные, лесистые (holzgründige), песчаные и каменистые (кроме тростника, растущего по низменным местам). Этот пояс составляет, по Редену *, почти треть всего государства.

7. *Пояс кукурузы и винограда.* Из него не исключены произрастания предыдущих поясов; но он назван так потому, что виноградная лоза достигает здесь свойственного ей климата, и что здесь кукуруза, хотя не исключительное, но изобилующее произведение. Этот пояс заключает в себе Бессарабию, Новороссийский край, Землю донских казаков, Астраханскую губернию и Кавказскую область.

* В подлиннике ошибка: Герману.— *Ред.*

8. *Пояс масличного дерева, шелка и сахарного тростника.* Сюда относится южная часть Крыма и Закавказский край.

Вот распределение, конечно, одностороннее, искусственное, потому что одно земледелие не выражает целой общественной деятельности; но оно достаточно систематично, чтоб представить обзор государства в порядке и дать понятие о целом. Для естественной классификации областей государства надо иметь в виду всю общественную деятельность и сближать все области, которые по своим местным условиям преимущественно разрабатывают ту или другую ее сторону. Одинакие специальности необходимо группируются в один класс. Что представляет, например, страна, лежащая по ту сторону Волги, страна, которая идет от юго-востока Симбирской губернии (Самарский уезд), захватывает юго-запад Оренбургской (Бузулукский уезд) и тянется к югу, почти до Астраханской губернии, составляя Саратовское Заволжье? Это степь с одинакой почвой, степь, где возделывается пшеница одинаким образом, где одно и то же произведение стремится к сбыту на одни и те же волжские пристани. Народонаселение, из каких бы племен оно ни состояло, живет одинакими интересами. Вся страна соединена в одно целое однородностью почв и труда человеческого. Заволжские крестьяне одинаким образом ищут нови для своей пашни, нанимаются на одинакую работу в одни и те же места; заволжские купцы скупают одни и те же продукты; заволжские помещики — эти фермеры на огромных участках земли — ищут одних и тех же выгод, находятся в одном и том же кругу деятельности, совершенно различной от деятельности саратовского помещика по сю сторону Волги, который сеет рожь, не меняет пахотной земли, хлопочет о сбыте хлеба на винокуренные заводы так, как помещик Пензенской, Тамбовской и Симбирской губерний (кроме Самарского уезда). Пусть Хвалынский земский суд пишет отношение в Саратовское губернское правление, а Самарское в Симбирское, а Бузулукское в Уфимское: от этого Самарский, Бузулукский и Хвалынский уезды не перестанут быть частями Саратовского Заволжья. Административные пределы не разграничивают однородных потребностей народонаселения. Точно так же, с другой стороны, Симбирская губерния

(кроме Самарского уезда) не перестанет входить в одну категорию с губерниями Пензенской, Тамбовской, Саратовской по сю сторону Волги, Воронежской и частью Нижегородской. Тут степь совершенно различная от Заволжской степи. Это запас ржаного зерна в государстве. В эту категорию никогда не подойдут ни степи Астраханской губернии, ни луговые степи казацкие, которые кормят скот и снабжают мясом целое государство.

Нельзя не обратить внимания на пути сообщения, ибо они дают совершенно другую физиономию, например, Малороссийскому пшеничному краю и Заволжскому, хотя бы все Заволжье было населено малороссиянами. Торговое движение идет не в одну сторону, и край получает совершенно иное значение в общей экономии государства. Племенное различие до такой степени недостаточно для определения характера местности, что также было бы очень трудно причислить Харьковскую и Курскую губернии к Малороссии, потому что они обе носят совершенно особый характер рубежных стран, где нет преимущественно выдающейся деятельности, но слиты все деятельности окружных губерний. Здесь являются и интересы степных губерний по сю сторону Волги, и произведения чисто малороссийских губерний, и мануфактурная промышленность около-московная. Надо заметить, что здесь и помещики большей частью русские.

Что касается до Московского края, то он, конечно, представитель мануфактурной деятельности России. Сюда относятся Московская, Рязанская, Калужская, Тульская, частью Нижегородская и Ярославская губернии. Хотя автор статьи «Ж[урнала] м[инистерства] в[нутренних] д[ел]» и включает Ярославль в категорию приволжских губерний, между мастеровым населением Ярославля нет ничего общего с земледельческим населением других губерний. Если Рыбинск есть одна из главных хлебных пристаней России и находится в пределах Ярославской губернии, тем не менее он относится совсем к другой категории: он есть пристань, поставленная во внутрь государства прибалтийскими торговыми провинциями, которые, не отличаясь ни земледелием, ни мануфактурной деятельностью, имеют характер чисто торговый и к которым относятся Петербург и немецкие провинции. К северу идет лесная часть России, и, таким образом, Вятка

и Вологда никогда не могут составить одного отдела с Петербургом. Пермская и северная часть Оренбургской губернии хотя и отделены от Сибири Уралом, но бесспорно вместе с Сибирью принадлежат к горнопромышленной рудокопной России. Северо-западные, т. е. от Польши присоединенные губернии, конечно, составляют особый отдел, но это только потому, что они постепенно выводят из России в царство Польское.

Не имея достаточных материалов под рукою и ограничиваясь пределами газетной статьи, я нисколько не намерен составить здесь классификацию областей Российской империи, для чего потребовались бы размеры целой книги. Я хотел только указать на истинную методу статистической классификации. Сближение однородных деятельностей, выросших на однородных почвах,— вот единственный путь, на котором наука может исследовать свой предмет светло и цело, дать каждой части настоящее значение в общем и достигнуть ясного обзора общего. Никакие односторонние взгляды, никакие произвольные отделения, никакие административные разграничения, явившиеся и существующие вследствие других, часто случайных, вовсе не наукообразных причин, не должны останавливать на этом пути статистика. Для него отдельные области могут только по однородности почв, произведений и деятельности их народонаселений классифицироваться в один общий состав государственной экономии.

ЗАМЕЧАНИЕ НА ЗАМЕЧАНИЕ Г. ЧИХАЧЕВА,

ПОМЕЩЕННОЕ В № 59 «ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ» 1847 ГОДА НА СТАТЬЮ № 72 «МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» 1847 ГОДА, ПОД ЗАГЛАВИЕМ «ДВА СЛОВА О РАБОТАХ ГОСПОДСКИХ ЛЮДЕЙ»[1].

«Если обмолвился, господа, поправьте и приймите глубочайшую благодарность».

Андрей Иванович Чихачев,
помещик Ковровский[2].

Обмолвились, Андрей Иванович, шибко обмолвились!

Отвечаю вам с полной надеждой на вашу глубочайшую благодарность.

Вот куда непонимание одного слова может завлечь молодого человека! — подумал я, прочитав вашу статью. Вероятно, я не ошибаюсь, почитая вас молодым человеком, и совершенно убежден, что при ваших способностях, с летами вы приобретете и более верное знание слов, употребляемых в науке, и более положительный взгляд на вещи.— Но приступимте к делу. Выписываю ваши слова: «Что это за *ненормальное* отношение производительных сил? Что это за хозяйственные отношения на *нормальных* основаниях? Слово нормальный собственно значит народный, образцовый; но здесь, по моему мнению, еще и вот какое значение: свойственный, должный, положительный, непреложный, с духом времени сообразный, в духе народном пребывающий, неуклонный от коренных начал всякого блага, совета и доброты сердца. И после этого мне становятся очень понятны *нормальное* и *ненормальное* отношение производительных сил (помещик, крестьяне), *нормальные* и *ненормальные* основания как в хозяйстве, так и во всяком деле. Покойники отцы и деды наши обошлись бы без слова *нормальность,*

заменяя его вполне *добросовестностью*» («Земледельческая газета» № 59, стр. 470).

Слыхали вы, вероятно, как медики иногда толкуют о нормальных и ненормальных отправлениях желудка, сердца, мозга и т. д.? Неужели вы и тогда думали, что они говорят про народные, образцовые или добросовестные отправления желудка, сердца, мозга и т. д.? — Нисколько! Нормальность просто значит правильность (от слова: norma, мерило, мера угла). Нормальное отношение, нормальное основание значит правильное отношение, правильное основание. В мире же человеческом правильность значит разумность, и потому: *«ненормальное отношение производительных сил»* значит «неразумное отношение производительных сил»; *«хозяйственные отношения на нормальных основаниях»* значат «хозяйственные отношения на разумных основаниях». Конечно, вы и не ограничились, переводя слово *нормальность,* одним понятием народного; но, по примеру прадедов, желаете заменить его словом добросовестность. Не знаю, почему прадеды вам кажутся добросовестнее нас; вполне согласен, что добросовестность — дело почтенное; но сделайте милость, укажите мне хоть одно государство, одно человеческое общество, которое бы все свои труды, постановления, связи, делающие из него одно нераздельное целое, полагало на добросовестности частных лиц, каждого из своих членов! Кроме того, что такого общества нет и никогда не бывало, но если б оно и существовало, то согласитесь, что, рядом с младенческой добросовестностью, оно представило бы нам страшную неразвитость потребностей промышленности, искусства, знания. Едва ли даже мы в состоянии представить себе картину младенческой добросовестности. В ней мы более увидели бы младенчества, чем добросовестности. Эх, Андрей Иванович! Что уж нам возвращаться к тем временам, когда человек еще не вкусил плода с древа познания добра и зла! Ведь нельзя, да и не хочется! Признаемтесь лучше, что каждый из нас имеет в жизни свои интересы и требует в обществе человеческом законности, правосудия для того, чтобы его интересы не были оскорблены интересами другого. Нормальные, т. е. правильные, разумные отношения между людьми, живущими в обществе, в государстве, именно и состоят в том, чтоб в основании их был поставлен закон,

ограждающий лицо от притязаний другого лица, сословие — от притязаний другого сословия, чтобы не было места обиде. Только не в детской добросовестности (которой не существует) ищите этих нормальных отношений, а в мужественной, священной защите своего права на жизнь и пользование ее благами. Что же касается до *народной, образцовой добросовестности* (слова, которыми вы переводите слово нормальность), то не знаю, почему вы полагаете, что мы должны гордиться ею перед другими народами, как будто, кроме нас, все другие народы недобросовестны?! Не имея такого грустного взгляда на род человеческий, я беру под свою защиту против вас все народы, обитающие на земном шаре, без исключения, и имею на это право: добросовестность, простое чувство честности, есть принадлежность человека вообще и потому принадлежность всего рода человеческого, а не составляет отличительной черты какого-нибудь народа, какого-нибудь сословия. Почему это мы *«помещики* — в блестящую награду — должны гордиться ею перед *другими народами?»* («Зем. газета» № 59, стр. 470). Я очень уважаю наше сословие; да помилуйте, Андрей Иванович! за что же вы мужика-то почитаете менее добросовестным? Право, не понимаю! Я знаю очень много недобросовестных мужиков; но знаю также много и недобросовестных немужиков. Если б последних не было, наше мудрое правительство не трудилось бы внушать умеренность в употреблении помещичьей власти. Наоборот, я знаю много весьма добросовестных мужиков и весьма добросовестных помещиков. Но что ж из этого? Какое распределение производительных сил в государстве оснуете вы на этой добросовестности?

Знаете что, Андрей Иванович? Вас слово нормальность ужасно запутало. Почувствовав сами, что его нельзя передать народностью и добросовестностью, вы свели нормальность хозяйственных отношений на три дня работы. Три дня работы, конечно, у нас существуют, но для нормальности хозяйственных отношений, т. е. для их правильности, разумности, нужна оценка труда, земли и произведений, получаемых посредством земледелия. Три дня работы потому и ненормальны, что они совершенно произвольны, потому что можно сделать вопрос: почему не два дня с четвертью, не два дня, не четыре дня? И вы на

этот вопрос ничего не ответите, кроме того, что три дня искони положены или что три — половина шести,— ответ, который не определяет никакой ценности. А если возьмете в расчет количество земли, которое помещик отдает крестьянину, то, смотря по разным местностям, найдете, что оно стоит более или менее трех дней работы, и тогда уже никак не докажете, чтоб хозяйственные отношения были правильны, разумны, т. е. нормальны; даже не докажете, чтоб они были добросовестны. Невольно и вы подумаете о кадастре, о котором давно хлопочет наше попечительное правительство [3].

Неужели все зло оттого, что мужик пьет винцо, а другие роскошничают? Эх, Андрей Иванович! Дай бог, чтоб наш мужик каждый день мог иметь за обедом винцо, и дай бог, чтоб мы все были в состоянии жить роскошно. Дайте-ка нам правильные, разумные, т. е. нормальные, хозяйственные отношения, где бы и наши капиталы, и наш труд имели настоящую ценность,— тогда мы будем уметь и роскошничать сообразно с нашими средствами. Мы будем знать наши средства, без этого комфорт невозможен. А жизнь без комфорта, Андрей Иванович, признайтесь, просто дикость, нечто подходящее к калмыцким нравам, в чем хотя и очень много патриархальной простоты, но, право, мало доблести. Нечисто — и только! Лучшим доказательством тому, что мы не знаем наших средств и, следственно, не имеем нормальных хозяйственных отношений, служит то, что мы (по вашему же признанию) разоряемся. Неужели же $^{99}/_{100}$ из нас моты? А между тем и мужики наши живут едва ли комфортабельно! Не в пристрастии к роскоши, с одной стороны, и не в пристрастии к вину, с другой стороны, ищите зло; а именно в ненормальности, неправильности хозяйственных отношений, безоценности производительных сил.

Впрочем, почтенный Андрей Иванович, я совершенно уважаю ваше желание прочного союза помещиков с крестьянами и ужасно желал бы считать моих крестьян моими сыновьями. Только я не знаю, с какого права я навяжусь им в отцы? Не знаю тоже, насколько они просты и поверят ли моей родительской нежности, видя себя на деле только моими работниками! Дайте мне нормальное, правильное отношение работника к собственнику, в котором обеспечивалась бы непринужденность найма и ограж-

дались работник и его труд от моих излишних притязаний,— и не нужно мне будет сочинять себе ни сыновей, ни приятелей, а просто воздавать самостоятельным людям за их труд то, чего он стоит. Указ 2 апреля 1842 года [4] уже показывает нам путь к нормальности хозяйственных отношений.

В заключение советую вам позаняться попристальнее политической экономией и наперед уверен, что в ваших летах и при ваших способностях вы далеко пойдете в науке и ее практических приложениях.

РУССКИЕ ВОПРОСЫ[1]

<СТАТЬЯ ПЕРВАЯ>

Мы уверены, что император Александр освободит крепостных людей в России. Их нельзя не освободить, не подвергнув государство финансовому разорению, или дикой пугачевщине[2], или тому и другому разом. Мы знаем, что правительство будет искать при освобождении крепостного сословия некоторой постепенности для предотвращения потрясений, никому не полезных, мы только не желаем, чтобы оно искало постепенности на таком пути, который мог бы ввести новую неопределенность отношений, между тем как Россия уже и без того страдает неопределенностями всякого рода — в законодательстве, в границах власти административной и судебной, в взимании налогов и т. д.

Мы не желаем, чтобы в вопрос освобождения крестьян взошло искажение всех понятий русского народа о собственности. Русский народ не может отделить себя от земли, землю от общины. Община убеждена, что известное количество земли принадлежит ей. Даже крестьяне, которые переселяются с прежнего места жительства, идут не ins Blaue hinaus *, а идут вступить во владение новой землей, образовать новую деревню, новую общину. Ни одному помещику не приходило в голову выселить крестьян, хотя бы из видов фабричной деятельно-

* Куда глаза глядят (нем.).— *Ред.*

сти, не давая им новой земли для хлебопашества; нет ни одного крестьянина, который, идя на промысел в какой-нибудь дальний угол империи, не знал бы, что у него дома на его долю остается клочок земли, выделяемый ему из общинного владения. Эта нераздельность человека и земли, общины и почвы — факт. Есть ли он результат глубокой древности, сложился ли он во время петровского периода — все равно; дело в том, что в понятии русского народа иное устройство невозможно.

Освобождение крепостных людей без земли противно духу русского народа, и вдобавок их можно легко освободить с землею. Введение в России пролетариата, который до сих пор у нас неизвестен, не нужно. Неужели из всех средств постепенно привести в исполнение освобождение крепостных людей русское правительство выберет самое нелепое?.. И почему же не спросить мнения лучших русских людей об этом вопросе? Почему правительству не приказать подавать себе проекты освобождения крепостных людей? Эти проекты посыплются со всех концов России, со всеми весьма важными оттенками местностей. Тогда легко выбрать способы освобождения. Наконец, специальная комиссия (а у нас так любят специальные комиссии!) могла бы заняться разбором проектов и добросовестно определить способы освобождения, согласные с здравым смыслом, с духом и потребностями народа и местными условиями жизни.

Но правительство, как бы ни было благонамеренно, окружено людьми старыми, для которых личные выгоды значат государственный порядок; людьми старыми, которые неохотно возьмутся за вопрос освобождения или решат его с точки зрения узких политико-экономических понятий, или, лучше сказать, без понятий. Да, если за вопрос освобождения возьмутся люди николаевского периода, они решат его скверно, не беспокоясь о последствиях, решат его с свойственным им корыстолюбием, лицемерием и ловкостью квартального надзирателя, в пользу государственных воров — и только! Для нового вина надо мехи новые — старая истина! Горе, если император Александр не поймет ее.

И что же мешает людям с свежим умом и чистыми намерениями стать добросовестными помощниками около молодого царя? Что мешает? — Чин, Чин — и только!

Итак, чин, эта немецко-китайская язва в России, может помешать ее будущему развитию и благоденствию и всякому благому намерению молодого государя, который всенародно говорит, что его цель — внутреннее благоустройство государства!

Дорого бы мы дали, чтобы Россия была избавлена от всех страданий западного развития: бесплодных кровопролитий, раздробления собственности, нищенства, пролетариата, формально законных и человечески несправедливых судов, притеснений, позорного мещанского тиранства, лицемерия, и развивалась бы мирно путем вечно юной реформы. Но как будет, что будет — не знаем.

Если крестьян отпустят без земли, дворянство, вместо роли образованного класса в государстве, разыграет роль западного мещанства, разовьет право собственности до безумия, как в Англии, разовьет угнетение и нищенство крестьян и даст повод к смутам, которых жестокость будет страшная!

Если крестьян отпустят без земли, эти свободно-бездомные люди станут нанимать землю. Кто же установит цену этих наймов? буржуа-помещик. Из-за чего же трудиться изменять крепостное состояние русское в крепостное состояние западное, может еще более тяжелое? Из-за чего трудиться, чтобы перейти от рабства к рабству? А ведь можно перейти от рабства к действительной свободе. Дайте крестьянам ту землю, которой они теперь de facto пользуются. Вознаграждение помещиков посредством банковых или иных операций можно же придумать, заставив над этим вопросом потрудиться свежих образованных людей.

Действительная свобода предполагает рациональное вознаграждение труда. Рационального вознаграждения труда может требовать только человек, не рискующий умереть с голода, человек, который уверен, что имеет minimum для пропитания себя и семейства. Этого-то свободного человека мы и найдем в русском крестьянине, которому община выделяет необходимый для пропитания клочок земли. Не надо нам мнимой свободы европейского нищего. Дайте крестьянам ту землю, которой они теперь пользуются! *

* Не беспокойтесь о дворовых людях. Приписка их к общине не обременит крестьян. Они составляют едва одну двадцать четвертую долю крепостного населения.

У помещиков еще останется довольно земли. Благоразумные финансовые меры могут при самом освобождении крепостных людей облегчить помещикам способы обрабатывания остающихся у них земель. Благоразумные финансовые меры могут создать капиталы. Надо об этом подумать. Освобождение крепостного сословия, как и всякая реформа, не есть разорение, а спасение от разорения.

Мимоходом замечу, что у нас на недостаток капиталов и на обычай общины делить ежегодно пашню по тяглам сваливают вину неразвития земледелия, statu quo трехпольного хозяйства и пр. Пора бы забыть эти призраки. Плодопеременное хозяйство не примется в России, пока на рынках будет требоваться не разнообразие плодов земных, а массы известного рода хлебов. Посмотрите, как наши крестьяне охотно возделывают свекловицу вблизи больших свеклосахарных заводов.

Заключение очевидно: устройте пути сообщения, устройте железные дороги, и вы увидите, что развитие сельского хозяйства пойдет об руку с требованиями земледельческих произведений на разных рынках империи.

Эта реформа необходима, неизбежна. Не стану говорить о грязи мелких помещичьих притеснений, в которой душно жить крепостному человеку; реформа необходима по самым простым экономическим условиям.

Положимте, в сложности крепостные крестьяне пользуются на тягло по одной десятине в поле, т. е. по три десятины во всех полях. Maximum цены пашенной земли 30 р. с. за десятину в покупке. Следственно, помещик дает тяглу в пользование капитал в 90 р. с. Естественно, он мог бы требовать с тягла maximum 10%, т. е. 9 р. с. в год. Тягло, работающее по найму, обычно может заработать около 50 р. с. в год. На помещика оно работает три дня в неделю, т. е. половину года (не говоря о злоупотреблениях, когда заставляют работать более трех дней). Следственно, тягло платит по крайней мере 25 р. с. за наем капитала, с которого нельзя более платить, как девять рублей. Следственно, тягло платит не 10%, а 27% помещику за пользование землею. Не говорю об оброчных именьях, где условия произвольны и иногда сходны, иногда совершенно разорительны для крестьян. Ну! может ли такое экономическое отношение держаться?

Может ли оно не лопнуть? Не необходима ли реформа, если России суждено избегнуть бунтов и резни?

С другой стороны, помещик от этих жидовских процентов не получает ни малейшей выгоды. Он привык пользоваться даровым трудом и никогда не рассчитывает, сколько что ему самому стоит. Между тем на рынках помещик находится в конкуренции с крестьянином, который продает дешево по нужде, и помещик принужден продавать хлеб без всякой пользы. Я видел только тех помещиков в выгоде, которые копят хлеб и потом продают его в голодные года по невероятным ценам.

Да разве тут есть хоть тень какого-нибудь нормального хозяйства? Может быть, и весьма вероятно, что с освобождением крепостного сословия цены на хлеб повысятся, это не беда! Они повысятся и с устройством железных дорог. Повышение цен на хлеб не убьет страну, где нет пролетариата. До сих же пор низкостью цен на хлеб в России пользуются только хлебные торговцы, жирея и крестясь на православный и неправославный манер и замаливая грех мошеннического способа торговли. Да взгляните вы на отчеты опекунских советов и приказов: ведь со времен их учреждения почти ни одно дворянское именье не выкуплено и почти все по несколько раз перезаложены! Разве вам не очевидна будет необходимость реформы, т. е. освобождения крепостного сословия?

Я не думаю, чтоб разорение дворянских имений происходило от мотовства помещиков, как предполагают многие. Странно заподозреть гуртом целое сословие в мотовстве! Ложное положение отношений помещиков и крестьян — более вероятная, коренная причина упадка дворянских имений. А упадок страшный! Опекунские советы не знают, что делать с огромным количеством имений, поступающих к описи, и отсрочивают платежи, не имея в виду возможности продать с публичного торга просроченные именья. Но если бы упадок и происходил от мотовства помещиков и их непривычки к труду, то освобождение крепостных людей было бы нравственным очищением дворянского сословия, ибо заставило бы дворян рационально трудиться и уметь жить не на чужой счет.

Да! Реформа необходима! Правительство это чувствует, дворянство это чувствует, народ это чувствует! Но к

кому же, действительно, правительство обратится за советом? Кого возьмет в помощники в великом деле преобразования, освобождения крепостных людей?

Народ плохо может высказать понятие, находящееся у него скорее в степени инстинкта, чутья, а не ясной мысли.

Большие баре? Люди, у которых по пяти, по двадцати, по тридцати, полутораста тысяч душ? Но это люди, которые воспитаны в какой-то заоблачной сфере, никогда не соприкасавшиеся с народом и его потребностями, никогда не мыслившие, привыкшие только тратить огромные с неба валящиеся им суммы, не стесняясь ни на волос в самых необузданных капризах. Нет, это плохие советники, плохие помощники на благое дело.

Мелкопоместное дворянство? Но это люди, лишенные воспитания, люди, выжимающие из мужика все здоровые соки, только что не убивающие мужика, а иногда и убивающие под милостивым прикрытием губернских властей. Плохие советники!

Купечество? Но это каста, которая рада своей замкнутости и себя считает пауком, а всех остальных мухами и которая, следственно, мерит благоденствие государства своею прибылью, достигаемою всеми путями неправды. Плохие советники!

Чиновники?.. Но это члены одной огромной организации повсеместного грабежа, где оконечности пользуются копейками и постепенно к центрам скопляются рубли. Плохие советники! Лучшие из них те, которые достаточно глупы, чтоб не грабить, и не довольно благородны, чтоб не служить,— бюрократы. Они думают спасти незнаемую ими Россию циркулярчиками!.. Да и попробуйте затронуть их циркулярчики, увидите, что значит бюрократическое самолюбьице. Плохие советники!

Остается тот отдел дворянства средней руки, который, с одной стороны, образовался в высших учебных заведениях и привык мыслить, а с другой стороны, жил в деревнях и знает народ и его потребности и между тем не продавал своей совести за места по службе. Да! юному правительству следует обратиться к образованным русским людям не по мере долговременности их службы, а по мере их независимости от службы; не по мере значительности, а по мере незначительности их чина. Эти люди

остались самобытны и независимы, следственно, добросовестны. В этих людях в настоящую эпоху выражается высшее развитие русской мысли; они могут быть советниками и помощниками.

Да! еще раз: реформа необходима! Отпустите крестьян с землею.

Но это еще не все! Административный грабеж переходит всякую меру. Места продажны, и люди продажны. Все, что служит, грабит и теснит все то, что не служит. Окружные, вооруженные беспощадными розгами, ездят собирать подать именно в то время года, когда у мужика хлеб не продан и денег нет; мужик откупается, чиновник богатеет, а недоимка растет. По мере богатенья чиновника беднеет мужик. Это своего рода крепостное состояние казенных крестьян не лучше состояния помещичьих крепостных людей. Земская полиция покровительствует окружным (а где уделы — удельным управляющим) и грабит сама сколько может. Судебные места покровительствуют грабежу и грабят сами. Губернаторы покровительствуют грабежу и грабят; каждый, разумеется, грабит по чину. Губернаторы вмешиваются в действия судебных мест тем более, что разграничение судебной и административной власти весьма неопределенно; судебные места, если как-нибудь нечаянно вздумают поступить справедливо, трепещут перед губернаторами; но по большей части все власти действуют заодно. Действия судебных мест и явных полиций сводятся на прямой грабеж; действия тайных полиций состоят в том, чтобы зажимать рты честным людям, которые смеют находить, что грабеж есть не государственный порядок, а грязная, безнравственная анархия. Честных людей называют либералами, бунтовщиками и тому подобными названиями, как будто виноваты честные люди, а не анархия административного грабежа, которая прежде всего подает повод к народным волнениям, ибо выносить эту анархию невозможно; терпения народного нехватит.

Не бойтесь этой картины России! Она не преувеличена, я свидетельствую о том, что видел. Но не бойтесь, а искореняйте зло! Позвольте, наконец, честным людям без опасения заточения и ссылки изобличать изустно и печатно все административные и судебные мошенничества и всех административных и судебных мошенников.

Винный откуп грабит народ. Это ясно. Мужик вырабатывает хлеб и продает четверть ржи за два целковых. Из этой четверти сделают семь ведер вина и продадут мужику в розничной продаже каждое ведро по семи целковых *, т. е. четверть ржи, переделанная в вино, 2 р. с. переходит в 49 р. с. Налог невероятный! Говорят, что это для общей нравственности, чтоб народ не спился с кругу. Да разве народ был спившимся с кругу до учреждения откупов? Возьмите статистику опившихся из медицинских отчетов, и вы увидите, что это ложь. Но этого мало: откуп разбавляет вино или портит, подсвечивая вредными средствами. Губернаторы всему покровительствуют, потому что откуп им платит.

Губернаторы грабят и посылают донесения министерствам. Министерства остаются довольными, и Россия благоденствует!

Страшное положение!

Правительствующий сенат, эта высшая судебная инстанция — cour de cassation ** для всех дел, от Камчатки до Одессы и от Архангельска до Астрахани, не поспевает решать всех дел, являющихся к нему в виде, искаженном пристрастными следствиями и пристрастным судопроизводством, и сам берет взятки.

Позвольте, наконец, честным людям гласно обсуживать ход судебных дел.

Взгляните: ведь русский народ привык к гласности. Крестьяне разбирают споры между собою на мирской сходке. Тут мирская сходка значит гласность. При большем развитии образованности шумная, говорливая мирская сходка заменяется более обширной и обдуманной гласностью, гласностью печатной, в которой участвуют уже не одни — иногда пристрастные — члены какой-нибудь отдельной общины, а участвует каждое лицо целого государства по мере сил и способностей. Тут только может образоваться честное общее мнение, казнящее неправду, от которой иначе не спасут никакие указы и наказания.

Взгляните: в русском духе третейские суды, с понятием которых невольно связывается понятие гласности.

---

* В ведерной продаже вино стоит 4 р. с., и тут 28 р. за 2 рубля!

** Кассационный суд (фр.).— *Ред.*

Разрабатывайте народные элементы судопроизводства. Право, они более способны основать и развить в России правосудие, чем все эти германо-латинские учреждения, сводящиеся на пустой и обременительный формализм, вдобавок загрязненный лихоимством, безопасно опирающимся на безгласности.

В заключение замечу. Россия разделена на губернии; это разделение было некогда правительственной мерою для облегчения действий администрации. Но разделение до такой степени произвольно, что правительство само было принуждено группировать несколько губерний в генерал-губернаторства. Спрашиваю: может ли держаться это произвольное разделение на 53 губернии, где часто разделены одинакие интересы и сгруппированы разнородные? На 53 центра административного грабежа,— между тем как высший апелляционный суд торчит на двух маленьких точках неизмеримой империи.

Этот вопрос меня приводит к мысли, что России не естественно группироваться в германо-турецкие пашалыки, отдаваемые на съедение каким-нибудь гегеймрат-сатрапам.

Будущность России — сгруппироваться *в конфедеративную империю.*

Но прежде всего *отпустите крестьян с землею.*

Многое еще пропущено мною в этих наскоро набросанных страницах; но искренняя цель моя была поднять все животрепещущие русские вопросы: да решат их юное правительство и вновь оживающая Россия.

РУССКИЕ ВОПРОСЫ

<СТАТЬЯ ВТОРАЯ>[1]

ДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 1856 ГОДУ

Между тем как философия истории подводит факты под закон *движения цели бесконечного* развития человечества, факты движутся гораздо проще: народы и правительства хватаются за перемены в положении вещей, когда в этих переменах приходит нужда, когда после долгого сцепления причин и следствий какое-нибудь положение становится невыносимым и государство поставлено в необходимость или изменить его, или погибнуть. В такие времена правительства или падают, или становятся реформаторами,— сознательно или вопреки своей воле,— все равно: необходимость сильней всякой воли. Горе правительствам, которые упрямо хотят сохранить statu quo: они исчезают с позором. Жалки правительства, которые медлят, потому что теряют силы и время от непонимания вещей. Слава правительствам, которые становятся во главе движения, потому что это есть признак понимания, умения, силы, таланта, гениальности!

Все эти мысли приходят на ум при наблюдении за движением нашего законодательства в прошлом году. Да, нужда приводит к переменам. Нить этой роковой необходимости можно проследить ясно и отчетливо.

Прошлый год — год окончания войны. Что прежде всего поражает правительство? Это то, что война была все же несчастлива, что после тридцатилетнего царствования императора Николая, в продолжение которого парадная выправка заменила военный смысл, в России не

нашлось порядочного генерала для ведения войны и что мы остались в проигрыше, даже несмотря на тупоумные ошибки неприятеля. Чем же занято правительство с самого начала 1856 года? Реформой военных школ. Надо образовать людей, иначе будет плохо. Эта мысль преследует, мучит правительство, и вот на место капральства вводится наука, на место тупой маршировки — приучение к телесной ловкости, на место подавления умов — возвышение мысли и знания. Правительство видит, что с невежеством и гнетом ему долее жить нельзя, и оно хватается за распространение науки и, следственно, свободы мысли. Почти каждый приказ по военно-учебному ведомству в продолжение более полугодия, от начала 1856 года, есть требование науки, расширение, поощрение научного образования в людях, посвящающих себя военному делу [2]. Программы учебных курсов следуют за программами; задачи для написания учебников следуют одна за другою. Может быть, все это неполно, шатко, не установилось; но важно то, что вопросы поставлены на ноги, что даже и от войска требуется не одно тупое повиновение, а человеческое образование, умственная деятельность.

Война не нарочно была истинным благодеянием для России. Тут также правительство натолкнулось на свое чиновничество, на его невежество, на грабеж без пределов, и почувствовало, что зацепляется за порог, который надо выпилить, если не хочешь споткнуться и удариться лицом в грязь. И вот правительство начинает преследовать своих привилегированных гражданских воров, печатает о них в газетах, послабляет цензуру, покровительствует университетам, задавленным прошлым царствованием, требует себе чиновников, образованных в высших учебных заведениях; опять в гражданском деле, как в военном, требует науки, мысли, образования. Оно видит, что преследованием мысли оно само бы у себя отняло средства действовать, что по николаевской системе ему долее нельзя жить, и оно начинает косо смотреть на самих преследователей, отнимает у генерал-губернаторов попечительство над университетами, не хочет употреблять военных офицеров по гражданскому ведомству вообще и по части гражданского воспитания в особенности *. Все

* Резолюция императора на докладной записке статс-секретаря Гофмана 25 февраля 1856 года [3].

это оно делает шатко, неполно, нерешительно, даже неловко; хватается за предметы без ясного сознания своих действий, подобно человеку, который с завязанными глазами играет в жмурки, двигается ощупью, боится ушибиться, иногда невзначай схватывает кого нужно, а по большей части ловит воздух, или берется за предметы ни к чему негодные. Но как бы то ни было, опять здесь важно то, что необходимость заставила поставить вопросы на ноги, и теперь — хочешь не хочешь — а надо решать их.

Теперь более чем когда-нибудь обязанность русской вольной книгопечатни сказать слово правды, которому дома вполне высказываться правительство еще боится дозволить. Теперь более чем когда-нибудь нужна критика правительственных действий, добросовестная и безгневная. К чему теперь был бы гнев? *Незабвенный* в могиле; довольно с нас сознания, что, пока существует язык русский, русская рука станет в отечественных летописях отмечать его царствование с ненавистью и омерзением; теперь оставимте мертвым хоронить мертвых и перейдемте к живой действительности. Да, не гневную оппозицию новому правительству принесем мы в станок вольного русского слова, а строгий и ясный разбор правительственных действий, разбор, из которого само правительство благородно и откровенно могло бы увидеть свои ошибки и обратить внимание на действительные потребности государства. Да не обвинят нас ни правительство, ни соотечественники в высокомерии: всякий человек, убежденный в справедливости своего мнения, имеет благородное высокомерие думать, что речь его полезна.

С чего же начнем мы наш обзор? Все равно. Начнемте хотя с распоряжений по судебной части.

Начиная с нового издания военно-уголовных законов, везде видно, что направление правительства человеколюбивое; ему хочется сбросить систему гнета, в которой ему самому более дышать нельзя. Оно возвращает ссыльных, возвращает семейные права и именье дворянину Аркадию Улятковскому, разжалованному за участие в тайном обществе в 1831 году, когда он еще был *учеником* гимназии; правительство, очевидно, не хочет более наказывать за мнения. Но каким образом, в то самое время как правительство преследует грабеж чиновников,

оно с тем же снисхождением, с каким милует мучеников за мнения, милует и князя Дадиана, наказанного за жестокое обращение и воровство по армии,— этого мы не понимаем. Тут есть двойная непоследовательность: уравнение воровства и варварства с политическим преступлением и покровительство привилегированным казенным ворам, которых, с другой стороны, правительство преследует [4].

Участь арестантов привлекает внимание государя. Он приказывает товарищу министра внутренних дел «иметь ближайшее наблюдение за арестантскими делами и исполнением высочайших повелений о немедленном их окончании, предоставляя ему вести под главным надзором министра всю переписку по делам сего рода. Но вместе с тем государь приказывает, чтобы в тех особенных случаях, когда по ходу означенных дел потребуются особые меры понуждения и взыскания с подчиненных министерству мест и должностных лиц,— распоряжения были деланы министром непосредственно» *. Кажется, цель и благая; но ведь это разделение труда между министром и его товарищем существует и без того по всем делам министерства. Что же нового прибавило это приказание к существующему порядку вещей? Ровно ничего. Цель правительства благонамеренная; мы охотно хотим этому верить; но да перестанет оно вместо дел удовлетворяться повторением слов, ничего не исправляющих, ничего не подвигающих, ничего не изменяющих.

Пояснение на статьи IX—XIII манифеста 27 марта 1855 и ст. XXI—XXV манифеста 26 августа 1856 [6] хотя и доказывает мнение статьи о манифесте, помещенной в этой же книжке «Полярной звезды», о неясности и неполноте самого манифеста, но тем не менее служит в пользу подсудимых.

Но странно поразило нас высочайшее утверждение ** мнения государственного совета о восстановлении третьего отделения при департаменте общих дел министерства внутренних дел для заведывания делами о преступлениях против веры православной. Во-первых, почему же заведывание делами о преступлениях, какого бы то рода ни

---

* Повеление 6 июля 1856 года [5].

** 7 февраля 1856 г.

было, может относиться к министерству внутренних дел, а не к министерству юстиции? Во-вторых, какие же это преступления против православной церкви? Неужели опять гонение на раскольников, этих мирных и самых трудолюбивых и нравственных жителей империи? Мы не можем поверить этому. При человеколюбивом направлении нового правительства это кажется так невозможным! Против заблуждений мнения есть убеждение слова. Неужели же слово православной церкви так бессильно, что для убеждения раскольников и приведения их в недра православия нужны опять полицейские меры, преследования, истязания, ссылки? Не есть ли скорее признание расколов за преступление просто замысел чиновничества, которое знает, что раскольники богаты и что при преследовании их есть чем поживиться? Терпим же мы, однако, католиков, реформатов всякого рода, евреев, магометан и идолопоклонников, не считая их за преступников? Неужели мы только своих же русских, сколько-нибудь различествующих с нами в религиозных убеждениях, станем преследовать как преступников? Какой бы это был позор для правительства и для самой православной церкви! Не портите хороших сторон русского народа, которого уважение к религии так велико, что он уважает религиозное чувство в каждом человеке, и потому носит в сердце своем *веротерпимость.*

Отделение долговых арестантов от других преступников [7] есть, конечно, большой прогресс в наших судебно-полицейских учреждениях и приближение к сознанию, что гражданский иск нельзя смешивать с уголовным преступлением. Может быть, таким образом полицейские власти перестанут бить по зубам и пороть мужиков, которые не в состоянии заплатить долга или подати.

Распространение измененных статей военно-уголовного устава на свод морских уголовных постановлений доказывает, что правительство стремится избавить подсудимых от ареста, который обыкновенно налагается у нас произволом начальств, ограничив число случаев ареста.

Еще более важное узаконение по морскому ведомству, узаконение, обличающее наиболее чувства правосудия и юридического смысла перед всеми судебными узаконениями прошлого года,— это узаконение о неотдавании человека под суд прежде, чем сделано следствие [8]. Тут

высказано, наконец, такое простое и важное основание уголовного права, что пора бы сделать это узаконение общим не для одного морского ведомства, а для всего государства, в котором этого основания не признает ни один чиновник.

При этом гуманном настроении правительства очень странно видеть, что государственный совет находится в розгораздавательном расположении духа и, ссылаясь на 90-ую статью уложения о наказаниях, расточает удары розгами несовершеннолетним, взамен следующих с них денежных взысканий по уголовным преступлениям [9]. Ссылаясь на статью 90, государственный совет повторяет ст. 87 того же уложения, уменьшая немного против нее число ударов, потому что ст. 87 относится до взрослых. Хорошо еще, что государственный совет имеет настолько сведений в патологии, что догадывается, что ребенок не может вытерпеть столько побоев, сколько взрослый. Надо заметить, что и самая ст. 87 (Разд. 1, отд. IV, о замене одних наказаний другими) чудо как гуманна, как попечительна о благосостоянии русских людей! Ведь она розги присуждает взамен тюрьмы, чтобы не разорить человека тюремным заключением. А тюрьма присуждается взамен денежных взысканий, когда с человека взять нечего. А за что именно присуждаются эти денежные взыскания? За нарушение уставов о соли, о питейном сборе и акцизе, о таможнях, о казенных лесах, правил судоходства, правил карантинных. Но кто же по всем этим предметам больше крадет, как не чиновники? Однако их не секут и не сажают в тюрьму, и денег с них не взыскивают! Как же повторять 87-ю ст. уложения для несовершеннолетних и в то время, когда государство жаждет уничтожения телесного наказания? Оно, конечно, легче и скорее сослаться на старую статью уложения, требующую исправления, чем придумать новое узаконение; но разве государственный совет собирается для того, чтобы дело решить как можно легче и скорее, а не как можно разумнее и справедливее? Странный государственный совет!

Мы не можем покончить этого беглого и далеко не полного обзора судебных распоряжений, не заметив, что к министру юстиции в продолжение первых пяти месяцев 1856 года поступило 594 просьбы, что видно из приложе-

ний к «С. Петербургским сенатским ведомостям». Резолюции министра по этим просьбам почти без исключения одинаковы: истребовать сведений по делу от губернского прокурора или присутственного места, где дело производится. То есть спросить, в чем дело, у тех людей, на медленность, криводушие и беспечность которых проситель жалуется. Ответов господ прокуроров и присутственных мест на требования г. министра юстиции «Сенатские ведомости» не печатают, но тем не менее участь прошений, подаваемых министру, удобопонятна всякому русскому человеку. А именно: половина прокуроров и присутственных мест ответят г. министру очень скоро — вздор, и г. министр удовлетворится и по большей части откажет просителям; другая половина ответит также вздор,— но через очень долгое время, и г. министр также удовлетворится и также по большей части откажет просителям — и только! Но деятельность г. министра неимоверна; резолюции на прошении: «истребовать сведений» — следуют почти всегда на другой же день по подаче прошений. О г. министр юстиции! Не худо бы вам применить к себе циркуляр вашего сослуживца — министра внутренних дел и внушить себе, что ваш долг есть «исполнение дела, а не отсылка бумаг». Знаете ли, что это еще не значит быть великим министром, когда вы станете с сиятельной точки зрения посылать вашего начальника департамента заказывать для вас обед у Донона и заставите его встречать вас при вашем выходе на берег с парохода, словом, сделаете ему милость смотреть на него, как на своего любимого лакея? Знаете ли, что с более сиятельной точки зрения порядочный человек не стал бы держать при себе чиновника, способного con amore * разыгрывать роль лакея? Но где же вам это знать? Среди высоких юридических забот и соображений всякое здравое человеческое воззрение на вещи должно быть для вас недоступным [10].

Сколько бы нам ни хотелось представить общую картину состояния финансов нашего государства и системы управления ими, размер этой статьи и несовершенная полнота сведений не позволяют нам сделать это теперь, и мы, отлагая это намерение до следующей книжки «Полярной звезды», ограничимся несколькими замеча-

* С любовью (ит.).— *Ред.*

ниями о распоряжениях по министерству финансов за 1856 год[11].

Первое, что нас поражает,— это сохранение прежней системы винных откупов. Не может быть, чтобы правительство не понимало, что тут заключается один из животрепещущих вопросов русской промышленности и русской жизни. Все народы потребляют спиртные напитки; это один из физиолого-патологических фактов человеческого организма, против которого спорить нельзя, и утопическая точка зрения общества трезвости не может сделаться точкой зрения государственного человека. Следственно, цель народной промышленности в производстве спиртных напитков остается та же, как и во всех других производствах, а именно: представить потребителям товар наилучшего достоинства по возможно дешевой цене. Всякое промышленное предприятие, уклоняющееся от этой естественной цели, представится — если это частное предприятие — мошенничеством; если это государственное предприятие — разорительным налогом. В нашей статье во второй книжке «Полярной звезды» мы уже имели случай показать, что настоящая система винных откупов составляет налог в 14 рублей на рубль или в 1 400 процентов. Кроме того, эта система есть постоянное поддержание административного мошенничества чиновников и торгового мошенничества откупщиков. Только для этих двух чужеядностей в этом деле настоящая система откупов и выгодна и тем более давит всей своей тяжестью два естественные элемента водочной торговли, т. е. потребителей и производителей, народ и винокуренных заводчиков. Положимте, что казне нужны деньги и что откуп ей дает более 120 миллионов рублей дохода; но обратимтесь к самому источнику производства спиртных напитков, т. е. к винокуренным заводам. Ясно, что откупщики не могут выдумать вина помимо винокуренных заводов, т. е. все вино, продаваемое откупщиками, вырабатывается на винокуренных заводах; к чему же это посредничество откупщика в деле водочной торговли? Maximum возможного производства вина на наших винокуренных заводах известен министерству финансов; отношение количества зернового хлеба, употребляемого на винокурение, к общему урожаю должно быть ежегодно известно министерству финансов (если оно сколько-нибудь заслуживает названия

министерства). Почему же прямо не обложить податью винокуренные заводы, дозволив им совершенно свободную торговлю спиртом и водками? Это имело бы большие последствия: 1) цена на вино понизилась бы, 2) число заводов увеличилось бы, 3) цена на хлеб повысилась бы, 4) наш зерновой хлеб в виде спирта беспрепятственно шел бы за границу, 5) сбыт хлеба облегчился бы. Постараемся яснее высказать нашу мысль, хотя бы это и показалось длинным читателю. Откупщик не продает ни одного ведра лишнего против того, что выкуривается на винокуренных заводах; стало быть, казне все равно — брать подать с откупщика или с завода; но казна может безбоязненно понизить пошлину с заводов, потому что выиграет на количестве производства то, что потеряет на цифре пошлины. Следственно, цена на вино понизится. Народ от этого нисколько не сопьется. Возьмите статистические сведения о продаже вина в губерниях, где существует вольная продажа, и сравните с продажею откупов, и вы не найдете разницы. Да и цель откупа, как и всякой торговли,— продать товару как можно больше; умеренности в продаже у откупа нет. Стало быть, заводчики продадут вина в России около того же количества, как и откупа; излишек же производства пойдет за границу, где оно продастся все же дешевле, чем туземное. Из этого можно ожидать, что винокурение увеличится, и именно умножатся маленькие заводы, которые станут удовлетворять местным потребностям, а крупные заводы станут работать для иностранной торговли. Хлеб найдет удобный сбыт дома и с помощью железных дорог станет снабжать новые заводы и в нехлебородных губерниях. При этом потребители и производители выиграли бы; доход казны нисколько не уменьшился бы, и правительство освободилось бы от целой систематической и грязной отрасли чиновничьего и торгового мошенничества. Неужели в продолжение двух лет правительство не успело по этому предмету придумать ничего честного и разумного и погрязло в прежнем болоте? Жалкое же министерство финансов, если оно не подкуплено откупщиками!

По представлению министра финансов правительствующим сенатом решено и высочайше утверждено дозволение приема казною в залог по откупам и подрядам удобных земель в губерниях второго и третьего разряда,

превышающих пятидесятинную пропорцию на душу [12]. Не намекает ли это правительству на необходимость пересмотреть все узаконения кредитных установлений и привести себе в сознание современную ценность земель в России и ее отношения к ссудам кредитных установлений? Это было бы не худо для оживления кредита недвижимых имуществ.

По представлению министра финансов в государственном совете решено (6 июля) понизить пошлину по морскому привозу с сахара-сырца во всех портах империи на шесть лет, а существующий акциз (т. е. налог) на свекло-сахарное производство оставить впредь на такой же срок без изменения [13]. Сказать: по морскому привозу — все равно, что сказать по всякому привозу, потому что сахар-сырец к нам сухопутно не приходит. Видали мы защитников запретительных тарифов, поборников этого способа поощрения внутренней промышленности; видали мы друзей свободной торговли, к которым охотно причисляем и самих себя; но до сих пор еще не удавалось нам встретить людей, которые бы хотели убить внутреннюю промышленность в пользу иностранной торговли. Как же не понять, что, оставляя налог на внутреннем сахарном производстве и сбавляя его с привозного сахара, вы, нисколько не покровительствуя свободной торговле, убиваете внутреннее производство? Сбавляйте, уничтожьте, пожалуй, пошлину с привозного сахара, но уничтожьте и налог на внутреннее сахаропроизводство. Заметьте, что налог на свекловичный сахар есть вместе налог на русское земледелие, потому что сахарные заводы создали новый род земледельческой промышленности и внесли в нее элемент улучшения. Сохраняя налог на свекловичный сахар при понижении цен на сахар, вы поставите заводчиков в невозможность платить крестьянам настоящую цену за свекловицу. Я не говорю, чтобы вы не сбавили налог с привозного, но сбавьте же или уничтожьте его и с внутреннего производства, чтобы эта важная отрасль нашей промышленности могла существовать и чтоб ваши меры клонились к пользе потребителей. Признаюсь, если бы мы не были глубоко убеждены в высокой честности министра финансов и государственного совета, как и всего благородного чиновничества российского, мы в выше приведенном постановлении заподозрели бы англо-американский

подкуп; но будучи глубоко убеждены в высокой честности г. министра и государственного совета, мы принуждены отнести новое постановление к их легкомыслию.

Вновь учрежденные в 1856 году компании речного судоходства, разработки донского каменного угля, заводской обработки животных продуктов и усиление их акций свидетельствуют о том, как при новом правительстве быстро поднимается наша промышленная деятельность и как нужны способные люди для министерства финансов [14].

А как нужны министерству финансов честные люди, это мы видим из подтверждения, чтоб «в должности казначеев и приходорасходчиков избираемы были чиновники, вполне известные *ближайшему их начальству* по своей честности и добросовестности; равным образом и при определении *уездных казначеев* соблюдать существующие *ныне правила,* т. е. независимо от выбора на сии места людей, *отличающихся нравственными качествами* — требовать от них *по мере возможности и залоги,* предоставя исполнение сего последнего условия *усмотрению* казенной палаты, *согласно существующему порядку»* *. Кто же поручится при выборе за *честность ближайшего начальства?*.. Уездный казначей, какими бы нравственными качествами ни отличался, хотя бы супружеской верностью,— все же получает менее 300 р. с. жалованья; а через его руки проходят десятки и сотни тысяч; какой же он равносильный залог проходящим через его руки суммам может представить? Укажите нам хотя на одну казенную палату в целой империи, которая бы по *своему усмотрению, согласно существующему порядку* назначила хотя бы одного уездного казначея, взяв с него залог более положительный, чем его предполагаемые нравственные качества? Для того, чтобы брать залог с казначея, надо изменить всю систему финансового управления! — Кто это сочиняет государю такие рескрипты, похожие на детский лепет?

Высочайше утвержденным 13 июля 1856 года мнением государственного совета был назначен пересмотр «отнесенных на земские сборы, в разное время, расходов, до земских повинностей не относящихся». Цель благая; вероятно, правительству хотелось облегчить народ, не требуя

* 26 июня.

с него повинностей, на него, естественно, не ложащихся. Что же из этого вышло? Министр финансов представил государственному совету мнение, с которым совет поспешил согласиться. Это мнение состоит в том, чтобы все важные и почти общие по империи сборы (как то: на содержание председателей судебных палат в 37 губерниях и пр.), разложенные на земские повинности, оставить попрежнему в числе земских повинностей, а исключить из них только расходы на содержание комиссий, которые были уничтожены (что уж бы, кажется, о них говорить?), да расходы на предположенное на дворянские деньги увеличение воспитанников Тульского благородного пансиона (стало, этот расход никогда и не входил в состав земских повинностей и нечего было исключать), да расход на содержание Кагульской повивальной бабки. Это такой макиавелизм со стороны министра финансов, что мог бы принести честь Робер-макэру[15]: исключить копейки и оставить миллионы рублей! И тут государственный совет относительно земских повинностей — точь в точь в гоголевском «Носе» медик относительно майора Ковалева: пощелкал по больному месту и говорит: «Нет! уж вы лучше так и оставайтесь, а то как бы хуже не было». Как будто этого требовало правительство, назначив пересмотр дела? Оно требовало обдумание предмета и исправление, а не оставление его попрежнему. О! Фамусов не умер в государственном совете и кричит оттуда:

Обычай мой такой:
Подписано и с плеч долой![16]

По части административной насколько нас радуют распоряжения морского министерства своим правосудием, любовию к науке, сметливостью и живой деятельностью от Балтийского и Черного морей до Тихого океана; настолько печалит нас рутинизм и близорукость главной администрации в государстве, т. е. министерства внутренних дел[17]. Деятельность его в прошлом году отличилась циркулярами. Один из них, а именно циркуляр министра от 10 апреля, мы уже разбирали во второй книжке «Полярной звезды». Он показывает робость перед главным современным жизненным вопросом России — перед вопросом освобождения крепостных людей, и весь составлен по правилам риторики Кошанского[18]. Неутешительно! Вто-

рой циркуляр об извозчиках, т. е. о том, что местные администрации не наблюдают за тем, что извозчики растрачивают и крадут вверенные им поклажи. Этот циркуляр наивен. Из него можно усмотреть, что министерство по нескольку раз предписывает: «Наблюдать!» — Но губернаторы и земские полиции не слушаются и не наблюдают. Горький опыт должен бы показать г. министру внутренних дел, что его предписания ни к чему не служат; но не тут то было! Новый циркуляр — повторение, подтверждение прежних предписаний и, следственно, будет иметь ту же участь — неисполнение. Почему земские полиции не наблюдают за воровством извозчиков? Потому что они делятся с извозчиками. Вы предписываете губернаторам взыскивать с земских полиций: но и губернаторы делятся с земскими полициями, следственно, и с ворующими извозчиками. Не предписания, не слова нужны! Ревизуйте, производите следствия, отдавайте под суд; а не то, пожалуй, предписывайте,

А Васька слушает, да ест.

Вспомните, что

Слов не надо тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить[19].

Но министерствам никогда не хочется употреблять власть против своих грабителей-чиновников. Нельзя: дух товарищества мешает! Приятнее употреблять власть на помогание грабителям-чиновникам! Видно, что ни делай, а без коренной перемены организации чиновничества ни до какого полезного результата не добьешься.

Третий циркуляр — о сокращении делопроизводства и о внушении чиновникам, чтобы они проникнулись мыслию, что исполнение их служебного дела состоит не в *посылке бумаг, а в существенном исполнении дел.* Опять слова, опять риторика Кошанского, опять ребячий лепет. В чем же г. министр полагает сокращение делопроизводства? Что же толку сказать: сокращение делопроизводства, надо сказать как, когда, в каких делах. Иначе это пустословие. Как же г. министр хочет, чтобы чиновники проникнулись мыслию, что долг их не в посылке бумаг, а в существенном исполнении дел, когда формализм нашей

бюрократии существенное исполнение дел сводит на посылку бумаг? Да и как же чиновникам проникнуться какою-нибудь благородною мыслию, когда отсутствие гласности позволяет им грабить сколько душе угодно и в том размере, что мелкие чиновники грабят понемногу, а крупные чиновники помногу? Эта младенческая риторика г. министра жалка, оскорбительна для всякого человека с пониманием дела, с здравым смыслом и желанием общего блага. Неужели г. министр пишет свои циркуляры по внушению высшего правительства? Мы лучше хотим верить, что он действует самодуром.

Но всего страннее, что, несмотря на желание правительства сократить делопроизводство, оно беспрестанно то тут, то там прибавляет штаты, продолжает назначение лишних столов в департаментах. Не держится ли оно в этом случае правила: similia similibus curantur? * Но это правило не устояло перед положительной наукой.

Министерство государственных имуществ [20] отличилось в прошлом году только экспедицией «против сусликов» и переименованием своих межевщиков в топографы, причем межевщики могли воскликнуть с поэтом: «Что в имени тебе моем?» А впрочем, все так же палаты государственных имуществ и окружные грабят народ, увеличивают недоимку, делятся с земскими полициями и губернаторами, и все так же жеребьевая система рекрутства, которая заменила разумную очередную систему и дала повод к бесконечным взяткам, разорила народ и сделала для него рекрутство невыносимым налогом и несчастием,— не отменена и грозит тою же бедою по прошествии четырехлетнего срока. Неужели и в этот срок правительство не озаботится изменением жеребьевой системы наборов? Мы ласкаем себя надеждою, что в четыре года оно успеет придумать более справедливую и рациональную систему рекрутства.

Утешительнее всех циркуляров министерства внутренних дел объявление с. петербургского военного генерал-губернатора (№ 46 «С. Петербургских губернских Ведомостей») о его желании, чтобы должности в уездах были занимаемы воспитанниками высших учебных заведений, как людьми более образованными и просвещенными, и

* Подобное излечивается подобным (лат.).— *Ред.*

вызов таких людей на службу по выборам и по администрации. Это объявление утешительно тем, что показывает с хорошей стороны точку зрения правительства, но в сущности оно, конечно, не будет иметь почти никакого успеха. Пока местные начальства будут требовать от своих подчиненных мошенничества и лакейства, не пойдут охотно порядочные люди на службу, и мы опять натолкнемся на ту же необходимость — на коренное изменение организации чиновничества.

Но все же мысль г. генерал-губернатора гуманна. Эту мысль проводит правительство и в распоряжениях по министерству народного просвещения. Университеты опять входят в уважение правительства; оно перестает учить студентов маршировке, не полагает более границ числу студентов. Наконец, оно стремится к популяризованию науки; для этого учрежден ученый комитет при главном правлении училищ *, обязанный рассматривать учебные книги, задавать темы для сочинения оных; за эти сочинения полагаются премии [21]. Очевидно, правительство хочет распространить науку, сделать ее доступною большинству. Мы не можем пропустить этого удобного случая, чтобы не сказать несколько слов о народных школах [22]. Народные школы находятся теперь в руках министерства государственных имуществ. Почему это? Почему центр распространения образования для крестьян должен быть иной, нежели центр образования для прочих сословий? А из этого что вышло? Так как дело распространения образования не было специальностью министерства государственных имуществ, то система его ограничилась набиранием школьных учителей невероятного невежества и насильным пригнанием крестьянских детей в школы, от которых их, впрочем, избавляют, если отцы платят за это избавление взятку начальству. Таким образом, результатом учреждения крестьянских школ было: новая отрасль взяточничества, получение из казны денег на содержание училища, из которых начальство крадет больше половины; получение денег на наем учителя, который обыкновенно ничего не смыслит, и более этого распространения образования никакого. По нашему мнению, крестьянские школы, как и все касающееся до распространения образования,

* № 166 «С.-Петербургских ведомостей».

должны быть отнесены к министерству народного просвещения и состоять под наблюдением тех университетов, к округу которых относятся учебные ведомства губерний. По нашему мнению, насильно учить крестьян нельзя, как и людей всякого другого сословия; да и насильно никто ничему не выучивается. Министерство народного просвещения должно предложить задачу: каким образом устроить, чтобы преподаваемые предметы были так тесно связаны с вопросами крестьянских земледельческих и промышленных нужд, что крестьянин шел бы в школы не из-под розги, а с ожиданием получить ответ на запрос ему близкий, объяснение вещей, на которые он в обыденной жизни беспрестанно натыкается. Этим только путем и можно сделать науку народною. Искренно желаем, чтобы правительство обратило глубокое внимание на эту задачу. Пора нам выйти из той колеи прошлого царствования, когда запрещалось преподавать низшим сословиям геометрию с доказательствами, а позволялось преподавать ее только без доказательств. Мы верим, что настоящее правительство уже высоко поднялось над такими пошлыми понятиями о науке и о народе.

Всего более шатко по министерству народного просвещения было дело цензуры. Правительство то поощряло русское мнение и стремление высказываться в литературе, то пугалось и отставляло цензора за пропуск. Так было с некоторыми стихотворениями, так было с вопросом о русской общине, необходимо занявшим умы, потому что это один из коренных жизненных вопросов государства. Правительство чувствует, что ему без гласности жить нельзя, что без гласности оно унизится — обворованное и опозоренное, а между тем предание шевелит в нем ложный страх перед гласностью. Однако надо же на что-нибудь решиться: или заставить всех молчать, самому превратиться в нуль среди общего безмолвия всего, что имеет ум, образование и честность, и отказаться от своей действительной нравственной власти в пользу административного невежества и мошенничества; или перестать бояться гласности и на ней упрочить свою нравственную силу и величие. Шатание неловко. Надо гласность в определенных законом границах, проступок против которого был бы судим не в III отделении, а настоящим, законным судом.

Переходя из министерской деятельности к общим государственным распоряжениям, мы можем порадоваться многому. Здесь мы на первом плане поставим уничтожение кантонистов; хотя автор разбора манифеста, помещенного в этой книжке «Полярной звезды», и усомнился в уничтожении оных по туманности манифеста [23], но, наконец, через четыре месяца после манифеста вышел указ, навсегда уничтоживший это жестокое и позорное учреждение. Конечно, этот указ — один из самых разумных и гуманных актов императора Александра II, за который народ русский помянет его добром. Но не один этот указ, а и многие другие распоряжения, являющиеся (хотя странно и поздно) для пополнения и пояснения манифеста 26 августа, носят на себе ту же печать разумной гуманности. Так, уничтожение пошлины с заграничных паспортов, облегчение в их выдаче, уничтожение притеснений для места жительства евреев * [24].

Посреди этой государственной деятельности, среди стольких важных государственных вопросов, грустно поражают нас такие указы, как о назначении должности *обер-форшнейдера* **, о дозволении какому-то де Ридуэтту де Санси носить графский титул Франции (как будто дело русского государя раздавать французские титулы? И какая нужда России до такого смешного названия, как де Ридуэтт де Санси? А бог с ним, граф он или магистр богословия; это его дело). Эти указы нас грустно поражают, потому что у нас нет никакого желания, чтобы юное правительство выставляло себя на всеобщее посмешище своей болезненной манией германо-китайского формализма.

Грустно поражает нас и огромность расходов при коронации в то время, когда финансы государства совсем не в блестящем положении. Насколько удивили эти расходы

---

* Смешно только постановление об отсылке паспортов въезжающих иностранцев в III отделение, без сообщения министерству внутренних дел. Как будто непременно нужно предъявлять паспорт куда-нибудь, кроме местной полиции? И самая местная полиция в этом случае роскошь; ну! да уж это так и быть! Еще смешно постановление о невпускании иностранцев с шарманками и статуэтками (16 сентября 1856); что за гонение на музыку и скульптуру? Разве, может быть, г. министр внутренних дел исключительно охотник до живописи?

** Указ правительствующему сенату, 30 августа 1856 г.

Европу — это еще очень сомнительно. Да и нужно ли было удивлять Европу на счет карманов русского народа? — Вот и вдовствующая императрица ездит по Италии на четырехстах лошадях * и тратит по двадцати пяти тысяч франков в день! Конечно, это все не из доходов удельного именья; конечно, и Россия не жалеет денег на содержание своих помещиков; но ведь всякий же распроверноподданейший думает, что бросать на ветер деньги, добытые народным потом,— наконец безнравственно и что из всех жителей империи русский император есть лицо, на котором с наибольшей ответственностью лежит чистота и святость исполнения своих обязанностей.

Не можем мы также не сказать несколько слов о польской амнистии. Нас прискорбно поражает, что даже австрийское правительство, это безжалостно-холодное, предательское, это Иуда-правительство,— и оно дало амнистию лучше, чем русский император. Оно дало без разбора амнистию всем выходцам, кроме начальников партий. А у нас от польских выходцев требуется раскаяние в заблуждениях [25]. Да когда же мы забудем язык риторики Кошанского? Что такое значит раскаяться в заблуждениях? Положимте, я был магометанин и перешел в христианство, разве я раскаялся в том, что я был магометанином? Нисколько! Я просто переменил мнение, примкнул к тому верованию, которое почел за более истинное. Разве христианский проповедник станет требовать раскаяния в прежнем магометанизме? Это было бы смешно. Точно так же смешно требовать от людей, чтоб они раскаялись в том, что любили независимость своего отечества. Разве человеку непременно надо сделаться подлецом, чтоб заслужить милость русского правительства? Вот то-то и досадно, что и правительство этого не хочет, а только от призрака, от пугала, оставленного ему преданием прошлого царствования, боится дать полную амнистию и прибегает к каким-то тощеньким полумерам. Point de rêveries! ** полумерами не заслуживается доверие народное; народ, как войско, любит только силу, ведущую вперед. Не требование раскаяний, не мелочные препятствия и той

---

* «Таймс», 20 марта 1857 г.
** Оставьте мечтания! (фр.) — *Ред.*

амнистии, какая дана *, следовало русскому правительству выставить своим девизом. Ему надо было показать польским выходцам, что отныне они дома снова найдут отечество, а не полицейскую управу. Это было бы велико, торжественно; а теперь это только жалкая полудоброта и полуробость.

Что значит новое узаконение о сроках производства в чины и о даровании не дворянам дворянских прав только с чином действительного статского советника [26],— этого мы совершенно не понимаем. Какая цель при этом? Сроки производства в чин и отношение чина к должности были установлены императором Николаем; это была консолидация чиновничества в касту. Через это постановление правительство отняло у себя право назначать кого угодно в какую угодно должность. Это самое дурное и вредное ограничение самовластья. Из этого вышло то, что правительство не может назначить для занятия какой-либо должности порядочного человека, если его чин не дорос до этой должности; а порядочному человеку, таким образом, надо проходить такой долгий путь для достижения должности, где бы он мог быть полезен, что он или на полдороге откажется от службы, или достигнет должности в тех преклонных летах, когда и ум и воля слабеют. Этим постановлением правительство лишило себя службы

---

* В статье о манифесте было замечено, что немногие из поляков могут воспользоваться амнистией. Это продолжается и до сих пор. Мы имели случай видеть следующую оригинальную записку: «L'ambassade Impériale de Russie est chargée d'informer M. Antoine Mazurkiewicz, que le gouvernement impérial n'a pas cru pouvoir lui accorder l'autorisation de rentrer en Pologne. Londres, 15 Janvier 1857. B. Nicolaj.» [«Русское императорское посольство уполномочено довести до сведения господина Антона Мазуркевича, что императорское правительство не считает возможным разрешить ему въезд в Польшу. Лондон, 15 января 1857 г. Б. Николаи (фр.).— *Ред.*]

Имя Мазуркевича не встречается во главе революционных политических деятелей; в 1848 году он вышел за границу студентом лет семнадцати. Чем же он так страшен для русского императора, повелевающего от Вислы до Тихого океана, что ему нельзя вернуться в Польшу? Что он принадлежал к обществу польской демократии? Да еще бы он не принадлежал, тогда нечего было бы и амнистировать. И таких отказов в амнистии много. Мы даже подозреваем, что они делаются по привычке наших дипломатов разыгрывать роль III отделения и прикидываться жандармским полковником,— совершенно вопреки благородным видам правительства, которое они этим позорят в Европе.

порядочных людей. Если это постановление было сделано из боязни клиентизма и повышения только людей, покровительствуемых сильными мира сего, то эта боязнь была совершенно ошибочна: клиентизм остался, а возможность порядочному человеку выбраться на широкую и полезную дорогу пресеклась. К чему же правительству продолжать это вредное постановление и надевать на себя узду там, где не нужно? Чтобы иметь возможность дать ход порядочным людям и окружать себя ими, правительству надо не консолидировать чин в известные рамки, а совершенно уничтожить его и оставить только одни должности. Это и было на Руси, хотя в безобразном виде, до тех пор, пока взяла верх неметчина; кто же мешает при современном образовании итти согласно с духом народа, но благообразно и разумно? Зачем нам гоф-гегейм и всякие другие раты? * Дайте нам хороших людей на исполнение определенных должностей, каких бы лет и какого бы чина эти люди ни были. Выбирайте добросовестно кого угодно, не стесняясь ничем, лишь бы от этого была общая польза.

Что же касается до дарования прав дворянства с чином действительного статского советника, это не менее мудрено. Что же вы хотите?.. Создать феодализм? Да этого без исторической почвы сделать нельзя. Вы только бесполезно раздразните чиновничество, бесполезно для блага государства. Чиновничество надо не дразнить, а уничтожить. Хотите ли вы обрадовать наследственное дворянство? Но вы его этим не обрадуете. Ему все равно, коллежский ли асессор будет дворянином или действительный статский советник. Вообще дворянская каста не существует в России как феодальная каста, т. е. каста, владеющая земельной собственностью государства, как в Англии, где землею владеют тридцать две тысячи человек, а народ мрет с голоду. Слава богу, у нас такая каста невозможна. Чего же вы хотите с законом о действительных статских советниках? Остановить прилив недворян на службу? Не остановите! Чиновник идет служить не для того, чтобы получить дворянство и купить крепостных людей (единственное особое право, даруемое дворянством), а просто для того, чтобы красть и наживаться; для этого

---

* Hofgeheimrat, «гофгегеймрат» — надворный тайный советник (нем.).— *Ред.*

он все-таки пойдет служить, хотя бы получил дворянство только с чином действительного тайного советника первого класса. Поощрит ли этот закон наследственное дворянство служить? Нисколько! Для него это постановление равнодушно, и все же порядочный человек не пойдет домогаться чина мошенничеством и низкопоклонством или тупым терпением выслуживания по срокам.— К чему же весь этот указ? — А бог знает! В основе его лежит мысль туманная, не государственная, а так себе — призрачная и безотчетная, сводящаяся на совершенное отсутствие всякого положительного и здравого взгляда на вещи.

Государь утвердил крестьянам право лично владеть землею, приобретаемою по частным купчим [27], оно хорошо! Не уничтожайте общины, но давайте право владеть отдельною землею всякому — от дворянина бархатной книги до последнего мужика; — это совершенно в здравом и национальном смысле. Хотя закон сделан — и не нарочно, но он может служить основой будущего развития, т. е. сохранения общинного землевладения при частном землевладении, без различия сословных прав. Этот закон более важен, чем само правительство, издавшее его, воображает. А мы бы желали, чтобы правительство поняло его смысл, потому что мы желаем, чтобы правительство стало в уровень с потребностями и развитием народа. Иначе оно не может его вести вперед, оставаясь в числе отсталых и непонимающих.

Отрадно видеть внимание, которое правительство обращает на устройство Сибири и восточного пути в Америку, на устройство железных дорог в Европейской России; отрадно видеть в газетах, что присутствовавшие при коронации волостные головы государственных крестьян названы *представителями свободного сельского сословия* *; но нас удивляет, что насчет самых жизненных русских вопросов, т. е. освобождения крепостных людей и преобразования чиновничества, правительство не приступает ни к каким мерам. Мы надеемся, что оно не будет выжидать, пока народное терпение лопнет; но тем не менее это странно. Насчет крепостных людей в 1856 г. ничего нет, кроме подтверждения о том, чтобы лица, незаконно владеющие людьми без земли в Закавказском крае,

* № 199 «С.-Петербургских ведомостей».

были наказаны по закону, т. е. подвергнуты строгому выговору (!) или аресту от трех недель до шести месяцев (Улож. о наказ. ст. 1169),— и только! Говорят, что государь, бывши в Москве, советовал уездным предводителям подумать об освобождении крепостных людей, потому что пора; многие опровергают этот случай, относя его к пустым слухам [28]. Но в самом деле, *пора* же принимать к этому меры, чтобы не вышло *поздно*. Насчет переобразования чиновничества, кроме приведенных нами фраз министра внутренних дел и уничтожения нескольких генерал-губернаторств *, ничего не видать в нашем законодательстве за прошлый год. А между тем, пока не решатся эти два основных вопроса —освобождения крестьян и преобразования чиновничества,— у правительства руки останутся связаны на все благое.

Припоминая весь истекший год, мы видим гуманное направление в правительстве, мы видим умную деятельность в морском министерстве, и потом, постепенно понижаясь, хуже всего являются министерства внутренних дел и государственных имуществ и государственный совет.

Что же это доказывает?

Что администрация и законодательство в государстве хромают и требуют преобразования. Да и причина их хромания ясна: дела новые, а люди старые! Уничтожьте чины, и вам можно будет окружить себя для новых дел людьми новыми!

Но как бы то ни было, как бы еще шатки ни были действия правительства, невольно чувствуется, что Россия очнулась от тридцатилетнего застоя в грязи, вздохнула свободно и начинает расправлять свои могучие члены.

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу!.. матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись ветра полны,
Громада двинулась и рассекает волны **.

Что же, наконец, взаправду скажет правительство? К какому разряду правительств, названных нами в начале статьи, причислит себя?

Россия жадно ждет ответа.

---

* № 53 «С.-Петербургских ведомостей».

** Пушкин [29].

РУССКИЕ ВОПРОСЫ

<СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ>

КРЕСТЬЯНСКАЯ ОБЩИНА[1]

В последнее время вопрос о русской общине возбудил толки в литературе и внимание в публике. Что такое община? — спрашивали любопытные. Это коренное, исключительно славянское устройство общества, идеал всего сущего, к которому мы должны стремиться, или, лучше сказать, не должны от него уклоняться, принимая разные нововведения не русские, следственно никуда не годные; нам надо восстановить и сохранить общинный быт во всей его первобытной чистоте, т. е. чем ближе к наидревнейшему порядку вещей,— тем лучше. Вот что отвечала одна сторона. Другая сторона отвечала, что общинное устройство не есть исключительно русское, а являлось у всех варварских народов, как первоначальная форма общественного устройства в младенческом возрасте государственного развития, что общинное устройство даже не было нормой русской жизни в дальних веках, а водворилось окончательно в XVIII столетии вследствие распоряжений правительства, которое для основания государственного порядка должно было кочующий, или, лучше, бродящий, народ сделать крепким земле и заставить жить и трудиться на определенных местах. Поднялся спор[2]. Вопрос сделался археологическим, т. е. перестал быть живым. Из среды действительности и ее возможного развития ударился в изыскания о прошедшем, весьма важные без сомнения, но нисколько не подвинувшие

решения задачи будущего русского развития. Враждующие стороны остались каждая при своем. Одна, находясь в направлении равно безумном и преступном обратного шествия, видит будущность назади, смотрит вперед затылком [3]; другая просто разрабатывает историю, добросовестно и с пользой для науки, но не дает ничего прилагаемого к дальнейшему развитию современной действительности.

Вот что делает литература. Чего же требует общество? Общество требует средств выйти из состояния тяжелого, везде встречая косность, останавливающую проявление его живых сил, отсутствие правосудия и присутствие учреждений, мешающих ему жить и двигаться. Общество требует, чтоб ему указали его больные места и средства врачевания. Ему решительно все равно, существовала ли община при Рюрике или установилась при Петре. Для него крестьянская община в России — факт, и оно спрашивает, должен ли этот факт рушиться и уступить место другим общественным формам или он может иметь свое живое развитие, свою будущность? Во всяком случае, что теперь делать? Бездейственно оставаться в тяжелом состоянии нельзя и опасно. Все может рухнуться от какого-нибудь дикого столкновения. Литература дает археологические прения; общество требует реформы. Оставим литературу в стороне и станем искать с обществом решения животрепещущих вопросов.

Крестьянская община в России — факт, и тут сила обычая так велика, что его изменить невозможно. Община владеет землей и дает своим членам участки в пользование; эти участки для хлебных посевов распределяются, вследствие трехпольного севооборота, на три года. Огороды составляют владения подворные — так, как и гумна. В общем владении лугами каждый имеет свой пай. Выгоны общие *. Избу, скот, полевые орудия каждый имеет на свой счет. Земля делится по тяглам; следственно, при уменьшении тягол участки больше, при приращении

* По смыслу устройства каждый должен бы иметь свой пай в пользовании лесом, что и существует у немногочисленного сословия свободных хлебопашцев; но по смыслу узаконений лес принадлежит помещику или правительству и пользование лесом дозволяется крестьянам помещиком или администрацией при различных условиях.

тягол участки меньше. Вот весьма несложное, всякому русскому известное распределение собственности у крестьян. Общинная собственность исключительно земельная; всякая остальная крестьянская собственность — собственность личная. Земельная собственность не наследственна, личная собственность наследственна.

Что же тут худого и почему крестьянин находится в жалком положении? Почему он необразован и беден, и живет грязно? Что он необразован — это факт; об этом никто спорить не станет, разве те, которые сочтут идеалом общественной жизни все невежественное, лишь бы оно было русское. Что крестьянин в жалком положении относительно средств существования и образа жизни, об этом тоже никто спорить не станет, кроме тех, которые своекорыстно захотят утверждать, что комфорт крестьянина должен ограничиться исключительно неумиранием с голода. Это сгнетенное и невежественное положение крестьянина есть ли следствие общинного устройства, или следствие других причин, или следствие общинного устройства и других причин вместе?

Едва ли кто-нибудь, глядя на предмет прямо, без посторонних соображений, скажет, чтоб в общинном устройстве лежало непроходимое зло для человека. Но многие, рассуждая по аналогии, скажут, что образованные европейские народы вышли из общинного быта, отбросили его и что, следственно, общинный быт не годится, как младенческое состояние общества, несовместное с развитием образования. Но отбросили ли образованные европейские народы общинный быт добровольно, встретив в нем препятствие своему развитию, или они отбросили его вследствие влияний, чуждых внутренней жизни народов, а именно — вследствие завоеваний и дележа земли между завоевателями? Феодализм отнял земельную собственность у народов и сосредоточил ее в руках немногих. В Англии это сосредоточение осталось неприкосновенным. В других государствах, переходя из рук в руки, земельная собственность раздробилась на клочки, составившие отдельные владения частных лиц. Доказывает ли это, что общинное устройство, сложившееся в младенческом состоянии обществ, несовместно с дальнейшим развитием образования? Нисколько. История может доказать только, что общинное устройство, если

оно лежало в основе европейских обществ, было вытеснено совершенно внешними причинами. Раз вытесненное — конечно, оно не могло проявиться в развитии европейского образования. Но если современное положение европейских народов и сложилось не из общинного устройства, то еще вопрос — хорошо ли это положение.

В Англии сосредоточение земельной собственности в немногие руки повергло большинство народонаселения в страшную нищету. Развитие сосредоточения собственности, с одной стороны, и нищеты — с другой, не останавливается и теперь. В 1786 году почва Англии принадлежала 250 000 корпораций и собственников, а уже в 1822 году — только 32 000 *. Нищета растет соразмерно; образование низших классов равно нулю, страдания их равны бесконечности. Куда вынесет Англию это ужасное положение — неизвестно, но мы безошибочно можем заключить, что сосредоточение земельной собственности заставляет ее страшно страдать в настоящем и грозит в будущем еще большими бедствиями. Земельная собственность, сосредоточенная в нескольких руках, переходит посредством найма от крупных фермеров постепенно к мелким фермерам и до простого работника, на которого, следственно, обрушивается отрицательно вся сумма предшествующих выгод землевладетелей и фермеров, т. е. все выгоды землевладетелей и постепенно понижающиеся выгоды крупных и мелких фермеров соединяются в одну невыгоду для работника. Очевидно, что такое положение народа невыносимо, и если не исправится путем реформы, то рано или поздно государство лопнет, как кратер.

Дробное землевладение представляет также весьма шаткий вид. Возьмем в пример Францию. Около двух третей народонаселения — землевладетели **. С 1789 года народонаселение увеличилось на 8 миллионов; но земледельческое население находит средства к прокормлению себя. Земледелие в хорошем положении. Путешественники сравнивают с садом вид возделанной почвы. А между тем Франция бедствует. Кровавые революции повторяются

---

* *Emerson*, English Traits. Chap. XI. London 1856. [*Эмерсон*, Английские очерки, гл. XI. Лондон 1856.— *Ред.*].— Надо вдобавок заметить, что Эмерсон — поклонник Англии.

** *Laing*, Notes of a traveller. Vol. I, chap. 2, London 1854. [*Ленг*, Заметки путешественника, т. I, гл. 2, Лондон, 1854.— *Ред.*]

судорожно и бесплодно, принося вместо гражданской свободы позорный деспотизм, и всегда снова готовы вспыхнуть и потухнуть, не имея силы создать общественную форму, удовлетворяющую народным потребностям. И это в то время, когда дробное землевладение обеспечивает две трети народонаселения; следственно, несчастие падает только на одну треть. Действительно, вопрос поставился так, что две трети населения могут в обрез прокормить себя, а треть населения должна гибнуть. Попробуйте сделать эту треть участницею в землевладении, тогда вы подымете две трети мелких землевладельцев, которые не захотят уступить своей собственности. А между тем самая эта собственность, подразделяясь по праву наследства между членами семейства, должна с увеличением народонаселения дойти или до нелепой дробности, или вытолкнуть еще часть народонаселения из среды землевладельцев в среду бездомных работников, т. е. ограничить дробность и удариться в майорат и сосредоточение земельной собственности в немногие руки. Положение безвыходно. В Германии уже начинается доказательство справедливости нашего замечания; в Баварии и Нассау правительство ограничило законом меру дробности земельной собственности; прусское правительство предлагало то же в Рейнских провинциях *. Во Франции, Швейцарии, Германии и вообще во всех странах, где дробность земельной собственности выходит из пределов возможности для большей части собственников продовольствовать свои семейства, земледельческое население ищет выхода в воздержании от произведения детей. Насколько этот принцип естественен и возможен, надолго ли он поможет сводить концы,— предоставляем судить самому читателю. Конечно, такое воздержание лучше, чем случаи, так часто повторяющиеся между бездомными работниками (особенно в Англии), когда отцы и матери убивают детей, чтоб иметь возможность прокормить остающихся в живых; но тем не менее особенной нравственной прелести не лежит и в этом воздержании, которое можно назвать предубийством.

---

* *J. Stuart Mill,* Principles of political economy. Vol. I, chap. VII, London 1852, Third edition. [*Д. Стюарт Милль,* Основания политической экономии, т. I, гл. VII, Лондон 1852, третье издание.— *Ред.*]

Половники (métayers), снимающие исполу господские земли, хотя по большей части представляют в Европе довольно несчастное народонаселение, но в некоторых местностях Италии находятся в состоянии довольства. Так, Сисмонди *[4] восхваляет состояние крестьян-половников в Val di Nievole в Тоскане. Тут землевладение сложилось из двух начал: из аристократической земельной собственности и дробного найма, который по обычаю (не по закону) сделался наследственным в семействах, так что одни и те же семейства из роду в род сидят на тех же землях с незапамятных времен. По обычаю, т. е. по традиционной привязанности к одним местам, половник считает себя столько же землевладельцем, как и самый собственник. Для земледельца сложилось положение более чем сносное из двух форм землевладения — аристократической и дробной, из которых каждая порознь ставит Европу на край гибели. Но и тут удачный результат не столько относится к соединению слишком внешнему двух разнородных начал, сколько к способу уплаты найма, по которому все невыгоды падают на собственника, а не на наемщика. Половник платит наем условленной частью произведений, а не ценою, условленной на наличные деньги. Следственно, все несчастные годы падают на счет собственника, и, сверх того, обычай ставит на его счет поземельные налоги и расходы по тяжбам. Но при всем том Сисмонди, выставляя довольство и нравственность населения, приходит к следующей, наивно восхваляемой им картине: «Никогда в одном и том же семействе несколько сыновей вдруг не женятся и не составляют новых пар; один из них женится и берет на себя попечение о домашнем быте; ни один из его братьев не женится, разве только когда у женатого нет детей или когда одному неженатому предлагают половничество в другом месте».— Из этого мы можем заключить, что и тут дробное землевладение потому не приводит население в несчастное положение, что ставит само себе границы и образует род майората, осуждая члены семейства, кроме одного, на безбрачие. Вот лучший, хотя исключительно местный результат дробного

* *Sismondi,* Nouveaux Principes d'Economie Politique, Liv. III, Ch. 5. [*Сисмонди,* Новые начала политической экономии, т. III, гл. 5.— *Ред.*]

землевладения там, где обычай ставит границу дробности. Там же, где нет границ дробности землевладения, оно доходит до нелепости и более или менее выталкивает часть народонаселения в бездомничество и нищету.

Итак, две формы земельной собственности, которые развило европейское образование,— сосредоточение ее в несколькие руки и подразделение в бесконечность — поставили Европу в самое тяжелое, бедственное положение, которое до сих пор безвыходно. Уродливость сосредоточенной земельной собственности в общем экономическом положении народа слишком очевидна и не требует доказательств. Дробное землевладение еще может иметь свою привлекательную сторону для мыслителя. Воображению является человек — отец семейства, у которого свой собственный, маленький участок земли; на нем он поставил свой уютный, чистенький домик; вся семья с тщательной любовью трудится над возделыванием своего маленького участка, и все цветет и зреет под влиянием их наблюдательного труда; весело смотреть на их заботливо содержанный скот, весело видеть их несложный, но сытный обед. И между тем они свободны, они полные хозяева своего дома и участка. Тут есть даже что-то идиллически прекрасное. И между тем эта форма землевладения увлекает государство к гибели, когда треть людей не участвует в землевладении и не имеет ни дома, ни пристанища и когда участки, мельчая по праву наследства, становятся недостаточными. Из идиллии мы переброшены к картинам нужды и страдания. Невольно приходишь к мысли, что если б все люди в государстве могли иметь участок земли и если отнять право наследства, доводящее дробность участков до нелепости, то дробное землевладение еще могло бы быть лучшей формой земельной собственности. Эти два условия, при которых дробное землевладение не гибельно, мы находим в общинном землевладении наших деревень. Что же русский крестьянин, как не мелкий землевладелец, который не имеет права раздробить своего участка порядком наследственного раздела? И что же русский крестьянин, как не человек, всегда имеющий долю в общинном землевладении и, следственно, никогда не бывающий бездомником? Он волен отдать свой участок внаймы и уходить на дальние заработки, но все же его право на место для дома и на земельный

участок в общине неотъемлемо. Он никогда не пролетарий. Но, может быть, у нас отсутствие пролетариата происходит оттого, что еще слишком много земли и народонаселение не так тесно, чтобы кого-нибудь выбросить вне права на земельный участок, и что с увеличением народонаселения, при малоземелии, общинное устройство дойдет до таких же бедственных результатов, как и дробная собственность в Европе? Если так, то, конечно, общинное землевладение не содержит никакого зачатка развития более прочного, чем дробная собственность, потому что всегда можно вообразить, что, наконец, земли будет мало для населения, и на этом основании мы можем притти только к заключению, что дело не в форме землевладения, а в количестве земли на душу. Но это не совсем так, и основания отношений между владельцами земли и способ владения ею играют свою роль в счастии и бедствии народов.

Революция 1789 года требовала гражданских прав. Буржуазия требовала права на самостоятельность. Крестьянин требовал, чтобы его не давили дворянские преимущества. Уже Тюрго[5] замечает, что крестьяне бедствуют, потому что весь налог падает на них; землевладельцы, т. е. дворянство, избавлены от налога*. Революция изменила гражданские отношения; крестьянин сделался собственником; землевладение перешло в дробное. Но вот с тех пор прибавилось 8 миллионов ртов и новая революция, и та революция, которая теперь кроется в народном сознании, требует изменения устройства земельной собственности. С другой стороны, все утешение, которое представляют экономисты, заключается в том, что будто при воздержании от детопроизводства относительное участие в дробном землевладении не должно меняться **, что будто смертность и рождения и распределение браков

---

* *Turgot.*— Mémoire sur la Surcharge qu'éprouvait la Généralité de Limoges, adressé au conseil d'état en 1766. [*Тюрго,* Докладная записка о чрезмерном налоговом обложении, которому подвергается большинство населения Лиможа, адресованная Государственному совету 1766 г.— *Ред.*]

** Странно, что экономисты не хотят знать, что дети родятся и помимо браков, что воздержание от детопроизводства законного может быть вознаграждено детопроизводством побочным и что побочные дети также приращают народонаселение, но народонаселение бездомников, и, следственно, все же необходимость реформы земельной собственности растет.

сыновних и дочерних должны сохранять постоянно одно и то же отношение в числе землевладельцев, т. е. что всегда будет столько-то землевладельцев с тысячью фунтов стерлингов дохода, столько-то со стами фунтов, столько-то с десятью фунтами *, забывая при том, что уже теперь дробные земельные собственности во Франции заложены в двойной стоимости и что собственники платят по 5% кредиторам, получая дохода с земли maximum 3%. В этом утешении два ложных основания: 1) в расчет не взяты люди, вовсе не имеющие собственности, и 2) взято в расчет условие воздержания, не подлежащее никакому контролю. Таким образом, это утешение ничего не доказывает, и революционное требование изменения земельной собственности остается в своей силе.

Теперь представьте себе общинное землевладение при малоземельи, неудовлетворяющем чрезмерности населения. Во всем этом населении никому, однако, не отказано в земельном участке; не-собственника нет, и у всех участки равны. Жаловаться придется, наконец, только на ограничение государства или земного шара. Изменения способа землевладения требовать нельзя, потому что участки распределены справедливо; к революционному кровопролитию нет повода; людям остается два естественных выхода — выселок и усиление артельной промышленности. Выселок при общинном устройстве имеет естественное стремление к общинной колонизации на новой почве. Выселок при дробном землевладении совершается отдельными лицами, предпринимающими путешествие на авось для приискания заработка. Германо-ирландские переселения в Америку совершаются или слишком мелкими землевладельцами, или совершенными бездомниками, имея в виду перед собою опять бездомничество; вся надежда на скорейшее приискание работы и лучшую заработную плату. Наем работников в Европе основан на конкуренции; но Стюарт Милль справедливо отрицает существование этой конкуренции; какая, в сущности, может быть конкуренция там, где необходимость пропитания заставляет людей решаться на какую бы то ни было чрезмерно низкую цену труда и какую бы то ни было чрезмерно высокую цену найма земли? Отдельный мелкий собственник

---

* *Stuart Mill,* idem. [*Стюарт Милль,* там же.— *Ред.*]

и бездомник, равно дома и при переселении, пропадает под тяжестью давящей его системы землевладения. Во Франции только теперь, после страшных бедствий и неудач революции, работники начинают соединяться в артели; между тем как у нас артель выходит непосредственно из оснований общинного землевладения. В каждой деревне, где крестьяне занимаются каким-нибудь мастерством, вы найдете, что они соединяются в артель; также артелью они идут работать на фабрики. У них развился общинный смысл. Таким образом, мы логическим путем придем к заключению, что общинное землевладение представляет более выгоды для народа и более прочности для государства, чем сосредоточенная и дробная форма землевладения.

С другой стороны, наблюдение показывает нам, что в Европе развилось уважение к неприкосновенности лица, неприкосновенности дома (home), неприкосновенности собственности, понятие чести, гласность суда и мнения, гласность законодательных собраний, развилась наука, наконец, и самое земледелие и промышленность, словом все, что мы привыкли соединять в понятие образованности. Между тем в России наглость обращения всякого мало-мальски высшего с низшим и крепостное состояние доказывают совершенное неуважение к лицу. Ни единый человек, выше тебя поставленный, не постыдится оскорбительно и нахально переступить порог твоего дома, особенно если этот дом — изба. Понятие чести замерло перед этим нахальством. Личность не выработалась до самостоятельности, и несмотря на нашу храбрость в бою, гражданская трусость сделалась нашим отличительным свойством. Всякая защита своего права и правды у нас считается бунтом, а подлость,— если не доблестью, то, по крайней мере, делом естественного порядка вещей. Крепостное состояние и чиновничество стерли неприкосновенность собственности. Судят и осуждают людей втихомолку, основываясь на подкупе, лицеприятии и притеснении. Мнению высказаться вслух нельзя, и на устах русского лежит печать молчания. Какие постановления делает администрация, какие распоряжения, куда девают все суммы, не мытьем так катаньем сбираемые с народа,— никому неизвестно, как будто никто этим не заинтересован, как будто России дела нет до того, что с ней делают.

Даже само правительство по большей части не знает, что делает администрация, и не имеет никакой путеводной нити для поверки отчетов, потому что действительная поверка и гласность нераздельны. Наша наука отстала, наша промышленность и особенно наше земледелие в совершенном младенчестве. Вправе ли мы заключить, что образованность растет только на почве разъединенного землевладения и не растет на почве общинного устройства? Едва ли.

Феодализм развил в Европе понятие чести и неприкосновенности лица; революции утвердили неприкосновенность собственности. Нигде феодализм не достиг такого развития, выросши и оставшись на основаниях сосредоточенного землевладения, как в Англии, и нигде понятие неприкосновенности лица не пустило такие глубокие корни в общественном мнении [6]. Полицейский никогда не является в виде какого-то забияки, который так вот сейчас и схватит вас за ворот, чуть ему что не понравится. Английский полисмен уважает в вас личность человека и никогда не арестует вас, если ваш поступок не поименован в законе как случай, подлежащий аресту. Уважение к дому развито так, что полицейский не имеет права арестовать вас на квартире без судебного приговора. Уважение к лицу естественно ведет за собою такое уважение к независимости мнения, что шпионство невозможно. Лондонские полицейские отказывались служить министерству политическими шпионами и грозили подать в отставку, если бы им стали делать предложения подобного рода. Но, развившись в эту сторону уважения к лицу, Англия достигла и до уважения полной свободы лица умереть с голоду. Сосредоточенность землевладения сосредоточила и уважение к лицу только для собственности,— понятие чести только для собственника. Для собственника и то и другое существует действительно. Но для несобственника это уважение становится делом пустого формализма. Когда ирландские лорды хотят свои поля обратить в луга для скотопромышленности, они сгоняют населения в сотни тысяч душ, нанимавшие их земли, и сотни тысяч душ идут частью умирать с голоду, частью как попало, на скорую руку переселяться в Америку. Очевидно, уважение к лицу и собственности лордов действительное, а уважение к лицу наемщика земли мнимое, формальное. В самой Англии

подобного происшествия не может случиться от землевладельца к наемщику, потому что наем земли делается обыкновенно фермером-капиталистом в большом размере и по долголетнему контракту; но оно становится возможнее при передаче <не>большого участка земли от оптового фермера мелким фермерам и повторяется ежедневно в отношениях фермеров к поденному работнику-хлебопашцу. Воображение не так поражено при виде этих частных отдельных несчастий, как при виде сплошного несчастия ирландского народонаселения, но сумма этих отдельных несчастий немногим уступит сумме их в Ирландии. Закон и общее мнение скажут, что работник, конечно, волен ехать в Америку, если желает, или приискать себе другую землю или работу, если на то его воля. Закон и общее мнение в этом случае — лицемерные формалисты и, выставляя напоказ самостоятельность лица, проходят молчанием то, что у этого лица отняты все материальные средства к независимости и свободе. Феодализм развил самостоятельность лица так, что правительство должно действовать в границах невмешательства в частные и судебные дела и двигаться исключительно в сфере администрации, обязанной давать парламенту отчет в своих действиях. Все это составляет высокое гражданское развитие, и все это пришло к бесплодному формализму, потому что рядом с формальной прочностью гражданской свободы создало новый вид рабства, при котором для большинства народонаселения гражданская свобода равна нулю. Среднее сословие, развившись в том же направлении сосредоточения движимых капиталов, как феодализм развился в сосредоточение недвижимых имуществ, совершенно усвоило себе формальность гражданской свободы, всегда оставляющую все выгоды на его стороне, в ущерб народонаселению, не имеющему собственности. Результаты английского формализма выходят следующие: 1) Всякий волен искать своего права по суду, но он должен внести в обеспечение иска сумму, равносильную проторям и штрафам в случае проигрыша иска; таким образом, бедный человек не в состоянии даже начать отыскивать свое право. Суд и правосудие существуют только для меньшинства. 2) Даже и для собственников страх судебных издержек дошел до того, что законодательство предоставило на волю тяжущимся быть судимыми присяжными

(jury), что стоит дороже, или просто судьей; в уголовных делах королевский юрист решает способ преследования дела по своему усмотрению, и, таким образом, суд присяжных назначается только для самого небольшого числа дел *. 3) Наконец, самые присяжные избираются исключительно из числа собственников, и несобственник может ожидать не суда, а только осуждения. 4) Адвокатство по наследству образовалось в касту, которой плата за делопроизводство составляет огромный грабеж, утвержденный узаконениями. 5) Все судебные и административные места покупные на законном основании, даже военные чины. В других странах приобретение судебных, административных и военных мест за деньги считается подкупом; в Англии это законная покупка. Таким образом, все места заняты в пользу меньшинства. 6) Наука и грамотность составляют удел меньшинства; большинство невежественно до дикости. 7) Свобода печати и мнения устранена дороговизною права на издание журнала или какого-нибудь рода сочинений, содержащих новости (news), и недоступностью клубов и библиотек для небогатых людей **. Свобода печати и мнения существует только для меньшинства; большинству негде высказаться, потому что это слишком дорого. 8) Сельское хозяйство и промышленность, хотя бы и улучшались, улучшаются только ко вреду большинства, потому что каждое улучшение, совершаясь в пользу сосредоточенной собственности, отнимает какие-нибудь выгоды у народа. Так, дешевизна фабричных изделий всегда сопряжена с понижением заработной платы и увеличивающейся дрянностью изделий. Индустрия вместо успеха становится только надувательством со стороны собственников. Так, огромность земледельческих оборотов, требуя быстроты в работе, даже препятствует улучшению сельского хозяйства и постоянно только стремится к понижению заработной платы и повышению найма. 9) Интересы собственников дошли до того развития, что парламент, их представитель, сделался формальным собранием, никогда не составляющим действительной оппозиции администрации

* *Bucher.*— Der Parlamentarismus wie er ist, Berlin 1855. [*Бухер*, Парламентаризм как он есть, Берлин, 1855.— *Ред.*]
** *Bucher*, Idem. [*Бухер*, там же.— *Ред.*]

и дозволяющим ей все, лишь бы она работала в смысле собственников.

Таким образом, начало сосредоточенного землевладения развилось в Англии в самостоятельность личности и правосудия для меньшинства, давящего большинство всем формализмом узаконений. Уродливость такого экономического и юридического состояния общества перебросила искренних людей в чартизм, т. е. в стремление к изменению настоящей формы землевладения. Это возникающее направление и упорство английского консерватизма готовят Англии будущность невообразимых ужасов. Натянутость положения едва ли допустит развитие постоянной реформы, которая была путем Англии до ее революции, до образования конституционной монархии. С тех пор Англия окристаллизовалась в каком-то консервативном китаизме, и едва ли ей теперь доступна благоразумная мягкость постоянной реформы.

Иначе развились интересы на западном континенте Европы. Раздробив землевладение на частные, мелкие собственности, Франция должна была стремиться к усилению административной централизации. Отдельная личность самостоятельна, когда сильна; но мелкий собственник ищет защиты своих интересов вне себя. Таким образом, удалив феодализм с старшей линией Бурбонов, Франция сменила его на чиновничество.

Администрация, защищая права дробной собственности, поглотила жизнь общественную и самостоятельность лица. Неудавшаяся революция привела прямо к безграничному деспотизму. В 1830 г. в департаменте Indres-et-Loire * считалось по одному чиновнику на 76 человек жителей. Токвиль[7] считает для всей Франции по одному чиновнику на 230 жителей. Лэйинг, в 1854 г., считает одно чиновничье семейство на 46 семейств. 138 000 чиновничьих мест, по расчету Токвиля, стоят ежегодно Франции 200 миллионов франков. Замечательно, что это кроме таможенных чиновников и полиции! Прибавьте к этому таможни, полицию и ту часть войска, которая содержится исключительно для охранения общественного порядка,— и для всякого станет очевидно, что на основании дробной собственности выросла во Франции

* Эндр-э-Луар.— *Ред.*

администрация, поглощающая все живые силы народа. Неприкосновенность лица, свобода цензуры и общественного мнения,— все поникло перед административной централизацией. Защищая интересы собственности, администрация, естественно, пришла к тому, чтоб взять под свое покровительство мелкого собственника против несобственника и крупного собственника против того и другого. Таким образом, крупный капитал путем индустрии и таможен обременяет существование мелкого собственника и несобственника; мелкий собственник съеживается и останавливает развитие крупной торговли тем, что ничего не покупает. Внутренняя враждебность общества усложняется. Администрация и крупная собственность стали в враждебность интересов против мелких собственников и несобственников; мелкие собственники — против крупных собственников и несобственников; несобственники — против тех и других.

При таком положении разъединения интересов, конечно, только централизация может дать внешнее единство, которое бы не надолго поддержало statu quo. Наука осталась занятием миноритета, как дело, недоступное не только для несобственника, но и для мелкого собственника; им заниматься ею некогда. Невежество земледельческого класса во Франции признано всеми, кто сколько-нибудь знает Францию. Наука, как занятие миноритета, служит интересам собственников и администрации. Притесненное большинство народонаселения, стоящее вне науки, не могло уяснить себе своего недовольства и вопросов общественной реформы с научной отчетливостью и, удовлетворяясь революционной фразеологией, готовится к взрыву без определенных понятий. Но одна мысль, у всех бродящая почти на степени предчувствия,— это реформа права собственности, изменения дробной собственности в общинную.

То же движение, хотя может и еще смутнее, бродит и в Германии, также склонившей голову перед административной бюрократией.

Но мы ограничимся этим быстрым, далеко не полным очерком Франции и Англии, тем более, что в Германии русский ум не найдет что перенять, перед чем остановиться с тем уважением, как, например, перед гражданскою самостоятельностью лица в Англии. Германия не

развила ни самостоятельности лица, ни громадной индустрии; она развила метафизику и бюрократию. Распространяя в народе грамотность, германская администрация не довела ее до общественного образования, несмотря на все частные попытки популяризировать науку. Выросши на враждебно смешанных основаниях аристократической и дробной собственности, Германия дошла до экономических результатов, подобных результатам тех же начал во Франции и в Англии, и вместе с тем до того же бродящего втайне стремления изменить существующие формы разъединенного землевладения в землевладение общинное.

Но, скажут нам, идеал общинности, к которому стремится Европа, совсем не то, что общинное землевладение у наших крестьян, которое только форма землевладения, бывшая вообще у народов в младенческом возрасте их развития. Положимте, что так. Но гораздо же легче идеал общинности развить из формы общинного землевладения, чем из форм собственности совершенно противуположных. На основании противуположных форм землевладения стремление к общинности может итти только посредством насильственных кризисов, потому что надо ломать существующее, между тем как при общинности землевладения надо только оставить это начало свободно, беспрепятственно и естественно развиваться без всяких общественных потрясений. Мы только можем притти к одному заключению, что весьма счастливо, что в России нельзя стереть форму общинного землевладения. Народ не уступит ее никакой силе; как ни бессознателен обычай, но он укоренился, и весьма счастливо, если он совпадает с разумностью.

Но на почве общинного устройства выросло совершенное пренебрежение к *лицу,* крепостное состояние, отсутствие суда и правосудия для народа, также чиновничество, да еще хуже, чем на Западе, потому что не подлежит контролю общественного мнения, основанного на самостоятельности лица. Общественное мнение не существует за отсутствием гласности. Образованность и наука достаются также и еще больше на долю самого маленького меньшинства, как и на Западе. Индустрия развилась плохо, земледелие в совершенном младенчестве. Стало быть, общинное землевладение принесло подобные же и

еще более горькие плоды, как принесло на Западе сосредоточенное или дробное владение.

Когда правительство прикрепило крестьян к земле, часть из них была прикреплена за помещиком, часть из них подпала под власть чиновничества. Петр Великий принял государство в хаотическом состоянии и должен был для водворения порядка прибегнуть к какому-нибудь чуждому началу, это начало было — бюрократия. Помещик и чиновник составили два элемента, которые разом поставили границу развитию общинного начала и осудили его на пребывание в statu quo. Образование России пошло помимо общинного начала. Развивалась только администрация. Помещичество, по обязанности или обычаю служить, слилось с чиновничеством, а не с народом, даже утратило (а может, и не имело) характер наивной патриархальности, заменив его плантаторством. Помещик и чиновник не уничтожили общинности землевладения у крестьян; это было для них равнодушно; но только они не дали общинному началу дальнейшего хода. Таким образом, наше судопроизводство не развилось из общинного начала, наша администрация не развилась из общинного начала, а все перенесено целиком из немецкой бюрократии, со всем ее формализмом и варварскими названиями. Помещик общинное управление заменил своим, чиновник своим. Лучшего из этого ничего не вышло, кроме того, что народ отупел.

Возьмите какую-нибудь русскую крестьянскую общину, случайно избавленную от вмешательства помещика и чиновника, и посмотрите, как она существует по своему обычаю. Возьмите, например, оброчное имение какого-нибудь помещика, который для общины не более, как миф, получающий ленты через плечо в Петербурге. Для общины действительность составляет только оброк, ежегодно посылаемый мифу. Положимте, что оброк этот невелик и уплачивается легко; а миф — лишь бы получал его — не вмешивается в управление, и крестьяне управляются сами собой; а между тем чиновник боится мифа и не теснит их. Что происходит в этой общине? Она выбирает старосту и сменяет его, если им недовольна. Разделив землю по тяглам, она не вмешивается в частную жизнь человека, лишь бы он нес общественную тягу наравне со всеми. При

спорах между собою крестьяне обыкновенно обращаются к старшим, доверяя им рассудить их, т. е. полагаются на третейский суд; в самых важных случаях их разбирает мир. Оброк и повинности собирает староста и в употреблении сборных сумм дает отчет на миру. Мир (suffrage universel) * выбирает и отменяет старосту и другие лица, занимающие какие-нибудь сельские должности. Иногда вы услышите жалобы, что мир слишком вмешивается в частные дела и теснит отдельные личности; но заметьте, что вы застаете общину на степени младенческого развития. Не мешайте ей — из столкновения личности и мирской власти община естественно дойдет до того, что определит случаи, подлежащие и не подлежащие мирскому суду, и оградит личность, предоставив миру только решение дел общественных. Тут человек естественно идет к тому, чтобы устроить свою независимость, сохраняя чувство общественного долга. Диктаторская власть старосты, ограниченная учетом, мирской поверкой его действий и сменою, никогда не переступит своих границ, когда ей вне общины не на что опереться. И потом власть старосты чисто исполнительная,— раскладка повинностей зависит от мира. Я знал одно богатое село в Рязанской губернии, где раскладка оброка и повинностей делалась на миру таким образом, что богатый крестьянин платил более в счет повинностей, бедный менее, каждый платил по состоянию [8]; состояние же человека всегда известно общине, как бы кто ни скрывал его для избежания повинностей, падающих на его долю. В этой общине только половина крестьян жила дома; половина разъезжалась на заработки во все концы России. Стало, общинное устройство нисколько не стесняло их образа жизни, лишь бы каждый уплачивал свою общественную повинность. Попробуйте не мешать такому устройству развивать все лежащие в нем зачатки, и взгляд любого экономиста остановится на нем с удовольствием.

Но вот миф перестает быть мифом: помещик является управлять именьем или посылает управляющего. Положимте,— чтоб не касаться безобразия барщинного положения,— что перед нами именье все же оброчное. Развитие общины тотчас останавливается. Староста перестает

---

* Буквально — «всеобщее избирательное право» (фр.); здесь употреблено в смысле «мирской сход».— *Ред.*

быть избираемым и отрешаемым по усмотрению общины. Он превышает свою власть, опираясь на власть помещика. Третейский суд между крестьянами заменяется судом помещика. Оброк налагается на всех и каждого по воле помещика. Кто из крестьян жил и работал на стороне, призывается домой по воле помещика. Личность крестьянина стерлась; он чувствует, что он раб, он боится и лжет. Этим ограничивается его нравственное развитие. Община остается действительно при своей точке отправления — общинном землевладении и дальше не может сделать ни шагу вперед.

То же влияние, которое производит вмешательство помещика на крепостных крестьян, производит вмешательство администрации на государственных крестьян. До киселевского министерства [9] крестьяне были подвергнуты грабительственным набегам земской полиции. Набеги земской полиции и ныне продолжаются во всех уголовных делах; эти набеги не ссорят земскую полицию с палатою государственных имуществ. Оба управления идут дружно; только крестьянам приходится отплачиваться вдвое. Теперь они, кроме набегов земской полиции, подвергнуты грабительственным набегам чиновников палаты государственных имуществ. Но этого мало — администрация достигла путем узаконений до остановки развития общинного начала. Старшина в общине избирается и отменяется с разрешения начальства. Голова избирается волостью, но утверждается палатой государственных имуществ с разрешения губернатора. Отменяется также с разрешения начальства, потому что хотя он и избирается на три года, но может остаться и долее, если начальство его не сменит *. Вместо добровольных судов явились суды непременные под заглавием сельских и волостных расправ **. Выборы совершаются под угрозой административной розги. Жалованье всем этим крестьянам-чиновникам назначено непременное, а не по соглашению общины. Превышать свою власть все эти выборные, но начальством утвержденные крестьяне-чиновники могут всегда, опираясь на палату государственных имуществ. Перед администрацией стерлась личность человека. Администрация *поглотила*

---

* Управление государственных имуществ, статья 4314.

** Idem, ст. 4712 и 5128.

общину, остановив ее при ее точке отправления, т. е. при общинном землевладении, и не пуская развиваться далее. Даже *немногочисленный класс свободных* хлебопашцев министерство государственных имуществ поглотило в общую бездну администрации *.

После этого можем ли мы сказать, к какому развитию способно начало общинного землевладения и в чем оно останавливает развитие образования в государстве? Мы еще не видали развития общинного начала; мы только видим препятствия, которые ему поставлены. Отнимите препятствия и тогда посмотримте.

С одной стороны, мы видим, что сама Западная Европа, перепробовав все формы раздельного землевладения, стремится к созданию общинного начала, чтоб вынырнуть из своего тяжелого и опасного положения. С другой стороны, мы видим, что у нас препятствия к развитию образования встречаются не в общине, а в том, что чуждо общинному началу и развивается в ущерб ему, т. е. в помещичьей власти и бюрократии.

Однако помещики — единственно образованное сословие в государстве, только их труд и их власть могут распространить образованность в народе, улучшить земледелие и создать рациональное сельское хозяйство. Однако администрация распространила школы и грамотность и устроила примерные хутора для распространения рационального сельского хозяйства.

Это все только похоже на правду, а в сущности ложь. Помещики или, лучше сказать, некоторые из помещиков действительно составляют образованную часть государства, и это очень счастливо, это очень важно; это показывает, что образованность вошла элементом в государство и что ее не сотрешь. Но это не доказывает, чтобы этот миноритет имел влияние на распространение образования посредством своей власти над крепостными людьми. Этот миноритет растет воспитанием, которое дает своим детям, растет умножением образованных личностей; но чем более он растет, тем более он приходит к сознанию несовместности крепостного права с образованием, к сознанию, что он и не способен распространить образование в народе именно потому, что существует крепостное право.

* Управление государственных имуществ, ст. 4739.

Вместо того чтобы посредством своей власти образовать крестьянина, помещик, употребляя власть, сам теряет свое образование. Он приходит в столкновения, где действует вопреки своим понятиям и убеждениям. Крестьянин спервоначала не может иметь к нему доверия, как к притеснительной власти, и не принимает его поучений. Помещик не поучает, а только приказывает. Да и чем же, в сущности, помещик до сих пор распространял просвещение между крестьянами? Кое-где неудавшимися школами и хозяйственными нововведениями, больше похожими на шутку, чем на дело? Еще большую массу понятий вводили в народ те помещики, которые без особенной ревности к просвещению пускались в промышленные заведения просто из коммерческого расчета, как и всякий иной смертный из купцов. Но и тут за приобретение некоторых мануфактурных понятий крестьяне платили усугубленной барщиной и работали с ненавистью к помещику и его промышленному предприятию. Сохранимте доброе влияние образованности высшего класса, но перестанемте подозревать существование этого влияния там, где его нет, и безбоязненно уничтожимте власть, которая мешает общине свободно развиваться.

С своей стороны администрация если и устроила школы, то, может быть, околостоличные крестьяне воспользовались случаем выучиться грамоте, потому что для них нужда в ней ощутительнее; но уезжайте немного подальше от столицы, и вы увидите, что существуют учителя и здания для школ, а грамотность не распространена. В этом администрация не успела; но в чем она несомненно успела — это в разорении крестьян и остановке общинного развития. Примерные же хутора никогда не принимались ни крестьянами, ни администрацией за серьезное дело; они существуют как шутка, поддерживаются как административная шалость. Да иначе и не могло быть. Администрация вникала не в потребности народного развития, а только создавала и развивала самое себя в систематичность, сотканную из формализма и насилия. К сожалению, администрация, гордая своей систематичностью и самобытностью, смотрит на народ как на жалкую массу, которую нечего развивать по законам ее внутренней жизни, а следует кроить и шить по мерке, изобретенной самою администрацией. Администрация презирает народ и видит

в нем только невежественную нелепость, которую надо заменить просвещением, пропитавшим администрацию и пышущим изо всех ее пор. Ошибка важная уже и потому, что народ насильно толкают по неестественному пути мнимого образования и преграждают ему путь его естественного развития; но, кроме того, ошибка еще бо̀льшая потому, что в самой администрации лежит не просвещение, а невежественная нелепость на свой манер. Например, администрация услыхала, что в Европе садят картофель и гонят водку из картофеля; администрация тотчас принялась жесточайшим образом пороть крестьян, заставляя их садить картофель. Крестьяне не хотели; от административных розог отделывались взятками, и картофель не вышел из границ огородного растения. Администрация приписала это упорству и невежественной нелепости крестьян. А между тем дело это заключалось в простой причине: рожь была дешевле картофеля, сеять рожь было дешевле, чем садить картофель. Очевидно, что картофель, распространившийся в Европе как pis aller *, как более дешевая замена недостающего зернового хлеба, не мог распространиться там, где зернового хлеба было достаточно и где его возделывание обходится дешевле возделывания картофеля. Кто же у нас был в этом случае невежда: просвещенная администрация, не понявшая простых экономических данных, или невежественный мужик, просто не желавший делать того, что ему приносило не прибыль, а убыток?

Пора нам перестать шалить. Благодетельное влияние помещиков и администрации на земледелие, и вред, приносимый земледелию общинным землевладением, т. е. *делянками* земли,— ведь это все неправда. Помещики и администрация не улучшили сельского хозяйства у крестьян, и не делянки земли держат его в младенческом состоянии. Говорят, что помещичьи земли лучше обработаны, нежели крестьянские. Должны бы быть лучше обработаны, потому что помещику не мешает работать никакое насилие, но лучше ли они обработаны — это весьма сомнительно. Это больше обычное мнение, нежели факт. Все что мы можем сказать, что иногда встречаются помещичьи земли, лучше обработанные, а по большей части

* Крайнее средство (фр.).— *Ред.*

они так же плохо обработаны, как и крестьянские. Единственно существенное различие между господским и крестьянским хлебом, в пользу господского, то, что крестьяне продают хлеб по большей части сыромолотный, а господский хлеб сушится, да еще не в овинах, а в ригах. Это различие наводит нас на мысль, что оно лежит не в рациональности помещичьего и нерациональности крестьянского хозяйства, а в том, что помещик достаточно богат, чтоб выстроить ригу и дать себе время высушить хлеб, между тем как крестьянин спешит намолотить что сможет и продать на базаре, чтоб удовлетворить нуждам, не терпящим отлагательства, например, когда с него требуют подать или взятку вместо подати, почти приставя нож к горлу, или, лучше сказать, розгу к спине. Это еще не есть различие в способах обрабатывания земли. А взгляните на самые эти способы: они одинаковые у тех и у других. Крестьянин пашет сохой, и помещик пашет сохой; помещики, которые вводят у себя плуг, составляют незаметное меньшинство в Великороссии. В Малороссии все пашут плугом: и помещики и крестьяне. Везде, у тех и у других, трехпольное хозяйство; помещиков, которые ввели у себя плодопеременное хозяйство, можно перечесть по пальцам. Мы уже имели случай заметить, что плодопеременное хозяйство у нас не может приняться по весьма простой причине, потому что корнеплодных растений не требуется на рынках империи и потребность в них не превосходит размеры огородной промышленности. Эта причина, очевидно, проще и решительнее, чем все причины, отыскиваемые в недостатке образования. Я не спорю, что недостаток образования тоже факт, но в этом случае не в нем дело. Мало того, что наши рынки не требуют корнеплодных растений, но они не требуют даже того количества зернового хлеба, которое земля может производить, и до сих пор ни крестьяне, ни помещики не поставлены в необходимость действительно заботиться о добывании хлеба более, нежели сколько его родится при небрежном возделывании земли. Вот основная причина, почему земледелие в младенческом состоянии.

Россия легко прокормливается тем хлебом, который родится. В самые голодные года цена на хлеб не возвышается до его обыкновенной цены в Западной Европе. Наши плодоносные земли приносят менее, чем неблаго-

дарные почвы в Европе; но народ прокормлен, винокуренные заводы в ходу, и есть еще излишек для отправки за границу. Никто и не заботится об улучшении земледелия; а когда кто заботится, то это более из артистического чувства в промышленности, чем из живой, торговой потребности. От этого и забота эта кидается в шалость, т. е. внимание помещика-агронома большей частью растрачивается на небрежные опыты перенять изобретения, не идущие к делу, а самое земледелие не улучшается. Пользуясь крепостным правом, помещик имеет досуг пошалить в агрономию и, расплываясь в этом досуге, теряет всякую инициативу в торговле. К нему купец сам приезжает закупать хлеб для отправки в другие губернии и за границу. Ни одному помещику в голову не приходило, что и он мог бы свезти хлеб подалее, чем пристань ближней судоходной реки или соседний винокуренный завод, и продать повыгоднее. Почти ни один помещик не продает зернового хлеба мукою. Не пройдет десятилетия, и Россия покроется железными дорогами, и возить хлеб в гавани будет легко; а помещики, если бы осталось крепостное право (не говоря уже о том, что барщинная работа плоха), по собственной косности не улучшили бы сельского хозяйства и не стали бы продавать хлеба более, чем теперь. Но благодаря Александру II крепостное право скоро исчезнет [10], и помещик очнется от своей косности и при пособии железных дорог сделается исправным торговцем и станет в самом деле заботиться о количестве и качестве своих произведений. Тогда он действительно употребит капитал и труд на улучшение сельского хозяйства; да и крестьянин, вышед из-под его убийственной родительской опеки, развернет свои силы и станет работать не хуже его. Напрасно Тенгоборский (как ни важен его труд как первый опыт сборника статистических сведений о России) [11] полагает, что в дележе земли по тяглам больше причин дурного земледелия, чем в самом крепостном состоянии. Не только в помещичьем крепостном праве мы отыщем более причин к неулучшению земледелия, чем в общинном владении землею, но и у казенных крестьян мы наткнемся на административное насилие как на главную причину невозможности сельским общинам улучшать свое хозяйство. Тенгоборский, может, не захотел договорить этого, потому что он все же был человек

официальный и не смел высказывать открыто своего мнения. Серьезно говоря, делянки земли по клочкам, как бы разбросаны ни были клочки, не могут заставить крестьянина пренебречь обработкой земли, потому что на следующий севооборот такой-то клочок достанется не ему; во-первых, он может достаться и ему; во-вторых, ему нет выгоды дурно работать на зло соседу, потому что, работая дурно, он и в этот севооборот получит меньше, да еще должен бояться, что и сосед на зло ему станет дурно работать, и в результате было бы, что все члены общины живут на зло друг другу,— нелепость, которая de facto не существует, и, конечно, выгода общины в том, чтобы все члены ее работали исправно. Но обыкновенно думают, что неуверенность в сохранении известного участка порождает нерадение; даже иные крестьяне так думают. Мы очень сомневаемся, чтобы причина нерадения заключалась именно в неуверенности сохранить известный участок, при уверенности все же иметь участок и со временем тот же участок. Нерадение встречается и у отдельных собственников, большей частью тогда, когда отдельная собственность так мелка, что не в состоянии прокормить семью, когда мелкого землевладельца одолевают долги, и он не видит исхода в жизни и впадает в отчаяние. Надо предположить страшную силу характера, чтобы при таких данных человек не упал духом и продолжал бы хорошо трудиться, несмотря на безвыходность положения. А русский мужик всегда находится в безвыходном положении: барщина — розга, оброк — розга; сегодня день удобен для работы, но погонят на барщину; сегодня мужик хотел заняться каким-нибудь предприятием, но его гонят в извоз. Это для помещичьих крестьян; то же у государственных: подать — розга; иди работать на дорогу, когда пришло время работать в поле; нейдешь — давай взятку, не даешь взятки — розга. Не в сохранении или несохранении такого-то клочка земли он не уверен,— он не уверен в спокойности своей жизни; все его достояние не обеспечено от насилия помещичьей и административной власти; у него руки падают, он отупел,— вот отчего он нерадив. И то, что все же большинство наших крестьян не нищие,— свидетельствует только о выдержке их характера, которая поддерживает человека, несмотря ни на какие насилия. Нашел же Гакстгаузен [12] успешное

хозяйство у менонистов [13], несмотря на общинное владение и делянки земли; почему?.. Потому что в России наименее притесняют немцев. (Конечно, никто не подумает, что мы этим изъявляем желание притеснять немцев; мы только желаем, чтоб перестали давить русских).

Но если правда, что иные крестьяне думают, что делянки земель вредны для их хозяйства, если их мнение основательно, то дайте общине спокойно и свободно развиваться, она дойдет до более удобного дележа земли своим рассудком и силою обстоятельств. Повторяем: мы и не принимаем общину, как она теперь существует, за идеал общинного устройства, но за основание, за зародыш, за зерно этого устройства, зерно, которое способно к развитию, если ему не будет мешать внешнее насилие.

Говорят, что общинное устройство подавляет свободу лица. Но у нас, при общинном устройстве, личность не определила своего права независимости, община не определила границы своей власти над лицом, потому что им некогда договориться до этого. Личность подавлена помимо общины помещиком, администрацией, бессудием; она не заявляет своих прав перед общиной, потому что это массивное, общинное устройство насколько-нибудь спасает ее от высших насилий. Дайте общине свободно развиваться, она договорится до определения отношений лица к общине; она даст право лицу (как и теперь уже существует, хотя недовольно определенно) свободно избирать место жительства, не отстраняясь от общины, или вовсе удаляться от этой общины и причисляться к другой с ее согласия, или сделаться совершенно отдельным собственником, словом, община даст право независимости лицу; но удержит свое право, когда лицо принадлежит к ней, требовать от него подчинения общинности землевладения, участия в общественных повинностях, подчинения общинному приговору.

Говорят, что общинность землевладения при дележе земли дает в результате таких же дробных собственников, как и на западном континенте Европы. Это несправедливо. Мелкий, отдельный землевладетель в Европе передает свою маленькую землю в наследство детям, и она мельчает до тех пор, пока люди не выброшены в голодающие сословия совершенных бездомников. Конечно, такие землевладетели не имеют возможности улучшить земледелия;

они не в состоянии приобрести новой земельной собственности; они не в состоянии переселиться на новую землю; они уходят в поденщики. В нашем общинном устройстве право наследства на участок земли не существует; земли достаточно, пока ее достаточно у общины. Положим, и тут есть граница, после которой является малоземелье, но эта граница приходит не так быстро и не так удручительно, как в дробном, наследственном землевладении. После этой границы люди не переходят в необходимость бездомной поденщины; они только естественно переходят к потребности выселка, колонизации, новой общины — явление, составляющее географическую необходимость в роде человеческом.

Зачем обрушивать на общинное устройство вину дурного земледелия тогда, когда оно происходит от других причин? А именно: от достаточности хлеба и недостаточности сбыта, от крепостного права и давящей администрации.

У нас расход на улучшение земледелия не был бы покрыт соразмерно усиленным доходом. До сих пор положение земледелия большей частью такое, что чем больше расхода на обработку полей, тем меньше с них дохода. Это явление, не исключительно принадлежащее России, всегда естественно совпадает с несоразмерностью земли и населения *. Мы его встречаем, когда земли слишком мало или слишком много сравнительно с народонаселением; в первом случае является невозможность улучшения, во-втором — отсутствие необходимости в улучшении. У нас многоземельность при недостаточности сбыта. Улучшенное земледелие Западной Европы, при легкости сбыта в странах, не только потребляющих весь свой хлеб, но нуждающихся в привозе иностранного хлеба, вовсе не может быть применено к нашему положению. Мы, естественно, можем искать себе сравнения, аналогии и предметов, достойных подражания и избежания, в Америке. Как и Россия, Соединенные Штаты растянуты на огромном пространстве при соразмерно небольшом народонаселении. Первое, что поражает нас в отношении к земледелию,—

---

* *T. D. B. De Bow,* Encyclopeadia of the Trade and Commerce of the United States. [*Т. Д. Б. Де Боу,* Энциклопедия промышленности и торговли США.— *Ред.*]

это заграничная торговля хлебом. Россия, несмотря на свои успехи в этой торговле в последнее время, вывозит из 250 миллионов четвертей ежегодно производимого зернового хлеба maximum 5 700 000 четвертей за границу, т. е. около $2^{1}/_{4}\%$ годового урожая; между тем как Соединенные Штаты вывозят из 19 047 875 четвертей (110 миллионов бушелей) пшеницы 4 859 623 четвертей (28 063 879 бушелей) и из 79 654 720 четвертей (460 000 000 бушелей) кукурузы — 3 633 742 четвертей (21 052 971 бушелей), т. е. двух сортов зерна (кроме риса и других хлебных растений) из 98 702 595 четвертей — 8 493 365 четвертей, т. е. $8^{1}/_{2}\%$ [14] годового урожая *. В Штатах для внутреннего продовольствия остается 91 209 260 четвертей на 23 297 498 жителей, т. е. 3,9 четверти на душу; у нас остается 244 300 000 четвертей на 62 000 000 жителей, т. е. 3,6 четверти на душу. В Штатах пахотной земли 43 869 574 десятины (118 435 178 acres), т. е. по 1,8 десятины на душу; у нас пахотной земли 89 647 000 десятин, т. е. по 1,4 десятины на душу. Очевидно, внутреннее продовольствие и число десятин пахотной земли на душу и тут и там почти одинаково; но результат американского земледелия превышает наш почти на 5%, не говоря уже о том, что в Америке нехлебные растения занимают большее пространство обработанной земли, чем у нас, и, следственно, действительный урожай хлебных растений должен давать гораздо более <чем на> 5% больше, чем у нас. Причины этой разницы могут быть климатические условия и способы обработки. Уступимте климатическим условиям половину; все же результат американского земледелия превышает наш с лишком на $2^{1}/_{2}\%$. К тому же добавим, что в заграничной торговле Штатов пшеница и кукуруза составляют только семидесятую долю ценности всего вывоза, а наш зерновой хлеб составляет пятую долю всего вывоза. Промышленное движение Штатов является нам гигантским в сравнении с нашим. В 1845 году наша заграничная торговля простиралась на 441 943 880 франков **; в том же году заграничная торговля Штатов была на 531 253 800 франков, следственно, почти на 90 миллионов более нашей. Заключение просто: народонаселение, с лишком вполовину меньшее, производит в промыш-

* *Tengoborsky*, т. IV, p. 252. [Тенгоборский, т. IV, стр. 252.— *Ред.*]

** *De Bow*, p. 329. [Де Боу, стр. 329.— *Ред.*]

ленном отношении более, чем народонаселение вдвое большее, т. е. производит с лишком вдвое более. Уделимте половину лишка в пользу климатических условий, выйдет, что они при равных климатических условиях производят в полтора раза более. Какие же этому причины? Вот они:

1. Штаты по традиции получили образованность, т. е. применяемость науки к промышленности, и капиталы. Мы являемся в среду образованных государств сто лет позже и должны создавать и промышленность и капиталы.

2. Администрация, воображая, что может просвещать нас, в сущности, мешает нам развиваться...

3. Правительство и народ в Штатах движимы одинаким интересом и идут по одному прямолинейному пути. У нас правительство и народ отгорожены друг от друга бюрократией, чиновничеством, грабящим народ и обманывающим правительство.

Промышленность и пути сообщения росли разом в Штатах, беспрерывно подстрекая друг друга. У нас пути сообщения далеко отстали от промышленности. Тут надо заметить, что промышленность является у нас как результат сил и усилий народных, между тем как пути сообщения являются как результат намерений и забот администрации. Очевидно, здесь просвещенная администрация отстала от деятельности народной. Правительство, конечно, хотело заодно с народом устроивать пути сообщения; но бюрократия мешала правительству, превращая его желания в грабеж, и до сих пор только обременяла народ, бесплодно притесняя его везде во всех работах, касающихся путей сообщений, так что в народе часто на эти работы смотрели с ненавистью. Николаевская железная дорога, уединенно пролегающая между Москвой и Петербургом, не могла сделаться действительным товарным путем, потому что ее учреждение ничего не изменило в путях сообщения до Москвы. От этого и оттого, что лихоимство вогнало ее построение и содержание в неслыханную цену, николаевская железная дорога приносит казне постоянный убыток.

В Штатах люди, наследовавшие от Западной Европы капиталы и применяемость науки к промышленности, люди нестесненные, свободные в своих начинаниях, сделали чудеса в промышленности [15]. Но и тут, обращаясь опять к земледелию, надо заметить великую разницу

между Северными штатами и Южными. В то время, как прилагаемость науки к земледелию достигла высокого развития в Северных штатах при свободном труде, совсем иное происходит в Южных штатах, работающих рабами. Вот что мы находим в книге De Bow, профессора политической экономии в Луизиане: «Трудно даже и в настоящее время уверить плантаторов, что им можно кое-что делать и помимо заведенной рутины. В целом штате нет никакого уездного (parish) земледельческого общества. Даже нельзя подстрекнуть плантаторов, чтобы они завели хотя одно центральное земледельческое общество,— так велика у них всеобладающая апатия. Конечно, есть между ними благородные исключения, но отчего же нет общего земледельческого интереса?» Не правда ли, как это напоминает русских помещиков? Между тем как De Bow является защитником рабства негров в Южных штатах, он невольно поставлен в необходимость жаловаться на косность плантаторов, на недостаточность железных дорог, на неразвитие промышленности в сравнении с успехами Северных штатов и никак ему в голову не приходит простого заключения, которое выведет всякий беспристрастный читатель, что причина косности и отсталости Южных штатов — рабство. Подобному же явлению мы найдем одинакую причину и у нас в крепостном труде, при котором крестьянин не имеет никакого повода к старательной работе, а помещик коснеет в праздности и лени. Еще мы имеем то превосходство над Южными штатами, что общинное землевладение в нашем крепостном сословии — причем крестьяне считают себя землевладельцами вопреки праву помещика на земельную собственность — это общинное землевладение спасло нас от ужасов рабства, которые совершаются в Южных штатах и которые даже и у нас невообразимы. Хотя наши дворовые и подходят к положению негров, но все же их и действительная и инстинктивная связь с крестьянской общиной вошла таким элементом в ум помещика и крепостного человека, что есть границы насилию, которые хотя и переступают, но это переступление все же считается преступлением, и стремление обуздать помещичье тиранство постепенно росло в нашем законодательстве. Даже и у нас никогда не доходили, например, до того, что хозяева собирают женщин и девок негритянок в одно место и приглашают равно

черных и белых мужчин для приплоду, чтобы умножить число своих рабов вновь родящимися. Это и у нас не бывает, хотя мы у себя и встречаем много гадкого, от чего приходится краснеть.

Самостоятельность лица, даже и там, где дело не касается до негров, не приведенная в границы разумности никаким общинным началом, развила в Америке личность в произвол. Земли еще слишком много, чтобы дать место нищенству, как в Западной Европе; но отдельный человек, имеющий одну цель — захватить себе отдельную собственность, чем больше, тем лучше, и не сознавая себя в чем бы то ни было обязанным перед общиной, дошел до уродства. Не нуждаясь в европейском формализме, гражданин Соединенных Штатов, как необузданный собственник, на свободе развернувшийся буржуа, дошел до совершенного самоуправства, которому даже становятся ненужными совестные суды, ибо можно кончать дело дуэлью или убийством. Буржуазное стремление к отдельной собственности, признав и негра за собственность, не останавливается ни перед каким средством распространить власть своего уродливого своеволия, и, действительно, слэвгольдеры достигли большинства в штатах и привели их к кризису, грозящему им распадением. Да мимо нас идет чаша сия, это буржуазное развитие отдельной собственности, которое, несмотря на высокие основания гражданственности, несмотря на огромный успех промышленности, привело человеческое общество к нечеловеческому образу.

Теперь перечтем результаты всего нами сказанного:

Сосредоточенная земельная собственность хотя и развила самостоятельность лица, без которой нет ни человеческого достоинства, ни разумной общественности, но не привела общества к счастливым результатам. Дробная собственность не привела к счастливым результатам и даже заставила съежиться самостоятельность лица. Отдельная крупная земельная собственность, т. е. та же дробная собственность, не дошедшая до мелкости деления (как в Америке), развила ad absurdum * личный произвол и не привела к счастливым результатам.

Поневоле нам остается на выбор общинная земельная собственность, которой развития мы еще нигде не могли

* До нелепости (лат.).— *Ред.*

наблюдать, но за развитие которой мы должны приняться уже и потому, что находим ее у себя как факт.

Отсутствие самостоятельности лица логически нисколько не истекает из общинного землевладения; оно происходит у нас от помещичьего права и административного насилия, т. е. от всего того, что мешает общинному началу развиваться. Община поглощает лица, пока им некогда договориться о своих взаимных правах и обязанностях. Вдобавок, у нас, помимо общинного землевладения, остается и частное землевладение (у помещиков, у всех, кто лично владеет землею). В дальнейшем ходе истории эти две точки зрения на земельную собственность, сосуществуя рядом, скорее могут уяснить здравые понятия народного благоустройства, чем одна точка зрения, развитая ad absurdum, как частное землевладение в Европе.

Отсутствие правосудия не только не истекает из общинного начала, но помещичье право и административное насилие мешают всякому проявлению правосудия, к которому способно общинное начало.

Дурное состояние земледелия и промышленности происходит не от общинного начала, а от помещичьего права и административного насилия, при недостаточности путей для сбыта произведений и присутствии постановлений, стеснительных для торговли.

Замкнутость научного образования в таком маленьком меньшинстве, что оно ничтожно и перед тем меньшинством, которому наука доступна в Европе, происходит не из общинного начала, а от помещичьего права и административной самоуверенности. У нас, в сущности, ни для помещика, ни для чиновника не существует побудительной причины учиться; и тот и другой может добиться своих корыстных целей не учась. Учатся у нас только *благородные исключения,* как называет их De Bow. Сохранив крепостное право и чиновничество, мы не распространим образования даже в высших классах и, конечно, не привьем образования к низшим классам обычным путем насилия и обучения мужиков грамоте, в которую не вносим никакого содержания, в их жизни прилагаемого, полезного или, по крайней мере, интересного.

Потом мы не должны забывать, что в Европе и Америке науки и образованность существуют по традиции, а

мы дали им к себе доступ недавно, да и то, давши доступ, в виде противуядия поставили помещичье право и административное насилие.

Также мы не должны выпускать из виду, что при свободном развитии общинное землевладение может достичь больших результатов земледельческой промышленности, потому что в его внутреннем смысле лежат две системы обработки: система сосредоточенной собственности, потому что община есть большой землевладетель, и система дробной собственности, потому что каждый крестьянин есть дробный собственник (заметьте — не наемщик), и обе системы сливаются в одну свободную общину. Будущность общинного землевладения может сделаться плодоносною. Не уничтожать следует нам начало общинной собственности, а дать ему развиваться. Лучше устроить так, чтобы не было ни единого человека в России, который бы не имел своего земельного участка в общине, чем искать для России других форм землевладения, в глазах наших осуждаемых историко-экономическим опытом. Если мы видим в Европе, что земледелие в несравненно более цветущем состоянии, чем у нас, а низшие классы бедствуют вследствие распределения землевладения, то мы не должны забывать, что земледелие существует для человека, а не человек для земледелия и что нам нечего прибегать к формам землевладения, истощившим Европу, только для того, чтоб улучшить наше земледелие. Нам не приходится поставить как догмат: уничтожимте общинное начало, чтоб улучшить земледелие; нам надо поставить вопрос: каким образом при общинном начале улучшить земледелие? С этим вопросом мы действительно пойдем по пути развития нашей цивилизации.

Не станемте же гнать общинного начала, но примемте его за факт и дадимте ему все способы к своеобразному гармоническому развитию.

Прежде всего снимемте препятствия к этому развитию, т. е. помещичье право и чиновничество, потом станемте пещись о распространении образования не на основаниях насилия.

В этом и состоят наши три животрепещущие вопроса.

Уничтожение помещичьего права началось благодаря благородным стремлениям Александра II.

РУССКИЕ ВОПРОСЫ

<СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ>[1]

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧИНОВНИЧЕСТВА

Развитие чиновничества в уродливую целость достигло в России до таких крайних пределов, что само правительство не может более двигаться в настоящем порядке вещей. Оно поставлено между двумя противуречиями, между которыми выбор слишком странен: итти заодно с чиновничеством — значит стать во главе организованной шайки разбойников, грабящих Россию; итти заодно с народом — значит итти против чиновничества. Правительство пытается то тут, то там отдать под суд взяточника, наказать злоупотребляющего власть — и все безуспешно. На место наказанного взяточника вырастает новый; злоупотребление власти наказывается в лице такого-то и рядом торжествует в лице другого. Политковского хоронят без воротника в то время, как целые орды чиновников с воротниками живут и наживаются в Крымскую войну, служа причиной ее неудачам. Когда в огороде разрастается негодная трава, ее никак не выведешь тем, что кой-где оборвешь какую-нибудь травку; приходится все перепахать. Правительство не может не чувствовать, что нужно коренное преобразование чиновничества, что иначе злу не поможешь. С освобождением крепостного состояния необходимость этого преобразования становится еще очевиднее; при обычном бессудии и обычном насилии мудрено, почти невозможно привести

самое освобождение к концу правильно и справедливо. Утомленная чиновничьим разбоем, Россия жаждет преобразования чиновничества. Без этого нельзя шагу сделать вперед ни в чем. Оставить вещи как они теперь — невозможно: народ разорится, правительство разорится, государство разорится.

Дело каждого благомыслящего русского искать методу, по которой может совершиться преобразование чиновничества, разумный способ этого преобразования. Определение этого способа составит предмет нашей статьи, наш посильный, искренний труд.

Что такое чиновничество?

Начало его, конечно, утверждено Петром Великим и составляет одну из невольных, но страшных ошибок, главную ошибку великого преобразователя России. Петр застал государство в хаотическом положении. Оно управлялось на татарский манер, на манер восточных пашалыков. Воеводу посылали править провинциею для того, чтоб он покормился, т. е. посылали сбирать подать, предоставляя ему в вознаграждение за эту службу — безнаказанно грабить. Все, что Петр Великий мог встретить в управлении европейских государств, должно было показаться ему более человечным, чем эта татарщина. Он наткнулся на шведскую, даже на австрийскую бюрократию (которая поныне одна из самых худших бюрократий в Европе) и перенес ее на русскую почву. Что же из этого вышло? Вся гадость татарщины и вся гадость немецкого бюрократизма слились в единую гадость,— и Россия явилась опутанною целой прочно-сотканной сетью грабительства. Административная бюрократия поглотила в себя судебную бюрократию, основалось систематическое бессудие, судебная власть или явилась грязною помощницею администрации в ее грабительствах, или сами администраторы сделались судьями. Кто же у нас не судья? Уголовная палата — судья, но рядом с ней и губернатор, и генерал-губернатор, и губернское правление — судья, и III отделение — судья, и всякая следственная комиссия — судья. При этом бессудии дворянство, как орудие управления, слилось с бюрократией; бюрократия, получая право на дворянство посредством чина, слилась с дворянством. Их выгоды общие; дворянство и чиновничество слились в одну организацию грабежа.

Кто же остался в дураках? Правительство и народ. Бюрократическое дворянство — или дворянская бюрократия — грабит равно и правительство и народ и заслоняет их друг от друга. Когда правительство сделает какое-нибудь порядочное распоряжение, чиновничество торопится исказить его в приложении,— и народ ропщет на правительство; когда народ взывает к правительству о спасении, т. е. о правосудии, чиновничество торопится показать правительству, что это бунт,— и правительство наказывает народ. Очевидно, что такой порядок вещей держаться не может и что правительство, из чувства самосохранения, должно изменить его.

Кто у нас судит чиновника? Опять чиновник, такой же чиновник, которого вся выгода в том, чтоб подать руку помощи грабящему собрату.

Для крестьян суда нет и быть не может. Крепостной человек до сих пор не имел ни права, ни возможности жаловаться по суду на помещика. Кто будет судить? чиновник? Но чиновник — дворянин.

Государственный крестьянин может жаловаться на окружного — палате государственных имуществ. Результат ясен: палата становится судьей и подсудимым (Juge et partie) — и мужика секут.

Где бы правительство ни захотело произвести контроль над чиновничеством,— этот контроль будет произведен тем же чиновничеством. Из этого выходит, что неограниченная власть правительства не в руках государя, а в руках чиновничества, которое все — и судья, и исполнитель, и законодатель.

Правительству хочется сказать слово истины; но это слово под пером чиновничества переходит в несчетные стопы бумаги, в которых уже никакой человеческий смысл не добьется толку.

Правительство ищет свежих, т. е. честных, людей для поручения им должностей,— нельзя! Честный человек, побившись на службе, отстает от чиновничества, думая: «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», и зная, что неграбящего чиновника все чиновничество считает за сумасшедшего, если он не опасен для грабителей, или за либерала, если он опасен для грабителей. Свежему человеку нельзя дать места, где бы он мог быть полезен: у него еще чин не по месту. И правительство принуждено

набирать для важных должностей стариков — конечно, чиновных — но закоснелых в рутине, или выживших из ума, и не смеет взять себе в помощники и исполнители свежего человека. Самодержавное правительство не смеет! Вот какова сила табели о рангах и удушливого формализма!

А чиновничество втихомолку смеется над этим формализмом, пользуется им и грабит.

Для того, чтоб видеть все влияние чиновничества на Россию, проследимте за его действиями в одной, любой губернии.

Губернатор получает 5 000 р. сер. жалованья, но ест и пьет на счет купцов губернского города, а сверх того, проживает 15 000 р. сер. с откупщиков, потому что каждый откупщик ежегодно ему платит около 1 500 р. сер., а так как уездов примерно десять, то это выходит 15 000. Зато откупщик имеет полное право разбавлять вино как ему угодно и даже корчемствовать; во всех следственных делах по откупу откуп всегда бывает прав, хотя если дело важно, то ему придется к обычным 1 500 р. приплатить, смотря по важности дела. Тут губернатор входит в дружеские сношения с казенной палатой; они взаимно прикрывают действия друг друга и — или не мешают друг другу брать взятки, или берут вместе. Для обиходных дел с дворян, купцов и мужиков, со всех имеющих нужду до губернатора, взятки берет правитель канцелярии и передает его превосходительству, получив свой пай. В губернском правлении губернатор царствует; все присутствие согласно с его мнением, или он с мнением всех, несмотря на то, что с виду вице-губернатор кажется его заклятым врагом. Губернское правление грабит безнаказанно, и его превосходительство получает свой процент. Чиновники особых поручений грабят на следствиях и делятся с губернатором. Председатель палаты государственных имуществ, подобно вице-губернатору, показывая вид заклятого врага губернатора, грабит с ним заодно. Земская полиция грабит в уездах; городничий и исправник обязаны внести губернатору известную часть своей добычи; это для них единственное средство упрочить за собой место, иначе губернатор всегда имеет предлог и право удалить их от должности. Губернатор не мешает гражданской и уголовной палате брать взятки,

т. е. никогда не доносит министру юстиции о всех ужасах, совершаемых в этих храмах правосудия; зато все дела, которым покровительствует губернатор, все дела, возникающие по отношениям губернского правления, по следствиям, произведенным чиновниками особых поручений, решаются в том смысле, в каком угодно его превосходительству. Раз в год губернатор ездит ревизовать уезды. Тут он шумит необычайно, и все откровенно трепещут. А между тем, все это комедия. Все знают, что губернатор не мешает, а поощряет брать взятки. Если уездный суд постановил какое-нибудь решение не в смысле губернатора и если, несмотря на то, губернатору неловко удалить от должности уездного судью,— губернатор отставляет секретаря суда; а секретарь — это душа уездного суда; через него и судья получает свои средства существования; следственно, уездный суд находится в полном повиновении у губернатора и, пользуясь высоким покровительством его превосходительства, грабит где только может. Прокатясь с шумом и быстротою паровоза по уездам вверенной ему губернии, губернатор возвращается в губернский город продолжать спокойно и безнаказанно поддерживать организованную систему грабежа. Если же он в ком-нибудь из дворян находит честного человека, противуречащего этой системе,— он доносит о нем III отделению как об опасном человеке, либерале, коммунисте и т. п., и правительство начинает преследовать этого человека. Прокурор, поставленный, или, лучше сказать, посаженный, для протеста, т. е. для препятствия неправосудию и злоупотреблению власти, только подписывает — «читал, читал, читал — такой-то», и грабит заодно с остальными. Но не только эти господа, даже представители науки — председатель врачебной управы и лекаря примыкают к шайке грабителей и грабят где только возможно, а при рекрутских наборах неминуемо. Жандармский полковник редко является врагом губернатору и грабит, где может, заодно с губернскими властями и пишет доносы с согласия губернатора, если кому из них нужно утопить человека. Третье отделение по уставу своему предназначено было доносить о взятках и несправедливостях; долгий опыт показывает, что этого назначения оно не исполнило, а только преследовало людей политических партий в государстве, где никаких политических

партий не существует, и этим преследованием мнимых преступлений помогало губернаторам зажимать рот всякому честному человеку. Не знаю, платят ли губернаторы в министерства для поддержания себя на местах, или поддерживаются только подлой услужливостью и низкопоклонством? Общее мнение в России то, что губернаторы платят в министерства. Если министр честный человек, это ничего не доказывает; конечно, министр управляет государством, но министром управляет канцелярия, т. е. чиновничество, т. е. грабеж и формализм. При настоящем порядке вещей министр не может освободиться от этого влияния.

Ныне правительство сокращает делопроизводство; это полумера. Министр внутренних дел сознается в этом в своем циркуляре [2] и ждет блаженного времени, когда чиновники будут проникнуты мыслию, что исполнение их служебного долга состоит *не в посылке бумаг, а в существенном исполнении дел.* Кто же заставит их проникнуться этой мыслию, когда цель всей настоящей системы чиновничества — грабеж. Можно связать человека, посадить в тюрьму, сослать на каторгу, но заставить человека проникнуться мыслию, которой он внутренно враждебен,— нельзя. Такие выражения в циркулярах составляют комизм и роняют циркуляры в общем мнении.

Говорить ли после всего сказанного нами о действиях и влиянии городничих, исправников, становых, гражданской и уголовной палат и уездных судов, казенной палаты и уездных казначейств, винных приставов, и т. д.? Все это вертится в одной системе — грабить все, что ниже их, и платить подать всему, что выше их. Но нельзя не обратить особого внимания на министерство государственных имуществ.

Один из самых умных, благонамеренных и честных министров — граф Киселев создал администрацию, больше всего губящую Россию. Он впал в ту же ошибку, в которую впал Петр Великий, т. е. перенес немецкую бюрократию в народную жизнь и эту жизнь исказил страшно на гибель народу.

Мы уже прежде говорили, каким образом под влиянием Киселевского министерства [3] администрация поглотила общину. Выборные крестьянами старшины, головы, добросовестные и пр. сделались чиновниками.

головы перестали служить общине, а стали служить окружному и помогать ему грабить народ. Окружные ездят сбирать подать в те времена года, когда у мужиков нет денег. Мужики просят отсрочки и платят за нее до 50 копеек серебром с души окружному. Эта история повторяется несколько раз в год. Недоимка растет, народ становится нищим — окружные и головы богатеют. Конечно, окружные отплачиваются в палату государственных имуществ, и чем больше им надо платить выше, тем больше они грабят крестьян. К этому присоединилась изобретенная Киселевым жеребьевая рекрутская система; фальшивые жеребья, взятки с богатых семейных крестьян, совершенное разорение немногодушных семейств, т. е. тройников, двойников, одиноких,— вот результаты этой иностранной системы, заменившей прежнюю очередную, где рекрутство падало на тех, кому было легче вынести это неизбежное зло. На наших глазах один окружной в один набор взял больше десяти тысяч рублей серебром взятки; на наших глазах головы из ничего в один год составляли себе по десяти тысяч рублей серебром капитала.

Все сказанное нами не есть преувеличенная картина. Все это мы видели своими глазами, осязали своими руками, выстрадали своей душою. Положение России вследствие немецкой системы чиновничества — невыносимо. Сердце надрывается, здравый смысл страдает.

Посмотрим также, какую трату денег производит все это чиновничество для правительства и для народа. Возьмем прежде всего одну губернию в десять уездов и определим приблизительно, сколько правительство расходует на жалованье чиновникам в губернии.

а) Административная часть:

Число лиц	Жалованье на одного	Сумма
1 Губернатор	5 500	5 500 р. с.
1 Правитель канцелярии	400	400
Канцелярия губернатора		1 000
2 Чиновника особых поручений . .	300	600
1 Вице-губернатор	1 350	1 350
1 Секретарь губернского правления	375	375
2 Советника губернского правления	750	1 500

Продолжение

Число лиц	Жалованье на одного	Сумма
1 Губернский землемер	575	575
1 Губернский архитектор	475	475
Канцелярия губернского правления		7 000
1 Полицмейстер	450	450
4 Частных пристава	300	1 200
8 Квартальных	200	1 600
Канцелярия полицмейстера		300
1 Жандармский полковник	450	450
1 Жандармский офицер	300	300
Гарнизон		1 730
1 Офицер путей сообщения	450	450
10 Городничих	375	3 750
20 Квартальных	200	4 000
20 Канцелярий		1 000
10 Исправников	300	3 000
20 Дворянских заседателей	200	4 000
20 Крестьянских »	60	1 200
10 Секретарей земского суда	200	2 000
10 Канцелярий земского суда*		3 000
20 Становых	200	4 000
1 Председатель врачебной управы	700	700
1 Оператор	500	500
1 Акушер	500	500
10 Уездных лекарей	300	3 000
Канцелярия и разъезды		3 000
1 Председатель палаты государственных имуществ	1 500	1 500
1 Товарищ председателя	800	800
2 Советника палаты	600	1 200
1 Секретарь	375	375
10 Уездных окружных	375	3 750
Канцелярия палаты		5 000
Канцелярия окружных		1 900
20 Волостных голов	100	2 000
100 Сельских старшин	50	5 000
Разных добросовестных и расходов		3 000
1 Губернский лесничий	300	300
1 Ученый лесничий	300	300
10 Уездных лесничих	200	2 000

* Так называемый нижний земский суд есть и судебное и административное учреждение, подобно животным низшего разряда, которых натуралист причисляет то к плесени, то к полипам.

Продолжение

Число лиц	Жалованье на одного	Сумма
1 Председатель казенной палаты . . .	1 500	1 500
3 Советника	600	1 800
1 Секретарь	375	375
3 Чиновника особых поручений . .	300	900
2 Асессора	400	800
4 Присяжных унтер-офицера	90	360
10 Уездных казначеев	300	3 000
20 Унтер-офицеров	90	1 800
10 Винных приставов	200	2 000
Канцелярия казенной палаты . . .		7 000
1 Губернский почтмейстер	1 500	1 500
Канцелярия		2 000
10 Уездных почтмейстеров	200	2 000
Их канцелярий		1 000

Итого по администрации . . . . 109 265 р. с.

б) Судебная часть:

1 Председатель гражданской палаты	1 500	1 500 р. с.
1 Товарищ	800	800
1 Советник	360	360
4 Заседателя	360	1 440
1 Секретарь	375	375
Канцелярия		10 000
1 Председатель уголовной палаты . .	1 500	1 500
1 Товарищ	800	800
1 Советник	600	600
4 Заседателя	360	1 440
1 Секретарь.	375	375
Канцелярия		7 000
1 Совестный судья	600	600
4 Заседателя	360	1 440
2 Заседателя от поселян	100	200
Канцелярия		390
10 Уездных судей	300	3 000
20 Заседателей от дворян	250	5 000
20 Заседателей от крестьян	60	1 200
10 Секретарей	200	2 000
Канцелярия		7 000
1 Губернский прокурор	675	675
2 Губернских стряпчих	360	720
10 уездных стряпчих	200	2 000
Канцелярия		300

Итого по судебной части . . . . 50 335 р. с.

На освещение, отопление, перестройки казенных домов в губернии не менее	50 000 р. с.

Следственно:

Администрация	109 265 р. с.
Судебная часть	50 335 » »
Содержание строений	50 000 » »
Стоят в одной губернии	209 600 р. с.

Принявши 44 губернии Европейской России, мы получим приблизительную цифру содержания губернского чиновничества около десяти миллионов рублей серебром.

Не меньшую сумму мы должны положить на содержание общих присутственных мест: совета, сената, синода, министерств, кабинета вообще и III отделения в особенности, столичных полиций, особенных генерал-губернаторов, поддержку для всего этого, и, следственно, можем заключить, что законным образом, т. е. жалованьем и поддержкой строений, чиновничество стоит России по меньшей мере двадцать миллионов рублей серебром.

А потом разные следственные и неследственные комиссии, комиссии разных построений и разорений, придворный штат и заштатные чиновники на жалованьи, и проч. и проч.

Наконец прибавим Сибирь и Закавказье, и мы будем очень умерены, если положим цифру содержания чиновничества в тридцать миллионов рублей серебром.

К этому надо присовокупить пенсии, которые все идут повышаясь и в 1857 году, по отчету министра финансов, составляли 9 461 686 р. (против 1845 г. более на 2 182 991 р.) *. Следственно, мы не много ошибемся, положив весь расход на чиновничество в сорок миллионов рублей серебром, что составляет около пятой доли всего государственного дохода, который в 1857 году, по отчету министра, равнялся 226 678 000 р. с. **

Мы очень хорошо знаем, что наш перечень чиновничества не верен; но он неверен не по плюсу, а по минусу, т. е.

* По табели 1860 г. 11 436 556 р., против 1845 г. на 4 157 861 р. более, т. е. в продолжение 15 лет пенсии возрастали ежегодно на 277 190 р.

** Извлечение из всеподданнейшего отчета министра финансов, при вступлении его в управление министерством.

в действительности содержание чиновничества стоит дороже. Но положимте, что оно и составляет только пятую часть государственных доходов, и тогда Россия платит одну пятую долю сборов для того, чтобы остальные четыре пятых были разграблены, не только без пользы, но во вред общественному благосостоянию.

Государственные подати в 1857 году были 48 148 820 руб.; стало, почти вся законная подать, выжимаемая с крестьян (пять шестых), поглощена жалованием и содержанием чиновничества; а с общего государственного дохода чиновничество получает 20%.

В сущности, значение чиновничества не может быть иное, как значение поверенных государства для устройства общественных дел. Какой же торговый дом станет платить своим приказчикам 20% с дохода? А если взять в расчет, что эти приказчики только для того и существуют, чтобы грабить своих доверителей — то безумие всего положения государства поражает своею уродливостью.

По числу чиновников вся сумма не велика; считая не меньше 25 000 чиновников для губернских учреждений и по крайней мере 10 000 министерских, сенатских, жандармских III отделения *, разных комиссий и т. д., всего не меньше 35 000 человек, выходило бы около 1 140 р. на брата. Но при огромных жалованьях сверху, очевидно снизу выйдет такое жалованье, что не на что́ табаку понюхать. Следственно, снизу станут грабить, что́ бог пошлет для пропитания; а сверху — чем больше, тем лучше — для роскоши. Стало, сверх жалованья, народ, все общество станут приплачивать несравненно более, чем самое жалованье.

Канцелярский чиновник, получающий 1 р. 80 к. в месяц, без сомнения, не может быть доволен своим жалованьем. Но этот самый чиновник проживает около 10 р. с. в месяц, следственно, он крадет в месяц около 8 руб. 20 коп., т. е. по крайней мере 500%. Возвышаясь по четырнадцатиградусной лестнице табели о рангах, он крадет соразмерно своему жалованью, т. е. чем более он получает жалованья, тем более он крадет. Но приняв за норму, что чиновничество в России крадет 500% относительно

* III отделение, хотя и носит небесный мундир и саблю, но все же человек не военный, а просто штатский шпион (espion civil).

своего жалованья, выйдет, что оно стоит — не правительству — а государству не 40 миллионов, но, по крайней мере, 200 миллионов рублей серебром, а, вероятно, и более. Следственно, сверх подушных с лишком 150 миллионов, откуда казна, откуда народ возьмет денег для удовлетворения этой бездонной, всепоглощающей бездны? Правительство прибегнет к займам, мужик продаст последнюю коровенку... Разумеется, государство должно разориться!

И все это для того, чтобы судопроизводство равнялось неправосудию, администрация — насилию, и то и другое — организованному грабежу!

Есть из чего платить налоги! Бедный народ!

Есть из чего собирать налоги! Бедное правительство!

Чем же помочь горю?

Во-первых, правительству надо уничтожить чин, чтоб иметь возможность окружить себя порядочными людьми.

Теперь пойдемте далее.

«Ваше государство чрезвычайно счастливо поставлено,— говорил Бентам императору Александру I,— ему не нужно трудиться позабыть римское право» [4].

Да! это очень счастливо. Но чтоб счастье было полное, надо ему потрудиться забыть немецкую бюрократию, и возможность этого счастия в руках правительства.

На сию минуту забудемте же мы сами немецкую бюрократию и попробуемте обратиться к русской народной жизни; таким образом, мы не выйдем из истории в какую-нибудь утопию, а, напротив того, войдем в настоящее русло, по которому может развиваться русская жизнь.

Возьмемте опять русскую крестьянскую общину. Мы не боимся повторений, как бы нас ни обвиняли в них: надо много и часто говорить об одном и том же, чтобы дотолковаться до правды. Вдобавок село — главное основание государства. Итак, возьмемте опять русскую крестьянскую общину и ее несложное и разумное устройство, когда ей не мешает ни барин, ни чиновник.

Старшина и десятские выбираются с общего согласия на миру. Кому они дают отчет в своих действиях, в расходах мирских сумм? Миру. Кто их сменит, если их действия клонятся не к благу общины? Мир. Чего они боятся, поступая несправедливо или корыстно? Позора на миру и отрешения от должности. Как сборщик сбирает подать? Зная, когда у крестьян есть деньги, исподволь, благоразумно,

не притесняя, не оскорбляя. Как судятся крестьяне в своих распрях и тяжбах? Они выбирают себе стариков для третейского суда; этот суд происходит словесно и гласно, т. е. на миру, боится позора и не покривит душою.

Какое значение старшины, или старосты, или головы — назовите как хотите — и других выборных? Они — сельская полиция. Но если эта сельская полиция кого-нибудь обидит или станет с кого взыскивать неправедно,— тот имеет право жаловаться миру и полагается на мирской суд. Если мир (Suffrage universel) ошибся во Франции выбором властителей для всей Франции, то мир всегда ошибется, если заставят выбирать чиновников надо всеми селами в государстве; но он никогда не ошибется в выборе для своего села; тут ему все известно, тут он дома и знает, что делает. Попробуйте забыть существование окружных и палат, исправников и помещиков; дайте общине спокойно выбирать своих сельских начальников и волости — своих волостных, требовать от них отчета на миру и отрешать от должности по мирскому усмотрению, и чтобы ни губернские, ни уездные власти в эти выборы, отчеты и перемены не вмешивались. Пусть сельское управление и сельская полиция будут в самом деле сельские. Ведь этого еще никогда не пробовали, хотя это коренное русское устройство. Результат можно предсказать наверно: крестьяне будут жить спокойно, и недоимки в государственных податях не будет. Сборщики станут вносить ее своевременно в уездные казначейства.

Попробуйте узаконить крестьянам их третейские суды на миру без вмешательства властей, и, наконец, мужик увидит, что и для него существует правосудие. Что такое третейский суд на миру? Это суд, в решение которого обе тяжущиеся стороны верят, потому что выбрали судей с взаимного согласия, суд, который не скрывается в темных путях келейности, а происходит при всех, уважает общественное мнение и находится под страхом у гласности.

Дайте те же права волости, те же права городу, те же права уезду.

Но тут мы приходим к жизни более сложной, чем жизнь малого мира, сельского. Тут начинаются отношения сместные и сословные. Надо заметить, что наши сословия создание совершенно искусственное и мнимое, и что существование их в действительности весьма сомнительно.

Таким образом, мещанство отличается от крестьянства не по правам, а по месту жительства; это городское крестьянство. Купечество, как сословие, держится учреждением гильдий, которые в сущности только выражают подать с капитала, представляющую в государственном бюджете весьма незначительную цифру, и стесняют торговлю в ущерб всему населению и самому правительству. При всяком ином устройстве торговой пошлины в пользу города и государства, купечество как сословие исчезает и торговля сводится на род занятий человека, к какому бы сословию он ни принадлежал; тут сословное различие не имеет смысла. Дворянство до сих пор составляло родовое сословие. С освобождением крестьян и с упразднением казенного чиновничества родовой интерес сделается бесполезным. Весь интерес дворянства перейдет на интерес частных землевладельцев, которые, при доступности покупки земель для каждого, не могут иметь собственно дворянского интереса. Так что естественного сословного различия в России не существует. Действительное различие только по форме землевладения. Местное различие город и село, если отнять присутственные места, равно различию неземледельческого села и земледельческого села; торговые пункты совершенно не зависят от того, называется ли место городом или селом, имеет население пашенную землю или только усадебную, владеет этою землей общинно или подворно: торговые пункты определяются географическим положением, совершенно независимо от того, какое в них хозяйственное устройство: многие помещичьи села, несмотря на крепостное право, составляют торговые центры, между тем как близ лежащие города составляют только административные центры, в торговом и ином отношении жалкие. Остается одно различие по форме землевладения: землевладельцы, соединенные в общину, и частные землевладельцы; юридическое различие родовых сословий сводится на экономическое различие хозяйственного устройства вне общины. Во всяком случае, родовое сословное различие исчезает; различие существует только по роду занятий, образу жизни и т. п., что не представляет никакого юридического различия.

Сохраняя в сложном мире уезда основание выборности управления и суда, установившееся в сельском мире, при отсутствии юридического различия сословий, мы не

можем не придти к началу выборности общей, бессословной. Но так как родовое сословное начало, вопреки складу обстоятельств, в силу предрассудка, вероятно еще на довольно продолжительное время сохранится в букве закона и в мнении людей, то мы необходимо придем к выборности всесословной, т. е. в уезде — к выборности всеми сословиями должностей, касающихся общих уездных интересов, без всякого вмешательства какого-либо сословия во внутренние выборы другого. Так, невозможно допустить вмешательство дворянства в выборы сельские, равно полицейские или судебные, и необходимо допустить депутатов от дворянства, равно как и депутатов от крестьянства, депутатов от всех сословий для выбора уездных должностей. Это единственное средство не поднять сословия друг против друга на ножи, и единственный разумный исход там, где экономическое положение края никак не указывает на юридическое различие сословий.

Начнемте с выборного устройства судов.

Каким образом приложить начало третейского суда к гражданскому процессу в размере вне общинном, в размере уезда, округа (название равнодушно — лишь бы оно обозначало подразделение губернии или области)? Третейский суд так легко прилагаемый в отдельной общине, где люди собрались в маленькую кучку, третейский суд, имея характер временного, на отдельный случай составленного совета, неприложим на пространстве и среди массы населения, где ответчик может отказаться от вызова истца, не выбирать судей и оставаться при своем. Потребность постоянного учреждения, которое давало бы ход иску, становится неизбежною, но постоянное судебное учреждение не исключает возможности третейского суда. В последнее время правительство с особенным покровительством смотрело на учреждение мировых посредников. Пусть же будет выбран всеми сословиями в уезде мировой посредник, который станет принимать исковые прошения и посылать обязательные вызовы ответчикам. Раз делу дан ход — тяжущиеся стороны выберут третейских судей, кого и сколько пожелают в границах высшего и низшего числа, которые решат дело в публичном заседании и в присутствии посредника. Посредник скрепит их решение, независимо от того, согласен он лично или не согласен с ним. Без сомнения, постоянное жалование

мировому посреднику должно быть определено на уездном совещании от всех сословий и войти в общественный сбор. Третейские же судьи получат известную плату с стоимости дела, от проигравшего, или выигравшего, или обоих вместе, смотря по договору тяжущихся сторон. Таким образом третейский суд составит jury * гражданского процесса. В между-уездном процессе суд может быть сместный, в присутствии двух посредников. Мы сохраняем в нашем предположении название третейского, а не присяжного суда, потому что очень сомневаемся в необходимости присяги, которая и у английских присяжных, где формализм ее неминуемо требует, утратила свое мистическое значение, а тем более не имеет его у нас, где слишком полтораста лет всякий чиновник присягал при вступлении на службу и при получении чина — и постоянно лгал.

Законодательство должно очень бережно и положительно определить случаи права апелляции истца или ответчика на неправильное решение третейского суда,— права, подкрепляемого случаем личного несогласия посредника с решением суда. Апелляция должна идти в высшую судебную инстанцию, положимте в Сенат. Но Сенат в настоящей форме сборища из царства теней, управляемых канцелярией,— не может существовать. В благоустроенном государстве его нельзя составлять из неопределенного числа выгнанных губернаторов и заштатных генералов. Число членов высшего апелляционного суда должно быть определено из данных обстоятельств; ограничиться учреждением его в Петербурге и Москве для дел стотысячеверстного государства невозможно. Высший апелляционный суд должен находиться в нескольких округах, составленных из губерний, образующих наиболее естественные группы. Назначить сенаторов может правительство, на известное число лет, из кандидатов, выбранных на губернском съезде депутатами от всех сословий, утверждая одного или двоих от каждой губернии, столько или вдвое человек, сколько губерний в группе **. Их

---

* Присяжных заседателей (англ.).— *Ред.*

** Инамовибельность, бессменность судьи, т. е. назначение судейской должности пожизненно, очень хорошо в Англии, и ставит судью в независимость от правительственных влияний; но оно не совсем идет к стране, где развитие взяточничества так сильно, что

жалование вносится в общий бюджет государства. Их обязанность устроить, из определенных сумм, свою канцелярию и ответствовать за нее. Суд, без сомнения, должен быть словесный и гласный. Для апелляционных дел между смежными группами губерний, отделения Сената могут составить, в известные сроки, суд сместный.

Те же лица составляют и высший апелляционный уголовный суд на тех же основаниях. В чрезвычайных случаях они могут, каждое областное отделение из своей среды, выбрать членов для общего Сенатского Съезда.

Но учреждение уездных уголовных судов представляет более затруднений. Тут третейский суд невозможен, потому что истцом является следователь, а ответчиком преступник. Следователь должен быть назначен от правительства, потому что он представляет государство в роли истца. Согласие между ним и преступником на выбор третейского суда не имеет место. Следственно, судьи должны быть назначены в определенном числе, по жребию, или по очереди, из местных жителей всех сословий, т. е. жителей той местности, где совершилось преступление. Тот же мировой посредник приглашает их по требованию следователя. Они утверждают или отрицают преступление, и мировой посредник или освобождает подсудимого, или прилагает к преступлению статью свода, и передает осужденного в руки исполнительной власти. Это настоящий суд присяжных (с присягой или без присяги, приравняется ли церемониалу присяги простота честного слова — это зависит от общественного мнения). Одно из главных оснований — гласность не только суда, но и самого следствия, т. е. следователь не имеет права производить допрос *без присутствия понятых,* и не имеет права подвергнуть тюремному заключению пойманного или подозреваемого преступника без согласия мирового посредника; если следователь поймал преступника на месте преступления, он обязан представить его мировому посреднику и только с согласия посредника посадить преступника под стражу, или

оно и при новом порядке вещей еще долго будет отзываться в привычках жизни. Здесь бессменность судьи может перейти в безнаказанность судейского произвола. От влияния правительства судья огражден тем, что не правительство имеет право сменить его через известное число лет, а общественное мнение, общество, если он, в продолжение этого времени, обманул его доверие.

отпустить на поруки. Следователь может зависеть только от центрального правительства (министерство внутренних дел), но ни от местных административных или судебных учреждений, ни от губернатора. Подсудимый может выбрать себе защитника (адвоката) перед судом сам, или доверить выбор посреднику, или сам защищаться. Случаи апелляции должны быть ясно определены законом; без сомнения, право апелляции может принадлежать только подсудимому, но ни в каком случае следователю.

Таким образом мы предполагаем две инстанции: <1)> уездную, состоящую из третей в гражданском процессе, или из очередных жителей в уголовном процессе, в присутствии мирового посредника, которого выбор совершенно зависит от местного населения, и 2) — областную инстанцию (сенат), выбор членов которой признан правительством. Правительство назначает в каждый уезд следователя по уголовным преступлениям, который и есть истец в уголовном процессе. Впрочем, большее или меньшее число следователей зависит от местных условий.

Одно еще надо сказать о разных актах, которые теперь совершаются в уездных судах и гражданских палатах, как то: купчих, закладных, условиях, заемных письмах, векселях, сохранных расписках и доверенностях. Конечно, никакому суду нечего их совершать; это дело маклеров, как оно и делается в купеческом сословии. Нотариат необходимо отнять от судов; иначе выходит, что судья скрепляет незаконный акт, да потом сам же его и судит — законен он или нет. Разумеется, он оправдает то, что сам сделал; но в судебном смысле это нелепость.

Теперь перейдем к губернскому управлению.

Опять, выходя из оснований народного сельского управления, мы приходим к выборности старшин и надзирателей за порядком в селе и в волости, к их ответственности перед миром сельским и сместным волостным миром. На тех же основаниях должно существовать городское управление и городская полиция. Те же основания расширим в размере уезда. Уездный исправник, или старшина — назовите как хотите, должен быть выбран сместным миром волостей, города и частных землевладельцев; обязанность его наблюдать за порядком в уезде, за общественными работами, общественными учреждениями, за исполнением общественных постановлений и правитель-

ственных распоряжений, за правильным сбором казенных и общественных податей и т. д. В действиях своих и расходах он обязан, в известные сроки, представлять обществу своего уезда печатный отчет. Он избирается на определенный срок. Вмешиваться в судебное производство и решение он не имеет права; но наблюдает за исполнением приговоров суда и требований мирового посредника.

Правительство для известной группы уездов, составляющих губернию, присылает губернатора, которого обязанность по губернии та же, что уездного старшины по уезду. Но сверх того он есть лицо ответственное перед правительством; он сообщает уездам правительственные распоряжения и наблюдает за их исполнением; он требует их исполнения от выборных уездных, городских, волостных и сельских старшин, отнюдь не входя в их дальнейшие, внутренние распоряжения. Если распоряжения правительства для края оказываются неудобными или неприложимыми, и он сам в этом согласен с губернским съездом, то он, не останавливая исполнения правительственных распоряжений, представляет свои возражения на усмотрение правительства. Если же он согласен с распоряжением правительства, а губернский съезд не согласен, или если правительство не принимает возражений губернатора и губернского съезда, то губернский съезд (совещание членов, избираемых уездами), не останавливая правительственного распоряжения, предлагает свои возражения на решение государственного совета.

Губернатор также истец от правительства перед судом, против уездных старшин за неисполнение его распоряжений, или противузаконные поступки. На незаконные действия губернатора жалобы поступают судебным порядком в областное отделение сената, на незаконные действия уездного старшины жалобы от губернатора или частных лиц поступают судебным порядком к мировому посреднику.

Вмешиваться в судебное производство и решение губернатор не имеет никакого права; но наблюдает за исполнением судебных приговоров и подчиняется им, когда сам истец или ответчик.

Сбор государственных податей поступает от местных выборных сборщиков в уездные конторы губернского казначейства и сосредатачивается в губернском казначей-

стве. Следственно, правительство назначает в губернию казначея, предоставляя ему учреждение уездных контор, за его личною и имущественною ответственностью. Назначение его зависит от министерства финансов. Он отпускает суммы на жалование лицам, назначенным от правительства, и на их канцелярские расходы, проезды и пр., и на все правительственные расходы по губернии сам, или через уездные конторы. Поступление сумм из общественных сборов, раздача жалования лицам, выбранным в общественные должности и отпуск сумм на общественные расходы, могут быть поручены ему губернским съездом, если общество не распорядилось иначе, т. е. еще не имеет своих местных финансовых учреждений; но это отнюдь не обязательно. Отчет о состоянии казначейства, сборов государственных и общественных податей и губернского расхода, печатается ежемесячно, даже еженедельно, в губернских ведомостях.

В губернских ведомостях также печатаются все судебные заседания и действия губернского и уездных управлений.

Содержание школ, больниц, благотворительных заведений и всяких общественных учреждений, наем преподавателей, лекарей, смотрителей, инженеров, архитекторов и т. д.— дело совершенно общественное, а не правительственное. Воскресные школы, желание саратовского края учредить университет, достаточно доказывают сколько есть общественных потребностей для распространения просвещения; опасаться за поддержание существующих учебных заведений и учреждение новых на общественные деньги едва ли нужно. Во всяком случае, учреждению вновь учебных заведений по воле общества правительство не должно препятствовать; но учреждение новых учебных заведений без воли общественной может быть для общества обязательным только по определению государственного совета, а также и закрытие существующего учебного заведения не может иметь место без его согласия. Развитие же преподавания не может быть стесняемо никем и подлежит влиянию само собою образующихся советов преподавателей. Частные учебные заведения не могут быть ни воспрещены, ни руководствуемы. Поэтому министерство просвещения и зависящее от него чиновничество — не имеют места. Без всякого сомнения, там, где

само общество с ревностью примется за учреждение первоначальных, средних и высших школ — там разовьется безвозмездное преподавание на общественные сборы; там, где общество скупо посмотрит на учреждение школ, больниц и т. д.— там разовьются частные предприятия. Опасаться за совершенное неразвитие подобных учреждений нельзя; потребность в них, так или иначе, проложит себе дорогу. Отчеты, как общественных, так и частных учреждений, должны, по закону, подлежать печатной гласности.

Правительство учреждает министерства внутренних дел, финансов, путей сообщения и иностранных дел; назначает министров и предоставляет им устройство их канцелярий и ответственность за них.

Правительство назначает управляющих государственными (но не общественными кредитными) и иными учреждениями.

Правительство учреждает государственный совет, определяя столько членов, сколько губерний, т. е. назначая из каждой губернии для присутствия в Совете по одному человеку, без различия чинов и званий. Государственному совету подлежит рассмотрение и утверждение финансового бюджета, вновь предполагаемых правительством: узаконение дорог и каналов и построек, имеющих государственный интерес; рассмотрение министерских предписаний, встретивших несогласие в губерниях; отмена прежних узаконений и учреждений; рассмотрение частных проектов, имеющих ввиду общую государственную пользу. Государственный совет полагает решение по большинству голосов.

Правительство предоставляет членам государственного совета, областным отделениям сената, министрам, управляющим, казначеям и судебным следователям устройство их канцелярий, определяя для того нужные суммы. Таким образом, исчезнут губернские правления и уродливая масса министерского чиновничества.

С независимостью судебных учреждений исчезнет и министерство юстиции, никогда не помогающее, но всегда мешающее правосудию.

С независимостью преподавания исчезнет министерство просвещения, никогда не помогающее, но всегда мешающее развитию просвещения.

Крестьяне, составляя одно крестьянское сословие, управляются сами на основаниях обычной выборности, но подчиняются в исполнении государственных обязанностей предписаниям губернаторов, за исполнением которых наблюдают уездные старшины. Таким образом, министерства государственных имуществ и уделов и всякие кабинетные министерства совершенно упраздняются.

Итак, правительство назначает членов государственного совета, утверждает членов областных отделений сената, назначает четырех министров, губернаторов по числу губерний и судебных следователей по числу уездов, и их жалование и содержание канцелярий вносит в государственный бюджет.

Остальные местные выборные должности содержатся на местный общественный счет. В этом случае общество, конечно, устроится дешевле и выгоднее, чем правительство с казенным чиновничеством, и правительство, вычеркнув из государственного бюджета и податного сбора суммы, употреблявшиеся на содержание чиновничества, может рассчитывать на новые источники государственных доходов от усиления общественной деятельности и богатства, и может содержать в должном достатке небольшое число людей, необходимых для государственного управления.

Нам могут возразить, что по выборам служат неохотно, что большая часть людей отказывается, потому что служба мешает их домашнему делу. Мы согласны, что теперь неохотно служат по выборам, но это только потому, что избранный в общественную должность становится немедленно слугой начальства, чиновничества. От этого служат по выборам, в хорошем смысле службы, только те исключительные люди, которые из преданности общему делу решаются вытерпеть все неприятности, преследования и даже ссылку, лишь бы принести хоть на волос пользы; а остальные так пошлы, что видят в выборах только удовлетворение маленького тщеславия, или так корыстны, что ищут на этом пути средств нажиться. Большая же часть людей, которые не хотят ни красть, ни сделаться лакеями начальства — отстраняются от выборов. Но отнимите чиновничий произвол и дайте независимость суда — и все порядочные люди, всех сословий,

найдут себе в выборах, в общественной службе честное и полезное гражданское поприще.

Нам еще возразят, что мы ставим только идеалы. Мы этого не думаем; мы думаем, что подобное преобразование чиновничества из казенного в выборное — есть соединительный мост между правительством и государством, и что иначе между ними бездна будет расти, расти, пока судорожно сильный одолеет слабого; а сильный, разумеется, государство, потому что правительство может перемениться, а государство останется. Правительство переменная величина, а государство величина постоянная.

Но положимте, что мы поставили идеалы. Но идеалы составляют всегда цель, без которой невозможно никакое движение. Для человека, который едет из Крутогорска в Петербург, Петербург — идеал; положимте, что он не доедет до Петербурга, а только до Твери, все же лучше, все же он ближе к своему идеалу, чем если б он не двигался с места; все же лучше, чем поставив себе идеалом — Тверь, доехать только до Клина; а двинуться с места, не имея цели, нельзя, или попадешь бог весть куда, куда и не хотелось. Нужда рождает идеалы, и вследствие идеала двигается история.

Вдобавок мы не думаем, чтобы наше предположение было только утопическое, еще потому, что оно идет от действительности, т. е. от существующего народного обычая, и возводит его в размер государственного устройства. Тут нет для народа ничего нового и ничего чужого, следственно, ничего невозможного. Если правительство найдет в себе довольно любви к благу общему и довольно человеческого сознания, чтобы не мешать развитию, то преобразование может совершиться мирно и легко; но если оно станет мешать, то ведь плыть против течения с его стороны будет гораздо большей утопией, чем все наши идеалы.

Но спрашивается: куда же пойдут упраздненные чиновники? Разогнать их не будет ли слишком жестоко?

Еще жесточе оставить их грабить и теснить шестьдесят миллионов жителей.

Когда строилась первая железная дорога, все говорили: «что же будет с ямщиками, которые возили по шоссе?» — Слава богу, ни один из этих ямщиков не умер

с голоду и все нашли работу. То же будет и с упраздненным чиновничеством.

Мы не намеревались писать устав нового устройства; это людям одиноким не по силам. Мы только хотели указать, отправляясь от обычая, путь к устройству, наиболее *народному,* основанному на выборном управлении; оно тем более необходимо, что казенное чиновничество зауправилось до хаотической неурядицы (анархии), и не сегодня — завтра — а все же его упразднение дело неизбежное.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ[1]

Благодарю вас, г. издатель, за сообщение мне статей, присланных вам в «Голоса», и нескольких писем к вам от неизвестных читателей. Я их прочел с большим любопытством; их разноголосные мнения указывают на брожение неустоявшихся мыслей и стремлений. Эта разноголосица меня нисколько не печалит; это брожение меня радует, в нем я вижу пробуждение русского гения после тяжелого тридцатилетнего усыпления. Сравнение состояния России во время прошлого царствования с усыплением очень верно. Это был действительно болезненный сон, и пробуждение совершенно похоже на пробуждение человека после долгого болезненного сна. Первое, что узнает пробуждающийся больной,— это действительность, которая его окружает; он не любит, когда ему напоминают о том, что такое человек в здоровом состоянии, о смысле здоровой жизни, о цели жизни; теоретические предметы его не занимают; он только спешит осмотреться и осязать окружающую среду и спрашивает, когда же он совсем выздоровеет, когда совсем станет на ноги; всякий отвлеченный вопрос его тревожит и пугает, а не возбуждает в нем участия. Действительно, брожение умов в России представляет совершенно образ этого очнувшегося больного. Большая часть пишущих к вам сердятся за то, что в «Полярной звезде» были *статьи*, т. е. одна статья, в которой

преобладает теория [2]; сердятся за то, что автор «С того берега» больше мыслитель, чем делатель; все кричат: «Не того нам надо! покажите нам, как нам выздороветь». Может быть, это требование, как выражение еще патологического состояния, совершенно законно, необходимо, и я ничего не имею против него. Но все эти письма, к вам писанные, приводят меня вот к какому вопросу: какая должна быть цель русской вольной книгопечатни в Лондоне? Какие обязанности лежат на ее хозяине? Что ему надобно делать и как поступать? Вот об этом-то я и хочу поговорить с вами с тою искренностью, которая прилична и вам и мне.

Не хотелось бы вдаться в полемику с статьями «Голосов из России» и с письмами, вам присланными; и места мало, и отвлекает от настоящего дела. Но нельзя без полемики; она уясняет предмет.

Беру первое письмо, т. е. письмо, напечатанное в первой книжке «Голосов». Прежде всего меня поражает следующее. На 21-й странице сказано: «А вы нам говорите, что эти грозные враги не что иное — как догнивающее тело, готовое сделаться нашею добычею...»* А на 33-й странице: «Да! Людовик Наполеон прав... Он прав, потому что обуздал, хотя временно, это племя, столь же неисправимое, как французские аристократы, это племя, выезжающее на звонких фразах и не имеющее ни малейшей доли политического смысла». Позвольте спросить — о чем же этот господин спорит с вами? Вы видите, что это — брожение мысли, где он сам не понимает, что говорит,— он с вами согласен, а спорит. Это именно то волнение больного, который очнулся и не знает, что делать. А так как болезнь, развитая в России «незабвенным», была лакейство, то автор письма требует и поклонения перед Европой, и поклонения перед русским правительством, а сам в сущности ни тому, ни другому не верит. У него только недуг поклонения. Говоря по Галлю [3] — бугор венерации (почтительности) слишком развился во время мозговой болезни николаевского царствования.

Он нападает на вас за то, что вы социалист и вместе с тем, что вы кровавый революционер, не понимая, что можно быть социалистом и иметь гораздо менее жажды

* Где ж вы это говорите?

крови, чем генерал Реад [4]; даже вовсе не иметь ее. Он нападает на вас за то, что вы прудонист, и за то, что вы хотите рушить всякое правительство. Это доказывает только, что он или не читал Прудона, или не понял его. С Прудоном враждуют все партии — и красные республиканцы и коммунисты — потому именно, что Прудон, не веря ни в какое правительство, не враждует ни с каким в особенности, а только требует экономической реформы в общественной жизни. Не угодно ли автору письма прежде хорошенько понять Прудона и изучить его «Manuel du Spéculateur à la Bourse» *, да потом уж и говорить.

Признание вас за кровавого террориста точно так же доказывает, что автор письма или не читал «С того берега», или не понял его. В ваших книгах я добросовестно могу признать вас только патологом, указывающим на болезненное состояние общества. Чего же от вас хотят? Это меня наводит на мысль о популярности, о которой будет речь впереди.

Заметьте, что автор письма действительных ваших промахов и не касается, совершенно как больной, который еще не в состоянии ни читать, ни понимать, а воображает, что он окреп до степени государственного человека, и говорит вам: «Но с какого права имеете вы самонадеянность думать, вы, чуть заметная горсть в человеческом роде, что вы единственные обладатели истины?» — Да с того же права, как и тот, кто пишет к вам письмо,— с права убеждения. Убеждение может быть ложно с обеих сторон, но право высказать его как полное убеждение ни у кого неотъемлемо в стране, где существует свобода книгопечатания. После судить — дело публики. Что же это был бы за человек, который стал бы высказывать вещи, из скромности не считая их за истину? Это был бы лжец или сумасшедший.

Я потому напираю на это напечатанное письмо, что оно нечувствительно сходится с остальными письмами славянофильскими и неславянофильскими, и это-то сходство именно мне и доказывает, что это не русское мнение, а мнение отдельных маленьких кружков, потому что я ни в поклонничестве Западу, ни в поклонничестве русской старине не вижу русского мнения. Русское мнение

* «Справочник игрока на бирже» (фр.).— *Ред.*

вызовется своими данными, независимо от каких бы то ни было наперед созданных идеек.

Из сравнения с последующими письмами я вижу только, что все пишущие к вам письма, славянофилы и неславянофилы, требуют от вас совершенного доверия к новому правительству. Так вот они на чем сошлись! Но пусть правительство заслужит такое доверие. Я не вижу причин ни к недоверию, потому что мы не знаем, чего хочет правительство, ни причин к вере, также потому, что мы не знаем, чего хочет правительство.

Из ваших сочинений можно заключить (если их читаешь с вниманием и пониманием), что вы не кровавый революционер, а что последние годы вас выучили не верить революциям, по крайней мере политическим революциям, которые ставят короля-банкира на место короля-барина, императора-плута на место короля-банкира; но что в сущности эти революции не составляют реформы, перемены, что перемена лежит в экономических данных государства, какое бы правительство ни было, и что вы готовы ужиться со всяким правительством, лишь бы оно стояло на высоте экономических изменений в государстве. Дело не в перемене правительства, а в перемене, которая улучшила бы положение людей. Вот в чем ваш так называемый социализм, с которым всякое разумное правительство, которое не хочет погибнуть, должно быть заодно. А в письмах — иные упрекают вас за недостаточное поклонение правительству, другие — за недостаточное поклонение Западу, особенно те, которые — по незнанию и жажде поклонения — считают Пальмерстонов и Бруков [5] за великих людей.

Я помню, как-то раз, беседуя с одним русским приятелем [6] о Карлэйле [7], я сказал, что такая фраза, как например: «Всякая глубокая истина есть мелодия»,— просто фраза и никогда не дойдет до степени понятия. Мой приятель с совершенно испанской запальчивостью отвечал: «А какое дело Карлэйлю до того, что о нем думает какой-нибудь г. Р. Ч...?» Итак, оттого, что Карлэйль знаменитый английский писатель, то русский человек да не дерзает иметь о нем неблагоприятное мнение! Вот это-то и страшно, что нам трудно сделаться людьми, свободными от того, что в нас есть потребность раболепия. Есть английский министр Пальмерстон — о! великий человек!

Поклоняйтесь! Есть знаменитый писатель Карлэйль — поклоняйтесь!

А знаете ли, какой положительный вред может выйти из того, что мы поклоняемся правительству с теми же уловками раба, как мы поклоняемся Западу или русской старине? Наша лакейская оппозиция введет правительство в совершенное заблуждение, потому что из-за прикрас лакейского языка она никогда не выскажет ясно — чего она хочет от правительства, что ему надо делать. И правительство, вместо того чтоб окрепнуть и стать во главе развития самостоятельных людей, будет продолжать вкривь и вкось распоряжаться холопами, что будет истинное унижение и для России и для правительства.

Отчего у нас секут мужиков? — Оттого, что они хотят, чтоб их секли. Отчего в России нет свободного голоса? — Оттого, что мы еще любим быть холопами. Твердите, твердите, г. издатель, не пугаясь пишущих к вам письма, и не уставайте твердить, не боясь повторений, что нам пора перестать быть холопами и что пора правительству понять, что́ значит правительство, и перестать быть не правительством, а каким-то богдыханом.

Иные вас хвалят за то, что вы уважаете русскую общину, другие вас укоряют за то, что вы ее уважаете. Сельская община есть факт в сильном русском государстве, и есть глубокое различие между ней и общиной в отживших индейских и неживших киргизских племенах; я разовью эту тему впоследствии. Мне странно, что серьезные люди не хотят обратить внимания на то, что Европа гибнет не от революций и не от Наполеонидов, а от частного землевладения и что общинное землевладение способно к иному развитию. Я это постараюсь доказать в особой статье, со всем уважением категории меры. Но мне еще страннее те люди, которые даже не видят ясно в общине иных экономических начал, а только любят ее небывалую древность. Если в первых есть какая-то с чужи навеянная остановленность, то в последних чуется преднамеренно развитое непонимание. Но пусть себе спорят; это все-таки хорошо. Только жаль, что они свели спор на почву допотопных веков Гостомысла [8], а не на почву живых экономических отношений сословий. Оно интересно, но бесплодно. Спор о живой русской общине не так легко разрешается, чтоб стоило кому-нибудь сказать: «Что-де вы

нашли в русской общине?» — и дело с концом, и община осуждена на смерть. Нет! надо привести за и против действительные, фактические, из жизни народа, а не фантастически — из сравнения с китайцами — взятые доводы, и тогда публика и история рассудят, кто прав, кто виноват. Во всяком случае, полемика о живых, современных интересах, о современном значении и положении сельской общины должна явиться в ваших изданиях и принесть более пользы, чем спор о том, в каком веке община учредилась. Всегда полезнее хорошенько рассмотреть человека, который перед вами стоит, чем бегать как угорелый справляться в метриках, какого года, месяца и числа он родился, хотя последнее, может быть, и любопытно.

Нападают на вас за напечатание статьи о том, «Что такое государство?» Большой беды в этой статье я не вижу. Она мила и остроумна; всякий сборник поместил бы ее с удовольствием. Правда, она основана на игре слов [9]: большинство народонаселения может сказать, что меньшинство составило против него заговор; меньшинство может сказать, что большинство составило против него заговор; дело в том, что, пожалуй, можно назвать историческую борьбу партий заговором одной против другой, но ведь это — слова, слова и слова! Об этом я не спорю с вашими оппонентами, но статья остроумна и благородна; поместить ее греха не было.

Говорят, что она смутит русское правительство, помешает вашим изданиям проникать в Россию, запугает публику своим анархизмом и отвратит от вашего станка? Нет, это неправда. Никого она не испугает, не отвратит, ничему не помешает; она просто прочтется, без пользы, но с удовольствием. Факты оправдывают мое мнение.

Но в разных мелких статьях, г. издатель, вы действительно сделали промах, хотя в них вас всего менее укоряют, сосредоточив все укоры над призраком статьи о том, «Что такое государство?» Действительно, в России никто, даже сами мужики не жаждут бунта; а жаждут перемен и потому требуют, чтобы правительство действовало. За бунт мужики примутся только тогда, когда будет ясно, что правительство не хочет никаких перемен. А это быть не может, потому что если бы правительство отказалось от перемен в отношениях сословий и в управлении государством, то оно погибло бы не только от бунта,

а само собою от чиновничьей и экономической *анархии* (по-русски — *беспорядки,* т. е. воровство и насилия и [10] ложных хозяйственных оснований; перевожу слово *анархия,* потому что один из пишущих к вам жаждет неупотребления иностранных слов).

Вы извиняетесь тем, что не вы писали статьи, что вы не цензор, что вы печатаете все, лишь бы оно не было в подлом направлении. Это напрасно! Ваш станок не принадлежит к разряду тех станков, которые равнодушно печатают объявление о пропадшей собачке и указ правительствующего сената. Ваш станок есть выражение известного направления, известных требований. Ваш станок имеет свой цвет как журнал, как книга, и вы, как издатель, не можете принимать в свое издание всякой всячины. Всякий издатель есть цензор, потому что всякая книга должна иметь единство. Вы ошиблись, и я уверен, что вы благородно сознаетесь в этом. Нападать на вас за ошибку, тогда как вы открываете дорогу свободному русскому слову, нападать так, как нападают некоторые из пишущих к вам письма,— им же стыдно. Станьте выше этого и не оскорбляйтесь, помните, что выздоравливающий еще не есть здоровый.

В нападках на статью о том, «Что такое государство?» слышится ненависть к теории, та ненависть очнувшегося больного, о которой я уже говорил... А между тем в русской литературе еще господствует раболепие перед немецкими теориями. Даже славянофилы пишут по-русски немецким языком. Это все признак брожения. Вас укоряют в пристрастии к философии XVIII столетия. Да читали ли они философию XVIII столетия? Читали ли они Юма и Гольбаха? Ведь это философия действительности, философия положительных фактов, а не фантастического умозрения. В философии XVIII столетия найдутся истины, повторенные и Гегелем; но немецкая школа взглянула на нее с презрением за то, что она говорила человеческим, общедоступным языком, а не мудреным языком, понятным только для адептов (Nur einer hat mich verstanden und der hat mich missverstanden) *. Вот мы, с свойственным нам раболепием отыскав в немецкой метафизике презрение

* Лишь один человек меня понял, да и тот понял превратно (нем.).— *Ред.*

к философии XVIII столетия,— и ну поклоняться немецкой метафизике и презирать философию XVIII столетия. А между тем философия XVIII столетия, наследница Бакона, произвела, с одной стороны, естествознание, с другой — политическую экономию, т. е. социальную науку. Нет! я бы посоветывал пишущему к вам господину прежде поизучить философию XVIII столетия, да потом уже и говорить о ней, потому что вообще нехорошо говорить о вещах, которых не знаешь, а говорить с пренебрежением о умственной деятельности, из которой развилась современная наука, даже дурно и вредно. Если бы у вас и было пристрастие к философии XVIII столетия,— как же вас укорять в нем людям, требующим положительного взгляда на вещи? Вы видите, что тут господствует хаотическое состояние очнувшегося больного. Нет, г. издатель, не бойтесь теории, не бойтесь высказывать ваши теоретические убеждения. Теория — формула действительности и так же нужна для жизни людей, как и практика.

Это меня приводит к вопросу о популярности. Ни ваше мнение о себе, ни мнение о вас к вам пишущих, которые, как и вы, горсть человеческого мяса, не доказывают, что ваши издания популярны или не популярны. Это впоследствии докажет суд публики. Я с своей стороны уверен, что вы не гоняетесь за популярностью, а стремитесь по всем отраслям человеческого ведения и действия высказывать и печатать то, что считаете истинным. Идите по этому пути и не заботьтесь о последствиях.

Теперь мы подошли к главному вопросу: что же именно полезно печатать?

Конечно, не статьи в духе присланной вам для «Голосов» и которая начинается так: «Горестное событие совершилось 18 февраля 1855 г. Россия лишилась *великого государя,* а Европа и мир *великого человека...»* И все это для того, чтобы привести в сознание правительству кой-какие жиденькие дипломатические соображения и весьма неопределенные государственные понятия. Да я, наконец, спрашиваю: если правительство благонамеренно, не лучше ли ему понравится просто и благородно изложенная критика его действий, как бы беспощадна она ни была, чем эта полуоппозиция, где так и чувствуется, что лакей говорит барину: «Да вы, батюшка барин, всегда говорите, думаете и делаете справедливо, только вот тут-то и тут-то

не совсем так».— Если правительство благонамеренно, т. е. стоит во главе русского развития, то оно благородно, и, следственно, критика прямого человека скорее найдет к нему доступ, чем детски-холопская оппозиция подвластного чиновника. Если же правительство не стоит на такой высоте, то тем лучше, что критика беспощадна: по крайней мере она будет иметь благородное влияние на публику и отучит ее от холопства, к которому ее тридцать лет приучали.

Итак, пишите прямо (без площадного ругательства, конечно, что было бы недостойно русской вольной книгопечатни), следите шаг за шаг за действиями правительства, разбирайте беспощадно что дурно, открывайте России ее раны, которых она не замечает, и указывайте на те, которые она сознает, возбуждайте и правительство и народ к исканию средств излечить их, помогайте выздоравливающему сделаться здоровым и не отрекайтесь от права свободно высказывать свои теоретические убеждения, потому что это право составляет высшее достоинство человека и никогда не может вредно действовать на общество.

Теперь обращаюсь к русским, требующим от вас обличения всего вредного в России, обличения, основанного на фактах: отчего же они присылают в «Голоса» так мало фактов и так много голословных статей *, которые могут только ненужно и бесплодно обременить ваш типографский станок. Пусть же они стараются присылать обличения, основанные на фактах, пусть присылают, чем больше, тем лучше. Путь открыт: есть *Колокол*. Звоните, соотечественники, звоните безустали, пока дозвонитесь до безобидного гражданского устройства.

За сим крепко жму вам руку, г. издатель, и горячо желаю, чтобы ваши издания принесли пользу отечеству.

Ваш неизменный сотрудник,

Р. Ч.

---

* Конечно, я не говорю о статьях вроде: «Государственное крепостное право», «Об аристократии», «О полковых командирах» и т. п., которые заслуживают истинного уважения [11].

РАЗБОР КНИГИ КОРФА[1]

Давно ни одна книга не производила на нас такого скорбного впечатления, как книга статс-секретаря барона Корфа *, тем более, что она напечатана по высочайшему повелению[2]. Смех, с которым бы мы встретили подобное сочинение, если б какой-нибудь автор напечатал его самодуром, смолкает перед этими словами «по высочайшему повелению» и уступает место чувству искренней и тяжелой горести. Как? Правительство, от которого мы ждали улучшений, новых узаконений, понимания России и ее требований,— это правительство разрешает, приказывает печатание книги, которая есть выражение изумительной бездарности и отвратительного раболепия. Для этого приговора нам не приходится придумывать доказательств; мы проследим шаг за шагом сочинение барона Корфа[3]; оно само о себе невольно выскажет те горькие истины, которые мы могли бы сказать о нем. Император Николай знал, что делает, когда «отклонил мысль огласить это описание во всеобщее сведение» не потому, что «истинному величию сопутствует скромность», а потому, что в наше время уже

---

* «Третье издание *(первое для публики)»*. Как будто можно назвать изданием то, что не издано для публики! Что держится в секрете — не есть издание. К чему же эта неуместная выходка поставить на заглавном листе: третье издание? Что это — неуважение к публике, или непонимание слов?

нельзя печатать подобных книг; в наше время, во-первых, придворная манера выражаться смешна, а, во-вторых, от книги требуется, чтоб она была написана с знанием языка и с смыслом человеческим. Сочинение барона Корфа содержит именно все те условия, по которым нельзя было его напечатать. Автор полагает побудительной причиной для его издания следующее: «Император Николай не нуждается в хвалебных возгласах; но для истории нужны истина и доблестные примеры. Эта цель примирит великую тень с нарушением тайны ее скромности!» Сказано витиевато и даже с знаком восклицания на конце, а цель далеко не достигнута, хотя настоящее издание и дополнено *«двумя или тремя чертами* из записок покойного генерал-адъютанта А. Х. Бенкендорфа и еще некоторыми другими подробностями».

В предисловии к первому изданию (которое не есть издание, а семейная тайна) автор находит еще побудительною причиною для напечатания своего сочинения то, что «достопамятные события, которыми ознаменовался *период времени* от получения известия о кончине *блаженныя памяти* Императора Александра I до истечения дня 14 Декабря 1825 года, не имеют до сих пор полного и удовлетворительного описания». Такие выражения, как *«блаженныя памяти»,* не употребляются между порядочными людьми; они водятся только у приживалок, у старых дворецких, у недоучившихся Демосфенов-семинаристов *; а в исторической книге подобные выражения смешны. Тон исторической книги несовместен с тоном бурсы и затхлых передних.

Далее автор замечает, что «русские писатели ограничены условиями, сколько необходимой, столько же и благодетельной в общественном нашем устройстве, цензуры». В этом случае мы не можем согласиться с мнением достопочтенного статс-секретаря; мы полагаем, что цензура в нашем общественном устройстве считается необходимою

* Император Николай, осматривая какой-то полк, подошел к фланговому и спросил его, за какое дело он получил крест. Фланговый был из семинаристов, попавших в солдаты за пьянство, и красноречиво отвечал: «Под победоносными орлами вашего императорского величества».— Николай отвернулся с негодованием и пошел далее недовольный. Генерал, шедший за Николаем, подошел к красноречивому фланговому и, поднося ему кулак под нос, вполголоса, задыхаясь от бешенства, сказал: «В грррob заколочу Демосфена» [4].

только теми, которым не хочется, чтобы голос правды доходил до государя, и благодетельна только для сочинителей книг, не выдерживающих критики.

Автор продолжает: «...*притом* в событиях политических, частные лица знают, *большею частию,* только внешнюю сторону — одни признаки, или видимое проявление предметов, так сказать, только *свое,* тогда как в делах сего рода главный интерес сосредоточивается *часто* на тайных их причинах и на совокупности всех сведений в общей связи». Что это за бессмыслица! Частные лица большею частью знают только *видимое проявление предметов,* так сказать, *свое.* Что такое *проявление предметов?* Да еще не простое, а *видимое,* как будто есть невидимое проявление чего-нибудь? Можно сказать: проявление чего-нибудь невидимого — пожалуй! если это доставляет кому-нибудь удовольствие; а *видимое проявление предметов* — да тут нет смысла человеческого! И это *видимое проявление предметов* для частных лиц — свое!

Желали бы мы знать, что̀ автор думал при этом, каким ненормальным путем действует его мозг... В жалкие руки попалась история Николая!

Неужели автор думает, что выражения вроде следующих: «воспоминания государя великого князя Михаила Павловича, *положенные* на бумагу», или: «великая княгиня *изъяснилась»,* или: «государь *благоизволил* позвать *перед Себя»* — придают возвышенность слогу? Или он думает такими средствами прибавить что-нибудь к важности царского сана? Напрасно! Это только выражения, напоминающие, как лакеи говорят про барина или барыню *они* вместо *он* или *она.* Это выражения пошлые. Мы никогда не поверим, чтоб император Александр II желал, чтобы с ним — и про него или про августейшее семейство — говорили языком, лишенным простоты, здравого смысла и чувства человеческого достоинства; поэтому-то нас так горестно удивляет высочайшее одобрение книге, от которой веет запахом прихожей.

Но на первый раз довольно о слоге; приступим к делу.

Нельзя было пошлее выставить лицо императора Александра I, лицо без сомнения поэтическое, как то сделал барон Корф.— «*Умиритель* (!) Европы, утомленный славою величия, разочарованный в мечтах о благодарности и привязанности человеческой, сосредоточился более

в самом себе и от помыслов земных воспарил к небесным». Что за пошло-напыщенная фраза для того, чтоб изобразить мучительный переход к мистицизму человека с искренне-либеральным направлением, который, несмотря на всю самодержавную власть, не может осуществить своих намерений, встречает препятствия, которые ломают его силу, наводят уныние; он страдает, ему надобен исход, и он впадает в мистицизм со всеми его несчастными последствиями бездействия и неприлагаемости к практической жизни. В этом образе человека, изнывающего от внутренних вопросов и внутреннего страдания, в борьбе с обществом, враждебным его идеалам гражданственности, есть поэтический колорит, поэтическое величие. И это высокотрагическое положение барон Корф умел свести на избитую, риторическую фразу о *разочаровании* в благодарности человеческой, *воспарении* к небесным помыслам — фразу, которая годится только для героя дюжинного романа. Жизнь Александра I, несмотря на всю славу двенадцатого года, прошла скорбно. Еще юношей он желал бы отречься от престолонаследия. «Это намерение,— говорит барон Корф,— было ли тогда следствием *минутного раздражения* или плодом романической настроенности, свойственной молодым летам...» Счастливо для памяти Александра I, что его письмо к Кочубею[5] помещено целиком в книге Корфа. Как же господин штатс-секретарь не понял из этого письма, что желание отречься от престола не было у Александра ни минутным раздражением, ни глупой романической настроенностью? Перед ним стояла фаланга екатерининских временщиков, развратных грабителей; вслед за ними шли любимцы Павла I, те же типы, но уже утратившие даже внешний лоск образованности. Наследуя престол, Александр должен был наследовать и этих людей; иерархия чина навязывала их ему в советники, в исполнители его намерений. Не минутное раздражение, не романическая настроенность влекли его удалиться, а живое отвращение благородного человека от среды грубой и бесчестной, в которую он, вступая на престол, должен был войти роковым образом. «Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя лакеями,— пишет Александр,— в наших делах господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, все части

управляются дурно...» А барон Корф видит в намерении Александра минутное раздражение или романическую настроенность! Но, впрочем, не мудрено, что барону и те люди и тот порядок вещей не кажутся так отвратительны, как они казались Александру I. Такой же порядок вещей прошлое царствование оставило на долю Александра II. Барон Корф вырос, сделался штатс-секретарем в этом порядке вещей и привык к нему.

Александр I сломился в этом порядке вещей и, ударившись, с одной стороны, в мистицизм, с другой стороны, подпал под влияние тех же людей, и во главе управления явился Аракчеев. Но стремление к лучшему порядку, к действительному гражданскому устройству жило не в одной трагической личности Александра I; оно жило и в обществе. В то самое время, когда Аракчеевы тянули государя назад по ложному пути реакции и ввергали, более и более, государство в тот порядок вещей, который был ненавистен государю,— в то самое время потребности лучшего гражданского устройства росли в обществе и готовилось 14-е Декабря. С глубоким прискорбием, со страхом и трепетом смотрим мы теперь на императора Александра II. Опять личность, исполненная благородства и гуманности, и опять окруженная *оными* людьми и *оным* порядком вещей. Если и его втянуть в ложный путь обратного шествия и вражды с образованностью, если и он подпадет под влияние людей, даровитостью и искренностью подобных автору разбираемой нами книги,— что же будет с Россией? Теперь не времена 14 Декабря, где потребность лучшего гражданского устройства чувствовалась только в высших слоях общества; теперь масса народная жаждет освобождения от помещичьей власти и власти казенных грабителей. Если правительство станет во главе народных потребностей, развитие России совершится спокойно и стройно; если правительство пойдет по пути обратного шествия, или внесет в жгучие вопросы медленность и нерешительность — реки крови польются. Положим, Россия слишком живуча и не погибнет, а добьется своего; но кто же будет виноват в ненужно пролитой крови и в судорожных страданиях России? Конечно, все тот же порядок вещей, все те же люди, которых Александр I не хотел иметь лакеями. Мы смело указываем на них как на врагов отечества.

«Было лето 1819 года». Наконец, начинается рассказ о престолонаследии. Замечательно, что во всем повествовании барона Корфа господствует пристрастие к подробностям, совершенно неинтересным и равнодушным для истории. Если великий князь командует бригадою, барон не забудет сказать, что она состояла из егерского и Измайловского полка, не забудет сказать, каким плечом вперед шел батальон — левым или правым и т. п. Все эти подробности могут быть интересны для фельдфебелей того времени, а для публики они не только равнодушны, но смешны.

Итак, летом 1819 года император Александр объявил великому князю Николаю Павловичу, что цесаревич Константин отказывается от престола и что наследником престола суждено быть ему — Николаю. Мы охотно верим, что Николай сначала испугался этой мысли. Задача нелегкая. У нас же все члены царской фамилии обычно готовятся не в государственные люди, а в генералы. Военная специальность поглощает их воспитание, несмотря на то, что здравый смысл подсказывает, что война бывает редко, как явление исключительное, а мирное время — обычное состояние народа; что военное ремесло проще гражданского устройства; что генералы всегда найдутся, лишь бы военные школы были хороши, а что цари должны готовиться не для специальности командования бригадой, а для ясного понимания государственных вопросов, вопросов гражданских, вопросов внутренней жизни народа и ее развития. Да! Мы охотно верим, что великий князь Николай Павлович со страхом смотрел на свою трудную будущность; мы в этом не видим ничего особенно хорошего и ничего дурного; этот страх был просто естествен. Но барон Корф, все желая возвысить личность Николая, пускается в объяснения, откуда могла произойти робость перед царской должностью. «До 1818 года,— говорит Корф,— Он (Николай) не имел даже никаких служебных занятий, и все его знакомство со светом ограничивалось впечатлениями, которые уносил он в душе, проводя каждое утро, по часу и более, в *дворцовых передних* или в секретарской комнате, посреди шумного собрания военных и других лиц, которые имели доступ к государю и, до приема, развлекали себя большею частию шутками и насмешками, иногда и интригами». Зачем же ездил Николай

на такие нечестивые сборища в дворцовые передни? Обращаемся к беспристрастному суду читателей: мог ли злейший враг сказать что-нибудь хуже об императоре Николае? Вот куда раболепие заводит автора! «Разговор кончился. Государь уехал. Но молодая чета чувствовала то же самое, что мог бы ощущать человек, который идет спокойно по ровной дороге, в прекрасной местности, между цветов, если бы вдруг у него под ногами открылась страшная пропасть и его увлекало бы туда неодолимою силою, так что он не мог бы ни отступить, ни воротиться». За сим подстрочное примечание: «Сравнение это заимствовано в точности из собственноручной записки в *бозе почившего* (!) императора Николая I. То же самое было наблюдаемо везде, где изображаются личные чувства и впечатления Его Величества». Положим, что сравнение императора Николая пропитано высокопоэтическим достоинством; но что такое «то же было наблюдаемо везде, где изображаются личные чувства и впечатления его величества»? Что то же? Сравнение, или ровная дорога, или прекрасная местность, или цветы, или неодолимая сила, или все эти вещи вместе? Что, наконец, то же? К чему оно относится? Хоть бы кто-нибудь сказал барону Корфу, что нельзя начинать писать, не имея понятия о грамматикальном смысле.

Цесаревич уже видел в великом князе Николае Павловиче будущего императора и принимал его в Варшаве с почестями, приводившими его в замешательство. «Великий князь всеми мерами старался от них уклониться и просил освободить его от такого почета, который принимал иногда даже вид насмешливости; старший брат отговаривался шуткою: «Это все оттого, что ты царь Мирликийский!» Прозвище это он с тех пор стал обыкновенно употреблять при именовании Николая Павловича» *. Ну как же барону Корфу было не скрыть этого обстоятельства? Ведь это дает повод к неистощимому смеху; теперь это прозвище в потомстве останется за императором Николаем. Вот результаты книг, писанных бездарными льстецами.

---

* Стр. 14 и 15. В подстрочном примечании объяснено, что это прозвище происходит от святого угодника Николая, чудотворца Мирликийского (от города Мир в Ликии).

Чтоб положить *официальную* основу делу, цесаревич пишет к Александру письмо (14 января 1822 г.), в котором просит избавить его от престолонаследства. Проект этого письма собственноручно поправлен Александром; но как ни старался умный государь поправить письмо, оно все же осталось документом неимоверного неумения писать. Барон Корф поместил все поправки Александра как будто нарочно, чтобы показать, что без поправок письмо уже из рук вон как плохо. Хотел ли барон выказать этим свое беспристрастие историка или унизить цесаревича в глазах потомства, чтобы легче можно было возвысить Николая,— мы не знаем... Барон не один раз употребляет этот способ унижения одной личности из членов царского дома в пользу другой, и всегда унижение мертвых в пользу живых.

Зачем отречение Константина оставалось тайною, зачем акт о престолонаследии не был обнародован,— этого барон Корф не может понять; оно и не легко понять. Действительно, мистицизм приводит к бездействию; упование на силы небесные мешает приводить в порядок дела земные. Жаль, что барон Корф ничего не разведал о разговоре Александра с схимником Алексием. Такой разговор в то время, когда усталь и мистицизм приводили самого Александра к прежней мысли отречься от престола,— такой разговор мог бы ярко выставить характер Александра и объяснить его действия. Но положимте, что Александр, вследствие мистического настроения, хотел, пока жив, облечь тайной престолонаследие; положимте, что тайна нравилась его фантазии или что он сам внутренне не мог решиться, кому лучше оставить престол; но как объяснить междуцарствие, в котором Константин и Николай присягают друг другу и играют в Россию, как в мячик? Для цесаревича еще было естественно присягать Николаю: он давно свыкся с мыслию, что не он будет царствовать. Но как мог Николай, знавший акт престолонаследия и отвращение старшего брата от царского сана,— как мог Николай две недели разыгрывать комедию, которая должна была повергнуть в смуты все государство? Барон, как следует царедворцу, видит в этом великодушие Николая и даже его нежелание наследовать престола; но это великодушие и бескорыстие было бы весьма похвально в деле частной собственности, но в

отношении к России — это было преступление, потому что вызывало толки и междоусобие, потому что Россия не удельная отчина. Из самой книги барона Корфа в присяге Николая Константину легко усмотреть, сквозь желание сохранить приличие,— тайную радость обладания престолом. Если б Николай думал, что он идет служить России, а не просто вводится во владение поместьем, если б он не имел в виду скрыть тайную радость обладания престолом,— конечно, он не стал бы заботиться о приличиях и не пожертвовал бы спокойствием государства желанию казаться бескорыстным.

Мудрено предположить, чтобы Николай ничего не знал о существовании манифеста, возводящего его на престол. Из слов Александра он знал, что он наследник; императрица Мария Федоровна, как бы *вскользь* ни говорила ему об акте отречения цесаревича в его пользу,— но все же говорила. О манифесте знали Филарет, Аракчеев, Голицын и еще одно лицо [6]. Филарет, как умный человек, противясь хранению всего дела в тайне, настоял на том, чтобы, кроме собора, манифест был еще храним в совете, синоде и сенате. В публике говорили о присланном акте в эти три присутственные места, хотя и плохо знали его содержание и терялись в соображениях. Неужели только один Николай не знал о присылке акта и не догадывался о его содержании, между тем как ему очень легко было догадаться? Конечно, Николай не мог думать, как барон Корф, что Александр потому медлил составлением манифеста и хотел держать его в тайне, что боялся, чтоб и Николай, подобно Константину, не отказался от престола; такое предположение должно было бы побудить Александра поспешить составлением манифеста, обязать актом Николая принять престолонаследие, чтобы престол не оставался праздным. Но ни Александр не думал, что Николай откажется, ни Николай не думал отказываться от престола. Если б Николай хотел отказаться, он имел время отказаться и после разговора с Александром, и после приема, сделанного ему цесаревичем в Варшаве, и после разговоров с матерью. Он знал, что Константин отрекся, он знал, что он наследник престола; как же ему было не догадываться, что́ за акт хранится в соборе, совете, синоде и сенате, акт, на пакете которого написано Александром: распечатать в случае моей смерти?

Мы нисколько не сомневаемся, что скорбь Николая об утрате старшего и любимого им брата была глубока и истинна, что его «оставили последние силы, когда Милорадович [7] объявил ему о кончине Александра, что он упал на стул и в ризнице безмолвно простерся на землю»; но при этой душевной тревоге зачем же была такая поспешность присягать Константину, если не было желания отклонить всякое подозрение в публике о том, что сделаться царем России приятно для сердца? Ложная мысль повлекла за собою все бедственные последствия. Если бы Николай подумал, что публика нисколько не обвинит его за желание царствовать, что она даже сочтет это желание благородным, если он имел в виду благо России, то он никогда бы не решился присягать Константину, зная, что Константин отрекся. Он сам говорит Голицыну, что присягой хотел «уничтожить самую тень сомнения в чистоте своих намерений». Ради этой ложной мысли, ради этого наружного рыцарства Николай забыл, что дело шло не о чистоте чьих бы то ни было намерений, а о спокойствии государства. Голицын был совершенно прав, укоряя Николая в принесении присяги и расставаясь с ним холодно. Голицын был совершенно прав, не видя, подобно барону Корфу, в этих присяганиях «величественного эпизода, пример борьбы неслыханной» из-за того, кому не царствовать. Если бы можно было предположить, что Николай вовсе не знал отречения Константина, его присяга была бы естественна; но этого предположить нельзя. Сам барон Корф мешает не только этому предположению, но даже и тому предположению, что Николай не знал о существовании манифеста; барону, не знаю ради чего, хочется доказать последнее, а между тем сам же он на 57-й странице своей книги выписывает из журнала Государственного совета следующее: «Его высочество (т. е. великий князь Николай) изволил всему Государственному совету сам изустно подтвердить... что бумаги, ныне читанные в Государственном совете (т. е. манифест о престолонаследии), его высочеству давно известны...» После этого какое же может оставаться сомнение в том, что Николай не только мог догадываться, но совершенно знал, в чем дело? Зная, в чем дело, зачем он присягал Константину? Конечно, все из той же ложной мысли наружного рыцарства. Ему хочется показать, что

несмотря ни на какой манифест, если цесаревичу угодно, то он не мешает и становится в ряды верноподданных. Но ведь из всего предыдущего он наверно знает, что цесаревичу не угодно царствовать и что все же он, Николай, взойдет на престол. К чему же вся эта комедия, трубящая тревогу по всему государству? Наконец, если уж так важно было придать своему поступку лоск рыцарства, Николай мог прежде всякой присяги отправить к цесаревичу курьера, спросить, угодно или не угодно ему царствовать, и поступить сообразно с его ответом. Тут всего прошло бы шесть-семь дней. Никто бы даже не заметил замедления в присяге, между тем как публичный акт присяги необходимо должен был взволновать умы. Как ни трудится барон представить все эти действия в виде «величественного эпизода», потомство и история не могут в них найти ничего, кроме неблагоразумия и неискренности. Барон Корф старается бросить подозрение на точность журнала Государственного совета и говорит, что если бы Николай знал манифест, то члены совета не стали *усильной просьбой* просить его прочесть бумаги. Но он мог не знать <текста> манифеста, а знать о его существовании и содержании. Иначе, с чего бы Милорадович сказал в совете, прежде оной *усильной просьбы* его членов, что «великий князь Николай Павлович торжественно отрекся от права, *предоставленного ему упомянутым манифестом,* и первый уже присягнул на подданство его величеству государю императору Константину»? Не может же в журнале совета все быть записано не точно. Барон думает, что журнал совета ошибочен, потому что не был представлен на просмотрение великому князю; а мы так думаем, что он именно потому и верен, что его никто не поправлял. Как ни рассматривай, а все результат один: Николаю хотелось дать огласку рыцарского поступка, который уже поэтому и не рыцарский, что из-за него видна задняя мысль, бесполезность самого поступка и оскорбительное невнимание к судьбам России.

В совете противились чтению манифеста Лобанов-Ростовский [8] и адмирал А. С. Шишков [9], «с отличавшим его *искусственным жаром»,*— говорит Корф. Нам нет дела до того, что говорил Лобанов-Ростовский; но Шишков был слишком благородное лицо, чтобы мы не сочли долгом заметить, что в такого человека, как Шишков, бросать

грязью какому-нибудь Корфу неприлично, и то, что позволили ему это сделать, оскорбительно для всякого честного человека, уважающего людей, искренне служивших отечеству. Мы убеждены, что эту презрительную выходку против заслуженного адмирала позволил не Александр II; эта выходка как-нибудь прокралась из двух прежних изданий книги Корфа, составлявших семейную тайну, и государь ее не заметил.

Мы ничего не скажем о письмах цесаревича, помещенных на страницах 38—42 книги Корфа. Их форма так же плоха, как и в письме к Александру I, их содержание то же: отречение от престола. Мы так уверены в действительности и даже искренности отречения Константина, что понять не можем, из чего Корф выбивается из сил, доказывая то, в чем никто не сомневается. Эта манера чрезмерных доказательств может навести сомнение на неопытного читателя, но мы в ней видим только неумение барона владеть пером и мыслью.

Мнимое рыцарство Николая, как и следовало ожидать, пошло производить всеобщую суматоху. В Москве не знали, кому присягать, и, наконец, несмотря на то, что Филарет был «хранителем светильника под спудом», присягнули Константину. Великий князь Михаил Павлович приехал в Петербург из Варшавы, привез письма цесаревича, но эти письма показались недостаточными для воцарения Николая, а кажется, с манифестом, хранившимся в соборе, синоде и сенате, были бы совершенно достаточны. Михаил Павлович скачет опять в Варшаву и остается ждать на дороге; Константин Павлович упирается и не едет в Петербург; Николай Павлович вступает в управление, пишет князю Волконскому [10]: «...все сношения, нужные с местами, здесь находящимися, прошу делать непосредственно чрез меня», и не хочет объявить то, что неминуемо придется объявить; он почти не выходит из Зимнего дворца, говорит императрице Марии Федоровне: «Маменька, это еще вопрос, которую из двух жертв должно считать выше: со стороны ли отказывающегося, или со стороны принимающего»; видится с Толем, отправляет его в Варшаву и в тот же день вслед за ним посылает курьера сказать ему, что цесаревич отрекся, как будто не гораздо проще было сказать это при свидании. Все суетится, все скачет, никто не знает, что делать... Какой тут «величественный

эпизод»,— это просто ума помрачение.— Наконец, приехал и курьер Белоусов от цесаревича с известием, в котором очевидно, что все замедления объявить манифест покойного государя были лишены всякого смысла. Наконец, Николай стал рассуждать о новом манифесте с Карамзиным [11], которого удостаивал *«отлично милостивого* внимания», и поручил написать манифест Сперанскому [12], наконец, послали и за Михаилом Павловичем, который имел несчастье не встречаться ни с одним курьером и все сидел в Неннале на станции. Таким образом, мы доходим до 14 Декабря.

О тайном обществе, окончившемся этим днем, барон Корф согласно с донесением следственной комиссии говорит: «...еще с 1816 года, по возвращении наших войск из заграничного похода, несколько молодых людей замыслили учредить у нас нечто подобное тем тайным политическим обществам, которые существовали тогда в Германии». Пора бы изменить эту пошлую точку зрения на исторические происшествия. Таким образом, можно сказать, что и Петр Великий только из подражания вводил в Россию европейскую индустрию; но дело в том, что в России была потребность новой промышленной деятельности. Тайное общество составилось не из одного подражания западным тайным обществам, а потому, что русский ум искал исхода из невыносимого общественного положения. Если б была гласность, не было бы тайного общества и не было бы заговора. В Англии, например, тайное общество невозможно. Но в государстве, где дела идут скверно, где грабительство и притеснения властей невыносимы и где об общественных нуждах нельзя говорить вслух, всегда явится необходимость говорить о них втайне, а это и ведет к тайным обществам. Заговор возможен только там, где правительство действует заодно с теми людьми, которых Александр I не хотел иметь лакеями и под влияние которых все же подпал. Потому, что он подпал под это влияние, поэтому и был возможен заговор. Александр был усталый мученик между аракчеевским влиянием и собственными убеждениями. Сам барон Корф говорит про него: «Государь смотрел на это гибельное начало (т. е. тайное общество) глазами великодушия, в надежде, вероятно, что самое время исцелит заблуждающихся (т. е. заговорщиков), из числа которых не от одного, по способностям ума

и образованию, можно было, при другом направлении, ожидать истинной для государства пользы».— Иными словами, Александр уважал в людях тайного общества умных, образованных и благородных людей. Но вместо того, чтоб ближе узнать их, он огорчился мыслью, что есть какой-то заговор, впал в мрачность и, наконец, перед смертью испугался и велел арестовать Пестеля [13]. А заговор вырос потому, что государь не выходил из-под аракчеевского влияния. Рассматривая беспристрастно историю России с петровского переворота, можно ясно проследить движение двух элементов: общечеловеческого элемента образования в гражданственности, который составляет основную мысль Петра Великого, который чувствуется в уничтожении смертной казни Елизаветой, более цельно выражается в наказе Екатерины II, по наследству переходит в образ мыслей Александра и людей 14 Декабря; и элемент исключительно немецко-татарский, который роковым образом навязывается Петру Великому в устройстве чиновничества, порождает Бирона, с Петром III переходит в капральство, безумно пыхтит в Павле I, навязывает Александру Аракчеева и с людьми аракчеевской школы, с клейн-михелями [14] достигает высшего выражения в тяжеловесном и удушливом царствовании Николая. Борьба этих двух элементов естественна тем более, что русская народность легко привьется к общечеловеческому началу, но к немецко-татарскому — никогда. Итак, тайное общество в 1816 году имело корень не в пустом подражании, а в стремлении к развитию в России общечеловеческого элемента, которому мешало пребывание правительства в немецко-татарском направлении. Одна сторона хотела поставить Россию на степень образованного государства; другая хотела низвести ее на степень орды с немецкой бюрократией. Столкновение было неизбежно.

Немецко-татарское начало на этот раз победило; оно в продолжение тридцати лет довело Россию до того беспорядка в делах, что уже далее в этом направлении никакое правительство не может итти, не обанкрутившись. Поэтому мы сильно надеемся, что нынешнее правительство, наконец, откажется от немецко-татарского начала и примкнет к общечеловеческому элементу, что государь, наконец, отделается от людей, которых его одноименный предшественник не хотел иметь лакеями; мы также глубоко

уверены, что все благородные и образованные люди русские посвятят себя на служение отечеству с тою же искренностью, с тою же горячностью, как и люди 14 Декабря,— может быть, с бо́льшей опытностью, с бо́льшим знанием положения и потребностей России и с более размеренной силой.

Чтобы лучше объяснить значение тайного общества 14 Декабря, мы покамест оставим в покое книгу барона Корфа и обратимся к разбору донесения следственной комиссии 1826 года [15], этому драгоценному, до сих пор единственному документу того времени. Как ни старалась комиссия исказить дело, все же ее донесение служит великой защитою, великим оправданием, похвальным словом для людей 14 Декабря. Писанное не так, как книга Корфа, т. е. далеко не безграмотно, донесение следственной комиссии есть идеал инквизиториального процесса, где клевета высказана с простотою правды и подобострастие, как всегда отвратительное, не имеет того характера холопского тупоумия, как в книге Корфа. Еще видно, что донесение писано людьми александровской эпохи, т. е. людьми по крайней мере не без внешнего образования *. Конечно, от этого оно становится явлением не менее безотрадным для благородного читателя. Чем хитрее инквизиционный язык, тем он прискорбнее. Видно, как человек, может быть весьма не чуждый тайному обществу, старается смыть с себя перед правительством пятно гражданских помыслов и тем ревностнее становится великим инквизитором; тут уже предчувствуется, до чего николаевское царствование доведет людей русских, то нравственное и умственное падение, которое так резко и наивно выразилось в книге Корфа.

Трудно воссоздать людей 14 Декабря и их действия по донесению комиссии. Во-первых, перед таким следствием и такими следователями, каких назначил император Николай, никто из подсудимых не обязан был говорить правду; нравственная обязанность подсудимых скорее заключалась в том, чтобы не говорить правды, чтобы как-нибудь

---

* Блудов, впоследствии министр внутренних дел, автор донесения следственной комиссии, говоря в нем, что тайное общество намерено было издавать журнал, которого редактором хотел быть Тургенев,— *сам* во время оно обещал статьи для этого журнала (*N. Tourguéneff*, Mémoires d'un Proscrit, T. I, стр. 166). [*Н. Тургенев*, Записки изгнанника (фр.).— *Ред.*]

не вовлечь товарищей в беду. Во-вторых, следователи употребляли пытку, что не редко заставляло подсудимых говорить что ни попало *. В-третьих, комиссия просто выдумывала на подсудимых: донесение приводит слова, будто бы ими сказанные, которых они никогда не говорили, или искажает то, что они говорили **.

Хотел ли автор донесения этим только выслужиться или, сверх того, набросить тень вероломства на благородные личности,— это его тайна; в первом он успел,— он выслужился, во втором он не успел, потому что его лжи никто не поверил, и вероломство пало на его голову, возбудив к нему омерзение у всех порядочных людей русских, омерзение, которое навсегда будет вписано в русской истории. Но как бы трудна ни была наша задача,— одно остается очевидно, что, несмотря на все старания следователей и автора донесения, они не могли скрыть ни ума, ни благородства подсудимых.

Мы не можем разделять точку зрения книги Н. И. Тургенева насчет тайных обществ с 1817 по 1825 год и полагать их вовсе не существовавшими; если бы они не существовали, конечно, возмущение 14 Декабря не пришло бы в голову никаким отдельным лицам. Мы не спорим с Тургеневым в том, что тайные общества никогда не достигали никакой положительной цели; не в крутом перевороте и заключается их значение; их значение в том, что они воспитывают общее мнение, и в этом — влияние тайных обществ несомненно, и, конечно, Россия должна считать эру своего гражданского развития с людей 14 Декабря; их влияние не прекращалось, так что, несмотря на всю тяжесть николаевского царствования, не только русское

---

* «...Что положительно известно,— это то, что некоторым подсудимым надевали цепи страшной тяжести, других томили голодом; к иным посылали попов уговаривать их обвинять друг друга; многим сулили прощение, если они сделают признания или показания». «...Заставляли подписывать показания, которых они никогда не делали...» *(N. Tourguéneff,* Mémoires d'un Proscrit. T. I, стр. 171). [*Н. Тургенев,* Записки изгнанника (фр.). —*Ред.*]

** Таким образом, донесение клеплет на одного из благороднейших людей — Никиту Муравьева [16], будто он говорил против Тургенева то, что он никогда не говорил *(Tourguéneff,* La Russie et les Russes. T. I, стр. 205) [17]. [*Тургенев,* Россия и русские (фр.).— *Ред.*]

Мы указываем на этот факт, потому что берем его из печатной книги.

общество сознательно усвоило себе здравые понятия гражданского устройства, но и самое правительство нечувствительно принуждено сближаться с этими понятиями. В истории, как и в целом мире, известные данные необходимо влекут за собой известные результаты; отрицать нравственное влияние тайных обществ значит отрицать очевидность. Мы не друзья крутых переворотов; Западная Европа нам достаточно показала, что они остаются без результата, пока народ не довоспитался до нового гражданского устройства, что народное воспитание совершается только путем реформы, что только то изменение существенно, которое составляет сознательную потребность народную. Но как бы далеки мы ни были от жажды крутых переворотов и преданы идее разумной реформы, все же мы не можем рассматривать мысль цареубийства, вкравшуюся в тайное общество 14 Декабря, как любовь к злодейству его членов. Мы ненавидим и цареубийство, и войну, и казни, и всякое убийство; но мы ищем в истории объяснения ее явлений, необходимую связь происшествий, и не можем взвешивать их ни на вес нашего уважения к жизни человеческой, ни на вес династического интереса донесения комиссии. Мы только можем указать на то, что образование тайного общества и стремление его к изменению государственного устройства, тяготевшего над страною, вытекало из самого положения вещей; что при этом мысль цареубийства легко могла возникнуть; за этой мыслью не нужно даже было ходить в Европу и искать ее во французской революции и немецких тайных обществах: само правительство приучило Россию хладнокровно смотреть на нее. Тогда еще живо было в памяти не только безнаказанное, но награжденное убийство Петра III и вероломное убийство Иоанна Антоновича; а убийство императора Павла совершилось почти что на глазах людей, участвовавших в заговоре 14 Декабря. Что мудреного, что мысль о цареубийстве из дворцовой семейной хроники перешла в тайное общество?

Председателем комиссии был назначен военный министр Татищев [18]. Мы сомневаемся, чтобы этот человек, известный в России за честного и благонамеренного человека, принимал деятельное участие в инквизиционных трудах комиссии; он был назначен, как один из старших генералов, потом удален от министерства, сделан графом и

заброшен в Государственный Совет. Но все же он был назначен. Крузенштольпе [19] (Der russische Hof von Peter I bis auf Nicolaus I. T. III, стр. 349)* упоминает о полковнике Татищеве, участвовавшем в заговоре против императора Павла; по списку генералов 1821, по списку 1829 года, изданным правительством, должно заключить, что этот полковник Татищев именно тот, который впоследствии сделался генералом от инфантерии, военным министром и графом. Очевидно, что самого Николая, а следственно, и выслуживавшегося автора донесения бесила не мысль о цареубийстве, но то, что эта мысль явилась не в династическом, дворцовом интересе, а в интересе гражданского развития народа. Вот отчего все следствие и направлено против этой мысли, несмотря на то, что у членов тайного общества, как явствует из самого донесения, не было сделано ни малейшей попытки к ее осуществлению и что на совещаниях общества вопрос решался скорее против, чем за нее. Мы не должны забывать, что поколение людей 14 Декабря не могло не верить в крутые перевороты; они еще не знали 1848 года. Мы не можем ценить их действий с точки зрения нам современного опыта; нравственная оценка людей того времени, как и вообще исторических людей, не может быть основана на истинности современных им понятий, а только на чистоте их побуждений; действовали ли люди из широкого чувства блага общего или из узкого домашнего интереса,— вот различие, на котором зиждется в истории причисление к лику святых или кара вечного позора. Этот позор в деле 14 Декабря ляжет не на казненных, сосланных и измученных, а на казнивших, сославших и мучивших,— начиная от испуганного императора Николая до маленького клевретика Блудова. Он ляжет на тех из деятелей тайного общества, которые, передавшись в противуположное направление, сделались plus royalistes que le roi ** и во главе которых мы поставим Михайлу Муравьева [20] (ныне министр государственных имуществ), о котором Польша до сих пор вспоминает как об изверге и который в России известен изречением: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, но из тех, которые вешают». Имена же казненных и замученных остаются в

* «Русский двор от Петра I до Николая I» (нем.).— *Ред.*
** Больше монархистами, чем монарх (фр.).— *Ред.*

русской памяти светлы и незагрязняемы никакими следственными комиссиями и штатс-секретарями.

Из донесения комиссии видно, что первая мысль о тайном обществе принадлежала Александру Муравьеву [21] — брату вышеупомянутого министра государственных имуществ. Положимте, что комиссия не лжет, что Александр Муравьев, как слабый человек, впоследствии отрекся от общества и изъявил при допросах раскаяние в самых униженных, противных выражениях; положимте, что еще позже он сделался губернатором, да и теперь еще, кажется, губернатором в какой-то губернии; но остановимся на вопросе: почему первая мысль о тайном обществе принадлежит Александру Муравьеву? Ответ на этот вопрос покажет, что мысль о тайном обществе не была пустым, случайным подражанием немецким тайным обществам или пустою модою, как то силится доказать донесение комиссии.

Отец Александра Муравьева — Николай Николаевич Муравьев [22] был основателем школы колонновожатых, с ним и окончившейся.

Агроном и математик, человек положительной науки и самого благородного направления, Н. Н. Муравьев образовал в своей школе не только хороших математиков и офицеров, но он образовал благородных людей, живо сочувствовавших европейским идеям гражданской свободы, преданных идее русского развития, людей, которым современное положение России, задавленной крепостным правом, чиновничьим грабительством и аракчеевским направлением правительства, было невыносимо. Память старого Муравьева, этого неутомимого деятеля на поприще русского образования, должна остаться для нас священною. Из его школы вышли лучшие люди того времени и деятельные члены тайного общества. Естественно, что честь основания этого общества принадлежит его сыну, и счастливо, что старый генерал умер, не видав нравственного падения своих сыновей.

К тайному обществу примкнули люди, воспитанные и не в школе Муравьева,— не из моды и подражания, а потому, что круг идей, господствовавших в этой школе, уже распространялся всюду. Не немецкие тайные общества имели влияние на тогдашнее юношество, из них оно могло почерпнуть не более, как внешнюю форму. Главное влияние

на умы имела революция 1789 года. Французский язык был более в ходу, чем немецкий; французская история тогдашнего времени носила в себе более живых, общечеловеческих данных, чем немецкая. Идеи революции 1789 года не могли проскользнуть мимо, не оставив глубокого следа. Они принимались не из моды и подражания, а потому, что в них было много горячо понятых истин, которые равно истины и для русского, и для французского, и для всякого человеческого ума. Никто еще — потому, что математика развилась не в России, а в Европе,— не обвинял русских тогдашнего или какого бы времени ни было, что они из моды думают, что прямая линия кратчайший путь между двух точек; точно так же нельзя назвать пустой модой и усвоение нравственных и гражданских идей. Они перенимаются, потому что они общечеловеческие и не могут пройти мимо ума здравого и способного принять истину с горячей преданностью, мимо людей, готовых поставить ее выше всякой личной выгоды.

Кроме муравьевской школы царскосельский лицей был одним из великих рассадников людей, сочувствовавших развитию гражданственности. Самые офицеры во время похода 1814 и 1816 годов не могли не видеть, из-за минутного величия Наполеона, ряд иных государственных понятий и более достойных стремлений к гражданскому развитию, чем то, что они встречали дома. Наконец, и сам император Александр находился в либеральном направлении и способствовал его развитию. Весьма ошибочно было бы думать, что идеи лучшего гражданского устройства были чужды для России; ничто общечеловеческое не может быть чуждым на русской почве; откуда бы оно ни было пересажено, оно найдет элементы для своего развития и выработается, может, в иных формах, чем в Западной Европе, но в формах, конечно, не менее прочных. Да потом, европейские идеи свободы в то время уже вовсе не были так чужды для России, как оно может казаться при поверхностном взгляде. Екатерининское время воспитало в высшем слое русского общества не одни привычки барства; оно внесло понятия философии XVIII столетия, которая нашла сочувствие в нашем образованном меньшинстве; даже мистические общества и мнения, бывшие у нас в ходу в конце прошлого и начале нынешнего столетия, были в либеральном направлении, не говоря уже о

том, что французская революция имела сильный отголосок. Можно сказать, что в 1816 году наше образованное меньшинство состояло из людей, внутренно переживших все европейские события и готовых проповедывать понятия нового государственного устройства именно потому, что их ум, усвоив теорию, вышел чист из европейских событий, не подавленный и не искаженный ни бонапартизмом, ни буржуазным началом. Война 1812 года заставила их почувствовать свои силы; они были исполнены одушевления. В таком настроении, наткнувшись в России на старый порядок вещей — рабство, бессудие, грабительство, видя, наконец, шаткость и усталь самого государя, наше образованное меньшинство не могло сидеть сложа руки. Потребность изменений была слишком сильна. Надо было работать для освобождения крепостных, надо было достигать влияния, надо было заместить служебные места порядочными людьми, надо было распространять здравые понятия изустно и печатно. С этой целью и составилось первое общество. Тут еще не было в виду перемены правительства, но только изменение внутренних государственных учреждений, в надежде даже, что само правительство оценит благонамеренность цели и поможет действиям общества. Самое название *Союза спасения* доказывает, как тогда было тягостно внутреннее положение России. Но общество не могло остановиться при мысли только пропаганды: правительство, не делая никаких изменений к лучшему, все более и более ударялось в реакцию. Александр I, все более и более мучимый мыслью об убийстве отца, в котором был невинным участником, и мистицизмом, и недоверием к людям, решительно подпал под влияние двух лиц, всего менее заслуживавших его благородного доверия,— Аракчеева [23] и Метерниха [24]. Аракчеев мешал ему делать что-нибудь для освобождения России; Метерних мешал ему делать что-нибудь для польской свободы, несмотря на то, что из разговоров государя видно было, что его желания либеральны. Александр жил и умер в совершенном противуречии с самим собой; его жизнь еще не раз станет предметом изучения для патолога и психиатра. Но как ни трагична была личность императора, России от этого было не легче, и юное общество не могло не притти к мысли о перемене правительства, потому что с этим правительством уже нельзя было итти

вперед. Что в начале составления общества не было мысли о перемене правительства, это очевидно из самого донесения следственной комиссии. «Подвизаться для пользы отечества, способствовать всему полезному, пресекать злоупотребления и стараться усиливать общество» — вот что было его целью вначале, по показанию Сергея Трубецкого [25]. Но потребности развивались тем сильнее, чем неподвижнее стояло государство под влиянием реакции. Через год в обществе высказалась мысль о перемене правительства; этого требовала часть членов общества, другие противуречили. Общество разделилось на две партии: на желавших только *пропаганды* и на желавших перемены правительства. Впоследствии, чем более потребности растут и чем более правительство является реакционным, и это разногласие исчезает, все общество стремится к перемене правительства. Цель одна; разногласие остается только насчет средств. Одни хотят заставить правительство дать конституцию; другие, которые не верят, чтобы можно было понудить к этому правительство, предлагают цареубийство. У всех одно чувство, что России нельзя оставаться в том положении, в котором они ее видят; одна мысль: осуществление в России понятий гражданского благоустройства. Для иных эти понятия сводятся на конституцию и учреждение правильного судопроизводства вместо господствующей анархии власти и неправосудия; Пестель шел далее; его задушевной мыслью было изменение экономического порядка в государстве, изменение земельной собственности так, чтобы все русские были земельными собственниками, чтобы все без исключения участвовали в землевладении и на этом основании пролетариат в России был бы невозможен *.

Вот нить истории общества, как ее можно провести, основываясь на донесении комиссии. Его связь с общей историей государства, необходимость его основания и развития— очевидны. Общество не успело в достижении своей цели; члены его или погибли на виселице, или состарились в ссылке. Но кроме того, что общество не успело в достижении своей цели, из донесения видно, что оно мало или вовсе не верило в успех. Люди, составлявшие его, рабо-

---

* *Tourguéneff*, Mémoires d'un Proscrit. T. I, стр. 129 и 130. [Тургенев, Записки изгнанника (фр.).— *Ред.*]

тали, несмотря на то, что предугадывали свою гибель. «Честь этого дня принадлежит мне»,— говорил при допросе Рылеев [26] о 14 Декабре. «Мы славно умрем»,— говорил 18-летний Александр Одоевский [27] накануне этого дня. Эти люди хотели всенародно заявить мысль русской свободы, зная, что они погибнут, но что, раз всенародно заявленная, эта мысль уже никогда не погибнет.

Теперь рассмотрим отношение следственной комиссии к отдельным лицам. Автор донесения комиссии употребляет клевету, маленькие насмешки, нравственные сентенции, выдумывает или искажает факты, как скоро это ему удобно, так что очень мудрено достоверно сказать, что было и чего не было. Например, Сергей [28] и Матвей [29] Муравьевы-Апостолы * настолько известны твердостью характера, что никто не заподозрит их в пустых и лживых показаниях; при допросе о том собрании общества, где была подана мысль о покушении на жизнь императора, Сергей показал, что он помнит на этом собрании только себя, Никиту Муравьева и Пестеля, т. е., очевидно, он назвал только лица, которые уже несомненно были обречены на гибель, и кроме них никого не назвал. Стало, от этого человека мудрено было выпытать какое-нибудь показание ко вреду товарищей. Каким же образом поверить, чтобы подобные люди показывали на Новикова [30], что он заводил Малороссийское общество, да еще из *видов добывания денег,* и что принятый Новиковым в члены переяславский маршал Лукашевич [31] завел еще новое Малороссийское общество с целью отделить Малороссию от России и присоединить к Польше, и что эти показания, основанные на догадках, найдены несправедливыми? Что заключить, встречая в донесении подобное противуречие в поступках такого человека, как Сергей Муравьев-Апостол? Или что следователи его мучили настолько, что заставили говорить вздор, или что он никогда не говорил этого и что это просто ложь, изобретенная автором донесения, чтобы унизить сильные личности Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов

* При допросе императором Николаем Сергей Муравьев так резко высказал тягостное положение России, что Николай протянул ему руку и предложил ему помилование, если он впредь ничего против него не предпримет. Сергей Муравьев отказался от всякого помилования, говоря, что он именно и восставал против произвола и потому никакой произвольной пощады не примет.

и мимоходом очернить Новикова да намекнуть о том, что в планы общества входило распадение государства (что также клевета, потому что конфедерация не есть распадение, а союз). Автор донесения никогда не упускает случая прибегать к подобным средствам для унижения личностей в глазах публики, как бы нелепа ни была выдумка. Такой клевете подвергся в особенности князь Трубецкой. С ним комиссия поступает без всякой церемонии; она не довольствуется тем, что, где только может, высказывает его человеком неспособным; она идет далее, она хочет выказать его вором. «Всякий член общества,— говорит донесение,— должен был вносить в кассу общества 25-ю долю своего годового дохода. Сему правилу, как все согласно показывают, следовали не многие. В Петербурге до 1825 года собрано не более пяти тысяч рублей, которые отданы князю Трубецкому, а им издержаны не на дела тайного общества».— Какая низкая клевета! Положимте, что Сергей Трубецкой, назначенный диктатором в день 14 Декабря, не умел сладить с обстоятельствами; но если человек не имел способности начальствовать восстанием, из этого еще не следует, чтоб он был способен воровски пользоваться деньгами своих товарищей. Трубецкой был честный человек. Обвинение в растрате пяти тысяч рублей — низкая ложь; я ссылаюсь на всех сверстников и друзей Трубецкого, оставшихся в живых. Но, скажут мне, какое фактическое доказательство я приведу в опровержение этой растраты пяти тысяч рублей? Кроме нравственного убеждения — никакого. Но я спрошу, какое доказательство комиссия приведет в подтверждение этой растраты? Сказать можно безнаказанно всякую клевету, будучи автором донесения следственной комиссии под особым покровительством государя; только стыдно прибегать к таким черненьким средствам, чтобы попасть в приказчики к своему барину.

Сколько должно было быть употреблено ухищрений, выдумок, сбиваний с толку и разных инквизиционных мер при допросах, чтоб заставить говорить Пестеля! Как различить, что́ в донесении выдумано на Пестеля, что́ не выдумано? Пестель не мог напрашиваться на лишнюю откровенность перед следователями, когда дело шло о товарищах; Пестель ничего не скрывал, когда дело шло о нем самом, он не скрывал своих мнений и при допросах, де-

ланных лично Николаем, и, несмотря ни на выдумки, ни на тщедушную иронию, которыми его награждает донесение, сквозь весь этот туман клеветы он является чистым и сильным человеком. Его спрашивают о его разговоре с Поджио[32] — он не сознается до очной ставки с Поджио, очевидно для того, чтобы не повредить Поджио; если б он думал спасать себя, он отрекся бы и на очной ставке; но тут, видя, что уже нельзя больше повредить Поджио, он подтверждает все, что он говорил с Поджио, но прибавляет, что говорил «без *театральных движений*». В этом ответе виден весь характер человека — прямой и сильный. Комиссия не поместила бы этого ответа в донесение, если б поняла, насколько он выказывает широкую и благородную натуру.

Не одному Пестелю комиссия навязывает театральные движения, а при каждом удобном и неудобном случае, желая всему делу придать вид нелепости и не замечая, что чем более дело имеет вид нелепости, тем менее правительство имеет причин к казням. Комиссия по доносу Майбороды[33] обвиняет Пестеля, что он, бывши полковником, то ласкал солдат, то вдруг их жестоко и незаслуженно наказывал так, чтобы они думали, что высшее начальство и государь являются причиной излишней строгости.— А отчего же *следственная комиссия,* прежде чем печатать такую гнусную клевету, не спросила солдат пестелева полка — правда ли это? Как же она решилась сказать вслух нелепицу, основываясь только на доносе шпиона? Что в революциях, как на войне, сражающиеся не рассчитывают, сколько крови польется и чья именно,— это еще понятно; но против врагов скованных, подсудимых, находящихся безответно во власти своих судей, употреблять ложь, клевету, шпионские показания — это мелко и отвратительно. И кто же обвиняет Пестеля в преднамеренной жестокости обращения с солдатами? Та комиссия, где заседает генерал Левашов *[34], который, по свидетельству офицеров того времени, наказывал солдат во время своего обеда, т. е. генерал спокойно обедал, а в той же комнате, перед его глазами, по его приказанию пороли несчастного солдата. Конечно, ни один из участвовавших

* Впоследствии граф и киевский генерал-губернатор, известный жестокостью и грабительством; он даже, ездив ревизовать губернию, никогда не платил прогонов ни за себя, ни за свиту.

в тайном обществе не употреблял таких средств для возбуждения аппетита; как же комиссия не догадалась, что одним из главных действий тогдашних порядочных офицеров, т. е. более или менее принадлежавших к тайному обществу, было обращение с солдатами противуположное обращению Аракчеевых, Шварцов, Левашовых и тому подобных и что, следственно, никто не поверит ее обвинению в преднамеренной жестокости кого бы то ни было из членов тайного общества. Именно жестокость, начинавшая в то время страшно развиваться в полковых начальствах, и вызвала то противудействие, вследствие которого столько военных участвовало в тайном обществе *. Комиссия везде старается выставить Пестеля хитрым честолюбцем, метящим в Наполеоны. Это она заключает из показаний Поджио (не знаем, насколько они точно переданы комиссией), из того, что Пестель говорил, что временное правительство должно действовать «не менее десяти лет, необходимых для одних предварительных мер» [35], между тем как в этих словах видно только сознание положения вещей, дальновидность практического человека. Честолюбие выводит комиссия и из ответа Пестеля Рылееву, когда Рылеев говорил, что теперь уже Наполеоном быть нельзя и что даже честолюбцу, для собственной выгоды, должно подражать скорее Вашингтону, а Пестель отвечал: «правда, но если бы и вышел Наполеон, то мы все не будем в проигрыше». Но эти слова, естественно, объясняются не честолюбием, а следующей мыслью: «Пожалуй, давайте и Наполеона,— хуже того, что теперь, ничего быть не может». Как комиссия примирит противуречие обвинения в честолюбии и желании овладеть царской властью с крайне республиканским направлением Пестеля, с словами, сказанными Пестелем, когда он уже был арестован, Волконскому: «Не бойтесь, спасайте только мою «Русскую правду» [36], а я не открою ничего».— Стало, Пестелю дело было не в личном честолюбии, а в осуществлении тех узаконений, того устройства, которые он предполагал учредить в России. Ошибочна ли и неприлагаема была его «Русская правда» или истинна и прилагаема, этого мы не знаем, этот документ

* В числе осужденных находились: 3 генерала, 25 полковых или батальонных командиров и 78 офицеров.

в руках правительства и хранится под спудом *; но и не в том дело; дело в том, что Пестель считал свою «Русскую правду» полезною для России, отсюда его главная забота — спасти ее, а там, что бы с ним лично ни случилось,— все равно. Кажется, что эта забота обличает не честолюбца и не злодея, как хочет представить комиссия, а героя-гражданина, чего комиссия ужасно боится, чтоб кто-нибудь не угадал.

Хотя бы комиссия ради собственной выгоды разочла, что человек с таким положительным умом, как Пестель, не мог выставлять себя перед товарищами Наполеоном в деле восстания, которое еще не началось и которого начало было сомнительно для самого Пестеля. В 1823 или 1824 году Пестель удержал Муравьева и Бестужева-Рюмина [37] от исполнения <намерения> возмутить 9 дивизию; это Пестель показывает сам; комиссия спешит сказать, что она этому показанию не верит. Тут комиссия становится совершенно близорука; она хочет смотреть на Пестеля как на злодея, который никак не в состоянии отказаться от мятежа и говорит только так, чтобы оправдаться; но если б она, помимо канцелярской точки зрения, подумала, что Пестель удержал Муравьева и Рюмина, предвидя решительную неудачу предприятия, она увидела бы, что Пестель говорил правду, тем более что из всего следствия не видать, чтобы Пестель когда-нибудь в чем-нибудь считал нужным оправдываться, будучи убежден, что он прав. Это-то убеждение в страшном положении России, в необходимости переворота и, следственно,

---

* Из всей «Русской правды» автор донесения счел за нужное выписать только (чтоб укорить Пестеля в незнании России, в невероятном и смешном невежестве) предполагаемое разделение России на области, в которой Пестель соединяет Лифляндию, Эстляндию, Курляндию, Новгородскую и Тверскую губернии в одну область — *Холмогорскую;* а Архангельскую, Ярославскую, Вологодскую, Костромскую и Пермскую губернии в другую область *Северскую,* или *Северянскую.*— Автора донесения поразило название: Холмогорская область; но если бы он сам знал Россию, то он, вероятно, знал бы, что на этой полосе простираются невысокие холмоподобные хребты (мы советуем г-ну Блудову взглянуть на рельефную карту России, изданную в Петербурге по желанию императора Николая); а зная это, автор донесения понял бы название: Холмогорская область, и понял бы, что географические понятия Пестеля шли далее, чем хозяйственная наслышка о холмогорских коровах в Архангельской губернии.

в правоте заговора, с хладнокровием перед следователями-обвинителями и перед самим допрашивающим императором, и, наконец, геройски-хладнокровное шествие на казнь и составляют величие Пестеля, которого у него отнять комиссии не по силам.

Донесение уверяет, что и Рылеев смотрел на Пестеля как на честолюбца и боялся, чтобы он не сделался Наполеоном. Может быть, что Рылееву когда-нибудь оно и показалось; это было возможно. Пестель и Сергей Муравьев-Апостол были реалисты; как ни мало было надежды на успех восстания, но все же, если уже восстание было решено обществом, то им хотелось, чтобы были приняты действительные меры и чтобы общество, раз приняв их, ни перед чем не останавливалось. Если заговор мог иметь какой-нибудь успех, то только при этом практическом взгляде на вещи. Пестель рассчитывал возможность успеха и неуспеха, средства и ход действий, видел, что без единства действия всего менее возможен успех, и искал диктатуры; Рылеев, может быть, в этом и подозревал честолюбивые замыслы; его вела к этому чистота его республиканизма, боязнь малейшей тени опасности для возникающей русской свободы. Комиссия, конечно, не имела поэтически-гражданского настроения Рылеева и воспользовалась недоразумениями между Северным и Южным обществом только для обвинения Пестеля в честолюбии, а общество — в том, что оно само не знало, чего хотело. О последнем обвинении мы сейчас поговорим, но прежде несколько слов о Рылееве.

Поэт с замечательным талантом, которого развитие прекратила казнь, но которого имя всегда останется в русской литературе, Рылеев был один из самых искренних и деятельных членов тайного общества. Ответ его о 14 Декабре: «Честь этого дня принадлежит мне», комиссия передала так: «Я признаю себя главным виновником происшествий 14 Декабря». Раскаяние, будто бы им обнаруженное, комиссия на него всклепала, как и на многих других, чтобы не показать публике, что эти люди не имели никакого повода к раскаянию *, потому что были

* Правительство не удовлетворилось этой клеветой в донесении; было пущено в публику рукописное письмо Рылеева к жене, в котором будто бы он изъявляет несноснейшим слогом чувство раскаяния; жена Рылеева *сама говорила,* что она никогда такого письма не

убеждены, что цель их — благо отечества, и не разубедились в этом ни перед следственной комиссией, ни перед самим допрашивающим императором, ни в рудниках Сибири, ни с петлей на шее. Рылеев, как и все его товарищи, мало надеялся на успех восстания; его *«Войнаровский»* свидетельствует о том, что он ожидал кончить жизнь в ссылке, не предвидя, что император Николай снова введет в русское законодательство смертную казнь, уничтоженную предшествующими законами. Рылеев, как и Пестель, при допросах никого не выдал и не скрывал своих убеждений.

Донесение комиссии много говорит о показаниях Никиты Муравьева; но если оно уже раз оклеветало его в показаниях против Тургенева, как же верить остальному?

Уже одно то, что Юшневский [38], друг Пестеля, вместе с ним стоявший во главе Южного общества, был также другом Никиты Муравьева, доказывает, что донесение клевещет на Никиту Муравьева. Он и Юшневский в Сибири, после каторжной работы, сами построили избу, в которой жили; к ним приезжали туда высшие сановники Сибири советоваться о делах административных,— так велико было уважение, которым они пользовались; их мнение имело вес и силу. Никита Муравьев умер прежде; Юшневский, который все переносил спокойно, «как должно мужу», и часто говаривал среди самых трудных обстоятельств: «не знаю, как кому, а мне хорошо»,— Юшневский был глубоко поражен потерею друга. Тело покойника ссыльные товарищи сами снесли хоронить на кладбище, довольно отдаленное от их избы; Юшневский провожал мертвого товарища. Гроб поставили в церкви для отпевания; Юшневский стоял задумчиво возле гроба и сказал, что хорошо бы и ему умереть за другом, наклонился к покойнику и умер [39].

Нет! Память наших мучеников останется чистою в русской летописи, какие бы клеветы ни взводили на них преследователи. Теперь настает время, когда иные искренние

получала, что Рылеев никогда не писал его, что, следственно, оно подложное. Напрасно сравнивают царствование Николая с Римским императорством; в Римском императорстве бывали величавые злодейства — в прошлое же царствование злодейство было мелкое и грязное.

свидетельства обнародуют дела и людей того времени в их настоящем свете. Мы убеждены, что эти искренние свидетельства где-нибудь да хранятся и, наконец, найдут путь ко всеуслышанию. Еще никогда, нигде, никакие тайные полиции не препятствовали истории обнаружиться. Ход общественной жизни всегда возьмет свое.

Комиссии везде хочется показать, что заговорщики сами не знали, чего хотели, что ум их был помрачен или что умысел их был — властолюбие, которое не останавливалось ни пред каким злодейством. Мы не станем здесь повторять всей истории заговора. Нить его достаточно ясно выведена комиссией, чтобы каждый легко мог проследить ее в донесении и усмотреть, что — взят ли устав общества из Тугендбунда или придуман самими основателями и членами,— все же этот устав обдуман умно и энергически. Нам только остается отвечать на обвинения следственной комиссии. Донесение говорит, что общество хотело перемены государственных установлений, и эту цель именно донесение и старается выставить с той точки зрения, что люди сами не знают, чего хотят; отсюда и выходит, что иные хотят монархической конституционной формы правления, другие — республиканской. Сверх того, комиссии кажется, что это желание перемены государственных установлений уже само по себе злодейство. Вот смысл, теория всего донесения. Но если мы вспомним, что в то время в России народ, еще недавно так геройски жертвовавший собою в 1812 году, был предан на угнетение помещичьей власти и на разграбление чиновникам; что войско, недавно возвратившееся с кровавой войны, было разграблено и засечено своими начальниками; что суда негде было искать правому человеку; что гласности никакой не было и потому никакому полезному мнению не было хода; всякое привилегированное воровство и злодейство оставалось шито и крыто и что сам либеральный государь роковым образом был окружен теми людьми, которых когда-то не хотел бы взять к себе в лакеи,— если мы вспомним все это, то едва ли желание перемены государственных установлений кому-нибудь покажется злодейством. Всякому человеку, который не имеет потребности лгать, оно покажется добродетелью. Очевидно, что тут дело не в властолюбии, а в спасении отечества; не в ниспровержении порядка ради личных выгод, а в водворении

гражданского устройства на место немецко-татарского беспорядка — ради блага общего. Если общество 14 Декабря представляет «частных людей (по выражению донесения), своевольно располагающих судьбою правительств и народов», то не надо забывать, что целью этих своевольных намерений было благо народа и что они возникли потому, что правительство с своею администрациею, также составленное из частных людей (по крайней мере, до сих пор была возможна только общая мысль, а общего человека никто не встречал с сотворения мира), своевольно располагало судьбою народа, заставляя его невыносимо страдать от немецко-татарского беспорядка.

Что общество желало то конституции, то республики — это не доказывает, чтобы оно не знало, чего хотело. Донесение старается перепутать разговоры между отдельными членами, беседы на каких-нибудь вечеринках, рассуждения о разных формах правления с действительными, определенными на нарочно собранных совещаниях, положениями общества о его целях, предприятиях и способах действия. Отбросив эту путаницу, цель и действия общества определяются весьма ясно. Общество хотело перемены государственных постановлений и прежде всего положило, чтобы члены распространяли его мнения, т. е. образовало пропаганду. Рядом с этим, так как большая часть образованных людей того времени вступала в военную службу, общество положило, если нельзя иначе, то силою войска понудить правительство принять конституцию и дать возможность устроить иные административные и судебные учреждения в государстве. Если же правительство не согласится, то свергнуть его во что бы ни стало и водворить новый порядок — но тогда уже республиканский. Какой из этих двух результатов будет достигнут — обществу было неизвестно, как вообще неизвестна будущность. Общество разделилось на верящих, что правительство примет конституцию, и на неверящих, т. е. на северный отдел общества и на южный; но их размолвка была мнимая, цель оставалась одна; от этого, как скоро на севере убедились, что правительство никак не примет конституции, то общество воспользовалось первым предлогом к восстанию. Это еще не значит, чтоб люди не знали, чего хотят.

Ясно, что общество хотело перемены государственных учреждений, потому что положение государства было невыносимо. Ясно, что общество хотело достичь цели, следственно, хотело, чтобы его предприятия имели успех. Но общество очень хорошо знало, что оно составляет весьма небольшое меньшинство, и потому могло рассчитывать только на вероятный, но не на верный успех. Поэтому общество решалось действовать, каков бы результат ни вышел, будучи убеждено, что если оно и погибнет, то все же потребность России освободиться от немецко-татарских учреждений будет всенародно заявлена. Это чувство, эту мысль можно вывести из помещенных в донесении разговоров и писем; эта мысль везде встречается в литературе того времени; она дышит в каждой строке стихотворений Рылеева.

Самое возмущение 14 Декабря доказывает справедливость нашего взгляда. Все соединилось, чтобы заставить общество действовать: его собственное развитие, усиливающийся произвол внутреннего и военного управления в государстве, смерть Александра, междуцарствие и даже доносы на общество. Оно чувствовало, что с Александром вконец исчезнут все, уже и так угасавшие искры либеральных побуждений в правительстве, следственно, надо было что-нибудь предпринять. Николай был слишком известен в войске грубостью обращения с офицерами, манией разводов и учений, не уступавшей той же мании императора Павла; ждать от него какого-нибудь человеческого направления было нельзя,— надо было что-нибудь предпринять. Чего лучше, как противупоставить Николаю Константина, принудить того или другого дать конституцию или отстранить обоих и учредить республиканское ли, или ограниченное монархическое правление — все равно, лишь бы *иное,* потому что хуже того, которое было, быть не могло. А если возмущение не удастся, по крайней мере мысль освобождения от правительственного произвола, потребность гражданского порядка будет заявлена. На этих основаниях 14-е Декабря было решено.

Доносы хотя частию и подстрекнули общество к действию, но они не могли быть главной побудительной причиной поспешить восстанием. Доносы произвели бы частные аресты, пострадали бы отдельные лица, но общество осталось бы. Из арестованных в Тульчине никто бы не сообщил правительству столько сведений, чтобы оно

могло уничтожить общество. К тому же в Северном обществе еще не знали об аресте Пестеля, а о доносе Ростовцева [40], как видно из донесения комиссии, на совещаниях общества упоминается в первый раз только вечером 13 декабря, между тем как восстание было решено уже за *несколько* дней до 14 Декабря, иначе комиссия не сказала бы: «...их совещания в *сии последние* дни представляли странную смесь зверства и легкомысленной буйной непокорности к властям законным и слепого повиновения неизвестному начальству, будто бы ими избранному».

Не говоря о том, что эта фраза донесения, в переводе на человеческий язык, значит, что люди были исполнены одушевления и преданности делу, в пользе которого не сомневались,— мы укажем на то, что отсюда очевидно, что восстание было решено не вследствие доносов на общество, как то намекает донесение и повторяют многие, а вследствие междуцарствия, изобретенного Николаем, чтобы доказать свое сомнительное бескорыстие и несомнённое непонимание в государственном деле.

Доносчиков на тайное общество было четверо: Шервуд [41], Майборода, Комаров [42] и Ростовцев. Мы говорим четверо, а не пятеро, потому что генерал-лейтенант Витт [43] не заслуживает этого названия; он не был товарищем участников тайного общества, он никому не изменял, он был просто русский генерал из немцев, да и безыменный агент, которому он поручил подсматривать за обществом, кажется, ничего не подсмотрел и ничего не донес. Но те четверо вполне заслуживают имени доносчиков, и нам бы очень хотелось сказать о них что-нибудь подробное, но, к сожалению, источников у нас мало. Шервуд и Майборода, как видно из донесения, изменив обществу, предложили правительству остаться при обществе шпионами. Что после вышло из Майбороды — нам вовсе не известно. Шервуд, которого император Николай произвел в дворяне и назвал *«верным»*, был после на службе экзекутором в государственном совете и там, *за деньги,* украл какой-то документ, в чем был уличен по суду и сослан. Комаров (на лице которого Якушкин видел, что он изменяет) впоследствии был губернатором в Симбирске, где о нем еще и теперь иногда вспоминают как об одном из самых скверных губернаторов; выбыл оттуда вследствие грязной ссоры с жандармским полковником:

шпионством погрешивый, шпионом и наказан. Но с Ростовцевым вышло еще хуже: он попал в книгу Корфа, где так велеречиво расписан, что от такого позора ему уже никогда не оправиться. «Благородный двадцатилетний юноша, горевший любовью к отечеству и преданный великому князю (по словам Корфа), *в порыве молодого неопытного энтузиазма* предложил для себя трудную задачу: спасти вместе — хотя бы ценою собственной жизни — и отечество и монарха», т. е. это на простом языке значит: не подвергая жизнь свою ни малейшей опасности, сделать донос. За сим следует письмо Ростовцева к Николаю: «... думая, что люди, вас окружающие, не имеют довольно смелости, чтобы быть откровенными с вами...» Откуда же такая мысль г-на Иакова Ростовцева? Разве нужна какая-нибудь смелость для того, чтоб сказать великому князю: берегитесь, есть заговор? На такую смелость всякий трус способен. «Не почитайте меня коварным доносчиком, не думайте, чтоб я был чьим-либо орудием или действовал из подлых видов моей личности,— нет. С чистою совестью я пришел говорить вам правду».— Какую же это правду? Подумаешь, что Ростовцев станет говорить о бедственном положении России, о необходимости лучших учреждений; совсем нет. Ростовцев говорит только, во-первых, что Николай Павлович великий человек *, потому что отказывается от престола; во-вторых, что готовится бунт, вследствие которого Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша и Литва отпадут от России; в-третьих, что надо, чтобы Константин Павлович сам приехал провозгласить Николая императором; в-четвертых, доносчик просит казнить его, если его поступок дерзок; в-пятых, просит: «...не награждайте меня ничем; пусть останусь я бескорыстен и благороден в глазах ваших и моих собственных!»; шестое: «Об одном только дерзаю просить вас — прикажите меня арестовать».— Ловко! Тут все есть — и лесть и бескорыстие. Странно немного, что человек, который думает, что в его поступке может быть

---

* Это нам напоминает Ш. Дюпеня [44], который говорил Луи-Филиппу: «Я мужик, я вам не стану льстить, как другие; я вам просто скажу, что вы величайший человек нашей эпохи». Теперь этот откровенный человек, душеприказчик и друг Луи-Филиппа, принялся так же откровенно служить Наполеону III. Для этих людей что ни монарх — то и великий человек, что ни поп — то батька.

что-нибудь достойное казни, через две строки просит, чтоб его ничем не награждали, и вслед за этим просит ареста. Очевидно, что арестовать было не за что; но в арестантской комнате бывает так тихо, что лучше и желать нечего. Разумеется, прочитав письмо, Николай Павлович позвал Ростовцева, обнял его и сказал ему: «такой правды я не слыхивал никогда». Что при этом Николай Павлович и Ростовцев понимали под словом *правда,*— этого решительно не поймет никто из обыкновенных смертных. Далее Николай Павлович сказал Ростовцеву: «Может быть, ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их, думая, что это противно твоему благородству,— *и не называй!»* Мы бы искренно хотели видеть в этом благородную черту Николая, но нам мешает то, что в тот же день, 12 декабря, в 6 часов утра, он уже получил от Дибича [45] донесение о заговоре и в присутствии Милорадовича и Голицына решился арестовать поименованных в донесении заговорщиков (см. книгу Корфа, стр. 91). Стало, что же сказать об этой выходке?.. «Далее Николай Павлович сказал Ростовцеву: «Но если разум человеческий слаб, если воля всевышнего назначит иначе и мне нужно погибнуть, то у меня *шпага с темляком: это вывеска благородного человека»»* (!!). За сим Ростовцев сказал ему: «Ваше высочество — это личность. Вы думаете о собственной славе и забываете Россию...» В этом случае Ростовцев сказал, конечно, что-то похожее на правду. Потом Николай Павлович сказал: «ежели нужно умереть, то мы умрем вместе». За сим Николай Павлович и Ростовцев обнялись и прослезились. 13 декабря не уединенный под арест Ростовцев после обеда дал копию своего письма и записку о разговоре с государем своему товарищу, при Рылееве, т. е. дал копию с доноса заговорщикам, на которых доносил, чтобы таким образом совершенно разыграть роль благородного человека. Здесь мы должны заметить историческую разницу: незабвенный Иуда Искариотский предал Христа после трапезы, а Ростовцев прежде донес на товарища, а потом с ним пообедал. Далее... далее — просто Яков Ростовцев сделался генерал-адъютантом (что надо было ожидать) и Иаковом (чего уже никто не ожидал).

Каким образом Корф помирит то, что на 91-й странице он говорит, что Николай решился арестовать *поимено-*

ванных в донесении Дибича заговорщиков, а на 104-й странице: «Ростовцев никого, однакоже, не указал; никого не назвал по имени, а *разыскания* графа Милорадовича *остались совершенно бесплодными»?* Тут есть что-то непонятное, по крайней мере, столько же противного здравому смыслу, как и само междуцарствие, как и то, что Николай в своем манифесте говорит, что он присягал Константину, «дабы отклонить любезное отечество от малейшей, даже и мгновенной неизвестности о законном его государе», между тем как именно это присягание и повергло отечество в неизвестность о законном государе. Далее в манифесте, упомянув об актах, присланных Константином, Николай говорит: *«Сколь ни положительны* сии акты... мы признали однакоже... *положению дела сходственным, приостановиться возвещением оных...»* Почему же это? Где тут здравый смысл?.. Удивительно! Не менее удивительно вечернее заседание Государственного совета с 13 на 14 декабря. Почему Николай хочет явиться в совет непременно с Михаилом Павловичем, которого нет в Петербурге, теряет время и заставляет старческое собрание ждать до позднего часа? Все дело так ясно, что без всякого Михаила Павловича могло быть покончено в полчаса; а Николай ждет и насилу решается итти в совет, обняв прежде обеих императриц. Досуг тут было государственному человеку разыгрывать чувствительные сцены, которые больше смешны, чем чувствительны. И чего же Николай боялся итти один в совет? Ждал что ли какого сопротивления от членов совета? Он без сомнения знал, что и все это заседание только государственный формализм, к которому присутствие Михаила Павловича ничего бы не прибавило. В совете Николай опять разыгрывает ту же таинственность, велит читать вслух объявление Константина и потом прячет его к себе в карман, «не велев давать ему гласности, собственно по причине особенно сильных и даже резких его выражений». Если Корф счел нужным сказать это (стр. 113), по крайней мере он бы не должен был печатать в своей книге объявления Константина, прочитав которое каждый увидит, что в нем никаких сильных и резких выражений нет, а что, напротив того, это объявление Константина написано так, что из уважения к памяти цесаревича не худо было его истребить или хотя назвать Демосфена-семина-

риста, сочинявшего объявление, чтобы никто не подумал, что оно сочинено самим цесаревичем.— Как мог Николай, имея в руках все нужные акты, получив в 6 часов утра донесение о заговоре, ждать целый день Михаила Павловича и сидеть с императрицами, вместо того чтоб тотчас же собрать совет и тотчас же привести гвардию к присяге? Для публики это останется совершенно непонятным, и напрасно мы стали бы отыскивать во всем этом какого-нибудь сокровенного смысла; тут просто отсутствие всякого смысла — и только. Тут столько же смысла, как и в том, что в письме к Волконскому, от того же 12 декабря, император Николай говорит: «я начинаю делаться *прозрачным»*. Что такое значит? Что разумеет под этим словом Николай? То ли, что он похудел? То ли, что дела пришли в такое положение, что всякому становилось насквозь видно все нелепое комедианство нежелания вступить на престол? Или что другое?.. Этого никто не решит. Барон Модест Корф, конечно, понимает смысл этого слова, иначе он бы его не выписал с таким многоуважением; но, к сожалению, барон всякий раз забывает объяснять поэтические выражения незабвенного; таким образом, *прозрачность* Николая и *гранитное чувство долга* Преображенского полка навсегда останутся непонятными для публики.

В ночном заседании совета Николай занимал председательское место; Корф называет эту ночь «началом новой эры в нашем бытописании», потому что Николай после уже никогда не садился на председательском месте, а всегда напротив председательского места по левую сторону возле докладчика. Странная причина новой эры для России!

«Из совета государь возвратился в свои комнаты; там его ожидали, в молитве, родительница и супруга. Был час ночи, следственно, уже начало понедельника, что многие сочли дурным предзнаменованием для первого дня царствования».— Какие интересные подробности! К сожалению, биограф в этих подробностях, не развив ни одного характера, развил только картину какой-то странной жизни, где нет ни силы, ни мысли. А кто эти многие, веровавшие в дурное влияние понедельника? Штатс-секретари или камердинеры? Жаль, что Корф никого не назвал;

по крайней мере мы бы увидали степень образованности тогдашнего придворного штата.

За сим следует письмо Николая к Константину; Николай просит брата быть ему наставником на пути многотрудном. Признаемся, что хотя письмо сочинял Сперанский, но эта фраза поражает неискренностью, и после объявления с сильными и резкими выражениями трудно было просить Константина быть наставником на пути многотрудном. Вдобавок Николай — и помимо знаменитого объявления — очень хорошо знал, что такое старший брат; знал, что во время молодости цесаревича Екатерина писала про него Павлу, что если он не уймет сына, то она вынуждена будет исключить его из августейшего семейства, как позорящего своим поведением дом Романовых; знал Николай и то, что Александр устранял Константина от престолонаследия по его неспособности к государственным делам. К чему же в письме к Константину это ненужное лицемерие, доходящее до смешного? Чувствительное послание к великой княгине Марье Павловне еще страннее; никто не поверит, чтобы Николай считал для себя таким огромным несчастием восшествие на престол. Все его царствование, занятое исключительно династическим интересом и боязнью какого-нибудь развития гражданственности, противуречит этому считанию себя «жертвой воли божьей и двух братьев». Такая ненужная неискренность ужасно противна.

«Державная чета отошла к покою, и — сон ее был безмятежен: с чистою перед богом совестью (точно кто-нибудь обвиняет державную чету в преступлении!) она предала себя, от глубины души, его неисповедимому промыслу.

Наступило 14 Декабря».

Очень красноречиво! Но теперь и мы приступим к 14 Декабря, то есть рассмотрим, как оно рассказано в донесении следственной комиссии и в книге Корфа.

Из рассказа Корфа можно почти заподозреть Милорадовича в принадлежании к тайному обществу. По крайней мере он старается опрокинуть на него вину, что никто из заговорщиков не был схвачен, ни даже замечен. Но ведь были заговорщики поименованы и в донесении Дибича; кто же мешал Николаю велеть их арестовать? Кто мешал Николаю велеть читать манифест перед обедней 14 Де-

кабря, а не после обедни (в чем Милорадович уже, конечно, не виноват, да и едва ли это имело такую важность, как полагает Корф)? Кто мешал ему поручить наблюдение за печатанием, раздачею и продажею манифеста умному человеку? Кто, наконец, мешал ему сделать что-нибудь энергическое и благоразумное с 6-ти часов утра 12 декабря, вместо того чтоб проводить время в ожидании Михаила Павловича? С шести часов утра 12 декабря и до того времени, когда генерал Нейдгардт [46] посоветовал Николаю послать Преображенский полк против взбунтовавшихся, прошло более двух суток.

Но, наконец, приехал и Михаил Павлович, наконец, и сам государь, «*в мундире Измайловского полка,* с лентою *через плечо, спустился* к главной дворцовой гауптвахте» и приказал Апраксину [47] привести кавалергардский полк, а Войнову [48] итти к войскам. Зачем тут Корф мимоходом называет Войнова дураком — это непостижимо *, в его книге подобная выходка так неприлична, что мы удивляемся, как ему позволили печатно оскорбить старого генерала без всякой нужды. Потом Николай сам повел дивизион к главным воротам дворца «левым плечом вперед», читал народу манифест и целовался с ближайшими из окружающих, «так сказать лежавшими у него на груди», из которых один был Лука Чесноков. Народ принимал его с криками «ура». Мы нисколько не сомневаемся, что народ на дворцовой площади принимал Николая с теми же криками «ура», как на Сенатской площади кричал «ура» Константину. Народ в этом случае не имел никакого мнения; законность присяги интересовала только войско, для которого идея присяги и знамени имеет значение. Народу было совершенно все равно, кто будет царем; он согласовался с тем, что было у него перед глазами: на Сенатской площади с заговорщиками, на дворцовой площади с Николаем. Мы еще будем иметь случай объяснить это явление. Теперь укажем только на разницу, которую полагает Корф между народом на дворцовой и народом на Сенатской площади, между солдатами бунтующего

* «...второму (т. е. Войнову) — человеку почтенному по храбрости, но *ограниченному* и не успевшему приобресть никакого веса в гвардейском корпусе — строго припомнил (т. е. Николай), что место его среди вышедших из повиновения войск...» (книга Корфа, стр. 129).

Московского полка и солдатами, например, Преображенского батальона, составлявшего «семью» императора Николая. Народ на дворцовой площади — это *любопытствующий* народ, который хватает государя за фалды мундира и целует ему ноги, выказывая *врожденную русскому народу царелюбивость;* солдаты Преображенского полка представляют *гранитное выражение глубокого чувства долга* *. Совсем другое бунтовавшая толпа. «Тут были лица, каких никогда не видать в Петербурге, по крайней мере массами; старинные, фризовые шинели с множеством откидных воротников; шинели гражданские, порядочные, и при них на головах мужицкие шапки; полушубки при круглых шляпах; белые полотенца вместо кушаков и тому подобное — целый маскарад распутства, замышляющего преступление»... и «стоявшая вокруг *чернь*».— «Солдаты, расстегнутые, с заваленными на затылок киверами, в амуниции беспорядочно накинутой, были большею частию пьяны.— Все это оглашало воздух дикими воплями, бессмысленным говором, посреди которого слышался иногда явственный крик: «ура Константин!» — «Два или три унтер-офицера беспрестанно отгоняли народ от колонны и говорили, что если уже пришлось умирать, так пусть умрут одни они, московцы, а народу не к чему лезть на смерть».— Итак, тот же русский народ на дворцовой площади — любопытствующий народ, а на Сенатской площади — чернь и лица, каких не видать в Петербурге, и фризовые шинели (без сомнения, принадлежавшие народу), и маскарад распутства, замышляющего преступление!.. Кто бы мог подумать, что люди, массою идущие на смерть, составляют маскарад распутства? Как г-н штатс-секретарь ни старается, но эта масса не будет гадка ни в чьих глазах; гадок только его рассказ о ней, тем более что уже прошло тридцать лет, как эта масса была на площади, пора бы утихнуть тупоумной ненависти и у тех людей, у которых она могла быть сгоряча; а у господина Корфа этой ненависти и не бывало; его слова — не выражение действительной раздраженности, это язык подслуживанья, которого цель — орденская лента или место по службе и которому средства для достижения этой

* *«Моя семья»* и *«гранитное* выражение» — слова самого императора Николая о Преображенском полку.

почтенной цели все равны, как бы жалки ни были; это язык лести и раболепия, это язык клеветника и холопа, это язык позорный.

Солдаты, по рассказу Корфа, были пьяны!.. Однако время было утреннее, кабаки были заперты и не были разбиты, несмотря на предложение Якубовича[49], откуда же солдаты могли взять вина? Если Кожевников[50] показал на себя — ради облегчительного обстоятельства,— что он был пьян (да еще, полно, показал ли он это?), из этого не следует, чтобы все остальные были пьяны. Пора отбросить эту гнусную клевету. Не при таких переворотах напиваются люди, когда выходят на площадь из-за убеждения; это привычка переворотов домашних. Так, Петр III был убит людьми пьяными *; так, Пален напоил у себя целую ватагу, отправлявшуюся задушить Павла I **; а кто выходит с оружием на площадь, у того бывает иное одушевление, для которого вина не нужно. Даже и то обстоятельство, что солдаты отстраняли народ, говоря, что они одни умрут за него и что ему не надо лезть на смерть,— даже и это Корф хочет представить в смешном или унизительном виде. А эта черта едва ли покажется смешной кому-нибудь из обыкновенных людей, которые еще не сделались штатс-секретарями и не писали подобострастных книг, а просто остались способными уважать всякое благородно-человеческое чувство, хотя бы и у бунтующего солдата.

Донесение следственной комиссии нигде не говорит, чтобы бунтовавшие солдаты или их начальники были пьяны; оно еще не достигло высоты слога барона Корфа и, не упоминая *о маскараде распутства*, говорит просто, что к мятежникам «пристало несколько человек во фраках, с кинжалами, пистолетами, саблями», хотя и эти фраки, судя по времени года, очень сомнительны; вероятно, это просто значит — не в военных мундирах, а в

* Это доказывают записки Е. Р. Дашковой, где она, между прочим, говорит и о письме Орлова, извещающем Екатерину о смерти Петра III, написанном в нетрезвом состоянии. (Смотри книжку 3-ю «Полярной звезды», стр. 241).

** Пален объявил заговорщикам, что и великий князь Александр Павлович одобряет их намерение. Этого было достаточно, чтобы рассеять сомнения большею частью пьяных и разгоряченных людей и вызвать их бурное согласие... (*Crusenstolpe,* Der russische Hof, т. III, стр. 356). [*Крузенштольпе,* Русский двор (нем.).— *Ред.*]

обыкновенном одеянии. Газеты того времени употребили выражение: «к ним (т. е. к бунтовавшим солдатам) пристало несколько человек *гнусного вида,* во фраках». Из этого видно, что правительство не жалело грязной краски, чтоб запачкать восстание; тогда правительство и его агенты и журналисты были раздражены; Корф, как мы уже заметили, имеет над ними то преимущество, что через тридцать лет хладнокровно подлаживается под тот же грязный колорит.

«В рядах мелькали,— говорит Корф со слов очевидца,— по временам Александр Бестужев [51], Рылеев и несколько других лиц в упомянутых фантастических нарядах». Верховный уголовный суд прямо указывает на Рылеева как на участвовавшего в мятеже на площади. Отчего же в донесении следственной комиссии мы находим следующее: «Рылеев... отвечал: «если придет хоть пятьдесят человек, то я становлюсь в ряды с ними»,— и *однакож не сдержал слова»?* Из этого следовало бы, что Рылеев не был на площади. Странно, что Корф забыл повторить эту клевету донесения и, напротив того, опровергает ее свидетельством очевидца.

Рассказ донесения и рассказ Корфа сходны, кроме этих двух пунктов, т. е. пьяного состояния мятежников, где клевещет Корф, а не донесение, и отсутствия Рылеева на площади, где клевещет донесение, а не Корф. Главная разница между ними заключается в подробностях и происходит от различия их целей. Цель донесения — показать, что делали возмутившиеся; оно и старается подробно рассказать их действия и назвать каждого из деятелей по имени; цель Корфа — показать действия императора Николая и его генералов и что происходило в августейшем семействе; отсюда у Корфа более подробностей стратегических и домашних, дворцовых. Корф, когда ему случается назвать кого из заговорщиков, делает это как бы нехотя и, большей частью, старается умолчать имена под общими названиями — офицера или гражданского чиновника. Ему неприятно напомнить публике эти имена. Донесение умолчало только имена трех членов тайного общества, прежде отставших от него и сделавших на него показания; эти три члена имели достаточно влияния, чтобы выпросить хранения их имен в тайне; вероятно, Николай и согласился на их просьбу, видя в ней страх, чтобы их

имена не были запятнаны участием в тайном обществе; а они просто боялись общественного мнения, которое, как робко ни было, а все же не могло видеть в них ничто иное, как предателей. Тут мы не можем не отдать справедливости Корфу; он поступил с тактом; несмотря на всю противуположность его методы с методой донесения, он не решился назвать трех предателей, не названных донесением, остерегся и своих не выдал. Но история еще до них доберется.

Донесение говорит, и Корф повторяет, что Александр Бестужев выдавал себя солдатам за присланного из Варшавы с повелением не допускать до присяги. Тут же мы видим, что Александр Бестужев был адъютантом герцога Виртембергского. Каким образом мог Бестужев говорить ложь, которая должна была броситься в глаза солдатам, встречавшим его безвыездно в Петербурге? Тут очевидна метода донесения и Корфа обвинять заговорщиков во лжи, и, к счастию, оба — и донесение и Корф — взводят свои обвинения так глупо, что их ложь становится очевидною с первого взгляда.

Донесение говорит прямо, что Московский полк бунтовали князь Щепин-Ростовский [52] и Михайло Бестужев [53]. Корф, по обычаю, говорит только: двое офицеров. Впрочем, читатели могут — по донесению — восстановить все имена, умолченные Корфом.

Правда ли, что «государь, перекрестясь и предав себя воле божьей, решился предстать лично на место опасности»; правда ли, что императрица «Мария Федоровна вошла к императрице Александре Федоровне в крайнем волнении и с словами: «Pas de toilette, mon enfant, il y a désordre, révolte» * — об этом мы не можем судить, да и едва ли это важно для истории. Правда ли, что государь сам читал народу манифест *«протяжно и с расстановкою, толкуя каждое слово»* ** (как будто не надеялся на ясность самого манифеста), и правда ли, что слушатели при этом бросали вверх шапки,— это тоже мы совершенно предоставляем добросовестности автора, равно как и то, что фельдфебель Дмитрий Косяков, бывший после

---

* Книга Корфа, стр. 128 и 129. [Не до нарядов, дитя мое: начались беспорядки, бунт (фр.).— *Ред.*]

** Книга Корфа, стр. 131.

полицмейстером в Павловске, был человек умный. Может быть, Корф выставляет ум фельдфебеля Косякова в противуположность глупости генерала Войнова, чтобы картина была рельефнее; но тут замечательно то, что Корф везде старается унизить лица, с которыми император Николай обошелся грубо. Таким образом, он о Милорадовиче говорит с каким-то сдержанным гневом; то кольнет его тем, что он хорошо отзывался о Якубовиче, забывая, что Милорадович был благородный человек и не мог дурно отзываться об одном из лучших кавказских офицеров; то почтительно подивится тому, что император Николай, в два дня ничем не распорядившийся, ни слова не сказал в укор Милорадовичу; то для рельефности выставит героем Орлова [54], которого сенатский чиновник ухватил за ногу, и, при встрече Милорадовича с Орловым, на запрос первого: «Allons ensemble parler aux mutins» *, заставляет Орлова отвечать: «J'en viens» **, между тем как из всего рассказа очевидно, что тогда Орлов не успел еще быть на площади. Смерть же Милорадовича описана у барона с ужасной поспешностью. Хотя Милорадович, по мнениям, и не мог принадлежать к тайному обществу, но эта храбрая, благородная и милая личность, конечно, заслуживала побольше внимания со стороны историографа русского императора; и если Корф так нехотя и неблагосклонно говорит о нем, это конечно только потому, что книга писана хотя и в 1848 году, но для императора Николая, а Николай был сердит на Милорадовича с самого 14 Декабря 1825 года, с того дня, когда Милорадович был убит, спасая его, и Корф очень хорошо понял, что не надо быть благосклонным к Милорадовичу. Мы к истории Милорадовича прибавим только три вещи: когда его несли раненого, он спросил — куда его несут; ему отвечали: в квартиру Орлова; он закричал: «Нет, нет! несите в казармы!» Должно быть, он не очень любил Орлова. Когда надо было вынимать пулю, он потребовал, чтобы операция была сделана его старым доктором, не желая перед смертию его обидеть, давши сделать операцию кому-нибудь другому. Принявшись диктовать завещание, он ничего не

* Пойдем вместе уговаривать мятежников (фр.).— *Ред.*
** Я только что оттуда (фр.).— *Ред.*

нашел сказать, кроме просьбы к императору Николаю — помиловать сына его друга Коновницына [55], вероятно принадлежавшего к заговору. Мы увидим, как Николай исполнил это завещание.

Если Корф ограничивался неблагосклонностью к людям, на которых император Николай изволил только гневаться, то само собою разумеется, что он не щадит заговорщиков, на которых Николай не только гневался, но о которых постоянно носил в душе воспоминание, сделавшее из всего его царствования развитие одной темы: боязни либерализма. Мы уже упоминали, что Корф о величавой, воинственной фигуре Якубовича, которого мы сами очень хорошо помним, говорит, что черная повязка, огромные черные глаза и усы придавали его наружности что-то *замечательно отвратительное;* но мы не можем не заметить еще разговор Якубовича с Николаем, помещенный вслед за описанием наружности Якубовича в книге Корфа. Якубович приходил высмотреть распоряжения врагов и встретился с Николаем, которого обманул так, что Николай опять послал его к мятежникам. Следственно, Николай не знал, что он один из предводителей мятежа. Почему же, когда Якубович, указав на свою повязку, сказал: «вот доказательство, что я не из трусливых», а флигель-адъютант Дурново [56] воскликнул при этом «браво»,— почему Николай «остановил эту *неуместную выходку* Дурново *строгим замечанием»?* Что ж тут было такого неуместного? Или уже и тогда Николай Павлович не умел позволить при себе кому-нибудь высказать какое бы то ни было чувство? Что в этой выходке заслуживало строгого замечания,— это может быть понятно только императору Николаю и барону Модесту Корфу. Впрочем, может быть, и Корф не понимает смысла строгого замечания, но рассудив, что так как государь сам побранил Дурново, то и ему следует назвать выходку Дурново неуместною.

Что император Николай просил народ разойтись,— «по мне стрелять будут и могут в вас попасть; не хочу, чтоб кто-нибудь пострадал за меня; ступайте по домам: завтра узнаете, чем кончилось»,— это похвально и, должно быть, правда, потому что об этом свидетельствует Шницлер, как очевидец; только Шницлер иначе приводит слова императора: «Faites-moi la grâce de rentrer chez

vous, vous n'avez rien à faire ici» * — вот слова, приводимые Шницлером, из которых следует, что Николай не столько боялся, чтобы кто-нибудь пострадал, сколько боялся, чтоб толпа не умножилась. Как бы то ни было — Николай был учтив на этот раз, как никогда не бывал впоследствии. Даже, рассказывает Шницлер, старухи говорили: «Сам нас просил уйти, да еще с какой вежливостью».

Приветствие Николая конногвардейскому полку было более чем учтиво; в нем было что-то патетическое: «первый мундир, который я носил,— говорил он,— был ваш, и хотя я был тогда еще ребенок, но с сожалением поменялся им с братом Константином». Это приводит нас к любопытному вопросу: на каком основании члены императорской фамилии носят такой или другой мундир? Кто решает эту важную, государственную задачу? И зачем они скидают какой-нибудь мундир, если им его жаль? Мы очень желали бы узнать разумную причину всех этих костюмирований, которые отдаляют членов царской фамилии от гражданских вопросов и приводят их к интересам фельдфебельским. И как человечески объяснить явление, где эти фельдфебельские интересы возводятся до какого-то пафоса, до какой-то страстности? — Но при всей этой страстности, из книги Корфа видно, что Николаю не хотелось настоящего боя, несмотря на то, что принц Евгений Виртембергский с истинно немецким усердием «поднял свою лошадь на дыбы и, повернув ее, сказал с досадой: «Cela ne servira à rien!» **. В самом ли деле принц Евгений поднял свою лошадь на дыбы, или Корф говорит это только ради красноречия,— это тоже важный исторический факт, которого действительность определит разве позднее потомство.

Развив всю важность случая, что Михаил Павлович присягал в *первый раз* отроду, Корф рассказывает, что офицеры не бунтовавшего отряда Московского полка бросились целовать руки и ноги государя. О таких руконожных поцелуях Корф упоминает раза три; это намеренное повторение заставляет сомневаться в истине самого происшествия, хотя мы и не имеем положительных доказа-

---

* Вероятно: «пожалуйста, разойдитесь». [Буквально: сделайте милость, ступайте домой, вам нечего здесь делать (фр.).— *Ред.*]

** Ни к чему это не приведет! (фр.).— *Ред.*

тельств против него, разве только то, что Шницлер ничего подобного не рассказывает. К чести наших офицеров и народа мы желали бы усомниться в действительности этих холопских изъявлений усердия, которым так радуется сердце барона Модеста Корфа.

Странным образом объясняет Корф замедление Измайловского полка выступить против мятежников. По его словам, замедление произошло оттого, что Кавелин, посланный привести его, услыхав, что в полку были возгласы в пользу Константина, спросил ротного командира Богдановича — ручается ли он за людей, а Богданович отвечал, что ручается. Тогда Кавелин сказал несколько слов солдатам, и полк двинулся. Где же тут объяснение *замедления?* На все то, что делал Кавелин, пяти минут было бы много. Откуда же замедление? Барон, защитник исторической истины, имеет о ней какие-то странные понятия. Не менее странные понятия имеет он о замечательных людях. Рассказав, как Орлов скомандовал: *«равняйсь»,* он далее повествует, как у коннопионеров был убит только один унтер-офицер, замечательный тем, что «при формировании коннопионерного эскадрона он первый, в образчик обмундирования, был представлен покойному государю». Что ж тут замечательного?

С прискорбием встречаем мы у Корфа смешную фигуру Карамзина с chapeau claque * подмышкой, в пудре, мундире и шелковых чулках, пробирающегося поклониться государю. Бедный историограф! К чему послужило все его либеральное ратоборствование против Иоанна Грозного? Корф его окончательно свел с ученого пьедестала в придворную грязь.

Вслед за описанием историографа России Корф рассказывает ответ императора Николая дипломатическому корпусу. Николай смотрел на восстание как на семейное дело — «c'est une affaire de famille à laquelle l'Europe n'a rien à démêler» **.

Корф в этом ответе видит что-то великое, но, беспристрастно говоря, он выражает совершенное непонимание того, что происходило, смешанное с аутократической наглостью. Насчет *состава* (!) лейб-гвардии гренадерского

* Складной цилиндр (фр.).— *Ред.*

** Это дело семейное, в которое Европе вмешиваться нечего (фр.).— *Ред.*

полка, Корф, рассказывая происшествие согласно с донесением, избегает назвать Сутгофа [57], увлекшего роту к мятежу; но в донесении нет того тонкого анализа всех человеческих побуждений, который мы встречаем у Корфа. Например, почему рота, почти в полном *составе,* пошла за *Сутгофом?* Корф это тотчас объясняет: «по привычке слепо повиноваться начальнику». Привычка повиноваться начальнику привела к возмущению! ...очень тонко. Но, несмотря на эту дисциплину, рота, по словам Корфа, шла в большом беспорядке. Этого в донесении нет, да и нужды не было итти в беспорядке. Далее про те роты того же полка, которые пошли за Пановым [58], Корф рассказывает (по донесению), что Панов бегал из роты в роту, уговаривая солдат к восстанию; но от себя Корф прибавляет, что солдаты не слушали его внушений; а через несколько строк мы уже видим, что солдаты отправились за Пановым с возмутительным криком «ура» (и почему в этом случае *ура* возмутительнее, чем в другом?), так что читатель и не ожидал такой выходки со стороны людей, на которых слова Панова не производили впечатления. И рассказывая вещи подобным образом, Корф думает, что удовлетворяет «любопытству, заслуживающему право на благородное имя — исторической любознательности!» *

Император Николай сам пропустил Панова с гренадерами на Сенатскую площадь. «Само, конечно, провидение внушило государю эту мысль,— говорит Корф,— отстранив раздельное, вдруг на нескольких точках, действие мятежников и кровопролития почти под окнами дворца, совокупив весь их *состав* в одно место и облегчив тем последующее их поражение, она, можно сказать, решила участь дня. Этою благодатною мыслию и чудесным за минуту до того спасением императорского дома явно ознаменовалось покровительство промысла божия наступившему царствованию».— Следственно, в этом пропуске возмутившихся гренадер на Сенатскую площадь сам барон видит только чудесное влияние промысла божия, а не стратегическую мысль императора Николая. Николай, пересматривавший книгу Корфа, вероятно, не забыл бы показать, что пропуск был его стратегической мыслью, если б сознавал это. Великодушию также нельзя приписать этого про-

* 2-е предисловие к книге Корфа, стр. VII.

пуска; такое великодушие было бы просто глупо. Чему же приписать поступок Николая, не вмешивая в него сверхъестественные силы? Да просто тому, что если б он не пропустил возмущенных гренадер, то ему самому пришлось бы плохо, потому что он был бы должен участвовать в рукопашной.

Вмешательство *маститого иерарха (преставившегося* в 1843 году), т. е. митрополита Серафима, не описано в донесении, но описано у Корфа со всеми подробностями; даже не забыто и то, что архидиакон Прохор Иванов, «первый из диаконов православной церкви»,— какое торжество для православной церкви! — «удостоился в *двадцатипятилетие 14 декабря* (в 1850 году), в память события этого дня, сопричислением ордену св. Анны 3-й степени». Не забыто и то, что митрополит со свитою должен был ускакать с площади в простых извозчичьих санях. Комиссия об этом не упоминает, потому что она скупа на рассказы; она «почитает ненужным описывать все происшествия сего дня, ознаменованного буйством немногих и знаками общего усердия, нелицемерной преданности к престолу и всего более новым примером царственных доблестей, наследственных в сем августейшем доме, который был предметом безумной злобы мятежников». Фразеология, достойная хотя бы книги Корфа! И неужели автор донесения комиссии не понимал, что безумной злобы против августейшего дома у мятежников не было: солдаты стояли за Константина, принадлежавшего к тому же дому, а члены тайного общества имели в виду спасение России; августейший дом для их цели было дело второстепенное; им надо было его устранить, потому что он мешал русскому развитию; их заставляла действовать любовь к России, а к августейшему дому тут не могло быть ни злобы, ни любви.

Наконец, генерал Толь (из немцев) закричал сзади государя: «картечи бы им надо»,— и государю, как ни <не> хотелось проливать кровь, но он позволил себя уговорить и приказал стрелять. Артиллерист-солдат не хотел стрелять и отвечал офицеру Бакунину на вопрос, зачем он не стреляет: «свои, ваше благородие»! Но, наконец, и этот единственный человек, у которого еще было живо чувство связи народной, повиновался — и, конечно, каре не мог устоять.

«Измена всегда робка»,— говорит Корф. Измена чья и чему? Солдаты не изменяли Константину, а офицеры остались верны своим убеждениям. Где же измена? И где же робость? Разве оттого, что каре из немногих баталионов не мог устоять против артиллерии, можно назвать его трусом? Сам же Корф говорит (стр. 189), что мятежники вновь выстроились на льду Невы; стало, не вдруг уступили бой. Но на сентенцию мы можем отвечать сентенцией: недобросовестность раба всегда гнусна, и мы надеемся, что барон Модест Корф этой сентенции не оспорит.

Таким образом кончилось восстание 14 Декабря. Далее в рассказе Корфа идут почти исключительно дворцовые обстоятельства. Из недворцовых замечательно только, что преследование и захватывание разбежавшихся было возложено на генерал-адъютанта Бенкендорфа[59] и Орлова; оба впоследствии были шефами корпуса жандармов и тайной полиции: вот что значит быть верным своему призванию.

Из дворцовых обстоятельств самое замечательное — это возвращение императора Николая во дворец. «Встреча его с царственною семьею была на деревянной лестнице, которая прежде пожара Зимнего дворца (1837 года) вела, из-под главных ворот, в переднюю дежурную комнату возле почивальни императрицы Марии Феодоровны. Эта встреча, это свидание еще менее доступны нашему перу. Императрице-супруге казалось, что она видит перед собою и обнимает совсем «нового человека»...» (книга Корфа, стр. 190). Неужели Корф не чувствует, что это смешно? Что такое — нового человека? Зачем же обнимать нового человека? До каких нелепостей не доводит страсть к высокому слогу! Мы не можем не заметить при этом, что страсть к высокому слогу всегда показывает отсутствие внутреннего убеждения и присутствие внутренней пустоты.

Также мы не можем пропустить без внимания и следующий образчик высокого слога: «Во время молебствия возгласа к коленопреклонению не было; все стояли; только царственная чета, от первого слова божественной службы до последнего, *лежала распростертая на коленях*. Всевышний принимал *сердце царево в свою руку!*» (стр. 192).

Вот был бы отличный сюжет для барельефа. Особенно рука всевышнего, принимающая сердце царево, была бы превосходна в скульптуре. Далее на той же странице мы видим, что Николай из рук всевышнего принял свою корону. Сколько, подумаешь,— по Корфу — рука всевышнего наделала зла для России: вынула у Николая сердце и дала ему корону!

Из книги Корфа видно еще, что государь, «чуждый утомления, *тут же,* в глубокую ночь, *в шарфе и ленте,* как был целый день, *делал первые допросы* заговорщикам». Как это обрисовывает характер Николая: военный формалист и шеф тайной полиции разом, именно те два назначения, которые он так неутомимо выполнял во все свое царствование.

О возмущении Сергея Муравьева-Апостола на Юге, этой последней пробе, последнем отчаянном усилии тайного общества расшевелить Россию, Корф ничего не упоминает и от дворцовых обстоятельств переходит к тому, что

«Прошли еще годы.

Император Николай опочил от трудов своих смертию праведника, которая, неземным ее величием, удивила современников и осталась назиданием для потомства».

В чем заключается праведность смерти Николая, в чем неземное величие, что удивило современников, что в ней было назидательного — это очень мудрено понять. Разве то, что человек, умирая, не хотел причаститься не побрившись, с ненавистью и боязнью вспомнил 14 Декабря и наперекор вопиющей действительности желал, чтобы Россия шла в том же духе, как при нем, т. е. разграбленная и задавленная чиновниками-администраторами, не смеющая высказать ни одной светлой мысли, ни одного полезного, справедливого, человеческого требования и проигрывающая кровавую войну, затеянную безумным самолюбием императора.

Теперь мы опять оставим в стороне книгу Корфа и займемся существенным вопросом: почему 14 Декабря не удалось.

Было бы слишком поверхностно свести решение этого вопроса на стратегическую ошибку. Конечно, дела приняли бы другой оборот, если бы, например, на место нерешительного Трубецкого диктатором был назначен такой

человек, как Якубович, и восставший отряд вместо того, чтобы ждать на Сенатской площади, пока сберутся императорские войска и уничтожат его, пошел бы прямо во дворец, тогда еще никем не защищаемый. Народ пристал бы к восстанию при первом успехе, тем более, что восстание обещало бы ему волю! Напрасно Корф предполагает в народе пристрастие к законности престолонаследия. Вся история русского народа противуречит этому. Не говоря о равнодушии народа к междоусобиям удельных князей, не говоря о том, что восстание против Лже-Димитрия было вопросом не престолонаследия, а освобождения от польского нашествия,— что было законного в восшествии на престол императрицы Анны, Петра III или Екатерины II? Ровно ничего. Народ оставался равнодушен. Но отчего он пошел за Пугачевым? Разве народ верил, что он в самом деле Петр III? Нисколько! Пугачев ему обещал свободу — и народ шел за ним, способствуя обману законности, изобретенной Пугачевым для облегчения своих действий; Пугачеву нужен был призрак законности не для народа, а чтобы стать на какую-нибудь почву против существующей власти. Но кроме своего темного чувства освобождения от насилия масса всегда стоит за успех; от этого народ сочувствовал мятежу на Сенатской площади и императору Николаю — на дворцовой. В сущности же масса была равнодушна к тому, кто будет царствовать — Николай или Константин. Темное предчувствие, что кто бы ни царствовал, до царя далеко, а народу все также будет плохо,— заставляет его быть равнодушным к престолонаследию и к какой бы правительственной форме ни было, если она не касается до освобождения народа от помещичьей и чиновничьей власти. А поставьте это освобождение на вашем знамени — и, будьте вы Пугачев или законный государь, народ пойдет за вами и причислит вас к лику святых. (Заметим мимоходом: от этого-то и надо русскому царю спешить освобождением масс от помещичьей и чиновничьей власти, правильным, ясным и полным освобождением, а не дразнить народ полумерами, которые могут привести только к пугачевщине; оставить же этот вопрос и воротиться к поддержанию помещичьей и чиновничьей власти теперь уже невозможно: отношения слишком натянуты). Восстание 14 Декабря, сделанное под вывескою закон-

ности Константина, а не Николая, по самой этой вывеске не могло сильно увлечь массу, равнодушную к этому вопросу. Поэтому восстание должно было основаться исключительно на войске, а не на народе; а войско в этом вопросе не могло все притти к одному мнению. Большая часть солдат должна была думать, что, вероятно, Николай Павлович прав, да вдобавок он был налицо, и как бы за ослушание не пришлось худо. Следственно, восстание даже и войско не могло увлечь законностью престолонаследия. Задней же мысли тайного общества, т. е. конституционной или республиканской, войско не могло ни угадать, ни понять; и не только масса, которой до царя далеко и которая жаждет освободиться только от ближайшего насилия, т. е. от помещика и чиновника,— не только масса не знала и не понимала конституционного или республиканского вопроса, но и в образованном и полуобразованном дворянстве это был вопрос, доступный только чрезвычайно малому меньшинству. Следственно, тайное общество основывалось только на этом малом меньшинстве и на некоторой части войска, где солдаты были преданы офицерам — членам тайного общества, потому что эти офицеры их не мучили подобно Аракчеевым, Левашовым, Шварцам et cetera. С этими средствами нельзя было выиграть дело, и вот внутренняя причина неудачи 14 Декабря.

Но, с другой стороны, темное чувство масс и мнение развитого меньшинства всегда сходны, и только недомолвка разъединяет их. Мнение меньшинства, заявленное всенародно, совершает свое, то есть заставляет темное чувство масс искать себе ясного определения. И в этом случае 14 Декабря имело успех, потому что, несмотря на весь тридцатилетний гнет николаевского царствования, мысль развития русской гражданственности росла и, может быть, возмужала до той степени, что спокойно выскажет и выполнит свои требования.

В истории императора Николая и тайного общества 14 Декабря нельзя миновать Верховного уголовного суда над членами общества. Корф ни слова не упомянул о нем, да ему и неловко было о нем говорить, потому что тут именно резче всего выражается и характер Николая и его сановников, и тут уже никакой Корф, хотя бы с удесятеренным раболепием, не может оправдать Николая. Но мы,

перепечатывая в этом издании документы Верховного уголовного суда, обязаны сказать о нем свое мнение.

К сожалению, манифест 1 июня 1826 года о назначении Верховного уголовного суда не был напечатан в числе документов, и мы не имеем его перед глазами; но о нем упоминает доклад суда императору Николаю. Из этого доклада видно, что «обряд производства уголовных дел установлен общими законами; но в деле высших государственных преступлений общий уголовный суд не мог быть достаточен». Почему же это? Почему общий уголовный суд для высших государственных преступлений недостаточен? Ответ на этот вопрос очень ясен: потому, что на основаниях общего уголовного суда никого нельзя было осудить на казнь, а так <как> императору хотелось казней, то и надо для этого было изменить общие государственные постановления, а членам особо, вне закона назначенного Верховного уголовного суда оставалось только подладиться под желание императора и придать своему решению солганный вид законности.

Вот что говорит Верховный суд:

«Из соображения законов с делом, сами собою проистекали два следующие вопроса:

1) К какому роду преступлений относятся преступления, в актах следственной комиссии обнаруженные? Суд признал единогласно, что все они принадлежат к преступлениям государственным, под именем двух первых пунктов в нашем законодательстве известным.

2) Какое наказание по законам нашим положено за сии преступления? Суд признал и единогласно определил, что преступления, в актах означенные и собственным признанием подсудимых двукратно удостоверенные, подлежат все без изъятия смертной казни».

Мы очень бы желали, чтобы русские юристы уяснили эту путаницу. Смертная казнь за преступления против царственных особ вошла *как первые два пункта* уголовного законодательства только в XV том свода законов, изданного в первый раз лет десять после 14 Декабря. Где же прежде николаевского свода преступления против царственных особ известны были у нас под именем первых двух пунктов нашего законодательства? — В судебнике Иоанна IV эти преступления относятся к статье 61-й. В уложении царя Алексея Михайловича они составляют

два первые пункта — но не уложения, а второй главы уложения (о государской чести и как его государское здоровье оберегать), и не только два первые пункта этой главы, а еще и 11-й и 21-й пункты. В воинском артикуле эти преступления относятся к главе 3-й артикулу 19-му. Где же эти два первые пункта законодательства? Очевидно, Верховный уголовный суд ссылается на уложение, которое будет издано после него. Если б Верховный суд ограничился ссылкою на исторические примеры, как казнь Мировича * и Пугачева, он имел бы хотя незаконное, но

* Суд над Мировичем — одно из замечательнейших дел Екатерины II по наглости лицемерия. Никто не сомневается, что подпоручик Мирович был подкуплен взбунтоваться, чтоб дать повод к убийству *принца* Иоанна, за что Екатерина обещала Мировичу не казнь, а награждение; Мирович польстился на награждение, а императрица велела его казнить. Манифестом 17 августа 1764 года она учредила над ним Верховный уголовный суд из сената, синода и первых трех классов персон с президентами всех коллегий (Собрание законов, т. XVI, № 12.228). В этом манифесте Екатерина объясняет нить престолонаследия: «Когда всего нашего верноподданного народа единодушным желанием (когда же это народ изъявлял его?) бог благоволил вступить нам на престол всероссийский и мы, ведая в живых еще находящегося тогда принца Иоанна, рожденного от принца Антона Брауншвейг-Вольфенбительского и от принцессы Анны Мекленбургской, который был на некоторое время (как всему свету известно) незаконно в младенчестве *определен* к всероссийскому престолу императором и в том же еще сущем младенстве советом божиим низложен навеки, а скипетр законнонаследный получила Петра Великого дочь, наша вселюбезнейшая тетка, в бозе почивающая императрица Елисавета Петровна; то первое нам было, по принесении хвалы богу всемогущему, желание и мысль, по природному нашему человеколюбию, чтоб сему, судьбою божиею низложенному человеку сделать жребий облегченный в стесненной его от младенчества жизни. Мы тогда же положили сего принца сами видеть, дабы, узнав его душевные свойства, и жизнь ему, по природным его качествам и по воспитанию, которое он до того времени имел, определить спокойную». (Эта спокойная жизнь была — заключение в Шлиссельбургской крепости!) «Но с чувствительностью нашею увидели в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, лишение разума и смысла человеческого. Все бывшие тогда с нами видели, сколько наше сердце сострадало жалостью человечеству» — Екатерина определила к несчастному принцу капитана Власьева и поручика Чекина.— «Сим двум офицерам мы повелели его также призирать и соблюдать. Но не могли однакож избегнуть зла и коварства, такого в роде человеческом чудовища, каковый ныне в Шлиссельбурге с отчаянием живота своего в ужасном своем действии явился. Некто подпоручик Смоленского пехотного полка малороссиянец Василий Мирович, *первого изменника с Мазепою Мировича внук,*

все же какое-нибудь основание. Замечательно, что XV том николаевского свода законов вводит смертную казнь за преступления против царственных особ и именно против первых двух пунктов, которые в первый раз как таковые являются только в этом XV томе свода, на основании исторических примеров, т. е. казни Мировича, Пугачева и двух повешенных во время чумы в Москве, прямо говоря, что «казнь смертная, *по указам 1753 и 1754 годов другими наказаниями замененная,...* определяется действующими ныне законами — за следующие токмо преступления». Из этого ясно, что и XV том свода, напечатанный в первый раз в тридцатых годах (?), не говорит, чтобы первые два пункта существовали в нашем законодательстве до него, а утверждает их на исторических примерах, помещенных

по крови своей, как видно, отечеству вероломный, провождая свою жизнь в мотовстве и распутстве и тем лишась всех способов к законному достижению чести и счастия, наконец отступил от закона божия и присяги своей, нам учиненной, и не зная, как только по единому слуху, о имени принца Иоанна, а тем меньше о душевных его качествах и телесном сложении, сделал себе предмет, через какое бы то ни было в народе кровопролитное смятение, счастие для себя возвысить».— И будто кто-нибудь мог поверить, что Мирович, какой бы он мот ни был, взбунтуется на таком странном основании! Благонадежные офицеры Власьев и Чекин, *«увидя перед собою силу непреодолимую»,* т. е. один взвод, стоявший в карауле, решились убить принца Иоанна, за что их, конечно, похвалили, а Мировича отдали под суд.— 10 сентября 1764 года Екатерина издала манифест о том, чтоб пехотному Смоленскому полку бунт Мировича в укор не ставить (Собр. законов, т. XVI, № 12.237). Вероятно, в подражание этому указу император Николай повторил его смысл в отношении родственников заговорщиков 14 Декабря.— 15 сентября состоялась сентенция о Мировиче. Сентенция приводит конфирмацию императрицы на доклад собрания (т. е. Верховного суда), доклад, «которым собрание, приняв в рассуждение важность Мировичева злодейства и чтоб частыми по сему делу могущими представлениями не нанести нежному, человеколюбивому и милосердному ее императорского величества сердцу прискорбие и беспокойства, всеподданнейше просило ее императорское величество, чтоб только на сей случай соизволила уполномочить собрание в решении дела, и в надлежащем по тому исполнении для будущего потомков спокойствия и безопасности государства поступить по законам и чтоб притом же всемилостивейше дозволено было собранию поступить по сему делу во всем по большинству голосов». В конфирмации Екатерина отвечает: «...что принадлежит до ее императорского величества *собственного оскорбления,* в том сего судимого всемилостивейше прощает; в касающихся же делах *до целости государственной,* общего благополучия и тишины, в силу поднесенного доклада на сего дела

им в примечаниях. Как же Верховный суд мог ссылаться на последующее законодательство? Ему, или, лучше, императору Николаю, было тогда неловко основаться только на незаконном примере Екатерины II, стыдно перед публикой. Нельзя было тут же изменить закон Елизаветы, которая говорит, что по ее указу 2 августа 1743 года генерал-фельдмаршалу Лессию видно, что она установила *всякие смертные преступления* не натуральной, но политической смертью наказывать, т. е. ввести на виселицу или положить голову на плаху и потом сослать на каторгу (высочайшая резолюция на докладе сената 1753 года, марта 29-го; см. собрание законов, том XV). Николаю хотелось сохранить вид законности, и он велел Верховному суду сослаться на уложение, которое он, Николай, еще

случай отдает в полную власть сему верноподданному собранию». Таким образом, собрание и приговорило «отсечь Мировичу голову и, оставя тело его народу на позорище до вечера, сжечь оное потом купно с эшафотом, на котором та смертная казнь учинена будет». Во время допросов Мировичу собранием были «примечены с удивлением и прискорбием отважное в злодействе его *незазорство* и некоторая человечество превосходящая и паче зверская окаменелость»; поэтому собрание отправило к Мировичу увещевать его Афанасия епископа Ростовского, гетмана Малороссии графа Разумовского, генерала аншефа князя Голицына и Медицинской коллегии президента барона Черкасова, которым Мирович сказал, что «кроме того, что его рукой подписано, более ничего объявить не имеет и что все будущие муки понести желает и никогда царства небесного наследовать не хочет, ежели как прежде, так и теперь что ни есть или кого-нибудь утаивает».— Мы печатаем эти выписки из дела Мировича, потому что оно в публике не так известно, как дело Пугачева, о котором сентенция напечатана в приложениях к Истории Пугачева Пушкина. Собрание Верховного суда над Мировичем ссылается на 1-ю и 2-ю *статьи главы II* Уложения и на военные артикулы,— как и в деле Пугачева, нисколько не говоря о *известных двух пунктах* нашего законодательства, как выражается Верховный суд 1826 года, пунктах, которые стали известны только с изданием николаевского свода. Вот эти два пункта: 1. Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть сам бог повелевает. 2. Та же власть верховная и самодержавная принадлежит и императрице, когда наследство престола, в порядке для сего установленном, дойдет до лица женского; но супруг ее не почитается государем; он пользуется почестями и преимуществом *наравне с супругами государей* (!), кроме титула (свод законов, пол. изд. 1842 года). Эти два пункта составлены из указов 1716, 1720 и 1797 года, в которых они не именуются первыми двумя пунктами.

издаст впоследствии. Так вот по какой причине им был задуман свод законов! Тут все есть: и боязнь общественного мнения, проистекающая не из чувства нравственности, а из чувства формального приличия, и вместе с тем презрение к законам своего государства, византийское лицемерие и жажда достичь своей цели, т. е. казни подсудимых, не решительностью, не силой воли, которую ему напрасно приписывают, а адвокатской уловкой, судебным крючком, или попросту — гаденькой ложью, которая вдобавок была глупа, потому что уже гораздо умнее было бы сослаться на пример Екатерины, чем на еще не изданное законодательство, тем более, что кому же и было, как не внуку, подражать достойному примеру бабушки?

Своему Верховному уголовному суду, составленному из совета, сената, синода и пятнадцати генералов (всего около 80 членов) под председательством Лопухина и с прокурором князем Лобановым-Ростовским, предписал установить разряды степеней виновности подсудимых и степеней наказаний, а этот Верховный уголовный суд начинает с того, что судит следующим образом: «...общий порядок правосудия,— сказано в докладе,— и правила вашим императорским величеством предначертанные, требовали личного в допросах удостоверения. К сему два пути предлежали: призыв подсудимых пред суд или наряд к ним комиссии, судом избранной и из среды его составленной; ваше императорское величество и тот и другой способ соизволили предоставить его усмотрению. Он избрал последний, как равно достоверный, но по числу подсудимых более удобный».

Что за бездна лицемерия и коварства! Николай разыгрывает роль, будто он в это дело и не вмешивается, а все предоставляет суду; суд находит более удобным, чтобы особая комиссия ходила к подсудимым, чем позвать подсудимых в суд. Во-первых, это вовсе не удобнее, а гораздо затруднительнее; даже и в частной жизни легче созвать в одно место своих знакомых, чем ездить к каждому порознь. Во-вторых, тут уже дело решает не суд, состоящий из 80 членов и выслушивающий подсудимых, а комиссия из немногих *отборных* членов, которые остальным членам представят дело в том виде, в каком им — немногим членам — заблагорассудится. К чему вся эта игра в подтасованные карты?

«Ревизионная комиссия,— продолжает доклад,— исполнила порученное ей дело с точностью. Все подсудимые подтвердили пред нею собственноручным подписанием прежние их показания».— Мы уже из записок Н. И. Тургенева видели, как были отбираемы эти собственноручные показания; вдобавок эти показания и подписи никогда не были обнародованы и составляют государственную тайну.

Итак, дело Верховного уголовного суда состояло в том, чтобы решить степень виновности на показаниях, отобранных втайне, и положить наказания на основании законов, после наказаний изданных.

После этого как императору Николаю было не умереть *«смертию праведника»!*

Для приготовления начал, на коих должны быть основаны разряды виновности, из среды суда была избрана особая комиссия, которая, обозрев все дело, приступила к установлению разрядов. «Для сего ей предлежало: определить главные *роды* преступлений, *отличить в каждом роде все его виды и, поставив их в порядке постепенности из сложения и сопряжения их,* произвесть начала разрядов».

Что за бессмыслица! Кто сочинял этот доклад — мы не знаем. Вероятно, не Блудов, потому что в донесении следственной комиссии все же больше смысла человеческого.

«Все разнообразные части обширного дела, *в совокупном их обозрении,* представляют один главный умысел: умысел на *потрясение* империи, на ниспровержение коренных отечественных законов, на *превращение* всего государственного порядка».

Что такое значит *превращение?*

«Три средства, три главные рода злодеяний предполагаемы были к совершению сего умысла: 1) цареубийство, 2) бунт, 3) мятеж воинский».

Это роды преступлений. Но что же тут именно относится к роду преступлений: умысел или средства привести его в исполнение? и какое различие между бунтом и мятежом воинским? Кажется из доклада, что умысел есть нечто целое, самобытное, а средства составляют роды злодеяний, да еще злодеяний *предполагаемых,* а не совершенных. В каком законодательстве подлежат суду злодеяния предполагаемые?

Потом идут виды преступлений:

«Каждый из сих главных родов влечет за собою свой длинный ряд преступлений». И этот *длинный ряд* состоит из *трех видов:* 1) знание умысла, 2) согласие в нем, 3) вызов на совершение его. Каждый вид в свою очередь состоит *из разных* постепенностей.

Первый вид есть род, т. е. в нем дело идет о цареубийстве. Это смешение видов и родов названо пунктами. Итак, первый пункт состоит из 10 постепенностей, которые читатели уже видели в докладе Верховного суда, перепечатанном в этом издании. Есть замечательные постепенности, например шестая постепенность: «*Злодерзостные дела* (совершенно язык просьбы Ивана Никифоровича на Ивана Ивановича), относящиеся к цареубийству, *произнесенные* не на совещаниях тайных обществ, но в частном разговоре, и означающие не умысел обдуманный, но мгновенную мысль и порыв» (Дела произнесенные и означающие порыв — что за путаница!) Десятая постепенность состоит в «знании умысла *с противуречием* против него». (И это преступление!)

Второй пункт, или вид, или род, заключает семь постепенностей участия в бунте; третий пункт — десять постепенностей участия в мятеже, из которых пятая постепенность: «*действие без возбуждения* нижних чинов и *возбуждение без действия* с полным знанием сокровенной цели»; девятая постепенность: «знание о предстоящем мятеже *без действия и без полного знания цели»;* а десятая постепенность: «*личное действие с возбуждением* или *возбуждение* без личного действия».

Из всего этого разрядо-распределительной комиссии сделалось «ясно, что к основанию разрядов нет другого средства, как соединение сих видов в каждом роде преступлений соразмерно их тяжести». Отсюда она также заключила следующее: «Вина весьма тяжкая в одном роде преступления часто сопрягается в одном лице с другими винами, менее тяжкими в других родах; а как закон (какой закон?) в сопряжении вин определяет наказание по той из них, которая считается тягчайшею: то и надлежало сию тягчайшую вину поставить в свойственном ей разряде, хотя бы лицо, по другим его винам, принадлежало к разрядам низшим».

То есть, просто говоря, это значит, что всегда надо стараться присудить наказание тягчайшее. Таким образом

произошло одиннадцать разрядов преступлений, которым комиссия сделала *«примерный опыт»*.

«При подробном рассмотрении дела найдено», что *«вины* усиливаются: *тяжкими последствиями зловредного примера, разрушением воинского порядка, кровавыми действиями некоего буйственного рассвирепения»*.

Что это такое?.. совершеннейшая дичь, и на этой дичи Верховный суд основывает свои решения.

Верховный суд, конечно, утвердил *«примерный опыт»* комиссии, «за исключением тех злодеяний, кои по чрезмерной их тяжести поставлены вне всякого разряда». Об этом внеразрядном разряде доклад суда говорит императору, что *люди, к нему принадлежащие, не должны быть доступны самому милосердию,* т. е. просит императора Николая утвердить казнь. Уже тут тотчас становится видно, что государь благосклонно согласится на такое представление и с горестью, но со свойственным ему великодушием подавит в себе чувство милосердия, сколько бы это ни стоило его чувствительному сердцу.

Таким образом, Верховный суд определил десять разрядов наказаний: 1) четвертование (для внеразрядных пяти человек), 2) отсечение головы (тридцати одному человеку), 3) политическую смерть (семнадцати человекам), 4) в каторжную работу вечно (двух человек), 5) в каторжную работу на время и потом на поселение (тридцать восемь человек), 6) вечно на поселение (пятнадцать человек), 7) вечно в Сибирь (три человека), 8) в солдаты до выслуги (один человек), 9) в солдаты с выслугою (восемь человек). Какая разница между ссылкою вечно на поселение и ссылкою вечно в Сибирь — это очень темно; отчего в солдаты *до* выслуги — значит в солдаты *без* выслуги — это также непонятно. Этот безграмотный Верховный суд вменяет себе долгом донести, что «определения и приговоры его состоялись или *по большинству голосов всего собрания,* или же по *бóльшему числу голосов одинакого мнения»;* но ведь *бóльшее число голосов одинакого мнения* и составляет *большинство* голосов; разве доклад хочет сказать в первом случае по *единогласному* решению всего собрания, ну тогда так и надо говорить. Как же браться за решение уголовного дела, когда не умеешь грамотно связать двух мыслей?

Члены *святейшего* синода объявили (как и в деле Пугачева), что «они наперед согласны со всякой сентенцией, но поелику они духовного чина, то к подписанию сентенции приступить не могут». Это нехитрое лицемерие, делающее различие между подписью под согласием на сентенцию и подписью под самою сентенциею, смешно и отвратительно и кладет действительное пятно на русское духовенство, пятно бессилия, лжи и раболепия.

Из всех своих многосложных трудов Верховный суд заключил, что *«дух крамолы может вторгнуться в Россию только заключенный в пределах отчаянного разврата»* и что он, Верховный суд, искал по слову государеву *«единого: справедливости,* справедливости нелицеприятной, ничем не колеблемой, на законе и силе доказательств утвержденной...»

И все это совершенно зная, что она ни на каком законе не основывается!

За сим следует роспись преступникам. Не говоря вообще о бездоказательности большей части взводимых на них вин, мы сделаем несколько отдельных замечаний.

Сергей Муравьев-Апостол обвиняется в требовании убиения *в особенности* цесаревича. Такой нелепости не мог иметь в виду Сергей Муравьев; у него не было никакой личной вражды против цесаревича, а сам цесаревич совсем не был таким сильным человеком, чтобы его жизнь или смерть были чем-то особенно важным для заговорщиков.

О многих сказано: *«возбуждал нижних чинов* к мятежу». И сентенции-то не умели написать грамотно!

Никита Муравьев участвовал в умысле на цареубийство, а потом изменил в сем отношении свой образ мыслей,— как же его приговорить к наказанию по разряду за умысел на цареубийство?

Какая разница между виною осуждаемых на отсечение головы и виною присужденных к политической смерти? Первый, присужденный к политической смерти, «капитан Тютчев, участвовал в умысле на цареубийство согласием, участвовал в умысле бунта возбуждением и подговорением нижних чинов и знал о приготовлении к мятежу»,— словом, виноват во всем том, за что другие осуждены на казнь. Очевидно, что суд руководствовался в присуждении наказаний своей фантазией или тайными приказаниями.

Штабс-капитан Муравьев осужден на 15 лет каторжной работы за то, что «произносил дерзостные слова в *частном разговоре,* означающие *мгновенный порыв на цареубийство».* Что это такое!

Почему Александр Муравьев, участвовавший в умысле на цареубийство и первый основатель тайного общества, менее виноват, чем другие? Потому ли, что отстал от общества? Но которые отстали от умысла цареубийства, тем не менее осуждены за этот умысел; чем же тут руководствуется Верховный суд? Очевидно, тайными предписаниями.

Присуждение одного и того же мы находим за следующие вины:

Поручик Андреев 2-й. Принадлежал к тайному обществу с знанием цели оного и *возбуждал к мятежу.*

Штабс-капитан Назимов. Участвовал в умысле бунта *принятием одного товарища.*

Да где же тут есть равная степень виновности? Из всей сентенции очевидно, что и с своей точки зрения, т. е. признания заговорщиков за злодеев, Верховный суд присуждал наказания совершенно произвольно, как ни попало или по тайным предписаниям.

Указ Николая Верховному суду, по рассмотрении доклада, находит, что приговор силе *законов сообразен.* Николаю, конечно, легче было найти это, чем самому Верховному суду, потому что Николай находил приговор сообразным с теми законами, которые он со временем издаст.

За сим следуют смягчения наказаний. Тут замечательно то, что большая часть раскаяний, изъявленных подсудимыми, на них выдуманы. Скажем первый пример, приходящий на память: Якушкину [60] смертная казнь сведена на двадцать лет каторжной работы, по уважению совершенного раскаяния. Между тем раскаяние Якушкина состояло только в следующем: он сказал суду, что соглашался на цареубийство и сам решался на него, что, следственно, он должен быть осужден на казнь, и пусть его казнят, но что он более говорить ничего не будет. Император Николай сам его позвал и велел признаваться. Якушкин и ему сказал то же, что перед судом. «Да знаешь ли, перед кем ты стоишь? — закричал государь.— За то, что ты государю не говоришь правды, если бы и я

тебя помиловал, то на том свете бог тебя не простит».— «Да ведь я в будущую жизнь не верю»,— отвечал спокойно Якушкин.— «Вон отсюда этого мерзавца»,— закричал Николай и велел опять отвести Якушкина в тюрьму, дать ему катехизис, кормить его постным и ежедневно посылать к нему попа для назидания. Вот и все раскаяние Якушкина.

Донесение следственной комиссии, Верховный суд и сам император выдумывали на подсудимых раскаяние по двум причинам: раз — чтобы унизить тайное общество, а потом — чтобы иметь случай придраться к раскаянию для смягчения наказаний; нельзя же было все казнить да казнить.

Между преступниками, по решению суда присужденными к отсечению головы, только подполковник Норов получил наибольшее смягчение наказания — только пятнадцатилетнюю каторжную работу. Тут Николай оказал великодушие, потому что все знали, что он с Норовым имел личную вражду. На каком-то учении Николай (разумеется, бывши еще великим князем) рассердился, подбежал к Норову с ругательствами и ногою брызнул в него грязью из бывшей тут лужи. Норов, положив шпагу в ножны, ушел и подал в отставку. Император Александр страшно рассердился на этот случай и велел Николаю просить извинения у Норова. Николай исполнил приказание императора, говоря Норову, что и Наполеон иногда ругал своих маршалов. «Мне так же далеко до маршала Франции, как вам до Наполеона»,— отвечал Норов.

В своих решениях Николай не всегда согласуется с соображениями Верховного суда. Так, преступникам, приговоренным судом к отсечению головы, он определяет двадцать лет каторги; а из приговоренных только к политической смерти — двух Бестужевых оставляет на каторге вечно; а Лунина * [61] и остальных этой категории осуждает

* Судьба Лунина замечательна. По окончании каторги он жил на поселении в Сибири и писал в Россию своей сестре письмо, из которого было видно, что он не изменил своим убеждениям, не упал духом, и сохранил веру в русское развитие. Это письмо как-то дошло до Николая. Николай велел отправить Лунина опять в дальние рудники, где его не заставляли работать, но держали в сыром и скверном каземате, не позволяя иметь ни книг, ни пера, ни бумаги. Лунин, изнывая от праздности и скуки, просил, чтобы ему позволили шить платье для солдат. Один из главных докторов,

на двадцать лет, наравне с преступниками высшего разряда.

Коновницына Николай помиловал, вероятно по завещанию Милорадовича, и, вместо присужденной *ссылки в Сибирь просто на житье,* велел написать его в солдаты *без выслуги в дальние гарнизоны!*

Цебрикова, приговоренного судом в солдаты с выслугою без лишения дворянства, Николай — за участие в мятеже — осудил *как недостойного благородного имени* разжаловать в солдаты без выслуги, с лишением дворянства.

«Наконец,— говорит Николай в указе Верховному суду,— участь преступников, здесь непоименованных, кои по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, *предаю* решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое об них в сем суде состоится».

Он даже назвать их не хочет в указе и отстраняет от себя решение. Суд, «сообразуясь с высокомонаршим милосердием, в сем самом деле явленном, смягчением казней и наказаний, прочим преступникам определенных», присуждает «вместо мучительной смертной казни четвертованием Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому [62], приговором суда определенной, сих преступников за их тяжкие преступления повесить».

Таким образом окончилась эта игра, недостойная и ненужная, потому что все же было бы откровеннее и, следственно, благороднее, без всякого суда, по царской воле, как оно в действительности и было, определить те же наказания. Всем этим внешним лаком формализма лицемерие нисколько не замазало истины и только выставилось во всем своем отвратительном виде перед общественным мнением.

10 июля 26 года Николай дал указ Верховному суду; 11 июля суд отослал свой протокол в сенат. 13 июля сенат предписал исполнение приговоров.

За сим следовал манифест 13-го же июля, удивительный манифест по бессмыслице слога.

проезжая в том месте и находя положение Лунина невыносимым, уговаривал его написать просьбу к государю об облегчении своей участи. Лунин не согласился и вскоре умер. Лунин был один из замечательных партизанов 1812 года.

«Мы зрели благотворную его (всевышнего) десницу, как она растворила завесу, указывала зло, помогла нам истребить его собственным его оружием — *туча мятежа взошла как бы для того, чтобы потушить умысл бунта»*.

«Составленный горстью извергов, он (умысл) *заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную»*.

«Мы видели при сем самом случае новые *опыты приверженности;* видели, как отцы не щадили преступных детей своих, родственники отвергали и приводили к суду подозреваемых; видели все состояния соединившимися в одной мысли, в одном желании: суда и казни преступникам».

Если и были такие позорные примеры, что отцы выдавали детей,— неужели это могло тешить Николая? Как он решился вслух объявить себя покровителем подлецов — это неимоверно! Впрочем, он и впоследствии положил награду отцам, доносящим на своих сыновей по политическим делам в Польше.

«Следственная комиссия в течение пяти месяцев неусыпных трудов, *деятельностью, разборчивостью, беспристрастием, мерами кроткого убеждения(!)* привела самых ожесточенных к смягчению, возбудила их совесть, обратила к *добровольному и чистосердечному признанию*. Верховный уголовный суд, *объявив дело* во всем *пространстве его государственной важности*, отличив со тщанием все его виды и постепенности, положил оному *конец законный»*.

И все это клевета и ложь!

«Да обратят родители все их внимание на нравственное воспитание детей. *Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздность телесных сил, недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец погибель»*.

Подписав эту бессмыслицу, император Николай стал царствовать, не изменяя своему принципу страха перед всякой человеческой мыслью, перед малейшим развитием образования; на том основании он учреждал следственные комиссии одна за другой над каждым юношей, ска-

завшим неосторожное слово на каком-нибудь празднике или заявившим какую-нибудь здравую мысль; на этом основании он бросился в объятия вечно враждебной Австрии и вмешался в венгерскую войну; на этом основании он удалил от себя всех порядочных людей и бессознательно явился главою грабящей администрации, другом грабящих и бездарных генералов и проиграл Севастополь, и «умер смертию праведника», оставив Россию истощенную, задавленную, с расстроенными финансами, с некормленным и дурно вооруженным войском...

И несмотря на все это, против его воли, мысль развития русской гражданственности росла в людях русских!..

Возобновив в памяти наших соотечественников факты и людей тайного общества 14 Декабря, мы исполнили священную обязанность: стыдно было бы, если б по появлении книги Корфа ни один русский голос не восстал в защиту русских мучеников. Но мы еще раз повторяем: мы не друзья крутых, кровавых переворотов; они не достигают цели, если смысл их не ясен в сознании народном; а если смысл переворота ясен в сознании народном, то и самый переворот может осуществиться без потрясений и кровопролитий. Царствование Николая было для России каким-то тупым, тяжелым болезненным состоянием; после смерти его Россия вздохнула свободно. Цепь снята, толчок дан; теперь надо итти вперед и трудиться. Мы полагаем, что Александр II имеет расположение к добру, и верим в неодолимую силу обстоятельств, которая выведет Россию из-под немецко-татарского давления, из узкой, немецко-татарской колеи — на широкий путь человеческого развития.

Александр II сказал Корфу о 14 Декабре: «Дай бог, чтобы впредь никогда не приходилось русскому государю ни наказывать, ни прощать за подобные преступления!» Мы искренне желаем, чтобы Александр II, при всех своих добрых намерениях, изменил, наконец, и эту нереальную точку зрения и увидел бы, что исторические события вызываются общественною потребностью и нуждою и не составляют преступления, что, следственно, прощать историческому явлению не в его власти. Мы искренне желаем, чтобы он увидел, что для устранения потрясений в России надо, чтобы он шел вперед с общественным развитием, чтобы он стал во главе общественного развития, а не

тянул бы русскую гражданственность обратно в грязную немецко-татарскую колею, из которой тогда Россия вынуждена будет вырваться страшным потрясением, а он вместо светлой страницы заслужит печальную страницу в истории. Мы искренно желаем, чтобы он понял, что его призвание — освобождение крепостного состояния, преобразование чиновничества и водворение открытого суда и гласности. Мы искренно желаем, чтобы выполнением этого призвания он заслужил блестящую страницу в истории. Пусть он забудет страшную ошибку издания книги Корфа, пусть прогонит от себя этих людей, которых Александр I не хотел бы иметь лакеями, пусть откровенно и смело идет к своему предназначению, и да не изгладятся из его памяти стихи, ему — когда он был семилетним ребенком — посвященные тем же Рылеевым:

Люби глас истины свободной,
Для пользы собственной люби,
И рабства дух неблагородный,
Неправосудье истреби.

ЕЩЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ КРЕСТЬЯН [1]

Новый рескрипт министра [2] внутренних дел с. петербургскому генерал-губернатору от 17 февраля *, и опять рескрипт, ничего не поясняющий, ничего не определяющий.

В этом рескрипте опять говорится, что государь доверил дворянству принять меры к улучшению быта крестьян, т. е., иными словами, доверил дворянству освобождение крестьян. Доверие — дело благородное, но надо, чтоб оно было на чем-нибудь основано. Интересы крестьян, как мы уже заметили, в комитетах никем не представлены. Чиновники от министерства, которые будут заседать в комитетах, не будут представлять интересы крестьян; *образованные,* или, как в другом месте сказано, *опытные,* помещики, избранные губернаторами (!), не только не будут представлять интересов крестьян, но даже нет никакого ручательства, чтоб эти образованные и опытные были действительно образованные и опытные. Дайте же этих образованных и опытных помещиков выбрать самим крестьянам; поверьте, что крестьяне выберут себе по крайней мере умных и честных, сочувствующих их интересам. Как же можно доверить исключительно одной партии решить вопрос в пользу партии, которой выгоды

* «Le Nord» № 70.

противуположны? Не станемте требовать от людей какого-то сверхъестественного героизма; естественное стремление дворянства будет организовать новый вид рабства, и вместо благонамеренного желания правительства примирить партии, выйдет распря между дворянами и крестьянами. Нового вида рабства крестьяне не вынесут. Дайте крестьянам своих представителей в комитетах; только в этом случае дело может решиться миролюбиво, и освобождение крестьян будет действительным улучшением их быта.

Также весьма странно все толковать о каких-то судах между помещиками и крестьянами. Комитеты ничего не могут знать об этих судах. Какие это суды? обыкновенные или необыкновенные? Надо было по крайней мере сказать, о каких судах говорит г. министр внутренних дел.

Мы хотели сделать подробный разбор нового министерского предписания генерал-губернатору, но после статьи неизвестного сотрудника в прошлом листе «Колокола» [3] наш разбор становится лишним, потому что в новом предписании ничего нет нового против первого предписания, и если комитеты из первого предписания не поняли, что им надо делать, то из второго они поймут не более.

Отчего эта неясность? Очень просто: министерство само не знает, чего оно хочет,— общинного ли владения землей, прикрепленной за крестьянами, с платой за нее ренты, или только выкупа для крестьян отдельных усадебных участков. Министерству втайне хочется первого, а сказать этого оно не хочет; хочет, чтоб дворянство само решило в этом смысле; а дворянству этого смысла вовсе не хочется, а между тем оно боится министерства. Министерство, лавируя между всеми подводными камнями, настаивает на выкупе усадебной земли. Но не об усадебной земле речь; усадебную землю степные помещики дают и вольнонаемным рабочим, потому что работнику надобно где-нибудь жить. Усадебная земля — условие, без которого нет и работника. Полагать ее в какую-нибудь цену — мудрено и для крестьян обидно. Все дело в пахотной земле.— Таким образом, министерство и дворянство хотят сражаться какими-то задними мыслями, и никто не смеет сказать, чего хочет. Этим лавированием не доплывешь до берега!

Зачем вся эта политика? Зачем напечатано: улучшение быта крестьян,— читай: *освобождение;* напечатано: условная рента за пахотную землю,— читай: *выкуп земли для общины?..*

Что лучше: дипломатия или искренность?

Искренность — это сила. Дипломатия — это ложь.

Ложь — бесплодна. Искренность создает.

Мы умоляем правительство подумать об этом.

Вы хотите быть реформаторами — так будьте же.

Что же, наконец, доказывает весь этот рескрипт? Он доказывает только одно — что, видно, дело идет туго, т. е. что дворянство сильно противится освобождению крестьян и что государь, наконец, будет вынужден прибегнуть к общей правительственной мере освобождения крестьян, т. е. к мере финансовой, к общему выкупу крепостных людей с землею в России. Иной меры быть не может. Еще в 4 листе «Колокола» мы радовались[4] намерению освобождения крестьян на основании полюбовных сделок, как началу чего-нибудь, все же предпочитая общую финансовую меру. Глубоко и искренно мы приветствовали Александра II за то, что вопрос освобождения был им поставлен. Но обстоятельства имеют свою силу: на пути полюбовных сделок результат, кажется, выходит только тот, что дворянство упорствует.

Комитеты, вероятно, предложат только новый вид рабства, а это и не в желании народном, и не в желании образованного меньшинства дворян, и не в видах правительства. Если вопрос поставится так, он решится не сверху, а снизу. А кто будет в этом виноват? Только большинство дворянства. Конечно, оно поплатится собственными головами, но от этого людям благонамеренным не легче.

Как бы ни был подвержен критике проект выкупа крестьян с землею, представленный мною великому князю Константину Николаевичу, я решаюсь теперь напечатать его, исправив насколько хватило уменья. Я убежден в истинности оснований этого проекта, и хотя бы в нем было много ошибочного, все же, печатая его, я надеюсь, что он обратит внимание на вопрос и побудит знающих людей разработать вопрос для блага общего.

Освобождение крестьян без земли не может лежать в видах правительства, потому что это совершенно

противно духу русского народа, которому и в голову не приходит, чтобы земля могла быть не его. Это не лежит в видах правительства еще и потому, что благоразумное правительство не может хотеть создать пролетариат в стране, где его нет, и сосредоточить землевладение в руках дворянства, тогда как дворянство — естественный антагонист и правительства и народа, ибо arrière pensée * и цель всякого дворянства невольно есть олигархия, которой бедственное влияние славянский мир уже видел в Польше.

Так как с освобождением крепостных приобретение земельной собственности покупкою будет доступно каждому, то различие, доводящее Европу до трагических результатов, различие высшего, среднего и низшего сословия, естественно, исчезает, уступая место только двум элементам: собственнику-общине и собственнику-лицу. Собственник-община имеет характер консерватизма, крепкого хранения земельной собственности, как основания народной жизни; собственник-лицо вносит в государство характер промышленной удободвижимости, творчество в промышленности. У нас собственник-лицо не может походить на мелкого собственника или фермера, изнывающих под бременем нужды в Западной Европе; у нас собственник-лицо всегда явится достаточным собственником, имеющим возможность быть деятельным производителем в промышленном мире, потому что наши мелкие собственники останутся членами собственника-общины.

Взаимное влияние собственника-общины и собственника-лица, т. е. твердого общественного основания и живой предприимчивости, необходимо должно принесть для промышленной жизни и государственной силы огромные результаты.

До сих пор у нас крестьянская община была в загоне, никогда не жила самобытно; покупка земель была недоступна среднему сословию, потому что земля продавалась с крестьянами, могла быть покупаема только наследственными дворянами; дворянство же не получало надлежащего дохода с земли, потому что легкость пользования крепостным трудом освобождала его от деятельного участия в промышленной жизни. От этого Россия, несмотря

* Задняя мысль (фр.).— *Ред.*

на все превосходство почвы и все богатство природы, представляет страну бедняков, которые едва в состоянии заплатить государственную подать. С освобождением крепостных людей с землею, т. е. при отсутствии пролетариата, Россия оживет и разбогатеет.

Освободить крестьян с землею так, чтобы интерес помещика не страдал, можно только посредством выкупа. Где же правительство возьмет капитал для такого огромного дела, скажут мне? Нигде, потому что для этого никакого капитала не нужно. Этот капитал — сама почва; пустить его в оборот можно только посредством общественного кредита. Надеюсь доказать эту мысль совершенно очевидно.

Настоящее положение земельной и крепостной собственности помещиков приблизительно следующее *:

Всей помещичьей земли	106 228 520	десятин
Из них неудобной	25 190 270	»
Следственно, удобной	81 038 250	»
Число крепостных ревизских душ, заложенных в кредитных учреждениях	5 945 533	
Свободных от залога	5 124 528	
Всего ревизских душ	11 070 061**	
Или положимте	11 000 000	
У них в пользовании помещичьей земли удобной и под поселениями всего	33 000 000	десятин
Затем у помещиков в своем пользовании удобной земли	48 038 250	»
И неудобной	25 190 270	»
Всего исключительно помещичьей земли	73 228 520	десятин

Следственно, выкупить надо 33 миллиона десятин с их населением. Помещики охотно бы согласились взять выкуп, но у большей половины, т. е. у тех, у которых именья заложены, денег в руках не останется. Большинство помещиков скажет, что у них нет капиталов для вольно-

* Я пользовался трудами Кеппена [5] и Тенгоборского.

** Эта цифра Кеппена. По IX ревизии 10 599 000. Следственно, была убыль в народонаселении. Хорошо благодетельное управление помещиков!

наемной обработки земли. Надо создать им капиталы, и тогда они легко согласятся.

Прежде всего взглянем на настоящее положение наших кредитных учреждений. Вот оно *:

Основных капиталов в государственном заемном банке	12 633 308	р. с.
<В> Сохранных казнах воспитательных домов	75 430 799	
<В> Приказах общественного призрения	13 009 541	
Всего основных капиталов	101 073 648	
Вкладов по всем оным учреждениям	668 575 794	
Ссуд	998 354 969	р. с.

Очевидно, что основной капитал этих учреждений составляет едва 1/6 долю вкладов и 0,1 ссуд, что, конечно, никаких случайностей покрыть не может и приводит нас к мысли, что если бы этот основной капитал и вовсе не существовал, то тем не менее государственные кредитные установления делали бы свое дело обычным порядком.

Сосредоточимте в опекунском совете все дело выкупа крепостных людей с землею, т. е. все обороты по залогам помещичьих имений из государственного банка причислимте к одному из опекунских советов, подчинимте ему другой опекунский совет и приказы общественного призрения, потому что по сущности своей приказы могут быть только конторами опекунского совета и относятся к министерству финансов, а совсем не к министерству внутренних дел, как это учредилось без всякой достаточной причины. Итак, центр выкупа крепостного состояния с землею — опекунский совет. Я потому настаиваю на этом, повидимому, равнодушном факте, что ухо русского помещика и даже мужика привыкло к этому имени и что, следственно, насколько бы перемена отношений между сословиями ни была коренною, ее примут легче, потому что дело будут вести с старым знакомым, с которым находятся в непрерывных сношениях.

Положимте, что этот опекунский совет не имеет никакого иного капитала, кроме того, который нужен для содержания своих контор и для печатания своих бумаг в продолжение одного года. Этот совет предлагает сде-

* Спб. календарь 1856 года.

латься посредником между крестьянами, откупающимися на волю с землею, и помещиками, продающими им волю и землю.

Опекунский совет выдавал помещикам под залог их имений ссуду средним числом по 70 р. с. на душу, причем вся земля именья поступала в залог. Теперь он предлагает для выкупа ту же цену за душу с количеством земли около 1/3 против прежнего. Он предлагает 70 р. с. за душу при том количестве земли, которою крестьяне в сию минуту de facto * владеют, т. е. на которой живут и которую обрабатывают для себя. Но не имея наличных денег, опекунский совет выдает помещикам по 70 р. с. на душу векселями на себя. Сам же он взыскивает с крестьян 70 рублей с души на прежних основаниях, т. е. в течение 37 лет, взимая по 5% с ссуды и по 1% в уплату капитала. В течение 37 лет на этом основании крестьяне выплатят ему капитал, а он в течение 37 лет выкупит свои векселя; проценты (5% в год) остаются в его пользу.

Векселя опекунского совета обязаны ходить, как деньги. Уплату же с крестьян совет принимает ходячею монетою или государственными кредитными билетами и по мере получения выкупает свои векселя.

На 11 миллионов душ по 70 р. с. на душу совет выдаст помещикам векселей на себя 770 милл. р. с.

Те именья, которые уже заложены, конечно, получат векселей не на все 70 рубл., а только на ту сумму, которая придется при перезалоге с определенного дня. Те именья, которые не заложены, получают сполна векселя в 70 руб. на душу с того же дня.

Здесь я должен заметить вопреки мнению всех проектов, предлагавших постепенное освобождение крепостного состояния, что финансовая мера и постепенность освобождения совершенно несовместны, потому что финансовая мера только тогда и возможна, когда она общая. Постепенная же общая мера есть nonsense **. А мирное решение задачи не посредством финансовой меры мудрено. Поневоле надо начать выкуп с определенного дня для всей России. Иначе мы вместо успеха увидим гибель, потому что никакое финансовое учреждение не вынесет

---

* Фактически (лат.).— *Ред.*

** Бессмыслица (англ.).— *Ред.*

постепенности не обанкрутившись, да и самый народ не вынесет хвалимой постепенности, и губерния, в которой крепостное состояние будет ожидать своего часа освобождения, видя, что в соседней губернии крепостное состояние уничтожено, пойдет на ножи.

В сущности мой проект состоит в переходе долга опекунского совета на крестьян, а там, где именья не заложены, в заложении оных, считая долг на крестьянах так, что все крестьяне будут выплачивать свой выкуп с землею опекунскому совету в течение 37 лет. Цифру эту, 37 лет, я беру потому, что мы к ней привыкли и что в этом деле очень важно не менять привычки. Но все это должно начаться в единый день и единый час, чтобы весь финансовый оборот пустился в ход разом, как общая государственная мера.

Помещикам остается та земля, которую они обрабатывали на себя, или, яснее сказать, та земля, которую они не давали в пользование крестьянам. Они могут опять заложить ее в опекунский совет, получив за нее векселя опекунского совета, и выплачивать свой долг в течение 37 лет на обычных основаниях. Совет может, не рискуя, предложить под залог этих исключительно помещичьих земель две трети их стоимости, т. е. если десятина удобной земли средним числом стоит 24 р. с., то совет выдаст под залог оной 16 р. с. Неудобной земли ему нельзя принять в залог, потому что стоимость ее не может быть определена. Так как всей удобной помещичьей земли 48 миллионов десятин, то, предполагая, что все владельцы заложат свои земли, опекунский совет выдаст помещикам ссуду векселями на себя 768 миллионов р. с., т. е. сумму, почти равную ссуде, выданной крестьянам. Таким образом, опекунский совет всей ссуды крестьянам и помещикам вместе выдаст 1 538 миллионов р. с., долг, который может быть уничтожен в течение 37 лет, или — как теперь делается — возобновляем ad infinitum *.

Какую же роль играет при этом опекунский совет?

Он ничто иное, как комиссионер, посредник между земельной собственностью и общественным кредитом. Он ручается перед обществом за состоятельность (solvabi-

* До бесконечности (лат.).— *Ред.*

lité) * земельной собственности. Вместо того, чтобы землевладелец искал капиталиста, который бы дал ему денег под залог земли, опекунский совет принимает это дело на себя, выдает землевладельцу на себя вексель, который землевладелец тотчас может разменять на ходячие деньги, а по этому векселю уплачивает сам опекунский совет, выкупая свой долг в определенные сроки — сроки, соразмерные получению с землевладельцев 1 % погашения долга.

Чтобы быть этим комиссионером, посредником, поручителем, опекунский совет должен быть непреложно уверен, что земельная собственность, за которую он ручается, состоятельна. А в этом он может быть уверен на следующих основаниях:

1) За состоятельность крестьян перед опекунским советом ручается правительство, которое посредством своей администрации сбирает с крестьян, как подать, ежегодные проценты, следующие на уплату опекунскому совету. Правительство может безошибочно взять на себя это поручительство, потому что выкупаемые крестьяне, должные совету по 70 р. с. с души, обязаны вносить ежегодно процентов с погашением капитала 2 р. 80 к. с. с души, или по 5 р. 60 к. с. с тягла, что равняется такому легкому оброку, что недоимка становится невозможною.

2) Помещики, получающие новую ссуду под залог своих земель, отвечают этою землею, которую опекунский совет в случае неуплаты залогодателя продает с публичного торга за наличные деньги, погашающие векселя совета. С освобождением крестьян право покупать землю становится доступным для всех сословий, следственно, опекунский совет, в случае неуплаты со стороны залогодателя, не будет, как теперь, нуждаться в покупщиках. Охотников покупать зе́мли будет много, и ценность земли́ не понизится, а ужасно повысится.

Из этого мы смело можем заключить, что ручательство опекунского совета за состоятельность земельной собственности непреложно, что, следственно, векселя опекунского совета, эта номинальная ценность реальной стоимости почвы, будут всегда в ходу рубль в рубль,

* В точном значении — платежеспособность (фр.).— *Ред.*

потому что стоимость почвы не может понизиться. Тут даже не будет cours forcé *, а совершенно естественный курс.

Но, скажут мне: опекунский совет сам должен по вкладам 669 миллионов. Как же он их выплатит? Не усомнятся ли вкладчики? Не потребуют ли разом уплаты?

Едва ли вкладчики разом потребуют уплату вкладов, если им будет ясно доказано, что опекунский совет даже в том положении, как я его беру, т. е. без всякого основного капитала и выдав векселей на 1 538 миллионов,— совершенно состоятелен; а это доказать легко.

Для легкости счета положимте	1 508 000 000 = 1 000
Следственно	669 000 000 = 435

Итак, опекунский совет выдал векселей, по которым получает уплату, на 1 000 р. с., а сам должен 435 р. с.

Через 37 лет его положение следующее:

Он получит по 5 процентов с 1 000, при постепенной уплате капитала в 37 лет всего процентов	1 203 р. с.
Он получит по 1 проценту	1 000
	2 203 р. с.
Он заплатит:	
С 435 по 4 процента (15,40 в год) в 37 лет	569,80
Капитал	435
	1 004,80 р. с.
Он выкупит своих векселей	1 000
Следственно, всего он уплатит	2 004,80 р. с.
Получив же сам 2 203, он имеет в барыше	198,20 р. с.

Или, разделив 198,20 на 37, выйдет в год 5,35. Возводя к первоначальной цифре ссуды, мы увидим, что за всеми уплатами опекунский совет имеет ежегодного барыша 8 228 300 р. с., что совершенно достаточно на содержание совета и приказов и даже воспитательных домов.

Следственно, опекунский совет совершенно состоятелен.

Но если бы вкладчики разом потребовали вклады, то опекунский совет им может уплатить, променяв билеты

* Вынужденный курс (фр.).— *Ред.*

сохранной казны на свои ходячие векселя, на срочные, рассчитывая их сроки с возможностью выкупа; таким образом, опекунский совет отсрочит свой долг на соразмерное время. Но этого требования нельзя ожидать; состоятельность опекунского совета слишком очевидна. Будут требования, вероятно, потому что освобожденная от крепостной неподвижности земля привлечет много покупщиков, которые скорее захотят положить свой капитал на приобретение земли, чем в сохранную казну. Если бы нехватило основного капитала совета на удовлетворение таких требований, то пусть он отделается от них своими срочными векселями. Дело в том, что собственно вкладов для своего оборота опекунскому совету вовсе не нужно. Если совет допустит вклады, то это будет только из уважения к привычке общества вносить деньги в сохранную казну. На первый случай совет может ограничиться признанием вкладов, которые имеются в сию минуту, и не допускать новых вкладов, чтоб не принимать на себя новый ненужный для него долг. Частные капиталы найдут себе в промышленном мире помещение более полезное, чем пребывание их в сохранной казне.

Всякий частный банк тем состоятельнее, чем больше ему должны сравнительно с вкладами, т. е. с его собственным долгом. Но частный банк нуждается в частном займе, а опекунский совет, в нашем предположении, выдавая на себя векселя, ходячие как деньги, нисколько не нуждается в реальном частном займе; его заем номинальный; он является поручителем за совершенно состоятельную земельную собственность; общество ему верит и принимает его векселя au pair *. Получая же в уплату с залогодателей ходячие деньги, он выкупает свои векселя своевременно и пользуется с залогодателей процентами за комиссию. Вот и все его дело. Вклады для него лишний груз, который он может нести только из уважения к вкладчикам и то в границах определенной цифры. Если кредитные учреждения имеют теперь только 4 миллиона барыша, а не 8 миллионов, то это только потому, что не имеют права на общий кредит, как в нашем предположении ходячих векселей опекунского совета, и прибегают

* По нарицательной, номинальной цене (фр.).— *Ред.*

к вкладам, т. е. к частному займу. Это ограничивает деятельность кредитного учреждения и связывает его опасением внезапного требования уплат, несоразмерных срокам получений. К тому же неудобопродаваемость земли при крепостном состоянии до сих пор не могла дозволить кредитным учреждениям расширить круг своих действий. Сущность жизни кредитного учреждения такого, как опекунский совет в нашем предположении, состоит в том, что чем более у него заложенных земель, тем он богаче; и, следственно, чем более он выдал векселей на себя, тем он богаче; чем более он должен, тем он богаче, потому что весь долг его только поручительство за непреложную состоятельность земельной собственности. В нашем предположении опекунский совет есть посредник между частными лицами и общественным кредитом, поручитель за частную недвижимую собственность перед обществом, поручитель, за которого ручается в свою очередь все государство, т. е. summa summarum * вся земельная собственность общества. Вот отчего деятельность и состоятельность совета непреложны, и со временем он может выдавать ссуды не только для выкупа крепостного состояния и нужд частных землевладельцев, но даже и общинам государственных крестьян, если бы некоторые из этих общин нуждались в капитале для какого-нибудь общинного предприятия.

Но, скажут мне, опекунский совет при этом предположении выдаст вдвое более ссуд под то же количество земли, чем выдает обыкновенно.

Тем лучше. Это доказывает только, что он теперь выдает слишком мало и теперь он прав, потому что замкнутость покупки земель в руке наследственного дворянства мешает его деятельности; с освобождением крепостного состояния эта преграда исчезает, ибо землей владеть может всякий, и опекунский совет смело может выдавать в ссуду под залог земли $^{2}/_{3}$ ее стоимости.

Мне кажется, что большинство помещиков должно согласиться с этим проектом, потому что он им самим развязывает руки и дает средства к обогащению [6].

Вопреки общепринятому мнению, что легче произвести освобождение крепостных людей в оброчных именьях, чем

---

* В конечном итоге (лат.).— *Ред.*

в барщинных, я думаю, что, наоборот, оброчные именья именно и представят наибольшую оппозицию освобождению крестьян со стороны помещиков. Я не говорю о колоссальных оброчных именьях, как именья Шереметьевых, Воронцовых и пр. Эти именья многоземельные. Я говорю о малоземельных именьях небольших помещиков, именьях, которые потому оброчные, что земли слишком мало, чтобы завести барщину, и где помещики берут с крестьян неимоверные оброки. При этих именьях богатство помещиков вертится не на почве, а на талантливости людей, с которых они берут оброк тем больше, чем человек промышленнее. Не надо обманывать себя: таких имений очень много. Но сколько я ни думал об этом, тут правительству не остается делать ничего более, как разрубить этот гордиев узел, и в этом случае я только могу повторить то, что сказал великий экономист нашего времени — Стюарт Милль, в ирландском вопросе: больше ничего не остается делать, как решить против помещиков. Да! эти помещики не останутся в выигрыше, даже и при моем проекте, дающем столько выгод землевладельцу, потому что исключительно помещичьей земли у них почти вовсе не может остаться, а именья заложены и перезаложены, следственно, при новом перезалоге им и денег почти вовсе не достанется. Но надо заметить, что и доход их не только безнравственный, но даже и противузаконный, ибо подать, которою они облагают своих крестьян, далеко превышает стоимость трехдневной барщинной работы.

Если бы правительство как-нибудь не захотело возбудить ропот в этой категории помещиков, то можно бы им предложить в вознаграждение — зе́мли в дальних малонаселенных губерниях севера и юга России и в Сибири,— по дешевой цене, дозволив им взять под залог этих земель векселя опекунского совета и ими уплатить правительству. Да и это едва ли нужно!..

Подобное же неудовольствие возникнет между мелкопоместными дворянами и в необрочных именьях; в этом случае, я полагаю, всего лучше предложить им вознаграждение покупки дальних земель в долг. Это уже и тем было бы полезно, что сдвинет с места и заставит быть деятельным отдел дворян, самый отвратительный по грязности образа жизни и тупоумной косности.

Вообще сама собою бросается в глаза истина, что в случае малоземелия легче сдвинуть с места помещика, чем крестьян *. Помещик, получив вознаграждение, может переехать добровольно без больших хлопот и немедленно; а переселять крестьян насильно — дело трудное. Может быть, со временем малоземелие и заставит крестьян селиться в дальних губерниях, но пусть же это будет тогда, когда освобождение крепостного состояния будет совершено, надежды, ожидания и толки народные, удовлетворясь, утихнут. Тогда правительство может переселять крестьян с их добровольного согласия, мирно и в совершенном порядке, и также дозволить общинам покупать у помещиков земли для выселков на добровольных условиях.

Еще важен вопрос о дворовых людях. Так как крепостные крестьяне освобождаются с землею и правительство, таким образом, совершенно отстраняет возможность пролетариата, то я не вижу никакой пользы и нужды создать новый класс пролетариата из освобожденных дворовых людей **. Дворовых людей 1 на 25 человек с небольшим, или 5% всего крепостного населения. В большей части случаев помещики всегда могут выделить им от своей земли такое же количество десятин на душу, как и у крестьян, и тогда дворовые станут под один финансовый расчет с крестьянами. В других случаях надо определить законом выкупную цену дворового человека без земли, заплатить ее векселем опекунского совета помещику, а человека приписать к той общине, которая согласна принять его и дать ему в своей меже участок земли, или к любой многоземельной общине по распоряжению правительства. Не в том дело, чтобы этот человек поселился в известной общине и сделался земледельцем; вероятно, он и не сделает этого, а будет продолжать или заниматься своим мастерством, или служить лакеем, смотря по тому, к чему он привык, а свой участок земли станет отдавать внаймы. Дело в том, что он становится не бездомником, а членом сельской общины; цель правительства — избежание пролетариата — достигнута, а опе-

* Правительство, кажется, хочет поступать обратно и выселить крестьян, скупив их у мелких помещиков. Это жаль! Лучше скупить крестьян с землею и предоставить помещикам право уехать.

** Правительство уже приняло к этому меры. И хорошо!

кунский совет обеспечен в уплате за взнесенный за выкуп дворового человека вексель уже тем, что, если этот человек и не сделается землепашцем, а отдаст свой участок внаймы, то этот наем покроет его ежегодный взнос в опекунский совет, и, в крайнем случае, наемщик земли может не давать деньги за наем лицу, отдающему внаймы, а прямо представлять их в то местное казначейство, которое сбирает ежегодные уплаты в опекунский совет.

Теперь я сделаю перечень проекта:

1) Опекунский совет (т. е. кредитное учреждение для выкупа крепостного состояния, что впрочем не препятствует другому отделу его деятельности: crédit mobilier, т. е. ссуде под залог движимой собственности) выдает помещикам векселя за выкуп крепостных людей с тем количеством земли, которою они de facto владеют, векселя, пользующиеся правом размена наравне с государственными ассигнациями всякого рода, и получает с крестьян, на обычном основании своих оборотов, уплату наличными деньгами или государственными ассигнациями, взимаемую администрацией, как всякая другая подать.

2) Опекунский совет выдает помещикам такие же векселя под залог их исключительной земельной собственности в $^2/_3$ ее стоимости.

3) Опекунский совет выдает векселя на земли в отдаленных губерниях тем помещикам, которым правительство решилось продать такие земли за дешевую цену.

4) Опекунский совет выдает векселя помещикам за дворовых людей, по цене, определенной законом, с тем, чтобы эти люди были приписаны к сельским общинам и пользовались их правами землевладения наравне с остальными крестьянами.

Вот и все. Повторять, что было сказано о том, что тут опекунский совет в своих оборотах является не только состоятельным, но даже может расширить круг своей деятельности, кажется уже излишним.

Теперь вот в чем вопрос:

Опасно ли для правительства привести этот проект в исполнение и что требуется для приведения его в исполнение?

Конечно, не опасно. Наше правительство так сильно, что почерком пера может уничтожить все противуречия, лишь бы оно шло согласно с движением живых сил

народа, а не заодно с мертвыми привычками statu quo, с обычной рутиной, убивающей государство.

Но, наконец, если правительство боится учредить банк поземельного кредита без капиталов, если боится, что вкладчики потребуют свои капиталы из существующих кредитных учреждений, то обратите внимание на следующее: Кокорев[7] предлагал купечеству пожертвовать капитал на выкуп усадебной земли для крестьян (разумеется, крестьяне со временем выплатили бы его). Расширимте эту благородную мысль: пусть правительство сзовет капиталистов, имеющих вклады в советах и других кредитных учреждениях; пусть оно спросит и вкладчиков по именным, и вкладчиков по безыменным билетам (по вызову и безыменные вкладчики откликнутся) — кто хочет оставить свои вклады, не требуя их обратно в продолжение 37 лет (или более), и на каких условиях — для подобного оборота, какой предложен в этом проекте.

Наконец, опекунский совет может переменить свои билеты из срочных на бессрочные, так что вкладчики станут получать вечный процент, и билеты станут меняться на деньги по биржевому курсу, как делается со всеми rentes sur l'Etat * в Европе.

Правительство увидит, что по крайней мере половина вкладчиков оставят капиталы. Вкладов, мы сказали, 669 миллионов, следственно, половина — положим — 300 миллионов. Стало, для обеспечения оборота 300 миллионов верных. Maximum ссуд 1 538 миллионов. Следственно, вы имеете в капитале пятую часть ваших билетов или векселей. Да нельзя себе представить лучшего положения банка! Где же тут опасность?

Поземельный кредит во Франции, учрежденный в 1856 году, рассчитывает только $^{1}/_{20}$ акции против облигации ** и не падает, и не боится, и, если погибнет, то не из экономических данных, а разве от политического переворота, которого нам нечего ожидать.

Между тем в нашем предположении вкладчики — та же компания на акциях для выкупа крестьянских земель.

---

* Государственная рента (фр.).— *Ред.*

** Смотри брошюру «Crédit Foncier», 1856, Paris. Imprimerie administrative. [«Поземельный кредит», 1856, Париж. Правительственная типография (фр.).— *Ред.*]

Но для учреждения подобного выкупного банка поземельного кредита нужно:

1) Чтобы правительство раз навсегда отказалось назначать из банка суммы для употребления по предметам, не относящимся до банка.

2) Чтобы директоры или совет банка были избраны вкладчиками (оставляющими свои капиталы на число лет, необходимое для выкупа крепостных людей с землею); чтобы директоры давали отчет вкладчикам и чтобы отчеты были публикованы. Иначе нельзя: директорам-чиновникам никто не поверит.

3) Чтобы совет банка был независим от министра финансов, иначе вкладчики будут сомневаться.

4) Для обеспечения уплаты процентов крестьянами нужно, чтобы не чиновники сбирали и вносили их, а сами крестьяне через своих выборных сборщиков.

5) Чтобы винный откуп был уничтожен, потому что откуп и чиновничество — две коренные причины всех крестьянских недоимок *.

---

* Мы бы желали, чтобы русским журналам было дозволено возражать нам, не потому, чтобы мы хотели отстаивать свое мнение, хотя бы оно было ошибочно, не потому, чтобы мы хотели спорить во что бы ни стало,— а потому, что мы хотели бы честно дотолковаться до правды, до того, что возможно, что полезно. Бесплодных споров мы не уважаем. Когда мы слышим, что в России есть порядочные люди, из которых одних называют славянофилами, а других западниками, и что эти люди между собой враги — это поражает нас прискорбием. Как? У России в виду положительное дело, а вы расходитесь из-за сомнительных теорий? — Стыдно!

УДЕЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ НЕ ОСВОБОЖДЕНЫ[1]

Я виноват перед читателями. Поспешность, с которой хочется радостно принять все, что в России могло случиться хорошего, ввела меня в ошибку. Я не понял сразу указа об удельных крестьянах и напечатал ему в 21-м листе «Колокола» удивительную похвалу[2]. После, перечитывая указ, я увидал, что я непростительно увлекся; он этой хвалы не стоит. Помещик Романов нисколько не дает своей земли удельным крестьянам; он только разрешает им владеть их собственною землею, которую они купили на свои деньги, но на имя департамента уделов, потому что удельные крестьяне лично, на свое имя не имели права покупать земли. Разрешить им это право со стороны государя не есть еще великодушный поступок, который бы служил примером упорно-жадному дворянству; этот поступок был просто обязанностью честного человека — не присваивать себе чужого. С горестью беру назад сказанное похвальное слово и откровенно каюсь перед читателями. Каюсь тем более, что и при разрешении удельным крестьянам права покупать на свое имя земли и продавать их сказано, что в обоих случаях, т. е. при покупке или продаже, они предварительно должны извещать местный удельный приказ. И государь думает, что местный удельный приказ не найдет средств прижать крестьянина, выдумать препятствия его желанию и, вместо того чтобы просто принять *извещение,* дать ему *дозволение* распорядиться своим достоянием,

стянув за это дозволение елико возможную взятку? Ошибается государь. В этой маленькой фразе о предварительном извещении кроется неодолимый повод к грабительству. Удельным приказом распоряжается грабящий и секущий голова и пьяный писарь, кто же заступится за мужика? Неужто депутат? Поверьте: ни депутат, ни самая контора, ни самый департамент. Взятка пойдет делиться выше, и за мужика никто не вступится. Мы можем только одним утешиться: не много удельных крестьян лично владеют землями; у большей части не на что купить, но несмотря на то, удельное ведомство и этих неимущих грабит, потому что цель этого ведомства, равно как и всех других ведомств в государстве,— грабить. А то к чему бы и чиновничество? Грабеж — это порядок, а чиновничество существует для порядка.

Освобождение удельных крестьян значило бы уничтожение департамента уделов со всеми его конторами, депутатами, насильно выбранными головами,— словом, всего, что удельному мужику дышать не позволяет. Нет, нет! горько я ошибся: нет освобождения!

Другая половина указа, где дозволен переход удельных крестьян в мещане и купцы, конечно, очень облегчает такой переход и сбавкою податей и немного большею свободой отдельным крестьянам двигаться и устраивать свою судьбу. Но прочитав *правила о переходе,* опять останавливаешься с изумлением:

1-е правило:

«Удельным крестьянам предоставляется право переходить в городские сословия и другие сельские состояния, как семействами, так и отдельными лицами, *с разрешения начальства*».

Да когда же у нас скажут, что *начальство не имеет права запрещать* подобного перехода!? Сказать глухо: *с разрешения начальства,* значит допустить, чтобы начальство не разрешало без всякого законного основания, т. е. чтобы оно разрешало только *за взятку.* В этом правиле не сказано, на каком основании начальство может разрешить или не разрешить. Следственно, допущен совершенный произвол начальства. Искусно составляются у нас законы! Ну, а если начальство не разрешит, куда пойдет мужик жаловаться? Суда на начальство нет; он пойдет жаловаться высшему начальству того же

ведомства, которое оправдает не мужика, а своего чиновника. Бедный мужик!

Между тем по 2-му правилу все законные основания на замедление или недозволение перехода предоставлены рассмотрению мирского общества. Если мирское общество не найдет за переходящим в другие сословия ни рекрутских очередей, ни недоимок, ни долгов и пр., то оно дает увольнение,— зачем же тут еще разрешение начальства? Надо было, напротив того, сказать, что если мирское общество дало увольнительный приговор, то начальство не имеет *права не разрешать.* Если общество дало приговор помимо учрежденных правил — пусть оно отвечает своим карманом; поверьте, что общество не подкупишь и оно за переходящее лицо платить не захочет, а начальство всегда задержит переход, чтобы взять взятку.

Но в этих законных основаниях для недозволения перехода находится следующее:

«Наконец в приговорах на переход в городские сословия удостоверяется: е) что перечисляющийся не принадлежит к раскольничьим сектам, коим переходить в городское общество воспрещено».

То же и для женщин.

Желал бы я знать, что̀ это правило — против православия или в пользу православия? Если б это было в пользу православия, то нельзя было бы терпеть подобных раскольников и между удельными крестьянами. Почему же удельные крестьяне могут быть раскольниками, а городские обыватели не могут?

Да перестаньте же преследовать раскольников! Не преследуете же вы ни турок, ни татар, ни идолопоклонников и никаких иных иноверцев; чем же виноваты только русские, что они не так крестятся или как-нибудь молятся по-своему? Оставьте православие напутствовать людей словом божиим. Зачем унижать христианство — до того, чтобы оно себя отстаивало посредством полицейской власти и палачей?

Кто изобретает все эти стеснительные правила? Все эти вешающие Муравьевы, Панины, Орловы [3] и тому подобные — все люди, ненавидимые в России, опозоренные в глазах образованного мира?

4-е правило, что если бы общество, несмотря на отсутствие препятствующих законных причин, стало отказывать

в увольнительном приговоре, то удельная контора может выдать свидетельство от себя. Очень хорошо! Но дайте же обществу право, если *контора* не разрешает перехода без достаточных законных причин, выдать увольнительный приговор от *общества* и чтоб он имел законную силу.

Удельные крестьяне были так переименованы из казенных крестьян, помнится, императором Павлом [4]. Зачем же теперь продолжать фантазии его кратковременного царствования? Что за смысл имеют удельные крестьяне? Государь, который может самовластно распоряжаться государственными доходами, вдруг присваивает особо себе с семейством клочок из государственных земель и населений: на что это ему? Он и без того может взять себе из государственных сборов сколько ему угодно, да и народ не пожалеет дать ему огромное жалованье, лишь бы он действовал в смысле народной пользы. Зачем же тут удельные крестьяне? Удельные именья — это nonsens.

Перечислите удельных крестьян со всеми их землями, а также и помещичьих крестьян с их землями к казенным, т. е. к вольным, крестьянам, да и уничтожьте министерство государственных имуществ; тогда крестьяне в России будут действительно освобождены, даже не подумают ни о каком бунте, а только благословят своего освободителя! *

---

* Кстати, *правда ли,* что у крестьян, приписанных к Павловску, отняли землю, которой они всегда пользовались с *ведома* Константина Николаевича? [5]

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА[1]

Два года тому назад Иванов приезжал в Лондон. Картина его была окончена, художник жаждал новой деятельности и ни к чему не приступал; он был задумчив и печален. Религиозное настроение, под влиянием которого он начал своего Иоанна, исчезло прежде окончания картины. Тщетно он искал вдохновения в христианском мире; он смотрел на картины великих мастеров, чувствовал в них присутствие религиозной жизни, но в себе не находил, итти по той же дороге было невозможно,— он больше не верил. Ему предлагали работу в России, работу на византийский манер; но тут уже ему предстояло не только без веры трудиться над религиозными предметами, но даже забыть и те изящные формы, выработанные художниками в эпоху Возрождения, забыть не только мадонны Рафаэля и Тициана и святых Доминикина, но даже фигуры старо-итальянской и старо-немецкой школы, Джотто и Гольбейна[2], где, несмотря на плоскость рисунка, поражает живое, человеческое выражение лиц; ему приходилось бы писать пучеглазых богородиц коричневого цвета, изменить искусству без внутренней веры в религиозную святыню. Художник не мог лгать сам с собою и, несмотря на стесненные обстоятельства, отказался от работы в храме спасителя на Пречистенке. Хотя бедно, но проживет как-нибудь, проживет независимо и напишет новую картину не по чуждой

заданной теме, а по внутреннему влечению, по своему вдохновению.

Но где же найти это вдохновение? Религиозный мир закрылся, христианские идеалы побледнели. Какие же идеалы у нового мира, у современного мира? Где его вера? Где его герои? Перед каким величавым образом современное человечество может остановиться и взглянуть с упованием? На каком величавом образе остановится мысль художника с любовью и верою? — «Дайте мне живую мысль, дайте мне живую веру, дайте мне живую тему для картины, говорил художник, или скажите: что?.. искусство погибло в наше время?.. погибло безвозвратно от недостатка жизни в современном человечестве или оттого, что жизнь не нуждается в искусстве и все интересы деятельности движутся вне художественного мира».— На этот запрос отвечать было не легко; а запрос был страшно искренен, в нем слышался крик сердечной боли, действительного, глубокого отчаяния. И как все безвыходные страдальцы, художник стал искать себе маленькую лазейку, в которую толкался с упорством больного. Эта лазейка была *усовершенствованная* историческая живопись.— «Не могу я выставить на картину современных людей, думал он, в их фраках и круглых шляпах или мундирах с погончиками,

Хвост сзади, спереди какой-то выем странный [3],

или дам, с их растопыренными юбками, где изящные формы человеческого тела спрятаны в какие-то уродливые вьюки. Безобразен этот мир; он сам потерял чувство красоты; чего ж в нем искать художнику? Остается только историческая живопись, остается пополнить пропуск, оставленный прежними художниками, которые пренебрегали исторической верностью типов и обстановки в картинах; надо приняться за историческую живопись, где все было бы исторически верно; типы лиц были бы взяты из того народа и той эпохи, куда относится сюжет, одежда была бы одеждою того времени, пейзаж — пейзажем той страны; тут будет воссоздание минувшей действительности».— На основании этой внешней верности художник думал создать что-то новое, что-то великое... Да! это была лазейка глубокого отчаяния, но не выход.

И вот он умер, художник-страдалец. Не видал я его картины; гляжу на ее фотографию, по которой трудно вообразить себе самую картину; одно чувствую: что такого Иоанна мог создать только человек, который сильно верил, и только человек, который так сильно верил, мог впасть в такое глубокое отчаяние от искренней утраты своей веры, своих идеалов. При этой впечатлительности художника, для этого нервного организма немногого было достаточно, чтоб бросить его на жертву первой случайной болезни; довольно было мимоходного грубого прикосновения тупоумного барства, вырощенного канцелярией и казармой. И умер он, и все эти Гурьевы [4] с компанией и не почувствовали своего преступления; что для них общественное негодование! Позором исторической плети их не проймешь; разве настоящая плеть проймет эти немецко-татарские кожи, но и чувство внешней боли не вдолбит в маленький, но грубый мозг сознания виновности перед высшим человеческим существом и перед русской славою.

А где его похоронили? Уж не рядом ли с Пушкиным? Так бы вместе всех жертв этого гнусного общественного мандаринства.

Но я сказал, что запрос Иванова был искренен. В самом деле, он был так искренен, что не один художник и после него задаст себе тот же запрос и печально призадумается. Этот запрос гораздо глубже выходит из жизни, чем может показаться многим ученым эстетикам, укачавшимся, как в лодочке, в теории «искусства ради искусства». Этот запрос показывает, что художник не может отделиться от общественной жизни и что искусство нераздельно с ее содержанием. Древнее искусство пало с богами Олимпа; христианское искусство пало, несмотря на провозглашение «иммакулатной концепции» [5]; самое провозглашение «иммакулатной концепции» могло случиться только потому, что христианство пало; прежде она была не нужна, верилось и без нее. Художник, исторически связанный с образами, завещанными великими мастерами, привыкший к этим образам, перестает чувствовать то настроение, которое произвело их; он даже начинает смотреть на эти оригиналы только с точки зрения искусного выполнения, с точки зрения техники, а их внутренняя жизнь для него уже недоступна; сам он производит

только бездушные копии. Даже техника великих мастеров ускользает из-под его усталой кисти, потому что и для техники необходимо живое вдохновение. Художник не сразу понимает, что дело в том, что он уже не религиозен, потому что его общественная среда не религиозна; ему еще кажется, что он верит; он ходит в церковь, он промывает себе глаза святой водою; но он натягивает на себя благоговение, глаза его не веселей смотрят после святой воды. И в толпе, которая кругом него, он видит что-то затверженное, какое-то бессмысленное повторение когда-то живого слова или просто лицемерие. Его поражает смешное или уродливое, или нравственно гадкое. Он еще усильно цепляется сам за затверженные образы, ему с ними жаль расстаться, но как скоро он принимается за дело, он чувствует немогуту. «Искусство ради искусства», помимо общественного содержания, не в состоянии вдохновить его; это посторонняя, натянутая идейка, а не внутренняя сила, которая просится наружу. Куда деваться? Я устал, восклицает художник, дайте мне отдых, но такой,

Чтоб в груди дрожали жизни силы... [6]

И этот отдых он находит в вечно юной природе. Пейзаж становится на первом плане; историческая живопись мало-помалу бледнеет, выбиваясь из сил; религиозная эпоха не вдохновляет, да и никакая историческая эпоха не вдохновляет; художник устал от истории, как само общество устало от истории. Но мне недостаточно природы, говорит другой художник, мне надо живых людей; святые умерли, дайте мне грешных, но живых людей. И вот историческая живопись переходит в genre *. Художник переносит на полотно наглядную действительность и старается придать своему произведению поразительную верность, мелочную оконченность.

Еще явилась было светлая эпоха светлой народной жизни освобожденного народа, и фламандская школа произвела genre, который был чистым выражением добродушной, свободной народности. Она не искала genre, она не убегала в него от внутренних страданий <как> в какой-то обманчивый приют,— нет, она жила общественной жизнью, ей надо было высказать смеющееся счастье

* Жанр (фр.).— *Ред.*

свободного общества; художник дышал этим счастьем, ему надо было просто рассказать его, а не придумывать себе на утешение, или для занятия собственной праздности. Но не то в нашем мире.

Общественная жизнь разлагается более и более; она впадает в утомление, она не способна ни к живому верованию, ни к живой радости, ни к великой трагедии; она бессильна, она просто — усталь. Искусство переходит в картинку или карикатуру. Искусство пало, потому что общественная жизнь выдохлась. Истинный художник становится страдальцем, потому что истинный художник искренний человек, и общественный недуг становится его недугом, он кричит от общественной боли, так как некогда верил общественным верованием. Он не может сжиться ни с измельчавшим искусством, ни с измельчавшим человечеством. Он ждет сильного выхода в человечестве и бредит про какое-то огромное создание в искусстве. Ни то, ни другое не приходит.

Музыканту не меньше тяжело, чем живописцу. И он устал от своих исторических образцов, в душе утратил и обедню и ораторию, устал от страшной драмы Бетховенской симфонии и впал в genre — то грустно-сладенькой грациозности, то мелочной оконченности фьоритуры или такой же мелочной оконченности разных шумов в оркестре, которыми думает заменить энергию мысли и полноту гармонических сочетаний; или в отчаяньи ищет выхода и бредит музыкой будущности, туманной, как сама будущность, возникающая не на девственной, а на истощенной почве.

Литературе всего легче. Ее средства разнообразнее. Язык не принужден свести целый эпос или целую драму на один неподвижный момент картины; он их разовьет и представит во времени, со всеми побуждениями капризно-рокового движения жизни. Звуки языка мелодично коснутся до слуха, но не с неопределенностью музыки, а с ясностью мысли. Техника для художника-литератора легче, потому что она природна человеку; симпатий он найдет больше, потому что язык понимается всеми и выражает все полное слияние мысли и жизни. Сверх того, — слово дано человеку, чтоб скрывать свои мысли, сказал один безнравственный дипломат; а художник-литератор в слове скроет свою внутреннюю пустоту и надует сам

себя. Наука не пойдет с утешением ни к живописцу, ни к музыканту; она не скроет им пустоту содержания под фирмою «искусства ради искусства». Пустота слишком бросится в глаза, слишком поразит слух своею ложью, бессилие останется слишком очевидным. А художник-литератор, получая от науки утешение теории, которую наука распространит и в публике и, следственно, настроит на один лад и публику и литератора,— художник-литератор и сам не заметит, как он перешел от живописи к фотографии, от одушевленной картины к верному, но мертвому снимку, как он свою пустоту замазал словами, как он свое бессилие скрыл в форме. Публика, обманутая наукой, будет рукоплескать самообольщенному художнику, и он удовлетворится в безвыходной жизни, удовлетворится своим маленьким смехом — вместо смеха проклятия, удовлетворится своей томненькой грустью — вместо трагической печали, удовлетворится тихонькой дремотой в сумерки — вместо живого рассвета и пробуждения. Фельетонная муза придется по плечу публике, и теория спасет пустоту обоих.

Сама теория искусства ради искусства могла явиться только в эпоху общественного падения. Искусство, как одно из занятий человека и отличное от других занятий, не могло не обратить на себя внимания мыслителей, как дело особое, но неодолимо возникающее из человеческой жизни. Что же такое искусство? Искусство — подражание природе, отвечали они во время оно. Впоследствии более глубокомысленная наука с улыбкой презрения взглянула на это наивное определение. Она сказала: искусство есть воспроизведение действительности. Надо сойти с ума, чтоб не узнать того же простодушного определения в новой докторской мантии. Действительно, искусство есть подражание природе, потому что кроме природы ничего нет; действительно, искусство есть воспроизведение действительности, потому что кроме действительности ничего нет. Чем ближе художник подсмотрел природу, чем больше он сделал так, как бы сделала сама природа, тем лучше его произведение, тем больше он воспроизвел действительность. Но это относится к выполнению, это уменье, это почти техника. Почему в художнике явилась потребность произвести что-нибудь? Вот в чем вопрос. Какие это жизненные соки, которые просились выразиться в его

произведении, которые толкали его к созданию? Что формы должны быть верны природе, сомнения нет; иных форм художник знать не может; но эта жизнь, которая вынуждала художника к произведению, откуда она взялась? Она взялась из среды общественности; художник только потому и стремился к созданию, что вся общественная жизнь дышала в нем, не давала ему покоя, ему надо было производить, потому что ему надо было сказать то, что он живо понял, прочувствовал, внес в себя, чем переполнился из общественной жизни, будь то верование, будь то негодование, будь то восторг или скорбь живая; но помимо общественности и помимо своего взгляда на нее — он ничего не сделает. А если вы из общественности ничего не вынесли — ни глубокого верования, ни жажды перестройки, ни великого эпоса, ни великой скорби, ни страстного упования, ни рыдающего смеха,— какой же вы художник? Пожалуй, доводите искусство до самой утонченной оконченности и копируйте природу и воспроизводите действительность с мельчайшей подробностью; да жизни-то вы не вдохнете в свое произведение, и ваша работа «искусства ради», не вызываемая общей жизнью, которая била бы в вас живым ключом, ваша работа будет абстрактная работа или холодненькая мелочь. Во времена падения Рима ораторы являлись «говорить для того, чтоб говорить». О чем говорить — это все равно; будь то pro или contra * — все равно. Главное дело: искусство говорить. То же явление современная эстетика перенесла как теорию в искусство. Главное сделалось искусство; а имеет ли это искусство что-нибудь сказать — это все равно. Красноречие ради красноречия, искусство ради искусства — вот одинакие надписи двух эпох общественного падения. Еще являются титаны при этом падении; слышится горький упрек Тацита; слышится проклятие Байрона. Но критика делает еще шаг вперед к бессилию; она начинает глумиться над проклятием Байрона, встречая слишком много нетерпения и недостаточно художественности. Русская критика еще не смеет глумиться над рыдающим смехом Гоголя; но она близка к тому; картинка и карикатура становятся ей больше по нутру, чем смех, выводящий из успокоившегося бессилия. Разве только на-

* За или против (лат.).— *Ред.*

шей критике некогда будет продолжать это дремотное ратование за теорию «искусства ради искусства»: возникающая общественная деятельность разобьет этот маленький кумир прежде, чем он успеет умереть от собственной дряхлости. Да и пора ему умереть. Долой литературную лимфу!

Когда бомбардировали Данциг, Теодор Амедей Гофман [7], знаменитый автор Кота Мура, ныне редко и трудно читаемого, сидел в погребке и, не принимая никакого участия в защите города, в движении людей, шедших под картечь и ядра, писал, помнится, фантастические рассказы der Serapions Brüder *. Гофман пренебрегал общественным движением в пользу так называемого искусства. Но для этого надо было иметь в жилах не кровь человеческую, а немецкую слизь. В нашей литературе, в наше время, время русского возрождения, такая же партия лимфы, золотушное дитя схоластических эстетик, хочет отрешенность искусства от общественных вопросов выдать за нечто достойное уважения. Да где же они нашли действительное искусство, отрешенное от общественных вопросов? Не в эпоху ли Возрождения, когда религиозная идея была внутреннею общественною задачею? Разве то, что тогда было сделано великого в литературе и искусстве, не проникнуто современным интересом общества? И разве общественная задача мешала многосторонности художника? Возьмите Буонаротти, который в одно время строит храм, строит крепость и рисует страшный суд и создает энергическую фигуру Моисея; разве он не проникнут всей живой задачей своей современной общественности, со всеми ее надеждами и всеми страданиями. Ту же задачу проводит Дант. Под влиянием религиозной общественности создалась и развилась музыка, восходя от одинокой молитвы до общественной молитвы, до хора. Когда реформация пошатнула веру и общество схватилось за свои внутренние вопросы в противуположность небесным, искусство из церкви перешло на сцену. Откуда выросло трагическое величие Шекспира, как не из общественного скептицизма? Откуда в живописи явилась трагическая глубина Рембрандта? Откуда взялась страшная возможность у Моцарта создать «Дон Жуана», с одной

* Серапионовых братьев (нем.).— *Ред.*

стороны, и «Requiem» — с другой, как не из того же проникновения художника скептицизмом общественной жизни? — Когда французская революция пела Марсельезу, не стукнул ли Гете по христианскому миру первой частью Фауста? Не прогремела ли с плачем и торжеством героическая симфония? Видите ли, как великие мастера связаны с общественною жизнью, как они возникают из нее и говорят за нее. Вероятно, во все эти времена были и бездарные художники, работавшие на те же темы; но разве эти бездарности доказывают, что искусству дòлжно отстраниться от общественных вопросов и жить в себе самом, т. е. жить без содержания, чтобы не быть бездарным? Что общественные задачи проникнуты общечеловеческим содержанием — об этом спору нет, иначе они и не были бы общественными задачами; что помимо общественных интересов есть личные интересы, которые тоже проникнуты общечеловеческим содержанием,— и об этом спору нет, иначе эти личности были бы вне человеческого мира; но границ-то этих между личностями и общественностью в жизни не существует, потому что личность человеческая есть личность общественная. Не только люди, сгруппированные вместе, невольно примыкают к общественным интересам, но даже тот святой, который в пустыне питался собственными испражнениями, и он был проникнут общественной задачей, которая тогда была задача религиозная. Если литераторы требуют от искусства, чтобы оно было хуже этого святого и отрешилось от общественных интересов,— какое же содержание они ему дадут? Абстрактно-общечеловеческое? Или то мелкое, дрянно-личное, к которому они стремятся иметь сочувствие вместо отвращения? Но в первом случае они навяжут искусству создание тусклого урода, а во втором — щепетильное разрисовывание лилипутских картинок с лилипутскими людишками, с лилипутскими чувствиецами, с лилипутскими деревцами, облачками, домиками и пр. Да где же они нашли общечеловеческое содержание помимо общественности, помимо взгляда художника на общественность, помимо его участия в ней? Не у Шекспира ли? Не у Аристофана ли или у Гоголя? Не у Пушкина ли в Онегине или в Борисе Годунове? Ну! так пусть же они перечтут их и поймут, что все эти великие художники слова проникнуты участием к своей современной общественно-

сти, и пусть же нам больше не выдают фарфоровой размазни японского чайника за художественные идеалы [8].

Русские литераторы сердятся на обличительные сочинения [9] и находят, что после их *удушливого наплыва* и *зловонных паров* литература посвежела посредством повестей, лишенных общественного содержания *. Вот видите ли: обличительные сочинения могли быть не довольно талантливы, но сердиться на них нельзя; у них был свой благородный источник и своя благородная цель. Они могли быть детскими попытками общественных стремлений выразиться в изящной литературе, как джоттовское религиозное воззрение пыталось выразиться в живописи; в них могли быть ошибки и промахи, неуменье найти сродную форму для содержания, но судить их нельзя по абстрактной теории «искусства ради искусства», их можно судить только с точки зрения живой общественной деятельности, и тогда в них найдется не *удушливый наплыв зловонных паров,* а благородная попытка вырваться из гнилого болота с зловонными парами, в котором так долго купалась русская жизнь и в котором еще теперь под исход топочется русская критика, с уважением глядя, как автор — не негодуя, а любуясь — выводит тряпичных героев с их тряпичными страданьицами. Вы сердитесь на комедию Львова [10] с эстетической точки зрения; да на нее не с эстетической точки зрения можно сердиться, а с той гражданской точки зрения, неудовлетворенной тем, что, когда дело идет о перестройке общественного здания, о возрождении русских сил, автор изобрел тщедушную лазейку честного чиновника как путь ко спасению. Но как бы ни ошибались люди обличительной литературы, умейте же уважить в них голос, который после долгого молчания заговорил о наших страданиях, и не зловонных паров ищите в нем, а первого лепета возникающей гласности. Показывайте им их промахи, незрелость мысли, нестройность формы, но рукоплещите их начинанию, если у вас в жилах человеческая кровь, но не проповедуйте реакции. Провозглашать *благотворную реакцию, совершающуюся дружно, последовательно и энергично,* реакцию, которая хочет выбросить из изящной литературы

---

* Мы не знаем, почему комедия Островского причислена сюда же критиком, в ней живое общественное содержание.

общественное страдание и общественный интерес, ярко пробивающийся в современной жизни, провозглашать такую реакцию — значит проповедывать вообще реакцию; в прошлое царствование за это дали бы владимирский крест. И вы проповедуете реакцию, потому что вы схоластики, потому что живые интересы для вас недоступны, потому что в вас нет гражданского чутья, а следственно, и общечеловеческого. Вы — во время возникновения русской гражданской жизни — хотите уединиться на картонный пьедестал вашей маленькой премудрости или затвориться в монастырь мнимой художественности, чтобы спасти вашу крошечную, эгоистическую душу от деятельности мира сего, и думаете, что вы плаваете в сфере изящного? Но не забудьте, что изящное по натуре своей благородно, а благородство и состоит в сочувствии лица к общей жизни. Ну! да бог с вами!

К юношам обращаюсь я, которым теперь предстоит взойти на поприще литературы. Пусть они не верят золотушному равнодушию, пусть смело вносят в искусство и общественные страдания и все элементы живой общественной жизни,— и долой с русского слова *пыльный шквал* немецкой схоластики, долой крохотное самонаслаждение за углом — вне общественной жизни.

Но вот я увлекся русскими вопросами и отклонился от моей задачи. Что же сказать художнику, чувствующему немогуту среди обессиленной общественности? Что сказать в то время, когда в обществе нехватает сил даже на проклятие, и все расплывается в жиденьком, самолюбивом самоудовлетворении, а искусство до того доработалось ради искусства, что перешло в ремесленничество, гаерство или самолюбивое искание нового, которого неоткуда взять. Если я повторю, что искусство пало, потому что общественность выдохлась,— в этом мало утешения для художника. Но не в утешении и дело, дело в правде.

Если элемент грациозности простодушно, искренно удовлетворяет вас, и вы не по теории и не по устали бежите от общественных страданий и общественных надежд, а просто, как дитя, с улыбкой смотрите на жизнь,— пишите genre, пишите картинки. Пишите пейзаж, если в вас есть чувство природы и то простодушно-религиозное уважение к ней, которое не допустит солгать ради эффекта. Если это направление в вас искренно, ваши картинки

будут по крайней мере милы. Но если вы в них хотите найти спасение от глубокой внутренней боли, то, конечно, не найдете, потому что это будет только pis aller *, и ваше произведение будет не искренно. А искренность одно из главных условий искусства; искренняя вера создала великие религиозные картины, искреннее сомнение произвело *Гамлета.* Только искренности в «искусстве ради искусства» вы не найдете, потому что самое это понятие не искренно и носит в себе заднюю мысль уменья и риторства, а не понятие полноты жизни, которой необходимо выражение.

Вам надо веры,— ее нет в обществе; создать ее будет тщетное искание, когда для нее нет почвы в действительности. Искание во что б ни стало не есть жизнь; не искать же в самом деле чего-нибудь живого и великого, представляя на картине курс всеобщей истории, как Корнелиус [11]. Если старый мир гибнет и вы это глубоко чувствуете, вы еще найдете в себе иную силу, силу проклятия; вашей фантазии явятся мощные образы, которые потрясут даже это бессильное общество; большинство станет с ненавистью рукоплескать вам, и немало страдальцев с любовью протянут вам руку. Чего вы боитесь уродливых фраков на вашей картине? Да разве вы не видите вокруг себя трагической изящности рубища и из-за скаредных фигур лавочников — энергический образ народа, гласящего: И моя пора приходит!

Будьте искренни с общественным содержанием, выстрадайте его, и, если в вас есть талант художника, вы найдете что делать, потому что у вас будет что сказать.

Юным художникам, теперь вступающим на сцену, легче. Христианское религиозное настроение не было их плотью и кровью, им нечего оплакивать внутреннюю утрату; они прямо поставлены лицом к лицу с живым плачем и живыми надеждами общественной жизни; умей только сделать их своим плачем и своими надеждами. А *он* — истинный художник — сошел в могилу, разбитый скорбью об утрате своих верований и настолько глубоко искренний, что не мог выводить образы, в которые больше не верил; общественная жизнь так глубоко вошла в него, что он не мог лгать в искусстве — ни ради денег, ни ради

* На крайний случай (фр.).— *Ред.*

славы, ни ради искусства. Он умер, пришибленный старым порядком вещей в России, едва провидя ее возникающую будущность. Страдания старого порядка вещей еще слишком живы для нас, чтобы сменить в нас чувство трагического смеха на песню веры и торжества. Но пусть первый из юношей, которому общественная жизнь вдохнет эту песнь, с благоговением споет ее на могиле художников-страдальцев, так мучительно ее подготовлявших.

ПИСЬМО К АВТОРУ «ВОЗРАЖЕНИЯ НА СТАТЬЮ „КОЛОКОЛА“»,

ПОМЕЩЕННОГО В 18-м ЛИСТЕ[1]

Мой почтенный и благородный критик!

Давно я сбирался отвечать вам — и медлил. Я ждал событий, ждал, чтобы опыт разъяснил вопрос. Факты двигались быстро, теперь многое можно заключить из опыта. Теперь опять хочется говорить о нашем краеугольном вопросе — об освобождении крестьян и все, что с тех пор передумалось, сказать вам, которого я уважаю, как одного из представителей священной для меня традиции.

Я не спорить хочу с вами. Внутренно я очень согласен на безвозмездное наделение крестьян землею. В этом предположении есть столько широко-благородн го, что мудрено ему не сочувствовать. Но опыт доказывает, что применение его невозможно. Большинство помещиков не согласится не только на безвозмездное наделение землею, но едва согласится на выкуп; оно слишком завязло в любви не к одному землевладению, но и к рабовладению. Значительное меньшинство тотчас согласится на выкуп, но на безвозмездное наделение землею согласятся разве несколько отдельных личностей. И вот, несмотря на внутреннее сочувствие к вашему предположению, приходится сказать, что исполнение его невозможно.

Я не хочу защищать и моего проекта, по очень простой причине — я слишком бесспорно сознаю его недостаточность. В нем я могу отстаивать только одно, что с тех пор повторялось много раз, что бродит в умах, что у нас

в воздухе,— это мысль о выкупе крестьян с землею посредством финансовой меры. Она у нас развивается, и на ее основании растет будущность нашей крестьянской общины.

С тех пор как я напечатал мысль о выкупе и вы так благородно мне возражали на нее,— многое совершилось в России. Целая литература возникла по поводу крестьянского вопроса, много проектов было подано правительству, некоторые были напечатаны; даже сам Я. Ростовцев, подлаживаясь к новому государю, напечатал (говорят) проект освобождения крестьян в смысле народной пользы, желая поступком гражданина загладить перед общественным мнением гнусность своего доноса и гнусность своей инструкции преподавателям в военно-учебных заведениях [2]. Покаяние — дело великое. Но большинство дворянства, как ни отвратительно историческое преступление рабовладения, не оказывает ни малейшего покаяния, и губернские комитеты имеют только отрицательную пользу. Эта отрицательная польза огромна: так наивно, как комитеты, высказать всю уродливость крепостного права, отстаивая его; так наивно высказать несостоятельность дворянства в деле образования и заставить умы искать в иной среде элементов для живого русского развития,— едва ли бы удалось самому гениальному писателю. В литературе крестьянского вопроса комитеты являются как оппозиция старых начал; ту же роль оппозиции они разыгрывают перед правительством; но вместе с тем они доказывают, что их оппозиция — оппозиция против всякого здравого смысла и всякого нравственного чувства. Они доказывают, что старое, т. е. помещичье, начало отжило свой век и что оно должно уступить.

Но *как* уступить — вот в чем вопрос.

Правительство сузило эту уступку в тесную раму усадебной земли, насильно продаваемой крестьянину по цене, определенной помещиками. Правительство хотело не того; оно пришло к этому результату только вследствие глубокого раздвоения, в нем самом лежащего: с одной стороны — государь, сознавший, что освобождение крестьян необходимо; с другой — правительственные лица, которые или помещики, или бюрократы, или и то и другое вместе. Как помещики — они веруют в крепостное право и соглашаются с мыслию государя лицемерно; внутренно

они принадлежат к той же оппозиции, которая высказывается в комитетах; им вовсе бы не хотелось освобождения, и у них нет никакого проекта для решения вопроса. Как бюрократы — первая мысль, на которую они напали,— это оседлость, отсутствие бродяжества; в их глазах всякий, даже и свободный человек является не как человек, а как плательщик налогов; да и самый налог в их умах представляет не средство государственной жизни, а средство очистки бумаг по заведенному порядку; в государственных часах они не наблюдают хода времени, им нужно только, чтобы маятник качался, а стрелкиври себе как знают. Как помещики — им надо было уступить как можно меньше; как бюрократы — им надо было изменить как можно меньше существующие формы администрации. Отсюда и родилась эта несчастная мысль о выкупе одних усадеб. Для помещиков она представляет ту выгоду, что крестьянин, не имеющий возможности прокормиться одною усадьбой, будет по рукам и ногам связан помещиками, более раб, чем когда-либо, да еще за это рабство заплатит деньги; для бюрократов эта мысль представляет ту выгоду, что крестьянин не может двинуться с места, и очистка бумаг по взиманию налогов обеспечена, т. е. в налогах, может, и будет недоимка, но зато число бумаг увеличится, не сбиваясь с колеи формального порядка. Высшие сановники проектом выкупа усадеб добились до своего, т. е. до сохранения помещичьей власти и бюрократического формализма, и выдали свое узаконение statu quo за нововведение, за реформу, за улучшение. Одна сторона внутренно раздвоенного правительства надула другую: правительственные лица надули государя. Государь хотел освобождения, или, говоря официально, улучшения быта, крестьян; правительственный проект выкупа усадеб и двенадцатилетнего урочного положения представляет только личное прикрепление крестьян к усадьбе, т. е. разрушение общины, без права перехода отдельных лиц, иначе как с дозволения помещика,— совершенное рабство. Вы согласитесь, что лучше нельзя было надуть жаждущий спасения народ и благонамеренного государя.

Заметьте также в этом новое доказательство очень старой истины, что ни одно правительство не может итти при разномыслии своих членов, а тем менее, когда почти

все члены находятся в противуречии с предположенной целью. Результатом лицемерной мысли выкупа усадеб и противуречия правительственных лиц с освобождением крестьян был уродливый проект центрального комитета об отдании России под помещичьи-полицейский надзор [3]. Этот проект, вероятно, привел в ужас и самого государя. Если бы события двигались по логичному пути рассудка, а не по роковой логике капризных данных, этот ужас, это благородное отвращение перед лицемерием, доходящим до цинизма, навели бы государя на искание новых деятелей для решения великого народного вопроса, на внимательное прислушивание к живому русскому голосу. Но и тут внутреннее раздвоение сбило правительство с пути разума на капризную колею ошибочных данных. Что государь хотел прислушиваться к живому русскому голосу — это свидетельствует литература по поводу крестьянского вопроса; но когда раздвоенное правительство дошло до уродливых проектов, а литература подала голос против лицемерия, то вместо усиления литературы последовала отставка благонамеренного цензора, учреждение какого-то цензурного комитета из жандармов явно-тайных и действительно-тайных, вмешательство III отделения в дела цензуры [4], страх перед живым голосом, вместо сочувствия к нему. Так этим-то путем зажатия ртов хотят дойти до решения вопроса? О! великие распорядители судеб России,— если б они знали, как они ничтожны! Пусть они сознают это. Повторяю: сознание и покаяние — дело великое, единственное средство возвратиться на пути разума. И в то время, когда раздвоенное правительство бродит в неясности, с одной стороны, с отвращением боясь истины, с другой — с желанием истины, боясь ее,— масса народная молчит и ждет: обманут ее или не обманут? Эта масса кажется страшна. Но ведь она только тогда страшна, когда ее обманут.

Комитеты — от самого центрального до самых эксцентричных, бюрократы — от самых министерьельных до самых уезднейших, большинство помещиков — от самых многодушных до самых малодушнейших — хотят обмануть народ. Этот факт становится до такой степени очевидным, что никакой голубой мундир и никакое зажатие ртов не скроют его. К чьему же голосу может государь прислушаться, чтоб узнать настоящее решение вопроса без ли-

цемерия и обмана? К голосу меньшинства и литературы, к голосу, который другая сторона правительства так упорно старается задушить, к голосу, говорящему за народ.

Какое же слово сказало меньшинство и литература?

Выкуп крестьян со всею землею — немедленный, без урочного положения, посредством финансовой меры.

Что это общий голос всего добросовестно-образованного в России, что эта мера с радостью примется массами, что она не пошатнет, а возбудит государство к новой жизни — это я сейчас постараюсь доказать.

Вся русская литература намеками или прямо, несмотря на различие партий, говорит о необходимости выкупа крестьян с землею посредством финансовой меры.

Большая часть проектов клонится к тому же.

В Тульской губернии 105 помещиков представили записку в этом смысле [5]; между ними много имен известных и уважаемых в обществе и литературе.

Наконец, цифра выкупа, т. е. цифра того, что крестьянам будет стоить выкуп посредством финансовой меры,— во всех проектах, как бы различны ни были их методы и основания,— одна и та же. Должна же в самом способе быть правда.

Возьмемте проект тверского губернского предводителя Унковского [6] и, не входя в обсуждения самого проекта, возьмемте определенную им цифру выкупа крестьян с землею в Тверской губернии. Он полагает maximum ее в 36 мил. р. с., следственно, ежегодного 5% платежа не более 1 800 000, то есть не более 5 р. с. с души (считая всего 360 557 ревизских душ).

Проект Кокорева в «Петербургских ведомостях» [7] полагает для ежегодной уплаты процентов и погашения с выкупного капитала по 5 р. с. с души.

Проект неизвестного автора, напечатанный в V книжке «Голосов из России» [8] и который, по моему мнению, самый выработанный в финансовом отношении, полагает ежегодных процентов и погашения по 5 р. 50 коп. на душу.

Одинаковость цифры в этом случае чрезвычайно важна. Она доказывает, что действительный доход

помещика от крестьянина и земли, которою крестьянин пользуется, вертится около этой цифры, что неизменяемость ее при выкупе совершенно вознаграждает помещиков, что правительство для расчета финансовой меры должно иметь ее в виду.

Кокорев предложил капитал выкупа меньший и увеличил проценты; по расчету Унковского и проекта V книжки «Голосов» капитал предположен больше, а проценты меньше. Эти уклонения, сводящиеся на одно и то же, ясно показывают, что нормальная цифра выкупа находится в этих границах.

Нормальность цифры, доказывая, что помещики будут совершенно вознаграждены, дает выкупу то великое значение, что с этим способом освобождения, т. е. с выкупом, всякие отношения власти и подвластности между помещиком и крестьянами прекращаются по праву и ни в чем более не имеют почвы.

Другой вывод из проектов — это то, что правительству не нужно денег для выкупа, потому что облигации по выкупу — не облигации из казны и ради казны выпускаемые, ничем иным не обеспеченные, кроме абстрактного понятия казны; это облигации народные, обеспеченные народом и приобретаемою им собственностью, и нисколько не нарушат курса звонкой монеты и бумажных денег в России, так, как векселя Ротшильда обеспечены собственностью Ротшильда и нисколько не нарушают курса звонкой монеты и билетов английского банка в Англии, так, наконец, как у нас билеты сохранной казны Опекунского совета не нарушают денежного курса в государстве. Новым доказательством этого вывода служит проект Френкеля и Гомберга. Положим, что наших составителей проектов многие еще назвали бы мечтателями; но Френкель и Гомберг банкиры, а представляют подобный же проект; это уже, конечно, не с целью получить убыток, а разве выгоду; они уже наверно не мечтатели. Если возможен выкуп так, что крестьяне заплатят его и еще барыш банкира, то он тем более возможен, когда этот барыш не войдет в расчет; банкир тут являлся только как учетчик векселей, но и без него найдутся охотники поместить свои капиталы и за 4% эсконтируют, т. е. приобретут выкупные облигации без обременения кого-либо,

даже вероятно с выгодой для продавца, т. е. для помещика *.

Что касается до возможности крестьян платить проценты, Кокорев доказал ее очевидно сравнением с податями, платимыми государственными крестьянами, потому что крепостные крестьяне, платя по 5 р. с. с души в счет процентов за выкуп и 2 р. подушных в казну, станут платить также 7 р. с души, как теперь государственные крестьяне платят 7 р. с души казенных податей. Правительству остается только дать выкупающимся крестьянам льготу платить подушных не более 2 р. во все время выкупного оборота, что правительству очень легко сделать, потому что его положение нисколько не изменится; оно и теперь получает с помещичьих крестьян только 2 р. подушных. Я не думаю, чтобы на это можно было возразить, что и на государственных крестьянах есть недоимка, да еще и большая. Недоимка на государственных крестьянах происходит не от крестьян, не от недостатка земли у них, не от их поведения; она единственно происходит от дурного, т. е. от чрезмерного, управления и от способов сбора податей; следственно, такое возражение нисколько не опровергает расчета Кокорева. Никто же не говорит, что за освобождением крепостных крестьян должна следовать отдача их в лапы полицейского разбоя. Напротив — освобождение крепостного состояния неминуемо влечет за собой вопрос переобразования администрации.

Эта-то неразрывная связь того и другого и ставит у нас вопрос освобождения крестьян *иначе,* нежели он был поставлен в Пруссии. Крестьянский вопрос в Пруссии прошел, мало касаясь остальных государственных учреждений. Он был вопросом отношений между частными лицами и нечувствительно разрешился в общую категорию частных сделок, которые ужились с общей системой бюрократии и судопроизводства. Совсем не то, когда вопрос идет об отношениях корпораций, общин. С освобождением корпорации ей надо узакониться в самой себе, и всякая администрация, мешающая ее внутренней самостоятель-

* Еще раз по этому поводу рекомендуем читателям брошюру: «Emancipation des serfs en Russie», Bruxelles et Leipzig, C. Muquard éditeur, 1859. [«Освобождение крепостных в России», Брюссель и Лейпциг, изд. К. Мюкар, 1859.— *Ред.*]

ности, явится врагом, с которым нельзя ужиться. Скажут, что до сих пор общины уживались же и с губернскими чинами, и с министерством государственных имуществ, равно как и с помещичьей властью; но до сих пор и вопрос крестьянский бывал поднят только на манер Стеньки Разина и не становился государственным вопросом. Теперь он поставлен государственным вопросом; теперь его с этой высоты не столкнешь. В Пруссии крестьянский вопрос был одним из элементов государственной жизни; у нас он — *все*. У нас он поставлен иначе и иначе должен разрешиться.

Мы не станем толковать о том, как учредилось крепостное состояние крестьян в России; исторический вопрос очень важен, очень любопытен, но он не поможет решению задачи. Положимте, что мы исторически докажем, что дворянство *неправо* владеет мужиками: но этим мы не уничтожим крепостного состояния и не заставим дворянство отдать землю и волю народу, оставаясь ни при чем. Положимте, что мы докажем, что у дворянства есть историческое право на землю, но не на людей и что всякий крепостной человек волен уйти от помещика и купить себе землю где хочет или купить ее у того же помещика по добровольному условию, по частной сделке: но этим мы не дадим уходящему человеку или семейству средства купить себе землю где бы то ни было. Положимте, что мы с общечеловеческой точки зрения личной свободы и с исторической точки зрения дворянского права на землю дойдем до того, что освобожденный крестьянин может нанимать землю у помещиков; а так как у него нет средств нанять за наличные деньги, то он остается должен помещику и очутится у него в кабале, или отбывает свой долг работою, и тогда мы опять возвращаемся к крепостному состоянию. Положимте, приходя к проекту правительства, что крестьяне сохранят недостаточные для своего прокормления усадьбы; положимте, что помещики, с филантропической точки зрения, подарят усадьбы крестьянам,— а крестьяне все-таки останутся в кабале и крепостном состоянии. Вдобавок помещики и усадеб не отдадут даром, основываясь на крепостном праве. Положимте, что мы исторически докажем, что и все дворянское право на землю — ложь и что следует взять помещичьи земли и отдать крестьянам. Да ведь этого

сделать нельзя, потому что дворянства не вычеркнешь; оно также представляет известную силу в государстве, известную функцию в развившейся формуле. Следственно, что мы ни делай с историческими данными о крепостном праве и его справедливости или несправедливости, мы необходимо придем к тому, что оно факт, и факт, который надо уничтожить, потому что он не подходит под уровень народных требований. Войском и кровопролитием решить его — мы не хотим; остается экономическое решение, то есть выкуп крестьян с землею.

Выкуп этот у нас нельзя сделать отдельно, посемейно, лично — по очень простой причине, потому что и сама община — факт, не вычеркнутый историей. Как и когда учредилась у нас община — вопрос очень важный и очень любопытный; но как и когда бы она ни учредилась, решение этого вопроса делу нисколько не поможет, так же как решение справедливости или несправедливости крепостного права не помогает решить вопрос освобождения. Община есть факт, не вычеркнутый историей и который нельзя вычеркнуть, потому что он подходит под уровень народных требований.

Из литературы по поводу крестьянского вопроса вы, конечно, видели, сколько толков поднимает вопрос об общине, сколько она имеет защитников и врагов, странных защитников и странных врагов. Кто хочет, чтобы крестьяне были отдельными собственниками с круговой порукой общины; кто не хочет круговой поруки общины, а личной ответственности каждого; кто хочет сохранить общину с делянками земли, кто уничтожает делянки и с ними вместе общину; кто хочет общины с сохранением полицейской власти помещика, кто — без полицейской власти помещика; кто не хочет ни общины, ни полицейской власти помещика; кто не хочет только общины, но ратует за полицейскую власть помещика. Брожение умов страшное. Это брожение — явление утешительное: оно доказывает, что в обществе есть жизнь и что самый вопрос — вопрос жизненный.

Много сору прильнуло к вопросу об общине. Нашлись и православные славянофилы, отстаивающие общину с православной розгой; нашелся и доктринаризм, который хочет разрушить факт, потому что его не существует в западной науке. Забудемте покамест разные помещичьи

своекорыстные прорывы во всех толках и поставимте вопрос со всей независимостью рассудка.

Что такое община? Коллективный собственник известного пространства земли, которую она дает в пользование своим членам. Вся земля для общины наследственна, но для отдельного лица не наследственна, так что с уменьшением членов — участки становятся больше, с умножением членов — участки становятся меньше. Община признает для движимого имущества своих членов личную собственность и наследственность. Своим членом община признает тягло, т. е. женатого человека, т. е. единицу семейства, и делит земельные участки в пользование по тяглам. Так как число тягол изменяется и земля не равнокачественна, то обычай ввел делянки, т. е. ежегодный раздел полей по тяглам, так что тягло пользуется участком один год в одном месте, другой год в другом; местность участков ежегодно меняется. Раскладка повинностей производится потягольно, следственно, соответственно земельным участкам. Надел участков в пользование и раскладка повинностей производится на миру, т. е. на общем сходе всех членов общины, с их общего согласия. Вот экономическое основание нашей общины.

В таком виде она существует искони и ни шагу не сделала для своего развития, скажут противники общины. Делянки земли и ненаследственность земельных участков отнимают у крестьян охоту тщательно обрабатывать поля и мешают развитию народного богатства — и только. Ошибка этого возражения в том, что делянки признаются противниками общины за главное основание, между тем как главное основание не в делянках, а в форме землевладения общинного, где земля принадлежит общине как собственность, а членам общины — как пользование. Община сама в себе государство, земля принадлежит этому государству; умножится ли население, при спокойном развитии, или уменьшится от выселков или какого-нибудь несчастия,— государство, т. е. община, обязано дать каждому место и землю для пользования ее произведениями, не давая больше одному, чем другому; всякая наследственность была бы тут нарушением общинного понятия права, сосредоточивая землевладение в руки нескольких отдельных членов и выпуская других на бедность или, по неравномерности умножения семейств, раздробляя уча-

стки неравномерно. Форма землевладения общинного содержит понятие равного права каждого на пользование землею. Это основание непременное. Метода же надела землею — ежегодными делянками или иная — не есть неизменяемое основание, а переменная функция, которая, когда придет нужда, может измениться в другую, не нарушая основного понятия общинного землевладения. Но скажут, до сих пор эта метода не менялась, и наше хлебопашество стоит на самой низкой степени развития, и крестьянское народонаселение бедно. Тут, естественно, является вопрос: почему же эта метода не изменялась? Почему община так упорно держится за способ надела землею, вредный для ее благосостояния? Да! Община до сих пор упорно держалась старого обычая, упорно держалась за свое statu quo, потому что она спасалась от насилия, а внешние нужды, т. е. торговля, при отсутствии дорог, недостаток хлеба, который бы надо было пополнить более тщательным земледелием,— эти внешние нужды не существовали. Мужики, довольствуясь тем, что могут кое-как прокормиться, как испуганное стадо, жались в свою общину, инстинктивно понимая, что все же для помещичьей власти мудренее задушить общину, чем отдельного человека.

С освобождением община становится на свои ноги. Захочет она разрушить свое экономическое основание, свое равномерное право на пользование землею, свою общинную форму землевладения или не захочет? Я думаю, что не захочет. Инстинкт народный помешает ей захотеть этого. Она поднимет внутри себя новые вопросы — это так; но перейти к личному наследственному землевладению не захочет. Инстинкт народный сложится из привычки к известному порядку понятий и вещей, из привычки к миру, к раде, к вечу, из страха перед внешней администрацией, которой опять легче было бы задушить отдельное лицо, чем общину; из необходимости итти в будущность от той точки отправления, на которой стоишь,— и народ не изменит своего экономического основания.

Вправе ли мы навязать ему иное во имя будто бы непогрешительной науки? Не сердитесь на меня, если я сделаю небольшое отступление от предмета; потребность ясности понимания невольно и неодолимо наталкивает меня на следующий вопрос: да что же такое наука? Я думаю,

мы не затуманим здравых понятий мудреным языком, если скажем, что наука, когда она имеет предметом все явления мира, есть общая теория жизни, а всякая отдельная наука есть теория явлений известного порядка. Простое записывание фактов может быть каталогом, летописью, но не есть наука; только объяснение законности, мето̀ды развития явлений известного порядка, составляет теорию, т. е. науку. Для достоверности теории нужно ее совершенное совпадение с явлениями. От этого, чем явления отвлеченнее, т. е. чем менее они содержат разнородных данных, тем наука непогрешительнее. Таким образом, совершенно непогрешительная наука только одна — чистая математика, потому что предмет ее, пространство и количество вообще, совершенно отвлечен от всяких разнородных данных, составляет чисто количественную категорию. Чуть начинают примешиваться качественные данные — достоверность теории колеблется. Уже в теориях небесной и не небесной механики проглядывают ошибки. В естественных науках достоверность теории колеблется еще более, потому что, при сложности качественных данных, еще легче что-нибудь пропустить. Но тут еще есть спасение: изменяемость природы во времени, относительно человеческого наблюдения, совершается так медленно, что мы имеем дело почти постоянно с одними и теми же фактами; теория меняется только от приращения подробностей, уясняющих предмет. Как мы переходим в мир человеческий, т. е. в мир, где движение элементов и их разнородные группировки совершаются, даже относительно человеческого наблюдения, очень быстро, достоверность науки становится еще шатче; при сложности качественных данных еще более сторон ускользает от наблюдения, да и самый наблюдатель вместе с тем деятель наблюдаемого. Непогрешительность совершенно сомнительна. Сколько бы трансцендентальная философия (иначе метафизика) ни стремилась сделать из науки религию, сколько бы академии ни создавали цеховых ученых — никогда религиозное боготворение науки и никакие цеховых дел мастера от науки не придадут ей непогрешительности и не узаконят в ней statu quo; здравый смысл и действительное понимание всегда останутся благородными скептиками. Тут даже вот какого рода противуречие: в науках количественной категории чем общее предмет, тем

наука достовернее, потому что качественное данное само количество; так, алгебра совпадает непогрешительно со всеми явлениями. В науках же качественной категории, а тем более в науках из человеческого мира, чем общее предмет, тем менее достоверна наука, потому что тем более качественных данных ускользают от наблюдения. Так, философия истории становится совершенно проблематической наукой, где каждый по одностороннему наблюдению натягивает на предположенный закон кое-какие факты, и в науке царствует произвол, потому что не только бо̀льшая часть данных из исторической жизни людей ускользает или не существует для наблюдения, но даже самая физиологическая связь между человеческим существованием и человеческой деятельностью не только не определена, но едва задета как вопрос в науке. Между этими двумя крайними — совершенной достоверностью алгебры и совершенной недостоверностью философии истории — мы найдем степени достоверности, где наименее погрешительны знания, в которые входит наиболее известных данных, или где количественная категория ставит себя алгебраической формулой, применяемой ко всякому положению вещей, где вообще количество и качество приходят к наибольшему совпадению. Таким образом, политическая экономия всего непогрешительнее, всего более выработала истин там, где она может стать алгебраической формулой; например движение цен, где приращение известного товара на рынке понижает его цену, а уменьшение повышает; достоверность такой алгебраической формулы непреложна, какое бы ни было устройство человеческого общества. Совсем не то, когда она переходит к качественным данным; тут она совершенно теряет свою непогрешительность. Таким образом в вопросе отношения народонаселения к собственности, она никак не может возвыситься на степень алгебраической формулы. Она сталкивается с идеей общечеловеческого права и действительностью и не может примирить их. С ожесточением бессилия она бросается на провозглашение действительности наукою, факт хочет назвать теорией и оправдать его разумность — не относительно его происхождения, как роковое следствие известных причин, а относительно того идеала разумного общественного устройства, который гнездится в каждом человеческом мозгу более или менее

инстинктивно, более или менее сознательно. От этого факт современной формы собственности для нее какое-то конечное слово человеческого общества; она ему придает значение непогрешительной науки. Эта остановка в statu quo, это одеревенение, эта кристаллизация жизни в застывшую форму и есть то, что мы обыкновенно в органическом мире называем смертью. Отсюда начинается борьба политической экономии с социализмом. Она сталкивается с ним не как с фактом из действительного мира, а как с фактом человеческого мышления. Борьба необходимо должна была принять ту форму, в которой она является, то есть политическая экономия смотрит на социализм как на утопию, на теорию без факта; социализм смотрит на политическую экономию, как на оправдание существующих вещей, противуречащих идеалу разумного устройства человеческого общества; он видит только несчастный факт без теории, а не науку. Политическая экономия крепко уселась на почве, но у ней нет воздуха для дыхания; социализм ставит свой факт на воздухе, без почвы.

Положим, что западный социализм, встретив в русской общине новую форму землевладения, не отринет ее как nonsens, а только посмотрит с недоверием; но политическая экономия, по натуре своей, отринет этот факт из действительного мира так же, как отринула социальную теорию как факт человеческого мышления, потому что этот факт не подходит под науку, или, вернее, не есть факт из современного statu quo западной цивилизации. Естествоиспытатель, привыкший встречаться с явлениями, всегда однородными, с формами, уже созданными, а не создающимися, кажется, имел бы более права отринуть какой-нибудь вновь встречаемый факт, как неподходящий под науку; но совсем напротив: естествоиспытатель перед новым фактом останавливается с уважением, пересматривает свою науку и пересоздает ее вследствие вновь открытого факта, потому что его требование одно: чтобы теория совершенно совпадала с явлениями, т. е. имела бы полную или, по крайней мере, наибольшую достоверность. Там же, где объяснение явления совершенно ускользает от теории, естествоиспытатель очень искренно говорит: не знаю,— поищем! Совсем иначе политическая наука: наблюдатели, страстно увлеченные потоком наблюдаемого,

при быстроте переменных сочетаний, стремятся сохранить религию науки, как бы она ни противоречила развитию жизни, и сохраняют только печальное statu quo. Правило их не бескорыстное уважение перед новым фактом, а правило г-жи Простаковой: «поверь, мой батюшка, что все то вздор, чего не знает Митрофанушка!»

Возвращаюсь к предмету: вправе ли мы во имя statu quo западной цивилизации, из которой Европа сама стремится выйти с судорожным бессилием, вправе ли мы во имя науки, имеющей так мало прав на достоверность, разрушить факт нашей сельской общины?

Без сомнения — нет.

В форме общинного землевладения социализм становится на почву, потому что при наследственном землевладении почва для него невозможна. Может быть, теоретический социализм не признает этого, потому что не найдет в существующих общинах своих выработанных форм. Но в исторической жизни, как и во всякой органической жизни, формы вырабатываются не по рецепту, а по необходимому сцеплению страшно сложных элементов, движущихся от причин к следствиям — со всеми данными случайностей, личностей, уклонений, зигзагов. Одно очевидно, что иная почва, иная точка отправления дает иной результат. Можно всякое развитие задушить насилием, я и об этом спорить не стану, но чего мы именно не хотим — это насилия; мы никак не можем сочувствовать с тем воззрением, которое английского солдата в Индии и австрийского жандарма в Галиции боготворит как цивилизаторов. Такое крайнее направление доктринаризма всего очевиднее доказывает, что политическая наука, в заботе о самоспасении, заботится только о сохранении statu quo, хотя бы этот statu quo был даже Австрия; пусть лучше Австрия будет непреложной истиной, чем наука согласится принять новый факт, в ней не существующий.

Но скажут, может, мы-то и делаем насилие и навязываем форму общинного землевладения русскому народу, который ее вовсе не хочет. Я готов сомневаться и в собственном воззрении; но в таком случае решить вопрос приходится не с кафедры профессора, не на страницах журнала, не в передней министра, не в кабинете государя. Вопрос этот должны решить сами крестьяне: пусть они устроятся как знают, как им естественней. Говорят, что

малороссийские крестьяне не хотят общинного землевладения; позволяя себе не совсем доверять этому утверждению, я все же скажу: пусть малороссийские крестьяне устраиваются иначе, устраиваются как знают, но свободно, без насилия с какой бы точки зрения ни было. Я уверен, что великорусские крестьяне устроятся в общинное землевладение; но и тут опять — пусть они решают вопрос сами. Если одна часть государства сохранит общинный быт, а другая нет — и это не беда; разрешится ли при дальнейшем развитии форма личного землевладения в общинное или наоборот — это дело исторической жизни; но что мы теперь, прежде всего, обязаны не нарушать — это принцип свободы. Пусть же вопрос своей формы землевладения решает сам народ. Я убежден, что народ решит в пользу общинного землевладения; но только опыт <может> доказать справедливость моего убеждения.

Но, скажут еще, форма общинного землевладения вовсе не новая; она существовала у всех диких народов и теперь еще существует в Индии. История разрушила ее в Западной Европе. Я не думаю, чтобы феодальная история Европы действовала очень сознательно. Известный толчок производит свое действие, совсем не думая о том, что он производит; горячка ли разрушает организм, родится ли белокурое дитя от белокурого отца и матери,— целесообразности в этом немного; только после патолог решает, как и почему организм должен был умереть, и физиолог решает, как и почему ребенок должен был родиться белокурым. Общинное землевладение рушилось в Западной Европе — это факт, и феодальное скопление земельной собственности в немногие руки, и дробное неравномерное измельчение наследственно делимых земель, довели Западную Европу до страшно-тяжелого положения — и это факт. Тут нельзя искать доказательств против общинного землевладения; из этого можно вывести только одно бесспорное заключение: в Западной Европе общинное землевладение не развилось. Что Индия спит глубоким сном — это не есть вопрос какой бы то ни было формы землевладения. Это вопрос исторических отживаний. Рим пал от завоевания; но он уже был внутренно павшим, несмотря на отсутствие общинного землевладения; Индия окристаллизовалась и застыла. Завоевание и застывание два рода исторической смерти, которых пато-

логические причины гордая наука нисколько не объяснила и даже не поставила вопросом, как явление физиологического мира. Англичане завоевали Индию, потому что Индия представляет бессилие; они разрушают форму общинного землевладения в Индии, потому что с точки зрения условий западноевропейской жизни эта форма им чужда и потому что они имеют силу делать насилие, предполагая в этом диком поступке рациональную методу распространения цивилизации. Англичане, может быть, завоевали бы и Россию, если бы Россия представляла бессилие, и стали бы разрушать у нас форму общинного землевладения. Но им этого нельзя сделать, потому что Россия представляет силу. Так, вместо того чтобы возражать на факт, который именно потому новый, что он является при других условиях, элементом другого химического сочетания, функцией другой формулы,— посмотрим лучше, спокойно выжидая решений опыта, что сделает из формы общинного землевладения народ, представляющий не бессилие — а силу, не смерть — а жизнь.

В освобожденной сельской общине поднимутся новые вопросы. Промышленное движение, устройство дорог, стремление к выселкам — роковым образом поднимут вопросы, преждевременное решение которых не в нашей власти. Перейдут ли делянки земель в общинный труд и деление прибытков, как делается у нас в мастеровой общине — в *артели,* или перейдут в иную неизвестную нам форму труда, долго ли еще сохранятся?.. мы этого покамест не знаем. Дайте время элементам разработаться — и увидим; дайте крестьянам, при развитии промышленности, сделаться недовольными своим способом земледелия, и они станут переходить к другому способу. Стремление к выселкам — в Сибирь ли, столь богатую будущностью, на иные ли плодородные и неразработанные земли или на фабричную деятельность — все равно; но это с освобождением усиленное стремление возбудит вопрос об отношениях лица к миру, о границах свободы личной и мирской власти, возбудит вопрос самоузаконения общины в самой себе. Что есть тяжелого, давящего в мирской власти уступит потребности выселка, свободы, шири жизни и сохранит что есть связующего, поддерживающего человеческое стадо в определенных группах.

В освобожденной общине неминуемо поднимутся вопросы,— только не мешайте ей разрабатывать их.

Что и при общинном землевладении может явиться недостаток земли относительно народонаселения, как и при личном,— это ничего не доказывает ни в пользу, ни во вред того или другого. Из Европы переселяются в Америку; Россия еще так обширна, что из России переселяются в Россию. Это только доказывает, что нужда, необходимость спокон века, во все продолжение истории заставляет род человеческий стремиться к географическому равновесию народонаселения. Ни личному, ни артельному выселку мешать нельзя, потому что это было бы противуестественно, и выселок совершится при всякой форме землевладения — будь она основана на принципе наследственной собственности или на праве равного пользования землею членов общины.

Конечно, не вас, мой благородный критик, пришлось бы мне убеждать в необходимости уничтожения всякой полицейской власти помещика к общине; я наперед уверен, что вы тут со мной согласны. Во-первых, потому, что эта полицейская власть не может оставаться без поползновений на насилие, это не в натуре вещей; во-вторых, потому, что она своим существованием до сих пор доказала свою ненужность и свой вред. Ненужность — потому что порядок в помещичьих имениях совершенно мнимый и община сама поддержит порядок лучше и беспритязательно. Если мы станем называть порядком то, что помещик мешает мужикам торговать на базарах для того, чтобы они не напивались; если помещик сам назначает старосту для того, чтоб мужики не ошиблись в выборе; если помещик сечет крестьянина за ослушание в поступках, до которых помещику действительно никакого дела нет, то этот порядок, конечно, вред, и сохранять его не придет охоты никакому добросовестному человеку. Это не порядок, а просто бессмысленное насилие плантаторов, провозглашающих себя цивилизаторами и мешающих крестьянскому промышленному развитию, а не подстрекающих его. Вы можете себе представить, как меня удивила выходка некоторых славянофилов, предлагающих, по освобождении крестьян, сохранить помещичий полицейский надзор и даже помещичью розгу [9]. Так это-то результат проповедывания веры в народ русский! — подумал я и стал искать

причины этого секущего направления. И знаете ли, в чем причина? В том, что абстрактная любовь к допотопной Руси не есть любовь к живой Руси,— а любовь мертвая; а что есть живого в ратующих за розгу — то и высказалось; это то, что в них гнездится барин, внутри сидит помещик, и за какие православные стенки ни прячься, а вдруг человека и прорвет — барином. Жаль! но что же делать! И тут живая жизнь ускользает из дворянских рук.

Я также убежден, что вы со мной не станете спорить, что суд по делам крестьянским не может принадлежать помещику. Община имеет две формы суда — третейский и мирской. Пусть же ей дадут самой узаконить в себе эти формы; она, конечно, более приблизится к возможно справедливому суду, чем всякие судьи и всякие формы суда, налагаемые на нее извне, которые потому самому ей чужды и пахнут насилием.

Вот почему выкуп так важен, что община, раз за себя заплатившая, т. е. за свою волю и за свою землю, и ничем более перед продавцом не обязанная, имеет полное право узакониться сама в себе по своему усмотрению в своем экономическом и гражданском быту, и, может быть, на воле она выведет побольше свободы для своих членов, т. е. для личности, чем с поверхностного взгляда кажется, *несмотря на,* или *потому что* сохранит общинную форму землевладения. Исторический опыт покажет это. Наша невольная вина только в том, что мы, вероятно, не доживем до поверки опытом наших убеждений и наших верований. Другое поколение проверит их, а мы только можем пожелать ему, чтобы оно свою проверку совершило мощно и благородно.

Счастлив тот государь, которому удастся освободить крепостное сословие на основании новых экономических начал, бодро пробившись сквозь всю мерзость окружающей его среды!...

Но тут кстати является вопрос: а что же государственные крестьяне? Чем же они виноваты, что общины, освобожденные от помещичьей власти, будут собственниками, будут иметь возможность с согласия мира продать свою землю и переселиться на другую, будут иметь возможность узакониться сами в себе и определить для своих членов права личного выхода и переселения, сами устроят свою полицию и свой суд; а они, государственные

крестьяне, платящие такие же налоги, будут лишены права распоряжаться своей земельной собственностью и узакониться в своих общинах?

Что такое государственные крестьяне? Кому они принадлежат? Государству? Но государство — это абстрактное название, которое иначе называется Россия, русская империя... На этом основании все земли — государственные и все люди — люди русские. Неужели же министерство Муравьева — представитель государства, представитель России? А до сих пор государственные крестьяне в сущности принадлежат министерству. Какая горькая нелепость! Выход очевиден: надо отдать общинам государственных крестьян земли, которыми они владеют, и дозволить им распоряжаться ими и узакониться самим в себе так, как это будет дозволено помещичьим крестьянам. Конечно, тут уже без всякого выкупа, потому что не у кого выкупать; у государства, у абстрактного названия нельзя выкупать; оно не владелец, не помещик, а логическое определение совокупности народа. Правительство может только определить maximum земли, принадлежащей общинам государственных крестьян, чтобы отделить те незанятые земли, которые займутся выселками. И это освобождение государственных крестьян так же необходимо, как и освобождение помещичьих. И оно будет.

Счастлив государь, которому суждено освободить всю Россию на основании новых экономических начал. Завидное место в истории!

Вы меня спросите, может быть, что же будет делать дворянство после освобождения крестьян? Но мое письмо уже так длинно, что об этом поговорим когда-нибудь после. Мимоходом только замечу, что такое *образованное* сословие, как российское дворянство, не может не найти себе дела.

Искренно и с глубоким уважением жму вашу почтенную руку, мой благородный критик. Если вам вздумается писать ко мне, то страницы «Колокола» с радостью примут все, что вы напишите [10].

Н. Огарев.

ОТВЕТ НА ПИСЬМО МАЛОРОССИЙСКОГО ПОМЕЩИКА[1]

Милостивый государь,

Мы тем охотнее поместили ваше письмо в «Колоколе», что оно, без особо ученых фраз, выражает понятия и стремления доктринаризма, сквозь который ярко просвечивают два совпадающих начала: европейской буржуазии и русского помещичества. Мы тем охотнее готовы возражать вам, что вы весьма просто сосредоточили в небольшом письме понятия крайнего доктринаризма, и потому, возражая вам, мы возражаем ему.

Европейская буржуазия, развиваясь в упор феодализму, развивалась с тем вместе и на счет народа. Феодализм завоевал землю и, вопреки вашему мнению, нашел для себя совершенно выгодным разрушить сельскую общину и общинное землевладение там, где оно было. Земля осталась завоевателю. Личности из народа, которые были попредприимчивее и побогаче, сплотились в буржуазию, отстояли против феодализма власть капитала и отделились от народа, противупоставив свою власть капитала его нищенству. Отсюда вышли те юридические понятия о собственности, которые на Западе выразились двумя направлениями, сводящимися на одно: на нищенство народа.

Англия признала право земельной собственности только за аристократией; оплодотворение земли совершилось посредством свободного найма. Наем достался

капиталистам, т. е. в руки наиболее богатых. Большинство народонаселения осталось не при чем. Освятив законоположения о собственности в кодексах и ученых комментариях, землевладеющая аристократия и богатое меньшинство сказало народу: «мы признаем совершенную свободу приобретения и сохранения собственности и власть закона охранять ее». В экономическом отношении эта свобода мнимая, потому что большинство имеет право, но не имеет возможности на приобретение собственности. Свобода труда, свобода приобретать — оказалась больше насмешкою, чем правом.

На континенте произошло иное, но подобное. С устранением исключительного права аристократии владеть землею земля могла приобретаться каждым, уже не как наем, но как собственность. Но земля могла приобретаться от кого? Все же от феодалов, завладевших ею. Кто же мог приобресть ее? Тот, кто был богаче, кто дороже заплатил за большой ли пай или за клочок земли. Таким образом, явилась разом тройная форма землевладения: феодалы — сохранившие, т. е. не продавшие, землю, капиталисты — купившие большое количество земли, и мелкие капиталисты — накупившие клочки земли, впоследствии еще более измельченные правом дробного наследства. Собственно народ, которому феодалы не продали земель, потому что народ был не в состоянии купить их, пошел по̀ миру. Ему также, объявив неприкосновенность собственности, объявили свободу труда, т. е. свободу приобретать, и тут эта свобода оказалась больше насмешкою, чем правом. Для большинства, для народа, осталась свобода труда с невозможностью приобретения; меньший предел собственности (minimum) для существования народа не был обеспечен. Земля разделилась на личные участки, и из всех первоначальных элементов природы в общем владении остался только воздух, более или менее гнилой в городах, более или менее чистый в деревнях. Англия, при сосредоточении землевладения, дошла даже до совершенного отсутствия деревень и существования только городов, которых коренное население — буржуазия, а народ по необходимости составляет приток населения к городским центрам, приток, который волен трудиться и приобретать, но средств к приобретению не имеет. Но

в Англии буржуазия, освободившись из-под феодализма и осудив народ на свободу труда, оставила возле себя место феодализму, признав его исключительное право на землевладение, и, таким образом, оставила ему *почти* равносильную власть в государстве. На континенте феодализм распался, и буржуазия составила исключительную власть, отстаивающую себя против народа, то примыкая к какому бы то ни было правительству и централизируясь в нем,— так поступает Франция; то, как в Германии, оставляя тень феодализма в виде юнкертума, мнимо поддержанного правительствами, считающими себя феодального происхождения и в которых каждый король хочет представлять первого юнкера в государстве; но все же тень германского феодализма не может выдержать конкуренции с разжившейся буржуазией *. В сущности и в Англии и на континенте власть принадлежит буржуазии, т. е. тому среднему сословию, которое, разжившись на счет народа, опрокинуло феодализм, а само отделилось от народа. Феодализм поощрял личную земельную собственность, во-первых, потому, что он сам, заграбив землю, поделил ее между своими членами, признав за каждым право владеть настолько, насколько кто заграбил, и узаконив право разбоя как право собственности; а во-вторых, потому, что продать эту собственность или уступить в пользование тому, кто больше даст,

---

* Феодализм сохранился в германских учреждениях, но иначе, чем в Англии. Прусский король имеет право жаловать дворянство кому вздумается («Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten», Berlin, 1855, 2 Teil, 9 Titel, § 9). [«Всеобщее земельное право в прусских провинциях», Берлин 1855, 2-я часть, 9-й раздел, § 9-й (нем.).— *Ред.*], что уже совершенно подчиняет аристократию королевской власти, но между тем бюргеры не имеют права покупать дворянских земель, разве по особому разрешению короля (idem, § 51). Взгляд прусского кодекса на народ замечателен тем, что наемные люди везде названы презрительным именем Gesinde [холопство.— *Ред.*] — название, которого устыдился даже наш Свод законов. Сословные права прусские, очевидно, разные, но английская аристократия, при общем уравнении всех иных прав, сохранила только право на землю, не дробимую между детьми и не отчуждаемую даже за долги. Это ставит ее как силу, конечно, на гибель народу и не допускает, чтобы Rittertum [рыцарство.— *Ред.*] под влиянием королевской власти перешел в Junkertum [юнкерство.— *Ред.*]

было для него выгодным. Те же, которые больше дали, естественно, отстаивали право купца на землю против народа, т. е. против всякого общинного землевладения. Таким образом, и при пособии corpus juris civilis[2] образовалось буржуазное право собственности, а европейская наука положила его основанием своей политической экономии.

Очень понятно, что русский помещик ради собственной эгоистической выгоды примыкает к европейскому понятию собственности и ставит личную земельную собственность основанием общественного благосостояния. При вопросе об освобождении крестьян, что же бы могло быть выгоднее для помещика, как <не> личный надел крестьян землею, или, проще,— продажа помещиком земли не общине, а отдельному лицу по цене, добровольно условленной? Помещик продал бы гораздо дороже землю богатым крестьянам, продал бы сколько хочет, продал бы в немногие руки, а остальные батраки стали бы работать из-за полснопа. А при общинном землевладении — надо дать надел общине, не меньше известного количества на душу, да еще правительство помешает продать втридорога. Ясно, что помещик должен принять европейское право личной земельной собственности за основание своей политической экономии. Гораздо труднее понять у нас людей ученых и бескорыстных, подобно вам, милостивый государь, которые из доктринаризма, из бескорыстного идолопоклонства перед наукой принимают ту же точку зрения и помогают помещику в порабощении крестьянства. Понятно, что Европа свой быт приняла за науку, а свою науку за правду; нам-то с чего тянуться за ее положениями, нашему народу совершенно чуждыми и враждебными? Не подумайте, чтобы мы порицали науку вообще; мы слишком далеки от этого. Когда наука собирает факты, группирует их и, высматривая методу их образования, выводит формулу этой комбинации причин и следствий, мы принимаем ее с уважением. Но признание факта такой-то формы земельной собственности, а не иной, мы не можем назвать ни абсолютной истиной, ни наукой, тем более, что эта форма собственности слагалась совсем не сознательно, совсем не разумно, а вследствие внешних нужд, внутренних потреб-

ностей и страстей, вследствие необходимости; объяснение и формула развития этой необходимости есть дело науки; но сказать, чтобы европейское развитие было сознательно и, следственно, разумно (потому что человеческая разумность состоит в сознательном действии по плану),— сказать это было бы безумием. Развитие истории Европы разумно, как все в природе разумно, т. е. каждый шаг есть следствие известной комбинации причин; но оно так же мало сознательно, как то, что три пая кислорода и один серы, соединяясь при известных условиях, дают серную кислоту. Никто еще не принимал серной кислоты за абсолютную истину, и мы не видим никакой достаточной причины, чтобы факт личной сосредоточенной или дробной наследственной земельной собственности, как она создалась в Европе, принять за истину, за что-то выделанное человечеством сознательно, за что-то достойное служить условием sine qua non * общественной жизни, за что-то достойное стать основанием науки.

Вы говорите, что мы в форме общинного землевладения видим не только идеал (это вы еще допускаете), но зародыш будущего развития России. Нет, мы не видим идеала, мы видим факт, существующий в России, факт иной, нежели в Европе, нежели тот, который Европу привел к задыханию, и говорим, что этот факт способен к своеобразному развитию, которое, если ему не помешают, может быть гораздо лучше, потому что имеет более данных для мирного общественного устройства, признавая право каждого на пользование землею, обеспечивая каждому существование и вызывая всех на жизнь, т. е. на движение совокупными силами.

Но вы хотите оспорить самый факт. Вы говорите, что он слишком малозначащ, что если бы мы с вами не так плохо учились отечественной статистике, то мы увидели бы, что общинное землевладение в России составляет едва заметный процент. Напрасно вы судите о значении факта по его нумерическому объему и еще напраснее делаете совершенно голословное предположение о его нумерической незначительности. Мы вам очень благодарны,

* Непременным условием (лат.).— *Ред.*

что вы навели нас на эту тему. Извольте — займемтесь цифрами.

Вопрос о значении общинного землевладения поднят так недавно, споры противников и защитников так исключительно устремлялись на уяснение понятия общины вообще, что едва ли возможно определить отношение числа общинного населения к необщинному в России иначе, как только приблизительно; но все же попытаемся определить его.

Все государственные и удельные крестьяне восточной, северной и средней полосы империи сохранили общинную форму землевладения. Также и все помещичьи крестьяне тех же местностей. К великорусским крестьянам в этом отношении присоединились мордва и татары и саратовские немецкие колонисты (по свидетельству Гакстгаузена, принятого Тенгоборским *). Если в восточной России, при малонаселении и огромном количестве земли, встречается хозяйство многолетних залежей и сроки переделов более раздвинуты, то это не доказывает, чтобы землевладение было личное, а не общинное; тут разница в форме *земледелия,* а не *землевладения.* Мы не понимаем, милостивый государь, почему вы полагаете, что в восточной России общинное хозяйство составляет небольшой процент. И что вы называете восточной Россией — Заволжье или Сибирь? В Заволжье мы не знаем ни одного села, которое существовало бы не на общинном праве землевладения; разница Заволжья от средней России в количестве земли на душу, в возделывании пшеницы на новях и в возможности оставлять залежи на десятки лет; но права личной наследственной собственности земельных участков ни тут, ни там не существует

* Из Устава о колонистах нельзя, однако, вывести заключения, чтобы колонисты где-либо примкнули к лично-безнаследственной, общинной форме землевладения; но Тенгоборский говорит, что, в противность правительственным постановлениям, немецкие колонисты Саратовской губернии, «после нескольких лет опыта, ходатайствовали об изменении правительственных постановлений и дозволении им принять способ переделов, как у русских крестьян, находя оный способ лучшим для своего благосостояния», что и было им дозволено правительством. (*Tengoborski,* Etudes sur les forces productives de la Russie, v. I, p. 353.) [*Тенгоборский,* Очерки производительных сил России, т. I, стр. 353 (фр.).— *Ред.*]

вовсе. Даже мы не слыхали, чтобы установленное в 1846 году наделение государственных крестьян семейными участками * — на что крестьяне были вызываемы добровольно — имело какой-нибудь успех и распространение.

Члены комиссии [3] для составления положения о крестьянах под председательством Ростовцева, разбирая проекты губернских комитетов по вопросу о земельном наделе помещичьих крестьян, очевидно, встречаются с необщинным землевладением в белорусских уездах Витебской губернии, где надел по *дворам;* в Ифляндских уездах [4] той же губернии, где надел по *домохозяевам,* и в Полтавской губернии, где крестьяне в иных имениях вовсе не имеют надела, а работают помещику *из снопа* ** «Существование подобных обычаев,— говорится в докладе хозяйственного отделения,— *не сходных с принятыми вообще в большей части России основаниями общинного владения,* не может, конечно, быть отвергаемо и во всех нужных случаях должно быть тщательно принимаемо во внимание». Поэтому хозяйственное отделение, имея в виду только проекты Минского и Витебского комитетов, находит полезным оставить окончательное разрешение по вопросу о способе надела в этих губерниях «до рассмотрения всех положений западных губерний». Это доказывает, что комиссии для составления положений о крестьянах, имея в руках огромные статистические материалы, находят отсутствие общинного землевладения только в губерниях западных, из коих в некоторых были введены инвентари. Следственно, сюда относятся губернии: Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская, Киевская, Ковенская, Минская, Могилевская и Подольская. И то мы не можем решить, сколько в Киевской губернии необщинного и сколько общинного населения. Смоленская губерния, которой статистика так прекрасно разработана Я. Соловьевым, несмотря на большую часть белорусского племени, вся существует на праве общинного землевладения; даже из 2 489 душ

* Свод законов, изд. 1857 г., т. XII, ч. 2, устав о благоустройстве в казенных селениях, разд. 1, гл. V, ст. 104—120.

** Доклад хозяйственного отделения № 1, при журнале общественного присутствия комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости,— №№ 22, 23 и 24.

однодворцов, владевших *четвертями,* 1 156 перешли на способ общинного землевладения *. Итак, вы видите, милостивый государь, что, несмотря на ваше голословное уверение, что в Белоруссии нет общинного землевладения, оно там действительно существует.

Южнорусский элемент, как и весь южнославянский элемент, совсем не так чужд духу общины, как вы полагаете. Если в западных губерниях вы видели, что взросший сын спешит «отделиться от отца, чтобы владеть отдельным клочком, обособленным хозяйством»,— не торопитесь приписывать это явление духу необщинного землевладения; это явление также часто повторяется и с той же страстностью у великорусских, общинных крестьян, когда сын, желая свободы и самостоятельности, спешит отделиться от отца и завестись обособленным хозяйством, в ущерб семейному богатству. Но от этого семейного раздела в русской общине нисколько не меняется форма общинного землевладения, и мы отнюдь не вправе, ни тут, ни там, семейный раздор и стремление к самостоятельному домохозяйству приписать такой или иной форме землевладения. Если вам угодно будет поглубже заглянуть в историю Малороссии и проследить дух казачества, вы невольно согласитесь, что южнорусский элемент очень близок к общинному началу, разрушенному собственно введением крепостного права, следственно, влиянием панства, помещичества, которое совсем не так дружелюбно смотрит на крестьянскую общину, как вы думаете. Мы не можем принять на слово вашего бездоказательного удостоверения, что в Малороссии и Новороссии нет и не может быть сельской общины. Почему вы, вызывающие нас на цифры, не потрудились собрать хотя несколько положительных данных для подкрепления ваших слов? Мало зная Малороссию, мы действительно с большим трудом должны в разных документах отыскивать кое-как уясняющую нить.

Из «Положения губернского комитета об улучшении быта крестьян Харьковской губернии» усматривается, что там существует общинное землевладение; таким образом, в § 4 Положения сказано: «Во время переходного состоя-

---

* Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии, Я. Соловьева, стр. 206.

ния предоставляется крестьянам право покупать земли, не отведенные им в *надел,* у бывших их помещиков, с условием, что купленная земля не поступает в *общинное управление,* а остается собственностью крестьянина, который владеет ею в хозяйственном отношении на правах вольного хлебопашца».— Следственно, *обычной формой* крестьянского хозяйства Харьковский комитет полагает *надел и общинное управление.*

Собственно, в Украине мы никаких средств под рукой не имеем, чтобы определить отношение необщинного населения к общинному. Что оно не может быть все необщинное — за это ручается *казачество,* составляющее жизненную струю исторического развития Малороссии. За общинность землевладения у казачества нам ручается *Свод законов.* В уставе «О благоустройстве в казачьих селениях Войска Донского» мы находим статьи *:

«85. За всякое присвоение какой бы то ни было части земли и угодья из общественного станичного довольствия в исключительное владение лиц, или уступку оных, в частную пользу допущенную, взыскивается с той же строгостью, как за похищение казенного имущества.

86. На сем основании, следуя *издавна существующему в войске обыкновению,* обитатели каждой станицы всеми отведенными в состав юрта их землями и угодьями *владеют и довольствуются общественно».*

Чиновникам определяется по чину земельный участок больший в *пожизненное владение,* и тут новая форма наследственности: сын умершего чиновника сохраняет участок отца до девятнадцатилетнего возраста, дочь — до 17 лет, т. е. до возраста, когда сами могут пропитаться, а потом участок опять поступает в общее войсковое владение. Эта форма введена в недавнее время для прекращения захватов земли казачьим чиновным людом, стремившимся образовать *панство* в ущерб казачеству. Правительство сколько по своему обычаю ни мирволит чиновничеству, но поступило благоразумно в духе народа, в духе южнорусского элемента, и не совсем обидев чиновников, все же устранило отдельное, наследственное землевладение,— так наследственность земли противна общинному духу казачества.

* Свод законов, изд. 1857 г., т. XII, ч. II.

Все остальные казаки владеют землею на тех же основаниях, по одинакому уставу. Сюда относятся казаки: Черноморские, Оренбургские, Новороссийские, Кавказские линейные, Тобольские, Иркутские, Енисейские и Забайкальские *. К пешим забайкальским казакам причислены крестьяне, приписанные к Нерчинским горным заводам, и состоят на тех же правах **. Распространение казацкого элемента от юго-запада Европейской России до крайних пределов Сибири заставляет нас сильно сомневаться в совершенной необщинности землевладения в Малороссии и за Уралом. Несмотря на все влияние Польши, в которую католичество занесло феодальные понятия о собственности и разрушило общинное начало, мы не думаем, чтобы это влияние произвело такое же действие в Малороссии, внутренно остающейся и не католической и не феодальной, а казацкой. Что же касается до Сибири, где изобилие земли дает форму владения насколько у кого рука хватит,— то первоначальное покорение ее казаками и последующее заселение русскими заставляет, не без вероятия, предполагать, что, при умножении народонаселения, скорее разовьется форма землевладения общинная, чем иная.

Покамест мы не коснемся Сибири; уступим в вашу пользу, милостивый государь, что в Малороссии и Новороссии три четверти населения владеют землею необщинно, и попробуем приблизительно определить отношение общинного населения к необщинному в Европейской России по цифрам последней (десятой) народной переписи, за достоверность которых мы ручаемся.

Из крестьянского народонаселения каждой губернии мы выключили дворовых людей, как не относящихся ни к какой форме землевладения совершенно против своей воли. Мы не включили в наш перечень войско, потому что оно также, против своей воли, не принадлежит ни к какому землевладению, хотя набрано или исторгнуто из обеих категорий. Мы взяли в расчет только ревизские души, т. е. мужской пол, для избежания огромных цифр, нисколько не меняющих отношения.

---

* Свод законов, т. XII, ч. II, устав о благоустройстве в казачьих селениях, ст. 444, 446, 475, 496, 523, 540, 555, 572, 575, 588, 602.

** Idem, ст. 598.

Крестьянское население
с общинным землевладением, где необщинники могут найтись только как случайное исключение:

	В губерниях	Число душ мужского пола
1	Архангельской	100 276
2	Астраханской	78 507
3	Владимирской	492 366
4	Вологодской	379 386
5	Воронежской	756 831
6	Вятской	830 055
7	Казанской	611 895
8	Калужской	398 713
9	Костромской	440 708
10	Курской	729 273
11	Московской	495 331
12	Нижегородской	501 206
13	Новгородской	304 464
14	Олонецкой	112 950
15	Оренбургской	418 403
16	Орловской	598 039
17	Пензенской	482 908
18	Пермской	744 908
19	Псковской	297 164
20	Рязанской	568 655
21	С. Петербургской	192 641
22	Саратовской	633 818
23	Самарской	601 399
24	Симбирской	460 252
25	Смоленской	448 160
26	Ставропольской	85 537
27	Тамбовской	735 222
28	Тверской	575 760
29	Тульской	459 115
30	Харьковской	525 671
31	Ярославской	372 944
32	Войско донское	127 232
	Малороссийские казаки *	549 198
	Всего	15 091 310

* Под малороссийскими казаками таблицы, вероятно, разумеют остальных казаков — не донских. Они вписаны вместе с крестьянами, и цифра их для общего итога крестьянского населения лишняя; но для сохранения отношения общинного и необщинного населения нам оставалось или прибавить ее к общинному населению, или выключить из необщинного.

Крестьянское население,
где только $^1/_4$ с общинным землевладением:

	В губерниях	Число душ мужского пола
1	Екатеринославской	386 834
2	Полтавской	735 075
3	Черниговской	576 955
4	Херсонской	221 476
5	В Бессарабской области . .	357 959
	Всего	2 278 299

Крестьянское население
с необщинным землевладением, где земельная
община может встретиться только как
случайное исключение:

	В губерниях западных (литовских)	Число душ мужского пола
1	Виленской	304 940
2	Витебской	283 024
3	Волынской	572 377
4	Гродненской	327 992
5	Киевской	637 151
6	Ковенской	320 360
7	Минской	377 844
8	Могилевской	315 897
9	Подольской	610 972
	Всего . . .	3 740 602

Итак, к необщинному крестьянскому населению относятся:

$^3/_4$ югозападного населения	1 708 732
Литовские губернии	3 740 602
Таврическая губерния (заселенная большей частью татарами без общинного землевладения)	264 629
Остзейские губернии	679 876
Всего . . .	6 393 839;

что дает отношение: 2,36 : 1, т. е. общинников приходится $2^1/_3$ на одного необщинника исключительно в крестьянском населении всех разрядов.

Прибавив к числу необщинников:

Городских жителей	1 847 198	душ м. п.
Свободных от податей . . .	749 039	
Дворян и чиновников . . .	752 360	
Всего . . .	3 348 597	
Необщинных крестьян . . .	6 393 839,	
получим всего необщинного населения	9 742 436,	

и отношение к нему общинного = 1,54 : 1, то есть для всего населения Европейской России приходится общинников относительно необщинников трое на двоих.

Очень может быть, что в наш расчет вкрались ошибки и скорее в вашу пользу, чем в нашу. Мы просим не только вас самих, если вы имеете больше положительных сведений, но и всех соотечественников, более близких к делу, поправить наши ошибки. Но мы не думаем, чтобы при поправках вышла большая разница в цифре отношения, и с большим вероятием можем приблизительно считать, что общинных крестьян Европейской России относительно крестьян необщинных вдвое, а относительно всего необщинного народонаселения — в полтора раза больше.

Из этого вы легко усмотрите, милостивый государь, что ваше предположение — будто общинное хозяйство составляет незначительный процент на общее число сел и деревень — должно уступить место факту, который показывает, что общинное население в России относительно сельского населения составляет около 70%, а в отношении всего народонаселения — около 60%. Заметьте также: относительно городского податного населения, общинное сельское составляет слишком восемь человек на одного, что непредубежденному смыслу указывает на весьма своеобразное развитие края, где города уступают в значении селам, где городской народ составляет едва 12%, а собственно буржуазия, т. е. помещичество и купечество вместе, едва 10% сельского общинного населения.

Видите ли, что численно община господствует в России. Мы могли бы итти далее, сосчитать югозападную славянскую общину в Европе, сосчитать общинное

население в других частях света — в Азии — и вывести его отношение к общему народонаселению земного шара; но это нумерическое исследование нам мало поможет, и если бы нашлась в мире только одна небольшая сельская община, а все остальное подчинялось римско-феодальному праву земельной собственности со всеми местными оттенками,— тем не менее вопрос остался бы тот же: если мир дошел до такой формы земельной собственности, из которой он, задыхаясь, не может выпутаться, то не отыщется ли в какой-нибудь уединенной сельской общине с правом каждого на пользование землей нового основания иного развития, где собственность может распределиться равномернее и иначе обеспечить каждому существование и свободу? Это-то право каждого на пользование землей, право, естественно исключающее личную наследственность земельной собственности,— это-то право мы и считаем зародышем будущего русского развития. Мы не видим в русской общине идеала, что вы допускаете и чего мы не допускаем, но видим условия общественной жизни, в которых лежит возможность иного развития права собственности, экономических отношений и выборного самоуправления, чем те понятия права, народного хозяйства и управления, с которыми мы ежедневно горько сталкиваемся в латино-германской жизни, которых явление наука может и должна объяснить, но которых признать за безусловную истину наука не вправе. Сами западные экономисты, из числа людей искренних, удрученные своей общественной жизнью, остановились перед понятием общины с недоумением и вопросом, не зная, что она такое, но зная наверняка, что на Западе развитие права собственности дошло до уродливого безумия и невыносимого гнета. Так сделал Стюарт Милль, так сделал сам Тенгоборский, которого вы не заподозрите в особенном пристрастии к общине. Встретясь с общинным началом, некоторые из лучших умов на Западе пришли к сомнению о непогрешительности латино-германской жизни и науки, а не хватили общину побоку доктринерской палицей. Наконец, само русское правительство, которого прусские симпатии нельзя заподозрить в пристрастии к русскому обычаю, невольно подчинилось силе общинного землевладения. Министерство государственных имуществ, сколько оно

ни уродливо своей бюрократической стороной и ложью безответственного чиновничества, учредилось не по немецкой, а по русской мысли; оно хотя и ввело немецкую бюрократию, но подчинилось народному обычаю и не только сохранило, но узаконило и распространило и общинное землевладение и общинное самоуправление, так что — отнимите бюрократическую сторону — и у вас останется свободная сельская община. Министерство сделало свое дело — оно узаконило общинное начало, и это узаконение дает Киселеву почетное место в русской истории. Теперь и Киселева нет во главе министерства, и задача его окончена; пора министерству рушиться, оставив на жизнь и развитие узаконенную им свободную, сельскую общину.

Но вы, милостивый государь, в вашем письме совершенно забыли о существовании государственных крестьян, у которых община существует не по принуждению, а по признанию правительством обычной формы права и жизни. Вы говорите, что дым железных дорог и стук фабричных колес каждогодно рушит общину. Но укажите же нам от Петербурга до Москвы — где, какая сельская община рушилась от проведения железной дороги? На какой фабрике в России вы видели работников (не из городских жителей, не из мещан, а из мужиков), которые не принадлежали бы к близкой или далекой сельской общине, где за ними осталось право на землю, а они пошли за сотни верст на заработок на фабрику, потому что общинное начало не мешает человеку двигаться, а только обеспечивает ему, на известных условиях, право на землю, где, если бы ему вчуже не повезло, он опять найдет кров и хлеб насущный. Двигаться человеку мешала не община, а паспорты,— препятствие, которое при новом положении о паспортах если не совсем устраняется, то много облегчается.

Вы с пренебрежением смотрите на общину, как на патриархальное учреждение; так не одни вы, но и многие называют ее. Что вы разумеете под словом патриархальное? Родовое? Семейное? — семья с главою, патриархом? Но ведь все общества развились из патриархального начала. В Англии до сих пор женщина не имеет никакого гражданского права на какое-либо наследство или имущество; все по закону принадлежит мужу, даже

приданое жены; все принадлежит отцу, родоначальнику или старшему в семье. Разве это не патриархализм? Но тут патриархализм развился по-семейно, отдельными домами, отдельной наследственной собственностью. Патриархализм лежит и в основании русской общины. Еще теперь мы находим в Сербии многочисленные семьи, где одна семья составляет общину в сотню душ и собственность принадлежит всем общинно; вероятно, в России начало было то же, но одноколенность семейств, род — давно исчез; осталась только община, патриархализм развился в форму общинного землевладения, а движимая собственность осталась семейною, или личною. Разница развития патриархализма у нас и на Западе в том, что на Западе он развился в отдельные семьи с отдельною собственностью движимою и недвижимою, а у нас он развился в семьи с отдельною собственностью движимою, но с землевладением мирским.

Забыв про государственных крестьян, вы видите общину только у помещичьих крестьян, и, забыв народную историю, вы полагаете, что помещики насильно держат крестьян на общинном положении, потому что помещику это выгоднее, и вслед за тем говорите, что те учреждения в земледельческом быту, где «выгоды помещика и крестьян соединены, те держатся без всякого насилия». Следственно, по вашему же мнению, разъединив общину, русские помещики вошли бы в положение, где обеим сторонам выгодно; да если б это было так просто, они бы это давно сделали. Мы не видим, в чем для помещика выгоднее общинное устройство; мы встречали помещиков, равнодушных к той или другой форме, или стремящихся разрушить общину из собственной выгоды; но принуждающих к общинному положению ради помещичьей выгоды — таких едва ли кто встречал от Архангельска до Одессы и от Петербурга до Астрахани. Одно только может быть признано за факт, что при обеих формах землевладения отношение помещика к крестьянину для крестьянина не только невыгодно, но удручительно,— об этом мы не спорим.

Ваше недоброжелательство к нашей *бедной, еле держащейся* общине, которая, несмотря на ваше мнение, в действительности и по числу, и по народному складу держится с упорной силою, это недоброжелательство

привело вас к крайнему результату доктринаризма — к освобождению крестьян без земли, в чем вы полагаете практическое знание вопроса. Доктринаризм действительно любит настаивать на своей практичности, и это для нас еще более подтверждает мысль, что в то время как умеренный, либеральный доктринаризм видит идеал в буржуазии вообще, сделав еще шаг, переходя к крайнему убеждению, доктринаризм совпадает с помещичеством и требует землевладеющей буржуазии, т. е. чтобы земля принадлежала помещикам; но, оставаясь верным своему либеральному происхождению, доктринаризм требует этого во имя блага крестьян. В этом есть какой-то бессознательный кунстштюк физиолого-патологической деятельности мозга.

Вам кажется, что мы отстаиваем идею выкупа, потому что нас вводит в заблуждение оппозиция помещиков, которые притворяются, что хотят освобождения, боясь *базарных выходок друзей человечества и национальных ругательств передовых людей,* но употребляют уловку и употребляют горячность на вопрос об отбираемой у них насильно земле. Из этих немного сердито сказанных вами слов мы с удовольствием видим, что вы не принадлежите ни к базарным друзьям человечества, ни к передовым людям, но отстаиваете безземельность крестьян на иных основаниях. Но вы ошибаетесь, мы выкуп отстаиваем не из оппозиции помещичьей оппозиции, а потому, что в данную минуту нет иного способа разрешить вопрос так, чтобы крестьяне охотно согласились на решение и помещики потеряли бы очень немного, и, наконец, так, чтобы крестьяне не перевешали помещиков. Может, помещики при выкупе и ничего не потеряют, но если немного и потеряют, то людям, которые так восторженно жертвовали своею кровью за отечество в двенадцатом году, можно же пожертвовать сколько-нибудь из своего кармана в минуту не менее важную — созидания гражданской жизни в государстве. Но вы думаете, что выкуп будет выгоден для помещиков... тем лучше, мужик независтлив, он спокойно предоставит эти выгоды помещику, лишь бы отделаться от него. Но вы думаете, что выкуп — несчастие для крестьян... Посмотрим!

Вы говорите, что финансовые затруднения тем более важны, что *либеральное* правительство должно быть

щедрым при насильственном отнятии собственности. Вы приводите в пример Черниговскую губернию, и потому я могу сказать: у вас в Малороссии... У вас в Малороссии стыдно вам говорить о насильственном отнятии собственности; у вас еще остались *в живых* люди, которые помнят, как правительство, насильственно отняв у крестьян землю, роздало и ее и самих крестьян вам, помещикам; а теперь выкуп — не насильственное отнятие собственности, но скудное возвращение собственности ограбленному, покаяние после разбоя. Вы мне скажете, что большинство имений перешло уже в другие руки и что люди, купившие на свои деньги, не виноваты в предшествующем. От этого-то выкуп и необходим, на основании закона, дозволяющего выкупить первоначальному собственнику вещь, у него украденную и купленную кем-нибудь без ведома, что она воровская. И в этом отношении находится не одна Малороссия, но и вся Россия. Крестьяне это так хорошо понимают, что спокойно подчиняются выкупу.

Вы говорите, что в России ценность труда велика и что освобожденный без земли крестьянин, развязавшись с местом жительства, где он «связывался временем повинностей и делил всю жизнь на безвыходные рабочие сроки», тут-то и станет благоденствовать... Но разве вы думаете, что освобожденный без земли крестьянин не будет иметь никаких повинностей? Повинности и он бы имел, но только для несения их, вместо обеспечивающего земельного фонда, он имел бы не обеспечивающий *авось* труда. И почему вы думаете, что, освобождаясь *с землею,* крестьянин *сохранит безвыходные рабочие сроки?* Да он потому и платит выкуп, чтоб быть свободным от барщины; теперь он, так сказать, нанимает у вас землю и наем вместо денег выплачивает барщиной, а когда он у вас *купит* землю,— какой же ему еще наем платить вам? Следственно, при освобождении крестьян с землею о безвыходных рабочих сроках и помину не будет.

Вы говорите, что «ценность труда крестьянина может свободно возрастать по мере умножающейся конкуренции». Если рассматривать конкуренцию с точки зрения откупов, аукционов или даже свеклосеятелей Черниговской губернии, о которых вы упоминаете, т. е. по вопросу: кто больше даст? — конечно, работник выиграет. Но

конкуренция имеет и обратный вопрос: кто меньше возьмет? Тут работник проиграет. На какой же из этих вопросов будет действительно отвечать безземельный и бездомный крестьянин? Вы говорите, что редкость рук для труда возвысит ценность труда. Но после освобождения крестьян рук будет не меньше. Почему же вы думаете, что, отняв землю у крестьянина, вы станете ему платить дороже? Безобеспеченность жизни заставит его отвечать на вопрос: кто меньше возьмет,— и для этого никакой стачки со стороны помещиков не нужно: сила нужды пустит конкуренцию для работника по минусу, а не по плюсу. Вы приводите в пример свеклосеятелей, но ведь ваши свеклосеятели оттого и выиграли, что они сеяли свеклу на своей земле и конкуренция у них шла по вопросу, кто больше даст. А если б та же земля принадлежала помещикам и они нанимали бы бездомных работников, конкуренция изменила бы направление, и помещики нанимали бы тех, кто меньше возьмет. Остзейские помещики без всякой стачки — стачка была у них немецкою роскошью,— по естественному ходу дела могли понизить цену работ: для этого никакой стачки не нужно. Тот, у кого ничего нет, пойдет работать дешевле, чем тот, у кого есть какое-нибудь средство жить. Пример свеклосеятелей говорит гораздо больше против вас, чем в пользу вашего мнения. Поэтому мы не *«филантропически привязываем крестьянина к прежнему месту»,* освобождая его с землею, но даем ему, из любви к народу и истине, то обеспечивающее его право на пользование участком земли, при котором он волен итти работать хоть за тридевять земель, но не пойдет работать задаром, а выждет: *кто больше даст.*

Против последующих ваших положений мы можем возразить:

а) Крестьянин, при выкупе, будет выплачивать не ссуженный ему правительством капитал, а по выданному им за поручительством правительства обязательству, равному ценности купленной им земли, и купленной не по дорогой, а по настоящей цене. Это обязательство нисколько не мешает ему ехать торговать или работать хоть в Лондон и все-таки иметь свой участок земли хоть в Бузулукском уезде, отдавать его внаем, если хочет, или вовсе уступить его общине, которая им воспользуется

и станет за него выплачивать по обязательству; это ему не мешает даже вовсе выписаться из общины и пойти хоть в матросы; в первом случае, т. е. простого отъезда на заработок, он свой участок если не отдаст внаймы, то может временно уступить общине, не отказываясь от него окончательно; во втором случае, т. е. выписываясь из общины, он предоставляет ей право на свой участок навсегда, и община платит по обязательству, потому что обязательство ценностью соответствует участку, потому что не в выбывшем крестьянине дело, он не за свое лицо платит,— оплачивается земля. Таким образом, в известной местности 10 душ на 100 десятинах заплатят столько же, сколько 20 душ на 100 десятинах, и если 5 человек выбудут из общины, остальные 15 охотно будут платить их паи платежа, получив их земельные участки. От этого облигации не будут относиться к каждому крестьянину, но к общине, что, сверх того, даст выгоду больших облигаций, а не мелких. Если же вы подумаете, что облигации хотя номинально и выданы от правительства, но в сущности суть облигации за круговой порукой общины, круговой порукой народа,— вы возымеете некоторое уважение к круговой поруке и к общине. Это уважение к круговой поруке вообще у доктринаризма является только в вопросе взаимного застрахования от пожаров у крестьян и кончается с этим вопросом. Но если вы вглядитесь, что при выкупе общины выдают облигации на свою собственность, вы увидите, что с развитием общины она будет выдавать за круговой порукой облигации на свои произведения, вы увидите, что на этом основании есть возможность развития кредита, где денежный знак действительно обеспечен наличностью товара, а не голословной ответственностью правительства и банков, которая, именно по своей голословности, довела биржевую игру до уродливого развития, или, попросту,— до мошенничества.

Не знаю, удовлетворительно ли я вам доказал, что крестьянин не пришит к земле, оттого что имеет свой пай в общинной земле, и что он может итти куда хочет на заработок. Еще в доказательство того же я замечу, что государственные крестьяне все пользуются землею и ходят на заработок. Наконец, вы сами, милостивый государь, вероятно, имеете поместье, землю, дом; это,

однако, вам не мешает ехать хотя бы в Гогенцоллерн-Зигмарингенское герцогство, если вам хочется. Однако, если у вас есть долги, может случиться, что кредиторы вас не выпустят. Точно так и крестьянин: если за ним никаких мирских платежей нет — иди куда хочет; а иной раз еще мир, не как слишком строгий кредитор, отпустит, несмотря на долг, в уверенности, что крестьянин заработает и заплатит. Почему же вы думаете, что вам нужна земля для того, чтоб ехать в Зигмаринген, а крестьянину для того, чтоб куда бы то ни было ехать,— не нужна? Почему вы думаете, что, имея меньше земли, чем вы, и больше нужды в труде, он не уйдет, куда ему надобно? Если вы так убеждены, что привязанность к дому — вред, что труд только тогда хорош, когда у человека нет ни кола ни двора,— будьте же последовательны: продайте поместья, не оставляйте вашему сыну ни кола ни двора, для того, чтоб его труд был велик и ценен. Не можете же вы не признать, при малейшей логической последовательности, что то, что хорошо для вашего сына, не может быть худо для крестьянского сына. Итак, какая бы форма землевладения ни была, общинная или отдельная, но не признать право крестьян на землю вы не имеете права. Общинное землевладение имеет тут только то преимущество, что вне его равное право каждого на землю не может быть сохранено.

b) Вы думаете, что когда крестьяне станут платить проценты с погашением по облигациям, то они очутятся разом в двух лапах: в лапе грабящего помещика и в лапе грабящего чиновника. Вы ошибаетесь. Власть помещика будет совершенно устранена; иных отношений, кроме условий словесных или письменных по найму на работу, между крестьянином и помещиком не должно и не может быть. Что касается до власти чиновника, то посмотрите: при одной мысли о выкупе правительство приходит к необходимости учредить словесный, гласный суд и произвести большие перемены в администрации. Опасение ваше и с этой стороны напрасно.

c) Насчет заботы о количестве земли я вам только замечу, что комиссии под председательством Ростовцева решили оставить крестьянам тот надел, которым они теперь пользуются, и сумма процентов с погашением по облигациям не будет превышать стоимости труда или

оброка, какие теперь крестьяне отбывают помещикам, и не будет ни в каком случае превышать податей, которыми обложены государственные крестьяне.

d) Не бойтесь за дурно-земельные и много-заселенные общины. Выселки лично и артелями будут дозволены, увековечения нищеты не может быть при наделении крестьян землею и при свободе приближаться к географическому равновесию народонаселения.

e) Для споров будут установлены мировые и третейские суды, и до розги тем менее дойдет дело, что обязательные отношения крестьян к помещику продолжаются не до окончания выкупа, как вы думаете, а до выдачи облигаций, и крепостное состояние, вышед преспокойно в дверь, никогда не воротится в окно, как бы помещики широко его ни растворяли.

Таким образом, вы видите, что, заботясь о выгодах крестьян и нисколько не желая разорения помещиков, мы очень рады, если из ваших слов, в которых есть, впрочем, какой-то тон боязни, будто не так легко будет нанять крестьянина, обеспеченного землею, чем бездомного,— если из ваших <же> слов <следует, что> при выкупе, помещики будут обеспечены капиталом и *рабочею силою;* но мы с тем вместе еще более рады, что крестьяне, обеспеченные землею, не понесут своих рабочих сил даром в руки грабежа и насилия и что, выйдя из тюрьмы, они не пойдут на службу тюремному начальству, а останутся самостоятельными домохозяевами и соучастниками в пользовании землею.

Вы говорите, что вы видели лично пример дурного самоуправления общины; очень может быть. Я видел пример хорошего. Вы, может, видели пример хорошего управления помещичьего? Я видел примеры отвратительного. Поверьте, что не в этих примерах дело, а в принципе, в том основании, из которого вытекает право каждого на землю и право гражданства для целого народа.

Подумайте об этом. С истинным уважением и пр.

[ПРЕДИСЛОВИЕ К «ДУМАМ» К. Ф. РЫЛЕЕВА][1]

ПОСВЯЩЕНИЕ

В святой тиши воспоминаний
Храню я бережно года
Горячих первых упований,
Начальной жажды дел и знаний,
Попыток первого труда.
Мы были отроки. В то время
Шло стройной поступью бойцов —
Могучих деятелей племя
И сеяло благое семя
На почву юную умов.

Везде печаталися. Тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с робостью во взгляде,
Звучащий стих свободы ради,
Таясь, твердили по ночам.
Бунт, вспыхнув, замер. Казнь проснулась.
Вот пять повешенных людей...
В нас сердце молча содрогнулось,
Но мысль живая встрепенулась,
И путь означен жизни всей.

Рылеев был мне первым светом...
Отец! По духу мне родной —
Твое названье в мире этом
Мне стало доблестным заветом
И путеводною звездой.
Мы стих твой вырвем из забвенья,
И в первый русский вольный день,
В виду младого поколенья,
Восстановим для поклоненья
Твою страдальческую тень.

Взойдет гроза на небосклоне,
И волны на берег с утра
Нахлынут с бешенством погони,
И слягут бронзовые кони
И Николая и Петра;
Но образ смерти благородной
Не смоет грозная вода,
И будет подвиг твой свободный
Святыней в памяти народной
На все грядущие года.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы печатаем «Думы» Рылеева как исторический памятник, которому не должно исчезнуть, памятник геройского времени русской жизни.

С 1812 года по 1825-й Россия сознала себя огромной силой в мире человеческом и вместе с тем, внутри себя, пришла к чувству гражданской свободы. Оба направления не могли не итти рука об руку. Петербургская централизация вызвала на борьбу молчавшие силы народа, и они окончательно сплотились в мощь государства. Но раз вызванные, они не могли снова умолкнуть беспечно и равнодушно; им надо было заявить себя не только противу внешнего врага, но заявить свою жизнь и самостоятельность в общественном устройстве. Между тем петербургская централизация была наследие немецкой; вызвав русские силы на свет, она осталась немецкою. Борьба была неизбежна. Немецко-мистический либерализм Александра I перешел в казарменно-бюрократическую форму аракчеевского управления; а юные русские силы, требовавшие простора, с пылким сочувствием обратились к идеям первой французской революции. Борьба романского и германского мира, встретясь на русской почве, переиначилась под влиянием русской жизни, их усвоившей. Немецкая централизация в Петербурге проникнулась духом татарщины и была уродливым соединением кнута с шпицрутенами, грабежа с канцелярией. Противудействующие ей силы выразились в том блестящем меньшинстве, из которого возникло 14 Декабря; оно соединяло в себе чутье русского народного социализма с французско-либеральным понятием гражданского права, требовало освобождения крестьян и колебалось между республикой и конституционной монархией, только что пересаженной во Францию с английской почвы.

Россия пережила все эпохи европейской жизни вкратце, добиваясь до решения собственной задачи. Россия пережила военные монархизмы, которых знамя было: L'état c'est moi *, начиная с Петра I. Россия изучила философию XVIII столетия при Екатерине. 14 Декабря она заявила общечеловеческие требования революции и, наконец, до безумия выразила в Николае всю реакцию Священного союза.

Во время реакции Европа додумалась до социализма и до замены Священного союза — племенными союзами. Но на решение первого вопроса у нее — как показал 1848 год — нехватает сил; история слишком истощила ее почву, зерно нейдет в рост, и все живое каменеет в известной форме собственности. Во втором вопросе Европа ничего не может сделать без России, потому что славянское племя занимает полмира.

Во время тридцатилетнего гнета Николая Россия, вспуганная в раздумье, додумалась до освобождения крестьян с землею, до узаконения общинной формы земельной собственности и самоуправления общин. Вместе с тем она ясно увидела, что с Священным союзом у ней нет ничего общего.

14 Декабря завершило характер революционной Европы в России и в то же время посеяло в русском сознании семена тех вопросов, которые Россия поставила с царствованием Александра II. Уже около двадцатых годов тайное общество подняло мысль об освобождении крестьян и даже с землею. К сожалению, мы не имеем главнейшего документа: Пестелевой *«Русской Правды»*. Около того же времени составилось общество «Соединенных славян». Очевидно, что зачатки всех социальных и политических вопросов России нашего времени лежали в обществе 14 Декабря. И вот в чем для нас его великое значение. Мы не знаем, что сталось бы, если б намерения общества удались; но не имеем права не предполагать, что Россия пришла бы к постановке своих коренных вопросов гораздо быстрее, чем при тяжелом развитии татарско-немецкого бюрократизма и реакции Священного союза в николаевское царствование. Во всяком случае, относительно людей 14 Декабря нам, потомкам, остается только с

---

* Государство — это я (фр.).— *Ред.*

благоговением

> Хранить завет страдальцев сильных,
> Людей повешенных и ссыльных...[2]

Рылеев был поэтом общественной жизни своего времени. Хотя он и сказал о себе: «Я не поэт, а гражданин», но нельзя не признать в нем столько же поэта, как и гражданина. Страстно бросившись на политическое поприще, с незапятнанной чистотой сердца, мысли и деятельности, он стремился высказать в своих поэтических произведениях чувство правды, права, чести, свободы, любви к родине и народу, святой ненависти ко всякому насилию. В этом отличительная черта его направления, и те, которые помнят то время, конечно скажут вместе с нами, что его влияние на тогдашнюю литературу было огромное. Юношество читало его нарасхват, его стихи оно знало наизусть. Сам Пушкин говорил о нем с любовью и уважением, и, несмотря на очень верную, но неблагосклонную оценку «Дум»[3], он видел в Рылееве залог огромного дарования, которое росло с каждым днем. Петля задушила это дарование. Но и теперь, перечитывая Рылеева, сравнивая его первые произведения с последующими, мы видим его сильное развитие. В «Думах» он поставил себе невозможную задачу сочетания исторического патриотизма с гражданскими понятиями своего времени; отсюда вышло ложное изображение исторических лиц ради постановки на первый план глубоко сжившейся с поэтом гражданской идеи. В «Думах» видна благородная личность автора, но не видно художника. Одно заметно — как стих постепенно совершенствуется. В «Олеге вещем» чувствуется неуклюжий стих державинской эпохи; в «Волынском»[4] он уже звучен и силен. Влияние «Дум» на современников было именно то, какого Рылеев хотел,— чисто гражданское. Но в «Войнаровском»[5] Рылеев становится действительным поэтом, несмотря на тот же субъективно-гражданский колорит целого. Стих, картинность, сила чувства и всюду проникающее благородство поэта — увлекательны. В «Наливайке» Рылеев становится мастером[6]. Напомним для примера: «Смерть Чигиринского старосты».

> С пищалью меткой и копьем,
> С булатом острым и с нагайкой,
> На аргамаке вороном
> По степи мчится Наливайко.
> Как вихорь бурный конь летит,

По ветру хвост и грива вьется,
Густая пыль из-под копыт
Как облако вослед несется.
Летит, привстал на стременах,
В туман далекий взоры топит,
Узрел — и с яростью в очах
Коня и нудит и торопит.
Как точка перед ним вдали
Чернеет что-то в дымном поле,
Вот с каждым мигом боле, боле,
И наконец на вышине,
Средь мглы седой в степи пустынной,
Вдруг показался на коне
Красивый всадник с пикой длинной.
Казак быстрей коня погнал,
В его очах веселье злое,
И вот почти уж доскакал,
Копье направил роковое,
Настиг, ударил... Всадник пал,
За стремя зацепясь ногою,
И конь испуганный помчал
Младого ляха под собою...

Из «Наливайки» сохранились только два-три отрывка. Неужели ни у кого нет остального? Неужели ни у кого нет материала для биографии Рылеева? Неужели наши библиофилы, выкапывая все на свете, не захотят заняться этой изящной личностью? Когда же кто-нибудь доставит нам сведения о Рылееве?..

Впрочем, к нам должно присылать их только в крайнем случае. Пора правительству, после тридцатилетнего намордника, отдать истории ее достояние и позволить безусловно печатать все о Рылееве и его сподвижниках. Это был бы поступок широко благородный, который внушил бы в России искреннее доверие к правительству.

Мы сочли не лишним поместить в этом издании стихотворение Мицкевича: «К русским друзьям», относящееся к Рылееву и людям 14 Декабря. Мы помещаем польский подлинник с русским переводом в прозе. Стихотворный перевод, который у нас есть, слишком неудовлетворителен. Я тоже пробовал перевести, но не сладил. Лучше верный перевод в прозе, чем вялый в стихах.

Повторяем: «Думы» Рылеева мы считаем историческим памятником того времени и юным выражением благородной личности поэта.

Да примут их читатели с тем же глубоким благоговением, с каким мы возобновляем их в печати.

ПИСЬМА К СООТЕЧЕСТВЕННИКУ[1]

I

Когда люди одинаково благонамеренные, с одинакой задачей в голове, с одинаково жарким стремлением в сердце, высказывают разный взгляд на один и тот же предмет,— спор не может, не должен остаться недоконченным; он основан даже не на разномыслии, а на искании истины; надо договориться до нее.

Ваша исходная точка зрения — отчаяние; моя — упование. Вы не верите в силы русского народа, потому что вы их не видите; я в них верю, потому что вижу их. Вы ли не видите того, что есть, я ли вижу то, чего нет,— вот в чем вопрос. Странное противуречие, да еще в то самое время, когда я чувствую, как мне ваше страдание близко и дорого, потому что оно скорбь всей моей жизни, и когда я знаю, как вам близко и дорого мое упование, потому что оно живет в вас, потому что, отними его у вас, вы бы умерли. Стало, мы не так далеко расходимся, как кажется.

Вы видите в русском народе массу рабов, до того притупленных рабством, до того усталых, что они не в силах проявить своей жизни, заявить своих требований. Да и полно, есть ли у них требования? Есть ли понимание каких-нибудь требований? Отсутствие чувства собственного достоинства, чувства чести и правды, маленькие личные цели, достигаемые всеми путями неправды и клеветы друг

на друга; довольство тем малым, что составляет только неумирание с голоду, грязный образ жизни, тупое равнодушие не только к общему благу, а даже и к личному; ни малейшей потребности правосудия... вот и все. Если какой-нибудь пустой запевала заявит на миру, перед помещиком или перед начальством, общественные неудовольствия, общественные нужды, общественные требования,— мир день-другой отзывается на его голос, покоряется его власти, пока другая власть не высечет этого запевалу, и мир стихает, голос общественной нужды замолкает или переходит в дребедень личных завистей, частных жалоб и наговоров; затем мир расходится, и начальство — помещичье или казенное — торжествуют во всю ширь своего анархического неправосудия и военно-барско-чиновничьего расхлестания. На что же надеяться? На среднее сословие, т. е. на подобие среднего сословия, называемого купечеством или мещанством? Но купечество, как и везде среднее сословие, только преследует корыстные цели, а по образованию — не выше, или почти не выше, крестьянства; мещане — это даже не среднее сословие, это городские крестьяне, крестьяне безземельные, крестьяне-бобыли; у купцов и мещан мы опять находим то же, что и у народа,— неразвитие понятий, отсутствие нравственных начал и человеческого достоинства. Все они равно с благодарностью позволяют себя бить старшему, т. е. начальству. Надеяться ли на меньшинство дворянства и образованных людей? Но их такая незаметная горсть, что их влияние ничтожно и не выходит из-за пределов маленькой литературы, т. е. полепетав кой о чем, смолкает на страницах непрочтенных журналов. А большинство дворянства — это опять та же необразованная, вычесанная и невычесанная, умытая и неумытая масса, секущая, грабящая, обманывающая, с полным отсутствием нравственных начал и достоинства. Правительство? Но правительство — не более, как представитель чиновничества, следственно, естественный покровитель всего бьющего, грабящего, всякой неправды, всякого насилия. Напрасно государь думает, что он самодержец,— он только слуга чиновничества и, посредством его, грабит и государство и самого себя. Да, впрочем, если б правительство и хотело развития и образования, оно не в силах ничего сделать: для великих начинаний оно бездарно, а чувство самосохранения,

как главы чиновничества, подстрекает его преследовать малейшую тень пробуждения самобытного достоинства в народе. Чего же ждать от страны, где народ, в каком-то омертвении, молчит и позволяет себя бить и грабить; остальные сословия тоже позволяют себя бить и грабить, но с условием, чтобы и им, в свою очередь, было позволено и побить, и пограбить тех, кто посмирнее, а правительство роковой силой вовлечено выпускать из себя, как паук паутину, хитросплетенные нити грабящего и задушающего чиновничества? Чего ждать от этой страны постоянно вялой дремоты? Попробуйте не освобождать крестьян — и они преспокойно останутся крепостными. Попробуйте освободить их без земли — они почешут себе затылки и пойдут платить неслыханные оброки из боязни чиновничьей розги, так, как платили из боязни розги помещичьей. Попробуйте распространить телесное наказание и на дворянство — и дворянство преспокойно позволит себя сечь, лишь бы сохранить право сечь других; европейское образование привилось к нему как нечто внешнее, нисколько не возбудив личной самостоятельности, или уважения к личности других и к закону. Правительство, из татарского сделавшись немецким, нисколько не внесло в свою администрацию ни бескорыстия немецкого чиновничества, ни сколько-нибудь ясных понятий о суде и правосудии; если ему суждено погибнуть, то оно погибнет не от противудействия народа, по привычке безгласного,— оно погибнет, просто ограбив самого себя до несостоятельности, и Россия — эта огромная и растленная, нежившая и отжившая европейская Азия — распадется на маленькие Азийки, которые будут продолжать то же вялое прозябание, без личного достоинства, без всякого понятия чести, без азбуки суда и правосудия, довольствуясь неумиранием с голоду и расселясь по грязным избам, похожим на прикрепленные к земле кочевые кибитки смирно-дикого племени. Как же, отвернувшись от этой страшной картины, не остановиться с завистью и умилением перед чистеньким домиком хотя бы германского земледельца, которого никто не бьет, потому что он себя бить и не даст? Сердце отдыхает при виде этой уютной и законом огражденной от насилия жизни. Но вы, на минуту забывшись середь немецкой идиллии, с ужасом, на который способна только глубокая любовь, вспоминаете о своей бедной родине и

торопитесь домой, на службу, чтобы сколько-нибудь, по мере сил, как честный чиновник, помочь угнетенному народу, на какой-нибудь точке бесконечной империи, в отдельном случае, в отдельном селении поступить правосудно и сколько-нибудь, хоть на аршин вокруг, распространить просвещение, с отчаянием в сердце смиряя себя до этой микроскопической деятельности.

Я следил за вашей страшной картиной и с тем же ужасом глубокой любви узнавал черты знакомые, при виде которых не раз холодная дрожь проникала до костей и кровь стыла в жилах. Но вы становитесь слишком близко к предмету и рассматриваете в микроскоп отдельные явления, лепя их друг к другу в одну бессвязную массу, которая сливается в огромное тусклое пятно; в этой близи для вас исчезла общая перспектива. Для вас ясно только то, что́ в пределах микроскопического фокуса, поэтому вы и решаетесь на микроскопическую деятельность без веры в ее пользу.

Но вам кажется — я, напротив того, стою так далеко, что смотрю в подзорную трубу и вижу одну большую массу, которая все растет, растет, но опять смутно, потому что действительный размер от меня ускользает.

Попробуемте же стать на то отдаление, на ту точку, откуда здоровый глаз может видеть предмет как он есть.

То зло, которое вы видите, действительно существует,— но вы из него выводите ложный вывод. Это зло, до которого, при микроскопическом анализе, вы докопаетесь во всяком человеческом обществе — от калмыцкой кибитки до уютного домика зажиточного фермера, и, пожалуй, поставите себе мрачный, но для практической деятельности праздный вопрос: «да может ли род человеческий жить иначе?» На миру сельском и на миру столичном, в Мордасах и в Лондоне, кишат мелкие зависти и сплетни, важные вопросы общины приходят к вздорным личностям, и важные государственные вопросы в парламенте кончаются пальмерстоновскими, не слишком нравственными шутками; запевала Федька и запевала Ребук[2] сходят с мирской трибуны, покоряясь власти скверной, но сильнейшей. Не только *страйки*[3] работников кончаются ничем, но огромные революции, поставившие на ноги вопросы о правах человека, разрешаются в военно-полицейское укатывание человеческих прав. Если Германия, от конюха до

профессора, зачиталась до утраты гражданского смысла, то от этого не утешительней, что массы земледельческого класса в остальной Европе не выучились ни читать, ни писать. Если бугурусланский чиновник и петербургский начальник отделения берут взятки, от этого не утешительней, что адвокатура за деньги, превышающие все размеры взяточничества, равно безнравственно защищает и правое и неправое дело; если Китай застыл в тупоумной дремоте, от этого не утешительней, что Америка освободилась до признания законности рабства. Стало, несмотря на все, впрочем страшно важные, разницы — что в одном месте и бьют и грабят, в другом не бьют, но грабят,— везде узкий династический или сословный интерес топчет в грязь и массу и право; стало, выхода нет, и надо или сложить руки с отчаяния, или пробиваться раздачей кой-кому мелкой бесплодной милостыни,— и все с тем же отчаянием?

Но вы заметьте, что вы так близко наклонились к муравейнику, что вас поражает только один удушливый запах, и вы вовсе не видите деятельной работы, которая в нем производится. Станьте в надлежащее отдаление, и вы увидите, что человечество все же живо и что — хочешь не хочешь,— а оно необходимо должно устраивать свой человейник. При этом простом наблюдении вы невольно от жгучего, но неопределенного страдания, перейдете к очень положительному вопросу: «Что же делать из данного материала? На что он годен и на что именно способен в данную минуту?» Задав себе этот вопрос, вы от удушливой стороны навоза нечувствительно перейдете к органическим веществам, которые в нем содержатся, и к их способности жить и расти и свернете невольно с пути отчаяния на путь движения и, следовательно, на путь упования.

В этой огромной людской куче, называемой Россией, вас поразит, во-первых, то, что она все же выросла в одну крепкую массу; стало, органические зародыши были. Выросла она как-то молча, некогда безвестная всему образованному латино-германскому миру, кочуя по степям и лесам в бессмысленной междоусобице, только для того чтоб поселиться. Потом она становится известною, потому что ее побили татары. Латино-германский мир узнал Россию потому, что испугался татар и обрадовался, увидя, что они завоевались до того, что не пошли дальше. Но

русское поселение (сетлерство) [4] было совершено: почва осталась за побежденными. Победители заглохли, побежденные пошли в рост. Надо было окрепнуть корнями, и народ с той бессознательностью, которая точно так же присутствует в развитии исторических данных, как и в развитии всякого организма, сосредоточивался и укреплялся под кнутом московского самодержавия. Латино-германский мир подозрительно взглянул на новое государство и выставил против него одноплеменную Польшу. Столкновение России и Польши — одно из самых бессмысленных явлений в истории. Внутреннее междоусобие племенное могло окончиться мировой и союзом против турецкого и германского нашествия; но латино-германский мир видел в Польше оплот против России и, сильный влиянием католичества и феодализма, разжег вражду. Россия отстоялась потому, что она была далеко, на краю Европы; ее некуда было сдвинуть и нельзя было окружить. Польша ослабла не столько от столкновения с Россией, сколько от участия в делах Западной Европы, оттого, что она служила западному миру пограничным кордоном. Россия после польских войн почувствовала себя совершенно утвержденною на своей почве; пришла пора подумать о заявлении своего положения перед Европой. В течение этого времени народ, живя в стороне, помимо политического движения, удельных распрей и татарского гнета, представлял кочующую земледельческую артель; московское царство стало прикреплять ее к земле. Петр Великий завершил работу московского царства и окончательно прикрепил народ к земле. Народ потому так легко вынес свое новое крепостное положение, что кочующая земледельческая артель не могла долее держаться; она сама чувствовала необходимость постоянного землевладения; прикрепление к земле было последним действием сетлерства Европейской России; тут народ окончательно завладел землею; кочующая артель стала постоянной общиною, и народ пошел выносить помещичье и государственное крепостное право, сохраняя втихомолку и бессознательно упрочивая свое артельное землевладение. Политическая задача заявить свое существование, заявить себя силой перед Европой пала на долю правительства. Этого нельзя было сделать иначе, как выучиться так же воевать, как Западная Европа, и начать торговать

с ней; этого нельзя было не сделать, потому что иначе Европа завоевала бы Россию; нельзя было не начать торговать, потому что, раз прочно укоренившись на собственной почве, внутренние силы искали выхода во внешность, стремились к сообщению с чужими краями, к внешней торговле. Отсюда главной задачей императорства стало преобразование войска, устройство флота и сближение с Европой. Преобразовать войско так, чтоб оно могло противостоять Европе, можно было только на иностранный манер; сблизиться с Европой можно было только говоря по-европейски, одеваясь по-европейски; торговать с Европой — надо было производить подобно Европе; говорить с Европой — надо было выучиться рассуждать так, как Европа, и о тех же предметах; стало, надо было и во внутреннее устройство перенести европейские формы суда и управления, европейскую науку и изделие. Отсюда необходимость перенимать у Европы и стать с ней в один уровень. Все это перенимание не могло сплотить Россию с Европой в одно безразличие; форма прививалась к другому содержанию. Результат мог быть троякий — или содержание подчинится форме, или форма не привьется и отвалится, или европейская форма с русским содержанием даст явление особого рода; во всяком случае, тут два начала, встречаясь, обрекались на борьбу.

Таким образом, с европейским устройством войска и флота была перенесена в Россию и европейская администрация; администрация перенесла европейское понятие права наследства; с этим вместе внеслось европейское понятие права собственности и подобие европейского судопроизводства; в законодательство вошли римско-германские начала. Но это привилось к правительству и к управительству, к касте дворяно-чиновничьей, которая, хотя и впускала в свою среду людей из низших сословий, но уже не выпускала их из своей среды ни в мещанство, ни в мужичество, ни в городское, ни в сельское крестьянство; управляющее сословие составило одну касту чиновничества, подразделившись на крупное чиновничество, владеющее рабами-крестьянами, и низшее чиновничество, мелкопоместное или вовсе беспоместное. Народ, бессознательно участвуя в образовании сильной державы, подчинился управительству, но не подчинился ни внешней форме образа жизни, ни европейскому содержанию, то

есть европейскому пониманию права собственности. Прикрепленный к земле, он счел землю своею, свое артельное сетлерство принял за юридический факт и стал молча отстаивать свое общинное право землевладения и право каждого на пользование участком в артельной земле. Правительственные понятия о праве наследства не перешли в народ; он и тут остался при праве обычном. Правительственное гражданское судопроизводство засело в городах и стало судопроизводством для высших сословий; в селах оно неизвестно; села сохранили свои две обычные инстанции для тяжебных разбирательств: первая инстанция — вольный третейский суд, вторая — высшая апелляционная инстанция — суд на миру, и хотя впоследствии насильное вмешательство помещичьих и чиновничьих келейных разбирательств и стало пробуждать в отдельных местностях между крестьянами охоту к тяжбам, которая при гласности мирского суда не могла развиться, но вообще и до сих пор крестьянин избегает правительственных разбирательств и живет от правительства особо. До сих пор народ только помогал державе усилиться и безмолвно удерживал свое понятие права артельной собственности, сельского выборного управления, мирского распределения общественной тяги и мирского суда. Народ сохранил свой взгляд вопреки всем вторжениям управительственного начала и свиду подчиняясь ему. В этом безмолвном, но упорном сохранении своего понимания заключалась вся внутренняя народная жизнь от реформы Петра I, т. е. со времени последнего прикрепления к земле.

Правительство, как я сказал, заботилось о сближении с Европой. Это сближение так было необходимо и для заявления силы и для торговых путей, что Россия едва заметила и почти обрадовалась, когда на царском престоле очутилась немецкая династия. Лучше ничего нельзя было выдумать для сближения с Европой. Увидавши своих двоюродных во главе, Европа сочла Россию своею; даже кордонная линия Европы — Польша была больше не нужна, и Европа, в лице Фридриха II, предложила уничтожить Польшу; немецкая династия в России с радостью приняла предложение; у ней одноплеменность была не с Польшей, а с немецкими принцами. Дележ Польши произошел между немцами; половина досталась русским

немцам; половина — немецким немцам. Остальные славяне, служившие для Германии кордонной линией исключительно против Турции, поделились между немцами и турками. Россия осталась цела, не только потому, что она была с краю и ее некуда было сдвинуть, но потому, что и самый народ остался с краю от немецкого правительства, и оно не могло его сдвинуть. Форма латино-германского понимания права собственности и всех его последствий не навязалась народу.

Высшее развитие сближения с Европой и заявления России как силы были 1812 и 1815 года. Это вместе было и высшее развитие народного участия в образовании сильной державы. Все, что немецкая династия могла сделать для политического значения России, было истощено в немецком священном союзе. Россия заколебалась на одном месте; дальше делать было нечего на этой дороге, надо было повернуть в другую сторону и начать вырабатывать свою внутреннюю жизнь. Вспыхнуло и мелькнуло 14 Декабря 1825 г. Немецкое начало отрыгнулось преступным порабощением Польши; латино-германский мир принял это, как баба, причитающая над покойником, для нее не только равнодушным, но которого смерть для нее выгодна; поплакал, повопил и признал законность порабощения. Колебание на одном месте продолжалось во все тридцатилетнее царствование Николая, пока, наконец, дальнейшая ненужность немецкого начала и заявления силы перед Европой доказались проигрышем Крымской войны. В этой войне солдаты, отданные на убой немецкими генералами (с немецкими и русскими именами), умирали дружно; но участия народного в образовании сильной державы уже не было; народ с скорбью о своих потерях смотрел на эту последнюю войну немецкой династии; Николай не выдержал и умер, и Россия почувствовала, что — полно расти, пора начать говорить.

В этих страницах мне хотелось представить вам тысячелетие. Вы видите, как медленно слагалась Россия, и это очень естественно: органические вещества на огромном пространстве, без рамок, не могут слагаться быстро; брожение в определенных рамках совершается скорее, точек соприкосновения больше; в степи составные части в разброде. Горы и моря служат пределами, посудой для органического брожения людских обществ. У нас этих преде-

лов не было, и в тысячу лет, в которые Европа достигла до полноты своего развития, мы только достигли того возраста, когда пора начать говорить. Европейское развитие шло от юридического начала, оно приняло факт завоевания за право земельной собственности и на нем основало свой экономический быт, унаследуя для него юридические формы из римского кодекса; отстаивая свое феодальное юридическое начало против центральных властей и расширив право собственности до признания юридической самостоятельности и для собственности движимой, оно дошло до права участия собственников в общественных делах и, следственно, до представительного правления. Высшее развитие Европы — Англия, и заметьте — это остров; в его границах составные части организма совершили брожение самое ясное, самое определенное; между тем как Германия едва доросла, или, лучше, вовсе не доросла, до представительного правления, а Франция утратила его. Русское начало совершенно не юридическое, русское начало — экономическое, начало земельной собственности общественной и права каждого на пользование землею. От этого Россия была равнодушна к форме правления, и в то время, когда Европа выработала себе выборное начало для представительства в законодательных собраниях, оставив центральному правительству администрацию и назначение судей, тоже ограниченных учреждением присяжных,— русский народ в своем обычае сохранил выборную администрацию и мирской суд, не подумав об остальном отношении к центральной власти. Различие очень важное по смыслу и по последствиям. В Европе юридическая точка отправления подчинила себе экономическое устройство общества; ценз представительства законодательных собраний может меняться, правительства могут меняться,— а экономическое устройство все не выходит из юридических рамок; даже self-government * Англии не может выступить из них. В России экономическое начало — все; на нем основано сельское выборное самоуправление; отнимите правительственное управительство — и организация сельского, волостного, областного самоуправления готова; правительственное управительство должно отвалиться как латино-германская

* Самоуправление (англ.).— *Ред.*

форма, не привившаяся к общественному экономическому началу русской народной жизни, юридические формы должны создаться из экономического начала, но себе подчинить его не в силах. Западные юридические понятия собственности до такой степени не привились к нам, что само дворянство внутренне не верит своему праву на землю, сколько бы ему ни хотелось сохранить его; когда оно начинает доказывать это право, основанное не на самобытном праве завладения, а на несостоятельном праве пожалований, подачек на водку, то доказательства являются в таких уродливых формах — вроде мнений Бланка, Безобразова и флигель-адъютантских [5],— что самое большинство дворянства отстает от них. Эти понятия собственности для нас просто чужды. Сближение с Европой не их привило нам. Сближение с Европой привило нам науку. Мы сразу обогатились умственным трудом всей истории. Наше меньшинство настолько же образовалось и настолько же способно к самостоятельной мысли, как и европейское. Мысль и наука получили между нами право гражданства. Это начало мы легко усвоили, потому что это начало общечеловеческое, и мы не можем не развивать его и в теории и в приложениях к общественной жизни. Но та же наука не может не указать нам на роковое противуречие экономического и юридического начала, которое лежит в основе общественного устройства; западная наука, в лучших своих представителях, так поняла невозможность дальнейшего экономического развития Европы, невозможность выйти из заколдованного круга юридических понятий о собственности, что с ужасом бросила камень в собственную цивилизацию, и это до такой степени справедливо, что на этом самоотрицании сошлись люди совершенно разных школ — Стюарт Милль и Прудон. Мы встречаемся в России с экономическим началом, ставшим основой народной жизни и, следственно, точкой отправления общественной науки; к развитию этого начала невольно стремится вся наша деятельность. Для основания этого начала и на сохранение его народ безмолвно посвятил века; я не вижу ни малейшей причины, чтоб он был неспособен на его развитие; я не вижу в нем той слабости, которая бы сказала — не могу итти дальше; не вижу той устали органических зародышей, которая вела

бы их не на жизнь, а на увядание. На этом основано мое упование.

Что в эту минуту русской жизни, когда она только что доросла до слова, много скверного, отвратительного, прискорбного,— об этом я не спорю; да если б все было хорошо — из чего же бы нам было хлопотать? Дело не в этом — дело в принципе: существует ли в России свой факт экономического начала общественной земельной собственности? Да, существует. Довольно ли силен народ, чтоб развить этот принцип? Да, довольно силен, по крайней мере, такое упорное сохранение своего принципа не свидетельствует о слабости.

Из чего же произошел наш спор, любезный соотечественник? Из того, что вы за точку отправления взяли то дурное, которое существует, а я взял принцип, составляющий основу народной жизни. Но я не отрицаю существования дурного, а вы не отрицаете существования народного принципа. Итак, перестанемте спорить и просто перейдемте к вопросу: что нам делать? Нельзя же нам с отчаяния о дурном сложить руки или с верою в будущее неподвижно ждать его прихода; во-первых, такого положения ни вы не вынесете, ни я; а во-вторых, отдельный человек не должен считать себя за ничто и оставаться в бездействии, потому что личная деятельность ваша или моя... будто так — пылинка. Нет! отдельное лицо в общественной машине представляет силу; одна маленькая шестерня передает движение огромным колесам.

Итак — что нам теперь делать?

II

Общая задача наша поставлена: сохраняя все то общечеловеческое образование, взятое с Запада, которое действительно привилось к нам и, следственно, должно итти с нами в рост,— удалить все то, что не привилось, что составило нарост ложных учреждений и ложных юридических понятий, и, следственно, освободить народное начало общественного права собственности и самоуправления так, чтоб оно могло развиваться без препятствий, на свободе. Но из этого общего определения притти к ясному плану действий — дело не легкое. Наше настоящее положение

так полно вопросами, эти вопросы так стремительно идут один из другого, что поставить их в определенный строй требует большого внимания. А между тем их надо поставить. Наше время идет быстро; как ни велико наше нетерпение видеть вопросы решенными, внутренние требования осуществленными, и как ни кажется, от этого нетерпения, что все идет вяло и скверно, а между тем нельзя не сознаться, что в пять лет совершилось немало, что пять лет тому назад мы бы и не грезили о такой быстрой постановке вопросов. Да и не может быть не быстро наше движение; органические данные выяснились и пришли в соприкосновение, и насколько прежде Россия слагалась медленно, в своем разброде, настолько, при тяготении составных частей друг к другу, движение должно ускориться; вдобавок, электрическая искра при слове: освобождение крестьян — пробежала сквозь все бродящие силы.

Во-первых, я слышу: «Что вы, как? С правительством или не с правительством?.. Кажется, надо итти с правительством? Кажется, нельзя итти с правительством?»... Позвольте — вопрос поставлен не так. Я спрашиваю: с нами правительство или не с нами? Говоря с *нами*, я не говорю о *себе* и о *вас,* а о том живом слое, которому народное движение вошло в кровь. Если правительство с нами — почему же нам не итти вместе; если не с нами — пойдемте помимо. Какие-то близорукие думают, что мы личные враги Александра II. С чего это? Для нас естественней желать, чтобы именно тот государь, который первый поставил во всеуслышание крестьянский вопрос, чтобы именно он и участвовал в развитии русского движения; но мы не можем быть ни враги, ни друзья его,— мы исключительно работники русского народа. Тут нет места ни для личной вражды, ни для личной дружбы; мы с теми — кто с народом. Если государь пойдет к цели честно и прямо, вытолкает Паниных и Муравьевых-вешателей, бросит в печь табель о рангах и вызовет деятелей, преданных не чинам и даже не ему, а России; если он освободит крестьян с землею немедленно; если он освободит Россию от казенной администрации, от казенного управительства, даст развитие выборному началу и сельскому и городскому самоуправлению; даст гласность суду и освободит народный обычный суд от казенного форма-

лизма; если он сдаст в исторический архив III отделение и позволит мнению — изустно и печатно — высказываться искренне; если он снимет стеснительные законы о торговле и даст всем и каждому право торговать везде, чем и на сколько кто хочет и сможет, без различия сословий; если он позволит общественному кредиту развиваться на основаниях общественной собственности и каждой области в империи учреждать свои — не сословные, не казенные и не частные, а общественные банки; если он отдельным местностям дозволит соединяться в области, как они сочтут для себя более естественным и выгодным, и устраивать свой областной кредит, свое право собственности и наследства по обычаю народному, свое областное выборное управление и свои областные выборные суды; если он избавит Россию от безнравственной, растлевающей должности палача и, следственно, освободит Польшу и протянет ей руку на союз свободный, а не насильственный; если он перестанет быть первым дворянином в империи и собственным немецким флигель-адъютантом на русском престоле, а захочет быть главою вольных областей русских,— если он станет делать все это, то, конечно, он с нами, и мы с ним. Но!..

Мы можем этого желать, потому что тогда «счастье было бы так возможно, так близко», развитие пошло бы так просто и мирно, так согласно и торжественно... Но полагаться на это нельзя. Когда мы видим, что только одно министерство финансов идет с кое-каким смыслом, но при безотчетности и безгласности остальных распоряжений оно едва ли спасет наши финансы; а что между тем Панины тянут вспять; что в самих редакционных комиссиях отстаивается розга и срочная барщина и создается какое-то особое будущее управительство над мнимо освобожденным народом; когда Муравьевым-вешателям приносится высочайшая благодарность за излишние поборы с крестьян, и дозволяется признавать вольных крестьян крепостными и сочинять правила о розничной продаже народу его народной, общественной земли; когда, вместо утверждения гласности и ответственности выборной администрации, приглашают губернаторов замещать коронными исправниками исправников выборных (как будто коронные, при безгласности и безответственности перед

обществом, будут лучше?) *, следственно, когда в одно время посягается на укрепостление вольных крестьян и на уничтожение выборного начала у самого дворянства, что разом лишает правительство доверия и у дворянства и у народа; когда в правительстве все поворачивается против русского смысла, против русского освобождения и внутреннего развития: — тогда нет никакой причины надеяться, что наше желание может осуществиться, и поневоле смотришь на него как на пустую мечту, утопию. А время не останавливается и не терпит, и приходится задать себе вопрос: что нам делать помимо правительства? Примкнет оно к нам — тем лучше, тем легче; не примкнет — мы свое дело сделаем и без него; оно труднее, но все же дело сделано будет, потому что в нашем стремлении больше жизни и, следственно, больше силы.

Начнем сначала, с *освобождения крепостных крестьян.* Это ячейка, из которой развивается весь организм. Нам надо сделать выкуп помимо правительства. Образованное меньшинство должно, наконец, выступить на гражданское поприще, не на служебное, а на гражданское, на действительно гражданское. Оно малочисленно, но оно сила. Его мнения были забракованы правительством, его адресы были названы *просьбами* и отринуты с выговором [6]. А оно все же заявило свое существование, и по всем губерниям; а если оно заявило его — следовательно, оно сила. Не говорите мне, что дворянские съезды запретят: в гости никому не запретят ездить. Образованное меньшинство должно договориться с крестьянами о выкупе земель, не на том основании, чтобы было какое-нибудь действитель-

---

* В указе 8 июня 1860 года (о судебных следователях) сказано: «За сим, не изменяя существующего ныне порядка управления земской полицией и назначения чинов оной вообще, предоставить начальникам губерний, где земские исправники избираются дворянством, увольнять, если признают необходимым, от сей должности тех из них, которые окажутся *не вполне благонадежными,* донося каждый раз о причинах такого увольнения подробно министру внутренних дел. Предоставить губернаторам к исправлению должности исправников назначить, от правительства, лица *совершенно благонадежные,* под личную губернаторов за выбор их ответственностью, с утверждения, каждый раз, министра внутренних дел, представляя о том через генерал-губернаторов, где они есть».— Итак, выборные лица отставляются *без суда* (вопреки ст. 266, т. III, кн. II, Разд. 1: О службе по выборам дворянским) и *без согласия предводителя* (вопреки ст. 282).

ное помещичье право на землю, а на том основании, что выкуп обойдется обоим сторонам дешевле, чем распря и настоящий бой. Крестьяне очень хорошо поймут это. Вы скажете, что правительство не утвердит такого договора; пусть образованное меньшинство утвердит его между собою и крестьянами честным словом, пожалуй присягой и взаимным ручательством друг за друга. Крестьяне поверят. С первого дня договора о выкупе, хотя бы только в нескольких имениях уезда или губернии, власть помещика совершенно отстраняется и работы производятся вольным наймом. Устройте между собою и крестьянами, и между всеми доброхотными дателями других сословий подписку на образование выкупного банка. Постараемтесь общими силами составить проект такого банка; вы — между собой, а мы свой проект в скором времени напечатаем в «Колоколе» *.

---

* Развитие оснований губернского или областного банка требует, без сомнения, отдельного труда. Здесь я только мимоходом упомяну вам, что недостаток капиталов для общественного кредита — дело совершенно мнимое. Возьмите для примера какую-нибудь губернию. Мы найдем следующие приблизительно цифры:

	Число жителей муж. пола	Взнос с души для составл. основного капитала банка руб. к.	Сумма капитала
Крестьян помещичьих	280 000		
государствен.	240 000	„ 50. . . .	275 000 р.
Мещан	30 000		
Купцов 1-й гильдии	70	100 „ . . .	7 000
2-й —	270	50 „ . . .	13 500
3-й —	6 000	25 „ . . .	150 000
Разных званий	1 000	1 (в сложности)	2 000
Духовенства	1 000		
Дворянства	4 800	100 р.	480 000
	563 140		927 500

Кажется, что подобные вклады никого не обременят, тем более что ни один из вкладчиков не теряет, помещая свой вклад в основной капитал банка, потому что капитал должен приносить проценты, хотя и сведенные на минимум. Приблизительное отношение числа душ к капиталу (в сложности 1 р. 64 к. на душу, между тем никто не мешает отдельным лицам вносить больше) дало бы для всех областных банков в России, считая около 30 000 000 мужского населения (а женщинам не воспрещается вносить вклады по желанию), основной капитал по крайней мере в 49 200 000 руб. сер. (слишком втрое более основного капитала государственного банка). Мы же,

Вы скажете, что правительство не признает такого банка; пусть не признает; никто не может мешать вашим векселям за поручительством служить законным документом и пользоваться кредитом по мере того доверия, которое вы вызовете вашей круговой порукой, вашим умением, вашей деятельностью и личным благородством. Да, может быть, простая расписка общественного банка будет вернее всяких казенных облигаций и кредитных билетов. Вы скажете, что большинство дворянства не пристанет к вам. А я думаю — пристанет, потому что при общей круговой поруке выкуп будет ему огражден; наконец, оно пристанет со страху, потому что иначе народ его перевешает. Спасение дворянства в союзе с народом; иначе оно будет задушено или народом, или управительством. А прочный союз — союз экономический. Наконец, придет время — а оно по неотразимости обстоятельств близко,— когда станет ясно, что союз с народом, следственно, в пользу народа, не есть упадок для дворянства, а составляет основание их общей силы.

Выкупные годовые взносы (annuités) с крестьян, конечно, должен получать вами устроенный банк через крестьянских сборщиков, а не сами помещики лично. Крестьяне станут платить. Они поверят вашему честному слову; вы поверите их слову. Обмана не будет, и характер народный очистится.

Банк должен производить поземельный кредит равно помещикам и крестьянам и распространять круг своего действия на всякого рода кредит и на все обмены товара и труда, упрочивая свою деятельность и общее спокойствие системою взаимного застрахования всех от всякого рода недовзносов и потерь.

Крестьянам останется в тяжебных делах их обычный суд, и третейский и мирской, раскладка повинностей на миру и выборное управление. Дворянство может помогать им советом, но властью отнюдь не вмешиваться.

Казенное управительство этих крестьян не тронет, потому что покамест перед ним дворянин все же представ-

---

начиная с маленького числа имений, можем только рассчитывать на соответственный капитал и трудиться, чтобы число имений и участников, а следственно и операций нашего, сначала микроскопического, банка постоянно росло, по мере того как общественное мнение станет убеждаться в огромной важности областных общественных банков для благосостояния всех и каждого.

ляет помещика, и вмешиваться в хозяйство помещика оно не имеет права, когда нет уголовного преступления.

Но вы скажете, что все это невозможно... Да *попробуйте* же, прежде чем говорить, что невозможно!

Вы скажете, что вас сошлют дальше Унковского [7] и Европеуса [8]... Пускай ссылают; свято место пусто не бывает. Другие пойдут на то же дело; есть жизнь — будут и всходы. А если вас не сошлют?.. Вы спросите: «почему?» — Да потому, что вы стали не одиноко, а заявили общественную силу. Эй — дерзайте! Это главное.

Если между вами есть ссоры или тяжбы, судитесь своим третейским судом; если у вас тяжбы с крестьянами, зовите их на третейский суд, выбирая судей без различия сословий; подчинитесь в этом случае крестьянскому суду; это не стыдно, это благородно, и вы от этого не проиграете, но станете честнее, и крестьяне станут честнее. А в присутственные места судиться не ходите, пока они суды закрытые, негласные. Вы скажете, что не многие к вам пристанут; ну да! сперва не многие, а потом и многие; а за многими невольно вовлекутся и все, лишь бы нравственная, двигающая сила была на вашей стороне.

Законные требования администрации исполняйте; предупреждайте, если можно, и взносы податей и земские повинности, чтобы иметь как можно меньше столкновений; а незаконные требования просто не исполняйте, протестуйте сколько сил есть, и за себя и за крестьян. Станьте так дружно, чтобы администрация вас не могла затронуть, а пожалуй, и побаивалась бы вас. Не думайте, чтоб в этом случае большинство дворянства не помогло вам; то дворянство, которое не на службе, всегда будет на вашей стороне, а его против служащего дворянства вчетверо больше *. Народ, без сомнения, будет с вами; предположение, чтоб народ стал со стороны казенного управительства — несбыточно. Вам придется только успокаивать его, чтоб не портить дела пустым волнением, и итти на пути преобразования шагом твердым и спокойным. Начало действия образованного меньшинства с его банковым учреждением, ведением своих обязательств на чрезвычайно нравственном начале честного слова и круговой поруки и

---

* Всего дворянства (мужского пола) 375 253, а служащего 84 946 человек.

с его освобождением себя и народа посредством устранения от внешнего казенного управительства и стремления к внутреннему самоустройству — должно расти. Когда оно сколько-нибудь вырастет и окрепнет, правительство не может не согласиться с тем общественным устройством, которое нечувствительно — так сказать, втихомолку — выросло, как живое тело, под наростом казенного управительства. Правительству останется только отбросить струп и утвердить готовое устройство. Преобразование совершится достойно и спокойно. Вы видите, что основная метода действия очень проста; мы должны сами, на обязательстве честного слова и круговой поруки, учреждать между собою все то, что мы требуем от правительства для того, чтоб итти с ним вместе. Что правительство будет против нас, я в этом уверен: бессмыслие людское велико. Немного великодушного сознания с его стороны—и оно было бы с нами, а не против нас. Но это сомнительно. А потому образованное меньшинство должно оставлять гражданскую службу; польза, которую оно приносит на этом поприще,— вред.

Самый честный и благонамеренный окружной государственных имуществ и самый бескорыстный начальник департамента приносит уже тот вред, что распоряжается там, где его не просят, и мешает развитию крестьянского самоуправления. Самый честный судья и примерный губернатор не в состоянии искоренить взяток. Мы все нападаем на лица, берущие взятки; это не дурно, обличения поддерживают нравственное чувство в обществе; но это не достигает цели. Взятки лежат в устройстве казенного управительства, которое дает отчет не обществу, а своему начальству, т. е. самому себе, т. е. никому; и это при безгласности, действуя совершенно, как тайное общество воров. Пока человек может безнаказанно брать взятки, он будет брать; надо поставить его в невозможность брать взятки, и, следственно, дело не в личностях, а в общественном устройстве. Зачем нам поддерживать казенное управительство, придавая ему мнимый вид честности? Честному меньшинству надо оставлять гражданскую службу; надо тех из образованных людей, для которых служба — единственное пропитание, поддерживать вне службы, давая им ход в делах промышленных, в литературе, в искусстве — где угодно, лишь бы отвлечь их от

участия в казенном управительстве. Пусть правительство увидит, наконец, что ему с гнилым чиновничеством далее итти нельзя, не губя самого себя. Уж если нужда служить, лучше служить в военной службе; по крайней мере в войско прибавится масса образованных офицеров, которые не допустят солдат ни стрелять по народу, ни мешать Польше устраиваться как знает; а в случаях действительной защиты отечества правительство всегда найдет в них и годных офицеров (не таких, которые оскорбляют женщин на улицах и убивают людей в борделях), да и генералов получше тех русских и немецких немцев, которых побили в Крыму. Но и те из образованного меньшинства, которые в военной службе, и те, которые вне службы, должны начать: 1) освобождение крепостных крестьян с землею помимо правительства, учреждая и распространяя общественный кредит, и 2) учреждая de facto, на деле, помимо правительства, то общественное устройство, которое со временем заменит настоящее положение. Если б правительство и теперь дало свое согласие на это устройство — тем легче; если нет — оно труднее, но нельзя же нам вечно бояться труда и призрачных опасностей или маленьких неприятностей в жизни, через которые пора нам выучиться шагать. Я надеюсь, что вы далеки от подозрения, что я так говорю, потому что *мы* вне опасности. Поверьте, что если бы было полезнее уничтожить или сдать наш станок и подвергнуться неприятностям и опасностям от Таурогена до Камчатки, то мы подвергнемся им, даже не считая, что это так важно.

Итак, вот мой план действий. Вы можете с ним не согласиться — тем хуже. Вы скажете, что это мечта, утопия. Не больше же это мечта, чем противуположная мечта, т. е. очень дурно освободить крепостных, признать их крестьянами государственными, потому что правительство гарантирует выкуп, а потом и их, и настоящих государственных крестьян, и всю Россию признать за крепостную казенного управительства. Согласитесь, что эта административная утопия — более несбыточна, чем моя. Да извольте: положимте, я мечтатель; но попробуйте стремиться к этой мечте как к цели; по дороге вы достигнете существенных преобразований. Вся история идет этим путем: человечество живет утопией, стремится к

мечтательному общественному устройству, а по дороге достигает существенных преобразований.

Кажется, тут пора бы кончить мое письмо; а между тем я чувствую, что еще так много недосказанного. Много вопросов нерешенных. Например, отношение лица к миру, т. е. пределы мирской власти и личной свободы, равно при общинном землевладении или там, где землевладение наследственное, а общинное самоуправление, а мир все же существует. Эти пределы должны быть уяснены; с расширением личной свободы должна упасть система паспортов, да и железные дороги помогут этому. Должно быть поставлено, как одна из самых существенных задач, слияние сословий при назначении выборного управления, при назначении суда понятых в уголовных делах. Кстати об уголовных делах. Я не поминал о них, потому что уголовное право — все же право исключительных положений и случаев, и гражданское устройство не может смотреть на него иначе, как на горькую необходимость; оставимте его до другого раза; теперь о нем только одно: при ссорах, обидах, даже в случаях кражи, между крестьянами и не крестьянами давайте судиться судом выборных понятых, своих честных людей (juges d'honneur *), и удалимтесь от суда казенного. Пусть он имеет место только в случаях, где иначе невозможно, например, когда найдено мертвое тело на большой дороге и т. п. Еще страшно важный вопрос: правительство (если не государь, то по крайней мере министры) стремится вводить дробную, наследственную собственность; это видно из стремления обратить села в посады, т. е. города, продать казенным крестьянам отдельно их общественную землю. Наши города не имеют значения без присутственных мест, они созданы для управительства. Наши села равно могут служить торговыми рынками, как и города, наши рынки — ярмарки и базары; для этого, особенно при помощи железных дорог, сближающих рынки, нет причины менять право собственности в противность народному великорусскому смыслу; о предположенном насилии министерства государственных имуществ ввести наследственное земельное право посредством грабежа и говорить нечего: это явный заговор против народа. Тут нам, без сомнения, приходится вступить в жар-

* Судей чести (фр.).— *Ред.*

кие состязания с управительственным мнением. Мы должны твердо отстаивать право сельского обычая и собственности. С присутственными местами наши города должны исчезнуть, оставя место селам и рынкам. Но этот вопрос ведет нас к различию западных и великорусских губерний. Без сомнения, области, во-первых, устроятся по различию права собственности наследственной и общинной, но в обоих случаях при общинном самоуправлении. Конечно, не мы захотим вводить насильственно общинное право там, где оно не обычай. Но и не насилие решит дело; решение задачи опять принадлежит общественному кредиту, и вопрос становится так: перейдет ли земледельческая община в земледельческую артель, т. е. на общинный труд, что при пособии общественного кредита возможно, вероятно, и увлечет ли в свое движение и те местности, где право земельной собственности наследственное, или наоборот? Обо всем этом мы можем толковать и писать томы. Но вы скажете, что цензура помешает. Э!.. не переставая добиваться уничтожения превентивной цензуры, пускайте в ход рукописную литературу так, чтоб правительство, наконец, увидело беспомощность, ненужность и невозможность цензуры, и давайте писать томы; но оставимте что-нибудь и на решение времени и истории.

Да! еще забыл один вопрос: Народное образование... Надо готовить учителей, проповедников науки для крестьян, для народа, странствующих учителей, которые из конца в конец России могли бы разносить полезные и прилагаемые знания. Общественный кредит может подготовить их и пустить в ход.

Что ж бы еще? Но лучше поговоримте в другой раз; как ни трудны наши пути сообщения,— через «Колокол» мы еще не раз перекликнемся во имя нашей родины.

Прощайте! Вам пора в дорогу и за работу. Кланяйтесь дома; скажите кому хотите, что мы станем насколько умеем служить русскому народу до последнего дыхания.

НА НОВЫЙ ГОД 1861[1]

Газеты и толки говорят, что 1 января 1861 года выйдет указ об освобождении крестьян. Может быть, он уже торжественно станет читаться на площадях и в церквах, когда этот скромный лист «Колокола» дойдет до России. Много работы, много вопросов требуют широкого развития; но время дорого, минута слишком важна; надо разом оглядеться кругом, обозначить настоящее положение, цели и пути,— иначе становится жутко.

Как будет принято народом это освобождение?.. освобождение личное, с правом на пользование землею и на розги, с правом на выкуп по добровольным соглашениям, при невозможности достигнуть ни соглашения, ни выкупа, с правом остаться на барщине и на оброке, с правом подчиниться вновь изобретенным управительствам и судопроизводствам, более сложным и запутанным чем когда-нибудь, словом — освобождение канцелярское?.. Какое бы оно ни было — в первый день оно примется с восторгом. Не один шкалик откупного вина разопьется в честь свободы... Но день пройдет — все оглянутся и увидят, что и вино поддельное, и свобода поддельная.

Наступит пора страшного молчания, от которого много лиц побледнеет; а потом люди очнутся, жизнь взойдет в свои права и станет искать себе выхода.

Кто, очнувшись от первого впечатления, останется довольным? — Никто.

Крестьяне увидят, что они такие же крепостные, как были; только их права, их собственность, их работа, все их отношения к помещику из неопределенности по отсутствию правил перешли в неопределенность по бесчисленности правил; а между тем слово *свобода* вылетело из клетки и его сызнова в клетку не упрячешь. Малейшее притеснение со стороны помещика, прежде проходившее незамеченным, теперь примется крестьянином хуже всяких зверских помещичьих проделок. Надо поднимать суд, а суд, хотя и мировой, не выйдет из рамки канцелярских росписей об отношениях помещиков к крестьянам, росписей, возможных на бумаге, но невозможных в применении... Суд так же мало удовлетворит крестьян, как и их новое управительство, которому будет вменено в обязанность окрасить общинное самоуправление в канцелярскую краску, к нему не пристающую. И спросит крестьянин: где же выход? А он нужен, потому что сил много; надо или отпереть ворота, или все здание разорвется.

Та же неопределенность отношений от бесконечности правил поставит в тупик помещика. Он не будет знать, что он может требовать от крестьянина, чего не может. Слово свобода произвело свое действие, крестьянин не слушается. Помещик идет в суд. Суд рассматривает канцелярские распределения; в них и тяжущиеся и судья запутываются. Время длится, работа ускользает, помещик разоряется *.

Помещик видит, что выкуп был бы для него выгоднее, тем более что земля все же в пользовании у крестьянина; крестьянин видит, что земля у него в пользовании, но все же не его и что он все же не свободен, и крестьянин видит, что выкуп для него был бы выгоднее; но у крестьянина нет денег, взаймы никто не даст, общей нитки для выкупа нет; стало, отдельный, случайный выкуп невозможен, как ни соглашайся добровольно. Смотрят друг на друга помещик и крестьянин и чувствуют, что они оба разоряются в пух. Смотрит на них судья и боится: решить направо — крестьяне взбунтуются, решить налево — помещик подаст на него жалобу; и в том и в другом случае правительство останется им недовольно, пришлет выговор,

* И за все разорение ни крестьянин, ни помещик, ни сам судья не имеют даже в вознаграждение уверенности, что их без суда не арестуют и не сошлют.

отставит, отдаст под суд. Почти что уж и не до взяток, бежать бы куда-нибудь.

Так и чиновники будут недовольны?

Без всякого сомнения. Столкновения мелких чиновников с окружающим беспорядком будут страшно трудны. Помещик потребует земскую полицию для наказаний; выйдет бунт. Правительство накажет земскую полицию или за то, что пересекла, или за то, что недосекла; бунт поставят ей в вину. Тут уж не до взяток, а между тем и высшее начальство не перестанет требовать обычной подати с мелкого чиновничества, да и своя привычка попользоваться... Ни суд, ни полиция не будут довольны.

Между тем в промышленности число рук не прибавится, как бы оно было при немедленном освобождении с землею на основаниях выкупа. Государственные крестьяне ждали новых заработков; их не будет, потому что помещику принять работника со стороны, имея своего неотчуждаемого, нельзя. Фабрикант ждал новых работников; их не будет, потому что освобожденный крестьянин еще обязан, т. е. не освобожден, и не может располагать собою. Купец ждал сильной деятельности, ее не будет: полевые и заводские работы в помещичьих имениях застряли; у покупателей-помещиков нет денег, у покупателей-крестьян нет денег; товар остается на руках; да и у правительства нет денег; внутри государства неоплатные бумаги, заграничный курс невыносим; купец разоряется.

Правительство хотя и принимает платежи и подати кредитными билетами по цене, которая на них написана, но оно и платит ими по той же цене; а их никто между собою по этой цене не принимает. Платит ли правительство проценты,— на них убыток, потому что эти проценты — неоплатные бумажки. Капиталист разоряется. Взять капитал обратно,— но он придет в этом же бумажном виде, та же потеря при всяком размене или покупке. Платит ли правительство за подряды, как ни возвышай цены, не разочтешь, на сколько упадут кредитные билеты. Капиталисты, поставщики разоряются.

Ремесленники не получают заказов или работают в долг, а долгов никто не платит; работа дорога, но не в пользу рабочему. Мещане разорены, не платят податей, полиция их преследует; а взять неоткуда, жить не на что.

Сверх того, государственные крестьяне, без заработков, без продажи своих произведений за недостатком покупателей, платя за все бумажными деньгами втридорога, имеют в виду утешение, что хотя крепостных и обманули мнимым освобождением, но зато правительство с особенным усердием старается их самих обратить окончательно себе в крепостные. Раздражение усиливается; то, что от чиновника выносилось, становится нестерпимым, а жаловаться некому; да если б кто и принимал жалобы, то обвинил бы их, а не чиновника. Жутко крестьянам, но плохо и чиновникам тем более, что со дня на день взятки брать страшнее — не ради наказаний от начальства, а по раздражительности обнищалого народа; а между тем жалование идет по нарицательной цене, а жизнь впятеро дороже.

Ну! да пусть все они недовольны — и помещик, и купец, и ремесленник, и освобожденный помещичий, и укрепостненный государственный крестьянин, и губернский, и уездный чиновник, но лишь бы об этом не говорили, не писали. Надо прижать литературу, надо усилить цензуру, надо запретить писать... А иной раз, ради собственного спасения, правительство не может не позволить, не хотеть, чтоб говорили. А у нас говорить только начинают, никто не устал; говорить хочется обо всем, да и нужда заставляет. Попробуй запретить печатать — станут говорить в рукописях; а оно почти так же быстро, как печать, но зато действует вдвое страстнее, стало, вдвое сильнее и вдвое опаснее для правительства, потому что пробирается подземным ходом и не увидишь, где и как придет к взрыву и землетрясению. Стало, как же тут быть? Позволить писать — все скажут, как они недовольны; запретить писать — еще хуже: у связанного языка душа злобная.

Сверх того, все хотят учиться, потому что хотят мыслить и рассуждать о своих интересах и своем положении. Запретить учиться — нельзя: говор пойдет, назовут скотами, все станут еще недовольнее; а начать самому мыслить — правительству не приходит в голову, а это одно бы и примирило всех. Недовольны и литература и школа, а в преследованиях выгоды нет. Что за радость посадить в сибирку какого-нибудь гимназиста, между тем как крестьяне... . . . .

Уж не позвать ли попов благословлять солдат на усмирение бунтов?

Разве православные монахи, которым хотелось бы поддержать монастырское приволье и тунеядство, дадут благословение на палачество... но и то равнодушно; приношения богомольцев скудны, да и те бумажные. Сельские священники неохотно станут проповедывать избиение крестьян: они поставлены к ним слишком близко; иной с испугу не станет проповедывать против них, другой — потому что был с ними запанибрата. Даже если мужик был и раскольник, священник с ним не ссорился, имел от него свою поживу и не мешал ему верить как знает. Вдруг начать проповедывать палачество?.. оно и не богоугодно, да и правительство приказать прикажет, а заплатить за это не заплатит, да и нечем... Духовенство, обнищалое вместе с народом, омоет себе руки и не вмешается в дело, между тем как его сыновья, сдавленные и недокормленные в семинариях и духовных академиях, пойдут всюду, где надо ломать, потому что они все ненавидят.

Да и поможет ли войску благословение на палачество?.. Говорят, что 4-му и еще какому-то корпусу был дан приказ итти к австрийской границе и ждать дальнейшего распоряжения о переходе через границу. Генералы рапортовали, что в случае помощи Австрии они не надеются ни на дух солдат, ни на дух офицеров и подадут в отставку. Не знаем, правда ли это; но то, что об этом говорят, уже имеет огромное значение. Стало, часть офицеров и солдат внутренне не хотели помогать Австрии душить славян и венгров; иначе этот слух не распространился бы. Неужели же у них хватит усердия на избиение крестьян? И у кого у них? У солдат, у которых отцов и братьев обманули мнимым освобождением, у которых задерживают жалованье, которых плохо кормят и хорошо бьют; у солдат, из которых много раскольников, а их единоверцев чиновники Александра Николаевича секут и грабят, а Константин Николаевич ласкает; у офицеров, которым разоренные родители не дадут денег, да и на те, что дадут, нельзя жить,— а между тем в них пробуждается иное чувство чести, не чести знамени, а той чести гражданина, которая мешает марать руки, колотя подчиненных, и марать собственное достоинство, вынося всю наг-

лость немецкого капральства, доказавшего в Крымскую войну свою неспособность и вредность.

Стало, кто же недовольные? Все.

С одной стороны стоит вся масса населения империи — недовольная; с другой — немецкое правительство с своими канцелярскими формами, по которым ему хочется вырезывать из государства маленькие регулярные фигурки и играть ими в игрушки. Правительство сосредоточено из всего бездарного, невежественного, своекорыстного и не понимающего ни русской жизни, ни русских потребностей. Глядя в Россию большими глазами, оно ничего не видит, не видит даже, что оно страшно слабо и проваливается на собственных догнивающих подмостках; оно не видит, что оно чужое всем и вдобавок нищее, и не понимает, что по канцелярским формам можно вырезывать бумаги и бумажки, но нельзя вырезывать народное тело, если оно живо; а оно живо — вопреки всему начальствующему и доктринерствующему, невежественному и заучившемуся, грабящему и тупоумствующему.

Но кто же *все* и кто правительство?

Все, во-первых,—вся Россия, а правительство—только официальный мир.

Из кого же состоит этот официальный мир? В Петербурге — из нескольких стариков, выживших или не доживших до ума; из нескольких крупных грабителей, которые отстаивают свою безнаказанность; из нескольких честолюбцев, централизаторов из подлости; из нескольких централизаторов по пристрастию к канцелярскому облагодетельствованию народа, этих не Петров великих, а Петров маленьких, чернилоточивых, заменивших здравый смысл переписыванием иностранных учреждений, и, наконец, из нескольких лиц, которым по наследству, по породе, династически досталась страсть к форме и которые ни в военном, ни в гражданском устройстве никогда ничего не понимали, кроме мертвой формы и мертвой буквы, а живая мысль и живое дело проходили мимо них.

В губерниях официальный мир состоит из губернаторов и чиновников покрупнее, да и то доля из них не верит ни в нравственный смысл чиновничества, ни в его незыблемость перед настоящим отпором; из нескольких архиереев и соборных попов, из правителей консисторий, которым жадность туманит глаза до поры до времени. Мелкое

чиновничество, на которое столько нападает общество и литература, потому что нападкам на крупное мешает цензура, мелкое чиновничество хотя и принадлежит к официальному миру, но всего менее прочно, всего скорее отшатнется, когда поймет, что ему пропадать из-за крупного невыгодно.

Многие к официальному миру относят и большинство помещиков, и не только большинство, но и большую часть меньшинства, основываясь на том, что в крестьянском вопросе у них преобладает слепое стремление сохранить себе земли в собственность и право распоряжаться, управлять. Это еще менее прочно, чем мелкое чиновничество. Помещичество, в крестьянском вопросе, в три года пережило огромные перемены в собственном образе мыслей. Сначала оно вовсе не хотело уничтожения крепостного права и стояло далеко позади требований официального мира; потом ухо привыкло к слову освобождения, и помещичество стало говорить, что надо освободить крестьян, но только без земли, и все стояло ниже официального мира. Потом оно согласилось на отпуск с землею, но без переходного положения с сохранением права управления. Тут оно долею стало выше официального мира, долею сравнялось. Вопрос в сущности стал на том — кто будет управлять: помещичество или чиновничество, чисто татарское начало или татаро-немецкое. Между тем всегда чувствуемый, но неопределимый уровень общественного сознания шопотом подсказывал: не может управлять ни то, ни другое. Отныне помещичеству поставится задача таким образом: для того, чтобы им и народом не управлял татаро-немецкий официальный мир, надо, чтобы оно само отказалось от управительства. Мы и не думаем, что большое большинство и большинство меньшинства дворянства захотело бы поступать с самопожертвованием Рылеева и с бескорыстием апостола; оно из чувства самосохранения, с одной стороны, и из собственной выгоды — с другой, вынуждено будет стать выше официального мира и соединиться с народом. Чтоб избежать бунтов и не потерять, а увеличить свое достояние, оно будет вынуждено искать разумной нити для выкупа крестьянами земель, методы, которая основывала бы выкуп не на случайных соглашениях, а на правильном расчете, для обоих сторон выгодном. Этот расчет не вынесет канцелярской формы; этим

расчетом дворянство сохранит свою жизнь и свое достояние и подорвет официальный мир, что для дворянства гораздо выгоднее сохранения каких-то привилегий олигархо-шляхетного управления, которое несбыточно, потому что оставит их всегда без денег, а на десять в шести случаях без головы. Вот почему не только большинство меньшинства, но и самое кровное большинство неслужащего дворянства не принадлежит к официальному миру; нужда двигает в известное направление не меньше, чем бескорыстное убеждение.

Где же сила у официального мира?

Она есть, потому что все ее составные части, как ни плохи, но держатся. Но держатся не спокойно; они колеблются. Очевидно, *все*, т. е. Россия, должны перетянуть официальный мир. Для этого, как всюду, есть путь положительный и путь отрицательный. Положительный путь — постоянного развития народных экономических начал, народного, общественного кредита и народного самоуправления; и путь отрицательный — постоянного обессиления официального мира.

Но мне скажут: «Позвольте! Ну, а если правительство соединится со всеми; это было бы гораздо лучше!..» Не спорю; это было бы дело великое; но оно не соединится ни с кем, потому что оно не только иностранно, но оно бездарно.

«Ну, а если оно сделает уступки, даст и оградит некоторые права?» — Берите и пользуйтесь, но цели из виду не теряйте.

Для общей финансовой меры выкупа крестьянских земель правительство оказалось бездарно. Это, может, и к лучшему. Дворянство, ради собственной выгоды, должно подумать уже не о правительственном кредите, а об общественном. Это заставит его образовать местные банки, да не сословные земские банки, переведенные с немецкого, а банки с участием всех, с поземельным кредитом для крестьян не менее, чем для помещиков, что составляет единственное условие правильного выкупа; банки, где все вкладчики, где помещики и самые крестьяне разом вкладчики и заемщики, где дивиденд приходится на всех,— такие местные банки спасут дворянство и народ и соединят их и их выгоды. Круговая порука должна быть общею. Богатые купцы первые примут участие в образовании

местных банков, и участие по бескорыстному побуждению, потому что между ними и народом живая нитка не порвалась, как ни уродливо шло до сих пор их развитие. Если в одной губернии образуется местный банк на десять, даже на пять тысяч душ из соединенных крестьян, помещиков и других сословий, то к нему примкнет все окольное, и он разовьется в областной банк, управляемый выборными от местных банков; и областные банки образуют центры везде, где образуются области. Помешать образованию местных банков правительство не может, не подняв руки на самого себя, т. е. не восстановив против себя разом всех, потому что мешать единственному средству спасения нельзя безнаказанно: самые трусливые окрысятся. Да и нельзя правительству остановить раз завязавшегося торгового и кредитного дела, не разрушив окончательно самого себя.

Между тем образование областных банков приведет к своим необходимым последствиям.

Во-первых, необходимость участия в общем кредите государственных крестьян и, следственно, освобождения их от казенного управительства и от крепостной принадлежности правительству. Это одна из краеугольных потребностей русского народа; только ее осуществление даст возможность крестьянам не различать себя на помещичьи и государственные и соединяться в волости без промежутков. Чересполосность волостей составила бы такую уродливую нелепость, при которой никакое устройство невозможно.

Общины и волости, освобожденные от помещичьего и казенного управительства, не могут не потребовать свободного выбора старшин, судей, вообще свободного выбора суда и полиции, не требующего утверждения свыше. Дворянство и другие сословия не могут иметь отдельных выборов; областные выборы не могут быть не общими. Выгоды дворянства совпадают с выгодами народа в том, что с свободою общих областных выборов исчезает управление официального мира, заменяясь управлением выборным; чиновничество и немецкие игрушечки рангов и мест, от будочника до губернатора, заменяются распорядителями, избранными областью и ответственными перед обществом, которое сменяет их, если недовольно. Суд и управление становятся гласными. Европа очень хорошо

чувствует все зло, гнетущее ее потому, что выборное начало, даже с suffrage universel *, падает только на депутатов в парламенте, о которых масса населения не имеет понятия и выбирает их равнодушно или при подкупе, выбирает, не зная для чего, с неопределенной целью,— между тем как администрация и суды зависят от правительства и наблюдают не интересы общественные, а интересы правительства. Пора сознать, что выбор хорош только местный, потому то тут всякий знает, кого и зачем выбирает. Община знает своего старосту, город знает, кого выбрать для смотрения за порядком и чистотой, выборные от общины, волостей и сословий, сходясь на областные выборы, будут знать, кто способен наблюдать за порядком в области, кто способен рассудить уголовное дело, кто способен распоряжаться общественными работами. Но далее размера области управление ускользает от непосредственного выбора; ни личность, ни круг действия избираемого неизвестны массам. Для масс доступен выбор только местного управления. Выбор центрального управления возможен только через посредство выборных областных.

Соединение в области становится необходимой задачею, без разрешения которой управление, ускользая от выборности и ответственности, всегда будет уродливым, всегда впадет в ложное соединение разнородных частей и, создавая ненужное соединение огромного пространства под одну власть, пожертвует этому огромному призраку свободой и благосостоянием народонаселения.

Русская империя, естественно, распадется на области, частью по географическим и промышленным условиям, частью по племенам. Географическое положение и промышленный интерес, одинакое земледелие вследствие климатических условий и одинакий сбыт невольно потянут северное народонаселение образовать Беломорскую область; точно так же естественные условия необходимо образуют Прибалтийскую область (причем, однако, немцы должны будут подчиниться общим требованиям и уступить крестьянам земли за выкуп). Белоруссия, по племенному условию, сплотится в свою область, точно так же как Литва в свою. Средняя или кровная Великороссия, по

* Всеобщим избирательным правом (фр.).— *Ред.*

всем условиям племени и одинаких промышленных, преимущественно фабричных интересов, составляет, естественно, свою область. Уральское народонаселение сосредоточится около Камы и Уральского Заволжья; прикаспийское народонаселение с своим степным хозяйством и своим транзитным положением, между Закаспийской и Закавказской Азией и остальной Россией, соединяется в область одинаковостью интересов. Донское казачество, Малороссия и Новороссия, вместе или раздельно, составляют одну или три черноморские области. Сибирь громоздится в свои области по направлению к Тихому океану. Мы и не говорим собственно о Польше. Она от Познани и до Галиции включительно захочет сплотиться в свободную Польшу, но тем не менее в несколько областей. Раздел по областям кончает бесплодный спор о границах, который составляет такую страстную заботу старопольского, шляхетско-рыцарского поколения и с каждым днем становится диче для нового польского поколения, предпочитающего идеал сильного развития производительных сил и общего бессословного самоуправления — идеалу пана с длинными усами, в контуше и с шапкой на бекрени; похороните эти допотопные идеалы вместе с идеалом русского боярина в желтых сапогах и давайте трудиться о свободном соединении людей в области на основании свободного самоуправления общин и областей.

Но нам скажут, что это разделение на области совершенно вводит нас в мир удельного или доудельного периода нашей истории. Может быть! Даже весьма вероятно. Мы скажем более — это даже совершенно справедливо и естественно. Удельный мир образовался, когда племена бродили и занимали земли. Они и заняли земли и соединились в княжества по естественным племенным и географическим условиям. Эти условия остались и теперь; только, успокоившись от бродяжничества и усевшись на месте, теперь нам нечего входить в удельные распри; драться никому нет охоты; а устроив областные самоуправления, все увидят необходимость подать друг другу руку на общие интересы и соединиться в федерацию, в общий союз славяно-русских областей, в котором области управлялись бы каждая сама собою, на основаниях выборного самоуправления, наделения землею всех и каждого, с своим областным банком, а для общих дел союза каж-

дая область присылала бы своих выборных для соглашений в устройстве путей сообщения, общих расходах и, наконец, для составления общего союзного банка, управляемого выборными от всех областных банков.

Если б правительство поняло эту живую струну и живую связь, оно осталось бы в главе движения; но оно не поймет, потому что оно бездарно.

Если б оно поняло — конечно, все пошло бы легче. Оно само способствовало бы устройству областных банков, которые мирно совершили бы выкуп крестьянских земель; оно само передало бы им финансовую инициативу и способствовало бы к преобразованию правительственного кредита в кредит общественный; но оно не поймет — и банкам надо будет учреждаться понемногу, действием отдельных лиц, распространением сознания их необходимости. И банки все же учредятся, но вместо того, чтобы спокойно перевести правительственный кредит в общественный,— они подорвут правительственный кредит, потому что с каждым шагом вперед в их кредите правительство будет утрачивать свой и банковые билеты опрокинут правительственные бумажки.

Если б правительство поняло живую струну, оно само способствовало бы заменять управительственное чиновничество выборным началом. Но оно не поймет, и тактика останется одна: отстраняться от официального мира, выходить из чиновничества, оставлять в нем одну бездарность и недобросовестность; и усиливать число людей для образования банков, число людей в промышленности, число людей в литературе и, наконец, образованных русских офицеров, так чтоб правительственная бездарность не могла опираться на штыки и рассчитывать на пушки. Если один полк откажется стрелять по народу, то все откажутся, потому что солдат по приказу, может, еще и пошел бы на мужика, но против солдата — в наше время — он уже ни за что не пойдет, и голос ловкого русского офицера будет для него понятнее голоса бездарных немецких генералов.

Если б правительство поняло живую струну, оно перестало бы теснить литературу и люди договорились бы до требуемого общественного устройства путем мирным.

Мы не говорим уже о гласности суда; это одна из тех необходимостей, которую и самое отчаянное тупоумие

не может не признать и только трусость тупоумия и его своекорыстие могут задерживать.

Но не только гласность суда и печати, не только свободное преподавание в школах, не только свободное учреждение областных банков и выборного самоуправления, не только дарование свободы совести и вероисповедания, но и самое свободное распределение народов на области правительство допустило бы, если б поняло живую струну, потому что оно поняло бы, что стоять во главе свободного славяно-русского союза пошире, прославнее, чем подписывать канцелярские протоколы и учить гвардию в манеже.

Как бы то ни было, поймет ли оно или не поймет, но, во всяком случае, новый указ о крестьянах будет не конец крепостного состояния, а начало русского освобождения.

Чувствуя всю важность этого начала, мы предлагаем людям русским на размышление ряд вопросов, которым пора приходит. Мы, конечно, посвятим им впоследствии наш посильный труд, при тех малых средствах, которые у нас, на чужой стороне, найдутся под рукою; но наш труд далеко не может быть достаточным. Пусть те, которые живут дома, у которых возле все средства для изучения, для живых наблюдений и для живого действия, работают над задачами русской общественной жизни неутомимо, безбоязненно, согласно, с твердостью, преданностью и светлым пониманием. Сила обстоятельств так велика, что само правительство коснулось многих вопросов, но совладать с ними не сможет; с первого взгляда кажется, что оно их создало, между тем как оно их только сказало, частью потому, что они уже были в воздухе, частью потому, что не сказать их еще страшнее, чем сказать. Но сказать их и совладать с ним — дело розное. Одно — дело необходимости, другое — дело понимания и искренности, в которых вся гражданская мощь. Правительство было так неспособно и неискренно, что оно представило не силу, а робость. Оно не умело даже назвать вещей по имени. Освобождению оно дало кличку улучшения быта; гласность суда и ответственность администрации свелись на учреждение судебных следователей, которым уже теперь губернские власти, наприм. в Харьковской губернии, продают места

по 1 000 руб. сер.* Правительство не могло приступить к постановке вопросов искренно, потому что его интерес не общественный, а семейный, династический; оно не могло приступить к ним с отчетливым и живым пониманием оттого, что его роль в истории идет к концу, а перед концом здоровость мозга больше чем сомнительна. Правительство во всех предпринятых преобразованиях было только робко, потому что оно с виду *начинало,* а в сущности только *неохотно подчинялось* необходимости. От этого оно и не поняло своего счастливого положения, самого счастливого, в каком когда-либо было какое-нибудь правительство. Отсюда естественный ход данных предусмотреть не трудно: робость не перейдет в силу действия, а разовьется в силу страха, т. е. правительство будет не совершать преобразования, а мешать им. Поневоле и со скорбью общество придет к заключению: *«От правительства ждать нечего, станемте на свои ноги»*. И общество будет вынуждено отделиться от правительства и не допускать, чтобы оно мешало развитию тех общественных данных, которые существуют, сознаются и вошли в движение. Общество будет вынуждено работать не вместе с правительством и покорить его власть власти общественной. Общество вынуждено составлять свои центры действия и упорству династического страха противупоставлять мощь общественного развития. Образуются ли эти центры понемногу и тихо или быстро и явно — это зависит от силы обстоятельств, от силы людей, от силы их сближения и согласия. Как бы они ни образовались, но они, по необходимости, должны образоваться: иначе нельзя итти вперед, а остановиться невозможно.

Но возвратимся к нашему перечню вопросов.

1. Общинное поземельное владение в Великороссии, поземельное владение для всех везде, общинное и общественное самоуправление.

Общинное поземельное владение необходимо влечет за собою свои экономические основания и свою экономическую будущность. Для соглашения партий оно влечет необходимость общинного выкупа крепостных земель за круговою порукою, что обусловливает

* Мы получили запрос: «Правда ли, что правители канцелярий губернаторов Харьковского и Полтавского объявили таксу по 1 000 руб. сер. за новые места судебных следователей?»

необходимость общинного крестьянского долгосрочного кредита, основанного не на системе ипотеки (залогов), а на учреждении правильных опек для недоимщиков и общественного застрахования платежей. Оно влечет необходимость уничтожения правительственного крепостного права и соединения государственных и освобожденных помещичьих крестьян в одно сословие, с правом государственных крестьян на такой же кредит, и учреждение, на тех же основаниях, выкупа государственных податей и образования общественных капиталов для удовлетворения государственных нужд, при постепенном погашении всякого рода налогов. Те же экономические основания влекут к необходимости учреждения круговой поруки с системой правильных опек и для частного помещичьего поземельного кредита и к образованию кредита бессословного, т. е. всесословного, посредством местных сельских банков. Местные сельские банки для своего начала требуют согласия двух-трех помещиков между собою и с крестьянами на долгосрочный выкуп посредством годовых взносов и согласия двух-трех капиталистов принять крестьянские и помещичьи процентные обязательства к учету, и принимать в условленном между собою порядке и размере свои временные беспроцентные расписки к обмену на товар и деньги.

Следственно, в образовании местных сельских банков соединяются капиталисты (а впоследствии и все мелкие капиталы), помещики и крестьяне. Для собственной выгоды местные банки должны способствовать развитию земледелия и потому снабжать общины, с платой от них за пользование, полевыми машинами и орудиями; несмотря на раздельность участков, крестьянские поля прирезаны хлеб к хлебу, и, при пособии паровых и иных орудий, крестьяне могли бы обрабатывать все участки сплошь, что, естественно, из общинного землевладения разовьет общинный труд, и это может вызвать образование поземельных общин и в тех местностях, где землевладение только личное. Образование многих местных общинных банков влечет за собою образование областного банка; образование областных банков влечет за собою добровольное распределение России на свободные области и соединение их в общий союз. Таким образом, развитие экономических данных ведет к конфедеративному устройству.

Общинное самоуправление требует, чтоб выбор всех лиц, нужных для сельского управления, был свободен, т. е. производим и утверждаем только миром, без всякого согласия высшего начальства; чтобы соединение сел в волости было решаемо добровольно, на общих сходках выборных от каждого мира, действующих по мирскому приказанию. Та же свобода выбора в волостные должности должна быть сохранена и на волостных сходках. Свобода выбора составляет тоже неотъемлемое право городов, выбирающих людей в городские должности, без различия сословий избирателей и избираемых. По роду землевладения частные землевладельцы (помещики) будут вне общины и могут примкнуть к ней только в некоторых случаях (наприм., мелкопоместные) по собственному желанию и обоюдному согласию; но по праву гражданскому частные землевладельцы, наравне с другими членами волости или города, должны быть избираемыми и избирателями. Выборность общинного, волостного и городского хозяйственного и полицейского управления влечет

необходимость выборности, для общих им всем потребностей, общего областного управления, избираемого посланными от волостных и городских сходок без различия сословий. Следственно, и вопрос общинного самоуправления ведет к самоуправлению областному, к необходимости добровольного распределения государства на самостоятельные области и соединение их в общий союз. Развитие самоуправления ведет к конфедеративному устройству. Но первый шаг на этом пути ставит следующий вопрос:

2. Не только уничтожение чинов, но совершенное упразднение чиновничества, назначаемого правительством, и замена его управлением выборным от общества, где каждый выбраный обязан перед своими избирателями дать отчет и держать ответ совершенно гласный, равно изустно и печатно.

Упразднение чиновничества влечет за собой утрату того значения городов, которое они имеют теперь, т. е. собрания населения около присутственных мест. Для того, чтоб известные селения становились торговыми центрами, нет никакой надобности переводить общины на городское положение. Развитие путей сообщения должно усилить число временных торговых центров, т. е. ярмарок и базаров, служащих для равномерного развоза промышленных произведений гораздо более, чем приток всех производительных сил к постоянным центрам, т. е. городам, поглощающим эти силы равно в ущерб населению городскому, образуя избыток населения, и населению сельскому, производя недостаток в нем. Если развитие путей сообщения должно служить к повсюдному уравновешиванию произведений, то оно должно также служить и к уравновешиванию рабочих сил и числа потребителей; иначе развитие путей сообщения будет выгодно только для сильных мира сего. Ни в каком случае нельзя допустить назначение каких бы то ни было торговых центров по приказанию начальства и правительства; лишь бы правительство не мешало, торговые центры образуются естественно, вследствие местных условий и потребностей.

Упразднение казенного чиновничества влечет за собою упразднение казенной полиции и учреждение полиции выборной, ответственной перед избирателями; полиции охраняющей, а не грабящей, не преследующей, не шпионствующей, какою всегда и везде является казенная полиция. Само собою разумеется, что с нею вместе уничтожается III отделение и всякое тайное жандармство, равно позорное и для правительства, которое в нем нуждается, и для общества, которое его выносит.

3. Уничтожение телесного наказания всякого рода.

4. Гласность суда и уголовный суд присяжных.

Без сомнения на первом плане неприкосновенность *лица и дома*, уничтожение всяких произвольных арестов без судебного разрешения, гласность следствия, т. е. допросов обвиняемого и свидетелей.

5. Гражданский суд — третейский.

Все частные споры и тяжбы о праве владения и правах семейных происходят от недоразумения спорящих сторон. Государство не может входить в разбирательство частных недоразумений; разбирательство недоразумения может быть только третейское. Законы гражданские должны быть ясно изложены, сообразно местному и сословному обычаю (напр., право наследства) и сообразно новым общественным потребностям; но особые присутственные места для разбирательства частных споров нисколько нигде и никогда не служили и не служат ни к примирению спорящих, ни к правильному решению, а только к запутыванию и замедлению тяжебных дел. Развод мужа и жены и выход совершеннолетних из семейства составляют неотъемлемое право лиц и не подлежат судебному разбирательству; при разводе и разделе суд может только разбирать право каждого лица на владение или на пособие. Расходы по третейскому суду падают на тяжущихся; образование касты адвокатов, этой язвы Западной Европы, было бы для нас несчастием; каждый может избирать поверенного кого пожелает *. Маклерская часть (совершение актов, доверенностей и пр.), конечно, должна быть отдельною от судов, и маклеры могут быть только выборные от общества.

6. Свод законов гораздо более подлежит уничтожению и замене новым, чем исправлению.

IX том (о состояниях), естественно, исчезает. Из уголовного свода едва ли одна статья может уцелеть.

7. Полная свобода печати.

Это единственный способ мирно договориться до всяких улучшений и преобразований. Разумеется, за личные оскорбления предоставляется право жалобы и судебного иска. Но правительство не должно иметь права ни запрещать, ни останавливать каких бы то ни было изданий.

8. Свобода вероисповедания и совести.

9. Свобода преподавания.

Приказанное преподавание мешает развитию; только конкуренция мнений подвигает его, и потому никакое стеснение преподавания не может иметь места. Общество должно составлять капиталы для учреждения школ, гимназий, университетов и пещись о воспитании и учении бесплатном, равно для мужеского и женского пола; но отнюдь не стеснять свободы преподавания и преподающего. Частные учебные заведения могут учреждаться беспрепятственно. Сословные

---

* Правительство имеет проект (который мы в скором времени напечатаем) учредить касту адвокатов так, что помимо лиц, ее составляющих, никто не будет вправе избрать поверенного. Это разом возвысит судебные расходы и отдаст простых обывателей в лапы законников.

учебные заведения, следственно и семинарии, не могут иметь места; все учебные и воспитательные заведения должны быть равно доступны всем сословиям. Допущение женщин к университетскому образованию необходимо. Учреждение странствующих учителей для сельского и рабочего народонаселения не менее важно, чем учреждение народных школ.

10. Свобода торговли.

Уничтожение гильдий, так мало приносящих доходу городам и правительству, и право каждому торговать везде и чем угодно — условие, без которого развитие промышленности невозможно. Городские доходы и расходы должны быть обсуживаемы городскими обществами, смотря по местным средствам и выгодам. Учреждение городских банков, составление городского капитала из погашений городских сборов гораздо более помогут благосостоянию городов и их обывателей, чем все законы, стесняющие торговлю.

11. Уничтожение паспортов.

Уничтожьте паспорта — и общины, волости и городские общества определят свои отношения к лицу, нисколько не разрушая круговой поруки. Вдобавок система паспортов никому не мешала укрываться от платежа податей, а всегда способствовала мошенничеству, полицейскому покровительству мошенничества и полицейскому стеснению жизни частного человека, и только. Правильные опеки также сделают ненужными укрывательства от платежа податей и систему паспортов, как и систему залогов по долгосрочному кредиту. Люди же перестанут считаться *беглыми* и будут только *переменяющими место жительства.* Times (18 декабря 1860) в превосходной статье об уничтожении паспортов между Францией и Англией говорит, что «никогда не чувствуется так ясно все безумие дурного учреждения, как после его уничтожения, когда мы видим, как легко без него обходиться».

12. Изменение системы рекрутства.

Мы не можем принять войны и постоянного войска иначе, как за неизбежное зло. У нас рекрутство — большее общественное и личное несчастие, чем где-нибудь. Мы должны притти к тому, чтобы, в мирное время, определенное число здоровых людей от 20- до 30-летнего возраста, без различия сословий, поступало в войско на шесть месяцев, что совершенно достаточно для выучки полезного, а не парадного солдата; а после шести месяцев возвращались бы домой к обычным занятиям. Это приучило бы все народонаселение к военному ремеслу и никого не стеснило бы. Без сомнения, телесные наказания в полках и во флоте не должны иметь места; укрывательство от рекрутства, дезертирство и система паспортов, при этом устройстве, окажутся бесполезными. Определенное число войска должно быть набрано и стоять в своей области и не переводиться, в мирное время, из края в край. Только тогда солдат будет знать, что он защитник родины, а не палач, поставленный какой-то чужеземной властью.

13. *Уничтожение вмешательства какой бы то ни было военной власти в дела управления и судопроизводства,* и недопущение назначать военных людей, пока они в военной службе, к каким бы то ни было гражданским должностям, административным, судебным или полицейским.

14. Войско должно быть содержано на общественные деньги, посредством областных управлений.

15. Областное управление получает на областные расходы деньги из областных казначейств, в которые поступают суммы из областного банка по смете, утвержденной областной думой. Областной банк получает надлежащие податные суммы из местных банков, куда они поступают от сборщиков податей, избираемых миром в каждой общине и городским обществом в городах. Те же сборщики сбирают в общинах платежи, следующие по долгосрочным крестьянским займам. Действия банков совершенно независимы от казначейств.

16. Для рассмотрения и утверждения областных потребностей и расходов учреждается областная законодательная дума, члены которой избираются на областных выборах от всех сословий.

17. Для рассмотрения и утверждения междуобластных потребностей и расходов учреждается государственная союзная дума из посланных от всех областных дум.

18. Управление междуобластными финансами принадлежит государственному банку, управляемому выборными от областных банков. Суммы, нужные для расходов по делам союза, банк препровождает в государственное казначейство, но в действиях своих от казначейства совершенно не зависит.

19. Управление делами союза, собственно администрация междуобластных работ и заведывание порядком междуобластных отношений и отношениями союза к иностранным государствам называется *правительством.*

20. Правительство не может привести в исполнение ни одного закона, не утвержденного государственной союзной думой, и ни в каком случае не нарушает областных прав и законодательств.

21. Правительство не может вступать с иностранными державами ни в какие секретные переговоры. Диплома-

тические отношения подлежат той же гласности, как и внутреннее управление.

От русских императоров зависит — рядом разумных уступок и дарованием областям свободы, самостоятельности и самоуправления и признанием их прав — стоять во главе движения и мирно достигать до тех идеалов, к которым Россия невольно будет стремиться. Иначе достижение их будет стоить много смут и ненужного кровопролития, а остановить упорством со стороны правительства ничего нельзя: существующие данные не могут не требовать себе естественного исхода и развития и возьмут верх по очень простой причине — у них для движения больше силы, чем у правительства для застоя.

На первых порах постановка крестьянского вопроса, т. е. освобождения помещичьих крестьян, приводимая в исполнение правительством так, что ни одна сторона не останется спокойною, требует сильной работы. Общественные толки, сближение лиц, составление центров, образование местных банков для правильного выкупа крестьянских земель,— и слово, и печать, и дело — все должно быть употреблено для мирного и прочного развития жизни.

Мы думаем, что всем порядочным людям отстраняться от чиновничества и вступать в настоящую деятельность было бы лучшим средством и начать настоящее дело и обессилить управительство. Едва ли можно будет иметь что-нибудь общего с чиновничеством, которое напоследях, как пламя, сильнее вспыхивающее перед потуханием, станет грабить невероятным образом, особенно чиновничество, которое покрупнее и поближе к престолу. Но предрешать способы действия мудрено. Вообще полезнее оставлять службу и помогать людям без средств находить иные пути для обеспечения своего существования, иную работу. Но, может, иногда полезно внести свое влияние и в служебную деятельность?.. Это понятно только на месте и при случае. Может быть, полезнее сосредоточить все силы в одной губернии; может, лучше разнести их всюду. Истинный деятель должен *чуять* в данную минуту, что делать и куда направить силы.

В одном мы не можем разубедиться: надо умножать число образованных офицеров, чтобы войско не было

употреблено против крестьян. Это — единственное средство избегнуть кровопролития, сделать помещиков сговорчивыми, дать возможность начать рациональное экономическое преобразование и сберечь силы на остальное.

Еще раз повторим: умножение образованных офицеров нужно и для того, чтобы не мешать Польше освободиться. Насильственный союз Польши и России по крайней мере столько же вреден для России, сколько для Польши. Правительство останавливает русское развитие из боязни польского либерализма, содержит в Польше ненужное войско на счет России и поддерживает тяжелый дух племенной вражды, которая ни России, ни Польше, ни даже самому немецкому правительству не приносит выгоды. К сожалению, между русскими еще встречаются (все реже и реже) люди, которые думают, что нельзя уступить Польше Польшу, потому что мы проливали кровь под Варшавой. Да разве потому, что мы тридцать лет назад, повинуясь правительству, имели глупость и варварство бесполезно проливать русскую и польскую кровь под Варшавой,— разве из этого следует, что мы должны теперь отдавать наши трудовые копейки для поддержания той же глупости и того же варварства? Или Польша приносит доход России,— тогда это со стороны России гнусный грабеж; или Польша ничего не приносит,— тогда насильственный брак бесполезен; или Польша нам в убыток (а это всего правдоподобнее),— тогда этот насильственный брак просто бесконечно глуп. Лучше покаяться в глупости и варварстве и не мешать, а помогать польскому освобождению; оно слишком тесно связано с нашим собственным.

В этом перечне, конечно, мы не могли поставить всех вопросов и подавно не могли развить их. Мы только хотели сделать первую попытку — поставить заголовки, или вехи, указать цели... Насколько мы успели — не знаем. Если эти страницы хотя в немногих возбудят сочувствие, мы довольны. Трех человек было достаточно, чтоб изменить хлебные законы в Англии, и двенадцать человек распространили христианство в целом мире. Если для русского развития найдется дюжина деятелей,— оно не погибнет. В заключение мы только напомним, что обстоятельства делаются людьми, а не сами собою по воле неве-

домых судеб; что нельзя желать преобразования и вместе с тем пребывать в опочивании, сквозь сон бранить настоящее и — по лени и трусости — не делать ни шагу для будущего, которое требует не героев во сне, а просто людей бодрствующих, подвижных и не боящихся побеспокоиться. Мы напомним очень простую вещь: для того, чтоб что-нибудь сделалось, надо, чтоб люди делали.

Новый год, новый путь, новая жизнь... Вперед, силы русские!

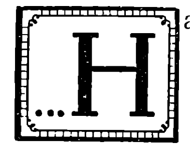
КАВКАЗСКИЕ ВОДЫ[1]

(ОТРЫВОК ИЗ МОЕЙ ИСПОВЕДИ)

И свет не пощадил, и рок не спас.

Лермонтов

(Памяти А. И. О-го)[2].



...Наконец губернатор[3], заняв у меня пять тысяч рублей ассигнациями (без отдачи разумеется), выхлопотал мне разрешение ехать на Кавказ... лечиться. Я сам хорошенько не знаю, был ли я действительно болен или нет. Мне кажется, болезнь моя была только смутная тоска — конечно, не от того, что я был сослан,—ссылка для меня была сносна по положению и равнодушна по решимости терпеть. Я даже не думаю, чтоб у меня тогда была настоящая тоска по деятельности; это скорее была тоска темного сознания, что я свою жизнь пускаю по ошибочной колее; а между тем женат я был недавно и упорно думал, что я счастлив. Болезнь моего отца, постепенный упадок его мозга, его любовь ко мне, добросердечие и вместе больные фантазии и странный деспотизм, от которого становилось душно и против которого самое его положение мешало спорить, моя любовь к нему и совершенное разномыслие с ним — все это меня давило, и мне хотелось вздохнуть свободно; мне хотелось уехать куда-нибудь, хоть ненадолго — лишь бы уехать. К тоске обыденной жизни примешивалась тоска стремления к друзьям. Поездка на Кавказ представляла мне свидание с одним из них мимоездом[4] и потом возможность провести целое лето с другим[5], из самых мне близких; мне так хотелось обнять его со всей горячностью юношеской дружбы и почувствовать на деле то, в чем я и не сомневался,— что ссылка нас ни на волос

не изменила и что мы встречаемся с прежней неизменной готовностью жертвовать собою на общее дело. В то время и мои теоретические занятия не вели меня к деятельному спокойствию ясного сознания, сильно пахли метафизическим мистицизмом — без религии, отыскиванием таинственных сил и таинственной связи вещей, и чем-то почти пророчествующим, но отнюдь не христианским. За натурфилософией Шеллинга и Окена [6] следовала теория животного магнетизма Кизера (Kieser, Theorie des Magnetismus und Tellurismus) * [7] и вера в гомеопатию; все это объяснял я себе теми метафизическими приемами, которыми так легко объяснить все на свете, раз попавши на канитель; так легко, что даже можно построить совершенно новую математику, раз принявши, что дважды два — пять; стоит только отнюдь не сообразоваться с действительностью, не допрашивать фактов, а вести логичную нить, которой формализм всегда построится в систему, откуда бы она ни начиналась — от истины или от мечты, от действительности или от ошибки. Сверх того, наклонность к таинственностям у меня еще оставалась и после недавней тюрьмы, после того, что мне казалось мученичеством, хотя, правду сказать, все вынесенное нами было так мало, что, конечно, не стоило такого высокомерного названия. Девять месяцев ареста [8] и пять лет жизни в губернии, где скорее было весело, чем скучно,— да если б из-за общественного дела приходилось рисковать только такими пустяками, на это не нужно бы особенной храбрости. Но, как бы то ни было, я считал себя взошедшим на поприще мученичества и ждал выхода, но выхода в новую деятельность и новое мученичество. Сенсимонизм, помогая мне в стремлении к мученичеству за новые верования, помогал мне и в метафизическом мистицизме не меньше, чем натурфилософия. Сенсимонизм, несмотря на réhabilitation de la chair ** и отрицание христианства, никогда не мог освободиться от дуализма; равные права тайной души и явного тела — все же дуализм, и père Enfantin [9], побеждавший своих судей силою взгляда,— все же библейски-христианский образ, сведенный на французское красноречие. В моей голове сенсимонизму легче, чем чему другому, было ужиться с

---

* *Кизер,* Теория магнетизма и спиритизма (нем.).— *Ред.*
** Оправдание, искупление плоти (фр.).— *Ред.*

натурфилософией; но остановиться на этом было нельзя: надо было или выйти из дуализма, или притти к настоящему христианскому, лучше сказать, к метафизически-христианскому мистицизму; к последнему я был как раз готов. Все вместе вызывало настроение смутной тоски, которую я принимал за болезнь, грусти мечтательной, мечтательных ожиданий, мечтательных раскаяний, что, может быть, не лишено своего поэтического оттенка, но слишком расслаблено и неспособно надолго владеть человеком, потому что несостоятельно ни перед мыслью, ни перед жизнию.

Как бы то ни было, в этом настроении я пустился в путь. Мы поехали на Саратов, хотя это было и не по дороге. М. Л.[10] — для свидания с родственниками, а я — на свидание с товарищем. Лахтин был сослан на житье в Саратов по одному делу с нами. Странно мне сказать — по одному делу, потому что дела не было никакого вообще, а с его стороны в особенности. Ссылка Лахтина относится к одной из тех несказанных уродливостей, наполняющих николаевское царствование. У меня нашли его письмо, писанное ко мне в деревню. В этом письме было говорено что-то о русской истории; смутно помню, что поднят был вопрос о происхождении дворянства в России; Лахтин производил его, кажется, от удельных князей или в этом роде что-то такое, вероятно теперь не выдерживающее ни малейшей критики. Больше ничего не было. Лахтин не был арестован; только раз был призван к допросу для объяснения этого письма, которое следственной комиссии показалось загадочным, вероятно потому, что презус — покойный князь Сергий Михайлович Голицын по врожденному слабоумию ничего в нем не понимал; а главный член, поныне благоденствующий князь Александр Федорыч Голицын[11], по честолюбию лакея и шпиона понимал не то, что было в письме, а то, чего ему хотелось, чтоб получить высочайшее потрепание по плечу. Словом, в одно прекрасное утро Лахтина позвали вместе с нами к выслушанию резолюции и объявили ему ссылку в Саратов. Лахтин был женат, жена его была беременна; он просил отсрочки; добрейший князь Сергий Михайлович с улыбкой отвечал ему: «Я не виноват, что ваша жена беременна!»... И Лахтина немедленно отправили в Саратов. Прошло три года, вот и я приехал в Саратов. Из-за разных ненужных

предосторожностей я не тотчас пошел к Лахтину, а послал М. Л. и остался в номере гостиницы ждать его. Сильно сердце билось. Наконец идут. Это он. Но он похудел. В лице странное беспокойство. Как мы обрадовались друг другу — об этом и говорить нечего; но отчего же в нем что-то такое странно надломленное? Он не изменился в направлении, в этом я и наперед был уверен; но неужели ссылка заставила его упасть духом? Он был не богат, но для скромного житья в Саратове имел достаточно. Стало, не бедность, а только ссылка пригнула его. Или другое горе пронеслось по его унылой жизни? Или болезнь сломила? Я ничего не мог узнать. И, пожалуй, во всем этом виноват я! Зачем я не сжег этого несчастного письма? Но надо признаться, что не только двадцатилетнему юноше, а и самому опытному жандармскому полковнику не могло притти в голову, чтоб за это письмо можно было кого-нибудь сослать! Я встретил в Лахтине такое уныние, что даже и его ученое трудолюбие исчезло, и любовь к науке была скорее похожа на хорошее воспоминание, чем на что-нибудь живое. Могло ли мое присутствие поднять его силы?.. Не знаю; но я сократил мое пребывание в Саратове также из ненужных предосторожностей, ненужных, потому что даже и при Николае тайная полиция, в сущности, была вовсе не страшна; она подчас била с плеча кого попало, человека совершенно политически невинного, и от этого нельзя было уберечься, как от бревна, падающего на голову; но систематически она никого не умела преследовать; ее агенты брали жалованье и любили попользоваться, при случае пугнув какую-нибудь невинную, но богатую жертву, а к надзору за кем и чем бы то ни было были совершенно равнодушны и неспособны. Из всех полицейских знаменитостей до систематического шпионства впоследствии выполз разве один из членов тайного общества 1825 года — Липранди; ну! да для этого надо быть изменником честных убеждений, а наши жандармы не имели и не имеют никаких. Но во время оно мы еще верили в опасность и боялись навлечь друг на друга новые гонения без всякой цели. И я пробыл с Лахтиным, помнится, только один день! Я уехал с тяжелым чувством... Через год я стоял на его могиле.

Дорога развеяла скорбное впечатление. Что это была за чудесная дорога! Май в полном блеске. Мы ехали почти

проселками, иначе нельзя назвать уездных больших дорог. Почтовых лошадей нигде не было, и мы тащились до Пятигорска 18 дней, точно на своих. Но я не жалел о беспрестанных остановках. Мне было слишком хорошо. Чем дальше мы подвигались к югу, все зеленее становилась степь; наконец, мы добрались до Дона и ехали целую неделю берегом. Дон был еще в полном разливе; с одной стороны зеленая, пахучая степь, с травой выше роста, с другой — вода, идущая, как море, в бесконечность; все кругом уходит в синюю даль. Да! хорошо было на приволье. Я даже забыл тайное, самому себе не высказанное сомнение в собственном счастье и весь был погружен в пантеистическое наслаждение широкой природой. Самое казацкое племя произвело на меня благотворное впечатление. В нем было что-то более свободное,— не было тех запуганных лиц, которые я привык встречать под разбойнически-отеческим управлением Панчулидзева и пензенских чиновников и помещиков. Тут чувствовался кряж народа посамостоятельнее. Да не только Дон, а и все Заволжье такое. За год перед этим (т. е. перед 1838) за Волгой мужики убили моего двоюродного брата Александра Колокольцова за жестокое обращение, воткнув ему ногу в стремя и пустив лошадь скакать по степи; кто убил его — и след простыл, никогда не нашли. Степной человек любит волю, ему границы чужды и противны. В степи человек неуловим; его нельзя придушить, как человека, прижатого к забору. Он отхлынет в пространство, а если уж когда сам да нахлынет, то вся степь дрогнет от Астрахани до верховья, и по северным лесам гул пойдет, качнется и московский колокол. В Дубовке я распрощался с русской татаро-немецкой цивилизацией забавным образом. Мы приехали рано. Я спросил чаю и ждал на крыльце станционного дома. Вдруг, часу в седьмом утра, является какой-то квартальный, в мундире с иголочки новом, очевидно принарядившийся ради высокоторжественного случая. У меня мгновенно мелькнула мысль о преследовании за свиданье с Лахтиным... ну! и его преследуют и как это на нем отзовется... чорт знает..— «Здесь остановился сенатор Огарев?» — спросил меня квартальный голосом, мягким от подобострастия. Я тотчас успокоился. «Сенатора здесь нет,— отвечал я ему,— а только я — его родственник; но я не только не сенатор, а даже еще и не коллежский реги-

стратор». Конфуз легкой судорогой пробежал по лицу блюстителя порядка: как же было дать такого маху и явиться в шесть часов утра в ожидании особы, а очутиться перед человеком, который даже не коллежский регистратор! а между тем перед не коллежским регистратором, пожалуй, и еще совестнее выказаться подлецом. Я расхохотался и предложил блюстителю порядка чаю. Но моя беседа удвоила его конфуз. С одной стороны, сенатор был мне дядя, ревизовал незадолго Саратовскую губернию и отдал под суд Панчулидзева отца [12], лет тридцать душившего Саратовскую губернию в качестве губернатора; с другой стороны, я был женат на племяннице пензенского Панчулидзева... кого тут хвалить? кого бранить?.. Блюститель порядка поспешно выпил и опрокинул чашку и, раскланявшись, ушел, подмахивая рукой в знак удовольствия, что отделался. Я проводил его глазами; мне было гадко, хотя и вовсе не ново; кажется, можно было привыкнуть к мысли, что в русском управительстве, за исключением изредка безумца, мечтающего иметь благодетельное влияние по службе,— служит только подлец; а все не привыкается... Может, от этой встречи на меня так отрадно подействовал переход от немецкого управительства к казачеству, где, сколько правительство ни старалось исказить отношение, а все же настоящее чиновничество не привилось, и селянин перейдет к коренному народному началу выборной администрации без враждебного истребления чужеядного чиновничества. А может, и самое степное приволье расположило меня на дружелюбие к его племени. Что за ночи и что за утро в степи! Что за песню пела казачка, переплывая через реку одна в маленьком челноке, на закате солнца! Мне до сих пор эта поездка кажется каким-то сном, блаженным до грусти.

Но вот мы переехали и через Дон, разлившийся в Оксае верст на пятнадцать. Мы переехали его в грозу и бурю; мы плыли с лишком сутки; говорили даже, что опасно; а кончилось благополучно. И опять пошла степь зеленая, и все роскошней и роскошней. Вот и татарские арбы заскрипели, вот и верблюды показались. Наконец, светлым днем засинели вдали мои старые знакомцы —

...Бешту остроконечный,
И зеленеющий Машук [13].

В ясное утро был виден и двуглавый Эльбрус, с далекой цепью гор, подобных белым облакам, а к полдню белые облака толпились вдали, точно снеговые горы. Вот уже я еду нагорным берегом Подкумка, серебрящегося и шумящего глубоко, там — внизу, а за ним опять степь зеленая. Вот на повороте у подошвы Машука забелелись домики Пятигорска. Еще немного — и я увижу друга! [14]

И еслиб мне пришлось прожить еще года,
До сгорблой старости, венчанной сединою,
С восторгом юноши я вспомню и тогда
Те дни, где разом все явилось предо мною,
О чем мне грезилось в безмолвии труда,
В бесцветной тишине унылого изгнанья,
К чему душа рвалась в годину испытанья:
И степь широкая, и горные хребты —
Величья вольного громадные размеры,
И дружбы молодой надежды и мечты,
Союз незыблемый во имя тайной веры;
И лица тихие, спокойные черты
Изгнанников иных, тех первенцев свободы,
Создавших нашу мысль в младенческие годы.
С благоговением взирали мы на них,
Пришельцев с каторги, несокрушимых духом,
Их серую шинель — одежду рядовых...
С благоговением внимали жадным слухом
Рассказам про Сибирь, про узников святых
И преданность их жен, про светлые мгновенья
Под скорбный звук цепей, под гнетом заточенья.
И тот из них, кого я глубоко любил,
Тот — муж по твердости и нежный, как ребенок,
Чей взор был милосерд и полон кротких сил,
Чей стих мне был как песнь серебряная звонок,—
В свои объятия меня он заключил,
И память мне хранит сердечное лобзанье,
Как брата старшего святое завещанье [15].

Я застал моего друга серьезно больным, но нисколько не ослабевшим духом. Он остался таким же, каким я знал его в раннюю пору перехода из отрочества в юность. Та же чистота сердца, та же трогательная дружба, та же неизменность, как и тогда... как и всегда, все тот же, каким он не может не быть, как бы судьба ни разбросала нас по земному шару; и где бы он ни был, он нашу тогдашнюю встречу вспомнит с тем же живым, теплым чувством, с каким я вспоминаю ее — через двадцать три года.

Мы наняли квартиру на бульваре. Н. * привел нам доктора. Мейер был медиком [16], помнится, при штабе. Необходимость жить трудом заставила его служить, а склад ума заставил служить на Кавказе, где среди величавой природы со времени Ермолова не исчезал приют русского свободомыслия, где, по воле правительства, собирались изгнанники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями. Жизнь Мейера, естественно, примкнулась к кружку декабристов, сосланных из Сибири на Кавказ в солдаты — кто без выслуги, кто с повышением. Он сделался необходимым членом этого кружка, где все его любили как брата. Его некрасивое лицо было невыразимо привлекательно. Волосы, остриженные под гребенку, голова широкая, так что лоб составлял тупой угол, небольшие глубокие глаза, бледный цвет лица, толстые губы, мундирный сюртук на дурно сложенном теле, одна нога короче другой, что заставляло его носить один сапог на толстой пробке и хромать... кажется, все это очень некрасиво, а между тем нельзя было не любить этого лица. Толстые губы дышали добротой, глубокие карие глаза смотрели живо и умно; но в них скоро можно было отыскать след той внутренней человеческой печали, которая не отталкивает, а привязывает к человеку; широкий лоб склонялся задумчиво; хромая походка придавала всему человеку особенность, с которою глаз не только свыкался, но дружился. Вскоре Мейер свел нас с декабристами; он и Одоевский бывали у нас почти ежедневно. Они были глубоко привязаны друг к другу. Их все соединяло — от живой шутки до глубокого религиозного убеждения или, лучше, религиозного раздумья.

Большая часть декабристов воротилась с убеждениями христианскими до набожности. Шли ли они с теми же убеждениями в Сибирские рудокопни или ссылка заставила их искать религиозного утешения? Это разве позже объяснится теми из них, после которых найдутся записки. Да надо вспомнить и то, что общество 14 Декабря строилось под двойным влиянием: революции и XVIII столетия, с одной стороны, и, с другой стороны,— революционно-мистического романтизма, который не у одного Чаадаева [17] дошел до искания убежища в католиче-

* Н. М. Сатин.— *Ред.*

ском единстве и вовлек не мало людей в какое-то преображенное православие. Дело в том, что для политической борьбы, для гражданского переворота, не только тогда, но и теперь, но еще надолго, теоретический вопрос религиозных или философских убеждений останется вне вопроса и мирно допустит сойтись вместе, в деле гражданского преобразования, ультрамонтана и атеиста и стать заодно в движении, с которым оба согласны; да и смешно было бы в основание гражданского союза не поставить свободы совести. Я не думаю, чтоб те из декабристов, которые пошли в Сибирь не мистиками, там сделались мистиками ради религиозного утешения; слишком твердо вынесли они немецкую кару за любовь к России, чтоб нужно было заподозрить их в слабости духа. Я думаю, что мистиками воротились из Сибири те, которые пошли туда мистиками или которые, не устоявшись в теоретических убеждениях, были готовы сердечно, поэтически отдаться религиозному чувству. Не могу также не заметить мимоходом, что общество 14 Декабря еще не имеет истории; но чем больше вдумываешься в него, тем больше провидится, насколько оно представляло коренное зерно всего русского движения; сложившись из всех элементов русской жизни, оно зместило в себе и выразило in spe * все идеи, которые развивались впоследствии,— от панславизма юного общества Соединенных Славян и родственного ему православия до юридически-рационального протеста Лунина и других, до католического протеста отчаяния в русской будущности, à la Чаадаев, и до социального взгляда, областного деления и конфедеративных стремлений Пестеля. Придет время, история скажет, насколько эти люди составляли родоначальный исток широкого развития нашей будущности.

Но возвращаюсь к Одоевскому. Это был тот самый князь Александр Иванович Одоевский, корнет конногвардейского полка, которому было 19 лет, когда он пошел на площадь 14 Декабря, и которого Блудов в донесении следственной комиссии попытался осмеять так же удачно, как Воронцов излагал свое мнение о Пушкине. Блудов не догадался, что Одоевский мог говорить: «Мы умрем! Ах, как мы славно умрем!» (если это только было так говорено), потому что, несмотря на ранний возраст, он принадлежал к числу тех из членов общества, которые шли на гибель

* Буквально: «в надежде», здесь — «в зародыше» (лат.).— *Ред.*

сознательно, видя в этом первый вслух заявленный протест России против чуждого ей правительства и управительства, первое вслух сказанное сознание, первое слово гражданской свободы; они шли на гибель, зная, что это слово именно потому и не умрет, что они вслух погибнут. Все, что могу заметить,— они были глубоко правы, и с каждым годом русского развития эта правота станет выставляться яснее, и тем смешнее и ничтожнее будут казаться всякие наемные писаря следственной комиссии.

Одоевский был, без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов списал его с натуры. Да! этот

> блеск лазурных глаз,
> и детский звонкий смех и речь живую...[18] —

не забудет никто из знавших его. В этих глазах выражалось спокойствие духа, скорбь не о своих страданиях, а о страданиях человека, в них выражалось милосердие. Может быть, эта сторона, самая поэтическая сторона христианства, всего более увлекла Одоевского. Он весь принадлежал к числу личностей христоподобных. Он носил свою солдатскую шинель с тем же спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь, с той же любовью к товарищам, с той же преданностью своей истине, с тем же равнодушием к своему страданию. Может быть, он даже любил свое страдание; это совершенно в христианском духе... да не только в христианском духе, это в духе всякой преданности общему делу, делу убеждения, в духе всякого страдания, которое не вертится около своей личности, около неудач какого-нибудь мелкого самолюбия. Отрицание самолюбия Одоевский развил в себе до крайности. Он никогда не только не печатал, но и не записывал своих многочисленных стихотворений, не полагая в них никакого общего значения. Он сочинял их наизусть и читал наизусть людям близким. В голосе его была такая искренность и звучность, что его можно было заслушаться. Из немногих в недавнее время напечатанных его стихов, в стихотворении к отцу например, я узнаю эту теплую искренность, но это не та удивительная отделка и гармония стиха, которая осталась у меня в памяти. Принадлежит ли это стихотворение к очень юным или оно не точно записано?.. Он обычно отклонял всякое записывание своих стихов; я не

знаю, насколько списки могут быть верны. Хотел ли он пройти в свете *«без шума, но с твердостью»*, пренебрегая всякой славой?.. Что бы ни было, но

Дела его и мненья
И думы,— все исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков... [18]

И у меня в памяти осталась музыка его голоса — и только. Мне кажется, я сделал преступление, ничего не записывая, хотя бы тайком. В недогадливой беспечности я даже не записал ни его, ни других рассказов про Сибирь. И еще я сделал преступление: в моих беспутных странствиях я где-то оставил его портрет, сделанный карандашом еще в Сибири и литографированный; он представлен в какой-то чуйке с меховым воротником и очень похож. Если он у кого-нибудь есть— умоляю прислать, потому что другой портрет, который у нас, так дурен, что мы не решились приложить его к «Полярной звезде».

Встреча с Одоевским и декабристами возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь... это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи [19], которые, вероятно, были плохи по форме, потому что я тогда писал много и чересчур плохо, но которые по содержанию наверно были искренни до святости, потому что иначе не могло быть. Эти стихи я послал Одоевскому после долгих колебаний истинного чувства любви к *ним* и самолюбивой застенчивости. Часа через два я сам пошел к нему. Он стоял середь комнаты; мои стихи лежали перед ним на стуле. Он посмотрел на меня с глубоким, добрым участием и раскрыл объятия; я бросился к нему на шею и заплакал, как ребенок. Нет! и теперь не стыжусь я этих слез; в самом деле это не были слезы пустого самолюбия. В эту минуту я слишком любил его и их всех, слишком чисто был предан общему делу, чтоб какое-нибудь маленькое чувство могло иметь доступ до сердца. Они были чисты, эти минуты, как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению — поколения, принявшего завет и продолжающего задачу.

С этой минуты мы стали близко друг к другу. Он — как учитель, я — как ученик. Между нами было слишком

десять лет разницы; моя мысль была еще не устоявшаяся; он выработал себе целость убеждений, с которыми я могу теперь быть не согласен, но в которых все было искренно и величаво. Я смотрел на него с религиозитетом. Он был мой критик. Из всех моих тогдашних писаний, давно заброшенных, я всегда помнил исключительно два стиха, потому что они ему понравились, и украл их сам у себя впоследствии. Но гораздо большее влияние он имел на меня в теоретическом направлении и на моей хорошо подготовленной романтической почве быстро вырастил христианский цветок — бледный, унылый, с наклоненной головою, у которого самая чистая роса похожа на слезы. Вскоре я мог с умилением читать Фому Кемпийского [20], стоять часы на коленях перед распятием и молиться о ниспослании страдальческого венца... за русскую свободу. От этого первоначального стремления, основного помысла ни он никогда не мог оторваться, ни я, и к нему, как к единой окончательной цели, примыкало наше религиозное настроение, с тою разницею, что он уже носил страдальческий венец, а я его жаждал.

Был ли Одоевский католик или православный... не знаю. Припоминая время, в два десятка лет уже так много побледневшее в памяти, мне кажется, я должен притти к отрицанию того и другого. Он был просто христианин, философ или скорее поэт христианской мысли, вне всякой церкви. Он в христианстве искал не церковного единства, как Чаадаев, а исключительно самоотречения, чувства преданности и забвения своей личности; к этому вели его и обстоятельства жизни, с самой первой юности, и самый склад мозга; это настроение было для него естественно. Но от этого самого он не мог быть и православным; церковный формализм был ему чуждым. Вообще церковь была ему не нужна; ему только было нужно подчинить себя идеалу человеческой чистоты, которая для него осуществилась в Христе.

...Мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной...

т. е. мечты какого-нибудь личного счастия, он не вверял, потому что ее у него не было. Его мечта была только самоотвержение. Ссылка, невольное удаление от гражданской деятельности, привязала его к религиозному самоот-

верженню, потому что иначе ему своей преданности некуда было девать. Но, может быть, и при других обстоятельствах, он был бы только поэтом гражданской деятельности; чисто к практическому поприщу едва ли была способна его музыкальная мысль. Что в нем отразилось направление славянства, это свидетельствует песнь славянских дев, набросанная им в Сибири, случайно, вследствие разговоров и для музыки *, и, конечно, принадлежащая к числу его неудачных, а не его настоящих, с ним похороненных стихотворений. Она важна для нас как памятник, как свидетельство того, как в этих людях глубоко лежали все зародыши народных стремлений; но и в этой песне выразились только заунывный напев русского сердца и тайная вера в общую племенную будущность, а о православии нет и помину. Мне кажется, что впоследствии у славянофилов развилось каждение православию только в антитезическом смысле. Если, с одной стороны, западнокатолический протест против печальной русской действительности двигал нас, отрицая, с этим отрицанием росла и потребность положительного выхода из унылой действительности; а этот положительный выход мог быть основан только на действительно существующих данных, т. е. на народных началах. Обе стороны, отрицание русской действительности и положительное ее развитие, выросли из общества 14 Декабря. Одна доросла до католицизма, другая до православия, не замечая, что наша народность, полная раскола, может развиваться только на основании совершенной свободы совести. Умер и патриарх католического протеста [21], умерли и самые усердные деятели из славянофилов. Воздадим каждому свое: остановимся с уважением перед людьми, у которых от русского страдания сердце наболело до отрицания, и взглянем с уважением на людей, которые были пророками русского развития. Я знаю, что доктринаризм возопиет против этого откровенного признания [22]; но я знаю и то, что доктринаризм — коренной враг

*Музыку писал Вадковский, один из самых ревностных деятелей 14 Декабря и товарищ Одоевского по ссылке; она носит характер романса того времени, с тех пор хотя и осмеянного с ученой точки знатока, но которого задумчивая прелесть, вышедшая из слияния русской песни с европейской музыкой, для непредубежденного останется изящной. В мотиве Вадковского есть талант, но в целом выработка ученическая, и в нашем списке столько ошибок, что мы не решились напечатать музыку.

России, который еще долго будет стараться вогнать государственное развитие и юношеские умы в свои узенькие рамки; но едва ли удастся. Впрочем, враг силен, и борьба должна быть не малая. Доктринаризм, выставляя западную науку как догмат, не заметил, что наука существует только одна — и совершенно не догматическая, т. е. история, история природы и отдел ее — история человечества. Спор, довольно скудный смыслом, о всеобщности и о народности в науке находит свое разрешение в истории. Без сомнения, математические законы всякого движения в мире всеобщи; но это не мешает, а, напротив того, доказывает, что каждое явление слагается из своих данных: ток реки по направлению ската, рождение устрицы и кита, английская конституция и европейская цивилизация — явления, сложившиеся из известных данных и равно не представляющие никакой нравственной абсолютной истины или абсолютного догмата. Иные элементы обусловливают иные формы гражданственности, и помимо их эта гражданственность не может развиться. В России уже один факт народного землевладения противоречит западной цивилизации и требует своего развития; логика и действительность равно указывают, что известную цивилизацию и ее понятия, т. е. известную историческую эпоху, можно принять за факт, а не за догмат, за явление общественной жизни, а не за науку. Существование иных, новых оснований, новых форм собственности в России и у большей части славянского племени, а следственно, и нового понятия о собственности, а следственно, и потребность нового понимания всей гражданственности — лежало в мысли декабристов и высказано всенародно славянофилами. Совершенно несогласный ни с какой религией, а следственно, и с их преображенным православием, я — или лучше — мы тем не менее искренно, откровенно оставляем за ними название пророков русского гражданского развития.

Опять я увлекся современностью; возвращаюсь к воспоминаниям.

Христианское направление Мейера было гораздо сложнее, я хотел сказать — гораздо личнее христианского самоотвержения Одоевского. Мейер был уныл; ему нужно было утешение. Его сердечное благородство и его потребность любви не уживались с действительностью. Чтоб выносить хаос, ему нужно было единство божественного разума и

божественной воли; чтоб не умереть с отчаяния, ему нужно было бессмертие души. Постоянная Grübelei *, раскапывание собственного сердца — без сомнения совершенно чистого — влекли его к христианскому покаянию, а потребность систематической истины, от которой он, как человек науки, не мог отклониться, заставляла рыться в де Местре, Сен-Мартене и пр. Под его влиянием я читал Сен-Мартена: «Des erreurs et de la vérité ou les hommes rappellés au principe universel de la science, par un philosophe inconnu (Edinbourgh, 1782)» **. Каким образом я мог увлекаться этой книгой [23] — теперь это мне едва понятно. Каким образом Мейер мог мирить с нею взгляд Распайля [24], которого органическая химия тогда только что вышла в свет, и взгляд Мажанди[25] (Leçons sur les phénomènes physiques de la vie ***) — это для меня еще непонятнее. Любя вспоминать, я недавно отыскал книгу St. Martin. Раскрываю наудачу, стр. 35 — État primitif de l'homme: «Il n'y a point d'origine qui surpasse la sienne; car il est plus ancien qu'aucun être de la nature; il existoit avant la naissance du moindre des germes et cependant il n'est venu au monde qu'après eux. Mais ce qui l'élevoit bien au dessus de tous ces êtres c'est qu'ils étoient soumis à naître d'un père et d'une mère, au lieu que l'homme n'avoit point de mère»...**** и т. д. А между тем мы увлекались этой книгой; но я также не очень давно пробовал заглянуть в Шеллингову Weltseele; это уже принадлежит не к религии, а к науке. Ну! признаюсь — религиозный St. Martin все же еще более имеет следов здравого смысла, чем немецкий философ. А в то время!.. В то время, я помню, раз в жаркий полдень я взял St. Martin и ушел на гору в грот, через дорогу от Михайловского источника, сел и читал, и эта чепуха мне

* Самокопание, бесплодное мудрствование (нем.).— *Ред.*

** «О заблуждениях и истине или обращение людей ко всеобщему принципу науки. Неизвестного философа». Эдинбург, 1782 (фр.).— *Ред.*

*** «Учение о физических явлениях жизни» (фр.).— *Ред.*

**** Первобытное состояние человека: «Нет никого, кто бы превосходил его родовитостью; ибо он древнейшее из живых существ природы; он существовал еще до зарождения мельчайшего из зародышей и однако ж явился на свет только после них. Но более всего возвышает его над всеми существами то, что им предопределено было родиться от отца и матери, меж тем как у человека матери не было» (фр.).— *Ред.*

казалась ясною как дважды два; вдруг что-то легко прошумело в кустах, я взглянул: длинная, красивая змея вползла в грот и, остановясь передо мною, подняла голову и проворно шевелила своим тоненьким трехзубчатым язычком. Можно было и испугаться; но я глядел с умилением на изящество создания божия, и когда змея опять быстро прошипела и ушла, я только верил в провидение, которое предназначало мне иные страдания и лучшую гибель. Неуловима иллогичность человеческого мозга! Слишком много впечатлений, разнородных влияний, слишком много неровных сотрясений, чтобы правильное развитие мысли могло быть постоянно. И тут, как и во всем органическом мире, физиология и патология совпадают, и патологические явления развиваются по физиологическим законам; природа не знает наших ученых подразделений, изобретенных с нашей точки зрения собственно для нашего удобства, чтоб не слишком запутаться, и мозговая жизнь, смотря по силе толчка, называемого впечатлением, стремится в разные уклонения, называемые безумием, с простотою воды, текущей по наклонной поверхности.

Мейер еще не довольно устал для отречения от личного счастия; мученичество не сделало из него того ровно самоотверженного человека, равнодушного к благам мира сего, как Одоевский. Мейер любил женщину и страдал бесконечно. Эта женщина была мне сродни. Молодая, стройная, с пылкими черными глазами и черной косою до пяток, она по какому-то капризу набросила свою любовь на Мейера, на Мейера, который считал себя уродом и не созданным для женской любви. Все перевернулось в жизни этого человека. Но счастье было минутно. Ее татарская натура не могла любить ни долго, ни серьезно. Она только искала наслаждения, и сперва обманываемый, потом пренебреженный Мейер страдал неимоверно. Его мягкое и чистое сердце могло только сломаться в руках этой женщины, и оно сломалось. Может быть, его живой и сильный ум со временем еще выпутался бы из напряженного мистицизма и заявил бы свою силу; но тут ему только оставалось крепко схватиться за него, чтоб удержаться в жизни... ненадолго. Он потух быстро, в самой цветущей поре...

Я с своей стороны лично переживал трудные минуты. Как ни дружна казалась М. Л. с людьми, которых я любил, т. е. с Одоевским, Мейером и моим неизменным Н.,

сколько ни принимала она участия в моих либеральных стремлениях, но ее влекло в другую сторону. Ее влекло к пустой светскости и к пустым удовольствиям; я сам ни прежде, ни после не был врагом их и мог предаваться месяцы не только пустым, но диким удовольствиям; но они не составляли для меня серьезной стороны жизни; для нее, казалось, они были предназначены разыгрывать серьезную сторону, а все действительно-серьезное — только поверхностную сторону жизни. Мое углубление в христианское покаяние ей не нравилось не из убеждения, а потому, что это скучно; сосредоточенность, которую это направление на меня навеяло, она принимала за апатию и скучала; и естественно, чем больше скучала, тем больше искала развлечений. Я смутно чувствовал, что между нами ложится черта, которая раздвоится в бездну; но в этом я сам себе боялся признаться. Я тогда слишком любил ее. Мне было больно, и я старался скрывать от себя, что мне больно. К ревности я не имел повода; да если б и имел, я не стал бы ревновать; я всегда ненавидел ревность, она слишком похожа на зависть. Черта между нами двоилась из более человеческих причин, чем из-за того, что «вот ты не смей никого любить и тебя не смей никто любить; как со мной ни скучно, а будь моею — не то зарежу»... черта между нами двоилась из-за взгляда на жизнь, из-за того, куда каждый из нас направит свою внутреннюю силу, что̀ для кого будет дорого и свято. Раз вечером мы сидели втроем у окна нашей квартиры, Н., она и я. Мы молчали; может быть, Н. и знал, что мне тяжело, но никогда не намекал мне об этом; его любящая рука не хотела меня царапать по больному месту. Мы молчали. Как-то было душно. В это время единственная шарманка в Пятигорске играла где-то малороссийскую мелодию, до бесконечности грустную. Я и теперь ее помню. Сколько смутной скорби вызывали эти звуки — этого не передашь. Долго играла шарманка, сердце надрывалось, а жаль стало, когда она перестала играть. Печально мы расстались с Н. в этот вечер, пожав друг другу руку и молча понимая, что между нами нет тайны.

В августе мы поехали в Железноводск. Н. и Одоевский переселились туда же. Мейер приезжал как только мог часто. Железноводск — мой любимый угол на Кавказских водах. Он лежит в лесной долине между Бештовой, Желез-

ной и Змеиной горой. Дикая прелесть и свежесть этого места, с его зеленой тенью, дают отдых после Пятигорска, палимого солнцем. Жизнь шла мирно в кругу, так для меня близком. Я помню в особенности одну ночь. Н., Одоевский и я — мы пошли в лес, по дорожке к источнику. Деревья по всей дорожке дико сплетаются в крытую аллею. Месяц просвечивал сквозь темную зелень. Ночь была чудесна. Мы сели на скамью, и Одоевский говорил свои стихи. Я слушал, склоня голову. Это был рассказ о видении какого-то светлого женского образа, который перед ним явился в прозрачной мгле и медленно скрылся.

Долго следил я эфирную поступь...

Он кончил, а этот стих и его голос все звучали у меня в ушах. Стих остался в памяти; самый образ Одоевского, с его звучным голосом, в поздней тишине леса, мне теперь кажется тоже каким-то видением, возникшим и исчезнувшим в лунном сиянии кавказской ночи.

В одно утро я получил эстафету, что мой отец при смерти болен. Я тотчас собрался в дорогу; М. Л. осталась на Кавказе. Грустно простился я с моим Н. и навек простился с Мейером и Одоевским...

Я сменил лошадей в Пятигорске. Шарманка играла малороссийскую мелодию. Тройка мчалась изо всех сил. Подкумок шумел у стремнины. Дальше, дальше! Вот и горы стали исчезать за мною — и степь становилась пустынней и пустынней...

И все это исчезло. Умерли и эти женщины, так же легкомысленно вмешавшиеся в нашу судьбу, как и мы легкомысленно приняли их в свою жизнь. Мейер умер где-то там же на юге, среди дружного с ним семейства генерала Раевского; он недолго пережил утрату Одоевского, не устоял перед скорбью своего сердца. Исчез и он, тихий мученик за русскую свободу, поэт, миру неведомый; бесследно замер его голос, и только «море Черное шумит, не умолкая»...

ПРЕДИСЛОВИЕ [К СБОРНИКУ «РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА»][1]

Прежде всего мы должны извиниться в недостатках этого издания. Неполнота и ошибочность рукописей, затруднительность получать книги из России не раз ставили нас в невозможность исправить, что́ казалось ложным для уха и смысла, и вовлекали к печатанию уже напечатанного в России *. Последнее, конечно, неисправимо, зато и неважно; но первое заставляет нас просить наших почтенных библиофилов присылать нам поправки и пополнять пропуски, доставлять — насколько возможно — сведения о годах, когда какое стихотворение было написано, по какому поводу, с каким участием или равнодушием бывало принимаемо публикою [3]. Подобные сведения помогли бы нам со временем дать нашему сборнику настоящее значение, объяснить впечатления общественной жизни на пишущих, проследить связь истории с личной деятельностью, состояние самого общества, его

---

* У нас даже нет Геннадиевского издания Пушкина [2]. Из напечатанных в России стихотворений мы заведомо поместили только одну пьесу Пушкина: «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» — каемся — только потому, что нам стало жаль не поместить ее. Мы просим читателей взглянуть в примечания в конце книги, чтобы заметить стихотворения, к которым они относятся. Наши, увы, слишком немногие сведения доставались нам в продолжение печатания книги, и потому мы не могли в тексте поместить знаки сносок на примечания.

образ мыслей и настроение, силу и бессилие, ход его падений и возникновений, указать разом на общность его движения и на отдельные попытки мелких и крупных деятелей. Наступило время пополнить литературу процензурованную литературой потаенной, представить современникам и сохранить для потомства ту общественную мысль, которая прокладывала себе дорогу, как гамлетовский подземный крот[4], и являлась негаданно, то тут, то там, постоянно напоминая о своем присутствии и призывая к делу. В подземной литературе отыщется та живая струя, которая давала направление и всей белодневной, правительством терпимой литературе, так что только в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений. Конечно, в задачу должен бы входить не только стихотворный отдел, но и проза. Но прозу собрать гораздо труднее, чем кажется. Она разбросана в мемуарах и частных письмах, известных только немногим и тщательней скрываемых, чем стихи, из боязни слишком определенно подвернуться под долгую лапу жандарма. Проза научная, недоступная пониманию цензора, вероятно представляет немного пропусков и потому рукописи редко сохранялись; отдел повестей, не пропущенных цензурой, также не может быть обширен; но записки и письма... дело великое. Проследить, как к общему делу относились таланты всех размеров, кто и как принимал участие, как известный взгляд на вещи, общая скорбь и общая надежда отзывались в даровитых писателях, как заставляли хвататься за перо и менее даровитых, но сердцем чистых людей и как вынуждали подать голос и таких, которые, в сущности, не были люди общему делу преданные, но подчинялись веянию, бывшему в воздухе,— это задача, достойная разработки. Если наши библиофилы помогут нам когда-нибудь напечатать, за наше столетие, сборник записок и писем наших известных и неизвестных деятелей, живых и мертвых, эти пропадающие отрывки из жизни многих людей, которым ничто человеческое не было чуждо, ярко восстановили бы историю нашего развития; наше столетие для нас так же важно, как XVIII столетие для Франции, и имеет с ним бесконечно много общего, о чем мы еще поговорим, хотя и не в этом предисловии[5]. Но покуда у нас нет средств добраться до прозаической

потаенной литературы, мы начинаем наш сборник с стихотворного отдела и попытаемся проследить наше гражданское движение в стихотворной литературе.

Мы собирали и станем собирать все что возможно, все что было и что теперь прибывает. Мы не гонялись за выбором произведений исключительно художественных. Мы не устраняем — как еще недавно было общепринятым мнением — возможность совпадения политического содержания с изящно-поэтической формой. Мы убеждены, что в нее способно облечься всякое живое содержание. Красота женщины, колыхание моря, любовь и ненависть, философское раздумье, тоска Петрарки, подвиг Брута, восторг Галилея перед великим открытием и чувство, внесенное в скромный труд Оуэна,— все это составляет для человека поэтическое отношение к жизни. Математическая формула скорости падения тел, как общее отвлеченное понятие, остается сама по себе, в своей истине, помимо живого человека; но живая жажда знания, сила вдумывания, преданность Ньютона своей задаче были поэзией его жизни и не враждебны кисти художника. Не будь поэзии в действии и созерцании человека, в самой рефлексии, столь гонимой немецкой эстетикой,— и надо бы исключить драму из области искусства и лирический монолог Фауста подвергнуть опале. И кто же может верить, чтобы живое стремление к общественному благу, лирическая перестройка общественных отношений и сопряженные с ними политические ненависти и восторги — были недоступны для художественной формы? Дело не в невозможности поэтического слова для политического содержания, а в силе таланта самого поэта. Великих ученых очень немного: у большинства людей по ветренности и нужде житейской сила мышления растрачивается на мелочь целей и отношений. Великих поэтов еще меньше: сила впечатлительности еще больше растрачивается по ветру и не дорастает до живого выражения впечатлений. Из великих поэтов далеко не на всех современное общественное положение и современные потребности производили большее, или по крайней мере равносильное, впечатление в сравнении с остальными явлениями жизни. Следственно, художественных произведений политического содержания необходимо должно быть меньше, чем художественных произведений всякого иного содержания. Гоняться за исключи-

тельно художественными политическими стихотворениями не только в нашей юной литературе, но ни в какой веками накопленной литературе народов, старших по истории, было бы невозможно. Да оно и не могло подойти под нашу цель: нам надо было собрать, сколько и насколько наша общественная жизнь вызвала в стихотворной литературе проклятий и надежд, кто бы ни выражал их — великий художник, или просто хороший человек, или человек, минутно поддавшийся общему благородному движению.

Помимо всякого мастерства или неловкости отделки, наши противуцензурные стихотворения большей частью лирические. Они лирические даже в своих поползновениях на эпическую и драматическую форму. Это очень естественно: два чувства искали себе выражения вне цензуры — негодование на настоящее и надежда на будущее, отчаяние со всеми своими уродливыми уклонениями и упование со всею гоньбою за слишком общими неопределенностями и слишком неясными отдельными целями. Ирония — от шаловливой шутки до едкой эпиграммы на́ голо *, плач — от элегической тоски до пафоса страдания, постоянно перемешиваются с ожиданием перемены в будущем вообще, освобождения славянских племен в особенности, и посреди горького смеха, унылых напевов и восторженных упований порою раздается клич на подвиг, вызов на дело. Для всего этого лирическая форма была естественнее: она не требовала больших художнических соображений, в нее легко укладывалась всякая боль от мгновенного впечатления, всякий проблеск надежды. Весь этот род поэзии, где в основание произведения поставлено *я* поэта и его взгляд и настроение, и все виды этой поэзии — от оды до эпиграммы — так приложимы к впечатлениям политической и гражданской жизни, что ими спешат воспользоваться не только записные стихотворцы, но и люди, которые взялись за стих на один раз, для одного отзвука на внезапное потрясение. Тут участвуют не только первоклассные и второклассные, но и вовсе бесклассные таланты, или даже не таланты, а просто люди, которым показалось на этот раз удобнее сказать свою мысль стихами, выразить свое чувство мерными строчками, заострить рифмою оплеуху государственному подлецу или власть имущему.

* У нас нет эпиграмм Соболевского[6].

Пробуждение людей из дремоты, необходимость сказать свое слово совпадает у нас с двумя резкими историческими кровавыми эпохами, с двумя нашествиями Европы на Россию — с войною против старшего Наполеона и с войной против младшего Наполеона. Как скоро война кончается, тотчас усиленно поднимается гражданский вопрос. То-ли люди, опомнившись, спрашивают друг у друга: из-за чего же мы дрались? Неужто из-за царя, нас в три погибели гнущего, из-за порядка вещей, в среде которого дышать нельзя? Или, успокоившись от потери крови и достояний, люди просто хотят получше устроить свою жизнь? Или общественная мысль, медленно копившаяся в мирное время, прорвала себе исход при судорожном сотрясении войны и требует удовлетворения? Или все вместе?.. Как бы то ни было, никогда столько не писали и прозы и стихов вне цензуры, как в десятилетие после 1815 и после 1854 года. Но при всем сходстве, при всей очевидности, что наше дело есть продолжение того дела, характер обоего времени содержит существенные различия сколько во взгляде и потребностях, столько и в самих личностях, вращаемых общим движением. С двадцатых годов наши потребности уяснились, понимание выросло, а люди тех годов — нельзя не сознаться — были сильнее. Между их энергией и нашим пониманием тяжеловесно легло николаевское царствование. После неудавшейся попытки 14 Декабря, под постепенно возрастающим нажимом власти личные силы мало-помалу притихали. С 25-го года до 50-х годов не только цензура усиливается, но и потаенная литература высказывается реже и реже, никогда не смолкая совершенно. Задушить безмолвную мысль правительство не могло; самое положение края вызывало ее на более строгий взгляд, на более строгое наблюдение; склад общественной жизни становился яснее, и смысл общественных нужд и потребностей принимал более широкие размеры. *Только* перемена правительства, *только* переворот вверху, без преобразования внизу, без самоустройства народа, становились более и более чуждыми общему сознанию. Затихнувшая Европа давала нам больше толчков к изучению, к постановке вопросов, чем к гражданской деятельности; она знакомила нас с теорией, приучала к систематическому мышлению германской науки и сближала с противуположными ее собственной почве

идеалами социальных предположений. В тридцатых годах у нас кончаются всякие попытки политических обществ; они, не сложившись, притихают под слепыми ударами тайной полиции, попадающей в цель, потому что беспрестанно бьет без разбора направо и налево; но притихают, тая несомненные зачатки социальных стремлений. В сороковых годах протест критики против существующего порядка вещей и художественный протест против пошлости и недобросовестности обыденной жизни пробивают себе дорогу сквозь цензуру, и снова и еще упорнее сгнетаемые — умирают с Белинским и заживо хоронятся с Гоголем. В это время поэзия в своих высших представителях — Лермонтове и Кольцове — достигает до отсутствия гражданской мысли и потребности, только резко сохраняя след надломленной, подавленной, но все же сильной и изящной жизни и жажды воли неопределенной и безграничной. Между тем то же научное движение заставляет вглядываться в собственный народный склад, разлагать его на исторические и экономические данные и искать, насколько он осуществляет социальные идеалы. Начало понимания народности бесспорно принадлежит славянофилам, и хотя, увлеченные собственным трудом и задачею, они смешивали элементы с идеалом и искали идеала в прошедшем, тем не менее первое органическое, зиждущее движение мысли принадлежит им. Критика входит в враждебное состязание будто во имя европейской науки, в сущности только отказываясь от признания элементов за идеалы. Кажется, что тут два параллельные движения, которые никогда не встретятся; в сущности — это только движение к одной цели из двух разных точек отправления, и они сойдутся в разработке оснований для русского гражданского развития, в уяснении общественного идеала его возникновением из фактических данных народной жизни. Все теоретическое брожение умов происходило в отдельных кружках, настолько ограничиваясь словопрением, что мысль о каком-нибудь общественном перевороте в действительности не приходила в голову или заслонялась совершенным безверием в собственные силы. Энергия тратилась на слова. Теоретический фанатизм держался, мечтая, что вот он-то и приносит жертву на алтарь отечества; но и он начинал утомляться. Личности стирались до какого-то бесплодного блуждания теней. Поверх всего

расстилалась, в массе военно-канцелярского порядка, личность Николая Павловича, повторяемая в разных размерах каждым чиновником от генерала до будочника, заменяя силу собственной личности властью, приходящеюся по месту и званию, развитие внутренней мысли — формализмом и жажду подвига — безнаказанностью кулака. Очевидно, при таких условиях, по мере того как в обществе стиралась доблесть личностей, в правительстве стирались способности. Общество уже не выделяло в правительство людей даровитых; гражданская доблесть бесплодно тонула в чернорабочих рядах канцелярий. Посредственность и недобросовестность дружно пролагали себе дорогу. Что же могло выйти из этого?.. Общественная мысль разрослась в словопрениях, а правительство оказалось бездарным. Наступила минута тяжелого молчания; личности ни с той ни с другой стороны не выдвигались. Общество не смело не только действовать, но не смело говорить, а правительство не знало, что начать; не встречая возражения в обществе, ему только оставалось забыться до безумия. Оно и засумасшествовало — сперва венгерской [7], потом турецкой кампанией. Венгерская кампания неприятно подействовала на общественное сознание. Не только славянофилам, но и самым ярым западникам не приходило в голову помогать Австрии. Офицеры шли нехотя, натягивая в себе обязанность поддерживать честь знамени; солдаты не любили немцев уже и потому, что не любили своих генералов, но шли по привычке к повиновению. И те и другие ссорились с австрийцами и принимали венгерских пленников с распростертыми объятиями. И в то время, когда Николай Павлович, одержав на маневрах подготовленную победу, и сидя верхом, сняв каску и проливая в три ручья слезы, крестился и неистово восклицал: «Повинуйтеся языцы, яко с нами бог» *,— в то время народ жался и роптал под тяжестью непрерывного рекрутства, помещики переставали платить долги и правительственные финансы подтачивались разом от сановничьего грабежа и от разорения края. Но ропот народа развевался по степи, а шопот образованного меньшинства не выходил из своей тихомолки. Ни то, ни другое не составляло действительного

* Истинное происшествие после — не помню каких — маневров, рассказанное очевидцами.

возражения, и правительство, закрывая глаза на собственную несостоятельность, мчалось без оглядки в Крымскую войну.

В это время, т. е. в конце сороковых годов, когда общество и правительство доросли до черты перелома, после которой правительство, без способных личностей, должно было удариться в безумие, а общество, доросшее до сознания, было готово начать выдвигать свои личности на поле действия, замечательно одно происшествие, которое не имело громкого отголоска, по крайней мере ничего не потрясло, но тем не менее послужило указателем общественного настроения и пророческим началом. Это было возникновение политических обществ в деле Петрашевского. Пятнадцать лет их не существовало, так что мы безошибочно можем сказать, что собственно *наше* дело[8], в 1834 г., было последним из движения двадцатых годов, а дело Петрашевского[9] — первым из движения пятидесятых годов. Ни в том, ни в другом строго составленного общества не оказалось; но в нашем деле развеялись последние попытки, а в деле Петрашевского воскресли первые попытки на составление политических обществ. Мы напоследях примкнули к социальным стремлениям; общество Петрашевского с них начало. Без сомнения, потрясение целой Европы во имя отвлеченных социальных стремлений, рожденных нуждою, но не имевших корня в европейском слое, и, сверх того, отвращение, возбужденное в России венгерской войной, сильно заколебали наше праздноглаголивое сознание и подстрекнули друзей Петрашевского к составлению правильного общества; но выросши из среды словопрений, общество поставило своим знаменем теоретическую задачу, которая еще не касалась народа, оставшегося хладнокровным к европейскому движению, смотревшего на него с равнодушием человека, который чувствует, что там идет не его дело, поставлена не его задача. Вероятно, если б общество Петрашевского продолжалось до нашего времени, оно сошло бы с теоретического пьедестала на народную почву и поняло бы, что строить историю можно только на имеющемся фундаменте и из данных материалов. Только сделавшись народным, политическое общество может существовать, переходя от слова к делу, работая во имя преобразования в действительности, а не в теории. В то время теория не примыкала к

факту, слово не примыкало к делу, тайное общество не примыкало к народу, и оно рушилось, послужив признаком, что черта между правительством и общественным сознанием пришла в дрожание и что попытка будет не последняя.

Наконец правительство врезалось в Крымскую войну и оказалось побитым, разоренным и с совершенным отсутствием способных личностей, и — что для него было еще прискорбнее — это падение пахло самоубийством, вследствие болезненного развития; оно само себя доконало, разоривши страну и притупив личности нравственно и умственно. Николай с бессильной злобы умер, передав наследнику вожжи правления, вытянутые до ослабления. Делать было нечего — надо было вызвать личности из застоя, чтоб выйти из собственного срамного положения, и правительство бессознательно развязало языки. Общество вслух заговорило. Как бы мы ни были далеки от свободы слова, но сравнить то, что можно говорить и печатать в России теперь, с тем, что говорилось и печаталось во время, близкое к черте перелома, т. е. в конце сороковых и начале пятидесятых годов,— разница огромная. Надо было призвать к жизни разоренный народ и дать ему возможность оправиться, иначе нечем существовать,— и вот правительство пошло на улучшение быта, вывод из крепостной зависимости. Если б правительство сказало просто, что идет на освобождение народа с землей, оно бы стало в главе движения и поправило бы свои финансы. Но из стертых личностей, с привычкою к заведенному порядку, оно не могло создать живого слова и не стоит во главе движения; оно не открыло прямых путей народного роста, но открыло крышку собственного, им самим себе приготовленного гроба. Между тем общество из стертых личностей, с привычкой к словопрению, как ни силится, не может еще дойти до дела и находится в состоянии многоглаголения — от бесконечных рассуждений до бесконечных ругательств, в которых вращаются недосказанные свои и чужеземные теории и мелкие самолюбия, раздраженные долгим застоем и собственной неспособностью к делу. На этом остановилось наше *сегодня*. Но жизнь не остановилась, обстоятельства усложняются, народные потребности растут и, наконец, вызовут из раскачавшегося общества действительных деятелей, способных на деле раз-

работать рост из существующей почвы и, следственно, нераздельных от народа. Наши сильные личности впереди. Где они — в мундирах с эполетами, или на школьных скамьях, или в самой среде крестьянства? Кто их знает? Вероятно, и тут и там и ищут друг друга.

XVIII столетие русское передало нашему столетию отрочески сложившийся язык, готовый к возмужанию, а XVIII столетие европейское внесло разом и философский революционаризм Франции и мистический либерализм Германии. Сложность исторических разноречащих влияний и явлений своеобычно разрасталась в ткань перепутанных данных, из которых существенное движение вырабатывается так трудно и медленно, что результаты достигаются веками. Ученица Вольтера, монархиня-философ писала наказ, подходящий чуть ли не под точку зрения Мирабо, и в то же время лукаво душила Польшу, покровительствовала барству, увеличивала налоги, раздавала людей в крепостное состояние, ссылала Радищева, более ее искреннего и благородного ученика Вольтера, и преследовала Новикова, выращавшего из туманов германского мистицизма и прекраснодушия ненависть к насилию и самовластию. Поэзия оставалась монархическою в лице своего высшего представителя Державина; дух Франции XVIII столетия бледно прорывался у небездарного Капниста и недаровитого Княжнина и ярко блестел у Фонвизина. Народ оставался в стороне; его вопрос не только не выходил на свет божий, но вколачивался правительством в черную немощь крепостного права в то самое время, когда в верхних слоях общества робко начинала мелькать ненависть к самовластию. Но все же народный вопрос хранился в условиях жизни. Само барство было только отделом народа; оно не было чужое; в их отношениях лежала не вражда разноплеменная, а междоусобие. Само государство выросло на безмолвном пирамидальном основании народной жизни. Сама монархическая поэзия называла народ «исполином, царю послушным», но невольно признавала его существование. Литература, проникнутая чужеземным содержанием и кадившая правительству, сложившемуся на немецкий лад,— эта литература все же говорила русским языком и доискивалась своей формы. Потребность выработать свой язык и форму, начавшаяся с Ломоносова, стала так неодолима, что на этом

сосредоточивается вся деятельность Карамзина и Жуковского, и в этой исключительной работе проходит все начало XIX столетия. Откуда же было взять язык и форму? Очевидно, язык брался у народа, но его надо было очистить по европейскому образцу. Форму можно было искать и тут и там — и в народной песне и сказке, и у европейских писателей. Но народная песня однообразна, содержание сказки не больше тревожит сердце, чем греческая Илиада, а европейское влияние и участие в умственном движении Европы было так живо, что стихотворная форма европейская казалась сподручнее, и за русский мотив приходилось браться нехотя, только по невольному чувству одноплеменности литературы и народа. От этого, раскапывая русскую летопись, Карамзин перекладывает ее на язык Рейналя [10] и явление Иоанна Грозного обсуживает с точки зрения общей французской статьи XVIII века — о вреде деспотизма. От этого Илья Муромец имеет русского только стихосложение, и Светлана пахнет Ленорой [11]. Конечно, является и поползновение на чисто народный склад речи, но так как эта речь, в сущности, не знакома отделившемуся барству и литературе, то это поползновение является в смешном виде возвращения к церковнославянскому языку, без сомнения менее русскому, чем объевропеившийся литературный язык. Тем не менее школа Шишкова служит первым указанием, предчувствием того, что задача литературы — задача народная. В забавной вражде с чужеземным, в тяжелом переводе иностранных слов на искусственный русский язык, возникает стремление вглядеться в начало собственной народной жизни. И в то время, когда Карамзин вносит общее либеральное содержание Вольнеевых «развалин» [12] в русскую историю, Шишков тяжеловесным славянским наречием отстаивает в государственном совете действительные народные нужды. Таким образом, в литературе сводятся: общие европейские понятия гражданской свободы, первые заявления народных нужд — и исключительное выработывание изящного языка и изящной формы в поэзии. Последнее достигает у Жуковского, вне всякой гражданской мысли, до значительного совершенства; и молодое поколение наследует разом чувство политической свободы с определенным европейским содержанием и предчувствием какого-то собственного народного вопроса, и чувство художественности

поэтической формы. В это время создался царскосельский лицей и подступила война 1812 года.

Пушкин со школьной скамьи следил за необычайным движением народа и народов. Возбужденность общего настроения не могла не вызвать всех внутренних сил, таившихся в его существе, прежде всего впечатлительном. Впечатлительность была его силой и слабостью; она выдвинула его до гениальности и не раз вовлекала в грех—и в частной жизни, и в литературной деятельности. Страстная потребность дать отголосок на всякое явление жизни невольно приводит к необходимости собрать впечатления в гармоническую связь и меру; только сильно развитое, т. е. сильно впечатлительное, ухо способно разнородные звуки связать в гармонию. Впечатлительность, во все направления разом, делала из Пушкина жизне-жаждущего человека и великого художника. В нем судьба соединила все условия, все права на прямое наследство всего подготовленного в русской литературе в конце прошлого и начале нашего века. В нем пыл африканской крови сочетался с раздольно спокойною славянской породой; впечатления детства связывали его со всем объемом русской жизни — с мирной красотой деревенской природы и сельским (т. е. чисто народным) бытом, с барством, проникнутым философией XVIII столетия, и с кружком людей, преимущественно занятых литературой. Он принес в лицей уже готовую жажду сочувствия, потребность вдохнуть в себя все неизвестное, сулимое жизнью, и неотступную чуткость к ритму, который он ловил во всем окружающем. Он принес в школу художнический смысл, готовый принять всякое влияние изящно. Сквозь всю его жизнь проходит и с каждым годом растет изящность формы его произведений; содержание меняется, но сохраняет и развивает все задатки, вынесенные из детского и отроческого возраста, задатки первоначальных и потому неизгладимых впечатлений. Так, он сохранил с детства всосанный светлый скептический реализм философии XVIII столетия, сквозь все попытки на мрачные идеалы байронизма; так, он разом довел любовь к изящной стороне старинного барства до уродливой сословной спеси и глубоко уловил русский народный мотив, народную песню, народные образы (в тесном смысле не только национального, но простонародного) и выразил с гениальным мастерством. Вопрос о его народности и

ненародности, недавно возникший в нашей литературе, не меньше празден, как и вопрос о мировом содержании и значении поэтов. Если судить о народности, в смысле простонародного, на том основании, читает или не читает поэта простой народ, то мы едва ли начтем больше двух народных поэтов в целой Европе, по очень простой причине: простой народ также не читает в Европе, как и у нас. И в Европе, как и у нас, простой народ не имеет доступу к образованию, частью потому, что ему некогда, его время поглощено поденным трудом; частью потому, что богатые сословия преднамеренно не допускают его до образования. Только случайные обстоятельства знакомят народ с его поэтами; для этого надо, чтоб поэт жил в его среде, чтоб народ его не то что читал, а слушал. Так является Барнс[13] в Шотландии, Барнс, живущий и поющий посреди горных пастухов и потому затверживаемый ими и передаваемый из поколения в поколение. Так Беранже[14] в Париже, и то только в Париже, потому что французское сельское население поет на иной мотив, мотив, который раздавался в операх Гретри и Боэльдьё, в квартетах Онслова и который мало имеет сходства с парижским водевильным напевом[15]. Везде литература недоступна массам; Байрон ненавидим высшими сословиями в Англии, но не знаком простонародию. Шекспир знаком городскому населению, потому что оно встречается с ним в театрах. Гёте и Шиллера знает Германия, прошедшая через университеты, а не Германия, работающая шесть дней, а на седьмой читающая исключительно библию и катехизис. Везде литература — достояние горожан, а не народа. Пушкин так же мало имеет читателей в нашем простонародии, как и Кольцов; видно, еще час народа не пробил. Но если судить о народности поэта по складу ума и речи, то нельзя не признать Кольцова народным поэтом, в смысле простонародного, и нельзя не сознаться, что Пушкин был *и* народным поэтом. Чтобы литература стала нераздельна с народом, как она была в сказочном младенчестве обществ, пока не выделилось особо грамотное сословие от работающего и одинакий уровень верований выражался всюду в форме песни и легенды,— чтоб литература теперь стала нераздельна с народом, надо воспитание масс, т. е. надобны массам свобода в жизни и досуг для образования, и надо, чтоб университеты, из своего городского, цехового застоя разбрелись по дерев-

ням. Вырастет ли из наших скромных воскресных школ рассадник повсеместного образования, а не просто грамотности? Поймется ли, что отсутствие в русском языке различия национального и народного указывает на то, что у нас бессословность естественна, а различие сословий — явление, натянутое длинной эпохой централизации, и с нею обречено на падение; что с первого шага учреждения свободных, т. е. неправительственных, школ у нас возникает необходимость общего образования? Когда это поймется, народ создаст своих поэтов и оценит народность поэтов прежнего времени.

Мы сказали, что Пушкин *и* народный поэт, потому что его всеобъемлющая впечатлительность включала всякое содержание, отзывалась на всякое настроение и искала многоразличных форм, в которые вошла и народная форма, вошло и народное содержание. Стоит взглянуть на его «Балду» [16], на его «Поминки» [17], на «Русалку», чтоб не усомниться в его обладании народной стихией. Его мировое значение (как выражались и еще выражаются) трудно определить не потому, чтобы нельзя было определить значения Пушкина, но по неопределенности слова: мировое. Если оно относится исключительно к политическому содержанию и влиянию поэзии, то мы должны исключить Гёте из числа мировых поэтов. Если оно относится к научному содержанию, то только одного Гёте и можно назвать мировым поэтом. Если слово мировое относится к многоразличию, к всеобщности содержания — в противуположность к поэзии, исключительно занятой личным чувством, любовью к женщине, описанием природы или чем бы то ни было не общественным и настроенным только на один тон,— то нельзя Пушкина не назвать мировым поэтом потому, что он касался всех явлений жизни. Если мировое значение относится вообще к влиянию на современный мир, то влияние Пушкина на русский мир было не меньше, чем влияние Гёте и Шиллера на германский мир. Что он не имел влияния на Европу — это очень просто: мы для Европы простонародие; из нашей среды небольшая кучка людей читает европейское, а нашего Европа вовсе не читает; наши интересы ей или чужды, или враждебны. Для русских Пушкин имеет мировое значение: в нем отозвался весь русский мир и все европейское влияние на него, все данные, из которых этот мир соткан, и выразился

своеобразный взгляд на жизнь, и язык выработался до художественной полноты. До сих пор пушкинская форма и пушкинский язык, настроение мысли и чувства — у нас живы и не заменились новыми формами, и Пушкин остается родоначальником и высшим представителем русской литературы XIX столетия, сколько бы критика, «в детской резвости, ни колебала его треножник»[18].

В те дни, когда в садах лицея
Он безмятежно расцветал —[19]

взволнованная Россия сожгла Москву, отбилась от Наполеона, провела поперек Европы и вернула из Парижа домой войско, сознававшее победу и, следственно, какую-то самостоятельность, силу неопределенную, но все же силу. Многие из офицеров шли в поход, подготовленные к мысли гражданской свободы знакомством с западной литературой прошлого века и с самыми происшествиями, снесшими голову с плеч Людовика XVI. Из дому, несмотря на весь внешний блеск екатерининского царствования, они могли вынести только чувство, что

С Екатериною прошла
Екатерининская слава[20]

и что злодейское убийство сумасшедшего злодея Павла I не служит для них преданием, которое из особы царя делало бы что-нибудь неприкосновенное и священное. В дороге они познакомились с мистически-патриотическими обществами немцев, которые, избавясь от внешнего, чужеземного ига посредством русских штыков, почувствовали в себе нечто вроде героизма и домогались свергнуть внутреннее иго своих царьков мал мала меньше; тут же наши офицеры встретились и с уничтожением крепостного права и с благородною деятельностью единственного настоящего гражданина из немцев — Штейна[21]. В Париже наши войска водворили конституцию. Обе струи — струя Радищева и струя Новикова — оживали с удвоенной силой и сливались в одну потребность положить начало гражданской свободы в России. Как нарочно, тотчас по водворении мира перепутанные исторические данные стали совершенно запутываться в голове, далеко не лишенной поэзии, Александра I. Трагедия его внутренней жизни и разгром общих обстоятельств, может, были слишком сильны для этой

личности, более сродной к полу-уединенному раздумью свободно-мыслящего grand seigneur'а *, чем к государственному делу. Вечно преследуемый призраком убитого отца, воспитанный либеральным швейцарским бюргером [22], он с начала царствования стремился загладить память отцовских неистовств человечным обхождением с людьми и либеральными учреждениями; тон кордегардии заменился изящностью обращения, из Сибири возвращались ссыльные, заводились школы в размерах университетского преподавания. Мистическое настроение колебалось между энциклопедизмом Лагарпа и покаянием в отцеубийстве. Но когда обстоятельства поставили человека на вершину политического значения, мистицизм покаяния перепутался с мистицизмом власти, чувство страха перед грядущими бедствиями — с чувством, что он спаситель и освободитель народов, чувство мистического смирения — с чувством мистического всемогущества. Из этой внутренней трагической запутанности вышло стремление учредить Россию на военную ногу, чтобы избавить от новых нашествий, освободить народ, сделавши из него единое войско, проникнуть его духом мистического чувства провидения и все соединить под благословенную десницу царя. А на деле эта запутанность выразилась учреждением военных поселений, муштрованием и поронием солдат и покровительством тайным религиозным обществам. В публике разом развились наклонность к тайным обществам и ненависть к царской власти. Александр совершал обязанности капрала в кордегардии, как таинство, обращал крестьян в солдат из чувства священнодействия; публика не могла примкнуть к этой нелепости ни с точки зрения христианского мистицизма, ни с точки зрения энциклопедизма, ни с точки зрения европейского образования, ни с точки зрения практических народных потребностей. Самостоятельность войска, вынесенная из победоносного шествия, дорастала до семеновского бунта [23]; образованная невоенная молодежь искала законности и думала об освобождении крестьян: то и другое соединялось в обществе 14 Декабря, вызванном разом и привычкою к религиозным тайным обществам и необходимостью основания политического тайного общества, потому что помимо его не виделось исхода.

---

* Вельможи (фр.).— *Ред.*

Под этим влиянием изящной формы жизни александровского времени и противуречащего ей управления, под влиянием усиливающейся ненависти к власти, потребности свободы и преобразований, под влиянием создающегося политического общества воспитывался Пушкин в лицее. Очевидно, первое впечатление, на которое он откликнулся, было впечатление политических стремлений, и шестнадцатилетний поэт звал «музу пламенной сатиры с бичом Ювенала» [24]. Товарищ Пушкина—Пущин, бывши в лицее, уже принадлежал к тайному обществу. Это влияние проникает во всю деятельность поэта с поступления в лицей до 1827 года. Оно отзывается во всех его произведениях, являвшихся в печати. Оно слышится в любви к вольному племени в «Кавказском пленнике», в жажде воли, дышащей в «Цыганах». Герои обеих поэм имеют большую погрешность: они не герои русского мира, они придуманы под влиянием Байрона; они и у Байрона не принадлежат ни к какому действительному миру, потому что Байрон создавал их в противуположность ему ненавистной узкой рамке, низменному нравственному уровню английской жизни. Они (говоря языком немецкой философии) и у Байрона — создания в антитетическом смысле, точно так, как социальные теории ничто иное как противуположность, антитезис европейской экономической и политической жизни в ее целом складе и подробностях. Ни то, ни другое не имеет корня в действительной почве: Фурье создает противуположность вечной войне существующего порядка разрозненных общественных сил; Байрон создает свой идеал из всего, что противно английским понятиям. Это совпадение явления социальных теорий и идеалов в поэзии, противуположных существующим людям, чрезвычайно важно, указывает на единство происхождения и изношенность людей и общественной основы. У нас социальный склад составляет почву народного быта, у нас требуется не социальная теория, а историческая постройка; от этого антитетические идеалы у нас не привились, являлись как подражания и исчезли, не достигнув никакой полноты поэтического создания. Наша усталь не в общественном складе, несоизмеримом с дальнейшими потребностями; нам приходится развивать зародыши, соизмеримые с идеалом; наша усталь — усталь от правительства и жизни, им приказанной вопреки естественным историче-

ским основам. У Пушкина байроновские идеалы не удались, и живыми оставались только внутренняя, затаенная, но всегда чувствуемая вражда с правительственной жизнью и потребность освобождения. Возникшая из-под впечатлений народной войны и лицейского образования, под влиянием тайного общества и им самим испытанных преследований власти, эта потребность выросла у Пушкина в целость направления. Пушкин начинает отделываться от байроновского идеала в «Братьях разбойниках», которые уже не просто антитезис англичанину или европейцу, а стоят на реальной почве; он совершенно отделывается от байроновского идеала в «Онегине» и совершенно становится на русскую почву. Но целость направления, навеянного политическим обществом, нигде не покидает его, и равно в Ленском, верившем, что «есть избранные судьбою», и в Онегине, сломанном русской правительственно-общественной жизнью, чувствуется, что эти люди прежде всего — не друзья правительства и представляют — один вдохновенно, другой скептически — протест против существующего правительственного порядка вещей. Лица взяты из высшего сословия, потому что только его меньшинство могло заявить первый протест. Именно эта целость направления, так изящно проявлявшегося у Пушкина, и имела то громадное влияние на современные умы и современную литературу, которое разом вызывало в людях и, как всегда, особенно в юношах потребность гражданской свободы в жизни и изящности формы в слове.

В чем заключалась гражданская свобода, Пушкин не мог сказать: дело поэзии было выразить настроение и направление, создание же самих учреждений, вывод формулы, входит в иной разряд человеческой деятельности; поэзия могла выразить отношение человека к задаче, а не самую задачу и ее решение. Если, перелистывая лирические поэтические произведения Пушкина, мы остаемся холодны, читая «Оду на свободу» [25], это именно потому, что в ней, из настроения и направления, Пушкин перешел в какую-то, не твердым почерком составленную запись конституционного положения. Эта ода, вероятно, навеяна случайным разговором о необходимости конституции,— мысль, которая часто мелькала перед глазами тайного общества, не знавшего, куда вынесет сила событий,

придется ли обойтись вовсе без царя или воспользоваться удобным случаем вынудить конституцию. Не только в лирическом стихотворении, но и в самой политической практике вопрос о конституции не мог быть поставлен ясно. Воззвание к царям, чтобы они склонились

...первые главой
Под сень надежную закона,
И станут стражею у трона
Народов вольность и покой

— воззвание, так холодно кончающее стихотворение, начатое в порыве вдохновения с «разбития изнеженной лиры»,— оно также мало представляло ясного смысла в практике, как и в самом стихотворении. Где был этот надежный закон? Разрозненные указы разных царствований, еще не собранные в свод, не подвергались критике, и никто не был уверен, чтобы они, даже собранные в свод, могли служить надежной сенью закона; скорее думалось противное. Закон, никогда не исходивший из народной жизни, создаваемый из видов правительственных удобств, а не ради удовлетворения народных потребностей, не мог представлять никакого ручательства за вольность и покой народа, и, конечно, из-за этого закона нечего было становиться стражею у трона. Имел ли этот закон естественную связь с народной жизнью, было больше чем сомнительно. Самое изучение обычного народного устройства едва было поднято на степень зарождающегося вопроса; чувствовалось только, что при перевороте придется формальный закон отбросить и ввести в законодательство иные основания. Но эти основания не были разработаны; требовать конституции во имя неясных, почти неизвестных оснований было невозможно, а требовать ее во имя писаного закона было бесполезно. Вопрос о конституции падал сам собой; от этого он и являлся у декабристов Северного общества только мимоходом, как дело, которое при случае не надо упускать из виду, и никогда не достигал никакой определенной формы и не составлял действительной цели; а у декабристов Южного общества, общества «Русской правды» [26], даже вовсе не ставился, как нечто совершенно противуречащее его цели и взгляду на русское общественное устройство. Кроме отсутствия закона, который бы составлял надежную сень, было еще от-

сутствие сословий, которые стали бы стражей у трона, обуздывая царскую власть. Поставить ли этой стражей помещиков? Но их выгоды всегда были бы противны всякому началу народной свободы. Поставить такою стражей среднее сословие? Но у нас под этим именем разумелось только купечество, которое не есть сословие, а люди разных сословий, занимающиеся торговлей. Сделать эту стражу из крестьянства? Но прежде чем оно могло бы занять эту должность, надо было развязать ему руки и дать ему свободно устроиться в своем быту; вдобавок закон, во имя которого оно бы стало стражей, не про него писан. Разве только члены тайного общества составили бы эту стражу? Но их целью было вызвать общественную жизнь, а не становиться охранителями трона во имя закона, ими не признаваемого, или иного закона, который только общественной жизнью и мог быть выработан; а для того, чтобы эта общественная жизнь могла сказать свое первое слово, уже прежде всего требовалось отсутствие петербургского правительства. Из всех этих противуречий вывести конституционную формулу было невозможно, да и конституция без среднего сословия немыслима. Аристократическая конституция относится к миру призраков; ее нигде нет и нигде не было. Бывали олигархические республики в древнем мире; примера два подобных республик являлись и в средние века на итальянской почве; но там, где короли составляли главу феодальной шайки, которую принижали по мере своего усиления, вопрос конституции был поднят не феодальным, а средним сословием. Он поднимался разом и против феодализма и против монархической власти. Английская конституция вышла из английской революции и, следственно, не из аристократического, а из буржуазного начала, и, несмотря на камеру лордов и некоторые средневековые формы, она представляет владычество буржуазии. Добиваться подобной конституции в стране, где буржуазия не существует, нелепо — не потому, что хорошо или дурно монархическое конституционное правительство вообще, а потому, что в этой стране нет краеугольного условия для существования конституционной монархии, ее не из чего сделать. Вопрос о конституции у людей того времени в России являлся как подражание Англии, взятое у Франции, где наши же войска ее водворили и откуда наши же офицеры вынесли к ней то уважение, которое

человек имеет к делу, в котором сам был помощником. Этот вопрос возник из того же строя обстоятельств, против которого в сущности боролись те же самые люди. Он возник из петровского направления, которое было голым антитезисом русской жизни, антитезисом, отыскиваемым не в идеалах, создаваемых разумом из возможностей общественной жизни, а находимым в готовом государственном строе Европы. Идеалы разума еще могут быть иногда приложимы, потому что в них найдутся общие условия устройства человеческого стада; но явления чуждой почвы, которые просто исторические явления, а отнюдь не идеалы, не могут быть пересажены на почву, не представляющую данных для их повторения. От этого в петровском направлении, в петровском антитезисе, было столько ошибочного, и от этого декабристы, частью сознательно, частью бессознательно восставшие против него, могли, увлекаясь исторически-привитою подражательностью, толковать о конституции только мимоходом, далеко не серьезно и никогда не довели ее понятия до ясности.

Может быть, конституционная формула, как все созданное буржуазией, не имея ни дикой поэзии первобытных героических, сказочных времен народной жизни, ни не менее дикой поэзии рыцарской доблести, ни той морепобной поэзии возникновения общественной свободы и самоустройства народной толпы, всего менее способна вызвать неподдельное вдохновение поэта; может быть, и самая неясность конституционной мысли у декабристов и у самого Пушкина носила в себе немощь впечатления, вызвавшего оду на свободу; как бы то ни было, мы остаемся холодны при ее чтении. А на современников она произвела огромное влияние,— так была сильна у читателей потребность в поэтическом отголоске своих стремлений и надежд. Кроме того, что мы лично были свидетелями этого влияния, оно доказывается и самой ссылкой Пушкина, которая по времени совпадает с первым распространением рукописи. Публика забыла конституционную неясность в стихотворении и рукоплескала «грозе царей». Впечатление, произведенное одой, было не менее сильно, чем впечатление «Деревни», стихотворения, выстраданного из действительной жизни до художественности формы, и не менее «Послания к Чаадаеву», где так звучно сказалась юная вера в будущую свободу. Кто во время оно

не знал этих стихотворений? Какой юноша, какой отрок не переписывал? Толчок, данный литературе вольнолюбивым направлением ее высшего представителя, был так силен, что с тех пор, и даже сквозь все царствование Николая, русская литература не смела безнаказанно быть рабскою и продажною. В то время сильной возбужденности сам Булгарин не дерзал придавать полицейского оттенка своему борзописанию; замечательно, что и после, во время падения общественных сил при Николае, этот полицейский оттенок вызывал постоянное презрение в литературе, так же как и патриотические, т. е. монархические, произведения нуждой исковерканного, угасавшего Полевого и тучно возникавшего Кукольника. Замечательно, что во время общественного падения до безмолвия ни один срывщик не смел войти в литературное предприятие, не поставив, хотя намеком, на своем знамени общественного освобождения, потому что иначе наверно бы разорился. Мысль общественного освобождения никогда не переставала быть однозначущею с нравственной чистотой человека, газеты, журнала, книги, и всякому литературному срывщику, который попробовал бы кадить противуположному направлению, предстояла, сверх торговой неудачи, неприятность стать в общественном мнении на одну доску с Булгариным. Через двадцать лет после «Оды на свободу», несмотря на общественное принижение, вследствие той же необходимости гражданской нравственной чистоты, журналистика допустила к своему станку Белинского: такова была сила толчка, данного литературе декабристами и Пушкиным.

Другой поэт того времени, ученик Пушкина по стиху и равносильный по влиянию,— Рылеев [27] сосредоточивал всю свою деятельность на политической мысли. Читая его, невольно угадываешь его внутреннюю работу, видишь человека, который всякое впечатление, коснувшееся до него на пути жизни,— от вольно-дикого образа скачущей лошади до нежной заботы любящей женщины о любимом страдальце,— он все торопится прикрепить к единой мысли гражданской свободы, его нигде не покидающей —

Ни в тишине степей родных,
Ни в таборе, ни в вихре боя,
Ни в час мольбы в церквах святых... [28]

Поэтическая деятельность Рылеева подчинена политической, все впечатления жизни подчинены одному сильнейшему впечатлению; какие бы ни брались аккорды, они вечно звучат на одном основном тоне. То, что у Пушкина выражалось в целости направления,— то у Рылеева составляло исключительность направления. В этом была сила его влияния и его односторонность. Пушкин, с своей всеобъемлющей впечатлительностью, не мог понять исповеди Наливайки; публика поняла ее и откликнулась. Пушкин искал образа казацкого вождя, чтоб быть вполне удовлетворенным этим отрывком,— и не находил его, и был прав; он только забыл в заглавие поставить: исповедь Рылеева — и тогда бы он удовлетворился; публика поняла, что это была исповедь не только Рылеева, но каждого неравнодушного человека того времени. Великий художник не понял великого мученика и его святую односторонность; он считал ее за ошибку, но внутренно невольно поддавался влиянию, которое захватывало и его в одно направление. Он с любовью смотрел, как талант Рылеева выростал, начиная с «Дум», сочиненных ученической рукою, до «Войнаровского» и «Наливайки», где все — и ясность впечатлений, и самый стих, возмужали, не выходя из исключительности направления. Насколько этот талант мог вырасти и расширить свою однородность,— вышел ли бы он из нее до всеобъемлющей поэтичности, или бы только подчинил ей более разнообразных явлений жизни, мы не в силах судить: петля палача сделала все гадания бесполезными. Одно мы знаем, что святая односторонность его поэзии была выражением святой души и святой жизни; нравственная чистота Рылеева дает его произведениям силу, которая охватывает читателя не меньше, чем самая до тонкости доведенная художественная отделка. Перечитывая «Войнаровского» теперь, мы пришли к убеждению, что он и теперь также увлекателен, как был тогда, и тайна этого впечатления заключается в человечески-гражданской чистоте и доблести поэта, заменяющих самую художественность, или, лучше, доведенных до художественного выражения. Нам кажется, что приходит пора свести эстетическую критику с метафизических подмостков на живое поле истории, перестать уклоняться от живого впечатления, навеянного поэтическим произведением, искажая это впечатление мыслью, что произведе-

ние не подходит под вечные условия искусства; пора объяснять себе силу этого впечатления силой, с которой исторические и биографические данные вызвали в душе поэта его создание. Истинность поэмы гораздо больше основана на исторической обстановке и личности поэта, в взаимном действии которых вся искренность произведения, чем на вечных началах искусства; а вечных начал искусства, помимо его технической стороны, нет. Техническая сторона искусства вечно одна и та же: никогда живопись не уклонится безнаказанно от законов перспективы, от линий человеческого тела, даже в самых фантастических образах чертей и ангелов; никогда музыка безнаказанно не уклонится от естественных условий гармонии; никогда поэзия безнаказанно не отшатнется от естественности образов и выражений и от гармонии стиха. Законы техники вечны, как законы природы, которых они повторение в искусстве. Чем сильнее талант, тем он больше обладает техникой и умеет ею пользоваться. Но форма и содержание произведений меняются с историческим складом народов и обстоятельств; физиологически неизбежные трагедия и комедия жизни остаются в роде человеческом, но образ жизни меняется и кладет свою печать на форму произведений; религиозный, научный, политический и общественный взгляд на вещи меняется и дает иное содержание. Греческий хор исчез из трагедии, потому что исчез образ жизни эллинов; католический взгляд Данта не имеет ничего общего с миросозерцанием Гамлета. Одна черта из жизни Шекспира, которая показала бы нам, как ему бывало трудно внутреннюю мысль перевести в поступок, да еще при той исторической обстановке, которая заставляет его отправить сумасшедшего в Англию, потому что там все живут сумасшедшие,— одна такая черта из жизни больше, ярче, живее и теплее объяснит нам Гамлета, чем все многоглаголение Ретчера[29] и иных гномов метафизической науки. Таким образом, сила впечатления, производимого *теперь* «Войнаровским» и отрывками из «Наливайки», нам становится ясна, когда мы приходим к пониманию, что в них пришла к слову, художественно сказалась целая внутренняя жизнь гражданского деятеля, и в гармоническом стихе и в жарком чувстве нас, кроме того, охватывает вся мощь традиции, не только не умершей, но полной близкой будущностью.

С недоумением и благоговением нам хотелось бы объяснить конец деятельности Рылеева, его последние стихотворения, и нет у нас никакой биографической нити. В его целой деятельности религиозный вопрос вовсе оставлен в стороне; перед плахой его стих становится религиозен. Это доказывается двумя стихотворениями, сочиненными в алексеевском равелине. Они не успели попасть в эту часть нашего сборника. Вот одно из них, последнее:

Мне тошно здесь как на чужбине...
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст мне крыле голубине —
Да полечу и почию?..
Весь мир как смрадная могила,
Душа из тела рвется вон,
Творец! ты мне прибежище и сила,
Услышь мой вопль, вонми мой стон!
Проникни на мое моленье,
Вонми смирению души —
Пошли друзьям моим спасенье,
А мне даруй грехов прощенье
И дух от тела разреши! [30]

Удивительное впечатление производит это предсмертное стихотворение повешенного героя. Нас нельзя заподозреть в религиозности, а между тем оно так истинно и искренно, так глубоко скорбно и чисто, что его хочется спеть. Но откуда этот неподдельно-религиозный мотив? Был ли Рылеев религиозен *всегда*, но не поминал о религии, потому что был слишком занят гражданским делом? Или тюрьма вызвала у сильного бойца потребность слабодушного утешения? Разрешение этого вопроса очень важно и для понимания Рылеева, и для русской литературы. Если он всегда был религиозен, то необходимо новиковская традиция входила в его воспитание. Как, через какое посредство она связывалась с его жизнью? И невольно вдумываешься во всю деятельность Новикова и отыскиваешь нить, проходящую от него до 14 Декабря, и досадно, что материалы для науки жизни так мало разработаны.

Около Пушкина и Рылеева выросла и развилась целая дружина поэтов, более или менее талантливых. Рылеев имел равносильное, если не большее, влияние на политическое движение современников вообще, но Пушкин имел несравненно большее, почти исключительное влияние

собственно на литературный круг и на общественное участие в литературе. Его многообразное содержание заставляло звучать не одну политическую струну и, следственно, вызывало последователей во всем, что составляет поэзию для человека; но целость вольнолюбивого направления сохранилась у всех, так что оно звучало даже в «Чернеце» Козлова. В направлении исключительно политическом следовал за Рылеевым только один, товарищ Пушкина по лицею, Кюхельбекер. Остальные разобрали поэтическое содержание Пушкина; каждый взял то, что ему было сроднее,— от унылой нежности песенок Дельвига до гениальной элегичности Боратынского; но вся дружина могла назваться дружиной вольнолюбивых поэтов; даже маленький Глинка [31] писал:

Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.

А Боратынский затронул вопрос поглубже, вопрос различия сословий. Его «Цыганка» [32], может не довольно оцененная, проникнута гражданской мыслью и исполнена истинно трагических движений. К сожалению, у нас нет ее под рукою, но невольно приходит на память, как цыганка, жертвуемая сословному предрассудку, говорит про свою аристократическую соперницу:

Ее вчера я увидала —
Совсем, совсем не хороша!

Глубина этого движения не требует пояснений.

Таким образом, поэзия того времени, охватив все поэтическое содержание человеческой природы, в целости своего направления являлась как вызов на политическую борьбу и отчасти коснулась социального вопроса. Но работая ради освобождения народа от насилия власти, она не была в силах вызвать народ на борьбу, потому что вращалась исключительно в рядах высших, читающих сословий, отделенных от народа отношением властителя к слуге. Поэзия и литература полагали начало к сближению сословий во имя общих убеждений, но не во имя действительных народных потребностей, которых понимание было равно не разработано ни в их исторических составных данных, ни в их современном положении. Только гений Пестеля предугадывал склад государственной будущности,

народное землевладение, связь целого и самобытность областей [33]; но литература не сходила из общей неопределенности des droits de l'homme * на реальную почву народной жизни. Она была точкой отправления к сближению с народом, но не могла осуществить его. Может быть, от этого не удалось и 14 Декабря. Зачавшись в среде преимущественно барской, да еще в среде образованного меньшинства барства, литература — как мы уже сказали — унаследовала от прежних деятелей еще иную потребность; сверх того, что она пришла к понятию политической свободы и сознанию, что и каждый ее деятель, сколько бы ни принадлежал к барству по происхождению, прежде всего принадлежит русскому народу и работает ради его освобождения,— сверх этого она имела потребность говорить изящно. Может быть, изящество языка и могло вырасти только у образованного барства, и для литературы это был, конечно, не проигрыш; самое джентельменство Александра влекло в ту же сторону. Вдобавок и у нас изящество не спорило с политическим идеалом des droits de l'homme, так же как не спорило с ним и в европейской литературе от энциклопедистов до Байрона. Изящность в приемах, в образе жизни обусловливали изящность языка и форм в литературе. С этой точки зрения мы смотрим на отдел стихотворений Пушкина, который мы назвали эротическим, пожалуй назовемте неприличным, похабным... но какое ни давайте ему название, вы все же найдете, что он проникнут «вольным духом» и изящен по форме и языку. От этого, как ни странно встретить в одной книге поэзию гражданских стремлений и поэзию неприличную, а они связаны больше чем кажется. В сущности, они ветви одного дерева, и в каждой неприличной эпиграмме вы найдете политическую пощечину. Любовь к непристойностям, общая всем народам, очень домашняя у русского народа, всегда — у нас, как и везде,— находила выражение в литературе. Вошла ли она в пушкинскую поэзию вследствие своей бессословной народности, или потому, что он

Читал охотно Елисея [34],

или под влиянием древних и Парни, самого изящного и поэтичного из французских поэтов, мы не беремся решить;

* Прав человека (фр.).— *Ред.*

но одно очевидно — она под влиянием воспитания сложилась у него в либеральный склад и изящную форму. Мы были очень рады, узнавши (слишком поздно для нашего издания), что «Вечерняя прогулка» не Пушкина, а Полежаева, что «Первая ночь брака» по крайней мере сомнительна[35]; иные приписывают ее тоже Полежаеву, но — к сожалению — мы слышали от знакомого с Пушкиным, что эта пьеса действительно его. Мы берем его «Гаврилиаду» и «Царя Никиту», где язык и форма, особенно в последнем, безукоризненно изящны и вместе с тем содержание их проникнуто религиозным и политическим вольномыслием. Для нас очень важна эта сторона изящества неприличных стихотворений Пушкина; мы слишком неизбежно видим, как с отсутствием изящности форм в жизни на долю стихотворений неприличного содержания остается только неприличность и устраняется все изящное. «Гаврилиада», принадлежащая к произведениям раннего возраста поэта, без сомнения отзывается влиянием Парни. Рассказ Сатаны о том, как и почему он научил Еву отведать запрещенного плода, и прилет голубя имеют всю силу и прелесть лучших позднейших произведений Пушкина. «Царь Никита» рассказан со всей простотой народной сказки и со всем пушкинским изяществом. Если XVIII столетие навеяло поэту первое атеистическое произведение, то в «Царе Никите» нельзя не увидать следов сближения с народной жизнью и выросшего в обществе декабристов презрения к царской власти. С одной стороны, Пушкин довел стихотворения эротического содержания до высокой художественности, где уже ни одна грубая черта не высказывается угловато и все облечено в поэтическую прозрачность: так<ово> стихотворение

Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...

С другой стороны, циническая эпиграмма Пушкина всегда бьет политического врага даже в литературном враге; от Николая до Булгарина, от царя до шпиона — везде казнится один враг, враг гражданской свободы. Лучшее доказательство, что самые личные враги Пушкина, затрогивая его, затрогивали и целость направления и становились врагами общественными. Так была эта личность неразрывно связана с общими стремлениями.

Но прежде чем мы дойдем до ухода Пушкина из целости гражданского направления в исключительную художественность, нам остается докончить первую половину двадцатых годов воспоминанием об одном могучем произведении, которое совершенно самобытно, писано не учеником Пушкина, а своеобразным мастером и дополняет эпоху и ее общие интересы. Мы говорим о «Горе от ума». Если Онегин выразил сломанность, усталь жизни, которая при существующем правительственном порядке вещей не имеет исхода в общественную деятельность и, следственно, не имеет определенной цели, достойной умственно развитого человека,— то Чацкий представляет деятельную сторону жизни, негодование, ненависть к существующему правительственному складу общества. Критика как-то решила, что Чацкий не живое лицо, а ходячая сатира, отвлеченное, враждебное понимание современного общества или образ мыслей самого Грибоедова. Мы не можем понять, как критика из метафизической эстетики дошла до заключения, что живое лицо может любить, сморкаться, говорить интимные вещи или обыденные пошлости, но не может иметь гражданского образа мыслей. А что же, если для этого лица существенная сторона жизни, основной тон, исключительное занятие — его гражданский образ мыслей, что же прикажете ему делать иного, как остаться живым лицом вопреки критике? Если это лицо, положимте Чацкий, представляет только псевдоним Грибоедова, то отчего же Грибоедову в то время нельзя было быть живым лицом, которого жизнь поглощена гражданским стремлением и враждою к современному порядку вещей? Но Чацкий не только Грибоедов, Чацкий — живой человек своей эпохи, от этого он тем более живое лицо. От этого, чего критика не хотела заметить, все лица сгруппированы около него; он самый рельефный образ в целой комедии и один стоит на первом плане. От этого и громадное впечатление, которое «Горе от ума» имело в то время при чтении и после на театре, принадлежит собственно Чацкому, как лицу, сосредоточивающему на себе общественное страдание и движение своего времени. Чацкий, исключительно занятый гражданским вопросом и переполненный горькой безвыходностью русской жизни, скачет по Европе; у него оставалось одно чувство, в котором он еще чаял спасения,— любовь к женщине; ради этого

чувства он возвращается домой, но и оно разбивается о пошлость окружающего мира, и он опять бежит «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». Личное счастие не удалось, общественные надежды не расцвели от встречи с Репетиловым. Большинство признало его за сумасшедшего. Жизнь сломана, и родство этого деятельного человека с усталым и скептически сосредоточенным Онегиным становится ясно, так же как и влияние того и другого на литературу и общество.

Есть мелкие заметки против «Горе от ума». Одна из них, и может быть самая верная, принадлежит Пушкину [36]: зачем Чацкий, умный человек, говорит всякую задушевную мысль при Фамусовых и Скалозубах? Пушкину это казалось неестественным. Мы не можем решить вопроса ни в пользу Пушкина, ни в пользу Грибоедова. Для нас лично оно кажется, оно было бы неестественным; но вспоминая, как в то время члены тайного общества и люди одинакого с ними убеждения говорили свои мысли вслух везде и при всех, дело становится больше чем возможным — оно исторически верно. Энтузиазм во все эпохи и у всех народов не любил утаивать своих убеждений, и едва ли нам можно возразить, что Чацкий не принадлежит к тайному обществу и не стоит в рядах энтузиастов; Чацкий чувствует себя самостоятельным врагом порядка вещей своего времени, он высказывает свои убеждения Фамусову, потому что они оскорбляют Фамусова, а ему надо оскорблять Фамусовых,— и тогда дело становится не только исторически верным, но и лично для Чацкого естественным.

Другая мелкая нападка критики — это на выходку Чацкого против французика из Бордо и желание перенять у китайцев «их мудрого незнанья иноземцев». Если мы вспомним тогдашнее раболепие барства перед всем иностранным, перенимание не умственной деятельности Европы, а пошлой стороны ее жизни; если мы подумаем, что это перенимание еще не угомонилось и теперь, что то же раболепие недавно отозвалось при посещении Дюма-старшего и Молинари [37], что оно в науке и даже в политических теориях еще и теперь доходит до идолопоклонства и мании,— то выходка Чацкого и его желание сблизиться с народом вовсе не покажутся смешны и странны, и его мысль о подражании китайцам нельзя будет добросовестно принять за серьезный проект, а просто за

невольно в ум пришедшее ироническое движение, как оно и есть в самом деле.

Но вот время Чацкого и Онегина, время Рылеева и Пестеля разразилось 14 Декабрем, покачалось на одном месте недолгое время и стало стихать и переходить в грустное безмолвное раздумье и притаение гражданского вопроса. Грибоедов, спасшись от ссылки посредством родственных связей, примкнул к правительству и на дипломатическом поприще наткнулся на случайную гибель. Но талант его и без того уже был погибшим: он высказал в «Горе от ума» все, что у него было на сердце, а дальше он ничего не мог развить в себе самом, именно потому, что он примкнул к правительству, этому гробу русских талантов и русской доблести. Пушкин попал ко двору. Николай поиграл с ним в меценаты, и впечатлительный поэт увлекся. Тут его гениальная впечатлительность становится его слабостью, и он разом, в том же 1827 году, пишет в Сибирь к декабристам:

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье

и стансы:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю...[38]

Неужто Пушкин увлекся Николаем Павловичем? Странно сказать — а это правда[39]. Впечатление власти, его пощадившей, умеренная, мелкая точка зрения друзей, оставшихся с ним,— Карамзина, Жуковского, Вяземского, Плетнева — и отсутствие истинных деятелей русской мысли и русской свободы заставили впечатлительного поэта склонить покорную голову перед властью и примкнуть к вере в централизацию и к точке зрения на Россию не просто славянофильской, а правительственно-славянофильской, с которой борьба за независимость могла показаться «спором о семейном старшинстве». В 31 году он дошел до оды «Клеветникам России»[40]. Видно, что граждански общество и поэт падали быстро. Польская революция иначе откликнулась в Сибири, сохранявшей благородную традицию в лице мучеников 14 Декабря. Если сравнить «Клеветникам России» с стихотворением Одоевского[41], помещенным в конце этой книги на стр. 423, то и самое сверкание *стальной ще-*

тины [42], образ, взлелеянный петербургским Марсовым полем, померкнет перед чистотою гражданской мысли в рудниках, на каторге. Даже в рядах зарождающегося, иного славянофильства, не петербургского, не правительственного, иначе отразилась польская революция; стоит взглянуть на стихотворение Хомякова [43] на 211-ой стр. этого сборника. Пушкину самому было неловко от своего увлечения Николаем и централизацией; сибирские друзья были для него дороги; на душе у него лежал траур; неугасшее чувство гражданской свободы не раз вспыхивало и томило: он удалился в художественность, как в пустыню, где мог бескорыстно молиться богу искусства и искать спасения. Мы не берем на себя наглости, как теперь в нашей литературе вошло в привычку, хватать по заветным личностям с плеча грязною ладонью; эта бесцеремонность показывает в драчуне гораздо больше желания заявить существование своей маленькой ничтожности — сказать, что вот и я-де великий человек и я что-нибудь да значу, потому что ругаюсь (je pète, donc je suis *),— чем действительного, добросовестного чувства истины. Может быть, это ползание червей по дорогому покойнику и естественно, но все же производит невольное и точно так же, для чистого человека, естественное отвращение. Мы не обвиним Пушкина в преднамеренной измене свободным убеждениям, т. е. в подлости, не только потому, что не любим обращаться небрежно с великими явлениями русской и вообще человеческой жизни, но и потому, что преднамеренной измены с его стороны не было. Чувство свободы не замолкало в нем и переходило в уныние, в сознание бессилия; под этим настроением явилось стихотворение «Сеятель» [44] (стр. 25 нашего сборника); удушливое давление николаевского царствования не могло не отразиться на впечатлительном уме свободномыслящего поэта. С другой стороны, образование государственной силы под руководством централизации, блеск власти и патриотизм со всей узкостью племенной вражды, «спора племен между собою», производили на него равносильное впечатление, так что со второй половины двадцатых годов Пушкин в своих гражданских убеждениях постоянно находился под двойным и противуположным впечатлением;

* Непристойная французская поговорка.— *Ред.*

он в обоих случаях был искренен и колебался в противуречии, подаваясь на ту и на другую сторону, смотря по впечатлению минуты. Впечатлительность, как мы сказали, была его гениальностью и его слабостью; с противуречием он сладить не мог, и так как обе противуположности равно владели им, то его гражданское настроение обратилось в ничто и он стал жить исключительно по направлению, куда его вел первоначальный толчок его деятельности,— по направлению художественного понимания жизни. Что сталось бы с Пушкиным, если б пуля странствующего искателя приключений не прекратила дней его, опять может быть только предметом праздных гаданий. Вероятно, из патриотизма уже наклонный к панславизму, он перешел бы на сторону тех славянофилов, которые никогда не могли примириться с петербургской централизацией, и постепенно снова воскрес бы к впечатлениям свободы, с большим знанием своей страны и с большим пониманием народных потребностей. Каждение централизации было и не у одного Пушкина; ему поддавался и Белинский; оно и в наше время бродит в юридическом доктринаризме. Как натура живая и сильная, Белинский быстро вынырнул из этого направления; вероятно, то же бы случилось и с Пушкиным. Но не зная того, чего не было, мы только смотрим на психическое развитие, которое совершилось; наша задача была указать на ту живую впечатлительность, которая создала в литературе целость вольнолюбивого направления и вместе с тем не допустила декабристов принять в свой спасительный союз слишком подвижного человека; впечатлительность, которая разом доходила до гениальности, потому что была всеобъемлюща и глубоко искренна, и до слабости, потому что подчинялась внешности, и которая из сломанного человека сделала великого художника. Станемте же глядеть назад не с ругательством и клеветой, но с сердечной печалью о преждевременной кончине поэта в мрачную годину русской жизни, когда он странствовал «среди долины дикой, объятый великой скорбью» [45], и искал юношу, читающего книгу, который бы указал ему дорогу к свету; станемте глядеть назад с благоговением к великому художнику. Сердиться на историю, даже когда это делается и не в видах раздраженного самолюбия, смешно и бесплодно; историю можно только объяснять и

ставить основанием будущего развития — дело беззлобное, потому что великое.

Незадолго до 14 Декабря иной мир, мир русского *невежественного* барства, русского помещичества, выпустил в свет горячего юношу, с сильным поэтическим талантом [46], который мог развиться только под условием — забыть, отвергнуть среду, из которой он вышел; но с детства усвоенная привычка необузданности и рука Николая — дикого каменного гостя, настигшего дикого Дон-Жуана,— не допустили могучий талант до отрицания этой среды в жизни, а следственно, и в поэзии, и он —

Не расцвел
И отцвел
В утре пасмурных дней [47],

спасаясь от утраты всякой надежды в уродливость буйства бесконечного, безобразного; исчез, не развившись, а все же оставив резкий, жгучий след; погиб с тем воплем отчаяния, с которым мог погибнуть только человек, чувствовавший, что 14 Декабря всякая русская свобода рухнула навеки и что помимо необузданного самозабвения в вечной оргии, которая доконала бы тщетно живое тело чем скорей, тем лучше, ничего не остается на свете. Полежаев заканчивает в поэзии первую, неудавшуюся битву свободы с самодержавием; он юношей остался в живых после проигранного сражения, но неизлечимо ранен и наскоро доживает свой век. Интерес сузился, общественный интерес переходит в личный; поэту уже не шепчет тайный голос, что «пора губить врагов Украйны» [48]; для него дорога не Украйна, а дорого личное страдание в безысходной тюрьме и чувство близкого конца или казни. Редко на ком обстоятельства жизни так ярко отразились, как на личности и поэзии Полежаева. Уродливая поэма, за которую царственный Иуда-меценат дал поэту лобзание и отдал его в солдаты, бросает полный свет на его существование и вместе указывает на раздвоенность нашего высшего сословия — на образованное меньшинство и дикое помещичество. Сашка вырос в среде дикого помещичества; он ненавидит его, но хранит все его привычки, ставящие его в уровень с задавленным им дворовым человеком; Сашку воспитывает дворовый человек, да он воспитывает и все дикое

помещичество. От этого Сашка плачет перед отцом-барином, которого обманывает, и бьет девок по зубам. В нем есть удаль, но нет изящества; в нем есть жажда воли и ненависть к власти, но нет благородства, нет доблести. Он просто буян, как вообще дворовый человек и дикий помещик. Мы очень хорошо знаем эту среду необузданного помещичества, которое с дворней пьет и дворню бьет, чтоб не видеть ясно, как оно создало Сашку; в поэме остался один цинизм, с недосугом обработать язык, лишенный изящной формы и изящных образов. Какое необъятное расстояние от эротических стихотворений Пушкина! Среда образованного, мыслящего меньшинства вырастила Пушкина, среда дикого помещичества вырастила Полежаева. После первой проигранной попытки свободы Пушкин и образованное меньшинство еще могли отдохнуть в чувстве изящного, в понятии художественности; Полежаеву негде было искать отдыха и оставалось выгореть в собственной необузданности. От народа обе стороны были далеки, несмотря на гражданское направление одной и на близость нравов другой с дворовым человеком; собственно народ, т. е. крестьянство, так же далек от дворового человека, как и от помещика: дворовый человек представляет для него только помещичьего чиновника. Но образованное меньшинство могло на пути искать отдыха; в нем таилась надежда на сближение с народом, в нем вырабатывались и определялись общественные убеждения. У дикого помещичества нет исхода; оно не может себя вообразить иначе, как плачущим перед отцом-государем, оделившим его землей и рабами, и бьющим по зубам остальной люд; оно обречено на гибель. Бедный поэт, несмотря на весь душевный жар, на неопределенное, но горячее сочувствие гражданской свободе, не мог оторваться от привычек необузданности, его взлелеявшей, и погиб — равно под гнетом собственной, личной традиции и под гнетом царской власти, покаравшей его за то, что он мыслию смел оторваться от этой традиции. Мы не знаем больше трагической жизни и больше рокового конца. Все соединилось против юноши, страстно полюбившего волю и рифму,— происхождение и царь, воспитание и Николай Павлович; наконец, крысы обкусали ноги его трупа, заброшенного в казарменных подвалах. И поневоле у живого человека

вырывается проклятие и этой недостойной среде и этой недостойной власти!

Влияние Полежаева на литературу и общество, несмотря на силу его отчаяния, несмотря на жесткую и мрачную, но истинную и искреннюю поэзию его «Арестанта», ходившего в рукописи по рукам, было не сильно, как последний звук замирающего выстрела.

Общество шло к отдыху и раздумью. Пушкин дорастал до гениальной художественности, но перед концом поворачивал к глухому, мистическому полуотчаянию, полупророчеству — так звучат его «Подражания Данту», «Не дай мне бог сойти с ума», «Однажды странствуя»... На этом звуке он замер. Новых талантов не являлось. Домогались до чего-то лжеталанты вроде Кукольника; их поверхностный след скоро изгладился из памяти, как все неистинное. Но между тем, несмотря на аристократические прорывы у Пушкина, вроде «Родословной», «Мещанина», «Эпиграммы на Северина» [49], целость его гражданского направления и влияния декабристов достигли одного результата: уважение к барству и помещичеству было подточено в общественном сознании; меньшинство дворянства не могло быть помещиком откровенно и не могло не быть помещиком безнаказанно. Внутренняя мысль и совесть мешали оставаться в *этих* отношениях к народу, Николай не позволял из них выйти, считая самую мысль за революцию. Нельзя было вырваться из собственного преступного положения, нельзя было последовать внутреннему влечению и сблизиться с народом, еще противнее было бы примкнуть к правительству. Меньшинство почувствовало себя лишним человеком. Общественной деятельности для него не было; ему еще позволялось углубляться в собственную тоску и пустоту жизни, а «родину любить только странною любовью, необъяснимою для рассудка» [50], любовью привычки к знакомому пейзажу. Напряженная трагичность этого положения требовала сильного голоса в литературе; ее все чувствовали, но она ускользала от внимания и наблюдения, заглушаемая внешней суетой жизни. Ее выразил Лермонтов. С упорной неизменностью провел он свою тяжелую задачу, гениальной впечатлительностью понимая всю прелесть жизни и постоянно сознавая себя лишним человеком в этом мире, где ему,

душно, как в тюрьме или монастыре, и откуда ему хочется вырваться куда-нибудь на простор и дикую волю, как Мцыри, его самый ясный или единственный идеал. Этот антитетический идеал всякой общественности Лермонтов лелеял всю свою жизнь; в юношестве идеал ему является в образе демона; мужая, поэт все больше и больше хочет свести его на действительную человеческую почву; он его преследует в салоне, где сам проводит или убивает свое время, но где, в сущности, его идеалу нет места и где, следственно, он в лице Арбенина ему не удается; он его преследует в какой-то исторической обстановке, в Орше,— но и тут ему нет места, обстановка выходит чем-то посторонним; наконец, идеал достигает прозрачной ясности и целости в пленном отроке, рожденном на свободе, убегающем из заточения подышать зеленым лесом, дикой волей, подраться с зверями, с которыми борьба для него отрадна; борьба с людьми для него скучна, они ему слишком чужие, он их презирает; они слишком бессильны, сами по себе, слишком ничтожны; их сила только в том, что их много и что их множество утомляет и обессиливает. Лучше три дня вздохнуть без них на свободе, самобытно и потом погибнуть, чем склонить гордую голову перед ними и жить долго и скучно, мало-помалу утрачивая вольную душу и звонкий голос и сливаясь с их немым множеством.

Женский идеал Лермонтова тот же самый; это уже не деревенская барышня, не Татьяна, любящая и унылая, страдающая и покорная; это женщина, которой нужна власть над людьми, которых она презирает, женщина, в которой больше гордости и ненависти, чем любви, женщина, противуположная всякой общественности, в чьих глазах «темно как в синем море», чья душа

Из тех, которым рано все понятно.
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много; только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, без раскаянья, упреков
И жалобы. Им в жизни нет уроков,
Их чувствам повторяться не дано...
Такие души я любил давно
Отыскивать по свету на свободе:
Я сам ведь был немножко в этом роде! [51]

И в самом деле: женский идеал Лермонтова опять тот же демон, тот же Мцыри, но в другой обстановке, соответственной полу. Докончить своего женского идеала он нигде не мог; он его любит в царице Тамаре, но это легенда из чуждого времени, а он хочет любить свой идеал в действительности, добивается поставить его возле себя, пробует в «Сказке для детей» и не кончает... Смерть ли прервала создание или идеал невозможен и никогда не дошел бы до ясности?.. Существующую женщину он презирает: «пускай себе плачет, ей ничего не значит»[52]. Откуда эта неодолимая потребность презрения, которая заставляет его говорить — а это во время оно казалось страшно дерзко,— говорить первой (по тогдашнему понятию) европейской нации, «великому народу» —

Ты жалкой и пустой народ![53]

и в то же время дома не находить, кому подать руку в минуту душевной невзгоды? Имел ли он право не иметь друга, презирать собственную любовь к женщине, презирать всякую общественность? В том то и дело, что жизнь, что история ставит не *право,* а *возможность,* или, лучше, необходимость, следствие целого склада причин. В первой молодости, под влиянием английски-антитетического идеала Байрона, Лермонтов увидел русскую общественность николаевского времени и почувствовал, что и в этом мире он чужой, что ему тут делать нечего, что работать ради этого общества не стоит труда, из него ничего не выйдет; да не только ради этого, но ради какого бы то ни было общества; кроме презрения он ничего ничему общественному дать не может. С этой точки зрения он смотрит и на личные отношения. Он вращается в большом и малом свете, со всеми знаком, никого не любит, да и не за что; он в жизни постоянно шутит и хохочет, как школьник, а внутри у него отвращение от общей действительности, от лиц, с которыми встречается, от самого себя и своего положения, внутри у него тоска тяжелая и безысходная. От этого мысль побега из этой среды для него так истинна и поэтична, идеал Мцыри так искренен; и от этого его положение, его пребывание в действительности так ложно, что Печорин, сам не замечая, такой же фразер, как Грушницкий. Только необычайная сила языка, верность остальных характеров и

поэтическая прелесть обстановки сделали из «Героя нашего времени» поэму, где и самая проза звучит, как стих. Влияние Лермонтова, сочувствие к нему было огромно; всякий, признаваясь или не признаваясь, невольно чувствовал себя лишним человеком и чужим в этой среде, которой ни любить, ни уважать было не за что, следственно, всякий находил в нем свой отголосок. Но последователей у него не было, потому что каждый был чем-нибудь занят в жизни, хотя бы для того, чтоб как-нибудь наполнить пустоту, в чем-нибудь да позабыться, и не у всякого хватало силы на внутреннее, гордое и мрачное уединение. Струну, задетую Лермонтовым, каждый чувствовал в себе — равно скептик и мистик, каждый, не находивший себе места в жизни и живой деятельности; а их откровенно никто не находил. Лермонтов не был теоретическим скептиком, он не искал разгадки жизни; объяснение ее начал было для него равнодушно; теоретического вопроса он нигде не коснулся. Он был скептик в практике, в самой жизни, он не верил в ее исход и потому на всякую человеческую деятельность смотрел с пренебрежением и общественный вопрос выбросил из своей поэзии. Кроме строчки презрения, брошенного на Францию, строчки ненависти к придворному барству в стихах на смерть Пушкина он не затронул ни одного гражданского чувства,— разве ненужность войны в «Валерике», но это скорее презрение и к войне, чем мысль общественной гармонии. Равнодушие к теоретическому вопросу удалило его от науки; он и в ее исход не мог верить a priori и потому не принимался за нее. Равнодушный к происхождению и скептик в исходе, он ловил свой идеал отчужденности и презрения, так же мало заботясь об эстетической теории искусства ради искусства, как и о всех отвлеченных вопросах, поднятых в его время под знаменем германской науки и раздвоившихся на два лагеря — западный и славянский. Вечера, где собирались враждующие партии, равно как и всякие иные вечера с ученым или литературным оттенком, он называл *литературной мастурбацией,* чуждался их и уходил в великосветскую жизнь отыскивать идеал маленькой Нины; но идеал «ускользал как змея», и поэт оставался в своем холодно-палящем одиночестве. Николай постоянно преследовал Лермонтова. Кажется, за что бы? Поэт не при-

нимал участия в политической задаче, ненавистной Николаю, от нее бледневшему. Равнодушный к убеждениям, он даже написал в честь Николая несколько необычайно звучных стихов — вероятно, чтоб отделаться от преследований *. Но инстинкт руководил царем; он не мог стерпеть человека, который не принимает никакого участия в его попытке уничтожения общественной свободы и презирает эту попытку, как все остальное; царь мог выносить только людей, уживавшихся с его миром, и был рад, когда шальная пуля безумца свалила могучего нежильца мира сего. А может, и сам поэт встретил ее как находку!.. До сих пор странна была участь наших поэтов. Во время возбужденности гражданского вопроса одного доканчивает виселица; во время притаения гражданского вопроса двоих доканчивает случайность. К одной случайности примыкает придворное барство — не образованное, а придворное, николаевское; к другой примыкает ониколаевшееся, пошлое офицерство. Во всех случаях казнь идет из одних рук, из рук самодержавия. Те же крысы выпущены тем же капралом на съедание всего, имеющего свой звучный голос, потому что самобытно-звучный голос в казарме не прощается.

В это время притаения общественного вопроса, немоты высшего сословия, ухода его лучших людей в научные теории и отвлеченные стремления, потому что близорукое правительство, по грубости своего понимания, только им и не мешало — в это время другое немое множество — народ таил общественный вопрос не потому, что битва свободы была проиграна 14 Декабря, а потому, что она для него не начиналась, потому, что — застращенный и унылый — он не дерзал подумать, что надо поставить на ноги общественный вопрос, он не знал, как его поставить. В его историческом воспоминании

---

* Мы не помним наизусть этой пьесы, и не помним, была ли она напечатана. Она кончается стихами:

...И за победной колесницей
Бежал наемный клеветник.

Если она не была напечатана, мы просим гг. библиофилов прислать ее, а также и единственную неприличную поэму Лермонтова, какое-то ночное похождение; мы ее слышали только раз в 1841 году и совершенно не помним; смутно осталась в памяти только обычная прелесть стиха [54].

попытки освобождения граничили с разбоем — знамя, под которое очень трудно собрать жителей мирных, непривычных владеть ножом и уже не веривших в мирское значение разбоя. Его настоящее наводило на него тоску и уныние. В будущем он стремился выйти на волю, но не мог определить сам себе, какая это должна быть воля; народ имел свой обычай гражданского порядка, но не имел идеала. Воля для него была чем-то безграничным, как степь; он сам себе не мог сказать, чем он наполнит пустоту своей затаенной мысли о воле и неопределенность своей затаенной сплошной силы. И вот вышел из народа голос, совершенно соответствующий этому состоянию. Это был Кольцов. Лермонтов и Кольцов — два одинокие властители поэтических дум конца тридцатых и начала сороковых годов. Один — отвергнувший общественный вопрос по устали, другой — потому что не успел схватить его. Один — тоскующий оттого, что крылья утомились; другой — оттого, что «крылья связаны». Один погибает, подстреленный своими, которым он чужой; другой гибнет, задушенный своими, которые его не узнали. Оба вместе — звучный отголосок целой России своего времени, России задремавшей и России не проснувшейся. Лермонтов ищет своего идеала вне действительности, противуположного ей; этой силе нужен отдых после утраты, она стремится вон из той обстановки, среди которой утрата совершилась. Кольцов не имеет идеала, он имеет только стремление и немогуту силы, которая вот того и гляди сейчас встрепенется и грянет. У него в душе все народные воспоминания, история свободы под знаменем разбоя —

А по Волге, моей матушке,
По родимой, по кормилице,
Вместе с братьями за дóбычью
На край света летал соколом.

У него народные надежды —

Там у нас всего довольно,
Будет где нам отдохнуть.
От боярина сокроют,
Хату славную дадут.

У него народная сила, еще не доросшая до дела,—

Путь широкий давно
Предо мною лежит,

Да нельзя мне по нем
Ни летать, ни ходить...
Кто же держит меня,
И что кинуть мне жаль?
И за чем до сих пор
Не стремлюся я вдаль?
По летам и кудрям
Не старик еще я;
Много дум в голове,
Много в сердце огня!
Да на путь — по душе —
Крепкой воли мне нет,
Чтоб в чужой стороне
На людей поглядеть;
Чтоб порой пред бедой
За себя постоять,
Пред грозой роковой
Назад шагу не дать;
И чтоб с горем в пиру
Быть с веселым лицом;
На погибель итти —
Песни петь соловьем! [55]

Кто в этих строках не почувствует всей народной силы, дремлющей, но готовой проснуться,— тому этого объяснить нельзя. Есть вещи, которые понимаются сразу; кто не понял — пеняй на себя.

У Кольцова есть и народная немогута сладить с теоретической мыслью, которая между тем его неотступно тревожит; он ее ищет и боится —

Тяжелы мне думы,
Сладостна молитва!

Кольцов совершенно народ. Что за беда, что народ его не прочел и не узнал! Он все же свое дело сделал. Он заявил дремлющую силу немого множества перед образованным меньшинством. Он стал первым олицетворенным мостом между ними. И родоначальник русской литературы XIX столетия, Пушкин, принял его в свои отцовские объятия, и кружок Станкевича с участием сжал в своей научной руке его живую, народную руку. После Лермонтова и Кольцова можно было чувствовать, как внутренняя необходимость влечет образованное меньшинство к воскресению от устали, которой больше нечего было сказать, и к соединению с народом, которого непочатая, неопределенная сила заявлена и скоро

потребует своего определения и займет свое надлежащее место в общественном движении.

Мы сказали, что в то время притаения общественного вопроса лучшие люди, т. е. наиболее образованные, те, которые не могли ни пристать к успокоившейся толпе, ни уйти в чувство собственной отчужденности от человеческого мира, ушли в науку [56] и в отвлеченные стремления. Это направление было естественно. Делать дело на гражданском поприще не позволяло правительство; да если бы и позволило, никто бы не знал, с чего начать. Правительственный переворот не удался; общественный переворот стоял неразгаданной загадкой. Поневоле приходилось спрашивать: что и как? И лучшие люди принялись за разработку теории. Практика требовала своего, требовала отрицания существующего порядка вещей, потому что он душен и безнравственен. Но что же составляло этот порядок? Барство и помещичество были подточены в сознании образованных людей; народ еще не жил. Порядок вещей составляло правительство. Чем же входило правительство в общественную жизнь? Чиновничеством. И вот литература принялась подтачивать правительство, начиная с его периферии, т. е. с чиновничества. Вопрос был практически самый живой, и Гоголь был действительной общественной властью этого периода; высшее правительство снисходительно позволяло обкусывать свои оконечности, не догадываясь, что они — оно, точно так же как терпело научную деятельность, потому что не понимало ее.

Собственно научная деятельность не произвела действительных талантов в поэзии. Для этого у нее не было живой связи с жизнью. Поэзии приходилось не откликаться на живые впечатления, а изобретать их вследствие теории. Во второй половине тридцатых годов она еще примкнула было к общественному вопросу в «Торжестве смерти» Печерина [57] (стр. 308), но рукопись не вышла из пределов тесного кружка друзей и не отозвалась в публике. Облечь теоретическое понимание жизни и общественной будущности в поэму и разом высказать отчаяние в исходе общественной жизни шло человеку с развитым научным пониманием и задыхающемуся под железной десницей Николая и тяжестью русской среды его времени. Поэма, несмотря на ее отвлеченность, обли-

чала сильный поэтический талант, который мог бы развиться. Каким образом автор ее погиб хуже всех смертей, постигших русских поэтов, погиб равно для науки и для жизни, погиб заживо, одевшись в рясу иезуита и отстаивая дело мертвое и враждебное всякой общественной свободе и здравому смыслу?.. Это остается тайной; тем не менее мы со скорбью смотрим на смрадную могилу, в которой он преступно похоронил себя. Воскреснет ли он в живое время русской жизни, или вместо того, чтоб работать для русской свободы, ему приютнее жечь протестантские библии в Ирландии?.. Как знать? Если внешнее чудо могло столкнуть его живого в гроб, то внутренняя сила может и вырвать из него. Покаяние не только христианская мысль, но необходимость для всего человечески-искреннего.

Поэма Печерина относится к 1837 или 38 году. Чем больше наука вдавалась в метафизическую диалектику, тем больше выделялось понятие о художественности вне общественной жизни. Это был также уход из удушливого состояния николаевского времени, как и у Лермонтова, но менее сильный и живой, потому что успокаивался в абстрактах. Попытки стихотворства у людей этого направления оказались несостоятельными; начинавшие писать не имели ни идеала, ни стремления, ни впечатлительности, жизнь приемлющей, и скоро выдохлись и перестали писать; им нечего было сказать поэтического. Под влиянием этой школы позже вышел один великий талант — это Фет; но и он скорее обрадовался найти себе оправдание в метафизической эстетике, чем действительно был ее учеником; он просто следовал своей личной, в одну сторону настроенной впечатлительности, своей способности исключительно пребывать в пантеистическом наслаждении природой и развил эту впечатлительность в своих произведениях до прелести, до которой, может, не достигал ни один из русских поэтов. Счастлив человек, который в такую горькую годину мог успокоиться в таком светлом чувстве! Это был самый изящный уход из действительности; негодовать на него мудрено; надо прежде спросить — что было делать, когда из действительности ничем живым не веяло? Люди сильные уходили в одиночество, как Лермонтов; люди мягкие бросались в объятия изящной

природы. Явление эпикуреизма совпадает с тяжелыми временами истории, и только тот может бросить в него камень, кто ни на одну минуту в жизни не отдохнул под его обаянием.

В конце тридцатых и начале сороковых годов смолкает потаенная литература, или — что еще хуже — рукописи не расходятся. Их прячут со страха те, у которых они есть, чтобы не попасться понапрасну, а те, у которых их нет, не требуют их. Публика настолько боится общественного движения, что всякую крохотную выходку крохотного либерализма считает за геройство; она остается равнодушною ко всякой мысли об общей перестройке душного общественного здания, ко всякому чувству негодования против его самовластного хозяина. Стихотворения, которых цензура не пропускала, но которые могла бы пропустить, которые составляли занятие отдельного кружка и не отзывались в публике единогласным потрясением, как отзывался пропущенный цензурою Лермонтов, принадлежали к другому научному направлению, направлению археологического панславизма. Оба направления — европейской науки и панславизма — выходили из движения двадцатых годов. Слитые у декабристов негодование на русскую действительность и любовь к России раздвоились, одна сторона пошла в отрицание всего русского, другая — в отрицание всего нерусского. Оба направления оперлись на германскую метафизику, ставившую себя наукою. Отдельно от нее, совершенно своеобразно явилась только на стороне европеизма статья Чаадаева — отрицание России, исполненное любви и скорби, которое могло только выйти из-под пера декабриста, искавшего в католицизме успокоения после проигранной битвы. Она потрясла умы на мгновение, как внезапная боль, заставила дружнее сплотиться своих противников — славянофилов, но не связалась нисколько с вовсе не католическим гегелизмом. Плач Чаадаева замолк, оставив враждовать обе стороны, опиравшиеся на отвлеченную науку и потому на первых порах обе совершенно абстрактные. Метафизика развивала из себя диалектическую паутину, не слишком заботясь о действительности, о которой сама проповедывала, но которую не объясняла из фактов, из простого сцепления причин и следствий, а облекала факты в свою паутину и возводила

простые явления в нравственный принцип — способ, которым можно примириться со всем на свете и все не только оправдать, но узаконить; естественное, но самое узкое последствие этого направления — доктринаризм. Доктринаризм овладел обоими направлениями. Доктринаризм славянофилов с той же метафизической диалектикой, как и его противник, доктринаризм европейский, дошел до необходимости панславизма и оправдания православия на том основании, что вера народная истинна, потому что она народная, а истина — принадлежность народного сознания. Доктринаризм европейский сперва ударился в эстетику, потом перешел в юридический, или собственно так называемый доктринаризм. Очевидно, что поэзия не могла найти себе места ни в произведениях, написанных для оправдания метафизических начал эстетики, ни в произведениях, писанных для доказательства жизненности племен, которых жизнь еще не проявлялась, или для возведения в непреложный, нравственный принцип вероисповедания, тянувшегося просто как историческое явление, которого происхождение было объяснимо, но которого содержание не могло отвечать на запрос современного, мыслящего человека. Это первоначально абстрактное направление славянофильства не носило в себе даже простодушия пророчества, чтоб найти для себя поэтическую форму и содержание. От этого и непропущенные стихотворения Хомякова [58], всегда благородные по направлению и скорее звучные, чем изящные по форме, не находили отголоска. Это не было ни песнью волнующегося живого племени, ни пророчеством искренно провидящего фанатика. Хомяков был слишком большой диалектик, чтоб быть поэтом. Будущность славянских племен ему являлась скорее вследствие исторического расчета, как Америка для Колумба вследствие математического расчета, чем как мессия для пророка. От этого духа пророчества нет в его поэзии; а облекать в живые образы жизнь нового света прежде его открытия было задачею невозможной. Сила Хомякова и не была в его поэзии, даже и не в его прозе, а в его личном влиянии, в его неистощимой деятельности в проповедывании своих твердых и горячих убеждений.

Эти убеждения, т. е. убеждения славянофильские, так же как и исключительное направление германской

философии, не могли удержаться на русской почве в своей метафизической отвлеченности. Никогда совершенно незабывавшийся завет декабристов, присутствие страждущего народа, самое возрастающее давление власти, наконец, склад русского ума, который, при великой любви к теории, не удовлетворяется вне действительности,— все вызывало деятелей сойти в живую жизнь, и черта совершенного равнодушия к гражданскому вопросу, совершенного ухода в чуждость всему общественному или в чистую теорию не могла долго устоять. Белинский быстро отшарахнулся от метафизического оправдания деспотизма и заговорил живым языком, все менее и менее метафизическим и немецким, и двигал мысль к общим потребностям гражданской свободы. Славянофилы тоже скоро перестали говорить немецким языком и принялись рьяно и преданно разрабатывать понимание народной жизни, преимущественно перед заботою о Белграде и Праге, предоставив ее грядущим поколениям. Мы нисколько не думаем нападать на любовь к славянским племенам, но мы думаем, что и теперь этот вопрос преждевременен и что до разрешения русской областной и польской свободы он не имеет силы стать на ноги. Можно было предчувствовать, что оба направления, по выходе из теории, сойдутся на практике построения народной свободы на народных основаниях. Одно современное нам явление поразительно: европейский доктринаризм, по выходе из германской метафизики в юридический доктринаризм, примкнул к централизации, с которой боролся; славянофильский доктринаризм, подчас не враждовавший с централизацией, совершенно отрешился от нее и стал в ряды <сторонников> независимости областей и народных общин. Последнее естественно: увлечение центральной властью у славянофилов было только полемическое, но не лежало в их принципе; но первое составляет вопрос, к которому мы когда-нибудь воротимся и который слишком связан с общей европейской жизнью, чтобы рассматривать его только мимоходом. Не менее странен и междоумок между обеими крайними доктринами — англомания нашего времени, представляющая, как все междоумки, оторванность от всякой действительности, равно и от правительственной и от народной, и существующая больше как полемическая выходка против той и другой, чем как что-нибудь само-

бытное. Но об этих вопросах в другой раз и в другом месте; возвратимся к нашему предмету.

В славянофильской деятельности действительным поэтом был Константин Аксаков, человек, который нравственную чистоту и гражданское чувство довел до лиризма, который искренно скорбел и искренно боролся. Его голос во времена притаения гражданского вопроса звучит как вопль:

Пусть гибнет все, к чему сурово
Так долго дух направлен был,
Терзалась мысль, трудилось слово,
В запасе много было сил.
Слабейте ж, силы, вы не нужны,
Усни ты, дух,— давно пора!
Рассейтесь все, кто были дружны
Во имя правды и добра!

(Стр. 227) [59].

Да! В этой скорби поэзия великой искренности! Но до конца борьбы он не выпускал из рук народного знамени, последний свой труд посвятил защите народа против петербургского доктринаризма мнимого освобождения и умер на заре русской свободы. Вся эта жизнь была поэзией гражданства. Почтим его память, сознавая, что если Кольцов подал руку на сближение народа с меньшинством, то славянофилы первые в самом деле подали руку меньшинства на сближение с народом, как равного с равным. Мы не славянофилы и не православные, но этой заслуги мы у них не отнимем.

Но как ни велико было влияние обеих доктрин — западно-научной и славянофильской, практический вопрос занял свое место и завладел всеми интересами. Практический вопрос, как мы уже сказали, был разрушение чиновничества и выдвинут на первый план гениальной силою Гоголя. Вопрос был так практически необходим, что на нем сошлись не только все читающие из всех сословий, но и обе доктрины. Западники нашли в нем грязь русской жизни, славянофилы грязь немецкого противународного правительства. И обе стороны были правы — лучшее доказательство, что вопрос был поставлен верно и что практика жизни ставит свои требования сильнее всех теорий. Сколько Гоголь ни бьет по всем сословиям, но главная цель его — чиновничество. Вся правительственная

пошлость и своекорыстие вышли наружу. Николай не понял и смеялся, а в сущности уважение к правительству было без возврата подточено в общественном сознании. Но вопрос, возбуждавший смех над правительством на сцене и в романе, не мог не отозваться в поэзии. Боль от гнета чиновничества, которое давит даже само себя, обрекая свои низменные ступени на нищенство и пролетариат, нашла свой голос в Некрасове. Картина ли родных полей и деревень, роскошь ли столицы, страдание женщины, страдание мелкого чиновника и мужика — у него все облито одной скорбью, скорбью перед властью чиновника. Если ему случается ненавидеть и презирать самого себя — это в те минуты, когда он в душе своей подмечает движение, унаследованное из мира чиновничьего. С этой точки зрения он любит народ, теснимый чиновником, и все теснящее возбуждает в нем ненависть. Но общество молчит, ненависть бессильна — и скорбь практической жизни доходит до поэзии мрачной, но искренней и потрясающей. Некрасов естественно возникает вслед за Лермонтовым и Кольцовым; его задача была трудна для поэзии и требовала таланта истинного и сильного, таланта, которого «муза плачущая, скорбящая и болящая, всечасно жаждущая, униженно просящая» [60], муза «мести и печали» [61] никогда не пела над ним сладкогласной песни; его задача была лишена идеала вне общественности, лишена и стремления в неопределенную даль. В его задаче скорбь определялась и вошла в практический мир; это было горе настоящего, горе без исхода, горе о стране, задавленной чиновничеством, горе человека, который отрекся от этого чиновничества, горе, выстраданное целой жизнию. Его «суровый стих» [62] полон поэзии сухого горя. Его женский идеал равно не кроткая Татьяна и не сосредоточенная в эгоистической страстности маленькая Нина; его женский идеал — не идеал, а бедное дитя нужды, бродящее по городским улицам, не зная чем поужинать и на что похоронить заморенного ребенка...

Мы не хотим сказать, чтобы чиновник был единственным предметом у Гоголя и Некрасова, но что это их любимый предмет, который они грызут преимущественно,— это очевидно из их произведений. Да их к этому вел и естественный ход обстоятельств. Когда первое пушкинское движение, движение декабристов, зачавшееся в среде

барства, отрицая это барство, поколебало царскую власть в общем сознании и поставило в зародыше все вопросы народного освобождения, которым было суждено развиваться впоследствии, когда это движение улеглось до безмолвия и отчужденности от общественной жизни, выход из безмолвия мог только начаться с подтачивания правительственной сети, наброшенной на Россию, и именно там, где она непосредственно касалась до общественной жизни, т. е. в ее периферии, в чиновничестве. «Чиновник... а! ну так верно был мошенник» — заключает голос из толпы в поэме (вероятно, из конца 40-х годов), помещенной в этой книге [63]. Форма, в которой работал Гоголь, была широка и наиболее доступна и действовала сильнее; не говоря уже об огромности таланта, смех являлся самым мощным и каждому понятным деятелем. Жесткий лиризм Некрасова не мог иметь такого же объемистого влияния. От этого у Некрасова не было последователей и подражателей. Гоголь создал целую школу последователей, даже проник в обыденный язык общества. Сохраняя форму учителя, последователи разобрали предметы, каждый по своему вкусу, но все более и более расширяя задачу и подтачивая не одно чиновничество, а и все возле него и в ладу с ним отживающее, но еще не отжившее. Из этой школы вышли два самобытных таланта, достойных стоять рядом с учителем. Тургенев, истинный художник по объему и силе впечатлительности, преимущественно доканчивал помещичество и брал из жизни светлые образы простолюдинов, любя и лелея их. Островский ударил по болячке, до него пропущенной в литературе,— по купеческому быту, этой буржуазии, не доросшей до касты, но уже вместившей в себе всю безнравственность понятий и лицемерия, с ней нераздельную, и являющейся в народном представлении не в образе касты, а в образе так называемого *кулака* из мужиков.

И вот, между тем как литература грызла правительственно-общественную сеть по всем узлам, высшее правительство натягивало ее все больше и больше, и жить становилось все душнее и душнее. Результат, до которого дошло николаевское царствование, недавно ярко бросился нам в глаза при чтении стихотворения, писанного в 1850 году пятнадцатилетним гимназистом [64].

Знаменательно! Лермонтов еще любит родину за пейзаж, Некрасов — за ее страдания и за собственную боль, поэзию своего сердца; Николай доводит положение до того, что отрок ничего не находит сказать, кроме отречения от своей родины, как от злой и уродливой матери-мачехи! Невольно чувствуется, что этот мир так натянут, что он дальше в этом складе жить не может; а еще сил и жизни много, следственно, этот склад должен рушиться и дать место иному, новому складу.

Нить исторических данных плетется такими зигзагами, перепутывается такими сплетениями, что резких рубежей указать невозможно. Одновременно с надеждами уживается отчаяние, жизнь освобождается, а еще тени мертвых бродят. Только яркий результат, совершившееся событие наводит на отыскание нитей среди перепутанных узлов. Тридцать лет, после проигранного сражения 14 Декабря, растет гнет власти и растет вопль отчаяния; этот вопль еще не улегся и теперь, и теперь еще есть люди, и благородные, и молодые люди, у которых стихи пятнадцатилетнего гимназиста так сидят в крови, что у них нет веры на дело. Еще и теперь покачнувшаяся власть стоит грозным призраком и поддерживает в обществе вредную мечту общественного бессилия, в то время как взаправду бессильна только сама власть. А между тем уже с конца сороковых годов общество домогается перейти от ничтожества к силе. Между тем и самое время безмолвия перед высшей властью не прошло в бездействии. Люди жались, покорялись, не затрагивали ее, а все же литература, не понятая ни царем, ни цензурой, изгрызла всюду сеть правительственного порядка вещей — и своей метафизической наукой, и археологической религией, и едким смехом, и самым воплем отчаяния. Ничего не осталось в живых в сознании не только исключительно образованного меньшинства, а и полуобразованного, но способного смеяться и плакать; перед ними лежало избичеванное помещичество, избичеванное чиновничество, отшлепанное купечество; в живых оставалась только народная масса, с которой меньшинство стремилось сблизиться. Да и действительно ничего иного в живых и нет, как народ, имеющий за себя экономический обычай землевладения, да меньшинство, имеющее за себя производительную силу мысли. Что между ними — помещичество,

чиновничество, кулачество,— то не имеет за себя ни силы обычая, ни силы мысли; за него только правительственная власть, его поддержка — царь; исчезни помещичество с чиновничеством — и царь исчезнет. История пришла к исходной точке 14 Декабря, но с той разницею, что 14 Декабря нельзя было поколебать царя, потому что помещичество и чиновничество были живы; теперь они подточены, а с ними подточилась и царская власть. Насколько она сама в этом виновата, мы здесь не станем объяснять, это повлекло бы нас в сторону. Но что литература, подточив периферию и основание свода, вместе указала на то, что пора снять замочный камень,— это уже чувствовалось в конце сороковых годов. Дело Петрашевского напомнило о необходимости тайных обществ там, где явные общества недозволены. Рукописи, которые целое десятилетие или почти не являлись, или притаились так, что все равно если б их и не было *,— рукописи вдруг стали ходить по рукам, размножаясь до создания целой подземной литературы, обращающей в ничто все усилия цензуры. Дело было слишком практическое, слишком критически-практическое, чтоб начаться с свободного голоса поэзии. Песня не имела места; работа молотка и циркуля не давала ни покоя, ни вдохновения для песни. От этого потаенная литература пятидесятых годов началась с политико-критических статей. И как же они распространялись с Крымской войны! не менее, чем потаенные стихотворения двадцатых годов. Стих стал примыкать к потаенной публицистике немного позже и неверным шагом. Действительно поэтических талантов не являлось. Но количество стихотворений умножалось и с поднятия крестьянского вопроса стало все больше и больше приспособляться к делу. Перешагнув через хронологический порядок, которого мы по возможности старались держаться в нашем сборнике, мы поместили в конце этой части «Современное стихотворение», которое тем замечательнее, что ненарочно сосредоточивает в себе целую

* Таким образом, стихотворение «На смерть помещика Оленина» (стр. 268) сделалось нам известно только в Лондоне; а оно, кажется, относится к сороковым годам и, несмотря на длинноту, имеет свои сильные места и свое действительное сближение с народом [65].

историческую эпоху и опирается на ее исходную точку, на 14 Декабря.

Может быть, нас упрекнут, что мы в этом общем, беглом очерке истории нашего стихотворства в XIX столетии не приступили к разбору отдельных стихотворений, но мы его оставили до издания второй части. Может, упрекнут, что мы отвели слишком длинное место движению двадцатых годов... Как быть! Определить исходную точку всего труднее и требует всего больше работы. Мы надеемся, однако, что нас не упрекнут в преувеличении значения Пушкина и декабристов, на том основании, что не их влияние было так велико, а они сами находились под влиянием им современных потребностей. В этом повторяется в истории то же кругообращение жизни, как в остальной природе. Приток новых сил ставит, как новое данное, потребность к их выходу; эта потребность создает деятелей, а деятели становятся новой данной силой, которой влияние распространяется по всему организму. Поэтому мы не можем отречься от нашей сыновней любви к деятелям двадцатых годов и с умилением смотрим на тех из них, которые остались в живых перед входом в землю ханаанскую. С тех пор вещи уяснились, вопросы определились и вошли в действительность. Поэзия сделала первый шаг к проявлению областной жизни; Украйна проснулась в Шевченке, и — лучшее доказательство, как сила обстоятельств влечет к самобытности областей и нераздельности союза,— Шевченко, народный в Малороссии, с восторгом принят, как свой, в русской литературе и стал для нас родной: так много было общего в наших страданиях и так самобытность каждого становится необходимым условием общей свободы. Действительно—образованное меньшинство с каждым днем больше и больше понимает это условие, так же как с каждым днем больше и больше понимает и другое, историей и жизнью налагаемое условие близкого переворота: народное землевладение и народное самоуправление. Но литература остановилась на теориях или размельчалась в подтачивании отживающего порядка вещей, в так называемой обличительной литературе. Всюду чувствуется, что теория сама по себе, только в книге, жить не может, а также обличения частностей, при сохранении общего мертвящего склада, не помогут. Чувствуется, что *слово*

покончило свою задачу; пора приступить к *делу*. Новое дело создаст новое слово. Если новых действительных поэтических талантов у нас нет, несмотря на обилие стихотворений,— это потому, что жизнь еще не пробила коры и не пришла к взрыву, и только новая жизнь создаст своих поэтов.

Где они, поэты будущего, поэты России бессословной, России народной? Существуют ли теперь или еще не родились? И откуда они выйдут — из среды ли барства, себя отрицающего, из среды ли чиновничества, себя отвергающего, или из среды народа, наследника всех сословий? Не знаю. Я знаю одно — что они будут!

РАЗБОР НОВОГО КРЕПОСТНОГО ПРАВА,

ОБНАРОДОВАННОГО 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА В ПОЛОЖЕНИЯХ О КРЕСТЬЯНАХ, ВЫШЕДШИХ ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ[1]

I

С 19 февраля до 8 мая прошло 78 дней; обстоятельства обозначились. В феврале подписан манифест, в апреле льется кровь безоружных крестьян[2], в мае циркуляр нового министра внутренних дел[3] предписывает губернаторам объяснить народу, *что барщина не есть барщина.* Такого уродливого хода дел мы и не ожидали. Итак, комитет под председательством Константина Николаевича[4] оттерт на задний план; теория государственного развития поручена Бутковым, а практика — Апраксиным[5]. Стало, ожидать, чтобы комитет «для устройства сельского состояния на общих и единообразных началах» помог делу, исправил бы или переделал «Положения о крестьянах» было с нашей стороны мечта, которую мы из жажды блага народного лелеяли на один день. В то время правительство, казалось, стало во главе русского освобождения; его положение было необычайно светло и счастливо; оно его утратило разом, и, наконец, надежда на него, вера в него рушилась окончательно. Упавши в кровь — оно упало в грязь и вынуждено объяснять народу, что черное не черное, что два не два, что барщина не барщина. Какая ложь и какое бессилие! Причины такого хода дел разгадать не трудно; их две: 1) правительство в освобождении народа *не искренно,* т. е. в сущности государь не хочет никакого освобождения; 2) оно совершенно *бездарно,* т. е. не умеет ничего *понять* и ничего *сделать.*

Разрыв с этим правительством для всякого честного человека становится обязательным. Взгляните на нового министра внутренних дел; мы его не знаем, мы только видим, что он с первого шага вслух говорит нелепость, хочет уверить народ, что барщина — не барщина, а *«замена оброка работою»* *. Давно ли само правительство находило, что для постепенности освобождения нужно работу заменить оброком? ** А вдруг понадобилось доказывать противное, потому что здравый смысл народа не может понять освобождения с оставлением на барщине. Да он не может понять его и с оставлением на оброке. Неужто правительство думает, что министерский циркуляр надует народ или кого-нибудь, хотя бы того чиновника, которому будет приказано объяснять эту нелепость? Такое презрение к публике чересчур заносчиво; всякий прочитавший циркуляр подумает, что правительство или сдуру врет, или преднамеренно лжет. Итак, видите ли, что нельзя служить этому правительству, нельзя с ним одного шагу ступить, не запачкавшись или не одурачившись.

Но несмотря на то, что циркуляр смешон, что комитет Константина Николаевича затерт Бутковыми и Апраксиными, все же воля народная провозглашена и так или иначе высказаны те основания русской жизни, которые должны развиться из понятия уничтожения крепостного права, из понятия освобождения крестьян, т. е. право народа на землю, равномерное освобождение крестьян всех наименований, уничтожение равно помещичьего владычества и владычества министерства государственных имуществ и других народоедных учреждений, общинное землевладение и самоуправление, узаконение обычного права и переобразование судоустройства, всесословная выборность суда и управления. Нить этого развития из одного слова: освобождение крестьян — является как историческая необходимость. Но правительство ниже своей задачи, оно не стало во главе; тем не менее нить пойдет развиваться помимо его и вопреки ему. Оно выпустило из рук живую струю, и ему не на кого пенять, как на самого себя.

---

* Он пошел далее в Мальцевском деле[6] и храбро стал со стороны крепостников.

** А в Польше и заменило.

Оно ничего не предприняло, чтоб поправить, переделать свои неприложимые «Положения о крестьянах» и хочет приводить их в исполнение как непреложную истину. Теперь посмотрим же, что такое эти «Положения», принятые не за точку отправления, которой развитие можно переиначить и усовершенствовать, а за ненарушимый, законченный устав.

Устав!.. При этом слове невольно подумаешь — какие бы ни были убеждения,— что правительство провело в нем какое-нибудь одно направление, ряд последовательных оснований, словом — что устав имеет какое-нибудь единство, хотя бы мы с его основной мыслью и не были согласны. Прочтешь — и придешь к иному заключению. Какие основания взяло правительство? Взяло ли оно в основание общинное землевладение? В иных статьях взяло. А в других?.. А в других опрокинуло. Взяло ли в основание свободу выбора и самоуправления? Взяло, а в других статьях опрокинуло. Взяло ли в основание третейский суд? Взяло, да и опрокинуло. Может, оно взяло преобладание не народного, а дворянского выборного управления? Взяло, а в других статьях опрокинуло. Что ж, стало, оно взяло в основание чисто бюрократическое управление? Взяло, с большой нежностью к нему, но запутало его, поставив в постоянно враждебные столкновения и с помещиками и с крестьянами, чего, впрочем, иначе быть не могло, потому что бюрократия сама по себе — враг всему общественному. В результате, если мы возьмем уравнение равносильно-противуречащих начал, то их будет столько же положительных, сколько отрицательных, и устав неприложим, потому что он равен ничему или еще хуже: начàл противных освобождению больше, и тогда устав выходит уставом нового рабства. Но заметим, что если понимание спокойно сознает, что логическое противуречие равно нулю, то в жизни это сознание выражается иначе: оно выражается борьбой, страданием, ломкой, кровью, которая уже и начала литься, доказывая горькую истину наших слов. Вам захотелось поиграть в освобождение и вы не пожалели мужицкой крови, Александр Николаевич? Ну! смотрите — как бы вам ею не захлебнуться!

Первый вопрос, который невольно задаешь себе, прочитавши устав: для кого он написан? Всего меньше для

крестьян. Книгу в 43 листа двойного in folio ни один грамотей из крестьян не одолеет и ни один безграмотный не прослушает. Устав для крестьян должен быть написан на одном листе, в котором были бы изложены все основания освобождения, основания настолько ясные и определенные, что практика, что жизнь легко применила бы их к отдельному случаю и подробностям. Но для такой сжатости и определенности надо было, чтоб самая мысль освобождения была ясна, а у правительства не было ясной мысли; от этого оно и напутало огромную книгу туманно-зыбких положений, выдуманных в зале присутственного места, отрешенного от народа, от жизни, от действительности и ее потребностей.

Устав не написан даже и для помещиков. Его не одолеет ни помещик, занятый хозяйством, ни помещик, просто небо коптящий. Его станет одолевать только человек, которому это дело специально поручено от начальства и который найдет свою личную, корыстную выгоду толковать и перетолковывать сбивчивые статьи «Положения» тем удобнее, что какая-то тусклая полугласность и яркая безответственность специального по крестьянскому делу судопроизводства не помешает ему всякое противуречие со стороны крестьян счесть за бунт, а всякое противуречие со стороны помещиков — за красный коммунизм. Следственно, устав собственно написан для чиновничества, которому поручено приводить его в исполнение; он написан для грабящих, но не для грабимых, для канцелярии, а не для народа.

Вдобавок редакция его так бездарно небрежна или преднамеренно запутана, что он весь состоит из ссылок не на предыдущие, а на последующие статьи. В одном «Положении о выкупе усадьб и полевых угодий», т. е. на 32 страницах, мы начли 15 ссылок вперед. От этого для привычного грамотея читать устав — неопрятно, а для непривычного — непонятно. Если этот способ изложения законов, с ссылкой на последующие статьи, не есть преднамеренная запутанность из своекорыстных видов, то он доказывает, как неясно мысль укладывалась в головах издателей, как у них сил нехватало совладать с нею и как они ее трепетно, для самих себя сбивчиво, записывали. Такая пляска св. Витта в законодательстве всегда

обличает неясность понимания или, говоря простым языком, тупоумие законодателя.

С чего начать? Разрозненные главы «Положений», даже не связанные нумерацией листов, представляют отдельные тетради, в которых есть ссылки друг на друга, но нет внутреннего последовательного развития, так что можно принять любую за первую. Этот порядок беспорядка страшно затрудняет обзор; мы так же мало понимаем цель такого рода издания, как и формат его, который для прочтения требует налоя.

Начнем с чего-нибудь, хотя бы с двух тетрадей разом.

Вот «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»; вот «Правила о порядке приведения в действие положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».

1-я статья «Общего положения» говорит: «крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда». Кажется, просто, но тут прибавлено: «в порядке, указанном в настоящем положении и в других, вместе изданных положениях и правилах».

Заглянем в «Правила».

С первой страницы «Правил», ст. 2, ясно, что крепостное право на крестьян прекращается только по 4-м пунктам, стало, это неправда, чтоб оно вовсе отменялось, как может показаться из 1-й ст. общего «Положения».

По первому пункту 2-й ст. «Правил» прекращается «перекрепление личных прав на крестьян и дворовых людей и переуступка сих прав от нынешних владельцев другим лицам». Из этого можно заключить, что отменяется только перекрепление, но что крепостное право личное на крестьян и дворовых людей нынешним владельцам предоставлено. Стало, на этом 1-я ст. общих «Положений» побита и должна быть выражена так: крепостное право отменяется после смерти нынешних владельцев, или, если и прежде, то не теперь, а со временем.

По 2-му пункту «Правил» прекращается «переселение крестьян с одних земель на другие *иначе,* как на основании правил, установленных местными положениями». Заглянем в местные положения. В местных положениях для 29 великороссийских, трех новороссийских и двух белорусских губерний, в ст. 75, предоставлено помещику «тре-

бовать *обязательного* для крестьян перенесения усадьб: 1) если усадебное строение находится ближе 50 сажен от помещичьих строений; 2) если середь господских земель есть отдельная крестьянская усадьба, к которой не приурочено надела, и 3) если для разверстания помещичьих полевых угодий с крестьянскими встретится *необходимость* в перенесении нескольких или *всех усадьб селения*». Нет сомнения, что такое перенесение усадьб есть переселение с одних земель на другие. Замечательно, что в пущем разгаре крепостного права никому не приходило в голову переселять крестьян с места на место оттого, что их усадьба ближе 50 сажен от господского дома, или конюшни, или хотя бы пустого сарая, который хотя пуст, но все же помещичье строение; стояли они десятки лет до мнимого прекращения крепостного права, и тут вдруг, не спросясь, хочет крестьянин переселиться или нет, его переселят; эта причина обязательного переселения, и только именно эта, показалась правительству такой непреложной истиной, что этот пункт даже не подвержен апелляции, как видно из ст. 76, относящей два другие пункта на решение губернского присутствия, если дело не решено единогласно на мировом съезде. *Необходимость* перенесения усадьб (ст. 72, пункт 3) не определена; признать ее необходимостью отдано на произвол мирового съезда, которого председатель — уездный предводитель *дворянства;* представляет ее мировому съезду мировой посредник, назначенный губернатором *из дворян, но не выбранный крестьянами;* если же и тут найдется голос в пользу крестьян, то решит губернское присутствие... из десяти случаев в девяти — в пользу помещика. Это обязательное переселение допускается не далее, как от 10 верст до 15 (ст. 81), но на счет помещика, причем, однако, помещик, если дает на новом месте новые усадьбы, то старые берет себе. Тут, конечно, право помещика переселять крестьян ограничено по расстоянию и, по решению губернского присутствия, из десяти случаев раз в пользу крестьян; но тут также признан и узаконен новый повод к произвольному переселению, который не существовал и при крепостном праве. Стало, это — новое побуждение к произволу помещика переселять крестьян с места на место, так что относительно усадьб этот пункт 2-й ст. «Правил» противуречит сам себе, потому не прекращает, а создает право

переселения, и, очевидно, уже совершенно противуречит 1-й ст. общего «Положения», т. е. не отменяет, а вводит новый вид крепостного права.

Но, может, правительство в этом пункте думало не об усадьбах, а о землях, и только неясно выразилось. Во-первых, зачем же в законах неясно выражаться? А во-вторых, заглянем во 2-ю главу местных положений: «Об обмене земель и угодий». Ст. 93 предоставляет помещику право, независимо от полюбовных соглашений, требовать от крестьян обмена земель, отведенных им в пользование, для *приведения в исполнение своих хозяйственных предприятий,* из которых 1-е по ст. 94,— если в крестьянском *наделе найдется торф.* Перемена надела потребует переселения. Крестьян переселят, и несмотря на то, что по ст. 96 при обмене земель следует дать им земли *равные по достоинству,* следственно, если при них в наделе нашелся *торф,* то и новый надел следовало бы им дать с *таким же торфом,*— торфа им все же не дадут, а только переселят. Разве дадут вознаграждение по ст. 96; ну это больше чем сомнительно, потому что вознаграждение отдано на произвол помещичье-чиновничьего суда. Впрочем, кроме торфа, составляющего по смыслу 93 ст. *хозяйственное предприятие,* есть иные причины для обязательного обмена земель, как то (ст. 94): проведение канавы, устройство перевоза, или устройство водяной мельницы, или фабрики, хотя бы *один* только *берег* находился в пользовании крестьян. И опять мировой посредник представит требование помещика уездному мировому съезду под председательством уездного предводителя дворянства, и опять, если один голос найдется в пользу крестьян, то дело пойдет на решение губернского присутствия, которое решит из десяти раз девять в пользу помещика.

Следственно, и по обмену земель, пункт 2-й ст. 2-й «Правил» противуречит 1-ой ст. общего «Положения», т. е. отмене крепостного права. В старом крепостном праве прекращены переселения крестьян по произволу помещика *дальние,* но в новое крепостное право введены переселения *ближние.* Дальние были редки, а ближние будут многочисленны и произведут повсеместный разгром крестьянского хозяйства.

Те же правила повторены и в местных положениях невеликороссийских губерний.

Следственно, равно по обязательному перенесению усадьб и обязательному обмену земель крепостное право не отменено, а изменено; старое крепостное право заменено новым крепостным правом.

По 3-му пункту 2-й ст. «Правил» прекращается «отдача крестьян и дворовых людей владельцами посторонним лицам в услужение и отдача малолетних из крестьян и дворовых в обучение ремеслу или на воспитание, без согласия родителей или воспитателей».

Это действительно пункт, прекращающий два случая крепостного права; если б 1-я ст. общего «Положения», т. е. отмена крепостного права, лежала в мысли правительства с полной искренностью, то этот пункт «Правил» был бы лишним, потому что входил бы в общее последствие отмены крепостного права. Но он должен был занять место в «Положениях» именно потому, что крепостное право, по внутренней мысли правительства, отменялось только в некоторых случаях, а вовсе не в целом объеме. И тут мы видим ту странность, что помещик имеет право отдать малолетнего в обучение с согласия родителей, согласие, которое, при неполной отмене крепостного права, легко вынудить. Как бы то ни было, мы этот пункт пометим одним из случаев, где старое крепостное право прекращено и ничем не заменено в новом крепостном праве.

По 4-му пункту 2-й ст. «Правил» прекращается «отдача крестьян и дворовых людей, без *разрешения* подлежащего учреждения, в исправительные заведения или в распоряжение правительства», т. е., попросту сказать, в рабочие дома и в солдаты, и ссылка в Сибирь. Тут мы спрашиваем, что такое значит слово *разрешение?* Если правительство думало, что нельзя наказывать без суда, это было бы совершенно справедливо; тогда оно так бы и сказало. Но оно употребило слово *разрешение;* следовательно, помещик подает мировому посреднику прошение о разрешении такого-то мужика послать в рабочий дом, или отдать в солдаты, или сослать на поселение; мировой посредник представит в губернское присутствие, которое *разрешит* или *не разрешит* по своему произволу. Заметьте, что тут произвол, а не суд: для суда потребовалось бы *следствие* о проступке или преступлении, и виновный был бы *судом приговорен* к надлежащему наказанию

по закону. Тут этого не требуется; тут произвол помещика может быть подтвержден (из десяти случаев по крайней мере в пяти) губернским присутствием. При этом правительство под названием: отдача в *распоряжение правительства,* сохранило право *наказания рекрутством,* что очень естественно, потому что наши цари сделали из военной службы каторгу; этот пункт подает надежду, что правительство и впредь намерено из жизни солдата, т. е. человека, готового проливать свою кровь за отечество, делать постоянную каторгу. Утешительно видеть, что таков остается взгляд правительства на военную службу; по крайней мере перестанешь возлагать на него ложные надежды. Почему при этом 4-м пункте 2-й ст. «Правил» сноска на 157-ю ст. общего «Положения», мы никак не могли понять; ст. 157 дозволяет исключения из общества и отдачу в распоряжение правительства крестьянина, по мирскому приговору, не *иначе,* как при отзыве о нем помещика, а если отзыва помещика через месяц не будет, то дозволяет и *иначе,* т. е. без отзыва. Что это имеет общего с отдачей людей в наказание по желанию помещика?.. Не понимаем. Во всем этом мировой посредник играет роль не посредника между крестьянами и помещиком, а посредника между помещиком и уездным мировым съездом или губернским присутствием. Мировой посредник невольно вовлечен в канцелярское адвокатство, следственно, во взяточничество. В заключение: мы не можем отнести пункта 4-го 2-й ст. «Правил» к отмене крепостного права, а разве к ограничению его произволом губернского присутствия, что составляет вид *нового крепостного права* и, следственно, положительно опровергает 1-ю ст. общего «Положения».

Таким образом, мы приходим к тому, что *отмена крепостного права* имеет место только в случаях, означенных в пункте 3-м ст. 2-й «Правил» (отдачу в услужение и учение), а по трем остальным пунктам крепостное право вообще *не отменено,* но только *старое заменено новым.*

Ст. 2-я общего «Положения» предоставляет «крестьянам и дворовым людям, вышедшим из крепостной зависимости, права состояния сельских свободных обывателей, как личные, так и по имуществу. В пользование сими

правами они вступают тем порядком и в те сроки, какие указаны в «Правилах» и в особом положении о дворовых людях».

На этот раз займемся правами личными, в которые они вступают немедленно.

Первый пункт ст. 3-й «Правил» дозволяет, на основании 23-й ст. общего «Положения», вступление в брак без разрешения помещика. Это для крестьян представляет случай отмены крепостного права, но для дворовых, которые по ст. 9-й «Положения об устройстве дворовых людей» останутся в услужении при помещиках два года, ровно ничего не представляет, потому что, по ст. 4-й «Положения» о дворовых, помещик не обязан давать помещение и содержание жене женившегося без его позволения. Дворовые, находящиеся в прислуге, едва ли средним числом получают жалованья больше 10 рублей в год; где же ему жениться, если он не может отойти от помещика и добывать себе пропитание промыслом, а из 10 рублей в год поместить и содержать жену не в состоянии? Стало, этим пунктом дворовые слуги не воспользуются. Они обмануты досконально; лучше уж было сказать, что для них крепостное право на два года не отменено и не изменено.

Остальные пункты 3-й ст. «Правил» признают крестьянина и общину за юридическое лицо. Крестьяне могут обществом и отдельно приобретать движимые и недвижимые имущества, вступать в договоры и обязательства с казною и частными лицами, производить торговлю, записываться в цехи и гильдии (ст. 23 общего «Положения»), вести тяжбы, защищаться по уголовным делам и быть свидетелями и поручителями.

Все эти права за ними признаются теперь же. Но могут ли они ими воспользоваться? Кто вступит в договор с человеком, которого можно с *разрешения* отдать в солдаты? Да и сам он захочет ли вступать в договор? Захочет ли приобрести недвижимое имущество или рискнуть капиталом, приписавшись в гильдию, когда он не уверен в своей личной неприкосновенности? Захочет ли общество предпринять какую-нибудь покупку земель, когда оно не обеспечено даже в неприкосновенности своих усадьб? Замечательно, что по примечанию к 24-й ст. общего «Положения» воспрещается крестьянам начинать иски против

помещиков по *действиям, кои* совершились до обнародования «Положения». Следственно, если помещик до обнародования «Положения» занял у крестьянина денег или взял деньги за отпускную, а отпускной не дал, то крестьянин не имеет права требовать уплаты или возврата! Ст. 32 общего «Положения» составляет исключение, но не помогает делу, потому что относится только к недвижимым имуществам, купленным на помещичье имя.

Из всего следует, что право юридического лица, признанное за крестьянами, при неотмене крепостного права и замене старого крепостного права новым — право призрачное, которым крестьяне могут воспользоваться только в немногих исключительных случаях: если помещик добрый человек, если посредник хорош, если предводитель хорош, если губернское присутствие не сфальшит,— вообще не в большем числе случаев, чем представлялось в том же отношении при старом крепостном праве. Следственно, 3-я ст. «Правил» и 2-я общего «Положения», как статьи призрачные, нисколько не подтверждают 1-й ст. общего «Положения» и находятся с новым крепостным правом в том же противуречии, как и с старым.

С горечью в сердце и глубокой печалью мы должны сознаться, что кроме дозволения крестьянам вступать в брак без согласия помещика, что и без того делалось в именьях, где помещики не жили, личных прав для крестьян, *вышедших* из крепостной зависимости, не существует, потому что они из крепостной зависимости *не вышли.*

Это заглавие: *вышедших* — *ложно.*

Старое крепостное право заменено новым.

Вообще крепостное право *не отменено.*

Народ царем обманут!

II

Народ царем обманут!

Эта мысль выглядывает из всех «Положений о крестьянах». Она преследует нас во всех газетах, где постоянно рассказывается о неповиновении крестьян, ожидавших полной воли и не понявших устава о новом рабстве; рассказывается со всевозможными смягчениями и утайками о расстреливаниях, шпицрутенах или просто:

о *наказаниях,* где правительство неопределенностью слова хочет избегнуть признания в убийствах или палачестве.

Читая эту летопись дурно прикрытого военно-чиновничьего злодейства, нам приходит на ум: неужели Александр II, когда остается один, ну хотя бы воротясь с медвежьей охоты, или после путешествия с императрицей по монастырям,— неужели в минуту уединения и раздумья он никогда не подумал, что он *убийца* и *палач?* И что тут нечего извиняться — я-де не сам, из собственного ружья, расстреливаю и не собственной высочайшей рукою порю?.. Неужели, при этой мысли, он никогда внутренно не содрогнулся, особенно вспомнив, что виновата не жертва, а бестолковость царских законов? Неужели у него никогда не навернулась горькая слеза и он не почувствовал к себе глубочайшего презрения? Если мысль, что он палач и убийца,— приходит ему в голову и мучит его,— пожалуй, в нем еще отыщется доблесть — просить у народа прощения. Ну, а если она ему никогда не приходит в голову?.. Тогда он просто жалкий и ничтожный человек, который — по тупоумию и нераскаянности — может тешиться казенной благодарностью каких-то шереметевских мужиков, в то время когда сам льет неповинную кровь народа и награждает крестами своих наемных злодеев.

Но возвратимся к «Положениям».

Вопрос: отдается ли крестьянам их земля — вовсе не решен. Есть статьи, из которых кажется, что правительство хлопочет, как бы отдать землю крестьянам, и только ради хитрой учтивости прикрывает свою мысль словами, что земля помещичья; а из других статей кажется, что правительство чувствует, как, по всему складу русской жизни, по всему смыслу русского ума, земля выходит — достояние народное, но хлопочет изо всех сил, как бы отнять у народа землю и оставить ее за помещиками, а следственно, и за императорской семьей. Из противуречия двух направлений правительство создало ряд таких сбивчивых отношений, что ни помещики, ни крестьяне не будут в состоянии одной минуты жить спокойно. Шатаясь в угаре этого противуречия, правительство поверило в собственное бессилие и не только отдалило мысль о выкупе, но создало проект, по которому выкуп невозможен.

Мы постараемся доказать это самым кратким образом; мы боимся, чтобы наш разбор не вышел слишком длинен; мы боимся вдаться в подробности, лишние в самих «Положениях»; это было бы бесполезно: сама жизнь покажет и уже показывает, что не только подробности, но и самые разноречащие основания «Положений» неисполнимы; сама жизнь рушит их помимо всякого печатного разбора; сила обстоятельств невольно отталкивает все, для жизни невозможное.

Статьей 3-й общих «Положений» правительство признало земельную собственность за помещиками, а за крестьянами — право постоянного пользования. Следственно, у помещиков есть собственность, которой они не могут свободно распоряжаться, потому что крестьяне имеют *право* пользоваться этой собственностью. Следственно, эта земельная собственность у помещиков не есть собственность. Очевидно, что признание земли помещичьею — чистая ложь; из-за нее выглядывает настоящее, коренное, правительством со страху и по корысти утаенное основание русской жизни, что земля достояние народное, общее.

Крестьяне имеют право на постоянное пользование землей — но с условием — нести барщину или оброк (ст. 4 общих «Положений»). Следственно, несогласный нести барщину или оброк не имеет права на пользование землею; а так как барщина и оброк, налагаемые частным лицом, сверх податей на общие народные нужды, не могут не быть делом насилия и крепостного права, то народу остается только отказаться от земли, чтоб выйти из крепости, или оставаться в крепости, чтоб сохранить землю. А если крестьяне откажутся? Нельзя же всех расстрелять, придется дать земли в других местах; вывод тот же: крестьяне без земли, в России, немыслимы. Из этого опять выглядывает одно спасительное и неодолимое основание, что земля, которою народ пользуется,— общее народное достояние и, следственно, это пользование не подлежит условиям частного найма и закрепления, а составляет народное право. Но как скоро правительство признает не это право, а право пользования будто бы *помещичьей землей,* то оно не может не прийти к узаконению только крепостного состояния; *это право пользования не что иное, как то же крепостное право.*

Постановив две нелепости, которые не только друг другу, но каждая сама себе противуречит, правительство думало спастись, выпалив в публику третьей нелепостью — нелепостью *добровольных соглашений* (ст. 6 общих «Положений»). Но для добровольных соглашений та же 6-я статья ставит обязательные условия, или пределы, определяя сроки договоров и ссылаясь на местные положения. Местным положениям несть числа, и они продолжают и теперь, после издания «Положений», изменяться и усложняться в губернских присутствиях. Но если бы их было и очень мало, если б даже вместо 30 листов их было всего один лист, то и этого было бы достаточно, чтоб из добровольных соглашений сделать не добровольные, а соглашения по регламенту, соглашения обязательные. И сверх того, нелепость собственности, которая не собственность, и нелепость права пользования, которое есть крепостное право, нисколько между собою не примиряются посредством добровольных соглашений. Смысл обеих нелепостей указывает только на невозможность добровольных соглашений. Какое может быть добровольное соглашение, когда я обязан отдать собственность в пользование? Какое добровольное соглашение, когда я обязан мое право пользования купить ценою рабства или сделаться бобылем и итти в батраки, т. е. опять в рабство?

Что же выходит из этих трех нелепостей? Новый вид крепостного права по *уставным грамотам* (ст. 7 об. пол.). Старое крепостное право было *общее* и прилагалось равно ко всякому частному случаю. Оно подразумевалось. Уставная грамота есть засвидетельствованный (юридический) *акт крепостного права для каждого отдельного случая*. В чем же выигрыш для крестьян? В чем выигрыш для помещиков? Кроме запутанной определенности, вводимой в хозяйство и тех и других, никому нет ни малейшей выгоды, и новое крепостное право такое же зло, как и старое.

Правительство не могло не сознавать этого, хотя бы и смутно. Оно чувствовало, что не дало земли ни помещикам, ни крестьянам, ни государству, а оставило право землевладения в каком-то туманном колебании. Стало, надо было ухватиться за мысль о выкупе тем более, что

о выкупе уже все кричали: кричали публицисты — защитники ренты и фермерства, кричали и публицисты — защитники общины и народного землевладения; кричали и помещики, ожидавшие пособия для своих расстроенных и нерасстроенных хозяйств; наконец, сам народ вопросительно ждал, как-то устроят выкуп.

Но как ухватиться за выкуп собственности или права владения, поставленных в состояние мглы и колебания? Как выкупать, что выкупать, кому выкупать, у кого выкупать, кому и за кого отвечать, кому и за кого платить — правительство не могло ничего ясно для себя решить, потому что самое основание для него не сложилось: оно не знало, кому принадлежит неотъемлемое право землевладения. В этом состоянии правительственного слабоумия, конечно, первая мысль была отсрочить выкуп как можно подальше; авось люди покамест как-нибудь да уладятся, рожь перемелется — мука будет. Но отдалить казалось правительству возможным, а вовсе отказаться оно боялось; вовсе отказаться как-то уже было совестно или стыдно: народ, мол, заподозрит во лжи, а мыслящие люди — в глупости. Правительство только не заметило, что уже самое отдаление выкупа поставило его в глазах всех не в подозрение, а в несомненность лжи и неспособности.

Первым последствием его непонимания русской жизни и веры в собственное бессилие было разделение выкупа на отдельный выкуп *усадеб* особняком и на выкуп пахотных земель посредством *содействия* правительства (Положение о выкупе, ст. 1).

Предоставление крестьянам *права выкупать* в собственность усадебную оседлость (ст. 2) доказывает совершенное непонимание России и уродливое двоедушие правительства.

Выкуп усадьбы, выкуп своего крова для крестьянина, кроме немногих исключений, значит выкуп права жизни. Куда деваться крестьянину без усадьбы? И зачем земледельческому крестьянину усадьба без полевого надела? Ни одна земледельческая община не станет выкупать усадеб без полевого надела; ст. 9 положений о выкупе, предоставляющая право выкупать усадьбы целым обществом, совершенно призрачная. Зачем общине выкупать *здесь* усадьбы, когда ее полевой надел разве *там,* куда она

переселится? Кто же станет выкупать усадьбу? Отдельные лица, те немногие сотни крестьян, которые разбогатели торговлей или участием в винном откупе и которым полевой надел не необходим.

Из-за этого, во-первых, не стоило отделять выкуп усадеб от выкупа надела; немногие богатые крестьяне ничего не потеряли бы, не отделяясь от общины, и продолжали бы свои промыслы попрежнему. Во-вторых, тут кроется двоедушие правительства. Уверяя везде, что оно не трогает общинного устройства, оно везде стремится насильно ввести земельную собственность особняков. Оно старается поощрять частные сделки, взамен сделкам общественным, предоставляет им льготы (прим. 2 к статье 5), покровительствует введению отдельных наделов там, где их нет (местные великороссийские положения, ст. 1, приложение 1, ст. 115 и 116). Его невольно пугает сельский артельный склад, и оно хлопочет привести все к складу городовому, где выгоды одного противуположны выгоде другого и где, следственно, управление посредством канцелярского грабежа найдет более удобную почву для продолжения своего существования. Оно невольно чувствует, что устройство общины административной при разрозненности экономических выгод гораздо меньше опасно для канцелярии и самодержавия, чем развитие общины экономической при совокупности артельных и, *следственно,* административных выгод. Первая может существовать *под управлением,* вторая необходимо *потребует самоуправления.*

Но и тут двоедушие до добра не доводит: положим, что многие пойдут в особняки, отдавая последнюю копейку, лишь бы отделаться от неурядицы, введенной положениями; но чем больше правительство создаст особняков, тем меньше оно может *содействовать* общему выкупу и, следственно, тем больше возбудит к себе ненависти и в народе и в помещиках.

В самом слове *содействие* выкупу — слышна нерешительность; это не прямое учреждение выкупа, это только *содействие.* Правительство чувствует свое бессилие, но вместе с тем не теряет надежды поправить, посредством выкупа, свои гнилые финансовые обстоятельства, а потому предлагает дворянству понемногу скупать у него право на крестьянский оброк, за свои 5% облигации,

которые таким образом правительство сбудет с рук рубль за рубль, а не по курсу, который и не известен и сомнителен. Такое *содействие* выкупу посредством выдачи облигаций за наличный годовой взнос от крестьян правительство назвало *выкупною ссудою*, ст. 27, между тем как это—правительственный *заем* (весьма выгодный, если б был возможен), при котором оно с мужиков будет получать рубль в то время, когда облигации будут ходить по полтине. Предвидя шаткость своих бумажек и, следственно, большую неохоту со стороны помещиков принимать облигации сомнительного курса по нарицательной цене, и большую неохоту со стороны крестьян принимать ссуду, уплату которой будут с них сбирать из-под военно-канцелярской палки, предвидя общее недоверие к негласному или солганному употреблению государственных доходов, правительство решилось оказывать свое содействие выкупу понемножку, исподволь, там, где надел предоставится крестьянам по *добровольным соглашениям, общинно или порознь,* и там, где помещик *один захочет* — не спрашивая согласия крестьян — принять для них ссуду и дать им надел общинно, в количестве, требуемом местными положениями (ст. 34, 35, 36).

Стало, *содействие* будет оказано не разом для всех, а то тут, то там. Неужели правительство серьезно думает, что выпуск облигаций по мелочи поднимет их курс? Совсем напротив: эта нерешительность отнимет последнее нравственное доверие к правительственным финансам, и капиталист на мелочной выпуск облигаций станет смотреть как на всякий частный заем без залога. Нельзя предполагать, чтобы *содействие* посредством облигаций уменьшило число существующих облигаций, выпущенных ради иных правительственных целей; также нельзя предполагать, чтобы эти иные цели исчезли, потому что начался выкуп земель. Стало, все облигации по *содействию* увеличат сумму правительственного внутреннего займа и, следственно, понизят достоинство правительственных бумаг. Капиталист, к которому обратится помещик для размена своих облигаций, нисколько не придет в умиление от ст. 27 положения о выкупе:

«Определенная по правилам сего положения сумма, выдаваемая помещику, *под приобретенные крестьянами*

в собственность мирские земли * и угодья, обеспеченными (гарантированными) правительством бумагами, именуется *выкупною ссудою*».

«*Под* приобретенные земли...», подумает капиталист, стало, земли служат залогом. Быть не может, это слишком нелепо. Если бы крестьяне перестали платить правительству, разве оно может продать эти земли с торгов? Куда же оно денет мужиков? Переселит? Стало, опять отведет им землю. В чем же была бы выгода ипотеки? Стало, это не залог, и выражение *под* приобретаемые земли просто глупо. Чем же обеспечены правительственные кредитные бумаги? Правительственной гарантией? Да гарантию напрасно переводят словом обеспечение; это только поручительство. Надо, стало, знать состоятельность поручителя; ну, а если поручитель станет платить мне только своими векселями, которые на рынке ниже полтины за рубль? Эге... да тут вот что: правительство выдаст облигации по нарицательной цене, а с мужиков годовые взносы станет получать наличными. Фонд погашения накопится, а между тем курс облигаций, по их избытку и по несостоятельности правительства, упадет и агенты правительства скупят их за безделицу. В доказательство — примечание к статье 143 положения о выкупе:

«В видах скорейшего погашения банковых билетов, дозволяется главному выкупному учреждению, с разрешения министра финансов, производить усиленный тираж оных, по нарицательной цене, *или покупать билеты, продающиеся на бирже, по существующей биржевой цене,* относя потребные в том и другом случае расходы на счет остатков от упомянутого *запасного капитала*».

Этот *запасной капитал* будет взиматься (по ст. 143) с крестьян на *управление* выкупной операции; очевидно, что правительство и ажиотировать хочет так, чтоб жалование правительственным биржевым агентам, сверх выкупа помещикам, платили крестьяне же. Красиво! Нет, г. помещик, больше полтины за рубль я не рискну, говорит капиталист, не то ждите, пока агенты правительства скупят их у вас ниже полтины. Уж лучше было бы просто сумму выкупа понизить наполовину, по крайней мере

---

* Ст. 34, 56, 59, 62, 63 и 131 указывают на содействие не на одни мирские земли, а также и на отдельные участки.

мужикам пришлось бы вдвое меньше платить. А тут, кто останется в дураках? Помещик, который получит половину или меньше против того, что ожидал; капиталист, который рискнул сгоряча; крестьянин, который заплатил *все* вместо половины... а правительство сыграет в выгодную биржевую игру! То-то оно и боится разом высказаться и хочет заманить в игру понемножку. Знаете что, г. помещик? я и вам-то не советую брать этих облигаций — разоритесь!

Другое дело, если б правительство взялось откровенно руководствовать выкупом. Оно сказало бы, что все земли, ныне заселенные и обрабатываемые крестьянами, остаются в их мирском владении; помещикам в вознаграждение назначается мильярд рублей серебром, который крестьяне годовыми взносами (annuités) выплатят в известное число лет. Сколько кому из помещиков причтется из этой суммы, пусть господа помещики разберут сами между собой и выдадут каждому на надлежащую сумму выкупные листы. Крестьяне всех наименований в России облагаются одинакой податью, не выше той, которую ныне платят государственные. 5% на капитал и 1% погашения, т. е. шестипроцентный годовой взнос, на мильярд составит 60 миллионов. Эти 60 миллионов ежегодно будут отсчитываться из податей на уплату помещикам, пока весь мильярд погасится. Сбор податей круговою порукою и доставление их в сроки в казначейства крестьяне будут производить сами, без вмешательства посторонних чиновников; следственно, крестьяне не будут грабимы и разорены, и уплата пойдет успешно. Отчет в сборе податей, уплате процентов и капитала по выкупным листам и общем расходе податных сборов, равно как и о курсе выкупных листов, будет публиковаться во всех столичных и губернских ведомостях два, три, четыре раза в год и даже чаще, смотря по надобности и движению капиталов. Но с сей минуты все обязательные отношения между крестьянами и помещиками прекращаются. Поверка границ крестьянских владений будет производиться, в случае недоразумения, на основании показаний окольных жителей; случаи спора подлежат третейскому суду.

Такое откровенное и ясное уничтожение крепостного права и наделение крестьян землею совершенно удовлетворило бы крестьян и не произвело бы между помещиками

большого неудовольствия. Достоверность получения уплаты из податей, обеспеченных круговою порукою общин, освобожденных от чиновничества, и *отдельность* выкупных бумаг от правительственных снискали бы выкупным бумагам все то доверие, которое денежный рынок обычно дает поземельному кредиту, несмотря на то, что невозможная в России ипотека была бы заменена круговою порукою. Следственно, помещики очень скоро успокоились бы и принялись бы за свои новые хозяйства.

Но правительство на такую ясность не решилось, потому что ясность поставила бы и крестьян и самых помещиков в положение слишком независимое от правительства, потому что она действительно упразднила бы не только помещичье, но и государево крепостное право; отдала бы право на землю русскому народу и вычеркнула бы нелепость государева права на землю; наконец, потому что она имела бы целью благосостояние народное, а не подштопку до дыр изношенных финансов правительства. И вот правительство решилось предложить, робко и с недоверием к самому себе и к своему проекту, выкуп по частям, выкуп вразбивку, на основании правительственной биржевой игры, правительственного ажиотажа, скупки правительственных векселей по нескольку копеек за рубль. Доктринаризм, примкнувший к правительству [7], подумал, что это так и следует по науке, что биржевая игра — она-то и есть политическая экономия, что обороты мошеннического расчета — они-то и составляют основы финансовой теории, и нисколько не заметил, что данные, из которых слагается наша народная, бессословная жизнь, с правом каждого на землю, вовсе не требуют, чтобы мы следовали за ложнонаучным безобразием. Правительство и доктринаризм не заметили, что отсутствие капиталов, сосредоточенных в руках одного сословия, делает у нас вообще большую биржевую игру невозможной, а присутствие канцелярского заправления финансами делает всего меньше возможною правительственную биржевую игру. Они не заметили, что отсутствие капиталов, сосредоточенных в руках одного сословия, не значит еще отсутствие капиталов вообще; что излишки от годового труда земледельца составляют мелкие капиталы, которых сумма огромна, так что при свободном труде и без чиновничьего

грабежа, если положить, что крестьяне могут иметь годового барыша, сверх прожитка, хотя по 2 р. с. на душу, то на 22 миллиона душ это составит, по крайней мере, 44 миллиона рублей серебром, или около 176 миллионов франков в год; но что эти излишки, не поглощенные в сосредоточенные капиталы, могут перейти только в правильное развитие общественного кредита, совершенно несовпадающего с расчетами подтасовок биржевой игры. Правительство и доктринаризм не поняли, что замена ипотеки круговой порукой и присутствие мелких капиталов, составляющих трудовой барыш, указывают на то, что наши капиталисты — общины и требуют образования сельских, общинных банков, а не акционерного или помещичьего поземельного кредита; не поняв этого, правительство и доктринаризм создали для обеспечения выкупной операции какую-то систему полу-ипотеки (статьи 126—139), которая не что иное, как полицейское вмешательство в общинные дела, и потому способна создавать, а не пополнять недоимку.

Что же выйдет на поверку? Сообразить не хитро. Здравый смысл публики не поверит проекту правительства скупать, по случаю выкупа, свои кредитные бумаги за ничто, а потому никто в России (а тем менее за границей) не рискнет покупать правительственные бумаги, которых упадок был бы для правительственной биржевой игры выгоден,— и выкупа не будет. Страх народа перед разорением, неминуемо следующим за полицейским вмешательством в недоимочные сборы, сделает в народе самую мысль о правительственном *содействии* выкупу земель ненавистною, и выкупа не будет. Создадутся особые учреждения, заведывающие выкупною операцией (глава 2 положения о выкупе), устроятся новые канцелярии (ст. 42), пойдет новая переписка; на все на это с крестьян соберут особые лишние деньги, особые *запасные капиталы,* а выкупа не будет; и останется *навсегда установленное переходное положение,* т. е. *новое крепостное право,* с барщиной и оброками, определенными местными положениями, бесчисленными до неопределенности, под надзором новосозданного чиновничества — при сохранении чиновничества прежнего.

Народ царем обманут!

III

Основания, принятые правительством для выкупа, слишком очевидно сами себя опровергают; затруднения, поставленные выкупным договорам допущением дополнительных платежей (точно ради приглашения господ помещиков назначать выкуп как можно подороже), и затруднения, поставленные канцелярскими ступеньками — от мирового посредника, через губернское присутствие, до начальника губернии,— все эти затруднения, как и самый выкуп, значатся только на бумаге, потому что *до этого выкупа никогда дело не дойдет.* Правительство настолько само не верит в его возможность, что в «Правилах о приведении в действие положений» даже слово: выкуп — нигде не упомянуто. Но всего замечательнее то, что сам народ в него не верит и не признает его: правительство постановило одним из непременных условий своего *содействия* переход с барщины на оброк (ст. 30 положения о выкупе); между тем мы получаем с разных сторон известия, что народ *отказывается переходить с барщины на оброк,* соглашаясь лучше два года вытерпеть барщину, *как насилие,* чем *признать,* с правом на вечный оброк (ренту), *помещичье право на землю.* Народ знает, в силу обычая, выращенного историей, что земля *его, а не помещичья,* и что он может и хочет, во избежание горьких столкновений, дать помещикам *пособие, вознаграждение,* но не обязан ни оброком (рентой), ни выкупом. *Народ говорит,* что все сословия должны участвовать в пособии помещикам; иными словами: все государство, во избежание горьких столкновений и ради поправления общей исторической ошибки, должно пособить помещикам, но отнюдь не признать помещичье право на землю, вместо права на землю народного. Из этого народного отказа переходить с барщины на оброк и согласиться на узаконение ложного и чуждого в России основания должны же, наконец, правительство и доктринаризм увидать, что они наткнулись на новое понимание поземельного владения и что им его не одолеть, потому что оно имеет силу здравого смысла, жизни и обычая, которая *сильнее* их силы.

Теперь обстоятельства стали так: народ считает землю народною и согласен *и может* дать помещикам пособие; правительство признало землю помещичьею и, сочинивши

надувательный выкуп, в котором оказать содействие *не может,* учредило для крестьян *постоянное пользование* землею, обложив их барщиной или оброком, т. е. учредив новое крепостное право, где все, что́ смягчено в праве крепостном помещичьем, перенесено в крепостное право, представленное новосозданному чиновничеству. Это *постоянное пользование* расписано в «местных положениях». Чего не напутало правительство в несчастных «Правилах» и «местных положениях», которых народ не понимает только потому, что они бестолковы! Читая их, все больше и больше чувствуешь, что зашел ночью в лес без дороги... Возьмем несколько примеров.

На каком основании в «местных положениях» для определения величины надела Россия разделена по свойству, по геологическому образованию почвы — мы никак понять не можем. В чем состоял вопрос? Надо было знать, в какой местности сколько земли приходится на душу, потому что, естественно, в местностях многоземельных крестьяне и теперь владеют бо̀льшим количеством земли, а в малоземельных меньшим. Стало, вопрос состоял в определении отношения народонаселения к количеству земли, а совсем не к свойству земного слоя. Если бы правительство рассматривало Россию исключительно со стороны земледельческого искусства, и то нельзя было бы разделить ее по гуртовому различию почвы; надо было бы принять различие климатических условий, способов обработки и т. д. Но вопрос о наделе на душу земли, какая где ни на есть, уже совершенно не зависит от свойства почвы; геологическое разделение неприложимо. Правительство само это почувствовало и определило особый отдел: *степной,* где уже не спрашивается, что̀ там такое — чернозем или глинозем, а только известно, что земли *много,* стало, и надел должен быть больше. Степная полоса определена правительством по отношению количества земли к народонаселению; а остальное разделение на полосы и местности определено по отношению свойства земли... к чему — неизвестно; даже не к ценам на земли, потому что и эти цены определяются густотою населения и удобством сбыта произведений. Даже размер оброков не может быть определен геологическим качеством почвы; число дней барщины — и подавно. А между тем геологическая точка зрения, в юридико-экономическом разделении,

создала совершенно искусственные, т. е. ложные, соединения в одну графу, в один отдел. Например, общее деление на полосы ставит в одну полосу нечернозема губернии Московскую и Вологодскую, некоторые уезды Орловской и Вятской губерний; или, по чернозему, в одну полосу уезды губерний: Орловской, Вятской, Тульской, Пермской, Рязанской, Оренбургской. А разделения на местности в следующем роде:

Нечерноземной полосы 3-я местность (высший надел 3 десятины 1,200 саж., низший надел 1 десятина 400 саж.)

Губернии Владимирской,
Уезды: Александровский, где на душу десятин . . 5,87*
Владимирский » » » » . . 6,16
Муромский » » » » . . 5,15

и рядом

» Казанской,
Уезд Чебоксарский » » » » . . 10,4
» Московской,
Уезды: Верейский » » » » . . 4,9
Волоколамский » » » » . . 5,2
Дмитровский » » » » . . 8,5
Звенигородский » » » » . . 7,7
Клинский » » » » . . 6,4
Можайский » » » » . . 3,9
Рузский » » » » . . 7,2

и рядом

» Нижегородской,
Уезд Балахнинский » » » » . . 13,2

или:

Черноземной полосы пятая местность (высший надел 4 десятины, низший — 1 десятина 800 саж.).

Губернии Воронежской,
Уезд Новохоперский, земли на душу десятин . 7,6
» Вятской,
Уезды: Елабужский » » » » . 18,0 } **
Малмыжский » » » » . 16,5 }
Сарапульский » » » » . 8,2

* Сведения о продажных ценах на земли, изд. земского отдела М. В. Д., 1859 г.

** Приложение к докладу хозяйственного отделения, № 15.

Губернии Казанской,			
	Уезды: Спасский,	земли на душу десятин . . .	10,0
	Чистопольский	» » » » . . .	23,2
» Пензенской,			
	Уезд Чембарский	» » » » . . .	6,9
» Самарской,			
	Уезд Ставропольский	» » » » . . .	7,0
» Саратовской,			
	Уезды: Кузнецкий	» » » » . . .	6,3
	Саратовский	» » » » . . .	10,9
» Симбирской,			
	Уезды: Сенгилеевский	» » » » . . .	10,0
	Симбирский	» » » » . . .	6,5
	Сызранский	» » » » . . .	11,7
» Харьковской,			
	Уезды: Змиевский	» » » » . . .	15,1
	Изюмский	» » » » . . .	13,4

Из этих цифр очевидно, что определение надела по такой классификации уродливо. Чистопольский уезд, например, размером надела должен подходить к степной полосе, а совсем не к Чембарскому уезду. Очевидно, что наделы трогать было нельзя; что надо было их оставить, как они где существуют, оградив только предел, ниже которого уже ясно виделся помещичий грабеж; что местные условия слишком разнообразны, чтоб подвести их под классификацию; что всякое правительственное разделение на графы должно было выйти и вышло насильственным, искусственным, ложным и нелепым.

Скрытая цель — не знаем, насколько сознательно двоедушная со стороны правительства,— та, чтоб у многоземельных и среднеземельных крестьян земли урезать в пользу помещиков, а к малоземельным не прирезать ничего, а если можно, то отнять и последнюю. Это мы докажем.

Высший 4-десятинный надел в нестепной России и указный 6-десятинный в степях редко и случайно совпадут с существующим наделом; вообще крестьяне в подобных местностях владеют большим количеством земли, и у них землю урежут. Только при 10- и 12-десятинном наделе в степи (прилож. к ст. 15, стр. VIII) крестьяне, может быть, не заметят урезки. В остальных местностях они очень хорошо поймут, что их грабят.

В средних наделах, где высший размер 3 десятины, случится то же самое: найдут, что крестьяне вообще имеют больше трех десятин, и урежут.

Вообще во всех местностях, где количество земли равно или ниже существующего надела, там помещик воспользуется, в силу ст. 20 местных положений и образца уставной грамоты, II, 4, возьмет себе *одну треть* земли; что за беда, что через это понизятся повинности с крестьян,— земля выгоднее повинностей, ее и продать можно. Наконец, в местностях, где земли меньше низшего надела, помещик возьмет треть земли, и повинностей на крестьянах почти не останется, да и земли у них почти не останется, так что они от нее откажутся и пойдут куда глаза глядят. Вдобавок большей частью малоземельные крестьяне *оброчные* и искони пользуются *всей землею,* а тут у них треть урежут. Какая же выгода, что повинности уменьшатся, когда земли нехватит и крестьянам надо будет прикупить? Прикупить придется эту же отрезанную треть за дорогую цену или принанять ее за дорогую плату; стало, повинности вообще не понизятся, а возвысятся; или надо вовсе переселиться. К тому же в оброчных имениях повинности не понизятся еще и потому, что в силу ст. 33, пункта 8 «Правил» и ст. 147 местных положений, по которым губернское присутствие может по ходатайству помещика в некоторых случаях установлять оброк *выше размера,* помещики найдут причины к повышению оброков, сверх того, что еще урежут и треть земли.

Если ст. 164 прекращает всякие *сборы* баранами, птицею, холстом, сукном и пр., зато ст. 163 вводит особую плату и повинности за *топливо* и оброчные статьи, что будет гораздо дороже *сборов*. Прекращая одну уродливость старого крепостного права, правительство вводит взамен новую уродливость нового крепостного права. Вообще понятие о лесовладении, где лес считается какой-то святыней помещичьей собственности, основано неизвестно на чем (ст. 42 «Правил», ст. 29, 30, 47, 48 и 49 местных положений). В России, где нельзя уйти от понятия, что земля — достояние общее, везде, где есть лес, крестьяне пользуются лесом равно для построек и для топлива; также из этих общих лесов для построек и для топлива пользуются и помещики, пользуется и целое государство для своего флота, общественных построек и т. д. С чего вдруг вздумалось, освобождая помещичьих крестьян, отнять у них право на пользование лесом? Помещики думают, что лес как-то особо принадлежит им, оттого, что

в Западной Европе лесная собственность узаконилась в пользу аристократии; но ведь они не в Западной Европе. Там с самого начала завоевания и феодализма благородное рыцарство захватило леса в свою пользу. У нас неблагородное чиновничество, которому правительство роздало народную землю, до сих пор не могло этого сделать, и народ пользуется лесом везде, где он есть. Стало, история совсем не в пользу исключительно помещичьего лесовладения. Правительство думает, что признать лес народной собственностью — значит отдать его крестьянам на истребление. До сих пор мы знаем одно: там, где леса принадлежат государственным имуществам или уделам, начальство продает их на сруб за взятки и истребляет немилосердно, поджигая остатки, чтоб скрыть воровство и всклепать истребление лесов на волю божью; там, где леса составляют принадлежность помещичьих имений, помещики продают их на сруб для поправления своих обстоятельств или ради иных оборотов. Правильной рубки лесов нигде у нас не существует, ни по распоряжению помещиков, ни по распоряжению начальства. Где же хранятся леса с наибольшим попечением? У свободных хлебопашцев (государственных крестьян, водворенных на собственных землях). Стало, ради лесохранения все что можно сделать лучшего — это отдать леса в распоряжение общин, которые, конечно, не истребят прута лишнего *; затем предоставится равно помещикам и крестьянам право пользоваться лесом по мирскому приговору.

Ни историческое развитие землевладения в России, ни государственный экономический расчет, кроме учено-доктринерской привычки к пошлому повторению чужих предрассудков и кроме двоедушной войны против крестьян,— ничто не могло вовлечь правительство в отнятие у крестьян права пользования лесом. Тут мы опять невольно чувствуем, что правительство мирволит помещикам, потому что помещики те же его чиновники и цель все же одна — обобрать народ в пользу правительственного чиновничества, которое является в двух видах: как особо

* Мы не говорим о местностях, где лесу столько, что травы в степи; тут лесохранение и правильные рубки могут взойти в обычай только тогда, когда устроится правильный сбыт леса в нелесную Россию, посредством дешевых сплавов и провозов по железным дорогам.

наделенные чиновники, т. е. помещики, и как чиновники, получающие свой пай из общего управления, т. е. собственно так называемые чиновники. Правительство позволяет *грабить* леса и тем и другим; оно только народу запрещает *пользоваться* лесом. Русский смысл никогда не совпадет с этим чужеядным пониманием лесовладения.

Право, данное крестьянам сохранить существующий надел *на пять лет* (примечание к ст. 20 с ссылкой на ст. 161 и статья 161 с ссылкой на ст. 169), с особой платой за излишек в существующем наделе против надела, отводимого в постоянное пользование,— это право придумано особым попечением правительства *о постепенности в ограблении* крестьян. Но едва ли эта постепенность возможна. Та же ст. 20 предоставляет помещикам право сохранять треть земли; ст. 25 говорит, что помещик не обязан увеличивать надела, отведенного в постоянное пользование. Как же это согласить с правом на пятилетнее сохранение существующих наделов с платой по расчету оброка за последнюю десятину, т. е. по расчету довольно дешевого найма (ст. 169)? Крестьяне будут настаивать на своем праве, помещики на своем; дело пойдет к мировому посреднику, оттуда к мировому съезду, оттуда в губернское присутствие. Во-первых, из пяти лет надо исключить два года, где все остается попрежнему; стало, спор начнется через два года, продолжится три года, в которые владеть лишками будет помещик; вот все пять лет и прошли, а затем прошло и право на пользование землею, урезываемою по новому крепостному праву. Во-вторых, губернское присутствие имеет право оставить крестьян на прежнем оброке, если не найдет уважительных причин понизить его; следственно, если оброчные крестьяне пожелают пять лет владеть землею, подлежащею урезке, то губернское присутствие имеет право оставить в стороне подесятинную оценку оброков и установить оброк в том размере, как он был, а в издельные именья введет смешанную повинность, где, сверх барщины за постоянный надел, будет денежный сбор за временное пользование; а если не денежный сбор, то сызнова увеличение барщины (ст. 161). Из-за этого не стоит писать уставных грамот.

Скрытая война против крестьян, по случаю их освобождения, проведена во всех положениях о повинностях — равно оброчных, издельных и смешанных.

Странная глава о размере оброков расписывает так много цифр, что с первого взгляда покажется: вот тут-то и найдется облегчение для крестьян! Но на деле выйдет иначе. Для имения близ Петербурга назначен оброк с души 12 руб., т. е. с тягла 24 руб. или больше. В губерниях Петербургской, Московской и части Владимирской — 10 руб. с души, т. е. 20 руб. сер. с тягла. В остальных губерниях 9 руб. с души, т. е. 18 руб. с тягла, кроме губерний Витебской, Вятской, Могилевской, Олонецкой и некоторых уездов Казанской, Орловской, Пензенской, Псковской, Смоленской и Тамбовской, где 8 руб. с души, т. е. 16 руб. с тягла. Правительство думало, что написать оброк с души — цифра не бросится в глаза так, как если написать ее с тягла; но едва ли можно этой уловкой скрыть дело даже от ученых людей, а от народа уж никак не скроешь. 24 руб. сер. с тягла (или 26 руб. сер. с тягла, по праву губернского присутствия возвысить оброк на 1 руб. сер. с души) составляет в России высший предел оброка, кроме самых уродливых, редких исключений, где оброк встречается в 30 и более руб. с тягла. Но и этим исключениям правительство пособило, дозволив губернским присутствиям возвышать в особых случаях оброк выше размера (ст. 174). Конечно, ст. 175 дозволила им и понижать оброки по своему усмотрению, чего губернские присутствия из дворян, конечно, никогда не усмотрят; зато крестьяне поймут, что эта 175-я статья — наглая насмешка правительственного презрения к народу. Низший предел оброка (кроме имений, где меньше десятины на душу) 8 или около 8 руб. с души (16 руб. с тягла) есть вообще в России *не низший, а средний оброк,* так что можно приблизительно положить, что в сложности по всей России оброк 16 руб. с тягла (или 17 руб. с., т. е. 60 руб. ассигн.). Местные положения, приняв среднюю цифру за низшую, очевидно, возвысили, а не понизили размер оброков. Ст. 170, по которой оброк не налагается выше того, который по назначению помещика требовался до утверждения «Положения», не поможет; все дело в руках взяточничества новосозданных чиновников из дворян. Также не помогут и росписи оброков подесятинно (ст. 169). Везде верх взяла особая логика, по которой хотя оброк не может быть увеличен против существующего, но остается также велик при уменьшении надела, так что крестьянин,

который платил 8 руб. за 10 десятин, будет платить 8 руб. за 4 дес. Возьмем любой пример из росписи:

«Именье в 500 душ состоит в южной части Поречского уезда Смоленской губернии. В пользовании крестьян 1 950 десятин. Высший душевой оброк 8 руб., высший душевой надел $4^1/_2$ десятины. Повинность на одну из десятин 4 руб., на другую 2 руб., остальные два рубли разделяются на остальные $2^1/_2$ дес., т. е. по 80 коп. за десятину; крестьянский оброк исчисляется следующим образом: с 500 душ за 500 дес. по 4 руб.— 2 000 руб., за 500 дес. по 2 р.— 1 000 руб., за остальные 950 дес. по 80 коп.— 760 руб., со всего именья 3 760 руб., а с души по 7 руб. 72 коп.».

А кругом выходит по 1 руб. 92 коп. с десятины оброку, ренты или найма.

По сведениям о продажных ценах на земли (выпуск III, изд. земск. отд. М. В. Д.) в Поречском уезде заселенные земли — 10 руб. 57 коп. за десятину. Следственно, 1 950 десят. стоят 20 611 руб. 50 коп. Следственно, крестьяне, платя оброку по 1 руб. 92 коп. с десятины, платят найма 18% с капитала. Даже если взять средний вывод цен на земли по Смоленской губернии, 15 руб. 66 коп. за десятину, то все же оброк составит около 12% с капитала. Очевидно, что такой наем, или оброк, в Поречском уезде невозможен.

Он невозможен и по другому расчету: мудрено предположить, чтобы $4^1/_2$ дес. душевого надела дали больше 9 дес. на тягло (43 тягла на 100 душ); в этот надел включится усадьба, выгон и пр. Пахотной земли не может быть из 9 дес. более $7^1/_2$ дес., стало, при трехпольном хозяйстве — по $2^1/_2$ дес. в поле. Следственно, при самых выгодных условиях — при урожае до сам-$3^1/_2$ озимого и сам-$2^1/_2$ ярового в Смоленской губернии * — $2^1/_2$ дес. озимого, при посеве $1^1/_2$ четверти на дес., дадут с небольшим 13, положим, 14 четвертей ржи; $2^1/_2$ дес. ярового, при посеве 2 четвертей на дес., дадут $12^1/_2$, положим, 13 четвертей ярового зерна. Из этого тяглу надо прокормить по крайней мере четверых взрослых обоего пола (по $1^1/_2$ пуда в месяц), что составит 8 четв. ржи, да на посев надо оставить $3^3/_4$ четв., итого в расходе ржи четвертей $11^3/_4$. Из ярового зерна на людей и на скот надо употребить до 6 четв. да на посев 5 четв., итого 11 четвертей. Затем в

* Хозяйственно-статистический атлас, изд. департ. сел. хозяйств., М. Г. И. 1857, № 5.

продажу останется у тягла $2^1/_4$ четв. ржи и 2 четв. ярового. Высшие цены на рожь в Смоленской губернии 5 руб. четверть *. Полагая высшую цену за яровое 3 руб. 75 коп. за четверть, выйдет, что тягло продаст $2^1/_4$ четв. по 5 руб. и 2 четв. по 3 руб. 75 коп.**, всего 17 руб. 75 коп.; а за 9 дес. оброку по 1 руб. 92 коп. заплатит 17 руб. 28 коп. Сверх того, надо прибавить в расход подушные и земские повинности, не менее как с двух душ, около 3 руб. 20 коп., следственно, всего податей с тягла 20 руб. 48 коп., и недостающие 2 руб. 73 коп. падают на промыслы. И это при самых выгодных условиях урожая и цен, чего вместе и не бывает. Следственно, взявши плохой урожай при дорогих ценах или плохие цены при хорошем урожае, крестьяне окажутся в совершенной невозможности платить положенную ренту с земли.

В настоящее время в Поречском уезде оброчных крестьян 202 души***, из которых 117 при наделе в 11,03 дес. (от 9,95 до 12,12) и 85 при наделе в 4 дес. (от 3,63 до 4,40) на душу. Первые платят 14 руб. $54^3/_4$ коп. оброку, вторые — 7 руб. $5^3/_4$ коп. Основываясь на ст. 170 о невозвышении оброков, естественно, является вопрос: если человек платит 14 руб. $53^3/_4$ коп. за наем 11,03 дес., то сколько он заплатит за $4^1/_2$ дес.? Вывод дает 5 руб. 93 коп. Далее: если человек платит 7 руб. $5^3/_4$ коп. за 4 дес., сколько он заплатит за $4^1/_2$? Ответ: 7 руб. 94 коп. Следственно, на 117 душ падает оброк в 693 руб. 81 коп., а на 85 душ оброк в 674 руб. 90 коп. Взявши среднюю цифру для уравнения оброков, при уравнении надела, мы найдем, что оброк в 1 368 руб. 71 коп. на 202 души даст 6,77 р. на душу (от 13 р. 54 к. до 15 р. 74 к. на тягло, смотря по числу тягол в 50 или 43 на сто). Общий средний вывод оброка для Смоленской губернии в настоящее время, при существующем наделе и по помещичьим назначениям, 7 р. 49 к. или 7 р. 50 к. с души, т. е. рублей 15 с тягла ****. Окончательное доказательство, что

---

* Хозяйственно-статистический атлас, изд. департ. сел. хозяйств., М. Г. И. 1857, № 6.

** Высшая цена, показанная в табл. к стр. 362, т. 1 Тенгоборского. Мы берем все случаи в пользу местных положений.

*** Выводы о повинностях крестьян, изд. редакционных комиссий.

**** Там же.

местные положения повысили оброки разом и увеличением цифры оброка и уменьшением надела, вопреки здравому смыслу и вопреки своей ст. 170.

Возьмем другой пример, из ст. 169:

«Именье в 700 душ состоит в Малоярославецком уезде Калужской губернии; в пользовании крестьян 2 060 дес. Высший оброк в уезде 9 руб., высший надел $3^{1}/_{4}$ дес. Повинность на одну из десятин 4 руб. 50 коп., на другую 2 руб. 25 коп.; остальные 2 руб. 25 коп. разделяются на $1^{1}/_{4}$ дес., т. е. за десятину 1 руб. 80 коп. Повинность в имении исчисляется следующим образом: с 700 душ за 700 дес. по 4 руб. 50 коп.— 3 150 руб. за 700 дес., по 2 руб. 25 коп.— 1 575 руб., за остальные 660 дес. по 1 руб. 80 коп.— 1 188 руб., итого 5 913 руб., или 8 руб. 44 коп. с души».

2 060 дес., по продажным ценам Малоярославецкого уезда по 25 руб. 73 коп. за дес., стоят 53 003 руб. 80 коп. Оброк в 5 913 руб. равен с лишком 11% с капитала. Если предположить в 700 душах 301 тягло, выйдет немного поменьше 7 дес. на каждое (6,84). Высший урожай хлебов вообще сам-4 *. Из 7 дес. под пашней не более $5^{1}/_{4}$ дес., стало, $1^{3}/_{4}$ дес. в поле. Ржи собирается $10^{1}/_{2}$ четв. и 14 четв. ярового; за исключением 8 четв. на еду и $2^{5}/_{8}$ четв. на посев, очевидно, у тягла ржи не хватит на продовольствие. За исключением $9^{1}/_{2}$ четв. ярового поступит в продажу $4^{1}/_{2}$ четв. по 3 руб. 75 коп., всего на 16 руб. $87^{1}/_{2}$ коп. За 7 дес. земли тягло платит оброку по 2 руб. 33 коп.— 16 руб. 33 коп. Следственно, на подушные остается 54 копейки. Теперь в Малоярославецком уезде без уменьшения наделов, платится 8 р. 48 к. **, а кругом по Калужской губернии — 8 р. 78 к. с души. Где же облегчение, вводимое местными положениями, против старого крепостного права? Везде увеличение оброков или по цифре оброка и по уменьшению надела, или по сохранению цифры оброка при уменьшении надела. Конечно, оброк содрать можно всякий; это ни в Велико- ни в Белоруссии не диво. Но каково же такое освобождение!

У правительства есть стремление — и ради государственных крестьян, и ради общепринятых понятий в Европе — показать, что оброк, налагаемый на освобождаемых крестьян, есть плата помещику за землю, рента; а так как ни по цене на земли, ни по доходам, ни по ст. 174 этого доказать невозможно, то на деле и остается, что

* Хозяйственно-статистический атлас.

** Выводы о повинностях крестьян.

оброк падает на крестьянские промыслы и составляет *пошлину с промыслов*. Какова же нелепость взыскания *пошлины* не на государственные нужды, а на обогащение частного лица, т. е. помещика!

2-е примечание к 169-й ст. о понижении оброка в именьях малоземельных, где неполная десятина на душу, с тем, однако, чтоб оброк был не меньше указанного в ст. 244 за пользование усадебной оседлостью, т. е. не меньше 1 р. 50 к. с ревизской души и не больше 3 р. 50 к., если нельзя в силу 174-й ст. назначить оброк выше всякого размера,— это примечание клонится к тому, чтобы приравнять надел ничему, а за усадьбу брать ренту. Вообще у правительства мелькает задняя мысль, что мужику выгодней уменьшать надел и вместе уменьшать и повинность; логичный вывод из этого очень прост: выгоднее всего крестьянам не иметь никакой земли и ничего не платить, а землю отдать помещикам. Оно, может, с точки зрения императорства, оделяющего землей своих чиновников, обязанных за это держать народ в узде, и очень верно — но только это совсем не лежит в смысле народном. Народ хочет сохранить то, что̀ имеет, и чтобы крестьянин, освобождаемый ли, государственный ли, или удельный, не платил налогов один больше другого. Это еще проще и вернее.

Вывод из предыдущего ясен: помимо своего понятия о землевладении, народ не перейдет на оброк еще и потому, что это прямо убыточно.

Из противуречия народного смысла и правительственных положений выйдет то, что помещики захотят уменьшать наделы у крестьян и, следственно, в издельных именьях уменьшать барщину; это для помещиков выгоднее, чем бо̀льшая барщина при бо̀льшем наделе, и все на том же основании, что для них выгоднее взять всю землю и совсем не иметь барщинной работы; следственно, чем меньше дать земли крестьянам, как бы от этого ни уменьшались повинности, все же тем лучше; но народ этого не захочет, и последствие будет то, что, несмотря ни на какие старания мировых посредников, съездов и губернских присутствий, *уставные грамоты писаны не будут*. Через два года правительство даст рассрочку, и трехдневная барщина сохранится на неопределенное время. Стало, крепостное право нисколько не изменится, по крайней

мере не уменьшится, а усилится постоянным вмешательством новосозданного чиновничества. Может быть, правительство втайне и лелеет эту мысль сохранения крепостного права на неопределенное время при невероятном количестве бумаги, исписанной во имя освобождения. Но ведь и Мирес запутался в собственных сетях, а русское правительство, конечно, не умнее Миреса и запутается гораздо скорее [8].

От числа дней барщины *теперь* к числу дней барщины *через два года,* с глубокомыслием тупоумия рассчитанная, постепенность перехода падает всей тяжестью: *теперь* на малоземельных, а *через два года* на малотягольных крестьян, в обоих случаях — на более бедных. Три дня в неделю мужских с тягла и два женских (ст. 7 «Правил») не вносит никакой существенной перемены в барщину, как она отбывалась до сих пор; до сих пор женских дней в год бралось, может, еще и меньше, чем по два дня на неделю, потому что они не были нужны, и ни в одном имении не считались в недоимку дни, когда женщины на барщину не требовались. Стало, это просто сохранение трехдневной барщины на два года. Эти два года тягло, владеющее одной десятиной земли и меньше, станет работать три дня в неделю, наравне с тяглом, у которого четыре десятины или больше, и помещик напоследях постарается найти ему барскую работу, хотя бы уборка хлеба и была кончена, напр. извоз, рытье канав, постройки и мало ли что. Здесь тяжесть сравнительно падает на малоземельных. Через два года, по уставным грамотам и росписям в «Приложении к местным положениям», число дней барщины соответствует душевому наделу; высший размер надела (от 2 дес. 1 800 саж. до 12 дес., смотря по местностям) обязывает на 40 дней мужских в год барщины с души. Стало, крестьянин, у которого два сына по ревизии записаны, но малолетны или еще не женаты, должен отбывать одним тяглом 3 раза 40 дней мужских и, следственно, 3 раза 26 дней женских *, итого тягловых три раза 66 дней, т. е. 198 дней в год, или с лишком

* Замечательно, что местные положения, положивши соразмерно высшему наделу сорок дней *мужских* (так и сказано: *мужских),* нигде не говорят, сколько дней женских; поэтому мы возвращаемся к 7-й ст. «Правил», т. е. к отношению мужских дней к женским, как 3 : 2, или, следственно, $^2/_3$ сорока дней равны $26^1/_2$.

три дня в неделю на тягло (3,8 дн.); если у крестьянина четыре малолетка, записанных по ревизии, то тягло круглый год будет работать на барщине. Стало, вся тяжесть падает на малотягольные семьи. Тупое непонимание народного смысла и обычая, непонимание того, что тягло — необходимая единица в общинном землевладении, единственное мерило числа рабочих сил, какое бы ни было количество земли у общины,— это непонимание имело бы вредное последствие, если б могло подчинить себе народную жизнь; оно запутало бы крестьян во всем их поземельном и мирском устройстве и во всех расчетах круговой поруки. По счастью, «Положения», сочиненные правительством, как и вообще всякое непонимание, не приложимы и не могут быть приведены в исполнение; тем не меньше они народят бесконечное число смут, потому что правительство, по своему неразумию, не откажется от своих «Положений» и будет стараться приводить их в исполнение, пока, наконец, само лопнет.

Стоит ли следить за каждым пунктом постановлений об издельной барщине, об урочных работах по условиям на три года и о безусловных работах * по 12 часов в день, не включая отдыха (что составит 16 часов в день нахождения на барщине), и о том, что в дальнем расстоянии от села можно людей по нескольку дней держать на барщине (ст. 11)? Все это обрывается на том, что крестьяне от своих существующих наделов не откажутся, уставных грамот писать не будут, и потому все подробности «Положений» окажутся лишними. В действительности останется одно: трехдневная барщина при бесконечных спорах между помещиками и крестьянами, спорах, где новосозданное чиновничество с помещика стянет взятку, а мужика, на основании ст. 14 «Правил» и ст. 254 «местных положений», высечет.

Довольно странно поступило правительство с крестьянами, состоящими на смешанной повинности. Статьей 4 «Правил» оно уничтожило эту повинность, сказав прямо, что крестьяне обязаны: «состоящие на оброке — платить оброк владельцу в прежнем размере, а состоящие на

---

* Вообще правительство, где только ни заподозрило возможность добровольных соглашений, там тотчас предписало для них правила, вследствие чего соглашения уже не могут быть добровольными.

барщине — отправлять оную в *прежнем размере*, с облегчениями, кои указаны в нижеследующих статьях». Из этого ясно, что крестьяне, где есть оброк, уже не пойдут на барщину и ограничатся только этим оброком. Но статьями 170, 171 и 172 «местных положений» правительство возобновило смешанную повинность, перечислило барщину на оброк и сделало то, что этот оброк выйдет гораздо тяжелей смешанной повинности, а помещик может не согласиться оставить барщину — и смешанная повинность заменится усиленным принудительным оброком или подаст повод к бесконечным спорам и смутам.

Мимоходом правительство хватило половников примечанием 3-м ст. 17-й «местных положений»: «Не считаются крестьянским наделом те пахотные и сенокосные земли, которые пахались или убирались крестьянами из части урожая или укоса». На этом основании сметливый помещик и мировой посредник оберут половников до последней нитки.

Не забыло также правительство своей милостью крымских крестьян южного берега, в именьях, где сады, виноградники и огороженные пашни; оно лишило их земельного надела и оставило на правах дворовых людей. У вас-де климат хорош, на что ж вам земля? (Прим. к ст. 8.)

В местных «Положениях» для губерний, на особых правах состоящих, повторены все основания местных «Положений» для великороссийских губерний. Не имея под рукою доселе существовавших инвентарей, мы не можем входить в подробное сравнение старого и нового крепостного права для западных губерний.

Прибавим ко всему этому, что взимание оброков и гоньба на барщину, при круговой поруке и без оной, подчинены дикой системе ипотеки, при которой постоянное вмешательство чиновничества, прогулявшись по селам с полицейским телесным наказанием, оставит их разоренными, а подати неуплаченными, и повинности, за бессилием, не исполненными.

Зато мы можем утешиться *отделением третьим главы второй: о переоценке денежной повинности*. Оно состоит из двух статей. Правительство сочинило их, не заметив, что не только его выкуп, но и его уставные грамоты никогда не будут приведены в исполнение, потому что они не исполнимы. Вот эти две статьи:

«185. Определенный в уставной грамоте денежный оброк остается неизменным в продолжении *двадцати лет* со дня утверждения сего положения.

186. По истечении *двадцатилетнего срока,* по требованию помещика или крестьян, производится переоброчка на *новое двадцатилетие,* на тех основаниях, кои правительством будут указаны».

Сильно сказано!.. Двадцать лет — каково хватили!

Да, милостивые государи! не то, что *двадцать лет,* и не то, что *эти положения,* а само *это правительство семи лет не продержится,* потому что:

Народ царем обманут!

IV

До сих пор ясно, что правительство отняло у народа и урезало землю, учредило запутанно-сложную, постоянно спорную барщину, повысило оброки и столкнуло мысль о возврате народу народной земли, с вознаграждением помещиков,— в невозможность своего смешного содействия выкупу, основанному на скупке своих собственных падших векселей. Теперь посмотрим, как оно хочет наложить свою неловкую лапу на самую общественную жизнь народа — на его сельское устройство, суд и самоуправление — и поверх всего поставить себя, подразделенного на бесконечное число всякого рода чиновников.

Переименовав *мир* в сельский сход, вероятно для того, чтоб сделать дело как можно непонятнее для народа, правительство, ни с того ни с сего, приняло в основание мирских договоров парламентскую, или скорее коллегиальную, форму решений по большинству голосов с придачею одного, а так как староста (президент) имеет два голоса, то просто по произволу той половины голосов, к которой принадлежит староста * (ст. 55 общего «Положения»). Решение же таких вопросов, как переход с общинного землевладения на особнячное и переделы мирской земли, отнесено к большинству двух третей голосов (ст. 54); тут самому правительству показалось, что половины голосов мало.

Одно из коренных понятий в русском народе — понятие *договорения.* В самом языке мы находим выражение

* Это уже чисто коллегиальная, а не парламентская форма. При довольно многочисленном собрании она до крайности уродлива.

обычных народных понятий и естественного для народа склада жизни и ума. Таким образом, мы в языке встречаем слова: *договор, уговор и условие* (Einverständniss, entente *), вместо *контракта,* из которых гораздо больше видно, что две стороны *договорились* до какой-либо средней, обеим сподручной выгоды и станут договариваться иначе, если бы оказалась ошибка в ущерб одной из сторон, чем замкнутое, обязательное исполнение во что бы ни стало раз навсегда формальным актом закрепленного предположения. Та же основная мысль, господствующая в юридических отношениях между лицами, является и в общественной жизни и самоуправлении; здесь требуется договор всех, договор мирской, который может быть нарушен или храним по согласию мира. Крестьяне, на миру, *договариваются* до общего решения, которое, следственно, единогласно. От этого, может быть, выходит то неудобство, что мир договаривается долго, тратит много времени; но выходит и то удобство, что он договаривается до общего согласия, до бесспорного решения. Оно имеет и то удобство, что мир, как полный, единогласный хозяин своего решения, если впоследствии окажется, что решение было ошибочно, договаривается сызнова до нового решения. Мир, естественно, имеет право поверки самого себя; он никогда не составляет внешнего обязательного закона для какой-нибудь части общества. В нем лежит общественная самозаконность, которая, как все живое и движущееся, не имеет замкнутости и ограниченности закона писанного, акта, после которого нет возврата, как бы он ни был ошибочен. Только в этой самозаконности и незамкнутости общего договора есть надежда на возможность постоянного преобразования, постоянной мирной реформы, необходимой при изменениях обстоятельств, но невозможной, при замкнутых решениях, иначе как посредством судорожных общественных потрясений. Введение решений по большинству голосов тотчас налагает обязательный закон для одной трети или для целой половины общества, закон, который уже не подлежит поверке и перерешению, закон замкнутый. Правительство бессознательно пришло к логическому выводу из своего положения, немедленно заменяет мирской свободный договор письменным

---

* Буквально (нем., фр.): — согласие.— *Ред.*

законом и учреждает запись в особую книгу решений по большинству двух третей (ст. 57), так чтобы уже никак нельзя было взять назад решения. К таким в книгу записанным актам отнесены (по ссылке на 54-ю ст.) не только переход с общинного землевладения на особнячное, но и переделы мирской (общинной) земли, что́ до сих пор делалось по всей России без всякой записи и без всякого спора. Очень ясно, почему не нужно было записи: всякий знал на деле, в натуре, какой где участок ему достается; писанная буква ничего бы не отняла и не прибавила. Очень ясно, почему не было спора: каждый принес в общее решение свое согласие; каждый со всеми до этого решения договорился; следственно, и не возражал и не чувствовал за собою права захватить клок земли у соседа по какому-нибудь своему отдельному соображению. Решение по большинству, становясь насильственно-обязательным для одной части населения, требует формального акта; иначе оно держаться не может. Но зато оно и не бесспорно, и с первого дня его приведения в исполнение (если это возможно), возникнут споры и жалобы к крайнему удовольствию начальства и к крайнему разорению народа.

Правительственные доктринеры с либеральным направлением слыхали, от знакомых, что мир часто стесняет свободу отдельных крестьян, свободу личную, и косо смотрели на мирскую власть. Без сомнения, вопрос о границах мирской власти над личностью очень важен, мало уяснен, потому что не мог определиться у народа *не свободного,* и требует большой разработки в народном понимании. Но разве перемена единогласного решения на миру в решение по большинству голосов сколько-нибудь уясняет вопрос, сколько-нибудь ограждает личность? Она не только не уясняет, но даже не ставит вопроса о границах личной свободы и мирской власти. Деспотическая власть большинства голосов над личностью — для личной свободы может быть только хуже, а отнюдь не лучше общей мирской власти. Большинство голосов уже необходимо теснит треть или половину несогласного с ним населения и, следственно, каждую личность из этой трети, или половины. Оно вносит не то, что лишнюю вероятность, а новую, доселе не существовавшую неизбежность стеснения личной свободы по приговору на сходе, неизбежность тем больше опасную, что большинство схода, гораздо

легче, чем мир, подчинится влиянию помещичьи-чиновничьего управления. Следственно, принятие большинства голосов на сходе, вместо мирского единогласия, не только не решает вопроса о личной свободе, но запутывает его. Поставить вопрос не шутя можно было только прямым рассмотрением случаев, где мирская власть теснит личную свободу не по охоте, а по нужде, потому что начальство требует, и где теснит по собственной охоте, и случаев, наконец, где мирская власть не есть притеснение, а человеческое требование, чтобы каждый исполнял известные обязанности относительно целого общества. Так прямо поставить вопрос доктринаризм не догадался, да и правительство не захотело бы, боясь невольно прийти к заключению, что в девяти десятых случаев мир теснит личную свободу из-за требований начальства *. И вот учреждение нового сельского устройства, по непониманию народного смысла, скажем больше — по отсутствию здравого смысла, начинается с презрения к народному обычаю, с искажения народной жизни.

Доктринаризм, заменяя единогласие большинством голосов, следовал, как мы уже заметили, отчасти коллегиальной форме правительственных учреждений, перешедшей и в устав дворянских выборов, отчасти парламентскому устройству в европейских государствах. Коллегиальная форма, для чиновничьего доктринаризма — дело привычки; парламентское устройство — больше предмет религиозного уважения. Но доктринаризм не заметил одного постоянного явления в истории европейского парламентаризма, того, что большинство *всегда решает,* а меньшинство всегда, или *почти всегда бывает право.* Самый доктринаризм признает за парламентским меньшинством дело прогресса, что́ доказывает, что оно бывало право прежде, чем большинство было в состоянии понять его справедливость, и потому большинство решало против правды и затрудняло движение к лучшему своей неохотой расстаться с дорогими предрассудками и личными выгодами. Англия очень хорошо поняла это и упрочила личную

---

* Не говоря о других законных и противузаконных влияниях,— сколько одна система паспортов вносит в мирское управление случаев стеснения личной свободы *единственно* по требованию начальства; иначе мир никогда не дошел бы до мысли об этом стеснении.

свободу и безопасность в своем самом живом учреждении — в суде присяжных; и между тем как высшие сословия, оградясь парламентом от поползновений королевской власти на своеволие, создали свой парламентский деспотизм, который общественные дела решает большинством голосов, наиболее своекорыстных, потому что это большинство из представительства сословного; в то же время личная безопасность и свобода ограждены, даже и от парламентского деспотизма, решением суда присяжных — *единогласным*. Англия, в основание своей свободы, постановила *единогласие* на суде. Но единогласное решение суда присяжных также требует не мало траты времени. Гораздо бы легче решить, из 12 голосов, большинством семи — а личность-то и не была бы ограждена от притязаний партий, от подкупа, от влияний правительственных и сословных. Конечно, и тут сословное своекорыстие подкопалось и вырастило мировые суды без участия присяжных; но случаи, где суд присяжных необходим по закону, но возможность перенесения дела на их суд — все это дает огромный оплот против неправды, и все же *единогласие суда* служит основным ограждением личной свободы в Англии.

Суд присяжных *договаривается* до своего решения, как у нас сельский мир договаривается до своего. *Мир* есть приложение юридического смысла jury * к делу общественному. Присяжные знают, что если в их среде несколько голосов стоят за правду и что без этих голосов обойтись нельзя, то очень мудрено поддержать ложь; если же их суду представляется дело запутанное и темное, следственно, спорное, где они искренно расходятся в мнениях, то они могут договориться до приблизительной правды — и это несравненно важнее, чем решить дело в одну сторону, не бывши нисколько убеждену, что ошибаются пять человек, а не семь, меньшинство, а не большинство. То же происходит на миру, где приблизительная правда еще важнее, потому что вопросы, хоть бы вопрос о переделе земли, сложнее и не имеют той определенности, как, напр., вопрос уголовный: кто убийца — *этот* человек, или *не этот?* В вопрос о переделах входит больше данных и больше колебаний, стало, и остановиться можно только на приблизительной правде, а не на доскональной. Очевидно, до этой

* Присяжных (англ.).— *Ред.*

приблизительной правды могут договориться только все, а не одна часть населения. Если мнения разделены на два стана, на две силы, то пустить решение по направлению одной из сил совершенно несправедливо. По ст. 55, где обе силы равны, с той разницей, что на одной стороне староста, оно в глаза бросается; но как хорошенько подумаешь, то не найдешь достаточной причины прижать и одну треть ради двух третей. Мир договаривается до решения, удобного для обеих сторон; тут не устраняется одна сила в пользу другой, а от столкновения двух сил решение принимает направление по среднему пути, по диагонали, что́, конечно, в общественной жизни составит более приблизительную правду, чем решить по направлению одной силы, с совершенным устранением другой. «Но,— скажут доктринеры,— такой способ не приложим в государственной парламентской жизни». Может быть! Да в этом-то и преимущество, что он приложим к сельской жизни, и отнять его у сельской жизни не только глупо, но и преступно. Если многочисленность населения, составляющего государство, делает невозможными общую подачу голосов и взаимное договорение всех до общего согласия и если малочисленность сельского мира допускает и то и другое, зачем же отнимать у сельского мира это преимущество и вталкивать его в грубую колею решений по большинству голосов? Мы смело говорим *грубую колею,* потому что власть большинства голосов, без сомнения, самый легкий, но и самый *грубый* способ решения какого бы то ни было вопроса, способ, основанный на материальной силе и не ушедший от того понятия, что «нас больше, стало, мы и поколотим»; а такое понятие равно бессмысленно и в деле истины и в деле блага общего. Если неполное представительство общества, представительство сословное, вовлекло людей к признанию решений сословного большинства во имя государственной целости и опутало массы народа пугалом идеи государства: из-за чего же нам хлопотать об упрочении этого пугала в то время, когда у нас под рукою возможность признать самобытность сельского мира, основанного на договорении всех до общего согласия? В то время, когда из этой точки отправления, мы, естественно, можем итти к пониманию государства не как отвлеченной целости, подчиняющей себе части, а как живого соединения самобытных сельских миров? Наш естественный склад

влечет нас к союзу (конфедерации) сел, где каждое село самобытно и все соединены в одну сумму, в одно целое. Конфедерация сел для нас представляет тот общественный полипник, где каждая ячейка жива сама по себе, а между тем органически связана со всеми остальными ячейками. Основные, фактические данные нашей жизни влекут нас к образованию этого общественного полипника, к образованию государства без пугала отвлеченной целости и верховного средоточия, какое бы это средоточие ни было — царь или сословие, словом, к образованию союза самобытных сел. В этом склад нашей жизни и, *следственно,* задача и цель (идеал) нашего развития. У нас достаточно исказить жизнь и самобытность сельского мира, чтобы исказить все наше грядущее. От этого мы так долго и останавливаемся на этом предмете.

И как подумаешь — ради чего же сельский мир, договаривающийся до общего согласия, преображается во власть большинства голосов, да еще сомнительного, потому что кроме некоторых, слишком важных случаев это большинство не большинство, а та половина, которая, под угрозой старосты, подчинилась чиновничьему управительству? Если правительственный доктринаризм боялся, что мир, как говорят, обычно подчиняется одному или немногим говорунам, болтунам, беспокойным — однако красноречивым — людям; то ведь этого не избегнет и большинство. Этого не мог избежать ни один европейский, ни американский парламент, потому что влияние личности, сильной общей истиной или сознанием сословных корыстей в данную минуту,— это влияние совершенно естественно; имеет ли его Мирабо или Пальмерстон, все же оно неизбежно. При большинстве голосов влияние ловкого говоруна, подметившего корысть одной доли общества в ущерб другой, гораздо скорее приведет к ложной цели, чем влияние говоруна, которому надо понять и согласить потребность всех. Следственно, в наших селах, если большинство подчинится одностороннему говоруну, управительство достигает иной цели: подчинения большинства чиновничеству, разрушения мирской самобытности; а в устройстве по «Положению» это достигается еще легче, потому что место говоруна заступит староста, разом — и язык, и подкуп, и розга. И в то время, когда воскресающему народу предстоит схватить и выработать себе втихомолку

выращенную самобытность, тут-то его и подводят, приказанным способом подачи голосов, под новое владычество управительства, и мы опять играем в руку государственному крепостному праву и чиновничьему разбою.

Раз решившись ввести большинство голосов, правительство не совладало с программой и вошло в противуречия. Таким образом, оно дало главное место, председательство (или предстоятельство) на сходе, полицейской власти, т. е. старосте. Это уже не только нарушает единогласие мира, но нарушает свободу самого большинства, потому что староста, которому принадлежит охранение порядка на сходе (ст. 48), сочтет за беспорядок всякую подачу голоса, противную его желанию. Если уже религиозно верить в парламентские формы, то в каком же парламенте, в какой камере видано, чтобы министр внутренних дел был президентом камеры? Это совершенное нарушение свободы мнений собрания в пользу начальства. Наткнувшись на учет старосты сходом, правительство почувствовало всю нелепость председательства старосты на миру и поставило случай учета должностных лиц и рассмотрение принесенных на них жалоб под председательство волостного старшины (ст. 48). Новая нелепость! Староста будет обвинен — если старшина ему враг, оправдан — если старшина ему друг, по душе или за взятку. Тут и мир, и самая свобода большинства, и низшее начальство — принесены на жертву высшему начальству. Но тут встретится и недоразумение: учет должностных лиц не входит в ст. 54, т. е. не подлежит большинству двух третей; а нигде не сказано, что если при учете сход разделится на две равные половины, то должностные лица будут обвинены или оправданы по решению той половины, к которой принадлежит волостной старшина; он же может и не принадлежать к *этому* селу и, следственно, не иметь права на голос ни в одной из половин. Как же тут поступать? Замечательно, что в 1-м пункте ст. 51 о выборах должностных лиц, стало, и старосты, не сказано, кто председательствует на сходе; стало — староста. А так как вопрос этот может решиться той половиной голосов, с которой староста согласен, то и выходит, что староста выбирает сам себя! Из-за этих противуречий вызывает внутренний, подавленный смысл, что у мира до сих пор председателя, или настоятеля, не было, потому что он не нужен и невозможен, а заключение одно: нельзя

правительству писать законы из себя, как паук плетет паутину, не спрашиваясь общественных потребностей; законодательствовать в селах без участия сел — нельзя; непременно или что пропустишь, или наврешь. Только мир может учредить сам себя; дело правительства было предлагать народу вопросы на мирское решение. Вдобавок надо заметить, что в вопросе об учете должностных лиц председательством начальства нарушено уже *не только* мирское *самоуправление,* но нарушена независимость мирского *суда.*

Что правительство, вводя большинство голосов, нисколько не думало об ограждении свободы лица от притязаний мирской власти, явно из пунктов 2 и 5 ст. 51, где приговоры об удалении из общества вредных и порочных членов и временное устранение крестьян от участия на сходах, и разрешение семейных разделов — допущены без всякого определения: за какие проступки можно выгнать человека из общества, за какие устранить от схода; когда мир в праве отказать человеку в разделе от семьи, с которой он не уживается, и когда не в праве. А между тем это два краеугольных вопроса личной независимости и случаи, где мир может нарушить личную свободу по своенравию. Перенесение мирского каприза на каприз большинства не устраняет, а увеличивает беду, тем более, что большинство подчинено начальству. В деле удаления человека из общества большинство, хотя из двух третей, подчинено председательству старосты; в деле разделов решает та половина, на которой староста,— стало, большинство вдвойне подчинено начальству. На поверку выходит, что самые важные сельские вопросы о свободе лица, которые были подчинены своенравию или пристрастию мира, будут подчинены своенравию и пристрастию начальства, что́ уже гораздо похуже. А потом: удаление человека из общества — даже не сказано *куда.* Сошлют его в Сибирь, что ли, или выгонят на все четыре стороны? Приложатся ли к этому случаю статьи устава о благоустройстве в казенных селениях (438 и 439, часть II, т. XII св. зак., изд. 1857) и о предупреждении развратного поведения крестьян удельных и дворцовых (Уст. о предупреждении и пресечении преступлений ст. 329, т. XIV св. зак.) и сохранится ли уродливое наказание рекрутством? Сохранится ли возможность удаления из общества с отдачею в рекруты, или

ссылкою в Сибирь по гражданскому иску — за двухгодовую недоимку? Обо всем этом ничего не сказано в «Положении». Неужели в пользу удаляемого нет никаких условий? О законодатели!.. Виноват!.. есть одно условие: приговор об удалении представляется старостою мировому посреднику (примечание к ст. 54), который совещается с помещиком, и по его отзыву, или без его отзыва (если помещик через месяц не отозвался) представляет дело губернскому присутствию (ст. 157). Для губернского присутствия из дворян это дело равнодушно; оно, конечно, утвердит; но при этом производстве выйдет, что вместо защиты удаляемого, все дело-то об удалении поднимет помещик или управительство, и своим неизбежным влиянием вынудят приговор большинства, а губернское присутствие утвердит. Вся защита, естественно, могла быть в меньшинстве, но оно задавлено. Доказательством, что во всем этом правительство двоедушило и метило только на сохранение произвола помещиков и чиновников, служит ст. 158, которою помещику дозволено (в продолжение девяти лет!) предлагать обществу удаление и ссылку крестьянина, признаваемого им за *вредного* или *опасного;* а если общество не согласится, так уже дело пойдет на простоту: помещик имеет право просить об его удалении и ссылке уездный мировой съезд, для представления губернскому присутствию.

Что правительство, вводя большинство голосов, не думало в самом деле дать ему какую-нибудь власть, это явно из того, что решению той половины, на которой староста, подлежат такие вопросы, как: назначение сборов на мирские расходы, принесение жалоб и просьб, назначение жалованья и наград должностным лицам, рекрутство и т. д.— все дела, где вмешательство начальства нелепо и пагубно.

Что правительство вообще сельскому сходу не придало никакого значения, это явно из того, что сход созывается, смотря по надобности, только старостою или мировым посредником, или помещиком. Стало, если бы и все хотели собраться на сход, да староста не признáет надобности, то схода и не будет.

Нет! не для народа четыре года работало правительство над своим «Положением», а для начальства, не для освобождения, а для нового крепостного права правительственно-помещичьего!

Староста (сам подающий при выборах два голоса в свою пользу, если половина схода согласна на его выбор) в сущности — слуга помещика; помещик имеет право в случае «*вообще* неисправного исполнения им должности» требовать его смены, и мировой посредник, «удостоверясь в справедливости требования»,— которая из десяти раз в девяти окажется несомненною,— мировой посредник сам назначает нового старосту до срока новых выборов (ст. 153). Следственно, староста и не выбирается на миру свободно и находится в такой зависимости, что ему необходимо будет блюсти не мирскую выгоду, а выгоду помещика и начальства, и хотя он не имеет права наказывать телесно, то есть розгами, а только налагать *по своему усмотрению* штраф в 1 рубль и арест на два дня, но это не помешает ему, по согласию и по воле помещика, отправить мужика в полицию для наказания телесно, в силу ст. 14 «Правил», минуя всякий волостной суд. Да ведь и то правда — нигде в «Положении» *положительно не запрещено* бить кулаком по рылу; этого никто не примет за наказание, это только назидание или предупреждение и пресечение преступлений и охранение порядка. Стало, староста станет беспрепятственно бить мужика по рылу в угоду помещику и начальству, которые за это позволят ему попользоваться не одним штрафным рублем.

Нет! и по «Положению» староста — не миром выбранный распорядитель в селе, а чиновник из крестьян, одна из пиявок, припущенная начальством к здоровому месту, чтобы высасывать здоровую кровь из народа. Он исполняет *законные* требования помещика (ст. 59 «Положений»), мирового посредника, судебного следователя, земской полиции и всех установленных властей (ст. 63). Опека огромная, и бедный староста часто станет в тупик от разноречивых приказаний. Если он, паче чаяния, которое-нибудь из требований сочтет *незаконным*, то его по просьбе помещика, за вообще неисправное исполнение должности, отрешат; а если он исполнит *незаконное*, то крестьяне могут жаловаться посреднику из дворян, дворянскому съезду, дворяно-чиновническому присутствию. Стало, пускай себе жалуются. Очевидно, старосте выгоднее исполнить незаконное требование совершенно безнаказанно, чем лишиться места, весьма теплого. Да! чтобы работать в пользу

своего села, надо старосте быть героем или святым, а это не легко!

В такую же, для честного крестьянина невыносимую, а для крестьянина-чиновника очень ловкую зависимость, в какую староста поставлен относительно помещика и дюжины разнородных начальств,— в такую же зависимость поставлен волостной старшина относительно мирового посредника. Мировой посредник его барин. Он его по своему усмотрению (ст. 30 положений о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях), присуждает к штрафу до 5 р. сер. и к аресту на неделю; он его временно удаляет от должности, никого не спрашиваясь, и совершенно отставляет с разрешения губернатора (!). Наконец, он его, выбранного волостным сходом, утверждает в должности (ст. 120 общих «Положений»); стало, не захочет — и не утвердит, хоть будь он выбран единогласно. Волостной старшина совершенно в лапах мирового посредника, точь в точь как голова у окружного государственных имуществ; и ему, как голове с окружным, ничего больше не остается делать, как грабить крестьян вместе с мировым посредником. Староста преимущественно адъютант при помещике; волостное правление какая-то власть особь стоящая, точно назначенная противудействовать произволу помещика; но чтоб она не противудействовала, волостной старшина сделан адъютантом при мировом посреднике. Дайте же друг другу руку — помещик и выбранный помещиком, но утвержденный губернатором посредник! дайте друг другу руку, и вы при пособии ваших адъютантов — старшины и старосты — будете полными властителями края, грабьте что хотите. Замечательно, что весь крестьянский устав чрезвычайно ясно выставляет единство помещичества и чиновничества; это сильное историческое доказательство их единого происхождения из царской льготы. Так и видно, что помещичество и чиновничество родные братья, Сим и Хам, дети единого царя Ноя, издевающиеся над умалишенным отцом, но живущие его милостью. Какой бы закон правительство ни придумало, всегда братья сплетутся в одну семью, помня и чувствуя единство породы, посмеются над отцом, но поддержат его и ограбят все вокруг живущее. Помещик назначает посредника, губернатор утверждает. Следственно, посредник будет мирволить своему избирателю-помещику, губернатор — отстаивать

своего чиновника, а царь — он же и первый дворянин — отстаивать своего губернатора. Все власти соединяются против народа: что же перед этим значит мнимая власть волостных правлений и судов и мнимая свобода сельских и волостных выборов? Кого ни выбери, его положение — быть адъютантом начальства, а не смотрителем за порядком в самобытном селе; кого ни выбери, он по необходимости пойдет в подлецы, и народ останется ограбленным и задавленным рабом.

Волостной сход! Волостное правление! Волостной суд!

Из кого же состоит волостной сход? Из сельских и волостных должностных лиц, замещаемых по выбору (ст. 71), которые на этот раз не считаются должностными лицами (прим. к ст. 112). Как же это сделать, чтобы народ не считал их должностными лицами? Губернатор в губернском правлении не должен считаться губернатором; царь, при подаче голосов в государственном совете, не должен считаться царем... Да как же это сделать, когда всякий знает, что чуть голос подан не по нем, то он властен, после заседания, дать подзатыльника? Волостной сход во власти начальства. Народ туда собирается по одному человеку с десяти дворов (ст. 71). Эти депутаты могут быть выбраны той половиной села, к которой принадлежит староста. Что они скажут, эти выборные, застращенные присутствием волостного и сельского начальства? Кто созывает этот жалкий волостной сход? Отдельное ли село заявляет надобность волостного совещания и остальные посылают людей обсудить общие нужды? Или необходимо, чтобы все села заявили надобность совещания об общих нуждах? Нет! Волостной сход созывается по приказанию и с разрешения мирового посредника. Волостной сход так зависит от начальства, что уже не повторена ст. 57, т. е. не видать, чтоб голос старшины давал перевес решению одной половины схода, хотя это, может быть, и подразумевается, потому что, когда волость состоит из одного сельского общества, тогда старшина вместе и староста, и, следственно, его голос дает перевес решению одной половины волости (ст. 74 и 84). Во всяком случае старшина председательствует на сходе сельских депутатов, выбранных под влиянием сельских старост, и, следственно, властвует. И какой старшина! Такой, которому дана власть III Отделения — наблюдать за нераспространением между крестьянами

вредных для общественного спокойствия *слухов* (ст. 33). Нет! Никогда *это* правительство не признает самобытности сел и волостей, пока не сломит себе шеи, и в его признании не будет надобности.

Председательство старост при выборах людей для волостного схода и председательство старшины на волостном сходе (иначе подчинение сельских выборов и сельской законодательной власти — власти административной) губит в зародыше учреждение выборных волостных судов, которые могли бы иметь будущность, если б не были исключительно сословные, крестьянские. У нас сословный крестьянский суд, по общему складу управительства, будет совершенно подчиненный суд во всяком деле сколько-нибудь поважнее. Хотя и дано право посторонним лицам, не из крестьян, судиться с крестьянами на волостном суде (ст. 98), но этим смешным правом ни одно постороннее лицо не воспользуется, потому что это только право, а не обязанность; постороннему лицу всегда будет выгоднее судиться посторонним судом, а крестьянин не имеет права отказаться от постороннего суда. Стало, волостной суд останется только для мелких крестьянских гражданских исков, в которых крестьяне охотнее будут прибегать к третейскому суду, чем к этому; да останется он для обсуждения маловажных проступков, где старшина явится влиятельным или всемогущим обвинителем. Выходя из несвободы выборов, нельзя дойти до независимости суда.

Волостное правление (ст. 87), составленное из старшины, сельских старост и выборных сборщиков податей (где таковые есть), имеет чисто коллегиальную форму казенного присутствия и составляет относительно старшины нечто вроде губернского правления относительно губернатора. Если взять в расчет, что старшина утверждается мировым посредником и что, хотя (по ст. 33 положений о губернских и уездных по крестьянским делам учреждений) посредник и не входит в разбор дел, подлежащих разрешению общественных крестьянских властей, но по ст. 30 того же «Положения» не только входит, но и становится их судьей,—то очевидно, что волостное правление будет в полной зависимости от окружного... то бишь: от мирового посредника.

Самое образование волостей из бывших помещичьих имений, заводя чересполосицу с государственными

крестьянами, не составляя географически сплошной волости, представит огромные неудобства. Образование волостей возможно с освобождением не только помещичьих, но и государственных, удельных и иных крестьян, с освобождением русского народа. При учреждении же нового крепостного права, это выйдет только праздная шутка канцелярских разграфлений и распорядков. Для объема волости определены (ст. 43): число душ, наименьшее и наибольшее, и дальнейшее расстояние от волостного правления. Затем губернское присутствие утверждает проекты, составленные по уездам, о распределении селений на волости (ст. 29, пункт 3 положения о губернских и уездных по крестьянским делам учреждений). Кем составлены проекты? Помещиками. Кто утверждает? Помещики и чиновники. Это не есть свободное соединение сел в волость вследствие местных удобств и общего согласия. Это приказная, а не самобытная волость; это волость-рабыня, а не волость свободная. Оно особенно становится очевидно, когда вспомнишь, что, по ст. 160, помещик имеет право остановить исполнение сельского приговора, «буде усмотрит что-либо вредное для благосостояния сельского общества или нарушающее права помещичьи», а правильность и неправильность решений волостного схода и жалобы на оные, по прим. к ст. 78 и по ст. 80, подлежат суду мирового посредника, и когда вспомнишь, что не только волостному суду предоставлено право присуждать к наказанию розгами до 20 ударов (ст. 102), но что это право также предоставлено и мировому посреднику (ст. 32 и 91), даже по жалобам помещиков за неисправное отбывание повинностей.

V

Но перейдем от мнимо-освобожденных к самим крепостникам; от простых крестьян и ими несвободно выбранных исполнителей воли начальства, от крестьян-чиновников — к дворянам-чиновникам, к «Положению о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях».

Введение:

Ст. I. «Для *разбора* недоразумений, споров и жалоб, могущих возникать из обязательных поземельных отношений между помещиками и временно-обязанными крестьянами, и для *заведывания* особыми, указанными в настоящем «Положении» делами крестьян, вышедших из

крепостной зависимости, учреждаются: Мировые Посредники, Уездные Мировые Съезды и Губернские по крестьянским делам Присутствия».

Первое, что поражает в этой триипостаси это — что она учреждена для *разбора* и для *заведывания,* т. е. для *суда* и *управления,* т. е. снова соединяются в одни и те же руки власть исполнительная и власть судебная, стало, суд неизбежно будет подчинен управлению и, следственно, всякая возможность общественной и личной свободы нарушена.

Второе, что *заведывание* относится только к делам крестьян, следственно, внутреннее разделение России на немецкую и русскую, на правительственную и народную, на управляющих и управляемых, на грабящих и грабимых, сохранено во всей чистоте, упрочено и усилено. И правительство думает, что из такого основания может развиться уничтожение крепостного права и освобождение народа. Если оно это думает, то оно бессмысленно; если оно этого не думает, но говорит, то оно лжет. Из этого разовьется новое крепостное право, но вместе и расширится бездна, разделяющая все правительственное от народного, бездна, в которую все правительственное обрушится, потому что у него из-под ног исчезает почва.

Мировые участки распределяются уездным дворянским собранием и утверждаются губернатором (ст. 2). Начало чисто помещичье-чиновничье. В каждом участке по посреднику. Этот мировой посредник назначается при таких условиях, что он непременно из отъявленных грабителей, кроме редких исключений. Он должен быть потомственный или личный дворянин (ст. 6 и 9) и владеть не менее как пятьюстами десятинами земли, или 150 десятинами, если кончил курс в учебных заведениях с правом на чин XII класса (из чего явствует, что университетский курс равен 350 десятинам). Этот размер (ценз) или слишком высок, или слишком низок для честного человека. Если счесть его слишком высоким, то мы придем к настоящей правде, что не надо было никакого ценза и никакого различия сословий; тогда была бы надежда (если б посредники были выборные), что нашлись бы люди и без земли и не из дворян, которых бы выбрали по доверию к их благородству и уму. Если принять, что он низок, то мы придем к назначению таких посредников, которые по крайней мере довольно достаточны, чтоб не красть. Но ценз, введенный

«Положением», относится именно к тем почти бедным дворянам, которые обычно порываются в становые, в исправники и в окружные, а теперь пойдут в мировые с тем, чтобы красть. Утверждаемые губернаторами, по ненужным указам сената (ст. 14), они будут приняты на службу, смотря по окладу, который согласятся дать губернаторам; их места будут продажные, на правах чиновничьего откупа, и, следственно, их грабеж будет производиться под покровительством начальников губерний. Исключения будут редки, очень редки, в одной губернии... много в двух. Мысль Ростовцева о выборе посредников крестьянами из дворян, мысль, в которой лежала хотя какая-нибудь возможность человеческих отношений, хотя тень народной свободы,— и она показалась слишком либеральною или утопическою этому бездарному правительству, этой централизации помещичества и чиновничества. Разумеется, порядочные люди из дворян, разве сгоряча, на первых порах, пойдут в посредники, да и отстанут, а большей частью и вовсе не пойдут, потому что не из чего бесплодно купаться в грязи, хотя посредник и равен чином уездному предводителю (ст. 21). Порядочные люди поймут, что их дело — держаться в стороне и оставить правительство и управительство проваливаться как знают, чем скорей тем лучше, а не поддерживать их своим личным, благородным, но бесполезным вмешательством.

Мировой посредник (ст. 22) получает в безотчетное распоряжение, на себя и свою канцелярию, 1.500 руб. сер. Если принять кругом 10 уездов в губернии и по два участка на уезд, это составит 30 000 руб. сер. на губернию, а на 43 губернии (кроме Астраханской, Ставропольской, земли донских казаков и пр.) 1 290 000 руб. сер., разлагаемых на земли крестьянские и помещичьи; приблизительно с крестьян две трети, т. е. 860 000 р. с. (3 010 000 руб. асс.; 3 440 000 франков). А что с них мировой награбит, то известно разве дальнему богу и недальнему губернатору.

Мировой посредник великий человек. Он соединяет в себе все: суд гражданский, управление крестьянскими делами, нотариат (засвидетельствование актов между помещиками и крестьянами или дворовыми) и суд полицейский (ст. 23). Он разбирает жалобы помещиков на крестьян и обратно и вследствие этого отрешает старосту и старшину и сечет того и другого, а также и остальных крестьян

двадцатью ударами розог. Он рассматривает дела по уставным грамотам и выкупу земель и угодий; тут он едва ли будет очень озабочен, но зато он рассматривает повышение и понижение наделов, распределяет усадьбы на разряды, переносит усадьбы, обменивает земли и действует *словесно* (ст. 56), но не гласно; хотя по ст. 57 и позволено при разборах присутствовать посторонним, с обязанностью сохранять тишину и порядок, но по ст. 36 посредник имеет право разбирать дела у себя на дому, а к себе в дом он, без сомнения, имеет право не пускать посторонних. Гласность больше, чем сомнительна. По делам распорядительным он берет с собой от трех до шести добросовестных, но *их показаниями и отзывами не стесняется* (ст. 90), только записывает их показания в книгу, а делает по-своему. Решительно, посредник великий человек. Он важнее губернатора; он всемогущ. Он даже, когда жалоба крестьян идет на рассмотрение мирового съезда, представляет ее со своими заключениями (ст. 25 и 110), чтоб заранее подготовить мнение съезда.

Какие собственно дела идут на обжалование (апелляцию) к мировому съезду, это разобрать очень трудно; неопределенность круга действий этого съезда не раз поставит его в возможность принять или отказать в обжаловании по одинакому делу. Да и что такое мировой съезд? Это съезд мировых посредников под председательством уездного предводителя. Это первая инстанция, т. е. тот же мировой посредник, помноженный на число мировых участков в уезде. Разве приставленный к ним особый чиновник от правительства будет иметь особое мнение. Но чиновник от правительства послан губернатором, и мировой посредник назначен губернатором, стало, оба назначены губернатором и едва ли выйдет разногласие. Коллегиальная форма здесь, как и везде, несмотря на любовь к ней Петра Великого, окажется несостоятельною. Уездный предводитель, хотя и имеет лишний председательский голос, но из десяти в девяти уездах, он будет согласен со всеми действиями мировых посредников и не мирового чиновника против крестьян; а в десятом уезде его голос пропадет перед большинством голосов. Выгода этой средней инстанции, т. е. мирового съезда, только та, что особые чиновники, от 2-х до 4-х, положим на губернию по 3, получают жалования по 1.500 руб. сер.

Следственно, на 43 губернии с лишком 193.000; да секретари мировых съездов получают по 500 р. с., стало, на губернию по 5.000 руб., а на 43 губернии 215.000, итого мировые съезды для 43 губерний будут стоить 408.000 р., из которых две трети падают на крестьян, т. е. 272.000 руб.

Уездные съезды представляют на решение губернского присутствия вообще дела, по которым не состоялось большинство, и дела по обязательному перенесению усадеб и обмену угодий, по которым не было единогласного решения. Ну! губернское присутствие — это дело важное, и уже тут о гласности, о присутствии посторонних и помину нет. Это — соединение высшего помещичества с высшим чиновничеством; тут председательствует начальник губернии (назначивший мировых посредников и чиновников на мировые съезды, следственно, создавший низшие инстанции, над действиями которых он становится главным судьею и, следственно, судит свое дело). Тут и губернский предводитель, высший представитель помещичества; тут и губернский прокурор, почти никогда не протестующий; тут еще два помещика, приглашенных по предложению губернатора министром внутренних дел, с высочайшего соизволения *; тут и еще два помещика, выбранные губернским и уездными предводителями дворянства; тут и управляющий палатой государственных имуществ или удельною конторой, которому специально в привычку грабить мужиков; предполагается даже и ненужный член от министра финансов, на случай выкупа. Тут все представители высших дворяно-чиновничьих интересов. Тут только нет ни единого представителя или защитника народа. Нет сомнения, что этот венец триипостаси поможет окончательно ограбить народ, если народ поддастся. Но зато тут есть секретарь, который получает жалования 1.500 р., что на 43 губернии составит 64.500 р., да четырем присутствующим помещикам по 2.000 р., итого

* Из этих трех лиц только губернатор знает человека и может продать ему за 500 р. жалование в 2 000 р. Министру совершенно все равно, кто он — Карп или Иван, он об них и не слыхивал; а государь разве откажет в соизволении потому, что фамилия не благозвучна, иной причины у него быть не может. Но зато какова канитель! Как их будут утверждать: по телеграфу или пошлют на крестьянский счет особых курьеров?

8.000, а на 43 губернии 344.000, а всего жалования по губернским присутствиям 408.500 р.; из этого на крестьянскую долю по крайней мере 272.333 р.

Вся триипостась жалованием будет стоить:

	Вообще	На долю крестьян
Мировым посредникам	1 290 000	860 000
Мировым съездам	408 000	272 000
Губернским присутствиям	408 500	272 333
р. сер.	2 106 500	1 404 333
р. асс.	7 372 750	4 915 162
на франки	8 426 000	5 617 332

чтó для крестьян составит не производительный, а самоубийственный налог около 15 коп. сер. с души, кроме содержания сельских и волостных властей, кроме найма землемеров и других расходов и кроме того, что власти награбят наличными, оберут материалами и трудом и, в награду за поборы, урежут из угодий.

Решение губернского присутствия, при разделении голосов, постановляется той половиной членов, к которой принадлежит председатель, т. е. губернатор (ст. 131); а если и он усомнится, то останавливает решение и доносит министру внутренних дел (ст. 132). Итак, решения высшего губернского *апелляционного суда* зависят от губернской или правительственной *исполнительной власти*, следственно, суд подчинен управлению. Какое отсутствие всякого смысла человеческого!

К «Положению о губернских и уездных учреждениях» приложен листок «Правил о порядке окончания примирением и третейским судом спорных дел, подлежащих ведомству мировых посредников». Правительственные понятия о третейском суде необычайны. Статья 4 этих «Правил» говорит, что на случай разделения голосов частных посредников обе стороны выбирают общего посредника; этого общего посредника могут выбрать частные посредники; а если не выберут, то его обязанность исполняет *мировой посредник*, которого — заметьте — ни одна сторона

не выбирала. По ст. 14 общий посредник может утвердить одно из мнений частных посредников, или предложить свое и утвердить его, если один из частных посредников согласится. А этим общим посредником может быть, как мы видели, мировой посредник, которого никто не выбирал. Следственно, есть случай, где на *третейском суду* решает дело человек, которому *ни одна* из спорящих сторон *не поручала* разбирательства, если найдется *один* из *нескольких,* который с ним согласится. Да с чего же это третейский суд? И куда девалось столь любимое большинство голосов, когда решение предоставлено *одному из нескольких,* да лицу, для суда совершенно непризванному? Удивительно!

Таким образом состроилось здание нового крепостного состояния, помещичьи-казенного, где правительство отдало народ под начало своего двойного чиновничества — чиновничества, наделенного недвижимой собственностью, отнятой у народа, и чиновничества, постоянно отнимающего у народа движимую собственность. В этом общественном здании, насилием искусственно возведенном, суд подчинен управлению; управление дано в руки правительственного двойного сословия; свобода народного выборного суда и самоуправления показана в букве закона, но разрушена на деле всемогуществом начальства; земли, общее народное достояние, отняты у народа и отданы помещикам и царю; выкуп сделан невозможным; даже уставные грамоты предложены невозможные — и крепостное право остается во всей силе, с тою разницею, что насколько оно смягчено в крепостном праве помещичьем, настолько оно усилено крепостным правом управительственным, казенным. Наконец, замочным камнем этого свода нового крепостного права служит мнение государственного совета, утвержденное царем и приложенное к «Положениям», мнение, которое не что иное, как разрешение помещикам продавать крестьян с землею, лишь бы покупщик был из дворян, и надел и повинности крестьян при продаже оставались сообразными с местными положениями (мнение государ. совета «об отчуждении и отдаче в залог помещичьих имений, также о передаче оных по наследству») *.

* Мнение государственного совета, вышедшее из узкого дворянского желания сохранить крепостное право, подрывает настоящие помещичьи интересы. Нераздельность крестьянских и помещичьих

Впрочем, тут есть маленькая разница против старого крепостного права: прежде продавались крестьяне с землей, а теперь будет продаваться земля с крестьянами.

Что же переменилось в России?

Многое.

Слово освобождения сказано, и потребность действительного освобождения будет с каждым днем расти в народе. Сказано пользование землею — и потребность, чтобы земля была признана общим народным достоянием, будет с каждым днем расти в народе. Неурядица «Положений» будет с каждым днем подстрекать и народ и самих помещиков к выходу из невыносимого состояния. Двойное управление и судопроизводство, обычное и особое, старое и новое, встречаясь неловко, заставит само правительство менять и изменять, писать и переписывать новые узаконения *, одно другого нелепее, потому что у правительства от смутного положения края — ума не прибавится. И в то время, когда старые солдаты и офицеры устанут стрелять

полей помешает помещикам продавать свои земли или закладывать. Продажа совокупного имения только в дворянские руки свяжет по рукам и ногам дворян, нуждающихся в продаже. Заложить будет некому, потому что капиталист (следственно, не из дворян) не возьмет под залог имения, которым он, в случае неплатежа, сам не иначе может воспользоваться, как чтоб крестьяне выкупили землю, а этого сделать будет нельзя; стало, кредитор потребует публичной продажи, а охотников купить не будет. Кто же при таких условиях даст денег под залог? А между тем, нужды помещичьи будут расти; споры с крестьянами, местные бунты, необработанность полей, суды и начальство и невозможность ни продать, ни заложить — поставят дворянство в страшное положение. Цены на земли совсем не поднимутся, а упадут, или поднимутся мнимым возвышением, которое будет не возвышение цен на земли, а упадок правительственных бумажек, которых надо будет давать вдвое, втрое и т. д. за рубль.— Не дурно также, в мнении госуд. совета, что так как в западных губерниях за целое признана не община, а отдельный семейный участок, то помещики будут иметь право продавать участки, а с ними, следственно, и семейства; это равняется разрешению продажи крестьян с землей *посемейно!*

* Говорят, что уже в министерстве юстиции заготовлены проекты, по которым мировые посредники будут обращены в мировые судьи, взамен уездным судам, но при обычной безгласности. Эти проекты поступили или поступят в госуд. совет. Вероятно, государь на них высочайше отмечал: «дельно, справедливо, желательно, чтобы были приведены в исполнение и в прочих государствах».— Желательно, скажем мы, чтоб кто-нибудь прислал их в «Колокол». Граф Панин! пришлите, или попросите Буткова прислать, если сами боитесь компрометироваться.

по народу, а новые рекруты и офицеры внесут в войско иное настроение; в то время, когда помещики, кто от устали и страха, кто по благородству убеждений, будут переходить больше и больше на сторону народную; в то время, когда у народа силы будут расти и крепнуть,— в то время промотавшееся правительство явится еще бездарнее, еще несостоятельнее. Смотрите: у него размягчение мозга, оно чуть дышит, оно умирает, оно умерло... Мертвые скачут проворно, скорость падения растет в десять тысяч раз на сто, и раз проснувшееся освобождение России совершится помимо и вопреки правительству, потому что:

Народ царем обманут!

ЧТО НУЖНО НАРОДУ?[1]

Очень просто, народу нужна земля да воля.

Без земли народу жить нельзя, да без земли нельзя его и оставить, потому что она его собственная, кровная. *Земля никому другому не принадлежит, как народу.* Кто занял землю, которую зовут Россией? кто ее возделал, кто ее спокон веков отвоевывал да отстаивал против всяких врагов? Народ, никто другой, как народ. Сколько погибло народа на войнах, того и не перечтешь! В одни последние пятьдесят лет куда более миллиона крестьян погибло, лишь бы отстоять народную землю. Приходил в 1812 году Наполеон, его выгнали, да ведь не даром: слишком восемь сот тысяч своего народа уложили. Приходили вот теперь в Крым англо-французы; и тут слишком пятьдесят тысяч людей было убито или умерло от ран. А кроме этих двух больших войн, сколько в эти же пятьдесят лет уложили народа в других малых войнах? Для чего же все это? Сами цари твердили народу: «для того, *чтобы отстоять свою землю*». Не отстаивай народ русской земли, не было бы и русского царства, не было бы и царей и помещиков.

И всегда так бывало. Как придет к нам какой-нибудь недруг, так народу и кричат: давай солдат, давай денег, вооружайся, отстаивай родную землю! Народ и отстаивал. А теперь и царь и помещики будто забыли, что народ тысячу лет лил пот и кровь, чтоб выработать и отстоять свою

землю, и говорят народу: «покупай, мол, еще эту землю, за деньги». Нет! это уж искариотство. Коли торговать землей, так торговать ею тому, кто ее добыл. И если цари и помещики не хотят заодно, нераздельно с народом владеть землей, так пусть же *они* покупают землю, а не народ, ибо земля не ихняя, а народная и пришла она народу не от царей и помещиков, а от дедов, которые заселили ее во времена, когда о помещиках и царях еще и помину не было.

Народ спокон веков *на самом деле* владел землей, *на самом деле* лил за землю *пот и кровь,* а приказные *на бумаге чернилами* отписывали эту землю помещикам да в царскую казну. Вместе с землей и самый народ забрали в неволю и хотели уверить, что это и есть закон, это и есть божеская правда. Однако никого не уверили. Плетьми народ секли, пулями стреляли, в каторгу ссылали, чтобы народ повиновался приказному закону. Народ замолчал, а все не поверил. И из неправого дела все же не вышло дела правого. Притеснениями только народ и государство разорили.

Увидели теперь сами, что попрежнему жить нельзя. Задумали исправить дело. Четыре года писали да переписывали свои бумаги. Наконец, решили дело и объявили народу свободу. Послали повсюду генералов и чиновников читать манифест и служить по церквам молебны. Молись, мол, богу за царя, да за волю, да за свое будущее счастье.

Народ поверил, обрадовался и стал молиться.

Однако, как зачали генералы да чиновники толковать народу *Положения,* оказывается, что воля дана только на словах, а не на деле. Что в новых положениях — прежние приказные законы, только на другой бумаге, другими словами переписаны. И барщину и оброки отбывай помещику попрежнему, хочешь получить свою избу и землю — выкупай их на свои собственные деньги. Выдумали переходное состояние. Не то на два года, не то на шесть, не то на девять лет определили для народа новое крепостное состояние, где помещик будет сечь через начальство, где суд будет творить начальство, где все перепутано так, что если б в этих царских положениях и нашлась какая-нибудь льготная крупица для народа, то ею и воспользоваться нельзя. И государственным крестьянам попрежнему их горькую судьбу оставили, и землей и народом оставили владеть все тех же чиновников, а хочешь на волю так выкупай свою

землю. Слушает народ, что ему толкуют генералы и чиновники про волю, и понять не может — какая это воля без земли под помещичьими и чиновничьими розгами. Верить не хочет народ, чтоб его так бесчестно обманули. Быть, говорит, не может, чтобы царь своим словом четыре года ласкал нас свободой, а теперь, на деле, подарил бы прежней барщиной и оброком, прежними розгами и побоями.

Хорошо, кто не поверил, да смолчал: а кто не поверил, да стал тужить по несбывшейся воле, тех пришли вразумлять плетьми, штыками да пулями. И полилась по Руси безвинная кровь. Вместо молитв за царя, раздались стоны мучеников, падающих под плетьми и пулями да изнемогающих под железами по сибирской дороге.

Так-то опять плетьми да каторгой хотят заставить народ верить, что новый приказный закон есть божеская правда.

Да еще глумятся царь да вельможи, говорят, что через два года будет воля. Откуда же она будет воля-то? Землю урежут, да за урезанную заставят платить в три дорого, да отдадут народ под власть чиновников, чтоб и сверх этих тройных денег еще втрое грабежом выжимали; и чуть кто не даст себя грабить, так опять плети да каторга. Ничего они не то, что через два года,— а *никогда* для народа не сделают, потому что их выгода — рабство народное, а не свобода.

И откуда это народу такая беда, что живет он, живет, работает, работает, а до правды дожить не может, и вечно народом торгуют?

Как откуда? Ради чего Иуда Христа продал? Ради алчности. Так же алчность заставляет и царей, и помещиков, и чиновников торговать народной землей, народной кровью и обманывать народ. Чтобы им была во всем излишняя роскошь — народ живи в бедности, неволе, невежестве.

Землю от народа отписали за себя. Все что народ ни выработает — подавай ко двору, да в казну, да дворянам; а сам вечно сиди в гнилой рубахе да в дырявых лаптях.

Свободу отняли. Шагу не смей сделать без чиновничьего позволенья, без паспорта или билета, и за все плати.

Ничему народ не учили. Деньги, что собирают на народное ученье, сорят на царские конюшни и псарни,

на чиновников и ненужное войско, которое стреляло бы по народу.

Понимают сами, что так быть нельзя, что с таким искариотством и народ сгубишь, и царство сгубишь, и самих себя не при чем оставишь. Сами сознаются перед народом, что надо дать ему поправиться, а как до дела дойдет, алчности-то своей преодолеть не могут. Жалко царю своих бессчетных дворцов с тысячами лакеев и арапов, жалко царице своих парчей и бриллиантов. Еще не сумели они полюбить народа более, чем своих охотничьих собак, чем золотую посуду, чем пиры и забавы. Вот и не могут они отрешить и унять своих вельмож и чиновников, которые помогают им сбирать с народа миллионы рублей, да и сами на себя тянут столько же. Не могут победить своей алчности, вот и двоедушничают. И пишет царь такие манифесты, которых народ в толк взять не может. На словах будто добр и говорит с народом по совести; а как слова на деле исполнять приходится, держится с вельможами все той же алчности. На словах от царской доброты народу радость и веселье, а на деле все прежнее горе да слезы. На словах народу от царя воля, а на деле за эту же волю царские генералы секут народ да в Сибирь ссылают, да расстреливают.

Нет! двоедушничать с народом и обманывать его — бесчестно и преступно. Торговать землей и волей народа не то ли же, что Иуде торговать Христом? Нет, дело народа должно быть решено без торга, по совести и правде. Решение должно быть простое, откровенное, всякому понятное; чтобы слов решения, раз произнесенных, ни царь, ни помещики с чиновниками перетолковывать не могли. Чтобы ради глупых, бестолковых, изменнических слов не лилось неповинной крови.

Что нужно народу?

Земля, воля, образование.

Чтобы народ получил их на самом деле, необходимо:

1) Объявить, что все крестьяне свободны с той землей, которою теперь владеют. У кого нет земли, например у дворовых и некоторых заводских, тем дать участки из земель государственных, то есть народных, никем еще не занятых. У кого из помещичьих крестьян земли не в достачу, тем прирезать земли от помещиков или дать земли на выселок. Так, чтобы ни один крестьянин без достаточного

количества земли не остался. Землей владеть крестьянам сообща, т. е. общинами. А когда в какой общине народится слишком много народу, так что тесно станет, дать той общине для крестьян сколько нужно земли на выселок из пустопорожних удобных земель. В тысячу лет русский народ заселил и завоевал земли столько, что ему ее на многие века хватит. Знай плодись, а в земле отказа быть не может.

2) Как весь народ будет владеть общей народной землей, так, значит, весь народ за пользование этой землей будет платить и подати на общие народные нужды, в общую государственную (народную) казну. Для сего освобожденных с землей крестьян обложить такою же податью, какую ныне платят государственные крестьяне, но не более. Подати те вносить крестьянам сообща, за круговою порукою; чтоб крестьяне каждой общины отвечали друг за друга.

3) Хотя помещики триста лет и владели неправо землей, однако народ их обижать не хочет. Пусть им казначейство выдает ежегодно, в пособие или вознаграждение, сколько нужно, примерно хоть шестьдесят миллионов в год *, из общих государственных податей. Лишь бы народу осталась вся земля, которую он теперь на себя пашет, на которой живет, с которой кормится и отапливается, с которой скот свой кормит и поит, да лишь бы подати ни в каком случае не повышали, а то народ на отсчитывание вознаграждения помещикам из податей согласен. А сколько кому из отсчитываемых на это из податей денег

* Если принять 60 миллионов за проценты с капитала, по 6 на сто, то капитала выйдет тысяча миллионов. Если ежегодно отсчитывать из числа податей в пользу помещиков 60 миллионов, так чтоб шестой процент шел на уплату капитала, то через 37 лет вся тысяча миллионов будет выплачена и с процентами по 5 на сто — и, следственно, помещик вознагражден как нельзя лучше, с лихвою. Помещикам выдать теперь вместо капитала билеты, на которых прописано, сколько кому следует получать в тридцатисемилетний срок; они эти билеты могут сейчас, кто хочет, продавать и иметь деньги на новые обзаведения и наем рабочих; тогда проценты по билетам, как теперь из ломбарда, будет получать из казначейства, кто их купил, у кого они в руках. А это народу все равно, лишь бы податей не повышали; а через 37 лет нечего будет из податей отсчитывать на уплату по билетам, все будет выплачено; надо будет подати или понизить, или употреблять на общее народу полезное дело.

приходится, помещики сами промеж себя по губерниям согласиться могут. Народу это все равно, лишь бы подать не повышали. Помещичьих крестьян по последней ревизии считается всего 11 024 108 душ. Если их обложить одинаковою податью с государственными крестьянами, т. е. рублей по семи с души в год, то, отсчитав из этих семи рублей около 1 руб. 60 коп. серебром, которые помещичьи крестьяне ныне платят в казну (подушными и разными повинностями), останется затем с каждой души около 5 руб. 40 коп. сер., а от всех помещичьих крестьян в России — около шестидесяти миллионов рублей серебром. Значит, есть чем пособить и вознаградить помещиков; больше этого им и желать стыдно, и давать не следует.

4) Если при такой подати до полных 60 миллионов, следующих помещикам, чего и не хватит, то для покрытия недостатка все-таки никаких лишних податей требовать не надо. А следует убавить расход на войско. Русский народ живет в миру со всеми соседями и хочет жить с ними в миру; стало, ему огромного войска, которым только царь тешится да по мужикам стреляет, не надо. А потому войско следует сократить на половину. Теперь на войско и на флот тратится сто двадцать миллионов, а все без толку. С народа собирают на войско денег кучу, а до солдата мало доходит. Из ста двадцати миллионов сорок миллионов идет на одних только военных чиновников (на военное управление), которые еще, кроме того, сами знатно казну разворовывают. Как сократить войско на половину, да в особенности посократить военных чиновников, так и солдатам будет лучше, да и излишек от расходов на войско большой останется, миллионов сорок серебром. С таким излишком, как бы ни было велико вознаграждение помещикам, а уплатить будет чем. Податей не прибавится, а распределятся они разумнее. Те же деньги, которые народ теперь платит на лишнее войско, чтоб царь тем войском по народу стрелял, пойдут не в смерть, а в жизнь народу, чтоб выйти народу спокойно на волю с своею землею.

5) И собственные расходы царского правительства надо сократить. Вместо того, чтоб строить царю конюшни да псарни, лучше строить хорошие дороги, да ремесленные, земледельческие и всякие пригодные народу школы и заведения. При том, само собой разумеется, что царю

и семье царской нечего напрасно присвоивать себе удельных и заводских крестьян и доходы с них; надо, чтоб крестьянство было одно и платило бы одинаковую подать, а из подати и будут отсчитывать, сколько царю за управление положить можно.

6) Избавить народ от чиновников. Для этого надо, чтоб крестьяне, и в общинах и в волостях, управлялись бы сами, своими выборными. Сельских и волостных старшин определяли бы своим выбором и отрешали бы своим судом. Между собой судились бы своим третейским судом или на миру. Сельскую и волостную полицию справляли бы сами своими выборными людьми. И чтоб во все это, равно как и в то, кто какою работою или торговлей и промыслом занимается, отныне ни один помещик или чиновник не вмешивался бы, лишь бы крестьяне во-время вносили свою подать. А за это, как сказано, отвечает круговая порука. Для легкости же круговой поруки крестьяне каждой общины промеж себя сделают складчину, то есть составят мирские капиталы. Случится ли с кем беда, мир ссудит его из этого капитала и не даст погибнуть; запоздал ли кто податью — мир внесет за него подать в срок, даст ему время поправиться. Понадобилось ли для всей общины построить мельницу или магазин, или купить машину, общественный капитал поможет им сладить общеполезное дело. Общественный капитал и хозяйству сельскому поможет, да и от чиновников спасет, так как при исправном платеже податей ни один чиновник никого и притеснить не может. Тут-то и важно, чтоб все стояли за одного. Дашь одного в обиду — всех обидят. Само собой разумеется, не надо, чтоб до этого капитала чиновник пальцем дотронулся; а те, которым мир его поручит,— те в нем отчет миру и дадут.

7) А для того, чтоб народ, получив землю и волю, сохранил бы их на вечные времена; для того, чтобы царь не облагал произвольно народ тяжкими податями и повинностями, не держал бы на народные деньги лишнего войска и лишних чиновников, которые давили бы народ; для того, чтобы царь не мог прокучивать народные деньги на пиры, а расходовал бы их по совести на народные нужды и образование,— надо, чтоб подати и повинности определял бы и раскладывал промеж себя сам народ через своих выборных. В каждой волости выборные от сел

решат промеж себя, сколько надо собрать с своего народа денег на общие нужды волости и выберут промеж себя доверенного человека, которого пошлют в уезд, чтоб вместе с выборными от других волостей, и землевладельцев, и городских обывателей, решить, какие нужны подати и повинности по уезду. Эти выборные на уездном сходе выберут промеж себя доверенных людей и пошлют их в губернский город, чтобы решить, какие народу принять повинности по губернии. Наконец, выборные от губерний съедутся в столицу к царю и порешат, какие повинности и подати должны быть отбываемы народом для нужд государственных, т. е. общих для всего русского народа.

Доверенные от народа люди не дадут народа в обиду, не позволят брать с народа лишних денег; а без лишних денег не из чего будет содержать и лишнего войска и лишних чиновников. Народ, значит, будет жить счастливо, без притеснений.

Доверенные люди решат, сколько податей платить народу и как платить их, чтобы никому не было обидно. Как соберутся выборные да столкуются, им уж можно будет порешить, чтобы подать платилась не с души, а с земли. У какой общины земли более да земля получше, той, значит, и платить податей придется более; а кто землей беднее — те и платить будут менее. Тут и помещики с своей земли платить будут. Значит, дело будет справедливее и для народа льготнее. Доверенные же решат, как по справедливости отбывать рекрутскую повинность; как по справедливости отбывать дорожную, постойную и подводную повинности; оценят их деньгами и разложат по всему народу безобидно. Разочтут всякую народную копейку, на какое именно дело ей итти: сколько денег на правительство, сколько на войско, сколько на суды, сколько на училища народные, сколько на дороги. И что решат, то только и будет. Как пройдет год, так в каждой копейке подай отчет народу — куда она истрачена.

Вот тогда народ и будет в самом деле благоденствовать. Вот что нужно народу, без чего он жить не может.

Да кто же будет ему таким другом, что доставит ему все это?

До сих пор народ веровал, что таким другом ему будет нынешний царь. Что не в пример прежних царей, которые

отписали землю от народа и отдали его в неволю вельможам, помещикам и чиновникам, новый царь осчастливит народ. Только как пришли генералы с солдатами расстреливать народ за волю и сечь шпицрутенами, так пришлось и про нового царя сказать то же, что пророк Самуил говорил народу израильскому, когда советывал ему обойтись без царя: «И поставит (царь) тебе сотники и тысячники; и дщери ваши возьмет в мироварницы и поварницы; и селы ваши и винограды ваши и маслична ваша драгие возьмет и отдаст рабам своим; и семена ваша и винограды ваша одесятствует; и стада ваша благая возьмет и одесятствует на дела своя; и пажити ваша одесятствует и вы будете ему рабы» *. Иными словами: не жди от царя никакого добра, а только одного зла, так как по алчности своей цари и волю и достаток народа обирают неминуемо. И наш царь, что приказывает стрелять по народу, оказывается, значит, царем самуиловским. Того и смотри, что он не друг, а первый враг народа. Говорят, что он добрый: да что же бы он мог хуже теперешнего сделать, когда б он был злой? Пусть же народ подождет молиться за него, а своим чутьем да здравым смыслом поищет себе друзей понадежнее, друзей настоящих, людей преданных.

Пуще всего надо народу сближаться с войском. И отец ли, мать ли снаряжает сына в рекруты — не забывай народной воли, бери с сына клятву, что по народу стрелять не будет, не будет убийцей отцов, матерей и сестер кровных, кто бы ни дал приказ стрелять, хотя бы сам царь, потому что такой приказ, хотя бы и царский, все же приказ окаянный. Затем ищи себе друзей и повыше.

Когда найдется офицер, который научит солдат, что стрелять по народу грех смертный — знай народ, что это друг его, который стоит за землю мирскую да за волю народную.

Найдется ли помещик, который тотчас отпустит крестьян на волю со всею их землею, самым льготным способом и ни в чем не обидит, а во всем поможет; найдется ли купец, который не пожалеет своих рублей на освобождение; найдется ли такой человек, у которого ни крестьян, ни рублей нет, но который всю жизнь и думал, и учился,

---

* 1 кн. Царств, гл. VIII.

и писал, и печатал только для того, как бы лучше устроить землю мирскую да волю народную,— знай народ: это все друзья его.

Шуметь без толку и лезть под пулю вразбивку нечего; а надо молча сбираться с силами, искать людей преданных, которые помогали бы и советом, и руководством, и словом, и делом, и казной, и жизнью, чтоб можно было умно, твердо, спокойно, дружно и сильно отстоять против царя и вельмож землю мирскую, волю народную да правду человеческую [2].

ОТВЕТ
НА «ОТВЕТ „ВЕЛИКОРУССУ“»[1]

Наш ответ — привет.

Мы, поставленные вне преследований, не хотели начать; долго и спокойно выжидали мы из России голоса, который бы сказал, что пора боязней прошла, что прошла пора слов, что пришла пора *дела.* Мы выжидали спокойно, потому что верили в этот голос, понимали его неизбежность.

Но знаете ли, как эта мысль, что пришла пора *дела*,— внезапно отрезвляет? Пыл, который в слове увлекал без оглядки, усталь, которая в слове проскользала незамеченной,—в деле всему этому уже нет места: требуется сила всегда спокойная и обдуманная, бесстрашная и непрерывная.

Думали ли вы о трудности задачи — людям собираться, двигать друг друга на деятельность, держать вечно высокий уровень настроения и вместе охранять друг друга, не растрачивать ни единой силы даром, не сделать ни одного шага, который бы удалял от цели?

Думали ли вы, что, как бы ни была ясна цель, общественная жизнь перепутана из стольких нитей и сплетений, из стольких разнородных потребностей, что самый общий план может только приспособляться к обстоятельствам, расти с ними, останавливаться, изменяться и что всего чаще придется ладить с *приближениями* к цели? Вековые задачи в один день не решаются; на чем *мы* остановимся — неизвестно.

Да и как поставить цель? Как составить план?

Для этого надо ещё осмотреться, разузнать местность, материал, из которого на ней жизнь строится, доступные орудия ломки и построения.

От Урала до Вислы, от Архангельска до Одессы империя представляет различные племена, с своими местными потребностями, с своими местными условиями, связанные вместе одинаким рабством и, следственно, одною внутреннею необходимостью освобождения, связанные сверх того родством породы, взаимной выгодой рынков и одинакими путями сбыта произведений через Балтику и Черное море, через Белое море, Сибирь и Каспий и к западу через Польшу. Если вы ставите на вашем знамени освобождение и союз областей, если мы взяли самую эту мысль и разделение у Пестеля, то мы с вами сходимся, не потому, чтобы каждый из нас, сидя в разных углах мира, домечтался до одинакой мысли, а потому, что это разделение и этот союз лежат в условиях местности и жизни и составляют историческую *неизбежность*. Из этого следует, что тайные общества, имеющие целью преобразовать империю рабства в союз самоуправления, естественно возникнут по областям и станут стремиться к соединению. Это тотчас очерчивает общий план движения. Оно упрощает средства — потому, что деятели станут работать дома и в определенном кругу. Оно не раздробляет силы, а соединяет составные силы в одну. Оно обессиливает надзор правительства, потому что за семерыми детьми одна нянька не углядит, и на первых порах отсутствие центра сделает то, что у правительственного надзора глаза разбегутся, а покамест силы и сплотятся. Оно не уменьшает силу деятелей, а увеличивает, потому что каждая сила хороша, когда она приложена к своему назначению, и каждый деятель вполне силен — дома. Самые войска расположены в различных местностях империи, а влияние на них местных деятелей — необходимо. Наконец, если б мы и хотели иначе устроить общество, это нам не удалось бы, потому что естественный склад, лежащий в условиях жизни, — только этот. Его мы видим и в литературе, его мы видим и в личных встречах, он даже жив в преждевременных спорах о границах.

Уже поляки соглашаются, что присоединение прилежащих областей к Польше, или к России, или их самобытная независимость должны зависеть от свободного решения самих населений [2]. Мы больше ничего не требуем.

Но мы укажем на одно: для того, чтоб было решение областных населений, надо, чтоб наперед было их освобождение от петербургского деспотизма и чиновничества. Поэтому освобождение Польши, освобождение прилежащих областей и освобождение России — нераздельны. В общем освобождении Польша представляет так же силу, как и Россия; поэтому мы умоляем поляков не выступать преждевременно отдельною силою, которая окажется слишком слаба, чтоб держаться, и, сделавши ложный шаг, обессилит Россию на всю помощь, которую Россия ожидает от Польши, и отдалит общее освобождение. Мы можем свободно и бесспорно, братски разграничиться после, но освободиться друг без друга мы не можем. И польское общество, и литовское, и украинское, и русские общества должны представлять каждое одну из составных сил в общей силе и потому действовать вместе.

Польский вопрос слишком важен, чтоб не досказать его. Мы до сих пор почти ничего не говорили о других западных и южных славянских племенах, потому что мы не видим для них возможности освобождения прежде освобождения Польши и России. Одно освобождение Польши отвлечет немецкие силы настолько, что западно-южные славяне отделаются равно и от немцев и от турок. Конечно, Франция не поможет Польше освободиться... далеко, да и не из чего ссориться с Петербургом; но она и не помешает ни польско-русскому, ни юго-западному славянскому освобождению. Не помешает ему равно Франция республиканская или имперская, хотя бы мы и не имели к ней ни малейшего сочувствия; в выгодах романских народов не лежит союз с немцами, и потому в их выгодах союз славянский; для Франции, даже имперской, союз с освобождающейся Россией и Польшей выгоднее, чем союз с Петербургом, который корнем сросся с Пруссией. Если вопрос о национальностях в наше время так сильно поднят, что не может улечься, не достигнув решения, то узел этого вопроса в польском освобождении; а так как оно не может иметь успеха без русского освобождения и связуется с ним в одну силу, то мы убеждены, что гораздо ближе, чем кажется, время, когда русский солдат и русский офицер, тот самый офицер, который вчера стрелял в своих, поймут, что гораздо честнее и благороднее и гораздо выгоднее выслуживать толстые эполеты,

освобождая Познань и Галицию, чем безумствуя в должности дворового опричника на плохих харчах у отяжелевшего барина.

Мы считаем войну и кровопролитие безумием. Но вопрос не в нашем мнении о войне, а в возможности обойтись без нее. Дерутся люди, когда один хочет, чтоб другой думал, что дважды два — пять, или тот, наоборот, хочет доказать, что дважды два — три; если бы оба думали, что дважды два — четыре,— они бы не дрались. Дойдет ли когда-нибудь род человеческий до равного понимания истины — это загадка, но что добиваться до него роду человеческому так же природно, как голодному есть,— это неоспоримо, да еще вдобавок природная работа мозга и мысли благородна и величава. Поэтому не трудиться мы не можем, а можно ли обойтись без войны, пока нет равного понимания, без борьбы, когда нет надежды договориться,— это мудрено решить. Чего бы лучше, если б немцы и петербургское правительство оставили Польшу свободною? Но ведь они этого не сделают. Чего бы лучше, если б петербургский царь понял, что России нужно сельское и областное самоуправление, что это ее естественный склад (constitution), что для этого необходима основа народного землевладения? Если б он понял это, он отказался бы от власти уродливой и, пожалуй, сохранил бы династическое существование в союзном правлении. Но ведь он этого не поймет. Естественным последствием таких непониманий будет освобождение России и Польши военное, падение Австрии и переезд петербургской династии на родину — в Пруссию.

Да таким образом, подумаете вы или другой благонамеренный человек, из чего же хлопотать составлять областные общества, когда одно общество в Петербурге, где сосредоточены образованные военные и невоенные люди, может дойти до развязки удачным повторением 14 Декабря?

Случиться может. Оно, может быть, и легче и без сомнения подвинет дело, но не покончит. Что же делать на другой день после победы, когда областные силы не подготовлены? Начать их учреждать? Как? Посредством новой царской власти или диктатуры? Положим, что это гораздо лучше чиновничьего императорства и вызовет областную, народную жизнь. Но где основание доверия к но-

вой власти? Только в Петербурге? Способен ли Петербург сделаться, наподобие Парижа, центром, откуда предписывались бы законы на все пространство от Урала до Вислы? И в то время, когда вопрос не в верховном центре, а в самобытности частей? — Но Петербург, по своей неспособности стать центром, вероятно и признает самобытность частей? Может быть! В таком случае чем же мешает подготовка областных обществ? Она только поможет всему пространству от Урала до Вислы плодотворно воспользоваться петербургским переворотом. И сверх того, если б петербургский переворот и не удался,— они все же останутся целы и могут действовать. Повторяем: план может только применяться к обстоятельствам; план компании может быть составлен, но каким образом воспользоваться выгодной случайностью — это дело мгновенного чутья и соображения.

Может быть, и помещичьи стремления к аристократической конституции примут такие размеры, что петербургское правительство согласится дать такую конституцию. Почему же России не взять ее — почему Польше не взять ее? Если это направление составит действительную силу, зачем нам расходиться с конституционалистами? Мы не верим в прочность этой конституции — это другое дело. Но не отдавши земли народу, ее достигнуть невозможно, это уже выигрыш. Если она устранит народ от управления, народ ее на другой день опрокинет, хотя бы в пользу самодержавия. Если она не устранит народ от управления, то она придет — может, и очень мирным путем — к тем же вопросам: к устройству сельского самоуправления и самобытности областей, т. е. придет к естественному складу общественной жизни, из помещичьей конституции перейдет в бессословное самоуправление и форму областного союза, при котором Польша совсем отделится и станет присоединять к себе польские области, находящиеся у немцев, а русские области придут к союзу, где учреждение союзной исполнительной власти будет совершенно равнодушно к семейному интересу ныне царствующего дома. Аристократическая конституция, как мы недавно сказали в другом месте *,— призрак. Конституция без буржуазии не мыслима.

* Предисловие к сборнику стихотворений под заглавием: «Русская потаенная литература XIX столетия». Эта книга в печати и в скором времени поступит в продажу.

Английская конституция, вышедшая из английской революции, была делом буржуазии, работавшей долго — вместе против феодализма и монархической власти, и английская конституция, несмотря на камеру лордов и некоторые средневековые формы, есть управление страны посредством буржуазного парламента. Дело не в том, какая форма правительства лучше — конституционная или не конституционная, а дело в том, что нельзя создать конституционную форму правительства, на манер английской или бывшей французской, в стране, где нет среднего сословия. Ее не из чего сделать. Если она и случится, то она не прочна; а между тем и она дело подвинет простором, данным мысли, слову и действию.

От исторической неизбежности, достижение которой собственно и составляет цель, мы ни в каком случае не уйдем; а не пользоваться случаями сделать шаг вперед было бы безрассудно. Тут есть фатализм, подумаете вы... Может быть! только не фатализм предопределения, но тот, вследствие которого логика — фатализм мысли, а жизнь — фатализм причин и следствий.

Но если мы согласны, что общества естественно возникнут по областям, и что это возникновение вообще полезно и нисколько не мешает ни случайности петербургского переворота, ни случайности конституции, то пойдемте дальше.

По всему пространству России* народонаселение представляет три разряда: большинство притесненное — народ, помещиков и чиновников — притесняющих, и образованное меньшинство из среды помещиков, чиновников и разночинцев, сочувствующее народу. Народ составляет естественное сплошное общество, явное по существованию, тайное — по жажде действительного освобождения, которого правительство не хочет. Народ сбирать нечего, он собран; ему надо только понять, что делать в данную минуту,— и делать. В настоящее время он уже обнаруживает сильную политическую сметливость, отказываясь переходить с барщины на оброк и составлять уставные грамоты и

* Мы на этот раз не говорим о Сибири. Ее редкое население не поможет России людьми, разве капиталами; но Сибирь ни в каком случае не помешает русскому освобождению. В ней нет правительственного войска, и с освобождением России, она, естественно, становится свободною без всяких своих усилий. Поэтому она непременная, выгодная, но мало деятельная союзница.

не отказываясь собираться в волости, что немедленно облегчает потребность и возможность сходов.

Следственно, собрать остается меньшинство. Это до такой степени верно, и необходимость сплочения меньшинства так неодолима, что и «Великорусс», и ваш ответ «Великоруссу», и наш теперешний разговор с вами — обращены к меньшинству, а не к народу. Для того чтоб меньшинство могло говорить с народом, ему надо собраться. Это очевидно. Если мы станем говорить только друг с другом, мы ничего не сделаем и ограничимся наслаждением взаимного согласия, т. е. словами. Между тем — заметьте, что меньшинство столичное всегда будет говорить только друг с другом; у него нет народа, с которым приходилось бы договариваться. «Великорусс» хорош как клик к меньшинству и первый пример *; но для того, чтоб делалось дело, надо, чтобы типографии заводились по областям, потому что там меньшинство *не может не говорить* с народом. Это опять приводит к необходимости составления обществ по областям.

Каким образом сложатся общества, это невозможно предугадать. Есть стремление, есть воля, есть цель, робость проходит — вот достаточные данные для их существования. Но наше меньшинство подразделяется на чисто народное и на меньшинство с помещичьим оттенком. Первое прямо идет на конституцию в смысле общественного склада, т. е. на устройство сельского самоуправления и самобытности областей. Второе — на конституцию в обычном смысле, т. е. ограничение царской власти, с большими льготами для народа и еще с бо́льшими для помещичьего значения. Обе стороны имеют свои достоинства, и расходиться с самого начала было бы для обеих чрезвычайно бестактным поступком. Конституционная сторона привлечет к себе тех помещиков, которые бы иначе остались в бездействии, и так сроднит высшие сословия с мыслью о несостоятельности самодержавия, что самодержавие потеряет всякую самоуверенность и, следственно, потеряет последнюю силу. Вместе с тем конституционное меньшинство увлечет помещиков к уступке земли народу и к признанию

* Пока это печаталось, мы получили 2-й № «Великорусса» — и не можем не сказать ему нашего горячего привета. Это подвиг, который не пропадет бесплодно. Мы перепечатаем этот № в следующем «Колоколе».

независимости его сельского самоуправления, для того чтоб иметь право и силу объявить самодержавию, что оно несостоятельно. Зачем же чисто народному меньшинству расходиться с таким союзником?

С своей стороны чисто народное меньшинство не может не сказать и доказать народу, что виною введения нового крепостного права на место освобождения — царь. Да и народ сам это понял. Может, он еще боится сам себе в этом сознаться, по привычке к царю; но когда через два года, т. е. теперь через полтора, повторятся бездницкие дела — а они необходимо повторятся,— то народ поймет гораздо легче вред и несостоятельность самодержавия. С чего же конституционному меньшинству расходиться с таким союзником?

Если оба меньшинства вместе могут привести все сословия к сознанию вреда и несостоятельности самодержавия, зачем же им не действовать вместе? К тому же ни то, ни другое не могут не действовать по областям; конституционалисты должны понять, что на требование прав нужна местная подача голосов; народное меньшинство должно понять, что легче соединиться, сдружиться с *этим* народом, чем с народом вообще,— неопределенный радиус деятельности теряется в пустоте. Конституционалисты не могут действовать, не отдавая земли и сельского самоуправления народу; народному меньшинству на этом основании легче поколебать самодержавие, урезывающее народную землю и вводящее в сельское управление чиновничество. Спор не существен. Историческая неизбежность поневоле становится целью, и ни та, ни другая сторона не знает, перейдем мы через конституцию или нет; это покажет дальнейший ход обстоятельств. Обе стороны знают, что настоящий порядок вещей держаться не может и чем скорее пройдет тяжелое колебание, тем лучше; стало, работать надо совокупно.

Мы были бы совершенно равнодушны к форме правительства и династическому интересу царя, если б самодержавие не мешало народному устройству. Но оно положительно мешает, и потому на первом плане стоит необходимость его устранения.

Но, скажут иные,— где же это меньшинство? Разве в фантазии? Его на деле не существует, или оно слишком бессильно. Что оно существует, для этого достаточно

взглянуть на появление «Колокола» и «Великорусса» и на всю потаенную литературу. Оно не сильно сегодня, оно будет сильно завтра. Сегодня оно меньшинство, завтра оно будет большинством. Повторим еще раз, что христианство распространилось в мире посредством двенадцати человек, составлявших каждый несколько тайных обществ, тайных потому, что им надо было ограждаться от преследований.

Что каждое общество без различия оттенков, как бы ни было мало его зерно, вынуждено говорить с народом и ради своей цели и по силе обстоятельств, это явствует из положения вещей. Что каждое общество сблизится с народом и перейдет в народное, в этом мы не сомневаемся. До сих пор говорят, что народ не будет иметь доверия к людям иного сословия, что черта разделяющая слишком разделяет... Но ведь до сих пор народу только приказывали, говорить с ним никто не пробовал, стало, нельзя знать, что будет, когда с народом станут говорить. До сих пор думают, что народ глуп и необразован и не поймет, что́ с ним станут говорить. В этом мы сильно сомневаемся. Если говорящий говорит ясно, народ поймет; для этого не нужно искусственно подражать народному языку; нужно только, чтоб каждое слово было просто и ясно. Но для того, чтоб ясно говорить, надо ясно думать. Ну, а если народ нас не понимал и мы не ясно говорили оттого, что мы не ясно думали? Обстоятельства нас учат ясно думать, от этого и цель становится определеннее; сближение с народом заставит нас ясно думать, чтоб можно было ясно говорить. И народ нас очень хорошо поймет, и мы его получше поймем, чем до сих пор, и доверие и связь будут расти с каждым днем.

Около чего же составится общество? Около всего: около промышленного предприятия, около школы, около устройства банка, около устройства ярмарки, около устройства одной волости... около чего угодно. Мы так убеждены, что в каждой области найдутся для начала трое во имя общественного освобождения, что не сомневаемся в росте обществ. Одно развитие круговой поруки, которая существует и в областях с общинным и в областях с подворным землевладением и которой правительство не может мешать, не вредя собственным финансам, одно развитие круговой поруки, ненавидимой экономистами и которая в сущности составляет по всему пространству России

общество взаимного застрахования, поощряемого экономистами,— одно развитие круговой поруки может собрать около себя меньшинство и народ, соединенные в одно явно-тайное общество. Занятие мест мировых посредников членами общества на эти два года — одно из самых важных средств действия. Мировые посредники невольно <находятся> в сношениях и с народом и между собою. Через два года придется отказываться от этих мест и оставлять правительство с его возмутительным и, следственно, возмущающим чиновничеством, а в два года общее настроение поднимется так высоко, что мировые посредники, лишенные мест, вследствие правительственно-чиновничьих и правительственно-помещичьих притязаний, сохранят в областях огромную нравственную силу, а с ними и все общества.

Чтó именно говорить с народом, этого нельзя рассказать на страницах журнала и нельзя сказать вперед, потому что только обстоятельства вызывают на слово. В общих основаниях мы, кажется, согласны: на первом плане стоит уяснение несостоятельности и вреда царской власти для общественного благосостояния и общественной свободы, которые не могут быть достигнуты помимо народного землевладения, сельского самоуправления, областной самобытности и областного союза.

Нельзя упустить из виду, что общества не могут существовать без денежных средств, как для взаимных сношений, так и для распространения своих убеждений в путешествиях, изустно и печатно и вообще для собрания сил. Для этого, без сомнения, необходимы посильные денежные приношения, которые могут быть сбираемы и хранимы всюду — и в России и за границей, лишь бы требование выдачи их на расход носило достоверность, что деньги пойдут не на вздор, иначе ответственность хранителей не может иметь места.

Вы, конечно, не станете искать в нашем предположении какого-нибудь резкого разграничения областных обществ; и тут, как во всем живом, границы переходят. Один человек может принадлежать к разным обществам, люди могут менять места жительства и так далее. Заранее никто из нас определить живого развития не может. Можно сделать очерк, но очерк стержня и ветвей не мешает разнообразию листьев.

Теперь придемте к одной из главных необходимостей, необходимостей сближения с войском, сближения с солдатами и с офицерами, занятия офицерских чинов членами обществ. На это должны быть направлены все усилия. Без войска вы долго ничего не сделаете. Народ может высказать свои требования там, где войско за него, или там, где вовсе нет войска спереди и где его нет с тыла. Одно очевидно, что, имея четверть войска за себя, народ может равно достигнуть до конституции в обоих смыслах— в смысле ограничения царской власти или в смысле общественного склада, и открыть династии широкую дорогу за границу.

Мы даже думаем, что влияние областных обществ (кроме случая петербургского переворота) будет сильнее на войска, местно расположенные, чем влияние какого-нибудь в одном месте сосредоточенного общества. Областные общества легче размножатся и легче станут народными и потому спасут от дикого кровопролития. Мы думаем, что при их влиянии, даже крестьянские восстания не дойдут до убийств, а — много-много — ограничатся правом возмездия, т. е. помещика и чиновника посекут, да и выгонят.

Областные общества представляют еще и ту выгоду, что их центр всюду, что они повсеместны, естественно связаны между собою и каждое дома.

Если бы правительство было умно или преданно России, оно бы уничтожило цензуру и позволило бы обществам быть явными, не преследуя, а поощряя их; тогда бы оно сохранило свой династический интерес, потому что могло бы договориться до общественного склада. Но оно этого не сделает и потому вызывает на борьбу и идет на свою гибель. Его воля, мы ему мешать не станем и не можем. Тем больше не можем, что оно «положением о крестьянах» определило время, в которое может совершиться его падение; оно обозначило его переходным положением, это — от издания манифеста два года, шесть лет, девять лет. На эти сроки, естественно, обратится внимание всякого общества и целого народа. Взявши среднюю пропорциональную, вероятность падает на шестой год.

Что касается до нас лично, мы готовы попрежнему служить за границей совершенно свободным голосом русского движения, пока это нужно, и всегда готовы вернуться в Россию — служить ей посильным трудом или сложить голову за ее освобождение.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ВОЙСКУ[1]

Четвертого сентября 1861 года государь подписал приказ[2] военным начальникам — как употреблять войско против народа, когда бить народ холодным оружием, когда пулей, когда картечью, когда войску слушаться полицейских чиновников, когда самим генералам командовать стрельбу по народу.

Ясно: царь идет против народа.

Что же тут делать солдатам и офицерам?

Ничего не делать, то есть не ходить против народа. Только этим войско и может спасти Россию от беды и кровопролития.

Что́ станет делать царь, если солдаты не пойдут против народа? Разумеется что́ — поневоле отдаст народу и землю и волю, а ведь народ только из-за этого и хлопочет. Стало, если войско не пойдет против народа, воля и земля достанутся народу без резни, без капли крови, спокойно. Что́ станет делать царь, если солдаты пойдут против народа? Постарается не дать народу ни воли, ни земли, кровь польется реками, да еще кто кого осилит — народная правда или царский приказ — неизвестно, а солдатам от этого легче не будет.

Надо, чтоб солдаты помнили, что дело идет об земле и воле не только крепостных помещичьих крестьян, у которых, по новому положению, землю урезали, а воли не дали, которых, стало, попросту сказать, обманули; дело

идет также об земле и воле крестьян государственных, то есть крепостных казенных, удельных, фабричных и всяких приписных к царским заводам. Все они теперь живут крепостными у своего начальства; оно их и грабит, оно их и сечет, оно им и мешает управляться как знают, самим собою, своими выборными. Земли, на которых они спокон веков сообща живут даром, селами и деревнями, казна хочет им же в разбивку распродать за деньги. Земли, на которых никто не живет, которые малоземельным и в охоту бы заселить, земли государственные, вместо того чтоб дать на выселки, за обычные подати, казна распродает своим чиновникам или раздает генералам. А все оттого, что царь государственные земли признает за царские и не хочет понять, что они не царские, а народные.

Стало, когда народ скажет: «подати платить мы станем на общие нужды; отдайте нам нашу землю, чтобы всем было вдоволь; отрешите всякие барщины и оброки, дайте нам волю управляться как знаем, без помещиков и чиновников» — народ скажет правду. Это не бунт, а требование жития по правде, это святое дело.

И за то, что народ это скажет, царь приказывает послать солдат против народа, со штыком и саблей, с пулей да картечью, проливать кровь отцов и братьев, матерей и сестер!

Солдаты должны помнить, что они взяты на службу насильно, или из помещичьих, или из казенных крестьян, что их отцы и братья и теперь или помещичьи, или казенные, что и тем и другим нужна земля да воля. И вдруг солдаты пойдут их бить, для того чтоб царь мог у них отнять и землю и волю для своих помещиков и чиновников! Да этого быть не может, это противно смыслу и совести.

Не владей землей по праву и обычаю, не живи свободно и по совести, а живи как царь велит; не владей ничем и будь рабом у помещиков и начальства — вот что хочет царь от народа и для этого велит своим генералам учить солдата, чтобы бил поляка да мужика.

А чего хочет поляк? Воли. А чего хочет мужик? Воли. Стало, они хотят одного и того же, воли. И за это их и бить?

Неужто нам помнить, что 250 лет тому назад поляки ходили на Россию и через 250 лет все им мстить? Да

такого глупого человека, который бы в самом деле хотел мстить за то, что было 250 лет назад, у нас в народе и не сыщешь. А в наше время не поляки ходили на Россию, а русские ходили на Польшу, и не по своей охоте, а по приказу царскому. И для чего? Чтобы не смел поляк жить как ему хочется, как ему удобнее. И из-за этого отнимают у нашего народа лучших парней в солдаты и тратят в убыток миллионы народных рублей, в поте лица трудом добытых. Долго ли же будет нам поддерживать такую бессмыслицу и такое зверство? Оттого царь и не дает русскому народу ни земли, ни воли, думает, что народ глуп — помогает ему и людьми и деньгами душить Польшу. И взаправду, пока русский солдат будет помогать царю душить Польшу, русский народ не будет свободен. Когда наш солдат поймет, что его брату русскому мужику нужна воля, тогда он поймет, что и поляку нужна воля, и оставит его мирно устраиваться у себя дома как знает. Мешать поляку выйти на волю — все равно, что мешать мужику выйти на волю, и то и другое перед совестью — грех, а перед здравым смыслом — безумие. Дело честного русского войска не то, что мешать поляку жить по-своему, а помочь ему освободиться и от немцев, которые держат его в неволе.

«Все это так,— скажут солдаты,— да как же ослушаться начальства?»

Положим, что сам митрополит, в полном облачении и с крестом в руке, пришел бы к кому-нибудь и сказал бы: «Поди — зарежь своего родного брата». Так тот сейчас пошел бы и зарезал? Нет! Всякий бы подумал, что митрополит с ума сошел или сам злодей и клятвопреступник, играющий крестом и облачением.

А что ж делает начальство, когда приказывает солдатам итти против народа? Велит итти зарезать родного брата. Только что у начальства нет и святости, которою бы слукавить и ввести человека в грех, и вместо облачения — немецкий мундир с эполетами, и вместо креста — шпицрутен.

«Да это-то и страшно,— скажут солдаты,— начальство высечет».— И это скажут люди, которые не боялись ни турецких, ни французских пуль! Сотнями тысяч возле них недавно в Крыму костьми легли их товарищи за то, что Николаю Павловичу вздумалось повздорить с французом. А тут, когда надо спасти народ русский от кровавой

напасти, вдруг стало страшно — и кого же — начальства! Стыд какой! И с чего же страх-то? Ну, скажет генерал: «стреляй по народу!» А солдаты скажут: «Не хотим, грех!» Что же сделает генерал? — Сам струсит, повернет лошадь, да и ускачет.

«Да! ускачет, да приведет другое войско!» А если и другое войско не пойдет? Тогда что?.. Ну, тогда очень просто — народу отдадут землю и волю без всякого кровопролития. Видите, что пустой страх может наделать беду и пролить неповинную кровь народа, чтобы отнять у него его достояние; а если солдаты, без всякого бунта, мирно и твердо скажут: «Не возьмем греха на душу, не пойдем против народа» — все будет спасено: и спокойствие России, и воля народная, и достояние народное. Ведь наказать одного солдата за пьянство — легко; а наказать сто человек за любовь к народу — мудрено, а тысячу — и того мудренее, а сто тысяч, а шестьсот тысяч — и способу нет.

Да и где тут выбор итти или нейти против народа! Кто сечет солдат? Начальство. Кто вычитает из жалованья промен крупных бумажных денег, которые и без того с каждым днем сто́ят все меньше да меньше, а солдатам выдаются рубль за рубль? Начальство. Кто крадет муку с припека? Начальство. Кто не платит мужикам за прокорм солдата во время постоя? Начальство. А ведь, чай, солдат родился не в генеральской или полковничьей квартире и не у ротного командира в палатке,— а в народной избе. Кто вскормил его детство? Народ. Кто вырастил его и делил с ним радость и горе? Народ. Кто плакал по нем, когда его ставили в рекруты? Народ. Кто дает царю деньги на его содержание? Народ. Кто, и помимо того, его кормит во время постоя? Народ.

И в *этот* народ солдат станет стрелять по приказу *этого* начальства?

Быть не может!

А еще как подумаешь — мается солдат пятнадцать лет на службе, а домой придет бессрочным ли, или в чистую отставку,— нет у него ни кола ни двора; царь и начальство, за службу, за битье да проголод, даже не подумали, где его приютить. Если теперь солдат не пойдет против народа и, стало, народ спокойно получит землю и волю, конечно, всякая деревня выделит своему отставному солдату его участок земли и примет его как брата, и не пойдет он

бездомником наниматься в холопы, или питаться подаянием. Да не только своего, а и того, что́ из дворовых или из мещан на службу поступил, любая деревня, где земли вдоволь, охотно примет и даст у себя и место на избу и надел в поле. А пойдет солдат против народа, тогда уж не пеняй,— не с чего мужику принять его как брата, а разве как врага лютого. И останется он народу ненавистным, нигде не терпимым бездомником. А царь и начальство попрежнему скажут: «службу справил, ну и прощай, живи как знаешь, чем бог послал, нам теперь ты не нужен».

И какая же выгода в этой службе? Та ли выгода, что теперь начальство в Варшаве позволяет солдату средь бела дня с поляка часы стащить? Да ведь это только мерзко; часы солдат пропьет, а в отставку все же пойдет нищим, да еще гнусным воришкой и разбойником. Начальство говорит солдату: «будь мерзавцем, грабь твоего брата, только помоги нам его зарезать; а отслужил, ступай на все четыре стороны, как вечный жид на скитание». Мы говорим солдату: Спаси твоего брата, не режь его, не грабь его, будь чист перед совестью, и будет тебе дан у народа приют безбедный, пока жив, и будет твоя кончина непостыдная и мирная.

Что лучше — сами судите.

«Да,— скажут солдаты,— нейти против народа, когда царь приказывает, может, противно присяге».

Есть две присяги настоящие: одна, которую каждый человек принимает на себя родившись,— это присяга ограждать народ, в котором он родился, от всякого врага и насилия. Это присяга природная.

Другая присяга добровольная. Если кто даст обет богу — сходить ли помолиться или помочь брату в несчастии; такой присяги не сдержать грех. Сам захотел ее дать, так и держи слово.

А третья присяга— приказанная. Ее дают со страху и против собственной воли. Человек или сам не знает, в чем клянется, или со страху лжет. Это не присяга, а обман.

Хорошо еще, если ради этой присяги скажут: «ступай, спасай свой народ от врага» — тогда она согласна с присягой природной.

А если скажут: «ступай, стреляй по своему народу» — тогда эта присяга противна присяге природной и становится клятвопреступлением.

Разве бог наустил Каина убить брата своего Авеля, или другой кто?

А что́ же делает царь, когда, играя присягой, посылает солдата против народа, как не то же, что посылает Каина убить брата своего Авеля.

Нет, тут уже чу́тьем слышится, что тот солдат, или офицер, который станет стрелять по народу (русскому ли, польскому ли), просящему воли, будет проклят, как Каин.

А офицеры?

Офицеров много хороших, которые любят народ и готовы отступиться от всех своих барских выгод в его пользу, а поэтому любят и солдата; эти верно не поведут его против народа.

Есть много и дурных, которым побить мужика и солдата и ограбить их — нипочем.

Есть много и таких, которые ни то ни се, готовы пристать к хорошим, а пожалуй, пойдут и за дурными.

Дело хороших — крепко соединиться между собой и решить: не итти против народа. Тогда те, которые ни то ни се, пристанут к ним и тоже не пойдут против народа. Да и выгоды им нет помогать правительству, которое запирает школы, где их сыновья и братья могли бы обучаться, или заставляет платить за ученье деньги, которых они платить не в силах.

А дурные — дурные пусть покаятся, пока есть время, да не только слезами — плакать всякий ханжа умеет,— а делом, то есть перестанут бить и грабить солдат и откажутся вести их против народа. Ведь если они пойдут против народа, начнется резня — и головы их же братьев-помещиков и сестриц-помещиц полетят ни за что, ни про что; а не пойдут — все обойдется мирно, народу отдадут землю и волю и помещиков оставят в покое и дадут им пособие из общих государственных доходов; стало, никто обижен не будет.

Говорят, что гвардия содержана лучше, чем армия, и готова разорвать народ на части по приказу царскому.

Не верим. Содержана она лучше, а формами да учениями измучена хуже, так что особой любви и нежности к начальству гвардии иметь не с чего. Да не верим мы не потому, что она измучена учениями, а потому, что и она греха и срама на себя не положит, Каином не будет, вспомнит, что она — не царские наемники без роду и

племени, а своего народа дети и защитники. Пора понять, что и гвардия и армия — все равно солдаты, которые родились в народе и пошли служить на защиту, а не на гибель народу. Стало, дело солдатское — не мешать, а помочь народу получить волю и землю.

Царь подписал приказ, как и когда бить народ... С чего же ему вздумалось отдать такой приказ и велеть напечатать? * Стало, он боится народа. А где страх, там нет силы.

Стало, войску бояться нечего спасти Россию от беды и кровопролития, отказавшись итти против народа. Положим, что первый полк, который откажется — будет распущен, как в старину Семеновский или Московский полк. Но зато все другие полки последуют его примеру, и кровь народная не польется. А и то сказать, что распустить его и не посмеют, да не посмеют и не дать народу земли и воли.

Положим, что первого офицера или солдата, которые откажутся стрелять по народу, сошлют на каторгу, или прогонят сквозь строй, или расстреляют. Есть из-за чего и пострадать; умели страдать в Севастополе за ни чтó, а тут за народное дело — да не пострадать, стыдно. Ну — пусть одного, двоих расстреляют, зато другие офицеры и солдаты последуют их примеру, кровь народная не польется, а имя их запишется на ряду со святыми мучениками.

А и то сказать — их ни сослать, ни наказать, ни расстрелять не посмеют, потому что все войско последует их примеру. Еще раз скажем: одного наказать за пьянство легко; а наказать сто человек за любовь к народу — мудрено, а тысячу человек — и того мудренее, а сто тысяч, а шестьсот тысяч — и способу нет.

Стало, что же делать войску после царского приказа 4 сентября?

Спасти Россию от кровавой напасти, не мешать народу спокойно получить землю и волю, то есть твердо и мирно стоять, ничего не делать и не итти против народа.

Спасем же наш народ и благословим достояние его.

---

* Напечатан в Спб. Ведомостях, 23 сентября 1861 года, № 209.

ХОД СУДЕБ[1]

Народ стоял в недоумении: в «Положении» сказано, что земля есть собственность помещика, а усадьба и надел даны крестьянам в бессрочное пользование. Что же это такое? Если человек пользуется чем-нибудь, то есть владеет вещью бессрочно, навсегда и никто у него не может ее отнять,— ведь это-то и значит собственность. Помер человек — вещь переходит в семью, а нет семьи—переходит в мир. А земля, как достояние мирское, всегда переходит в мир. От этого, пока человек жив и несет тягло, то есть владеет землей, он несет и мирскую тягу, то есть платит подать. Теперь, земля усадебная и полевая, которою мир и преж сего завсегда владел, как своим мирским дедовским наследием, отдана миру в бессрочное пользование, чтоб он и владел ею навсегда, стало, она его собственность. А так как эта земля русская, то мир и должен за нее нести тягу на общую нужду всего русского народа, стало, и должен платить подать в казну, наравне со всем крестьянством и людом русским. С чего же выдумали, будто за землю, которая миру дана во владение навсегда, надо еще отбывать барщину, да платить оброки, да еще и землю урежут в пользу помещика, да еще и оброк повысят; а там твою же усадьбу, которая была у тебя в пользовании завсегда, покупай втридорога особо, и надел, который вечно был мирской,

миром покупай особо. Были же они у крестьян во владении завсегда и оставлены им в угодье бессрочно: стало, это то же, что собственность, а не наем какой, где ты нанял на срок, а после срока и отдай хозяину, или хочешь купить, так торгуйся с хозяином и покупай как знаешь. Нет! Это не настоящая воля. Настоящая воля: владей всей землей, какою владел, управляйся миром да мирскими выборными, а подать миром и взыскивай с кого следует по тяглу и плати в казну на общие расходы целой России. Царь хотел дать настоящую волю, а это дворяне выдумали, что земля их собственность,— и подавай им барщину да оброки, да еще большой выкуп за усадьбу особо, да за надел особо, да еще земли у мира урежут. Что ж?, думает народ, тут что-нибудь да не ладно. Потерпим, подождем, царь увидит правду, возьмет дворян себе на жалование, а народу сельскому даст другую волю, настоящую.

Первым ответом на эту веру народную в царя было то, что в Казани царский генерал, с солдатами, мужика Антона Петрова застрелил да с ним больше сотни человек перестрелял; в Пензе нивесть сколько народу войском перегубили и везде, по всей России — где перестреляли безоружных крестьян, а где перепороли... Палачество да и только!

Задумался народ, а все веры в правду царскую не теряет. Потерпим, говорит, подождем; все же в сделки ни в какие с дворянами не пойдем; а будем отстаивать себя чем бог послал — где волостным сходом, где мировым посредством; придет время — царь даст другую волю, настоящую.

Стали дворяне роптать, что все чтó хорошего помещик придумает — народ говорит, что это правительство захотело, а чтó дурного произойдет от властей — народ говорит, что помещик виноват.

Рассердился государь. Летом сам поехал, собирал в разных местах старшин мирских и говорил, что никакой другой воли народу не даст, кроме того полурабства, что в «Положении» придумано. Мало того, зимою приказал министру написать всем губернаторам, чтоб велели сказать народу и пропечатали бы, что никакой другой, настоящей воли народу не будет. Вот что писал министр:

ЦИРКУЛЯР г. МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ гг. НАЧАЛЬНИКАМ ГУБЕРНИЙ

ОТ 2-го ДЕКАБРЯ 1861 ГОДА № 70.

Из доходящих до министерства внутренних дел сведений о положении крестьянского дела видно, что дальнейшему успешному ходу его, и в особенности составлению уставных грамот, во многих местах препятствуют распространившиеся между крестьянами превратные толки и укоренившиеся в них ложные надежды.— Они ожидают так называемой ими *новой воли*, с объявлением которой, по истечении двух лет, они получат будто бы какие-то *новые льготы*, в «Положениях» 19 февраля неуказанные и от пользования коими будто бы будут устранены крестьяне, заключившие добровольные сделки с помещиками и подписавшие уставные грамоты. Для прекращения таких ложных ожиданий государю императору благоугодно было, во время путешествия в Крым, неоднократно, и в разных местах, где его императорскому величеству были представляемы старшины обществ временно-обязанных крестьян, лично разъяснять им сущность дела и напоминать о лежащих на них обязанностях. Государь император, в таких случаях, соизволил говорить крестьянам, что *никакой другой воли не будет, кроме той, которая дана, и потому крестьяне должны исполнять то, чего требуют от них общие законы и Положения 19 февраля.*

По высочайшему повелению, покорнейше прошу ваше превосходительство сообщить всем мировым посредникам, чтобы они объявили о таковых высочайших отзывах волостным правлениям и, при всяком случае, в своих объяснениях с крестьянами, положительно указывали на слова, которые крестьяне некоторых губерний имели счастье непосредственно слышать от государя императора.

Настоящий циркуляр вы, кроме того, не оставите напечатать в «Губернских ведомостях».

Пуще прежнего народ призадумался. Стало, и в правду царскую верить не приходится. Недаром в писании сказано: не надейтеся на князеви. Видно, царь — не народный царь, а дворянский царь. Как же тут быть? Не скоро ума приложишь.

А между тем и дворянам туго пришлось. Хотя и сказал царь в своей речи ко дворянству, что он «сам первый дворянин в государстве», стало заявил себя как есть, что он хочет быть главою дворянскою, а не народною; а все ж он первый стал отменять крепостную кабалу. Правда, отменил он ее так, что никто не знает, ни что теперь делать, ни что вперед будет; а выходит все же, что крепостному рабству отныне на Руси не бывать и сызнова во веки веков не возвращаться. Задумалось и дворянство, стало смекать: что оно такое теперь значит? Что́ это такое за

сословие дворянское? Стало смекать и пошло в разноголосицу.

Старые бары осердчали: «мы, говорят, век свой и предки наши царям службу служили и кровь свою за них и за отечество — вот хотя в 12-м году — проливали; нельзя наших прав отнять, нельзя нашей земли отдать мужикам необразованным». Эдаких старых господ, народу лиходеев, число не малое.

«Что же, говорят они, мы теперь станем без крепостных? Если уже у нас людей и землю отнимают, то давай нам право одним заправлять всем государством».

Другие, молодые,— правда, не много их, но со дня на день понаберется и побольше — тоже осердчали, только не за дворян, а за народ и говорят старым барам: «Куда вам заправлять государством? Вы только думаете, что вы образованные, потому что в военных да в штатских мундирах ходите, а на деле-то у мужика, которого вы необразованным называете, смыслу побольше, чем у вас. Чем вы кичитесь, что цари вам и предкам вашим народную землю пораздавали и самый народ вам в крепость отдали за то, чтоб вы народные трудовые деньги долею себе брали, а больше бы в царскую казну доставляли? Чем вы кичитесь, что вы в 12-м году жертвовали? Правда, жертвовали вы и своей кровью, а еще больше кровью своих крепостных людей, да деньгами, с крестьян собранными. Какая честь в том, что вы до сих пор только и делали, что, по милости царской, народ обирали? Какая честь в том, что вас назвали дворянами, то есть царскими дворовыми людьми, иначе опричниками, а попросту сказать — чиновниками? Что за честь, что когда цари стали называться по-немецки императорами, то и вас одели в немецкое платье, для различия — что в немецком платье человек — барин, его жалуют и жалованьем и поместьями; а в чепане человек — раб, его секут, обирают и отдают в крепость. Чем бы вас ни жаловали, жалованьем или поместьями, все равно, вы чиновники. Вы и до сих пор одни всем заправляли и грабили и довели русскую землю до разорения. Пора перестать управляться чиновниками, а начать управляться всему люду русскому своими выборными людьми, как встарь было до татар и до царей. Пора жить по-человечески: землю народную обратно народу отдайте и сами заодно с народом трудитесь, и что ваш голос

на волостных сходах, что крестьянский голос все одну бы силу имел, ни больше ни меньше, и чтоб название дворянина исчезло бы навеки и был бы только один народ русский, одно земство, и управлялся бы сообща по селам и городам своим миром, и съезжался бы по волостям, где найдет нужным, обсуждать чего ему надо, что́ переменить, что́ оставить по-старому. Чтоб каждый человек свободно молился бы <по> своей вере; свободно учился бы всякому ремеслу и всякой грамоте в какой школе хочет, судился бы одинаким судом, не крестьянским или дворянским, а единым, для всех равным; торговал бы чем кто хочет без запрета, и подать все бы платили наравне. Да чтоб подать эту назначал не царский дворянин и чиновник, не министр какой, а была бы она определена на сходках народных, по нужде общей и по могуте мирской».

Таких из дворян не много, которые так думают. А все же есть, и все же их прибывает, и народ мало-помалу спознает, что это его люди, сердцем искренние и мыслью праведные. А по большей части во дворянстве люди междоумки. Они и к старым барам не тянут, потому что видят — их дело и несправедливо и неразумно; начался народ освобождаться,— останавливать его, задерживать в крепости, не отдать ему его земли и не дать ему управляться посвоему,— как бы самим голов не сложить. А от людей праведных они тоже поотстали, уж больно своего богатства да приволья жалко. Таких междоумков во дворянстве всего больше. Только не знают они, как им быть и куда пристать. Приволье-то дворянское с каждым днем все меньше и меньше становится. Прежде можно было кой-как землю обрабатывать барщиной или оброком жить; теперь народ на барщину идет плохо, на оброк не идет вовсе; уставных грамот, т. е. кабальных записей, не подписывает. Прежде можно было помещику поместье заложить и перезаложить в казенные опекунские советы и приказы; а теперь казна перестала ссужать. Царские министры придумали: деньги, что́ в советах и в приказах лежали, взять взаймы в казну и выдать вкладчикам, тех денег хозяевам, казенные заемные расписки, облигации; а для ссуды помещикам пусть богатые люди сберутся промеж себя в компании и выдают свои деньги под залог как знают. А про ссуды крестьянам царь с министрами не подумали. Только оказалось, что и людей-то с большими деньгами нет; а у

которых, у немногих, они и водятся, то те под помещичьи залоги не раскошелятся: дело неверное, доходов у помещиков нет, работы остановились; свои мужики на работу не идут, потому что все же вольные, а чужих нанять нельзя, потому что все же все крепостные, никто свободно на заработок итти не может. Видят междоумки-дворяне— их дело плохо; что они не бары — это они поняли. Поняли, что они все были чиновниками, только не на жалованьи, а на поместьях, вместо жалованья получили поместья за то, чтоб управлять народом. Теперь у них поместья отходят, стало, все равно они что́ чиновники в отставке, без места. Что же они такое? Все то же, что́ всякий человек, который не чиновник,— они то же, что народ. Поневоле придется и междоумкам пристать к людям искренним и просто стать наравне и заодно с народом. Только как же это сделать?

А царь испугался, что дворянство думает, что, переставши быть барами, оно перестанет быть особым сословием дворянским. Велел министру их утешать. Министр в своей газете, в «Северной почте» [2], и велел напечатать следующее:

«По случаю происходящих в разных губерниях дворянских губернских выборов в некоторых газетах напечатаны статьи, в которых обсуживаются вопросы о значении дворянства после издания положения 19 февраля и о тех предположениях, которые по сему поводу могли бы быть представлены губернскими дворянскими собраниями на усмотрение правительства. В некоторых статьях развивается мысль, что с отменою крепостного права русское дворянство утратило отдельное значение в ряду государственных сословий, и само должно заявить об этой утрате. Подобные статьи не выражают мысли правительства, не согласны с точным смыслом новых узаконений и не соответствуют правильному развитию проистекающих от них последствий. Высочайше утвержденными положениями 19 февраля только отменено, согласно с желанием самого дворянства и при его содействии, крепостное право на дворовых людей и на крестьян, водворенных в помещичьих имениях. Русское дворянство, сохраняя преемственную память о своих подвигах на поле войны и на поприще гражданских заслуг, не могло и не может признавать крепостного права коренным условием своего существования. Оно приняло, согласно с указаниями высочайшей воли государя императора, ревностное участие в деле отмены этого права, и ныне, конечно, не забудет, что оно призвано не к самоуничтожению, но к дальнейшему непосредственному участию при введении в действие тех законоположений, которыми означенное право навсегда отменено».

Стало, царь хочет, чтоб дворянство осталось особо от народа, потому что дворянские предки отличались

заслугами на царской службе. А какие же это были заслуги? Кроме редких людей, которые отличались на защите отечества, где они? Да и те не все из дворян: если был в старые времена Пожарский из князей, то рядом с ним стоит и Минин из мещан. Если были в новые времена из государственных людей умные люди, то кого ни возьми: Меньшиков, при Петре первом,— из блинников, Сперанский, при Александре Павловиче,— из поповичей. А большая-то часть попала во дворянство, разжившись на службе, то есть грабежом. Иным роздали поместья за убийство Петра III. По этим ли по заслугам надо дворянству оставаться особым сословием? И чего же царь испугался, что дворянство перестанет быть особым сословием? Понятно чего: перестанет человек быть дворянином, перестанет быть и чиновником. Кем же народом-то заправлять? Придется народу дозволить управляться самому собою — а этого-то властям и не хочется.

Да, может, и поздновато принялись петербургские власти утешать русское дворянство. Не туда его тянет. Перестает быть лестным дело чиновничье, подвластное и нечестное; перестает быть лестным прозвище дворянское, прозвище царского дворового человека. Всем хочется стать на свои ноги, жить хозяином, управляться с общего промеж себя согласия, а не по приказу начальства. Только по разноголосице одним хочется стать вровень с народом и управляться всем вместе, бессословно; а другим хочется стать выше народа и управлять особо. И тем и другим в нищету впасть страшно, и просят они только какого-нибудь вознаграждения, а земли, которыми народ владеет, согласны ему отдать и всякие барщины и оброки прекратить, чтоб был народ волен и землей владел. Все говорят, что это время, где ни то ни се, и их и самих крестьян разор разоряет.

Во многих губерниях просит дворянство развязать дело напрямки; иные просят, чтоб им из дворян в крестьяне приписаться; другие просят, чтоб у всех права были одинаковы, чтó у дворян, чтó у крестьян; третьи просят себе особых прав.

Смоленской губернии дворянство просило, в прошлом августе, дело напрямки развязать, земли кресгьянам отдать, выкуп от казны положить. А в декабре, на своих

выборах дворянских, решило царя просить об уравнении дворянских и крестьянских прав [3].

В Тверской губернии дворянство также просило дело напрямки развязать. Да просило еще, чтоб народ мог сам выбирать мировых посредников; так большинством голосов и положило. Дворянин Унковский, по выбору крестьян, пошел в сельские старшины [4]. Еще один дворянин просил о зачислении его в временно-обязанные крестьяне, к другому дворянину.

Симбирской губернии дворянин Мясоедов, женившись на дочери государственного крестьянина села Покровского, Мензелинского уезда, Оренбургской губернии, просил в оном селе приписаться в государственные крестьяне. Присутственное место ему отказало: дворянина, мол, сечь нельзя, а мужика́ сечь надо,— стало, как же будет — мужик, а сечь его нельзя? Это чиновникам не по нутру.

Московское дворянство, на выборах в нынешнем январе месяце, решило просить царя: 1) чтобы управление по губернии было больше выборное, а не казенное и чтоб каждый чиновник за свои действия отвечал перед судом и законом, а не перед начальством; 2) чтоб права личные и по имуществу для всех *граждан* (то есть всех людей) в государстве были ограждены тем, что суд творился бы не втихомолку, не на бумаге, в присутственных местах, а происходил бы суд словесно, чтоб всякий мог в суд притти и слушать, как судьи судят — право или не право, чтоб при всяком суде судья полагался не на то, что́ подьячий на бумаге настрочил, а на то, что́ скажут свидетели, присягнувшие, что станут говорить правду, потому что судье мудрено покривить душой, когда народ слышит, как он судит; 3) чтоб развязать, наконец, крестьян с помещиками и чтоб казна на себя взяла всякие оброки и выкупы, выделить немедленно крестьянам землю по уставным грамотам; 4) чтоб правительство печатало, сколько у него долгу, сколько каких доходов и сколько расходов, чтобы каждый человек про то знал и совет подал, потому что казна не сегодня-завтра в прах разорится; 5) чтоб обо всех переменах в государстве позволено было каждому свое мнение печатать в книгах и газетах и, таким образом, в общем деле свой голос подать и свой совет заявить. А затем московское дворянство и

говорит государю: вы, ваше величество, сказали, что своему верному дворянству верите, то прикажите дворянству, из среды себя, выбрать людей, чтоб они совещались и рассудили, каким способом впредь должностных в управление выбирать, как землю для раскладки податей ценить, какие заемные поземельные банки завести и как сельские суды устроить.

Видно, что везде дворянство сильно двигается. Только как же это рассудить? Ведь вот московское дворянство все о чем просит, все дело требует; а устроить его, говорит, нам, дворянам одним, своими выборными. Это, стало, и уставные-то грамоты, и оценку земель на выкуп крестьянам — все они одни устроят; а выгодно ли, невыгодно ли — народ только поклонись да скажи спасибо. Хорошо — царь верит дворянству, да народу-то доверять дворянству не с чего.

Вот смоленское дворянство хочет вровень стать с крестьянами, только как? — неизвестно, в газетах печатать не смеют. Вот тверское дворянство хочет, чтоб народ вместе с ним посредников выбирал, будто хочет примириться с народом. Иной просится в крестьяне; хорошо, который из бедных, сам пахать привык, он и взаправду в крестьянство просится, своим дворянством только тяготится. А которые не из бедных, они с чего? Разве царю назло, что вот у дворян крепостных людей отнимают, то мы лучше сами в крестьяне пойдем? Где народу поверить, что они в самом деле с ним заодно, по-братски жить хотят? Мудрено поверить! Века рубцами на народной спине выпечатались, откуда же веру взять? Как узнать, кто из дворян до народа искренний человек, кто неискренний?

Положим, что искреннего человека чутьем узнаешь, да не в искренности их дело. Лишь бы они свои чины поскидали да перестали бы управлять, а управлялись бы сообща с народом: выберут крестьянина в старшины по волости — крестьянина бы слушались, выберут крестьянина в судьи — к нему бы и шли на суд, чтоб различия в правах и выборах никакого не было. А там, согласятся они на это по любви к народу или царю назло — это дело их совести, а на деле миру все равно.

Вот самый тяжелый вопрос — в земле. Трудно им землей поступиться: жить привыкли по-белому. Тут, по

самой по правде, следовало бы все земли к селам прирезать и выдать дворянам тягловой пай; но до сущей правды дойти мудрено; если — грех пополам — на мировую пойти, то пусть оставят крестьянам всю землю, какой они теперь владеют, а если где помещик по корысти мало давал, то по общему соседскому присуду из помещичьей земли к крестьянской прирезать; а за то, что земля за ними считаться не будет, пусть казна из податей выдаст им по скольку они с казной условятся, сколько кому — промеж себя разберутся, и сколько лет из податей им выплачивать — с казной порешат. Это будет им в пособие, или в вознаграждение, в мировую с народом. А там, когда подать с подушной будет переведена на поземельную и они с своих земель подать платить станут, выйдет, что они друг другу станут выплачивать вознаграждение вместе с остальным народом. Лет через тридцать семь уплата покончится и подать обратится на общие нужды. А покамест пускай они приписываются к селам и волостям и несут земскую повинность по раскладке. Иные из них и пораспродадут земли то селам в мир, то другим крестьянам или купцам, так что если не мы, то дети наши промеж себя так перемешаются, что и не узнаешь, кто из дворян, кто из крестьян, кто из разночинцев. Только что иной будет побогаче, другой победнее,— а все же единый народ русской; его мирское дело — смотреть за тем, чтоб богатство бедности не заедало и у каждого человека была бы земля и пристанище.

Видя все это движение и сомнение в дворянстве и в народе, сам царь призадумался. Если б он был до народа искренний человек, он бы помог сословиям воедино соединиться и одним миром управляться; он бы начал с того, что уничтожил бы чины и допустил бы всех — любого в должности выбирать, без различия сословий. Что ж бы стал дворянин без чина? Пуще чем без поместья, со всем бы остальным людом сравнялся.

Да нет в царях искренности до народа, как и пророк Самуил сказал Израилю, когда царя выбирали. Не хочется царю расстаться с чиновничеством, не хочется, чтоб народ управлялся своими выборными, которые во всех своих делах отчет давали бы. Хочется царю заправлять народом через своих чиновников; они хоть и грабят, да зато никто ни в чем народу отчета не дает, а

только начальству, а оно всему мирволит, лишь бы нажива была. А чуть кто из народа скажет, что дело несправедливо,— в острог его; а если кто напишет да напечатает, что дело несправедливо,— и того пуще: в Сибирь его, на каторгу его. Дело все идет на бумаге, все шито да крыто, никто и не заметит; а заметил, то и пикнуть противу начальства не смей.

Не хочется царю расстаться с чиновничеством. А что ж такое чиновничество? Оно-то и есть дворянство. Все и стали в такую ложь, что не знают, как повернуться. Если царь даст народу права, он дворянства лишится, значит, чиновничества лишится; народ сам миром управляться станет, значит, у царя такой слепой власти не будет — и начинает царь дворянству мирволить. Дворянство хочет само собой управляться, значит, царскую власть ограничить; от царя отстать — значит перестать быть чиновником. Перестать быть чиновником — значит к народу пристать, потому что народ от царя еще терпел, а уж если чиновники помимо царя управлять захотят, то народ их не вытерпит, с лица земли сотрет. Выходит в самом-то деле, что у дворянства-чиновничества поддержка — царь; а у царя поддержка — дворянство-чиновничество. А народу-то при этом плохо.

Да и всем плохо. Не хочется царю расстаться с чиновничеством, а между тем и с чиновничеством дело нейдет. Везде безденежье да бессудье, казна отощала индо соседние народы на смех подымают. От этого царь и начал все переменять по-новому; только неискренно, стало, и нерешительно; и выходит все ни то ни се, так что кажется — назначена перемена, а на деле остается по-старому.

Так, крепостное состояние уничтожили, а без помещика село управляться не может; землю отдали крестьянам в пользование, да урезали; отдали ее бессрочно, то есть на веки веков, а сказали, что земля помещичья; крестьян, хотя бы и с землей, продавать запретили, а земли с крестьянами продавать позволили.

Учредили комитет для того, чтоб подвести под одно право всех крестьян разных управлений — государственных, удельных, бывших крепостных помещичьих. Вот уж год прошел, а комитет ничего не сделал, и приходится вышедшим из крепости селам и деревням составлять

волости чересполосные, потому что им с государственными или удельными в одну волость соединяться нельзя, затем что у них разное начальство.

Суды нехороши. Комиссию назначили, как переиначить. Комиссия нашла, что хорош суд только гласный, всенародный; а оставила его попрежнему, по-чернильному, только новых подьячих-поверенных придумала, чтоб помимо этих казенных поверенных никто бы по своему выбору поверенного не брал.

Сказали, что мещанству жить тяжело. Назначили комиссию. Нашла комиссия, что, точно, тяжело мещанству, и порешила, чтоб льготы дать, чтоб в купечество, в гильдию легко было приписываться, да чтоб мещанин, если 435 руб. сер. внесет, от рекрутства был бы избавлен (как будто легко мещанину 435 руб. сер. внести!), а подати попрежнему оставили, только лавочную и всякую торговую пошлину еще мудренее распределили.

Сказали, что земская повинность тяжела. Назначил царь комиссию. Комиссия нашла, что, точно, земская повинность тяжела, что надо, чтоб земство само своим сходом решало, что ему нужно и на какие расходы сбирать повинность, а натуральную повинность решила перевести на денежную. Только комиссия нашла, что есть земские повинности, которые не то, что земские, а государственные повинности, стало, их надо перечислить в подать, о которой земству не приходится рассуждать, нужна ли она или нет, а платить ее без всяких рассуждений. К этому разряду отошли и натуральные повинности, которые, стало, переведут на деньги и обратят в подать; таким образом, четыре пятых доли из денежных земских повинностей причисляют к государственной подати. Стало, рассуждать земству можно будет только об одной пятой доле теперешних земских повинностей. И выйдет, что станет земская повинность еще тяжеле, чем была.

Об устройстве для крестьянства ссудной казны и беззапретной для крестьянства и мещанства торговли никто не позаботится; а только, за что́ царь с своими чиновными комиссиями ни примется,— ничто не спорится. Немогута круглая!

Говорят, людей у него нет! Была бы искренность до народа — нашлись бы и люди. Да искренности нету, и выходит немогута.

Чем же все это кончится?

Если народ в земле пойдет на мировую, как мы сказали, да если дворянство сложит с себя чины, да на равных правах с крестьянством, без всякого различия, пойдет на сходы и станет управляться и судиться общими выборными бессословно, да если царь откажется от заправления народа своими чиновниками как вздумается, а даст народу управляться своим миром и мирское решение уважать станет и будет не то, что немецким ханом каким-то, солдатами по народу стреляющим, да палачами народ секущим, а мирным старшиною всех русских областей, уважающим волю народную,— ну тогда спокойно и достойно будет расти свобода и могущество единого, бессословного русского народа.

Ну, а если ни царь от чиновничества и бессудного управления народом не откажется, ни дворянство не захочет бессословно слиться с народом,— тогда что? Тогда — я повторю, что́ в 1820 году господин Каразин писал императору Александру I:

«Я вижу императорский престол потонувшим в крови дворянства» [5].

Перед тем как Христос был схвачен воинами кесаревыми, он молился: Господи! да мимо мя идет чаша сия.

Молимся и мы с народом русским: да мимо идет чаша крови.

А пройдет она мимо или нет — кто знает.

Ход судеб вырастает из дел людских и обстоятельств. Его не остановишь!

КУДА И ОТКУДА[1]

Крестьянин хочет царя земского; помещик, переходящий в крестьянство, хочет земледельческой артели. Соедините их в единый народ, и вы увидите, что тут две стороны одного и того же общего дела, то есть — народ хочет перемены управления и перемены права на земельную собственность; народ хочет в правительстве царя, согласного с волей земства, а в жизни — каждому свою долю дохода с земской земли.

Многие из ученых ставят врозь эти две стороны общего дела. Иные говорят, что все равно, как бы доходы ни распределялись по народу, лишь бы было такое правительство, которое не притесняло бы по своему произволу, не мешало бы людям жить свободно и распоряжалось бы согласно с волей народной. Другие говорят, что все равно, какое бы ни было правительство, лишь бы доходы распределялись по народу так, чтоб каждый работающий человек с семьей своею был сыт и жил бы в довольстве. Только ставить врозь эти две стороны общего дела нельзя. Оставьте такое управление, какое у нас теперь, и вы никогда не дойдете не только до того, чтоб каждый был сыт и жил бы в довольстве, но не дойдете и до того, чтоб было жить свободно и чтоб правительство действовало согласно с волей народной,— оно всегда будет мирволить немногим разбогатевшим на счет бедности да своим чиновникам. Перемените это правительство на какое хотите, только,

вместо земской земли, раздайте ее каждому порознь, одному побольше, другому поменьше, или хоть на первую пору всем поровну, да так, чтоб один у другого мог скупить его долю, и тотчас выйдет, что те, у кого земли больше, или те, которые скупят больше и разбогатеют на счет других,— те и учредят правительство, и это их правительство будет, пожалуй,— дворянское, или чиновничье, или купеческое,— только отнюдь не земское. А заведите землю земскую, то такого управления, какое у нас теперь, и никакого иного дворянского, чиновничьего или купеческого управления быть не может; его некому на ноги поставить. От этого врозь вести две стороны общего дела — способ управления и способ землевладения — совершенно ошибочно. Измените одно — и другое изменится, и насколько вы одно измените, настолько изменится и другое. Уничтожьте становых, исправников, окружных, суды казенные, но оставьте дворянству огромную долю земельной собственности, и у вас заведется управление помещичье, суды помещичьи, царь помещичий, хотя бы крестьянство и владело долей земли и было бы освобождено от барщины. Дайте городским купцам скупить помещичьи земли, и у вас будет управление городское, правда городская, царь городской. Только земля земская и даст управление земское, правду земскую, царя земского. Земля земская и правительство земское — одно нераздельное целое.

Куда же метит крестьянин, когда хочет царя земского? Он метит на землю земскую, без которой земский царь, с земским управлением и земским судом, был бы невозможен.

Куда же метит помещик, переходящий в крестьянство, когда хочет земледельческой артели? Он метит на упрочение земской земли и, следственно, метит на возможность земского правительства.

Откуда взялась у крестьянина мысль о царе земском?

Она издавна идет; она идет еще с тех времен, когда народ призывал князей, отсылал князей, выбирал князей земством, а землю считал своею; с тех времен, когда царя Михаила Федоровича выбрало земство, а землю считало своею. С тех пор народ и думает, что в царе земская правда. А между тем цари понаделали дворян и чиновников и земли им пораздавали; сверх того, со времен Петра

первого, дворян и чиновников обрили и одели в мундиры и велели им от крестьянства жить розно, так что дворяне и чиновники стали думать, что они царем, как бы богом, поставлены выше народа и могут народ теснить как хотят; сами же цари назвались не царями, а императорами, чтобы и имя носить такое, к которому народ непривычен, чтобы все было у них от народа розно. С тех пор цари уже не бывали земством поставлены, а были сажаемы на престол дворянами-чиновниками. Так, Екатерину I дворяне-чиновники на престол посадили; Анну Ивановну они же из-за моря выписали, и была при ней Россия в управлении у немца-конюха — Бирона; Екатерину II тоже дворяне-чиновники на престол посадили, убив ее мужа Петра Федоровича. Даже самая церковь, со времен царя Алексея Михайловича, была поставлена от земского согласия особая, и с Петра первого управляется синодскими чиновниками. Таким образом, цари наши вышли цари не земские, а дворянские или чиновничьи, что́ все одно и то же, потому что дворянин — это чиновник, которому цари за службу дали людей в крепость и землю в собственность, а чиновник — это дворянин на царском жалованьи, которому мало того, что поместье дано, а еще даются деньги, с народа насильно собираемые, да позволено кормиться всякою неправдой все же на счет народа.

Что значит земский царь? Тот царь, который для того народом и избран, чтобы исполнять, что́ народу нужно. Стало, земский царь исполняет волю земства; что́ земство решит, то царь и должен исполнить. Так что его можно бы назвать и старшиною русского народа; но не в слове дело, а в деле. На деле народ понимает под словом *царь* — главного старшину, который исполняет общий мирской, земской приговор.

Способны ли наши цари стать такими, какими их хочет народ? Захотят ли они быть царями земскими?

Крестьянин Мартьянов, в письме к государю, пишет, что он, государь, порядка, т. е. беспорядка, у нас не создал, а его унаследовал [2]. То-то недаром в мире так устроено, что дети похожи на отцов и, кроме наследства по имуществу, переходит к ним другое наследство, наследство смысла, наследство привычки. Отцы были цари дворянские и чиновничьи, и у детей остался склад ума дворянски-чиновничий. Отцы обирали у народа людей и

деньги, чтоб играть в солдатики; дети видят, что у народа денег нет, людей набирать — вовсе народ разоришь, так что уже нечего будет и обирать,— а все же, по-отцовски, играют себе в солдатики да шьют каждый день новые мундиры на земские денежки.

Когда Александр Николаевич наследовал от отца Русь, разоренную поборами и наборами, и увидал, что нельзя не дать крестьянству льготы, к кому он обратился за советом? К земству, что ли? Земство сказало бы ему — отдай народу отнятую в казну да на чиновников-дворян землю и отдай народу волю. Но он обратился не к земству, а к дворянам-чиновникам. Эти сказали — продай народу его землю, если можно — подороже, и то не всю, а частицу, и воли дай немножко, настолько, чтобы народ все же не смел управляться сам собою, своими выборными, по-своему, как по народному разуму справедливо; и, хотя бы и имел выборных, но чтоб эти выборные исполняли волю не мирскую, не земскую, а твою и твоих служилых людей, дворян-чиновников. И вышло то, что, по смете помещичьей, чиновники сочинили положение о крестьянах, которое ни земли земской, ни воли настоящей народу не дало, а сделало из народа междоумка — не то он вольный общинник в земской земле, не то он холоп безземельный.

Где же тут земский царь?

Письмо крестьянина Мартьянова к государю страшно важно: это не просто письмо, это голос крестьянства, которое очнулось, голос искренний, из глубины скорбей вопиющий, жаждущий, и если государь его понял, то он понял, что в слове любви к царю очнувшегося крестьянства — звучит не простая детская любовь, а тоска по любви проходящей, жажда любви к власти, которая признала бы земство; звенит не детская вера в царя, а тоска по вере остывающей, жажда веры во власть, которая признала бы земство. Что же выйдет, если эта власть не признает земства?

Крестьянство увидало, что кучка дворян отказывается от дворянских прав и переходит в народ, в крестьянство [3], в земство, и говорит царю: «Видишь — и дворянство идет в земство, будь же царем земским, а не дворянским, не чиновничьим». В этих словах не в самом же деле вера в дворянство, как будто это дворянство уже и перешло

в земство; в этих словах жажда веры в отказ дворянства от своих сословных прав, жажда мирного исхода земского дела и гнетучая тоска о своем затаенном сомнении в истине собственных слов. Дворянство, которое отказывается от своих сословных прав,— не дворянство, а кучка людей искренних, преданных единой бессословной земской Руси. А остальное дворянство — ему еще не задано достаточно острастки, чтобы оно захотело перейти в земство. Это еще впереди!

Что же сделал царь с несколькими из дворян, которые отказывались от сословных прав и заявили свою волю перейти в земство? Он из них тринадцать человек заточил в Петропавловскую крепость, чтоб и прочие не смели сближаться с крестьянством [4]. В лице их он засадил в тюрьму всю ту долю дворянства, которая хочет слиться с народом. Царь боится земства.

А что́ было бы с самим Мартьяновым, если бы он письмо к государю послал не из-за границы, а живши в России? И его засадили бы в тюрьму. Царь боится земства.

Хорошо ли сделал Мартьянов, что послал письмо к государю, довел до него голос очнувшегося крестьянства?

Да! Хорошо. Спрос не беда, все пути ведут к цели; ни единого пути упускать не следует. Пусть же с этих пор, в ушах царя, ежеминутно отзывается голос народа, требующий земского собора и царского признания земской правды. Если царь не ответит на голос народный, по крайней мере, народ будет знать — что́ думать и что́ делать.

Мы лично ничего не имеем против Александра Николаевича; если он подчинится земскому собору, если он впрямь будет царем земским, мы первые пойдем с ним, потому что тогда он пойдет с нами.

А ведь, как мы сказали, требование земского собора и земского царя — значит требование, чтоб земля была земская.

Вот мы и подошли к письму помещика о необходимости земледельческой артели.

Странно шло у нас крестьянское дело. Уже со сто лет будет, как между дворянами являлись люди, которые говорили о необходимости освободить крестьянство. Число их росло, росло, так что, наконец, ради освобождения крестьянства от помещиков и всей Руси от чиновничьего

самоуправства дворяне вышли на площадь 14 Декабря 1825 года. Пятерых император Николай Павлович велел повесить, а остальных разослать, кого на каторгу, кого на поселение. После этого прошло тридцать лет. Нарождались и вырастали в это время те дворяне, которые теперь отказываются от своих дворянских прав и хотят перейти в земство. Сам царь увидел, что людей в помещичьей кабале держать и грешно и невыгодно. А когда дошло дело до вопроса: как освободить крестьян,— никто не знал, что́ делать, ни у кого не было готовой, здравой мысли, никто не понимал, что́ для земства нужно, ни сам царь, ни люди из дворян, искренне преданные народу; а большинство дворянства так и отшарахнулось от мысли освободить крестьян и восстало против царя — зачем он не дворянский царь.

Крестьянство больше двухсот лет страдало в кабале, и мало ли сколько у него мучеников посложили головы за волю земскую и землю земскую. Был и Стенька Разин, был и Пугачев, которого называли Петром третьим для того, чтобы сделать из него царя земского. И всех их переказнили. А когда нынешний царь поднял дело о крестьянской свободе, само крестьянство не знало, что́ сказать, да, правда, никто его ни о чем и не спрашивал. Крестьянство только и поняло, что та воля, которая ему теперь дана,— не настоящая, и в недоумении стало говорить, что земский царь не мог так нагло обмануть народ. Это мог сделать разве царь дворянский-чиновничий.

В том-то и дело, что он ни земский, ни дворянский, потому что он один день земский, а другой день дворянский царь. Он сам не знает, куда он идет.

Нас всех общее дело застало врасплох, бедных пониманием и духом не твердых. Мы все принялись за дело как ученики, а не как люди, уверенные в своей мысли, и принялись только с тех пор, как царь своротил немножко к земству, с тех пор, как позволили говорить и печатать о крестьянском деле, то есть тому назад пять лет. От этого в пять лет взгляд на дело шибко изменялся и понимание шибко росло.

Сперва думали, что крестьян просто освободить, хотя бы и без земли; освободятся — сами землю отберут. Потом стали думать о выкупе земель; потом выкуп свели только на какое-нибудь вознаграждение помещиков за

потерю. Царь первый стал за то мнение, что надо дать народу землю, но так как он полу-дворянский царь, то он остановился на той мысли, чтоб дать народу немножко земли, да и за ту положить денежный выкуп, а пока денежного выкупа не будет, то держать народ на полу-барщине, полу-оброке, в полу-воле, полу-рабстве и выкуп частицы земли делать понемножку. И теперь нередко слышишь, как царские служилые люди радуются, что вот со времени введения «Положения о крестьянах» выкуплено земель на один миллион сто девяносто восемь тысяч рублей. А прошло больше года — и они не замечают, что по их же расчету всего земель выкупить придется больше чем на тысячу миллионов, и что если они станут выкупать на один миллион в год, то они выкупят крестьянские земли только в тысячу лет, и что крестьянам придется жить в полурабстве еще столько же веков, сколько теперь считают от начала Руси. Да если бы они и на десять миллионов в год выкупили земель, то во сто лет не кончили бы. Этого никакой, самый смирнейший народ не вытерпит.

На этом покамест дело и застряло, то есть народ остается в полу-рабстве, с надеждой, что ему клочок земли через сотни лет выкупят в его собственность, а остальная земля, сверх этого клочка, останется за помещиками, которые будут ее продавать купцам или передавать своим наследникам, да за казною, то есть за царем, который будет ее раздавать даром своим генералам и чиновникам, а народу продавать за деньги.

Мы сами предлагали, чтоб на земле оставить подать для всех, с десятины поровну, будь это земля крестьянская или помещичья (которая сверх теперичного крестьянского надела у помещиков останется), и из этой подати дать вознаграждение помещикам, а затем всякие барщины и оброки прекратить; с казенных же крестьян чиновничье управление снять, чтоб они могли, вместе с освобожденными от помещиков крестьянами, составить одно крестьянство, по своему усмотрению собраться в волости, без всякой чересполосицы между бывшими казенными и бывшими помещичьими, и управляться своими выборными по-своему и через своих выборных платить подать в казну на общие нужды. Земли же незаселенные считать не казенными и не продажными, а земскими, так чтоб всякая артель, которая по малоземелью захотела бы выселиться,

получила бы незаселенную землю даром, приняв на себя по расчету подать. А так как казне нужно на общие расходы известное число рублей, то чтоб подать не прибавлялась бы от того, что новые земли заселятся, а только, по разверстке податного итога, с десятины приходилось бы платить меньше. От этого и мы думали о необходимости земского собора, который бы установил подать сколько ее нужно, а не столько, сколько чиновникам на народ наложить вздумается, и чтобы царь, если он земский царь, расходов, положенных земским собором, уже и не превышал бы. Еще мы думали: русское государство до того широко и велико и столько в нем разного племени, что с одного места всех разных нужд народных и местных обстоятельств не обсмотришь и податей порядком не определишь; стало, надо, чтоб волости по своему согласию собрались в области и управлялась каждая область своим выборным областным земским собором, и уже из областных земских соборов составился бы общий земский собор, которого приговоры царь и исполнял бы.

В этом мы с крестьянином Мартьяновым, с голосом очнувшегося крестьянства, ни в чем и не расходимся. Очнувшийся народ пошел уже дальше, чем чего хочет правительство, то есть полу-земский, полу-дворянский царь. Правительство дела делает долго, слишком много у него чиновников, слишком много они пишут и расписывают, не спросясь у земства, так что ничего сразу постановить не могут, а все откладывают на годы и годы, чуть ли не на века вечные. Покамест они пишут, дума в народе и растет, и захватывает все дальше и дальше, так что чиновному люду за ней не поспеть. Вот и прислал нам помещик письмо, которое назвал «Голос за народ»[5]. Сущность письма его в том, что теперь сверх крестьянских наделов по «Положению о крестьянах» остаются за помещиками земли; и он видит в этом беду страшную, потому что от этого земля выйдет не земская, а помещичья. Он думает, что дворяне-помещики — если не продадут своих земель, а если продадут — то купцы-помещики, имея землю и деньги, прижмут народ, прижмут его на всем, станут заработную плату понижать, станут, чуть крестьянин из нужды согласился на работу по низкой цене, да не в силах ее выполнить, судом его добивать и в раззор

разорять, и так как сила с их стороны, то и суд с их стороны и учредят они управление сословное, а не земское.

Нельзя не согласиться, слишком очевидно прав помещик, приславший нам «Голос за народ». Как скоро мы допустим частную поземельную собственность, она завоюет землю мирскую; богатые на миру примкнут к помещикам, мирская земля пойдет в раздел, богатые крестьяне и помещики скупят ее насколько денег хватит, и большая доля крестьянства пойдет в батрачество. Этого ли хочет народ? Конечно, нет.

Хотя наши крестьяне и по «Положению» остаются не безземельны и, стало, не вдруг сойдут на низкую заработную плату, но все же случайная нужда пошатнет их, и пойдет заработная плата вниз, по хозяйской, по помещичьей, а не рабочей оценке. Как же помочь беде? Помещик, в своем «Голосе за народ», предлагает наделы крестьянам отдать даром и вводить в помещичьих землях, то есть в тех, которые сверх наделов за помещиками останутся, артельное половничество, чтобы помещик не отдельно работника нанимал, а договорился бы с миром, чтобы помещичья земля обрабатывалась миром и потом бы урожай делился миром, смотря по работе, или потягольно, сколько зерна на тягло придется. Сначала помещик, так как он потратил деньги на плуги и сбрую, на машины молотильные и иные, то он из урожая получает больший пай; а потом, когда крестьяне пооперятся да свои плуги и свои машины поставят, то их работа все будет дороже и дороже, а помещичий пай все меньше и меньше, пока паи сравняются и помещик очутится таким же пайщиком в общей мирской земле, как и всякий другой крестьянин. А между тем — вместо того, чтоб с мирской земли и переделов по тяглам перейти к дележу земли особняком, каждому тяглу в собственность,— народ перейдет на артельную обработку земли миром и дележ урожая сколько каждому из мира придется. Таким образом, богатые у бедных земли не скупят, батрачество не заведется, и земля останется не частная, помещичья, а народная, земская, стало, и управление будет не иное, как земское.

Попытка не пытка,— пускай этот помещик пробует заводить артельное хозяйство, артельную пашню; пускай приглашает тех из помещиков, которые люди народу

искренно преданные, делать то же; пускай приглашает самих крестьян свою мирскую землю обрабатывать миром и делить между собой не землю, а урожай с земли. Пути ни единого упускать не следует. Если он и не успеет в своем намерении, то уже и то хорошо будет, что пустит в народ мысль о необходимости работать миром, потому что оно вдесятеро выгоднее и нет опасности, чтобы помещики и богачи завладели бо́льшим множеством народа и обатрачили его.

Но этот путь длинен и не верен. Соображая письмо Мартьянова, голос очнувшегося крестьянства, с письмом помещика, народу преданного, с его голосом за народ, мы приходим вот к какому выводу:

Если уже помещикам из общей земской подати назначается вознаграждение за то, что земли от них отходят к крестьянам; если в оброчных имениях, где помещичьей запашки и без того не было, вся земля отходит к крестьянам, то не следует помещикам и в барщинных имениях оставлять особой земли. Они получают вознаграждение — чего же больше? Хотят иметь пай в мирской земле, по тягольному расчету, наравне с крестьянами,— пускай остаются в общине такими же крестьянами, как и все. Земля чтоб вся осталась за миром и помещик таким же мирским пайщиком, как и другие. Только тогда бывшие помещичьи крестьяне сравняются землями с бывшими казенными и будет единое земство и единая земская земля.

Когда у народа в уме твердо сложится, что земля земская, то выгода общего труда сама заставит его перейти, с переделов по тяглам, на мирскую пашню и дележ урожая по тяглам, потому что всякая иная перемена разрушила бы землю земскую, без которой у народа не будет земского управления. Для людей, которые во всяком общинном устройстве преднамеренно хотят видеть насилование воли каждого человека, мы прибавим, что ни земская земля, ни мирская пашня не мешают каждому оставить свой земельный пай миру, временно или навсегда, то есть не нести мирской тяги и подати, и не получать ничего с мирского урожая, а итти промышлять как знает, не только в города, но хоть за границу, и, воротясь, опять участвовать в мирской работе и опять получать свой пай из урожая.

Пора остановиться на том, что помещики, получая вознаграждение из податей по стольку-то на столько-то лет, должны всю землю отдать в земство. Мы ни на волос не сомневаемся — из помещиков люди, искренно народу преданные, с нами в этом согласны; а остальные должны согласиться со страха, потому что лучше покончить на том, чтоб остаться без земли, но с вознаграждением, чем остаться без земли, без вознаграждения и без головы. А их упорство к этому приведет неминуемо.

На вопрос, куда мы идем, мы скажем смело, не боясь, чтоб у нас вышло с народом разногласие, мы скажем, что идем к тому, чтобы земля была земская и управление было от земства и, следственно, чтоб царь был земский, с земством согласный, или земством избранный.

Откуда мы идем — мы идем от того положения, где только доля дворянства отказывается от сословных прав и хочет перейти в земство, а большая часть дворянства хочет остаться дворянством с особой землею; где царь только долю земли дает земству, а остальную норовит оставить за собой, за казной да за помещиками, и заправлять все дела не земским собором, а своими чиновниками-грабителями.

Стало, что же делать?

Не только надо той доле дворянства, которая заодно с народом, крепко соединяться между собою и с крестьянством, но надо и селам и волостям сговариваться между собою по всей земле русской: уставных грамот не подписывать, на оброк не переходить, усадьбы и доли наделов не выкупать, а стоять твердо между собою, чтоб вся земля была земская. А когда они между собою в этом будут согласны, то следует послать не какое-нибудь дворянское особое прошение к царю об уничтожении дворянских сословных прав (как тверские дворяне просили, за что́ и в тюрьму попали), а следует послать царю грамоту от всего земства и спросить:

Хочет ли он признать землю земскую, созвать земский собор и быть царем земским, а не дворянским — чиновничьим? Чтоб ответил прямо, не шатаясь из стороны в сторону.

Смотря по ответу народ и будет знать, что́ делать.

Если на завтра нельзя согласить земство на такую грамоту, то все же к 1869 году можно и должно.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ НАРОДУ[1]

Народу житье плохое.

Крестьяне, бывшие барские, не то остались крепостными, не то нет. Барщину еще справляют, оброки им скорей повысили, чем понизили, землю урезывают, да и за ту заставляют выкуп платить или подписывать кабальные записи, называемые уставными грамотами.

У казенных (государственных) крестьян хотят ихние, мирские земли, которыми они искони владеют даром, насильно распродать им же, каждому в раздел, за деньги.

Дворовым людям вовсе никакой земли не дали; пустили по миру безземельными, да еще за то, что по миру пустили, заставляют господам выкуп платить.

Городские крестьяне, то есть мещане, уж и говорить нечего — всякими приписями да поборами, повинностями да постоями, торговыми свидетельствами да паспортами разорены до нищеты.

Что же тут делать? Как горю помочь? Уж, конечно, не господа с чиновниками народное дело устроят; пора народу самому о себе подумать, как устроиться, да просить царя, чтоб приказал все порядки учредить по-народному. Начал царь освобождать народ, так уж надо и покончить; надо, чтоб воля была настоящая, а не то, что теперь — полу-крепость, полу-кабала; надо, чтоб земля была не урезана и не продана, а отдана народу, потому что она не барская

и не казенная, а народная, мирская, земская. Прежние цари и императоры народные земли пораздавали было помещикам да отписали было в казну, а нынешний царь хотел ее опять народу отдать, только оно не так выходит на самом деле, как следует. Надо просить царя, чтоб было все сделано по правде: земля была бы взаправду отдана земству и люди были бы взаправду освобождены от господ и чиновников.

Конечно, царь сказал прошлой осенью и велел министру повсеместно объявлять, что то, что прописано в «Положении о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», то все он сам приказал и что никакой иной воли народу не даст [2]. Но неровен час: прошлой осенью крепостные крестьяне молчали, да и теперь еще помалчивают. Молча не хотели подписывать уставных грамот, молча не хотели переходить на оброк; молча не хотели платить выкупа за свою, урезанную землю; молча ждали другой, настоящей воли. Разве крестьяне пробовали говорить, пробовали миром просить царя о настоящей воле? До сих пор от деревень, сел и волостей никаких челобитных о даровании народу настоящей воли к царю не поступало. А когда всюду народ миром заговорит и станет подавать челобитные о том, что ему нужно и как ему устроиться, тогда царь и выслушает и сделает как надо по правде, если он народ любит.

К тому же, плохо не одним крестьянам крепостным, переименованным в срочно-обязанные, плохо всем. Работы стали, товары стали, денег нет, грозит нищета и разорение. Стало, дело всего народа просить царя о настоящей воле и настоящей правде для всех и о том, как их учредить.

Для этого надо народу по деревням и селам, по волостям, посадам и городам сходиться и столковываться и просить царя миром, чтобы не верил своим генералам военным и штатским, которые в Петербурге указы и приказы пишут, а собрал бы земский собор из выборных людей от всего народа, от всего земства, их бы спросил и с ними бы столковался — как учредить порядки, какие по правде следует.

Надо просить, чтобы эти выборные посланцы на земский собор не назначались и не утверждались губернаторами и господами, а были бы выбираемы волостями и городами поголовно, без различия сословий. Дворянин ли,

мужик ли, а голос подавал бы, что тот, что другой наравне; дворянин пусть приписывается к волости или к городу, но чтоб лишнего голоса на выборах не имел, а подавал бы свой голос, как все, на миру. А чтоб чиновники всякие — уездные, губернские и петербургские — в тех местах, где власть имеют, вовсе бы голоса не подавали и в выборы бы не вмешивались. Иначе все выборы выйдут фальшивые, подложные; выйдут выборы по приказу людей власть имущих, а не выборы от земства по народной мысли и совести.

Выбирать посланцем на земский собор можно всякого — мужика ли, дворянина ли, купца ли или из духовного звания; также и в то́лках различия делать нельзя: православный ли, или старообрядец, или иного согласия человек — все равно; веротерпимость — первое дело; хорошие люди, о народе заботливые и народные нужды знающие, найдутся во всех то̀лках и согласиях; за веру гнать стыдно и грешно, вера — вольное дело совести каждого человека. Стало, выбирать надо без различия сословий и веры — был бы человек народу люб.

Но как решить, что человек народу люб? Для этого лучше всего, если деревни и села соберутся на сход в волости и во всех волостях уезда и в городе выберут людей, которым поручат промеж себя выбрать троих, годных быть посланцами на земский собор; а когда троих выберут, то имена их и послать по волостям, селам, деревням, посадам и городу, и за кем из троих по всему уезду больше голосов начтется, тот и будет посланцем на земский собор. Может, оно и возьмет месяц лишний времени, но зато вернее будет: от каждого уезда посланцем выйдет человек, который народу люб и дело смыслит. Поэтому и надо просить царя, чтобы так и были выборы учреждены.

Надо просить царя, что когда земский собор соберется, чтоб непременно было на нем обсужено и решено следующее:

1. ДЕЛА О ЗЕМЛЕ

Чтоб земля русская была признана народным, земским достоянием.

Чтобы деревни, села, посады и города, каждые в своей меже, землею распоряжались миром как знают; хотят владеть подворно в раздел, как и на какие сроки,— так бы

по мирскому приговору и владели; хотят владеть землею потягольно в переделы, как обычно,— так по мирскому приговору и владели бы; хотят пахать всю землю сообща и делиться урожаем,— так по мирскому приговору и владели бы, и никто бы им в этом не препятствовал.

Бывшие господа помещики чтобы в миру себе земельный пай наравне со всеми получили, если хотят; а особой лишней земли себе не брали бы.

А помещикам за утрату земель и людей, прежними царями и императорами неправедно пожалованными, так что пожалованным владеть вошло в вековую привычку,— помещикам было бы дано денежное пособие, на сколько лет и по скольку в год — как на земском соборе положено будет, так и было бы.

Платить это пособие из числа обычных податей, поступающих в казну, полагая подати так, чтобы нигде не были они с души выше того, что́ государственные крестьяне теперь платят; но чтоб обложены были все без различия сословий, кто только в мирской земле паем пользуется, так чтоб и бывшие дворяне сами тоже бы платили.

Чтобы землю, где для мира окажется лишняя, которую разрабатывать миру не под силу, никто бы в потомственную собственность не брал и не покупал; а оставалась бы она для выселков из малоземельных сел и городов. А если под выселки земли еще не требуется, то отдавалась бы лишняя земля внаем, на сроки, от всех волостей и города в уезде по общему уездному приговору, за сходные цены, ни уезду, ни наемщику не обидные. Деньги за наем шли бы на пополнение и на замен податей и повинностей по уезду, так, что если деньги, вырученные за наем лишних земель, равнялись бы половине назначенного на уезд податного сбора, то раскладывать подать приходилось бы вполовину меньше; а если четверть, то в раскладку шли бы только три четверти назначенного сбора, и т. д. Наем выходил бы подать с капитала, которого иначе и не учтешь.

И если есть лишние пустопорожние земли, которых еще ни один человек не пахал, и они под выселок еще не требуются, то отдавать их внаймы на сроки от той области, в рубеже которой находятся, по общему областному приговору, и деньги за наем обращать на пополнение и замен податей и повинностей по всей области.

Если же незаселенные земли такие дальние, что не знаемо к какому областному рубежу принадлежат, а под выселки еще не требуются, то отдавать их внаймы по приговору земского собора и деньги обращать на пополнение и замену податей и повинностей в общую государственную казну.

Таким образом, чтоб у сел и деревень земли не были бы отняты или урезаны, чтобы для выселков, когда тесно жить становится, всегда были земли готовые; а чтобы пустопорожние земли легко доставались желающим на срок, по найму, без затраты капитала на покупку. Имеющие охоту теперь покупать земли, порассудив, сами убедятся, что нанимать на сроки выгоднее, чем покупать, потому что меньше сразу денег потребуется и, стало, можно нанять земли в тридцать раз больше, чем купить. А между тем от этого ни земство не расстроивается, и не грозит ему нарождение нового сословия особых владельцев, землескупщиков, которые на земство налегли бы не хуже помещиков, скупив землю, ничего бы не оставили под выселки, да того гляди и мирские земли пооттягали бы.

Если же где незаселенные земли в частные руки уже были куплены, то пусть земский собор рассудит, на каком основании и на какой срок их владельцам оными довладать так, чтоб ни им, затратившим деньги в землю, ни земству не было обидно.

Также, если где жалованные незаселенные земли их владельцами уже разработаны или на разработку отданы по найму и, стало, деньги в разработку положены,— пусть земский собор рассудит, на какой срок владельцам оными безобидно довладать.

Если же жалованные незаселенные земли их владельцами не разработаны и внаймы не отданы, так что никто в них денег не потратил, то надо на земском соборе просить царя такие жалованные грамоты просто уничтожить и земли обратить в земское достояние.

2. ДЕЛА ПО СУДУ И УПРАВЛЕНИЮ

Чтобы судьи и правители, от деревенских стариков и от сельского старосты начиная и до областного суда и областного головы,— все были бы народом выборные и

перед народом ответ держали, а казенного чиновничества чтобы вовсе не было. Довольно оно понаграбило и понеистовствовало, пора его и отменить.

Чтобы селам, деревням и посадам собираться в волости предоставлена была свобода, куда которое село, деревню или посад потянет; и с каким городом волости в один уезд захотят собраться, чтобы никакого о том насильного приказа не было, а сомкнулись бы волости с городом в уезд, как им покажется удобно и выгодно, кого куда потянет. И выбирал бы народ миром сельских старост и волостных старшин и уездного голову, и где уездному голове жить — в городе или волости,— назначал бы на уездном сходе сам. И суд волостной выбирался бы на волостном сходе, а сместный суд для дел между волостных выбирался бы на уездном сходе.

Чтобы уезды собирались в одну область, без насильного о том приказа, какой уезд к которому потянет; и выбирали бы уезды на областном сходе областного голову и областную думу, для распорядка по области, и сместный областной суд для дел междууездных.

А чтобы делами всех областей вместе заведывал земский собор, по своим приговорам, с согласия царева.

Чтобы теперь же на первом земском соборе были постановлены порядки выборов сельских, городских, уездных и областных, выборов всяких нужных людей — смотрителей за порядком, вместо теперешней казенной полиции; сборщиков податей, вместо казначеев и казенных палат; следователей по воровским и душегубным делам, вместо казенных приставов; старшин и голов, вместо окружных, исправников и губернаторов; судей и понятых, вместо теперешних председателей и канцелярских подьячих.

Чтобы теперь же на первом земском соборе были пересмотрены все уставы гражданские и положены какие следует по обычаю и разуму; были бы пересмотрены все уставы о наказаниях и положены какие следует по разуму и человеколюбию.

Чтобы все устройство следственное, судебное и управительственное теперь же на первом земском соборе было постановлено и всякая сословная рознь и казенные чиновники уничтожены, чтобы и в суде, и в управлении, и в

выборах, и во всем обычае имя дворянина и чиновника было бы предано забвению, а был бы всюду по всем областям единый народ, единое земство.

3. ДЕЛА ПОДАТНЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ДЕНЕЖНЫЕ

Чтобы царский поверенный дал на земском соборе отчет о всех государственных доходах, долгах и расходах без малейшей утайки и представил бы смету, какие расходы на следующий год нужны и из каких доходов на них деньги получать. Чтобы земский собор отчет министра и смету пересмотрел и свою бы смету постановил на общие всем областям расходы и разложил бы сбор на эти расходы по областям, сколько на которую по правде придется, сколько на какую придется подати, сколько поможет наем незаселенных земель; чем больше найма, тем меньше придется подати.

Чтобы разверстку податей по уездам, а также и сбор на местные областные нужды (ныне земские повинности) был предоставлен для каждой области выборной областной думе. А затем разверстка подушная была бы произведена по волостям и городам по их усмотрению — потягольно ли, или поземельно, или по состоянию каждого, как волости и города сочтут для себя удобным, лишь бы сбор был выполнен.

Чтобы сбор был верен, нужна круговая порука по деревням, селам, посадам и городам. Чтобы круговая порука служила не к притеснению, а к обогащению земства, надо, чтоб на земском соборе было рассмотрено и положено: каким образом учредить земские запасные денежные склады по деревням, селам, волостям, посадам и городам, каким образом составить их из посильного приношения с каждого взрослого, рабочего человека, каким образом из этого денежного склада давать нуждающемуся взаймы за проценты и проценты долею делить между вкладчиками, долею приращать к складу, так чтобы и вкладчики и заемщики оставались довольными, а земский денежный склад, сельский ли, волостной или городской, из процентов рос, пополнял бы из своих барышей недоимку и даже самую подать и служил бы на всякое хозяйственное улучшение по селу ли, по городу ли; каким образом такие сельские и городские денежные склады соединять в

уездный склад, чтобы и ссуда и рост все шли бы шире да шире; каким образом уездные денежные склады соединять в областные, а областные в один союзный, сборный, общий земский банк, который бы уже вел общие большие дела по ссудам и учетам и заведывал бы всеми оборотами и выпусками денег бумажных и чеканных вкладчикам в пользу, заемщикам в помощь, общему богатству в преуспеяние.

Чтобы на земском соборе было рассмотрено, каким образом с неплательщиков по податям и по займам предоставить миру в деревнях, селах, волостях, посадах и городах взыскивать недоимку в круговую поруку, не разоряя неплательщика распродажей имущества, а налагая мирскую опеку для сбора из доходов с земельного пая или иного имущества неплательщика, пока недоимка выплатится. А затем, чтобы человеку лично было свободно жить где хочет, промышлять по силам и поправлять свое состояние, и поэтому чтобы всякие паспорта и виды, которые до сих пор мошенников не открывали, а только честных людей теснили, совершенно уничтожить, предоставляя миру, на его мирское усмотрение — заведывать ли, пока нужно, имуществом неплательщика или, если мир признает должника, по случайному несчастью, неоплатным, заплатить за него миром безвозмездно.

Чтобы теперь же, на первом земском соборе, для облегчения всего земства были пересмотрены все торговые уставы и всякие притеснения в них изменены.

Чтобы были пересмотрены и изменены, к облегчению земства, всякие так называемые земские повинности, в особенности постойные и рекрутские. Поэтому был бы пересмотрен и рекрутский устав, определено число войска и его состав, сроки службы и сколько требуется для пополнения войска рекрут; а затем, по раскладке рекрутства по областям и уездам, предоставлено было бы повсюду миру ставить нужное число рекрут как мир решит — по жеребью ли, по очереди ли или по найму, лишь бы годные рекруты были поставлены.

4. ДЕЛА УЧИЛИЩНЫЕ

Чтобы на земском соборе были рассмотрены и положены средства, как содержать всякого рода большие и малые училища, для взрослых и детей, по всем наукам

или по какой особой науке, и как грамоте и всякому полезному знанию обучать — не то, что одних дворян да чиновников, да поповских детей, как до сих пор было, а всех, и так устроить, чтобы при этом дети от отцовского хозяйства не отнимались. Это уже воскресными школами было начато, стало — надо это дело на земском соборе додумать.

5. ДЕЛА ПО ВЕРЕ

Чтобы на земском соборе положено было за веру никого не преследовать, пусть всякий верит по совести и молится по своему согласию. Если немцам и евреям, татарам и идолопоклонникам свободно допускалось их богослужение, тем больше имеют на это право русские всех толков и согласий. Для спокойства же народа надо дозволить и в господствующей церкви, чтобы священники и причетники, обычно епископами ставленные, были водворяемы в сельских приходах с согласия мира, в городах — с согласия прихода, чтобы священники и причетники были приходу любы и поступали в должность на мирской ли оклад с тем, чтобы уже требы справлять безвозмездно, или без оклада с платою за требы, с паем из мирской земли или без оного, смотря по уговору. И священству и народу будет лучше.

Обо всем здесь писанном надо народу по деревням, селам, посадам и городам подумать и столковаться, чтобы просить царя, не отлагая, собрать для постановлений по всем оным делам земский собор и чтобы он постановления земского собора утвердил своим царским согласием на благо всех областей и целого земства и тем доказал бы, любит ли он народ [3].

РАСЧИСТКА НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ[1]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Старые порядки уходят; приходит новое время. Много молодых, жарких стремлений, много жажды усвоить себе новые понятия, жажды ввести новые порядки, жажды новых великих дел; но во всем этом много неопределенных слов, а следственно, и неопределенных понятий, неясности в новых порядках; часто волнению личностей придается значение общественной борьбы и словопрения принимаются за действительное дело. Упорно отстаивает себя и старый мир, точно так же вращаясь в своих неопределенных словах, а следственно, и в *своих* неопределенных понятиях, ставя свои заученные мнения об исторических событиях на место исторической действительности, выдавая схоластику — за науку, и жажду удержать отживающий мир, сохранить привычную ветошь — за подвиг. Много корыстей разыгрывается, начиная от ужаса перед необходимостью обойтись без крепостного кучера, от ужаса утратить клочок земли до ужаса остаться без привычных юридических туманов и привычных теорий, заменявших понимание, теорий, с которыми так легко все разрешалось, и человек удовлетворялся названиями и знал, что «все идет к лучшему в наилучшем мире». Кроме раздражительных литературных самолюбий в Петербурге, раздражительной ученой остановленности в Москве[2] и раздражительных корыстей промотавшегося

барства в губерниях,— само правительство, пользуясь совершенною гласностью, выдает свои неопределенные слова за понятия и исполнение этих слов силою военно-канцелярской власти — за дело. Глядя на пройденную дорогу и на дорогу впереди, становится жутко, чувствуется что-то хаотическое, и возникает неодолимая потребность самому притти в ясность, отбросить неопределенные слова и понятия, проверить факты и выводы, знать, куда идешь и что надо делать. С этой целью я приступаю к расчистке вопросов, по мере того, как какой вопрос попадается под руку, без особого преднамеренного оглавления, которое возможно только тогда, когда весь материал собран, розыск окончен и остается узнанное расположить в наиболее естественном порядке. Эта расчистка вопросов — внутренняя необходимость для меня, но не для одного меня. Все, которые мучаются теми же стремлениями и сомнениями, нуждаются в ней. Чтó я успею разъяснить для себя, то разъяснится и для них. Разъяснение покажет, насколько мы идем *вместе*. А чувствовать себя *вместе* — это сила.

Первый вопрос, который мне попадается под руку,— это вопрос государственной собственности. Много данных входит в это вавилонское столпотворение — юридическое суеверие, точка зрения русского правительства, точка зрения европейской газетчины, положение русского народа и пр. и пр. Итак, начну с государственной собственности.

РАСЧИСТКА НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Ужас невольно хватает за душу, как только вспомнишь правительственный проект насильственной продажи государственным крестьянам, в личную собственность, за деньги, земель, которыми они владели общинно *даром,* и невольно спрашиваешь себя: какое же право имеет правительство продавать народу землю?

Что продажу эту предположено привести в исполнение насильственно, ясно из слов иностранных газет. Оно ясно из того, что уплата капитала за землю предполагается в годы, на 30 лет. Если б весь капитал требовался немедленно, то покупщики, т. е. государственные крестьяне, могли бы отказаться от покупки за неимением денег; но когда дело идет на уплату годовыми взносами, очевидно — взносы будут взиматься как подать и — чего доброго — после тридцати лет обратятся в постоянную подать, так что поземельная подать с государственных крестьян будет равняться не какому-нибудь проценту с ценности их земель, а всей сумме, что их земли стоят; каждые тридцать лет Россия станет покупать себя у правительства, станет платить правительству весь свой поземельный капитал с процентами, или одну тридцатую долю своего поземельного капитала с процентами ежегодно, так что в 60 лет люди русские отдадут правительству вдвое против того, что стоит русская земля, в 120 лет — вчетверо и т. д., не считая процентов.

Если мы проследим историю русского правительства с Петра Первого, мы увидим, что это уродство не невозможно. От нужды в деньгах и в войске Петр приходит к ревизии и установлению подушных, к прикреплению крестьян к государственным имуществам, к раздаче их помещикам, с которых подать берется службою, а если не годны на службу, то из отданных им крестьян берутся рекруты; крестьянин становится правительственной собственностью, и земля становится правительственной собственностью. Екатерина разделяет подать на подушную личную и подушную поземельную и увеличивает подушную поземельную под названием оброчной на том основании, что земли стали дороже. Зато она выгораживает совершенно служилых людей от всякой подати, денежной и натуральной, и из частного поместного права вырастает дворянское неподатное сословие. Подушная подать и натуральная повинность вся падает на крестьян. Но основная точка зрения Петра I сохранена: государево поместное право разделилось на государевы поместья, уступленные дворянству, и на оставшиеся за государем. Николай окончательно узаконивает сословие крестьян, прикрепленных к государственным землям, считая и землю и людей государственной собственностью; под этим неопределенным названием безошибочно можно дощупаться до основной точки зрения, т. е. до того, что под ним правительство разумеет государево поместное право. С этой точки зрения правительство, дошедши до мысли об освобождении крестян с землею из-под частного крепостного права,— т. е. из-под государева поместного права, уступленного служилым людям,— доходит до заключения, что освободить крестьян с землей из-под прямого государева поместного права также можно только посредством выкупа. Но тут встретилось затруднение: помещики имели право продавать заселенные земли особо от крестьян и крестьян особо от земли; тут выкуп если и не составляет человеческой справедливости, то может иметь место ради крестьянской нужды отвязаться от помещика, спастись от продажи человека наравне с вещью, спасти свою землю от права, которое дано было помещику, продать или отнять ее; тут выкуп составляет горькую нужду равно для целого села, как и для каждого крепостного человека; стало, можно выкупить себя и свою землю целым селом, и выкуп значит

освобождение села от помещичьей собственности: после выкупа положение *меняется*. Но как приступить к освобождению государственных крестьян за выкуп целым селом? Тут нет никакого резона ни продать, ни купить, потому что по совершении купли положение *не меняется*, все остается попрежнему, так что купля со стороны крестьян была бы бессмысленной тратой денег, а продажа со стороны правительства — чистым грабежом,— вроде того, как если б разбойник остановил прохожего на улице и сказал бы ему: «заплати мне деньгами, что стоят твои часы, которые у тебя в кармане, и ступай себе с богом и с часами», да еще вдобавок знал бы, что прохожий настолько силен, что не дай он денег, то все же у него часов не отнимешь, так что отдача денег со стороны прохожего была бы совершенной ненужностью. Бессмыслица подобного положения стала в противуречие с основной мыслью правительства, что освободиться из-под государева поместного права можно только посредством выкупа. Где же выход? Один только выход и есть — продать мирскую землю в личную собственность; тут и государево поместное право сохранено и придан вид резона, ради чего продать и ради чего купить.

А как же в Малороссии, где нет мирской земли?.. Ну, там просто заплати за твои часы, которые у тебя в кармане!.. Благо правительство придумало резон для Великороссии, то что же останавливаться из-за частностей... *

Но в конце концов выйдет то, что помещичьи крестьяне выкупят наделы и независимость от помещиков лет через тридцать и казенные крестьяне выкупят свои земли лет через тридцать; годовые взносы в течение тридцати лет будут почти одинаковы, можно их и сравнять,— люди попривыкнут в тридцать лет к размеру годовых взносов, стало: как подушные были переименованы в оброк, так и годовые взносы можно переименовать в государственный налог, и пошла вся Россия платить правительству

* Иностранная газета говорит, что Муравьев был удален из министерства за упорное несогласие на освобождение государственных крестьян, и не замечает, что проект министра Зеленого [3], которому она радуется, как введению истинно европейской цивилизации в России, те же муравьевские правила 1860 года, которые не принялись в Восточной России, потому что выкуп предлагался еще не насильственно, и о которых мы уже говорили в то время («За пять лет», т. II, стр. 203) [4].

ежегодно одну тридцатую долю своего поземельного капитала с процентами, кроме натуральных повинностей и личного подушного оклада, которого тоже не с чего уничтожать *.

В то же время, как все крестьяне сольются таким образом в одно крестьянское сословие, проживающее на подать не только проценты с своего капитала, но и самый капитал, в то же время останется неоспоримо государево поместное право на незаселенные земли и останется новое дворянское, землевладельческое поместное право, новое землевладельческое сословие (землевладельческая буржуазия). Государево поместное право сохранит весь склад, из него истекающий, от него неотрешимый, т. е. управление чиновничье, которое враждебно взглянет на сельские выборные учреждения и устремится разрушить их при всяком поползновении сел на выселки. Новое землевладельческое, купеческое поземельное сословие устремится на скупку разделенной поземельной собственности у крестьян, разоряемых податью,— и русский народ вместо развития земства, земского владения и самоуправления очутится в руках видоизмененного государева поместного права и в руках купеческо-чиновничьего управления, которое от дворянско-чиновничьего будет разниться настолько, насколько жажда стяжания ради безрасчетного мотовства разнится от жажды стяжания ради безграничной наживы. Вырастет богатство русской империи, и вырастет нищета русского народа, и мы окончательно войдем во всю ширь европейской цивилизации, переложенной на купецко-чиновничьи нравы. Усладительно!

Но если газеты сообщают только пустой слух?.. Мудрено! Что-нибудь подобное да бродит же в намерениях правительства; так сразу этого не выдумаешь.

Но, может быть, проект не пройдет, не будет утвержден?.. Может быть!.. А может быть, и будет?.. Во всяком случае нельзя не посмотреть поближе: что такое государственная собственность.

---

* В настоящее время выкуп, если оценить по 40 руб. десятину, равнялся бы годовому взносу (5% и 1½% погашения) по 2 р. 60 коп. с десятины. Если положить средним числом по 6 десятин на душу, то налогу с души придется 15 р. 60 коп., а со всего количества (109.619.772 десятины) земли государственных крестьян 285.011.407 рублей серебром.

Куда ни взгляни в прошедшее, хотя бы в самую глубокую древность, везде найдешь, что ячейка, из которой развивались государства,— это заселение известной земли каким-нибудь племенем; племя считало эту землю своею собственностью. Далее оно сливалось с другими племенами — или на основании союза (федерации), или потому, что покорялось другому завоевательному племени. Племенное заселение, естественно, тянуло к поземельной собственности общинной потому, что все дело делалось вместе, заселение происходило совокупно. От этого мы встречаем и в европейских государствах — до завоеваний — сельскую землевладельческую общину. Завоевание вносит иной взгляд на поземельную собственность: земли становятся добычею победителей. Владеть обще с побежденными — совершенная невозможность; победителям приходится поделить добычу между собою. Дележ добычи не может быть равен, более сильный пойдет на захват, заявит больше корысти и отстоит ее. Главный вождь возьмет больше, и, от него до последнего воина, пай в добыче пойдет уменьшаясь, но все же дележ произойдет на одном основании: завоеванная земля и побежденные люди сделаются частной собственностью победителей. На этом основании возникла в Европе феодальная поземельная собственность. Завоевателям не нужно было самим пахать; они брали с людей работою, деньгами или произведениями. Их воля, стало — кто больше им посулит работы, денег или произведений, тому они отдадут больше земли во владение. На этом основании рушилась в Европе сельская община. Пока побежденные считались рабами, крепостными, победители принуждали их к работе или обирали произведения и деньги. Но мало-помалу завязывались между победителями и побежденными условия, и, когда рабство и поборы перестали иметь в глазах победителей больше выгоды, чем условленные платы и работы, побежденных лично освободили от рабства и феодальная поземельная собственность стала отдаваться простолюдинам внаем или переходить в их руки по праву купли. Главные вожди — короли — имели поземельную собственность, так же как и подчиненные им феодалы, свою личную, принадлежащую им не по королевскому чину, а по праву родовому, наследственному от прадеда-завоевателя. Когда королевская власть усилилась, короли стали

брать себе выморочные феодальные поместья или отбирать по суду, в силу наказания. Таким образом королевская поземельная собственность расширялась, но никогда не достигла до совершенного уничтожения права — сперва частной феодальной собственности, а потом, когда феодальные поместья пораспродались, то вообще частной поземельной собственности.

В Англии феодальная собственность и не распродалась, а сохранилась в роде, по исключительному праву старшего сына на поземельное наследство; но продажа феодальных земель заменилась отдачею в долгосрочные наймы. На европейском материке феодальная поземельная собственность, дробимая по наследству, только случайно долею осталась в роде, большею частью перешла в руки богатых простолюдинов или размельчалась на совершенно дробные лоскуты личной крестьянской собственности и все же сложилась в частную поземельную собственность, а не в государственную. Государственной поземельной собственностью остались только исключительные земли, предназначенные для особых общественных нужд, как то: для ссылки преступников, для общественных и военных зданий и заведений и т. д. И то еще понятие, что это собственность государственная, общественная, а не королевская, возникло с упадком самодержавной королевской власти, после революций, с преобладанием представительных законодательных собраний. Чем сильнее и прочнее устанавливались представительные правления, тем яснее разграничивалась родовая, частная собственность королей от государственной собственности, так что, например, в Англии смешение этих двух вещей уже совершенно невозможно, невозможно даже в современной Франции, а в Германии еще возможно.

Во все продолжение многовекового развития общественной жизни из двух составных племен — завоеванного и завоевавшего,— кроме определения частной поземельной собственности, развивались и учреждения по всем другим общественным потребностям, и вместе с тем составное племя резко разграничивалось от других составных племен, долею чуждых ему по происхождению, а потому чуждых и по языку, чуждых по обычаю и большей частью не только чуждых, но и враждебных, так что, кроме внутренней особенности склада, каждое составное племя

обозначалось внешними поземельными границами. Войны изменяли границы; завоеванное примыкало к завоевавшему составу племени и входило в его границу. Из этого составилось понятие *национальности,* которое обозначало единство коренного составного племени, и понятие *государства,* которое обозначало единство всего находящегося в границах, отделяющих владения этой нации от владений других наций. Чем больше вновь присовокупленные (присоединившиеся или завоеванные) нации или провинции поглощались коренной нацией, сливались с нею в обычаях, подчинялись одним законам и одному правительству, тем больше в понятии государства выражался весь внутренний склад общественной национальной жизни, заключенной в известных географических пределах. Племенное и областное (провинциальное) различие уступало место понятию государства и государственного единства. А все же из этого не выработалось понятие государственной поземельной собственности; земля принадлежала такому-то государству только в противоположность другому, чужому государству, а внутри поземельная собственность оставалась частною, равно для коренной нации и для вновь присоединенных областей, кроме земель, предназначенных для исключительных общественных целей. Государство имело право не на собственность, а на налог, который из простой дани, платимой побежденными победителю, пока племенное различие было еще резко, пришел — когда племенное различие потонуло в единстве национальности — к своему естественному значению, к значению отдачи доли частного дохода на общественные нужды.

Очевидно, государство — отвлеченное историко-географическое понятие, которого живая действительность, живое тело — это нация, ее внутренний склад и ее поземельные владения до границы. Как отвлеченное понятие, оно могло приспосабливаться ко всяким обстоятельствам и ко всякому взгляду на вещи. Отвлеченное понятие всегда представляет человеку страшное удобство нечаянно или намеренно лгать против действительности и правды. Отвлеченное понятие можно потянуть в ту или другую сторону, куда угодно, и оно тотчас приладится, с виду будто и складно; кажется, вот человек дошел до понимания чего-то живого, в самом деле сущего, а выходит, что он дошел только до отвлеченного понятия, помял его как

резиновую игрушку, и вышла такая или иная фигура, смотря по его желанию, а живое дело и живая правда остались в стороне. На отвлеченном понятии государства выезжали все правительства, все схоласты, все доктрины.

Людвиг XIV приравнял государство королю. Это было по крайней мере очень осязательно: король был так властен, что свою личную потребность, личное мнение, личный каприз считал потребностью, мнением, капризом всех, всей нации; он был так властен, что ему никто не возражал. Но что он не был прав — это доказывало уже ему самому то, что личная фантазия разбивалась о существенные невозможности и нехотения нации выполнить их, и действительность показывала, что государство и король не одно и то же.

Французская революция, пожертвовав областями государственному единству, силилась примирить права человека с подчинением их государству. Так как и государство и права человека представляли только отвлеченные и потому неопределенные, или, лучше, неопределившиеся, понятия, то их надо было определить. В чем же определить государство, где найти ему выражение в действительности? Спрашивать у нации было некогда, да и пошла бы разноголосица. Всего легче было найти выражение государства в комитете общественного спасения, который был обязан насильно заставить человека иметь права человека. На этом мнимом примирении отвлеченных понятий Франция в действительности переходила от одного деспотизма к другому, сильно разрабатывая отвлеченные понятия в разговоре и литературе и не выходя на деле ни на шаг из уравнения государства с правительством, бессознательно оставаясь на точке зрения Людвига XIV. Даже Бабёф [5] и последующие французские социалисты отвлеченное понятие государства осязательно представляли себе только в форме правительства и подчиняли социальную республику правительственной централизации. Из этой постановки, в отвлеченном понятии — государства, а в действительности — самодержавного правительства, Франция постоянно натыкалась на невозможность примирить отвлеченное понятие прав человека с сосредоточенным государством, и, вынужденная постоянно искать разрешения этой задачи, она меняла правительства, всякое новое правительство облекала в мантию государства, видела, что и оно не

соответствует отвлеченному понятию прав человека, что и с ним тоже жутко, и потому приходила только к судорожным переменам правительств, друг другу подобных, а задачи не разрешала.

Прусская философия, возвысив отвлеченное понятие в степень идеи, сделала из идеи государства научный догмат, нечто вроде религии, приписав идее государства выражение человеческого, непогрешительного, все равно что божественного, разума. Но когда невольно почувствовалось, что это отвлеченное понятие, эта идея сама по себе отдельно нигде не существует, и, следственно, потребовалось найти этой идее соответственное выражение в действительности, то оказалось, что идея государства — это прусское правительство.

Англия мало заботилась о постановке отвлеченного понятия государства, не искала соответственного ему выражения в правительстве, добивалась положительных основных прав, основанных на частной собственности, и поставила во главу управления собственников или представителей частной собственности, поземельной и движимой. Этот склад слишком ярко указывает, что всякая мысль государевой или государственной собственности для Англии враждебна.

Но не только практическая Англия, но ни французская революция, ни даже французский социализм (дошедший в теории до собственности общей или общинной, товарищественной), ни даже прусская философия — не дошли до понятия государственной собственности. Они придали отвлеченному понятию государства всякие отвлеченные свойства, или силы; государство могло быть высшим разумом, высшим правосудием, высшей идеей, которой каждый был обязан жертвовать жизнью, но как скоро дело касалось до вещей осязательных,— то государства-собственника они не выдумали; отвлеченное понятие, владеющее поземельной собственностью на правах частного человека, осталось для них немыслимо.

В сущности, в действительности, помимо теорий и доктрин, сделавших из отвлеченного понятия государства научно-религиозный, политический догмат, Европа остановилась на частной поземельной собственности, предоставляя государству — нации или нациям, сплоченным в одно государство,— право поземельного налога в пользу

общественных нужд, налога, взимаемого с частной собственности посредством правительства. Выйти из этого отношения в какую-нибудь иную осязательную собственность, только две дороги: или признать поземельную собственность государевой, или признать ее собственностью общественной, народною. Только два живые, действительные существа, а не отвлеченные понятия, и встречаются: государь, или правительство, и общество, народ, земство. Кому-нибудь из них и должна принадлежать так называемая государственная собственность. Если прилагать к русской почве прусскую философию, по которой сколько не разделяй в мысли государство от государя, на деле все же окажется, что государство — это государь, то мы невольно придем к заключению, что поземельная собственность — государева. Если же прилагать к вопросу русский народный смысл, который века говорил и барину и царю: «мы ваши, а земля наша», то дойдешь до обратного заключения, что поземельная собственность — собственность общественная, мирская, земская. Если прилагать к вопросу просто здравый смысл, то нельзя не согласиться с народным понятием о поземельной собственности; можно только не найти достаточно разумной причины, чтоб и люди были барские или государевы. Впрочем, от понятия принадлежности человека барину народ легко отказался; остается только дойти до понятия непринадлежности человека государю.

Но развитие понятий поземельной собственности в России требует особого разбора.

Русское племя (не станем пересчитывать подробных имен отдельных народцев: собирательное имя удобно, понятно и, следственно, для нашей цели достаточно), русское племя заселило землю к востоку от Европы, с краю и прочь от нее. В пору народных переселений Европе дела не было до Руси; европейское завоевательное движение шло к западу. На Руси завоевания племени племенем и составного племени из завоевавших и завоеванных не было. Финские племена, которые смешивались с Русью, не составляли народа покоренного, так чтоб финны и финские земли были поделены между русскими завоевателями. Они просто присоединялись, как были, и перемешались равноправно. Даже впоследствии татары, сделавшись из победителей побежденными, остались

относительно русских равноправными поселенцами. Явление такого равноправного смешения племен в собирательное племя могло произойти только по безграничности пространства к востоку, куда племена подвигались. Или побежденные бежали заселять новые пустопорожние земли, или победители удовлетворялись победой и возвращались домой, где у них земли было вдоволь, оставляя побежденных с их землею попрежнему, но *в союзе* с победителями. Очевидно, передвижение племен по необозримому пространству, то лесному, то степному, могло составить разные союзцы и союзы, но не государственное единство; а поземельная собственность, никому не воспрещенная, становилась, смотря по способу заселения, общинной, если люди селились артелью,— частной, если люди селились в одиночку. Государственная поземельная собственность была меньше возможна, чем когда-нибудь. Различие общинно-нераздельной и общинно-раздельной поземельной собственности имело, с вероятностью, подходящей к достоверности, свои местные условия: там, где для расчистки посела и пашни требовался артельный труд, труд общими силами,— там образовалась собственность мирская, передельная — смотря по числовому колебанию народонаселения; там, где для поселка не требовалось общего труда, каждый из громады селился сам по себе насколько сил хватит, так что поземельная собственность громады составлялась из суммы раздельных заселков *. Таким образом, лесная Русь, которой надо было расчищать посел (починки) общим трудом, шла к мирскому передельному землевладению и, распространяясь в восточные степи, приносила с собою *обычай* передела; между тем южная Русь, заселяя прямо степь, для разработки которой предварительного общего труда не требовалось, селилась в раздел, сохраняя только общую межу, как границу поземельной собственности громады, т. е. поселившейся на известном пространстве артели, дружины, толпы — словом, известного числа семей, вместе пришедших. Степная Русь, переселяясь к лесному северу, сохраняла обычай мирской земли раздельной, а не передельной.

* Мы употребляем названия из последующих времен только потому, что они яснее обличают самое дело.

Князья в домосковское время представляют больше властителей или управителей края, чем поземельных собственников; в наследство княжеских родов переходит *управление* и право на налог, а не поземельная собственность, которая остается общинно-нераздельной или общинно-раздельной, смотря по местности. Возле возникает монастырская поземельная собственность и частная поземельная собственность поселков в одиночку. Но бродячесть населения по пространству беспрестанно меняет места поселков, и едва ли не одна только монастырская поземельная собственность представляет нечто недвижимое. Зато население, привыкшее к мирской передельной собственности (которая и сама по себе для отдельных лиц сводится на право владения), равно селилось на монастырских и иных землях, равнодушное к тому, где именно оно захватывает право владения. С Московским царством и остановкой земледельческого населения на местах *мир* в праве владения каждого паем из общей межи окончательно видит мирскую поземельную собственность; монастырские крестьяне, помещичьи крестьяне, вольные крестьяне, остановленные беспереходно на месте, в своем праве владения землею видят мирскую поземельную собственность. Этот вывод из положения дел до такой степени естествен, что он действительно логичен, совершенно справедлив и искоренить его из народного смысла невозможно.

Между тем как на польско-литовском западе дружинное начало вырастало в панство и рушило неприкосновенность мирского поземельного владения захватом мирских земель в частную панскую собственность, южная степная Русь (Малороссия) оставалась в своих общинно-раздельных межах и в этом виде присоединилась к Московскому царству.

Московское царство возникло с стремлением освободиться от татар. Необходимость *ограждения* всех родоначальных племен, то союзных, то враждовавших, от общего, всем чуждого врага привела к чувству государственного единства. Государственное единство в ту пору имеет смысл чисто географического единства, единства или неприкосновенности общей, окружной межи, с совершенным равнодушием к племенному различию. Замечательно, что слово *государство, государственный* — только

позднейший, литературный перевод римского status, а в народном понятии существовало одно слово — *земство*. Земство ложится в основание стремления к незыблемому союзу, к земскому единству, противопоставленному чужеродному и чужеядному врагу. Земство — географическое имя народов, живущих в общей меже — с запада от границ Литвы и с юга от Украины к востоку без конца. Слово *национальность* не вошло в русский язык, слово *народность* — позднейшее литературное изобретение, принятое императором Николаем, не заботившимся о том, что для народа, по сущей действительности, это только туманно-отвлеченное выражение неопределенной мысли.

Настоящее собирательное имя, означающее географический союз всех разнородных племен русской земли в одно целое,— это *земство;* с освобождением от татар начинается *земское единство,* вырастающее на понятии *земской* земли. Понятия народные, понятия масс имеют свой склад; они существуют как обычай. Народу в голову не приходит выразить обычай каким-нибудь книжным определением; для него понятие, вытекающее из обычая, слишком естественно, чтоб говорить, упоминать о нем; от этого народные понятия переходят в букву закона очень поздно или вовсе не переходят. Обычай селиться, при обязательном налоге в пользу целого, но не по найму и не по купле, а *даровым* заселом, оставлять его и итти на другой засел, невольно приводил к понятию общей земской земли, с правом каждого на пустопорожнее место. Принадлежность земли земству легла в основание всего народного склада естественным, невысказанным сознанием; но оттого, что понятие земской земли не нуждалось в букве закона и не было записано, оттого так легко было, при благоприятных обстоятельствах, выворотить его наизнанку и смотреть на земское достояние как на достояние *государево.*

Освобождение от татар требовало военного центра. Московское царство, сделавшись военным центром, вооруженной властью над земством, постепенно росло к совпадению права *управления* с правом *владения.* Сосредоточенная военная власть царя не могла ужиться с земской властью веча или местных веч, и так как сила была со стороны военной царской власти, то она нечувствительно перешла во власть гражданскую или военно-граждан-

скую. Московский устав вводился в области царскими военными чиновниками. Известно, не без боя уступали области свою самостоятельность, но народ, видевший в московском царе спасителя от гнета иноплеменного, мало-помалу привыкал видеть в нем спасителя от самих царских чиновников. Когда воеводы с чиновниками занеистовствовали, царь, которого цель была не неистовство, а единодержавие, становился в безвыходное противуречие — посылать в области чиновников полновластных и наказывать их за последствия их полновластия. В этом наказании земство видело суд и правду цареву и постепенно создавало себе понятие о земском царе, творящем суд и правду на все протяжение нераздельного земства. Суд и управление сосредоточились в царе и растянулись над земством через посредство чиновничества, через посредство царских служилых людей, облеченных военно-гражданской властью.

Необходимость их вознаграждения и содержания привела к раздаче им земель,— первый вещественный захват над земством. Земская земля, понятая как царская собственность, переходила в частное владение. Необходимость порядка в управлении людьми привела к прикреплению людей к месту. Отсюда троякое последствие: народ продолжал обычное понятие земской земли, считая землю мирскою для каждого посела, прикрепленного к месту; служилые люди стали жалованные земли, со всем их прикрепленным населением, передавать в роды по праву наследства; царь ясно увидал возможность и, следственно, право раздавать чиновникам незаселенные земли, что легло в основание дальнейшего права раздачи и самых заселенных земель, к которым население было прикреплено и жило на них просто само по себе.

Дошедши до раздачи земель и прикрепления населения к местам, Московское царство чуть не рухнулось, и, не будь польского нашествия, неизвестно, в какой склад оно расшаталось бы. Высшая точка силы, до которой доросло первое Московское царство,— это время Иоанна Грозного. Вслед за Грозным шло падение Московского царства. Уже он сам, несмотря на окончательное военное преобладание над областями, несмотря на лютость своего нрава и свои неистовства по городу Москве, чувствовал неспособность управления посредством служилых людей,

ненавидел их и клонился к введению земских учреждений, что в сущности значило, что, достигнув военного преобладания, Московское царство не знало, куда дальше идти и стало бы расшатываться. Династического интереса не было; по крайней мере он был очень не тверд, что доказывает легкость, с какою был избран Годунов, не только не рюриковой, но и не русской крови. Если бы московское единодержавие было прочно, польское вторжение с самозванцами не имело бы такого успеха; оно нагрянуло именно во время шаткости и смыкалось с непрочными областными движениями. Но сами области испугались иноплеменного вторжения, и снова понадобился военный центр для земства, и Московское царство сложилось вторично.

Новый царь был выбран земством, но ему в наследство досталось предание, сложившееся при первом Московском царстве; замена вечевого строя управлением служилых людей, их поместное право наследства, и, сверх того, при избрании — хотя глухо и почти случайно — был возобновлен династический интерес рюрикова дома. Все это вошло в основу длинного времени от второго Московского царства до сего дня. Управление через служилых людей слагалось в военно-канцелярское правительство, династический интерес вырастал в смешение понятия управления и властвования с понятием государства, как собственности государевой, и примыкал к произвольной раздаче частным лицам, служилым людям земских земель как государевой собственности. Право родового наследства розданных земель служилым людям вырастало в «Уложение» и перешло в николаевский «свод законов», усложненное всеми указами императорства. Народ остался в стороне, при своем понятии мирской, земской земли, при своем гражданском праве *по обычаю,* не вошедшем в закон, и при своем идеале земского царя, при понятии земского царя — каков он должен быть, каким народ его желает, царя, ограждающего целость земства от внешних врагов и карающего служилых людей за нарушение земских прав. Это понятие о земском царе, каков он должен быть, создалось и росло у народа в противуположность правительству, слагавшемуся в действительности, и — вследствие страшной непоследовательности человеческого ума и страшной последовательности обстоятельств — чем сильнее становится

гнет действительного правительства, тем сильнее являлась потребность прибежища к царю земскому, царю воображаемому, царю, каков он должен быть. На том же основании, чем горче участь человека, тем он усерднее молится.

В действительности правительство слагалось в целую сеть чиновничества, накинутую на земство. Императорство окончательно разрушило мост, соединяющий чиновничество с народом; чиновничество отделилось от земства одеждой, всем образом жизни и всего более — потребностью, без которой оно не имело бы причины существовать, потребностью управлять. Земля и люди — государева собственность; она управляется или прямо государственными чиновниками на жалованьи, или уступлена государем во владение чиновникам, которые называются дворянами и помещиками. Царство — слово, производное от слова царь, государство — от слова государь; собственно римское понятие — status — утратило свое значение в русском переводе. Отвлеченное понятие государственной собственности, во все время второго Московского царства и петербургского императорства, существовало, в действительности, как государева собственность. В действительности, отвлеченного понятия нельзя было постановить иначе, как в живом одиноком образе государя, из которого исходит чиновничье правительство, или живом собирательном образе земства, из которого исходит выборное самоуправление. Так как выборного самоуправления не было — оно заглохло с вечевыми колоколами,— то собственность и оставалась за петербургским императорством. Различие личного государева имущества от казенного, несмотря на изобретение удельных поместий, сводилось на игру слов; в сущности и казенное, и удельное равно было государево. Частная поземельная собственность, совершенно противуположная европейскому складу, не была собственностью самостоятельной, а уступленным владением из государевой собственности, собственностью жалованной. Государева поземельная собственность охватывала все.

В конце прошлого столетия, когда империя сложилась, присоединив окончательно Украину и западные губернии, окончательно учредилась и государева поземельная собственность; доля Великороссии была пожалована, доля

осталась за государем; доля Украины была пожалована, доля осталась за государем; доля западных губерний была или признана за панством, или пожалована новым панам, или осталась прямо за государем для раздачи в аренду (внаймы) или просто в управление чиновникам. Далее раздавались незаселенные государевы земли. Чем тяжелее устанавливался этот склад правительства, тем сосредоточеннее и сильнее жило в отделенном, управляемом народе пристрастие к мирской поземельной собственности, передельной в Великороссии, раздельной в Украине и западных губерниях, тем несокрушимее жило в нем чувство, что сумма мирской поземельной собственности — собственность земская, покамест нарушенная правительством-чиновничеством, в образе чиновничества-дворянства и собственно чиновничества. Настоятельнее росла и потребность в заступничестве земского царя, который сам, по какой-то необходимости, еще терпит дворянство и чиновничество, но который, по своему высшему правосудию, скоро отдаст земству земскую собственность и свободу самому управляться собою. В эту противуречащую потребность заступничества земского царя против его же правительства вошли не только Восточная Русь, но и Украина, но и самый народ западных губерний, из которых ни Украина, ни западные губернии не имели, по преданиям, никакого стремления к земскому царю, но возымели его по ненависти к своему гнетущему панству и правительственному чиновничеству.

Что же, вследствие всего этого, значило в глазах народа начатое Александром II освобождение крепостных крестьян?

Поворот к земству, отдача земству земской поземельной собственности, нарушенной помещичеством и чиновничеством. Настоящий земский царь возвращает земству его достояние.

В сущности это значит, что отвлеченное понятие государственной поземельной собственности, от Московского царства и до сего времени жившее в образе собственности государевой и разросшееся в такое уродливое правительство и управление, что дальше не в состоянии держаться,— теперь поворачивает к понятию поземельной собственности земской, потому что самостоятельная частная поземельная собственность не имеет корня, а

поземельная собственность государева оказывается делом несбыточным; далее понятие поземельной собственности земской пойдет к своим естественным последствиям и сложится в ему свойственный склад.

Все, что̀ наблюдение показывает нам с достоверностью,— это несуществование поземельной собственности, принадлежащей отвлеченному понятию государства, как его постановила немецкая философия и французская революция, но существование, на деле, поземельной собственности в трех видах: 1) частной — вследствие завоевания и дележа земли между завоевателями и долею вследствие одиночного засела (вид, который выработался в Соединенных Штатах Северной Америки, а у нас потонул в другом виде); 2) государевой — вследствие централизации, при отсутствии самостоятельной, частной поземельной собственности, и 3) общественной или земской — до централизации, при отсутствии частной поземельной собственности, вид, который не может не возвратиться с децентрализацией, при тех же условиях. Другого выхода нет: при отсутствии самостоятельной частной собственности поземельной — поземельная собственность или сосредоточенная государева, или собирательная земская. В России начался поворот от централизации к децентрализации, от управления чиновнического к управлению выборному, и следственно, она будет тянуть к осуществлению, развитию, приложению к действительности понятия земской поземельной собственности. Без сомнения, сложные общественные данные станут видоизменять приложение простого хода мысли; не говоря о сословных и правительственных силах, вносящих в развитие простого начала враждебные ему колебания и уклонения, уже одно различие областного обычая — мирской поземельной собственности передельной и мирской поземельной собственности раздельной — внесет свои различия в жизни *. Мы не можем определять будущего,

* «Северная пчела» требует от «Дня» [6] ответа на вопрос: почему много крестьян желают перейти с мирской собственности передельной к разделу на частную собственность? Едва ли «День» или кто другой способен a priori ответить за народ, прежде чем народ заявит свою мысль на общем сходе. Но очень вероятно, что богатые из крестьян, так называемые кулаки, желают чисто частной собственности; очень вероятно, что в губерниях, прилежащих к Украине,

но мы можем указать на вехи, которые, как прямой вывод из основного понятия, виднеются по дальней, неизвестной дороге.

Вывод ясен: земская поземельная собственность может признать только *даровое* заселение ныне существующих и впредь заселяемых мирских земель, где отдельные лица несут мирскую тягу на общественные мирские нужды, а целые отдельные миры, или общества, несут тягу на совокупные общественные нужды. Далее — понятие земской земли не может предположить никаких выкупов и никакого государева права на выкуп крестьянством земель, прямо ли приписанных себе государем или пожалованных им служилым людям. Понятие земской земли ведет к праву каждого мира, когда у него земли по числу душ недостаточно, на *даровое* необходимое количество пустопорожней земли для выселков, к чему обычай раздельного и передельного мирского владения относится равнодушно. *Частная* поземельная *собственность* не может иметь места; при понятии земской земли может существовать только частный *срочный наем* у земства незаселенных земель для разработки, пока они для выселков не требуются. Понятие земской земли не может не стремиться к географическому равновесию народонаселения, к уравновешиванию населения по пространству; отсюда право мирского выселка на *даровое бессрочное* занятие пустопорожней земли вытекает естественно; а право *скупчества* земли в частные руки становится невозможным и сводится на *срочный* наем, который, пополняя и заменяя мирской сбор на общественные нужды, заставляет участвовать на общую земскую пользу и самые частные капиталы земленаемщиков.

обычай клонит к мирской собственности раздельной, ясно различной от частной собственности тем, что раздельный участок не отходит из громады в постороннюю отдельную собственность ни через какую продажу. Но что скажет на сходе народ, который знает, что сыновья получают поземельные паи, как скоро женятся, между тем как тягло или двор, оставшись при своем вечно отдельном участке, может его только разделить на мелочь между сыновьями,— дайте же узнать это из народного решения, а не из личного предположения, которое точно так же ничего не докажет, как ничего не доказывают *слухи* о том, чего народ хочет и чего нет. Личные предположения и слухи равно лишены знания числовых данных, хотящих того или другого. Вероятно, жизнь оправдывает то предположение, которое наиболее совпадает с общим складом народного смысла.

Земская земля ставит коренным условием общественной жизни *бессословность*. Сословности тут не на что опереться. Движимая собственность кладет различие только личное, между человеком, который сумел приобрести, и человеком, который не сумел приобрести, но коренное деление людей на сословия, при существовании земской поземельной собственности, стирается невозможностью отдельным лицам скупить землю и отнять у небогатого ту почву, на которой он ставит свой дом и свою усадьбу, и то поле, с которого он снимает жатву для своего прокормления. Дворянству в том положении, в каком оно теперь находится, гораздо выгоднее примириться с народом на денежном вознаграждении, правильно выплачиваемом из общих податей, с уступкой в земство всех так называемых помещичьих земель, сохраняя только право на тягловой или подворный поземельный пай в мирском владении, гораздо выгоднее, чем сохранить за собой земли сверх наделов по «Положению». Оно выгоднее по многим причинам. Во-первых, общее согласие на такое примирение, при неповышении податей выше размера платимых государственными крестьянами, так легко, что может осуществиться почти бесспорно. Во-вторых, удержав за собой земли в частную собственность, помещики никогда не поставят себя с народом в такое мирное отношение, чтоб считать свою жизнь в безопасности; к такому мирному отношению с народом, к желаемому и часто высказываемому *сближению*, дворянство может притти не иначе, как отречением от своих сословных льгот или прав, а отречься от сословных прав невозможно, не отдав частной поземельной собственности в земство, потому что всякая частная поземельная собственность, образуя вечно-отдельные от земства интересы, образует и отдельное сословие. В-третьих, сохранив частную поземельную собственность, дворянство сохранит ее только по имени на один день; без денег и без работников, оно будет вынуждено продать ее купцам или скупщикам и, растратив сразу полученные капиталы, очутится в безвыходнейшем положении бездомничества и пролетариата, между тем как возле него вырастет вседавящее, грубобуржуазное сословие землесобственников-капиталистов. В-четвертых, примирение на вознаграждении, постоянно и правильно выплачиваемом известное число лет из

общих податей, увлекая бывшее дворянство на наем незаселенной земской земли, разом послужит на применение подати к разработке непочатых местных производительных сил и, долею, возвратит подать в общее достояние посредством наемной платы, так что бывшее дворянство будет само участвовать в своем вознаграждении, постоянно богатея и обогащая страну.

С понятием земской земли предположенная правительством продажа мирской земли (владеемой миром даром) людям, составляющим мир, каждому отдельно за деньги, становится немыслима и невозможна. Исход счастливый, потому что иначе, если продажа предпишется не обязательно, то она не осуществится так же, как не осуществляются уставные грамоты, или еще меньше; если же она предпишется насильственно, то она приведет к бунту государственных крестьян и к избиению чиновников гораздо быстрее, чем продолжение переходного положения приведет к избиению помещиков.

Наконец, прямой поворот к понятию земской земли, осуществляя для народа понятие о земском царе, каков он должен быть, сохранит династическую безопасность дома Романовых... Но общественная жизнь идет своими путями, и, к сожалению, может быть, так же мудрено вычеркнуть из действительности развитие упорства династических и сословных интересов, как невозможно вычеркнуть из нее развитие народного понятия земской земли.

Понятие земской земли идет к тому, чтобы сделаться религиозным догматом, фанатическим верованием русского народа...

Перед ним заглохнет ложно поставленная формула доктринаризма, приравнивающего общественные данные к нулю мыслью, что все реформы должны развиваться правительственно сами собою, и не замечающего, что все противуречащие остальные данные также придут сами собою, если только принять за общее теоретическое положение, что жизнь развивается сама собою. К фанатическому верованию в понятие земской земли пристанет и самый скептицизм, ныне называемый нигилизмом, потому что он приготовляет себе выход в это верование. Собирая все данные положительные и отрицательные в одну сторону, скептицизм также ставит формулу,

равную нулю, но очень верно поставленную; только она — неразрешенное уравнение. Требуется вывести относительную величину искомого.

Это искомое, это разрешение в понятие земской земли, раз определившись, охватит умы фанатическим верованием. К этому влечет все...

Но вопрос доктринаризма и нигилизма мы оставим до другого раза.

РАСЧИСТКА НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ

(СТАТЬЯ ВТОРАЯ)

КОНСТИТУЦИЯ И ЗЕМСКИЙ СОБОР

... il me semble impossible de ne pas accepter l'idée qui fait l'esprit de tout votre livre, savoir, que le fonctionarisme est le veritable fléau de la Russie et qu'une réforme quelconque ne peut réussir qu'autant qu'elle émancipe les personnes et les choses de ce joug insupportable et fasse décider des intérêts tant communs que particuliers par les intéressés. Ceci est, dans ma conviction, plus important que le système représentatif même le mieux ordonné; bien qu'en Russie les deux choses paraissent devoir aller pair à pair et être nécessaires l'une à l'autre.

J. Stuart Mill
(lettre particulière) *[7].

«Конституция может быть дана; но Земский собор должен быть взят». Мы должны достигнуть до Земского собора, какая бы ни была дана конституция.

Конституция может быть дана сословная. Она может быть дана как готовый устав, которому приказано повиноваться.

---

* ...«Мне кажется, что нельзя не согласиться с основной мыслью вашей книги, т. е. с тем, что чиновничество составляет действительную язву России и что всякое преобразование останется безуспешным, если не освободит из-под его несносного ига людей и вещи и не отдаст равно общие и частные интересы на решение самих заинтересованных. По моему убеждению, это гораздо важнее самого благоустроенного представительства, хотя в России, кажется, что и то и другое (представительство и самоуправление) должны итти рука об руку и друг для друга необходимы».

Дж. Стюарт Милль
(из частного письма).

Земский собор, как съезд выборных от всего земства, необходимо основан на бессословности выборов и собирается не для исполнения данного приказанного устава, а для устройства земли русской по потребностям земства, для узаконения прав владения, выборной администрации и суда, областного распределения и *учреждения формы правительства.*

Попробуем разобрать этот вопрос отчетливо.

I

Слово «конституция» употребляется так различно, что смысл его чуть ли не меняется глядя по человеку, который его произносит. От этого иные говорят, что для России необходима конституция; другие говорят, что России вовсе не нужна конституция, и сбивчивость понятий то о конституции, то о России держит общественное мнение в хаосе, который мешает людям понять и свои цели и свои средства.

Само по себе слово «конституция» выражает *состав* чего бы то ни было. Таким образом, говорится о *конституции* человеческого тела — крепкой или слабой. Говорится о *конституционной* болезни, когда она въелась в кровь и плоть, перешла в *состав* организма. Я потому обращаю внимание на первоначальное значение слова «конституция» в смысле *состава,* что оно раз было очень удачно применено к общественному устройству, и именно в Англии. Английская конституция в самом деле представляет тот *состав,* в который Англия выработалась всей своей исторической жизнью, так что писанный *устав,* писанная конституция не есть что-нибудь особо придуманное, а служит действительным выражением всего общественного *состава.* Представительство всех представимых элементов Англии стало во главе управления. Королевский совет, начавшийся на совершенно феодальных основаниях, разрастался в *парламент* (слово, которое взошло в употребление уже с XIII столетия). Главные бароны (barones majores) с самой великой хартии короля Иоанна (XIII столетия) отличались от меньших баронов (barones minores) родом поземельной собственности и формой приглашения на заседание в парламенте. К меньшим баронам присоединились все городские и посадские представители

(burgesses), и число их все увеличивалось. Созывание парламентов становилось для королей все более и более обязательным. Парламентаризм рос рука об руку с ростом обычного права, упрочением неприкосновенности лица, независимостью судебных учреждений, а также и с упрочением феодальной наследственности за старшим сыном и неотъемлемости личной собственности, законно приобретенной (движимой, заработанной). Таким образом, в Англии выработались два представимых элемента: собственность феодальная, поземельная, неотчуждаемая, и собственность приобретенная. Первое обусловило существование особой, верхней палаты парламента, палаты лордов; второе обусловило существование низшей палаты (house of commons *), палаты людей, имеющих всякого рода свободно отчуждаемую собственность, следственно, людей, выбираемых в представители теми, которых собственность не ниже установившегося ценза. Неприкосновенность лица, иначе как по суду, давно была делом по закону упроченным, и его представлять в парламенте было нечего: оно подразумевалось равно для всех. Поэтому конституционный устав Англии, выражающий весь ее общественный состав, признает за представимый элемент всякую личную собственность до известного minimum'а, ниже которого остается свободная личность, не имеющая повода быть представимой, за неимением достаточной собственности. Два рода собственности составили два сословия и, следственно, два сословных элемента представительства — собственность неотчуждаемая и собственность перепродажная **. Королевская власть, уступая парламентаризму, свелась на роль центральной управы королевства, исполнительной власти, подчиненной парламенту.

---

* Палата общин (англ.).— *Ред.*

** Заметим (это для нас впоследствии чрезвычайно важно), что различие способов отчуждаемости землевладения, перепродажного тенендства (найма земли) и фермерства (арендаторства), не послужило в Англии ни к какому сословному различию, ни к какому построению особого сословия землевладельцев, которое бы давало право на особое представительство, особую представительную палату. Различие осталось весьма резко: поземельная собственность неотчуждаемая стала в особое представительство. Все остальные роды собственности охватились в один общий избирательный ценз. Заметим еще, что феодальная поземельная собственность удержива-

Таким образом, выросла из состава целой исторической жизни конституция олигархо-буржуазной республики с монархическими формами.

На континенте конституции были только подражанием английской. Представимость народных элементов была выдумка правительствами по английскому оригиналу, а жизнь под него не подходила. И основные населения, и завоеванные наплывы носили иной физиологический чекан, и обстоятельства складывались иначе. Народы шли иными путями. Обычное право нигде не вырабатывалось довольно сильно, чтобы не уступить правительственному законодательству. Самоуправление местное или вдруг подчинялось стремлению к административной централизации, или не имело потребности выйти из-под нее и ограничивалось мелкими, домашними интересами.

Франция только с небольшим тридцать лет вынесла английские конституционные формы. До революции феодализм давно уже терял почву; аристократия сохраняла призрак власти, но земли переходили в собственность простых покупщиков. Интерес феодальной собственности улетучивался в интерес сословия, опиравшегося на остатках традиционных злоупотреблений. В сущности, была административная централизация старой монархии, и только. Провинциальные парламенты, с трудом отстаивая провинциальные права против монархии, не имели силы отстоять их против религиозной идеи административной централизации национальной, против религии национального единства. Франция перешла от провинциального

лась в Англии, конечно, в ущерб экономическому развитию страны и ее неловкость с каждым днем более и более чувствуется в экономическом мире. Она составляет препятствие к движению поземельных ценностей; она не имеет явного кредита, ни выражающих ее кредитных бумаг в обращении, не имеет представляющих ее ценностей на рынках королевства. Займы под залоги (в частные руки) составляют такие семейные тайны, в мрак которых не проникало никакое статистическое исследование; их цифра и значение в общем обращении ценностей неизвестны. Отсюда поземельная ценность лишена живой текучести и представляет если не мертвый, то какой-то окаменелый капитал. При этом случае не могу не вспомнить, как безумно наше правительство лишило поземельную ценность ее выражения и, следственно, ее обращаемости в экономическом мире, когда уничтожило банковые учреждения, пускавшие поземельные ценности в обращение посредством обмена вкладов и залогов.

представительства к представительству штатов (сословий), потом к общему бессословному представительству, работавшему для создания нового административного единства. Из монархической централизации Франция, посредством революции, перешла к централизации философской во имя прав человека вообще. Между тем представимость общих отвлеченных идей, а не действительных экономических интересов и интересов местного самоуправления оказалась невозможностью. Философская административная централизация убила представительство и перешла в централизацию императорскую, ставшую во главе страны, разделенной ею на административные департаменты. Конституции, введенные после императорства, определяли представимость административно, по департаментам, числу душ и цензу. Из каких внутренних, исторических данных вышла, например, хотя бы конституция тридцатого года? Что̀ обусловливало ценз в 200 франков подати? Что значила камера пэров, назначаемая из королевских чиновников? Представляла ли она интерес неотчуждаемой поземельной собственности? Нет! Была ли она проверочной комиссией законодательного собрания, как американский сенат? Нет! Она представляла некоторую лишнюю гарантию в пользу королевской власти. Представительство палаты депутатов было определено произвольно. Действительных конституционных элементов, действительных представимых интересов, выходящих из общественного состава, не выразилось в конституционной Франции. Отсюда новая революция, новое бессословное представительство общих отвлеченных идей и новая императорская централизация.

В других странах подражание английским конституционным формам дошло до еще беднейших результатов. В Пруссии результат достиг до жалкого и смешного. Сама Италия не может успокоиться с пьемонтским конституционным единством, и — после достижения полной независимости от иностранных владычеств — едва ли эта форма окажется возможной в стране отдельных городских центров, всегда имеющих стремление к самобытной жизни.

Английские конституционные формы, пересаженные на континент, не привились *. Представимые элементы

* Маленькие государства, как Голландия и Бельгия, удержали и, вероятно, еще долго удержат английскую конституционную

сложились иначе, не уживаются с ними и ищут своего исхода. От этого на континенте никогда под «конституцией» не понимали устава, выросшего из общественной жизни, выработанного общественным составом, а понимали устав, сочиненный и предложенный правительствами, по примеру английской конституции, с большим или меньшим ограничением монархической власти, с произвольным определением избирательства и неопределенностью представимых элементов. Отсюда в обыденном употреблении слова под «конституцией» разумеется писаная грамота, ограничивающая каким бы то ни было способом монархическую власть, и под конституционным правлением — правление монархическое ограниченное.

В этом смысле слово «конституция» принялось в России. От этого уже начались являться, а вскоре явится и огромное число сочинителей проектов «конституций», и от этого у многих является неопределенное отвращение от «конституций», отвращение, при котором подчас забывается, что какое название ни употребляй, а с уничтожением деспотизма необходимо начинается *правление представительное.*

Само правительство, не удовлетворясь или видя, что никто не удовлетворится проектом о губернских управах, говорят, решилось поступить в число сочинителей проекта конституции и поручило это сочинение самому скромному из Корфов, вероятно потому, что он написал биографию Сперанского.

Но мы из этого, равно как и из всех толков и из самих обстоятельств, можем заключить одно, что становится с каждым днем очевиднее: самодержавие дольше держаться не может.

Это вывод отрицательный. Положительный вопрос сводится на следующее: способна ли Россия к представительному правлению и какие элементы в ней представимы?

форму и потому, что эта форма ближе к их внутреннему развитию, и потому, что их объем облегчает возможность ужиться со всяким компромиссом. Швеция, сколько нам кажется, имеет свои совершенно оригинальные элементы представительства и потому свою совершенно оригинальную конституцию, которая потому именно и способна идти в рост, что она не результат абстрактного подражания, а результат действительного состава народной жизни.

II

Россия способна к представительному правлению; это доказывается уже и тем, что *самодержавие дольше держаться не может*, а другого выхода нет, как представительное правление. Другого выхода в России, как и в целом человечестве, не придумаешь. Если страна не управляется деспотически, то она управляется своими выборными людьми, как ни называйся при этом устав о форме правления — конституция, хартия, грамота; как ни называйся собрание выборных людей — дума, собор, парламент, палата, камера; как ни называйся исполнительная (распорядительная) власть — царь, король, герцог, президент республики, император или старшина *. Если самодержавие обессиливает, если оно не может сладить с своим положением, то по мере его обессиления в обществе растут стремления к управлению выборному, представительному.

Доктринаризм (продажный или юродствующий) находит другого рода выход, который в самом себе носит противуречие и потому не есть выход: это — постепенное преобразование посредством правительственных мер. Обессиливающее самодержавие должно провести ряд преобразований. Оно должно приняться за них, потому что оно обессилело. Николай Павлович, последний представитель непадающего самодержавия, не хотел за них

---

* В «Основных положениях нового судоустройства» правительство старалось провести смутное, казуистическое различие между властью распорядительной (pouvoir administratif) и властью исполнительной (pouvoir exécutif), придавая значение распорядительной власти — правительству, а исполнительной — губернским властям. Тут кроется у самого правительства какой-то стыд перед тем, что оно самодержавное, т. е. деспотическое, т. е. разом законодательная и исполнительная власть, и потому ему хотелось подвести себя под особую графу распорядительной власти. В смысле правления представительного собрание представителей составляет власть законодательную, относительно которой правительство — власть исполнительная (exécutif), т. е. власть, исполняющая решения законодательного собрания; а так как это исполнение заключается в ряде соответственных распоряжений, то исполнительная власть есть вместе власть распорядительная, административная, совсем противоположно мнению правительственного проекта, которое распорядительную власть бессознательно приравнивает не исполнительной, а законодательной власти.

приниматься. Но как же правительство будет проводить их, если оно обессилело? Или оно не обессилело — ну тогда оно и не захочет проводить их. Но оно захотело, следственно, оно обессилело. Оно не хотело преобразовывать... Но какая же цель этих преобразований и какие средства?

Цель... да мало ли целей!.. Уничтожение крепостного права, гласность и независимость суда, выборное хозяйственное управление губерний... Далее цель теряется во мраке неопределенности.

Средства — введение правительством сочиненных законов посредством военно-канцелярской силы.

Цель недосказана, а средства в противуречии не только с недосказанной целью, но и с каждым отдельным проектом.

Освобождение крестьян, сочиненное чиновничеством и вводимое чиновничеством при пособии военной силы, не могло удовлетворить ни освобождаемых крестьян, ни освобождающих чиновников. Вводя свободу, чиновники шли против собственных интересов, и потому это введение свободы имело весь характер полицейского распоряжения и требовало военной силы для предотвращения неминуемого последствия полицейского свободного введения, т. е. того последствия, что крестьяне остались в полном убеждении, что данная им воля не настоящая и что настоящая воля придет после. Чиновничество с военной силой не убили этого убеждения, а только на время заставили людей притаиться. Правительство оказалось не в силах ни в самом деле освободить, ни убить веры в иное освобождение. Мы заметим покамест (и это для нашего вопроса чрезвычайно важно), что правительство не решилось приступить к освобождению крестьян *без земли* и, с грехом больше чем пополам, но все же признало за ними некоторое право на землю.

Гласность суда и его независимость (скрываемая под другими названиями и пока еще существующая только в проекте) будет приводима в исполнение также чиновничеством, и самый проект составлен с целью наивозможного ограждения чиновничества и полицейских распоряжений от гласности и независимости суда. Проект носит сам в себе противоречие. Независимость суда в нем не достигнута; приведение проекта в исполнение будет в руках

людей, которых весь интерес в подчинении суда распорядительной власти. В общем сознании останется только убеждение, что действительная организация независимого суда еще впереди.

Выборное хозяйственное управление губерний, под наблюдением и началом распорядительной власти, поставит в недоумение и местную распорядительную власть и выборную управу; границы между ними не могут быть ясно определены; захват наибольшей власти будет целью обеих сторон или выборы, совершаемые под наблюдением распорядительной власти, вследствие этого наблюдения принесут с собой только новый вид чиновничества. В обоих случаях (т. е. будет ли существовать неразрешимая распря между управою и казенной властью, или управы превратятся в чиновничество) в общем сознании останется неудовлетворенность реформой и потребность на иную выборность и иное представительство. Мысль о необходимости представительного правления станет расти, как богатырь, не по дням, а по часам.

Что же сказать о реформах, которые сами по себе никого не удовлетворяют и в исполнение приводятся средствами, противоречащими всякой реформе?

Да только то, что такие реформы невозможны.

Сильное самодержавие никакой освободительной реформы создать *не захочет,* а бессильное самодержавие никакой освободительной реформы создать *не может.* Надо сознаться, что в обоих случаях самодержавное правление — самое уродливое.

Да и в конце концов всех неудачных постепенных реформ цель их — пока теряющаяся во мраке неопределенности — все же представительное правление, которое все эти реформы преобразует сызнова.

Следственно, от представительного правления мы не уйдем, потому что кроме него нет действительного выхода; а попытки преобразования руками бессильного самодержавия не нужны, потому что несбыточны. Оно должно отречься от своего существования или пасть под натиском общественных сил.

В обоих случаях на место самодержавия явится правление представительное.

III

Но кроме этой внешней неизбежности замещения разрушающихся форм другими формами, Россия имеет свои элементы представимости, которых внутренняя потребность взойти в действительную жизнь постоянно растет.

Какие же элементы представимы в России?

Вообще представимы могут быть не люди поголовно, а интересы известных групп *. Таким образом, могут быть интересы сословные, интересы церковные, городские, сельские, племенные, местные, областные и т. д. Все они сводятся на интересы материальные, экономические и интересы общественного устройства заинтересованных групп **.

Рассмотрим же, какие интересы не могут быть представимы в России, чтоб ясно вывести те, которые представимы.

Представимы ли в России интересы сословные?

Дворянство, духовенство, купечество, мещанство, крестьянство, однодворчество, войсковое сословие (казачество)... пожалуй, еще ученое сословие...

Дворянство оттеняется на два оттенка: родовое и чином приобретенное. Провести между ними черту нет никакой возможности. Дворянские права вчерашнего

---

* Может, на этом основана постоянная неудача избирательств законодательных собраний и центральных правителей посредством прямой поголовной подачи голосов (suffrage universel). Смысл представимости теряется. Внешнее juxta positio, пересчитывание разнородных единиц, не дает живого выражения общественных сил,— а только формализм народного участия в управлении, формализм, ничем не осмысленный, лишенный содержания. Живое содержание может являться только в группе людей, соединенных в одну групповую потребность, в групповой интерес, который представляет известную, самобытную силу в общем государственном составе.

** Таким образом, интересы церковные могут быть представимы не в смысле религии, а в смысле устройства и прав духовенства, содержания церквей и пр. Интересы научные представимы не в смысле теории, а в смысле организации высших и низших школ, содержания учителей и пр. Теория — будь она религиозная или научная — остается свободна от всякого управления и потому не представима. Но всякое управление посредством выборных людей, а не посредством полицейского насилия, предполагает признание полной свободы теории, равно религиозной или научной, полной свободы веры и убеждения, без чего никакой групповой интерес не в силах выразиться свободно. Подчинение человеческой совести какой бы то ни было внешней власти прямо противуположно смыслу представительного правления.

статского советника совершенно равны правам самого наичистейшего (если такой найдется) потомка Рюрика и Гедемина. Если бы еще родовое дворянство не служило, его можно бы принять за самобытное сословие. Но оно постоянно служит. Значение дворянина в государстве оценивается не по старинности его рода и особенности его прав, даже не по объему его родового имущества, а по чину и по месту, занимаемому на службе. Неслужащее родовое дворянство или бедное родовое дворянство в маленьких чинах совершенно равняется личному дворянству, т. е. мелкому чиновничеству из разночинцев: передать в потомство родовое наследие ему нельзя, потому что нечего или почти нечего; а права его состоят в ограждении от побой по закону, т. е. равняются правам станционного смотрителя или вообще человека, облагороженного 14-м классом. Богатый дворянин, который не на службе, или никогда не был на службе,— такое исключение, которое теряется до незаметности. Отсюда маленькое дворянство (личное и бедное) ценится по чину и по месту, и, достигая такого чина,— на пути к которому достаточно навзяточнилось, чтобы купить имение,— оно вливается в родовое дворянство, которое опять уважается не по роду, а по чину и месту в казенной службе. Следственно, в этом смысле дворянство выражает интерес казенной службы, интерес чиновничества.

Спрашивается: в каком бы то ни было законодательном собрании, с целью самоуправления страны посредством выборных людей, может ли быть представим интерес казенной службы, т. е. тот интерес, для ограждения страны от которого собрались выборные люди? Очевидно, это была бы нелепость *. Эта нелепость уже являлась в России, в малом виде, на губернских дворянских собраниях. Что ни делали отдельные благородные личности, чтобы возвести их на степень сословных местных представительств,— они разрешались в выбранное чиновниками казенное чиновничество, и только. Последний факт

* По французскому закону об избирательстве (19 апреля 1831 г.) большая часть служащих в правительственной службе не могли быть избираемы в депутаты (ст. 64). Английский закон еще более ограничивает избираемость лиц, состоящих на службе, и исключает из числа *избирателей* людей, служащих в полиции.

достаточно доказывает, что русское дворянство не больше, как сословие чиновничества — и в этом смысле оно не представимо, или его сословное представительство привело бы снова к казенной власти, что совершенно противуположно задаче представительного правления, т. е. задаче самоуправления страны посредством избираемого законодательного собрания.

Но, может у дворянства есть другой представимый, сословный интерес?.. Если он и есть, то, чтоб иметь право на его представимость, дворянство прежде всего должно перестать служить, перестать быть чиновничеством, должно стать вне всякого интереса казенного управления страною. Какой же у него другой сословный интерес и какая возможность выйти из чиновничества?

Другой представимый, сословный интерес была бы поземельная собственность. Но тут уже надо заметить, что с прекращением крепостного права, при отчуждаемости родовой собственности (равно свободной продажей и продажей за долги), интерес сословия исчезает. Поземельным собственником является каждый, какого бы он сословия ни был: дворянин, купец, поп, казак, учитель, мещанин, великий князь или N.N. Может ли из этого составиться сословный интерес?

Положимте, на минуту, что может. Но он еще не составлен, потому что такого сословия еще не существует, и потому *теперь* он не представим. Как составится это сословие — это еще вопрос. Кто решит этот вопрос: петербургское самодержавие или представительное правительство? Если (как требует здравый смысл) предоставить составление устава частного землевладения и на нем основанного сословия представительному правительству, то нельзя выдумать никакого особого от народа сословия землевладельцев и их особого сословного интереса, прежде чем дело решено представительным правительством; а это требует предварительно представительства бессословного.

В настоящем положении вещей под частной поземельной собственностью разумеется та доля мирских земель (розданных царями и императорами своим служилым людям за разные послуги в пользу самодержавия), которая при настоящем преобразовании крепостного права не возвращена в мир, а оставлена за дворянством. Следственно,

теперь интерес частного землевладения — все еще интерес сословного чиновничества, которое не может отделиться от интереса казенной службы, а этот интерес прямо противоположен всякому представительному правлению, потому что его представительство немедленно сливается с казенным управлением.

Какой же выход для дворянства? Перестать служить? Но оно теперь это сделает меньше чем когда-либо, потому что перестать служить теперь — значит перейти в землевладеющие разночинцы и перестать быть сословием власти. Теперь, больше чем когда-либо, дворянство связано с чином; теперь, помимо чина, уже нет и тени достаточной причины для его существования.

Но предположимте, что оно предпочтет свою человеческую свободу и самостоятельность выборного управления чиновничьей власти и смешному названию дворянина (двора его императорского величества человека) и останется только землевладельцем. Какое же это будет сословие землевладельцев?

При огромных долгах, лежащих на дворянских имениях, только небольшое меньшинство дворянства выдержит настоящее положение безденежья; большинство продаст земли; каждый дворянский надел целиком или долею перейдет в руки разночинцев. Кто такое покупщик и что станется с продавцом? Покупщик — купец, мещанин, крестьянин или община. Купец и мещанин — люди городские, крестьянин — человек мирской; община — мир, сельская собирательная единица. Городской человек, купивши помещичью землю, нисколько не перестанет принадлежать к городскому сословию и не составит члена особого землевладельческого сословия, точно так же, как когда он за городом покупает фабрику, он просто останется городским человеком, купившим землю вне города. Крестьянин, купивший землю вне своего села, не перестанет быть крестьянином, мирским человеком. Община, купившая помещичью землю, превратит ее в землю мирскую. А продавец-помещик, продавший землю, припишется всего вероятнее к городу, очень редко к волости. Никуда не принадлежать потому невозможно, что — где бы человек ни основался — он невольно принимает участие в общественных делах округа вследствие общих нужд, общих налогов, общего устройства, вследствие физиологической

необходимости стадной жизни *. Следственно, сословия остаются сельское и городское, а особого землевладельческого сословия не выкроишь. Меньшинство теперешних владельцев, которое удержало бы дворянские наделы непроданными, не будет в силах составить особого сословия и в общественных делах вынуждено будет участвовать или с волостью, или с городом. Продажей ли, или наймом передается землевладение,— покупщик или наемщик, относительно выбора членов местного управления или членов общего представительного, законодательного собрания, могут участвовать только с округом, а никак не отдельным сословием. Иначе мы где-нибудь в Архангельской губернии найдем десяток частных землевладельцев и будем вынуждены признать их за сословие. Оно на первый взгляд смешно по их малочислию, а в сущности оно смешно потому, что ложно в самом принципе **.

Отсюда естественный вывод:

1) Дворянство, как чиновничество, непредставимо, потому что оно представляло бы интерес казенного управления, прямо противоположный интересу представительного управления, что нелепо. А выходя из чина, оно перестает быть дворянством и, следственно, как сословие, опять непредставимо.

---

* Свобода передвижения, рода занятий (точно так же, как свобода вероисповедания) нисколько не устраняет принадлежность человека к данному местному обществу; можно свободно переходить из одного общества в другое, можно жить вдали от своего общества; но не участвовать в нуждах общества долею дохода с своего местного владения, не быть членом никакой круговой поруки общественных интересов — немыслимо, как скоро признано право на какое-нибудь владение и участие в делах общества. Особнячная личность вообразима только в качестве совершенного пролетария, ничего не производящего или живущего в пустыне; но это была бы личность из мира фантазии. Бесконечная свобода лица, вне условий общественной жизни, переходит в уродливый призрак. Вся задача в уравновешивании личной свободы и общественных требований от человека. В стране, невольно слагающейся в признание права каждого на поземельный пай, отрешенность от участия в общественной круговой поруке и непринадлежность ни к какому местному обществу — невозможна.

** Английское фермерство (которое отчасти подходило бы к будущему предполагаемому сословию) не подает голосов по сословию, а только нераздельно с своим приходом (коммуной, частью города), в меже которого ферма находится; оно подчинено только общим условиям ценза и особого сословия не составляет.

2) Интерес частного поземельного владения не может создать интереса особого сословия. Теперь он не представим потому, что такого сословия нет; в будущем он не представим потому, что такого сословия быть не может.

3) Остаются представимые интересы сельские и городские.

4) Если дворянство предпочитает представительное управление казенному, то ему нет другого выхода, как принять участие в выборах представителей не в качестве особого сословия, а подавая голоса или с городами, или с волостями, наравне со всеми.

Если главный сословный интерес, заявляющий свои притязания, несостоятелен, то другие сословные интересы еще менее возможны.

Интерес духовенства — интерес прихожан. Около половины русского населения — старообрядцы, и интересы их духовенства не совпадают с интересами духовенства господствующей церкви; но те и другие совпадают с интересами их приходов. Вдобавок, белое духовенство всех сословий (где только есть духовенство) не может не найти больше выгод пользоваться всеми гражданскими правами наравне со своими прихожанами, чем стоять отдельным сословием (в смысле гражданских прав и общественного устройства разумеется) и пользоваться меньшими правами, лишь бы сохранить сословную отдельность. Духовенство — это род занятий, а не особое гражданское учреждение. Особое представительство духовенства противно самим выгодам духовенства.

Интересы купечества и мещанства сливаются в общий интерес города. Купечество и слишком малочисленно и слишком переходчиво (вариабельно) из одного состояния в другое, чтоб составить сословие, способное на отдельное представительство. Да едва ли города захотят избирать отдельными сословиями, уже и потому, чтоб не дать домовладеющему дворянству права отдельного представительства. Представимым остается только город бессословно *.

* Едва ли нужно упоминать о невозможности особого сословного представительства ученого сословия; тут также различия не в сословии, а в роде занятий. В России же ученое сословие до сих пор нераздельно от казенного чиновничества, начиная от фельдшера и уездного лекаря до профессора Бабста, доказывающего сочинением верноподданнических адресов нераздельность ученого сословия от казенных интересов.

Интересы крестьянства не могут иметь внутри себя отдельных сословных интересов. Здесь один интерес, сельский или волостной. Различия, которые мы здесь встретим, могут быть только местные или племенные. Сюда относятся различия сел, владеющих землею передельно (великорусское племя), и сел, владеющих землею в разделе, подворно, но без права отчуждения земельного участка в сторонние руки, вон из мирской межи (южнорусское племя, однодворцы, казачество).

Без сомнения, все элементы племенные, местные, особые по историческому обычаю или по различию географических условий, составляют отдельные группы, в общей связи друг с другом, и необходимо придут к представительству интересов каждой группы на общем представительном собрании.

Таким образом, мы, естественно, приходим к заключению, что в России представимы волостные, городские, племенные и местные, или областные, интересы только *бессословно.*

IV

Мы долго медлили окончанием этой статьи. Столько было слухов о каких-то конституциях, что мы приостановились, чтобы иметь право сказать наше мнение post factum *. Теперь конституционные поползновения Александра II разразились, наконец, в финляндскую конституцию **. Гора родила мышь. Подновив конституцию Густава III, Александр II дал Финляндии следующие права, которые никогда не удовлетворят ее:

1) Правительство может делать займы только в чрезвычайных обстоятельствах.

Чрезвычайные обстоятельства отыскать не трудно: все, начиная от Крымской войны и до польского восстания,— все может служить чрезвычайным обстоятельством, обременяющим долгами Финляндию, которой до этого чрезвычайного обстоятельства никакого дела нет.

---

* После совершившегося факта (лат.).— *Ред.*

** Мы сейчас получили статью «Голос из Финляндии» и очень жалеем, что не успели поместить ее в этом же листе «Колокола». Она будет помещена в следующем листе, который выйдет 15 ноября. [1863.]

2) Право созвания камер принадлежит только государю.

Следовательно, Финляндия не может не только собирать своего сейма в определенные ежегодные сроки, но даже и тогда, когда народонаселение считало бы созвание сейма необходимостью.

3) Предложение вопросов или законов, идущих на рассмотрение камер, принадлежит государю.

Вследствие этого петербургское правительство забросало финляндский сейм огромным числом предложений; но едва ли это удовлетворит потребность представителей финляндского народа в *собственной инициативе,* которой первое стремление — упрочить заседание камер в определенные законом сроки, а не по произволу государя.

4) Журналам запрещено печатать прения камер, а только их приговоры за секретарской скрепою.

Следственно, эта конституция не содержит даже первого условия жизни всякого представительного собрания, т. е. *гласности прений,* гласности, которая без права *печатать* прения равна нулю.

Вследствие этого случилось вот какое обстоятельство: журналисты хотели свидания с государем, чтобы лично заявить ему протест против такого положения, и, собравшись, просили графа Армфельдта доложить государю о их желании его видеть. Граф Армфельдт отвечал им, что государь теперь обедает и что разве после обеда около такого-то времени ему будет доложено. Дело было перед самым отъездом государя. Государь уехал часом раньше. Журналисты послали ему свой протест по почте. Ответа еще не было.

Итак, вот эта знаменитая конституция, задуманная на удивление Европы, но которая русскому люду слишком ясно доказывает, что все делается только для виду и что в сущности государь никакой конституции России дать не хочет; а если обстоятельства и вынудят его прибегнуть к конституционному исходу из затруднительного положения, то его конституция будет одним из тех призраков, который мелькает на короткое время, чтобы указать на необходимость Земского собора.

Финляндия своим призраком конституции, без сомнения, обязана польскому восстанию. Без него не было бы и этой попытки. Лицемерно показать Европе, что мы-де

вот готовы на всякие уступки, лишь бы не было слишком крепких заявлений со стороны народонаселений, и притом сделать как можно меньше уступок — вот и все, что лежало в намерениях петербургского правительства. Намерения эти сосредоточились на Финляндии, потому что народонаселение малочисленное, на русское общество мало имеет влияния — не то, что Польша,— и, стало, тут полиберальничать не опасно и удобно.

Но лицемерие петербургского правительства ошибется. Оно встретит в Финляндии народ не многочисленный, но стойкий, народ, который никакого самоунижения перед властью не оказал, а далее будет только заявлять свои действительные требования.

Казенная литература старается представить его соподчиненность России, или, лучше сказать, петербургскому правительству, потому что для действительной России соподчиненность Финляндии совершенно равнодушна. По своему географическому положению и своей внутренней истории Финляндия не может играть роли ни шведской, ни русской провинции, хотя она с Швецией связана преданиями, а с Россией каким-то невольным полувоенным, полудипломатическим захватом. Финляндия, как она ни мала, по особенности своего племени, предназначена играть роль самобытной народности, служащей мирным узлом, мирным путем между скандинавским и русско-славянским областным союзом (федерацией). Обстоятельства ведут ее в это ее естественное русло, что бы ни делало наперекор петербургское правительство.

Но на сию минуту Финляндия служит укором русскому дворянству, показывая ему, что и без самоунижения можно достигнуть кое-каких прав, что, напротив того, с самоунижением до них никогда не достигнешь. Впрочем, это указание не вразумит большинства русского дворянства; оно гораздо прямее вразумит русский народ, что он от этого большинства ничего хорошего ждать не может, что это большинство никогда не потребует никаких иных прав, кроме прав грабить Польшу, с одной стороны, и свой собственный народ — с другой. За это для кармана выгодное право оно добровольно откажется от всяких политических прав и пойдет в петербургское холопство.

Поэтому-то Россия никогда и не помирится с какой-нибудь дарованной конституцией. Если в Финляндии в

продолжение веков, подобно как и в Швеции, установились четыре сословия, существующих рядом почти безобидно друг для друга и требующих каждое своего отдельного представительства, то в России таких сословий нет. Есть сословие дворянского чиновничества, обижающее, и есть народ обиженный. Никакая сословная конституция — а дарованная конституция не может быть иною потому, что она будет вертеться около преимущества управляющих, а не управляемых,— никакая сословная конституция не удовлетворит русского народа. И не конституция, дарованная государем по петербургскому регламенту, удовлетворит его, а конституция, обдуманная и утвержденная бессословным Земским собором, конституция, вытекающая из условий жизни всех русских областей, выражающая действительный *состав* всего нашего народа и всех различных племен его,— только такая конституция удовлетворит его. Удержится ли при этом петербургская династия и в Петербурге сосредоточенное правительство — это совершенно равнодушно. Мы с своей стороны можем только сказать, что не видим никакого географического условия, чтоб Петербург мог остаться русским центром, а полуторавековая история его не пустила никаких иных корней в русском народе, кроме постоянного старания, как бы поло̀вче избегнуть петербургских преследований за веру, за мысль и ускользнуть от грабежа широко раскинутой сети онемеченного дворянства, составляющего правительственное чиновничество.

V

Ни Земский собор, ни конституция в России не новость. Хоть Московское царство и петербургское императорство оттерли и то и другое на задний план, забили и то и другое военно-чиновничьей силой,— но и то и другое, или, лучше сказать,— устав самоуправления, выходящий из состава народной жизни, конституция, созданная Земским собором, хранятся внутри русского человека, в мысли русского народа и необходимо идут к осуществлению. Мысль, лежащая в целом складе народном, не может не найти себе исхода; она все же сильнее всякого царства и всякого императорства.

Михаил Федорович Романов был избран Земским собором на конституционных условиях. Прежде всего приведем в доказательство исторический документ; после мы покажем, почему эта первая конституционная попытка рухнулась. Мы берем этот документ из книги барона Штраленберга: «Историческое описание российского государства, изданное на немецком языке, в Стокгольме, в 1730 году» *. Штраленберг — шведский офицер, бывший долгое время в плену в России; он сбирал свои сведения почти от очевидцев или по крайней мере от людей, для которых предание об избрании на престол Михаила Романова было живо, как дело вчерашнего дня. Хотя Штраленберг называет вещи именами, принадлежащими петербургскому времени и ближе подходящими европейским понятиям (так, он посланцев на Земский собор постоянно называет сенаторами), но книга его, написанная просто и искренно, все же составляет драгоценную летопись русской истории XVII столетия. Вот отрывок, который мы приводим:

«Так как избрание и провозглашение нового царя были совершены в Москве, то депутация от сената (т. е. Земского собора) отправилась в Углич в сопровождении знатных бояр (seigneurs de la cour) торжественным поездом, чтобы заявить избрание молодому царю Михаилу Романову и его матери.

Эта боярыня (princesse) потребовала дозволения переговорить с посланцами от Земского собора (les sénateurs), прежде чем они предложат престол ее сыну. На это согласились, и место для переговоров было назначено в церкви. Боярыня Романова снова протестовала, и плакала, и умоляла посланцев отменить избрание ее сына, который не в силах нести такую огромную тягу. Ей растолковали, что так как дело решено, то об этом уже и говорить нечего.

Немного успокоившись, она просила посланцев принять ее сына под свое попечительство и отвечать перед богом за все ошибки, могущие произойти от его молодости

* Мы имеем под рукою французский перевод: «Description historique de l'empire russien, traduite de l'ouvrage allemande du baron de Strahlenberg, Tome I. A Amsterdam et se trouve à Paris. 1757 г.», стр. 81—83. [«Историческое описание Российской империи, переведенное с немецкого сочинения барона Штраленберга, том I. В Амстердаме и имеется в Париже. 1757 г.».- *Ред.*]

и неопытности и от того, что он никогда не был воспитан для занятия такой высокой должности.

Посланцы были так тронуты ее речью, что поклялись ей перед алтарем, что исполнят ее требования. Они привезли Михаила Романова (le prince) в Москву, где он вскоре был коронован царским венцом. Но перед коронацией его заставили принять и подписать следующие условия: 1) что он станет блюсти и хранить вероисповедание; 2) что он простит и забудет все, что было делано против его отца, и никакой личной вражде не даст хода; 3) что он не издаст никаких новых законов и не изменит прежних и в важных обстоятельствах ничего не станет решать сам собою, а только по существующему закону и обычному суду; 4) что он не начнет войны и не заключит мира с соседственными державами по своему произволу; и, наконец, 5) что он, дабы совершенно быть бескорыстным и во избежание всякой тяжбы с частными людьми, отдаст свои поместья родственникам или же передаст их в государственное имущество» *.

Что же это, если не опыт конституции, сообразной тогдашнему времени и созданной Земским собором, но нисколько *не дарованной* (октроированной), а поставленной условием *избранному* царю, условием, без принятия которого само избрание не состоялось бы? Заметьте, что и *условие положено* Земским собором и *царь избран* Земским собором. Кажется, из этого следовал бы спокойный и широкий рост общественной свободы; но многое ему помешало.

Московское царство уже слишком глубоко запустило в управление свою развращающую лапу. Бояре уже слишком сделались чиновниками, чтобы не продать выгод народа русского царям за право грабить народ. Вот отчего конституция и рухнулась; они столпились около царского престола, чтобы вымогать свои дворянские права в ущерб народу; а цари тоже очень ясно поняли, что самовластие сопряжено с дарованием льгот дворянству в ущерб народу. И первый опыт конституции был принесен в жертву дворянской корысти, пошатнулся уже при самом царе

* Доказательство, что в то время ярко отличалось *государственное* имущество от *государева* имущества и что наши *удельные* имущества противозаконны.

Михаиле Федоровиче и совершенно заглох при царе Алексее Михайловиче.

Дело пошло не на развитие свободного народного самоуправления, а на создание сильного государственного единства посредством насилия. Отношения к соседним державам долею вели к необходимости такого исхода; сперва имелось целью ограждение от врагов, потом целью сделалось захватить и заправление всего внутри посредством царской власти и ее чиновничества-дворянства. Люди прикреплялись к земле, земли с людьми раздавались дворянам; новое царское православие вводилось для понуждения народа к безусловному повиновению. Дикость нравов брала свое, ужасы творились. Наконец, сама Москва показалась слишком народною стихиею. Царь сделался императором, столицей сделался Петербург, дворянство онемечилось ради того, чтоб разорвать всякую братскую связь с народом и стать сословием, *управляющим без зазрения совести.* Петровская революция была не началом чего-то нового, а завершением московского царства, которое шло к разрыву с народом и во имя исключительного самовластия, вооруженного чиновничеством, и только в Петербурге окончательно достигло своей корыстной цели.

С петровской революцией внесено и много хороших элементов — науки, искусства, новая фабричная промышленность... Но не пришло ли бы все это и без петровской революции, без всякого ущерба для народной свободы? Это еще вопрос; но вопрос, который остается праздным, потому что петровская революция — факт, и нам остается только брать в расчет условия жизни, из него вытекшие.

Но вопрос является гораздо сложнее, если мы спросим себя: какое же коренное изменение в народе сделал царско-императорский переворот?

Мы не станем входить в подробности — легко или трудно поддавался народ этому перевороту, сколько он противился, сколько он бунтовал, сколько жертв было принесено водворению немецко-канцелярского порядка и православно-канцелярской церкви; мы не станем говорить о Стеньке Разине и о Пугачеве; но мы спрашиваем: каким образом сохранилось старообрядчество? каким образом сохранился народный обычай так, что сам Николай Павлович (исказивши, конечно, и подчинивши все дело

чиновничеству) *узаконил* выборное начало в сельском управлении и соединение (федерацию) сел в волости?

Ведь и это тоже факт. Наука принялась, промышленность развилась, а казенное управление и даже казенная церковь остались народу чем-то глухо враждебным, против чего он тихо собирал и собирает свои могучие силы, то осторожно только *отстаивая* свой обычай, то порываясь поставить его своим жизненным вопросом, делом своей самостоятельности.

Заключение одно: до-царские, до-московские времена остались живы в народе, но *преображенные* историческим развитием. Новые элементы вошли в жизнь, но природное основание осталось.

До-царские времена являются нам в виде удельного разделения, которое составляло, несмотря на расприи, общий союз, как скоро дело шло о противостоянии внешнему врагу. Далее этого общественная мысль древнего периода не могла итти. Но у народа был самосуд и самоуправление, свобода передвижения и право на землевладение. Весь этот внутренний строй сохранился вопреки царству и императорству. Притеснения царских чиновников заставляли народ ошибочно предполагать правду у царя, который стоял во главе всей неправды; внешние враги и внутренние притеснители заставляли народ жертвовать величию государства; но внутренно он остался с теми же требованиями землевладения для каждого сельского самоуправления и самосуда и соединения их в областное и союзное (федеративное) самоуправление. *Земство* осталось основанием, внутренним смыслом русского народа.

Удельных князей давно нет; расприи уделов теперь невозможны. Но и жертвовать государственному величию областною самостоятельностью тоже день от дня невозможнее. Императорство становится так же призрачным, как и адресы, ему подаваемые и ничего не доказывающие в пользу его прочности. Польское восстание, может быть, геройски-мученически погибнет; но потребность областных самостоятельностей, которую оно возбудило, не погибнет. Не погибнет по очень простой причине: область, будь она основана на племенном различии, или на различии географически-промышленных условий, область представляет союз городов и волостей, которые в свою очередь представляют союз сел и деревень, как кто куда естественно

тянет. Это тяготение к своему естественному складу не может заглохнуть втуне. Как скоро единодержавие пришло к несостоятельности (а оно пришло к ней, как бы призрачно ни поддерживалось), нет иного исхода, как союз самостоятельных областей. Спорить между собой они не станут, как спорили удельные князья,— это настроение прошло; но не положить свою основу общественной свободы и самоуправления они не могут. Государственный строй перейдет в союзный (федеративный) и, конечно, более сильный, потому что это строй свободный. Иного исхода нет: или рабство и единодержавие, или союз самобытных областей и свобода.

Французская революция 1789 года надолго убила свободу на европейском материке уничтожением областной жизни, поглощением ее в государственном единстве. Все подчинилось будто бы свободной централизации. Централизованная республика проповедовала свободу посредством гильотины и дошла до действительной императорской централизации. С тех пор Франция стала *неспособна* к своему идеалу гражданской свободы; она во всяком случае смешивает его с полицейской пропагандой общественных понятий и рушит *дело* свободы ради *мысли* о свободе.

Русский народ теории не имеет. Он имеет свой обычай и свои местные условия. Он не станет проповедовать право человека вообще, но постоит за свою областную самостоятельность и придет к общему союзу.

Мы видим в этом залог громадного развития — не государственной казармы, а человечески-общественного строя. Но мы не станем увлекаться нашими верованиями. В настоящее время существуют казенные губернии, а областей нет.

Какой же вывод из этого?

А вот какой вывод: дарованная конституция никого не удовлетворит и приведет к Земскому собору; а так как области не разграничены, а существуют только губернии и уезды, то первый Земский собор, который будет предварительный, соберется поуездно и в своем общем собрании разграничит области и даст право существования самостоятельным, областным думам, которых выборные составят второй, обычно и законно учрежденный, постоянный союзный Земский собор из посланцев от областей.

VI

Мы сказали, что первый русский Земский собор соберется *поуездно* и *бессословно* и будет только *предварительным* Земским собором, который определит и разграничение областей и форму правления.

Из этого уже очевидно, что мы не берем на себя смешного труда что-либо предрешать или писать проект будущей конституции или — будущего Земского собора. Мы просто покоряемся обстоятельствам: данные русской жизни такие, что *иначе* ничего сложиться не может.

Во-первых, у нас есть огромная масса крестьянства, которого одно стремление — сохранить за собой землю. В этой массе города представляют ничтожность, равно по числу населения, по развитию промышленности, по образованности большинства и по сосредоточению денежных капиталов *, а помещичество представляет безденежную немощность — и только. Стало, первое, что́ потребует голос на Земском соборе,— это сельское население, это крестьянство. Противиться этому движению дворянство (а остальные городские сословия едва ли и станут противиться) может только посредством правительственной помощи, т. е. войска, расстреливающего крестьян. А ведь на это, несмотря на все события в Польше, надежда не прочна. Сами солдаты устанут. Это длиться не может. Крестьянство поймет, что *оно сила,* и, следственно, выборы на Земском соборе невольно будут *бессословные.*

Во-вторых, у нас есть, как мы уже говорили, крестьянство, владеющее землей в *переделе,* и крестьянство, владеющее землей в *разделе.* То и другое ярко отличаются по племени. Кроме этого различия, есть разнородные промыслы и обычаи, соответствующие течению рек и местной природе. Очевидно, есть потребности соединиться в известные группы — по условиям племенным или по условиям географическим. Есть потребности областные. Но так как

---

* Образованность наших городов различается от образованности сел разве только по платью и по тому, что села играют в свайку, а города — в карты. Что же касается до силы их богатства, мы ссылаемся на цифры в нашем письме к иноку («Об. Вече» № 23) и в нашей французской книжке: «Essai sur la situation russe», Chapitre V, page 65. [«Очерки положения России», глава V, стр. 65» (фр.).— *Ред.*]

официально областей нет, а есть только губернии, то нет иного исхода для выборов на Земский собор, как выборы *поуездные,* при которых значение официальных губерний *исчезает.*

Но из этого ясно, что одна из первых задач Земского собора — должна быть — разграничение областей и основание областных самоуправлений.

Поэтому первый Земский собор может быть только *предварительный;* ему предстоит определить областные думы и их союзное представительное правление для всей общей межи населений, вступающих в союз с великорусским племенем. Мы тут вовсе не увлекаемся никаким великорусским *дневным* патриотизмом, а думаем просто, что для каждой группировки нужно свое кристаллизационное ядро, без которого кристаллизация невозможна. В настоящее время от Днепра до Тихого океана другого племени нет, около которого могли бы собраться остальные племена. Но союз — не значит подчинение, а только союз. Только на самобытности каждой части может быть основана сила и свобода целого. Без этого, еще раз повторяем, мы будем осуждены на общее рабство перед единодержавием; но это единодержавие стоит так шатко, что Земский собор придет с его согласия или помимо его согласия.

От этого *с* или *помимо* зависит существование династии Романовых. Это равнодушно, лишь бы дело было.

Какой будет способ выборов *поуездно* на первый предварительный Земский собор, мы, конечно, не знаем. Мы только повторим здесь способ, предложенный крестьянином П. Мартьяновым в его письме к Александру II*:

«Каждая община (я говорю о главных выборах в Земскую думу) выбирает известное число старшин-избирателей, тех, которым народ верит, кого дома знает, кого любит. Эти старшины собираются для предварительных совещаний в волости, и потом, съезжаясь в местный областной город, избирают кандидатов в тройном количестве против представителей; возвращаются домой, сообщают народу имена кандидатов, народ поголовно избирает любого из них. Но чтобы всякий повод, всякая возможность недоразумения, недобросовестности, происков были

---

* «Колокол», Мая 8, 1862.

устранены, нужно, чтобы между теми первыми выборами кандидатов, которые были произведены старшинами-избирателями, и окончательным избранием самим народом депутатов из числа объявленных ему кандидатов, после объявления ему имен последних, было дано время и устроена была возможность областной сходки в областном городе для всего народа, кто захочет быть там. На этой сходке народ может заявить решительное неудовольствие на выбор кандидатов и заставить старшин избрать еще раз кандидатов — других, если из прежних народу ни один не нравится. На деле таких явлений переизбрания будет мало, но самое право протеста со стороны народа послужит побудительной причиной для старшин непременно руководиться в выборе кандидатов заранее известной им волей народа. Процесс прост, а между тем тут нет никакой возможности чего-нибудь подобного подкупам и тем незаконным влияниям, которые мы видим в парламентских системах других стран; он соответствует духу народа — как продукт его жизни, его понятий. Представители избираются без различия их занятий, состояния, общественного положения (кроме, разумеется, осужденных и судимых) и национальности. Для вступления в звание представителя нужно одно условие — кого народ захочет. Вознаграждение назначается из общих доходов, срок служения земскому делу от 3 до 5 лет. Заседания Земской думы постоянные, за исключением трех-четырех летних месяцев, необходимых представителям для непосредственного сношения с народом и ознакомления с его текущими насущными потребностями, с его местными, областными, бытовыми интересами, с его мнениями; для передачи ему собственных сведений, видов и убеждений, вынесенных из общего собрания представителей, и вообще для отдания отчета народу на областных сходках в своих действиях».

Иного способа выборов на Земском соборе мы предположить не можем, потому что всякий другой способ окажется несостоятельным. Это способ двойных выборов. Села (или города), весьма способные хорошо избрать местные судебные и распорядительные власти, потому что очень хорошо понимают свои местные интересы, весьма могут ошибиться в выборе людей, представляющих общие интересы края. Поэтому они поручают выбор таких людей своим местным выборным людям и их выбор проверяют.

Едва ли где был предложен более разумный способ выборов. Он для нас тем более верен, что он предложен не каким-либо научным доктринером, а простым крестьянином, который, конечно, лучше понимает смысл русского народа, чем все славянофильствующие и англофильствующие или вместе (сознательно и бессознательно) петербургофильствующие литераторы. Лишь бы правительственное (чиновничье) управление не вмешивалось,— такие свободные выборы могут дать только действительный, народным потребностям удовлетворяющий исход.

Этот способ выборов мы считаем единственно разумным; разумность его в глаза бросается. Далее мы ничего предрешать не можем. Мы можем только предположить, что этот поуездно, бессословно выбранный Земский собор не может не поставить себе задачи — установления постоянного Земского собора (или Земской думы), выбранного областными думами уже распределенных областей, в которых свобода совести, право землевладения для каждого, общинный самосуд и самоуправление получили бы прочные основания.

VII

Но нам, пожалуй, скажут: «Да что ж вы такое фантазируете? Вот дайте срок — правительство покорит Польшу и даст нам конституцию или задаст нам такое осадное положение, что мы все успокоимся без всякого Земского собора».

Вот этому-то мы и не верим. Правительство боится покончить польскую войну, потому что всякое окончание, какое бы оно ни было, его пугает.

Положим, что правительство покорило Польшу... Что ж дальше?

Положим, оно не дало никакой конституции. Разгоряченные страсти, тайные несбывшиеся надежды и общая неурядица приведут к необходимости Земского собора.

Положим, правительство дало конституцию ...подобную финляндской. Да для России тут первое не решено — это народное поземельное право; неурядица, возникающая из нерешенной и нерешительной постановки вопросов, все же приведет к необходимости Земского собора. Дарованная конституция послужит ступенькой, облегчающей шаг к Земскому собору.

Ну! А как правительство способно только, к стыду русского народа, грабить Польшу, вешать и ссылать поляков, а усмирить восстания *неспособно?*

Злодейство — еще не сила и не талант.

А ну как оно наткнется на европейскую войну?

Тогда Земский собор не то, что через долгие годы, а *немедленно* становится необходимостью.

Сделаем перечень:

1) Для того чтоб *устав* (писанная конституция) был выражением действительной жизни народной, действительного народного *состава* или *склада,* надо, чтоб устав был писан выборными от народа, представителями всех его представимых элементов.

2) Поэтому дарованная (октроированная) конституция, т. е. устав, сочиненный императорскими чиновниками, не удовлетворит потребностей русского народа. Дарованной конституцией, через которую, может быть (хотя оно и сомнительно), мы перейдем, можно и должно воспользоваться как льготой, облегчающей достижение Земского собора.

3) Только Земский собор может выразить все представительные элементы в России, потому что только он может быть избран бессословно и, следственно, будет представителем всего земства.

4) Представительные элементы в России — села и города, без различия сословия, но никак не отдельное дворянство, которое — сословие правительствующее, и, следственно, его представители были бы только представителями императорского чиновничества, нераздельного от правительства; а парламент, представляющий исключительно интересы правительства и его чиновничества, был бы только огромным политическим уродством и нелепостью.

5) Первый Земский собор может быть избран поуездно, потому что официально признанных самобытных областей у нас нет. Разграничение областей, учреждение областных дум и постоянного союзного Земского собора — дело первого, предварительно, поуездно избранного Земского собора.

6) Способ избрания может быть только двойной, т. е. земство избирает избирателей, которые из своей среды

избирают посланцев на Земский собор, представляя это избрание на проверку земству.

7) Земский собор до такой степени, исторически и по современной обстановке, в духе русского народа, что дарованная конституция будет только шаг к Земскому собору, может и замедляющий, но наиболее мирный. А продолжение войны с Польшей или европейская война поставят созвание Земского собора *неотлагаемой, немедленной необходимостью.*

8) Сохранится при этом или нет династия Романовых — это совершенно равнодушно. Одно ясно: единодержавие — значит общий гнет; союз самобытных областей — значит свобода.

В заключение скажем, что революция ради революции, т. е. бунт только для того, чтоб бунтовать, в России невозможны. Русская революция может быть только реорганизацией, т. е. мирным ли путем или бунтом пойдет Россия, но она не успокоится, пока не будут восстановлены все те элементы народного землевладения, самосуда и самоуправления, которые существуют, несмотря ни на какое задушение их, и способны к дальнейшему стройному развитию. Одна перемена правительства никого не увлечет. В России бунт невозможен иначе, как чтобы вместе с ним возникли и учредились народное землевладение, самосуд и самоуправление. Куда бы мы ни обернулись — мирно ли мы пойдем через дарованную конституцию к Земскому собору или через страшные потрясения к тому же Земскому собору — Земский собор все же единственный исход внутреннего русского движения, потому что мы только этим путем можем дойти до *устава,* выражающего народный *состав,* можем довести до представительства существующие в народе элементы и поставить их в возможность пойти в корень и в рост. Наша революция — реорганизация, или по-русски сказать: наш бунт — народное самоустройство *.

---

* О различии революции и реорганизации мы поговорим в особой статье.

РАСЧИСТКА НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

РЕВОЛЮЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Различие названий имеет большую важность. Оно вводит в круг различных понятий и определяет различные способы действий. Слово *революция* по-русски обычно переводится словом *переворот*. Реорганизацию следует перевести словом: *пересоздание*.

Переворот означает всякую резкую перемену правительственных лиц или формы правительства, откуда бы ни взялась эта перемена, какая бы ни была ее цель, даже если бы эта перемена была вовсе *бесцельна*. (Так, например, все петербургские дворцовые революции, с убийством Павла первого включительно, для России были бесцельны.)

Пересоздание (реорганизация) — значит новая постановка отношений между теми данными, теми элементами, которые существуют в самой народной жизни.

От этого переворот может быть произведен из-за отвлеченной мысли или даже из-за каприза одного сильного человека; а пересоздание есть обновление живой жизни и выражает рост самого народа. Переворот может быть произведен и сверху; пересоздание вырастает снизу и поэтому охватывает весь экономический, социальный строй народа.

Возьмем в пример две революции, два переворота: французскую революцию 1789 года и, в России, революцию Петра первого.

Французская революция имела много данных для того, чтоб стать не революцией, а реорганизацией; у нее была возможность заменить феодальный мир народным

землевладением и областным самоуправлением. Но вся общинная свобода была пожертвована понятию государственного единства и будто бы общих прав человека, и переворот сосредоточился на том, что королевско-церковное единодержавие заменилось революционно-философским единодержавием. С уничтожением областной самобытности сложилось измельчание частной поземельной собственности, неспособное создать никакого сильного, свободного земства, по самой разрозненности личных интересов, ищущих опоры не в общественном складе, а в полицейском (административном) покровительстве.

Петровская революция шла проще к уничтожению областной самобытности и народного землевладения, без всякого философского построения общих прав человека, а выставляя вперед государственное единство, основанное на самовластном единодержавии императора. Петр I не имел ясной мысли в своем перевороте. Ему хотелось какой-то силы, ему хотелось перенести в Россию то, что он видел у немцев, и для этого надо было уничтожить самобытность народа, взять его в заправление посредством канцелярий и организованного войска. Он это и сделал. Но народной реорганизации он не произвел. Он произвел, или, лучше, докончил, царями начатую революцию: превращение самобытных областей — в губернии и свободного землевладеющего народа — в крепостных людей, заправляемых чиновничеством. Но императорская революция не в силах была разрушить внутренний строй народа, способный к пересозданию.

Французская революция и петровская революция равно искусственно построены на отвлеченном понятии государственного единства. Западный мир перешел в императорскую централизацию, а русский мир привел императорство к необходимости начать реорганизацию, т. е. пересоздание всех отношений существующих элементов.

Императорство начало это пересоздание — изменением крепостного права. Начало положено, но императорство оказывается неспособным к действительному пересозданию русского мира. В императорстве слишком сильна петровская любовь к военно-канцелярскому распорядку, страсть к удержанию государственного единства в пользу единодержавия. Вести далее дело, *невольно* начатое им, оно неспособно.

Мы говорим: *невольно* начатое им, потому что нельзя же в самом деле относить изменение крепостного права только к благодушию Александра II. Начало изменения крепостного права (с искаженным и уменьшенным сохранением, но все же с сохранением народного землевладения и выборного управления) основано исключительно на том, что единодержавие с его чиновничеством гибло и гибнет само в себе, в собственной лжи и несостоятельности, и вынуждено было начать *революцию* против самого себя; но привести в *дело* реорганизацию, пересоздание отношений существующих элементов, оно бессильно.

Далее решение задачи пересоздания принадлежит самому обществу, т. е. самому народу. Выразить и узаконоположить свое понятие об этом пересоздании народ может только посредством Земского собора. Без этого русская народная жизнь не может сказаться; она может составлять предмет личной догадки или веры, но не ясное требование определенного строя.

Стало, цель остается все одна и та же: вызвать и созвать Земский собор (хотя бы бессильное для реорганизации правительство и дало какую-нибудь канцелярскую конституцию — дворянско-сословную, австрийско-чиновничью, казенно-либеральную).

Каким же путем народ дойдет до Земского собора? Крестьянство дойдет своими стачками — старообрядческими, базарными, всяческими; образованное меньшинство — соединением в правильное общество. Большинство дворянства, поддержанное правительством, конечно, будет всеми силами противиться созванию Земского собора, но противостоять этим двум элементам — образованному меньшинству, соединенному в один интерес с крестьянством,— у него не станет силы. В нем нет живой жизни и живой мысли. С отменой крепостного права улетучится его мнимое землевладение; оно не будет в состоянии удержать его за собою, потому что у него нет ни способности к труду, ни капиталов. Оно будет цепляться за правительство и сохранять петровскую организацию чиновничества ради сохранения своей сословности. Польское шляхетство умеет доблестно умирать за свою национальную независимость; большинство нашего дворянства сочувствовало и будет сочувствовать стрельбе по безоружным крестьянам и поддерживать казенщину. Правительство

в борьбе с Польшею старается (может быть, настолько через край, что производит впечатление, противоположное своей цели) возбудить крестьянство против шляхетства и мирволить старообрядчеству. Не так оно станет поступать в вопросе русской реорганизации. Оно захочет остановиться на том изменении крепостного права, какое было сочинено в Петербурге, а далее, для удержания своей казенщины, оно станет — хотя бы посредством картечи (что оно уже и делало) — поддерживать дворянство против крестьянства и обманывать старообрядчество.

Очевидно, вопрос внутренней русской реорганизации пойдет на борьбу между меньшинством образованного класса, соединяющимся с крестьянством, с одной стороны, и правительством, соединенным с большинством дворянства,— с другой. Тут мы переходим к предположению бунта (восстания) или мирного исхода. Это совершенно зависит от обстоятельств и не составляет сущности дела.

Обычно понятие революции смешивают с понятием восстания. Перевороты редко обходились без крови. Даже петровский переворот стоил казнями не меньше жизней, чем кровопролитная война. Но чтоб переворот непременно совершился путем кровавым — это вовсе не необходимое условие.

Реорганизация точно так же мало исключает возможность восстания, как и революция, и еще меньше ставит его необходимым условием своего осуществления. Дело не в восстании, а в реорганизации. Тут все зависит от дальнейшего хода обстоятельств. Упорство казенщины может привести к восстанию; быстрое ослабление ее, уступчивость и согласие на созвание Земского собора могут дать реорганизации мирный исход.

До сих пор правительство, поставив крестьянский вопрос и не распутав его, везде уступало слишком поздно — равно в Польше и в России. В России это сильно почувствуется после окончания польской борьбы, какой бы ни был ее исход. Даже дарованная конституция никого не удовлетворит и никого не успокоит. Дворянство, получая право голоса в деле управления, вместе с тем должно будет сильно ограничить свои преимущества относительно земства, чего большинство дворянства, конечно, не желает; а между тем земство все же не вступит во все свои права, во все те условия общественной

жизни, которые в нем существуют и требуют пересоздания имущественных, судебных и правительственных отношений. Склонит ли обессиленное дворянство, склонит ли обессиленное правительство голову перед Земским собором, подчиняясь необходимости, или земство вынуждено будет достигать своей цели с боя — как это знать! Мы не пророчествуем.

Очевидно только то, что в России просто революция невозможна, что русская революция может быть только реорганизацией. Будет ли восстание — оно каждый шаг свой отметит пересозданием имущественных, судебных и правительственных отношений. Мирно ли будет созван Земский собор — исход будет тот же. Просто революция, какая-нибудь дворцовая революция, могут только отдалить русскую реорганизацию и запутать ясно складывающиеся вопросы.

Мы даже не удивимся, если правительство станет вызывать отдельные бунты, чтобы победой над ними усиливать казенщину. Средство не новое: оно в конце концов бесполезно, но все же мешает стройному ходу дела.

Сближение образованного меньшинства с земством пойдет тем успешнее, чем лучше это меньшинство поймет свою задачу. Уже теперь оно начинает понимать, что дело не в том, чтоб поучать крестьян уму-разуму, а в том, чтоб собрать свои собственные силы, везде где можно, с целью так воспитать самих себя до понимания интересов земства, что сближение станет делом естественным по нераздельности интересов. Личному красноречию крестьянин не охотно верит; но живому участию крепко между собой соединенного образованного меньшинства крестьянство поверит и примет его в общую связь своего земства. Надо, чтоб эти две силы соединились, не потому, что одна сторона хочет учить другую, а потому, что они составляют однородное целое, живущее одною жизнью, и что их близость не школьная, а кровная. Может, не один год придется работать для этого сближения, которого дальнейший путь зависит от обстоятельств, а исход приведет к реорганизации поземельных, судебных и правительственных отношений не по казенному регламенту, а по народному решению на Земском соборе.

НАДГРОБНОЕ СЛОВО [1]

Друзья юноши,

Великая скорбь и великое упование нудят меня говорить с вами.

Надгробным словом хочу звать вас к усиленному труду на постройку новой жизни. Память Потебни [2] — ничем лучше не могу почтить. Он погиб ради этой новой жизни, уверенный, что его смерть послужит примером и заветом. Я не встречал юноши преданнее общему делу, больше отбросившего всякие личные интересы и такого безустального в своей постоянной работе — основать общество русских офицеров и солдат для завоевания русскому народу земли и воли. Судьба его поставила в Польше, где он и основал комитет русских офицеров *.

* Вот что А. А. Потебня писал 7 июня 1862 г. из Варшавы к А. Герцену: «М. Г. В своем воззвании к русским войскам в Польше в 54 г. вы писали: «мы скажем вам *что́* делать, когда придет час»; по нашему крайнему убеждению, этот час пришел; что можно было делать — сделано; если вы имеете верное понятие о положении дел в Польше, вы должны знать также и дух войска в Польше; мы настолько сблизились с патриотами польскими, что во всяком случае примем *прямое* участие в близком восстании Польши, но мы настолько привыкли уважать ваше имя, что хотели бы прежде знать ваше мнение по этому вопросу. Я уже писал вам раз по поручению своих товарищей; тогда я еще не знал, что пропаганда будет так легка и так успешна; теперь войско, квартирующее в Варшаве, стоит на такой ноге, что готово драться с своими, если б они вздумали итти против поляков. На свое письмо я не получил никакого

Вскоре потом он приезжал к нам. По желанию его и его друзей мы напечатали адрес офицеров к великому князю и адрес офицеров к офицерам. «Я еду,— писал он к нам на возвратном пути в Польшу,— а в ушах у меня раздается: мы, на смерть идущие, вам кланяемся!»...

Но нам еще раз суждено было увидеться.

Приехавши в Польшу, он соединил общество русских офицеров с главным обществом «Земли и Воли» в России.

А как он жил в Польше! Для того, чтоб не быть прикованным к месту, он уже давно оставил свой полк и долго скитался, являясь то тут, то там, где только требовали обстоятельства, ежеминутно подвергаясь опасности быть узнанным и расстрелянным *. Он глубоко чувствовал трудность положения русского в Польше — весь ужас драться против своих и всю необходимость отпора петербургскому гнету. Он глубоко чувствовал позор, который ляжет на имя русское, если в войске не найдется ни одного свободного голоса, ни одного свободного подвига, а только палачество да палачество... Но что же можно было делать? Собрать русский отряд, сначала пристать с ним к польскому восстанию и потом итти в Россию подымать народ за землю и волю и, вероятно, погибнуть, заявив, что нашлись солдаты и офицеры, которые не хотели быть палачами в Польше, но хотели сложить головы, чтобы кликнуть первый клич на всю Русь — о слушной поре, когда земля русская должна быть отдана бессословно вольному русскому народу.

Потебня собрал отряд...

Несчастный случай разрушил его... Но *теперь* мы не станем говорить об этом; много причин заставляют

ответа; может быть, оно не дошло до вас, может быть, вы не нашли нужным отвечать на письмо, правда, несколько дикое. Во всяком случае, от имени многих офицеров обращаюсь еще раз к вам с просьбой уведомить нас о вашем мнении о положении нашем в Польше»[3].

* «...Я только что возвратился... Я не могу вам писать теперь подробно о результате этой поездки, но вообще он оказался лучшим, нежели мы могли предполагать. События приближаются, работы слишком много у каждого, у меня в особенности; а между тем мое положение со дня на день становится труднее; за мной просто охотятся, и не знаю, долго ли можно будет скрываться от них...» (Отрывок из письма Потебни из Варшавы от 17 (5) дек. (1862)[4].

молчать. Вы это поймете, друзья юноши! Придет время — мы скажем; в летописях пропуска не останется [5].

Положение становилось невыносимо. Потебня приехал к нам, чтобы сколько-нибудь одуматься. Через несколько дней он опять поехал в Польшу, давши нам слово, во всяком случае, сохранить комитет русских офицеров и его связь с обществом «Земли и Воли».

В марте мы получили записку, писанную карандашом: «*Песочная Скала, 3 марта.* Пишу вам из лагеря Лангевича; я решился остаться здесь... Надежды сделать что-нибудь мало; попробуем. Ваш А. П.» [6].

Это была последняя записка. В одной из схваток у Песочной Скалы он был убит. Подробностей нам не пишут.

Друзья юноши. Дайте волю моей личной скорби. Я любил его как сына. Я чувствовал, что он погибнет за дело *чужое,* по многой розни в постановке общественных вопросов, но *свое,* потому что оно дело свободы; я чувствовал, что он едет на убой, а все же с мыслью, что его уже нет на свете, не могу ужиться. Знаю, что плакать некогда, а слезы душат. Гляжу на его портрет; он его прислал нам за несколько дней до битвы. Мы напечатаем снимок, чтоб вы его знали и помнили и показывали народу русскому, во искупление которого от грехов петербургского императорства он сложил голову. Гляжу на его диплом, который он мне оставил на память, чувствуя, что уже не вернется *. Да еще два-три письма. Вот и все, что от него осталось...

---

* Шлиссельбургского пехотного полка прапорщик Андрей Потебня — за отличное знание теории и практической части ручного огнестрельного оружия и усердие к службе в течение курса 1858—1859 года, учебным Советом Стрелковой Офицерской Школы, на основании § 61 положения о Школе, высоч. утвержденного 1 сентября 1859 г., удостоен свидетельства первого разряда — декабря 1 дня 1859 года.

Учебного Совета Стрелковой Офицерской Школы:
Председатель полковник *Ванновской* (?)
Члены: полковник *Обручев,*
капитан *Герстфельд,*
поручик *Вельяминов-Зернов,*
правитель дел капитан *Ташер.*

И где его труп? И долго ли он страдал, подстреленный русской пулей? И кто и где похоронил его?

> ...И то, что он сказал перед кончиной,
> Из слушавших его не понял ни единый...[7]

Я знаю, что̀ он сказал... Он сказал, что с радостью отдает свою молодую жизнь за оправдание имени русского, в надежде, что своей смертью заставит встрепенуться много юношей и итти на завоевание народу русскому земли и воли. Только этой мыслью он и жил, стало, он с ней и замер.

Друзья! Отслужите по нем такую панихиду, которая его достойна. Дайте друг другу слово продолжать его дело.

Вы, которые его знали, не расторгайте своей связи, как бы вы ни были рассыпаны по пространству земли русской, сохраните свято офицерский кружок, которого влияние должно сделаться *силой* по всему русскому войску. Не разъединяйтесь с обществом «Земли и Воли». Сплотитесь в единый крепкий союз, которого работа соединила бы все войско и все крестьянство — в одно стремление, в одну мысль, в одно дело. Отомстите за его смерть стройным сооружением русской свободы.

Вы, которые его не знали, которых его смерть разбудит из дремоты,— примыкайте к обществу. Не спрашивайте, сильно оно или не сильно; не говорите, что вы примкнете тогда, когда убедитесь, что оно сильно. Покуда вы так будете спрашивать, откуда же взять ему силы? Поймите, что вы, каждый собою, приносите свою силу и что, примыкая, вы создаете силу союза. Если вы будете медлить и сомневаться, вы не создадите этой силы и только обречете себя на самопрезрение.

Обстоятельства сложны. Польское дело еще не разрешилось. Элементы движения, рассеянные по России, медленно скопляются в тучу.

Перейдет ли польское дело из национального в крестьянское и, с литовской окраины, как дрожжи, зашевелит всю Россию? Устанут ли от борьбы обоюдно — и Польша, с страстной преданностью приносящая свои благородные жертвы, и петербургское императорство, заклеймившее себя изумительной неспособностью? Сведут ли они, при враждебной для обеих сторон помощи

европейского Запада, свою развязку на *какое-нибудь* освобождение Польши?.. Как это знать!

Вероятнее всего, что дело земли и воли русского народа придется подготовлять еще не один день; что русская деятельность еще не на один день обречена на работу терпеливую, неутомимую, которая гораздо тяжелее и требует гораздо больше преданности и труда, чем просто итти на сражение. Умирать всегда больно; умереть в страстном настроении битвы — еще самый легкий вид смерти. Но жить в постоянном труде приготовления строя на борьбу, никогда не теряя времени и никогда не хватая очертя голову, никогда не уставая, не унывая при неудаче, не зазнаваясь и не останавливаясь при успехе,— это задача тяжелая; а *теперь* это *ваша* задача, друзья юноши. Примите ее на себя с твердостью, проводите ее с горячим сердцем и холодной обдуманностью. С школьной скамьи начиная, возьмите на себя доблесть быть совершеннолетними.

Как был хорош Потебня в этой неусыпной деятельности собирания строя! Условия, в которых он находился, не дали ему выбора, он не мог не итти на преждевременную смерть. Утрата его для дела огромна. Спешите заступить его место, вы, юноши офицеры, вы — подобно ему — страдальцы кадетских корпусов, которых узкое, тупое, нечеловечное воспитание домучило до понимания свободы,— не оставляйте военной службы. Как бы она ни была тяжела — терпите и идите в войско создавать ту силу, которая несокрушимо станет за землю и волю народную.

Было время, несколько лет тому назад, мы говорили офицерам, преданным общему делу,— не оставляйте военной службы, на вас лежит обязанность силу палачества превратить в силу освобождения. Но лучшие люди не вытерпели и вышли в отставку или перешли в гражданскую службу. Считают до 15 тысяч офицеров, оставивших войско с 1855 года. То ли было бы теперь, если б они оставались на своих местах? Не повторяйте этой огромной ошибки.

Что же они выиграли переходом в гражданскую службу? Еще в то время мы говорили — оставляйте гражданскую службу, выходите вон из рядов чиновничества. Чиновничество может быть только или правительственно, или немощно. Задача быть чиновником не правительственным,

чиновником оппозиционным — задача невозможная. Чиновничество обречено на уничтожение; оно должно быть заменено службой общественной, мирской, выборной, а не казенной. Пополняя ряды казенного чиновничества, вы только поддерживаете учреждение, которое должно вымереть, которое чем скорее вымрет, тем лучше. События оправдали наше мнение. Даже мировые учреждения, взявши на себя правительственное распоряжение соединить две несоединимые выгоды, втоптались бесплодно в насильственное составление добровольных уставных грамот, и чем дальше, тем станут оказываться все бессильнее, т. е. все бесплоднее, или все правительственнее, т. е. все гаже.

Вы, которые на студенческой скамье не решились избрать какой-нибудь особенной, любимой вами деятельности и равнодушно смотрите на ту или другую карьеру, но неравнодушно смотрите на будущность народа,— ступайте в военную службу. Новый, свежий воздух повеет в войске с вашим приходом. Вы примкнете себя к солдату, вы примкнете войско к крестьянству — а в этом одна из главных задач.

Другая задача, не менее важная, не меньше трудная, не меньше требующая силы и выдержки,— это разъяснение самим себе общественных условий, целей и потребностей земли русской и разъяснение их самому народу.

Да в этом-то опять и повторяется приложение все той же вечной истины экономической науки: «совокупность постановки и разделение труда». Для этого-то и нужно общество, для этого и нужны люди, которые, сохраняя совокупность постановки, разветвлялись бы на мыслящих и действующих, пишущих и проповедующих, военных и ходоков. Для этого-то и не нужно спрашивать — «*довольно ли сильно* общество», а примыкать, чтоб сделать его *страшно сильным,* и каждому брать на себя то дело, которое сподручно.

Друзья юноши! Вы найдете в себе силу роста тем легче, что обстоятельства с каждым днем уясняются и что вам уже теперь видно — где людей искать нечего и, следственно, где людей искать надо.

Дело русской свободы шло своим окольным путем, который не худо припомнить, чтоб хорошенько осмотреться. В 25-м году за него стояли дворяне, богатые дво-

ряне из знатных семей, больше или меньше смутно, больше или меньше ясно понимая, что цель их — перестать быть дворянами. В то время только *они* думали, *они* говорили, *они* писали, *они* служили в войске, *они* подымали войско, *они* мечтали в гражданской службе выжить правительственных злодеев путем легальности. *Они* восстали против самодержавия и, заявив первую мысль политической свободы, мученически сошли с поприща; их сословие продолжало целовать руку, подписавшую их приговор; народ остался к их делу равнодушным.

В конце сороковых годов явились другие страдальцы, тоже из дворян. Это уже были люди не из знатного, а скорее из среднего дворянства; даже один мещанин примкнул к ним. Они оставили в стороне политическую свободу или едва коснулись до нее; их самоотречение шло дальше; они отрекались не только от своего сословия, но отрекались от *помещичества;* их труд шел на разработку социальных теорий Запада. Они прошли незамеченные своим сословием и неузнанные народом.

Тем не меньше и дело декабристов, и дело общества Петрашевского имели свое огромное значение, свое неистребимое влияние. И то и другое выражало *степень* русской мысли, и то и другое оставалось *заветом* для преемников. В кучке людей, составлявших тайные общества и создававших литературу, Россия почти втихомолку, сама не зная где и как, сжато, мгновенно переживала все развитие европейской мысли и приходила к сознанию ее недостаточности или неприложимости. Дело политической свободы стало *заветом* для всех поколений, следовавших за декабристами; но мысль о недостаточности формальной равноправности и законности, недостаточности конституционных форм, основанных на сословности и цензе, без действительного самоуправления всех, вытекающего из иного понятия отношений к собственности,— проникла и росла в общем сознании. Необходимость социальной основы для преобразования России стала *заветом* с сороковых годов; но неприложимость социальных теорий выдуманных приводит опять к разработке понятий о собственности и самоуправлении, вытекающих из самих условий народной жизни. В обоих случаях дворянство заявляло необходимость бессословности, отрекалось от самого себя и, заявив это самоотречение своими лучшими

людьми, оставило касту догнивать, цепляясь вместе с правительством за какую-то постепенность смутных и неполных преобразований. Служа правительству орудием власти, чиновничеством, каста, естественно, вместе с правительством чувствует, что у них земля из-под ног уходит, и невольно старается корыстную попытку самохранения облагородить неопределенным именем постепенности. Последние происшествия на дворянских собраниях, закидывающих черными шарами всякую мало-мальски живую мысль, ясно доказывают, что дворянство покончило всякую инициативу в жизни. Оно ее покончило и в литературе; не говорю уже об *отцах*, но большое число из его *детей* (юношей, к которым не обращается наше слово) ударились в чувство сохранения помещичьих прав, бессознательно-своекорыстно пошли по следам подкупных газетчиков, профессоров, вьющих гнилую паутинку своих высокомерно-крошечных идеек, экс-профессоров, когда-то простодушных, а потом озлобленных, видя, что здоровая молодежь не может сочувствовать их золотушной мысли [8]. С слабыми оттенками, эти *дети*, когда у них нехватает духу просто пристать к литературе бесчестной или к доктринерскому изуверству, выдаваемому за науку, порождают в литературе направление, похожее на плескание в мутной луже, где ни до чего ясного, ни до какого определенного понятия не доберешься. Живая мысль от них отлетела.

Тут вам людей искать нечего; довольно счесться своими в том малом меньшинстве из них, которое сохранило оба *завета:* отречение от дворянства и отречение от помещичества. Счет будет не труден.

Но между тем как отцы и дети касты (за исключением наглядного меньшинства) уходили в смерть, возникала и росла другая молодежь, которой нечего отрекаться от дворянства и помещичества,— образованная молодежь *разночинцев*. Из духоты семинарий, из-под гнета духовных академий, из бездомного чиновничества, из удрученного мещанства она вырвалась к жизни и взяла инициативу в литературе. Этой молодежью Россия совершает свое отречение от буржуазии; скомканно, сжато, мгновенно переживает и отрицает всякую буржуазную сословность и опять-таки приходит к понятию действительной бессословности, к бессословности не по имени, а по

общественному отношению к собственности, к бессословности не формально-юридической, но экономической. Отрекаясь отнюдь не от науки, но отрицая дворянство и отрекаясь от буржуазии, она из города и помещичьей усадьбы уходит на село, примыкает к крестьянству, идет в народ. Она должна собрать себя в общество; она должна умножить, вырастить это общество в силу, пополняя свои ряды людьми из так называемого низшего слоя — солдатами, дворовыми, мужиками.

Вот где вам людей искать надо.

Недавний приговор сената, осудивший, по одному делу пропаганды, двух медицинских студентов вместе с троими крестьянами, доказывает, что пора этого союза пришла [9].

Ваша деятельность очерчивается сама собою.

Выходя из потребности добыть, с народом и для народа, землю и волю, вы необходимо должны поставить себе целью созвание земства и для самоустройства; на вашем знамени должен быть написан Земский собор. Без определенной цели нельзя ни ясно понимать, ни ясно проповедывать, ни собрать людей на одно дело.

Ваш теоретический, литературный труд должен сосредоточить свои силы в одну цель, чтоб не расплыться в вопросах до того общих, что уходят в бесконечность. Вам предстоит разработка тех вопросов, которых решение подлежит Земскому собору. Труд огромный, но определенный. Свобода веры и проповеди, свобода науки, свобода и повсеместность преподавания; условия поземельного владения в России, их статистический разбор, поверка народного взгляда на землевладение и отсюда вытекающие последствия; значение сел и их внутреннее хозяйственное устройство; их естественное управление; организация суда; отношение местных потребностей к областным и к постановке общей земской жизни, устройство областных дум и общего собора; способ выборов; способ взимания податей на областные и общи· нужды; сельские банки и их соединение в общее кредитное учреждение и пр. и пр. Работы много, времени мало. Страстность настроения разовьется быстро; спешите разрабатывать то, что нужнее; спешите работать, чтобы *понимание* не отставало позади от движения, но стройно росло вместе.

Ваш практический труд должен сосредоточить свои силы в одну цель, чтоб не расплыться в бесплодном

брожении, в революции ради революции, чтоб не перейти в праздную революционную фразу, которая так пустозвонно раздирает слух на ненужных сборищах людей, которые не знают, откуда и куда идут. Поставив на своем знамени Земский собор, вы практически определяете цель, на которую люди пойдут, потому что она им видна. Правительство едва, и то со страху, приближается к точке зрения Сперанского, которая не может удовлетворить потребностям земства. Конституция может быть дана, но Земский собор должен быть взят. Вы пойдете к цели, не отдыхая ни у какого бархатного порога.

Ваша деятельность очерчивается сама собою: ясное географическое распределение своих центров, совпадающее с местными условиями жизни; выбор руководителей, как можно более сознательный, при совершенном устранении всякой игры мелких самолюбьиц и завистей; устная и печатная проповедь о Земском соборе и вопросах, которые на нем должны быть поставлены и решены; проповедь, обращенная к неученым, но способным здраво мыслить, а не спор с заучившимися до утраты здравого смысла; проповедь, обращенная к отрекающимся от помещичества и сословности и к тем, которые по своему положению ни к тому, ни к другому непричастны, а не праздный спор с теми, которые и в том и в другом закоренели; приращение общества людьми из народа. Когда ваше число и ваши требования вырастут в войске и крестьянстве, тогда, значит, настало время громогласного, действительного созывания земства.

Но будьте страшно искренни с самими собою и не представляйте себе своих сил, в какую бы то ни было минуту, сильнее, чем они на самом деле. Лучше лишний год употребить на приготовительную работу, чем обрушиться в немощную попытку. Искренне счесться во-время своими силами — требует великого самообуздания, самообладания, действительного практического смысла и действительной преданности, не своему хотению, а делу. Помните, что приготовительная работа — это рост в силу; рядом с ним идет соответственное принижение врага до бессилия. Следственно, на этой работе и этом росте основано возможное устранение кровавых дел и превращение восстания в стройную организацию снизу, в самоустройство, из народа растущее.

Определенная цель, самообладание, искренность с самими собою, труд неутомимый и знающий, что время дорого,— вот что вы должны взять на себя, юноши — гонимые и оклеветанные, но чистые и преданные...

Горькая мысль мелькнула у меня: ну! если кто-нибудь из вас скажет: «по какому праву ты нам даешь советы, ты, безопасно стоящий на том береге? Мы и без тебя знаем, что делать»...

Нет! Это скажут разве те, которые не с вами, а против вас. *Вы* этого не скажете.

Мой совет — мое убеждение.

Я говорю с вами по праву.

По праву искренней преданности общему делу.

По праву глубокой любви к вам.

По праву светлой надежды на вас.

По тому праву, по которому, при вести об убитом Потебне, мое первое движение сказать *вам,* друзья юноши,— дайте ваши руки! Да разделите же вы мою скорбь, потому что у нас и скорбь общая, и соединимтесь в одно упование, на одну работу и, когда придет время, вместе пойдемте через все опасности на торжество вольного, землевладеющего русского народа.

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ[1]

Да! Оно неизящно на сию минуту. Палачество в Польше и мнимые реформы дома. Рядом будто бы с независимостью суда — запрещение печатать что-либо о судейской неправде и замена телесных наказаний смертной казнью даже в неполитических преступлениях *. Верноподданнические адресы петербургскому правительству, добровольные и рассчитанные — со стороны большинства дворянства, заказные и бессознательные — со стороны немого множества. Дворянство, изгоняющее из Английского клуба Стюрлера[3] за то, что он усомнился в доблести палачества. Литература, кадящая самодержавию. «День», сам того не замечая, совпадающий с направлением «Московских ведомостей». «Московские ведомости», ставшие представителем ** мнения большинства образованного (?) класса в России!.. Все это неутешительно!

Но все это очень естественно. Дворянство, которое играло в оппозицию при освобождении крестьян, примкнуло к правительству, как скоро речь идет о порабощении Польши. Оно чувствует, что ему предстоит одна

* В Саратове расстрелян 10 августа, со всей театральной, безобразной и бесчеловечной обстановкой, крестьянин Сарат. уезда, села Березовки, Алексей Хромов, за поджог дома своего отца (См. «Моск. Ведом.» № 193)[2]. Ясно, что дело возникло из семейных причин, а между тем и тут смертная казнь. Благодушие возобновляет времена доелизаветинские.

** Даже «День» признает это.

выгода — сохранить себя как чиновничество. Право чиновничествовать в покоренном крае — да как же уступить такое прибыльное право? (То есть прибыльное не для России, а для чиновничества). Большинство дворянства чувствует, особенно после полуустранения крепостного права, что для него лучше всего во что бы ни стало поддерживать самодержавие. Лучше быть рабом кого-нибудь, лишь бы оставаться барином над множеством. «Московские ведомости» совершенно выражают своим подлым языком это подлое мнение. Они даже предлагают конфискации в Литве заменить насильственной продажей польских помещичьих имений русским помещикам; конфискация, по их мнению, обращает все в государственное имущество (а это — чего доброго! — может перейти в крестьянское, в народное имущество), между тем как главное дело — ввести всюду русское помещичество. Как же после этого дворянству не пить за здоровье Каткова наряду с Муравьевым и Александром II! Самодержавие, поддержанное палачами, журналистами, Английским клубом и большинством дворянства,— оно само поймет, что его выгода — поддерживать преимущественно сословный интерес: дворянство — его орудие, его чиновничество; без него оно не может управлять множеством...

Но между тем общее положение вещей имеет и свою другую сторону. Играя в адресы, можно и в самом деле наткнуться на войну. Ну! если тогда те же люди, которые подавали адресы, скажут правительству: «За что ты нас вводишь в беду? Дало бы России конституцию, тогда и Польша поверила бы в конституцию и Россия не утратила бы нисколько своего государственного могущества, не опозорилась бы перед человечеством татарскими злодействами и не вызвала бы против себя западной коалиции». Конституция для России и для Польши, на сию минуту, была бы спасением для самого правительства. Начать введение конституции с России добровольно было бы гораздо важнее, чем являться конституционалистом в Финляндии — со страха иначе утратить ее. Но в том-то и горе, что правительство стоит с виду во главе, а в сущности во хвосту прогресса, и будь еще в то время вместо pas de rêveries * дана конституция, дело обошлось бы мирно и блистательно.

* Слова Александра II: «никаких мечтаний» (фр.) [4].— *Ред.*

Многие думают, что когда дойдет до войны, настроение большинства дворянства повернется в эту сторону. Мы этого не думаем. Мы ожидаем совсем другого. Европа теперь обрадовалась, что слишком поздно начать войну, и надеется, что в продолжение зимы Польшу усмирят муравьевщиной и тогда опять уже выйдет поздно приниматься за войну. Европе, слишком занятой на бирже и слишком боящейся всякого революционного элемента (а Польша ей представляется революционным элементом),— Европе, в сущности, очень будет неприятно, что в продолжение зимы восстание не усмирено и ей придется отделываться новыми словами. Но каково будет положение России? Адресы вызваны, бранный восторг одушевляет — а врага нет. Это невыносимо скучно, потому что это пошло; это просто глупое положение. Война только и есть с повстанцами; но видно и для этой войны нужны военные таланты, а не бездарные палачи. Польша бессильна, но и Россия бессильна; иначе восстание было бы усмирено вначале. Два бессилия могут драться так же долго, как и две силы. Наконец, польский вопрос надоест даже большинству дворянства. Выгода от всей этой усобицы — остановка торговли, остановка промышленности, безденежье. Что же делать? Уж не возвратиться ли к внутреннему устройству?

Какое бы ни было окончание польского вопроса, и даже если к весне вовсе не будет окончания, Россия все же обратится к своим внутренним вопросам, и не с настроением адресоложства, а с требованием Земского собора. Это время ближе, чем может казаться казенной литературе.

Кроме этой литературы и большинства чиновничества, существует еще народ, существует то множество, которому, в сущности, до польского вопроса дела нет; оно готово решить его как какая волна нахлынула. В сущности, ему дорог исключительно свой экономический, поземельный вопрос и все из него истекающее общественное, земское устройство.

Еще, кроме казенной литературы и дворянского большинства, существует образованное меньшинство, для которого экономический интерес народа составляет основание всех стремлений, убеждений и упований. Оно сочувствует польскому освобождению, потому что сочувствует

всякой свободе; его цель — не подчинение кому бы то ни было, а самобытность областей; оно думает, что союз самобытных областей представляет гораздо бо̀льшую государственную силу, чем самодержавное единовластие, которое представляет гораздо больше всеобщего рабства и внутренней неурядицы, чем силы. Когда дворянское большинство поустанет от неразрешаемости польского вопроса и почувствует от собственного теперешнего настроения стыд, тогда образованное меньшинство заговорит вместе с народом.

Наше дело теперь — выжидать. Наш черед впереди. Мы не станем перебраниваться с казенной литературой, ни отвечать на ее площадные выходки; мы выждем, как все это ложное настроение, само в себе несостоятельное, рухнется от собственной лжи. А теперь мы возвратимся к посильной разработке тех русских вопросов, которые неизбежно возникнут над самопадающей казенщиной.

ПИСЬМА К «ОДНОМУ ИЗ МНОГИХ»[1]

⟨ПИСЬМО ПЕРВОЕ⟩

Без сомнения, оценка событий и настоящего положения, оценка отношений действительности к общественным задачам может уяснить дальнейшие пути и возможное будущее. Принимаюсь к вам писать с глубокой скорбью о современной действительности, но и с полной верой в будущее развитие России. Черная обстановка, где мнимый патриотизм купается в злодействе, не закрыла от меня ни живых элементов, из которых слагается наша народная жизнь, ни живых сил, которые должны этим элементам указать цель и движение.

Оглянитесь назад. Народ, которого правительство больше двух веков прикрепляло к земле и опутывало сетью чиновничества, народ втихомолку сживался с убеждением неотъемлемости у него земли и, следственно, с мыслью, что земля — достояние народное. Между тем чиновничество разрасталось в крепостное право помещичье и казенное, не переставая быть чиновничеством, так что сословие, владеющее землею и людьми как собственностью, было в то же время сословием заведующим, т. е. определяющим и исполняющим суд и управление. Александр II, назвавшись первым русским дворянином (как именовались и его предшественники), сказал это слово так ненарочно, что оно имело смысл наивной истины. В самом деле, человек, который представлял главу земле- и людовладельцев и вместе с тем главу всего

полицейского, военно-канцелярского заправления государством, не мог не быть первым лицом в этом сонме дворянства-чиновничества.

Как же случилось, что в то же время, как этот человек провозглашал себя первым русским дворянином, он обратился к другой стороне, к действительному элементу русской жизни и будущности — к крестьянству с его верой в неотъемлемость народной поземельной собственности, и начал освобождение крестьян с землею? «Qui trompe-t-on donc ici?» * — спросим мы, как в комедии Бомарше[2].

В самом деле, чем больше вы всмотритесь в работы, предшествовавшие освобождению, тем больше вы увидите, что правительство собственно думало не об обмане; оно только не думало о том, что делает, и потому для него было равнодушно, *как* дело будет сделано. Собственного мнения у государя не было. Он только решился *начать* освобождение крестьян; *как* начать, *как* исполнить — это колебалось четыре года. Вероятно, он полагает, что освобождение покончено; но не много нужно прозорливости, чтоб понять, что оно только начато и нисколько не покончено. Начато оно было по многим причинам, которые не бесполезно припомнить, потому что они явились в связи с прошлым и с будущим. Во-первых, толк об освобождении крестьян раздался с конца прошлого столетия; он от Радищева перешел к декабристам; он был любимою мыслью лучших людей царствования Александра I; должна же была притти пора к его осуществлению. Во-вторых, Николай был непрочь от этой мысли, но боялся такого огромного переворота, так же как боялся перемены мундиров для войска; его царствование кончилось позорно; Россия, униженная, скованная, ограбленная полицейским управлением, оказалась негодною даже для войны; надо же покончить это положение вещей, надо много перемен — а с чего начать?.. кроме освобождения крестьян не с чего, тут корень всего. В-третьих, крепостное состояние мешало развитию промышленности; само дворянство это чувствовало, потому что больше двух третей его разорялось и разоряло народ. В-четвертых, наконец, крепостное состояние позорит имя русское перед светом. А ну как и сами крестьяне не

---

* Кого же здесь обманывают? (фр.).— *Ред.*

выдержат своего положения и начнут волноваться?—Пора, пора начать освобождение! *Как* — это увидится после.

В таком неопределенном виде явилась задача правительству. Верное самому себе, оно сгруппировало для обсуждения вопроса и сочинения «Положения» для освобождаемых крестьян людей разнородных направлений. Те, которые пришли с искренним убеждением в необходимости освобождения и в неотъемлемости земли у крестьян, должны были шаг за шаг отстаивать свои убеждения. Государь, уже по влиянию Ростовцева, клонился на их сторону; но ему и в голову не пришло устранить враждебные личности и дать комитету то единство, при котором можно работать быстро и ясно. Очевидно, что вынужденные на постоянную борьбу люди, стоявшие за крестьянскую свободу и землю, не могли решительно восторжествовать, но не могли и не восторжествовать отчасти, не могли совсем уступить, но не могли и не уступить многого. Таким образом, через четыре года прений явилось «Положение», которое всего лучше характеризовать *неудовлетворительным освобождением крестьян с землею.*

Но рядом с этим произошло и многое другое. Границы крестьянского освобождения были или не ясно определены, или разложены на годы, после которых должен был начаться выкуп; обязательного выкупа назначено не было. Отсюда — освобождение для крестьян явилось скорее как идеал в будущем, теперь же только какая-то переходная льгота; а помещики — лишились всякой правильной работы, ибо крепостной нет, а вольнонаемная дорога̀ сравнительно с ценами на произведения *; они лишились правильных оброков и не могут достигнуть до действительного выкупа. Результат один: власть помещичья, власть дворянская была понижена; ее коррелат — власть чиновничья от этого не повысилась, а также понизилась; ее обуздывала долею гласность (как ни малы были размеры этой гласности), долею надежды крестьян на другой порядок вещей и участие в делах новых выборных людей, из которых *многие желали* быть справедливыми.

* Сравнительно с ценами на произведения и съестные припасы заработная плата в России дороже, чем во всей Европе, что ясно доказывает важность народного землевладения для благосостояния масс.

В то же время стали послабляться религиозные гонения. Старообрядчество[3] получало небольшие тайные льготы, ждало бóльших. Иерархия не играла такой всесильной полицейской роли, как при Николае, который поддерживал ее как орудие собственной власти. (Я вас прошу обратить внимание на этот пункт. Вы, вероятно, уже сами уступили перед невозможностью и не думаете, чтобы массы рода человеческого всех известных и неизвестных стран стали ни с того ни с сего способны принять научные убеждения, требующие огромной подготовки и совершенного разрыва с ненаучной традицией; но вы, конечно, согласитесь со мной, что религиозная свобода и нераздельное с нею развитие разнородных учений составляют единственный путь к освобождению масс от умственного застоя и огромную пружину к их участию в деле общественном; таким образом, в Северных Штатах, где всего больше развито сектаторство, массы всего больше принимают участие в деле общественном; ум, воспитанный в состязании об общих убеждениях, принимает участие во всем; солидарность людей каждого учения требует голоса в деле общественном; вообще при том уровне образования, к которому относится большинство рода человеческого, только свобода веры, свобода толков, отсутствие казенной религии может быть краеугольным камнем дальнейшего умственного развития).

Простите мне это отступление в скобках, я не мог без него обойтись; но не думайте, чтоб я полагал, что правительство прекратило гонения на старообрядчество и дало ему какие-нибудь права. Верное своему характеру шаткости и отсутствию плана, правительство ограничилось продолжением *некоторых* гонений и тайными льготами, что, конечно, не могло удовлетворить старообрядчество, но все же наложило узду на казенную иерархию и духовное чиновничество, т. е. понизило степень их власти. Результатом этого внутри самой церкви было стремление белого духовенства к большей самостоятельности, к прекращению унижения, которое было его постоянным уделом не только перед епархиальными, но и перед всякими властями; как ни малочисленны, как ни слабы были голоса, раздавшиеся в его пользу, но они раздались, потребность была заявлена; само правительство решилось обратить внимание на участь белого духовенства и, как

следует, прибегло к средствам, которые никого не могли удовлетворить. Результатом понижения власти духовенства-чиновничества было также давно готовившееся к слову и теперь достигающее до него стремление семинарий и духовных академий к большей шири преподавания, к более сильной человеческой жизни и пониманию *.

Я не говорю, чтобы все это проявилось с какой-нибудь торжественною силою; оно проявилось на сколько могло, но перестало клонить голову в безмолвии, как прежде, и лелеять — как единственный исход — идеал попа-взяточника или чиновника-взяточника. С возможностью слова нравственная атмосфера стала расчищаться, и, следственно, росло участие в общественных вопросах, без которого нравственная атмосфера невозможна. Литература, как ни была скована цензурою, но говорила больше, чем прежде; даже журналы, заведомо казенные, не могли не рассуждать о предметах, о которых прежде вовсе не упоминалось.

При всех этих явлениях, при понижении власти дворянства-чиновничества, власти чиновничества-духовенства, росла ли, по крайней мере, власть правительства, которое на первый взгляд казалось виновником всей перемены, а в сущности только уступало долго втихомолку выраставшим силам? Нет, правительство было шатко в своих начинаниях, шло без определенного понимания, боялось всего, и подавляющее влияние его власти слабло. Оно явно показывало, что ему без реформ обойтись нельзя, что в этом положении вещей нельзя управлять, и затеивало реформы нерешительные, смутные, полагая постепенность в том, что для остального люда казалось только колебанием, неискренностью, боязнью. Таким образом, явился проект преобразования суда, и уже

---

* Не забудьте, что я говорю о времени уже прошедшем, о времени до польского восстания. К настоящему я приду впоследствии. В настоящем правительство старается вернуться ко всем ухваткам, от которых нерешительно отрывалось было. Таким образом, *теперь* правительство старается втеснить иерархию в заведывание просвещением так, что ставит ее в председательство местом выше начальника губернии («Положение о начальных народных училищах», утвержденное 14 июля 1864). Об этом «Положении» мы поговорим в другой раз; теперь замечу вам только, что это *повышение иерархии в главную полицию над народным образованием значит, что гонения на старообрядчество в скором времени возобновятся* [4].

поговаривали о земских учреждениях, о выборном начале, о представительстве...

Казалось, дело пойдет быстро; но на этом русское движение было остановлено польским восстанием, и картина на время изменилась. Прежде чем я стану говорить о польском восстании, я хочу сказать вам несколько слов об университетских происшествиях и петербургских пожарах [5], которые не меньше польского восстания напугали русское общество и русское правительство и на время перепутали общественные стремления. Я не удивляюсь, что правительство испугалось университетских происшествий. В его глазах все примыкало к университетам, начиная с издания «Великорусса» [6]: стеснение университетов стало ему казаться каким-то самоспасением, оно не разочло, что плата за курсы, которая должна была взиматься не с целью содержания университетов, а с целью удалить как можно больше юношества от науки, что такая плата сама по себе учреждение отвратительное и должно отразиться на молодых энергиях со всей горячностью, какую подлый поступок способен возбудить в молодой душе. Но каким образом большинство русского общества стало и против университетов (куда со всех концов России отцы прочили своих сыновей из последней копейки) и против «Великорусса» (который чрезвычайно умеренно ставил вопросы в пользу общества); каким образом это общество с такой поспешностью схватилось за мысль, кстати распускаемую полицейскими чиновниками, что Петербург поджигает университетская молодежь (мысль, для опровержения которой требовалось не бог знает как много смысла),— это вопрос посложнее, и <его> не худо уяснить прежде всякой речи о польском восстании.

Когда русскому простолюдину объясняли, что студенты бунтуют против царя и жгут Петербург, потому что они дворяне и сердятся на царя за освобождение крестьян, то у народа могло составиться ложное мнение, враждебное молодежи; но у других сословий мнение, враждебное молодежи, могло составиться разве из противоположной причины, что молодежь находит освобождение народа недостаточным и реформу далеко несовершенною. Таким образом, с противоположных точек зрения все опрокинулось на молодежь: кто — считая ее крепостниками, кто — считая ее реформаторами; а конечно,

большинство дворянства столько же боится реформы, сколько народ ненавидит крепостников. Большинство дворянства и казенная журналистика, представляющая разом и орган дворянства и орган правительства, с остервенением хватились за обвинение молодежи в поджогах на том основании, что и тайные издания приписывались молодежи [7]. Впрочем, для них было довольно равнодушно, кого обвинять — молодежь или немолодежь, лишь бы нашелся какой-нибудь миф, который можно обвинить в реформе, чуть не в революции и итти на мировую с правительством, от которого исходит и передается на дворянство всякая власть; это лучший способ свести все реформы на ничто или по крайней мере на такой minimum, который чиновничье царство оставит незатронутым. Испуганное правительство само должно было обрадоваться такому исходу, который и его власть оставлял незатронутою; союз становился все более и более естественным и рос со дня на день; все тщеславия ради либеральничавшее примыкало к нему.

Польское восстание совсем подняло на ноги чиновно-императорский союз. Кто был свирепее в это время — русское правительство или русское общество,— оставим это на решение будущего историка. В одном мы не можем сомневаться, что у того и другого свирепость выходила из всех человеческих пределов. В обществе и журналах донос и требование казней сделались любимым занятием. Правительство ободрялось: послало в Литву человека (которого само считало за казнокрада) казнить с плеча кого вздумается [8]; а в России заменило телесные наказания смертною казнью, присуждаемою генерал-губернаторами. Казни ни тут ни там не были нужны, но русское общество и русское правительство в них наслаждались. Масса пребывала в традиции, думала, что так надо, и была занята дома вглядыванием в свое освобождение и стараясь насколько возможно не работать и не платить обязанно.

Польское восстание было побеждено не казнями, которые только вызывали готовность на геройские самопожертвования, и не войной, которая больше заключалась в грабеже и распущении дисциплины, чем в военных действиях,— польское восстание было побеждено отсутствием в нем крестьянского элемента. С первых дней восстания польское народное правительство издало указ об

освобождении крестьян с землею даром; но этот указ надо было привести в исполнение. Юридически, официально, ввод крестьян во владение был невозможен, потому что официальные власти не были в руках народного правительства; средство оставалось одно: помещикам надо было разъехаться из имений, предоставив крестьянам землевладение и охранение оставшейся собственности. Тогда бы крестьянство было нераздельно с восстанием. Этого не было сделано. Восстание подняло вопрос о границах 1772 г.; провинции не почувствовали того толчка, который мог быть дан только мыслью, полной самостоятельности. Польше нужна была не помощь Европы, а социально-конфедеративное знамя; кто бы его ни взял в руки — in hoc signo vincit *. Но мы не станем обвинять народное правительство в том, что оно не могло преодолеть этих двух трудностей; наше слово может быть сказано только в хвалу людей, которые так преданно умели умирать за независимость своего отечества!..

(Кстати, я решусь еще на одно отступление. Вы знаете из статьи Герцена [9], как Ромье предлагал возбудить вопрос о национальностях, чтобы отдалить от Европы социальный вопрос. Не знаю, насколько одно отдалит другое, но для меня очевидно, что Европа не может успокоиться прежде, чем установит естественную классификацию народностей не по принципу завоевания и мнимого равновесия, где маленькие государства пожертвованы большим, но по принципу самостоятельности народов на основании племенного единства и подходящих географических условий. Наше столетие перешло в науке от искусственной классификации к естественной и туда же стремится в классификации рода человеческого. Остановить этого стремления невозможно. Но насколько оно пойдет врозь с социальным вопросом — это еще сомнительно. Социальный вопрос заключается в благосостоянии масс, на основании замены *раздельных* промышленных сил *составными;* этого стремления также нельзя остановить, и оно пробивает себе пути всюду — в рабочих ассоциациях, равно как и в общей ассоциации трактирщиков для содержания всех отелей в Лондоне, где хозяева становятся только приказчиками своей ассоциации. Что национальный

* Сим знаменем победил [бы] (лат.).— *Ред.*

вопрос может итти отдельно — может быть! Но я не вижу достаточной причины, чтобы он не пошел и вместе с социальным, тем больше, что все правительства, владеющие чужими племенами по завоеванию, столько же противны и социальному вопросу, сколько вопросу о национальной самостоятельности. А когда я вижу, что русский вопрос естественно становится социальным вопросом и что само правительство, хотя-нехотя, вводит в Польшу принцип крестьянского землевладения, то мне кажется гораздо больше вероятным, что оба вопроса, поддержанные славянскими массами, пойдут рука об руку... Но возвращаюсь к моему предмету).

Как бы то ни было, но польское восстание подавлено отсутствием в нем крестьянского элемента. Русское правительство привело в исполнение указ народного жонда и, окончательным разрывом сословий, привело восстание к бессилию [10]. Кроме того, оно ввело (с той же целью покончить восстание, а конечно не из вольнолюбивых побуждений) выборность сельского управления и долею выборность *духовенства* (последнего оно не пробовало и в России, хотя бы на свой обычный нерешительный манер; а выборность духовенства в России была бы обновлением и для народа и для самого духовенства).

На чем же мы остановились к концу польского восстания:

1) В Польшу введен элемент крестьянского землевладения и самоуправления. 2) В Польше понижена власть дворянства. 3) В Польше понижена власть духовенства. 4) В России понижена власть дворянства и дворянство разорено. 5) В России понижена власть духовенства. 6) В России понижена военная дисциплина. 7) В России вызван и поставлен неискоренимо элемент крестьянского землевладения, но не удовлетворен. 8) В России вызван всеобщий элемент выборного начала и представительства, но не удовлетворен. 9) Правительство вообще сыграло на две стороны: с одной стороны, пашалыки (генерал-губернаторства) и смертные казни, ссылки и заточения; с другой стороны, неудовлетворенные — освобождение народа, представительство и гласность.

Теперь дикие страсти начнут поутихать; обществу все будет становиться стыдней своей роли полицейского доносчика и рассвирепевшего палача. По мере отрезвления

общества правительству все больше будет хотеться de facto * поддержать систему пашалыков, со всеми ее последствиями, а для виду пустить в ход и запутать до ничтожности (или до нового рода чиновничества) земские учреждения. Рядом с этим, по мере своего отрезвления, общество меньше и меньше может принимать величие императорское за величие России, и иные потребности возникнут...

На этом я сегодня остановлюсь и оставлю заключение до другого письма. Только об одном не могу не намекнуть, что с понижением дворянства силою, умственною силою в государстве, становятся *разночинцы,* а элементом, на основании которого должно совершиться развитие,— это поземельный крестьянский элемент. Правительство само себя не изменит, но не изменит и грядущих обстоятельств. Несмотря на свое временное повышение, оно остается без плана и полно страха перед будущим... Но — до следующего письма.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Сегодня мне прежде всего хочется сказать вам, что̀ я понимаю под словом *разночинцы.* Признавая за ними роль умственной, следственно, движущей силы в государстве, я легко мог навести вас на воспоминания о французском tiers-état ** 1789 года, о революционной Франции, о брошюре Сьеса [11], и вы станете искать в моих письмах — где же это я говорю, что «le tiers état — c'est tout ***», что разночинцы должны быть *всё...* Но мне, напротив того, чтобы уяснить понятие о разночинцах, хочется показать вам огромное различие между ними и французским tiers-état, между задачей французской революции и русского переворота, обусловленное различием общественных элементов той и другой стороны. Что по дороге могут встретиться сходства — об этом не спорю. Сходства встречаются во всех эпохах жизни народов, потому что дела человеческие — всегда дела человеческие. Но эти сходства больше формальны; существенно самое различие

---

* Фактически (лат.).— *Ред.*

** Третье сословие (фр.).— *Ред.*

*** Третье сословие — это все (фр.).— *Ред.*

общественного содержания. Таким образом, можно найти сходство между двумя главными людьми и эпохами высшего монархического развития: Лудвиг XIV говорит l'état c'est moi * и идет в ненужные войны и на бесплодные завоевания,— и Николай Павлович всю жизнь доказывает, что «государство — это он», и пускается в бесплодные войны и ненужные завоевания; между тем Франция Лудвига XIV и Россия Николая Павловича играют свою самую первоклассную роль во внешних сношениях и внутренно сгнивают до нищеты государственной, до полнейшей безнравственности управления, до необходимости *переворота*. Вот формальные черты сходства; но существенно — различие. Лудвиг XIV все же представляет высшее развитие монархии, выросшей на феодальном мире; Николай Павлович все же представляет высшее развитие капральства, завоевавшего Россию. В самом управлении обеих эпох можно найти любопытные черты сходства, особенно в мире финансовом, которого сравнительная картина одна потребовала бы том разработки и показала бы большое сходство положения дореволюционной Франции и современной России. Но как скоро мы обратимся к различию общественностей и отношений, то — оставаясь и тут и там при необходимости *переворота* — мы не можем не увидать огромного различия ролей, которые должны выпадать на долю людям, и огромного различия самой общественной задачи. Поэтому я охотно вас избавлю от всяких дальнейших сравнений Лудвига XV или XVI с Александром II или Рейтерна [12] — пожалуй, хоть с Силлуэтом [13]... Я только вам напомню Францию прошлого столетия и современную Россию, чтоб указать вам на различие tiers-état и разночинцев, и это, мне кажется, очень существенно.

Франция XVIII столетия представляла сброд (агломерацию) провинций, различно, но дурно учрежденных каждая сама по себе и еще хуже соединенно управляемых королевской властью. Провинции, конечно, имели исторически-федеративное начало; но смысл его в XVIII столетии уже совершенно утратился. Тут уже мы находим гораздо больше обременительной разделенности в смысле каких-то казенных, искусственных надобностей или выгод,

* Государство — это я (фр.).— *Ред.*

чем областной самостоятельности *. Налог постоянно всей своей самой тяжелой тяжестью падал на земледельца. Но между тем, крестьяне уже далеко не были крепостными барскими; барских повинностей на них лежало весьма немного; их душили повинности казенные **. В XVIII столетии крестьяне скупили большую часть барских земель и были личными землевладельцами, так что дробность земель уже тогда доходила до той чрезмерности, которую мы находим во Франции и теперь и которая мешает крестьянину что-нибудь приобрести, освободиться от долгов и ведет его к разорению. Когда вы сообразите эту

---

* Были области штатов (pays d'états), которые платили налог в виде дара (dons gratuits), утверждаемого тремя сословиями: духовенством, дворянством и высшим средним сословием (le haut tiers). Были области выборов (pays d'élection), «где всего меньше было выборности»,— говорит Токвиль; они будто бы выбирали своих винных приставов (aydes). Aydes — дегустаторы, ценовщики для наложения подати на вина, при виноградном виноделии. Это были люди, по крайней мере так же тяжело тяготевшие над народом, как наши откупщики. Были области обязательств, pays d'obédience (Erlaubnisscheine?), которые были изъяты из конкордата Леона X и Франциска I. Были области, в которых суд совершался по римскому праву; а другие, где суд совершался по обычному праву. Между всеми этими областями и их подразделениями (généralités) было бесконечное множество пошлинных застав.

** Мне нигде не случалось отыскать во Франции, незадолго до революции, настоящей барской барщины, а только барщину казенную. Токвиль говорит о взимании пошлины с продаж (droit de lods et ventes) в пользу барина. «Уничтожение барщин» — abolition des corvées — эдиктом 3 февраля 1776 года относится к барщине казенной. Правда, Вольтер еще говорит (в статье в Dictionnaire philosophique) [Философский словарь (фр.).— *Ред.*] о двух- и трехдневной барской барщине и о крепостном праве посмертном (droit de main morte), по которому имущество умершего крепостного принадлежало господину; если у умершего оставались дети, то господин брал из имущества только лучшую долю, а остальную оставлял детям; если сын умершего находился в отлучке год и один день после смерти отца, то господин брал все, а человек оставался крепостным. Но в 1780-х годах, кажется, этого права уже не существует. Токвиль замечает, что если б феодальное право (перед революцией) еще оставалось цело, то крестьянин выносил бы его легче; но крестьянин, сделавшись землевладельцем, *тем меньше выносил остававшиеся феодальные права, чем меньше их оставалось.* Пользуюсь еще раз случаем, чтоб рекомендовать книгу: Armand Marrast et Dupont «Fastes de la Révolution française», Paris, Guillaumin, 1836. [*Арман Марраст* и *Дюпон*, «Летопись французской революции», Париж, Гильомэн, 1836 (фр.).— *Ред.*][14]. То есть, я говорю о замечательном введении в этой книге.

дробность личного землевладения у крестьянства и то, что налог и всякая казенная тяга в сущности падали на землевладельца, т. е. на крестьянина, для вас станет ясно, что крестьянская земельная производительность мельчала и сельская связь рушилась. Росли и развивались цехи, уже тогда подавляя своими установлениями бедное рабочее население *. Но цехи развивались в городах и совершенно врозь от крестьянства. Кроме цехов в городах развивалась адвокатура точно так же врозь от крестьянства, т. е. не видя в крестьянстве никакого особого элемента, никакого особого обычая, никакого особого принципа, кроме той разницы, что крестьянское ремесло — земледелие, а местожительство вне города. Из городов же живую жизнь представлял только Париж. Все тянуло к Парижу. Между тем провинциальные парламенты спорили с правительством вкривь и вкось, то препятствуя правительственному наложению налогов, то препятствуя правительственному снятию застав и говоря, что «французский народ может быть обложен податями как угодно» **. Дворянство и духовенство отстаивали остатки феодальных прав (кроме низшего духовенства, которое иногда примыкало к науке и революции). Наука шла двумя путями — политической экономией и философией, но подвигались все к одной общей цели — к единству Франции. Экономисты разделились на физиократов (Quesnay) и меркантилистов (Gournay); первые были поборники du produit net (барыша от земли), другие — поборники капиталов. Но и то и другое вело к буржуазии, т. е. к тому сословию, где идеал каждого — личное обогащение, без всякой общественной связи; а крестьянство не представляло никакого принципа, кроме дробной собственности. Все, чего общество действительно могло желать — это отсутствия высших сословий, которые мешали буржуазному идеалу (так, как у нас мешают народному идеалу), и

* Сделаться учеником стоило не меньше 500 ливров (франков). Сделаться хозяйским товарищем стоило еще дороже; сделаться хозяином стоило не меньше 2 000 ливров.

** Парламент 12 марта 1776 года не хотел утвердить указа 3 февраля, уничтожавшего барщины. Магистраты говорили: «Народ французский может быть обложен податями и работами по произволу; это статья конституции, которую король не вправе отменить». (Le peuple français est taillable et corvéable à volonté; c'est une partie de la constitution, que le roi ne peut changer).

могло желать уничтожения провинциальных разделенностей и гнета *королевского* правительства; следственно, общество желало единства управления, которое было бы учреждено обогатившимся или обогащающимся сословием, заступающим место сословий упраздняемых. С своей стороны философия, разбившая ложные кумиры посредством энциклопедистов, далеко не действовала через них на революцию так сильно, как действовала посредством Руссо. Вот вам мнение французов XIX столетия: «Ж. Ж. Руссо (говорят Марраст и Дюпон) — *философ, наиболее стремившийся к единству.* Революционному и цивилизованному влиянию образованного меньшинства предстояло совершить, посредством убеждения и *силы,* то, что было свыше могущества монархии, т. е. утвердить навсегда государственное единство (unité territoriale) и создать единство управления (unité administrative). Еще было предоставлено этому революционному влиянию достигнуть результата, до которого десять столетий монархии не могли коснуться, а именно — нравственного единства Франции». Сообразите все это (как ни вкратце я сделал перечень фактов) — и вы увидите, что религиозные слова французской философии и революции, т. е. «свобода, равенство и братство», в действительности не имели корня, что действительность выражала брошюра Сьеса, ставившая буржуазию на место упраздняемых высших сословий, что народ не вносил никакого принципа, различного от буржуазии, что буржуазия, или tiers-état, состояла, собственно, из капиталистов, цеховых (хозяев) и адвокатуры (иначе — épicerie или capacités), что цель была, при упразднении сословий, уничтожение разделенностей и единство управления. От этого во все фазы революции господствовал правительственный деспотизм; идеи, которые деспотически проводились и не прививались к жизни при Робеспьере, теория Бабёфа, которая должна была осуществиться еще больше деспотически,— все уступило, и Франция почувствовала себя удовлетворенною, когда достигла при Наполеоне единства управления с разделением не на исторические провинции, а на департаменты. С тех пор во Франции наука создавала теории, а tiers-état, т. е. буржуазия, поддерживала единство управления и идеал личного обогащения; а народ не представлял ни особого принципа, на котором бы основалась

какая-нибудь иная сила, и не принимал самостоятельного участия в управлении, сосредоточенном в Париже.

У нас совсем иное. У нас Парижа нет; нет средоточия, которое бы нас географически тянуло к единству; Москва отжила; Петербург нелюбим; Киев ничего не представляет. Разделенности у нас нет; напротив того, если нас что душит, так это единство. Наша разделенность на департаменты, т. е. на губернии,— это уже и есть то наполеоновское единство, которое у нас, в сущности, ни для кого не выносимо. Как бы у нас ни учредилось *общее законодательство,* но общее, единое *управление* для бесконечного пространства и разно сложившегося населения не может быть ничем иным, как гнетом. Наше дворянство-чиновничество точно так же отжило, как французская аристократия XVIII столетия, пожалуй — как польское панство; но разночинцы, которые стоят на череду, не представляют ни особого сословия адвокатуры, ни личного богатства. Они представляют или то меньшинство дворянства, которое отказалось от своего сословия, или то разночинство, которое вовсе не пошло в чиновничество или находится в нем с отвращением. Они не могут иначе выдвинуться вперед, как не по теории, а по жизни соединяясь в свои артели и опираясь не на города, а на народ, который им представляет основание своего элемента земства, всюду живучего и неискоренимого.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ[15]

Наконец я опять решаюсь писать к вам. Пять месяцев тому назад я остановился на недоконченной мысли. Мне казалось, что обстоятельства слагаются так, что она выдвинется яснее, подтвердится осязательнее.

Позвольте вам напомнить заключение моего последнего письма. Я говорил вам, что у нас разночинцы «не представляют ни особого сословия адвокатуры, ни личного богатства. Они представляют или то меньшинство дворянства, которое отказалось от своего сословия, или то разночинство, которое вовсе не пошло в чиновничество или находится в нем с отвращением. Они не могут иначе выдвинуться вперед, как не по теории, а по жизни соединяясь в свои артели и опираясь не на города, а на народ,

который им представляет основание своего элемента земства, всюду живучего и неискоренимого» («Колокол», 15 октября 1864 г.).

Большая часть наших городов — насильственная случайность. Это не центры, последовательно выращенные развитием местной общественной жизни; это административные центры, навязанные народонаселению правительством ради своих целей управления, которое до сих пор совмещало законодательство, администрацию и суд в одно общее бюрократическое давление. Города представляют для петербургского владычества нечто вроде вех, чтобы на огромном пространстве не сбиться с пути давления. От этого города *учреждались* по указу — или там, где исторический город оказывался немешающим правительственной цели, или исторический город упразднялся (признавался заштатным) и какое-нибудь село возводилось в городское достоинство; крестьянство обращалось в мещанство и, кроме немногих счастливцев, скорее разорялось, чем богатело. Конечно, разночинству легче найти общественное основание в реальном земстве, чем в этом мнимом гражданстве.

В самом деле, всмотритесь в наши газеты, прислушайтесь к говору — и вы увидите, что наше разночинство везде довольно охотно приступает к земским учреждениям [16]. Не думайте, чтобы я земские учреждения начинал ставить выше их значения; я не отступил от моего мнения о них — не отступил не по упрямству, а потому, что не встретил достаточной причины взглянуть на них иначе. Чем больше вы всмотритесь в них, тем больше убедитесь, что они сами по себе плохонький перевод французских conseils d'arrondissements *, но их постановка в России дает им иное значение. Они представляют у нас возможность — а в настоящую минуту единственную возможность — для встречи разночинства с народом, для их сближения, для их союза в общую потребность, в общую деятельность. Тщеславное и мнимообразованное помещичество и своекорыстное чиновничество, словом, большинство дворянства, развившегося в прихолопствовании перед правительством и насилии над народом, большинство дворянства,

* Окружных советов (фр.).— *Ред.*

как и следовало ожидать, не поняло этого и угрюмо старается отстраняться. Почему этого следовало ожидать — мне кажется, очень понятно: большинство дворянства не может принять участия в общей потребности, у него потребность своя, отдельная: помещичеству нужно дешевых работников и сословного кредита, чиновничеству нужно сохранения своих преимуществ, своего владычества; потребности разночинства и народа им совершенно противоположны. Поэтому-то я и причисляю к разночинству меньшинство дворянства и чиновничества, то есть то меньшинство, которое в пользу общих интересов, в глубине своего убеждения, отреклось от своей наследственной отдельности, а если по нужде состоит на службе царской, то все же внутренно стремится на замену бюрократии народным представительством. К потребности народного представительства остальное большинство разночинства, т. е. среднее купечество, мещанство, не попавшее в рясу духовенство и меньшинство действительного духовенства, примкнет с первого слова и передаст эту потребность в народную массу гораздо легче, чем люди сословия, вышедшего у народа из веры. Этот общий союз разночинства и народа слишком естествен, чтоб не состояться. Поэтому-то так важно ввести в земские учреждения людей, работавших в своем понимании над вопросом народного представительства и самоуправления. Тем важнее, что земские учреждения ставят вопрос, не разрешая его, то есть возбуждая в массах стремление к его иному, лучшему, действительному разрешению. Тем важнее, что поставить его вслух *на сию минуту больше негде,* как в деятельности земских учреждений. Тем важнее, что людям, работавшим над вопросом самоуправления — как я уже сказал — встретиться с народными массами *больше негде,* как на сходках земских учреждений. Тем важнее, что тут спервоначала вопрос самоуправления ставится как *местная* потребность, т. е. как потребность, самая доступная для народного понимания, самая живая, самая реальная, самая в смысл действительной жизни входящая потребность.

Посмотрите, как ошибаются два нестолковавшиеся начала: реформирующее правительство и обще-конституционная попытка московского дворянства [17].

Реформирующее правительство ищет своих образцов в французских постановлениях и подражает им даже до

мелочей *. Вследствие этих подражательств не мудрено, что правительство ищет создать какую-то буржуазию и сословную адвокатуру, так же как не мудрено и то, что оно будет не против октроированной конституции, имея перед глазами нечто подобное в современной французской империи или даже в Австрии и родственной Пруссии. Оно только не догадывается, что ни казенная буржуазия, ни казенная адвокатура не создаются, что если сословия не выросли исторически, то живая общественность будет искать не поддержки указом изобретенных чинов, а выражения собственных потребностей людьми, ни к какому указному сословию не принадлежащими. Как в земских учреждениях, так и во всем остальном реформирующее правительство в силу обстоятельств натолкнется на другой элемент, которому нужен свой исход и который одним подражанием французскому образцу не удовлетворится. Разночинство не перейдет в новосозданные сословия, а октроированная конституция будет переходной минутой к Земскому собору.

Конституционная попытка московского дворянства, которую я вовсе не считаю бесполезною, оборвалась на многом,— во-первых, на неясности своего требования и на невозможности, чтоб это требование нашло где-нибудь поддержку. Еще Подольский уезд мог бы найти отголосок в разночинстве, а через него и в народе; его проект мог бы перейти если не в общее требование, то по крайней мере в общий говор, из которого выросло бы требование общего собора; но большинство московского дворянства указало на какую-то олигархическую цель, которую разночинство и народ могут по справедливости встретить враждебно; им еще далеко не доказано, что дворянство московское или иное представляло какое-нибудь высшее образование; они до сих пор могли видеть в дворянстве только наглое помещичество и, конечно, не станут помогать ему к достижению исключительной законодательной власти в России. Отказавшись же от подольского проекта или решившись на противуестественный союз проекта общего народного представительства с проектом исключительного дворянского представительства и связавши их в

* Напр., министр внутренних дел предложил пошлину на журналы (timbre) — подражание, которого пошлость бросилась в глаза даже государственному совету.

один верноподданнический адрес, московское дворянство произвело на свет нечто смутное, где нет возможности добраться до определенной мысли. На каком основании строит московское дворянство требуемую им конституцию — этого в адресе не видать, этого надо доискиваться в речах заседания; а тут наткнешься на олигархический принцип, который, конечно, не найдет поддержки в русском народе и ограничится симпатиями Скарятина[18] с Катковым.

Но оба реформирующие начала не догадались, что, в сущности, в России никакая реформа не установится, не прошедши через предложение и постановление Земского собора; они не догадались, что отдельное сословие, жаждущее *октроированной* конституции какой бы то ни было (по крайней мере московский адрес не выразил, какой конституции домогается дворянство), и правительство, желающее дать конституцию какую бы то ни было (из ответов правительства тоже не видать, что оно разумеет под конституцией),— оба реформирующие начала не догадались, что они вовсе не так далеки друг от друга и легко могут уступить друг другу те стороны владычества, которые для их самохранения и самолюбия нужны и от которых пострадает разночинство и народ, т. е. все то, что определило бы реформу, не октроированную сверху под одно на всю империю с оставлением преимуществ правительству, но постановленную на бессословном Земском соборе всеми местностями по взаимном соглашении.

Если правительство разорило дворянство отменой крепостного состояния, то вовсе не думая, что оно разоряет его; правительство полагало, что богатство высшего сословия состоит в землевладении, и никак не воображало, что отсутствие рабовладения поколеблет дворянское достояние. Тут дворянство может пенять разве на самого себя, а никак не на правительство. Правительство делало для дворянства все, что могло, конечно не для польского, а для русского и в особенности для тифлисского, где освобождение крестьян — для крестьян обделано хуже чем где-либо. У правительства с дворянством вообще много сходного. Лица, принадлежащие к правительству, принадлежат к дворянству. Чем выше поставлен чиновник, тем несомненней он принадлежит к дворянству и вносит в свою служебную деятельность помещичий интерес.

Помещик, не только поступая на службу, но даже и выходя из службы, примыкает в своей жизни гораздо больше к правительственным интересам, чем к общественным, и все, что не составляет помещичества или чиновничества, он считает или себе подвластным, или врагом. У государя нет друзей или приближенных не из дворянства. Меньшинство, которое в молодости горячо принималось за народные интересы, достигая высших чинов, примыкает к правительственным интересам и употребляет свой либерализм для показа — на удивление робких, но уж, конечно, не на продолжение своих прежних убеждений. Правительственному и дворянскому миру сойтись было очень нетрудно.

Возьмите в пример хоть «средство устроить в России поземельный кредит» *. Если б правительство было сколько-нибудь враждебно расположено к дворянству или действительно дружелюбно расположено к народу, оно предоставило бы общинам займы, гарантированные круговой порукою, по усмотрению общин для их хозяйственных целей, не мешая им входить в свободные сношения и договоры с компаниями поземельного кредита, между тем как в уставе предполагаемого общества поземельного кредита (которое, вероятно, утверждено или вскоре будет утверждено правительством) цель общества обозначена следующим образом: «1) содействие *развитию земледельческого богатства* страны чрез доставление помещикам и земледельцам капиталов, *необходимых им для улучшения их земель...;* 2) содействие *развитию путей сообщения* чрез доставление губерниям и *общинам* сумм, которые им *разрешено* занимать на этот предмет, и пр.»... Из этого очевидно, что помещики будут в возможности занимать под залог своих земель когда угодно, никого не спрашиваясь; а общины будут занимать или с дозволения, или — еще вероятнее — по приказанию правительства. Первые, между прочим, могут иметь целью улучшение своих земель и хозяйств; а для общин займы обратятся в налог. Таким образом, разом будет достигнуто: устройство путей сообщения *на крестьянский счет* и удешевление *налогом обремененных* работников в пользу помещиков; а поземельный кредит останется помещичьим и правительственным,

* Прибавление к «Московским ведомостям».

а нисколько не народным. Где же тут вражда правительства и дворянства? Это скорее дружба.

Заметьте, что сословный кредит и дешевые работники идут рука об руку. При сословном кредите цель хозяина — употребить свой заем как можно выгоднее, хотя бы с ущербом для другого; следственно, чем дешевле работник, тем лучше. Бессословный кредит идет рука об руку с недешевым работником; он дает средства производить для своего барыша тому, который иначе пошел бы работать на другого из-за скудного прокорма. Общинный кредит не может не сделаться одною из форм бессословного кредита, основанного на общинном доходе и круговой поруке. При этом кредите цель общины — не доставка дешевых работников на сторону, а употребление займа на развитие своего достояния; следственно, чем выгодней будет употреблен кредит, тем дороже станет работник на сторону, между тем как общая производительность от этого может только развиться, а не пострадать. Даже общее образование должно развиться, становясь потребностью, условием жизни народных масс. Если бы правительство действительно было дружелюбно расположено к народу, оно покровительствовало бы бессословному кредиту и свободе общинного кредита, а не покровительствовало бы чисто сословному кредиту, *прикрывающему себя словами*, потому что в сущности чувствуется, что учреждение чисто сословного кредита *теперь* было бы не совсем *честно*. Впрочем, достигнет ли правительство и дворянство до удешевления труда, полагая в этом, с «Моск[овскими] ведомостями», совершеннолетие и свободу народную,— это еще вопрос... Пожалуй, обстоятельства сложатся так, что кроме перехода из рук в руки залогов поземельного кредита ничего не достигнется; а между тем не только временно-обязанное, но и казенное крестьянство будет заявлять свою потребность в свободном, т. е. не начальством наложенном, поземельном кредите.

У правительства с дворянством оказалась также симпатия к единству империи. Это очень естественно: общее самоуправление, общее бессословное представительство немыслимо без областного самоуправления и областного представительства; свободная Россия может быть только союзная Россия, что не мешает ее целости, а мешает только удручительному давлению центра. Против такой

России самая Польша никогда не восстала бы, а сочла бы ее своей ближайшей, естественной опорой. Но единая, т. е. управляемая, империя, будь она управляема самодержавно из Петербурга или посредством дворянской конституции,— единая империя найдет главные симпатии во дворце и в Английском клубе. Поэтому дворец и Английский клуб аплодируют всем ненужным варварствам, совершающимся в западных областях, Английский клуб — даже не замечая, что он аплодирует в пользу подрыва олигархического принципа, который самодержавие подрывает тоже нехотя, в сущности думая заботиться о собственном самохранении.

Но я вам сказал, что считаю конституционную попытку московского дворянства не бесполезною, и постараюсь вам доказать это. Во-первых, *вслух,* как бы смутно ни было, но заявлена потребность политической реформы, и на это заявление вслух, как бы смутно ни было, но последовал правительственный ответ — первое заявление вслух, за которым последовало не обвинение в преступлении, а признание гласности запроса политической реформы, следственно, признание его возможности, его права существования. Это, конечно, не шаг назад.

Во-вторых, положения обозначились резче. Дворянству хочется законодательной власти в государстве, оно даже готово упомянуть о народном представительстве, лишь бы при этом поставить себя отдельным и первенствующим сословием, признавая за собой всякого рода достоинства, что, конечно, могло бы найти успех и поддержку только в том случае, если б эти достоинства были наперед признаны остальными массами — разночинством и народом.

Правительству своей законодательной власти уступить не хочется или хочется уступить, когда вздумается и насколько вздумается. Оно довольствуется своими реформами и находит их прекрасными; но тут также еще спрашивается, насколько эти реформы удовлетворят тех, кого они касаются. Из этого правительственного самодовольствия разночинство и народ могут только понять, что, в сущности, полагаться на действительное построение народной свободы правительством — нельзя, но помнить надо твердо, что само правительство не надеется обойтись без уступок и политической реформы. А понять, что,

несмотря на свое самодовольство, правительство *не имеет самоуверенности* — это, конечно, не есть шаг назад.

В-третьих, положение обозначается тем, что правительство и дворянство расходятся, еще от этого нисколько не сближаясь с другими сословиями, напротив того, скорее отдаляясь от других сословий, ибо при этой размолвке оказалось с каждой стороны огромное себялюбие, но особой любви к народу и его свободе не оказалось.

Впрочем, я не думаю, чтобы попытка московского дворянства прошла без повторения в других дворянских собраниях (что уже доказывается адресом и депутацией псковского дворянства), и я надеюсь, что опыт заставит избегнуть в речах того духа сословности, который необходимо влечет за собой враждебное расположение масс к самому движению. Я надеюсь также, что опыт заставит избегнуть неопределенности в адресах. Говорят, будто дворянство не имеет права говорить только о себе, о своем сословии. С этим я совершенно не могу согласиться. В таком случае и московское дворянство не имело бы права мимоходом упоминать о земстве и рассуждать о проекте Подольского уезда. Я думаю, что там, где дворянство прямо поведет речь о Земском соборе, там оно примирится с земством, само пойдет на слитие с земством; а это главное, потому что на удачу перед правительством и без того рассчитывать нечего. Можно требовать Земского собора, *на котором была бы постановлена* конституция, или, по-русски: «учреждение областей и их местного и общего самоуправления»; а октроированных конституций у нас достаточно прошло перед глазами, не принося никакого действительного обеспечения народам и не внося в людские отношения никакой человеческой правды.

Правительство, вследствие своей несамоуверенности, вероятно, прибегнет к вызову довольно забавных противуконституционных адресов со всех концов империи, прежде чем даст какую-нибудь дрянненькую конституцию, которая никого не удовлетворит. Оно пока еще слишком самодовольно смотрит на свои реформы, начиная хотя бы с судебной. Оно не замечает, что весьма легко составить кодекс a priori, не соображаясь ни с каким данным народонаселением; не меньше того легко перевести иностранный кодекс и считать этот труд делом науки. Но чтоб учреждения вышли из живого, народного понимания и, следст-

венно, совершенно соответствовали потребностям народной жизни и народному здравому смыслу,— этого нельзя сделать без участия народного представительства. Как ни важен шаг к предполагаемой гласности суда и как ни странно реформирующее правительство подготовляется к нему усиленными злодействами своего военно-уголовного судопроизводства, тем не менее сомнительно, чтоб судебная реформа установилась, не возбуждая в народе потребность общего участия в составлении своеобразного русского судопроизводства.

Но пора мне кончить и отложить до следующего раза посильный разбор нашей судебной реформы. Несмотря на все горькое, совершающееся в России, и несмотря на все недостатки, ошибки и неудачи разных попыток к лучшему, дайте мне заключить это письмо выражением моей полной веры в близкое, по времени, соединение разночинства с народом, дайте вспомнить старинное дорогое слово, в которое я теперь верю больше, чем когда-нибудь: eppur si muove *.

P. S. Не могу не сказать вам еще несколько слов о совершающихся и предлагаемых реформах.

Я упомянул вам мимоходом об освобождении крестьян в Грузии. Со временем я еще представлю вам более подробный отчет о «законоположениях о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости в Тифлисской губернии», законоположениях, напечатанных texte en regard ** по-русски и по-грузински [19]. Теперь сообщу вам только некоторые особенности и замечания. Грузинский перевод русского текста до того плох, что ни один грузин не в состоянии понять его. Один ученый знаток грузинского языка докладывал Буткову, что перевод плох и что нужно перевести сызнова. Бутков отвечал или велел отвечать, что «дело не терпит отлагательства и что там (в Тифлисской губернии!..) найдутся хорошие *толкователи*». Какая удивительная поспешность у правительства, которое вообще реформу крестьянского быта основывало на принципе *постепенности*, а для Грузии *преимущественно*. В высочайшем указе правител. сенату (13 окт. 1864 г.) сказано: «признав

* А все-таки движется (ит.).— *Ред.*
** Параллельными текстами (фр.).— *Ред.*

необходимым действовать *постепенно* к освобождению и там (в Закавказском крае) крестьян от крепостной зависимсети, мы в то же время поручили главному за Кавказом начальству приступить к надлежащим по этому предмету соображениям. К осуществлению сих указаний наших приступлено *сначала в Тифлисской губернии»*.

Стало, дело было уже не так к спеху, чтоб не уделить лишних дня два на хороший перевод, если постепенность состояла в освобождении крестьян сперва в одной губернии, а в остальных со временем!

«За сим,— сказано в указе,— предположения о новом устройстве быта крестьян, находящихся в крепостном состоянии, и об отношениях их к помещикам в Тифлисской губернии были подробно обсуждены в особом на месте комитете, при участии приглашенных в оный для совещаний помещиков из каждого уезда».

И несмотря на то, что проекты законоположений были «предварительно рассмотрены его императорским высочеством наместником кавказским», и несмотря на совещания приглашенных только помещиков, «крестьяне недовольны бог знает как, а дворяне и того хуже».

Из предполагаемых реформ я всего более обращу ваше внимание на толки в правительственных сферах о продаже казенным крестьянам их земель, в особенности лесов. Мало того, что императорство окончательно не только ограбило почти на пол-Россию у народа его же землю для отдачи помещикам, да еще и самый народ отдало им в рабство, теперь, когда правительство, отменив крепостное состояние, продало крестьянам *будто бы помещичью* землю, исказило этой продажей основания крестьянской общины вместо способствования ее развитию,— теперь оно намерено казенным, т. е. у помещиков в рабстве небывалым крестьянам, продать *будто бы казенную* землю. Да что же такое, наконец, казна? Где ее право на свою частную, личную собственность? Поземельная собственность — собственность народная, а казна — это контора, куда поступают подати и выдаются правительству для расходования на общественные нужды. Торговать народной собственностью казна вообще не имеет права, а продать ее самому же народу — это похоже на то, как если б кто с вас снял сапоги и потом вам же их и продал, да еще по какой цене вздумалось. Что же касается до продажи

крестьянским общинам, преимущественно перед другими землями, лесов, будто бы казенных, то у правительства есть намерение после этой продажи взять лес опять в казенное управление, будто бы для сбережения лесов, которые крестьяне воровски истребляют. Не говоря уже о том, что это было бы ни с того ни с сего создать новый огромный налог — и только, ничего, в сущности, не изменяя,— пора же, наконец, правительству понять, что если крестьяне воруют и истребляют леса, то это просто оттого, что при казенном управлении они не иначе могут пользоваться лесом, как за взятки, и чем больше взятка, тем больше можно взять лесу и тем легче добиться до сделки с казенным управлением, которое ведет дело так, что это истребление лесов, прикрываемое пожарами и иными средствами, узнается только по прошествии такого времени, когда управление все концы припрятало и никакой формальный контроль или розыск для него не опасен. Что же переменится, если на крестьян наложат новый налог годовых взносов за будто бы покупку леса, а лес останется в казенном управлении? Не знаю, как октроированная конституция, но учреждение русского народа, постановленное Земским собором, наверное такой проделки не допустит.

ЧАСТНЫЕ ПИСЬМА ОБ ОБЩЕМ ВОПРОСЕ[1]

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Вы допрашиваете меня, друг мой, о том, что такое, наконец, социализм? как он произошел, что он произвел в Европе? в каком отношении к нему стоит Россия и русская община и артель? Мой ответ принимает такие размеры, что в одном письме его не выскажешь *. В самом деле, тут стекаются все современные вопросы и все требуют разрешения в одну общую цель — подобным, может быть единым, путем достижения. Как ни трудны не только разрешение, но и самая постановка вопросов, а все же отказаться от этой работы, по мере сил, нет ни права, ни охоты.

Итак, начнемте сначала: каким образом развитие и положение Европы привело к первой мысли о социальном устройстве?

Следы понятий общинного (социального) владения и общинного труда встречаются и в древнем мире **. Мысль о владении и труде сообща и разделе доходов соответственно нуждам каждого так же естественна, как и мысль о владении в раздел (особо, лично), о труде в раздел, об

* Две статьи, помещенные «К концу года»[2] в двух последних листах «Колокола», так органически, естественно втекают в письма Огарева *о русском социализме,* так служат им введением, что я не счел нужным продолжать их.— И — р. [Примечание А. И. Герцена.— *Ред.*]

** Я не думаю, чтоб слово *социальное* можно было по-русски перевести иначе, как *общинное.* Об этом столкуемся впоследствии.

отдельном пользовании с труда и владения. Осуществление той или другой мысли является смотря по обстоятельствам. В самом патриархальном мире при деспотическом управлении вождя мы найдем попытки общинного устройства владения землей (так, в древней Индии сбор жатвы принадлежал селу), стадами (у кочевых племен), долею при раздельном труде, долею даже при совокупном труде. Взгляд на поземельное право является различным: иногда община владеет известным участком земли, принадлежащей государству (народу); иногда лицо владеет участком земли, принадлежащей государству (так, у евреев лицо могло владеть участком только известное число лет, потому что земля божия — сказано в Левите (3-й книге Моисеевой), гл. XXV, § 23).

Но вообще при географическом неравновесии рода человеческого является *захват*, и владение в пользу захватывающего (частная поземельная собственность), и труд в пользу захватывающего (рабство), и доходы в пользу захватывающего. Однако покоренные не могут быть оставлены ни при чем, и вот подвластные племена, которым по закону уже ничего не принадлежит, в действительности являются опять то при общинном, то при раздельном устройстве своего относительного владения, из которого платят подать трудом или долею дохода. Коренная точка отправления *захвата* тянет все общественное настроение только к выделу, к разделу и личной неравномерной собственности. Между тем успокоиться в неравномерности роду человеческому так же нельзя, как и чему бы то ни было в природе. Отсюда подвластие стремится к освобождению, раздел — к равенству, отношение личностей — к равноправности.

Древний мир умирает с идеалом lex agraria * — раздел поземельной собственности на равные участки между всем населением, которое предполагается достигшим безразличия классов и личной равноправности; раздел поземельной собственности на равные участки должен служить основой и обеспечением личной равноправности. В новом, европейском мире мы находим коренную точку отправления *нового захвата*. Из этого захвата вырабатывается вся история европейского мира. Подвластие

* Аграрный закон (лат.).— *Ред.*

стремится к освобождению, раздел — к равенству, отношение личностей — к равноправности. Понятие общинного поземельного владения совершенно исчезает, закончившись крестьянскими войнами; поземельная община в Европе оказалась слабее силы захвата и стерлась. Стремление раздела к равенству домогается своей цели — личным вытягиванием у захвата насколько чего возможно всякими окольными путями. Поземельная собственность или переходит от захвата во владение капитала посредством найма, или совершенно отходит от захвата в руки капитала посредством дробной продажи. Но большинство, т. е. народ, остается без *владения*. Капитал составляется из вытягивания от захвата и от бездомства — в средние руки. Труд и владение, т. е. два элемента ценности,— в разных руках, и потому, несмотря на все развитие промышленности, выросшей из поземельного (сельского) владения в фабричную (городскую) промышленность, ценность является фальшивою, ложною.

Тут я не могу не сделать небольшого отступления, или заметки, которая, может, станет между нами спорным пунктом, но которую мне высказать необходимо для того, чтоб вам было ясно дальнейшее развитие моего убеждения: ценность равна *труду* и *вещи*.

Приписать ценность тому или другому порознь невозможно. Хотя экономисты и говорят, что *только* труд дает ценность, ибо без приложения труда материал не имеет ценности; взятая совершенно абстрактно, мысль эта, может, и справедлива, но ее надо вытягивать из какого-то начала владения, прибавляя к нему историю труда, между тем как мы не в состоянии ни придать современным вещам ценности всего, родом человеческим в продолжение веков потраченного на них труда, ни приравнять нулю значение самих вещей. Вдобавок труд без материала не только не имеет ценности, но не имеет существования. Материал имеет стоимость сам по себе; это зависит от потребностей, от спроса и вызывает силы труда. Мы можем брать в расчет не историю труда, а материал в его современной стоимости и какой *труд* может быть к нему вновь приложен,— для нас важен *труд* и *материал*. Стоимость труда, при раздельности труда и владения, может повышаться и понижаться с возвышением или понижением стоимости материала, смотря по обстоятельствам,

по временным и местным условиям. Но истинная ценность лежит в соединении труда и материала; истинная ценность может явиться только при соединении труда и материала в одни руки. От этого для социализма основание *материала* чрезвычайно важно. А в материале основа основ — *почва.* От этого для социализма так важно основание общественного, народного владения почвой. Кредит может иметь только настоящая ценность, т. е. ценность, равная труду и материалу. Ремесленная артель, имеющая в виду не пользование почвой, а иным материалом (напр., сукном для портняжной артели),— <такая> артель нуждается в кредите собственно для приобретения материала. Если она представит в обеспечение настоящую ценность, уже существующую, а не проблематическую, не ценность in spe *, т. е. представит в обеспечение ценность, равную труду и материалу, тогда она получит кредит, который употребит для приобретения нового материала и впоследствии может развить новый кредит на основании новой действительной ценности, равной труду и новому материалу. Иначе труд *во ожидании* не представляет действительной ценности и, следственно, не представляет обеспечения, и кредит — только мечта или случайность, которая не приведет к общему результату. Отсюда заключение, что для создания артельного кредита необходимо предшествующее народное владение почвой, т. е. основное соединение труда и владения в одни руки, краеугольное основание действительной ценности.

Теперь возвращаюсь к моей исторической нити. Я сказал, что нахождение труда и владения в разных руках приводит к фальшивой ценности. Отсюда равноправность личных отношений достигает только юридического названия, номинального положения; раздел, несмотря на все свое тяготение к равенству, не способен достигнуть его; освобождение подвластностей совершиться не может. Таким образом ставила задачу, не разрешая ее, французская революция.

Еще отступление: говоря о развитии европейского мира, нельзя пропустить движения христианской религии, которой приписывается пересоздание древнего мира и с которой начинают историю новой Европы. Христианство

---

* В будущем (лат.).— *Ред.*

явилось как цельное, отвлеченное учение на замен старых религий и не касаясь практического вопроса общественного устройства. Оно было принято новопришедшими народами, которым никакого дорогого религиозного убеждения терять было нечего и у которых с оседлостью нарождалась потребность выйти из начала дикой кровожадности в начало личного благоволения, проповедываемого христианством. Личное благоволение человека к человеку могло смягчить нравы, но для него не требовалось никакого особого, обдуманного, с убеждением осуществляемого политического, гражданского, экономического, вообще общественного устройства. Христианство и до сих пор осталось в своей отвлеченности и потому прилагаемости к каким бы то ни было государственным формам; самая определенная сторона христианства — церковь — являлась сама как захват народной собственности и свободы; поэтому движение цивилизации в Европе, постепенно противу-церковное, церковь будучи не религиозным учением, а политическим учреждением [3]. Но самое существенное движение цивилизации касается не только освобождения от насилия церкви, как политического учреждения; оно идет из тяготения к освобождению вообще от захвата себе в собственность народами пришедшими владения народов, просто или прежде поселившихся. Так как это освобождение не кончено и нуждается в новом преобразовании, то начало этого нового преобразования никак не может играть роли христианства, т. е. роли учения настолько отвлеченного, чтоб оно могло быть прилагаемо ко всякому общественному устройству. Новое преобразование может быть, по преимуществу, только практическое, т. е. изменяющее самое общественное устройство, и потому его главное содержание *экономическое* и преследует остальные общественные формы только по мере важности их отношения к себе, по мере их связи с собой или их противуречия себе.

Теперь возвращаюсь к прежнему результату: французская революция (а также английская и другие) решала освобождение подвластностей из захвата посредством раздела и не могла решить его, потому что просто ровный раздел недостижим и немыслим. Он был бы мыслим и возможен, если бы жизнь общественная не имела движения и можно было все данные, из которых она слагается,

раз навсегда разрезать на части, как пирог, без всяких дальнейших или различных потребностей; но так как это невозможно, а владение у народа было отнято, то раздел не мог развиться дальше номинальной равноправности в личных отношениях, и эта равноправность, не имея действительного основания во владении, не могла удовлетворить требованию действительного освобождения.

Невозможность исхода освобождения в раздельную собственность была понята гораздо прежде французской революции. Следы этого мнения мы можем встретить и у средневековых мыслителей; но главное начало противупоставлению исхода освобождения в общинность, <а> не в раздел принадлежит XVIII столетию и в особенности английским мыслителям. Загляните, например, в Томаса Пейна [4]. Мысль эта была так нова, что прошла почти незаметно и не только нигде не нашла практического приложения (которого не нашла и до сих пор), но не имела ни читателей, ни последователей. Громко она явилась только после французской революции, когда безуспешность исхода в раздел уже оказалась на практике.

Но к чему же в Европе привел вопрос об исходе освобождения в общинность, а не в раздел? В сущности он привел к противупоставлению самостоятельности труда — власти владения, а не к соединению труда и владения в одни руки. Выросло стремление труда — помимо владения — создать новое общественное устройство. Эта мысль опять разветвилась на две, и не разом — <а> последовательно. Сначала она забыла, отбросила существующий мир и принялась за построение нового мира в книге; это ее теоретический период, где единственная попытка практического приложения была сделана Кабэ — <и>, конечно, не удалась потому, что хотела жить вне мира сего и невольно возвратилась к какой-то моисеевской постановке, которая не могла удаться.

Потом из теоретической мысль перешла в практическую; стали составляться соединения труда (помимо владения) в виде рабочих ассоциаций, и также не могла удаться, потому что создать ценность трудом без владения так же невозможно, как создать ценность владением без труда (в понятии это все равно, что отделить человека от природы и поставить их самих по себе, порознь). История совершилась посредством насилия владения над

трудом; труд сделался элементом, подвластным владению; его присоединение посредством подвластности ложно. Ценность, несмотря на ее экономическое определение новейших времен, принимает фальшивое значение на практике, а отсюда и вся общественная жизнь в ложном положении, потому что все отношения — ложны. Но труду, как бы он ни соединился между собою, отрешенно от владения, достигнуть своей цели — т. е. соединения с владением и восстановления естественной ценности (труда и вещи) — составляет задачу или вовсе неразрешимую, или до такой степени длинную, что она равняется бесконечности. Отсюда, практическая постановка общинного (социального) начала в Европе привела скорее к миражу, чем к действительному результату...

Мы должны заняться рассмотрением теоретических социальных построений и практических социальных попыток в Западной Европе, ради того чтоб показать все возбужденные ими общественные вопросы и, наконец, определить понятие и значение социализма.

Итак, до следующего письма.

2

ПИСЬМО ВТОРОЕ *

Не думайте, что в письмах к вам я возьмусь за подробное изложение каждого социального учения; это возможно разве в целой отдельной книге, которую издать было бы очень полезно, но требует участия многих рук и сообразного распределения труда. Моя цель только показать вам, как в наше столетие в Европе мысль социализма вступила в движение, какими главными теориями заявила себя, к чему пришла в действительной жизни, да потом и перейти к практическим данным, к исторически возможным выводам (результатам).

И тут опять я не обойдусь без маленького отступления... Мне надо остановить ваше внимание на этом понятии «вывод», или «результат», ради его противоположности с понятиями «пророчества» и «отвлеченного построения».

Вывод — это заключение, следующее за рядом исследований, наблюдений, определенных данных; если дело

* Письмо первое см. 211 л. «Колокола», 1 января 1866.

является как вопрос, как задача, то вывод есть уяснение на основании уже найденных, уясненных фактов, разрешение неизвестного по его отношению к ряду известных. Пророчество, напротив того, только фантастическое предположение, что вот то-то непременно совершится таким-то образом — и тут берется или отношение к несуществующему факту, или несуществующее отношение к какому-нибудь факту *, или просто не берется никакого основания и вообще предположение дается на веру. Также и отвлеченное построение есть принятие какой-нибудь мысли на веру и потом из этой мысли ведется ряд заключений, которые из нее, может быть, и следуют, но самая мысль и эти заключения вовсе не обращают внимания на действительность вещей и их значение и могут с ними совершенно не совпадать. К пророчеству и отвлеченному построению человек чрезвычайно склонен; они ему кажутся ясны, хотя бы и не были ясны; на них основаны успехи вообще всех религий и метафизик и все трудности, становящиеся на пути положительного знания, которое есть только «вывод» из известных определенных данных, и на пути положительного дела, которое есть практический «вывод» из существующих обстоятельств, постановка в жизнь — искомого, выведенного положительным знанием. Уже из этих вскользь сказанных определений вы видите, как глубоко расходятся направления положительного «вывода» и «мистического или метафизического построения».

Вы, вероятно, знаете книгу Конта (Traité de philosophie positive) **[5] и, следственно, знаете его деление истории на эпохи религиозные, эпохи метафизические и эпохи реального (положительного) изучения. Как ни трудно провести в истории резкие разграничения, вставить в рамки классификации жизнь, которая слагается из многоразличных элементов и переливается из одного склада в другой непрерывным током, как ни трудна такая задача, как ни опасно ей самой попасть в круг метафизического

* Так, например, в гадании будущее берется по отношению к какой-нибудь семерке; или сновидение, вместо исследования физиолого-патологической деятельности мозга во время сна и участия в ней памяти и впечатлений прошедшего, принимается за предсказание будущего, и пр. и пр. т. п.

** «Трактат о позитивной философии» (фр.).— *Ред.*

построения *,— тем не менее *это* деление Конта выведено из совершенно верного наблюдения. Его можно подметить не только в истории, но в каждой человеческой жизни, хотя бы самые переходы из одного склада в другой и оставались неуловимы. Потребность достоверности в понимании и жизни заставляет детство, при неразвитости средств и сведений, прибегать к фантастическим образам и верить в их существование, в случайностях искать предзнаменований, пророчествовать; заставляет юность, также при неразвитости средств или сведений, из отвлеченной мысли, хотя бы ничем не доказанной, развивать и принимать за действительность целый отвлеченный (метафизический) мир, нимало не заботясь, насколько по дороге встречается вещей, его опровергающих. Наконец, только зрелый возраст ищет достоверности в наблюдении и опыте, т. е. в положительном изучении действительных данных, и на нем основывает свои «выводы». Я не спорю, что пути обычно являются смешанными: подчас ребенок прибегает к наблюдению и опыту; подчас зрелый человек, ошибаясь в наблюдении, сворачивает на метафизические построения и фантастические верования; но все же означенные три способа искания достоверности в понимании и жизни (религиозный, метафизический и положительный) друг от друга различны, и тот или другой является главным, существенным, преобладающим деятелем разных возрастов человека (даже в его обыденных отношениях) и разных эпох истории, так как каждый способ присущ тому или другому физиологическому складу или строю общественных обстоятельств.

Боюсь закончить это отступление, не объяснившись с вами, сколько возможно, дотла; боюсь, чтоб вы не придали «названиям» какого-нибудь иного значения и не приписали мне мыслей, которых я не имею. Таким образом, не подумайте, чтобы я слову «метафизика» и слову «философия» придавал одинакое значение и разом изгонял из положительного понимания метафизические и философские вопросы. Под словом «философия» обычно разумеются общие мировые основания или общие основания целой группы явлений, и потому философские вопросы составляют естественную потребность человеческого разу-

* К сожалению, Конт впоследствии не избежал этой ошибки!

мения; только «метафизика» решает их на свой лад, т. е. принимает за философское основание предполагаемые ею мысли, идеи, предшествующие фактам, и группирует факты сообразно им, между тем как положительное понимание из существующих фактов *выводит* общий закон их существования, который и есть уяснение, решение философского вопроса. Поэтому Конт был совершенно прав, назвавши свою научную методу «положительной философией».

Заметьте также разницу между «математической» методой и методой «отвлеченного построения (метафизической)». Математическая метода есть *вывод* из существующих количественных отношений, постоянное разрешение уравнений; между тем как «отвлеченное построение» есть произвольное развитие системы на основании предположения. Поэтому я не могу разделять мнения, чтобы математическая метода была дело чуждое в понимании какого-либо вопроса, не исключая вопроса общественного, и не могу себе представить, чтобы она, сознательно приложенная, не входила в разрешение этого вопроса как важное пособие. Если я стану избегать ее в наших письмах, то это, конечно, вина не математической методы, а наших личных затруднений *.

Кажется, мы теперь уже не собьемся в смысле главных выражений, попавшихся нам по дороге, и можем свободно переходить собственно к нашему предмету. Я надеюсь, что мое маленькое отступление нам впоследствии во многом поможет.

* До сих пор у нас математика — дело совершенного специализма, да еще преимущественно технического; не знать ее не составляет необразования, которое относится только к незнанию этико-литературных и консервативно-политических затвержений. Эта точка зрения введена у нас филологией и прет в так называемое классическое образование, не замечая, что она домогается обобщения специализма, ни к чему, кроме себя, не приложимого, и враждует против науки, которая есть действительно общая, потому что дает основание, прием, методу для постановки и разрешения всякого отношения, всякой мысли. «La pensée n'est que la conception d'un rapport» [«Мысль есть не что иное, как понимание соотношения» (фр.).— *Ред.*],— говорит Курно [6]... Как бы то ни было, покуда власть на стороне филологии, математика — несмотря на то, что единственная наука, в которой самые выводы á priori совпадают с ходом действительности,— большей частью остается недоступною, едва касаясь начальной арифметикой до юношей, не готовимых специально к какой-нибудь военной или штатской технике.

Во-первых, оно нас наводит на вопрос: что́ же такое в общественном деле его *положительная* сторона, его *положительные данные,* на которых может быть основан *положительный вывод?* Общественная жизнь не есть какой-нибудь завершенный факт, в котором, зная его элементы и их связующую силу, мы имеем, как вывод, его постоянную форму — и наша задача решена. Общественная жизнь слагается из элементов прошедшего (традиции) и новых потребностей, следственно, идет путем постоянной реформы. Новые потребности необходимо возникают из элементов прошедшего или просто как их видоизменение, перестановка, новое сочетание, или как совершенное противоречие (antinomia), вызываемое в человеческом понимании отживанием и несостоятельностью сложившихся элементов и приводящее к новому устройству, но которое, заметьте, не может так оторваться от своей почвы, чтоб начать общественную жизнь будто совсем сызнова, отбросив элементы прошедшего как несуществующее. Напротив того, новому устройству приходится перерабатывать именно данный исторический материал, а не иной: чем больше в этом материале элементов, подходящих к новому пониманию, тем легче прививается к жизни новое устройство; чем больше сила традиции преобладает над силой новых потребностей,— тем невозможнее новому устройству привиться к жизни. Как пример последнего опять приведу вам римское lex agraria *, возникшее из *противоположности* римскому началу собственности, отжившему и несостоятельному перед насущными потребностями римского населения; но сила традиции преобладала, и lex agraria не привилось к жизни, и все, что оказалось возможным,— это переход к неудовлетворяющему, безвыходному колебанию интересов и затем постепенное разрушение старого мира, со всеми его проектами переустройства, к которому он стал неспособен **. Новый обществен-

* Аграрный закон (лат.).— *Ред.*

** «Роковым образом переплетается в тогдашнем Риме двоякое неудобство — выродившейся олигархии и еще не развившейся, но уже червоточиной подъеденной демократии»... (Römische Geschichte von Theodor Mommsen, 2 Band, 4 Buch, Kapitel II, Berlin 1861, 3 Auflage) [«История Рима» Теодора Моммсена, 2 том, 4 книга, глава II, Берлин 1861, 3 издание (нем.).— *Ред.*]. Советую вам перечесть 2-й и 3-й томы этой книги; ничто вам так не напомнит все вопросы современной Европы.

ный вопрос мог только разрешиться осуществлением потребности поземельного равенства, совпадавшей в мнении народном с достижением насущного хлеба и всего житейского благосостояния; но осуществление поземельного равенства зависело от состава силы народной и от удобств преобразовать в это равенство старые элементы собственности. Между тем удобств к этому преобразованию в элементах старой собственности не было никаких; сила сословий, имевших ее в руках по праву древнего и позднейшего исторического захвата, сила сословий традиции и капитала, была *по крайней мере* на столько же сильна, как сословие новой потребности, или, по крайней мере, на столько сильна, чтоб мешать ей составиться (организоваться). Таким образом, в этом раздвоении сил и стремлений лежал постоянный спор и недостижимое разрешение. Покончить спор предстояло только третьей силе, силе посторонней, и решение должно было притти только на основании посторонних целей и, следственно, несообразно ни с старыми элементами, ни с новыми потребностями. Так, вместо идеала равенства, началась новая всемирная монархия, чтобы рушиться под наплывом мира дикого.

Впрочем, эта оценка прошедшего по механическому расчету действовавших сил не может же вам показаться сомнительной, потому что равно согласна и с фактами и с количественным (математическим) отношением сил, принимавших в них участие, т. е. согласна с рассудком. Скорее она приведет вас к наблюдению, что положительных, хотя и гибнувших сил общественной жизни, во время оно, все же было две, что новая потребность точно так же играла роль действующей силы, как и старый элемент, что мы ее должны принять точно так же за положительную общественную силу, как и старый элемент, и, наконец, что весь вопрос, равно для оценки прошедшего и для *вероятностей* исхода в будущем, заключается в способности новой потребности составиться (организоваться) в силу и в способности старого элемента по ней преобразоваться. Конечно, я не стану теперь входить в подробный разбор неудавшейся новой потребности древнего мира в поземельном равенстве; но я думаю, что могу, не приводя вас в сомнение, сделать еще тот вывод, что когда старый элемент в своем общественном быте не содержит ничего для основы новой потребности, то этой новой по-

требности, или новой силе, не только трудно удержаться, но даже трудно уясниться и притти в положительный состав.

Под впечатлением этого вывода я перейду к современному европейскому миру. Его экономические отношения развивались из феодального захвата собственности, следственно, из простого обирания захватывающими у покоренных почвы, ее произведений и труда человеческого; это развитие переходило, при усложнении обстоятельств, из наивной системы исключительной войны и грабежа в многосложную систему посредствующей торговли и выросло в самостоятельное среднее сословие, в аристократию капитала. Очевидно, впоследствии обоим захватывающим сословиям — падающему феодализму и составляющейся в силу денежной аристократии — из древнего римского мира сподручно было почерпнуть его законодательство, потому что в общественных отношениях оказывалось много сходного и нить предания была скорее запутана и потерта, чем порвана. Кой где, особенно на итальянской почве, не прерывалось даже предание республиканских начал и переходило у городских населений в понятие народной воли. Но собственно понятию народного владения вещью и общинного труда положительных оснований в феодально-купеческом мире никогда не было, и они могли возникнуть только путем отрицания, как новая потребность общественной жизни в противоположность феодально-купеческому строю, опирающемуся на римско-юридических основаниях. Поэтому новая потребность — как дело чистой антиномии — не росла прямо из действительной жизни, а возникала медленно и смутно, и мы в течение средних веков с трудом можем найти ее выражение у отдельных мыслителей, мечтающих неясно об особом мире, или встречаем ее выражение в минуты страстной борьбы по другим (религиозным) вопросам. (Например, в XIV столетии, под религиозным влиянием Виклифа[7] у народных проповедников, как John Ball[8] и пр.). Но сколько-нибудь ясное выражение новой потребности мы еще едва находим (как я вам говорил в прошлом письме) у некоторых незаметно прошедших английских мыслителей XVIII столетия, и, наконец, в первый раз встречаем новую потребность сколько-нибудь определеннее, хотя еще совершенно идеалистическую и не способную составиться в действительную силу слова или дела,— встречаем во

время французской революции у Бабёфа[9]. Она не прививается к жизни общественной, но служит зачатком всего последующего движения французского социализма, и потому она для нас чрезвычайно важна и я прямо с нее начну речь о нашем предмете.

Система Бабёфа для нас тем интереснее, что по ней можно наглядно проследить, как теоретические создания общественного быта, не имеющие корня в общественной жизни, составляются легко, ни на чем не запинаясь, увлекают своих творцов кажущейся легкостью приложения, но не прилагаются, и если содержат плодоносную мысль, то она вырастет не на их почве и не в их время, а там, где пойдет от своего природного корня, и тогда, когда этот корень достаточно зажил для своего ростка.

Бедный Бабёф! На него так привыкли смотреть как на лицо менее первостепенное, что его неудачи изучаются спокойнее и, следственно, яснее, чем неудачи позднейших, ближе к нам стоящих знаменитостей; а большая часть его экономических и социальных истин, всеми повторенных, приписывается его первоклассным современникам или его преемникам. В этом случае речь о первенстве имеет огромную важность. Мы иной раз встречаем во французской политической литературе желание упрочить за французской революцией, особенно в лице Робеспьера, первую мысль, первое движение социализма — из пристрастия ли к Робеспьеру, или для того, чтоб во французском народе увидать все элементы социальной будущности. Но, изучая Бабёфа, мы, напротив того, должны притти к заключению, что первая мысль социального устройства во Франции принадлежит Бабёфу и его тайному обществу, что Бабёф и его товарищи пришли к ней не на основании народного обычая, которому их система составляла бы завершение, к которому относилась бы как результат к своим предшествующим, положительным данным; что Бабёф и его товарищи пришли к ней *литературно,* следуя по пути отрицания философии XVIII столетия; что элементов социального устройства их система не встретила не только в исторической, дореволюционной, но и в самой революционной Франции, La France de la montagne *, и что литературный результат, выработанный на

* Франции «горы» (фр.).— *Ред.*

пути отрицания Бабёфом с товарищами, отнюдь не составился в силу, способную преобразовать в себя традиционные, положительные элементы общественных отношений, элементы настолько сильные, что перешли из традиции в революцию и сохранились в ней.

Эдгар Кине в своей истории революции (том II, кн. 15) [10] приводит слова из неизданных записок Бодо (Baudot): «Конвент не имел иного понятия собственности, как понятие Гражданского уложения (Code Civil): конвент всегда считал собственность главным основанием общественного устройства. Я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь из членов этого собрания выразил предложение, противное этому принципу. Конвент часто обвиняли в убеждениях, ниспровергающих всякую собственность. По моим точным сведениям, нельзя найти ни единого слова, ни единой фразы, сколько-нибудь подтверждающей это обвинение».

«Это,— говорит Кине,— не неопределенный, преувеличенный взгляд человека, работающего в пользу какой-нибудь цели; это непосредственное впечатление, вынесенное человеком, посвященным в тайны своей партии и которому было бы невозможно закрыть глаза на такое громадное дело, как проект поглощения личной собственности. Это было бы то же, что не знать о существовании Везувия, живя возле жерла. Мнения конвента в 1793 году, т. е. мнения «горы», так мало вели к учению о равенстве имуществ, что Бабёф, когда обнародовал свое учение, набросил подозрение на всех членов конвента, без исключения. Он спервоначала решил не допускать никого из них на свои совещания. С другой стороны, при открытии заговора самые смелые, самые предприимчивые монтаньяры так удивились этому разражению утопий, что усомнились в искренности вещей, слышанных ими в первый раз отроду. Они долго упорствовали в убеждении, что заговор был только капкан, поставленный им директорией; директории они приписывали изобретение учения «о равных» и видели в нем только полицейскую уловку. Их недоверие в этом случае шло так далеко, что они признали существование проектов и мнений Бабёфа только тогда, когда Буонаротти снял все завесы в своих «Записках» * [11], а это случилось

* Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf, par Buonarroti, 1828 [«Бабеф и заговор равных», Буонарроти, 1828 (фр.).— *Ред.*].

двадцать лет спустя, во время Реставрации. Итак, очевидно, что монтаньяры конвента нисколько не тянули к системе коммунизма или к равенству имуществ. Что касается Робеспьера, то нетрудно заметить, что он также мало клонился в эту сторону. Его выражения на этот счет так сильны, что вяжут его по рукам. «Вы должны знать,— говорил Робеспьер 24 апреля 1793,— что аграрный закон, о котором вы так много говорили,— не более, как призрак, созданный мошенниками для устрашения малоумных. Доказать миру, что огромное неравенство достояний служит причиной многих бедствий и многих преступлений, можно было и без революции. Тем не меньше мы убеждены, что равенство имуществ — химера. Гораздо важнее сделать бедность достойной почтения, чем уничтожить богатство».

«Правда,— продолжает Кине,— что в прении с жирондистами о конституции Робеспьер шел дальше. Он хотел иметь над ними большой перевес, и, не отрицая собственности, он требовал 24 апреля, чтобы народ не принимал участия в общественных расходах, которые падали бы исключительно на богатых... Но после победы (над жирондистами) он отрекается от своих слов и 17 июня 1793 говорит: «Я одно время разделял заблуждения Дюко (Ducos); кажется, я даже *где-то* писал об нем. Но я возвращаюсь к настоящим принципам; я просвещен здравым смыслом народа, который чувствует, что снисхождение, ему предлагаемое, есть только оскорбление... Оно породило бы сословие пролетариев, сословие илотов, и равенство и свобода погибли бы навсегда».

Кроме этой выписки из Кине *, я выпишу вам некоторые пункты из самого законодательства 1792—1795 годов.

Эта чрезвычайно интересная книга теперь становится редкостью, а нового издания не предвидится. Замечательно, что Буонарроти, ни в чем не расходящийся с Бабёфом, его ярый последователь, сам не подозревает, что они проповедуют социализм.

* La révolution par Edgar Quinet, Paris, Librairie Internationale, 1866. [«Революция» Эдгара Кине, Париж, Изд. Интернациональная библиотека, 1866 (фр.).— *Ред.*]

Если вы еще не читали книги Кине о революции — прочтите, это, конечно, одно из самых замечательных французских изданий последнего времени.

Например, «провозглашение прав человека и гражданина, предложенное Максимилианом Робеспьером» *.

«Пункт 6. Собственность есть право каждого гражданина пользоваться и располагать по произволу (à son gré) той долей состояния, которая за ним обеспечена законом».

«Пункт 7. Право собственности каждого, как все остальные права, ограничено обязанностью уважать права другого» [12].

В текст конституции 1793 года ** этот порядок мыслей перешел в следующей форме:

«Пункт 2. Права суть: равенство, свобода, обеспеченность (sûreté), собственность».

«Пункт 8. Обеспеченность состоит в покровительстве, оказываемом обществом каждому из своих членов для сохранения личности, прав и имуществ».

«Пункт 16. Право собственности есть право каждого гражданина пользоваться и располагать по произволу (à son gré) своими имуществами, доходами, плодами своего труда и промышленности».

«Пункт 18. Каждый человек может законтрактовать свои услуги, свое время, но не может ни продаться, ни быть проданным. Личность не есть отчуждаемая собственность. Закон не признает холопства (domesticité); может быть только контрактование прислуг (soins) и благодарности (reconnaissance) между человеком, который работает, и человеком, который его употребляет на работу».

«Пункт 19. Человек не может быть лишен самомалейшей части своей собственности, без собственного на то согласия, исключая случаи общественной необходимости, законно подтвержденной, и под условием справедливого и наперед уплоченного вознаграждения».

«Пункт 21. Общественная помощь есть священный долг. Общество обязано давать пропитание несчастным гражданам, или доставляя им заработок, или обеспечивая средства существования тех, которые уже не в состоянии работать».

«Пункт 22. Образование (instruction) — потребность всех. Общество должно поощрять всеми силами успехи общественного понимания (progrés de la raison publique) и сделать образование доступным для всех граждан (mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens)».

«Пункт 23. Общественная порука (garantie sociale) состоит в действии всех для обеспечения каждому пользования и сохранения его прав; эта порука основана на народном владычестве (souveraineté national)» [13].

---

* «Déclaration des droits de l'homme et de citoyen, proposée par Maximilien Robespierre».

** Constitution de la République française, décretée par la convention nationale en 1793. [Конституция Французской республики, декретированная национальным конвентом в 1793 г.— *Ред.*]

Я выписываю эти пункты, чтобы показать вам порядок мыслей о социальном устройстве, дальше которого во Франции 1793 года не шла самая крайняя партия, представлявшая действующую положительную силу, силу, около трех лет стоявшую на степени верховной власти,— партия якобинцев, партия горы. Вы видите, что этот порядок мыслей не содержит ничего из тех оснований, которые мы определенно или неопределенно привыкли называть социализмом. Но даже и этот порядок мыслей не выдержал перед наплывом силы *капитализма* и перешел через директорию в империю. Сила капитализма росла от живого, исторического корня; в капитализм разрешалось умиравшее феодальное владычество; капитализм стоял идеалом для всех стремлений пролетариата; капитализм мог найти поддержку в империи, которая ему не мешала и которой он не мешал. Аграрно-республиканская, неясно уравнивающая, древнеклассическая, отрицательно-неполная мысль горного конвента могла увлечь в минуту борьбы, но и ее власть не имела никакой прочной основы в общественных отношениях капитализма.

И еще раз повторяю вам: тем меньше мог проникнуть в жизнь народа социализм Бабёфа, что с Бабёфа только начинается социализм, социализм, который в сущности ничего не имеет общего даже с классическим «братством» конвента, социализм, которого имени еще не назвали ни Бабёф, ни его последователи, но *в успех которого они верили в то <самое> время,* как, составляя заговор, находили себя вынужденными поставить на его знамени конституцию 1793 года (с которой не были согласны) для того, чтоб *цель заговора была сколько-нибудь понятна массам!* Стало, их социальная цель не была понятна массам.

Не будь Бабёф с товарищами — идеалисты, они, прежде чем верить в успех дела, для которого надо искать чужого знамени, поискали бы в общественной жизни Франции оснований, которых последствия могли бы совпадать с их социализмом. С тех пор социализм Бабёфа развился во Франции *литературно;* но укажите мне, где развились во Франции реальные элементы, которые пустили бы в рост им присущий социализм?..

Впрочем, вернемтесь к самой системе Бабёфа...

3

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

В письмах позволяется быть искреннее, личнée, чем просто в статье, и я сознаюсь, что пишу к вам о Бабёфе не без волнения — так люди и идеалы французской революции, на которой *мы все* выросли и воспитались, еще памятны, близки, родственны. Я говорю *мы все,* потому что, сколько в себе встречаю не стертых следов того времени, столько же и в ваших молодых стремлениях нахожу из него усвоенных, отчасти переобразованных, но все тех же убеждений. Язык у вас другой, прибыло несколько научного опыта и понимания, а основа мало изменилась, так что в том, чтó теперь кажется новым, я узнаю старое и еще не совсем переработанное. Французская революция набросала столько идей, или, лучше сказать,— идеалов, что им еще и теперь не пришлось дойти до настоящей проверки и развития. Сама Франция, может, всего более * способна достигнуть этой задачи и вынесла из нее только огромное самолюбие или самоудовлетворение за постановку идеалов, самоудовлетворение, которое отнимает способность на их реальное развитие и осуществление.

В приложении я хочу вам представить одно из писем Бабёфа, в котором, мне кажется, он всего ярче и полнее выразился; это его ответ какому-то гражданину М. В.[14], затаенному консерватору, который требовал от Бабёфа плана его организации общественного равенства; поэтому в ответе Бабёфа сосредоточились все его идеалы. Я его перевел почти целиком, кроме нескольких пропусков декламации, фраз, без которых ни один француз не может обойтись, даже сам Бабёф. Но в том, чтó я выписал из Бабёфа, вы найдете сущность им поставленных идеалов, выраженную языком того времени, всегда наивным, когда не переходит в декламацию и детскую веру в немедленное приложение идеалов, с одной стороны, нисколько не развитых для возможного приложения, а с другой — по сознанию самого автора — нисколько не понятных массам (как я уже говорил в прошлом письме). Тут вы легко убедитесь, что Бабёф не имеет себе действительного предшественника и приходит

* Описка Огарева; по контексту здесь должно быть: всего менее...— *Ред.*

к своей теории путем отрицания существующего. В мире, ему знакомом, современном, он видит зло и спешит заменить его всеми противуположностями. Он видит в нем зло тем больше, что и самая теория «горы» пала перед действиями слабой и не демократической директории; а Бабёф и с теорией «горы» не согласен, где он находит измену идее равенства — в принятии принципа собственности за основание. Между тем он в то же время себя считает преемником той же идеи равенства и, строя теорию отвлеченного социализма, убежден, что он построил только теорию равенства; для социализма же у него нет ни названия, ни определения. Поэтому я думаю, что я безошибочно сказал в прошлом письме, что у Бабёфа, в его теории, идет преемничество *литературное,* а не политическое, не вслед развития исторических фактов и положительных потребностей; оно идет из всего, существенно всосанного передовыми людьми того времени из философии XVIII столетия; оно идет дальше — прямым переходом к ее результатам, не зацепляясь о прежде или недавно пережитые обстоятельства; оно даже не имеет, помимо развития отвлеченной мысли, никакой основы в обычном праве народном, как у англичан; все, что история для него создала, кроме чуткой способности осязать современное зло,— это указание на превосходства и ошибки древнеклассического мира, но никакого, силой национального развития поставленного, основания для социальных учреждений. Древнеклассический мир (сделавшийся теперь в России таким педагогически-спорным пунктом) [15] мог дать философии XVIII столетия свои общефилософские, отвлеченные построения, вовсе идеалистические и просто умозрительные,— Платона и Аристотеля — и тут еще не было ничего натянутого,— и мог дать совершенно натянутое пристрастие к сближению французской жизни с греческою или римскою, искание подражаний, которые не привели ни к какому сходству — хотя бы и относительно французского цезаризма, с виду всего больше подходящего,— и ни к какой фактической реформе, которая не могла выйти из древнеклассических данных, сколько бы ни затрагивалось похожих вопросов, а должна была выйти из своих событий и общественных отношений. Жизнь, централизованная в Париже, давала, во время переворота, полный ход отвлеченным умозрениям и партиям, которые ими жили, но

собственно народ, и в самом Париже, волновали не умозрения, а минуты страстных ненавистей и безотчетных увлечений. Умозрения, основанные на римском праве собственности — droit d'user et d'abuser *, и внешней юридической равноправности, как <например> приведенное мною в прошлом письме «провозглашение прав человека и гражданина», были, конечно, ближе даже к парижским массам, чем теория Бабёфа. Они поощряли действительный идеал пролетария — выход в буржуа, и не мешали буржуа в праве копления и злоупотребления собственностью; они могли еще иметь за себя движения в противуположных станах, пока в одном стане массы не устали, а в другом силы не поднялись. Теория же Бабёфа имела наибольший успех в своем кружке и, несмотря на его веру в легкость, с которою ее можно объяснить народу, народ не понял ее значения и вскоре после казни Бабёфа и Дарте и ссылки их товарищей (7 мая 1797) с восторгом становился на пути национальной славы императорства, при котором капитализм окончательно выработал свое неограниченное владычество. Заметьте, что так отнеслись к теории Бабёфа парижские массы, по которым все же пробежало звучною волною ново-таинственное слово общечеловеческого братства и невольное потрясение от мысли о казни Бабёфа: чего же было ждать от провинций (кроме немногих местностей), ничего не усвоивших, ни во что не посвященных? ** А между тем вдумайтесь в теорию Бабёфа, хотя бы только из его письма к М. В.,— и, несмотря на все ее детское простодушие, вы найдете в ней зачаток всех социальных идей, развившихся впоследствии: *общинная собственность, соединение труда, распределение его сообразно силам и наклонностям, равное распределение предметов потребления, общее воспитание, перемена юридических оснований, упрощение законодательства, разделение страны по однородности местностей и удобствам почвы (федеративное или областное)*. Вы тут найдете в зародыше Сен-Симона и Фурье, и сквозь все это пробе-

---

* Право употреблять и злоупотреблять (фр.).— *Ред.*

** Товарищи Бабёфа, ссылаемые в крепость на остров близ Шербурга, закованные в цепи и запертые в решетчатые клетки, дорогою были торжественно встречены в Мельро, Аргентане и Сантило; а в Фалезе, Канне, Валонье подверглись большой опасности (*Бонаротти,* Заговор Бабефа, т. II).

жало совершенно противоречащее французское начало централизации и чиновничьего управления. Последнего противоречия сам Бабёф не заметил, так же как его не заметили и последующие французские социалисты. Чувствовать необходимость федеративного основания, без которого естественный социализм не может сложиться, и рядом с этим ставить во главе единой нации управление полновластного комитета, который не может обойтись без целой сети подчиненного чиновничества,— это, конечно, промах. Но мы едва ли и вправе требовать от человека, в первый раз ставящего перед обществом социальные идеалы, чего-нибудь, кроме этих идеалов; мы едва ли вправе требовать от него безошибочного приведения их в исполнение со всеми свойственными только им политическими формами. Тем более мы не вправе этого требовать, что если общественные идеалы и могут быть поставлены путем отрицания, как противоположность существующему общественному злу, то новые политические формы могут явиться не иначе, как слагаясь по направлению новых идеалов, *из существующего материала;* надеть на сколько-нибудь самостоятельное общество целое отвлеченное построение новых политических форм — чистая невозможность.

Бабёф верил в свои идеалы и их приложимость; в письме к М. В. он даже рисует картину последствий, вытекающих из введения его системы. Но мы находим в его «отрывке проекта экономического учреждения», что он сам ищет посредствующего пути для ее введения. Для этого он полагает в республике основание большой национальной общины, которая, мне кажется, должна была играть роль средоточия, откуда бы приложение теории распространялось и в известные сроки вступало в силу. Выпишу вам несколько статей из этого отрывка.

«Ст. 1. В республике будет учреждено большое национальное общество (или община, communauté, по выражению Бабёфа).

Ст. 2. Национальная община получает в собственность следующие имущества:

Имущества, объявленные национальными и непроданные 9 Термидора, II года (9 июля 1793);

Имущества врагов революции, переданные несчастным по декрету 8 и 13 Ventose (февраля) II года;

Имущества, доставшиеся или имеющие достаться республике по судебным приговорам;

Здания, назначенные для общественных дел;

Имущества, которыми коммуны пользовались до закона 10 июня 1793;

Имущества, состоящие под больницами и заведениями общественного образования;

Квартиры, занимаемые бедными гражданами, в исполнение прокламации Французам от *...;

Имущества тех, которые предоставят их республике;

Имущества тех, которые обогатились в общественных должностях;

Имущества хозяев, не занимающихся их обрабатыванием.

Ст. 3. Право наследства по завещанию уничтожается: все имущества, состоящие во владении частных лиц, по смерти их достанутся национальной общине» [16].

Я особенно обращаю ваше внимание на эту выписку, которая показывает всю трудность задачи. Подобное решение еще было бы возможно для сразу поставленного неограниченного правительства, и то под условием сразу повсеместно привести его в исполнение; но каким образом привести его в исполнение посредством общества, постепенно растущего и постепенно прилагающего свои постановления и, следственно, имеющего против себя врагов, которых материальная сила не уничтожена и у которых полное время на всякого рода противодействия? Это вопрос, где мы невольно приходим и к тому выводу, что заговор Бабёфа не мог удаться, и к тому выводу, что французская жизнь, по своему национальному или государственному единству, подчиненному одному центру (Парижу), может производить свои перевороты только посредством coup d'état **, где успех — более или менее продолжительный — принадлежит партии силы, сосредоточенной в столице, а собственно опоры в действительности, в народном обычае или народном понимании для развития социальных понятий, не находится. Бабёф чувствует, что эта опора необходима; но, несмотря на всю свою неподдельную преданность народу и благу общему, он ищет ее создать в будущей централизации, в проектируемом им будущем правительстве.

Так в следующем, за проектом экономического декрета, проекте постановления об общем труде мы находим

* Точки, очевидно, относятся к числу, которое еще будет назначено, и доказывают, что прокламация только имеется в виду, но еще не издана. Это встречается во многих местах проектов Бабёфа.

** Государственного переворота (фр.).— *Ред.*

регламентацию, которой исполнение и поддержание совершенно подчинено будущему правительству. Например:

«Ст. 6. Закон (а откуда он возьмется?) определяет для каждого времени года, сколько часов в день должны работать члены национальной общины.

Ст. 8. *Высшая власть* (l'administration suprême) будет прикладывать к трудам национальной общины употребление машин и способов для уменьшения человеческого труда.

Ст. 10. Переселение работников из одной общины в другую *предписывается высшей властью,* смотря по силам и потребностям общин.

Ст. 11. *Высшая власть принуждает* к насильным работам (travaux forcés, каторга) под надзором ею означенной общины мужчин и женщин, виновных в негражданстве (incivisme), праздности, роскоши и беспорядках, подающих дурной пример обществу. Их имущества приобретаются (sont aquise) в национальную общину» [17].

Откуда берет Бабёф свою *высшую власть* — невозможно проследить. Власти, посредствующие между высшей властью и общинами, подчиненные, *городские* (administrations municipales), учреждаются по выборам и имеют при себе совет из стариков, который их поучает; эти старики назначаются от каждого класса работников (ст. 7). Работники же разделяются на классы, смотря по роду занятий (ст. 4); это опять напоминает цехи. Городская власть извещает о состоянии работников высшую власть (ст. 9). По аналогии следовало бы заключить, что и высшая власть выборная, но положительно нигде этого не сказано.

Далее, при распределении и употреблении имуществ национальной общины, мы находим следующие замечательные статьи:

«Ст. 1. Ни один член общины не может пользоваться ничем, кроме того, что ему закон определяет, через действительное посредство члена городского магистрата (la tradition réelle du magistrat — следственно, начальника, чиновника).

Ст. 2. Национальная община отныне определяет каждому из своих членов: здоровую квартиру, спокойную и чистую; одежду для работы и для отдыха полотняную или шерстяную, смотря по национальному обычаю, мытье белья, освещение и отопление, достаточное количество пищи из хлеба, мяса, кур, рыбы, яиц, масла коровьего или оливкового (huile), вина и других напитков, употребляемых смотря по местностям; овощей, плодов, приправ и других предметов, которых совокупность составляет посредственное и скромное довольство. Помощь медицины.

Ст. 3. В каждой общине в известные сроки будут общие обеды, на которых члены общества будут *обязаны* присутствовать.

Ст. 4. Содержание гражданских и военных чиновников не различается от содержания членов общества.

Ст. 5. Каждый член национальной общины, получивший вознаграждение (un salaire) или сохранивший себе монету, должен быть наказан.

Ст. 6. Члены национальной общины могут получать свои порции только в округе, где имеют свои места жительства, кроме случаев переселений, *дозволенных правительством.*

Ст. 8. В каждой общине находятся чиновники (magistrat), имеющие обязанность раздавать по квартирам членам национальной общины произведения земледелия и искусства.

Ст. 9. Закон определяет правила этой раздачи» [18].

Наконец, в проекте об администрации национальной общины, мы находим:

«Ст. 1. Национальная община находится под законным управлением *высшей власти* (administration suprême de l'état).

Ст. 2. Относительно управления, республика разделена на области.

Ст. 3. Область (région) включает все прилежащие округи (departements contigué), которых произведения почти одинаковы.

Ст. 4. Каждая область имеет посредствующее управление (administration intermédiaire), которому подчинены все окружные управления (administrations départementales)» [19].

В проекте о монетах мы находим следующее:

«Ст. 1. Республика более не чеканит монеты.

Ст. 2. На оставшиеся в руках национальной общины монеты республика покупает у иностранных народов потребные предметы.

Ст. 3. Каждый человек, не принадлежащий к общине, уличенный в передаче монеты члену общины, будет строго наказан.

Ст. 4. В республику больше не будет ввезено ни золота, ни серебра»... [20]

Чтобы покончить с выписками, которых набирается, может, слишком много, выпишу вам еще проект революции Бабёфа, и тогда, кажется, уже окончательно могу сделать свои замечания. Вот этот

ПРОЕКТ

Равенство *Свобода*

Общее благо (bonheure commune)

«Революционное правительство общего спасения (directoire Insurrecteur du salut public).

...Основываясь на том, что торжественная революция сего дня должна навсегда уничтожить нищету, источник всех притеснений —

предписывает следующее:

Ст. 1. По окончании восстания, граждане бедные, ныне дурно помещенные, не возвратятся в свои жилища; они немедленно будут помещены в домах конспираторов (Бабёф, конечно, разумеет конспираторов против блага народного).

Ст. 2. У богатых, выше означенных, возьмется мебель для удовлетворительной меблировки санкюлотов.

Ст. 3. Революционные комитеты Парижа имеют принять все надлежащие меры для скорого и точного исполнения сего указа» [21].

Вы видите, что идеалы, поставленные в письме к М. В., все верны, все сохранились и в последующих социальных теориях и в последующих стремлениях рабочих ассоциаций, хотя и не осуществленных, но вы видите также, что в действительном приложении и в развитии подробностей своей теории Бабёф не находит реального общественного строя, не находит под собой почвы и создает рядом с социализмом правительственную централизацию, которой осуществление должно совершиться посредством coup d'état, т. е. в приложении <теории к практике> Бабёф хватается за невозможности.

Тем не меньше вглядитесь прежде всего в его хорошие стороны, и вы увидите, что в его идеалах высказан окончательно смысл французской революции, т. е. выход из мира римско-феодального и римско-буржуазного в мир социализма. Недаром Бонаротти, хотя и сам не видит в задаче ничего дальше революционной организации равенства и осуществления конституции 1793 года, с восторгом встречает возможность сравнения общины Бабёфа и общины Роберта Оуэна *. Задача поставлена. Бабёф — как я сказал — выводит ее из всех противоположностей и ищет ее логического развития. Вы найдете у него замечательное чутье, которое заставляет его касаться всех существенных вопросов, всех существенных предметов экономического общественного быта. Разрешить их правильно он еще не в состоянии, да они и теперь, семьдесят лет спустя, еще нигде не разрешены правильно; но заслуга Бабёфа в том, что он не проходит их мимо. Таким образом, в его курьезной, внезапной отмене монеты и в его проектах торговли и транспортов (увы! также совершенно

---

* *Ph. Buonarroti,* Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf. Bruxelles, 1828. [*Ф. Буонарроти,* Бабеф и заговор равных. Брюссель 1828.— *Ред.*]. Подстрочное примечание к стр. 296, т. I.

подчиненных исключительному распоряжению *высшей власти)* вы увидите чувство необходимости устранения торгового захвата, ажиотажа, и введения уравновешивания обменов (мены). Простим же Бабёфу, что он еще не находит иного средства разрешения задачи, как уничтожение монеты, как будто сила вопроса в таком или ином материале, из которого приготовляются деньги, а не в том, чтоб они, в каком бы виде ни было, находились в известном отношении к производительности и движению обменов. Простим Бабёфу неправильное разрешение задачи за ее постановку, которой развитие продолжается и теперь. В ней вы невольно усмотрите зародыш теории взаимности (mutualite), поставленной Прудоном [22] (о чем мы будем говорить впоследствии), теории, может также еще не разрешающей вопроса, но ближе подходящей к цели. Вы также найдете у Бабёфа, сквозь его построения централизации, сознание необходимости областного, федерального распределения края для осуществления социальных оснований. Вы также найдете (в самом письме к М. В.) его сознание дурного влияния в преобладании городов и необходимость новой организации сел. Но сила современного общественного строя, самый поток революции и недостаток опыта стягивают его в обычную колею, и все его построение фантазируемой централизации сводится на преобладание городов и растет не из потребностей целой народной массы, а из стремлений городского пролетариата, собственно парижского, и даже ограниченного числом небольшого меньшинства образованного пролетариата. Таким образом, теория Бабёфа не имеет опоры, вовсе не понятна народной массе и имеет против себя решительную, сплошную, сильную и деятельную враждебную ассоциацию всех собственников повсеместно, а в Париже имеющих за себя первого консула и беспощадное войско.

При этом не могу не заметить: я глубоко уважаю подражание, которое было для нас воспитанием — усвоением сделанного на Западе, уяснением им нашего былого (так социализм объяснил общину и право на землю); но несмотря на все это, мне становится больно и страшно за нашу подражательность европейскому обычаю, особенно французскому, подражательность, хранящуюся равно в правительственной сфере, в олигархическом конституцио-

нализме и в людях, ближе подходящих к социальному направлению. Я боюсь встретить в наших социалистах выставление вперед исключительно городского образованного пролетариата и приведение его в центр всех социальных стремлений, в особого рода сословие, при чем можно только достигнуть до ассоциации, не имеющей вещественной опоры, и до невозможной борьбы со всеми направлениями других сильно поставленных городских сословий. И это в то время, когда в России существует историческое основание сельского строя, стоящего на общинном владении почвы,— строя, к которому должен примыкать образованный городской пролетариат, образованное меньшинство. Оно должно примыкать к этому строю, если ему дорог не только свой кусок хлеба (который городская борьба едва ли иначе доставит, как выходом в буржуазию), а дорого собственно русское социальное дело; оно должно примыкать к нему всеми способами, какие имеет для проповедания более совершенной общинной организации села и введения ее в повсеместную жизнь большинства действительного, народного. Я не думаю, чтоб к подобному результату привело подражание худым сторонам теории Бабёфа, его невольной нераздельности от городского преобладания, которое во Франции развилось целой исторической жизнью, а в России зиждется на чиновничестве, чуждом народному строю, и падет с его преобразованием. Но об этом я еще поговорю в другой раз...

Теперь же пора мне заключить это письмо и еще раз повторить вам, что хотя Бабёф, в приложении своей теории, и пришел, ради первого шага, к перетасовке жилищ богатых и бедных, а не к действительному осуществлению существенного содержания самой теории, тем не меньше мы не должны забыть его заслугу в постановке социальной задачи и с уважением помянуть его благородную деятельность и гибель.

Да и то сказать — социализм того времени имел детски религиозный взгляд на свои идеалы и совершенно метафизическое, фантастическое развитие их в теорию,— тогда трудно было стать на более положительную почву. Будем надеяться, что теперь уже наступила пора выхода из всякого рода доктринерства — гизотовского или революционного — в действительное развитие положительных, фактических оснований.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТВЕТ НА ПИСЬМО М. В., ИЗДАННОЕ И АДРЕСОВАННОЕ ГРАКХУ БАБЁФУ, ТРИБУНУ НАРОДНОМУ, 30 ЯНВАРЯ 1796 г. (Pluviôse an IV) [23].

> В истинном обществе не должно быть ни бедных, ни богатых. Богатые, не хотящие отказаться от излишка в пользу неимущих,— враги народа.— Цель революции — уничтожить неравенство и восстановить всеобщее благо. (Ст. 7, 8 и 10 разбора учения (doctrine) трибуна, объявленного и распространенного (affichée) сего 20 мар. (Germinal) [24].

Прежде всяких доказательств возможности, справедливости, изящества системы действительного равенства, надо, в ответ гражданину М. В., восстановить вопрос, которого он, кажется, не понимает, когда, говоря о разделе земель, прибавляет: «дело не только в разделе, но в том, чтоб раздел был прочен (durable)».

Совсем не то. Система равенства исключает всякий раздел; именно разделу наши общества — результаты нужд, страстей и невежества наших отцов — обязаны всеми тиранствами и бедствиями, которых мы сделались жертвами *.

Раздел земель, который, по мнению некоторых,— высшая степень общественного блага, ухудшил бы зло, испугав эгоизм собственников, на котором основано то, что̀ теперь называется общественным благом, и произвел бы скорое возвращение беспорядков, от которых предполагается в нем спасение.

Теперь посмотрим, что разумеется под действительным равенством: *общий труд, общие наслаждения.*

Труд — необходимость, без которой рушилось бы общество; никто, по справедливости, не может устраниться от него; первый, кто устранился от труда, уменьшил общественное богатство или навьючил свою работу на соседа.

Два сильных довода подтверждают эту систему: 1) труд сообща увеличил бы богатство общества, которое, в настоящем положении, может рассчитывать на полезный труд только небольшого числа своих членов; 2) труд, распределенный на всех членов, которые в состоянии работать, избавил бы от несносного бремени тех, которых мы теперь исключительно осуждаем на работу, а на других перенес бы только небольшую долю труда, что со временем для всех стало бы источником наслаждения. Я не понимаю, каким образом можно добросовестно принимать наше современное положение за наилучшее тогда, когда наибольшая масса народа живет хуже, чем в самом простом естественном состоянии (l'état de simple nature)...

---

* Замечательно, как в подстрочном примечании к этой странице Бабёф разделяет droit de nature и état du nature; «естественное право существенно различается от естественного состояния. Первое — результат опыта и размышления; второе — первых впечатлений и невежества».

Тут каждый работает для большого общественного семейства, и каждый получает от него существование, удовольствия и счастье; вот голос природы, вот положение, где равенство не мечта и свобода каждого прочно поставлена.

Ты говоришь, гражданин М. В., о пожертвовании всех вкусов, всех наклонностей, о равенстве, которое было бы между пищей художника и пищей сапожника, и о падении изящных искусств как о последствии системы действительного равенства и этим думаешь доказать ее нелепость. Твое возражение показывает, что ты не избег наших старых предрассудков. Полагать, что *возвратиться* к равенству — значит сделаться диким и грубым, доказывает непонимание сущности равенства. Указывать на отвратительность пожертвований, когда мы хотим положить предел бесчисленным и постоянным нуждам большинства людей; когда мы хотим, чтобы труд каждого приносил ему спокойное и приятное существование; — это значит или просто непонимание, или соучастие с теми, которые ради праздности и ненависти к труду стали врагами равенства.

В самом деле, какой бы это был ужас, господин М. В., если б ваш хлеб, ваше мясо, ваше вино и одежда выходили из одной лавки и имели один вкус с припасами сапожника? Но ведь беда такая — природа создала это грязное животное с желудком и чувствами такими же, как и у вас самих! Вы плаваете в довольстве — неужто вам еще нужна картина чужих страданий для пополнения вашего блаженства?

Предполагаемое падение ремесел и изящных искусств — тоже одно из резких возражений многоумных господ, которые хотят убедить всех, что весь мир рушится, если у них отнимут ими похищенные отличия, привилегии и знатность. Конечно, если б падение искусств и могло случиться, то масса народа, которому их выгоды совершенно чужды, не заметила бы никакой неприятной перемены. Но этого падения случиться не может; искусства при нашей системе равенства, очевидно, получили бы значение общей пользы соответственно высоким чувствам, порожденным ассоциацией счастливых людей. Граждане имели бы хорошую пищу, хорошую одежду, все удовольствия, без роскоши,— только сама республика была бы богата, блестяща, могущественна...

Может быть, кое-какие искусства, ремесла, которых произведения только развлекают скуку небольшого числа чужеядных и высасывают из них кучи денег,— может быть, такие искусства и ремесла уступят место другим, увеличивающим довольство большинства. Но какой же человек пожалеет о такой счастливой перемене? Науки и изящные искусства освободятся от их теперешнего побуждения — постоянной удручительной нужды; гениальный человек найдет побудительную причину своих стремлений в любви к славе, сбросит с себя иго лести и эгоизм меценатов и поставит себе единственной целью общее благо.

Вслед за легкомысленными поэмами, вслед за мелкой архитектурой мы увидим возникновение цирков, храмов и великих портиков, где царь-народ (peuple souverain), у которого теперь жилища хуже, чем у животных, мог бы найти в самих зданиях и в произведениях философии науку, примеры мудрости и любовь к ней.

В этом чудесном плане, едва мною набросанном, нашлось бы решение задачи: основать общество (государство), где каждый человек мог бы, при наименьших усилиях, наслаждаться самой довольственной жизнью...

Французской революции было предназначено осуществить понятия философии, которые еще недавно принимались за мечтания. Мы начали — докончим же. Если б мы остановились на той точке, где мы теперь, человечеству не очень пришлось <бы> нас благодарить.

А чтобы перейти из нашего скверного положения к тому, о котором я говорю, следует:

1) Соединить все ныне существующие богатства под власть республики.

2) Заставить работать всех способных к труду (valides) граждан, каждого — смотря по способности и его настоящим привычкам.

3) Сделать работы наиболее полезными, соединяя между собою те, которые служат друг другу пособием, и давая направление тем, которые основаны только на современном застое скученных богатств.

4) Постоянно соединять в общественные кладовые произведения земли и промышленности.

5) Равно распределять произведения и удовольствия.

6) Пресечь источник всякой частной собственности и торговли и заменить их благоразумным распределением, возложенным на общественную власть.

7) Учредить общественные воспитательные дома, где каждый приучился бы к труду, наиболее сообразному его силам и наклонностям.

Легко понять, что очень кратковременная ежедневная работа обеспечила бы каждому жизнь более удобную и освобожденную от всех беспокойств, которые нас обычно преследуют, и что тот, кто теперь работает до истощения сил, чтобы получить очень немного, конечно, согласится работать немного, чтобы много получить.

Также уже достаточно доказано, что успехи наук гораздо больше зависят от любви к славе, чем от жадности к богатству; и что в таком случае наше действительно философское общество, имея все средства решительно и безошибочно оказывать уважение своим благодетелям, могло бы вызвать их большее число, чем вызывается обществами испорченными, где гений и добродетель, находясь в презрении и нищете, всегда встречают глупость и преступление, одаренные всеми благами жизни.

Люди, на которых было бы возложено сохранение нашей системы, механизм которой весьма прост, были бы также признаваемы за работников, необходимых для общего блага, и, не имея возможности получить больше наслаждений, чем другие граждане (слишком заинтересованные наблюдать за ними), они, без сомнения, не имели бы и никакого повода сохранять свою власть в противность воле народной.

Если все затруднения, которые предрассудки ставят труду и общему пользованию в небольшом народонаселении, могут быть легко преодолены, то нет никакой причины, чтоб они не могли быть преодолены и в таком большом народонаселении, как во Франции.

Я вижу в порядке будущего:

1) Искусства, вследствие разумности учреждений водворенные, смотря по местностям, там, где какое всего полезнее, доступные земледельцам и потому приводящие, наконец, к уничтожению больших городов, этих средоточий всех пороков, и к заселению Франции селами, наполненными счастливыми жителями, которых размножению не было бы препятствий.

2) Людей просвещенных, приученных к труду через общественное воспитание, любящих свое отечество больше, чем они в настоящее время любят свои семейства; людей, обсуждающих с знанием дела общественные потребности и в первый раз являющих миру пример демократии и добродетели, отстаиваемых с львиным мужеством целым народонаселением.

3) Французов — без монеты, без лишений, без тоски и жадности копить, весело платящих отечеству общий долг — труд; вкушающих все естественные удовольствия и проводящих остальное время в общественных празднествах, в обсуждении законов и в поучении юношества.

4) Общество, освобожденное от процессов, ненавистей, завистей и всех несчастных последствий собственности.

5) Законодательство, сведенное на самые простые основания и могущее служить обществу способом увеличения познаний и удовольствий.

6) Отечество, в минуту опасности находящее в приращении получасовой работы на день больше солдат и способов, чем в настоящее время могут доставить все финансисты Европы вместе.

Вот где свобода, мир и блаженство...

Если бы сильные мира сего не имели выгоды препятствовать развитию общественности человеческой, я бы не сомневался в успехе этого предприятия. Потому что стоит только ясно и искренне говорить с народом, чтобы он немедленно стал за равенство...

Paris, 28 Germinal, l'an 4 de la République *.

4

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

> «Возникает новое учение, которое называется *положительным;* его цель — определить конечную общественную форму рода человеческого и посредствующие общественные формы, которые надо будет пройти для ее достижения. Средства этого учения — наблюдение. Или, говоря общее: *оно имеет в виду определить будущее как функцию прошедшего*». (Margerin, письмо к Фурнелю, 15 мая 1826) [25].

От Бабёфа я хочу перейти к Сен-Симону и сенсимонистам. Хотя я вам и помянул о сравнении, которое делает Бонаротти между Бабёфом и Оуэном, но мне

* Париж, 28 жерминаля, 4-й год Республики (фр.).— *Ред.*

кажется, что лучше приберечь Оуэна для перехода социализма из теоретической деятельности в практическую. Оуэн к ней ближе. Мне тем больше хочется не прерывать речи о французских школах, что в них между собою много общего, много однородного настроения. Начало их почти современно друг другу; упрекнуть которую-нибудь в присвоении чужой мысли нельзя. Они просто вырастают из одинаких обстоятельств и развиваются каждая сама по себе, почти не имея понятия друг о друге, но проникнутые одинакими потребностями и особым французским складом мысли, где напряженность и формализм перемешиваются с исканием правды и убеждения. К этому разряду я причисляю Сен-Симона и Фурье. Прудон стоит отдельно; о нем нам придется говорить гораздо позже. Разбор же всех второстепенных школ увлек бы меня слишком далеко от цели, которая невольно становится передо мною, эта цель — *социальные зачатки в России и вероятности их развития*...

Но на таких школах, как школы Сен-Симона и Фурье, нам нельзя не остановиться. Их огромное влияние на мир им современный ставит их главным рассадником социальных понятий в Европе. Даже теперь, когда прошло больше тридцати лет с тех пор, как исчезла община сенсимонистов, еще остаются ее последователи, сохранившие веру в самые ее фантастические догматы; и между тем экономические истины, которые проникли сквозь эту ненужность фантастического, не только в Западной Европе сделали свое великое дело — внесли новые элементы в науку, вызвали более положительные социальные потребности, более практические попытки, но и у нас отозвались своим влиянием, вызвали новые стремления, привели к сознанию наших основ и возможностей.

У меня еще живо сохранилось в памяти впечатление, которое производила на наше юношество тридцатых годов школа сенсимонистов, ее преследование и разрушение. Много переработалось с тех пор. Идея новой религии, которая когда-то нас увлекала, стала нам чуждою, но направление положительного социализма выдвинулось вперед и не может остаться без дальнейшей разработки и последствий.

Между тем говорить о Сен-Симоне и его школе — задача весьма нелегкая. Новое издание биографий и сочи-

нений, предпринятое членами прежней общины, еще недокончено*. Прежние издания стали совершенной редкостью. Средства к изучению ограничены, и разбор тем более затруднителен, что невольно приходишь к вопросам, которых люди самой школы себе не задавали и не задают.

Точно ли Сен-Симон и после него образовавшаяся религиозная община составляют одно целое, одно учение, или ученики не совершенно верно объяснили себе учителя — и учение пошло в сторону или разветвилось и нигде не составило одного цельного развития?..

Нельзя не заметить, что из всех социальных учений сенсимонизм имел в Европе самое большое влияние; а между тем отдел экономических вопросов, который, естественно, ставится в основание всякого социального учения, в нем разработан всего неопределеннее и уступает главное место отделу вопросов религиозных, вопросу брака, даже определению места, которое должны занять в общественном построении наука и искусство. И хотя мы сами и не можем не притти к заключению, что вопросы этого порядка разрешаются только по их зависимости от экономических оснований, но, рассматривая учение сенсимонистов, мы должны показать, как ставили задачу сами сенсимонисты, и потому прежде всего остановимся над вопросом религиозным и постараемся себе объяснить: почему он является у них главным? почему он на европейское общество, особенно во Франции, производит с виду самое сильное впечатление, а приходит к тому, что устраняется и уступает место вопросам чисто экономического порядка?

Приступая к делу, я прежде всего прошу вас обратить внимание на мой эпиграф, который я вам выписал из сенсимонистов и который приводит нас к первоначальной мысли самого учителя, т. е. Сен-Симона.

Мысль эта указывает нам, что на ней строится новая историческая школа, возникает новый взгляд на развитие

* Oeuvres de St. Simon et d'Enfantin, publiées par les membres du Conseil institué par Enfantin pour l'exécution de ses dernières volontés et précédées de deux notices historiques. Paris, E. Dentu éditeur 1865—66. [Труды Сен-Симона и Анфантена, <Энфантен по начертанию Огарева>, опубликованные членами совета, учрежденного Анфантеном для исполнения его последней воли, с двумя историческими предисловиями. Париж, издатель Е. Дантю.— *Ред.*]. До сих пор вышло семь выпусков.

рода человеческого. И действительно, из среды этой же школы, независимо от религиозного направления, но выходя из той же мысли, являются: историческое учение Конта, разработка истории, <опирающейся> на ее народные элементы,— Августина Тьери [26]. Тут для нас чрезвычайно важно то, что мысль, возникающая на рубеже XVIII и XIX столетий и так наглядно служащая прямым основанием новому пониманию истории,— эта новая мысль носит в себе логическую необходимость социальных понятий и влечет самого Сен-Симона к постоянному выводу, что *«все общественные учреждения должны иметь целью нравственное, умственное и физическое усовершенствование сословия самого многочисленного и самого бедного»*. Для нас важно то, что простая мысль, определившая *будущее как функцию прошедшего* уже в это время, не может не привести к необходимости общественного пересоздания, в котором сословие *имущих тунеядцев* («les oisifs» у Сен-Симона) и сословие неимущих работников должны слиться в одну общую людскую производящую силу, где каждый был бы вознагражден за труд пользованием возможными благами жизни. «По мере своей способности,— добавили Сен-Симон и его школа,— и каждая способность, по мере своей производительности (à chaque capacité selon ses oeuvres)». Связь этого экономического вывода и основной исторической мысли — определить будущее как функцию прошедшего — понятна.

Мысль, выражающая постоянное развитие человеческого общества в умственном и материальном отношении, не могла остановиться на развитии какого-нибудь привилегированного класса и должна была притти к развитию большинства, к развитию всеобщему, поголовному; она должна была притти к необходимости иного экономического распорядка в обществе. Она не могла остановиться на развитии какого-нибудь привилегированного народа и должна была притти к развитию и соединению всех народов и, следственно, к необходимости установления всеобщего мира. Но заставая историю не на той желаемой, но на такой-то определенной степени развития, она только могла показать, как эта степень развития настоящего поколения европейских народов вытекла из прежних развитий, постоянно тяготея, приближаясь к будущей желаемой степени развития, и эту будущую степень развития по-

ставить целью, задачей, на которую должны быть употреблены усилия людские и которая требует общественного преобразования (reorganisation sociale).

У Сен-Симона эта мысль выражена в разных местах совершенно определенно: «Без сомнения, придет время,— говорит он *,— когда все народы Европы поймут, что прежде надо решить общие вопросы и потом спуститься к разрешению вопросов национальных; тогда страдания станут уменьшаться, смуты утихать, войны прекращаться; вот цель, к которой мы постоянно тяготеем, вот куда влечет нас ход ума человеческого! Но что же достойней человеческой предусмотрительности — невольно тащиться к этой цели или стремиться к ней сознательно?

Воображение поэтов отнесло золотой век к колыбели рода человеческого, к невежеству и грубости первых времен; скорее следовало бы отнести к этому времени век железный. Золотой век рода человеческого не позади нас, а впереди, он должен состоять в совершенстве общественного порядка; наши отцы его не видали, наши дети его достигнут; наша обязанность расчистить им дорогу к его достижению».

Далее, постоянно преследуя мысль общественного преобразования, он говорит: «Система общественного устройства до сих пор была только *переходная* (provisoire), потому что большинство народонаселения находилось в таком состоянии невежества, что должно было оставаться *под опекой*.— Вот что я называю *старой системой*».

«Просвещение увеличилось; положение вещей совершенно изменилось; эта перемена, особенно замечательная во Франции, обусловливает и общественное устройство ему соответственное; это устройство, чтоб быть прочным, должно быть непосредственно соединено с потребностями большинства, и это-то и есть устройство, которое я называю *новой системой*».

Кажется, эти две выписки чрезвычайно ясно выражают историческую мысль Сен-Симона. Но, конечно, этого вывода можно было достигнуть без всякого вмешательства религиозной идеи; основать на нем необходимость новой религии не представляется никакой логической нужды.

* Письмо к Конту и Дюнойе, редакторам «Европейского цензора», 1814.

И вот я возвращаюсь к прежней задаче: каким образом Сен-Симон дошел до постановки главным вопросом вопроса религиозного? И точно ли он является у него главным, или — собственно у Сен-Симона — он имеет мнимую важность, а действительно ставится главным вопросом у последующей школы, школы Энфантена?

Сен-Симон начал свое литературное поприще «Письмом женевского жителя к своим современникам» (1802) и кончил книгой о «Новом христианстве» (в апреле 1825). В первом письме, равно как и в последней книге, он говорит о необходимости новой религии для преобразования рода человеческого, но все положения преобразования, о котором он постоянно писал и хлопотал, не только не совпадают с этой мыслью, но скорее противоречат ей. Религиозная мысль Сен-Симона сводится исключительно на то, что *обновленная религия должна уменьшить важность богословия и вероисповедания и увеличить значение нравственности,* или, иными словами, эта мысль сводится на замену религиозного человеческим. Только простое выражение от себя скрыл, и не преднамеренно, не ради приобретения влияния и пропаганды, а вследствие общего правила исторического развития, которого метафизичности он не заметил. Это метафизическое правило заключается в следующем силлогизме: «все в истории развивается и потому *приблизительно* доходит до совершенства, но *не кончается;* религия развивается в истории; следственно, религия должна приближаться к совершенству, но никогда не кончиться».

Насколько это метафизическое начало может выдержать критику действительности, насколько религия может быть предметом совершенствования — судите сами, или давайте судить вместе. Я хочу вам показать все великое Сен-Симона и весь его промах, и показать вам, что, к сожалению, промах его больше пошел в ход у его школы, чем его великое. Пожалуй, возражайте мне, что, стало быть, такая судьба человечества — преимущественно увлекаться безумиями и даже до истины доходить только путем безумия *. Это возражение может иметь свой вид

* «В храм славы вступают только ускользнувшие из домов сумасшедших,— пишет Сен-Симон своему племяннику; — но не все ускользнувшие из домов сумасшедших вступают в него. Разве один из миллионов, остальные ломают себе шею. Чтоб избавить вас от

или свою долю правды; но действительно я с вами согласиться не могу. Поэтому мне приходится — и ради моего убеждения, и ради самой личности Сен-Симона — взойти в подробности. Надеюсь, что они вам не наскучат; во всяком случае прошу вашего терпения.

Сен-Симон родился в 1760 году, 17 октября, т. е. двумя годами раньше Бабёфа *; но мне нигде не встретилось следа каких-нибудь отношений между ними. Из этого вы можете только заключить, что у них подготовка одна и они оба приходят к одной цели, но стремятся к ней разными путями. Это тем замечательнее, что *конец* деятельности Бабёфа совпадает с *началом* деятельности Сен-Симона, и поэтому мы должны в понимании Сен-Симона встретить новые данные, из которых оно слагается и которые не входили в понимание Бабёфа. Начальная подготовка обоих, без сомнения, одна: философия XVIII столетия. Это тем очевиднее, что Сен-Симон был воспитанник д'Аламберта. Тринадцати лет он отказался итти к первому причастию, чтоб не сделать лицемерного поступка, за что был посажен в тюрьму St. Lasare своим отцом, графом де Сен-Симон, но вскоре убежал оттуда. В 1779 году он уехал в Америку, где участвовал в войне за освобождение под начальством Булье и Вашингтона. Там уже начинают проглядывать зачатки его будущей деятельности и мнений.

«Сама война,— говорит он,— меня не интересовала, но меня занимала цель этой войны и ради нее я переносил труд войны без отвращения. Я хочу цели, часто думал я, стало, должен хотеть и средств. Отвращение от военного ремесла совсем охватило меня, когда мир стал приближаться. Я чувствовал ясно, какое поприще я должен избрать, поприще, к которому влекли меня мои вкусы и естественные наклонности; у меня не было призвания быть солдатом; я был склонен к деятельности совершенно другого, *даже противоречащего рода*...— Я видел, что американская революция была началом новой политической эры, что эта революция неизбежно несет важный успех в общую цивилизацию и в скором времени приведет

этого несчастия, я хочу дать вам несколько советов, или лучше — хочу зажечь два светильника на вашем политическом поприще, словом — хочу объяснить вам значение идей Религии и Политики»....

* Бабёф родился в 1762 году [27].

к огромным переменам в общественном устройстве Европы».

По окончании войны за американское освобождение Сен-Симон занялся предложением мексиканскому вице-королю — соединения двух морей, долею посредством речных вод. Но получив отказ, возвратился во Францию. Ему было тогда 23 года. Вы уже тут можете видеть его будущее направление: стремление к общему миру, точка зрения исторического развития цивилизации, огромное приложение точных наук к общественной деятельности.

Вы также можете видеть, что до сих пор он не расходится с Бабёфом в своем направлении. То же вы найдете и в начале французской революции, где Сен-Симон все еще не начинает своего литературного поприща, но работает в мире совершенно практическом. В ноябре 1789 г. он избран председателем избирательного собрания своей коммуны (Фальви, близ Перонны) и благодарит своих сограждан следующим образом: «Мне очень лестно, что, по вашему выбору, я имею честь председательствовать в вашем собрании; одно смущает мою радость — если вы выбрали меня из-за уважения к вашему *помещику* (seigneur), а не к моим личным достоинствам. *Помещиков больше нет;* мы здесь все совершенно равны, и, чтобы мой титул *графа* не вводил нас больше в ошибку предположения, будто я имею перед вами какие-нибудь высшие права, я объявляю, что я навсегда отказываюсь от этого титула, который ставлю гораздо ниже звания гражданина, и прошу вас внести мое отречение в протокол заседания».

В мае 1790 года Сен-Симон проводит в кантональном собрании адрес в assemblée constituante *, в котором выражена благодарность за великие реформы и просьба об уничтожении *нечестивых* различий (distinctions impies) по праву рождения. «Все граждане,— говорит Сен-Симон,— равно имеют доступ ко всем почестям и общественным должностям, по мере своих способностей, без всякого иного различия, кроме степени доблести и таланта». (Тут уже мы встречаем тему, которую увидим в полном развитии впоследствии.)

---

* Законодательное собрание (фр.).— *Ред.*

Далее, в этот период деятельности он так устрашен противонародным смыслом старых сословий, что настаивает на предложении устранить от всяких общественных должностей людей, принадлежащих к дворянству и духовному сословию, и сам примера ради отказывается от должности мэра своей коммуны. Но потом, во время борьбы «Горы и Жиронды», он, очевидно, перестает верить в успех французской революции, устраняется, практически ищет приобрести состояние как средство пропаганды и внутренно ищет — чего не находит в существующих партиях — точки зрения высшей, чем современная воинственная политика, ищет признаков мысли преобразования, которая была бы «не простым заимствованием из истории или метафизики древней Греции и Рима».

Наконец, в 1797 году Сен-Симон принялся за разработку мысли *физико-политической*. Для этого он прежде всего стал посещать политехническую школу, из которой в 1801 году перешел в медицинскую школу, где преимущественно занялся физиологией, употребляя для опытов оставшиеся у него деньги. Потом ездил в Англию, где оказался недоволен состоянием науки, не задававшей себе физико-политической цели, так же как вскоре после того и в Германии остался недоволен наукой, которая, по его мнению, хотя и предназначена в непродолжительном времени сделать огромные успехи, но тогда была основана на мистических началах.

Таким образом, в 1802 году, когда Сен-Симон <находится> в Женеве и когда начинается его литературная деятельность, мы находим, что для него совершилось много обстоятельств, которые должны положить огромную разницу между его пониманием и пониманием Бабёфа. Бабёф приходит к выводам, которых достижение он возлагает на революцию. Сен-Симон берет подобные же выводы за основания новой науки и осуществлению их предпосылает ее развитие. Бабёф выводит свои положения из критического смысла философии XVIII столетия, хочет посредством восстания разбить правительство, в котором потухал дух французской революции, и заменить его формами, мало совпадавшими с общими социальными положениями. Сен-Симон спервоначала ищет догматической формы науки, на основании которой может осуществиться общественное преобразование Европы. Стрем-

ление к догматической форме науки — вместо критической формы философии XVIII столетия — могло у него возродиться из общего настроения в конце прошлого и начале нынешнего века, настроения гоньбы за непреложными религиозными убеждениями. Вспомните де Местра, Бональда, Шатобриана, Ламене[28], множество более мелких мистиков того времени и их влияние на литературу, политику и правительства разных государств,— и вы поймете, что Сен-Симон мог видеть необходимость в постановке религиозно-дидактического основания — в противоположность разбивающему анализу философии XVIII века и даже в противоположность своему собственному воззрению на основания положительной науки.

В первый раз его религиозная мысль является в его «Письме женевского жителя к современникам». Это письмо он в 1802 г. отправил к Наполеону, тогда первому консулу, но оно никогда не дошло по назначению. «Я стану рассматривать религию,— говорит Сен-Симон в своем письме,— как человеческое изобретение, как единственное по своей натуре политическое учреждение, способное к общей организации человечества». Далее он впадает в библейский тон: «В эту ночь,— говорит он,— я слышал следующие слова (разумеется, свыше): Рим откажется от претензии быть средоточием моей церкви. Папа, кардиналы, епископы и попы перестанут говорить во имя мое. Человек устыдится нечестивости, с которой он поручает таким безумцам действовать во имя мое. Я запретил Адаму различие добра и зла, он ослушался меня; я изгнал его из рая, но оставил его потомству средство укротить гнев мой: пусть оно трудится в усовершенствовании познания добра и зла, и я улучшу судьбы его; настанет день, когда я сделаю рай из земной обители».

Вот божественное начало, которое Сен-Симон полагает соответствующим современной цивилизации. Но каким образом он может связать его с своей физико-политической наукой — это вопрос, который едва ли разрешим. Его физико-политическая наука заключает развитие мира, развитие и усовершенствование природы, начиная от механических отношений до общественной жизни человечества. И «если бы человеческая порода исчезла с земного шара,— говорит он в своей <книге> «Введение

к научным занятиям XIX столетия» *,— то порода наилучше организованная стала бы совершенствоваться». Можно ли согласить эту теорию естественного прогресса с системой новой веры или обновления христианства — на это вы, вероятно, также не увидите достаточной причины, как и я ее не вижу. В брошюре, изданной Сен-Симоном в 1810 году под заглавием «Новой Энциклопедии» и посвященной им своему племяннику Виктору Сен-Симону, эта несообразность еще яснее бросается в глаза из советов, которые он пишет своему племяннику. Он ему советует «сделаться последователем первого нововводителя в религии, которая, шествуя по пути, открытому Лютером, но идя далее его в реформе, будет уметь *расширить религиозно область разума и сжать в более тесные пределы область откровения;* нововводителя, который введет в семинарии изучение опытных наук и поставит в самую сжатую рамку преподавание наук богословских; нововводителя, который прекратит настоящее разделение церкви и употребит все усилия, чтобы восстановить папство, конклавы и соборы, придав им устройство, сообразное с современным положением просвещения». Кажется, эта выписка достаточно опровергает сама себя.

Наконец, в своей книге о «Новом Христианстве» Сен-Симон еще резче опровергает собственное сопоставление своей религиозной и научной теории: «Лютер,— говорит он,— предписал протестантам изучать христианство из книг, писанных в самом его начале, и особенно из Библии; он объявил, что не признает других догматов, кроме тех, которые изложены в священном писании. Эта мысль так же нелепа, как была бы мысль математиков, физиков, химиков, всяких ученых, которые стали бы утверждать, что их науки лучше всего изучаются в самих древних сочинениях, о них писанных».

Дело в том, что тут, в сущности, нет выбора — или наука, которая не может не совершенствоваться,

---

* Эту книгу Сен-Симон кончил в 1806 году, в крайней бедности, разоренный, через надувательство, своим товарищем по денежным делам, графом Редерн. Некто Диар дал ему содержание и издал его книгу в 1807—1808 годах.

разрабатывая новые опыты и приобретая новые познания, часто противоположные прежним; или — религия, которая не может не оставаться неизменно верна своим начальным догматам, ибо иначе перестанет быть религией...

5

ОКОНЧАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ПИСЬМА

В прошлый раз я остановился на том, что наука не может не совершенствоваться, потому что сущность ее в накоплении суммы опытов и познаний. Я сказал, что религия не может совершенствоваться, потому что сущность ее в сохранении законченной суммы верований.

Но я также думаю, что лишь бы религия не была казенною, не была политическим учреждением, церковно-полицейскою властью, а просто свободным убеждением, то социальный вопрос вовсе не обязан трогать религии и может вести, помимо ее, пропаганду своего экономического содержания.

Не подумайте, что я становлюсь мистиком или впадаю в дипломатию, т. е. в лицемерие, которое никогда еще не подвигало действительной пропаганды, а только лишало ее прямой силы, решительного употребления всех в ней лежащих средств и, следственно, полного влияния. Вы даже можете мне сказать, что социальный вопрос, без философского реализма, далеко не будет иметь своего значения и, вместо того, чтобы проповедовать насколько возможно лучшее устройство этой жизни, предоставить большинству народа добиваться вознаграждения в будущем мире, посредством принятия на себя в здешней юдоли плача всех страданий — в пользу маленького меньшинства, т. е. вы можете мне сказать, что социальный вопрос, лишенный оснований реализма, не только не пойдет в ход, а убьет сам себя. Вы даже приведете мне пример, как религия вообще враждебно относится к социализму: это судьбы Оуэна в Соединенных Штатах, где, несмотря на всю гражданскую свободу, влияние протестантских церквей не допустило его учредить такую общину, как в Ланарке.

Позвольте же рассмотреть это возражение и доказать вам, что я не впадаю ни в мистицизм, ни в лицемерие, а просто хочу того пути, который естественно возможен.

Без всякого сомнения, социализм связан с наукой действительного опыта и расчета, а не с наукой исторического повторения одних и тех же затверженных начал, как является мысль поддержания сословных различий, батрачного труда и частного захвата в пользу меньшинства.

Эту связь социализма с наукой показал Сен-Симон, и в этом его великая заслуга. А наука опыта и расчета, без сомнения, связана с философским реализмом, она не может взять себе другого основания, не изменяя самой себе; от этого Сен-Симон уклонился — и в этом его ошибка.

Но я вам и не говорю, чтоб социализм мог отречься от науки и ее реализма. Я только говорю, что, проповедуя свое экономическое содержание, он не обязан вступать в спор о научном начале реализма прежде постановки другого спора, которого решение необходимо в жизни,— спора о свободе проповеди вообще, равно для религии и для науки. И та и другая равно должны сделаться достоянием свободного убеждения, а не государственного принуждения. Только тогда и та и другая могут иметь значение нравственной силы, а не полицейской власти. Если государство предписывает такую-то религию или такую-то науку, то эта религия и эта наука принимаются по необходимости, а не по убеждению и потому лишены всякой внутренней человеческой чистоты и нравственного значения. Православие ли обращает раскол, раскол ли обращает православие, наука ли обращает то или другое — пусть обращение совершается силою слова и убеждения. Чтобы человек считал что̀-нибудь за истину, он должен быть в том убежден. Не только чистота науки, но чистота религии, для верующих, требует невмешательства государственной власти в религиозные дела. Наступающая пора свободного убеждения необходима не только потому, что она может служить расчисткой путей для реализма, а и потому, что нельзя предположить скачка к реформе понимания, прежде чем общество не пришло к сознанию необходимости свободы, т. е. чистоты, искренности и нескрываемости каждого убеждения. Если общественность, хотя бы и у нас, настолько жива, что не замрет ни от внезапного землетрясения, ни от собственного ничтожества, то ей нельзя совершить перехода из принужденного верования к положительному пониманию иначе, как через время сознания и признания свободы

убеждения равно религиозного и научного. Поэтому каждый из нас обязан помогать осуществлению этого времени по мере средств и сил.

Но это нисколько не мешает проповед<ыв>анию экономического содержания социализма, тем больше, что усиление производительности, посредством соединения труда и владения, вы объясните всякому, да еще всякому из тех, кто трудится и владеет, отнюдь не мешая свободе его верований, между тем как научные основания мироздания вы объясните только немногим, да еще объясните ли?..

Если бы я руководствовался какими-нибудь дипломатическими соображениями, я постарался бы скрыть эту мысль, чтоб не навлечь на нее многосторонних преследований. Но с подобными страхами можно дойти до отречения от пропаганды самого социализма. Напротив того, для меня так очевидно, что соединение труда на нашей общинной почве и переходное положение к положительному пониманию через свободу религиозного и научного убеждения неминуемы, что я вовсе не избегаю этого высказывать...

...Мы никак не можем заключить с Сен-Симоном, чтобы, взамен разных существующих сект и вероисповеданий, можно и нужно было изобрести новую религию, основанную на метафизических предположениях, которые не могут удовлетворить ни заветной веры, ни достоверности здравого смысла. Также не можем заключить, чтобы общественное развитие могло итти от подобного религиозного изобретения к осуществлению социального экономического содержания; но только наоборот, что от развития социального экономического содержания общественное понимание может выйти на пути здравого смысла. Это для нас еще очевиднее выкажется в следующем письме, при разборе школы Энфантена, наиболее опиравшейся на изобретения метафизической религии.

Теперь несколько слов о религиозных отношениях в России.

Правительство — из подражания ли Западной Европе, из исторического ли развития нашего инородного населения — приблизилось к понятию веротерпимости. Таким образом, закон, до некоторой степени, не стесняет вероисповедания идолопоклонцев, магометан, евреев, но по

существу нашего правительства оно не могло, при удобном случае, не вмешать и тут стеснительного влияния административных властей. Для примера возьмем хотя евреев, которым дозволено богослужение и дети которых могут воспитываться в христианских школах и вступать в университеты, не меняя своего вероисповедания, но которые при том не могут носить своей особой одежды или разве только после шестидесятилетнего возраста донашивать старое платье с генерал-губернаторского позволения (свод законов, изд. 1857 г., т. IX, ст. 1369), а женщинам еврейкам запрещается брить головы (ст. 1371). Вообще, если вы заглянете в т. IX св. законов, книгу I, раздел V (о состоянии инородцев), вы найдете большое поползновение на веротерпимость, при разных вмешательствах мелких и ненужных стеснений. Но стеснения становятся гораздо сильнее — по закону — относительно всякого рода староверцев или вообще так называемых ересей и расколов. Том XV св. законов, кн. I, разд. II, отделение второе — исполнено уголовными наказаниями, направленными против старообрядства, так что уже одна ст. 216 определяет, что «виновные как в распространении существующих уже между отпадшими от церкви православной ересей и расколов, так и в заведении каких-либо новых, повреждающих веру, сект, подвергаются за сии преступления: лишению всех прав состояния и ссылке на поселение — из Европейской России — в Закавказский край, из Ставропольской губернии и Закавказского края в Сибирь, а по Сибири — в отдаленнейшие оной места». Таким образом, правительство всегда может в силу своего закона преследовать всякое не никонианское объяснение христианства, и если оно не беспрестанно преследует, это потому, что вообще в нашем общественном настроении так же мало вражды против сектаторства, как и против иноверчества, и когда не особенно возбуждены, корысти ради, к преследованию духовенства и грабящие власти, то общества — какого бы противоположного убеждения ни были противу преследуемых — всегда готовы скорее прикрыть их, чем помочь власть имущим. От этого у нашего народа более внешнего отношения к религиозному вопросу, чем в других странах, у нас раскол, несмотря на все правительственные преследования, сохранился почти

на половину населения; и притом надо заметить, что мы относительно религиозной постановки найдем следующее:

1) Наше православное крестьянское население, когда <действует> не по особому приказанию правительства, остается в самых дружных отношениях с иноверцами (татарами, идолопоклонцами и пр.) и тем более с староверцами, в разницы истолкования которых оно мало вдается.

2) Большинство нашего православного населения поклоняется в религии гораздо более некоторым привычным суевериям, чем каким-либо особым истолкованиям. Духовенство, которое очень мало образовано, поклоняется своим обрядам как службе, но собственно объяснением религии занимаются разве немногие личности; поэтому духовенство нравственного влияния на народ почти вовсе не имеет (совершенно противоположно европейскому западу и Сев. Америке).

3) В так называемом образованном сословии, кроме славянофилов, немногих мистиков и барынь, религиозны чиновники службы ради. Большая часть учащегося меньшинства не относится к религиозному вопросу.

Отсюда вы можете легко заключить, что пропаганда *свободы убеждения* не встретит в России препятствия в общественном смысле и что всякое преобразование неминуемо приведет к нему; между тем как всякое новое, хотя бы сенсимонистское, объяснение религии могло бы только встретить общественное противодействие.

Далее, заметьте, что русскому крестьянству, наделенному землей, не нужно капиталов для приобретения оной к заселению... и что имеющаяся у крестьянства земля может послужить для него основанием кредита для прикупки земель. Отсюда вы легко можете заключить, что пропаганда социально-экономического содержания, соединения труда и владения, организация села и промышленной артели, обмена и торговли, не может встретить препятствий в общественном смысле крестьянства и что это социально-экономическое содержание должно стать основанием всего развития русского переобразования.

Дайте совершенно досказать.

Когда нам приходится говорить о теории социализма, когда наша речь — книга или лекция, и, следственно, прежде всего относится к учащемуся меньшинству, мы не

можем не ставить общности всех вопросов, как она логически развивается в нашем понимании,— без всяких ограничений.

Но это только одна сторона дела, и я думаю, что несмотря на всю ее научную обширность, остановиться на ней, в России особенно, было бы — свести развитие социализма на весьма медленное движение, которое, затрагивая немногие вершины цивилизации, едва касалось бы дола, т. е. того народа, которого практическое движение, при имеющихся возможностях, именно и составляет созидание социализма в действительности общественной жизни.

Поэтому, проповедуя, помимо всяких религиозных и философских начал, земледельческой общине, где владение уже общинное по обычаю и закону, соединение труда, мы достигнем иного громадного результата — осуществления действительно социально-экономической общины; а возводя ее в дальнейшие степени движения, мы достигнем ее осуществления в ремесленно-фабричном и торговом отношении.

Кажется, мое четвертое письмо теперь окончено со всеми своими отступлениями, без которых я не мог обойтись. В следующий раз я надеюсь приступить к школе сенсимонистов и закончить мнимо-религиозную эпоху социального учения во Франции.

6

ПИСЬМО МЕЖДУ ЧЕТВЕРТЫМ И ПЯТЫМ

Вовсе я не оставляю моего намерения в ряде писем изложить вам главные теории социализма; но мне кажется, что в прошлых письмах я не кончил моего предварительного разговора с вами; я думаю, что еще раз вставка необходима,— я желал бы в ней проверить наши наблюдения над современной общественностью и ее отношениями к социальной задаче. Эта вставка не отвлечет нас от нашего общего вопроса; напротив того, она забежит вперед, придвинет нас к искомым выводам и, несмотря на опасность повторений, необходима именно потому, что, не уяснив заранее отношений современной общественности к социальной задаче, едва ли мы можем выработать себе верный взгляд и на самые социальные теории.

Самое слово теория несколько пугает своею отвлеченностью, а устранить его нельзя даже из практической жизни, где теория является как приложение известных понятий к общественной деятельности. Существенную разницу вы встретите только в направлении теорий, из которых одно может быть чисто догматическое, где предписывается предположенное построение, по которому общественная жизнь *должна бы* развиваться; а другое, соединяя в определенную группу все существующие общественные элементы и стремления, заключает о их цели и о практических возможностях ее достижения. Если теория первого разряда может бросить миру яркую мысль, которая только впоследствии, перерабатываясь, войдет новым элементом в общественную жизнь, то мы должны простить ей неприложимость к ее современности и даже ее неприложимость вообще; польза ее влияния все же не пропадет. Теория второго разряда, выводя общественные отношения к социальной задаче из существующих данных, имеет в виду постановку возможностей дальнейшей общественной перестройки (реформы).

Впрочем, я верю, что не вы испугаетесь слова — теория и не вы захотите упрекнуть нас, что мы кроме теорий ничего не высказывали и никогда не объясняли, какого дела мы ждем и хотим в настоящее время,— *особенно для России* *.

Это побуждает меня еще раз протвердить с вами теорию, которая определила бы отношение современной общественности к социальной задаче и яснее поставила вопрос возможностей русской перестройки.

Если вы припомните мое первое письмо к вам, где я взял в основание, что ценность равна *труду и вещи,* то мы легко заключим, что человек должен пользоваться вещью, к которой прилагает свой труд, владеть вещью в силу, т. е. по мере, своего труда. Для того, чтоб *каждый* человек мог пользоваться вещью по мере своего труда, частная собственность должна перейти, *ликвидироваться* в собственность общественную, которая одна способна дать пользование каждому. Этого понятия не может

* Вспомните, что в начале издания «Колокола» мы работали почти исключительно для практической цели освобождения крестьян с землею; а это освобождение начато, но еще далеко не кончено, теория и практика этого дела далеко не исчерпаны.

избегнуть никакая социальная теория, в какие бы уклонения она ни впадала, потому что это понятие составляет основное отношение к социальной задаче всякой общественности, исторически развившейся до необходимости перестройки. Этого понятия практически не может избегнуть и никакая существующая общественность, как бы она ни скрывала его, даже от собственного сознания, под старыми формами и затверженными словами.

Пойдемте далее. Ликвидация частных собственностей в собственность общественную и пользование каждого не может совершиться *помимо* ликвидации поземельной собственности; напротив того, только с поземельной собственности может начаться эта ликвидация. Иначе — с чего бы она началась?

Если бы она началась с ликвидации частных движимых имуществ (капиталов) в общественную собственность и пользование каждого, оставляя недвижимую вещь — землю — в частной собственности, ликвидация не могла бы совершиться: самое основное начало всегда оставалось бы не ликвидированным; следственно, все остальное менялось бы только *относительно* этого *начального конца,* как его координата, и оставляло бы ликвидацию частной собственности в собственность общественную и пользование каждого недостижимым идеалом. Впоследствии мы встретимся с социальными теориями, которые ставили задачу в освобождении, в отрешении работника от земли и в ассоциации, независимой от земельного владения. Но мы не должны забывать, что земля есть также вещь, к которой труд необходимо приложим, и что мы не можем, относительно земледельческого вопроса, избегнуть социального разрешения соединения в одни руки труда и пользования вещью; что земледельческая артель (община) такое же живое дело, как и всякая неземледельческая (ремесленная, движимая) артель; и еще более, что точкой отправления может быть только земледельческая артель, потому что без ликвидации частной поземельной собственности остальная ликвидация невозможна. Ассоциационные попытки движимых артелей могут принести свою огромную пользу, но не привлекут частной собственности к ликвидации, и, без перехода частной поземельной собственности в собственность общественную, не могут служить основанием стройной общественной перестройки.

Очевидно, пересоздание «старого Адама» не может совершиться иначе, как ставя в своем начале ликвидацию частной поземельной собственности.

Так перестройка и *началась* в России. Как бы неопределенно она ни была поставлена, сколько бы сущность дела ни скрывалась под старыми формами и затверженными словами, но все же она *началась* и остановиться не может. Я тем более скажу, что она остановиться не может, что бывшее отношение ценностей подорвано и дальнейшее экономическое движение или приведет к совершенному упадку и разорению, или должно пересоздать общественные отношения. Я думаю, что Россия имеет еще довольно силы, чтобы вместо разорения перейти к перестройке.

Может быть, вы меня спросите, что я понимаю под тем, что бывшее отношение ценностей подорвано? Да то, что доля частной поземельной собственности перешла в руки труда, в его общественную собственность и пользование каждого и будет совершенно ликвидирована в данное число лет. Доля же осталась частной собственностью, нуждается в труде, лишена действительной производительности и ведет своих владельцев к разорению. Обе противоположные постановки поземельной собственности станут необходимо мешать друг другу; освобождение крестьян не может считаться совершенным, и перестройка необходимо поставит себе целью окончательную ликвидацию частной поземельной собственности в собственность общественную.

Заметьте, что казна (правительство) недавно отпустила на волю с землею (наделами) своих так называемых государственных крестьян * и так же не довершила дела, как и при освобождении крепостных помещичьих, т. е. доля казенной поземельной собственности ликвидируется в собственность общественную, доля остается *частной* казенной собственностью. Таким образом, казна ставит себя на правах частного землевладельца, но тем не менее фактически *признает* ликвидацию своей собственности в собственность общественную необходимою задачею русской перестройки.

---

* Мы говорили об этом узаконении в 233 и 234 л. «Колокола».

Сверх того, это доказывает огромную разницу между общественной поземельной собственностью (которая в своей полной законченности может быть только суммой общинных владений) и собственностью казенной, в которую частные собственности никогда не могут ликвидироваться. Назовите казну как хотите: казной, правительством, царем, императором, etc.,— все же она непосредственно пользоваться всей землей не может; у нее на это рук нет. Для своего пользования она должна поставить посредствующих агентов, т. е. чиновников, которые долю продавали бы в народное пользование, долю обрабатывали хотя бы наймом, в пользу казны, долей пользовались бы сами. Это значило бы, под особыми условиями, переменить владения частных собственников на владение казенных чиновников, т. е. в сущности значило бы — ничего не переменить *, оставить ценность фальшивою и соединение вещи и труда в одни руки и пользование каждого материалом по мере труда — делом невозможным. Очевидно, что ликвидация частных собственностей в собственность казенную (даже при странном предположении, как казна может служить посредствующим звеном для перехода в общественную собственность) не представляет никакой необходимости и что, напротив того, перестройка требует равно ликвидации и частной и казенной собственности в собственность общественную.

От этого-то народ, в сущности, не может примириться ни с помещичьей, ни с казенной (императорской) собственностью и властью. Но он, совершенно рационально, начинает бороться с первой, ибо она первая на пути, подлежащая сдвижению. Он даже инстинктивно берет себе императорскую власть в помощь в своих начинаниях перестройки, в своих попытках ликвидации частной собственности, равно путем революционным и путем экономическим. Последний путь является только теперь; но народные стремления к перестройке дело не новое и всегда начинались с попыток сдвинуть частную поземельную собственность. Вспомните, что сама пугачевщина действовала под знаменем царской власти (законной или не законной — все равно), и вам не покажется удивитель-

* Заметьте, в России постоянный, нисколько не изменяющий дела переход помещичества в чиновничество, и наоборот — чиновничества в помещичество и их неразделимое тожество.

ным, что, при экономическом пути ликвидации, народ движется тем же способом, т. е. употребляет, в пользу ликвидации частной поземельной собственности в собственность общественную, знамя императорской власти. Но это отнюдь не доказывает возможности народного примирения с казенной поземельной собственностью и отношением к чиновничьей, вообще к казенной (императорской) власти.

Тем более это примирение невозможно, что теперь само правительство указывает народу, и еще вдобавок искажая свое указание новым притеснением, что он имеет право на ликвидацию казенной собственности в собственность общественную.

Ближайший вывод из всего сказанного — тот, что отныне первый вопрос, являющийся на пути русского развития,— это вопрос права малоземельных и безземельных на заселение огромной доли частной и казенной поземельной собственности, еще не поступившей в ликвидацию для перехода в собственность общественную.

Теперь, мне кажется, мы довольно ясно определили основное экономическое отношение русской перестройки к социальной задаче и приходим к другому вопросу: каким образом народное право на заселение земель, не поступивших в ликвидацию, придет к своему практическому осуществлению? Тут невольно является необходимость разбора современной русской действительности — сопостановки сословных отношений и положения правительства, и значения новых учреждений, и дела молодого поколения, и все вопросы, естественно примыкающие к социальной задаче.

Как это ни трудно — попытаемтесь.

7

ПИСЬМО МЕЖДУ ЧЕТВЕРТЫМ И ПЯТЫМ

(Продолжение)

Повторимте еще раз наш вопрос: «каким образом народное право на заселение земель, не поступивших в ликвидацию, придет к своему практическому осуществлению?»

Народ еще не имеет средств наличного денежного капитала, или кредита. Первый ответ, который является

на наш вопрос,— это создание народного (общественного) поземельного кредита. Об этом мне, конечно, не в первый раз приходится говорить; но другие интересы в нашем дорогом отечестве покамест заглушают постановку народного кредита, а именно: поземельный кредит крупных и мелких землевладельцев-дворян; товарищества для приобретения земель в Западном крае и т. п.,— вещи, большого преуспеяния которых опыт не показывает, а между тем создание народного кредита ими положительно остановлено. Мне это кажется несомненно. Наше демократическое правительство умело разрушить старый кредит, по преимуществу дворянский кредит, лежавший на ответственности правительства, но куда — именно вследствие этой ответственности — стекались для составления фондов все излишки, вырученные торговлей и не входившие в оборотные капиталы, и почти все капиталы, вырученные чиновничьим грабежом (а их было и есть немало). Теперь демократическое правительство, подражая иностранным учреждениям, которые выросли на своих собственных, особых обычаях, предоставило составление кредита частным начинаниям помимо своей ответственности. Как истинно демократическое правительство, оно должно было предложить народу, за своею ответственностью, подобный же кредит, как старый дворянский кредит, и вероятно не было бы недостатка ни в помещаемых капиталах, ни в заемщиках, но тот кредит, который правительство предоставило народу со времени освобождения, далеко не имеет значения кредита и есть только ликвидация старых долгов опекунских советов, перевод, далеко не правый, старых помещичьих долгов на народ, без возможности для народа расширить кредит, организовать новый. Правительство, имея целью свои собственные займы, неизвестно насколько нужные для благоденствия народа, только разрушило старый кредит, предоставляя новому образоваться как себе знает. Тут, с одной стороны, разрушился обычай, т. е. привычка к известной системе кредита, с другой стороны, явились два сословия, имеющие потребность в кредите,— дворянство (частные землевладельцы) и крестьянство (общинные и мелкие землевладельцы, как, например, украинское крестьянство).

Дворянство с трудом может, или даже вовсе не может, привлечь капиталы для своего кредита, потому что с

уничтожением правительственной ответственности даже поземельный залог частного землевладельца сделался недостаточным обеспечением для капиталиста. Капиталист думает: «ну — заемщик не заплатит, и его землю продадут или отдадут мне? Во-первых, мне она не нужна, а во-вторых, если покупщиков достаточно не найдется, то она пойдет в тридешево, и банк, т. е. я, очутимся в убытке». А думать это капиталист вправе, потому что покупщиков в Западном крае нет, а в восточном недостаток *.

Крестьянство, напротив того, не думало просить подобного кредита, потому что ему никто его не предлагал.

Тут вот какая странность: крестьянство смирно; а между тем все его боятся, все боятся предоставить ему выгоду, равно олигархи и реформирующее правительство. Это чувствуется крестьянством инстинктивно. Помещик и чиновник еще продолжают сидеть на его плечах, несмотря на его освобождение. Поэтому ему в голову не приходит просить об основании для себя кредита, но необходимость кредита им положительно сознается. Конечно, на первый раз она им сознается как дело, которое помогло бы ему

---

* Для доказательства чего привожу следующие два примечания из «отчетов за 1865 год государственного банка, контор и отделений его», помещенных вслед за речью министра финансов (7 января 1867 года):

«На сроки в январе и феврале 1866 г. назначено было в продажу 111 просроченных имений, из которых продано *одно*. Продажа остальных была остановлена, а именно: 46 имений за поступлением от заемщиков следуемых сумм; 13 за совершением выкупа крестьянских наделов, с удержанием банковых долгов из выкупных ссуд, 1 за передачею имения в казенное ведомство с уплатою банкового долга, 5 за переводом долгов на крестьянские наделы; 2 за переложением займов на новые сроки, 41 *по неявке желающих* и 2 по распоряжению министра финансов.

На сроки в ноябре и декабре 1865 года назначено было в продажу 375 просроченных имений, из коих *продано 16 имений*. Продажа остальных была остановлена, а именно: 132 имения за поступлением от заемщиков следуемых сумм, 18 за совершением выкупа крестьянских наделов, с удержанием банковых долгов из выкупных ссуд, 22 за переводом долгов на крестьянские наделы, 30 *за неполучением к установленным срокам описей имениям* (?) и 162 по *неявке желающих*».

Тут в глаза бросается сознание правительства в неявке покупателей. Только что же оно сделало с этими имениями? Этого нигде не показано. Замечательно тут также, что из просроченных имений помещики действительно заплатили долгу меньше 37%, а действительно продается с торгов $3^1/_2$%.

привести сколько-нибудь к выкупу свои огромные повинности; но за сим оно легко поняло бы, что кредит составляет для него возможность выкупа частной и казенной собственности в собственность общественную. Это был бы второй шаг народного развития, который навел бы его на необходимость общинной разработки полей, общинного земледелия, потому что при артельном выкупе новых земель мысль о совокупном труде явится сама собою *.

Но кто же, спросите вы, может предложить кредит крестьянству? Да мне кажется все те же, которые составляли вклады покойных Опекунских Советов, т. е. излишки торговых капиталов и чиновничьи грабежи, которые еще имеются в руках штатных и заштатных чиновников **.

---

* А это утешило бы не только «Моск. вед.», но даже газету «Весть», потому что община явилась бы крупным владельцем и производила бы en grand [в больших размерах.—*Ред.*].

** Правительство старается отделаться от своих чиновников, невольно сознавая, что они составляют способ управления, разоряющий казну и страну. Это стремление правительства очевидно; но правительство приводит его в исполнение так нерешительно, с такою боязнью, что не сберечь ему своих финансов на этом пути. Таким образом явился указ 22 декабря 1866 года о сокращении штатов министерства государственных имуществ, в котором мы находим, что:

1) Государственные крестьяне переходят в ведомство общих по крестьянским делам учреждений. Тут мы не можем не заметить, что правительство не хочет видеть, что, сокращая чиновничество одной службы, оно непременно усилит число чиновничества другой службы, потому что оно все же не сокращает *своей администрации;* для того чтоб действительно сократить чиновничество, оно должно *сократить свою администрацию,* передавая ее во власть общественного самоуправления.

2) Сокращает оно действительно почти весь первый департамент министерства государственных имуществ; зато второй департамент переименовывается во «временный отдел по поземельному устройству государственных крестьян»; департамент сельского хозяйства — в «департамент земледелия и сельской промышленности»; канцелярия министра — в «департамент общих дел» и т. д. Неужели подобные игрушки в названии значат что-нибудь, кроме полнейшего шутовства? Но как бы то ни было, все же явится достаточное количество штатных и заштатных чиновников (которым еще год будет производиться жалованье на основании ст. 1012 т. III св. зак. изд. 1857 г.). Если чиновники хорошенько подумают, то найдут, что для них было бы гораздо выгоднее помещать свои — хорошо ли худо ли — нажитые капиталики в дело народного кредита, в котором окажется струя живая, растущая, чем в дело дворянского или правительственного кредита, идущего по наклонности постоянного упадка,

Я не говорю о справедливостях, вследствие которых многим пришлось бы просто отдать народу у него взятое; я только говорю о возможностях. Когда вкладчики больших и малых капиталов поймут, что для них выгоднее, т. е. вернее и спокойнее, организовать народный общественный поземельный кредит, за народною круговою порукою, установленною на выработанных условиях, чем рисковать вкладами в шаткий кредит частного землевладения или в постоянно понижающийся кредит правительства, когда вкладчики уяснят себе это, тогда народный кредит сделается возможным и выкуп частной и казенной собственности в собственность общественную — делом достижимым.

Может быть, вы меня здесь остановите и скажете мне, что я таким образом организую новую касту капиталистов, и мне хочется разобрать с вами это предположение прежде, чем мы приступим к разбору возможной организации народного кредита.

В данное время, если потребность народного кредита не воспользуется частными денежными капиталами, то они необходимо уйдут на иное помещение, и народ останется без кредита, а страна останется скорее в убытке, чем в барыше, потому что капиталы уйдут на покупку шатких правительственных бумаг, или на помещичий кредит, довольно неверный, или на заграничные помещения. Но ликвидация таких капиталов в общественную собственность, в социальное (мирское) построение составляет один из тех дальних вопросов человечества, постановка которых теперь положительно невозможна.

Здесь опять, по моей неотразимой привычке, я наткнулся на отступление и не могу не высказать вам всей мысли окончательно.

Есть вопросы, стоящие на ряду *теперь;* их разрешение можно искать в современно-существующих данных. Есть вопросы, пожалуй имеющие высшую степень общественного значения, но разрешения которых в современных данных не отыщется и постановка которых еще не может дойти до надлежащей ясности. Тем не менее нельзя их не провозглашать, нельзя не помогать их разрождению, нельзя не расчищать их пути от препятствий.

Например, вопрос свободы женщины, или, лучше сказать, равноправности мужчины и женщины, требует,

чтобы люди нового мира помогали его развитию, устраняли препятствия всеми способами, которые на сию минуту сводятся на очень небольшое число, как то: возможность достижения женщиною научного образования и научной деятельности, возможность организации женского труда и посредством его женской независимости; но тут еще далеко до гражданской равноправности и участия женщины в гражданской деятельности. А между тем сущность вопроса заключается не в чем другом, как в гражданской равноправности; но дело еще держится в тисках всяких предрассудков — религиозных, семейных, наконец, даже в уклонении большинства женщин от понимания и признания вопроса, и, конечно, его ясная постановка *теперь* еще невозможна.

Мы даже находим более начала гражданской равноправности женщины и мужчины в тех местностях России, где мужчины уходят на заработки артелями, а женщины, оставаясь дома, составляют мирские сходки, решают поземельные разделы и раскладку повинностей и выбирают из своей среды все должностные лица, кроме старосты *. Зато в этом есть *только начало* гражданской равноправности мужчины и женщины, а по недостатку образования нет ее развития. Но все же дело благонамеренных людей помогать разрождению этого начала возможной пропагандой, не менее деятельной, как и пропаганда женской научной деятельности, женского труда и женской независимости в других сословиях, хотя бы ясная постановка вопроса в настоящее время и не была еще возможна.

Таким образом, научная организация воспитания составляет один из существеннейших вопросов, которого совершенно разработанная постановка еще неприложима. Научная организация воспитания должна охватить все возрасты всех сословий — от первоначальной школы до академического учения, ставя предметом человеку вместо затверженностей наблюдение и понимание. Но этот вопрос опять держится в тисках всем, что большинство привыкло принимать на веру. Вопрос действительно заключается в положительной науке (пожалуй, хотя бы так

---

* Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами. Рязанская губерния. Составил М. Баранович. С. Петербург, 1860, стр. 395.

называемой положительной философии, ныне запрещенной невско-императорской цензурой). А если вы хорошенько вникнете в его сущность, то увидите, что без него социальное построение общества едва ли придет к своей постановке, будучи раздираемо на клочки всякого рода государственными верованиями. Вы опять увидите здесь, что в обычаях владения русского народа гораздо больше социального начала, чем в какой бы то ни было организации; но *только начала,* а для его развития необходима организация положительного научного воспитания. Но каким же образом мы придем к постановке этой организации? Опять-таки, расчищая для положительной науки путь равноправности относительно всех убеждений, принятых на веру, всех религий, равно теологических и государственных, а в этой равноправности науки и веры заключается единственное основание действительной свободы печати.

Конечно, я не исчислил вам *всех* дальних вопросов человеческого развития, но все же я указал вам хотя бы на два примера. Теперь же вернемтесь к вопросам, вытекающим из современных данных, которые именно и явятся вопросами, расчищающими пути дальнейших положений и развитий.

И тут без всякого сомнения на первом плане поставится вытекающая из современных данных потребность народного кредита.

8

ОКОНЧАНИЕ ПИСЬМА МЕЖДУ ЧЕТВЕРТЫМ И ПЯТЫМ

Я вам сказал, что потребность народного кредита — одно из современных существующих данных. Эта потребность явилась фактом на европейском западе и до сих пор не могла достигнуть действительного развития. Она является фактом в России и еще далеко не пришла не только к какой бы то ни было организации, но даже не дошла до простой постановки вопроса.

Если на европейском западе она где-нибудь была выражена с некоторою полнотою — это в 1849 г. в прудоновском *народном банке.* Но здесь мы находим два идеала, которые нас опять относят к дальнейшим вопросам чело-

вечества, и, может быть, в этом заключается причина их современного неуспеха. Один из этих идеалов — даровой кредит, или, выражаясь определеннее, сведение процента, которым пользуется капиталист, на *издержки товарной мены* (frais d'èchange). Я вас прошу обратить особенное внимание на этот идеал (не входя нисколько в спор о его достижимости или недостижимости), потому что он для нас весьма важен относительно определения русской современности и нашего вопроса о том: «создадим ли мы новую касту капиталистов, образуя народный кредит на основании кредита обычного, или привычного?»

Другой идеал прудоновского народного банка — это ликвидация правительства *политического* в правительство *экономическое*. Я не стану входить в разбор, *насколько* это дальний вопрос человечества, я только замечу вам, что это также один из дальних вопросов, для которых расчистка путей необходима и которого постановка неизбежна и потребность очевидна.

Одно еще я должен заметить, прежде чем приступлю собственно к нашей задаче, что идеал дарового кредита — наглядно говорит о своей недостижимости *прежде* ликвидации политического правительства в экономическое, потому что нет достаточной причины, чтобы какое бы то ни было политическое правительство — от архидеспотического до ультрареспубликанского — допустило даровой кредит, совершенно совпадающий с чисто экономическим правительством.

Покамест для нас одно ясно, что у нас нет ни сил перерождения, ни революционных средств, чтобы сейчас перейти от удушающего политического правительства к правительству экономическому и от кредита, можно сказать, грабящего или, учтивее,— кредита процентного, к кредиту даровому; а как бы то ни было, создать народный кредит— дело необходимости, дело жизни, дело, без которого нельзя итти дальше.

Следственно, создадим ли мы новую касту капиталистов, или не создадим — вопрос чрезвычайно важный, а между тем все-таки второстепенный, потому что главная задача — во что бы то ни было создать народный кредит.

История не развивается по программе; она идет вперед своими неизбежными результатами из существующих обстоятельств. Она имеет свое $a + в = c$ не потому,

что это какое-нибудь предположение, а потому, что de facto явились *а* и *в*, и *с* выражает их сумму, и помимо этой необходимости ничего нельзя сделать; а так как у нас нет действительных данных для постановки экономического правительства и дарового кредита, то мы необходимо должны прибегнуть к кредиту обычному, лишь бы организовать кредит народный, который для последующего результата, для искомых целей, будет основным обстоятельством и расчисткою путей достижения.

Сказавши, что вопрос создания новой касты капиталистов — вопрос чрезвычайной важности, но все же, относительно создания народного кредита, вопрос второстепенный,— я еще не все высказал.

Новой касты капиталистов тут не создается, но удерживается, на некоторое время, старая каста, существующая каста капиталистов, которой и без того вычеркнуть нельзя, и в то же время пускается в развитие каста если не новая, то все же самая жизненная и всепоглощающая — народ, общественность.

Что у нас нет действительных данных для постановки дарового кредита — следует не только из того, что наше правительство наименее экономическое; но следует уже и из того, что наши капиталисты — равно крупные и мелкие, предлагая деньги для кредита, только и могут иметь в виду пользование известных процентов. Это отношение не может измениться, покамест капиталист (как его определяет обыкновенное понятие) является совершенно отдельно от производителя, лучше сказать, противоположно производителю, является сберегателем денежных излишков, задерживающим долю денег из обращения и производительности, следственно, преднамеренно увеличивающим потребность денег для обращения и производительности, что искусственно возвышает цену денег — из роли посредствующего представителя обменивающихся произведений переводит их в роль самостоятельного товара, за приобретение которого надо платить его сберегателю вознаграждение, как будто сбережение требовало затраты и труда, подобно производительности, а это в свою очередь искусственно изменяет остальные экономические отношения.

Но что мы в данную минуту не можем иначе определить положение капиталиста и из этого положения должны

воспользоваться его капиталами для образования народного кредита — на это вы едва ли в состоянии возражать.

Разберемте же это положение:

1) Что правительство теперь не вступится в образование народного кредита (кроме своего обычного, окончательного разрешения на составление банка) — это очевидно и из его самоотречения от прежнего, казенного банкового учреждения, и из его боязливых реформ, и из его собственных экономических недостатков. Следственно, образование народного кредита должно быть предоставлено частным начинаниям, личным силам. И тут, чем больше будет число вкладчиков, чем больше число мелких капиталов, так что даже *само крестьянство может принять участие в вкладах,* — тем меньше можно ожидать, чтобы из вкладчиков составилась особая каста капиталистов или чтобы ими именно продержалась старая сословная рознь, если для ее поддержки не найдется других условий.

2) Если кредит будет долгосрочный, на основании родовых взносов процента и погашения, то он всегда будет иметь тяготение к понижению процента и увеличению числа лет долга. Это показывает опыт из существования учреждений долгосрочного кредита. Это можно вывести и из того, что кредит должен дешеветь и при увеличении числа вкладчиков, и при уменьшении числа заемщиков. Если бы подобный долгосрочный народный кредит осуществился, необходимо явился бы сначала срок прилива вкладчиков, особенно при допущении мелких вкладов, и тогда, по мере удовлетворения заемщиков, вкладчикам становилось бы выгоднее уменьшать процент и продолжить существование кредитного учреждения, и не только уже существующим заемщикам выгоднее было бы платить продолжительное время minimum процента, но на этом minimum'е процента привлекся бы и новый кряж заемщиков. Между тем с понижением процента вкладчикам самим стал бы выгоднее переход от денежного капитализма в производительность и оборот. Тогда необходимо система кредита, в котором капиталист снабжает нуждающегося, должна перейти в систему кредита взаимного содействия.

Тут также нет места образования новой касты капиталистов или какой-нибудь особой сословной розни, потому что во все время движения народного кредита

должно произойти развитие земледельческого сословия, т. е. собственно народа,— иначе оно немыслимо,— и, следственно, народный уровень приблизится не к сословной розни, а к сглажению сословной розни.

Вы мне скажете, что все это только проблематическое, только предположение. Но я вам и не говорил, что народный кредит есть факт; я вам говорил, что *потребность* народного кредита есть факт и что ее осуществление будет именно расчисткой путей к достижению сглажения сословной розни, перехода правительства политического в правительство экономическое, понижения кредитного процента до возможного предела minimum'а и перехода собственности частной в общественное владение *.

3) Но вы спросите, каким же образом организовать народный кредит, и потребуете программы. Я не думаю,

---

* Позвольте хотя в подстрочном примечании еще раз теоретически проверить это положение:

Собственность в смысле справедливости равна сумме вещей, разделенной на число народонаселения, $=\frac{x}{y}$. Отсюда понятие собственности уже не выдерживает критики, потому что тут две переменные. X меняется с увеличением или уменьшением Y; $X=f\ (Y)$. Но и Y не есть постоянная, но переменная — независимая относительно X функция целого ряда явлений, которые еще требуется определить и весьма нелегко перечислить. Сюда входят и открытия новых стран, и разработка пустопорожних земель, и метеорологические влияния на производительность, и изменяемость промышленных потребностей, и пр. и пр.

Во всяком случае $X=f\ (Y)$ выдерживает понятие владения, но не собственности (к этому относится в письме 1-м, «Колокол» № 216, стр. 1726, колонка 2-я), потому что понятие владения совпадает с понятием переменной зависимой и переменной независимой, между тем как понятие собственности предполагает Y постоянным, неизменяемым и тогда изменяемость X зависит от других вводных данных, т. е. собственность изменяется не по отношению к числу народонаселения, а по другим вводным причинам - юридическим (например, наследование), но несправедливым, легальным, придуманным, но не естественно вытекающим из понятия общественной justiciae.

Далее, изменяемость X представляется в форме $X+P=$ $=f\ (Y+t)$, то есть владение + производительность — функция народонаселения + труд, что также дает совершенно рационально и $P=f\ (t)$, т. е. производительность функции труда. Таким образом, социальное отношение человечества выдерживает только понятие *владения*, но не *собственности*, и это коренное понятие владения мы находим у русского крестьянства в его отношении к земле.

чтобы подобная программа могла быть делом частного лица; если программа народного кредита должна осуществиться, то она должна быть выработана на сходках поверенных от крестьянства, то есть от заемщиков, и поверенных от вкладчиков, к каким бы сословиям они ни принадлежали. Начало, без сомнения, может быть совершенно местное и едва ли земские учреждения не окажутся действительными возможными центрами для сближения вкладчиков и заемщиков.

ИЗ СТАТЬИ «НАСТОЯЩЕЕ И ОЖИДАНИЯ»[1]

...Как бы плохо, т. е. как бы недостаточно, ни было, но с 1861 года узлы начинают распутываться. Крепостное право было главным узлом, привязывавшим народ к правительству. Посредством него царизм все держал на вожжах. Мелкий чиновник ставил себе идеалом получить в награду землю и крепостных людей и переходил в помещика; помещик, уже владевший крепостными людьми, ставил себе идеалом играть роль в правительстве и переходил в чиновника. Таким образом, каста помещичества и каста чиновничества сливались, были одно; аристократии собственно не было, но была каста, которая служила правительству орудием заправления народом. Николай Павлович это очень хорошо чувствовал, когда окончательно завязал узел вожжей учреждением министерства государственных имуществ, чиновники которого стали помещиками над крестьянами, бывшими вне крепостного права, и крепостное право сделалось повсеместным. Уже из этого хода дел чувствуется, что как скоро начал распутываться узел крепостного права, так и все остальные узлы правительственных вожжей станут друг за другом развязываться, и, что бы правительство ни делало для удержания, сила вещей так велика, что всякое действие послужит к распутыванию узлов до исчезновения вожжей. Тем не менее мы должны здесь повторить, что из этого рассказа о закреплении и раскреплении все же вывод тот, что правительство и централизация составляли и со-

ставляют главное зло в жизни русского народа. (Припомним, кстати, что и самое крепостничество началось царскими данными, закреплением ради заправления, созданием орудий заправления.)

А как же, скажут нам иные, ведь правительство начало освобождение крестьян, а не помещики? — Да мы никогда и не вступались за помещиков, милостивые государи; мы только не вступаемся и за правительство. Мы знаем, что часто говорится, особенно при случаях, сильно возбуждающих негодование, что общество хуже правительства; также говорится, что правительство всегда достойно своего общества. Мы находим, что оба хуже и что нельзя оставлять орудия зла, не разрушая орудующей силы, или оставлять орудующую силу, не разрушая орудий. Что же касается до благодетельного влияния правительства на освобождение крестьян, то мы находим, что вожжи закрепления были так натянуты, что уже дальше нельзя было жить, и мы за начало освобождения благодарны опять-таки силе обстоятельств.

Первое, что почувствовалось по уничтожении крепостного права,— это была качественная недостаточность правительственного чиновничества для заведывания делами при *изменившихся отношениях между людьми;* почувствовалась необходимость выборного управления, т. е. самоуправления, и не канцелярского, но коллегиального устройства судов. Вследствие этого явились мировые посредничества, мировые суды, суды присяжных, земские учреждения. На эти учреждения потребовались и *общественные расходы.*

Но при этой реформе или при этом начале реформы правительство сохранило и большую часть своей администрации, и, следственно, сохранило и большую часть прежних расходов на чиновничество. Это, кроме всего остального, уже доказывается постоянным возвышением *казенных* податей. Вероятно, никто не станет сомневаться, что казенные подати — те же общественные, или, правильнее сказать, *народные,* подати, которые всей своей тяжестью падают на крестьянство и бедное сословие городов. К прежним народным казенным податям, идущим на казенное управление, прибавились народные общественные подати, идущие на *самоуправление.* Казалось бы, по мере возникновения последних должны уменьшаться

первые,— ничуть не бывало! Казенные подати, несмотря на предполагаемое уменьшение казенного чиновничества и несмотря на неприращение народонаселения и на неувеличение промышленности, не перестают ежегодно повышаться. Даже освобождение казенных крестьян от казны (при чем должно было бы сократиться до последнего предела чиновничество министерства государственных имуществ), даже и это освобождение не помогло и подати с казенных крестьян увеличились (см. «Колокол», 1 февраля 1867 года, л. 233 и 234) [2]. Но все же мы не можем не заметить, что, несмотря на все эти поборы, крестьянству жить стало легче. Для доказательства этой истины следует только обратить внимание на жалобы помещиков о недостатке рабочих рук. Стало, крестьянский труд *теперь* удовлетворяет крестьянским нуждам. Помещики могли бы жить или на счет крепостного права, или, как в Европе, на счет бездомников; в России приблизительно нет ни того, ни другого — и помещикам пора исчезнуть. Но тут, говорят, земледелие страдает, торговля страдает. Торговля страдает от недостатка сбыта, от недостатка спроса, вслед за этим страдает и земледелие. Да это еще не одна причина экономических страданий. В *ожидании* их устранения, кроме большого развития путей сообщения, остается еще желать действительных, экономических крестьянских ассоциаций, развития общинного труда и в основании всего — *учреждения и развития народного кредита.* А толковать о громадном помещичьем земледелии, пожалуй, можно кому угодно, но от этого капиталов у помещиков не прибудет, кредита не прибудет, и роль их все же покончена. Если что-нибудь еще не покончено, это народная ненависть к ним, которая перевертывается в другое зло — в ненужную любовь к царю. Это зло, естественно, должно разрушаться по мере исчезновения помещиков. Это необходимо совершится с переходом частных земель в общественные, на основании общинных приобретений и общинного труда. И еще раз повторяю: ожидание, которое здесь на *первом* месте,— это учреждение народного кредита.

Что же касается до учреждения мировых и гласных судов, то новая юридическая почва расчищена, и ее уже никаким канцелярским щебнем не завалишь. Но еще заметно сильное стеснение выборного начала в сословни-

ческой рамке. Тем не менее народный смысл, народные направления уже высказываются и теперь — в постоянных стремлениях к оправданию подсудимого; мы не думаем, чтобы этот смысл и направления не имели своей великой будущности. Но все же окончательное устройство судов должно быть делом Земского собора, а не царизма, не центрального правительства. Правительство, в своем преобразовании судов, поступает точно так же, как в преобразовании управления из казенного в общественное, в преобразовании податей из казенных в общественные. Метода у него везде одна. При преобразовании управления и податей оно сохранило свое чиновничество и повысило казенные сборы; при преобразовании суда в гласный оно сохранило свой суд секретный, усилило военные суды и смертные казни и в так называемых политических преступлениях продолжает руководствоваться административными решениями и доходит до варварства, до которого (после пяти виселиц) не доходил Николай Павлович. При большем развитии суда, при большем проникновении его в смысл народный, суд и правительство должны стать в неприязненные отношения, потому что правительство станет вмешиваться и мешать основаниям преобразования, хотя и признает его за свое. Суды же честно не будут в состоянии ни отступить, ни уступить, и народ не уступит правительству нового суда, так же как не может уступить начала и роста своего освобождения.

Правительство уже попробовало свое вмешательство в новые земские учреждения — закрытием петербургского земского собрания[3]. Что оно опять будет открыто — это не подвержено сомнению; продолжая его закрытие, правительство само не будет знать, что делать. Положим — оно само начало преобразование, тем труднее вернуться вспять. Но сверх того, закрытие произошло под предлогом, будто бы земское собрание переступило законные права и пределы. Это доказать очень трудно — все общественные вопросы так тесно между собой связаны, что законных пределов нельзя обозначить. Земскому собранию нужно будет понизить, повысить или определить какой-нибудь налог: вопрос касается всего государственного склада, и это неустранимо, и предписанный предел не может сохраниться. Одно заключение,

которое можно вывести из закрытия петербургского земского собрания,— то, что вообще земские учреждения еще не достигли надлежащей самостоятельности. Но раз распространенные на всю Россию, рушить их правительство не в состоянии, а их стремление достигнуть до надлежащей самостоятельности становится естественным и неодолимым. Нельзя же будет правительству закрыть все земские собрания, не закрывши самого себя со всеми своими преобразованиями и не перешедши от земских учреждений к Земскому собору. Тут приходит другое заключение, что настоящая несамостоятельность земских учреждений заключается в том же, в чем заключается несамостоятельность других преобразований — равно судебных и самого освобождения крестьян: сверх стеснительной рамки сословничества, она заключается в том, что земские учреждения представляют только *начало* преобразования, а не действительное преобразование. Во всем, что до сих пор преобразовывалось, старое сдвинуто с места, а новое еще далеко не сложилось и не высказалось; но раз *начало* вошло в жизнь, оно необходимо пойдет к своим результатам; а результаты будут те, что захочет правительство закрыть земские учреждения — оно придет к Земскому собору; не захочет оно закрыть их — сами земские учреждения дойдут до Земского собора. Между тем они разработают необходимый вопрос об элементах, из которых может сложиться областная Русь — и Земский собор явится с ясным федеративным распределением.

Переходя к отношениям низших сословий к высшим и к земским учреждениям, мы не можем не повторить, что отношения низших сословий к земским учреждениям далеко не сложились, а их отношения к высшим сословиям далеко не пришли к той форме свободных отношений, которая одна человечески возможна и которая одна способна дать развитие и промышленности и свободному гражданскому устройству, т. е. к форме совершенной равноправности.

Выборное начало земских учреждений приняло народный элемент не за основание, а скорее за какую-то случайность, которой иметь бы не хотелось, а не допустить невозможно. Отсюда избираемые, не только как большинство, а почти целиком, относятся к группе выс-

ших сословий. Нам скажут — это потому, что люди из народа еще не могут ни рассуждать, ни говорить. Мы считаем это за одну из величайших несправедливостей. Дело, собственно, не в парламентском красноречии и не в карамзинской фразе, дело в том, чтоб народ мог сам отстаивать свои интересы; а на это люди из народа всего способнее и без сомнения найдут свой язык, которого логика не останется безуспешною, и их равноправное допущение как избирателей и как избираемых было бы теперь самым огромным шагом русского народного развития. Но при настоящей стесненности выборного начала движение народного ума задержано, защита народных интересов более чем сомнительна. А если мы при этом взглянем на самую внутреннюю организацию сел, волостей и городов, то мы увидим, что их выборное управление, хотя и выборное, но еще так зависит, с одной стороны, от чиновничества, с другой стороны, от помещичества, что оно, в сущности, несостоятельно. Отсюда мы находим, что чиновничество (или губернаторство с правительством во главе) имеет целью только сохранение власти, хотя бы она приносила действительный вред; а помещичество, кроме немногих исключений, думает о том, как бы воскресить, в иной форме, старое крепостное право, положим — в форме мировых и земских учреждений *. Из всего этого очевидно, что народ живет ложью, а до надлежащего развития не доходит, хотя и потому, что добро, которое ему будто бы хочет делать правительство и высшие сословия, полно ложью.

Тут нельзя не упомянуть об ужасном положении народных школ Может, было немного зрелого в начинаниях молодого поколения, когда оно заводило свои воскресные школы; но в этих начинаниях было искреннее желание народной пользы, и их развитие принесло бы действительную пользу. Теперь все стремление — отдать народные школы под помещичий надзор и под руководство поповского доктринаризма. Этому стремлению сочувствует правительство. Осуществление его, с одной сто-

* Мы удивляемся, что из живущих в России до сих пор никто не написал разбора законоположений земских учреждений и их современной деятельности и не напечатал хотя бы за границей. Разбор этот возможен только для живущего в России, а издание его теперь имело бы страшную пользу.

роны, принесет вред, отдавая народное образование под самое узкое и бесплодное влияние. С другой стороны, оно поможет разом повсеместному учреждению школ и, следственно, образованию массы грамотных людей в непродолжительное время. На этом основании новому и новейшему поколению предстоит как можно прилежнее заняться изданием книг, полезных для народного чтения,— равно по специальным земледельческим и ремесленным вопросам и по общим вопросам общественных учреждений.

Кстати же к вопросу о школах, мы с наибольшей скорбью смотрим на это молодое поколение наших разночинцев, которое встрепенулось было при мысли об освобождении крестьян и которое правительство и высшие сословия с остервенением постарались забить всяческими средствами: политическими бессудными преследованиями, налогами на университетское учение, леонтьево-катковскими классическими гимназиями (где главную и удушающую умственные способности роль играет латынь), наконец — поощрением к чиновническим карьерам, что тем более легко, что это сословие, собственно, не имеет доступа к земским учреждениям, доступа, который разом и поставил бы его на более реальную почву и вызвал бы более определенного труда и больше гражданского и политического смысла. На этот отдел русской жизни мы действительно не можем смотреть без глубокой скорби — столько свежих сил тут забиты властями и централизацией и приведены к избранию каторги или пути холопских повышений. Мы надеемся — и это одно из лучших ожиданий,— что новейшее поколение все же найдет в себе средства достигнуть надлежащего сосредоточения, действительного, а не около-скользящего научного труда и приспособления своей силы и знания к общественным потребностям и вопросам дальнейшего народного развития.

Но на этом ожидании мы еще не можем закончить нашей статьи. Нам кажется, что, несмотря на отсутствие реальных корреспонденций, мы все же безошибочно представили скорбное положение настоящего и все же пришли к заключению, что для отчаяния нет места и что успех ожиданий в будущем не сомнителен — равно вследствие

несокрушимой веры в него и вследствие наблюдений и выводов рассудка.

Мы не можем не повторить еще раз, что для нас ожидание на первом плане — это учреждение народного кредита. Что же касается до ожиданий в дальнейшем времени, это —

1) Организация земледельческой артели (общинного земледелия);

2) Организация на ее основании ремесленной общины (промышленной артели);

3) На основании обеих — организация торговой артели *.

В осуществление их мы верим, как в историческую необходимость.

---

* О современном положении русской торговли и торговых сословий мы намерены представить отдельную статью [4], как скоро будем иметь в руках нужное количество материалов; потому просим всех кто может, доставлять нам оные.

БЛАГО ЕСТЬ МЕСТО [1]

Мы хотим заглянуть в некоторые недавние, но не безвредные явления в русской литературе. Например, вот январская книжка «Всемирного труда». Между прочим, в ней статья о «Принципах жизни» Николая Соловьева [2]. Автору хотелось поговорить обо всем, а между тем читаешь, читаешь и не скоро доберешься, что такое и о чем именно говорит автор, пока, наконец, не наткнешься на то, что все его усилия направлены против материализма, позитивизма, утилитаризма и ради вызвания на свет ничем необъяснимого идеализма. Начинается статья будто бы рассуждением об упадке вкуса, и тут решительно нельзя доискаться, о чем именно идет речь. А ведь как бы легко было автору доказать упадок вкуса в русской литературе,— стоило только привести в пример помещенную в той же январской книжке «Всемирного труда» драматическую хронику в стихах Островского [3] — и больше упадка вкуса искать было бы нечего.

Но мы перейдем от рассуждения г. Соловьева о чем-то к его настоящей цели, которая заключается в восстановлении теории «Принципов жизни», но выражается таким языком:

«Принципы *есть* более или менее формулированные законы нравственного мира. Их можно скорее уподобить *заповеди,* ясно и определенно выраженному *афоризму;* но с теорией их смешивать нельзя».

Конечно, их нельзя смешивать с той теорией, которая ставит себе задачей — из наблюдаемых фактов вывести свойства, законы целого ряда мировых явлений или явлений отдельного рода. Такая теория, собственно, наука, которая *приводит результаты* наблюдений к человеческому сознанию и объясняет их связь и целость. Но это не доказывает, чтобы предположение где-то самих по себе существующих принципов нравственного мира не составляло не научной, а самой заоблачной теории. Разве на одно мы можем согласиться, что это предположение скорее можно назвать фантазией, чем теорией,— может быть!

«Отвергать идеализм,— говорит автор принципов,— это то же, что проповедывать сенсуализм: сенсуализм есть не что иное, как материализм, *оставшийся наедине сам с собою*».

Что такое значит *материализм наедине сам с собою?* Этого, конечно, не поймет ни один человек с здравым смыслом. Но что поймет каждый добросовестный человек — это то, что автор принципов никогда не изучал материалистов ни прошлого, ни нынешнего столетия; иначе он увидал бы, что материалисты были совершенно далеки от того сенсуализма, который совпадает с развратом и на который именно старается намекнуть автор принципов.

Если позитивизм в чем разнится от материализма — это в отрицании возможности для человеческих способностей постановить какое бы то ни было начало мира, и потому позитивизм не ищет его даже в *веществе* (matière, откуда и название материализма). Но развитие того и другого учения естественно совпадает, потому что ищут основы самой истории рода человеческого в физиологических законах человеческого организма и, пожалуй, в самых механических законах природы. Не должен же г. Соловьев забывать, что материализм прошлого столетия если и отверг предсуществующие принципы, то дошел до того нравственного результата общественности, который поставил своим знаменем: свободу, равенство и братство. Из этого переход к *социализму* является естественным историческим последствием.

Автор принципов воюет не только против материализма, но и против позитивизма и против социализма, не понимая ни того, ни другого, ни третьего. Иначе он

никогда не нашел бы в них отрицания гармонии, музыки или вообще искусства. Если они не выводили существование искусства из *принципов,* то они всегда признавали его существование, как один из результатов отношения законов природы и человеческой деятельности. Утилитаризм, может быть, не говорил об искусстве, потому что преследовал другую задачу, но и он никогда не отвергал его.

Иногда кажется, что г. Соловьев пишет исключительно против «Русского слова», но приводит выписки из статей г. Писарева, в которых нет ни малейшей бессмыслицы, хотя г. Соловьев и хочет выказать их с этой стороны.

К сожалению, мы не имеем прежних статей автора «Принципов», иначе — и если ему угодно — мы были бы готовы вступить в подробную полемику, потому что мы находим его направление, как чрезвычайно ретроградное, *нравственно опасным для русского развития*[4].

Кстати, из новых французских изданий мы рекомендуем нашим читателям Revue, выходящую раз в неделю (1 лист по 10 сантимов) под заглавием: «La pensée nouvelle»[5].

ГОЛОД И НОВЫЙ ГОД[1]

Вот те, бабушка, и Юрьев день!
(Народная поговорка).

Бывают общественные бедствия, наносимые внешней природой; они считаются бедствиями, не зависящими от воли человеческой, но, тем не менее, тесно связаны с человеческим незнанием и непониманием, неумением предотвратить их или уклониться от неизбежных недостатков иными, заменяющими средствами. Эти бедствия усиленно обращают внимание <людей> на исторические неурядицы, правительственные заблуждения, ошибки общественного устройства. Отдельное явление вызывает мысль на изучение его соотношений с постановкой общественной жизни, на изучение ее роковых последствий, ее связи с общими современными вопросами.

К такого рода бедствиям принадлежит *голод*. Разразившись над Россией, он заставляет пристальней вглядеться в жалкий уто̀к русского законодательства и русского управительства и в темные основы знаменитого народного освобождения.

Иные говорят, что голод — ничего, что голод для России не новость, что голод у нас повторяется каждые двадцать или двадцать пять лет, а потом и забывается. Это действительно правда. Да и мало ли что̀ повторяется — чума, холера, тиф, сибирская язва, война и т. д.— и потом забывается! Тем не менее перемежающаяся лихорадка голода, несмотря на все самохвальство правительственных пособий, в данную минуту дело не шуточное. Именно

потому, что оно является с возвратом перемежающейся лихорадки, именно потому-то оно и могло быть устранено, как дело не непредвидимое. А между тем его устранить нельзя. Правительственные пособия всех сортов, от запасов до сборных подаяний, несмотря на все *именные благоволения* и все вздувания патриотических газет, пособляют мало. Пособия проходят через слишком большое число рук; а если и достигают до нуждающихся, то, с другой стороны, нельзя остановить взыскания недоимок, с розгами и распродажей крестьянского имущества, нельзя остановить рекрутского набора. При этих одновременных пособиях и ограблениях народу приходится страдать и гибнуть — лишь бы государство оставалось цело. Новое доказательство, что народ и государство совсем не одно и то же. Даже можно дойти до странного заключения, что государство может существовать без народа *.

Государством остаются, как следует: правительство, олигархия и буржуазия, или — по-русски — *первый дворянин* (государь) и остальное дворянство (государики, или шляхетство) **. Народ (без которого существование этого государства так немыслимо забавно) остается тестом в его пекарне; да ему трудно добиться до самостоятельности; но важно то, что сколько государство им ни злоупотребляет, сколько ни мнет его в разные булки, все же народное вещество несгнетаемо и не может отречься от достижения до самостоятельности. Что касается буржуазии, которая своим путем развилась в Европе, у нас ее существование определить мудрено; наше среднее сословие само не знает, насколько оно относится к высшему сословию, насколько оно — народ. Все, что̀ оно знает,— что оно не имеет и не может иметь никакой самостоятельности. Его маленькое меньшинство, обогатившееся в торговле, стремится слиться с высшим сословием; даже новейшие реформы скорее усилили, чем ослабили это

* При этом я невольно взглянул на лежащую передо мной книжку «Народ и государство» нашего несчастного друга Мартьянова, погибшего в руках русского правительства за свою крестьянскую юношескую веру в земского царя. Почтите его мученическую память, люди правды, которым эти строки попадутся под руку!

** Подобность — сословного склада дворянства в России и шляхетства в Польше — равно легла коренным бедствием на русский и польский народы. Тем непонятнее — что́ может выиграть Польша от обрусения?

направление. Его большое большинство — бедное торгующее мещанство и крестьянство — нисколько не отделилось от народа. Поверить в самостоятельное гражданское существование нашего среднего сословия — или дело предположения, натягивающего нашу жизнь по европейскому образцу, или просто забава воображения *.

Реформа земских учреждений не может не носить в себе цели сглаження или уничтожения сословных различий, хотя бы она ее и не подозревала. Общественная необходимость этого сглаження, невозможность помимо него какого бы то ни было общественного самоуправления вызвали новые земские учреждения; но обычная бессознательность и неискренность правительственных реформ свела их, большей частью, на играние в улучшения, при огромном увеличении издержек, налогов и недоимок. Сословные разграничения остались те же, несмотря на правительственную попытку расширения народных прав, расширения, которым народ или вовсе не мог воспользоваться, или мог воспользоваться ими только на едва заметный шаг, еще не довольно определенный и твердый, чтобы стать условием дальнейшего развития. Сословные разграничения остались те же уже потому, что сами сословия не произошли самостоятельно, вследствие исторических положений и потребностей к возникновению, а были созданы, после освобождения от татарского ига, властью, которая приняла форму — в то время наиболее доступную,— форму татарской, а впоследствии татаро-немецкой власти. От этого сословия не возникали сами, а были распределены, как и большая часть городов, по наказу: это будь город, это будь село, это будь деревня, это будь дворянство, это будь купечество, это будь мещанство и т. д., помимо существенной потребности того или другого сложиться так или иначе. Но раз распределенные, сословия взялись за свою сословную жизнь, воспользовались льготами или подчинились гнету, как кому выпало

* Нашего купечества, даже всех трех гильдий и с почетным гражданством вместе, приходится приблизительно не более 8 человек на тысячу остального населения; мещанства (с цеховыми), которое отнюдь нельзя считать отделившимся от народа ни по правам, ни по обычаю,— около 70 человек на тысячу остального населения; отделившегося от народа дворянства (потомственного и личного, т. е. всего дворяно-чиновничества) — приблизительно 16 человек на тысячу.

на долю, и стали относительно друг друга в резкие разграничения, которые лично дозволялось переступать преимущественно ради коронной службы, или вообще чтоб, раз переступивши сословную границу, человек вошел в другое сословие и резко отделился от своего прежнего. Таким образом, несмотря на личные переходы из низших сословий в высшие, отношения каст сохранились, и общего, живого, общественного интереса сложиться не могло; общая жизнь потонула в одной необходимости государственной, управительственной связи, составляющейся не из общественного движения, но обязательной и мертвящей. Переходность из одного сословия в другое скорее доказывает существование резкого (сословного) устройства каст, чем какой-нибудь гражданской свободы; при гражданской свободе эта переходность была бы просто ненужна *. Последние реформы, сколько ни пошатнули общего положения, но устройства каст не могли уничтожить, даже не могли уничтожить их прежнего характера. Дворяно-чиновничий характер высшей касты сохранился до такой степени, что как сначала ни обрадовалось общественное мнение какому-то будто бы изменению чиновнического характера, но мало-помалу новые должности приняли тот же чиновничий вид и стали также ненавистны ** потому, что отношения, собственно, не переменились. Как мы сказали, несмотря на все реформы, касты остались такими же, как были ***. Демократическое направление прави-

* Устройство каст всегда резче выставляется на духовенстве, которое еще может выкидывать свое излишнее население в коронную службу, но принимать в свою касту из других сословий никого не может, разве только совершенно случайно и беспоследственно — через вступление (пожизненное) в монашество.

** Таким образом, теперь уже с восторгом говорят и печатают о предполагаемом уничтожении мировых посредников и их съездов.

*** Как одно из самых осязательных доказательств приводим следующий пример: «Государь император, по всеподданнейшему его императорского высочества главноуправляющего IV отделением собственной его величества канцелярии докладу Положения главного совета женских учебных заведений, основанного на ходатайстве министра внутренних дел, в 19 день октября сего года высочайше повелеть изволил: разрешить в Харьковском институте благородных девиц прием пенсионерками, на иждивении городов Харьковской губернии, дочерей купцов, несших городскую службу *не менее четырех лет,* вместо прежнего шестилетнего срока, установленного первым приложением к ст. 82 устава женских учебных заведений ведомства императрицы Марии 30 августа 1855 года». Может ли

тельства в западных губерниях и в Польше было, конечно, не демократическим направлением, иначе оно оказалось бы таким же демократическим и в малорусских и великорусских губерниях, потому что отношения помещичества к народу нигде не лучше, что мы дальше покажем из самого порядка вещей. На Западе правительство имело чисто управительственные цели, а нисколько не общественное, народное направление; ему будет чрезвычайно легко отстать от своего демократического представления, как скоро оно увидит, что достигло до желаемой степени полновластия и что для его поддержки олигархизм становится сподручнее демократизма *. В Восточной России правительственный демократизм даже не старался разыгрывать такой роли, как в Западной; он и в Западной России явился предлогом, а в Восточной этот предлог был не нужен. Поэтому вообще народное раскрепощение было везде недоделано; начало поставлено, но у довершения, у развития народного освобождения отняты предусмотрительные, положительные средства.

Но время шло. Казалось, что уже все от устали стало приходить в успокоение; крестьяне стали привыкать к недораскрепощению, или новому виду крепостного права, дворяне попрежнему нашли средства путешествовать и ничего не делать или шалить в хозяйство; чиновники освобождения стали делаться — как следует — чиновниками

быть что-нибудь пошлее, что-нибудь ничтожнее, как эта реформа вознаграждения за четырехлетнюю службу вместо шестилетней? И какое вознаграждение? Дозволение купеческим дочерям учиться вместе с дворяно-чиновницами! Что это — удержание или сглажение каст? Понимает ли правительство, что́ оно делает и чего оно хочет? Последствие из этого одно, что в России школа не для всех, что разные касты не могут учиться одним и тем же предметам, что вообще низшим кастам учиться должно быть запрещено, кроме некоторых шуточных исключений.

* В подстрочном примечании 2-м [см. настоящий том, стр. 764.— *Ред.*] я упомянул о подобности олигархического склада в России и в Польше. Надеюсь, что читатель поймет, что я говорю не о тождественности, а только о подобности. Татарское строение России выдвинуло подвластную правительству олигархию, боярство; военное племя Польши, как и у маджияр, само образовало свободную олигархию. Последствие оказалось подобное, т. е. в обоих случаях закрепощение народа. Оно исказило и разрушило движение польское и затормозило движение русское — равно экономическое и умственное, так что русское развитие совершается с бесконечным трудом.

канцелярскими; литовские помещики присмирели; Польша склонила голову. Только еще Катков писал доносы, и Скарятин проповедывал необходимость рабства для спасения народа. Но уже и доносы и проповедь рабства публика начала слушать вяло и равнодушно... Как вдруг по разным окраинам и серединам России почувствовался голод.

На этот раз голод отозвался по России гораздо сильнее, чем обыкновенно. Обыкновенно он проходил в глухом страдании крестьянства, в разграблении его последнего достояния чиновничеством и в возгласах барынь уездных и столичных, тем больше чувствительных, чем дальше от места невзгоды. На этот раз все пришло в волнение; даже правительство решилось сбирать с частных людей подписки на пожертвования. В ином месте народу вовсе есть было нечего; в другом месте цены на хлеб недоступно поднимались (не говорю уже о придаточных невзгодах, как болезни, скотопадение, пожары). Помещики, хотя и преследуют свои частные цели, из которых главная — равно на востоке и на западе, и от Каспия до Балтики — как-нибудь да урезать народное раскрепощение, помещики при этом голоде чего-то больше испугались. Дело в том, что этот голод заставил народ больше оглянуться на самого себя, чем в былые времена. Что ж это в самом деле? Народ с самого начала, когда речь шла об улучшении его быта, понял, что это значит — его освобождение. Да ему это так и растолковали, и очень просто почему,— потому что иначе растолковать было бы глупо и даже невозможно. Стало, народ считает себя свободным. А между тем, продолжись голод или повторись голод, у него местами — земли нету, местами земли мало, местами она так дрянна, что не родит, а платить за нее надо больше, чем она стоит, а поправить ее средств нет, и, вдобавок, тем меньше средств, чем больше приходится платить за нестоящую вещь. Надо поискать работы или переселиться. А тут подходит 1869 год, т. е. еще год — и обязанности срочно-обязанных крестьян перед помещиками покончены [2]. Стало, можно сдавать земли и находить новые. Но на каких условиях? А как же тем, которые земли выкупили, да иной раз еще и нехотя, да и заплатили цены, которых не хотели, да еще платить приходится лет сорок? Неужели им нельзя шевельнуться? А между тем

чиновников — ни старых, ни новых — голод нисколько не потревожил. Они продолжают сбирать подать чуть ли не назойливей, чем прежде. Розгами дерут, скот распродают. А подать да платежи наросли больше чем вдвое. Как же это: правительство потревожилось народным голодом, а управительство ничуть не потревожилось, так что платить приходится совсем не под силу? Или уж так вышло, что настоящего раскрепощения народного сделать было нельзя, потому что правительству и управительству, при настоящем раскрепощении, такую подать сбирать было бы неловко? Что же тут делать? — Как народу спастись от будущих голодов и как, хоть бы с посуленного 1870 года, т. е. через год, стать в самом деле свободным?

Вопрос действительно мудреный, тем больше, что его не то, что разрешить, но нельзя постановить только в неопределенном выражении: «как народу стать свободным?» Он вмещает в себе большое число совершенно положительных вопросов, из которых каждый требует разрешения, и, только сложивши их, можно подойти к разрешению общего вопроса. Постараемся припомнить хотя бы главные из них, чтобы сколько-нибудь уяснить положение задачи и препятствия, которые обстоятельства ставят к ее разрешению.

Первое, что встречается на пути,— это все тот же старый вопрос о земле, о котором на бумаге расписано много, но который на деле далеко не разрешился. Мысль о народном владении землею приросла к русскому человеку, пережила все его невзгоды, пережила крепостное право и переживает казенный захват земли. Это завладение народной землею посредством казенного и помещичьего права собственности совершилось, конечно, не вдруг, но совершалось весьма долго, весьма постепенно, однако совершилось тем легче, что и в самые древние времена народное право на землю далеко было не выработано; общая шаткость или неясность отношений, при внешних столкновениях с чуждыми народами, помогла совершиться казенно-барскому завладению народной землею и приобрести весь вид власть дающей законности. Земля стала, по закону, казенная, земля стала помещичья. Но мысль о народном владении землею уцелела не только как общее народное понятие, но на самом деле, потому

что согнать народ с земли никто не дерзнул, да и никто не может. Но зато дерзнули другое — и казенщина и барщина — это прикрепление народа к земле, прикрепление безысходное, а переселение разве только насильственное или надувательное, между тем как прежде земля народу казалась народной, а переселение было свободное. Мы не пускаемся в дальнее разбирательство, как кочевая жизнь переходила в заселение и переселения; мы указываем только, что свобода переселения отнята у народа с захватом земли в казну и раздачей ее помещикам, а с тем вместе и с прикреплением народа к земле. Прикрепление народа к земле укоренило в народе убеждение в <праве на> народное владение землей; а необходимая потребность передвижения во всякой человеческой общественной жизни сохранила в народе предание о свободе переселения так, что у него никогда не исчезало мнение, что вот не сегодня-завтра будет опять свобода переселения. Последнее освобождение крестьян не уничтожило прикрепления народа к земле, следственно, не уничтожило и казенно-помещичьего захвата народной почвы, не уничтожило его ни путем простого возвращения земель в общественную собственность, ни даже примирительным путем платежных сделок, которые только легли на народ лишним налогом; но этот вид освобождения, который в сущности не составил раскрепощения, хотя и был в большинстве случаев принят народом смиренно,— но вообще поставил его в положение удивления, из-за которого выглядывала мысль: «а как же переселение-то?» Эта мысль только ждала толчка, чтобы высказаться; этот толчок был голод.

С появления голода сильно отозвалась в русской литературе мысль о праве народного переселения; отозвалась же она потому, что нельзя было не заговорить в печати, когда на самом деле оказалось народное возбуждение к переселениям. Попытки к переселению начались в Много- Мало- и вовсе не русской России, и — со стороны правительства — начались такой несчастной поддержкой святыни прикрепления к месту, что вопрос о народных переселениях не мог не отозваться в печати и, конечно, должен был отозваться не особняком, не какой-нибудь отдельной задачей, а в связи со всеми вопросами

народной жизни, с проверкой всего знаменитого народного освобождения 1861 года *.

Из всей русской печати, хотя бы противуположных мнений, явствует, что дело освобождения 1861 года — дело огромной пользы, за которую воссылаются несметные благословения правительству; но вместе с тем дело, которое поставило народ в такое безысходное положение, что ему подчас бывает хуже, чем прежде. Последним восхищается г. Скарятин и доказывает, что все благополучие именно и состоит в рабовладении; другие же, хотя и нехотя, видят в этом недоделанное освобождение. Сам народ тоже видит свое недоделанное, и даже едва начатое, освобождение, но тоже благодарит. Это, впрочем, необходимость всей русской жизни; пожалуй, кто-нибудь вздумай не благодарить — так и в сибирку посадят. Особенно благодарят всякого рода старшины, потому что народное самоуправление, так же как и народное освобождение, не доделано, и несмотря на все старания правительства вообще пустить в ход в России самоуправление такое, чтобы оно нисколько не мешало правительственному управительству,— все же самоуправление не доделалось и подчинилось чиновничьему управительству, как и следовало ожидать.

Но пора действительно оценить пользу недоделанного освобождения и недоделанного самоуправления. Это та польза, что народ, века сидевший в грязи рабства и татарско-канцелярской полиции, сдвинут с места, и, положим, еще раз завяз, но уже тут он оставаться не может, и выход стал такой же необходимостью, как жизнь. Итти вперед трудно, но остановиться невозможно. Многоразличные мнения в России высказывают мысль, что главная

* Между многими явлениями в русской печати, возбужденными жизненными вопросами, мы не можем не пометить статьи г. Колюпанова в октябрьской книжке «Вестника Европы» («Девятнадцатое февраля 1870 года») [3] и статей г. Скалдина («В захолустьи и в столице») [4] в «Отечественных записках» (особенно в декабрьской книжке). Мы далеко не можем согласиться с многими постановками, мнениями и вообще с выводами почтенных авторов; но мы давно не встречали такого терпеливого, добросовестного труда, такого изобилия наблюдений и фактов и так много разработанных критических оценок, тем более важных для нас, вдали живущих, что раскрывают нам картину современной России, которую мы проверить можем разве только воспоминанием.

49*

задержка теперь — это общинный быт и круговая порука. На это нельзя не обратить внимания и опять подойти к делу, нераздельному с вопросом народного землевладения, подойти с другим вопросом: точно ли общинный быт и круговая порука добивают русский народ? Или обратить вопрос просто к правительственной реформе крестьянского быта и спросить реформаторов: что вы, несчастные, сделали из попавшихся вам под лапу оснований общины и круговой поруки?

Начнем с круговой поруки. Мудрено найти действительное экономическое общество (ассоциацию), которое бы существовало без круговой поруки. Но всякое действительное экономическое общество принимает круговую поруку в известном смысле. Оно или ответствует по известному займу, сделанному обществом,— положим, что заем раздается отдельным лицам, но под поручительством всего общества: все общество ручается за каждого члена. Или общество входит в какое-нибудь предприятие — положим, для разработки новой почвы, для постройки здания, проведения дороги и т. д., что̀ мы имеем перед глазами в самой простонародной артели, и тогда все общество ручается за деятельность каждого отдельного члена. К чему же относится круговая порука в России? К уплате налога, которого ни община совокупно, ни каждый ее отдельный член на себя не принимали, который идет на содержание чиновничества и войска, ложащихся на народ еще раз новым налогом и стеснением всей народной жизни; к уплате налога, которого польза сомнительна для так называемого государства, но которого вред для народа нисколько не сомнителен и до оценки и определения которого никакой общественный голос не касался,— налога, который весь вырос и растет не по дням, а по часам, не по общественной потребности, а по правительственно-канцелярскому распоряжению. Разве можно такую штуку навязать круговой поруке? Кто же виноват в дурных последствиях — круговая порука или правительственный налог? Я даже на эту минуту не хочу рассматривать, подушный он или иной,— приложение для круговой поруки все равно невозможно; первое основание действительной круговой поруки, к какой бы общине или обществу она ни относилась,— это свободное согласие всех членов общины, всего мира на принятие такой-то ответственности.

Иначе круговая порука становится не круговой порукой, а правительственным способом вытаскивать из народа деньги или заработки, чем она в России и оказывается; но оказывается как обвинение правительственного налога, а не круговой поруки.

Далее, круговая порука относится к уплате оброков и выкупных платежей, которых опять община никогда не принимала, но которые были на нее наложены помещичеством и чиновничеством. Опять нарушение всякого основания круговой поруки, т. е. свободного согласия общины принять на себя такую-то ответственность. Такую же роль играют и земские повинности. Кто же виноват в дурных последствиях — оброки, выкупные платежи, земские повинности или круговая порука?

А когда мы сведем всю невероятно разорительную сумму налогов, оброков, выкупов, повинностей и т. д., можем ли мы признать какую-нибудь вину со стороны круговой поруки общины, которая во всем этом сама на себя никакой ответственности не принимала?

Положим, кто-нибудь скажет, что народ принял на себя ответственность, потому что подчинился всем налогам и платежам? Но ведь кто это скажет, сам тому не поверит. Эдак, пожалуй, можно сказать, что Авель умер добровольно оттого, что получил от Каина удар по лбу. Мало ли что принимается, не говорю уже — по невежеству, а просто по бессилию.

Все что мы можем заключить из существующего положения, что круговая порука (solidarité) составляет основание всех товариществ, всех обществ, особенно рабочих, не только в России, но и в Европе; что в Европе она даже составляет — особенно в рабочем сословии — искомое, к которому примыкают его стремления састроиться в рабочие общины (кооперации), потому что иного основания для союза трудовых сил едва ли можно найти; что у русского народа круговая порука составляет обычай, переданный поколениями, но настолько извращенный казенным и помещичьим захватом земли и крепостным правом, что эта круговая порука имеет основание уже не в свободном соглашении народа на принятие такой-то ответственности, а только в насильственно налагаемом стадном подчинении; что поэтому круговая порука, лишенная

своего смысла, падает на народ новым способом закрепощения.

Теперь очень много говорят о том, что правительство хлопочет о составлении и введении новой системы налога, где подушная подать будет уничтожена и заменена подворною(?). Если правительство умело до сих пор держать смысл круговой поруки извращенным в смысл порабощения, если оно умело освобождение народа связать с поземельно-подушным (смотря по местностям — общинным или подымным) налогом, приведшим к новому виду закрепощения,— чего же мудреного, что и новое преобразование налога придет к перемене названий, не принося народу действительного облегчения? В новом преобразовании будет устранено то, что для народа всего важнее, какая бы система налога ни была — обычная с круговой порукой или поземельная без всякой взаимной ответственности владельцев,— будет устранен спрос народного согласия на уплату такого-то налога, согласия, которое охватывает еще общественный вопрос: согласен ли народ на такие-то правительственные расходы или не согласен? При отсутствии всякого спроса общественного согласия в этом отношении никакая система налогов не может быть удачной, как скоро государственные повинности, да сверх того и всякие — и выкупные платежи и земские повинности *, сводится на налог обязательный, на сбор, способ взимания и употребление которого никто согласия плательщиков не спрашивал. Тут уже какая круговая по-

---

* Земские собрания вообще, к великой радости многих газет, получают то направление, что в них с каждым годом приращается число и власть дворянских деятелей. Мы не можем себе представить, как выдержит какую-нибудь силу на выборах и на совещаниях в земских учреждениях народ, с которым обращаются следующим — даже префекту противным — образом:

«Из Весьегонска в «Русские ведомости» пишут, что тверской губернатор обратил внимание на действия мировых посредников Весьегонского уезда, которые при взыскании с крестьян податей и недоимок принимали уже слишком строгие меры. Вследствие этого, все мировые посредники и местный исправник были вызваны в Тверь, и, как говорят, по этому предмету будет производиться следствие; ожидают даже приезда в Весьегонск самого губернатора». («Моск. ведомости», 14 дек.)

Какие же такие меры, что их даже и назвать нельзя? И какой же народ, подчиненный подобным мерам, *может быть гласным?*

рука — тут пропадает всякий смысл правильной повинности, остается только смысл насильственного сбора...

Гласность, которую правительство ввело в свои финансовые обороты вообще, а следственно, и в росписи налогов, подобно всем реформам — похвальна как начало, как сдвинутие с места прежней, никому не нужной и для всех вредной секретности; но до сих пор, если она и служит в пользу кое-каким частным биржевым интересам, то для общественного дела — особенно в вопросе о прямых налогах — она не может оказать пользы, потому что не в самом деле гласность. В сущности, она служит только для удовлетворения правительственного тщеславия, но не требует ни общественного согласия, ни даже только мнения, вследствие которого правительство хотело бы так или иначе сообразить и распределить свои обороты; поэтому эта гласность не возбуждает нигде и доверия. Во-первых, кто поручится за цифры? а в данном случае — точно ли правительство ограничивается при взимании налогов той цифрою, которую оно предает гласности,— это только ему известно; а что касается до исполнения, до местных способов взимания, насколько они перехватывают через цифру, предаваемую гласности,— это и самому правительству неизвестно, а известно только местным управительствам *. Будет ли служить кому-нибудь облегчением новая регламентация налогов, над которой несколько лет трудится особая комиссия? Это тоже никому не известно.

* Вообще ручаться за верность всяких статистических цифр довольно трудно не только в России, но и в Европе; не только за верность цифр, исходящих от бесконтрольного русского правительства, но и за верность цифр, приводимых частными писателями. Цифрами слишком много играют преднамеренно, ради разных особых целей,— иной раз, чтобы выказать бедность, иной раз, чтобы выказать богатство. Беру, для примера, под руку попавшийся № 292 «Journal de Genève» (8 декабря) с его «Недельным земледельческим отчетом». Тут говорится, что, несмотря на плохую пору года, «заработная плата земледельцев поддержалась в средней цене, 90 сантимов в день, т. е. 5 фр. в неделю». Из этого выводится следствие, что цена на хлеб не повысилась, а понизилась. Вопреки такому мудреному следствию, мы из этого можем вывести только, что 90 сантимов в день составили бы 5 фр. 40 сант. в неделю; что 40 сантимов в неделю, для работника, отзывается около 20 фр. в год, т. е. возможностью одеть прилично взрослого мальчика или девочку, и что такое свысока приравнение цифр служит для удовлетворения тщеславия и кармана хозяина, но нисколько не помогает работнику.

Известно только относительно прямых (подушных) налогов, что правительство, в новой регламентации, не уступает ни копейки из суммы оклада (около 63 миллионов руб. сер., или около 220 млн. франков) и то, что̀ на крестьян падало исключительно подушно (кроме всего остального, чего выйдет больше чем вдвое), ляжет на них подворно и поземельно. Так что это приводит к новым вопросам: 1) Следует ли ожидать уничтожения круговой поруки? 2) Связана ли круговая порука с общинным землевладением? 3) Связаны ли и круговая порука и общинное землевладение с прикреплением людей к земле? 4) Возможно ли ожидать от новых правительственных предположений права свободного переселения для народа?

К сожалению, мы не имеем напечатанных трудов податной комиссии; но мы сомневаемся, чтобы правительство решилось ясно и определенно уничтожить насильственную круговую поруку в крестьянстве, или лучше сказать, в податных сословиях, потому что это самый легкий, хотя и самый варварский способ взимания податей. Насильственная круговая порука поддерживалась в России везде, на Западе и на Востоке, при раздельном и при общинном землевладении. Переложив подать с лица на двор и на землю, можно еще раз сохранить в ином виде круговую поруку или до такой степени прикрепить семейное землевладение к месту, что подать будет настолько же подушной, как и прежде, настолько же или более разорительна и что свободное переселение для народа будет попрежнему невозможным. Правительство боится даже на работу отпустить человека без паспорта; оно боится, что люди от него разбегутся. Как же ему раскрепить человека от места? Новый способ взимания податей едва ли будет рассчитан на приведение людей к свободе... переселения; мы при этом должны заметить, что свобода переселения служит основанием всякой гражданской, или общественной, свободе; общественная свобода без свободы переселения немыслима.

Если новый способ взимания податей, наложенных правительством без всякого общественного согласия, будет рассчитан на раздел людей, прикрепленных к земле, и на самый легкий способ описи крестьянского имущества для уплаты насильственной подати, то этот способ приведет

не к свободе, а к быстрому развитию большого числа бобылей.

Круговая порука, связанная с общинным землевладением (как и всегда круговая порука), может существовать только в тех ручательствах, которые община приняла на себя с мирского согласия. Если ручательство принимается без согласия общины, по приказанию управительства, то круговая порука становится (как кто-то выразился) *закрепощением общины*. Община не может не иметь своей круговой поруки, но только в тех отношениях, которые входят в ее потребности и цели. Будь она с переделом полей, где каждому в известный срок должен доставаться по качеству лучший участок; приди она к полной ассоциации, т. е. совокупности работ и разделу произведений и выгод,— во всяком случае, земледельческая артель, как и всякая артель, возьмет на себя ответственность во всех необходимых сделках; но ни одна артель не возьмет на себя ответственности за уплату налога, которого платить она никогда не соглашалась, которого взимание она считает общественным бременем, а начальственное расходование общественным вредом *. Во всяком случае русскую общину (и не общину) в закрепощении держит не круго-

---

* Кстати, мы не можем не припомнить, что в России, сверх того, что никакого общественного согласия на плату налога не требуется, но что крестьянин платит не только налог и оброк, но *платит земский налог* за *право платить оброк*. Поэтому мы выписываем из старого № газеты «Москва» страничку, которую нашли в статье «О раскладке денежного земского сбора по Нижегородскому уезду в 1868 году»:

«*Земли и леса, оставшиеся у помещиков, за наделом крестьян*. Всего земель и лесов этой категории раскладка признает 98.114 д. 2.332 с., оцененных в 588.329 руб. 89¹/₄ коп., т. е. немногим более 5 руб. за десятину, и эта-то сумма ценности имуществ — 588.329 руб. 89¹/₄ коп.— несет повинностей 1 323 руб. 74¹/₄ коп. Повинность эта, относительно повинностей с других единиц, была бы справедлива, если бы остальные единицы не несли еще других тяжких повинностей, не входящих в означенную раскладку, и если бы владельцы этих 98.114 дес. 2.332 саж., по средствам своим и по другим своим повинностям, хотя приблизительно подходили бы к остальным единицам. На деле мы видим, что всего годового оброка (не принимая во внимание относящихся к крестьянам выкупных платежей и заменяющих их, для помещиков, выкупных свидетельств и процентов с них) по Нижегородскому уезду считается 225.511 р. 15¹/₄ к., что составляет, по 5%-ному расчету, капитал, приблизительно, в 4.510.220 руб., следовательно, действительная ценность имущества уездных землевладельцев-дворян Нижегородского уезда (а нельзя

вая порука, какую она завела бы в своей среде, если бы она была община свободная, а казенный и помещичий налог (или оброк), для взимания которого с народа — люди, власть имевшие, воспользовались народными артельными обычаями и постепенно довели народ до такого крепостного состояния, что его уже стало мудрено в самом деле освободить. Тем не меньше, едва ли можно откровенно не увидать, что русский народ безысходно прикреплен к месту казенным и барским оброком, но нисколько не общинным землевладением и тою круговою порукою, которую оно может учредить. Едва ли можно откровенно не увидать, что всякому свободному переселению, при общинном и необщинном землевладении, враждебно мешает казенный и барский оброк, но не способ народного землевладения * и что в составе общинного землевладения и из него образующейся круговой поруки нельзя найти ничего

назвать фиктивным, воображаемым имуществом то, которое дает действительного реального дохода 225.511 руб. 15¼ коп. государственными кредитными билетами и звонкою монетою) — увеличится на 4.510.220 руб., т. е. составит капитал, выражающийся 588.329 р. 89¼ коп. + 4.510.220 р. = 5.098.549 р. 89¼ к. Положение о земских учреждениях указывает, правда, какие именно статьи могут быть облагаемы земскими сборами, и такими статьями признает: земли, леса, фабрики, заводы, промышленные и торговые заведения и вообще недвижимые имущества в уездах и городах, а *также свидетельства на право торговли;* оброк, получаемый помещиками с земли, отошедшей под крестьянский надел, очевидно, не подходит ни под одну из платежных категорий, исключая свидетельств на право торговли, вследствие чего, строго держась *буквы* закона в системе обложения имуществ земских единиц сборами, нельзя брать известного % с получаемых помещиками оброков. Но тот же закон не обязывает *не брать во внимание* средств плательщиков (в данном случае — цифры оброков); и потому, имея в виду, что крестьяне платят на земские нужды (отбрасывая в сторону исполняемую крестьянами всех наименований натуральную повинность и заменяющие помещичий оброк платежи государственных и других крестьян) с земли, поступившей им в надел и состоящей в их пользовании, *платя в то же время оброк с той же земли помещикам».*

Мы здесь припомнили только земский налог, потому что он в глаза бросается; но если приняться рассчитывать казенный налог, то он, конечно, не меньше в глаза бросится. Одно уже то, что земля, принадлежащая миру, оценена как земля, принадлежащая казне; и, таким образом, налог выходит не подать, платимая обществом на общественные нужды, а просто оброк; подать еще особь статья.

* Кто не знает, что крестьянское землевладение в прибалтийских губерниях совершенно необщинное? А между тем, когда латыши, доведенные голодом до отчаяния, двинулись на переселе-

враждебного ни для личного, ни для артельного переселения.

Мы извиняемся перед читателем, что так долго остановились на круговой поруке и на налоге, или оброке. Нам было необходимо пояснение, что круговая порука сама по себе, а налог, или оброк, сам по себе; что эти две вещи друг другу служить основой не могут, а оброк может только искажать всякое значение круговой поруки, сводя ее из дела свободного по своему значению на дело насильственное, совершенно ему чуждое.

Из тех же последствий мы должны притти к заключению, что общинное землевладение нисколько не носит в себе прикрепления человека к земле. Оно может законтрактовать человека на артельном основании, на известных условиях и на известное время, так что есть условия для выхода из общины отдельно во всякое время; но для этого первое условие, чтобы община была свободна. В настоящее же время община,— а вследствие того не только круговая порука, но всякое передвижение отдельного лица — подчинена оброку казенному и барскому и продолжает свое крепостное существование в немного измененном, но мало улучшенном виде, тем больше, что этот вид улучшить нельзя; его можно только совершенно уничтожить.

При этом порядке вещей, где круговая порука общины идет не из общины, а из начальства, самоуправление становится совершенным самонадуванием. Откуда же ему быть? Община не имеет ни полной силы выбора, ни достаточной силы для поддержки своего выбора. Все

ние, то помешал им не способ землевладения, а помешали помещики, для которых оно было не выгодно, и казна, т. е. правительство, которое тотчас приняло энергические меры для остановки. Мы читаем в «Московских ведомостях» от 13 ноября <1868 г.>:

«На днях была вытребована, по телеграфу, из Ревеля в Гапсаль, рота пехоты для воспрепятствования выселению значительной толпы латышей и эстов, нанявших целый пароход, дабы отправиться в Петербург, и что на другой же день в подкрепление этой роты вытребована другая, затем третья...»

Достаточно этой маленькой выписки из «Моск. вед.», которых нельзя заподозреть в недоброжелательстве к русскому правительству, чтобы представить себе все положение сторон и чтобы притти к заключению, что казна от дворянства нигде не отделима, будь это дворянство русское, польское или немецкое; скорбная доля касается одного простого народа, будь он тульский или ревельский.

должно склоняться перед посторонним лицом, заведующим взиманием оброка, общиной не признанного. Это устройство еще может служить правительственным хвастовством перед Европой; но удовлетворить мужика и доказать ему, что он имеет самоуправление, оно не может. Мужик может видеть только прежние розги и прежнюю преграду переселению.

У нас жалуются, что мужики — общинные и необщинные, русские и нерусские — по невежеству, когда голод дал им новое побуждение к переселениям, думают, что правительство даст им там где-то... на Кавказе... даровые земли — да что же им прикажете думать, когда именно там где-то, на Кавказе, правительство дает даром земли, по 890 000 десятин, разным Муравьевым и Ольденбургским? Разве оно, в сущности, имеет право раздавать эти земли каким бы то ни было частным лицам? Народ думает, что эти земли общественные, а правительство думает, что это земли казенные. В этом и разница, чреватая будущим...

Если бы одна община получила право переселиться не то, что на даровую землю, а на землю, которую она приискала бы себе на выгодных условиях,— то ее прежнее место могло бы быть заселено другой, хотя бы вновь составившейся общиной, но уже на более выгодных условиях, чем до тех пор предлагало их помещичество или казенщина... * Тогда вопрос пошел бы не об обрусениях

---

* Выписываю, для лучшего заявления положения, несколько строк из статьи г. Скалдина: «В Ефремовском уезде, одном из наиболее доходных для землевладельцев, десятина надела оценена в 54 р. 54 к.; между тем в прошедшем 1867 году одно из самых лучших имений этого уезда, вовсе не имеющее неудобной земли, приобретено одним моим знакомым по 45 руб. за десятину, с превосходною усадьбою, дорогими сельскохозяйственными постройками и рабочим скотом. Годовая плата за землю доходит теперь в этом уезде до 4 руб. за десятину в каждом из трех полей (7 руб. под рожь и 5 руб. под яровое) и, следовательно, превышает крестьянский оброк, равняющийся 3 р. 27 к. за десятину, каково бы ни было качество земли. Но надобно заметить, что столь сильное возвышение наемной платы за землю произошло в этих местностях всего более от недостаточности крестьянских наделов, подвергшихся значительной отрезке; следовательно, это возвышение ложится на тех же крестьян, которые уплачивают и высокие оброки и налоги». Это в одной из лучших губерний — Тульской Спрашивается: как же не хотеть крестьянам бежать куда бы то ни было?

разных краев, а о их заселениях разными народностями, которые добровольно селились бы и на новых местах и менялись прежними.

Но это дела слишком отдаленных дней. Теперь же только явствует, что голод возбудил необходимость переселений, что переселения нисколько не противуположны ни общинному землевладению, ни круговой поруке, просто понятой; но что для этого надо казенщине и помещичеству отказаться от своего ложного права, а распорядок может быть введен не особой комиссией, а бессословным Земским собором.

На этом мы должны остановиться и заключить наше прибавление [5]. Мы только добавим, что ко всем бедам и сложным вопросам правительство на новый год прибавило рекрутский набор.

В ПАМЯТЬ ЛЮДЯМ 14 ДЕКАБРЯ 1825[1]

(ПОСВЯЩЕНО РУССКОМУ ВОЙСКУ)

... Не станет брат противу брата,
И не удастся палачом
Вам сделать русского солдата[2].

1

Мы хотим говорить совершенно прямодушно. Давно никто не обращал речи к русскому войску, а между тем в его устройстве свершилось много перемен. Военное министерство Д. Милютина употребило много стараний, чтобы вывести войско из того жалкого, гадкого, угнетенного положения, в котором оно находилось в прошлом, в солдатики игравшем царствовании[3]. А вывело ли оно войско из этого положения в самом деле — дело сомнительное. Забота о солдатской пище увеличилась, сроки службы уменьшились, но рекрутство для народа осталось точно так же тяжело; это доказывается тем же, если не усиленным, старанием народа избегнуть от рекрутчины. Естественно рождается вопрос: можно ли на самом деле резко отделить потребности народа и потребности солдат? Потребности мужика-пахаря и потребности того же мужика-пахаря, насильственно отданного в солдаты? Или, напротив того, это насилие — для того и для другого, для остающихся в деревне и для поступивших в войско,— составляет кровную обиду? Говорят, что солдаты нужны для войны с иностранцами, которой ни одному русскому не нужно и не хочется? А между тем, какое пресловутое министерство ни будь, оно все же станет набирать огромное число солдат и усовершенствовать разного рода ружья и пушки — совсем не для того, чтобы итти на иностранцев, с которыми начать войну, в сущности, правительство боится, а для того, чтоб иметь под рукой, с

усовершенствованным оружием, солдат,— которых можно бы заставить стрелять в мужиков, потому что мужики в таком положении, что спокойно остаться не могут и встанут на всех своих притеснителей.

Неужели же правительство думает, что солдаты пойдут стрелять в мужиков? Неужели офицеры станут заставлять солдат стрелять в мужиков?

Мы хотим им напомнить дело других годов, дело начала русской свободы, сказавшейся в русском войске, дело офицеров, их предшественников,— дело людей 14 Декабря 1825 года.

Мы тем больше хотим напомнить его современным молодым русским офицерам, чтоб показать им, что уже в то время их предшественники, хотя и из дворянства, стремились не к поддержанию, а к уничтожению правительства, от которого действительной свободы для народа ждать нечего, и стремились к уничтожению всякой сословности, при существовании которой уничтожение народного рабства невозможно.

На основании этих двух мыслей, т. е. уничтожении монархического правительства и заменении его правительством, выборным от всего народа, и на уничтожении всяких сословий и заменении их единым народом,— на основании этих двух мыслей была писана «Русская правда» Пестеля, проект русской республики, к сожалению или совсем пропавший, зарытый в землю, или уничтоженный правительством.

Пестель был один из самых великих деятелей того времени. Это был человек огромного ума и железного нрава. Павел Пестель, полковник вятского пехотного полка, был одним из основателей тайного общества «Союза спасения или истинных и верных сынов отечества», которое составилось, с целью ниспровергнуть настоящий порядок вещей, в 1817 году. Для основания этого общества он соединился в этом году с полковником генерального штаба А. Н. Муравьевым, капитаном Н. М. Муравьевым, полковником князем Трубецким, Матвеем и Сергеем Муравьевыми-Апостолами и капитаном Семеновского полка Якушкиным. Эти люди уже прежде начали составление тайного общества; но Пестель внес в это общество решительную цель ниспровержения правительства (хотя бы это ниспровержение требовало кинжала иль

яда), внес ясную положительность устройства и свое огромное влияние на офицеров и на солдат.

Хотя в то время существовали и многие тайные общества, но им стало ясно, что только соединение в одно — даст им силу. Поэтому они и соединились. Под влиянием Новикова и Пестеля взошел в общество первый проект Республики. Иные после от него отстали, не веря в формы, кроме монархических, конституционных; но многие не отстали и до конца жизни продолжали республиканское движение. Вскоре после 1817 года общество переименовалось в «Общество народного благоденствия», которое разделилось на несколько отделов; каждый имел своего председателя и управление; в Петербурге два: одно под председательством Семенова и Бурцова, другое под председательством Оболенского, Толстого и Токарева; в Москве под председательством Александра Муравьева и князя Шаховского. Пестель оставался в Тульчине, проповедуя республиканские убеждения в Южном обществе, которого председателями были сам Пестель, генерал Юшневский и еще человек, с ними совершенно согласный,— Сергей Муравьев-Апостол; впоследствии, т. е. после 14 Декабря, Муравьев-Апостол еще поднял знамя бунта и вывел южные полки на схватку с правительственными полками. Это был один из самых преданных людей делу и самых сильных людей общества. Но всех ближе к Пестелю стоял в Южном обществе Юшневский, с которым Пестель советовался о всех своих намерениях и мнениях. Юшневский умер на каторге в Сибири, внезапно упавши мертвым перед гробом своего друга князя Вадковского.

Мы не раз могли заметить в приговорах следственной комиссии по делу 14 Декабря, что она распоряжалась совершенно произвольно, и, например, почему Пестеля повесили, а Юшневского *только* сослали на каторгу — для этого объяснительной причины не найдется. Хотела ли комиссия казнить кого-нибудь во что б ни стало или хотела умалить личность генерал-интенданта Юшневского — императорским снисхождением ссылки на каторгу вместо виселицы — это уже лежит просто на совести всех этих Чернышевых, Левашевых, Бенкендорфов и разных других жандармов следственной комиссии и самого высочайшего жандарма — Николая Павловича.

Но мы здесь не станем заниматься следственной комиссией и ее клеветами. Мы лучше займемся самыми убеждениями общества. Поэтому мы обратим еще раз внимание читателей на действия Пестеля и Южного общества.

В 1825 году Пестель открыл два новых общества: одно общество «Соединенных славян», другое — в Варшаве — «Польское патриотическое общество». Первое ему удалось открыть через посредство подпоручика Бестужева-Рюмина, сблизившегося с двумя артиллеристскими офицерами, братьями Борисовыми, которые основали общество «Соединенных славян» в 1823 году. В их обществе было 36 человек, которых цель была создать из славянских племен федеративную республику. Бестужев-Рюмин сообщил им уставы тайного общества Пестеля, и «Общество славян» немедленно присягнуло на присоединение по этим уставам.

С Польским обществом Пестель не так скоро сблизился, потому что не дошел до определенного означения его цели. Крыжановский говорил, что никогда у поляка не поднималась рука на своего государя. Яблоновский пришел, однако, к тому заключению, что никакие обещания со стороны великого князя не помешают произвести революцию в Варшаве. Пестель остался недовольным. «Мы можем достичь своей свободы без вашего пособия,— говорил он Яблоновскому,— вам не следует упускать такого случая к восстановлению вашей народной самостоятельности. Но прежде всего нам надо знать, какое правительство вы хотите учредить в своем отечестве после революции?» На это Яблоновский отвечал, что их главная цель — восстановление границ Польши, бывших прежде второго деления. Пестель не видел затруднения в решении этого вопроса, потому что «оно должно быть совершенно предоставлено самому литовскому народу, имеющему право присоединиться или не присоединиться по усмотрению». Сверх того, Яблоновский защищал необходимость конституционного монархического правительства, между тем как Пестель имел в виду правительство республиканское, которого образцом ставил Североамериканские союзные области.

Мы здесь нарочно распространились об убеждениях Пестеля, чтобы показать читателям, что уже в то время,

т. е. в 1820-х годах, когда сила барства и чиновничества преобладала в большинстве так называемого образованного общества и в правительстве,— уже в то время в войске образовалось меньшинство, отрицавшее барство и чиновничество, проповедовавшее раскрепощение и свободу народа, разрушение правительства и образование союза самостоятельных русских областей (конфедерацию). Этот взгляд на вещи для меньшинства того времени, в сущности, не был только подражанием Северной Америке; это был естественный умственный вывод из общего наблюдения поземельного положения и народных отношений в России. Все люди, уважавшие народ, хотя бы сами происходили из барства и чиновничества, должны были начать с отречения от этого барства и чиновничества и с принятия за основание нового устройства — бессословности. Все люди, понимавшие поземельное положение России, должны были видеть необходимость свободного народного деления на области и их свободного образования в союзы. Все люди, знавшие барство и правительство, должны были понимать, что барство и правительство никогда не допустят ни до какого свободного народного устройства, и потому эти люди должны были для достижения своей цели ставить средством — уничтожение барства и правительства. Эти основные мысли господствовали в меньшинстве 1820-х годов. Эти основные мысли не только для народа, но и для людей сколько-нибудь себя уважающих, попавших в войско неволею или случаем, остаются завещанием Пестеля и его сообщников.

Может быть, в те времена действительное понимание народа, безвозвротное сближение с народом были менее ясны и более трудны. Поэтому люди 14 Декабря — и это мы видим равно изо всех им враждебных и не враждебных документов — знали, что успех их предприятия сомнителен, и ставили одною из главных своих целей: заявить свою мысль всенародно, заявить пример, одним словом — начать с тем, что они погибнут, но дело уже никогда не погибнет. И оно действительно не погибло. В наше время действительное понимание народа яснее, безвозвротное сближение с народом легче и неизбежнее. Мы убеждены, что молодые офицеры примут наши слова к сердцу и сумеют объяснить их солдатам.

Кроме самого донесения следственной комиссии, в доказательство, что общество ставило одною из главных своих целей «заявить свою мысль всенародно, заявить пример»,— мы приведем слова одного из декабристов *: «Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Юшневский, Бестужев и другие употребили деланные им последние допросы для того, чтобы высказать совершенно откровенно свои убеждения и указать как можно жестче на все правительственные злоупотребления и на всю несправедливость господствующего устройства».

Эти слова могут напомнить читателям самую сущность движения людей 14 Декабря и то, что всякое начало требует действительно одного средства: ничего не бояться и ни перед чем не останавливаться.

2

Рылеев (несмотря на все клеветы, распространенные в последнее время каким-то штукарем в «Русском вестнике» катково-леонтьевском) [5], Рылеев был один из тех людей, которые ничего не боялись и ни перед чем не останавливались. Это видно из всех писаний и всех его действий.

Известно мне — погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где ж, скажи, и как была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю,
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю! [6]

«Знаешь-ли ты,— говорит ему Михаил Бестужев, которому Рылеев в первый раз читал эти стихи,— какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою?..» — «Верь мне,— отвечает ему Рылеев,— что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую

* «Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen». Leipzig, Verlag von Herzel. 1869 [4]. [«Из мемуаров русского декабриста», Лейпциг, изд. Герцель, 1869 (нем.).— *Ред.*]

попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян» [7].

Этот отрывок из воспоминаний Н. Бестужева нам еще раз доказывает, что одною из главных целей людей 14 Декабря было: заявить свою мысль всенародно, заявить пример, одним словом — начать. Они погибли, но дело не погибло. Может быть, и продолжение его со всеми новыми общественными, народными требованиями еще раз вызовет благородные жертвы. Все, что мы можем сказать: будьте готовы, друзья!

Рылеев воспитывался в кадетском корпусе и потом служил в артиллерии; но вышел в отставку для того, чтобы поступить на юридическое поприще, где имя его вскоре сделалось известно, как имя защитника народа. Его первое свидание с Пестелем окончательно привело его к точке зрения необходимости совершенного переворота существующего порядка вещей в России. С тех пор он сделался самым деятельным членом Северного общества и был главным учредителем восстания 14 Декабря.

Мы не станем говорить о его семейных отношениях, где он является совершенно человечным, но все же человеком, который ни за что на свете не уступит личным отношениям своих убеждений и обречения самого себя на гибель за свободу народа.

Если мы что одно имеем сказать против личности Рылеева — это то, что он увлекся общим тому времени мистицизмом, особенно во время тюремного заключения и под влиянием замечательно благородной личности протоиерея Казанского собора Мысловского, о котором нам еще придется говорить. Надо здесь заметить, что тогда почти все увлеклись мистицизмом. Перед казнью все причащались, кроме Пестеля, который остался верен своему здравому уму. Официальные донесения и даже неофициальные воспоминания стараются уверить, что это потому, что Пестель был лютеранин; мы убеждены, что это потому, что Пестель был сильный человек.

Северное общество решилось, после смерти императора Александра, воспользоваться так называемым междуцарствием, где Константин и Николай играли в великодушие: Константин отказывался от престола, и Николай отказывался от престола. На собрании у кн. Евгения Оболенского положено было членам общества

соединить возмущенное войско на Сенатской площади; поручить начальство кн. Трубецкому, если не подъедет во-время из Москвы более опытный военачальник, настроить войско на поддержание прав Константина; и окончательно, в случае успеха, объявить престол упраздненным и водворить временное правительство из пяти членов, в число которых пригласить Мордвинова и Сперанского. Это правительство, с помощью государственного совета и сената, должно было продолжаться до съезда выборных людей от всей земли, которые положили бы основание новому управлению. Заключение собрания у кн. Оболенского определило, что, каков бы ни был исход восстания, ни в каком случае нельзя не воспользоваться смущением, которое произведет в народе день двойной присяги. При достаточности войска, в тот день следовало занять Зимний дворец; главные присутственные места; Опекунский совет, Приказ, Казенную палату — вообще все банки и почтамт. Если же возмущенных войск оказалось бы недостаточно для успеха предприятия, то отступить с ними к Новогородским военным поселениям, на которые можно опереться. Иные возражали на собрании у Ев. Оболенского, говоря, что неудача предприятия заранее предвидима и несомненна. Но большинство членов осталось того мнения, что «положим, что неудача предприятия предвидима, но чтобы начать — надо действовать; начало и пример принесут свои плоды». Это опять были слова Рылеева.

Два дня до восстания, от рассвета до поздней ночи, Рылеев и Николай и Александр Бестужевы ходили по городу, останавливали встречавшихся солдат, останавливались перед каждым часовым и объясняли им, что они обмануты, что от них скрыт манифест покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлен срок солдатской службы. «Нельзя представить жадности, с какою слушали нас солдаты,— пишет Н. Бестужев,— нельзя изъяснить быстроты, с какою разнеслись наши слова по войскам». Все были уверены, что можно опереться на верности войска первой присяге, т. е. Константину. Смотря на дело по прошествии 43 лет, мы не можем не думать, что если бы эти сильные люди знали короче русский народ, то простое объяснение, помимо всякой присяги, что дана свобода народу и уничтожено рекрутство, подействовало

бы на войско сильнее, чем все присяги на свете. Нам кажется, что введение присяг в восстание было ложным элементом, было ошибкою, вследствие которой проданным людям ловко было оторвать большую часть войска от восстания призраком ненужной в то время законности престолонаследствия.

Накануне 14 Декабря Рылеев и Пущин объявили заговорщикам на совещании, что завтрашний день при принятии присяги должно поднимать войска, на которые есть надежда, и, как бы ни были малы силы, с которыми выйдут на площадь, итти с ними немедленно во дворец.— Надобно нанесть первый удар,— говорил Николаю Бестужеву Рылеев, «а там замешательство даст новый случай к действию. Итак, брат ли твой Михаил, или Арбузов, или Сутгоф — первый, кто придет на площадь, отправится тотчас во дворец».— «Мы не думаем,— продолжал он,— чтобы успели кончить все действия занятием дворца; но довольно того, ежели Николай и царская фамилия уедет оттуда и замешательство оставит его партию без головы. Тогда вся гвардия пристанет к нам и *самые* нерешительные должны будут склониться на нашу сторону. Повторю, что успех революции заключается в одном слове: *дерзайте*».

Много было надежд на подполковника Моллера...

14 Декабря, день провозглашения отречения Константина и присяги Николаю, дело началось не так успешно, как желалось, хотя и были обстоятельства благоприятные... Например, казалось благоприятным, что в этот день в Зимнем дворце на карауле стоит 2 батальон Финляндского егерского полка под командой подполковника Моллера, считавшегося членом общества; считалось благоприятным, что умы солдат действительно взволнованы, что умы в народе действительно взволнованы... А тут оказались неблагоприятные обстоятельства... Например:

1) В этот день в Южном обществе был арестован (по доносам Шервуда и Майбороды) Пестель; следственно, единство действий Южного и Северного обществ было потрясено до корня.

2) В Петербурге Трубецкой не явился для распоряжения возмущенными войсками; следственно, единство действий Северного общества во время самого бунта 14 Декабря было разрушено.

3) Сам Моллер отклонился от участия в деле. Тем не менее уже медлить было некогда, и — по приведенным словам Рылеева — надо было начать во что б ни стало, примера ради. Объясним прямее — ради примера, который показал бы, что и в русском дворянстве найдутся люди с силой самоотрицания, что и в русском войске найдутся люди с силой цареизгнания, что и русский народ имеет силу восстания и переворота, в чем, впрочем, никто не сомневался, кроме людей, которым было выгодно сомневаться в этой силе народа русского.

Утром 14 Декабря, в 7-м часу утра, были собраны к командирам полков офицеры и было им объявлено завещание Александра, отречение Константина и новый манифест Николая. Офицеры, принадлежавшие к обществу, отказались от присяги; солдаты, состоявшие под их начальством, пошли за ними.

14 Декабря утром также собирались у Рылеева; Каховский (отставной поручик гвардии) и Александр Бестужев (штабс-ротмистр гвардейского драгунского полка, адъютант герцога Александра Виртембергского) поехали к своим полкам. Сам Рылеев (который тогда был секретарем Северо-Американской компании) решился ехать в Финляндский и лейб-Гренадерский полки.— «Я стану в ряды солдат с сумою через плечо и с ружьем в руках»,— говорил он Николаю Бестужеву.— «Как — во фраке?» — спросил его Бестужев.— «Да! а может быть, надену и русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы»,— отвечал Рылеев. Николай Бестужев (капитан 8-го флотского экипажа) поехал в гвардейский экипаж.

Около 10 часов утра, у монумента Петра I, стояла в каре часть Московского полка под командою кн. Щепина-Ростовского. Щепин стоял усталый, опершись на саблю; он целое утро перед этим в казармах боролся против принесения присяги, тяжело ранил своего бригадного и своего батальонного командиров и, наконец, с знаменем в руках вывел свой отряд на площадь; за ним последовал отряд Михаила Бестужева и некоторые другие. Оба капитана стояли друг возле друга и ожидали помощи. Пущин, который был уже два года в отставке, распоряжался солдатами, хотя был в штатском платье, и солдаты повиновались ему дружно. Трубецкого нигде не нашли. Розен занял

с батальоном Финляндского полка середину Исакиевского моста, чтобы помешать враждебным полкам итти на площадь; три других отряда стали за ним, перестали слушаться своих офицеров и кричали, что офицер, который впереди, уже знает что делать. Часов около двух подоспевал к площади гвардейский экипаж под командою М. А. Бестужева. Это было в то самое время, когда каре Московского полка дал залп по приближавшейся конногвардии, которая тотчас и рассыпалась. «Наших бьют»,— закричал Бестужев, и гвардейский экипаж ринулся за ним и тотчас присоединился к каре Московского полка. К сожалению, впопыхах Бестужев забыл взять несколько пушек, но тогда еще поджидали на помощь конно-гвардейскую артиллерию.

Через некоторое время подоспели на помощь три роты лейб-гренадеров под командою поручика Сутгофа, полкового адъютанта Панова и подпоручика Кожевникова, которые вывели их из казарм, и скорым маршем через Неву отправились в Зимний дворец. Но там даже не было уже и 2-го батальона Финляндского егерского полка, а стоял гвардейский саперный батальон под командою полковника Геруа. Лейб-гренадеры были принуждены воротиться на площадь. Дорогою они встретили Николая Павловича, который закричал: «Куда? Если вы за меня — так направо; если нет — так ступайте налево». «Налево!» — закричал один голос в отряде, и все ринулись на Исакиевскую площадь, где присоединились к каре Московского полка.

Вообще преданность новому государю была не велика. Лейб-егерский батальон, под командою наипреданнейшего полковника Бусе, шел через Синий мост. «Налево!» — закричал капитан Якубович, один из ревностнейших декабристов, и весь батальон поворотил за ним, чтобы присоединиться к возмущенным, оставив своего царепреданного полковника.

Вообще возмущенного войска было больше 2 000 человек и было бы достаточно для присоединения к себе наибольшего количества войска и огромного количества народа, который все время не отставал от возмущенного войска, если бы действительно был на месте распорядитель. Но, как мы сказали, Трубецкой не явился, единства в распоряжениях не было, и все действовали наобум,

Около четырех часов, т. е. в сумерки, Николай Павлович, по совету генерала Толля, выставил со всех сторон артиллерию и стал палить картечью. Восставшее войско должно было уступить — и тут уже все как-то не удавалось. Кюхельбекер стрелял по Михаилу Павловичу — пистолет осекся. Мороз прохватывал с утра стоявших солдат, картечь била и по ним и по народу, кровь текла по снегу...

Что же прибавить к этому? — Да только то, друзья, что в другой раз надо распоряжаться определеннее. Сами народные требования стали определеннее. Солдаты, очевидно, не откажутся от народного восстания, но взять основательно в руки распоряжение — необходимо. Неужели же между офицерами нет людей более способных, чем все эти казенные генералы? Этого нельзя себе представить. «Налево!» — закричал капитан Якубович, и весь отряд повернул за ним. Для войска надо только *дерзать* и уметь устроить общее распоряжение.

3

Мы не станем рассказывать подробности об арестах людей 14 Декабря, о казенном следствии над ними, об уголовном суде и пр. Все эти нравы до такой степени сохранились до нашегс времени, несмотря ни на какие снаружи лакированные судебные реформы, что мы тут не найдем ничего удивительного. Все это известно, как будто наизусть; все это, при всяких реформах сверху, неискоренимо, потому что все тот же помещичий характер императорства и все тот же холопский характер генеральства, чиновничества и барства,— все тот же общий характер государства исчезнуть не может при оных реформах. Переменять положение обстоятельств могут только реформы, равно административные и судебные, основанные на свободном народном выборе, без всякого вмешательства помещичьей власти императорства и холопствующей власти всякого рода управлений. Из времени же 14 Декабря мы только выпишем отдельный случай, ярко изобличающий людей и отношения.

Помянем хотя бы допрос, лично сделанный императором Николаем Ивану Якушкину (отставному капитану

гвардейского Семеновского полка) в самой следственной комиссии. Допрос действительно замечательный.

— Вы нарушили вашу присягу?

— Виноват, государь.

— Что вас ожидает на том свете? — проклятие. Мнение людей вы можете презирать, но что̀ вас ожидает на том свете, должно вас ужаснуть. Впрочем, я не хочу вас окончательно губить: я пришлю к вам священника. Что ж вы мне ничего не отвечаете?

— Что вам угодно, государь, от меня?

— Я, кажется, говорю вам довольно ясно: если вы не хотите губить ваше семейство и чтобы *с вами обращались не как с свиньей,* то вы должны во всем признаться.

— Я дал слово не называть никого, все же, что знал про себя, я уже сказал его превосходительству,— отвечал Якушкин, указывая на генерала Левашева (члена следственной комиссии), стоявшего поодаль в почтительном расстоянии.

— Что вы мне с его превосходительством и с вашим мерзким честным словом? — закричал Николай.

— Назвать, государь, никого не могу.

Император отскочил шага три назад и, указывая рукой на Якушкина, сказал: «Заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог».

Этот маленький разговор может служить программою всего, что у нас обычно делали и делают следственные комиссии: тюрьма служит пыткою, религия служит пыткою, все служит пыткою, даже тюремные булки *, а затем следует наказание, которое есть просто мщение.

Общественность имеет и свои, не правительственные убеждения. Являются отдельные личности, которые, несмотря на опасность, стараются сохранить их. Таким образом, протоиерей Казанского собора Мысловский, назначенный правительством пытать религией — пытаемых тюрьмою, Мысловский сделался корреспондентом между заключенными и их семействами, и впоследствии (25 июля 1826 года), когда уже была совершена казнь над Пестелем, Рылеевым, Сергеем Муравьевым-Апостолом, Бестужевым-Рюминым и Каховским, Мысловский

* В Алексеевском равелине Якушкина накормили отравленной булкой, чтоб лучше выведать признание.

отпустил на парад, где служил митрополит, икону казанской божьей матери с другим священником, а сам остался в Соборе и, в черном облачении, служил панихиду по пяти усопшим: Павле, Кондратии, Сергее, Михайле, Михайле... [8]

Кстати, мы не можем не выписать несколько строк о казни. «Прощаясь в последний раз, они все пожали друг другу руки. На них надели белые рубашки, колпаки на лица и завязали им руки. С. Муравьев и Пестель нашли и после этого возможность еще раз пожать друг другу руку. Наконец, их поставили на помост и каждому накинули петлю. В это время священник, сошедши с помоста, обернулся и с ужасом увидел висевших Бестужева и Пестеля и троих, которые оборвались и упали на помост. С. Муравьев жестоко разбился; он переломил себе ногу и мог только выговорить: — Бедная Россия! и повесить-то у нас не умеют! — Каховский выругался по-русски, Рылеев не сказал ни слова. Неудача казни произошла оттого, что за полчаса перед тем шел небольшой дождь; веревки намокли, палач не притянул довольно петли, и они, когда он опустил доску, на которой стояли осужденные, соскользнули с их шеи. Генерал Чернышев, бывший распорядителем казни, не потерял голову: он велел тотчас же поднять упавших и вновь их повесить. Казненные недолго оставались на виселице. Их сняли и отнесли в какой-то погреб, куда едва пропустили Мысловского» *(Из записок Якушкина)*.

Эта картина ярко изображает личности и вешаемых и вешателей.

Мы также выпишем из записок Якушкина приговор, совершенный над ним самим: «Шпага, которую до́лжно было переломить надо мной, — пишет он,— была плохо подпилена, фурлейт ударил меня ею со всего размаха по голове, но она не переломилась. Я упал.— Если ты повторишь еще раз такой удар,— сказал я фурлейту,— так ты убьешь меня до смерти.— В эту минуту я взглянул на Кутузова, который был на лошади в нескольких шагах от меня, и я видел, что он смеялся».

Недаром декабрист Лунин (полковник Гродненского гусарского полка), когда у него на каторге вывалились все зубы, кроме одного, говорил, что у него «остался только один зуб против правительства».

Эта благородная ненависть, сохранившаяся у людей на каторге и до могилы, родилась, конечно, под влиянием западного мира, что уже доказывает нам деятельность Радищева в прошлом столетии; но она родилась не только под влиянием западного мира, она родилась под влиянием собственных необходимостей. Народ был взволнован и пугачевщиной прошлого столетия, указавшей ему в туманной дали свободу, войной 12-го года, стоившей ему стольких жертв и обещавшей ему в не менее туманной дали — свободу. Эта свобода не приходила; надо же было, чтобы лучшие люди того времени приняли ее дело к сердцу, чтобы они заявили ее дело примером, чтобы они вывели его на площадь во всеоружии, чтобы они погибли, но дело уже никогда бы не погибло.

И оно не погибло, оно развилось. Народные вопросы уяснились, и уяснились самостоятельно, под влиянием самой обыденной жизни. Общинный склад стал на твердую почву; ему, чтобы самому себе вполне уяснить свои требования, нужна свобода.

Большинство дворянства и чиновничества боится народа и боится своего правительства.

Правительство боится народа и надувает реформами, не приводящими к свободе.

Кто же вступится за дело свободы, как не молодое поколение?

Куда поведут молодые офицеры своих молодых рекрутов — по приказам ли правительства или по пути народных требований?

По пути народных требований, отвечаем мы — и верим.

ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА[1]

Александр Иванович Герцен родился 25 марта (6 апреля) 1812 года, умер 21 января (9) 1870 года.

Герцен был одним из самых сильных деятелей в деле русской свободы.

Еще мальчишками (в 1827 или 1828 году?) Герцен и пишущий эти строки «присягнули друг другу — на Воробьевых горах, в виду Москвы — пожертвовать жизнью на избранную нами борьбу».— «Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной...» — говорит Герцен *. Могла бы показаться и очень ребяческой, прибавляю я, если б целая жизнь Герцена не доказала горячего, неутомимого, неуклонного участия и постоянной работы в этой борьбе.

Герцен умер. Россия лишилась сильного деятеля в деле освобождения.

Еще в то время началась его деятельность, когда у нас все молчало или шепталось, не смея высказываться, т. е. в николаевское время.

В годину мрака и печали,
Как люди русские молчали,
Глас вопиющего в пустыне

---

* «Полярная звезда» на 1855 год, издаваемая Искандером, издание второе. Лондон 1858 г.[2]

Один раздался на чужбине;
Звучал на почве не родной,
Не ради прихоти пустой,
Не потому, что из боязни
Он укрывался бы от казни;
А потому, что здесь язык
К свободомыслию привык,
И не касалася окова
До человеческого слова *.

Действительно, Герцен первый снова разбудил наше уснувшее свободомыслие, дал первый толчок нашим потребностям народной свободы и нового гражданского устройства.

Все пробудилось, все заговорило. Помешало ли потом правительство и насколько помешало,— я, на этот раз, не стану входить в разбор оного. Мне теперь нужно указать на одно, что Герцен разбудил самые спящие умы; все ринулись к одной мысли — народного освобождения. Дело могло быть понято так или иначе, но движение уже не могло остановиться. Это хорошо знает человек, который дает первый толчок движению. Это закон механики. От этого за Герценом и останется первоначальное движение стремления к освобождению, которое все более и более обнимает теперь Россию.

Разбор сочинений Герцена того времени (т. е. до его отъезда за границу) можно найти у Белинского. Здесь я не могу не напомнить читателю этого из друзей наших, которого могучее влияние теперь получает настоящую оценку среди нового молодого поколения. Лучший очерк этой личности в «Былом и думах» Герцена. Я не знаю более верно охваченного характера и страниц, более проникнутых горячим чувством дружбы и преданности делу освобождения.

После двух нелепых ссылок, которые не прошли бесполезно, он написал свои «Письма об изучении природы», «Доктора Крупова», «Кто виноват» — и уехал за границу, потому что в России жить дольше нехватило бы сил. Притеснение было слишком велико.

Надо помянуть о «Письмах об изучении природы». Это было в России первое слово, которое сбивало разом тупоумие всякой метафизики и тупоумие всякого прави-

* Предисловие к 1-му № «Колокола», 1 июля 1857 г.[3]

тельственного строя. Цензура их пропустила, потому что всего их значения не поняла.

Слава непонимающей цензуре! Она была чуть ли не удобнее той «свободы печати», которую теперь наказывает ничего не понимающее, но всего боящееся правительство Александра II. Далее деятельность в «Колоколе». Говорить здесь о громадности значения лондонских листков для России излишне. Важность влияния наших изданий на все классы русского общества известна каждому. Характерной чертой нашего «Колокола» были некоторые надежды на правительство.

Вообще развитие человека идет тугим путем опыта и только через него приходит к пониманию действительной правды. Нынешнее царствование и доказало нам путем опыта, что царская власть не может дать действительного освобождения, что это освобождение всегда оказывается ложью и что самый испуг перед своими затеянными реформами неминуемо ведет правительство к самым постыдным реакциям.

В Александре Ивановиче Герцене русское общество лишилось великого деятеля.

Подробности его жизни, подробности его деятельности я расскажу в особом ряде статей. Здесь я только призываю всех людей русских, жаждущих освобождения, помянуть его имя с заслуженной любовью и благодарностью [4].

СПЛОТИМТЕСЬ ДРУЖНО![1]

Что же я разумею под словом: «сплотимтесь дружно»? Значит — составимте общество. Но может ли в наше время тайное общество быть полезно, и если может, то какая должна быть его цель и какое построение?

Это приводит к еще более общему вопросу: что значит полезное в общественном смысле? Я смело отвечу: все, что клонится к свободе личности и к ее равному распределению в общественном устройстве,— словом, все, что может — хотя приблизительно — примирить несгнетаемую независимость лица и его действий с необходимостью рода людского — жить стадом.

Я думаю — это самое общее выражение смысла *полезного*.

Теперь спрашивается: что же делает личность самостоятельно-свободною? — Ясность мысли и соответственность поступка с мыслию. Что делает личность независимою? — Немешание окружающей средою ясно мыслить и соответственно действовать. Стало, полезное в общественном смысле — это знание действительности и устранение препятствий, мешающих человеку ясно мыслить и последовательно действовать. А потому полезных элементов два: популяризация знаний и общественный переворот.

Если что-нибудь препятствует личности быть самостоятельно-свободною и независимою от притеснений среды,

в которой находится, это — подчинение (совершенно противоположное взаимному согласию) абсолютизму правительства. В этом мире есть преднамеренное ложное учение, а популяризации знаний нет. Стало, общественный переворот необходим.

Стало, и тайное общество — полезно, возможно и необходимо. Почему же *тайное?* Да потому, что *явное* еще не имеет силы проявиться на свет. Тайное общество в свое время будет явным,— это другое дело; но *теперь* это еще невозможно.

Было ли когда-нибудь тайное общество, которое бы имело в своей цели эти два средства общественной пользы: распространение знаний и общественный переворот? Без сомнения, было. Христианство было такое тайное общество; реформация имела свое тайное общество; революция имела свои тайные общества, сделавшиеся впоследствии *явными* клубами, потому что все же цель тайного общества:

Was im Kämmerlein
Still und fein gesponnen,
Muss doch endlich auch einmal
Kommen an die Sonnen.
Goethe [2]

Положимте, что христианство распространяло не знания, а только мнения, но эти мнения в глазах тогдашнего человека равнялись знаниям; а распространение этих мнений было совершено посредством тайных обществ. Приобретение права гражданства христианскому мнению совершилось все под влиянием тайных обществ, действовавших равно на народы и на правительства, пока мы, наконец, видим, что христианский епископ коронует франкского короля,— и тайное общество переходит в явную церковь, т. е. в явную власть. Я не говорю теперь о пользе или вреде христианства и церкви; но вот способ, достигший цели. Кто же нам мешает употребить тот же способ для распространения положительных знаний и приобретения общественного переворота, сообразных с нашими понятиями?

Да! Тайное общество полезно, возможно и необходимо.

Но какая же может быть его цель и какое построение? Цель может быть прежде всего одна: разрушение существующего правительства. Построение общества, как

построение всякого тайного общества, начиная с христианского апостольства, иезуитского ордена и до масонства и декабристов, не может не начаться с центра.

Центр — зерно общества — не имеет нужды в многолюдстве; он нуждается только в искренней преданности своих членов и их ясном понимании дела. Центр должен быть искренен, как бы одно лицо; и его понимание вещей должно быть энциклопедическое. Это неизбежно, когда дело идет о положительных знаниях и практическом общественном перевороте. Центр должен иметь свой орган в печати, где бы его задача высказывалась как можно более цельно. Центральное издание должно высказывать направление, теорию, гипотезу применений, исполнение которых падает на периферию общества. Чем далее в периферию, тем более потребуется специальностей, как бы мелки они ни были, так чтоб всякий человек мог найти свое дело, и общество имело бы, наконец, бессознательных агентов, т. е. агентов, действующих в смысле общества, не имея нужды знать о его существовании. Конечно, общество не может ограничиться одним действием — книгопечатанием и, чтобы не терять ни одного интереса из виду, должно иметь своих агентов и в государственной деятельности, и в промышленной деятельности; от этого, тем паче, лежит на центре обязанность составиться из членов, которые бы совершенно выражали энциклопедизм положительных знаний.

Такой центр в России уже существует. Его трудно было образовать, но, раз образовавшись, он устоит перед напором всевозможных реакций. Обязанность всякого честного русского деятеля в настоящие дни — примыкать к коллективному целому [3].

О власти центра над обществом и о построении этой власти я теперь не стану говорить. Конечно, центр должен быть прежде всего нравственной силой, но вместе и силой реальной, действительно заявляющей о себе. Порядок дисциплинного подчинения каждого члена коллективности, без которого невозможна стройность деятельности общества, должен быть развит возможно больше; хотя понятно, что центробежная сила доверия, главным образом, всегда будет зависеть от искренности, понимания и деятельности центра. Повиновение агента, прежде всего, должно иметь основание в его внутреннем согласии с

поручением. Тут две выгоды: во-первых, члены общества будут действовать согласно с своим собственным, ясным убеждением и, следственно, будут нравственные люди; а во-вторых, бессознательные агенты, работающие под их влиянием, будут тоже действовать согласно с своим убеждением, следственно охотно и деятельно. Но для того, чтобы поручения вполне совпадали с внутренним согласием агента, необходимо, чтобы центр знал не только все характерные особенности его натуры, но и весь склад его ума и понятий, всю сумму его жизненных отношений, малейшие видоизменения его мысли. Для этого нужно, чтобы со стороны каждого члена была безграничная доверенность к центру, полная откровенность, позволяющая последнему во всех своих отношениях соображаться безошибочно с желаниями и способностями агента. Чем специальнее дело, тем менее агент должен знать о существовании общества (это необходимое условие, которого требует самосохранение общества). При этом, кажется, порядок прост и ясен: добровольное соглашение члена центра и агента периферии действовать в известном деле известным образом.

Без сомнения, для нас теперь главная задача — общественный переворот. Следственно, центр предлагает задачу и соединяет около нее членов общества. Главная задача имеет свои соприкосновенные задачи, следовательно, центр обязан вызвать членов и агентов общества на их специальные разработки.

ПРИМЕЧАНИЯ

В I том настоящего издания включена бо́льшая часть статей Н. П. Огарева, напечатанных им самим за своей подписью, под псевдонимами или без подписи в период 1847—1870 гг. в России и в эмиграции. Статьи и заметки Огарева, оставшиеся в рукописи и опубликованные впоследствии различными исследователями, а также те, которые до настоящего времени не напечатаны, составляют вместе с избранными письмами Огарева, в которых освещаются философские и политические вопросы, II том настоящего издания. В целом все издание является, если не считать прижизненного сборника статей Огарева «За пять лет» (ч. 2, 1861), первой попыткой собрать важнейшие социально-политические и философские работы Н. П. Огарева. В издание (во II том) включены также все до сих пор разысканные прокламации, воззвания, листовки и брошюры, непосредственно служившие делу революционной агитации в 1861—1870 гг.

В соответствии с задачей, поставленной перед настоящим изданием,— представить читателю произведения Н. П. Огарева, характеризующие его историческую роль и место в развитии русской революции, философской и общественной мысли,— из количественно громадного публицистического наследия (около 150 печатных и оставшихся в рукописи произведений) были отобраны лишь наиболее выдающиеся с указанной точки зрения статьи.

Установление и воспроизведение текстов Н. П. Огарева произведены исключительно по печатным и рукописным первоисточникам 40—60-х годов. Во всех случаях, когда помимо печатных первоисточников текста имеются рукописные беловые или черновые автографы, они привлекались и сличались с воспроизводимым текстом.

Многие сотни опечаток, имеющихся в «Колоколе» и других изданиях «вольных типографий», исправлены во всех явных случаях без оговорок. Только в случаях серьезных искажений, проникших в эти издания, исправление или восстановление текста оговаривается в примечаниях. Пояснительные и выпавшие из текста слова вставлены в

него в угловых скобках <>. Дописываемые для ясности чтения слова взяты в квадратные скобки [ ].

Печатая текст по новой орфографии и с современной пунктуацией, редакция стремилась сохранить в то же время особенности стиля Огарева, не оговаривая этого в каждом отдельном случае.

Подстрочные примечания, не отмеченные (*Ред.*), принадлежат Огареву.

Статьи расположены в хронологической последовательности, по дате написания; в тех случаях, когда ее невозможно установить,— по дате напечатания. Имеются два исключения: циклы статей «Русские вопросы» (1856—1858) и «Расчистка некоторых вопросов» (1862—1863), печатание которых растянулось, помещены вместе, первый цикл по дате напечатания последней статьи, второй цикл по дате напечатания первой статьи.

«ПИСЬМО ИЗ ПРОВИНЦИИ»

[1] Впервые напечатано в «Полярной звезде» на 1857 г., книга 3, стр. 158—182 (во 2-м издании стр. 178—203). Текст сверен с обоими изданиями. Местонахождение рукописи неизвестно. Статья подписана псевдонимом: «Антон Постегайкин».

[2] Дата «15 марта 1849 г.» — неверна и, повидимому, поставлена Огаревым намеренно. На самом деле «Письмо из провинции» написано в марте 1847 г. и предназначалось для начавшего выходить под новой редакцией журнала «Современник». По неизвестным причинам (вероятнее всего, по цензурным затруднениям) письмо на страницах «Современника» не появилось. В своих письмах к Герцену за 1847—1849 гг. (не опубликованы, ЦГАОР, ф. 5770, № 95) Огарев неоднократно говорил об оттяжках публикации его статьи редакцией журнала. «Письмо мое,— писал Огарев,— поместится в 11-й книге «Современника». Каково! Письмо от марта — в ноябре. Я бы с тех пор десять написал, если бы оно в свое время было напечатано, а теперь с трудом надо наладиться опять на тот же весьма полезный тон» (неопубликованное письмо от 20 октября 1847 г.).

Для точной датировки «Письма» следует принять во внимание следующее. Статьи о благотворительности, с которыми полемизирует Огарев, были напечатаны в середине февраля 1847 г. Тогда же, в конце февраля и в начале марта, Огарев работал над «Письмом», закончив его около 15 марта. Во всяком случае, в апреле (25) он сообщал Грановскому: «Послал в «Современник» статью (вероятно, в смесь) — Письмы из провинции (pseudonym). Не совершенно удовлетворен художественной отделкой, но ручаюсь за меткость и достоинство статьи, если ее не испортят» (см. «Звенья», т. I, М.—Л. 1932, стр. 127).

[3] *Лавров* Иван Васильевич (1803—1869) — реакционный литератор, писавший по агрономическим вопросам. Упоминаемая Огаревым статья Лаврова появилась в «Отечественных записках» (1847, т. I, январь, отдел IV, стр. 27—30) под названием «Замечания на статью «Жар и жатва хлеба»». Последняя принадлежала перу прогрессивного литератора С. А. Маслова, выступления которого неоднократно сочувственно отмечались Белинским.

[4] Филипп Ефимыч — вероятно, описка Огарева. Это же лицо Огарев ниже дважды именует Филатом Ефимычем.

[5] *«В газетах хвалят, да как-то странно хвалят...»* Это место «Письма» относится к нескольким статьям и фельетонам, появившимся в «Московских ведомостях». В «Смеси» этой газеты 15 февраля 1847 г., № 20, был напечатан анонимный фельетон «Общественная благотворительность наших дней» с пометкой: «Сообщено по городской почте». Фельетон вызвал полемику. 18 февраля в той же газете за подписью Л. появилось пространное рассуждение о благотворительности частной и общественной, об «организациях нищих», о тунеядцах и пр. Через два дня, 20 февраля, на последнюю статью отвечал С. Шевырев. Его фельетон «Последние на земле бедные, или человеколюбивая утопия. Очерк драмы в трех лицах и четырех действиях, с эпилогом» вызвал особенно едкие насмешки Огарева.

Автором анонимного фельетона был К. С. Аксаков, за подписью Л. выступал Н. А. Мельгунов.

[6] *Шевырев* Степан Петрович (1806—1864) — реакционный публицист, профессор Московского университета, историк литературы, один из идеологов «самодержавия, православия и народности». Белинский, а позже Чернышевский дали уничтожающую характеристику литературной и политической деятельности Шевырева.

«ЗАМЕЧАНИЯ НА СТАТЬЮ «ОПЫТ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»»

[1] Впервые статья опубликована в газете «Московские ведомости», 27 сентября 1847 г., № 116, в отделе «Смесь», за подписью Н. О. Перепечатана в сборнике «Звенья», М.—Л. 1933, т. II, стр. 346 и сл. В настоящем издании воспроизводится по тексту «Московских ведомостей». Местонахождение рукописи неизвестно. Принадлежность статьи Огареву устанавливается по его письму к Т. Н. Грановскому от 10 сентября 1847 г. (см. «Звенья», М.—Л. 1932, т. I, стр. 138).

[2] Разбираемая Огаревым статья была напечатана анонимно и принадлежала перу одного из чиновников статистического отделения Министерства внутренних дел (см. «Журнал Министерства внутренних дел», 1847 г., ч. 19, июль—сентябрь, стр. 285—294). В заключительной части статьи автор говорит: «Мы сочли нужным представить здесь это распределение по той причине, что отныне в статистических работах наших, относящихся ко всей империи, решаемся руководствоваться им...» Таким образом, подвергая статью критике и устанавливая антинаучный характер принятой автором классификации, Огарев понимал, что его критика направлена против официальной статистики в целом, а не только против неверных положений анонимного автора. Огарев сопоставил с разбираемым «опытом статистического распределения...» иную попытку районирования России, появившуюся в 1834 г. в основанной в июле этого года «Земледельческой газете» в С.-Петербурге (изд. Департамента земледелия Министерства государственных имуществ). Здесь в виде специального «Прибавления к № 1» газеты, вышедшей 3 июля 1834 г., была напечатана обширная

статья «О климатических различиях России в связи с местными обстоятельствами по видам сельского хозяйства». Анонимный автор разделяет Россию на 8 полос (ср. «поясов» — в статье Огарева), сокращенное описание которых и дает здесь Огарев. Однако и эту попытку районирования он считал односторонней и искусственной. Огарев в своей статье изложил собственный метод районирования Российской империи, обнаружив при этом свои антикрепостнические взгляды и тенденцию к материалистическому пониманию общественной жизни.

[3] В «Московских ведомостях» в августе 1847 г., т. е. как раз в те недели, когда Огарев подготовлял свою статью, была напечатана биография Ричарда Кобдена (№ 95, 96 и 97 от 9—14 августа), которая, вероятно, и привлекла внимание Огарева к этому английскому либерально-буржуазному деятелю, ведшему в парламенте борьбу с крупными землевладельцами за уничтожение пошлин на хлеб. К 1847 г. Кобден добился отмены хлебных пошлин. Мимоходное замечание Огарева о «мирном и вместе всемирном перевороте», совершенном Кобденом, относится как раз к организации «Лиги против хлебных законов».

[4] Огарев имеет в виду книгу немецкого статистика-географа Редена Фридриха Вильгельма (1804—1857), в которой была приведена указанная выше статья из «Земледельческой газеты». Находясь в деревне, Огарев не имел возможности обратиться к первоисточнику — к «Земледельческой газете» за 1834 г., почему цитирует и излагает русскую статью по оказавшейся под рукой немецкой книге, вновь переводя ее на русский язык.

«ЗАМЕЧАНИЕ НА ЗАМЕЧАНИЕ г. ЧИХАЧЕВА»

[1] Впервые опубликовано в газете «Санктпетербургские ведомости» 5 октября 1847 г., № 227, а оттуда перепечатано в «Московских ведомостях» 11 октября № 122. Местонахождение рукописи неизвестно. Печатается по тексту газеты «Московские ведомости». Огарев послал свою статью редактору этой газеты Е. Ф. Коршу, предупредив его, что в случае цензурных препятствий просит переслать статью в какой-либо другой орган. Таким образом, статья сперва была напечатана в Петербурге и лишь после этого перепечатана за полной подписью автора в Москве.

[2] *А. И. Чихачев* — помещик-крепостник, выступавший в «Земледельческой газете» со статьями, в которых защищал барщинный труд и систему барщинного хозяйства. За 1847 г. он напечатал свыше 15 подобных статей. Огарев, отвечая на статью Чихачева в № 59 «Земледельческой газеты», имел в виду многие его крепостнические выступления.

«Замечание г. Чихачева» последовало на заметку в № 72 «Московских ведомостей»; последняя в свою очередь являлась перепечаткой из «Журнала Министерства государственных имуществ» и полностью воспроизводила стр. 98—101 хроники майской книжки этого журнала. Здесь прямо говорилось следующее: «Мы были всегда того мнения, что главная причина существенных препятствий к развитию

нашего хозяйства заключается в ненормальном отношении производительных сил, и что, без изменения экономических отношений рабочего класса, изменений системы хозяйства, улучшенные орудия и все другие технические приемы будут средствами палиативными и едва второстепенными». Журнал давал повод к гласному обсуждению вопроса о возможности изменения крепостнических отношений. Огарев не замедлил воспользоваться случаем и после напечатания «Замечания Чихачева» выступил против помещиков-крепостников.

[3] Хлопоты «попечительного», как иронически замечает Огарев, правительства касались вопроса о введении инвентарей (т. е. ограничительных правил) и кадастров (т. е. оценок) в помещичьих имениях с целью ввести эксплуатацию крепостных в «законные» рамки.

[4] Указ 2 апреля 1842 г. «Об обязанных крестьянах» был введен после трехлетней подготовки 1839—1841 гг. в Секретном комитете по проекту гр. П. Д. Киселева. Закон предоставлял право помещикам заключать со своими крестьянами договоры «по взаимному соглашению», с тем чтобы «помещики сохранили принадлежащее им полное право вотчинной собственности на землю», крестьяне же «получали от них участки земли в пользование за условленные повинности». Это была попытка царского правительства полумерами исправить «крепостное зло», оставляя нетронутыми основы крепостничества, попытка, окончившаяся полным провалом.

Огарев, говоря об указе 2 апреля, намекает на необходимость не урезанной, а полной ликвидации «ненормальных хозяйственных отношений», т. е. крепостнических отношений.

«РУССКИЕ ВОПРОСЫ
<Статья первая>»

[1] Серия статей под общим заглавием «Русские вопросы» была задумана Огаревым вскоре после приезда в Лондон 9 апреля 1856 г. Первая статья написана во второй половине апреля 1856 г. Герцен успел включить ее во вторую книжку «Полярной звезды» на 1856 г., вышедшую из печати в 20-х числах мая. Она была напечатана за подписью «Р. Ч.» («Русский человек») — псевдоним, которым Огарев пользовался до 15 февраля 1858 г. с целью не раскрывать перед царской агентурой за границей факта своего участия в деятельности Вольной лондонской типографии. Об отказе от псевдонима см. ниже, примечание 15 к статье «Крестьянская община». К статье Огарева Герцен в «Полярной звезде» дал следующее примечание: «Мы получили эту статью из Парижа два дни тому назад и спешим поместить ее, благодаря неизвестного автора».

Как и псевдоним «Р. Ч.», примечание Герцена о получении статьи из Парижа было сделано с целью конспирации. Год спустя, в 1857 г., из перлюстрированного письма А. О. Смирновой Самарину III отделению стал известен факт участия Огарева в «Колоколе» и его совместная жизнь с Герценом в Лондоне. Началось расследование; Огарев заочно был осужден как государственный преступник (см. ГИА, ф. III отделения, д. 1849 г. 1-й экспедиции № 67, ч. IV, л. 34 и сл.).

В настоящем издании три статьи из цикла статей «Русские вопросы» печатаются по тексту сборника статей Огарева «За пять лет», выпущенного в Лондоне в 1861 г. и включающего три из четырех статей цикла, сверенных с текстом «Полярной звезды» и «Колокола». Огарев исключил при перепечатке статью вторую: «Движение русского законодательства в 1856 г.» (см. «За пять лет», ч. 2, Статьи Н. Огарева, Лондон, 1861, стр. 1—65). Эта вторая статья печатается по тексту «Полярной звезды».

[2] Слова Огарева об угрозе «дикой пугачевщины», сказанные им с целью разоблачения нерешительности, половинчатости действий правительства Александра II в крестьянском вопросе, выражают не только его тактический прием, но также его колебания относительно целесообразности народного восстания. Эти колебания возникли у Огарева вскоре по приезде к Герцену, но продолжались недолго. Уже в конце 50-х годов он утвердился в мнении, что только сам народ сможет завоевать для себя свободу. Несколько лет спустя Огарев в письме к Е. В. Салиас (от 24 декабря 1863 г.) сам сформулировал свое отношение и к восстанию и к Пугачеву следующим образом: «...Если у нас явится Пугачев, то я пойду к нему в адъютанты, потому что я сотой доли так не ненавижу польское шляхетство, как ненавижу русское дворянство, которое пошло, подло и неразрывно связано с русским правительством».

«РУССКИЕ ВОПРОСЫ

<Статья вторая>

Движение русского законодательства в 1856 году»

[1] Вторая статья из цикла «Русские вопросы» была написана Огаревым в начале 1857 г. и вошла в книгу 3 «Полярной звезды» на 1857 г., стр. 313—336. В «Полярной звезде» статья напечатана за подписью Р. Ч. В настоящем издании печатается по тексту «Полярной звезды».

[2] Говоря о реформе военного образования, Огарев имеет в виду сообщения и официальные материалы, опубликованные в газетах. Огарев пользовался комплектом газеты «Санктпетербургские ведомости», откуда извлек по данному вопросу следующие материалы: из № 36 газеты — сообщение о выплате преподавателям военно-учебных заведений двойного жалованья «для продолжения наук»; из № 65 — манифест о мире; из № 74 — о стрелковых батальонах; из № 87 — об изменении в связи с заключением мира порядка исполнения рекрутской повинности; из № 119 — о предоставлении раненым офицерам и их семействам заграничных паспортов безденежно; из № 132 — о школах и расходах Морского министерства; из № 152 — о выпускном экзамене по корпусу инженеров для окончивших курс в высших учебных заведениях; из № 183 — о командировании офицеров от Военной академии за границу. Все перечисленные материалы отмечены самим Огаревым в его записной тетради (РОГБЛ, № 18, л. 4—6).

[3] Сообщение об отмене генерал-губернаторского попечительства над университетами было опубликовано в «Санктпетербургских

ведомостях» 14 января 1856 г., № 11, откуда и было извлечено Огаревым; сообщение о том, что правительство Александра II прекращает использование военных, офицеров в гражданской службе, особенно по части гражданского воспитания, Огарев нашел в № 78 газеты — здесь и была воспроизведена резолюция Александра II на докладе статссекретаря Гофмана; к материалам, относящимся к этому вопросу, принадлежит и сообщение о деятельности Николаевского инженерного училища, отмеченное Огаревым в № 265 газеты.

[4] Сообщение о новом издании военного уголовного свода законов, использованное Огаревым, напечатано в № 183 газеты «Санктпетербургские ведомости»; о деле Аркадия Улятовского—в № 174; об амнистии Дадиана — в № 206.

Огарев сопоставляет два факта, извлеченные им из газет: 8 августа в «Санктпетербургских ведомостях» (№ 174) был напечатан указ о возвращении прав и дворянства амнистированному участнику польского восстания 1831 г. Аркадию Улятовскому; а полтора месяца спустя, 19 сентября, в той же газете (№ 206) было обнародовано помилование князю Дадиану, полковнику, командиру Эриванского полка, который был изобличен в 1840 г. в воровстве и жестоком обращении с солдатами, за что даже Николай I счел необходимым лишить его чинов, орденов, дворянства и титула. Однако Александр II вернул этому «привилегированному казенному вору» и дворянское достоинство и княжеский титул и повелел «считать его уволенным в отставку в чине полковника».

[5] Повеление о специальном наблюдении за течением арестантских дел со стороны товарища министра внутренних дел опубликовано в № 176 «Санктпетербургских ведомостей».

[6] Манифест 27 марта 1855 г. был издан в связи с вступлением на престол Александра II, манифест 26 августа 1856 г.— по поводу его же коронации в Москве. Последний подвергся специальному «Разбору», напечатанному в той же книге «Полярной звезды» (книга 3 на 1857 г.), в которую вошла комментируемая статья. Автором «Разбора» был Огарев.

[7] Сообщение об отделении долговых арестантов от других заключенных было опубликовано в № 162 «Санктпетербургских ведомостей». В этом же номере Огарев нашел сообщение об ограничении права ареста в морском ведомстве.

[8] Узаконение, о котором говорит Огарев, напечатано в № 247 «Санктпетербургских ведомостей». Отмечая его, Огарев пишет в записной книжке: «Следствие прежде суда по Морскому М-ву».

[9] Огарев нашел в № 37 «Санктпетербургских ведомостей» подробный отчет об утверждении царем мнения Государственного совета о замене тюремного заключения телесными наказаниями (от 3 розог до 40, в зависимости от заменяемого срока заключения) для тех заключенных, которые не имеют средств к прокормлению семьи. «Государственный совет в розгонаказательном расположении духа, по случаю 90 статьи «Уложения о наказаниях»»,— записал в тетради Огарев. В этой же тетради (№ 18, л. 7—8 об.) Огарев сделал подробные выписки о телесных наказаниях из Уложения, главным образом из статей 87, 88 и 90.

[10] Ироническая характеристика деятельности министра юстиции относится к крупному помещику-крепостнику, реакционнейшему

представителю николаевской и александровской администрации, графу В. Н. Панину. Панин возглавлял министерство юстиции с 1841 по 1861 г. Огарев, как и Герцен, неустанно преследовал его в «Колоколе» статьями, заметками, едкими насмешками. См., например, характеристику Панина в связи с назначением его на место умершего Ростовцева (*А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. X, 1919, стр. 236—237) или эпиграмму Огарева «Длинный Панин повалился». В VII книге «Голосов из России» Герцен обнародовал разоблачительное жизнеописание Панина: «Граф В. Н. Панин, министр юстиции» (Лондон 1859, стр. 1—142). Услужающий Панину чиновник-лакей — М. Топильский.

[11] О состоянии финансов Огарев писал не в «Полярной звезде», а в «Колоколе», начиная с обзора тарифов и налогов, в *л.* 3 и 4 за 1857 г. Министерство финансов возглавлялось в 1856—1857 гг. П. Ф. Броком.

[12] Об откупах Огарев говорит в «Русских вопросах», в статье 1. (См. настоящий том, стр. 106). Упоминаемые Огаревым решения финансового ведомства о залогах земель по откупам опубликованы в «Санктпетербургских ведомостях» № 1 и 96.

[13] О понижении пошлины на привозной сахар Огарев отметил сообщения в № 153 и 175 «Санктпетербургских ведомостей».

[14] Огарев имеет в виду утверждение правительством компании речного судоходства Аркоса и Новосельского (№ 193 «Санктпетербургских ведомостей»), пароходства по Оке, Волге и Каме (№ 194 «Санктпетербургских ведомостей») и общества Донского пароходства (там же).

Подробное сообщение о постановлении Военного совета, утвержденном царем, разрешить неограниченное устройство компаний для разработки каменного угля Огарев нашел в № 216 газеты, а сообщение об акциях общества «заводской обработки животных продуктов» — в № 183.

К материалам, характеризующим положение в Министерстве финансов, относятся и помещенные в № 239 «Санктпетербургских ведомостей» сообщения о повелении Александра II относительно уездных казначеев.

[15] Робер-Макер — образ плута и мошенника, созданный крупнейшим французским артистом Фредериком Леметром в 30-х годах XIX века.

[16] Строки (не точно) из первого действия, явления IV, «Горя от ума» А. С. Грибоедова:

А у меня, что дело, что не дело,
Обычай мой такой:
Подписано, так с плеч долой.

[17] Материалы, характеризующие деятельность Министерства внутренних дел, Огарев извлек из «Санктпетербургских ведомостей»: из № 86 — циркуляр министра от 10 апреля, разобранный Огаревым подробно в статье первой; из № 104—циркуляр об извозчиках; из № 262—циркуляр об упрощении делопроизводства. Для изобличения пустословия министра С. С. Ланского Огарев воспользовался напечатанными в № 172 и 234 материалами, показывающими не сокращение делопроизводства, а его увеличение.

[18] «Риторика Кошанского» — учебник профессора царскосельского лицея Николая Федоровича Кошанского. «Общая риторика» в течение 1818—1849 гг. вышла в десяти изданиях; «Частная риторика» впервые напечатана в 1832 г.

[19] Строки из басни Крылова «Кот и повар» (не точно):

Чтоб там речей не тратить попустому,
Где нужно власть употребить.

[20] Министерство государственных имуществ было создано в 1837 г. в целях управления государственными крестьянами. Киселев Павел Дмитриевич (1788—1872) в качестве министра государственных имуществ стремился всецело подчинить хозяйство и быт казенных крестьян системе правительственного «попечительства», которая сводилась к назойливой и мелочной регламентации и опеке.

Материалы о Министерстве государственных имуществ взяты Огаревым из № 110 и 244 «Санктпетербургских ведомостей».

[21] Объявление петербургского генерал-губернатора (П. Н. Игнатьева), о котором говорит Огарев, было перепечатано из № 46 еженедельных «Губернских ведомостей» в № 280 «Санктпетербургских ведомостей», где его и нашел Огарев.

В № 94 было напечатано использованное в статье сообщение об отмене ограничения числа студентов в университетах; в № 108 — сообщение о деятельности Ученого комитета при главном правлении училищ; в № 166, на который ссылается Огарев в подстрочном примечании,— сообщение о составе Ученого комитета.

[22] Огарев имеет в виду ужасающее состояние школ (приходских училищ для детей государственных крестьян), состоявших в ведении Министерства государственных имуществ. В 1838 г. их было всего 60 с 1 880 учащимися. До 1842 г. было открыто (за счет крестьян!) 748 временных училищ, а количество учащихся доведено до 9 106. При ревизии 1849 г. обнаружились вопиющие недостатки: преподавание, возложенное на священников и изредка на студентов семинарий в качестве помощников, стояло на низком уровне; из-за поборов крестьяне избегали посылать детей в школы; разбегались и учащиеся и учащие; попытка связать программу училищ с «нуждами сословия» привела на деле к сужению крайне бедного курса до «сведений, полезных в крестьянском быту», поэтому-то преподавание геометрии и свелось лишь к обращению с циркулем (циркульному землемерию цифирных школ XVIII столетия) или, как пишет Огарев, разрешению «преподавать геометрию только без доказательств».

Огарев глубоко и тщательно изучал вопрос об организации народных училищ. Среди бумаг Огарева в архиве так называемой «заграничной коллекции» хранится рукопись (неопубликованная), посвященная методике преподавания арифметики и особенно десятичного счета.

[23] Кантонисты — солдатские дети, подлежавшие обязательному зачислению в солдаты и прохождению долголетней военной службы.

В «Разборе манифеста 26 августа 1856 года» Огарев писал следующее: «...вопрос о кантонистах... требовал бы окончательного решения, а между тем манифестом вовсе не решен... позорное учреждение кантонистов, преследующее солдата из рода в род, обременительное для казны и горестное для народа, вовсе не уничтожено» («Полярная звезда» на 1857 г., стр. 12—13).

Об упразднении учреждения кантонистов см. № 285 «Санктпетербургских ведомостей», 1856 г.

[24] Перечисленные Огаревым указы об уничтожении пошлины на заграничные паспорта и др. напечатаны в следующих номерах «Санктпетербургских ведомостей»: № 118, № 165, № 197.

[25] Огаревым использованы здесь сообщения о польской амнистии, напечатанные в № 125 и 142 «Санктпетербургских ведомостей». Текст манифеста для Царства польского напечатан в № 250.

Огарев говорит о судьбе так называемых выходцев, т. е. участников военных действий отрядов, восставших в 1831 г. против войск Николая I. В ходе этих военных действий многим полякам пришлось перейти границу Австрии или Германии и сделаться эмигрантами. О них-то и идет речь в повелении Александра II — предоставлять им право возвращения, если они «изъявят сожаление о своем преступлении» и подадут о том прошения.

[26] Узаконения о сроках производства и т. д. напечатаны в № 277 «Санктпетербургских ведомостей». Начиная с 1856 г. Огарев неустанно пропагандировал идею необходимости уничтожения царского чиновничества (см. «Русские вопросы», статью четвертую «Преобразование чиновничества»).

[27] Огарев говорит здесь об опубликованном в № 53 «Санктпетербургских ведомостей» решении Правительствующего сената, согласно которому ко всем крестьянам, находящимся в имениях, «приобретаемых или обращаемых, по разным случаям, в казну», может быть применен указ Николая I от 3 марта 1848 г. Согласно этому указу крестьяне получали право приобретать по купчим крепостям земли, лавки, дома. Это право сенат распространил на крестьян, которые и без купчих крепостей, показаниями односельчан и помещиков могли доказать непрерывное владение приобретенной ими собственностью.

[28] Передавая слух о словах Александра II, сказанных им московским уездным предводителям, Огарев имеет в виду его речь 30 марта 1856 г.: «...конечно и сами вы знаете,— сказал Александр II депутации московских дворян,— что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу. Прошу вас, господа, думать о том, как бы привести это в исполнение» (см. «Материалы для истории упразднения крепостного состояния...», 1860, т. I, стр. 114).

[29] Цитата из стихотворения «Осень», написанного Пушкиным в 1830 г.

«РУССКИЕ ВОПРОСЫ

<Статья третья>

Крестьянская община»

[1] Впервые напечатана в «Колоколе» 1 и 15 февраля 1858 г., л. 8, за подписью «Р. Ч.», и л. 9, за подписью «Н. Огарев». Перепечатана Огаревым в сборнике статей «За пять лет», ч. 2. В настоящем издании печатается по тексту сборника, сверенному с текстом «Колокола». Эта, третья, и следующая, четвертая, статьи из серии «Русские вопросы» помещены здесь в нарушение хронологии ради целостности серии.

[2] Огарев имеет в виду обостренные споры, развернувшиеся в русской журналистике в 1856—1857 гг. по вопросу о сельской общине, об общинном землевладении в России. В этих спорах принимал участие значительный круг историков, экономистов, публицистов, принадлежавших к разным политическим лагерям. Начало спорам положила появившаяся в журнале «Русский вестник» в 1856 г. статья либерала Б. Н. Чичерина «Обзор исторического развития сельской общины». Чичерин оспаривал широко распространенное представление об исключительной самобытности русской и славянской общины, об ее славянском происхождении и характере. Именно статью Чичерина имеет в виду Огарев, говоря о «другой стороне» в развернувшемся споре, которая утверждала, что «общинное устройство даже не было нормой русской жизни в дальних веках, а водворилось окончательно в XVIII столетии вследствие распоряжений правительства...»

В апрельской книге «Современника» за 1856 г. в «Заметках о журналах» Н. Г. Чернышевский подверг статью Чичерина критическому разбору, опровергая утверждение Чичерина о государственном происхождении русской общины. Огарев внимательно следил за обсуждением вопроса. Редакция «Полярной звезды» и «Колокола» получала в это время все главные русские журналы и газеты. Именно Огарев обеспечил это, уезжая в начале 1856 г. из России в Лондон (см. списки газет и журналов, выписанных им, в «Звеньях», т. VI, 1936, стр. 379—380). Герцен подчеркнул в заметке «От издателя», открывавшей «Полярную звезду» на 1857 г.: «На этот раз нам нельзя жаловаться на недостаток материалов. За 1856 г. мы имели все замечательные книги, вновь вышедшие или перепечатанные...» (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. VIII, 1917, стр. 426).

[3] Огарев говорит о славянофильской идеализации сельской общины.

[4] *Сисмонди* Симон де (1773—1842) — швейцарский историк и экономист. Представитель так называемого «экономического романтизма». В главной своей работе «Новые начала политической экономии», 1819 г., цитируемой Огаревым, Сисмонди выступает как мелкобуржуазный социалист, критикующий капиталистическую систему, но не умеющий понять ее. Все зло он видит в системе свободной конкуренции, которая «мешает» справедливому распределению продуктов. В. И. Ленин подверг рассмотрению и критике всю систему взглядов Сисмонди (см. «К характеристике экономического романтизма (Сисмонди и наши отечественные сисмондисты)». *В. И. Ленин,* Соч., т. 2, изд. 4, стр. 111—242).

Огарев цитирует издание 1827 г., книгу 3, главу V, стр. 197—198.

[5] *Тюрго* (1727—1781) — французский экономист второй половины XVIII века, занимавший с 1761 г. пост интенданта, т. е. высшего начальника края, в Лиможе.

[6] Противопоставляя буржуазно-демократический строй Англии и Америки того времени самодержавно-крепостническому строю России, Огарев давал преувеличенную оценку политическим свободам в этих странах, хотя в ряде мест он высказывал правильные критические замечания об ограниченности, формальном характере буржуазной демократии.

[7] *Токвиль* Алексис (1805—1859) — французский историк и политический деятель, либерал. Огарев цитирует данные о составе французского чиновничества, приведенные Токвилем в его работе «Старый порядок и революция», вышедшей в 1856 г.

[8] Село в Рязанской губернии, о котором говорит Огарев, Верхний Белоомут, принадлежавшее его матери.

[9] Т. е. до учреждения в декабре 1837 г. Министерства государственных имуществ во главе с графом П. Д. Киселевым (см. примечание 20 к статье второй «Русские вопросы»).

[10] В статьях «Колокола» в 1857—1858 гг. в вопросе о борьбе с крепостным правом допускались колебания в сторону либерализма и неоднократно выражалась уверенность в том, что крепостное право будет отменено «благодаря Александру II». Вместе с тем «Колокол» настойчиво критиковал политику царя и его правительства, что вызывало недовольство либералов. В письмах, обращенных к Герцену, представители либералов утверждали, что «Колокол» ни в коем случае не должен «обострять» борьбы с правительством Александра II.

[11] *Тенгоборский* Людвиг Валерианович (1793—1857) — подвизавшийся в то время в России экономист, главная работа которого носила название «Очерки производительных сил в России» (в четырех томах, была издана сначала в Париже в 1852—1855 гг. на французском языке, затем в Петербурге в 1854—1858 гг.). Тенгоборский пропагандировал превращение России в экономический придаток к Европе. Против Тенгоборского неоднократно выступал Чернышевский. Огарев, лишенный за границей необходимых ему русских книг, вынужден был пользоваться статистическими данными Тенгоборского, оговаривая свое несогласие с его взглядами.

[12] *Гакстгаузен* Август (1792—1866) — прусский чиновник и писатель, написавший работу об остатках общинного строя в аграрных отношениях России.

[13] Меннониты — религиозная секта, возникшая в 30-х годах XVI века в Голландии, названная по имени своего основателя Менно-Симонса. В России меннониты появились впервые в 1789 г. по специальному приглашению Екатерины II, стремившейся заселить окраины.

[14] В тексте — «7 493 365 четвертей, т. е. $7^1/_2$% годового урожая». Очевидно, Огарев в подсчетах допустил неточность. Эта неточность нами исправлена.

[15] Далее в «Колоколе» следовала подпись: «Н. Огарев». Эта подпись впервые появилась в «Колоколе» 15 февраля 1858 г., до этого момента Огарев подписывал свои статьи псевдонимами и буквами: «— ий — ъ» или «Р. Ч.» (последние и первые буквы слов: «русский человек»), «Антон Постегайкин» (см. все эти псевдонимы, использованные в «Полярной звезде», книга 3, 1857 г.).

Отказ Огарева от псевдонимов, вызванный либеральными иллюзиями, навлек на него полицейские преследования и предъявление к нему через посольство в Лондоне требования немедленно возвратиться в Россию. На родине против него был организован процесс, приведший к заочному осуждению Огарева. Огарев в «Колоколе» систематически печатал заметки, раскрывающие эти происки

III отделения (см. «III отделение и барон Бруннов», л. 46, 22 июня 1859 г., стр. 375—376; «Жандармскому начальнику кн. Долгорукову», л. 51, 1 сентября 1859 г., стр. 421; «Еще раз переписка», л. 59, 15 декабря 1859 г., стр. 490 и др.).

«РУССКИЕ ВОПРОСЫ

<Статья четвертая>

Преобразование чиновничества»

[1] Заключительная статья в цикле «Русские вопросы» публиковалась Огаревым дважды. Напечатанная сперва в «Колоколе» 1 апреля 1858 г., л. 12, она была в сильно переработанном виде помещена в сборнике статей Огарева «За пять лет», ч. 2, стр. 301—336, вышедшем из печати в 1861 г. В настоящем издании статья публикуется по тексту сборника.

[2] Министром внутренних дел был в это время С. С. Ланской. Циркуляр Ланского Огарев высмеял в статье второй «Русские вопросы», см. стр. 127.

[3] О министре государственных имуществ гр. П. Д. Киселеве и киселевском министерстве Огарев писал в статье «Крестьянская община», см. стр. 155.

[4] Анекдот о словах, будто бы лично сказанных Александру I Иеремией Бентамом (1748—1832), английским буржуазным экономистом, которого Маркс назвал «гением буржуазной глупости», возник из следующего факта. Не при личном свидании (которого никогда не было), а в первом письме Бентама к Александру I от 28 января 1814 г. имеется нижеследующее место, послужившее источником для анекдота.

Говоря о двух новых кодексах законов — кодексе Наполеона и кодексе Баварском, Бентам писал: «...Оба эти новейшие произведения приняли в свое основание законодательство *древнего Рима.* Для России, во всяком случае, это было бы только лишней помехой... Об особенностях России я имею некоторое понятие. Два года из тех лет моей жизни, которые были наиболее богаты наблюдениями, были проведены в пределах России» (цитируем по переводу А. Н. Пыпина в «Вестнике Европы», 1869, апрель, стр. 745).

«ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ»

[1] Впервые напечатано в «Колоколе», л. 1, 1 июля 1857 г., стр. 3—6, за подписью «Р. Ч.». Рукопись не сохранилась. Печатается по тексту «Колокола».

Письмо адресовано к издателю «Колокола», т. е. Герцену, и посвящено вопросу о разграничении программы «Колокола» и издаваемых Герценом «Голосов», т. е. сборников «Голоса из России», в которых публиковался различный материал, присылаемый из России. Два таких сборника вышли в 1856 г., два — в 1857 г. (книги 3 и 4). Всего Герцен напечатал девять книжек «Голосов из России» в 1856—1860 гг.

[2] Речь идет о статье, напечатанной в первой же книге «Полярной звезды» за 1855 г., в разделе «Философия революции и социализм» под названием: «Что такое государство?» Статья эта, написанная В. А. Энгельсоном, вызвала яростные нападки на Герцена со стороны либералов Б. Н. Чичерина и К. Д. Кавелина. Они написали «Письмо к издателю» («Голоса из России», часть 1, стр. 9—36, за подписью: «Русский либерал»).

Являясь ярыми врагами демократии и социализма, Чичерин и Кавелин звали и Герцена на путь либерализма. Огарев критикует доктринерский либерализм Чичерина и Кавелина. Двумя годами позднее дело дошло до полного разрыва Герцена и Огарева с этими либеральными мудрецами.

[3] Огарев иронически упоминает о системе немецкого анатома и врача Франца Иосифа Галля (1758—1828) — основателя так называемой френологии, т. е. «учения» о возможности определять характер человека по строению его черепа.

[4] *Реад* Николай Андреевич (1793—1855) — кавалерийский генерал. Командовал полком во время подавления польского восстания в 1831 г.

[5] Огарев презрительно говорит о типичном представителе английского империализма, авантюристе и колонизаторе Джемсе Бруке (1803—1868). Действуя на островах Индийского океана в качестве английского офицера, он организовал в 1849 г. резню на острове Борнео. В начале 50-х годов были опубликованы его трехтомные мемуары. Буржуазная пресса раздувала фигуру Брука, расписывала его приключения, «подвиги» и т. п. Столь же иронично, как о Бруке, отзывается Огарев о Генри Джоне Пальмерстоне (1784—1865) — английском государственном деятеле и дипломате, многократном премьере английского правительства, ловком и циничном политике, представителе интересов английской промышленной буржуазии.

[6] Огарев имеет в виду, вероятно, В. П. Боткина. Говоря о «совершенно испанской запальчивости» своего собеседника, он намекает на книгу Боткина «Письма из Испании», незадолго до того появившуюся в отдельном издании (Спб. 1857). Огарев высмеивает преклонение Боткина перед западноевропейской буржуазией, в особенности перед английской.

[7] Говоря о фразерстве, свойственном стилю английского писателя, историка и публициста Томаса Карлейля (1795—1881), Огарев направил это критическое замечание в адрес англофильствующей части буржуазно-либеральных русских критиков во главе с В. П. Боткиным и А. В. Дружининым.

[8] «Допотопных веков Гостомысла», т. е. самых древних времен русской истории. Гостомысл — легендарный образ летописных сказаний о древнейшем периоде Руси. По одним преданиям, Гостомысл — первый новгородский посадник, по другим — князь.

[9] Говоря об «игре слов», Огарев имеет в виду начало статьи Энгельсона «Что такое государство?»: «Что такое государство? — Тайное общество, заговор — отвечаю я... Я говорю: Что такое государство? — Заговор имущих собственность против неимущих».

[10] Здесь в «Колоколе» имеется пропуск одного или нескольких слов. Восстановить его за отсутствием рукописи с достоверностью

невозможно. Даем предположительное чтение: «беспорядки, т. е. воровство и насилия и (действие? влияние?) ложных хозяйственных оснований».

[11] Названные Огаревым статьи были напечатаны анонимно во второй и третьей частях «Голосов из России». Статья «Государственное крепостное право в России» напечатана в третьей книге, стр. 114—144; статья «Об аристократии, в особенности русской» — в той же книге, стр. 1—113; статья «О полковых командирах и их хозяйственных распоряжениях» — во второй части, стр. 46—109.

«РАЗБОР КНИГИ КОРФА»

[1] Статья впервые напечатана в сборнике «14 Декабря 1825 и император Николай», изданном редакцией «Полярной звезды», Лондон 1858. В сборник входят статьи Герцена и Огарева, а также некоторые материалы по истории восстания декабристов. Статья Огарева «Разбор книги Корфа», заключающая сборник (стр. 203—308), впоследствии была отлитографирована в Москве участниками студенческого кружка П. Г. Заичневского и П. Э. Аргиропуло нелегально. Отметим любопытную деталь, относящуюся к особенностям издания этого сборника. И формат и расположение отдельных частей заглавия на обложке сборника в точности соответствуют пятому изданию книги Корфа. В таком виде сборник, оказавшись под одним переплетом с «благонамеренной» книгой Корфа, мог не только храниться в библиотеках, но даже продаваться в книжных магазинах. Экземпляр такой книги, включающей оба издания, имеется в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина.

Рукопись статьи не сохранилась. Печатается по тексту сборника.

[2] Точное название книги Корфа: «Восшествие на престол императора Николая I-го, составлено, по высочайшему повелению, статс-секретарем бароном Корфом, третье издание (Первое для публики)», Санкт-Петербург 1857.

Эта книга была издана до 1857 г. дважды: в 1848 г. под названием «Историческое описание 14-го декабря 1825-го года и предшедших ему событий» и в 1854 г. в переработанном и дополненном виде под заглавием «Четырнадцатое декабря 1825 года». Но оба эти издания, каждое в количестве 25 экземпляров, предназначались для членов царской семьи.

[3] *Корф* Модест Андреевич (1800—1872) — барон, позже граф, член Государственного совета. Реакционный бюрократ, услужливый и беспринципный монархист, служивший в Министерстве юстиции под началом Сперанского, затем в Комитете министров.

[4] Анекдот, здесь рассказанный, Герцен неоднократно использовал в публицистике и в переписке. См., например, письмо Герцена к Огареву от 3 октября 1861 г. о Мельгунове: «Я его в гроб... Демосфена заколочу» (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XI, 1919, стр. 246). Герцен пишет в статье «Исполин просыпается!» о правительстве Александра II: «Куда делась его вахмистрская наружность, его фельдфебельская выправка, где его сиплоармейский голос, которым оно тридцать лет кричало: «В гроб заколочу Демосфена!»» (там же, стр. 258).

[5] Письмо Александра Лагарпу от 21 февраля 1796 г., а также его письмо В. П. Кочубею от 10 мая 1796 г. говорят о его желании отречься от престола. Однако в то же время 24 сентября 1796 г. Александр в письме к своей бабушке Екатерине II выразил свое одобрение ее планам устранить Павла и назначить его, Александра, наследником престола.

Павел I был убит в 1801 г. в результате дворцового заговора, причем Александр I знал о заговоре и дал свое согласие на принуждение императора отречься от престола.

[6] О манифесте, назначавшем Николая Павловича наследником, знали архиепископ московский Филарет, составивший проект этого манифеста 16 августа 1823 г., А. Н. Голицын, в тот период министр просвещения и духовных дел, и могущественный временщик А. А. Аракчеев. «Еще одно лицо» — это, возможно, принц Вильгельм Прусский, которому Александр I лично сообщил содержание манифеста в ноябре 1823 г.

[7] *Милорадович* Михаил Андреевич (1771—1825) — генерал русской армии, участник войн с Наполеоном I, с 1818 г.— петербургский генерал-губернатор. 14 декабря был ранен П. Г. Каховским и умер на следующий день.

[8] *Лобанов-Ростовский* Дмитрий Иванович (1758—1838) — член Государственного совета. С 1817 по 1827 г.— министр юстиции; участник суда над декабристами.

[9] *Шишков* Александр Семенович (1754—1841) — министр народного просвещения и член Государственного совета в 1825 г. Об отношении Огарева к Шишкову см. статью «Предисловие к сборнику «Русская потаенная литература XIX века»» (настоящий том, стр. 424).

[10] *Волконский* Петр Михайлович (1776—1852) — адъютант Александра I, министр двора при Николае I.

[11] *Карамзин* Николай Михайлович (1766—1826) — известный русский писатель, был официальным историографом Александра I.

[12] *Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839) — русский государственный деятель, разработавший в 1809 г. проект введения конституционной монархии и постепенной ликвидации крепостного права; своей налоговой политикой вызвал резкое недовольство дворянства и знати, добившихся устранения ненавистного «министра из семинаристов». Александр I в 1812 г., накануне войны с Наполеоном, отстранил Сперанского от должностей и выслал в Нижний-Новгород. Сперанский вернулся в Петербург в 1821 г. и в последние годы царствования Александра I находился в зависимости от Аракчеева, перед которым угодничал. В 1826 г. Николай I привлек Сперанского к работе по подготовке приговора по делу декабристов. Сперанский подготовлял материал для Верховного уголовного суда, обосновал юридическую сторону процесса, подсказал разделение виновных на разряды по тяжести вины и наказания.

[13] *Пестель* Павел Иванович (1793—1826) — полковник, командир Вятского пехотного полка. Самый выдающийся из вождей декабристского движения, оригинальный мыслитель, член и директор Южного общества. Автор «Русской Правды» — конституционного проекта, принятого Южным обществом и построенного на республиканских принципах. Арестованный по доносу капитана Вятского полка

Майбороды (см. ниже, примечание 33), Пестель был осужден «вне разрядов» и повешен 13 июля 1826 г. Его следственное дело опубликовано (см. «Восстание декабристов», М.—Л. 1927, т. IV).

[14] Клейнмихелями... здесь в смысле — выучениками Аракчеева.

[15] «Донесение следственной комиссии» — официальный документ, содержавший в изложении Д. Н. Блудова правительственную версию об истоках, причинах и характере движения декабристов. Написанное 30 мая 1826 г., оно было опубликовано и впоследствии перепечатано Герценом и Огаревым в том же сборнике «14 Декабря 1825 и император Николай». Блудов в молодости был членом «Арзамаса» и примыкал к прогрессивным кругам дворянской интеллигенции. Назначенный делопроизводителем следственной комиссии по делу декабристов, он целиком применился к интересам Николая I — отсюда начало его карьеры — через министерские посты вплоть до члена Государственного совета, члена главного комитета по крестьянскому делу и пр.

[16] *Муравьев* Никита Михайлович (1796—1843) — один из основателей Союза благоденствия, автор проекта конституции, член Верховной думы Северного общества. В показаниях Н. М. Муравьева во время следствия не содержалось никаких сведений о Н. И. Тургеневе, кроме тех, которые были известны правительству (см. «Восстание декабристов», т. I, 1925, стр. 292—331).

[17] *Тургенев* Николай Иванович (1789—1871) — декабрист; находясь за границей с 1824 г., в декабрьском восстании не участвовал, но к следствию был привлечен и заочно осужден по первому разряду — по конфирмации, в каторжную работу вечно. Оставался эмигрантом вплоть до амнистии 1856 г. Приехал в Россию в мае 1857 г. и вскоре возвратился за границу; умер близ Парижа.

Цитируемая Огаревым известная книга Тургенева «Россия и русские» вышла на французском языке в Париже в 1847 г. К началу 1858 г. и последующим годам относится ряд выступлений Тургенева в «Колоколе» по крестьянскому вопросу.

[18] *Татищев* Александр Иванович (1763—1833) — генерал от инфантерии, военный министр, председатель следственной комиссии по делу декабристов.

[19] *Крузенштольпе* Магнус Якоб (1795—1865) — шведский историк, романист и публицист.

[20] *Муравьев* Михаил Николаевич («Вешатель») (1796—1866) — реакционнейший государственный деятель. В молодости примыкал к Союзу благоденствия, но после восстания Семеновского полка перешел на сторону самодержавия. В 30—40-х годах — губернатор в разных губерниях, с 1850 г.— член Государственного совета, с 1857 по 1862 г.— министр государственных имуществ. Ярый защитник крепостного права, упорно противившийся проведению реформы 1861 г. В 1863 г.— виленский генерал-губернатор, руководивший подавлением польского восстания. Политическую деятельность Муравьева разоблачают многие статьи Н. П. Огарева в «Колоколе».

[21] *Муравьев* Александр Николаевич (1792—1863) — брат предыдущего. Один из организаторов тайного общества, впоследствии отклонившийся от него. По делу декабристов отделался легким наказанием: был отправлен на службу в Сибирь, где в скором времени занял должность иркутского городничего.

[22] *Муравьев* Николай Николаевич (1768—1840) — генерал-майор, учредитель в селе Осташеве, Московской губернии, училища колонновожатых, в котором получил образование ряд будущих декабристов. Отец декабриста А. Н. Муравьева, М. Н. Муравьева-Вешателя, Н. Н. Муравьева-Карского и Андрея Николаевича Муравьева, духовного писателя и мистика.

[23] *Аракчеев* Алексей Андреевич (1769—1834) — граф, генерал от артиллерии, всесильный временщик при Павле I и Александре I. С деятельностью Аракчеева связан целый период реакционного полицейского деспотизма и грубой военщины.

[24] *Меттерних* Клеманс Венцель (1773—1859) — князь, министр иностранных дел и канцлер Австрийской империи. Один из организаторов в 1815 г. «Священного союза». Стоял во главе реакции в Европе, вызывая к себе ненависть народов. В 1848 г. был низвергнут мартовским восстанием в Вене и бежал в Англию.

[25] *Трубецкой* Сергей Петрович (1790—1860) — член Северного общества, управлял его делами совместно с князем Е. П. Оболенским и Никитой Муравьевым, был назначен в диктаторы, но на площадь в день восстания не явился. Осужден на вечную каторгу, в 1856 г. по амнистии восстановлен в правах, но без княжеского титула. Герцен впервые напечатал «Записки» Трубецкого в Лондоне.

[26] *Рылеев* Кондратий Федорович (1795—1826) — выдающийся поэт-революционер, член Северного общества, возглавлял его наиболее революционное крыло. Осужден «вне разрядов» и повешен 13 июля 1826 г. Герцен и особенно Огарев сыграли большую роль в распространении революционной поэзии Рылеева. В 1859 г. ими были изданы «Думы» отдельным изданием, а ряд его стихотворений и поэма «Войнаровский» опубликованы в «Полярной звезде» и сборнике «Русская потаенная литература в XIX веке» (см. предисловие Огарева к «Думам», а также предисловие к «Русской потаенной литературе» в настоящем томе).

[27] *Одоевский* Александр Иванович (1802—1839) — поэт, автор знаменитого ответа Пушкину на его послание «В Сибирь». Был лично знаком с Огаревым, оказал на него огромное влияние. Член Северного общества и участник восстания 14 декабря. Огарев посвятил ему проникновенные страницы в своих воспоминаниях «Кавказские воды» (см. в настоящем томе, стр. 403—413).

[28] *Муравьев-Апостол* Сергей Иванович (1796—1826) — подполковник Черниговского пехотного полка, один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия. Член Южного общества, возглавил восстание Черниговского полка, осужден «вне разрядов» и повешен 13 июля 1826 г.

[29] *Муравьев-Апостол* Матвей Иванович (1793—1886) — брат Сергея Муравьева-Апостола, один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия. Позднее член Южного общества, участник восстания Черниговского полка. Был приговорен к 20 годам каторжных работ. В 1863 г. Муравьев вернулся в Москву.

[30] *Новиков* Михаил Николаевич (1777—1822) — правитель канцелярии малороссийского генерал-губернатора князя Н. Г. Репнина, член Союза спасения.

[31] *Лукашевич* Василий Лукич (1783—1866) — маршал Перея-

славского уезда. Член общества Соединенных славян в Киеве. Дело его по резолюции Николая I «оставлено без внимания», и Лукашевич жил под надзором в своем имении.

[32] *Поджио* Александр Викторович (1798—1873) — подполковник, младший из братьев декабристов Поджио. В разговоре Пестеля с Поджио речь шла о необходимости казни членов царской фамилии. На очной ставке с Пестелем 13 апреля 1826 г. Поджио показывал, что Пестель пересчитал членов царской семьи по пальцам. Пестель же показал, что они действительно членов царской фамилии «по именам назвали, но без тех театральных движений, о коих Поджио теперь упоминает» (см. «Восстание декабристов», т. IV, 1927, стр. 183).

[33] *Майборода* Аркадий Иванович (около 1800—1844) — капитан Вятского пехотного полка. Принятый в 1824 г. в Южное общество, выдал своего полкового командира и директора Южного общества Пестеля, написав 25 ноября 1825 г. донос.

[34] *Левашов* Василий Васильевич (1783—1848) — генерал-адъютант, 14 декабря находился при Николае I, член следственной комиссии и Верховного уголовного суда.

[35] «Десять лет, необходимых для одних предварительных мер...» — Огарев очень тонко почувствовал фальшь этого места донесения. Пестель говорил о необходимости для временного правительства не менее десяти лет для *одного раздела земель*, что, разумеется, Блудовым не могло быть обнародовано (см. дело Пестеля в издании «Восстание декабристов», т. IV, 1927, стр. 182).

[36] «Русская Правда» — республиканская конституция, разработанная Пестелем (см. текст ее, изданный Центрархивом, а также «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов» в трех томах, т. II, Госполитиздат, 1951). Бумаги Пестеля были зарыты возле Тульчина. Один из арестованных, Заикин, был отправлен в Тульчин в сопровождении адъютанта генерала Чернышева и там указал в поле место, где были зарыты бумаги Пестеля. Бумаги и в их числе «Русская Правда» были вырыты и доставлены Николаю I.

[37] *Бестужев-Рюмин* Михаил Павлович (1803—1826) — подпоручик Полтавского пехотного полка. Сблизившись с С. И. Муравьевым-Апостолом, Пестелем и с другими членами Южного общества, сделался одним из наиболее энергичных деятелей в нем. Принимал активное участие в восстании Черниговского полка. Осужден «вне разрядов» и повешен 13 июля 1826 г.

[38] *Юшневский* Алексей Петрович (1786—1844) — генерал-интендант 2-й Армии, член Южного общества, один из его руководителей.

[39] Ошибочный рассказ Огарева о смерти Юшневского был им самим позже исправлен. В 14-м листе «Колокола» 1 мая 1858 г. им напечатана следующая поправка: «В нашей книге: «14 Декабря 1825 года и император Николай»,— пишет нам один корреспондент,— вкралась важная ошибка... Юшневский скончался не на похоронах Н. Муравьева, а другого товарища, Вадковского. Спешим исправить ошибку и притом не можем не повторить, что мы просим, умоляем всех соотечественников, имеющих в своих руках какие-нибудь документы о наших мучениках, о наших героях, доставлять их нам. Ведь для них настала история, это признал уже сам государь напечатанием корфовой книги. Мудрено ли, что мы наделали ошибок,

не имея решительно никаких документов, кроме воспоминаний о двух-трех разговорах шепотом за запертыми дверями. Пусть же нам помогут — сыновья, братья, друзья великих предшественников наших».

[40] *Ростовцев* Яков Иванович (1803—1860) — впоследствии генерал-адъютант Николая I. Начало карьеры Ростовцева — донос на декабристов. Письмо Ростовцева Николаю раскрыло план подготовлявшегося восстания. В 1835 г. Ростовцеву были вверены военно-учебные заведения. О правилах для военно-учебных заведений, составленных при Ростовцеве, Грановский писал Герцену, что им «позавидовали бы иезуиты». В 1857/58 г. Ростовцев — член сначала Негласного, а затем Главного комитета по крестьянскому делу. В 1859 г. Ростовцев был назначен председателем редакционных комиссий Главного комитета по крестьянскому делу и на этом посту оставался до смерти.

[41] *Шервуд* Иван Васильевич (1798—1867) — унтер-офицер 3-го Украинского полка. По происхождению англичанин. Доносчик и провокатор. Втерся в доверие членов Южного общества с тем, чтобы их выдать. После 14 декабря 1825 г. получил целый ряд наград.

[42] *Комаров* Николай — подполковник квартирмейстерской части, принадлежал к Союзу благоденствия до 1821 г., но «настаивал о уничтожении оного». По его показаниям было арестовано и допрошено около десяти человек, однако все они оказались к делу декабристов непричастными.

[43] *Витт* Иван Осипович (1781—1840) — генерал, начальник военных поселений на юге России. В 1819—1825 гг. Александром I ему была поручена организация тайной полиции на юге.

[44] *Дюпен* Андре Мари (1783—1865) — французский юрист, политический деятель, орлеанист. После февральской революции — президент Законодательного собрания, впоследствии бонапартист; «...самый тертый калач из всего адвокатского сословия — г. Дюпен...»,— так характеризует его Энгельс в письме к Марксу от 3 декабря 1851 г. (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс,* Избранные письма, 1947, стр. 53).

[45] *Дибич* Иван Иванович (1785—1831) — генерал-фельдмаршал. При Александре I — начальник главного штаба, действовал в тесном контакте с Аракчеевым. Располагал всеми материалами о готовящемся восстании декабристов и 12 декабря 1825 г. прислал их Николаю I, принимал участие в арестах и следствии по делу 14 декабря.

[46] *Нейгардт* Александр Иванович (1784—1875) — генерал-майор, после 14 декабря 1825 г.— генерал-адъютант, в дальнейшем — начальник штаба гвардейского корпуса.

[47] *Апраксин* Степан Федорович (1792—1862) — граф, флигель-адъютант Кавалергардского полка.

[48] *Воинов* Александр Львович (ок. 1770—1832) — генерал от кавалерии, командующий гвардейским корпусом, член Верховного уголовного суда над декабристами.

[49] *Якубович* Александр Иванович (1792—1845) — принимал непосредственное и деятельное участие в событиях 14 декабря, не принадлежа формально к тайному обществу. Умер в Сибири после тяжелой болезни.

[50] *Кожевников* Андрей Львович (1802—1867) — подпоручик лейб-гвардии гренадерского полка; в ноябре 1825 г. был осведомлен П. Г. Каховским о существовании общества. Накануне 14 декабря был приглашен к Сутгофу, где узнал о предстоящем выступлении. После полугодичного ареста в крепости был переведен с тем же чином в Иркутский пехотный полк.

[51] *Бестужев* Александр Александрович (1797—1837) — штабс-капитан лейб-гвардии драгунского полка, декабрист, член Северного общества. Друг и соратник Рылеева. Писатель-романтик, печатавшийся под псевдонимом «Марлинский». Выступил в печати в начале 20-х годов, сблизился с Грибоедовым, Пушкиным, Вяземским и особенно с Рылеевым, вместе с которым издал альманах «Полярная звезда». В память этой «Полярной звезды» так же назвал свои лондонские сборники Герцен. Бестужев был приговорен к каторжным работам, которые ему были в 1829 г. заменены отсылкой рядовым в армию на Кавказ. В 1837 г. убит при занятии мыса Адлер.

[52] *Щепин-Ростовский* Дмитрий Александрович (1798—1859) — член Северного общества, штабс-капитан Московского полка, приведший свою роту на Сенатскую площадь. Осужден к каторжным работам на двадцать лет.

[53] *Бестужев* Михаил Александрович (1800—1871) — штабс-капитан Московского полка, член Северного общества, активный участник событий 14 декабря, осужденный к каторжным работам на двадцать лет; после отбытия остался на поселении в Сибири и лишь в 1867 г. переехал в Москву.

[54] *Орлов* Алексей Федорович (1787—1862) — генерал-адъютант, за участие в подавлении восстания 14 декабря в качестве командира лейб-гвардии конного полка получил графский титул. С 1837 г.— член Государственного совета, с 1844 г., после смерти А. Х. Бенкендорфа,— начальник III отделения и шеф жандармов. После смерти Николая I, в 1856 г., был назначен председателем Государственного совета и получил титул князя.

[55] Огарев имеет в виду одного из двух братьев графов Коновницыных — Петра и Ивана Петровичей,— привлеченных к следствию; вероятнее всего, речь идет о Петре Петровиче, старшем из братьев. Будучи подпоручиком гвардейского генерального штаба, он входил в состав Северного общества, был приговорен к лишению чинов и дворянства и разжалован в солдаты.

Его брат не был членом Северного общества, но был осведомлен о нем и о настроениях в нем накануне 14 декабря. Он был арестован, но освобожден и временно отдан под надзор полиции.

Сообщение Огарева о том, что за Коновницына ходатайствовал в предсмертном письме к Николаю I Милорадович, исторических подтверждений не имеет.

[56] *Дурново* Николай Дмитриевич — полковник, флигель-адъютант, управлял канцелярией начальника главного штаба И. И. Дибича. Был послан в январе 1826 г. в Киев для производства расследования в связи с восстанием Черниговского полка.

[57] *Сутгоф* Александр Николаевич (1801—1872) — поручик лейб-гвардии гренадерского полка, член Северного общества, принятый

в его состав Каховским в сентябре 1825 г. В момент восстания находился на Сенатской площади.

[58] *Панов* Николай Алексеевич (1803—1850) — член Северного общества, тоже принятый в его состав Каховским. Участник восстания на Сенатской площади. Как и Сутгоф, был поручиком лейб-гвардии гренадерского полка.

[59] *Бенкендорф* Александр Христофорович (1783—1844) — генерал-адъютант Николая I, ближайший его сподвижник. В 1821 г. подал Александру I донос о деятельности тайного общества. 14 декабря командовал отрядом, действовавшим против декабристов, принимал активное участие в следствии по делу декабристов и суде над ними, добиваясь вынесения смертного приговора многим обвиняемым. С 1826 г.— шеф жандармов и главный начальник III отделения.

[60] *Якушкин* Иван Дмитриевич (1796—1857) — один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, член Северного общества, философ-материалист. Его «Записки» были впервые опубликованы Герценом в Лондоне в 1861—1862 гг.— сперва в VII книжке «Полярной звезды», а затем в виде отдельного издания.

[61] *Лунин* Михаил Сергеевич (1787—1845) — выдающийся политический мыслитель-декабрист. Член Северного, а затем Южного обществ. За попытки продолжать литературно-политическую деятельность в Сибири Николай I возобновил жестокое преследование Лунина, заключил его в 1841 г. в Акатуевский тюремный замок (на Нерчинских заводах), где он и умер скоропостижно в декабре 1845 г. Его «Взгляд на Тайное общество в России» был напечатан Герценом и Огаревым в «Полярной звезде» на 1859 г., книга V, а письма Лунина к сестре напечатаны впервые в «Полярной звезде» на 1861 г., книга VI.

[62] *Каховский* Петр Григорьевич (1797—1826) — отставной поручик, участник Северного общества. Находясь на Сенатской площади, смертельно ранил М. А. Милорадовича и командира лейб-гвардии гренадерского полка Стюрлера. Казнен 13 июля 1826 г.

«ЕЩЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ КРЕСТЬЯН»

[1] Статья напечатана в «Колоколе», л. 14, 1 мая 1858 г. Эта статья является первым подробным изложением того способа освобождения крестьян, разработке которого Огарев посвятил большинство своих публицистических выступлений в 1858—1860 гг.

[2] Упоминаемый Огаревым рескрипт министра — это отношение министра внутренних дел С. С. Ланского, опубликованное 22 февраля в русских газетах (см., например, «Московские ведомости» № 23) и оттуда перепечатанное в брюссельской газете «Le Nord» № 70.

Как и рескрипт Александра II от 5 декабря 1857 г. тому же петербургскому генерал-губернатору, отношение министра должно было служить руководством для работы учрежденного петербургским дворянством губернского комитета по освобождению крестьян.

[3] Огарев имеет в виду анонимную статью «Освобождение крестьян. Разбор рескрипта от 5/17 декабря 1857 и министерского отношения по его поводу», напечатанную в л. 13 «Колокола» 15 апреля 1858 г., стр. 99—104.

[4] Речь идет о принадлежащей Огареву неподписанной заметке, начинающейся словами: «Продолжение статьи...»

[5] *Кеппен* Петр Иванович (1793—1864) — известный русский статистик и географ, член Академии наук с 1837 г., один из учредителей Русского географического общества. Его критический анализ русских переписей («О народных переписях в России», 1848) не был допущен к печати из-за «резких отзывов насчет распоряжений, вовсе не подлежащих обсуждению публики». Эта работа была напечатана лишь в 1889 г. в «Записках Русского географического общества».

Цитируемая Огаревым работа «Девятая ревизия» вышла в 1857 г.

[6] Предложенный Огаревым метод общефинансовой меры, т. е. государственного выкупа земельных наделов освобождаемых крестьян через опекунские советы, вызвал резкие возражения анонимного автора. Со статьей, направленной против Огарева, выступил декабрист Н. И. Тургенев. Статья Тургенева была напечатана в «Колоколе», л. 18, 1 июля 1858 г., под заглавием «Возражение на статью «Колокола»».

Доказав невозможность предлагаемого Огаревым выпуска векселей опекунского совета на 770 млн. рублей для осуществления выкупа, без того чтобы не упала «наполовину, а может быть и гораздо более» стоимость ассигнаций в стране, автор переходит к «главному возражению»: «Как! и «Колокол» требует, чтобы русский мужик выкупил свои человеческие права с клочком пóтом и кровию орошенной им и его предками земли! Et tu quoque Brute!» (И ты, Брут!)

Далее Тургенев излагает свой проект освобождения крестьян, и тут обнаруживаются его весьма умеренные дворянско-либеральные взгляды, сводящиеся к защите интересов помещиков. Тургенев предлагал оставить безвозмездно крестьянам, сельским общинам только одну треть полевой земли, которой они фактически пользовались. Эта мера, говорил Тургенев, возвысит стоимость двух третей земли, остающейся у помещиков, настолько, что последние нисколько не пострадают. А крестьяне должны будут нанимать недостающую землю у помещика. Таков был проект Тургенева. Огарев отвечал на него только через 8 месяцев, в марте 1859 г. (см. статью «Письмо к автору «Возражения на статью «Колокола»» в настоящем томе).

[7] *Кокорев* Василий Александрович (1817—1889) — откупщик, наживший громадное состояние. Выступая с предложением привлечь купеческие капиталы к делу выкупа крестьян, дважды печатал статьи по этому вопросу в «Русском вестнике».

Как Огарев, так и Герцен, несомненно, переоценивали Кокорева, так как многое в его темной деятельности (как, например, финансирование газеты «Le Nord» через посредство III отделения) им оставалось неизвестным.

«УДЕЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ НЕ ОСВОБОЖДЕНЫ»

[1] Статья напечатана в «Колоколе», л. 23—24, 15 сентября 1858 г., подпись «Н. Огарев». Печатается по тексту «Колокола».

[2] В л. 21 «Колокола» от 15 августа 1858 г., на стр. 174, Огарев без подписи напечатал заметку «Опять надежды!», посвященную обнародованию указа от 20 июня 1858 г. «О даровании всем крестьянам удельного ведомства личных и по имуществу прав, предоставленных прочим свободным сельским сословиям».

Огарев в этом же л. 21 «Колокола» напечатал также без подписи свои статьи: «Нет больше освобождения крестьян!» и «Нет более спасения от чиновничества!» — по поводу проектов центрального (главного) комитета по крестьянскому делу. Колебания редакции «Колокола» в оценке происходивших в России событий сказались в этом случае с необыкновенной выразительностью: от уверенности в том, что дело освобождения крестьян в руках правительства крепостников будет извращено и погублено, до либеральных надежд на Александра II — в одном и том же листе «Колокола». Однако уже через месяц, разобравшись в существе указа, Огарев принес перед читателями извинение в ошибке и взял назад свою «удивительную похвалу».

³ Имеются в виду М. Н. Муравьев — министр государственных имуществ, В. Н. Панин — министр юстиции, А. Ф. Орлов — бывший глава III отделения, назначенный Александром II председателем Государственного совета. Все трое — крайние крепостники, рьяные защитники крепостного права.

⁴ При вступлении на престол Павел I в специальном акте «Учреждение об императорской фамилии» выгородил из общей территории «удел», размер которого в 1800 г. был более 4 млн. десятин; кроме того, сюда входили еще 3,5 млн. десятин, которыми удел владел совместно с казною и частными лицами; в ведении удела находились в том же 1800 г. 463 792 души крестьян мужского пола.

⁵ Константин Николаевич (1827—1892) — брат Александра II, генерал-адмирал. Имел в эти годы репутацию сторонника крестьянской реформы. В дальнейшем играл все большую роль в деле сохранения помещичьего господства.

«ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА»

¹ Впервые статья опубликована в «Полярной звезде» на 1859 г., книга 5, стр. 238—251; перепечатана в первом томе издания «Стихотворений и поэм» Огарева в «Библиотеке поэта», Л. 1938, стр. 281 и сл., в качестве приложения. Рукопись статьи не сохранилась. Печатается по тексту «Полярной звезды».

Статья посвящена памяти Александра Андреевича Иванова (1806—1858) — выдающегося русского живописца. Рассказ о двадцатилетней работе А. А. Иванова над картиной «Явление Христа народу», об отходе художника от религиозных взглядов и о его трагической смерти 3 июля был напечатан А. И. Герценом в «Колоколе» 1 сентября 1858 г. (л. 22), через три дня после получения из Петербурга известия о смерти Иванова во время холеры. Огарев написал свою статью об Иванове полугодием позже опубликованного Герценом некролога. Он рассказывает в ней о приезде Иванова в начале сентября 1857 г. в Лондон специально для того, чтобы встретиться с Герценом и Огаревым и разъяснить себе в разговорах с ними вопрос о новом направлении, которое должна получить живопись (см. отрывок письма А. А. Иванова к Герцену в книге *А. И. Герцен*; Полное собрание сочинений и писем, т. IX, 1919, стр. 311).

² *Джотто* (1276—1337) — итальянский художник эпохи раннего Возрождения. *Гольбейн* Ганс Старший (ок. 1470—1524) — немецкий художник, представитель немецкого Возрождения.

[3] Неточная цитата из «Горя от ума» А. С. Грибоедова, действие III, явление 22, монолог Чацкого:

«Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем».

[4] Огарев имеет здесь в виду Гурьева, графа, члена Государственного совета, «президента всех возможных веселых и грустных церемоний в Петербурге», как саркастически выражается Герцен в заметке «Иванова борода и Гурьева лоб» (см. *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. IX, 1919, стр. 369). В этой заметке Герцен заклеймил наглого сановника, нанесшего бессмысленное оскорбление замечательному художнику. Иванов носил бороду, и Гурьев запретил ему поэтому присутствие на одной из придворных церемоний, на которую Иванов был приглашен.

[5] «Иммакулатная концепция» — непорочное зачатие; церковная живопись на эту тему была широко распространена в XVII веке, в период итальянского и испанского барокко. Термин «иммакулатная концепция» означал также клятвенное заверение, которое должен был давать каждый католик в том, что он действительно верит в «непорочное зачатие».

[6] Огарев приводит строку из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», заменив словом «дрожали» слово «дремали».

[7] *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — реакционный немецкий романтик, проповедник теории «искусства для искусства», один из основоположников аристократическо-салонного декадентства и мистицизма.

[8] Следует отметить здесь, что взгляд Огарева на великие произведения искусства, как на продукт общественных условий, развивался им и в последующие годы. Так, в сентябре 1862 г., когда Герцен получил от В. В. Стасова письмо с замечаниями на статьи его и Огарева об Иванове, Огарев ответил В. В. Стасову обширным письмом, остающимся, к сожалению, до сих пор неразысканным, но о содержании которого кое-что известно. Его изложил Герцен. «...мне кажется,— писал Герцен Стасову 5 сентября,— что вы не совсем поняли, что я писал (в «Колок.») и Огар[ев] (в «Поляр. Звезде») об Ив[анове]. Мы говорили об его высоко-честном стремлении, а не о *совершенном* им...

На этом месте случилось престранное происшествие. Вчера по поводу письма вашего зашел с Огаревым разговор, и он вам написал диссертацию. От нее я отодрал, или отрезал, четвертушку, резавши другую бумагу. Отрезанная четверть лежала тут же, и теперь не могу ее найти. Ну, там было о том, что великие произведения искусства совпадают с великими общественными движениями и великой верой в религию или верой в скептицизм (Гомер, Данте, Шекспир),— нынче нет ни великой веры, ни великого отрицания». Как ни скупа эта выдержка из письма Огарева к Стасову, она проливает свет на главное положение статьи Огарева об Иванове (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XV, 1920, стр. 467).

[9] «Русские литераторы сердятся на обличительные сочинения...» В этих словах некоторые литературоведы видели намек на Добролюбова и соединяли эту часть статьи Огарева с известным выступлением Герцена против редакции «Современника», особенно против добролюбовского «Свистка». В действительности Огарев имеет в виду группу русских критиков-эстетов, сторонников «чистого искусства», возглав-

лявшихся Дружининым. Именно в статье Дружинина о романе А. Ф. Писемского «Тысяча душ» нашел Огарев цитируемые им выражения: «удушливый наплыв» и «зловонные пары» обличительных сочинений.

Упоминание Огаревым комедии Островского связано с утверждением Дружинина о том, что якобы наряду с «Обломовым» Гончарова и «Дворянским гнездом» Тургенева комедия Островского «Воспитанница» служит признаком «благодетельной перемены», происшедшей в области русской беллетристики.

[10] *Львов* Н. М. (1821—1872) — посредственный комедиограф, произведения которого пользовались довольно значительным успехом. Огарев имеет в виду его комедию «Свет не без добрых людей».

[11] *Корнелиус* Петер (1783—1867) — немецкий исторический живописец, примкнувший в Риме в 1811 г. к группе немецких художников, так называемых «назарейцев». Много занимался монументальной фресковой живописью на исторические темы.

«ПИСЬМО К АВТОРУ «ВОЗРАЖЕНИЯ НА СТАТЬЮ «КОЛОКОЛА»»

[1] Впервые напечатано в «Колоколе», л. 38, 15 марта 1859 г. Перепечатано Огаревым в сборнике «За пять лет», ч. 2. Печатается по тексту сборника, сверенному с текстом «Колокола».

Письмо адресовано Н. И. Тургеневу, напечатавшему в л. 18 «Колокола» возражение на статью Огарева «Еще об освобождении крестьян». См. примечание 6 к этой статье.

[2] Проекты Я. И. Ростовцева, напечатанные в Петербурге в очень ограниченном числе экземпляров, были перепечатаны с многочисленными (свыше 150) критическими замечаниями и примечаниями Огарева в л. 42—43 «Колокола».

Говоря о «гнусном доносе» Ростовцева, Огарев имеет в виду его донос на декабристов накануне 14 декабря 1825 г. (см. «Разбор книги Корфа» в настоящем томе, стр. 235—237). Корреспонденция о ростовцевской инструкции военно-учебным заведениям была напечатана в л. 22 «Колокола». Как Огарев, так и Герцен неоднократно разоблачали деятельность Ростовцева (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. VIII и IX по указателю, помещенному в т. XXII; особенно статью «Черный кабинет»). О Ростовцеве см. примечание 40 к статье «Разбор книги Корфа».

[3] Проект центрального комитета Огарев подверг резкому осуждению в статье, состоявшей из двух частей: «Нет больше освобождения крестьян!» и «Нет более спасения от чиновничества!» в «Колоколе», л. 21, стр. 169—173.

[4] Речь идет об образовании реакционного «Комитета по делам книгопечатания», учрежденного 24 января 1859 г. в составе А. В. Адлерберга, генерал-адъютанта, Н. А. Муханова, товарища министра народного просвещения, и А. Е. Тимашова, начальника корпуса жандармов и управляющего III отделением.

«Отстранение благонамеренного цензора», о котором упоминает Огарев,— увольнение московского цензора Н. Ф. Крузе, состоявшееся в 1858 г.

[5] Огарев, вероятно, имеет в виду записку члена тульского комитета князя В. А. Черкасского, поддержанного меньшинством комитета, к которой был приложен проект «Вольного тульского земельного кредитного общества».

[6] Упоминаемый проект А. М. Унковского был опубликован в следующем же листе «Колокола» с примечанием Огарева (см. л. 39, 1 апреля 1859 г., стр. 316—321).

[7] Проект В. А. Кокорева был напечатан в «Санктпетербургских ведомостях» в 1858 г. О Кокореве см. примечание 7 к статье «Еще об освобождении крестьян».

[8] Проект неизвестного автора, напечатанный в книге 5 «Голосов из России»,— проект В. А. Панаева. В сокращенном виде он был приложен на отдельном листе к л. 44 «Колокола» В л. 45 «Колокола» Огарев напечатал несколько замечаний к этому проекту В. А. Панаева под заглавием «О проекте освобождения крестьян» («Колокол», л. 45, 15 июля 1859 г., стр. 372—373).

[9] Речь идет о князе В. А. Черкасском и Ю. Ф. Самарине. Черкасский еще в Тульском комитете защищал полицейское вотчинное право помещиков и телесные наказания крестьян помещиками. Подвергшись критике, он печатно отказался от этих предложений, а затем, войдя в редакционные комиссии (1859), вновь к ним вернулся, будучи поддержан и Ю. Ф. Самариным. «Колокол» впоследствии в статьях, написанных Герценом, заклеймил этих славянофилов-плантаторов (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. X, 1919, стр. 292—293; см. также его статью «Розги долой!» — там же, стр. 355—357).

[10] В ответ на письмо Огарева Н. И. Тургенев напечатал в л. 40—41 «Колокола», стр. 329—337, свой «Ответ на статью, помещенную в 38 листе «Колокола»», в котором вновь привел возражения по вопросу о выкупе, методы которого разрабатывал Огарев в своих статьях. Огарев сделал при публикации ответа Тургенева следующее примечание:

«Благодаря автора за его письмо, мы надеемся со временем возвратиться к вопросу о выкупе, в возможности которого не сомневаемся, и продолжать нашу полемику в том же благородном тоне, в тоне уважения к человеку и искренности в искании истины, в тоне, который мы ценим высоко, пример которого автор письма нам подает так симпатично и который один возможен между людьми, ставящими человеческое достоинство и откровенность убеждений выше мелкого самолюбия школьников». Это примечание было подписано инициалами Н. О. («Колокол», л. 40—41, 15 апреля 1859 г., стр. 337).

Полемика Огарева с Н. И. Тургеневым на этом не прервалась. 15 февраля 1860 г., печатая очередной разбор трудов редакционных комиссий («Колокол», л. 63, стр. 519—525), Огарев резко возражал против правительственной попытки заимствовать решение вопроса о крепостных отношениях у иностранцев. «Правительство хочет решить по-своему, по теории, взятой с иностранных образцов,— писал здесь Огарев.— Что за игра в Петры Великие! Времена не те. Петр Великий прививал нам насильственно образование и оно привилось: оно взошло неизгладимым элементом в русскую жизнь. Теперь надо ему дать свободно развиться на народных основаниях. Теперь не нужно насильственных прививаний. Мы не хотим ни английской, ни

французской болезни, ни даже прусской гегеймрат-казарменной». Н. И. Тургенев счел необходимым выступить с «Письмом к издателю Колокола» — «Возражением на 63 № «Колокола»». Печатая возражение Тургенева, Огарев сделал к нему следующее примечание: «Помещая это письмо с искренним уважением к автору, мы считаем долгом уверить его, что у нас в мысли не было бросить малейшую тень сомнения на великие заслуги Штейна и его сверстников. Но если автор взглянет на постепенное вырождение в Германии людей, подобных Штейну, на измельчение и гражданственности, и личности, и даже литературы — и на незыблемость бюрократического и казарменного склада Пруссии, склада, к несчастью, целиком перенесенного в правительственную Россию и глубоко отделившего ее от настоящей России,— то вероятно нам будет прощено наше отвращение от прусской болезни, которое нисколько не мешает нам уважать великих германских деятелей. Ред.» («Колокол», л. 70, 1 мая 1860 г.)

«ОТВЕТ НА ПИСЬМО МАЛОРОССИЙСКОГО ПОМЕЩИКА»

1 Впервые напечатан в «Колоколе» 1 декабря 1859 г., л. 57—58, под заглавием «Письмо и ответ»; перепечатан в сборнике статей Огарева «За пять лет», ч. 2, стр. 99—131, под заглавием «Ответ на письмо малороссийского помещика». Печатается по тексту сборника, сверенному с текстом «Колокола». Подпись «Н. Огарев».

Установить автора письма не удалось.

2 Corpus juris civilis — общее название книг собрания законов императора восточно-римской империи Юстиниана I. Этот крупнейший памятник римского права составлен в 528—534 гг. н. э.

3 Огарев говорит о так называемых «Редакционных комиссиях», учрежденных при «Главном комитете по крестьянскому делу» в феврале — марте 1859 г. Назначенный председателем комиссий Я. И. Ростовцев (см. о нем выше, примечание 2 к ст. «Письмо к автору «Возражения...»») в течение 1859 г. составил свод проектов губернских (дворянских) комитетов и разработал общее положение.

4 Огарев употребляет местное название (Ифляндские уезды) для Режицкого, Двинского, Люцинского и Дриссенского уездов.

«[ПРЕДИСЛОВИЕ К «ДУМАМ» К. Ф. РЫЛЕЕВА]»

1 Впервые напечатано в издании: «Думы. Стихотворения К. Рылеева. С предисловием Н. Огарева. Издание Искандера. Лондон 1860. В типографии З. Свентославского, в 32-ю долю листа, 172+XXVIII». Книга эта вышла в конце 1859 г. и была издана Герценом с целью отметить память декабриста Рылеева. В 1860 г. Герцен и Огарев подготовили ряд изданий, посвященных декабристам, в том числе целиком посвященную им книгу «Полярной звезды» на 1861 г., в которой, между прочим, были впервые напечатаны письма А. С. Пушкина к Рылееву и Бестужеву.

2 Огарев цитирует строки из своей поэмы «Матвей Радаев».

[3] Упоминая о неблагоприятных отзывах Пушкина, Огарев имеет в виду ряд его высказываний в письмах. «Что сказать тебе о думах,— писал Пушкин Рылееву весной 1825 г. из Михайловского,— во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы *Петра в Острогожске* чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из *общих мест* (Loci topici). Описание места действия, речь героя и — нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен (исключаю Ивана Сусанина, первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант)».

Совершенно иначе отнесся Пушкин к поэмам Рылеева. В 1825 г., в письме от 24 марта к А. А. Бестужеву, он писал следующее:

«Откуда ты взял, что я льщу Рылееву? мнение свое о его Думах я сказал вслух и ясно; о поэмах его также. Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою. Он в душе поэт... Жду с нетерпением Войнаровского и перешлю ему все свои замечания. Ради Христа! чтоб он писал — да более, более!» Одновременно с этим Пушкин писал брату: ««Войнаровский» мне очень нравится. Мне даже скучно, что его здесь нет у меня».

[4] «Думы» Рылеева «Олег Вещий» и «Волынский» впервые напечатаны в 1822 г.

[5] «Войнаровский» — поэма Рылеева. Впервые была целиком напечатана в марте 1825 г.

[6] Из поэмы «Наливайко» сохранилось тринадцать отрывков, из которых долгое время известны были только три: «Киев», «Смерть чигиринского старосты» и «Исповедь Наливайки». Остальные десять были опубликованы позднее.

«ПИСЬМА К СООТЕЧЕСТВЕННИКУ»

[1] Впервые напечатаны в «Колоколе», л. 77—78, 1 августа 1860 г. Подпись «Н. Огарев». Перепечатаны в сборнике статей Огарева «За пять лет», ч. 2. Печатается по тексту сборника, сверенному с текстом «Колокола». Местонахождение рукописи неизвестно.

Адресат письма неизвестен.

[2] *Ребук* Джон Артур (1801—1879) — английский политический деятель, либерал, несколько раз избиравшийся членом палаты общин. Огарев называет его «запевалой» потому, что Ребук являлся инициатором ряда резких выступлений, политических кампаний и пр. Так, в 1855 г. его выступлением началась кампания, приведшая к падению правительства Эбердина и приходу Пальмерстона к власти.

[3] Страйки работников, т. е. рабочие стачки (агл. strike — стачка).

[4] Сеттлерство (от английского слова settler — поселенец) употребляется Огаревым в смысле «общинное поселение».

[5] Огарев имеет в виду откровенно крепостнические выступления: Г. Б. Бланка (1811—1889), напечатавшего в 1856 г. статью «Русский помещичий крестьянин»; Н. А. Безобразова (1816—1867), напечатавшего в 1858 г. за границей реакционнейшую брошюру «Об усовершенствовании узаконений, касающихся до вотчинных прав дворянства»; крепостнический проект нескольких флигель-адъютантов Александра II, поданный ими царю.

Против Бланка и Безобразова выступали также Герцен и Чернышевский (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. IX, стр. 250, 255, 265, и *Н. Г. Чернышевский,* Избранные экономические произведения, т. I, 1948, стр. 74—79, и там же, стр. 601—603). Огарев посвятил разбору брошюры Безобразова специальную статью в «Колоколе» (л. 15, 15 мая 1858 г., стр. 117—122).

[6] Речь идет об адресах «меньшинств» губернских дворянских комитетов, поданных в конце 1859 г. Александру II с требованием реформ. Одновременно были поданы и реакционные адреса, требовавшие усиления политической роли дворянства. Огарев опубликовал 15 мая 1860 г. в «Колоколе», л. 71, два таких типических адреса: прогрессивный адрес владимирского дворянства и реакционный петербургского. На адрес владимирского дворянства последовал по поручению царя ответ министра внутренних дел Ланского. «Государь император изволил получить и с крайним неудовольствием прочесть подписанное... многими дворянами... *прошение,* в котором они ходатайствуют о коренном преобразовании разных частей государственного управления. Прошение сие наполнено *неприличным порицанием* существующего ныне порядка... *неосновательными укоризнами...* и обвинениями высшего начальства в совершенном произволе».

К этому отрывку Огарев сделал примечание: «Зачем правительство так бесстыдно лжет? Где неприличные порицания, где неосновательные укоризны?.. Адрес называет оно «прошением». Нет, не стереть им с себя ни Чингис-хана, ни Бирона!»

После текста реакционного петербургского адреса Огарев завершал публикацию следующей выразительной репликой: «Нам кажется, что прибавлять к этим двум адресам, принадлежащим двум разным столетиям, двум разным образованиям, нечего. Кто ждал, что Тверь, Владимир, Харьков, Нижний, Калуга, Ярославль, Кострома... окажутся умнее, современнее, чем петербургские бюрократы и московские тузы».

[7] *Унковский* Алексей Михайлович (1828—1893) — тверской либеральный помещик, разработавший совместно с А. А. Головачевым проект освобождения крестьян с земельным наделом за обязательный выкуп. Вызванный в Петербург для участия в работах редакционных комиссий осенью 1859 г. выступил с обширной запиской «Соображения по докладам редакционных комиссий». Адрес Унковского с требованиями реформ Александр II нашел «ни с чем несообразным и дерзким до крайности». Унковский был отстранен от должности предводителя и в феврале 1860 г. отправлен с жандармами в Вятку, откуда вернулся через полгода.

[8] *Европеус* Александр Иванович (1826—1885) — петрашевец, сосланный рядовым на Кавказ, в 1857 г. вернулся на родину в Тверскую губернию, где совместно с Унковским принял деятельное участие в подготовке реформы. В 1860 г. был сослан в Пермь, где пробыл около двух лет.

«НА НОВЫЙ ГОД 1861»

[1] Статья впервые напечатана в «Колоколе», л. 89, 1 января 1861 г. Подпись «Н. Огарев». Включена Огаревым в сборник статей «За пять лет», ч. 2. Революционным кружком в Москве была отлитографирована в типографии П. Заичневского и П. Аргиропуло.

Печатается по тексту сборника.

«КАВКАЗСКИЕ ВОДЫ»

[1] С подзаголовком: «Отрывок из моей исповеди», впервые опубликован в «Полярной звезде» на 1861 г., книга 6, стр. 338—358. Это второй из известных нам отрывков из автобиографических записок Огарева. Недавно профессором М. В. Нечкиной обнаружены две новые главы (I и II) «Исповеди» Огарева, рисующие его детство и юность.

[2] Эпиграф из стихотворения Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского», 1839 г.

[3] Речь идет о Панчулидзеве Александре Алексеевиче (1789—1867) — пензенском губернаторе с 1831 по 1859 г., типичнейшем для своего времени крепостнике, самодуре и взяточнике.

[4] С отбывающим в Саратове ссылку Алексеем Козьмичем Лахтиным (1808—1839). Лахтин был выслан в 1835 г.— одновременно с Герценом, Огаревым и Сатиным.

[5] С Николаем Михайловичем Сатиным (1814—1873), поэтом и переводчиком, одним из ближайших друзей Огарева в период 30—50-х годов.

[6] В ранней переписке Герцена и Огарева за 1832—1833 гг. неоднократно встречаются упоминания имен Шеллинга и Окена и дискутируется вопрос о ценности натурфилософии. В 1841 г., в декабре, находясь в Берлине, Огарев слушал лекции Шеллинга и дал в письме к Н. М. Сатину резкую характеристику реакционной «философии откровения».

[7] Огарев неточно называет здесь одно из сочинений немецкого медика, профессора медицины в Иене, Дитриха-Георга Кизера (1779—1862). Точное заглавие упоминаемого Огаревым сочинения: «System des Tellurismus oder tierischen Magnetismus» (два тома, Лейпциг 1826).

[8] Огарев был арестован в июле 1834 г. и находился в тюрьме до 6 апреля 1835 г.

[9] *Анфантен* Бартелеми-Проспер (1796—1864) — один из ближайших последователей Сен-Симона, автор многочисленных пропагандистских изложений его утопической системы и красноречивый проповедник «новой религии». В 1825—1826 гг. издавал вместе с Базаром журнал «Producteur». В 1830—1831 гг. сотрудничал в журнале сенсимонистов «Globe». В общине сенсимонистов получил титул «верховного отца» — père suprême, отсюда прозвище — «отец Анфантен». Критические замечания Огарева о сенсимонизме, заключающиеся в настоящем очерке, он развил впоследствии в своей работе «Частные письма об общем вопросе» (см. настоящий том), где рассмотрению учения Сен-Симона и его школы посвящено целиком «Письмо третье».

[10] М. Л.— Мария Львовна Рославлева, первая жена Огарева.

[11] *Голицын* С. М. — председатель и *Голицын* А. Ф.— член следственной комиссии, судившей Герцена, Огарева и их друзей (см. характеристику обоих в «Былом и думах», ч. II, гл. XI).

[12] Речь идет о А. С. Панчулидзеве, саратовском губернаторе, отце А. А. Панчулидзева — пензенского губернатора.

[13] Из «Путешествия Онегина» А. С. Пушкина.

[14] Н. М. Сатин оставил подробное описание первого свидания своего с Огаревым в Пятигорске (см. «Из воспоминаний Н. М. Сатина», сборник «Почин» Общества любителей российской словесности).

[15] Стихотворение, вставленное в текст, посвящено встрече с ссыльными декабристами, переведенными из Сибири на Кавказ. Здесь, на минеральных водах, находились декабристы — М. М. Нарышкин, Н. И. Лорер, В. Н. Лихарев, А. Е. Розен, А. И. Одоевский и М. А. Назимов. Из всех декабристов, с которыми Огарев встретился на Кавказе, сильнейшее впечатление на него произвел Одоевский.

Кроме стихотворений «К декабристам», «Памяти Рылеева», «Героическая симфония Бетховена (памяти А. Одоевского)», замечательных строф поэмы «Матвей Радаев», Огарев посвятил декабристам следующие статьи и работы: «Разбор книги Корфа», «В память людям 14 декабря», «Предисловие к «Думам» К. Ф. Рылеева» и ряд страниц в Предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» (см. все эти статьи в настоящем томе).

[16] Доктора Мейера М. Ю. Лермонтов запечатлел в «Герое нашего времени» в образе доктора Вернера.

[17] *Чаадаев* Петр Яковлевич (1794—1856) — выдающийся русский мыслитель, автор серии «Философических писем», из которых первое при своем опубликовании (1836 г., журнал «Телескоп») произвело огромное впечатление и вызвало преследование его автора: Чаадаев был объявлен душевнобольным, бумаги его были отобраны. Ряд философских писем Чаадаева опубликованы лишь после Октябрьской революции (см. «Литературное наследство», книги 22—24, стр. 18—62, и др.).

Речь идет о том, что Чаадаев, резко критикуя крепостническую отсталость России и православно-византийскую церковь, допустил в своих «Философических письмах» идеализацию католицизма, ошибочно приписав ему положительную роль в истории Западной Европы.

[18] Из стихотворения Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского».

[19] Вероятно, Огарев говорит здесь о своем стихотворении 1838 г.— «Я видел вас, пришельцы дальних стран», которое известно под названием «К декабристам».

[20] *Фома Кемпийский* (1379—1471) — монах, средневековый богослов, автор сборника поучений «Подражание Христу».

[21] Патриарх католического протеста — Чаадаев, см. выше, примечание 17.

[22] Огарев имеет здесь в виду либералов К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина, с которыми редакция «Колокола» в конце 50-х годов повела жестокую полемику, закончившуюся разрывом Герцена и Огарева с этими представителями «либерального хамства».

[23] *Сен-Мартен* — французский мистик. В 1785 г. книга его издана была в русском переводе под таким заглавием: «О заблуждениях и истине, или воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания. Философа неизвестного». Переводчиком считают студента П. И. Страхова.

[24] *Распайль* Франсуа Венсан (1794—1878) — французский ученый-естествоиспытатель и политический деятель, участник революций

1830 и 1848 гг., после переворота Наполеона III — эмигрант. Книга Распайля по органической химии, упоминаемая Огаревым, появилась в 1833 г. («Nouveau système de chimie organique»).

[25] *Мажанди* Франсуа (1783—1853) — французский физиолог.

«ПРЕДИСЛОВИЕ [К СБОРНИКУ «РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА»]»

[1] Сборник «Русская потаенная литература XIX века» напечатан в Лондоне в 1861 г.; вышел из печати в начале осени. В настоящем издании текст воспроизводится по сборнику.

[2] Имеется в виду шеститомное издание сочинений А. С. Пушкина под редакцией Г. Геннади, вышедшее в 1859—60 г. (изд. Я. А. Исакова).

[3] Недостававшие Огареву данные, о присылке которых он просит библиофилов, были в ряде случаев доставлены уже во время печатания сборника и включены в примечания.

[4] *«Гамлетовский подземный крот...»* — реплика Гамлета (действие 1, явление 5):

> Так, старый крот! Как ты проворно роешь!
> Отличный землекоп!..

[5] См. в настоящем томе «Письма к «Одному из многих»». Письмо 2-е.

[6] Эпиграммы и стихотворные шутки Соболевского Сергея Александровича (1803—1870), приятеля Пушкина, пользовались среди современников широкой известностью. В них метко осмеивались многие «деятели» времен Николая I — Канкрин, Клейнмихель и др. Остроумны и известны были также и литературные эпиграммы Соболевского. Впервые многие из них были напечатаны в России только в 70-х годах. В 1912 г. собраны (неполно) В. Калашом в книге «Эпиграммы и экспромты С. А. Соболевского».

[7] Венгерская кампания — посылка Николаем I русских войск для подавления венгерской революции в 1849 г.

[8] «*Наше* дело» — арест в 1834 г. членов кружка — А. И. Герцена, Н. П. Огарева, Н. М. Сатина, А. К. Лахтина. Все перечисленные участники кружка были в 1835 г. высланы из Москвы.

[9] *Петрашевский* Михаил Васильевич (1821—1866) — выдающийся революционер-демократ и социалист-утопист, организатор и руководитель революционного кружка во второй половине 40-х годов. Был арестован в 1849 г. вместе со многими участниками организованных им собраний. Осужден к пожизненной каторге.

[10] Огарев имеет в виду произведение французского историка, просветителя-сентименталиста Гильома Франсуа Рейналя (1713—1796) «Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в двух Индиях» (1770 г.), обличавшее жесточайшую эксплуатацию туземного населения.

[11] «Светлана пахнет Ленорой...», т. е. поэма В. А. Жуковского «Светлана» напоминает, по мнению Огарева, балладу «Ленора» немецкого поэта Готфрида Августа Бюргера (1747—1794), написанную в 1773 г. и переработанную В. А. Жуковским в 1808 г. Известна под заглавием «Людмила».

[12] Имеется в виду книга французского востоковеда, деятеля «века просвещения» Константина Вольнея (1757—1820). Книга эта «Руины или размышления о революциях империй» (имеется русский перевод) вышла в Париже в 1790 г.

[13] *Бернс* (Барнс в начертании Огарева) Роберт (1759—1796) — шотландский поэт, родившийся в семье малоземельного крестьянина.

[14] *Беранже* Пьер Жан (1780—1857) — французский поэт-республиканец, политические и сатирические песни которого распевались в Париже и имели широчайшую популярность.

[15] Перечисленные Огаревым французские композиторы: Андрэ Эрнест Гретри (1742—1813), Андриен Франсуа Боэльдье (1775—1834) и М. Джордж Онслов (1784—1852) — авторы опер и песен, а последний главным образом камерных произведений, в которых использовано мелодическое богатство французской народной музыки.

[16] Огарев имеет в виду «Сказку о попе и о работнике его Балде» (1830).

[17] Огарев имеет в виду стихотворение «Сват Иван, как пить мы станем» (1833).

[18] Перифраза строки стихотворения Пушкина «Поэту» (сонет), 1830 г.:

И в детской резвости колеблет твой треножник.

[19] Из «Евгения Онегина», глава 8, строфа 1.

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал.

[20] Ставшее крылатым, известное в разных вариантах, двустрочие это приписывается Пушкину.

[21] *Штейн* Генрих Фридрих, барон (1757—1831) — прусский государственный деятель, представитель «партии половинчатых реформаторов». В 1807—1808 гг. Штейн провел в Пруссии реформы, важнейшей из которых являлась реформа крепостного права. Преувеличенная современниками и раздутая буржуазными историками реформа Штейна на деле сводилась к формальному, по указу короля от 9 октября 1807 г., освобождению крестьян от крепостной зависимости с сохранением всех повинностей, тяготевших над крестьянской землей. Крестьянин оставался попрежнему и юридически и фактически под социальным и политическим гнетом земельной аристократии. Похвалы Штейну не выражают действительного отношения Огарева к прусскому методу решения аграрной проблемы. На деле Огарев являлся сторонником революционного разрешения вопроса.

[22] Либеральный швейцарский бюргер — Лагарп (1754—1838) был воспитателем Александра I.

[23] Возмущение Семеновского полка, начавшееся в Петербурге 16 октября 1820 г.,— одно из крупнейших волнений в армии в первой четверти XIX века. Возмущение началось протестом головной роты против зверских действий аракчеевского ставленника, нового командира полковника Шварца, восстановившего телесные наказания в полку. Возмутившаяся рота была посажена в крепость. Ее поддержал полк, в полном составе также отправленный в Петропавловскую крепость. После жестокой расправы с «зачинщиками» полк был расформирован. В возмущении Семеновского полка проявился протест

солдатской массы против крепостнического угнетения. Возмущение Семеновского полка оказало большое революционизирующее влияние на декабристов.

[24] Огарев имеет в виду строки из стихотворения «Лицинию» (1815 г.):

Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок изображу...

Цитирует же он первые строки стихотворения «О муза пламенной сатиры...»:

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!

[25] Т. е. оду «Вольность» (1817 г.). Приводимые на следующей странице четыре стиха завершают оду.

[26] Обществом «Русской Правды» Огарев называет Южное общество,— по написанному П. И. Пестелем проекту конституции «Русская Правда». Сведения Огарева о конституционных проектах неполны. У Северного общества имелся проект конституции Никиты Муравьева, который, однако, не был принят всем обществом в качестве программы действий.

[27] Огарев дал подробную характеристику К. Ф. Рылеева в «Предисловии к «Думам»», изданным в 1860 г. в Лондоне (см. настоящий том, стр. 347). Там же стихотворное посвящение памяти Рылеева. Останавливается Огарев подробно на судьбе Рылеева и в «Разборе книги Корфа».

[28] Строки из поэмы Рылеева «Наливайко» («Исповедь Наливайки»).

[29] *Ретчер* (или Рётшер) Генрих Теодор (1803—1871) — немецкий теоретик эстетики, правый гегельянец, много писавший по вопросам драматургии и театра. «Многоглаголеньем» Ретчера Огарев называет его трехтомную работу «Искусство драматического представления» («Die Kunst der dramatischen Darstellung»), 1841—1846 гг., вторая часть которой была посвящена главным образом «характерам Шекспира».

[30] Приводимое Огаревым стихотворение Рылеева было впервые по неисправному списку напечатано в «Библиографических записках», 1861, № 19, стр. 581. Стихотворение является одним из трех посвящений другу Рылеева декабристу Е. П. Оболенскому.

[31] *Глинка* Федор Николаевич (1786—1880) — поэт, участник войны 1812 г., автор известных «Очерков Бородинского сражения» и «Писем русского офицера». Был членом Союза благоденствия, по делу декабристов выслан в 1826 г. в Петрозаводск.

Две строки Глинки, приводимые Огаревым, вошли в поговорку, взяты они из стихотворения «Плач пленных иудеев», напечатанного в сборнике «Опыты священной поэзии», 1826 г.

[32] «Цыганка» — поэма Е. А. Боратынского, вышла в 1842 г. Строки, припоминаемые Огаревым, приведены им неточно.

Ее вчера я разглядела,
Совсем, совсем не хороша!

(Глава IV, стихи 438 — 439.)

[33] В конституционном проекте Пестеля «Русская Правда», текст которого оставался Огареву неизвестным, не признавалось самобытности областей, за исключением Польши. Таким образом, Огарев ошибался, предполагая Пестеля сторонником федерации — «связи целого и самобытности областей».

[34] Строка из главы 8 «Евгения Онегина», строфа 1; в печатном тексте «Евгения Онегина» *Апулея* вместо *Елисея,* имеющегося в рукописи. «Елисей» — поэма Василия Ивановича Майкова, сатирического поэта XVIII века.

[35] Стихотворение это Пушкину не принадлежит.

[36] Имеется в виду письмо Пушкина к А. А. Бестужеву от конца января 1825 г. (см. *А. С. Пушкин*, Полное собрание сочинений, т. X, изд. Академии наук СССР, М.—Л. 1949, стр. 121—122).

[37] Огарев с иронией и гневом писал о раболепии русского дворянства и буржуазии «перед всем иностранным». При посещении Александром Дюма-старшим (1802—1870) России в 1858 г. некоторая часть литераторов искала встреч с ним и лебезила перед «знаменитым». Дюма выпустил фантастическое, полное вздора, описание своего путешествия («В России»).

О приезде другого «гостя» — бездарного бельгийского экономиста Густава Молинари (1819—1912), представителя вульгарной политической экономии, писал Н. Г. Чернышевский в уничтожающей заметке, приуроченной к выходу перевода первой части «Курса политической экономии» Молинари.

[38] Огарев ошибся. Стансы, цитируемые им («Нет, я не льстец»),— это стихотворение «Друзьям», 1828 г., «Стансы» же («В надежде славы и добра») были написаны 22 декабря 1826 г. Стихотворение «Друзьям» явилось как раз ответом Пушкина на обвинение в лести Николаю I; пушкинское послание «В Сибирь» написано в 1827 г.

[39] Огарев, говоря об «увлечении» Пушкина Николаем I, отчасти воспроизводит распространенное в то время заблуждение о поэте, будто бы склонившем покорную голову перед николаевским самодержавием. Огромная заслуга марксистско-ленинской истории литературы состоит в том, что легенда о примирении Пушкина с Николаем I, с самодержавием, помещичьей реакцией в корне уничтожена.

[40] «Спор о семейном старшинстве» — слова из стихотворения Пушкина «Клеветникам России»: «...спор славян между собою, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою».

[41] Стихотворение декабриста А. И. Одоевского, включенное Огаревым в сборник: «При известии о польской революции» («Недвижимы, как мертвые в гробах»).

[42] «Стальной щетиною сверкая» — строка из стихотворения «Клеветникам России».

[43] Стихотворение А. С. Хомякова «1831 год» («Внимайте голос истребленья!»).

[44] Огарев ошибся: стихотворение «Свободы сеятель пустынный» написано Пушкиным гораздо раньше, еще в 1823 г.

[45] Огарев имеет в виду стихотворение «Странник» («Однажды странствуя среди долины дикой»), написанное в 1835 г. Об этом стихотворении Огарев писал, придавая ему исключительное значение — поворотного в истории русской поэзии, в письме к М. Н. Островскому.

[46] Рано погибший талантливый поэт Александр Иванович Полежаев (1805—1838) представлен в сборнике Огарева рядом произведений, в том числе поэмой «Сашка», стихотворениями «Арестант», «Другу моему А. П. Лозовскому», «Четыре нации» и «Имяниннику» (стр. 131—182 и 413—419).

«Иудой-меценатом» Огарев назвал Николая I, действительно «обласкавшего» Полежаева и тут же сдавшего его в солдаты.

[47] Строки из стихотворения Полежаева «Вечерняя заря».

[48] Строка из «Исповеди Наливайки» Рылеева.

[49] Огарев говорит о стихотворении Пушкина «Моя родословная» и «Post scriptum'е» к нему: «Видок Фиглярин, сидя дома» (1830 г.) и об эпиграмме (1823 г.) на Северина, известной под названием «Жалоба».

[50] Измененный текст начальных строк стихотворения Лермонтова «Родина»:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.

[51] Из поэмы Лермонтова «Сказка для детей», 21-я строфа.

[52] Неточная цитата из стихотворения «Завещание» (1840 г.):

Пускай она поплачет...
Ей ничего не значит!

[53] Строка из стихотворения «Последнее новоселье», 1841 г., посвященного перенесению праха Наполеона I с острова Св. Елены в Париж. Лермонтов говорит здесь:

Поняв тщеславие сих праздничных забот,
Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!

[54] Огарев имеет в виду поэму Лермонтова «Тамбовская казначейша»; стихотворение, написанное «звучными стихами»,— это, несомненно, «Опять народные витии» (1835 г.).

[55] Огарев цитирует стихотворения А. В. Кольцова: «Стенька Разин» (1838 г.), «Бегство» (1838 г.), «Путь» (1839 г.), с пропуском третьей и пятой строф, «Великая тайна» (1833 г.).

[56] Уходом в науку и в отвлеченные стремления Огарев называет деятельность кружка Н. В. Станкевича.

[57] *Печерин* Владимир Сергеевич (1807—1885) — профессор Московского университета, бежавший в 1836 г. из крепостнической России за границу. В словах Огарева: «Мы со скорбью смотрим на смрадную могилу, в которой он преступно похоронил себя», идет речь о пребывании Печерина в течение 20 лет в ордене монахов-редемптористов. Герцен сказал об этом не менее резко: «...упал в иезуитский монастырь» (см. главу о Печерине в «Былом и думах»).

Печерин впоследствии порвал с католицизмом и выступил против него с разоблачениями.

«Торжество смерти» — поэма Печерина, написана несколько раньше, чем думает Огарев,— в 1833—1834 гг. (см. ее в отрывках в «Полярной звезде» на 1861 г.).

[58] Из стихотворений славянофила А. С. Хомякова Огарев включил в сборник, кроме «1831 год» (см. выше примечание 43), следующие: «Гаснет месяц Истамбула», «Предание», «Идиллия», «Вставайте, оковы распались», «Жаль мне вас, людей бессонных», «Подводный город» и др. (см. стр. 211—226 сборника).

[59] В сборник включены: цитированное стихотворение К. Аксакова «Пусть гибнет все, к чему сурово», затем — «Моим друзьям» («Немногим честным, состоящим в государственной службе»), «Отрывок из послания к N. N.» и «Петру Великому» (стр. 227—237 сборника).

[60] Перифраза строк стихотворения Некрасова «Муза» (1851 г.):

> Той Музы плачущей, скорбящей и болящей,
> Всечасно жаждущей, униженно просящей...

[61] «Муза мести и печали!» — из стихотворения 1855 г. «Замолкни, Муза мести и печали».

[62] Выражение «суровый стих» взято Огаревым, вероятно, из стихотворения 1855 г. «Праздник жизни — молодости годы».

[63] На стр. 397—416 сборника Огарев напечатал анонимно поэму «Жизнь чиновника», автор ее — И. С. Аксаков.

[64] Автора стихотворения «Земля моих отцов...» установить не удалось.

[65] Стихотворение «На смерть помещика Оленина (убитого крестьянами за жестокое обращение с ними)» — Н. А. Добролюбова, напечатано на 268—283 стр. сборника.

«РАЗБОР НОВОГО КРЕПОСТНОГО ПРАВА»

[1] Впервые напечатан в «Колоколе», л. 101, 103, 104, 105 и 106, 15 июня, 15 июля, 1 и 15 августа и 1 сентября 1861 г. Перерыв публикации в л. 102 объясняется тем, что в нем была напечатана выработанная на совещаниях Огарева с Н. А. Серно-Соловьевичем, А. А. Слепцовым, М. Л. Налбандяном программная статья, явившаяся одновременно обращением к народу,— «Что нужно народу?»

Упоминание «8 мая» в начале статьи позволяет точно датировать начало работы над «Разбором» днем получения в Лондоне сообщения о циркуляре министра внутренних дел от 8 мая 1861 г., т. е. 12—15 мая.

В октябре 1861 г. «Разбор» вышел в отдельном издании, в Лондоне, в издательстве Трюбнера. Печатается по тексту отдельного издания, сверенному с «Колоколом».

[2] 12 апреля 1861 г.— день расстрела крестьян в селе Бездна.

[3] Новый министр П. А. Валуев, сменивший Ланского в марте 1861 г.

[4] Сейчас же после обнародования «Положений...» был учрежден постоянный «Главный комитет об устройстве сельского состояния», во главе которого был поставлен великий князь Константин Николаевич. Комитет этот никакой серьезной роли в ходе дел не играл.

[5] Огарев имеет в виду государственного секретаря В. П. Буткова. Теория государственного развития была, по ироническому замечанию Огарева, «поручена» Бутковым в том смысле, что ему и ему

подобным Александр II передавал руководство подготовкой той или иной реформы. Так, в конце 1861 — начале 1862 г. Буткову была «поручена» судебная реформа.

Апраксин — генерал, руководивший расстрелом крестьян в селе Бездна.

[6] Мальцовское дело — дело помещика-заводчика С. И. Мальцова. Герцен в примечании к статье «12 апреля 1861. (Апраксинские убийства)» рассказал его суть: «Мальцов (плантатор) заковал восемь человек крестьян и отправил в Калугу, как бунтовщиков. Губернатор Арцимович выпустил их и хотел произвести следствие. Плантатор через девичьи и передние довел это до Петербурга; новый министр принял сторону крепостника».

[7] Говоря о «доктринаризме, примкнувшем к правительству», Огарев имел в виду либералов типа Кавелина, Чичерина, Бабста и др., открыто поддержавших реакционную политику царя.

[8] Огарев сравнивает русское правительство, запутавшееся в своих махинациях, с крупным парижским банкиром Жюлем Миресом, тесно связанным с правительством Наполеона III, изворотливейшим дельцом, арестованным за темные дела в 1861 г. См. о нем упоминание в «Былом и думах» А. И. Герцена (Гослитиздат, Л. 1946, стр. 812, 813).

«ЧТО НУЖНО НАРОДУ?»

[1] Статья напечатана в «Колоколе», л. 102, 1 июля 1861 г., без подписи. Одновременно была выпущена листовками в формате «Колокола» и в малом формате. Принадлежность Огареву устанавливается по материалам архива Герцена. В составлении принимали участие члены общества «Земля и воля» Н. А. Серно-Соловьевич, Н. Н. Обручев, А. А. Слепцов и др., написана, однако, лично Огаревым.

[2] Архивные материалы и другие источники говорят, что статья эта сыграла весьма существенную роль в истории революционного движения начала 60-х годов. Ранние случаи прямого участия крестьян и рабочих в революционной работе связаны с распространением статьи «Что нужно народу?», статьи «Что надо делать войску» и других материалов из «Колокола». См., например, сборник «Рабочее движение в России в XIX веке», т. II, ч. 1, приложения — «Документы о революционной пропаганде среди рабочих», Госполитиздат, 1950 г.; воспоминания А. А. Слепцова о статье «Что нужно народу?» как основе пропаганды общества «Земля и воля» и его политической платформы (воспоминания Слепцова опубликованы М. К. Лемке в комментариях к т. XVI Полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена) и другие материалы.

Герцен в статье «Подрядчики русского посольства в Лондоне» (л. 139 «Колокола», лето 1862 г.; Полное собрание сочинений и писем, т. XV, 1920, стр. 338) писал с торжеством: «Полгода тому назад <шпионы III отделения> сильно хлопотали о том, как, через кого, куда посланы отдельно напечатанные экземпляры «Что нужно народу?», хлопотали в Лондоне, хлопотали в Германии, всегда готовой на дружеское шпионство для сродников, и ничего не узнали. Экземпляры проехали все».

«ОТВЕТ НА «ОТВЕТ «ВЕЛИКОРУССУ»»

[1] Опубликован в «Колоколе», л. 108, 1 октября 1861 г. Подпись «Н. Огарев». В том же году был включен в брошюру «Летучие листки», вышедшую в Гейдельберге (предисловие помечено 1 декабря 1861 г., брошюра вышла в начале 1862 г.). Печатается по тексту «Колокола».

Является ответом на статью «Ответ «Великоруссу»», напечатанную в предыдущем листе «Колокола» и подписанную «Ваш Один из многих». Автором статьи был Н. А. Серно-Соловьевич. Отвечая на первую прокламацию общества «Великорусс», перепечатанную редакцией «Колокола» в том же листе, Н. А. Серно-Соловьевич писал:

«Надо писать, писать много и понятно народу; заводить тайные типографии, распространять печатанное в народе и войске; обучать крестьян и солдат заводить братства в полках, сближать солдат с народом, войти в сношения с раскольниками, казаками, монахами, вводить заграничные издания, привлечь к себе как можно больше военных, извлекать из коронной службы способных людей, давая им другие средства существования, завести торговые и промышленные заведения и готовить денежные и всякие средства» («Колокол», л. 107, стр. 897).

Публикуя статью Серно-Соловьевича, Огарев сделал к ней редакционное примечание, в котором оговорил, что отношению редакции «Колокола» к «Великоруссу» будет посвящена специальная статья. Ею и является «Ответ на «Ответ «Великоруссу»».

История выпуска летом и осенью 1861 г. трех прокламаций «Великорусса» и деятельности кружка под этим названием исследована недостаточно. К руководителям революционного кружка «Великорусс» принадлежали В. А. и Н. Н. Обручевы, В. Ф. Лугинин (впоследствии крупный химик, профессор Московского университета, основатель термо-химической лаборатории, носящей ныне его имя) и, весьма вероятно (если не формально, то фактически), Чернышевский.

[2] О переговорах редакции «Колокола» с представителями поляков см. в «Былом и думах» А. И. Герцена (Гослитиздат, Л. 1946, ч. VII, глава LXVII, «М. Бакунин и польское дело»).

«ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ВОЙСКУ»

[1] Статья напечатана в «Колоколе» 8 ноября 1861 г., л. 111, без подписи. Написана при участии Н. Н. Обручева. Принадлежность Огареву установлена по переписке Герцена и Огарева. Многократно выпускалась в 1861—1862 гг. и в Лондоне, и в России, и в Польше в виде воззвания.

После опубликования в июне — сентябре огаревского «Разбора нового крепостного права», выпуска в июле многих тысяч экземпляров «Что нужно народу?» выпуск статьи-прокламации «Что надо делать войску» означал обращение к солдатам с целью убедить их не выступать против народа. Вслед за этим воззванием было опубликовано и воззвание к офицерам, а через несколько месяцев — ряд воззваний, обращенных к различным слоям и группам населения. Так родился весь ряд статей-воззваний Огарева в 1861—1862 гг. (кроме уже

названных сюда относятся: «Что надо делать народу», «Что надо делать духовенству», «Университеты закрывают», «Что нужно помещикам?» и «Ход судеб»). А летом 1862 г. Огаревым было организовано первое периодическое издание, целиком обращенное к народной массе — к солдатам, крестьянам, мастеровым, рабочим, старообрядцам,— журнал «Общее вече».

[2] Речь идет о напечатанном в «Санктпетербургских ведомостях» 23 сентября 1861 г. «Наставлении военным начальникам в случае употребления войск для усмирения народных волнений и беспорядков».

«ХОД СУДЕБ»

[1] Статья напечатана в «Колоколе» 15 февраля 1862 г., л. 122—123. Подпись «Н. Огарев». Была выпущена также в виде брошюры, отпечатанной в лондонской Вольной типографии (см. «Русская подпольная печать», № 414).

[2] «Северная почта» — официальная правительственная газета, организованная министром внутренних дел П. А. Валуевым, начавшая выходить с 1 января 1862 г. под редакцией А. В. Никитенко. Газета заменила собой ранее выходивший «Журнал Министерства внутренних дел».

[3] В неподписанной заметке Огарева «Смоленское дворянство» в л. 121 «Колокола» от 1 февраля 1862 г. был изложен, по полученному письму, один из прочитанных на дворянских выборах проектов, принадлежавший князю П. П. Гурко (Друцкой-Соколинский), который предлагал «просить государя о даровании равенства прав крестьянству и дворянству». Огарев заключал заметку следующим: «Мы убедительно просим поскорее известить нас, в чем именно заключается проект, в чем состоит уравнение прав крестьянства и дворянства», и прибавлял: «...нас берет раздумье: как же проект смоленского дворянства решает поземельный вопрос? Отданы ли земли крестьянам? Ведь это главное; без этого юридическое уравнение перед законом остается голословием».

[4] Возникшее в феврале 1862 г. так называемое «дело тверских мировых посредников» заключалось в следующем: тверское губернское собрание дворянства, признав неудовлетворительными «Положения 19 февраля», высказалось за немедленный обязательный выкуп крестьянских наделов при содействии государства, за финансовые реформы, с тем чтобы система зависела «от народа, а не от произвола». Одновременно с этим группа тверских мировых посредников отказалась применять в своей деятельности «Положения 19 февраля» и решила руководствоваться постановлениями дворянского собрания. Тринадцать посредников было арестовано, посажено в Петропавловскую крепость и присуждено к длительному заключению (впоследствии отмененному).

Об А. М. Унковском см. примечание 7 к «Письмам к соотечественнику».

[5] Огарев говорит о В. Н. Каразине и его обращении к Александру I после восстания Семеновского полка с письмом о приближении «грозы», т. е. революции. Приведя слова Наполеона: «Странно,

что в этот век просвещения государи видят грозу только тогда, когда она уже разражается», Каразин «молил» Александра I внять его предупреждению. Александр I приказал ему изложить все в письме В. П. Кочубею, и именно в последнем заключается возглас: «Горе нам! Престол потонет в крови дворянства!»

«КУДА И ОТКУДА»

[1] Статья напечатана в «Колоколе» 22 мая 1862 г., л. 134. Подпись «Н. Огарев». Местонахождение рукописи неизвестно. Печатается по тексту «Колокола».

[2] Речь идет о письме-обращении крестьянина Мартьянова Петра Алексеевича к Александру II. Обращение, заключавшее призыв созвать «Земскую думу», было напечатано 8 мая 1862 г. в «Колоколе», л. 132.

Мартьянов П. А. (1835—1865) — крепостной графа Гурьева, разоренный своим помещиком при выкупе и поехавший искать «правды» в Лондон осенью 1861 г. Автор названного выше «Письма к Александру II» и брошюры «Народ и государство», вышедшей в Лондоне (издательство Трюбнера) в конце 1862 г. В марте 1863 г., разойдясь с Герценом на почве поддержки последним польского восстания, вернулся в Россию вопреки предупреждениям со стороны Герцена и Огарева. 12 апреля он был арестован на границе, осужден на пять лет каторжных работ; умер через два года, засеченный, по словам Герцена, до смерти за попытку к побегу (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XX, 1923, стр. 246—247; см. статью Герцена «П. А. Мартьянов и земский царь»; там же, т. XVII, 1922, стр. 7, и в «Былом и думах», глава «М. Бакунин и польское дело»).

Огарев неизменно с болью вспоминал об этом крестьянине, погибшем из-за своей наивной надежды на «земского царя» (см. статью «Голод и новый год»).

[3] Говоря о «помещике, переходящем в крестьянство», Огарев имеет в виду отдельных представителей дворянства, сознававших невозможность сохранения сословных привилегий (см об этом в статье Огарева «Ход судеб», стр. 561—562 настоящего тома). В частности Огарев говорит о статье «Голос за народ», напечатанной с подзаголовком «Письма помещика», без подписи, в л. 131, 132 и 133 «Колокола», т. е. одновременно с письмом Мартьянова к Александру II. Основная мысль статьи «Голос за народ»: необходимость отказаться от помещичьего землевладения, образовать для обработки земли крестьянские артели, в которые помещики должны войти на равных началах с остальными участниками артели.

[4] Речь идет о 13 тверских дворянах — мировых посредниках (см. примечание 4 к статье «Ход судеб»).

[5] О письме «Голос за народ» см. выше, примечание 3.

«ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ НАРОДУ»

[1] Статья напечатана в «Общем вече» 22 августа 1862 г., № 2, стр. 9—12. Подпись «Н. Огарев». Рукопись с несколькими разночтениями сохранилась в записной книжке (№ 9 РОГБЛ) под заглавием «Нужды народные».

Примыкает по содержанию к статьям и воззваниям, написанным Огаревым в период организации общества «Земля и воля» с осени 1861 г. и по весну 1862 г.

[2] Циркуляр министра внутренних дел П. А. Валуева от 2 декабря 1861 г. Огарев полностью привел в статье «Ход судеб» (см. выше, стр. 557).

[3] Рукопись этой статьи была напечатана в «Литературном наследстве», № 39—40, стр. 328—331, под заглавием «Нужды народные», в качестве одного из «неизданных публицистических текстов Огарева».

На деле печатный текст, т. е. статья «Что надо делать народу», отличается от рукописи следующим: 1) вставлен 7-й абзац («Конечно царь сказал...»), в рукописи отсутствующий; 2) внесены некоторые дополнительные требования в перечень требований крестьянства, причем вместо нумерации их по порядку от 1 до 18 все требования размещены по рубрикам: «Дела о земле», «Дела по суду и управлению», «Дела податные...» и т. д.; 3) прибавлена концовка, перекликающаяся с вставленным 7-м абзацем. Печатный текст, таким образом, является лишь редакционной обработкой рукописи.

«РАСЧИСТКА НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ»

[1] Под этим названием объединяются три статьи, написанные Огаревым в разное время и печатавшиеся в «Колоколе» между 15 июня 1862 г. и 1 января 1864 г. В этот цикл входят:

Статья первая. «Государственная собственность», «Колокол», 15 и 22 июня и 1 июля 1862 г., л. 136, 137 и 138.

Статья вторая. «Конституция и Земский собор», «Колокол», 1 июня, 20 июня, 1 ноября, 1 декабря и 15 декабря 1863 г., л. 164, 166, 172, 174 и 175.

Статья третья. «Революция и реорганизация», «Колокол», 1 января 1864 г., л. 176. Подпись под всеми тремя статьями «Н. Огарев».

Рукописи не сохранились, за исключением плана и набросков IV главы статьи «Конституция и Земский собор» (РОГБЛ); печатается по тексту «Колокола».

[2] Говоря о «раздражительных литературных самолюбиях в Петербурге», Огарев, видимо, имел в виду нападки «Отечественных записок» на «Современник». Считая ненужной и вредной полемику против Чернышевского, Огарев обратился 11 мая 1862 г. с письмом к Н. В. Альбертини — сотруднику «Отечественных записок», в котором настойчиво советовал взять на себя почин и первым протянуть руку Чернышевскому, прекратив «литературные дрязги», мешающие объединению сил перед лицом общего врага — перед правительственной реакцией. (Письмо это до сих пор не опубликовано.)

Подготавливавшиеся в Москве в это время реакционные выступления М. Н. Каткова в «Русском вестнике» и Б. Н. Чичерина в «Московских ведомостях», собравшего специальный сборник статей, направленных против Герцена и «Колокола», еще не были в мае 1862 г., когда писалась и печаталась эта часть статьи Огарева, совершившимся фактом. Однако именно этих московских реакционных коноводов имеет в виду Огарев, говоря о «раздражительной ученой остановленности в Москве».

«Статья первая

Государственная собственность»

[3] *Зеленый* Александр Алексеевич (1819—1880) — генерал-адъютант, сменил М. Н. Муравьева в качестве министра государственных имуществ весной 1862 г. Реакционер и крепостник, продолжавший политическую линию Муравьева. Сотрудничал в крайне реакционной газете «Весть».

[4] Здесь Огарев ссылается на свою статью «По поводу правил Муравьева-вешателя».

[5] *Бабёф* Гракх (1760—1797) — вдохновитель и руководитель «заговора равных» в 1795—1796 гг., французский революционер, представитель домарксовского утопического коммунизма. Подробному анализу взглядов и деятельности Бабёфа Огарев посвятил статью «Частные письма об общем вопросе», «Письмо второе» и «Письмо третье».

[6] «День» — орган славянофилов, издававшийся в Москве, редактировался И. С. Аксаковым.

«Статья вторая

Конституция и Земский собор»

[7] Приведенные в эпиграфе строки взяты из письма Дж. Ст. Милля к Огареву, написанного в 1862 г. в ответ на присылку Огаревым его книги «Современное положение России», вышедшей на французском языке в мае этого года.

«НАДГРОБНОЕ СЛОВО»

[1] Статья опубликована в «Колоколе» 1 мая 1863 г., л. 162. Подпись «Н. Огарев». Печатается по тексту «Колокола».

[2] *Потебня* Андрей Афанасьевич (1838 или 1839 г.— 1863 г.) — русский офицер. Один из самых мужественных молодых участников революционного общества «Земля и воля», примкнувший к нему еще в 1862 г. Организатор «Общества русских офицеров в Польше» и глава Варшавского комитета общества. Автор обращения «Офицерам русских войск от Комитета русских офицеров в Польше» и один из авторов адреса офицеров великому князю Константину Николаевичу (напечатаны в «Колоколе», л. 148 и 151).

После покушения на наместника Польши в июне 1862 г., организованного польскими террористами, перешел на нелегальное положение и в течение 8 месяцев действовал в Польше. Трижды приезжал в Лондон для совещания с Огаревым и Герценом. Сражался на стороне польских повстанцев. Убит в сражении в марте 1863 г.

[3] Приводимый Огаревым отрывок письма Потебни от 7 июня написан после арестов офицеров и солдат, обвиненных в революционной пропаганде в войсках, и незадолго до приведения в исполнение смертного приговора по этому делу, вынесенного военным судом над офицерами Иваном Арнгольдом, Петром Сливицким, Ро-

стковским (16 июня). Ответ редакции «Колокола» на письмо Комитета русских офицеров в Польше был опубликован тремя месяцами позже — в л. 147. Ответ датирован 10 октября 1862 г.

[4] Записка Потебни написана после возвращения из второй — в ноябре 1862 г. — поездки в Лондон. Приближающиеся события — восстание, ожидавшееся и фактически начавшееся в Варшаве в ночь с 22 на 23 января 1863 г. Уезжая из Лондона, Потебня увозил с собой обращение Огарева к русским офицерам в Польше. Оно, по рассказу Герцена, сохранилось в маленьком бумажнике Потебни, найденном после его смерти. Герцен напечатал часть его во французском издании «Колокола», в статье «К польскому вопросу», в 1868 г., апрель, № 7 (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XX, 1923, стр. 239).

Приводим его в переводе с французского текста статьи Герцена. Ввиду крайней важности этого документа для понимания позиции Огарева и его отношения к польскому восстанию даем уточненный перевод этого отрывка (ср. там же, стр. 248):

«Друзья,

С глубокой любовью, с глубокой грустью прощаемся мы с вашим другом, который скоро присоединится к вам. Нас успокаивает, хотя и очень мало, и насчет вашей судьбы и *насчет судьбы нашего дела* только тайная надежда на то, что восстание может быть отсрочено. Мы отлично понимаем, что для вас невозможно не принять участия в восстании, вы должны это сделать как искупление. Вы не можете, не протестуя, позволить раздавить Польшу; молчаливая и покорная сопричастность была бы безнравственна и имела бы для России гибельные последствия.

Положение ваше трагическое и безвыходное. *Мы не предвидим ни одного шанса на успех.* Если бы даже Варшава была свободна некоторое время, то и тогда вы не могли бы сделать ничего больше, как уплатить старый долг, приняв участие в движении за национальную независимость. Ибо не Польша подымет наше социалистическое знамя, наше знамя *земли и воли,* а вы, дорогие друзья, вы еще слишком слабы, чтобы сделать это!

Польша будет побеждена, если она восстанет раньше времени, а *русское движение надолго будет потоплено в национальной ненависти, которая пойдет рука об руку с преданностью царю* и всплывет только после вашей смерти, когда ваш героический пример, превратившись в традицию, приведет в движение новое поколение, подобно тому, как великое воспоминание о 14/26 декабря 1825 г. привело в движение нас!» (подчеркнуто всюду Герценом).

В настоящее время Рукописным отделом Библиотеки имени Ленина обнаружена подлинная рукопись цитируемого обращения Огарева, подготовляемая к печати.

[5] Намерение Огарева, видимо, не осуществилось. В известной части его литературного наследия (как и наследия Герцена) нет никакого рассказа об отряде Потебни и несчастном случае, его разрушившем.

[6] Записка от 3 марта 1863 г., приведенная в отрывке Огаревым, — последний след сношений Потебни с редакцией «Колокола».

Лагерь Лангевича — лагерь диктатора, провозглашенного в марте 1863 г. обеими партиями польского восстания. 24 марта Потебня погиб. Об обстоятельствах и месте гибели его имеются разноречивые показания. Огарев в «Колоколе», л. 163, 15 мая 1863 г., напечатал следующую поправку: ««Народная газета» говорит, что А. Потебня, глава Комитета русских офицеров в Польше, погиб не при Песочной скале (как было сказано в «Колоколе»), а в известном ночном нападении на кладбище при Скале. «Он находился при Лангевиче с важными поручениями. Во время сражения, несмотря на все просьбы и убеждения, он схватил косу, во главе колонны пошел в атаку и погиб, сраженный пулей в грудь. Смерть его,— прибавляет «Народная газета»,— великая потеря. Человек чистейший и благороднейший, всей душой любивший свободу»».

[7] Из стихотворения Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского». Огарев цитирует неточно.

[8] Это место в статье Огарева, от слов: «... профессоров, вьющих гнилую паутинку» до слов «сочувствовать их золотушной мысли» включительно, приводит В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена», характеризуя разрыв Герцена с либералами (см. *В. И. Ленин,* Соч., т. 18, изд. 4, стр. 13). Огарев имел здесь в виду прежде всего либерала К. Д. Кавелина.

[9] Речь идет о деле студентов петербургской Медико-хирургической академии — П. Беневоленского, Х. Хохрякова, К. Крапивина — учителей Самсониевской и Введенской воскресных школ, «шести учеников воскресных школ из сословия фабричных рабочих» — М. Митрофанова, М. Федорова, В. Трифонова, Е. Коченкова, И. Антонова, К. Андреева и др.

Учителя Самсониевской и Введенской воскресных школ обвинялись в революционной пропаганде среди рабочих, «в чтении являвшимся в эти школы фабричным работникам возмутительных воззваний «Что нужно народу» и «Что делать войску», также в разъяснении слушателям их смысла сих сочинений в революционном духе» и были осуждены специальным постановлением Сената на каторжные работы (см. «Рабочее движение в России в XIX веке», т. II, часть 1, Госполитиздат, 1950, стр. 589 и сл.).

Огарев перепечатал в «Колоколе», л. 161, 15 апреля 1863 г., из газеты «Северная пчела» содержание приговора.

«СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ»

[1] Статья опубликована в «Колоколе», л. 171, 1 октября 1863 г. Подпись «Н. Огарев». Печатается по тексту «Колокола».

[2] О казни крестьянина Алексея Хромова Огарев через месяц, 1 ноября 1863 г., в № 22 «Общего веча», писал в заметке, в которой рассказывает также по материалам газет о еще более возмутительном случае осуждения в Нижнем-Новгороде крестьянина Григория Рузавина военным судом по *подозрению* и о его казни (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XVI, 1920, стр. 512—513. М. К. Лемке ошибочно предположил авторство Герцена).

[3] *Стюрлер* Александр Николаевич — генерал, адъютант великого князя Константина Николаевича, был изгнан из английского

клуба в Москве за высказывания против «усмирителя» поляков М. Н. Муравьева.

[4] Слова Александра II, обращенные к польской депутации на приеме в Варшаве в 1856 г.

«ПИСЬМА К «ОДНОМУ ИЗ МНОГИХ»»

[1] Напечатаны в «Колоколе», л. 189, 15 сентября 1864 г. (письмо первое), л. 190, 15 октября 1864 г. (письмо второе) и л. 196, 1 апреля 1865 г. (письмо третье). Подпись «Н. Огарев». Воспроизводятся по тексту «Колокола»; сверены с черновыми набросками, сохранившимися в записной книжке за 1864 г. в РОГБЛ.

Подпись «Один из многих» дважды появлялась в «Колоколе». В первый раз в 1861 г., под статьей «Ответ «Великоруссу»» (л. 107); во второй — под статьей «Братское слово», напечатанной в 1863 г. (л. 171). В первый раз под этой подписью скрывался Н. А. Серно-Соловьевич; во второй — Н. И. Утин. Последнее с несомненностью устанавливается по неопубликованным письмам Утина к Огареву. См. также опубликованное Огаревым в примечании к ст. «Братское слово» обращение Н. И. Утина к Огареву и ответное стихотворение Огарева — «Сим победиши» («Колокол», лл. 171 и 172).

Письмо первое

[2] Комедия Бомарше «Севильский цирюльник», действие 3, сцена 11.

[3] Огарев неоднократно выступал в своих статьях против угнетения господствующей церковью старообрядцев. Ряд его воззваний, писем и статей, напечатанных с июля 1862 г. по июль 1864 г. в «Общем вече», был посвящен этому вопросу.

[4] «Положение о народных училищах», утвержденное 14 июля 1864 г. Александром II, предусматривало организацию «губернских и уездных училищных советов». В губернском совете, состоявшем из губернатора, архиерея, директора училища и двух представителей Земского собрания, председательство возлагалось не на губернатора, а на архиерея, что Огарев и называет «повышением иерархии в главную полицию над народным образованием».

[5] Говоря об университетских происшествиях и петербургских пожарах, Огарев имеет в виду волнения студентов Петербургского и Московского университетов в сентябре — октябре 1861 г. и провокационные пожары в мае 1862 г., которыми правительство и либералы воспользовались, чтобы натравить толпу на революционные элементы молодежи, а также историю выступления студентов в Казани после расстрела Антона Петрова и крестьян села Бездна.

[6] Об отношении Огарева к «Великоруссу» в период появления прокламации, т. е. в 1861 г., см. его статью «Ответ на «Ответ «Великоруссу»» и примечание 1 к этой статье.

[7] В травле революционной молодежи в период пожаров приняли участие и либералы (газета «Наше время» с Н. Ф. Павловым, Н. А. Мельгунов, К. Д. Кавелин и пр.).

[8] Речь идет о М. Н. Муравьеве-Вешателе.

[9] Герцен в статье «Концы и начала» (письмо шестое) писал: «*Политические* партии распустились в *национальные*... Когда мне приходит в голову, что двенадцать лет тому назад в парижских салонах гуляка и шут Ромье проповедовал во всеуслышание, что возбужденные революционные силы надобно своротить с их страшной дороги и направить на вопросы национальные, пожалуй, династические, я невольно, по старой памяти, краснею от стыда». Герцен имеет в виду грязную реакционную брошюру Огюста Ромье «Le spectre rouge» («Красный призрак»), вышедшую в 1850 г. (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XV, 1920, стр. 288; о Ромье см. также в статье «Мир» (1859 г.), там же, т. X, 1919, стр. 65—66).

[10] Польский «Жонд народовы» («Народное правительство»), организованный в мае 1863 г., вынужден был подтвердить указ о земле. С другой стороны, М. Н. Муравьев — крепостник и палач Польши — искусно использовал противоречие между польскими помещиками и крестьянами, стремясь путем ряда демагогических мер ослабить влияние этого указа о наделении крестьян землей, изданного в первый день восстания 22 января 1863 г. В Литве и Белоруссии Муравьевым был введен ряд указов (понижение выкупных платежей, возвращение крестьянам отрезанных земель, увеличение надела) с целью оторвать крестьян от восстания.

Письмо второе

[11] *Сийес* (1748—1836) — аббат, французский политический деятель эпохи первой французской революции, автор брошюры «Что такое третье сословие?», вышедшей в январе 1789 г. и послужившей платформой буржуазии. На вопрос, поставленный в заглавии, Сийес отвечал: «Третье сословие сейчас ничто. А чем оно должно стать? Всем». Эти слова и подразумевает Огарев.

[12] *Рейтерн* Михаил Христофорович (1820—1890) — министр финансов в правительстве Александра II с 1862 г.

[13] *Силуэт* Этьен (1709—1767) — в 1759 г. в течение нескольких месяцев министр финансов Людовика XV. Силуэт попытался улучшить финансовое положение Франции ограничением расточительства придворных кругов. Раздраженная аристократия в насмешку дала его имя вошедшим в то время в моду взамен дорогостоящих портретов рисункам контурами, называемым и по сей день силуэтами.

[14] Огарев ссылается на вступление к «Летописи французской революции», написанное Арманом Маррастом (1801—1852), французским политическим деятелем и публицистом либерального направления, совместно с Жаком Франсуа Дюпоном (1800—1873).

Письмо третье

[15] Третье письмо было напечатано в последнем листе «Колокола» в лондонский период его существования. Редакция и типография были переведены в мае 1865 г. на континент, в Женеву, куда переехал и Огарев. К этому времени определились разногласия

Утина с редакцией «Колокола», почти на два года прервавшие отношения и переписку Утина с Герценом и Огаревым, возобновленную лишь в 1867 г.

[16] Земские учреждения были введены 1 января 1864 г., когда было утверждено соответствующее «Положение». В работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма» Ленин говорит, что «земская реформа была одной из тех уступок, которые отбила у самодержавного правительства волна общественного возбуждения и революционного натиска». Однако Ленин указывает, что «земство с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом, *допускаемым* бюрократией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось, а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой, простым техническим исполнением круга задач, очерченных все тем же чиновничеством» (*В. И. Ленин,* Соч., т. 5, изд. 4, стр. 30, 32).

Огарев вскоре после выхода «Положения» о земстве выступил с его разбором в «Колоколе» (в мае — июле 1864 г., л. 185—187).

[17] Огарев говорит о попытке московского дворянского собрания обратиться к Александру II с адресом (он был принят большинством в 270 голосов против 36), в котором оно решилось просить «созывания общего собрания выборных людей от земли русской». См. статью Герцена, посвященную этому эпизоду, «Прививка конституционной оспы» (*А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XVIII, 1920, стр. 41—47), а также его заметку «Царское «non possumus»» (не можем) (там же, стр. 52—53).

[18] *Скарятин* Владимир Дмитриевич — редактор реакционной газеты «Весть», органа крайних крепостников, продолжавших борьбу с реформою 1861 г.; был одним из активнейших участников олигархически-«конституционной» попытки. В № 4 «Вести» Скарятин напечатал и текст адреса (см. предыдущее примечание) и речи главных ораторов.

[19] Освобождению крестьян в Грузии были посвящены в «Колоколе» статьи Н. Я. Николадзе (неподписанные). Огарев о реформе в Грузии не писал.

«ЧАСТНЫЕ ПИСЬМА ОБ ОБЩЕМ ВОПРОСЕ»

[1] Напечатаны в «Колоколе» в 1866—1867 гг. Письмо первое, л. 211, 1 января 1866 г.; письмо второе, л. 216, 15 марта; письмо третье, л. 220, 15 мая; письмо четвертое, л. 223 и 225, 1 июля и 1 августа 1866 г., после чего на полгода публикация писем прервалась. Вернувшись к ней в 1867 г., Огарев напечатал в л. 237, 239 и 240, 15 марта, 15 апреля и 1 мая, еще одно письмо, озаглавив его «Письмо между четвертым и пятым», предполагая, очевидно, продолжать работу над письмами. Однако пятого письма так и не появилось. Нет его и среди сохранившихся и дошедших до нас рукописей Огарева. Из рукописей напечатанных писем сохранилось несколько отрывков (ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 29, 44). Подпись «Н. Огарев». Печатается по тексту «Колокола», весьма в этот период неисправному, изобилующему опечатками и искажениями, что сильно затруднило правильное чтение текста.

Письмо первое

[2] Примечание Герцена сделано в л. 211 «Колокола» и говорит о его статье «К концу года», напечатанной в л. 209 и 210 в декабре 1865 г. (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XVIII, 1920, стр. 260).

[3] Пропуск и неясность в тексте «Колокола».

[4] *Пен* Томас (1737—1809) — политический деятель и писатель, оказавший серьезное влияние на распространение в рабочем классе Великобритании идей утопического социализма в первой половине XIX века. Мысль, о которой говорит Огарев, излагалась во II томе его сочинения «Права человека», конфискованного английским правительством.

Письмо второе

[5] *Конт* Огюст (1798—1857) — французский философ, основоположник идеалистической философии позитивизма.

[6] Огарев цитирует математическую работу Антуана Курно (1801—1877), французского математика и экономиста, пытавшегося применить математический метод к проблемам истории и политической экономии. Огарев обратил внимание на математические работы Курно, особенно на его «D'origines et des limites de la correspondance entre l'Algèbre et la Géométrie», вышедшую в Париже в 1847 г., откуда и взято цитируемое Огаревым выражение. В записной книге Огарева (РОГБЛ № 13) сохранились неизданные «примечания к Курно», относящиеся именно к этой работе.

Огарев подверг критике вульгарно-экономические попытки Курно применить математический метод к политической экономии в письме к Герцену от 5 мая 1866 г.

[7] *Виклиф* (или Уиклиф) Джон (1320—1384) — английский церковный проповедник и реформатор, выступавший с резкой критикой церковных и светских землевладельцев.

[8] *Джон Болл* — народный проповедник, казненный 15 июля 1381 г. за участие в восстании Уота Тайлера. Сведения о первой половине жизни Болла крайне скудны, неизвестна и дата его рождения. Деятельность и воззвания Болла были проникнуты духом ненависти к дворянам, церковникам, крепостным отношениям и заключали в себе призывы к революционной борьбе.

[9] О Бабёфе см. примечание 5 к статье «Расчистка некоторых вопросов».

[10] В книге Кине, особенно в главе о борьбе Робеспьера с жирондистами, приводятся выдержки из мемуаров Бодо, тогда неизданных. Антуан Бодо был членом Конвента, монтаньяром, был назначен секретарем Конвента. После термидора должен был быть арестован по обвинению в терроризме, но бежал и скрывался несколько лет. Впоследствии вернулся во Францию и умер около 1850 г. Перед смертью завещал свои мемуары Кине, который собирался их издать, но не сделал этого. Мемуары эти вышли в Париже только в 1893 г.

Упоминаемый в речи Робеспьера от 17 июня 1793 г. Дюко Жан Франсуа — член Конвента, левый жирондист, голосовавший за казнь короля и пытавшийся примирить жиронду с горой. Принимал активное участие в обсуждении Конституции, представленной Комитетом общественного спасения, и выступал за переложение тяжести налогов на имущих. Был казнен 31 октября 1793 г.

[11] Книга Филиппа Буонарроти, соратника Бабёфа, имелась в русском переводе с сокращенного французского издания: «Гракх Бабёф и заговор равных», М. 1923. В 1948 г., в серии «Предшественники научного социализма», издаваемой Академией наук СССР под редакцией академика В. П. Волгина, вышел полный перевод французского издания 1828 г., цитируемого Огаревым. Ниже используется в примечаниях этот новейший перевод под сокращенным названием: «Буонарроти».

[12] Огарев приводит «Декларацию прав человека и гражданина, предложенную Максимиллианом Робеспьером», заимствуя ее из названной выше книги Буонарроти (ср. перевод в новейшем издании — т. I, стр. 89).

[13] Выдержки из конституции 1793 г.— см. «Буонарроти», т. II, стр. 76—77 и 79—81.

Письмо третье

[14] Письмо гражданина М. В. и ответ на него Бабёфа напечатаны в книге «Буонарроти», т. II, стр. 216—219 (письмо М. В.) и 219—236 (ответ Бабёфа).

[15] Огарев имеет в виду споры, разгоревшиеся вокруг реакционной деятельности назначенного после покушения Каракозова нового министра народного просвещения Д. А. Толстого, использовавшего изучение древних языков, которое он делал обязательным в учебных заведениях, как способ отвлечения молодежи от общественно-политических интересов.

[16] См. «Набросок проекта экономического декрета» в книге «Буонарроти», т. II, стр. 307—308 (29-й документ) — один из важнейших документов бабувизма.

[17] См. «Об общественном труде», «Буонарроти», т. II, стр. 311—312.

[18] См. «О распределении и использовании имущества общины», «Буонарроти», т. II, стр. 313—315.

[19] См. «Об управлении национальной общины», Буонарроти», т. II, стр. 315.

[20] См. «О денежных знаках», «Буонарроти», т. II, стр. 321.

[21] См. «Проект. Равенство. Свобода. Всеобщее счастье», «Буонарроти», т. II, стр. 277—278 (23-й документ).

[22] О теории «взаимности» Прудона Огарев в «Частных письмах» пишет в конце «письма между четвертым и пятым».

[23] Письмо М. В. датировано 30 Плювиоза IV года республики. Огарев перевел на обычный календарь неточно. Эта дата соответствует 19 февраля 1796 г.

[24] Огарев опустил начало ответа Бабёфа гражданину М. В. См. «Буонарроти», т. II, стр. 219—221. В календаре здесь также неточность. Вместо даты 20 марта следует 9 апреля 1796 г.

Письмо четвертое

[25] *Маржерен* — один из учеников политехнической школы. *Фурнель* — видный сенсимонист, горный инженер, примкнувший к школе уже после смерти Сен-Симона, в 1826 г. Впоследствии Фурнель был членом комитета по изданию трудов Сен-Симона и Анфантена. Полностью письмо Маржерена напечатано в «Трудах Сен-Симона и Анфантена», 1865, т. I.

[26] *Тьерри* Огюстен (1795—1856) — крупный французский историк либерально-буржуазного направления, написавший совместно с Сен-Симоном следующие работы: «О реорганизации европейского общества» (1814), «Союз литературы и науки с торговлей и промышленностью» (1817) и др.

[27] Огарев ошибся — Бабёф, как и Сен-Симон, родился в 1760 г.

[28] *Де-Местр* Жозеф Мари, граф (1754—1821) — реакционный философ, клерикал и контрреволюционер; с 1803 до 1817 г. был послом в Петербурге, но вынужден был оставить свой пост в связи с изгнанием иезуитов из России; *Бональд* Луи Габриэль, виконт (1753—1840) — идеолог контрреволюции, крайний монархист, защитник и проповедник абсолютизма, ярый враг просветительства и материализма. Совместно с *Шатобрианом* Франсуа Рене (1768—1848) — французским писателем, реакционным романтиком и мистиком, сотрудничал в «Mercure de France». Все трое соединяли мистицизм с политической реакционной деятельностью. *Ламенне* Фелиситэ (1782—1854) — представитель дворянской реакции во Франции. Сперва католик и роялист, он в 1834 г. выступил с критикой католицизма, социального и политического строя Франции с точки зрения так называемого «христианского социализма». Порвав с католицизмом, Ламенне стал журналистом, умеренным республиканцем — противником социалистов.

«Из статьи «НАСТОЯЩЕЕ И ОЖИДАНИЯ»»

[1] Напечатана в «Колоколе», л. 242 и 244—245, 1 июня и 1 июля 1867 г. Подпись «Н. Огарев». Издание «Колокола» на русском языке на этом 244—245-м листе было прервано на полгода, а фактически прекращено навсегда. Рукопись сохранилась частично, главу II см. ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 29. Печатается по тексту «Колокола».

[2] В этом листе «Колокола» Огарев напечатал свой разбор (без подписи) «Указа 24 ноября 1866 г. о государственных крестьянах» (стр. 1913—1914).

[3] Закрытие петербургского земского собрания произошло в январе 1867 г. В. И. Ленин в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» говорит об этом эпизоде следующее: «Расправившись с людьми, способными не только болтать, но и *бороться* за свободу, правительство почувствовало себя достаточно крепким, чтобы вытеснять либералов и из тех скромных и второстепенных позиций, которые ими были заняты «с разрешения начальства»». И далее:

«Начинается трагикомическая эпопея: земство ходатайствует о расширении прав, а у земства неуклонно *отбирают* одно право за другим и на ходатайства отвечают «отеческими» поучениями».

«12-го октября 1866 г. циркуляр министерства внутренних дел ставит служащих земства в полную зависимость от правительственных учреждений. 21-го ноября 1866 г. выходит закон, ограничивающий право земств облагать сборами торговые и промышленные заведения. В Петербургском земском собрании 1867 г. резко критикуют этот закон и принимают (по предложению графа А. П. Шувалова) решение ходатайствовать пред правительством, чтобы вопросы, затронутые этим законом, обсуждались «совокупными силами и одновременным трудом центральной администрации и земства». На это ходатайство правительство отвечает закрытием петербургских земских учреждений и репрессиями...» (*В. И. Ленин,* Соч., т. 5, изд. 4, стр. 33).

[4] Такой статьи Огарев, по всей вероятности, не написал. На эту тему нет ничего ни в издании «Колокола» на французском языке в 1868—1869 гг., ни среди брошюр Огарева 1867—1869 гг.

«БЛАГО ЕСТЬ МЕСТО»

[1] Статья напечатана в «Прибавочном листе к первому десятилетию» «Колокола», вышедшем 1 августа 1867 г. Без подписи. Принадлежность Огареву устанавливается по беловой рукописи и заметкам, относящимся к этой статье (ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 29, 38, 44).

[2] Речь идет о реакционном критике *Соловьеве* Николае Ивановиче (1831—1874), систематически выступавшем против Чернышевского и Писарева как революционных мыслителей, представителей материализма в философии и реалистической эстетики.

[3] Драматическая хроника А. Н. Островского — «Тушино».

[4] Об этой «опасности» статей Соловьева Огарев писал в 1867 г. Герцену: «Читал и читал сегодня статью Соловьева и чем больше читал, тем больше думаю, что это одно из самых вредных литературных произведений, которое бьет в руку правительству и реакции, ничуть не уясняя какого бы то ни было научного пути, а притязание на это имеет сильное. Старо-воздвиженская философия! Она хочет отделить способность понимания (разум) от способности чувствования, т. е. разного рода страстей, которые она возводит в теорию нравственности, *сердца* и принципов, как будто может быть принцип вне понимания» (в «Литературном наследстве» № 39—40, стр. 413—414, письмо напечатано с неправильной датой: осень 1865).

[5] О еженедельнике «La pensée nouvelle», начавшем выходить в Париже летом 1867 г., после закрытия «La pensée libre», продолжателем которого журнал явился, см. в переписке Герцена и Огарева. («Литературное наследство» № 39—40, стр. 447, 448, 459, и *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XIX, 1922, стр. 425, 426, 427).

«ГОЛОД И НОВЫЙ ГОД»

[1] Статья напечатана в «Supplément du «Kolokol» (La Cloche)» (приложение к «Колоколу») от 15 февраля 1869 г., стр. 245—251. Подпись «Н. Огарев»; черновые отрывки рукописи хранятся в ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 38. Печатается по тексту «Колокола».

[2] По «Положениям» 19 февраля 1861 г. все уплаты помещикам «временно обязанными» крестьянами должны были быть окончены к 1870 г. В связи с этим еще в 1862 г. Огарев, говоря об обострении борьбы между крестьянами и помещиками, считал, что подъем революционного движения должен произойти именно в эти годы, т. е. в 1869—1870 гг. (см. в настоящем томе статью «Куда и откуда»).

[3] Кроме названной Огаревым статьи Н. П. Колюпанова в той же книге «Вестника Европы» напечатан его же очерк «Камышловское дело», несомненно также прочитанный Огаревым.

[4] *Скалдин* В. (псевдоним Ф. П. Еленева) (1828—1902) — русский публицист, сотрудник «Отечественных записок». Очерки Скалдина печатались в течение 1867—1868 гг. в «Отечественных записках»; продолжали печататься там же и в 1869 г. В 1870 г. вышло отдельное издание: «В захолустьи и в столице».

В январе 1869 г. Огарев послал Герцену отмеченную им статью Скалдина в № 11—12 «Отечественных записок». Герцен, отвечая, писал: ««Захолустье» необычайно интересно. Это — поэма, от которой мороз дерет по коже. Разумеется, его терапия слаба».

В. И. Ленин дал характеристику Скалдина в статье «От какого наследства мы отказываемся?» (см. *В. И. Ленин,* Соч., т. 2, изд. 4, стр. 462 и сл.).

[5] Герцен, получив вышедший 17 февраля последний лист «Колокола», писал Огареву: ««Колокол» пришел. Вот и аминь... Мне смертельно жаль, что твоя прекрасная статья о голоде погребена в «Прибавлении»» (*А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XXI, 1923, стр. 296 и 297). Еще 3 января, только ознакомившись со статьей, он так отозвался о ней: «Твоя статья превосходна, и ты сам это знаешь, но, à la Boris Godounoff скромничаешь и кокетничаешь. Я поставил X на sta viator <остановись, прохожий!> при имени Мартьянова — как-то тяжело, и вымарал слово *лже*-патриотизм, как больно приевшееся. Я жалею об этой статье, потому что «Приб.» никто читать не станет» (*А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XXI, 1923, стр. 269). «Прибавление» было напечатано частью на французском, частью на русском языке, что, по мнению Герцена, должно было привести к полному отсутствию спроса на этот последний лист «Колокола». Он оказался прав. Лист этот буквально пропал. В настоящее время известны лишь отдельные экземпляры этого «Прибавления».

«В ПАМЯТЬ ЛЮДЯМ 14 ДЕКАБРЯ 1825»

[1] Статья издана в виде брошюры-листовки, стр. 1—24, вышедшей в Женеве без даты. Печатается по тексту брошюры. Подпись «Н. Огарев».

Вопрос о датировке этой работы трудно разрешим. В одном из писем Герцена дается следующий отзыв о рукописи, присланной Огаревым: «Получил твою брошюру. Она хороша, проста и хорошо сгруппирована. Я думал, что ты больше поднимешь значение всего заговора и поправишь ошибку молодого поколения, не знающего своих дедов, а у тебя просто — narration <рассказ>. Помнишь мое письмо к Алекс. II и мою статью о Каразине (ее конец)? Да еще в

статье о Базарове? Эту бы сторону надобно еще вываять. Далее, статейка мала. Вместо приложения можно бы прибавить текст. N<atalie> перевела страниц 50 Розена на французский» (*А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XXII, 1925, стр. 145—146).

М. К. Лемке ошибочно датировал это письмо 19 сентября 1868 г. Письмо это по ряду причин не могло быть написано в 1868 г. Укажем важнейшую: упомянутый здесь Розен — декабрист, записки которого впервые были напечатаны в извлечениях по-немецки в конце 1869 г. в Лейпциге. Именно с этого издания только и могла переводить Н. А. Тучкова-Огарева на французский, так как полный русский текст записок был издан впервые в 1870 г., уже после смерти Герцена. Чтобы исчерпать этот вопрос, скажем, что именно на издание 1869 г. ссылается в тексте брошюры и сам Огарев (см. ниже, примечание 4).

Брошюра Огарева отпечатана, по всей видимости, в сентябре 1869 г. В агентурных донесениях в III отделение от марта 1870 г. о брошюре говорится, как о новом произведении революционной пропаганды.

В «Колоколе» (так называемом «нечаевском»), выходившем в апреле — мае 1870 г., брошюра «В память людям 14 декабря 1825» объявлена среди продающихся изданий, выпущенных в последнее время (см. объявления в № 3, 5 и 6). Список изданий открывается «Манифестом Коммунистической партии», выпущенным в сентябре 1869 г., и завершается посвященной памяти Герцена брошюрой Огарева «Будущность», вышедшей из печати в апреле 1870 г. Брошюра Огарева о декабристах является очень большой библиографической редкостью.

[2] Эпиграф взят Огаревым из его поэмы «Тюрьма».

[3] Речь идет о реформе армии, проводимой в 1862 г. *Милютиным* Дмитрием Алексеевичем (1816—1912), военным министром. Она началась сокращением срока службы с 25 до 16 лет, отменой шпицрутенов в войсках и «кошек» во флоте. Один из ближайших сотрудников Милютина по проведению военной реформы — Н. Н. Обручев в 1861 г. принимал серьезное участие в деятельности революционных обществ начиная с «Великорусса» и кончая «Землей и волей».

[4] Огарев ссылается на книгу А. Е. Розена, вышедшую, как уже указывалось, в конце 1869 г. на немецком языке (в извлечениях) и полностью на русском языке в следующем году. В обоих случаях книга напечатана анонимно (см. «Записки декабриста». С приложением восьми видов и одного плана. Три части в одной книге. Лейпциг 1870, стр. 636). Ряд материалов из этих «Записок» используется Огаревым в брошюре, в частности рассказ Розена о переговорах Пестеля с поляками (Яблоновским и др.).

[5] Речь идет о напечатанных в «Русском вестнике» воспоминаниях Н. И. Греча, клеветнических по отношению к Рылееву, а также о статье реакционного писателя Д. Кропотова «Несколько сведений о Рылееве», где Кропотов стремился представить Рылеева как противника революции.

[6] Заключительные строки из «Исповеди Наливайки» Рылеева; 5-я строка приведена Огаревым неточно. Следует:

Но где, скажи, когда была...

[7] Воспоминания Н. А. Бестужева о Рылееве впервые были опубликованы в «Полярной звезде» Герцена (2-й выпуск 7-й книги на 1862 г.).

[8] В текст очерка вкралась описка: имя пятого казненного декабриста Петр (Каховский), а не Михаил.

«ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА»

[1] Статья написана вскоре после смерти Герцена (21 января 1870 г.) и опубликована в возобновленном «Колоколе» (так называемом «нечаевском»), № 3, 16 апреля 1870 г. Подпись «Н. Огарев». Печатается по тексту «Колокола».

Огарев, передавая «Колокол» новой редакции (первый номер датирован 2 апреля 1870 г.), рассчитывал, что новый орган будет связан нитью живой традиции с «Колоколом» Герцена. Первый номер открывался крупно набранными строками, подписанными Огаревым и обращенными к «Новой редакции «Колокола»». Вот что писал Огарев: «Передаю вам новое издание «Колокола» с глубоким убеждением, что вы его примете с полной преданностью делу Русской Свободы.

Вы не измените знамени, поставленному Герценом, при котором каждый свободомыслящий человек мог заявлять свое мнение и направление, разумеется, без всякого ущерба для главной цели — освобождения России.

В этом мы никогда не можем разойтись, и я до конца моей жизни остаюсь вашим преданным сотрудником».

Вслед за этим обращением была напечатана передовая, озаглавленная «К русской публике от редакции», в которой, отдавая должное Герцену, новый орган заявлял в то же время следующее:

«Главная черта, отделяющая направление «Колокола», издаваемого Герценом, от настоящего направления его, состоит в том, что, желая не менее нас самих освобождения России, прежняя редакция допускала возможность освобождения по инициативе императорства рядом правительственных политических и социальных преобразований и мер. Особливо в первые годы царствования нынешнего императора А. И. Герцен верил в него, верил в его честную волю и в его преобразовательную силу; верил в способность императорского правительства и этой династии сделать что-нибудь путное для России.

Мы, не колеблясь, скажем, что со стороны знаменитого патриота и писателя нашего это была большая ошибка. Заметим, впрочем, что сам Герцен не замедлил убедиться в своем заблуждении».

Надежды Огарева на новую редакцию «Колокола» не оправдались. На деле бакунинско-нечаевская программа не соответствовала этой декларации и сводилась к анархо-бунтарской кампании, закончившейся полным провалом. «Колокол» впадал то в анархизм, то в либерализм, и через 6 недель после основания, 9 мая 1870 г., издание прекратилось.

[2] Огарев ошибся: страницы, описывающие знаменитую клятву на Воробьевых горах (глава «Ник и Воробьевы горы» в 1-й части «Былого и дум»), были сперва напечатаны не в 1855 г., а в 1856 г.,

во второй книге «Полярной звезды». Самый эпизод относится к 1828 г., когда Огареву было 15 лет, а Герцену — 16.

[3] Из стихотворения Огарева «Предисловие», открывавшего первый лист «Колокола».

[4] В том же 1870 г. Огарев в кратком обращении «К читателям» в «Сборнике посмертных статей Герцена» писал: «Рано умер Герцен для русского дела и не дождавшись европейского переворота. Его дети решились печатать все после него оставшееся и начали с выпуска «Былого и дум».

Искренность и мощь его слова не могут пройти незаметно и должны отозваться в среде русских читателей.

Память о его влиянии пройти не может.

Н. Огарев.

Женева, сентябрь 1870 года»

«СПЛОТИМТЕСЬ ДРУЖНО!»

[1] Статья напечатана в «Колоколе» 9 мая 1870 г., № 6. Черновая рукопись этой статьи опубликована в «Литературном наследстве» № 39—40, стр. 323, под названием «Записка о тайном обществе», датирована 1860 г. Подлинная рукопись, хранящаяся в РОГБЛ, написана на бумаге с водяным знаком Ionson 1856, среди статей, написанных и напечатанных в 1857 г.

[2] Последняя строфа стихотворения Гете «Пряха» («Die Spinnerin»), которую Огарев цитирует в сильно измененном виде. Приводим текст Гете и перевод М. И. Михайлова:

Was ich in dem Kämmerlein
Still und fein gesponnen,
Kommt — wie kann es anders sein?—
Endlich an die Sonnen.

То, что в горенке тайком
От людей прядется,
Рано ль, поздно ль, напоказ
Выносить придется.

[3] Этот абзац (от слов «такой центр в России...» и до конца) в черновой рукописи отсутствует, являясь позднейшей вставкой, сделанной, по всей вероятности, либо С. Г. Нечаевым, либо, по его настоянию, Огаревым. Нечаев, явившись в Швейцарию, заявил Бакунину и Огареву, что он возглавляет образовавшийся в России революционный центр, которого на деле не существовало.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Редактор *Г. Курбатова*

Художник книги *Н. Седельников*
Ответственный корректор *Е. Вайнберг*
Технический редактор *Ц. Бейлина*

Подписано в печать 25 января 1952 г. Тираж 50 тыс. экз. А00646. Бумага $82 \times 108^{1}/_{32}$. Объем $13^{9}/_{16}$ бумажных листа, 44,485 печ. листа, 45,7 уч.-изд. л. Заказ № 2633. Цена 12 р. 15 к., вып. апрель 1952 г.

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР.
Москва, Валовая, 28.